СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ

ТОМЪ ШЕСТОЙ

Цѣна каждаго тома 1 рубль

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности помѣщены при шестомъ томѣ.

Изданіе Ф. Павленкова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА".
Большая подъяческая 39.
1897.

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ

Оглавленіе шестого тома.

1867.

1) Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ 1

2) Образованная толпа. 221

3) Борьба за жизнь. 283

1868.

4) Романы Андре Лео 345

5) Старое барство 419

6) Мистическая любовь. 449

7) Французскій крестьянинъ въ 1789 году. 519

Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

(ЛИТЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.)

I.

Больше тридцати лѣтъ прошло уже съ той поры, какъ эпоха 60-хъ годовъ канула въ вѣчность, а между тѣмъ приходится сказать, что знаемъ мы о ней очень мало. За тридцать истекшихъ лѣтъ успѣли сложиться нѣсколько легендъ, распространиться нѣсколько слуховъ и сплетенъ, но до научнаго анализа движенія еще очень далеко. А, казалось, давно бы пора приступить къ оцѣнкѣ хотя-бы «Русскаго Слова» и «Современника» безъ предвзятой мысли, безъ вниманія къ легендамъ. Вѣдь одинъ тотъ ужасъ, который многіе чувствуютъ при словѣ «60-ые годы», показываетъ, что эпоха эта оставила рѣзкіе слѣды въ мозгу переживавшихъ ее и даже во всей жизни. Публика съ 60-ми годами знакома преимущественно по романамъ. Она все еще читаетъ «Взбаломученное море» Писемскаго,—это произведеніе громаднаго, но одряхлѣвшаго, впавшаго въ ипохондрію таланта. – «Некуда» Н. Лѣскова и тѣ безчисленные беллетристическіе доносы, которые то и дѣло украшаютъ собой страницы нашихъ консервативныхъ органовъ, гдѣ 60-мъ годамъ присваиваются спеціальныя наименованія, вродѣ «Вавилонское Столпотвореніе», «Смутныя времена», «Разнуздались» и пр., и пр. Научный анализъ однако все еще заставляетъ себя ждать.

Поэтому-то «смутность», неопредѣленность и неустойчивость чувствуется во всемъ, что̀ написано у насъ о 60-хъ годахъ. А казалось-бы, къ чему особенно плутать въ этомъ вопросѣ? Взгляды любого изъ дѣятелей той эпохи просты, изложены они ясно и рѣзко, выводы изъ нихъ сдѣланы или легко могутъ быть сдѣланы, предшествующія событія мы знаемъ, послѣдующія одинаково никакой таинственности изъ себя не представляютъ. Особенно грандіознаго, великаго, такого, что̀ было-бы трудно понять, въ 60-ые годы не дѣлалось и не говорилось. И это-то странное неумѣніе оцѣнить такое въ сущности простое и искреннее движеніе, какъ движеніе 60-хъ годовъ, является очень нехорошимъ знакомъ и говоритъ, что мы *не хотимъ* знать истины. Не хотятъ ее знать и тѣ изъ насъ, кто полагаетъ, что 60-ые годы представляли изъ себя поразительный расцвѣтъ всероссійской добродѣтели, не хотятъ ее знать и тѣ, кто считаетъ дѣятелей того времени какими-то гигантами и титанами, а главное не хотятъ ее знать тѣ, кто убѣдился или позволилъ себя убѣдить, что 60-ые годы были «навожденіемъ». Вѣдь стоитъ только допустить въ голову такую мысль и укрѣпиться въ ней, какъ всякая возможность научнаго анализа исчезаетъ и вмѣсто историческаго эпизода передъ нами спиритическій сеансъ. А выяснить, чѣмъ-же были 60-ые годы, надо, и какъ можно обстоятельнѣе надо это сдѣлать, чтобы съ одной стороны уничтожить возможность слезливыхъ восторговъ (ахъ, люди!... ахъ, время!...), а съ другой—ожесточенныхъ нападокъ и брызганья слюнями. Едва-ли не безполезно звать назадъ къ 60-мъ годамъ и увѣрять, будто въ нашей русской жизни только и свѣту что̀ въ этомъ окошкѣ, но еще глупѣе и безсмысленнѣе нападать на нихъ какъ на что-то апокалипсическое. Мнѣ-же, которому по разнымъ причинамъ пришлось ознакомиться довольно подробно съ журналистикой 60-хъ годовъ, – а журналистика въ то время была нервомъ жизни и общественной мысли,—хотѣлось бы дать этой эпохѣ самую простую «читательскую» характеристику или просто сообщить свои впечатлѣнія безъ всякаго мудрствованія лукаваго.

Прежде всего мнѣ прямо странен тотъ взглядъ, что 60-ые годы были какими-то разбойниками, произвольно вторгшимися въ мирную русскую жизнь и надѣлавшими всяческихъ хлопотъ. Никогда ничего подобнаго

въ исторіи не бываетъ, и произвольное произвольно лишь до той поры, пока мы его считаемъ таковымъ. Вопросъ объ *освобожденіи крестьянъ* разбирался во все время царствованія императора Николая въ *восьми* комитетахъ, и освобожденіе имѣло на своей сторонѣ не только самого государя, но и лучшихъ его министровъ—Канкрина и Киселева. *Эмансипація личности собственно* началась совсѣмъ не съ 60-хъ годовъ, а гораздо раньше, когда массы русской молодежи побывали въ Парижѣ послѣ 12-го года и заразились тамошнимъ духомъ и либерализмомъ. *Народническое движеніе*, народолюбіе, демократизмъ опять-таки не выдуманы 60-ми годами, а стали созрѣвать уже въ періодъ сороковыхъ годовъ и началѣ 50-хъ, выраженіемъ чего явился «Антонъ Горемыка» Д. Григоровича и «Записки Охотника» Тургенева,—произведенія, до которыхъ очень далеко какъ по художественности, такъ и въ смыслѣ вліянія, и разсказамъ Марка Вовчокъ (М. Марковичъ), и повѣстямъ Рѣшетникова, Левитова и т. д. *Гражданскую* струю трудно было бы не видѣть въ стихахъ Некрасова, появившихся до «навожденія», въ послѣднихъ статьяхъ Бѣлинскаго, особенно тѣхъ, которыя относятся къ 1846—48 гг., и во всемъ, что вышло изъ-подъ пера автора «Кто виноватъ?». *Реализмъ* искусства выдуманъ опять-таки не Добролюбовымъ и не Писаревымъ, чистое искусство было похоронено уже Бѣлинскимъ, а краса нашего реализма, гр. Л. Толстой, выступилъ съ своимъ «Дѣтствомъ» въ 1852 г. (въ «Современникѣ»). *Обличительная литература* не сходила со сцены во все время царствованія Николая I и имѣла такихъ представителей, какъ Гоголь («Мертвыя Души» и «Ревизоръ»), Лермонтовъ («На смерть Пушкина», «1-ое января», «Дума» и т. д.), Островскій.

Но вѣдь всѣ перечисленные выше элементы и составляютъ то, что мы называемъ *духомъ* 60-хъ годовъ. Что-же особеннаго сдѣлали «семинаристы», какъ любитъ выражаться Н. Страховъ? Все равно какъ при императорѣ Николаѣ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ неустанно разбирался въ одномъ тайномъ комитетѣ за другимъ, а при императорѣ Александрѣ II сразу-же перешелъ въ жизнь, такъ и принципы, выработанные въ 40-ые годы и даже раньше, стали проникать въ жизнь въ эпоху 60-хъ. Въ царствованіе Николая I совершилась громадная, хотя и закулисная работа; Александръ II немедленно по восшествіи на престолъ приказалъ поднять занавѣсъ, допустивъ обсужденіе, хотя и тайныхъ, но совсѣмъ не новыхъ вопросовъ. Для дѣйствія машины, повторяю, все было готово уже раньше—и уголь, и вода, и паръ; оставалось только соединить двигатель съ проводомъ, какъ немедленно-же задвигались всѣ рычаги и завертѣлись всѣ колеса. Кого-же и за что тутъ винить?

Ставши на эту историческую точку зрѣнія, мы увидимъ, что ожесточаться на 60-ые годы совсѣмъ нечего: духовная ихъ зависимость отъ 40-хъ слишкомъ очевидна. Если ужъ на то пошло, то Бѣлинскій, Гоголь, Тургеневъ болѣе погрѣшили, чѣмъ ихъ ученики: они первые раскачали тяжелое тѣло, т. е. дремавшую россійскую мысль; послѣ нихъ оставалось лишь примѣнять и распространять, а выдумывать эмансипацію, гражданственность, реализмъ, народничество было уже нечего. Главная принципіальная работа вплоть до «сужденія съ точки зрѣнія пользы» была сдѣлана раньше.

Но, разумѣется, когда принципъ переходитъ въ жизнь, онъ по необходимости становится уже,—непримиримѣе и враждебнѣе, чѣмъ прежде, относится къ другимъ принципамъ, стоящимъ у него поперекъ дороги. 40-ые годы и красотѣ поклонялись, и мужику глубоко сострадали. 60-ые—прежде всего *рабочіе* годы, и, какъ отъ таковыхъ, смѣшно и странно требовать, чтобы они являлись передъ нами во фракѣ, бѣлыхъ перчаткахъ и съ цитатой изъ Пушкина или Гюго на устахъ. Имъ было не до того, имъ надо было по красивому и изящно нарисованному типу выстроить зданіе. Естественно, что они начкались въ пыли и мусорѣ и, отбросивши комфортъ и эстетику, изо всѣхъ силъ принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы къ человѣку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вмѣстѣ съ вами полюбоваться на голубое небо, на струю свѣтлой лазури и т. д.—вамъ придется услышать, вѣроятно, очень вѣжливое: «а ну тебя!»..

Психологія торопливаго труда, труда одушевленнаго во имя вполнѣ сознанной цѣли, но вполнѣ опредѣленной программѣ, и притомъ неотложнаго—такова психологія 60-хъ годовъ. Другой нечего и искать. И если кому не нравится, какъ люди работаютъ молоткомъ и топоромъ, тому нечего читать шестидесятниковъ, а слѣдуетъ обратиться къ другой эпохѣ, когда играютъ на лирѣ и воспѣваютъ мечтательную луну. И такихъ эпохъ очень даже достаточно.

Посмотрите, повторяю, на 60-ые годы не «съ точки зрѣнія», а такъ, какъ они могутъ представиться хладнокровному и даже незаинтересованному наблюдателю, отбросьте въ сторону легенды о нигилистахъ, которыми васъ пугала нянюшка, тѣмъ болѣе,

что нигилистъ—слово глупое и ничего не выражающее, и вы увидите прежде всего оживленную работу и своеобразную серьезность и идейность жизни. Передъ вами оживетъ цѣлое поколѣніе, если хотите не совсѣмъ уклюжее», не совсѣмъ изящное, совершенно не созерцательное,—поколѣніе, на долю котораго выпала преимущественно черная работа ликвидаціи крѣпостного права и крѣпостныхъ отношеній вообще. Вѣдь и Левъ Толстой былъ тогда мировымъ посредникомъ и училъ ребятишекъ въ яснополянской школѣ. Другіе составляли справочныя книжки, энциклопедическіе словари, популяризировали науку. Инженеру, проводящему желѣзную дорогу, нѣтъ дѣла до того, что ему придется срубить вѣковой дубъ, подъ сѣнью котораго еще вчера цѣловались влюбленные, или что онъ, прорывъ канаву, испортитъ чудный видъ и остановитъ журчанье ручейка. Съэтой точкизрѣнія шестидесятники относились къ красотѣ и чистому искусству. То и другое они замѣнили «обществомъ», общественными вопросами, отвѣтственностью человѣка передъ себѣ подобными и т. д. Имъ положительно некогда было штудировать философскія системы. Петрарку и Пушкина, Тассо и Гоголя, зато надо было вырѣшить—и не принципіально, а подробно и практически—вопросъ о нормѣ надѣла, присяжныхъ и т. д. Всю эту черную, утомительную работу они сдѣлали и вдругъ отъ насъ видятъ одну черную неблагодарность. За что? За то, что были въ поту и съ мозолями на рукахъ, а современные поэты, подобно Мюссе, не могутъ писать иначе, какъ въ бѣлыхъ перчаткахъ и съ полубутылкой клико передъ собой?..

Работа, тѣмъ болѣе торопливая и черная, всегда развиваетъ въ человѣкѣ своего рода ригоризмъ. Сосредоточенный, внимательный работникъ всегда кажетсядиллетанту и ограниченнымъ, и узкимъ потому, что ему, этому сосредоточенному и внимательному работнику, не всегда есть время и охота полюбоваться на мечтательную луну, погрустить о роковой тайнѣ бытія и пр. Этотъ рабочій, трудовой ригоризмъ очень характеренъ для 60-хъ годовъ. Вы его найдете и у Чернышевскаго, и у Добролюбова, и у Писарева, ну, а второстепенные дѣятели доводили его до крайности и подчасъ прямо ругались, когда имъ очень уже надоѣдали съ кисло-сладкими воззваніями къ Музѣ, Лунѣ, Звѣздамъ, Богинѣ Красоты, Вѣчности и пр. По части манеръ и пріятнаго обхожденія тутъ дѣйствительно есть недочетъ. Журнальныя статьи того времени зачастую писались сплеча, фразы подбирались рѣзкія, бьющія въ носъ, то и дѣло вставлялись для украшенія стиля словечки очень рѣшительныя... Но вѣдь тогда было не до пріятнаго обхожденія—это во-первыхъ, а во-вторыхъ, соединить въ себѣ сразу и чернорабочаго, и джентльмэна подъ-силу очень немногимъ. Прямолинейность въ довершеніе всего—ошибка, а не преступленіе, и наша обязанность—указывать ошибки, крайности, увлеченія, но не винить.

Многія «ошибки», по тщательномъ разсмотрѣніи, могутъ вѣроятно оказаться очень простительными. Возьмите напр. отношеніе 60-хъ годовъ къ наукѣ вообще, естествознанію въ частности. И той и другимъ увлекались. Лучшія, серьезнѣйшія вещи читались, перечитывались не только спеціалистами, а просто интеллигентными людьми. Мы далеки отъ такой научности и еще дальше отъ попытокъ и стремленія перестроить жизнь на научномъ основаніи. Л. Толстой напр. прямо презираетъ медицину, а къ естествознанію относится очень скептически. Но работникъ такъ смотрѣть на дѣло не можетъ. Каждый его шагъ, каждое его соприкосновеніе съ дѣйствительностью убѣждаютъ его, что единственная опора труда—это знаніе, что чѣмъ это знаніе ближе къ основнымъ потребностямъ жизни, тѣмъ оно полезнѣе. Отсюда восторгъ передъ естествознаніемъ.

Я смѣло могу не раздѣлять его. Но если предложить на выборъ: блужданіе въ дебряхъ метафизики, всестороннее разсмотрѣніе вопроса о смыслѣ и цѣли жизни,—вопроса, все равно неразрѣшимаго, съ одной стороны, и физику или агрономію—съ другой, особенно въ то время, когда элементарнѣйшія потребности человѣка не находятъ себѣ удовлетворенія,—я буду скорѣе сочувствовать восторгу передъ агрономіей, чѣмъ передъ красивыми, грандіозными и нерѣшимыми задачами метафизики. Это случится, разумѣется, лишь въ томъ случаѣ, если «я» смотрю на себя прежде всего какъ на работника и на отвѣтственное передъ обществомъ лицо.

Но вѣдь такіе-то «я» и собрались въ литературномъ штабѣ 60-хъ годовъ.

Благодаря отсутствію научнаго анализа, къ движенію 60-хъ годовъ преобладаетъ отрицательное отношеніе, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ прямой злобы и ненависти. Подчасъ подсмѣиваются и улыбаются, какъ улыбается человѣкъ, значительно одряблѣвшій и одряхлѣвшій, съ лысиной, съ мѣшочками подъ глазами, съ пустымъ сердцемъ и пустой жизнью,—смотря на свой портретъ, снятый въ юности, когда онъ страдалъ, любилъ и вѣрилъ. Что-то скорбное есть въ этой улыбкѣ.

*

Если не считать тѣхъ, кто при словѣ «60-ые годы» начинаетъ звонить во всѣ колокола, и тѣхъ еще, кто при томъ-же словѣ теряетъ здравый смыслъ отъ накипающаго въ его душѣ благороднаго негодованія, то мнѣніе большинства сводится повидимому къ тому, что въ ту эпоху мы слишкомъ увлекались и наивно вѣрили, что все можетъ быть сдѣлано сейчасъ-же: сейчасъ-же запоютъ птицы, сейчасъ-же заблагоухаютъ цвѣты и весна жизни вступитъ въ свои права..

Съ этой точки зрѣнія, благодаря ея распространенности и внѣшней правильности, слѣдовало бы посчитаться обстоятельнѣе, чѣмъ я могу это сдѣлать въ данномъ мѣстѣ. Конечно въ ту эпоху люди увлекались и вѣрили больше чѣмъ теперь, но представлять себѣ, что они только и дѣлали, что танцовали воинственные и побѣдные танцы,— совсѣмъ напрасно. Неужели кто-нибудь полагаетъ, что Добролюбовъ, написавшій свои статьи о темномъ царствѣ, допускалъ возможность исчезновенія этого темнаго царства «въ одинъ моментъ». Онъ искренне желалъ темному царству отправиться къ праотцамъ, но его силу и живучесть онъ сознавалъ яснѣе другихъ. Перечтите «Свистокъ». Скептическая точка зрѣнія на отрадные факты здѣсь преобладаетъ, и не тотъ-же ли Добролюбовъ печатно спросилъ: «развѣ можетъ надолго удержаться весна въ нашемъ холодномъ, чахоточномъ климатѣ?» Этотъ вопросъ былъ поставленъ въ 61-мъ году, въ самый разгаръ движенія. И Писаревъ прекрасно понималъ, что движеніе захватило лишь верхи, что для прочности ему надо проникнуть въ массу, а это — долгая исторія и долгая работа. Герой 60-хъ годовъ является скорѣе тоскующимъ при видѣ громадности лежащихъ передъ нимъ препятствій, чѣмъ ликующимъ отъ мысли, что мы все зло закидаемъ шапками. Вѣдь только близорукій оптимистъ могъ увѣрять, что «мы созрѣли»; умные люди видѣли что до зрѣлости еще очень далеко. Припомните кстати, какъ тосковалъ Базаровъ.

Но если исторически невѣрно то мнѣніе, что люди 60-хъ годовъ преимущественно танцовали и хлопали въ ладоши при видѣ несущагося по дебрямъ и степямъ Россіи прогресса,—то вѣрно, что тѣ-же люди никогда не позволяли жизни угнетать и удручать себя, хотя и сознавали, что работа, предстоящая имъ, велика и серьезна, что шансы на успѣхъ есть, хотя и ничтожные. Они не обѣщали скорой побѣды и скораго наступленія пира жизни —иначе они были бы фразерами и презрѣнными болтунами; они знали, что въ одинъ моментъ» не помнѣютъ и не пріобрѣтутъ ни гражданской выправки, ни гражданскаго мужества 100 милліоновъ русскихъ людей, изъ которыхъ 99 м. находились въ первобытномъ состояніи; но они вѣрили, что въ концѣ-концовъ доброе, разумное, честное побѣдитъ злое, глупое, подлое, и требовали, чтобы каждый шелъ по истинному пути. Передъ смертью Добролюбовъ написалъ маленькое стихотвореніе, кончающееся словами:

...Я умираю,
Но спокоенъ я душою,
И тебя благословляю:
Шествуй тою-же стопою!..

Читатель понимаетъ, что вѣра въ торжество добра и истины сама по себѣ значитъ очень мало, говоритъ о прекрасномъ сердцѣ, природной мягкости, но ей ничего не стоитъ переродиться въ высокія фразы, краснорѣчивыя сентенціи и слезливую сентиментальность. Добро — ахъ! Истина—ахъ! Справедливость—ахъ! Съ этими формулами далеко не уйдешь. Только та вѣра въ торжество добра, истины и справедливости имѣетъ цѣну, которая основана на знаніи. А знать нужно многое, и прежде всего дѣйствительность жизни. Нужно соразмѣрить свои силы и свои удары. Нужно опредѣлить шансы успѣха и неудачи. Самонадѣянность, хотябы проистекающая изъ благороднѣйшихъ побужденій, всегда одинаково вредна. Общественный дѣятель, руководящій умами какъ полководецъ, не долженъ увлекаться. И очевидно, что лучшіе люди 60-хъ годовъ страдали скорѣе скептицизмомъ, чѣмъ легкомысліемъ. Ни бубновъ, ни барабановъ мы не слышимъ въ ихъ статьяхъ, но видимъ ясное сознаніе необходимости работать въ истинномъ направленіи, не скрывая отъ себя громадности работы, не предаваясь легкомысленнымъ упованіямъ. Это не наше «полегоньку» и «потихоньку», festina lente и прочія глупости,—это нѣчто бо́льшее: для защиты праваго дѣла надо напрягать всѣ свои силы, всѣ свои способности, работать не покладая рукъ, не печалиться отъ неудачъ и вѣрить въ неминуемое торжество справедливости, хотя бы и тамъ, далеко, въ туманѣ голубого дня.

Мысль, что ты стоишь на сторонѣ праваго дѣла, что его конечная побѣда настолько-же обусловлена твоими личными усиліями, какъ и исторической необходимостью, какъ и роковымъ ходомъ нашей общественной эволюціи,—единственная, которая въ состояніи придавать человѣку неисчерпаемую вѣру и сдѣлать его жизнь нравственной въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Истинная нравственность не можетъ не осно-

ваться на знаніи исторіи и современности: человѣкъ только помогаетъ исторической эволюціи, но не создастъ ее. Защищать папство и католицизмъ въ XVI-мъ вѣкѣ было не только глупо, но и безнравственно; защищать цезаризмъ во Франціи въ XIX вѣкѣ не только глупо, но и безнравственно. Нравственное поведеніе—то, которое содѣйствуетъ развитію общества; безнравственное (хотя-бы проистекающее изъ честнѣйшихъ и прекраснѣйшихъ мотивовъ)—то, которое тормозитъ развитіе общества.

Вотъ эта то простая и элементарная этика 60-хъ годовъ совершенно забыта нами. И понятно—почему. Люди 60-хъ годовъ сознавали громадность бѣдствія, мы-же запуганы и подавлены имъ. Поэтому-то мы и говоримъ, что то была эпоха увлеченія...

Оцѣнивая 60-е годы (я имѣю въ виду рѣдкіе случаи оцѣнки безъ страсти и раздраженія), мы, какъ кажется, прибѣгаемъ къ одному пріему, вообще говоря, правильному, но пользоваться которымъ надо съ величайшей осторожностью. Мы говоримъ: «60-ые годы не оправдали надеждъ, возлагавшихся на нихъ, не имѣли серьезнаго и продолжительнаго успѣха, слѣдовательно они виновны, хотя быть можетъ и заслуживаютъ снисхожденія». По моему искреннему убѣжденію, оцѣнивать историческія явленія по ихъ успѣху и неуспѣху—можно и должно. Это даже существенный, правильный и реальный критеріумъ, безъ котораго мы непремѣнно запутаемся въ дебряхъ метафизики и высокихъ фразъ. Но, къ сожалѣнію, этотъ критеріумъ нельзя употреблять съ такой-же легкостью, какъ аршинъ или фунтъ. По интересующему насъ вопросу замѣтимъ прежде всего, что мы, люди 80-хъ и 90-хъ годовъ, далеко не компетентны въ оцѣнкѣ успѣха или неуспѣха эпохи, слишкомъ близкой отъ насъ, нашего, такъ сказать, «наканунѣ». Въ исторіи то и дѣло бываютъ временныя остановки и временные повороты назадъ. Такъ случилось напр. во Франціи съ раціоналистическимъ движеніемъ, которому сначала сочувствовали «всѣ монархи Европы», а потомъ въ періодъ реакціи униженнымъ и стоптаннымъ въ грязь. Но реакція не помѣшала тому-же раціоналистическому движенію возродиться впослѣдствіи и вновь вызвать къ себѣ полное сочувствіе... Дидро и его научное трезвое міросозерцаніе, совершенно непонятое современниками, получило истинное свое признаніе лишь въ наши дни. Геній Вольтера, униженный въ періодъ 1800—1830 гг., опять расправилъ свои орлиныя крылья и воспарилъ надъ землей въ періодъ 1831—1848 гг., и т. д. Разумѣется, все истинное, правдивое, нужное для жизни должно имѣть успѣхъ, иначе оно не истинно, не правдиво, не нужно, но—увы!—исторія, эта капризная mobile donna, сегодня оттолкнетъ, завтра привлечетъ, потомъ опять оттолкнетъ. Только историкъ, имѣющій передъ собой весь циклъ развитія явленія, можетъ смѣло оцѣнивать по успѣху и неуспѣху; современникъ долженъ быть скромнѣе.

Но что-же дѣлать ему? Не можетъ-же онъ положить печать молчанія на свои уста и воздержаться отъ личнаго мнѣнія въ ожиданіи, что жизнь выскажется и грядущія столѣтія разъяснятъ все? Конечно не можетъ. Поэтому, кромѣ скромности, я позволю себѣ напомнить ему правило, пользовавшееся всеобщимъ признаніемъ со стороны лучшихъ людей 60-хъ годовъ. Правило это гласитъ: *Только то міросозерцаніе можетъ разсчитывать на побѣду и торжество въ жизни, только то міросозерцаніе полезно, истинно и нравственно, которое, опираясь на знаніе дѣйствительности и исторіи, соотвѣтствуетъ прогрессивнымъ и неустранимымъ потребностямъ жизни.*

Съ этой точкой зрѣнія можно уже, какъ кажется, добиться кое-чего, и, примѣняя ее, мы постараемся оцѣнить дѣятельность одного изъ самыхъ яркихъ представителей 60-хъ годовъ—Дмитрія Ивановича Писарева.

II.

Имя Писарева еще и въ настоящее время пользуется значительной популярностью. Его читаютъ и стараются читать, не смотря на то, что экземпляры первыхъ двухъ изданій его сочиненій давно уже стали библіографической рѣдкостью. Чѣмъ-же, спрашивается, онъ ударилъ такъ сильно по сердечнымъ струнамъ?

Надо замѣтить, что главный штабъ литературы относится къ Писареву нѣсколько свысока. Одинъ изъ представителей генералитета, разобравъ міросозерцаніе нашего публициста, говоритъ: «разумѣется, не здѣсь надо искать причину успѣха Писарева. Мы не должны забывать ни его удивительнаго литературнаго таланта, ни остраго критическаго чутья». Другой полагаетъ, что «Писаревъ представляетъ собою поразительный примѣръ громаднаго вліянія человѣка, не вооруженнаго ничѣмъ, кромѣ своего пера». Третій думаетъ, что «къ Писареву не примѣнимъ обычный пріемъ критика, такъ какъ сущность его сводится къ громадному и своеобразному литературному таланту»...

Я привелъ эти мнѣнія совсѣмъ не для того,

чтобы ихъ опровергать, мнѣ хочется только дополнить ихъ, въ чемъ я и полагаю задачу нижеслѣдующихъ строкъ. Самое главное, именно «поразительный», «удивительный», «громадный», «своеобразный» и пр. литературный талантъ является общепризнаннымъ, и доказывать, что Писаревъ хорошо писалъ, по меньшей мѣрѣ напрасно. Не обращая вниманія ни на чье мнѣніе, разверните любую страницу сочиненій Писарева и прочтите ее. Вы найдете прежде всего поразительный образчикъ русскаго языка, который явится передъ вами во всей своей красотѣ и могуществѣ. Равный по силѣ и выразительности стиль я нахожу лишь у Герцена. Никто, какъ Писаревъ, не съумѣлъ такъ приблизить литературный языкъ къ разговорному, и приблизить безъ униженія, безъ дерзкихъ и ненужныхъ нововведеній. Такой языкъ какъ нельзя лучше подходитъ къ задачѣ, съ самаго начала сознанной и поставленной себѣ Писаревымъ. Задача эта заключалась въ томъ, чтобы распространять полезныя знанія среди массы, чтобы привлечь къ участію въ благахъ знанія и культуры многомилліонное населеніе «дорогого отечества», спускаясь постепенно все къ низшимъ и низшимъ его слоямъ. Главное свое назначеніе Писаревъ видѣлъ именно въ популяризаціи, о чемъ онъ и говоритъ въ слѣдующихъ строкахъ письма къ матери: «общія разсужденія и высшіе взгляды составляютъ совершенно безполезную роскошь и мертвый капиталъ для такого общества, которому недостаетъ самыхъ простыхъ и элементарныхъ знаній. Поэтому обществу надо давать эти необходимыя знанія, т. е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мнѣ эта задача во всѣхъ отношеніяхъ по душѣ и по силамъ». Писаревъ не ошибался. Такія его статьи, какъ «Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній», «Историческія идеи Огюста Конта» и т. п., еще и въ настоящее время могутъ быть прочитаны каждымъ съ большой пользой для себя. И такое занятіе не обидно даже для самолюбія. Писаревъ даетъ читателю настоящую популяризацію, а не поддѣлку подъ нее. Онъ пишетъ не для маленькихъ, а для большихъ; онъ не просто замѣняетъ спеціальные научные термины общедоступными, а, разлагая мысль на ея составные элементы, знакомитъ съ ними съ такой послѣдовательностью и постепенностью, что ея нельзя не понять. Онъ дѣлаетъ даже больше этого: всякую мысль онъ беретъ не только въ ея научномъ значеніи, а между прочимъ и въ практическомъ. Какую роль можетъ играть та или другая мысль въ жизни, какъ повліяетъ она на поведеніе, какое мѣсто должна она занять въ общемъ міросозерцаніи человѣка? Отвѣчая на эти вопросы, Писаревъ дѣлаетъ все, что̀ можетъ сдѣлать наибольшаго популяризаторъ. Равнаго ему въ этой области по ясности, силѣ и выразительности изложенія не было еще въ Россіи, да и теперь что-то не видать. Популяризація, повторяю, не есть писаніе для дѣтей, не замѣна слова «прогрессъ» словомъ «совершенствованіе», а нѣчто гораздо большее и трудное. Истинная популяризація, какъ литературная задача, ничѣмъ не отличается отъ литературныхъ задачъ вообще, и сущность ея сводится къ тому, чтобы сдѣлать мысль одинаково доступной какъ разсудку, такъ чувству и воображенію человѣка. У истиннаго популяризатора есть непремѣнно художественная закваска, и, перечтя хотя-бы маленькій, но удивительный по изяществу отрывокъ Писарева о пчелахъ, всякій убѣдится, что такая закваска была у нашего критика.

Въ минуту унынія и грусти Тургеневъ, видѣвшій мало здороваго въ жизни своей родины, возлагалъ всѣ свои упованія на могучій русскій языкъ; онъ называлъ его языкомъ великаго народа. Тургеневъ быть-можетъ и правъ, но надо договорить его мысль и прибавить, что этимъ могучимъ русскимъ языкомъ мало кто умѣлъ владѣть до настоящаго времени, а въ наши дни онъ очевидно претерпѣваетъ грустный процессъ газетнаго вырожденія. Стиль Писарева по отсутствію цвѣтистыхъ украшеній, по своей удивительной простотѣ, по близости къ разговорному языку, но безъ его небрежности, можетъ служить образцомъ, и, перефразируя мысль Тургенева, можно смѣло сказать, что такой стиль принадлежалъ недюжинному человѣку.

Но какъ ни высоко я ставлю талантъ изложенія, какъ ни дорогъ для меня хорошій русскій языкъ, я и не думаю даже ставить его въ голову заслугъ Писарева. Загадка, почему онъ, не смотря на недостатки своего образованія, не смотря на свою молодость (онъ умеръ 27 лѣтъ), не смотря на увлеченія и ошибки, все еще пользуется вліяніемъ и будетъ долго еще пользоваться имъ,—разрѣшается для меня очень просто. Главную заслугу Писарева я вижу *въ реализмѣ и трезвости его мышленія*.

Мы переживаемъ схоластическое время, и признаковъ этой схоластичности столько, что я право затрудняюсь съ чего начать. Зная, что степи нашего юга заносятся пескомъ, что земледѣліе наше падаетъ и грозитъ частымъ повтореніемъ голодныхъ страшныхъ годовъ, что продолжительность жизни достигаетъ у насъ всего 30-ти лѣтъ въ среднемъ, когда просвѣщенные европейскіе

народы, къ коимъ по учебнику географіи принадлежимъ и мы, перешли уже за 40, что растетъ земледѣльческій пролетаріатъ, что безграмотность заставляетъ задуматься всѣхъ способныхъ думать,—мы въ то-же время или совсѣмъ не интересуемся ничѣмъ, или интересуемся Шопенгауэромъ и метафизикой. Горе не въ Шопенгауэрѣ и не въ метафизикѣ (увлеченію которыми, кстати сказать, очень радуются всѣ болтуны съ Волынскимъ и Львомъ Тихомировымъ во главѣ),— горе въ томъ, что мы то но маленькіе ребята спрашиваемъ себя: «что дѣлать, какъ вести себя, что нравственно и что безнравственно?», и отводимъ этимъ вопросамъ ту роль, которой они не могутъ имѣть въ жизни нормально мыслящаго человѣка. Голодъ, холодъ и нищета народа—вотъ наши реальные враги, и мы знаемъ, что голодъ, холодъ и нищета существуютъ, а между тѣмъ толкуемъ столько-же о просвѣщеніи, фосфоритахъ, кредитѣ, сколько о все возрождающей силѣ любви и непротивленіи злу насиліемъ. Въ результатѣ получается очень глупая вещь. Мы, хорошіе, честные (допустимъ) люди, не знаемъ, что дѣлать, и смотримъ на кончикъ носа, а вотъ князь Мещерскій, «Московскія Вѣдомости» и пр. знаютъ, что имъ дѣлать...

Я еще вернусь къ этой интересной темѣ, пока-же, указавъ съ какой точки зрѣнія я буду разбирать міросозерцаніе Писарева, позволю себѣ въ немногихъ строкахъ ознакомить читателя съ его біографіей.

Все еще и теперь существуютъ попытки представить намъ Писарева отчаяннымъ «нигилистомъ», непричесаннымъ и неумытымъ, съ свирѣпымъ, почти звѣрскимъ выраженіемъ лица, способнымъ даже на такую вещь, какъ ворваться въ чужую квартиру, наговорить хозяину грубостей и уйти не раскланявшись.

Это ложь и клевета. Люди, дѣйствительно знавшіе и видѣвшіе Писарева, описываютъ его иначе. Вотъ напр. что говоритъ Шелгуновъ: «Разъ утромъ—пишетъ этотъ послѣдній—я зашелъ къ Благосвѣтлову. Въ первой комнатѣ у конторки стоялъ щеголевато одѣтый, совсѣмъ еще молодой человѣкъ, почти юноша, съ открытымъ, яснымъ лицомъ, большимъ, хорошо очерченнымъ—умнымъ лбомъ и съ большими, умными, красивыми глазами. Юноша держалъ себя нѣсколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигурѣ чувствовалась боевая готовность. Это былъ Писаревъ». Итакъ, передъ читателемъ—щеголевато (даже!) одѣтый юноша. Это было въ 61-мъ году. Пять лѣтъ спустя, когда Писаревъ перенесъ уже и заключеніе въ домѣ умалишенныхъ, и слишкомъ четырехъ-лѣтнее одиночное заключеніе въ петропавловской крѣпости, съ нимъ часто встрѣчался А. М. Скабичевскій, и Скабичевскій хоть и упоминаетъ о нѣсколькихъ несообразныхъ поступкахъ Писарева, совершонныхъ имъ послѣ выхода изъ тюрьмы, немедленно-же прибавляетъ: «все это скоро прошло, и Писаревъ, быстро освоившись съ свободой, вошелъ въ свою колею». Да и вообще это былъ настоящій выдержанный джентльмэнъ въ лучшемъ смыслѣ слова, съ котораго до конца дней не сходилъ свѣтскій лоскъ полученнаго имъ барскаго воспитанія.

Воспитаніе-же на самомъ дѣлѣ было барское.

Родившись 2-го октября 1840 г. въ средѣ дворянской старинной семьи, въ родовомъ имѣніи Знаменскомъ, Писаревъ, какъ единственный сынъ и наслѣдникъ, сразу увидѣлъ себя окруженнымъ всевозможными удобствами, комфортомъ и попеченіями. Время тогда было мрачное, крѣпостническое, но ребенокъ видѣлъ лишь хорошія, радостныя стороны жизни. Къ «мужику» его не подпускали, не подпускали и мужика къ нему. Приставленная къ барчуку нянька Ѳекла не пользовалась особенными его симпатіями и очевидно ничѣмъ не умѣла его заинтересовать: ни сказками о Милитрисѣ Кирибитьевнѣ, ни унылыми русскими пѣснями. Народный элементъ, оставившій столько поэтическихъ воспоминаній въ душѣ многихъ изъ славныхъ нашихъ людей (напр. Пушкина и Достоевскаго), совершенно отсутствовалъ въ воспитаніи Писарева. Дѣломъ воспитанія исключительно и безраздѣльно и даже съ ревнивымъ деспотизмомъ занялась мать. Институтка, прекрасно говорившая по французски и мало освѣдомленная въ русскомъ языкѣ, лишенная всякихъ реальныхъ знаній, но безконечно любящая и преданная—мать Писарева отдавала ребенку всю свою душу и, подчиняясь понятіямъ эпохи и окружавшей ее барской среды, задумала сдѣлать изъ ребенка лучшее, что могла. Это лучшее было «enfant d'une bonne maison» и «enfant bien élevé». Требовалось, чтобы мальчикъ безукоризненно говорилъ по-французски и по-нѣмецки, былъ скромный, послушный, нравственный, обладалъ манерами, съ которыми не совѣстно показаться въ гостиную, умѣлъ отвѣтить на заданный ему вопросъ, не сближался съ тѣмъ, кто ниже его въ общественномъ отношеніи, и въ концѣ-концовъ сдѣлалъ бы себѣ карьеру дипломата или лейбъ-гвардіи гусара. Много вообще любви, старанія, за-

ботъ потрачено было матерью на воспитаніе сына, и если любовь извиняетъ все, то и въ данномъ случаѣ она должна извинить всѣ недостатки.

У Писарева были двѣ сестры, но онъ былъ общимъ любимцемъ. Единственный сынъ и наслѣдникъ, онъ въ дѣтствѣ сосредоточивалъ на себѣ все вниманіе и заботы взрослыхъ. Любовались имъ многочисленные дяди, не менѣе многочисленныя тетки и всякіе родственники и родственницы, наѣзжавшіе гостить въ просторный знаменскій домъ; баловала и любила его безъ памяти старуха-бабушка, обожала прислуга, боготворила съ какимъ-то страстнымъ увлеченіемъ, съ ревнивой исключительностью совершенно влюбленная въ него мать. Онъ былъ центральнымъ свѣтиломъ знаменскаго міра, и пріѣзжій, коротко знакомый съ порядками въ домѣ, могъ легко заключить по выраженію лица выбѣгавшихъ ему на встрѣчу слугъ, здоровъ или боленъ малютка. Въ результатѣ всего этого баловства, вниманія, французскихъ діалоговъ—изящный и самоувѣренный барчукъ съ прекрасными манерами, добрымъ, отчасти даже счастливымъ сердцемъ, правдивый и искренній, съ головой, наполненной глупыми исторійками о добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ мальчикахъ, о добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ дѣвочкахъ, нѣсколько вялый въ физическомъ отношеніи, нѣсколько плаксивый и вмѣстѣ съ тѣмъ самоувѣренный и ласковый.

Очень можетъ быть, что въ результатѣ этого дворянскаго, нереальнаго, тепличнаго воспитанія изъ Писарева дѣйствительно выработался бы блестящій дипломатъ или лейбъ-гвардіи гусаръ, но къ *счастію* его родители разорились, и надо было подумать о чемъ-нибудь менѣе блестящемъ, но болѣе хлѣбномъ для единственнаго сына и наслѣдника. Его, уже 11-ти-лѣтняго мальчика, отправили въ Петербургъ, въ гимназію, гдѣ онъ и поступилъ въ третій классъ. Послушный ребенокъ, не смѣвшій безъ спеціальнаго на то разрѣшенія мамаши проглотить ложку варенья или конфетку, поселился въ домѣ богатаго дяди и изъ-подъ одной нѣжной ферулы попалъ подъ другую, не менѣе нѣжную и не менѣе безтолковую. Но онъ, разумѣется, чувствовалъ одну нѣжность и былъ счастливъ. Онъ учится, онъ—первый ученикъ, онъ чисто и хорошо одѣтъ, онъ прекрасно говоритъ по-французски. Онъ доволенъ. Безпокоятъ его въ гимназическіе годы лишь успѣхи его конкурента на мѣсто перваго ученика, какого-то Петрова или Иванова, но къ счастью Петровъ или Ивановъ не совсѣмъ благополученъ по части греческаго языка и получаетъ за extemporale четверки, а Писаревъ—всегда 5. Слѣдовательно и здѣсь все идетъ какъ нельзя лучше:

«Я—писалъ впослѣдствіи Писаревъ—принадлежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ; я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменѣ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно и въ награду за всѣ эти несомнѣнныя достоинства былъ признанъ преуспѣвающимъ. . Хотя я и до сихъ поръ не сообщилъ фактическихъ подробностей о моемъ *развитіи*, но я осмѣливаюсь думать, что изъ всего того, что я наговорилъ, проницательный читатель уже составилъ себѣ приблизительное и притомъ довольно вѣрное понятіе о томъ, что я смыслилъ при поступленіи моемъ въ университетъ; скажу я ему еще, что любимымъ занятіемъ моимъ было раскрашиваніе картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, а любимымъ чтеніемъ — романы Купера и особенно очаровательнаго Дюма. Пробовалъ я читать «Исторію Англіи» Маколея, но чтеніе и подвигалось туго, и казалось мнѣ подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія умственныхъ силъ.. На критическія статьи журналовъ я смотрѣлъ, какъ на кодексъ гіероглифическихъ надписей, прилагавшихся къ книжкѣ исключительно по заведенной привычкѣ, для вида и для счета листовъ; я былъ твердо убѣжденъ, что этихъ статей никто понимать не можетъ, и что природѣ человѣка совершенно несвойственно находить въ чтеніи ихъ малѣйшее удовольствіе. Я долженъ признаться, что въ отношеніи къ нѣкоторымъ журналамъ я даже до сего дня не исцѣлился отъ этого спасительнаго заблужденія.. Началъ я также, будучи ученикомъ седьмого класса, читать «Холодный Домъ», одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ романовъ Диккенса, и не дочиталъ: длинно такъ и много лицъ, и ничего не сообразишь, и шутитъ такъ, что ничего не поймешь; такъ на томъ и оставилъ, порѣшивъ, что „Les trois mousquetaires“ не въ примѣръ занимательнѣе. Ну, а русскіе писатели—Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ? Читатель, мнѣ стыдно за моихъ домашнихъ воспитателей, стыдно и за себя—зачѣмъ я ихъ слушалъ. Русскихъ писателей я зналъ только по именамъ. «Евгеній Онѣгинъ» и «Герой нашего времени» считались произведеніями безнравственными, а Гоголь — писателемъ сальнымъ и въ приличномъ обществѣ совершенно неумѣстнымъ. Тургеневъ допускался, но конечно *я* понималъ его такъ-же хорошо, какъ понималъ геометрію, Маколея и Диккенса. «Записки Охотника» ласкали какъ-то мой слухъ, но остановиться и задуматься надъ впечатлѣніемъ было для меня немыслимо. Словомъ, я шелъ путемъ самаго благовоспитаннаго юноши».

Основываясь на этомъ блестяще нарисованномъ портретѣ, читатель смѣло можетъ понять, какъ 15-ти-лѣтній гимназистъ Писаревъ очень любитъ катать яйца, очень интересуется новой формой, данной военнымъ до генераловъ включительно, и въ восторгѣ отъ того, что числится первымъ ученикомъ въ классѣ.

По обыденной логикѣ вещей Писаревъ, закончивъ гимназію съ медалью, разумѣется, и имѣя въ своей головѣ «логариомы и конусы, усѣченныя пирамиды и неусѣченные параллелопипеды, гекзаметры «Одиссеи» и

асклепіадовскіе стихи Горація» и много еще другихъ премудростей,—поступилъ студентомъ на историко-филологическій факультетъ Петербургскаго университета. И здѣсь два года продолжалась прежняя блаженная дремота, хотя Писаревъ уже начинаетъ рваться къ знанію, только не знаетъ, за что приняться ему. Его «очень привлекаютъ» кельтическая поэзія и лекціи Сухомлинова; питая научный идеалъ, онъ переводитъ Страбона, составляетъ статью о Гумбольдтѣ, занимается исторіей и литературой, мечтаетъ о магистерствѣ. Его ближайшіе товарищи, такіе-же рьяные жрецы науки, какъ онъ, но съ еще спеціальнымъ, аскетическимъ оттѣнкомъ въ своихъ стремленіяхъ, поощряютъ его въ его занятіяхъ, совѣтуютъ не читать болтуна Добролюбова и переводить неболтуна Страбона. Писаревъ слушается съ той почтительностью, тѣмъ-же отсутствіемъ скептицизма, которыя характеризуютъ его дѣтскіе и гимназическіе годы.

Бѣдный юноша! Ему тяжело подчасъ и даже невыносимо тяжело въ дебряхъ кельтической поэзіи, онъ ничего не понимаетъ въ брошюрѣ Штейнталя, которую переводитъ, читаетъ историческіе словари,—почтенные запыленные словари, которыхъ не можетъ охватить руками, страдаетъ за Страбономъ и В. Гумбольдтомъ, но что прикажете дѣлать: noblesse oblige, научный идеалъ обязываетъ, профессора толкуютъ о пользѣ и величіи научныхъ занятій, товарищи описываютъ радужными красками счастье, приносимое имъ изученіемъ средней исторіи. Бѣдный юноша чувствуетъ себя невѣждой, не понимаетъ терминовъ, съ которыми такъ свободно обращаются его друзья. Самолюбіе его затронуто: надо учиться во что бы то ни стало...

Есть много грустныхъ зрѣлищъ на свѣтѣ, но что можетъ быть грустнѣе того, когда талантливая, богато одаренная натура—одинъ изъ тѣхъ блестящихъ метеоровъ, которые такъ рѣдко залетаютъ на нашу все еще по-нищенски живущую планету,—даромъ, на вѣтеръ, разбрасываетъ свою молодость, свои недюжинныя силы и, будучи орломъ, навьючиваетъ на себя ослиную ношу свѣтскаго воспитанія сначала, чистой науки потомъ... Присмотритесь къ жизни вообще, и вы увидите, какія гигантскія усилія ума и мускуловъ тратитъ неразсчетливое невѣжественное человѣчество на сооруженіе крѣпостей, на изобрѣтеніе дальнобойныхъ орудій, на писаніе толстыхъ схоластическихъ трактатовъ,—и вамъ невольно жаль станетъ этихъ даромъ истраченныхъ недюжинныхъ силъ. Но сооружаютъ крѣпости, изобрѣтаютъ дальнобойныя орудія, пишутъ большіе (т. е. взрослые) люди. Зачѣмъ-же обижать маленькихъ? Вѣдь при нормальномъ воспитаніи каждый изъ этихъ маленькихъ долженъ бы въ концѣ-концовъ сдѣлаться знающимъ, мужественнымъ, полезнымъ гражданиномъ, онъ безъ краски на лицѣ могъ бы вспоминать о съѣденномъ имъ въ періодъ дѣтства и юности чужомъ хлѣбѣ, такъ какъ онъ сознавалъ бы, что способенъ сторицей расплатиться съ ближними. Но нѣтъ! Тунеядецъ невольный сначала, онъ по необходимости превращается въ тунеядца вольнаго потомъ. Вѣдь онъ ничего не знаетъ и ничего не умѣетъ, онъ—ходячая химическая лабораторія съ большими чувственными аппетитами, выросшими на почвѣ лѣнивой и ненужной умственной работы...

Къ счастью, Писаревъ былъ слишкомъ богато одаренъ, чтобы не выбраться на вѣрную дорогу. А вѣрная дорога для человѣка—та, гдѣ, послушный призванію своей природы, онъ съ наименьшими для себя усиліями и наибольшимъ для себя наслажденіемъ можетъ приносить человѣчеству наибольшую пользу, содѣйствуя прогрессивнымъ стремленіямъ вѣка (разъ таковыя имѣются въ наличности).

Писаревъ рожденъ былъ для карьеры писателя. Время должно было опредѣлить, въ какую форму выльется его исключительное литературное дарованіе, какую окраску приметъ его проповѣдь, станетъ-ли онъ защищать «покой и забвенье», чистую красоту и чистое искусство», или явится передъ нами бойцомъ за права личности, защитникомъ всего общеполезнаго и общественно необходимаго. Талантъ—всегда искра божія, но вѣдь искра божія можетъ зажечь и скирдъ труженика, и свѣчу передъ образомъ «Чистой Матери», и маякъ спасительный. Талантъ стихіенъ, какъ молнія, а въ томъ фактѣ, что эта стихійная, роковая сила все-же въ большинствѣ случаевъ служитъ истинѣ и справедливости, всякій можетъ почерпнуть намекъ на то, что на сторонѣ конечной побѣды истины и справедливости стоитъ историческая необходимость и роковой ходъ исторической эволюціи.

«Поэты родятся», но «родятся» и журналисты. Само собою разумѣется, что путемъ усиленнаго труда, путемъ утомительной настойчивости можно выработать изъ себя все, что угодно—скрипача, романиста, скульптора,—нельзя выработать въ себѣ лишь одной способности, безъ которой нѣтъ и не можетъ быть искусства, т. е. творчества. Можно сдѣлаться кѣмъ угодно, нельзя лишь сдѣлаться поэтомъ. Для этого нужны спеціальныя дарованія, а ихъ даетъ лишь «природа-мать»...

Все равно какъ музыканту нуженъ исключительный слухъ, художнику—зрѣніе, способное различать оттѣнки и переливы самыхъ близкихъ другъ другу цвѣтовъ, архитектору—чувство симметріи, такъ и журналистъ не можетъ обойтись безъ спеціальныхъ дарованій.

Такихъ дарованій у Писарева было въ избыткѣ, и несомнѣнно, что, выступивъ въ литературѣ, онъ нашелъ наконецъ свою настоящую дорогу.

Уже въ немъ-ребенкѣ можно было ясно различить силу и способность выраженія; едва начиная лепетать, онъ «любилъ уже закруглять и отдѣлывать свои фразы». 7-ми лѣтъ онъ принялся за писаніе своего чудовищнаго «Романьола», просиживая цѣлые дни за этимъ безконечнымъ произведеніемъ своей фантазіи. Все это собственное, природное, неотъемлемое. А та страсть, съ которой онъ всегда защищалъ свои мнѣнія, та постоянная готовность спорить до слезъ, какой онъ отличался уже въ тѣ годы, когда у другихъ едва начинаетъ пробуждаться умъ? Вѣра въ свою мысль, потребность развивать ее, еще высшая потребность—распространять эту мысль и привлекать на ея сторону, а иногда просто порабощать ей другихъ—вотъ качество, безъ котораго писатель—простой поденщикъ и ремесленникъ.

Но, разумѣется, надо было много пережить и испытать, прежде чѣмъ взяться за великое дѣло поученія другихъ. Писаревъ пережилъ и испыталъ многое.

Если читатель потребуетъ, чтобы я ясно и съ полной опредѣленностью объяснилъ переворотъ, происшедшій въ Писаревѣ,—его метаморфозу изъ благонамѣреннаго юноши въ передового журналиста, изъ благовоспитанной размазни—въ бойца и литературнаго рыцаря, смѣло вызывавшаго на бой всѣ темные призраки жизни, то я скажу, что такое требованіе отзывается метафизикой. Если Ньютонъ и Абель стали математиками, а не драматургами, если Дарвинъ и Гёксли прославились какъ естествоиспытатели, а не какъ повара, то причина этого—въ нихъ самихъ прежде всего и въ обстоятельствахъ времени, натолкнувшихъ ихъ на природное призваніе и позволившихъ этому призванію развиться. Обязанность біографа указать на моменты, способствовавшіе самоопредѣленію личности, не больше. Сущность же и смыслъ самоопредѣленія—тайна устройства мозга, посягать на раскрытіе которой преждевременно. Моментовъ, способствовавшихъ самоопредѣленію Писарева, было нѣсколько.

Прежде всего *духъ времени*—этотъ могущественнѣйшій факторъ какъ въ жизни всего общества, такъ и каждой отдѣльной личности. Духъ времени—и спасеніе, и проклятіе, смотря по тому, каковъ онъ. Могучій и радостный, онъ приподнимаетъ каждаго, влагая въ душу бодрость и вѣру; унылый и удрученный, онъ заталкиваетъ человѣка въ уголъ, въ лучшемъ случаѣ заставляя его поощрять книжную промышленность и торговлю, въ худшемъ—превращая его въ разбойника пера и печати, большой дороги или картежнаго притона. Но ни винить, ни благодарить за духъ времени нельзя отдѣльное поколѣніе.

Какъ сложился духъ времени 60-хъ годовъ?

Всякій, изучавшій исторію, знаетъ, какое громадное опредѣляющее значеніе имѣетъ тотъ фактъ, когда общество—это обыкновенно *разрозненное* цѣлое, отдѣльные элементы котораго даже шапочно незнакомы другъ съ другомъ и лишь «пущаютъ промежду себя революцію» вродѣ конкуренціи—сговорится по поводу хотя-бы одного только вопроса и дѣйствительно, душевно заинтересуется имъ. Чтобы вывести общество изъ обычнаго для него полусоннаго и чувственнаго состоянія, необходимо общепонятное и общедорогое знамя, общепонятный и общедорогой лозунгъ. Теперь напр. у насъ знаменъ и лозунговъ, говоря безъ преувеличенія, милліонъ двѣсти тысячъ. Наше общество—оркестръ безъ капельмейстера, гдѣ каждый дудитъ въ свою собственную дудку, настраиваетъ свой собственный инструментъ и съ недовѣріемъ посматриваетъ на своего сосѣда, личность котораго, вообще говоря, подозрительна. Одинъ идетъ пахать землю, другой поступаетъ на службу въ департаментъ, третій пишетъ... пишетъ... четвертый защищаетъ возмущающую душу диссертацію о прилагательныхъ Плавта (фактъ!), пятый готовитъ диссертацію (очевидно, чтобы не ударить лицомъ въ грязь!) о союзахъ въ трагедіяхъ Софокла. Общаго дѣла и общаго знамени нѣтъ. Повидимому всѣ—по крайней мѣрѣ громадное большинство могло бы согласиться на положеніи, что всѣмъ кушать надо, но такъ какъ каждому кажется, что если всѣ будутъ кушать, такъ ему мало останется, то не могутъ согласиться даже на этомъ. Въ 60-ые-же годы было общеинтересное знамя и общеинтересный лозунгъ. Я говорю объ отмѣнѣ крѣпостного права.

Полагаю, что ни для кого не секретъ, сколько по-истинѣ мужественныхъ и высокихъ усилій потратила русская интеллигенція для освобожденія крестьянъ. Вопросъ созрѣвалъ втеченіи 90 лѣтъ (немного долго), и въ концѣ концовъ власть и интеллигенція сошлись въ общемъ благомъ дѣлѣ. Освобожденіе кресть-

янъ было одинаково важно для мужика, барина, чиновника, разночинца. Вся предшествующая жизнь зиждилась на крѣпостномъ правѣ, уничтоженіе его знаменовало коренное измѣненіе и преобразованіе всего русскаго бытія. Была значитъ почва, на которой можно было сойтись, и почва, на которой можно было разойтись. То и другое одинаково важно, такъ какъ не любовь и не ненависть губятъ дѣло, а индифферентизмъ и малодушіе, т. е. то состояніе, въ которомъ какъ разъ теперь обрѣтаемся мы. Крестьянская эмансипація сосредоточила силы, дала направленіе мысли, опредѣлила ходъ «общеполезныхъ и общественно необходимыхъ работъ». Она явилась цементомъ общественной мысли и общественной эмоціи, пробудила страсти, вызвала невѣроятное оживленіе. На этомъ пирѣ мысли и чувства доставалась своя доля и свое мѣсто каждому.

Но—думается—эмансипація крестьянъ была только частностью или, если можно такъ выразиться, отдѣльнымъ рукавомъ того широкаго историческаго потока, который, затопивъ Европу, добрался наконецъ и до насъ. Имя этого потока—эмансипація личности вообще. Освобожденіе крестьянъ, эмансипація женщины, судъ присяжныхъ и пр., и пр. было не болѣе, какъ частностями эмансипаціи личности.

«Совершенно понятно, почему—говорилъ я въ другомъ мѣстѣ—идея эмансипаціи личности такъ страстно пропагандировалась русской журналистикой съ самой минуты ея сознательнаго пробужденія и проходитъ красной нитью черезъ сочиненія лучшихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ. На Западѣ личность сознала себя уже въ XVI вѣкѣ и потребовала себѣ вниманія и уваженія, хотябы въ области религіозныхъ вѣрованій. Карлейль увѣряетъ, что новую исторію надо начинать со словъ Лютера: «hier stehe ich und anders kann ich nicht. Gott helfe mir», т. е.: «я настаиваю на томъ, что это истина, иначе думать и вѣрить я не могу. Богъ да поможетъ мнѣ». Лютеръ сказалъ, что онъ имѣетъ право толковать священное писаніе, какъ *онъ* его понимаетъ, и вѣрить сообразно съ *своимъ* разумомъ. Французская революція признала личность, какъ политическую единицу, и лишь особенныя обстоятельства ограничили понятія личности принадлежностью къ одному классу собственниковъ—буржуа. Въ буржуазной-же средѣ личность достигла и экономической независимости, но опять это была не простая человѣческая личность, а собственница. Какъ бы то ни было, втеченіи XIX вѣка Европа добилась правовой эмансипаціи личности и могла всѣ усилія свои сосредоточить на томъ, чтобы дать праву реальность, т. е. обезпечить его въ экономическомъ отношеніи.

«У насъ по этой части все шло шиворотъ на выворотъ. Мы учились у Запада, жадно прислушивались къ тому, что проповѣдуется съ берлинскихъ каѳедръ и парижскихъ трибунъ, читали Жоржъ Занда, Блана и пр., а между тѣмъ государственная жизнь покоилась на крѣпостномъ правѣ, т. е. на полнѣйшемъ отрицаніи личности, семья—на идеяхъ Домостроя, отрицавшихъ личность жены и дѣтей передъ воплощеніемъ патріархальнаго права, т. е. отцомъ. Это противорѣчіе сразу бросалось въ глаза и въ 40-хъ, и 60-хъ годахъ не менѣе ярко, чѣмъ въ 20-хъ или даже въ предыдущемъ столѣтіи.

«Въ экономическомъ отношеніи крѣпостная Россія была сравнительно обезпечена и не безъ основанія вѣрила, что служитъ житницей Европы, способной уморить послѣднюю съ голоду, разъ та поведетъ себя нехорошо. Поэтому думать о вопросахъ экономическихъ было преждевременно, пока крѣпостная личность не получитъ права гражданства».

«Мужицкая» реформа, повторяю, была только лозунгомъ и отдѣльнымъ моментомъ общеевропейскаго историческаго потока...

Обстоятельства личной жизни Писарева поставили его очень рано съ глазу на глазъ съ вопросомъ о правахъ личности. Мы видѣли, какое кисейное и безтолковое воспитаніе получилъ онъ. Но въ его ученическіе годы произошло одно событіе—еще не упомянутое мной—именно онъ влюбился ребенкомъ въ свою кузину Раису, и эта-то любовь, вѣрнѣе противодѣйствіе этой любви и дало первый толчокъ къ пробужденію мысли.

Дѣтская влюбленность Писарева успѣла постепенно обратиться въ любовь и сосредоточила возлѣ себя всѣ его помыслы и вожделѣнія. Съ самаго дня отъѣзда въ гимназію онъ писалъ Раисѣ свои откровенныя, хорошія письма; пріѣзжая домой на каникулы, онъ столько-же радовался свиданію съ матерью, сколько свиданію съ той, образъ которой наполнялъ его дѣтскія и юношескія грезы.

Но тутъ-же на первыхъ порахъ онъ попадаетъ въ положеніе Ромео и видитъ цѣлый заговоръ, направленный противъ его счастья, противъ всего его будущаго. Жизни безъ Раисы онъ въ то время представить себѣ не могъ. А между тѣмъ семья и всѣ старыя патріархальныя традиціи сыновней покорности и безусловной власти родительской заявили ему, что такъ не будетъ и что такъ быть не должно.

Любовь къ Рапсѣ и противодѣйствіе этой любви и дали плоть и кровь тѣмъ отвлеченнымъ, теоретическихъ воззрѣніямъ, которыя усвоилъ онъ себѣ за это время, подчиняясь общему настроенію.

Съ какой точки зрѣнія могъ онъ защищать противъ матери, противъ семьи, противъ всего въ мірѣ наконецъ—свою любовь?

Этой точкой зрѣнія должно было явиться нравственное достоинство личности, ея право на собственное счастье...

Работа духа и мысли началась, но началась и семейная трагедія со всѣми ея тяжелыми, неизбѣжными послѣдствіями. Въ мирную, любовную жизнь Писаревыхъ впервые вторглись невеселые мотивы. Отцы и дѣти, какъ въ большинствѣ тогдашнихъ русскихъ семействъ, стояли другъ противъ друга, не понимая другъ друга, обмѣниваясь то недоумѣвающими, то враждебными взглядами.

Читатель долженъ прибавить къ этому живыя впечатлѣнія обновленной въ то время университетской жизни, которая, разставшись съ своимъ формализмомъ и оффиціозностью, пошла по новой дорогѣ и стала интересной, безпокойной, вдохновляющей. Профессора, какъ бы устыдившись своей вялости и апатіи, которымъ они предавались всецѣло въ предшествовавшую эпоху муштровки и дисциплины, перестали трепать все тотъ-же единожды составленный и многократно читанный курсъ и вмѣсто традиціонной симпатіи начальства постарались пріобрѣсти расположеніе своихъ слушателей. А эти слушатели были людьми хотя и молодыми, но уже охваченными общимъ возбужденіемъ, безпокойствомъ и порывами. Писаревъ, какъ членъ кружка жрецовъ чистой науки, попытался было взглянуть на своихъ новыхъ товарищей не-жрецовъ съ презрѣніемъ и высокомѣріемъ, но скоро убѣдился, что тѣ были дѣльные люди. «Новые студенты — говоритъ онъ—оперялись чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-нибудь два мѣсяца послѣ поступленія они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дѣльные вопросы и серьезные споры. Они затѣвали концерты въ пользу бѣдныхъ студентовъ, приглашали профессоровъ читать публичныя лекціи для той-же благотворительной цѣли; они устроили студенческую библіотеку; а мы, старые студенты, считавшіе себя цвѣтомъ университета и солью русской земли, мы остались въ сторонѣ, изобразили на лицахъ своихъ иронію и стали повторять стихъ Грибоѣдова: «шумите вы и только». Но скоро оказалось, что иронія наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успѣшно; оказалось, что движеніе и мысль пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ».

Соединивши воедино всѣ эти разнообразные моменты—разрывъ съ семьей во имя свободы своего «я», общественное возбужденіе, проникшее и за мирныя стѣны университета, невольное утомленіе отъ глупой и схоластической премудрости, которую Писаревъ по своей наивности считалъ за науку,—мы получимъ, кажется, достаточную коллекцію уважительныхъ для метаморфозы причинъ. Разумѣется, смѣло можно вообразить себѣ человѣка достаточно крѣпколобаго, на котораго ничто — даже громы небесные не подѣйствуютъ. Но вѣдь Писаревъ весь былъ затаенная страсть, скрытая вольница, затянутая въ крѣпкій корсетъ свѣтскаго воспитанія. Замѣтимъ, что въ это-же время (1859 г.) онъ сталъ работать (совершенно случайно) въ журналѣ Кремпина «Разсвѣтъ», издававшемся для дѣвицъ.

Однако всѣ эти распри и треволненія, всѣ эти раздоры и сердечныя муки, эта быстрая и рѣшительная ломка всѣхъ унаслѣдованныхъ понятій тяжело отразились на молодомъ организмѣ,—онъ не выдержалъ. Писаревъ сошелъ съума и попалъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ домъ умалишенныхъ, къ счастью не на-долго, всего на 4 мѣсяца. Послѣ этого онъ вернулся къ семьѣ и журналистикѣ.

Утверждаютъ, что существуетъ особаго рода журнальный ядъ и журнальный микробъ болѣе извѣстные подъ именемъ литературнаго зуда, разъ заразившись которыми, человѣкъ на всю жизнь становится безнадежнымъ или счастливымъ писателемъ, своего рода маттоидомъ пера. Относительно бездарностей замѣчаніе это какъ нельзя болѣе вѣрно. Даже и въ наше время полной литературной прострація журнальные и газетные маттоиды безчисленны. Что-же должно было быть тогда, когда писатели играли въ обществѣ первенствующую роль, когда имъ покланялись, за ними ухаживали, ихъ—это самое важное—слушали. «Тогда—говоритъ Шелгуновъ—и время было такое, что на пиру русской природы первое мѣсто принадлежало литератору. Никогда ни раньше, ни позже литераторъ не занималъ у насъ въ Россіи такого почетнаго положенія».

Литературная слава и вліяніе привлекали всѣхъ, и, Боже мой, сколько народу выступило тогда на поприще пера и печати. Имена этихъ второстепенныхъ тружениковъ давно забыты и нечего возстановлять ихъ. Большинство изъ нихъ покинули поприще съ разбитыми надеждами, обиженнымъ честолюбіемъ. Они были замѣтны еще при яркомъ блескѣ общественнаго возбужденія, сіяя заимство-

ваннымъ блескомъ, и скрылись во мракѣ, какъ только свѣтъ погасъ. Не то случилось съ Писаревымъ. Журнальная зараза была для него счастьемъ, потому что онъ нашелъ себя. Онъ сразу занялъ по праву принадлежавшее ему первое мѣсто. Природа и жизненный опытъ позволили ему не идти въ ряду другихъ, прикрываясь именами авторитетовъ, а самому встать во главѣ того движенія, которое раньше мы назвали эмансипаціей личности.

Онъ высоко ставилъ призваніе журналиста и оцѣнивалъ его дѣятельность, какъ поэтъ, какъ человѣкъ призванія, а не ремесленникъ или поденщикъ.

«Для меня — пишетъ онъ — журналистъ есть высшій идеалъ человѣка и благороднѣйшее существо. Я, какъ хорошій ремесленникъ, горжусь своимъ ремесломъ точно такъ-же, какъ имъ гордится въ Германіи каждый сапожникъ и булочникъ. Впрочемъ, если обстоятельства заставятъ отправиться въ мѣста отдаленнѣйшія и бросить журналистику, то и тутъ плакать нечего: куда-бы меня ни отправили, вѣдь дороги всюду есть, а средства на проѣздъ можно будетъ найти. Вѣдь я не безрукій и не безголовый человѣкъ. Работа найдется, а если будетъ работа, то средства будутъ. Неужели я только и способенъ быть, что литераторомъ? Въ случаѣ надобности, съумѣю быть и конторщикомъ, и домашнимъ учителемъ. Но, разумѣется, это лишь въ случаѣ безусловной крайности».

«Журналистика — пишетъ онъ отъ 24 дек. 64 г. — мое призваніе. Это я твердо знаю. Написать въ мѣсяцъ отъ 4 до 5 печатныхъ листовъ я могу незамѣтно и уже нисколько не утруждая себя; форма выраженія дается мнѣ теперь еще легче, чѣмъ прежде, но только я становлюсь строже и требовательнѣе къ себѣ въ отношеніи мысли, больше обдумываю, стараюсь яснѣе отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что пишу».

Какъ извѣстно, начиная съ 1861 г., Писаревъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и даже помощникомъ редактора «Русскаго Слова». Успѣхъ его статей превзошелъ самыя смѣлыя и нетерпѣливыя ожиданія. Имъ зачитывались большіе и малые, мужчины и женщины. Дальнѣйшая его біографія обращается въ постоянное литературное горѣніе. Писаревъ жегъ свой талантъ съ обоихъ концовъ. Впрочемъ и время было такое, что не жаль было жечь его. Весело было работать для внимательныхъ и возбужденныхъ слушателей, жадно ловившихъ каждое твое слово; весело и отрадно было сознавать, что ни одна трезвая, хорошая мысль не пропадетъ даромъ, а найдетъ себѣ сочувственный откликъ въ читательскомъ сердцѣ. Да, была тогда на свѣтѣ рѣдкая разновидность рода человѣческаго — *читатели*, — исчезнувшая и вымершая въ настоящее время порода людей. «Писатель попи-сываетъ, читатель почитываетъ» — такова формула грустной современности. «Писатель мыслитъ и пишетъ, читатель мыслитъ и дѣйствуетъ» — такова формула давнominувшаго. Сердечная связь между публикой и литературой необходима для благополучія обоихъ. Шапочное знакомство, взаимный обмѣнъ недоумѣвающими, а подчасъ и враждебными взглядами, писаніе «занятнаго» и исканіе «занятнаго» едва-ли полезно для кого-нибудь. Какъ истинный журналистъ, Писаревъ не только любилъ дѣло, — онъ любилъ читателя, и на такое къ себѣ вниманіе читатель того времени имѣлъ полное право.

«Теперь къ моему характеру — пишетъ онъ 17 янв. 1865 года — присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. *Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла.* Прежде я писалъ отчасти ради денегъ, отчасти для того, чтобы доставить себѣ удовольствіе; мнѣ пріятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чемъ не думалъ и не хотѣлъ думать. А теперь мнѣ представляется часто, что мою статью читаетъ гдѣ-нибудь въ глуши очень молодой человѣкъ, который еще меньше моего жилъ на свѣтѣ и очень мало знаетъ, а между тѣмъ желалъ-бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнѣ представляется такой читатель, то мною овладѣваетъ самое горячее желаніе сдѣлать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дѣльнымъ занятіямъ».

«Это навѣрное отражается и въ изложеніи моихъ статей, и въ выборѣ ихъ сюжетовъ, и это придаетъ процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестаетъ быть дѣломъ одной мысли и начинаетъ удовлетворять потребности чувства»...

Вернемся однако къ жизни Писарева. Отсылая за подробностями къ его біографіи, я ограничусь самымъ существеннымъ и необходимымъ. Въ 1862 году въ іюлѣ мѣсяцѣ за одну статейку, напечатанную имъ въ подпольномъ органѣ, онъ попалъ въ крѣпость, гдѣ и просидѣлъ 4 года съ половиной. Оторванный отъ семьи и общества, отъ своихъ литературныхъ друзей и развлеченій юности, Писаревъ однако не упалъ духомъ. Напротивъ того:

«Во время пяти-лѣтняго заключенія — читаемъ мы въ его біографіи — въ крѣпости развернулись всѣ лучшія стороны писаревской души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа. Перечтите такія статьи, какъ «Наша университетская наука», «Реалисты», «Романъ кисейной дѣвушки», «Промахи незрѣлой мысли», — гдѣ-же тутъ хотя-бы тѣнь вполнѣ законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ-лѣтняго литератора не было ни на іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіи, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Писаревъ совершенно не зналъ, что съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ-ли его въ ссылку, или оставятъ на мѣстѣ Но и эта неопредѣленность по-

ложенія – самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ— не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тотъ день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ той-же работой, съ такими-же планами вышелъ изъ крѣпости. Написанныя имъ за эти годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печатались въ «Русскомъ Словѣ».

Отмѣчу любопытный фактъ, что наибольшее число листовъ и статей (притомъ самыхъ блестящихъ), написанныхъ Писаревымъ, относится къ 1865 году, или третьему году его заключенія. Это фактъ, не требующій комментарій.

Но какъ ни былъ полонъ мужества молодой литераторъ, минуты уныніе и тяжелаго раздумья находили и на него. Однажды онъ написалъ матери слѣдующія строки изъ крѣпости:

«Я — человѣкъ полный жизни; мнѣ необходимо, чтобы жизнь затрогивала меня съ разныхъ сторонъ, а между тѣмъ жизнь моя полтора года тому назадъ остановилась и замерзла въ одномъ положеніи. Сначала самая остановка эта, самый застой жизни былъ для меня новымъ и очень сильнымъ впечатлѣніемъ, но теперь я уже извлекъ изъ этого новаго положенія все, что можно было извлечь. Я развился и окрѣпъ въ моемъ уединеніи, и теперь я чувствую, что мнѣ было бы очень полезно и пріятно перейти въ какую нибудь новую сферу жизни. Я залежался на одномъ мѣстѣ и потому буду чрезвычайно радъ, когда меня куда-нибудь сдвинутъ. Куда—я объ этомъ не спрашиваю. Я ко всему съумѣю привыкнуть и всегда найду возможность быть спокойнымъ и довольнымъ».

Къ счастью, пятилѣтній срокъ заключенія былъ сокращенъ. Писарева выпустили на свободу нѣсколько ранѣе, чѣмъ предполагалось. Увы! – однако мерзость жизни какъ будто ожидала его на порогѣ крѣпости и съ ожесточеніемъ набросилась на него немедленно послѣ освобожденія. Въ 66-мъ году «Русское Слово» появилось только въ январѣ; но затѣмъ Благосвѣтлову было разрѣшено издавать «Дѣло», гдѣ Писаревъ успѣлъ напечатать лишь одну статью («Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ») и затѣмъ, разссорившись съ редакторомъ, остался не у дѣлъ. Напряженная работа, неустанное горе утомили его и надорвали его силы. Перейдя работать въ «Отечественныя Записки», онъ снова ободрился, но судьба уже вычеркнула его изъ списка живыхъ. 27-ми лѣтъ отъ роду онъ утонулъ на лѣтнихъ купаньяхъ въ Дубелнѣ лѣтомъ (4-го іюля) 1868 года; холодныя волны поглотили одинъ изъ самыхъ мощныхъ талантовъ земли русской.

III.

Я долженъ охарактеризовать теперь міросозерцаніе Писарева. Но предварительно мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о міросозерцаніи нашихъ дней. Какъ ни разнообразно оно въ томъ или другомъ общественномъ слоѣ, у того или другого отдѣльнаго человѣка,— во всѣхъ его проявленіяхъ есть одна общая черта: наклонность къ пессимизму, своего рода утомленіе личности. Далеко не съ вѣрой и упованіемъ смотримъ мы на жизнь, увы!—вѣра и упованіе давно уже утеряны нами. Мы всѣ проникнуты скорѣе сознаніемъ своего безсилія, чѣмъ силы.

Наше время склонно къ пессимизму. Шопенгауэра, котораго знать не хотѣли при его жизни, читаютъ и перечитываютъ. Доходятъ даже до восточныхъ мудрецовъ, цитируютъ Конфу-тзе и Лао-тзи, восторгаются Буддой и пр., и это самоуглубленіе, этотъ излишній интересъ къ нравственнымъ вопросамъ жизни какъ нельзя лучше показываетъ, что мы утеряли всякую бодрость и склонны къ безплодному, хотя и всестороннему разсмотрѣнію вопроса: «что-же намъ дѣлать?» Мы стоимъ на точкѣ зрѣнія личности, мы требуемъ для себя всего, мы не желаемъ признавать «общественныхъ» ограниченій своему «я», — отсюда наша неудовлетворенность, наше шатаніе мысли, наше странствованіе по пустынѣ Аравійской. *Мы по необходимости пессимисты, ибо утеряли реализмъ мышленія.*

Отсутствіе пессимистическаго мышленія и бросается прежде всего въ глаза у людей 60-хъ годовъ. Этимъ они обязаны прежде всего тому, что не страдали страшной и общей болѣзнью нашихъ дней — гипертрофіей личности, ея самообожаніемъ, ея наклонностью ставить себя превыше всего земного и небеснаго. Мы —личники и, какъ таковые, претерпѣваемъ всѣ муки, сопряженныя съ этимъ узкимъ міросозерцаніемъ. Вѣдь если я самъ кажусь себѣ выше лѣса стоячаго и чуть-чуть пониже облака ходячаго, то что въ дѣйствительности можетъ удовлетворить меня? L'appétit vient en mangeant. Мое я, воображающее себя вселенной, не признающее надъ собой никакихъ ограниченій, вѣчно голодаетъ, вѣчно жаждетъ, сколько бы ни кормили и ни поили его. Съ нами (простите за комплиментъ) случилось то-же самое, что и съ европейцами, исторія умственнаго развитія которыхъ прекрасно доказываетъ, что эмансипація личности—палка о двухъ концахъ, и много-много еще надо потрудиться, прежде чѣмъ эта эмансипація станетъ не призрачной, а реальной. Разумѣется, какъ и все, дѣло происходило у насъ въ меньшемъ масштабѣ: мы менѣе развиты, чѣмъ европейцы, у насъ нѣтъ ихъ политическихъ правъ, нѣтъ исторической выдержки. Оттого-то картина нашей эмансипаціи по необходимости была мизернѣе. Но—безразлично, большая или маленькая, мизерная или внушительная,—эмансипація произошла. Это слу-

чилось въ 60-хъ годахъ, и освобожденіе крестьянъ, повторяю, было лишь частностью, отдѣльнымъ рукавомъ широкаго историческаго потока. Развитіе ежедневной прессы и прессы вообще, усилившееся до поразительной степени вліянія слова, высшіе женскіе курсы, паденіе крѣпостного права, появленіе на всѣхъ поприщахъ общественной дѣятельности разночинца,—все это говоритъ намъ, какъ насущна, неотложна была эмансипація личности, какъ смѣло рвалась эта личность впередъ... и вдругъ...

Совершенно какъ на Западѣ—за акціей началась реакція.

Процессъ, происшедшій въ Европѣ, описанъ Брандесомъ въ слѣдующихъ словахъ:

«Личность освобождается. Не довольствуясь пребываніемъ въ мѣстѣ, указанномъ случаемъ или рожденіемъ, не удовлетворяясь обработкой унаслѣдованнаго клочка земли, человѣкъ при наступленіи демократіи впервые чувствуетъ въ буквальномъ смыслѣ слова міръ открытымъ для себя. Какой прогрессъ сравнительно со всѣми прежними эпохами! Сразу кажется, какъ-будто все сдѣлалось возможнымъ и какъ-будто самое слово «невозможность» утратило всякій смыслъ. Но въ то самое время, когда возможность достиженія такимъ образомъ возросла, силы не возросли въ той же степени; изъ сотни тысячъ людей, передъ которыми открылись такимъ неожиданнымъ образомъ карьеры, лишь одинъ можетъ быть былъ въ состояніи достичь желанной цѣли,—а кто возьмется увѣрить человѣка, что не ему именно и суждено быть этимъ избранникомъ? Разнузданная меланхолія является естественнымъ послѣдствіемъ разнузданнаго желанія. А къ великой, бѣшеной скачкѣ на призы и не всякій безъ исключенія имѣетъ доступъ; всѣ люди, чувствующіе себя связанными по какой-либо причинѣ съ старымъ порядкомъ вещей, и болѣе утонченныя, менѣе толстокожія натуры, которыя охотнѣе мечтаютъ, чѣмъ дѣйствуютъ, чувствуютъ себя исключенными изъ жизни и сторонятся отъ нея. По мѣрѣ того, какъ они все больше и больше сосредоточиваются въ себѣ, въ нихъ пробуждается вмѣстѣ съ погруженіемъ въ рефлексію болѣе сильное самосознаніе, а какъ результатъ его—и болѣе интенсивная способность къ страданію. Наиболѣе развитой организмъ вѣдь и страдаетъ болѣе всѣхъ другихъ. Сюда-же присоединяется и то, что въ то время, какъ старое общество разлетается на куски, личность лишается полезнаго давленія, удерживавшаго ее въ извѣстныхъ соціальныхъ рамкахъ и мѣшавшаго ей придавать себѣ безграничную цѣну и значеніе. Такимъ образомъ возможность для самообожанія открывается всюду, гдѣ самообладаніе не настолько сильно, чтобы замѣнить вліяніе прежней общественной организаціи. И въ то время, когда все кажется возможнымъ, все кажется и дозволеннымъ вмѣстѣ съ тѣмъ. На каждый запретъ у него готовъ отвѣтъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ является и страшнымъ вопросомъ,—началомъ всякаго человѣческаго знанія и человѣческой свободы,—вопросомъ: «Почему?»

У насъ было то самое, только въ меньшихъ, гораздо меньшихъ размѣрахъ. Изъ блаженной для многихъ обстановки крѣпостного права, изъ-подъ государственной опеки эпохи Николая I-го мы какъ-будто перешли въ жизнь, гдѣ можетъ свободно происходить игра нашихъ силъ и страстей. Оказалось однако, что исторія только поманила насъ и очень скоро, какъ строгій гувернеръ, замѣтила: «пошалили и будетъ». Наша эмансипація оказалась построенной на пескѣ. Новыя экономическія отношенія, конкуренція и пр. утомили и ожесточили насъ. Усталые, запыленные—бредемъ мы теперь по тернистому пути отъ рожденія до могилы, и какъ-бы ни прикрывали своего разочарованія, оно существуетъ. Оно-то между прочимъ и не позволяетъ намъ сосредоточиться на реальныхъ задачахъ жизни и реальныхъ интересахъ современности, хотя спасеніе, разумѣется, только тамъ, только въ томъ, что дѣйствительно нужно, что дѣйствительно полезно.

Въ обществѣ, уклонившемся отъ реальныхъ задачъ жизни, по необходимости должно проявиться съ одной стороны тупоголовое самодовольство, съ другой—неудовлетворенность, посылающая человѣка то въ интеллигентную колонію, то въ преждевременную могилу. Квартетъ изъ сотрудника «Гражданина», интеллигентнаго колониста, кафе-шантанной пѣвички и шестнадцатилѣтняго юноши, покупающаго револьверъ, даетъ свои музыкально-вокальныя представленія ежедневно и неустанно.

Ко всему этому можно привыкнуть, но трудно со всѣмъ этимъ примириться. Что утѣшительнаго въ точкѣ зрѣнія Чехова, увѣряющаго, что мы—обреченное поколѣніе; что утѣшительнаго въ ученіи Толстого, старающагося убѣдить насъ, что «счастье—внутри», въ то время, когда не безъ большого основанія мы ищемъ опоры для него внѣ насъ? Надо же искать какого-нибудь другого исхода, искать хотя-бы во имя спасенія своей личности, которую такъ энергично затягиваетъ житейская тина. Во той или другой формѣ долженъ возродиться пережитый нами тридцать лѣтъ тому назадъ *реализмъ мышленія, какъ проявленіе общественнаго на-*

чала въ личности. Личность опять должна найти для себя «спасительное давленіе», и это давленіе должно исходить отъ общества.

Я не желаю переоцѣнивать 60-ые годы и увѣрять читателя, что всѣ тогдашніе дѣятели ходили со звѣздой во лбу. Дураковъ и подлецовъ было и тогда не мало, глупостей и пошлостей говорилось въ изобиліи. Но звучала одна струна, искупающая многое, и мы постараемся поближе ознакомиться съ этой струной—хотя бы по произведеніямъ одного только Писарева.

Прежде всего замѣтимъ, что онъ былъ мужественный человѣкъ. Его мужество съ одной стороны отражалось на его міросозерцаніи, съ другой—зависѣло отъ этого послѣдняго и находило въ немъ свою опору. Недавно ему была дана такая характеристика:

«Честолюбіе не мучило его, но онъ зналъ себѣ цѣну и требовалъ ея признанія. Быстрый, имѣющій мало подобныхъ себѣ въ исторіи литературы успѣхъ не вскружилъ ему голова, а напротивъ, какъ здоровому человѣку, придалъ еще больше силъ, еще больше желанія работать на томъ поприщѣ, гдѣ его сразу встрѣтили съ изумленіемъ и восторгомъ, злобою, негодованіемъ и завистью. Въ немъ была чудная черта мужества жизни, не дававшая ему впадать въ уныніе. Онъ сильно и бодро смотрѣлъ въ глаза будущему, готовый на все—удачи и неудачи, радости и испытанія. Перечтите его письма изъ крѣпости, припомните его гордыя слова послѣ прекращенія «Русскаго Слова». Только неномѣрная работа подточила его силы и мужество, но не неудачи. Годъ или два полнаго отдыха—вотъ все, что ему нужно было, чтобы засвѣтить попрежнему, но—увы!—не въ наше торгашеское время можно отдохнуть, и сколько силъ, сколько талантовъ упало измученными среди дороги, сколько плетутся по ней, утерявъ бодрость и вѣру отъ простого переутомленія...

Обычныя явленія нашей русской душевной жизни, извѣстныя подъ именемъ «больная совѣсть», «больной умъ», «больная душа», не были, къ счастью, знакомы Писареву. Живя въ душной атмосферѣ, привыкшіе вдыхать всякую копоть и всякій чадъ, иные выработали совершенно особенное мѣрило для людей. Они цѣнятъ и такихъ, кто совершенно подавленъ жизнью, кто утерялъ всякую смѣлость и бодрость душевную, кто не смѣетъ признать своего права на личное счастье, кто ушелъ въ уголъ и страдаетъ тамъ, униженный и пригнетенный. Отчасти они правы. Но для жизни безконечно дороже другіе—бодрые и смѣлые, готовые на борьбу и побѣду, съ сильно развитымъ чувствомъ своего достоинства, своихъ неотъемлемыхъ правъ на свѣжій воздухъ, на широкое, человѣческое существованіе».

Источниковъ этого мужества является между прочимъ трезвость мысли. Быть трезвымъ мыслителемъ возможно только при томъ условіи, чтобы не только съ полнымъ вниманіемъ и уваженіемъ относиться къ фактамъ дѣйствительной жизни, но также провѣрять ими свои теоретическіе выводы и выкладки, свои симпатіи и антипатіи, свою любовь и ненависть, и стремленія. Я не хочу этимъ сказать, чтобы люди, разсуждающіе на практическомъ основаніи, никогда не ошибались. Errare humanum est. Но все-же крупицы истины всегда есть тамъ, въ основу чего положены документы человѣческой жизни. «Слова и иллюзіи гибнутъ, факты остаются». Они могутъ являться передъ нами въ новыхъ комбинаціяхъ, подвергнуться новой критической провѣркѣ, послужить основаніемъ новаго вывода, но только въ нихъ можемъ мы найти полное обезпеченіе противъ схоластичности. Отчего напримѣръ слава Дидро такъ распустилась въ наше время? Причина ясна: Дидро былъ почти единственнымъ мыслителемъ XVIII вѣка, который вѣрилъ въ изслѣдованіе. Для практики въ стилѣ, для пріобрѣтенія исторической перспективы мы можемъ читать Вольтера и Руссо, но близокъ и родствененъ намъ по духу лишь Дидро, предчувствовавшій, куда пойдетъ XIX вѣкъ. Теоріи, созданныя настроеніемъ, могутъ быть пріятны и утѣшительны, какъ была пріятной и утѣшительной система Гегеля, идея Мальтуса и пр. Но работникъ ищетъ не утѣшенія для сердца, а облегченія для своихъ мускуловъ.

Есть въ жизни XIX вѣка одинъ крупнѣйшій фактъ, не видѣть котораго значитъ не видѣть ровно ничего. Фактъ этотъ—прогрессъ бѣдности. Надо положительно обладать безнадежными умственными способностями, чтобъ не замѣтить этого крупнѣйшаго факта и пытаться заслонить его младенчески-философическими разсужденіями на тему о пространствѣ и времени, смерти и жизни, духѣ и матеріи. Ни въ чемъ такъ рѣзко не проявляется схоластичность нашего мышленія и его грустное состояніе, какъ въ томъ, что въ годину страшнаго голода основываются метафизическіе журналы и съ развязностью проповѣдуется: «къ счастью, интересъ россійскаго общества къ нравственнымъ и философскимъ вопросамъ значительно возросъ». Неправда-ли, преинтересный эпизодъ! Констатируется «интересъ къ нравственности» въ то время, когда, несмотря на всѣ слезливыя, трагическія, душераздирающія сообщенія изъ «мѣстностей, пострадавшихъ отъ неурожая», русское общество нехотя и вяло несло свои гроши на пользу народу, достаточно поработавшему для него и все еще держащему его на своихъ плечахъ! Не схоластикали это въ самомъ дѣлѣ?... Крупнѣйшаго факта нашей современности мы не признаемъ и какъ-будто отказываемся признать его и роль, какую играетъ онъ въ нашемъ міросозерцаніи? Повидимому онъ бы долженъ былъ занимать первое мѣсто, под-

чинить себѣ наши системы воспитанія, нашу общественность и, правильно и широко понятый, даже нашу нравственность, однако ничего этого нѣтъ.

Я употребилъ выраженіе «прогрессъ бѣдности» и теперь долженъ ограничить его въ томъ смыслѣ, что бѣдность существовала всегда, вопросъ-же объ ней только обострился въ настоящее время. Но это-то и важно, что онъ обострился, это-то и показываетъ, на чемъ должны сосредоточиться усилія исторіи, куда идетъ ея эволюція (хотимъ ли мы этого или не хотимъ—безразлично), на какой почвѣ будутъ разыгрываться грядущія трагедіи, предупредить которыя какими-нибудь раціональными путями лежитъ на обязанности каждаго мыслящаго человѣка. И въ этомъ отношеніи при большей энергіи и мужествѣ мы могли бы почесть себя счастливыми, потому что исторія раскрыла намъ свою завѣсу и откровенно показала, что будетъ она дѣлать слѣдующія 50—100 лѣтъ.

Мы можемъ быть слѣдовательно навѣрняка, зная, что всякое наше разумное усиліе для побѣды надъ нищетой есть усиліе историческое, память о которомъ (если ужъ это кого-нибудь прельщаетъ) занесетъ на свои страницы исторія Но мы счастливы еще и въ томъ отношеніи, что исторія XIX вѣка не можетъ сыграть съ нами той злой и скверной шутки, которую она не разъ играла надъ многими и многими изъ нашихъ предковъ. Вѣдь на самомъ дѣлѣ бываютъ эпохи, когда мудрено или почти совершенно невозможно быть нравственнымъ въ широкомъ смыслѣ этого слова. Возьмите напримѣръ эпоху паденія Западной Римской имперіи. Что могъ сдѣлать тогда нравственный и добродѣтельный человѣкъ? Поддерживать имперію? Но вѣдь это только затягивало бы родовыя муки исторіи, эволюція которой очевидно обусловливала побѣду германскихъ варваровъ. Содѣйствовать германскимъ варварамъ? Но это было бы измѣной и предательствомъ родинѣ. Человѣкъ стоялъ возлѣ трупа и по необходимости заражался мертвымъ ядомъ. Прогрессъ, эволюція, рокъ, необходимость были на сторонѣ Одоакра, Аларіха, Теодориха. Они и ихъ косматые воины носили въ себѣ жизнь. Гонорій и Ромулъ Августулъ носили въ себѣ смерть. Быть истинно нравственнымъ въ то время, т. е. содѣйствовать историческому прогрессу, значило, повторяю, быть предателемъ и измѣнникомъ своей родины. Обреченные на служеніе смерти, а не жизни, реакціи, а не прогрессу, торможенію исторіи, а не ея развитію—даже лучшіе римскіе люди эпохи упадка поневолѣ впадали въ пессимизмъ и отчаяніе, создавали стоическія, гностическія и пр. «выстраданныя» теоріи. Чтобы спастись отъ страшнаго противорѣчія, въ какое поставила ихъ исторія, они углублялись въ самихъ себя, сидѣли годами надъ вопросомъ: «что-же намъ дѣлать?», гибли героями на поляхъ битвы съ германцами, чувствуя, что эти геройскіе подвиги только длятъ предсмертныя корчи имперіи и ставятъ лишнюю преграду молодой жизни, смѣло рвавшейся впередъ,—жизни, которой грядущее обѣщало счастье, удачу, любовь и наслажденіе. Все, что могли сдѣлать лучшіе люди той эпохи, это быть нравственными въ самихъ себѣ и по необходимости безнравственными въ историческомъ смыслѣ. Прекрасные семьяне, честные граждане—они тормозили исторію тѣмъ больше, чѣмъ прекраснѣе и честнѣе были они!.. Но мы не находимся въ такомъ положеніи. Правила Христа и принципъ самоуваженія, чувство справедливости и роковой ходъ исторіи—все это соединилось въ томъ, чтобы (будемъ надѣяться) спасти на умную, позитивную голову XX-го вѣка безсмертный вѣнокъ отъ всѣхъ трудящихся и обремененныхъ.

Всякій понимаетъ, что вопросъ о бѣдности—вопросъ частный. Есть нѣчто болѣе широкое—это вопросъ труда, его успѣшности, его облагораживающаго или унижающаго вліянія на человѣка. Если мы снесемъ въ архивъ всѣ декораціи исторіи, не позволимъ оглушать себя ея бубнами и литаврами, то увидимъ, что въ любую эпоху этотъ вопросъ труда, сознанный или несознанный, являлся центральнымъ и узловымъ. Если для большинства исторія все еще выражается той формулой, что «Александръ пошелъ, Дарій побѣжалъ, Александръ шелъ, Дарій бѣжалъ, Александръ дошелъ, Дарій добѣжалъ» и потомъ оба умерли, одинъ 326 г., другой 323 г., — то виноваты въ этомъ академическій синклитъ и умственное убожество самого большинства.

Реальное мышленіе XIX-го вѣка вопросъ о трудѣ ставитъ въ голову другихъ вопросовъ, потому что этотъ вопросъ самый важный и вліятельный. Любопытно взглянуть, какъ смотрѣлъ на это Писаревъ.

Въ одной изъ лучшихъ своихъ статей онъ изложилъ свои воззрѣнія на ходъ всемірной исторіи, и нѣсколько цитатъ покажутъ, что это были за воззрѣнія:

«Исторія человѣчества представляетъ намъ безконечное разнообразіе лицъ и событій, идей и стремленій, политическихъ системъ и нравственныхъ переворотовъ. Подъ этимъ разнообразіемъ формъ кроются двѣ *основныя* потребности человѣка,—двѣ такихъ потребности, безъ удовлетворенія которыхъ не могъ

бы ни улучшить свое матеріальное и интеллектуальное положеніе, ни даже поддерживать бренное существованіе личности и породы»... Что же это за потребности? «Первая заключается въ томъ, что человѣкъ долженъ предохранить свое тѣло отъ разрушительныхъ вліяній окружающей природы», вторая—«въ томъ, что человѣкъ долженъ (ради наилучшаго удовлетворенія первой) сближаться съ человѣкомъ, помогать ему въ его предпріятіяхъ и въ свою очередь находить въ немъ естественнаго помощника и защитника».

Очевидно, что чѣмъ полнѣе и легче удовлетворяются обѣ основныя потребности, тѣмъ лучше для человѣка, однако—«лѣтописи и легенды наполнены разсказами о великихъ подвигахъ завоевателей. На равнинахъ Египта возвышаются до сихъ поръ колоссальныя пирамиды. Въ первомъ случаѣ мы видимъ, что густыя массы людей встрѣчаются съ другими густыми массами такихъ-же людей, и что естественные союзники и помощники истребляютъ другъ друга съ особеннымъ удовольствіемъ. Во второмъ случаѣ мы видимъ, что люди борются съ внѣшней природой, преодолѣваютъ страшныя трудности и препятствія для того, чтобы обтесать и наложить кучу камня, которая не дастъ имъ ни пищи, ни одежды, ни жилища».

Достигнуть осуществленія завѣтнѣйшихъ стремленій своего сердца человѣкъ можетъ лишь въ томъ случаѣ, когда, не упуская ни на минуту изъ вида своихъ основныхъ потребностей, онъ будетъ совершенствовать все то, что способствуетъ ихъ удовлетворенію, и устранитъ все, что препятствуетъ этой цѣли. Кажется и просто, и ясно, однако трудъ до сей поры не приносилъ человѣку счастья, и большая его часть потрачена на вѣтеръ. Завоеватели побѣждали, разгромляли, воздвигали пирамиды, а въ результатѣ—безконечная лѣтопись исторіи, ея запыленныя, въ большинствѣ случаевъ никому ненужныя страницы, и тамъ и здѣсь памятники глупости и минутнаго величія среди пустынь ливійскихъ. Невольно припоминается чудное стихотвореніе Шелли:

«Я встрѣтилъ путника. Онъ шелъ изъ странъ далекихъ
И мнѣ сказалъ: «Вдали, гдѣ вѣчность сторожитъ
Пустыни тишину, среди песковъ глубокихъ
Обломокъ статуи распавшейся лежитъ.
. . . . И сохранилъ слова обломокъ изваянья:
«Я—Озимандія, я—мощный царь царей!
Взгляните на мои великія дѣянья,
Владыки всѣхъ временъ, всѣхъ странъ и всѣхъ морей!»
Кругомъ нѣтъ ничего... Глубокое молчанье...
Пустыня мертвая... И небеса надъ ней».

Писаревъ, какъ мы видѣли только-что, въ своемъ пониманіи всеобщей исторіи всталъ на вполнѣ реальную точку зрѣнія. Развитію ея посвящена вся упомянутая нами статья, гдѣ тщательно опредѣляются всѣ тѣ условія общественной жизни, которыя мѣшаютъ труду исполнить свое назначеніе и обезпечить человѣческое счастье. Замѣчу кстати, что Писаревъ выказалъ здѣсь основательное знакомство съ политической экономіей, безъ помощи которой если вообще и возможно толковать исторію, то развѣ въ предѣлахъ гимназическаго курса. Писаревъ разбираетъ теоріи Мальтуса, Рикардо, Милля, опираясь на положеніе, мало популярное въ его время, что единственнымъ факторомъ въ образованіи цѣнности является человѣческій трудъ. Очень остроумно по поводу формальнаго пониманія исторіи замѣчаетъ онъ, что «переходъ отъ одного вида войны къ другому и отъ одной формы рабства къ другой называется благозвучнымъ именемъ историческаго прогресса». Вполнѣ реалистически существеннѣйшимъ факторомъ прогресса онъ считаетъ приростъ населенія, такъ какъ только многочисленное населеніе обезпечиваетъ непрерывность труда и возможность ассоціацій. Къ сожалѣнію, мнѣ некогда слѣдить за аргументами Писарева, почему я ограничусь лишь тѣмъ, что напомню читателю конецъ статьи:

«Человѣческое общество въ первоначальной его формѣ можно представить себѣ въ видѣ пирамиды, разгороженной въ нѣсколько этажей. Въ самомъ нижнемъ работаютъ люди, добывающіе сырые матеріалы, и ихъ этажъ составляетъ основаніе всего строенія. Во второмъ этажѣ совершается механическая и химическая переработка добытыхъ матеріаловъ. Въ третьемъ дѣйствуютъ люди, занимающіеся перевозкой и устраивающіе пути сообщенія. Въ четвертомъ обитаютъ всѣ разнообразные классы людей, живущихъ производительнымъ трудомъ нижняго этажа... Равновѣсіе этой общественной пирамиды будетъ тѣмъ устойчивѣе, чѣмъ обширнѣе будутъ нижніе два этажа въ сравненіи съ верхними и чѣмъ значительнѣе вѣсъ нижнихъ этажей будетъ превышать тяжесть верхнихъ. И такъ какъ специфическая сила человѣка заключается не въ мускулахъ, а въ мозгу, то вѣсомъ человѣка въ переносномъ смыслѣ слова можетъ быть названа сумма его дѣятельныхъ умственныхъ способностей, почему въ массахъ земледѣльцевъ и фабричныхъ должно сосредоточиваться и обращаться больше знаній, чѣмъ въ другихъ кучкахъ людей».

Разумѣется, этимъ признаніемъ за трудомъ первенствующей роли въ жизни далеко не исчерпывается реализмъ Писарева. Онъ стремился разработать свою излюбленную идею съ полной ясностью и вразумительностью. Съ первыхъ-же шаговъ своей литературной дѣятельности онъ, не называя ея, явился ея горячимъ адептомъ. Онъ дебютировалъ, какъ извѣстно (не считая пробъ пера вродѣ «Идеализма Платона»), статьей «Схоластика XIX-го вѣка», одно заглавіе которой многознаменательно. Въ своей постоянной полемикѣ съ Антоновичемъ онъ защищаетъ свой реализмъ со всѣмъ блескомъ полемическаго таланта и излагаетъ profession de foi въ «Реалистахъ», этой рѣшительной статьѣ, имѣющей такое-же значеніе для 60-хъ годовъ, какъ и «Темное царство» Добролюбова.

Принципъ реализма, къ какой бы сферѣ общественной жизни и дѣятельности мы ни прилагали его, требуетъ демократизаціи искусства, науки, философіи и всевозможныхъ благъ жизни. Это строго необходимый выводъ изъ посылки, что «нижній этажъ долженъ быть тяжелѣе». Для кого — спрашиваетъ напр. Писаревъ — существуетъ литература? и отвѣчаетъ:

«Для незначительнаго кружка избранныхъ, такъ какъ гг. литераторы не желаютъ спуститься до той жаждущей умственной пищи части общества, которая стоитъ на рубежѣ двухъ элементовъ — народа и интеллигенціи, и «какъ будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаній сверху внизъ». Словомъ, средніе и низшіе слои интеллигенціи игнорируются журналистикой. Какъ-же подойти къ нимъ, какъ-же сблизиться съ ними? Для этого прежде всего надо стоять на почвѣ практической дѣятельности, на почвѣ факта, надо почаще прибѣгать къ здравому смыслу вмѣсто отвлеченныхъ и книжныхъ теорій».

«Отвлеченности (т. е. идеализмъ, спиритуализмъ, супранатурализмъ и пр.) могутъ быть интересны и понятны только для ненормально развитого, очень незначительнаго меньшинства. Поэтому ополчаться всѣми силами противъ отвлеченности въ наукѣ мы имѣемъ полное право по двумъ причинамъ: во-первыхъ, во имя цѣлостности человѣческой личности, во-вторыхъ, во имя того здороваго принципа, который, постепенно проникая въ общественное знаніе, нечувствительно сглаживаетъ грани сословій и разбиваетъ кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизмъ — явленіе опасное именно потому, что онъ дѣйствуетъ незамѣтно и не высказывается въ рѣзкихъ формахъ. Монополія знаній и гуманнаго развитія представляетъ конечно одну изъ самыхъ вредныхъ монополій. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массѣ? Что за искусство, котораго произведеніями могутъ наслаждаться только немногіе спеціалисты? Вѣдь надо-же помнить, что не люди существуютъ для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли изъ естественной потребности человѣка наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мѣшаютъ жить, если они разъединяютъ людей, если они кладутъ основаніе кастамъ, такъ и Богъ съ ними, мы ихъ знать не хотимъ; но это не правда; истинная наука ведетъ къ осязательному знанію, а то, что осязательно, что можно ощупать руками, разсмотрѣть глазами, то пойметъ и десятилѣтній ребенокъ, и простой мужикъ, и свѣтскій человѣкъ, и ученый спеціалистъ».

Со страстью молодости, съ полной вѣрой въ себя борется онъ съ грандіозной арміей схоластиковъ XIX вѣка — этимъ грустнымъ наслѣдіемъ среднихъ вѣковъ, и его краснорѣчивая защита реализма не утеряла своей цѣны и въ настоящее время. Развѣ роль, которую играютъ теперь всевозможные метафизики, — не торжество схоластики? Ищутъ душу. Что за прекрасная и возвышенная задача, во имя которой смѣло можно забыть и хроническій голодъ, и безпросвѣтную тьму невѣжества многомилліоннаго народа русскаго!

Я не имѣю возможности изложить въ подробности реализмъ Писарева и ограничусь лишь важнѣйшими его сторонами. Въ области философіи Писаревъ держится положенія, которое, будучи правильно понято, устраняетъ всякое метафизическое слововерженіе. «Невозможность очевиднаго проявленія исключаетъ дѣйствительность существованія», говоритъ онъ, становясь такимъ образомъ на сторону Дидро и Юма. Слово «исключаетъ» быть можетъ и покажется нѣсколько смѣлымъ, но что̀ другого могъ сказать человѣкъ, для котораго практическія неотложныя задачи жизни играли всегда первую роль? Писать и говорить о томъ, чего мы не видимъ, не слышимъ и не осязаемъ, можно много, и люди цѣлые вѣка занимались этимъ, но что̀ полезнаго и нужнаго оставили намъ вся схоластика и вся метафизика? Нѣсколько великихъ именъ, къ которымъ мы однако не можемъ чувствовать состраданія за даромъ потраченныя ими усилія, — груды фоліантовъ, которые если и читаютъ, то лишь потому, что наука все еще гнѣздится въ кружковщинахъ и находится на содержаніи у государства. Въ практическомъ отношеніи для насъ важно лишь то, что мы можемъ познать, а познаемъ мы лишь черезъ проявленіе.

Съ той-же горячностью къ неотложнымъ задачамъ жизни Писаревъ смотритъ на человѣка прежде всего, какъ на *работника*. Всемірная исторія даетъ намъ грандіозную картину борьбы трудового начала со всевозможными стоящими на его пути препятствіями. Не смотря ни на что, оно должно побѣдить, если человѣчество не захочетъ окончить смертью свою скучную жизнь. Каждый изъ насъ прежде всего — работникъ и, какъ таковой, стремится къ тому, чтобы трудъ его былъ по возможности успѣшнѣе и наиболѣе содѣйствовалъ его личному счастью. Дости-

женіе такой цѣли налагаетъ нѣкоторыя обязательства, тщательно перечисленныя Писаревымъ. Сущность этихъ обязательствъ сводится къ экономіи силъ.

«Мнѣ кажется, — говоритъ Писаревъ, — что въ русскомъ обществѣ начинаетъ вырабатываться въ настоящее время самостоятельное направленіе мысли. Я не думаю, чтобы это направленіе было совершенно ново и вполнѣ оригинально, но самостоятельность его заключается въ томъ, что оно находится въ самой неразрывной связи съ дѣйствительными потребностями нашего общества». Прежде было иначе; отцы и дѣды забавлялись мартинизмомъ, масонствомъ и вольтерьянствомъ, мыслительная работа была нужна имъ отъ скуки, для ради препровожденія времени, но «мы теперь знаемъ, что дѣлаемъ, и можемъ дать себѣ отчетъ, почему мы беремъ это, а не другое». У насъ есть дѣйствительныя потребности: «во-первыхъ, мы бѣдны, а во-вторыхъ — глупы». Глупость и бѣдность не какія-нибудь мечтательныя бѣдствія, а бѣдствія реальныя, и, чтобы побѣдить ихъ, надо притянуть къ живой, полезной дѣятельности всѣ силы русскаго общества. Гдѣ-же и въ чемъ она, эта живая, полезная дѣятельность? «Во-первыхъ, извѣстно, что значительная часть продуктовъ труда переходитъ изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непроизводящихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ рабочаго, — значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнѣйшему развитію... Во-вторыхъ, можно дѣйствовать на непроизводящихъ потребителей, но конечно надо дѣйствовать на нихъ не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только къ тѣмъ личностямъ, которыя желаютъ взяться за полезный и увлекательный трудъ, но не знаютъ, какъ приступить къ дѣлу и къ чему приспособить свои силы. Тѣ люди, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью и разсчетливостью, т. е. они должны браться только за тѣ работы, которыя могутъ принести обществу дѣйствительную пользу. Такая *экономія умственныхъ силъ* необходима вездѣ и всегда, потому что человѣчество еще нигдѣ и никогда не было настолько богато дѣятельными умственными силами, чтобы позволять себѣ въ расходованіи этихъ силъ малѣйшую расточительность. Между тѣмъ расточительность всегда и вездѣ была страшная, и оттого результаты до сихъ поръ всегда получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать-то намъ нечего. У насъ до сихъ поръ всего какой-нибудь двугривенный умственнаго капитала, но мы, по нашему извѣстному молодечеству, и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно. Намъ строгая экономія еще необходимѣе, чѣмъ другимъ, дѣйствительно образованнымъ, народамъ, потому что мы, въ сравненіи съ ними, — нищіе. Но, чтобы соблюдать такую экономію, надо прежде всего уяснить и себѣ до послѣдней степени ясности, что полезно обществу и что безполезно. Экономія-же умственныхъ силъ и есть не что иное, какъ строгій и послѣдовательный реализмъ».

Мартышкинъ трудъ, хотя-бы и происходящій въ потѣ лица, — не работа, а глупость, и, чтобы избѣжать ея, надо быть прежде всего мыслящимъ человѣкомъ. На обязанности критической мысли лежитъ прежде всего опредѣлить, что дѣйствительно общеполезно. Чтобы не быть расточителями, мы должны съ уваженіемъ отнестись къ предыдущему опыту человѣчества, пользоваться имъ въ видахъ экономіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ выборъ общеполезнаго зависитъ отъ влеченія нашей природы.

«Послѣдовательный реализмъ — говоритъ Писаревъ — безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: «шей сапоги», или историку — «пеки пироги», но мы требуемъ непремѣнно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили каждый въ своей спеціальности дѣйствительную пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны общественной жизни, которыя необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и успѣха отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширять предѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустой и дрянной книгой, не обращая вниманія на то, писана-ли она прозой, или стихами, и автору такой книги мы всегда съ искреннимъ доброжелательствомъ готовы посовѣтовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки».

Такова сущность реализма Писарева. Я уже говорилъ, что этотъ реализмъ выросъ на демократическомъ основаніи, на признаніи труда первенствующимъ факторомъ жизни и стремленіи доставить массамъ счастье и знаніе. Позволю себѣ еще одну небольшую цитату, гдѣ Писаревъ особенно ярко развилъ свои демократическія убѣжденія. Онъ говоритъ:

«Трагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ. Пока наука не перестанетъ быть барской роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго рабочаго и простого мужика, — до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться, не смотря ни на проповѣди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи соціалистовъ. Есть въ человѣчествѣ только одно зло — невѣжество, противъ этого зла есть только одно лекарство — наука, но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а сорокаведерными бочками. Слабый пріемъ этого лекарства увеличиваетъ страданія больного организма. Сильный пріемъ ведетъ за собою радикальное исцѣленіе. Но трусость человѣка такъ велика, что спасительное лекарство считается ядовитымъ».

IV.

Всякій знаетъ, что главныя усилія своего громаднаго и блестящаго таланта Писаревъ

посвятилъ тому широкому историческому потоку, который носитъ названіе эмансипаціи личности. На тему объ этой эмансипаціи Писаревъ писалъ такъ много и ярко, съ такимъ искусствомъ отстаивалъ освобожденіе женщины, семьи, дѣтей, личности изъ-подъ ферулы Домостроя и идеаловъ попа Сильвестра, что для многихъ словомъ «эмансипація» исчерпывается вся работа нашего публициста. На предыдущихъ страницахъ я старался показать, что дѣло обстоитъ нѣсколько иначе, и что если вопросы, связанные съ эмансипаціей, разработаны Писаревымъ наиболѣе ярко и выпукло, то все-же этой разработкой далеко не исчерпываются его заслуги. По поводу эмансипаціи можно наговорить очень много пустозвонныхъ фразъ изаслужить очень много аплодисментовъ, но для трезваго и мыслящаго человѣка центръ задачи не въ эмансипаціи, а въ тѣхъ условіяхъ, которыя позволяютъ эмансипированной личности держаться прямо и твердо. Еще въ 1817 г. напр. были эмансипированы прибалтійскіе крестьяне и изъ крѣпостныхъ переименованы въ свободныхъ. Въ результатѣ получился однако скверный анекдотъ, такъ какъ освобожденные не получили ни клочка земли и немедленно-же попали въ горшую прежней кабалу помѣщикамъ. Не то-же-ли самое происходитъ на Западѣ, гдѣ ко всевозможнымъ «свободамъ» жизнь прибавила и еще одну—свободу умирать на мостовой или въ рабочей тюрьмѣ послѣ въ потѣ и трудѣ проведенной жизни? Какъ и всему, «эмансипаціи» нужна «обстановка», безъ которой она обращается въ звукъ пустой. Еслибы Писаревъ этого не понималъ, то его слѣдовало бы забыть и сдать въ архивъ. Но, къ счастью, съ нимъ не случилось этого, такъ какъ онъ не былъ пустозвоннымъ болтуномъ и къ аплодисментамъ вообще относился очень скептически. Защищая свободу личности, требуя для нея полноты счастья и развитія, перестраивая воспитаніе, проповѣдуя необходимость образованія для женщинъ, Писаревъ никогда не забывалъ, что эмансипація личности возможна лишь при эмансипаціи *труда*. Если личность будетъ свободна, но трудъ ея будетъ въ кабалѣ, то ничего хорошаго не произойдетъ. Оттого-то Писаревъ и не терпѣлъ либерализма, такъ какъ либерализмъ требуетъ эмансипаціи личности, но не работника. Пусть всякій, кто интересуется этимъ вопросомъ, перечтетъ внимательно «Посмотримъ» или нѣкоторыя другія его статьи, и онъ воочію убѣдится, что Писаревъ полностью понималъ непримиримое противорѣчіе между свободной личностью и закабаленнымъ работникомъ. Это большая заслуга съ его стороны, отмѣтить которую мнѣ представляется необходимымъ. Разумѣется, такой громадный талантъ могъ-бы сдѣлать гораздо больше въ этомъ направленіи, могъ-бы показать намъ съ полной очевидностью, что безъ свободы труда нѣтъ въ сущности никакой реальной свободы, но Писаревъ не успѣлъ. Онъ умеръ, какъ знаетъ читатель, 27-ми лѣтъ отъ роду. Судьба отрѣзала нить его жизни въ то время, когда онъ все съ болѣе и болѣе сосредоточеннымъ вниманіемъ присматривался къ судьбѣ погибшихъ и погибающихъ и стремился въ условіяхъ труда найти разгадку неисчислимыхъ золъ современности.

Что могло бы выйти изъ него?

Вопросъ этотъ можетъ показаться нѣсколько страннымъ, вродѣ предложенія читателю погадать вмѣстѣ на гущѣ или разложить карты дѣвицы Ленорманъ. Но какъ ни страненъ этотъ вопросъ, я позволю себѣ заняться имъ; почему—объясню ниже.

Въ статьѣ «Посмотримъ», написанной въ 65-мъ году, Писаревъ задается вопросомъ: что-же должны дѣлать тѣ люди, которые берутся быть руководителями общественнаго самосознанія, и отвѣчаетъ такъ:

Надо, *во-первыхъ*: «всѣми силами искать теоретическаго рѣшенія (вопроса о бѣдности) и всѣми силами побуждать къ тому-же самому исканію другихъ людей, изображать яркими красками страданія большинства, вдумываться въ причины этихъ страданій, постоянно обращать вниманіе общества на экономическіе общественные вопросы и систематически отрицать, заплевывать и осмѣивать все, что отвлекаетъ умственныя силы образованныхъ людей отъ *этой главной задачи*.

Надо, *во-вторыхъ*, постоянно разъяснять обществу съ разныхъ сторонъ и во всѣхъ подробностяхъ основныя начала разумной экономической и общественной доктрины... всѣми возможными средствами усиливать притокъ новыхъ людей изъ низшихъ классовъ въ образованное общество.

Читатель понимаетъ теперь, что Писаревъ не даромъ сказалъ:

«Конечная-же цѣль всего нашего мышленія и всей дѣятельности каждаго честнаго человѣка состоитъ все-таки въ томъ, чтобы разрѣшить навсегда неизбѣжный вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ людяхъ; внѣ этого вопроса нѣтъ ничего, о чемъ бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать».

Этой высокой и славной цѣли должны служить наука, искусство, литература, поэзія, такъ какъ для публициста, имѣющаго въ виду интересы большинства, возможенъ

въ настоящее время *только* одинъ вопросъ, поглощающій всѣ остальные: «какъ накормить голодныхъ людей? какъ обезпечить всѣхъ вообще» («Посмотримъ»).

На этой-то почвѣ и выросъ утилитаріанизмъ Писарева. Оттого-то онъ и отрицалъ напр. музыку и живопись, которыя являются излишней роскошью, сладкимъ пирогомъ для низшаго общества.

Я не скрываю, разумѣется, того факта, что Писаревъ то и дѣло отвлекался отъ главной задачи, но — повторяю — она была глубоко сознана имъ, а обстоятельства времени должны были лишь увеличить въ его глазахъ ея цѣнность.

Теперь понятно, чѣмъ онъ могъ бы быть. Трезвое мышленіе, ненависть къ фразамъ, значительный интересъ къ историческому прошлому, сознаніе безусловной необходимости рѣшить вопросъ о бездомныхъ и раздѣтыхъ — все это вело Писарева къ тому, чтобы перенести центръ тяжести своей работы съ проповѣди эмансипаціи на проповѣдь обстановки эмансипированной личности. Слѣпая судьба помѣшала ему сдѣлаться плодотворнѣйшимъ писателемъ земли русской.

Я потому такъ подробно остановился на только-что разобранной сторонѣ міросозерцанія Писарева, что наша критика совершенно забыла о ней и даже вскользь не разбираетъ ея. А между тѣмъ она имѣетъ свое значеніе, и значеніе немалое. Повторяю, всѣ эти прекрасныя, высокія, вдохновляющія слова: «свобода личности», «эмансипація», «критицизмъ» и пр.,—не болѣе, какъ звукъ пустой; разъ, употребляя ихъ, мы не опредѣляемъ ту единственную почву, при которой свободная, эмансипированная и критическая личность можетъ появляться, совершенствоваться и жить на благо себѣ и своему кредитору—человѣчеству. Единственная-же почва для свободной личности—это почва свободнаго труда, безъ чего немыслима ни равноправность, ни истинное сотрудничество всѣхъ людей для пользы каждаго. Въ одной изъ своихъ статей, гдѣ онъ требуетъ прежде всего общеполезнаго труда, наконецъ въ «Реалистахъ», гдѣ любовь, знаніе и трудъ на почвѣ общечеловѣческой кооперація выставляется идеаломъ личной жизни каждаго,—Писаревъ совершенно ясно выразилъ свое *пониманіе* «единственно возможной почвы», но кромѣ этого пониманія ему оставалась еще впереди громадная работа—разработать этотъ вопросъ во всей его подробности и довести своего читателя не только до пониманія, но и до *признанія*. Этой громадной работы онъ сдѣлать не успѣлъ и, занятый текущими дѣлами, быть-можетъ не всегда даже удѣлялъ ей должное вниманіе. Вѣдь никогда не надо забывать, что онъ былъ не кабинетнымъ мыслителемъ, а человѣкомъ, находившимся въ самой свалкѣ жизни, для котораго имѣетъ смыслъ и значеніе не только то, что важно для столѣтія, но и то, что важно какъ вопросъ дня, какъ извѣстное, хотя бы переходящее настроеніе общественной мысли. Онъ долженъ былъ столько-же заботиться о созданіи истинныхъ героевъ, сколько и о разрушеніи ложныхъ. Какъ ни ничтожны были всѣ эти Ключниковы, Станицкіе и пр., приходилось писать и о нихъ; какъ ни можетъ *показаться* второстепеннымъ вопросъ объ эмансипаціи женщины, для извѣстныхъ дней, для извѣстныхъ эпохъ онъ играетъ первенствующую роль. Истинный публицистъ, ни на минуту не упуская изъ виду вѣчнаго и существеннѣйшаго, не можетъ и не долженъ стѣсняться поводомъ. Его задача—содѣйствовать торжеству вѣчнаго и существеннѣйшаго, сосредоточивать на немъ вниманіе общества, но въ достиженіи этой цѣли онъ совершенно свободенъ. Онъ долженъ дѣйствовать по линіи наименьшаго сопротивленія, долженъ всѣми доступными для него способами—кромѣ безчестныхъ разумѣется — воплощать свою мысль въ самые доступные образы, долженъ направлять свои резервы въ самые нужныя и слабыя мѣста. Что удивительнаго, если въ пылу битвы, въ самой свалкѣ жизни онъ сосредоточитъ свои удары не на самомъ важномъ пунктѣ противника, а на томъ, который временно и случайно сталъ таковымъ. Поднятія прогрессивнаго и регрессивнаго, передового и отсталаго мѣняются по десятилѣтіямъ. Вольтеръ—прогрессистъ, хотя нашимъ прогрессистамъ съ нимъ дѣлать нечего. Иногда самый маленькій вопросъ, благодаря обстоятельствамъ, вдругъ заполняетъ всю сферу общественнаго сознанія, и, будь это, какъ оно случилось когда-то въ Испаніи, вопросомъ объ ассенизаціи Мадрита,—публицистъ не можетъ игнорировать его. Съ этой исторической точки зрѣнія даже такая то и дѣло предававшаяся анафемѣ статья Писарева, какъ «Пушкинъ и Бѣлинскій», можетъ быть признана мастерской. Для того, чтобы закрѣпить за жизнью *демократическое начало*, требовалось примѣниться и къ области искусства. На комъ-же сильнѣе, поразительнѣе можно было это сдѣлать, чѣмъ на Пушкинѣ? Вѣдь обожаніемъ его жили пятидесятые года, и въ пятидесятые годы Пушкинъ считался отцомъ чистаго искусства, вѣчнымъ, недосягаемымъ образцомъ. Нужно было уничтожить этотъ авторитетъ, чтобы дать дорогу тому общеполез-

ному демократическому искусству, о которомъ мечталъ Писаревъ и котораго требовали обстоятельства времени. Была сдѣлана ошибка въ формѣ, но не въ сущности: Писаревъ въ этой «анафемской» статьѣ блестяще рѣшилъ вопросъ объ отношеніи *искусства* къ массѣ, о тѣхъ новыхъ элементахъ, которые должна ввести въ область служенія красотѣ демократическая идея нашихъ дней; но мы согласимся, разумѣется, что Пушкинъ, какъ образецъ враждебнаго для массы искусства, выбранъ неудачно.

Но это между прочимъ. Находясь въ свалкѣ жизни и подчиняясь запросамъ своей эпохи, Писаревъ сосредоточилъ сущность своихъ усилій на самомъ вопросѣ эмансипаціи. Что значило быть свободнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ? Вѣдь этого всѣ хотѣли. Хотѣлъ крестьянинъ, только-что выбравшійся изъ-подъ крѣпостной ферулы, хотѣла дѣвушка, стремившаяся къ самостоятельной жизни, труду, образованію, хотѣли того-же семейный и общественный строй, по крайней мѣрѣ въ нижнемъ своемъ теченіи. Игнорировать этотъ вопросъ, относиться къ нему съ академической высоты было бы неудобно или преступно. Всѣ хотѣли быть эмансипированными, и вотъ требовалось найти тѣ философскіе, психологическіе, нравственные устои, держась которыхъ личность могла бы быть свободной. Эти устои изложены Писаревымъ въ статьѣ «Реалисты».

Писаревъ обращается здѣсь къ *людямъ, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ* взяться за полезный и увлекательный трудъ, сущность котораго сводится къ тому, чтобы уничтожить два основныхъ зла нашей жизни: нашу глупость и нашу бѣдность. Мы вѣдь очень бѣдны, но и въ то же время очень расточительны. «У насъ до сихъ поръ всего какой-нибудь двугривенный умственнаго капитала, но мы по нашему извѣстному молодечеству и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно». Нуженъ слѣдовательно полезный и увлекательный трудъ, и нуженъ онъ отъ всякаго, кто хочетъ и можетъ трудиться. Но увлекательнымъ можетъ быть только трудъ, который соотвѣтствуетъ прежде *всего наклонностямъ человѣка.*

Въ этой послѣдней формулѣ и скрывается вся сущность писаревской эмансипаціи. Онъ смотрѣлъ на жизнь трезво и просто. Человѣкъ былъ въ его глазахъ существомъ, руководящимся наслажденіемъ и страданіемъ. Благо—все то, что увеличиваетъ сумму наслажденія; зло—все то, что увеличиваетъ сумму страданія. Главнымъ источникомъ наслажденія долженъ быть трудъ, работа, но лишь въ томъ случаѣ, когда между личностью и работой существуетъ гармонія. Когда мнѣ хочется писать, когда у меня есть влеченіе къ творчеству—то при обязанности переписывать бумаги или утрамбовывать мостовую я ни счастливымъ, ни довольнымъ быть не могу.

Надо прежде всего опредѣлить свою наклонность, свое влеченіе или «познать самого себя», какъ училъ Сократъ, потому что очевидно не всѣ люди способны удовлетворяться тѣмъ-же. Но при какихъ-же условіяхъ сокровенная сущность человѣческой личности можетъ открыться ей самой? По-видимому это такъ трудно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимо, чтобы ни одна крупица силы человѣческой не пропадала даромъ, чтобы каждая крупица находила наилучшее свое примѣненіе. Чахлая, истощенная, умственно забитая, человѣческая личность никогда, развѣ при самой счастливой случайности, не найдетъ самой себя, своего призванія, никогда не проложитъ своей собственной тропы къ своему счастью. Она потащится за другими и будетъ всю жизнь свою играть на томъ инструментѣ, который ей всунутъ въ руки. Она не посмѣетъ ни жить, ни любить, ни работать по своему. Но физическое здоровье, умственная самостоятельность и экономическая обезпеченность могутъ помочь личности снять повязку съ глазъ и взглянуть на міръ божій и самое себя прямо и просто, а не черезъ призму традиціи, предразсудка и своего общественнаго положенія.

Приходится начинать со школы—этой лабораторіи будущихъ поколѣній. Вполнѣ сообразно съ требованіями своей теоріи, Писаревъ удѣлялъ школѣ много вниманія. Въ чемъ, спрашиваетъ онъ, зло нашего воспитанія? Въ неуваженіи къ личности, въ боязни передъ человѣкомъ. «Надо—говоритъ онъ—прежде всего беречь въ ребенкѣ его самого, надо уважать въ немъ то, что не можетъ быть пріобрѣтено никакими усиліями и не можетъ быть куплено ни за какія деньги,—словомъ, его личность, его оригинальность, данную ему отъ природы. Человѣкъ, дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее и въ своемъ ребенкѣ. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи».

Въ томъ-же направленіи должно дѣйствовать и общественное воспитаніе. «Безличность, безгласность, умственная лѣнь и вслѣдствіе этого умственное безсиліе, вотъ—пишетъ Писаревъ—болѣзни, которыми страдаетъ наше общество, наша критика, вотъ что мѣшаетъ развитію молодого

ума, вотъ что заставляетъ людей сильныхъ, ставшихъ выше этого мѣщанскаго уровня, страдать и задыхаться въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и безсознательныхъ поступковъ».

Отъ этого-же зла должно оберегать личность и ея самообразованіе, саморазвитіе, процессъ котораго—по пословицѣ: «вѣкъ живи, вѣкъ учись»—не имѣетъ предѣла, кромѣ предѣла жизни человѣческой.

Только при этихъ-то условіяхъ личность можетъ быть личностью, т. е. чѣмъ-то особеннымъ, оригинальнымъ, а не клѣточкой общества, только при этихъ условіяхъ можетъ развернуться все богатство человѣческой природы, ея красота и величіе. А пока школа боится ребенка и спѣшитъ положить на него штампъ, пока общество изгоняетъ изъ своей среды (не мытьемъ, такъ катаньемъ) всѣхъ, кто не похожъ на установленный типъ, пока режимъ своей мощной рукой ставитъ всѣхъ и каждаго въ одну сѣрую, однообразную шеренгу,—словомъ, пока сущность нашего бытія сводится къ милитаризму, фабрикѣ, канцеляріи,—мечтать о личности и признаніи правъ индивидуальности рано. Пріуготовленными и предназначенными выходимъ мы уже изъ утробы матери. Робость однихъ и эгоизмъ другихъ закрѣпляютъ путемъ безчисленныхъ внушеній тѣ понятія, которыми мы будемъ жить, во имя которыхъ будемъ любить и ненавидѣть. И пойдетъ сѣренькая жизнь, унылая и безсознательная, пока что-нибудь не дастъ намъ встряски, какъ Ивану Ильичу, не выбьетъ насъ изъ колеи и не заставитъ, безпокойно осматриваясь вокругъ, торопливо спрашивать себя: «да что это, да какъ это, да чѣмъ я жилъ, да во что вѣрилъ?»

Пойдемъ однако дальше. Личность, допустимъ, путемъ критической работы, правильнаго воспитанія, непротиводѣйствія или даже содѣйствія со стороны общества достигла наконецъ того, что, избавившись отъ внушеній, стала собой и поняла свои наклонности, свое назначеніе. Ея обязанность, какъ члена общества,—работать. Какой-же избрать трудъ? Въ виду нашей бѣдности и глупости и слѣдуетъ стремиться къ общенеобходимому и, налагая на свою индивидуальность извѣстнаго рода стѣсненія, не уничтожать себя, не забывая въ то-же время о цѣломъ. Словомъ, *обязанность критической личности—опредѣлить, что дѣйствительно общеполезно, и обязанность мыслящаго человѣка—совершать общеполезную работу, слѣдуя влеченію своей натуры, провѣренному и руководимому критической мыслью. Общеполезно же прежде всего то, что дѣлаетъ насъ умнѣе и богаче.*

Таковы публицистическіе взгляды Писарева. Извиняюсь, что такъ долго останавливался на нихъ; но кто-же виноватъ, что истекшія 25 лѣтъ не принесли намъ ни внимательнаго любовнаго разбора, ни безпристрастной оцѣнки міросозерцанія одного изъ лучшихъ нашихъ публицистовъ. Будемъ относиться къ этому міросозерцанію свободно и критически, но какъ примирить вышеприведенныя выдержки и изложенія цѣлыхъ статей съ постояннымъ упрекомъ Писареву, будто-бы онъ *не понимаетъ* значенія внѣшнихъ условій, будто-бы онъ держится *исключительно* почвы морали и индивидуальной проповѣди, будто-бы наконецъ *все* спасеніе онъ видитъ въ изученіи естественныхъ наукъ? На отдѣльныхъ фразахъ, вырвавшихся въ пылу полемики, можно построить какіе угодно упреки и похитроумнѣе, но надо обращать вниманіе не на отдѣльныя фразы, а на общій духъ сочиненій. А этотъ общій духъ есть демократическій (но не народническій) реализмъ. Забываютъ, и кажется всегда, что, принимаясь проповѣдывать, Писаревъ всегда дѣлалъ ту оговорку, что съ этой своей проповѣдью онъ обращается къ «людямъ, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ», и имъ указываетъ ближайшую цѣль дѣятельности — критическое самосовершенствованіе для общаго блага. Но самая эта оговорка показываетъ, что за группой могущихъ и желающихъ лежитъ цѣлая громадная жизнь, для которой мало проповѣди, морали и самосовершенствованія индивидовъ.

На «публицистикѣ» Писарева выросла и его «критика». Въ человѣкѣ онъ цѣнитъ прежде всего его личность, оберегать, лелѣять и развивать которую онъ ставитъ въ священнѣйшую обязанность школѣ и обществу. Въ художественномъ произведеніи онъ цѣнитъ прежде всего личность автора, его индивидуальность. Бэконъ сказалъ когда-то: «ars est homo additus naturae» — т. е., «искусство это—человѣкъ, приданный природѣ». То же говоритъ и Писаревъ.

«Поэтъ,—пишетъ онъ,—какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа *любить* то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, *ненавидѣть* святой и великой ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность».

Личность человѣка создается прежде всего критикой, работой самосознанія. Критика и самосознаніе создаютъ и личность художника.

«Чтобы любовь и ненависть поэта—продолжаетъ Писаревъ—были чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать»...

Воспитавъ въ себѣ любовь и ненависть, критически ихъ провѣривъ, много передумавъ и много узнавъ, поэтъ перестаетъ безцѣльно творить, какъ при тѣхъ-же условіяхъ перестаетъ и безцѣльно жить обыкновенный человѣкъ.

«Когда—читаемъ мы дальше—поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крупную связь между отдѣльными явленіями, когда понялъ, что̀ надо и что̀ можно сдѣлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами можно дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ» («Реалисты»).

Опять и въ этихъ чудныхъ строкахъ передъ вами *синтезъ* индивидуальнаго и общественнаго начала, а не какая-нибудь узколобая, односторонняя и ложная крайность. Поэтъ—не птица, а человѣкъ; художникъ—творецъ, но и гражданинъ вмѣстѣ съ тѣмъ.

Какъ развиваетъ Писаревъ свои мысли и гребованія, какъ, пользуясь образомъ Базарова, создаетъ онъ своихъ реалистовъ,—я разъяснять не буду. Въ заключеніе мнѣ хочется сказать лишь нѣсколько словъ о *духѣ* его произведеній, взятомъ внѣ частностей и внѣ временной обстановки той эпохи.

Какъ-бы ни восторгались мы Пушкинымъ, ни защищали Щедрина, какъ бы ни казалась намъ односторонней проповѣдь естествознанія вродѣ несомнѣнной панацеи,—духъ Писарева не можетъ быть чуждымъ намъ. Мы нашли другихъ враговъ и другихъ друзей, перестали такъ вызывающе и смѣло смотрѣть на жизнь, значительно меньше вѣримъ въ силы отдѣльнаго человѣка, посвящаемъ много праздныхъ часовъ мыслямъ и тоскѣ о неминуемой смерти (вмѣсто того чтобы сосредоточить всѣ свои усилія на созданіи счастливой жизни),—и все-же то самое, что̀ вдохновляло Писарева, что̀ сдѣлало изъ него историческую величину, то и теперь остается самымъ крупнымъ и основнымъ явленіемъ нашего бытія. Я говорю о демократизаціи жизни, о развитіи самосознанія и самоуваженія въ массѣ, о стараніяхъ этой массы выбраться изъ ея положенія, о средствахъ къ этому и о поддержкѣ такому порыву. Эмансипація личности замѣнилась эмансипаціей массъ. Демократическій-же духъ у того и другого теченія остается тѣмъ-же самымъ, такъ какъ въ наше время эмансипировать личность можно лишь на той-же почвѣ, какъ и массу, т. е. всѣхъ—именно на почвѣ труда.

Увлекаясь своей пропагандой среди лицъ средняго состоянія,—тѣхъ, кто желаетъ и можетъ отдать свою жизнь полезному и увлекательному труду, Писаревъ не забывалъ никогда, что слово «масса», «народъ», написано на знамени нашего времени. Онъ требуетъ общедоступной и общепонятной литературы, требуетъ общеполезной и общедоступной науки. Мало того, онъ хочетъ объединить трудъ мозга и мускуловъ. «Пока—говоритъ онъ—наука не перестанетъ быть барской роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простого мужика, до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться». Если мы и не склонны придавать такъ много значенія наукѣ, то сущность этихъ строкъ, ихъ демократизмъ и для насъ можетъ быть краеугольнымъ міросозерцанія. Мы согласны съ тѣмъ, что «трагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ», согласны и съ тѣмъ, что «монополія знаній и гуманнаго развитія составляетъ одну изъ самыхъ вредныхъ монополій», что это «не наука, которая по самой сущности своей недоступна и ненужна массѣ, и это не искусство, произведеніями котораго могутъ наслаждаться только немногіе спеціалисты». Можемъ-ли мы отказаться отъ этихъ мыслей, зная, что человѣчество все еще во тьмѣ и невѣжествѣ, а наука, вмѣсто того чтобы служить массѣ, помогаетъ такъ рѣшительно тому, чтобы люди съ возможной легкостью уничтожали другъ друга? Мы и не отказались...

Выдающійся литературный талантъ Писарева и его смѣлый демократическій духъ—вотъ что, за исключеніемъ кое-какихъ шероховатостей, цѣнно и на-долго еще будетъ цѣнно въ его произведеніяхъ. Тамъ есть чѣмъ вдохновиться, есть чѣмъ подпереть свой духъ, мечты и вѣру. Читая его, мы какъ бы вновь переживаемъ свою юность съ ея увлеченіями, восторгами, ошибками

и прозрѣніемъ, опять проникаемся обаяніемъ памятной, полной борьбы, наслажденій и успѣха жизни и очарованіемъ безпокойной работы духа, рвущагося къ истинѣ, и этого жара молодости, этихъ безсонныхъ, счастливыхъ ночей.

Мы знаемъ больше и понимаемъ больше. Изслѣдованіе человѣка охватило такіе горизонты, о которыхъ было совершенно невозможно раньше даже мечтать. Но вмѣстѣ съ тѣмъ даже лучшіе и самые смѣлые изъ насъ стали осторожнѣе, осмотрительнѣе, робче. Чувствуя недостатокъ своихъ силъ, боясь ошибиться въ своихъ порывахъ, мы призвали себѣ на помощь пониманіе историческаго процесса и убѣдились, что эта великая сила, роковымъ и необходимымъ образомъ открывая будущее для массы, для народа, согласна поддерживать наши старанія о торжествѣ справедливости. Исторія доказала, что все, чего мы хотимъ хотя въ лучшія минуты нашего бытія, не только благородно, хорошо, честно, но и неизбѣжно.

Но, пріобрѣтя такой оплотъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ по части вдохновенія, вѣры въ себя и личныя силы утеряли такъ много что это обидно и грустно. Если прежде люди цѣнили себя слишкомъ высоко, мы, наоборотъ, склонны къ фатализму. Источникъ одушевленной дѣятельности исчезъ, и съ грустной, подчасъ прямо жалкой улыбкой смотримъ мы вокругъ себя.

Иногда попадается въ руки забытая тетрадь съ пожелтѣвшими уже страницами, съ сѣрыми вмѣсто черныхъ строками, размашисто и торопливо написанными. Очевидно время не ждало, очевидно человѣкъ, подчиняясь внутреннему непреоборимому импульсу, какъ въ бреду, записывалъ свои мысли, стремясь охватить своимъ умомъ все, готовый на борьбу со всѣми препятствіями, и влекомый потокомъ своей вдохновенной мысли, уносился все выше и выше туда, въ область утопій и счастливаго грядущаго. Это юность съ своими несоразмѣрными размахами, своей гордостью и самонадѣянностью и вмѣстѣ съ тѣмъ той истиной, которая доступна безкорыстному, страстному мышленію. Надо читать такія тетради, и вливать свѣжіе соки въ свое вялое сердце. А сочиненія Писарева какъ-разъ и есть тетрадь пылкой и вѣрующей юности...

Евгеній Соловьевъ.

ОЧЕРКИ
ИЗЪ ИСТОРІИ ЕВРОПЕЙСКИХЪ НАРОДОВЪ.

ИТАЛЬЯНЦЫ.

I.

РАЗСЛАБЛЕНІЕ РИМСКАГО ОБЩЕСТВА.

Въ V-мъ столѣтіи нашей эры западная римская имперія находилась при послѣднемъ издыханіи. Столица государства уже нѣсколько разъ была ограблена варварами. Провинціи, въ томъ числѣ и Италія, были доведены до той крайней степени разоренія, послѣ которой земля отказывается кормить человѣка и осуждаетъ своихъ обитателей на выселеніе и вымираніе. Провинціи страдали очень сильно отъ нашествія варваровъ, которые рѣзали и порабощали людей, жгли города и села, вытаптывали поля, уводили или истребляли домашній скотъ и вообще старались превращать обработанную землю въ голую пустыню. Но варваровъ было бы не трудно отразить, еслибы другія причины, начавшія дѣйствовать гораздо раньше варварскихъ нашествій, не довели римскія провинціи до состоянія полной беззащитности. Этихъ причинъ было много, но всѣ онѣ группируются въ двѣ главныя категоріи, изъ которыхъ одна заключаетъ въ себѣ политическія ошибки, а другая—экономическія нелѣпости.

Политическія ошибки Рима вытекаютъ изъ того обстоятельства, что Римъ, завершивъ свои завоеванія, остался вѣренъ своему завоевательному характеру. Въ послѣдніе годы республики ни римскій сенатъ, ни римскій народъ не хотѣли допустить и мысли о томъ, чтобы всѣмъ завоеваннымъ народамъ были даны одинаковыя политическія права, равныя правамъ самихъ завоевателей. Когда страна была завоевана, тогда завоевателю принадлежало все, что въ ней заключалось: и собственность, и честь, и жизнь побѣжденнаго непріятеля. Римляне хотѣли пользоваться этими правами завоевателя. Это было съ ихъ стороны совершенно естественно. И это естественное желаніе, не встрѣчая себѣ нигдѣ ни малѣйшаго отпора, осуществилось во всемъ своемъ объемѣ и повело самымъ прямымъ путемъ къ полному истощенію провинцій и къ безпримѣрной деморализаціи обѣихъ сторонъ — побѣдителей и побѣжденныхъ. Чтобы держать провинціи въ повиновеніи и успѣшно собирать съ жителей каждый годъ установленныя подати, нисколько несоразмѣрныя съ наличными силами плательщиковъ, надо было предоставлять цѣлыя арміи въ полное распоряженіе мѣстныхъ правителей. Эти арміи въ каждую данную минуту могли превратиться въ орудіе личнаго честолюбія, вырвать верховное господство изъ рукъ римскаго сената и передать его въ твердыя руки того или другого смѣлаго, искуснаго и счастливаго полководца. Рано или поздно, кто-нибудь изъ мѣстныхъ правителей долженъ былъ перейти черезъ Рубиконъ, подраться съ другими мѣстными правителями и послѣ побѣды надъ ними положить въ самомъ Римѣ основаніе военному деспотизму. Если военный деспотизмъ господствовалъ въ провинціяхъ, то онъ непремѣнно, рано или поздно, долженъ былъ распространить свое господство и на столицу. Когда это случилось, тогда переворотъ сдѣлался неизбѣжнымъ.

Этотъ переворотъ доставилъ провинціямъ нѣкоторое облегченіе, впрочемъ очень небольшое и во всякомъ случаѣ не на столько значительное, чтобы вдохнуть въ нихъ новую жизнь и поставить ихъ на путь прогрессивнаго развитія. Во времена имперіи упадокъ провинцій продолжался, но только не съ такой быстротой, съ какою двинуло его сначала республиканское правительство. Существенная разница между республиканской и цезарской системой заключалась въ томъ, что сенатъ, составленный

изъ аристократовъ, постоянно покрывалъ и оправдывалъ всѣ насильственные подвиги, совершавшіеся аристократами, между тѣмъ какъ императоръ, напротивъ того, не питалъ ни малѣйшаго сочувствія къ злоупотребленіямъ своихъ чиновниковъ, съ которыми у него не могло быть никакихъ общихъ интересовъ и никакого пріятельскаго знакомства. Но, разумѣется, императору, при всемъ его добромъ желаніи, невозможно было за всѣмъ усмотрѣть; найти хорошихъ и добросовѣстныхъ помощниковъ было трудно; обращаться къ общественному мнѣнію страны въ то время никто не умѣлъ и не считалъ удобнымъ. Поэтому злоупотребленія продолжались. Впрочемъ главное зло заключалось не въ плутняхъ и насиліяхъ чиновниковъ, а въ той безгласности и умственной безжизненности, на которую были обречены римскія провинціи, какъ во времена республики, такъ и при императорахъ.

Когда какой-нибудь народъ дѣлался подданнымъ римской республики, тогда онъ, вмѣстѣ съ національной независимостью, терялъ свои лучшія человѣческія способности и лишался всякой возможности имѣть на будущее время умныхъ, честныхъ, даровитыхъ и смѣлыхъ гражданъ. Лучшіе люди покореннаго народа — тѣ люди, изъ которыхъ формируются мыслители и дѣятели—находились въ безвыходномъ положеніи. Они очень рады были бы помириться съ совершившимся фактомъ и сдѣлаться отъ всей души римскими патріотами, но эта дорога была для нихъ закрыта. Римскій гражданинъ смотрѣлъ на грека или на еврея, какъ на существо низшее, для котораго существуютъ особенные законы и особенныя, позорныя и мучительныя казни. Римская республика не могла быть отечествомъ для грека или для еврея, потому что она обращалась съ нимъ, какъ съ вьючнымъ скотомъ, и ни при какихъ условіяхъ не позволяла ему ни дѣломъ, ни совѣтомъ имѣть вліяніе на ея общественныя дѣла. Съ другой стороны, греческій или еврейскій патріотизмъ былъ чрезвычайно опаснымъ анахронизмомъ. Такіе мѣстные патріотизмы клонились къ вооруженному возстанію и слѣдовательно вызывали противъ себя строжайшія преслѣдованія со стороны римскихъ администраторовъ. Такимъ образомъ высшимъ стремленіямъ человѣческой природы не было никакого выхода. Осмысленный трудъ на пользу общества былъ невозможенъ. Человѣческому уму оставалось дѣлать только одно изъ двухъ: или углубляться въ самого себя и заниматься самоусовершенствованіемъ, которое при всѣхъ своихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ не приноситъ обществу никакой непосредственной пользы, или посвятить всѣ свои силы на искусное наживаніе и веселое проживаніе денегъ. Такъ или иначе, преслѣдуя высшія цѣли самоусовершенствованія, или ограничиваясь земными удовольствіями, человѣкъ принужденъ былъ думать только о себѣ и жить только для себя, потому что его связи съ обществомъ были насильственно разорваны.

Экономическія нелѣпости, которыми страдала и отъ которыхъ умерла греко-римская цивилизація, совершенно исчерпываются однимъ общеизвѣстнымъ словомъ: *рабство*. При существованіи рабства физическій трудъ достается только тѣмъ людямъ, которые по своему положенію не могутъ отъ него уклониться. Этотъ трудъ, невыгодный, тяжелый и мучительный, становится кромѣ того позорнымъ, именно потому, что имъ занимаются исключительно паріи общества, люди безправные, забитые и неимѣющіе ни малѣйшей возможности защищать свое человѣческое достоинство. Кто силенъ и богатъ, тотъ пріобрѣтаетъ себѣ рабовъ и заставляетъ ихъ работать; кто слабъ и бѣденъ, но свободенъ, тотъ старается прокормить себя попрошайничествомъ, нищенствомъ, подличаньемъ, пожалуй даже воровствомъ и разбоемъ, но только отнюдь не работой; кто порабощенъ, тотъ работаетъ поневолѣ, но чувствуетъ къ своему труду точно такое-же презрѣніе и отвращеніе, какое обнаруживаютъ къ нему высшіе классы общества.

Рабъ знаетъ, что его прилежаніе обогатитъ только его господина и не доставитъ ему, рабу, ни удовольствія, ни почета, ни лишняго куска пищи, ни повышенія въ чинѣ. Прямой разсчетъ раба состоитъ не въ томъ, чтобы сдѣлать работу какъ можно лучше, а только въ томъ, чтобы потратить на эту работу какъ можно меньше мускульной и мозговой силы. Въ каждомъ процессѣ работы можно было бы придумать сотни усовершенствованій, и придумать ихъ не трудно, потому что существующіе недостатки и неудобства бросаются въ глаза каждому работнику. Стоило бы только немного подумать. Да, но кто же возьметъ на себя этотъ трудъ, какъ бы онъ ни былъ ничтоженъ? Рабъ? Съ какой стати? Во-первыхъ, онъ не привыкъ размышлять. А во-вторыхъ, на что ему нужны какія бы то ни было усовершенствованія? Свободный мыслитель? Это еще неправдоподобнѣе. Этотъ мыслитель считаетъ для себя стыдомъ вглядываться и вдумываться въ подробности рабскаго труда. Когда промышленная дѣятельность находится въ рукахъ рабовъ, тогда усовершенствованія въ орудіяхъ и въ процессахъ работы невозможны, или по крайней мѣрѣ очень неправдоподобны. И это еще не все. Въ этомъ случаѣ промышленная виртуозность непремѣнно должна понемногу утрачиваться. Когда рабъ учитъ другого раба какому-нибудь ремеслу, тогда учитель ведетъ свое преподаваніе спустя рукава, а ученикъ воспринимаетъ изъ пятаго въ десятое, на столько, на сколько это необходимо для избѣжанія слишкомъ невыносимыхъ побоевъ. Переходя такимъ образомъ изъ однѣхъ лѣнивыхъ и неумѣлыхъ

рукъ въ другія руки, еще болѣе неумѣлыя и лѣнивыя, искусство постоянно грубѣетъ и искажается, вслѣдствіе чего общество постоянно бѣднѣетъ и начинаетъ замѣчать свое несчастіе только тогда, когда оно становится уже неисправимымъ. Еслибы это вырожденіе искусства проявлялось только въ какихъ-нибудь высшихъ и самыхъ утонченныхъ отрасляхъ промышленной техники, то съ нимъ кое-какъ можно было бы помириться. Но вѣдь искусство необходимо всякому ремесленнику, не только ювелиру или золотошвейкѣ, но и сапожнику, и портному, и пряхѣ, и кожевнику. И всѣ эти ремесленники нуждаются совершенно одинаково въ томъ поощреніи и возбужденіи, котораго нѣтъ и не можетъ быть у рабовъ. Безъ этого поощренія и возбужденія теряется искусство. Представь те-же себѣ теперь положеніе того общества, въ которомъ работники разучиваются понемногу выдѣлывать кожи, шить сапоги, приготовлять посуду, мебель, рабочіе инструменты, оружіе, словомъ—все то, что̀ совершенно необходимо для цивилизованной жизни. Такое общество идетъ къ самоуничтоженію и къ варварству. Именно въ такомъ положеніи находилась римская имперія. Упадокъ былъ поразительно замѣтенъ во всемъ, начиная отъ высшихъ проявленій гражданской жизни, науки и поэзіи и кончая низшими отраслями ремесленнаго труда. Потомки рѣшительно ни въ чемъ не могли сравняться съ своими предками и даже не осмѣливались имъ подражать.

Безсиліе римской имперіи въ борьбѣ съ варварами становится совершенно понятнымъ, если мы примемъ въ соображеніе то обстоятельство, что эта имперія изъ конца въ конецъ была населена почти исключительно обезсмысленными рабами и совершенно развращенными тунеядцами. Вооружить рабовъ было очень опасно, наполнить легіоны свободными гражданами было невозможно, потому что эти негодяи нарочно уродовали себя, лишь бы только уклониться отъ военной службы. Эта уловка свободныхъ римлянъ оставила даже слѣды въ языкѣ. Изъ латинскихъ словъ pollex truncus, отрубленный большой палецъ, составилось французское слово poltron—трусъ. Правительству оставалось только отдаться въ руки своимъ врагамъ. Оно такъ и сдѣлало, и впродолженіи послѣдняго столѣтія своего существованія римская имперія защищалась отъ однихъ варваровъ оружіемъ другихъ варваровъ, которыхъ начальники распоряжались по своему произволу императорской короной.

Одинъ изъ такихъ начальниковъ, Одоакръ, сказалъ: довольно!—и западная римская имперія перестала существовать; смерть ея была до такой степени естественна, что обошлась безъ малѣйшей борьбы и безъ всякаго кровопролитія.

Не умѣя защищаться, римляне не умѣли даже и кормить себя. Самыя плодородныя земли южной Европы, западной Азіи и сѣверной Африки были сосредоточены въ рукахъ немногихъ богачей, которые не умѣли и не хотѣли заниматься сельскимъ хозяйствомъ. Здѣсь опять отличались рабы, и ихъ безтолковый трудъ доводилъ самыя богатыя почвы до совершеннаго истощенія. Видя постоянное уменьшеніе дохода, хозяинъ приказывалъ наконецъ прекратить хлѣбопашество и превращалъ всѣ свои поля въ пастбища, а бывшихъ земледѣльцевъ въ пастуховъ. При этомъ конечно многіе рабы оказывались излишними, и хозяинъ, чтобы не кормить ихъ понапрасну, продавалъ ихъ за безцѣнокъ, или даже отпускалъ ихъ на волю и ставилъ ихъ такимъ неожиданнымъ благодѣяніемъ въ довольно затруднительное положеніе. Доходы увеличивались вслѣдствіе этого превращенія, но количество пищи, добываемой съ извѣстнаго пространства земли, уменьшалось; а такъ какъ подобныя превращенія совершались въ очень значительныхъ размѣрахъ, то и населеніе убывало очень быстро, по мѣрѣ того какъ римское государство отодвигалось назадъ отъ земледѣльческаго къ скотоводческому быту. Чѣмъ больше людей умирало отъ голода и отъ заразительныхъ болѣзней, тѣмъ менѣе остающіеся въ живыхъ были способны бороться, съ одной стороны, съ природою, съ другой — съ агентами государственнаго фиска, требовательность котораго нисколько не уменьшалась. Природа создавала непроходимыя болота на такихъ мѣстахъ, гдѣ были прежде плодороднѣйшія поля, цвѣтущіе сады и богатыя деревни. А сборщики податей захватывали и продавали безъ церемоніи все, что̀ имѣло какую-нибудь мѣновую цѣнность. При этомъ неисправнаго плательщика били, сѣкли и пытали, чтобы добраться до его припрятанныхъ денегъ, или чтобы убѣдиться въ его дѣйствительной несостоятельности.

II.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ СИЛА ВАРВАРСТВА.

Благодаря рабству и презрѣнію къ промышленной дѣятельности, отравляющее и мертвящее вліяніе военнаго деспотизма дѣйствовало на римлянъ такъ глубоко и сильно, какъ оно уже не можетъ дѣйствовать на новыя европейскія общества. Въ наше время, когда промышленная дѣятельность стоитъ на первомъ планѣ и пользуется всеобщимъ уваженіемъ, мысль всегда можетъ найти себѣ полезное приложеніе, и нація, при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, во всякомъ случаѣ можетъ сосредоточивать свое вниманіе на сельскомъ хозяйствѣ, на механикѣ, на технологіи, можетъ развивать свои фабрики, совершенствовать породы рогатаго скота, придумывать новыя земледѣльческія орудія, акклиматизировать новые виды животныхъ и растеній, изобрѣтать новыя краски, новыя ткани, новые химическіе процессы. Словомъ, нація при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ можетъ все-таки уве-

личивать массу своего богатства, и, что̀ еще гораздо важнѣе, она, пріобрѣтая эти богатства, можетъ поддерживать и развивать въ себѣ привычку и способность къ серьезному умственному труду. Но для древнихъ обществъ, построенныхъ на рабствѣ, эта возможность не существовала. Въ этихъ обществахъ свободный гражданинъ, обезпеченный въ своемъ существованіи, могъ, не роняя своего достоинства, заниматься только или политикой, или философіей, или свободными художествами. Когда водворялся военный деспотизмъ, тогда политика отнималась прочь. Оставались философія и художества. Но философія имѣла какой-нибудь смыслъ только тогда, когда она готовила человѣка для дѣятельной и общеполезной жизни, то есть все-таки для политической карьеры. Когда философія лишалась этой единственной цѣли, она живо превращалась въ безсмысленное фразерство или въ болѣзненную мечтательность. Вмѣсто мыслящихъ гражданъ, она начинала формировать риторовъ или мистиковъ. Что-же касается до художествъ, то они, по своей извѣстной гибкости, примѣнялись ко всему, и, находясь въ деморализованномъ обществѣ, становились немедленно ревностными пропагандистами низости и нелѣпости. Такъ какъ при рабскомъ трудѣ прикладныя науки не могли ни возникнуть, ни развиваться, то понятно, что въ обществѣ, подчинившемся военному деспотизму, должны были съ изумительной быстротой атрофироваться или искажаться умственныя способности, лишенныя всякаго правильнаго и здороваго упражненія.

Вотъ какими красками Амміанъ Марцеллинъ, писатель, жившій въ концѣ IV вѣка, рисуетъ нравы и образъ жизни тѣхъ классовъ общества, которые одни имѣли возможность думать, чувствовать и дѣйствовать за всѣхъ своихъ современниковъ и соотечественниковъ.

«Они, римскіе магнаты,— говоритъ Амміанъ,— «соперничаютъ между собою въ тщеславномъ стремленіи къ титуламъ и прозваніямъ; они тщательно выбираютъ или придумываютъ себѣ самыя напыщенныя и звонкія имена: Ребуррусъ или Фабуніусъ, Пагоніусъ или Тарразіусъ, чтобы эти имена поражали слухъ толпы изумленіемъ и уваженіемъ. Изъ пустого честолюбиваго желанія увѣковѣчить свою память, они воздвигаютъ себѣ множество статуй изъ мѣди и изъ мрамора, и при этомъ еще непремѣнно требуютъ, чтобы эти статуи были покрыты золотыми листами; отличіе это въ первый разъ было оказано консулу Ацилію послѣ того, какъ онъ своимъ оружіемъ и дарованіями разрушилъ могущество царя Антіоха. Та хвастливость, съ которой они высчитываютъ и по всей вѣроятности преувеличиваютъ доходы съ имѣній, принадлежащихъ имъ во всѣхъ провинціяхъ съ восхода солнца до заката, возбуждаетъ справедливое негодованіе каждаго, кто припоминаетъ, что ихъ бѣдные и непобѣдимые предки не отличались отъ послѣдняго солдата ни изысканностью стола, ни роскошью одежды. Магнаты нашего времени измѣряютъ свою знатность и свое достоинство вышиною своихъ колесницъ и тяжелымъ великолѣпіемъ своего платья. Ихъ длинныя мантіи изъ шелка и пурпура развѣваются по вѣтру, и когда онѣ распахиваются, случайно или умышленно, тогда онѣ обнаруживаютъ нижнюю одежду, богатыя туники, расшитыя изображеніями различныхъ звѣрей. Въ сопровожденіи пятидесяти прислужниковъ, взрывая подъ собой мостовую, они носятся по улицамъ города съ такой неистовой быстротою, какъ будто бы они путешествовали на почтовыхъ лошадяхъ; примѣру сенаторовъ смѣло подражаютъ матроны и дамы, которыхъ крытые экипажи рыщутъ постоянно по огромному пространству города и предмѣстій. Когда эти высокородныя особы удостоиваютъ своимъ посѣщеніемъ публичныя бани, тогда онѣ при самомъ входѣ принимаютъ громкій и дерзко-повелительный тонъ и конфискуютъ въ свою частную собственность тѣ удобства, которыя устроены для всего римскаго народа. Если въ этихъ мѣстахъ, гдѣ толпится самое смѣшанное общество, они встрѣчаютъ какого-нибудь презрѣннаго сводника, они выражаютъ ему свою любовь нѣжными объятіями, и въ то же время они высокомѣрно отвергаютъ привѣтствія своихъ согражданъ, которымъ доступна только честь поцѣловать ихъ руку или приложиться къ ихъ колѣнямъ. Освѣжившись въ банѣ, они тотчасъ надѣваютъ свои кольца и другіе знаки своего достоинства; выбираютъ изъ своего частнаго гардероба, составленнаго изъ тончайшихъ тканей и достаточнаго для цѣлой дюжины людей, тѣ одежды, которыя наиболѣе пріятны ихъ фантазіи, и затѣмъ до своего ухода сохраняютъ туже неприступную осанку, которая быть можетъ показалась бы извинительною со стороны великаго Марцелла, послѣ завоеванія Сиракузъ.

Иногда впрочемъ эти герои отваживаются на болѣе трудныя предпріятія; они посѣщаютъ свои владѣнія въ Италіи и доставляютъ себѣ, руками своихъ рабовъ, удовольствія охоты. Если когда-нибудь, особенно-же въ жаркій день, у нихъ достало мужества проплыть въ расписанной галерѣ отъ Лукринскаго озера къ ихъ роскошнымъ вилламъ на морскомъ берегу близъ Путеоли или Кайеты, они сравниваютъ свои экспедиціи съ походами Цезаря и Александра. Но случится-ли мухѣ сѣсть на шелковыя складки ихъ позолоченныхъ зонтиковъ, или солнечный лучъ прокрадется сквозь какую-нибудь неохраненную и незамѣтную скважину, — они оплакиваютъ свои невыносимыя страданія и сокрушаются самымъ напыщеннымъ образомъ о томъ, что они не родились въ землѣ Киммеріанъ, въ странѣ вѣчнаго мрака. Во время этихъ переѣздовъ въ деревню весь корпусъ дворни передвигается

вслѣдъ за бариномъ. Какъ пѣхота и конница, тяжело и легко вооруженныя войска, авангардъ и арьергардъ располагаются на походѣ подъ предводительствомъ своихъ отдѣльныхъ начальниковъ, такъ точно старшіе лакеи, которые несутъ палку, какъ эмблему своей власти, распредѣляютъ и устраиваютъ длинную процессію рабовъ и прислужниковъ. Багажъ и гардеробъ двигаются впереди, за ними непосредственно слѣдуетъ множество поваровъ и низшихъ слугъ, занятыхъ работами по кухнѣ и по столовой. Главная армія состоитъ изъ смѣшанной толпы рабовъ, къ которымъ присоединяется случайное стеченіе праздныхъ или зависимыхъ плебеевъ. Шествіе заключается любимымъ отрядомъ евнуховъ, расположенныхъ по старшинству, начиная стариками и кончая юношами. Ихъ многочисленность и ихъ увѣчность возбуждаютъ ужасъ негодующаго зрителя и заставляютъ его проклинать память Семирамиды, которая первая изобрѣла жестокое искусство нарушать намѣренія природы и истреблять въ зародышѣ надежды будущихъ поколѣній.

Въ отправленіи домашняго правосудія римскіе nobiles обнаруживаютъ утонченную чувствительность ко всякой личной обидѣ и презрительное равнодушіе ко всему остальному человѣчеству. Если они потребовали себѣ теплой воды, и рабъ недостаточно быстро исполняетъ ихъ приказаніе, ему немедленно даютъ триста розогъ. Но еслибы тотъ-же рабъ учинилъ умышленное убійство, баринъ кротко замѣтилъ бы ему, что онъ негодяй и что онъ непремѣнно будетъ наказанъ, если еще разъ попадется въ такой провинности. Гостепріимство было прежде добродѣтелью римлянъ, и всякій иностранецъ, который могъ указать на свои заслуги или на свои несчастія, получалъ себѣ помощь или награду отъ ихъ великодушія. Въ настоящее время, когда чужеземецъ, занимающій у себя на родинѣ почетное мѣсто, входитъ въ домъ гордаго и богатаго сенатора,—его привѣтствуютъ, на первой аудіенціи, такими теплыми выраженіями сочувствія и такими добродушными разспросами, что онъ уходитъ, восхищенный привѣтливостью своего знатнаго друга и глубоко сожалѣя о томъ, что онъ такъ долго откладывалъ свое путешествіе въ Римъ, естественную столицу имперіи и утонченныхъ нравовъ. Увѣренный въ благопріятномъ пріемѣ, онъ повторяетъ свое посѣщеніе на слѣдующій день и дѣлаетъ то оскорбительное открытіе, что его личность, его имя и его родина давно забыты. Если онъ рѣшается продолжать, онъ понемногу зачисляется въ толпу зависимыхъ людей, и ему позволяютъ воздавать постоянное и безплодное поклоненіе высокомѣрному патрону, неспособному ни къ благодарности, ни къ дружбѣ и едва соизволяющему замѣтить его присутствіе, его уходъ, или его возвращеніе. Когда богачи приготовляютъ торжественное народное угощеніе, когда они празднуютъ съ безразсудной и вредной расточительностью свои частные пиры,—тогда выборъ гостей становится предметомъ заботливаго обсужденія. Рѣдко отдается предпочтеніе людямъ скромнымъ, умѣреннымъ и образованнымъ, и составители списковъ, руководствуясь обыкновенно корыстными побужденіями, ухитряются внести въ число приглашенныхъ темныя имена самыхъ негодныхъ людей. Постоянными и самыми любимыми спутниками знатныхъ людей бываютъ тѣ паразиты, которые занимаются выгоднѣйшимъ изъ всѣхъ искусствъ, искусствомъ льстить; которые яростно рукоплещутъ каждому слову и каждому поступку своего безсмертнаго патрона; смотрятъ съ восхищеніемъ на его мраморныя колонны и мозаичные полы и усиленно превозносятъ пышность и изящество, на которыя его пріучаютъ смотрѣть, какъ на составную часть его собственнаго достоинства. На римскихъ столахъ птицы, бѣлки или рыбы необыкновенной величины привлекаютъ къ себѣ всеобщее вниманіе и любопытство; ихъ тщательно взвѣшиваютъ на вѣсахъ, чтобы убѣдиться въ ихъ тяжести. Въ то время, когда благоразумные гости чувствуютъ отвращеніе къ пустому и скучному повторенію подобныхъ церемоній, общество приглашаетъ нотаріевъ засвидѣтельствовать посредствомъ форменнаго акта достовѣрность такого чудеснаго событія. Другое средство прокрадываться въ дома и общество знатныхъ пріобрѣтается профессіей игрока. Союзники по игрѣ связаны между собой тѣсными и неразрушимыми узами дружбы или, точнѣе, сообщничества.

Значительная степень искусства въ игрѣ *тессерагонъ* прокладываетъ вѣрную дорогу къ богатству и къ славѣ. Знатокъ этой высокой науки, посаженный за обѣдомъ или въ собраніи ниже сановника, обнаруживаетъ своей осанкой такое удивленіе и негодованіе, какое могъ чувствовать Катонъ, когда голоса своенравнаго народа отказали ему въ преторствѣ. Патриціи рѣдко заботятся о пріобрѣтеніи знаній; ихъ пугаютъ труды ученыхъ занятій, и они пренебрегаютъ ихъ выводами; они читаютъ только сатиры Ювенала да еще многословныя и сказочныя исторіи Марія Максима. Библіотеки, доставшіяся имъ по наслѣдству отъ отцовъ, заперты отъ дневного свѣта, какъ мрачныя гробницы. Но дорогіе театральные инструменты, флейты, огромныя лиры и гидравлическіе органы сооружаются для ихъ удовольствія, и гармонія вокальной и инструментальной музыки безпрестанно раздается въ римскихъ дворцахъ; въ этихъ дворцахъ звукъ предпочитается смыслу, и забота о тѣлѣ ставится выше заботы о разумѣ. Самое легкое и неосновательное подозрѣніе въ заразительной болѣзни избавляетъ самыхъ близкихъ друзей отъ обязанности провѣдывать больного, и даже слугамъ, которые изъ приличія

посылаются для освѣдомленій, позволяется возвратиться домой не иначе, какъ послѣ церемоніи предварительнаго омовенія. Но эта эгоистическая и позорная робость иногда побѣждается болѣе повелительной страстью корыстолюбія. Надежда на выгоду можетъ побудить богатаго сенатора, удрученнаго подагрой, даже къ поѣздкѣ въ Сполето; всякое чувство гордости и достоинства умолкаетъ, когда заходитъ рѣчь о наслѣдствѣ или просто о подаркѣ по завѣщанію; богатый и бездѣтный гражданинъ является самымъ могущественнымъ изъ римлянъ; искусство добиваться подписи къ выгодному завѣщанію, или иногда ускорять минуту его выполненія извѣстно во всѣхъ своихъ подробностяхъ; случалось, что въ томъ-же домѣ, хотя и въ различныхъ комнатахъ, мужъ и жена, съ похвальнымъ намѣреніемъ обмануть другъ друга, каждый съ своей стороны предписывали въ одно и то-же время своимъ повѣреннымъ объявить ихъ взаимныя, но противоположныя распоряженія. Бѣдность, которая смѣняетъ собою и наказываетъ безразсудную роскошь, часто принуждаетъ вельможъ прибѣгать къ самымъ унизительнымъ уловкамъ. Когда они желаютъ получить взаймы, тогда они говорятъ тѣмъ униженнымъ и умоляющимъ языкомъ, которымъ говоритъ рабъ въ комедіяхъ; но когда отъ нихъ требуютъ уплаты, тогда они пускаютъ въ ходъ царственную и трагическую декламацію, свойственную потомкамъ Геркулеса. Если требованіе повторяется, они легко находятъ себѣ какого-нибудь надежнаго сикофанта, который по ихъ наущенію взводитъ на дерзкаго кредитора обвиненіе въ отравѣ или въ колдовствѣ, и выпускаютъ его изъ тюрьмы только тогда, когда онъ подпишетъ квитанцію въ полученіи всей суммы. Эти пороки, искажающіе нравственный характеръ римлянъ, смѣшаны съ ребяческимъ суевѣріемъ, уродующимъ ихъ умственныя способности. Они довѣрчиво выслушиваютъ предсказанія гадателей, которые приписываютъ себѣ умѣнье читать по внутренностямъ жертвъ знаменія будущаго величія и благоденствія; есть много такихъ людей, которые не рѣшаются ни купаться, ни обѣдать, ни выходить на площадь, не справившись, по всѣмъ правиламъ астрологіи, о положеніи Меркурія и о фигурѣ мѣсяца. Довольно странно, что это пустое легковѣріе встрѣчается часто у такихъ безбожныхъ скептиковъ, которые подвергаютъ нечестивымъ сомнѣніямъ, или отрицаютъ существованіе Верховной силы».

Что̀ оставалось дѣлать обществу, доведенному длиннымъ рядомъ роковыхъ ошибокъ до этой послѣдней степени разслабленія?— Общественная организація, выработанная исторіей, должна была уничтожиться, и народъ, раскрошившись на свои мельчайшія составныя части, долженъ былъ обновиться посредствомъ варварства, подобно тому, какъ истощенное поле обновляется, оставаясь подъ паромъ и заростая впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ сорными травами.

Но въ чемъ-же именно состоитъ обновляющая сила варварства, и какимъ образомъ совершается этотъ процессъ обновленія?

Дѣло состоитъ, какъ мнѣ кажется, въ томъ, что варварство измѣняетъ тѣ условія, при которыхъ происходитъ между людьми борьба за существованіе. Эта борьба разыгрывается вездѣ: и въ дѣвственномъ лѣсу, и въ благоустроенномъ государствѣ. Но въ первомъ изъ этихъ мѣстъ побѣждаетъ тотъ, кто богаче другихъ одаренъ естественными преимуществами, а во второмъ— тотъ, кому такъ или иначе удалось занять выгодную и удобную позицію. Въ лѣсу вамъ необходимы для побѣды физическая сила, ловкость, смѣтливость, хитрость, зоркій глазъ, чуткое ухо, дерзкая отвага и спокойное мужество. Въ благоустроенномъ обществѣ вы, обладая всѣми этими качествами, можете все-таки остаться побѣжденнымъ, что̀ и случается ежегодно и повсемѣстно съ очень многими сильными, смѣлыми и даровитыми личностями. Въ цивилизованномъ обществѣ побѣда очень часто выходитъ изъ такого стеченія обстоятельствъ, которое нисколько не зависитъ отъ личныхъ качествъ побѣдителя. Римскій магнатъ былъ по всей вѣроятности слабѣе каждаго изъ своихъ взрослыхъ рабовъ; еслибы имъ случилось побороться или подраться между собой, рабъ навѣрное одолѣлъ бы своего господина; многіе рабы были умнѣе и даровитѣе своихъ господъ; многіе были образованнѣе ихъ, а между тѣмъ господинъ всегда и вездѣ, при каждомъ столкновеніи, побѣждалъ сотни и тысячи своихъ рабовъ и постоянно отбиралъ у нихъ добычу, то есть продукты ихъ труда; причина этихъ постоянныхъ побѣдъ заключалась очевидно въ томъ, что господину, какъ бы онъ ни былъ обиженъ природой, постоянно помогала вся общественная организація.

Поголовное возстаніе рабовъ мгновенно превращаетъ прежнихъ побѣдителей въ самыхъ несчастныхъ и безпомощныхъ побѣжденныхъ. Множество магнатовъ, шутовъ, прихлебателей и приживалокъ гибнетъ подъ ударами бунтовщиковъ. Ни магнаты, ни ихъ кліенты не умѣютъ драться; у нихъ нѣтъ ни силы, ни храбрости, они падаютъ почти безъ сопротивленія, какъ только общественная организація теряетъ свое могущество. Тѣ магнаты и кліенты, которые остаются въ живыхъ, умираютъ въ скоромъ времени отъ непривычныхъ лишеній; они не умѣютъ ни работать, ни грабить; никто не хочетъ кормить магната за его знатное происхожденіе; никто не нуждается въ низкихъ поклонахъ прихлебателя; никто не награждаетъ шута за его каламбуры и гримасы. Всякій думаетъ о самомъ себѣ; всякій надѣется на собственные кулаки, всякій захватываетъ себѣ все, что̀ при-

ходится ему подъ силу. Въ такія времена горе слабому, горе лѣнивому, горе трусу, горе беззащитному ребенку, горе одинокой женщинѣ, горе дряхлому старику, горе больному или слабоумному!—Такія времена переполнены кровью и грязью, дикимъ разбоемъ и коварнымъ обманомъ. Но въ эти ужасныя времена личная сила и энергія развертываются во всю свою ширину, потому что онѣ ведутъ ко всему, и потому что безъ нихъ человѣкъ обреченъ на вѣрную и быструю гибель.

Въ такія времена все слабое, вялое и хилое постоянно стирается съ лица земли. Все сильное, суровое и мужественное растетъ, плодится, процвѣтаетъ и богатѣетъ. Тѣ страсти и способности, которыя были прежде затаены и заморожены въ самыхъ низшихъ, въ самыхъ задавленныхъ классахъ общества, вырываются наружу съ неудержимой силой и порождаютъ изъ себя невиданныя явленія, которымъ уже никто и ничто не мѣшаетъ развиваться, очищаться и совершенствоваться. Дикое самоуправство и хаотическая борьба между отдѣльными личностями продолжаются нѣсколько столѣтій. Въ этой борьбѣ побѣждаютъ постоянно естественныя преимущества—сила, ловкость, храбрость и хитрость. Каждый старается пріобрѣтать эти спасительныя преимущества для себя и для своихъ дѣтей. Каждый старается прежде всего сдѣлаться здоровымъ и крѣпкимъ животнымъ; между тѣмъ какъ во времена цивилизованнойо дряхлости каждый старается прежде всего понравиться важнымъ особамъ. Во времена варварства природа сама сортируетъ людей и производитъ надъ ними строгую операцію естественнаго выбора. Этотъ естественный выборъ, продолжаясь нѣсколько столѣтій, совершенно пересоздаетъ и перевоспитываетъ ту націю, которая была испорчена и разслаблена политическими и экономическими ошибками своего прошедшаго. Потомки робкихъ, вялыхъ и безсильныхъ людей оказываются храбрыми, предпріимчивыми, свободными и неукротимыми богатырями, передъ которыми открывается необозримая перспектива самаго свѣтлаго, богатаго и разнообразнаго гражданскаго развитія.

Такой процессъ обновленія посредствомъ варварства пережила Италія впродолженіи тѣхъ пяти столѣтій, которыя отдѣляютъ Одоакра отъ Отона Великаго.

III.

ЛОНГОБАРДЫ И КАРЛЪ ВЕЛИКІЙ.

Послѣ паденія западной имперіи начались немедленно громадныя измѣненія въ составѣ землевладѣльческой аристократіи. Сдѣлавшись королемъ Италіи, Одоакръ роздалъ своимъ воинамъ, доставившимъ ему престолъ, третью часть итальянской территоріи. Всѣ эти земли были отняты у римскихъ магнатовъ, которымъ принадлежала вся Италія.

Отъ 489 до 493 года Италію завоевали остготы подъ предводительствомъ Теодориха. За этимъ завоеваніемъ послѣдовала новая раздача земель, которыми предводители варварскихъ племенъ обыкновенно награждали своихъ воиновъ.

Отъ 534 до 552 года остготы вели ожесточенную войну съ византійцами. Эта война кончилась почти совершеннымъ истребленіемъ остготскаго народа. Италія подчинилась на короткое время восточнымъ императорамъ.

Въ 568 году произошло новое нашествіе варваровъ. Лонгобарды нанесли послѣдній ударъ старой римской аристократіи. «Всѣ римляне, говоритъ лонгобардскій историкъ, Павелъ Варнефридъ, которые остались въ живыхъ, были раздѣлены между воинами, превращены въ данниковъ и принуждены отдавать лонгобардамъ третью часть жатвы».

Всѣ воины лонгобардской арміи сдѣлались землевладѣльцами. Предводители отрядовъ сдѣлались правителями городовъ и прилегающихъ къ нимъ областей. Эти правители носили титулъ *герцоговъ* и господствовали надъ простыми землевладѣльцами, которые назывались солдатами или воинами, milites. Герцоги въ свою очередь подчинялись королю. Но чѣмъ выше мы поднимаемся по этой лѣстницѣ, тѣмъ слабѣе становится зависимость подчиненныхъ лицъ. Власть помѣщиковъ надъ земледѣльцами была неограниченна; власть герцоговъ надъ помѣщиками была слаба; власть короля надъ герцогами была почти ничтожна. Такъ какъ число простыхъ воиновъ лонгобардской арміи было довольно значительно и такъ какъ далеко не вся Италія была завоевана лонгобардами, то для удовлетворенія всѣхъ требованій оказалось необходимымъ раздробить громадныя помѣстья римскихъ вельможъ. Это раздробленіе сразу должно было измѣнить весь характеръ сельскаго хозяйства. Пастбища должны были снова превратиться въ пахатныя земли.

Положеніе низшихъ классовъ также должно было измѣниться къ лучшему. Вмѣсто изнѣженныхъ сибаритовъ, тратившихъ свои доходы на разныя утонченныя прихоти, во главѣ общества очутились простые и грубые люди, которые не знали и не хотѣли знать никакихъ удовольствій, кромѣ войны и охоты. Это удовольствіе они доставляли себѣ ежедневно. Всѣ помѣщики, по закону, имѣли полное право вести между собою войны. Каждое оскорбленіе, каждое нарушеніе границъ, каждая потрава подавали поводъ къ микроскопическимъ войнамъ. Эти войны разоряли и огорчали крестьянъ, но эти-же самыя войны давали имъ возможность улучшать свое положеніе, ослаблять свою зависимость, заключать съ помѣщикомъ выгодныя условія и возвышаться постепенно до полной свободы.

Положеніе римскаго раба было безвыходно и безнадежно. Находясь въ обширномъ имѣніи своего господина, онъ не могъ ни бѣжать, ни взбунтоваться. Прежде чѣмъ онъ добѣжалъ бы до границы имѣнія, его бы схватили и привели назадъ; прежде чѣмъ онъ успѣлъ бы сговориться съ своими товарищами на счетъ бунта, надсмотрщики подмѣтили бы его маневры, заковали бы его въ цѣпи и посадили бы его въ подземную тюрьму. Еслибы даже рабу удалось добраться до сосѣдняго имѣнія, то его бы схватили и тамъ, потому что въ благоустроенномъ государствѣ ни одинъ разсудительный рабовладѣлецъ не станетъ принимать подъ свое покровительство бѣглаго раба. Еслибы даже рабу удалось взбунтовать своихъ товарищей, то и тогда вся исторія кончилась бы мучительной казнью мятежниковъ, потому что всѣ силы общества тотчасъ направились бы противъ нарушителей спокойствія и задушили бы зло въ колыбели. Римскому рабу оставалось только терпѣть и проклинать часъ своего рожденія. Для раба порядокъ и спокойствіе были хроническимъ зломъ, которымъ увѣковѣчивались его страданія. Когда порядокъ и спокойствіе исчезли, тогда рабъ вздохнулъ свободнѣе, потому что для него открылось тогда множество выходовъ.

Послѣ нашествія лонгобардовъ, рабамъ пришлось жить въ небольшихъ имѣніяхъ, владѣльцы которыхъ вели между собою постоянныя войны. Терпя притѣсненія отъ своего господина, рабъ могъ бѣжать къ сосѣду, съ которымъ этотъ господинъ велъ войну. Сосѣдъ нуждался въ рабочихъ рукахъ и желалъ насолить своему врагу, поэтому онъ съ удовольствіемъ принималъ его бѣглаго раба. Господинъ не имѣлъ при этомъ никакой возможности преслѣдовать бѣглеца и рыскать за нимъ по имѣніямъ своихъ враговъ. Земская полиція также не могла этимъ заниматься по той простой причинѣ, что она не существовала. Законы седьмого лонгобардскаго короля, Ротариса, грозятъ смертной казнью бѣглымъ земледѣльцамъ, а также и сторожамъ рѣчныхъ пристаней и перевозовъ, если эти сторожа будутъ пропускать бѣглецовъ. Существованіе этихъ законовъ доказываетъ ясно, что побѣги были очень многочисленны. Строгость этихъ законовъ доказываетъ также ясно, что правительство, не имѣя возможности ловить бѣглецовъ, старалось подѣйствовать на нихъ страхомъ. Но страхъ никогда не дѣйствуетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда есть множество шансовъ скрыть преступленіе. Само собою разумѣется, что побѣги продолжались, и что помѣщики были принуждены постепенно улучшать положеніе рабовъ для того, чтобы удерживать у себя рабочія руки.

У каждаго помѣщика была своя дружина, составленная изъ свободныхъ людей, которымъ помѣщикъ предоставлялъ, за извѣстную ежегодную плату, участокъ земли. Эти дружинники-арендаторы ходили съ помѣщикомъ на войну и дѣлили съ нимъ награбленную добычу. Когда помѣщикъ съ своей дружиной отправлялся въ походъ, тогда семейство помѣщика оставалось въ его укрѣпленномъ домѣ или замкѣ. Еслибы рабы въ это время пожелали взбунтоваться, то имъ было бы очень легко овладѣть барскимъ домомъ и истребить барское семейство. Во избѣжаніе такихъ непріятныхъ случаевъ помѣщикъ принужденъ былъ обращаться довольно сносно съ своими рабами, въ рукахъ которыхъ онъ оставлялъ почти каждый день свое беззащитное семейство.

Помѣщику приходилось часто выдерживать въ своемъ замкѣ настоящую осаду. Еслибы въ это время рабы передались на сторону непріятеля, то помѣщику пришлось бы очень плохо. Противъ такихъ измѣнъ помѣщикъ могъ застраховать себя только человѣколюбивымъ обращеніемъ. — Кто не понималъ этой простой истины, тотъ самъ и расплачивался за свою непонятливость.

Когда помѣщикъ былъ разбитъ въ сраженіи, когда дружина его была уничтожена, тогда ему надо было или согласиться на невыгодный и позорный миръ, или набрать изъ рабовъ новую дружину. А вооружить раба значило освободить его. Такъ это обыкновенно и дѣлалось. Въ случаѣ крайней опасности, рабы получали свободу и съ радостью шли драться за своего освободителя.

Въ мирное время эти освобожденные люди обрабатывали землю, нанимая ее у помѣщика, на различныхъ условіяхъ. Землевладѣльцы скоро принуждены были замѣтить, что при этой арендной системѣ земля даетъ имъ больше дохода, чѣмъ при системѣ обязательнаго труда. Тогда явилось со стороны землевладѣльцевъ желаніе замѣнять барщину опредѣленнымъ оброкомъ.

Такимъ образомъ множество различныхъ причинъ содѣйствовало переходу земледѣльцевъ отъ рабства къ крѣпостной зависимости и потомъ отъ крѣпостной зависимости къ полной свободѣ. Подробности этихъ двухъ переходовъ очень мало извѣстны. Тутъ не было никакихъ систематическихъ реформъ, никакихъ общихъ законодательныхъ распоряженій. Все сдѣлалось само собою, по естественной логикѣ событій. Рабство и крѣпостная зависимость уничтожились въ одной мѣстности раньше, въ другой позднѣе; современные лѣтописцы не интересовались этимъ вопросомъ и не могли слѣдить за его частичнымъ разрѣшеніемъ; поэтому лѣтописцы молчатъ, а историкъ принужденъ ограничиваться общими догадками и не можетъ сказать навѣрное, когда именно началось это движеніе и когда оно кончилось. Достовѣрно извѣстно только то, что процессъ освобожденія продолжался очень долго, именно потому, что въ немъ не было ничего систематическаго: ни господа, ни сами рабы не знали, куда они идутъ. Время было тревожное; каждый старался извлекать себѣ изъ этихъ тре-

вогъ возможно бо́льшую пользу, и это живое стремленіе каждой отдѣльной личности переработало понемногу всѣ междусословныя отношенія. Во время постоянныхъ войнъ, крупныхъ и мелкихъ, иностранныхъ и междуусобныхъ, на долю простого народа доставалось конечно много лишеній, трудовъ, опасностей и страданій; но тутъ по крайней мѣрѣ всегда была возможность сопротивляться, барахтаться, пользоваться счастливыми случайностями и подвигаться впередъ къ лучшему будущему. У римскаго раба, напротивъ того, не было даже этого послѣдняго утѣшенія. И римскій рабъ, и средневѣковый вилланъ терпѣли оба горькую долю; но безнадежныя страданія перваго убивали въ немъ всякую энергію, между тѣмъ какъ тяжелая борьба послѣдняго со всевозможными враждебными обстоятельствами развивала въ немъ мужество, предпріимчивость, изворотливость и желѣзное терпѣніе.

Тѣ-же самыя продолжительныя и разнообразныя смуты, подъ вліяніемъ которыхъ родилась и выросла свобода сельскихъ жителей, повели также за собою политическое обособленіе итальянскихъ городовъ.

Въ концѣ VIII столѣтія Карлъ Великій попробовалъ возстановить западную римскую имперію и дѣйствительно соединилъ подъ своимъ господствомъ Францію, Германію и Италію. Личныя дарованія Карла были громадны; дѣятельность его была изумительна, твердость его характера доходила иногда до жестокости. И не смотря на это, ему все-таки не удалось создать ничего прочнаго; вскорѣ послѣ его смерти имперія его разсыпалась на мельчайшіе кусочки. Послѣ Карла Великаго, въ IX и въ X вѣкѣ, политическій хаосъ оказался еще нелѣпѣе и ужаснѣе, чѣмъ въ VII и VIII вѣкѣ, до централизаторскихъ экспериментовъ великаго французскаго императора.

Хотя Карлъ былъ представителемъ цивилизаціи, хотя онъ старался облагодѣтельствовать своихъ подданныхъ мудрыми и справедливыми законами, однако нельзя не замѣтить, что онъ тянулъ человѣчество назадъ, а не впередъ. Ему хотѣлось воскресить умершую цивилизацію Рима, воскресить такія бытовыя формы, которыхъ негодность была уже достаточно доказана ихъ долгой и мучительной агоніей. Еслибы желанія Карла исполнились, то римская цивилизація воскресла бы только затѣмъ, чтобы тотчасъ-же снова предаться разложенію. Это разложеніе могло бы продолжаться нѣсколько столѣтій; но чѣмъ дольше бы оно тянулось, чѣмъ искуснѣе даровитые правители поддерживали бы разрушающееся зданіе разными частичными подстройками и подпорками, тѣмъ хуже бы это было для человѣчества, потому что разрушеніе было все-таки неизбѣжно, и переходъ черезъ варварство былъ все-таки необходимъ. Чѣмъ дольше задерживался этотъ переходъ, тѣмъ больше набиралось разнородныхъ элементовъ для будущаго безпорядка, тѣмъ упорнѣе и мучительнѣе должна была оказаться впослѣдствіи борьба между умирающими старыми формами и народившимися новыми стремленіями. Именно такимъ образомъ и подѣйствовало на Европу блестящее царствованіе Карла Великаго. Хаосъ увеличился послѣ его смерти именно потому, что онъ придалъ новую силу тѣмъ элементамъ, которые были побѣждены и непремѣнно должны были умереть. Но, къ счастью для Европы, политика Карла не нашла себѣ достойныхъ подражателей; дѣти и внуки великаго человѣка оказались пигмеями, и вредъ, нанесенный Карломъ, не успѣлъ развиться до степени опасной и продолжительной болѣзни. Благодаря этому обстоятельству, Европѣ не пришлось превратиться въ подобіе византійской имперіи.

Карлъ старался создать большое политическое цѣлое въ то время, когда всѣ мельчайшіе элементы общества инстинктивно стремились къ индивидуальной самостоятельности. Нѣтъ того великаго человѣка, который могъ бы побѣдить и пересоздать всѣхъ своихъ современниковъ, хотя и случается очень часто, что великій человѣкъ лучше цѣлаго общества понимаетъ и угадываетъ настоящія потребности времени. Но въ данномъ случаѣ противъ Карла оказался не только инстинктъ современниковъ, но и дѣйствительный смыслъ событій. Историкъ долженъ сознаться, что естественныя стремленія тогдашняго варварскаго общества соотвѣтствовали вполнѣ не только его собственнымъ минутнымъ выгодамъ, но и всѣмъ великимъ интересамъ европейскаго развитія.

Политическая опытность тогдашнихъ первоклассныхъ геніевъ была такъ недостаточна, ихъ знанія такъ ничтожны, ихъ идеи такъ узки и односторонни, что Карлъ Великій, со всѣми своими мудрецами, не могъ ни въ какомъ случаѣ создать (a priori) для своего государства такую систему учрежденій, которая не стѣснила бы во всѣхъ отношеніяхъ здоровое развитіе различныхъ общественныхъ элементовъ. Еслибы даже Карлъ и его совѣтники были въ состояніи пересмотрѣть всю исторію, съ тѣмъ, чтобы отыскать въ ней образецъ государственнаго устройства, то и тогда они все-таки остались бы почти не при чемъ, и ужъ во всякомъ случаѣ не отыскали бы ничего дѣйствительно хорошаго. Въ той части исторіи, которую могъ изучать Карлъ Великій, господствуютъ двѣ политическія формы: огромныя монархіи и крошечныя республики, заключавшіяся цѣликомъ въ стѣнахъ одного города. Послѣдняя форма очевидно не годилась для людей, желавшихъ соорудить большое государство.

Такъ какъ во времена Карла Великаго никто не подозрѣвалъ возможности очень многихъ политическихъ комбинацій, наиболѣе сложныхъ и наиболѣе удовлетворительныхъ, то надо было желать въ интересахъ будущаго, чтобы отсут-

ствіе прочнаго порядка продолжалось какъ можно дольше, чтобы отдѣльные общественные элементы обособлялись, выяснялись и боролись между собою, и чтобы такимъ образомъ открывался на цѣлыя столѣтія широкій просторъ для самыхъ разнообразныхъ опытовъ политической и общественной организаціи. Тогдашніе теоретики не могли сдѣлать для общества ничего хорошаго, потому что у нихъ было черезчуръ мало матеріаловъ для составленія теорій и черезчуръ мало привычки и умѣнья обращаться даже съ тѣми скудными матеріалами, которые имѣлись въ наличности. Могли-ли напримѣръ тогдашніе теоретики составить себѣ понятіе объ обществѣ безъ рабовъ и даже безъ крѣпостныхъ? Разумѣется, не могли. Но такъ какъ будущее доказало, что общество безъ рабовъ и безъ крѣпостныхъ не только можетъ существовать, но даже стоитъ по своему богатству и по своему могуществу неизмѣримо выше всякаго рабовладѣльческаго общества, то мы, зная это будущее, можемъ теперь утверждать, что пораженіе тогдашнихъ теоретиковъ, желавшихъ положить конецъ хаотической борьбѣ живыхъ силъ, было для человѣчества величайшимъ благополучіемъ, не смотря на то, что это пораженіе значительно увеличило собою безпорядокъ. Въ то время было совершенно необходимо, чтобы общество постоянно волновалось до самой глубины, потому что только во время такихъ долговременныхъ и глубокихъ волненій могли сложиться сами собою такіе новые и неожиданно оригинальные результаты, о которыхъ не смѣлъ подумать ни одинъ тогдашній мыслитель. Въ спокойное время эти результаты не могли получиться, потому что тогда зародыши новыхъ явленій обращали бы на себя постоянное вниманіе сильныхъ людей, возбуждали бы ихъ неосновательныя опасенія и подвергались бы систематическому истребленію или искаженію.

Но общественное броженіе, необходимое для успѣшнаго и разнообразнаго политическаго развитія, могло возникнуть только изъ соперничества или изъ борьбы различныхъ общественныхъ элементовъ, а соперничать или бороться между собой эти элементы могли только тогда, когда они пользовались индивидуальной независимостью. Поэтому раздробительныя тенденціи, преобладавшія въ современникахъ Карла Великаго, имѣютъ свое законное оправданіе, хотя, разумѣется, тогдашніе люди искали себѣ личной самостоятельности совсѣмъ не для того, чтобы приготовить Европѣ лучшее будущее.

IV.

ОБОСОБЛЕНІЕ ИТАЛЬЯНСКИХЪ ГОРОДОВЪ.

Еслибы Карлъ Великій не мѣшалъ своимъ современникамъ, то всѣ города, всѣ монастыри его монархіи сдѣлались бы почти независимыми государствами, соединенными между собой запутанною сѣтью самыхъ разнообразныхъ условій, обязательствъ и договоровъ. Каждый помѣщикъ присвоилъ бы себѣ право заключать какіе угодно союзы, вести какія угодно войны, чеканить свою монету, налагать и собирать подати, судить, казнить и миловать по своему благоусмотрѣнію всѣхъ обитателей своего помѣстья, словомъ, въ концѣ VIII вѣка водворился бы тотъ порядокъ, или вѣрнѣе тотъ безпорядокъ, который установился въ X вѣкѣ. Такимъ образомъ человѣчество выиграло бы для своего развитія почти два столѣтія, которыя оказались потраченными на уничтоженіе несвоевременныхъ, безплодныхъ и мертворожденныхъ созданій великаго цивилизатора и централизатора Карла. Желая увеличить свое могущество, стараясь подчинить всѣхъ и все своему личному контролю, Карлъ до такой степени ослабилъ свое государство, что оно оказалось неспособнымъ отражать набѣги норманновъ, сарациновъ и венгровъ. Представители центральной власти вели постоянную, глухую или открытую борьбу съ мѣстными владѣльцами; эта повсемѣстная борьба связывала тѣ силы, которыя должны были направляться противъ внѣшнихъ враговъ. Враги пользовались этими благопріятными обстоятельствами и опустошали цѣлыя провинціи съ такими ничтожными силами, которымъ каждый помѣщикъ могъ бы оказать сопротивленіе, еслибы онъ въ это самое время не былъ занятъ отстаиваніемъ своей независимости противъ королевскаго или императорскаго чиновника.—Чиновникъ желалъ прежде всего усмирить бунтовщиковъ; бунтовщикамъ, то есть помѣщикамъ, хотѣлось прежде всего осадить дерзкаго узурпатора; землевладѣльцы и агенты центральнаго правительства считали другъ друга за самыхъ опасныхъ враговъ, гораздо болѣе опасныхъ, чѣмъ норманны или сарацины; питая другъ къ другу такія нѣжныя чувства, они могли только мѣшать и вредить общему національному дѣлу, когда имъ случалось соединяться вмѣстѣ, вокругъ одного знамени. Они выдавали и подводили другъ друга, гдѣ только это было возможно. Поэтому норманнамъ и венграмъ случалось разбивать такія арміи, которыя были гораздо сильнѣе ихъ по числу и нисколько не уступали имъ въ храбрости и въ знаніи военнаго дѣла. Раздоры и взаимное недовѣріе начальниковъ оказывались самыми лучшими и самыми вѣрными союзниками слабаго непріятеля. Безпомощность Италіи, Франціи и Германіи кончилась только тогда, когда мѣстные элементы одержали рѣшительную побѣду надъ центральною властью. Набѣги венгровъ и сарациновъ въ значительной степени содѣйствовали этому перевороту и обнаружили особенно сильное вліяніе на политическое обособленіе итальянскихъ городовъ.

Въ первой половинѣ IX вѣка сарацины завоевали Сицилію, потомъ перешли на материкъ,

укрѣпились на берегахъ рѣки Гарильяно и оттуда начали опустошать всю южную Италію, до самыхъ воротъ Рима. Въ концѣ того-же вѣка другая колонія сарациновъ пріютилась въ сѣверной Италіи, не далеко отъ Ниццы, и занялась опустошеніемъ Піемонта. Наконецъ въ началѣ X вѣка Италію стали грабить венгры. Ни у сарациновъ, ни у венгровъ не было охоты дѣлать въ Италіи завоеванія; и тѣ и другіе вели партизанскую войну безъ всякаго опредѣленнаго плана; имъ хотѣлось только пакостить и грабить вездѣ, гдѣ можно было застать врасплохъ мирныхъ жителей; вся армія ихъ состояла исключительно изъ легкой кавалеріи; раздѣляясь на мелкіе отряды, они смѣло углублялись въ непріятельскую страну и нисколько не старались обезпечить себѣ отступленіе; они не возили съ собой никакихъ обозовъ; все, что имъ было нужно, съѣстные припасы и фуражъ, они каждый день отнимали у жителей насильно, не заботясь о завтрашнемъ днѣ и зная навѣрное, что завтра можно будетъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ повторить ту-же исторію. Когда противъ нихъ собирались дружины помѣщиковъ и ополченія городовъ, тогда они старались уклониться отъ сраженія, разсыпались по всей странѣ, обходили войско, вышедшее къ нимъ на встрѣчу, нападали на беззащитные города и села, лежащіе далеко внутри страны, и такимъ образомъ все-таки достигали своей цѣли, то есть грабили, рѣзали и жгли во все свое удовольствіе. Войско помѣщиковъ и городовъ конечно пускалось за ними въ погоню; но сарацины и венгры перелетали съ мѣста на мѣсто такъ быстро, что пѣхота и тяжеловооруженная конница, изъ которыхъ были составлены тогдашнія арміи, не могли за ними угоняться и большею частью приходили на выручку тогда, когда городъ былъ уже разграбленъ и зажженъ, жители — перебиты, а враги — въ другомъ мѣстѣ и въ совершенной безопасности.

Воевать такимъ образомъ было черезчуръ невыгодно. Такъ какъ нашествія сарациновъ и венгровъ повторялись очень часто и всегда одинаково успѣшно впродолженіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, то наконецъ итальянцы принуждены были замѣтить, что самая многочисленная, самая храбрая и превосходно вооруженная армія ничего не можетъ сдѣлать съ такимъ неуловимымъ врагомъ, который постоянно умѣетъ проскользнуть у нея между руками. При этомъ не трудно было сообразить, что страна будетъ совершенно обезпечена противъ этихъ грабителей только тогда, когда въ каждомъ городкѣ, въ каждой деревушкѣ разовьются мѣстныя средства самозащиты. Надо было устроить такъ, чтобы ни одно поселеніе никогда не могло быть захвачено врасплохъ Для этого прежде всего необходимы были укрѣпленія. Запастись ими было совсѣмъ не мудрено и не разорительно, тѣмъ болѣе, что тутъ требовались не Богъ знаетъ какія чудеса фортификаціоннаго искусства; самая простая кирпичная стѣна составляла непобѣдимое препятствіе для дикихъ наѣздниковъ, у которыхъ не было и не могло быть ни лѣстницъ, ни стѣнобитныхъ орудій. Затѣмъ надо было, чтобы всѣ взрослые мужчины каждаго населеннаго мѣста завели себѣ оружіе, выбрали себѣ опытныхъ распорядителей и выучились всѣмъ необходимымъ военнымъ эволюціямъ, посредствомъ которыхъ они могли бы, безъ всякой посторонней помощи, во всякую данную минуту, отразить внезапное нападеніе. Со стороны сарациновъ и венгровъ только одно первое нападеніе и было опасно; предпринять и довести до конца правильную осаду они были совершенно неспособны.

Чтобы окружить городъ стѣной, надо было предварительно выпросить разрѣшеніе у короля или у императора. Но въ данномъ случаѣ требованія необходимости были такъ очевидны, и центральная власть такъ глубоко чувствовала свое безсиліе въ борьбѣ съ летучими отрядами венгровъ и сарациновъ, что ея подозрительность принуждена была молчать. Втеченіи IX и X вѣковъ городамъ, деревнямъ и монастырямъ выдано было множество императорскихъ и королевскихъ грамотъ, разрѣшавшихъ имъ строить укрѣпленія. Выстроивши стѣны, надо было ихъ караулить и защищать; слѣдовательно надо было организовать милицію; это право всегда давалось городамъ вмѣстѣ съ разрѣшеніемъ укрѣпляться. Получивши позволеніе заботиться о собственной безопасности, каждый городъ раздѣлился на нѣсколько кварталовъ; всѣхъ кварталовъ было обыкновенно отъ четырехъ до шести; каждый изъ нихъ прилегалъ къ одной изъ городскихъ заставъ и назывался по ея имени; жители каждаго квартала обязаны были защищать свои ворота и свою долю общей городской стѣны. Но ограничиваться одной защитой стѣнъ было невозможно; могли представиться такіе случаи, когда будетъ необходимо преслѣдовать врага или выходить къ нему навстрѣчу, чтобы спасти отъ опустошительныхъ подвиговъ поля, виноградники, фруктовые сады, принадлежащіе гражданамъ. Кромѣ того могла оказаться необходимость идти на помощь къ осажденнымъ жителямъ другого города. Поэтому надо было сформировать городскія милиціи такъ, чтобы онѣ могли драться съ непріятелемъ не только изъ-за стѣнъ, но и въ открытомъ полѣ. Каждый кварталъ обязалъ своихъ богатѣйшихъ гражданъ являться на службу верхомъ и въ полномъ вооруженіи. Другіе граждане, побѣднѣе, были вооружены арбалетами и сражались пѣшкомъ; третій отрядъ составлялъ тяжелую пѣхоту; онъ носилъ желѣзные шлемы и щиты и дрался копьями. Остальные граждане были вооружены мечами. Когда ударяли въ набатъ, тогда всѣ вооруженные люди города были обязаны собираться на площадь своего квартала. Эта обязанность ле-

жала на всѣхъ здоровыхъ гражданахъ отъ 18 до 70 лѣтъ.

Городскія милиціи, составленныя такимъ образомъ изъ купцовъ и ремесленниковъ, которымъ некогда и невозможно было пріобрѣтать себѣ опытность старыхъ солдатъ, могли быть сильны и грозны только своимъ воодушевленіемъ. А воодушевленіе, способное замѣнить собою дисциплину и привычку къ военному дѣлу, возможно только тогда, когда каждый солдатъ знаетъ, за что онъ деретъся, и твердо увѣренъ въ добросовѣстности и даровитости полководца. Поголовное ополченіе должно имѣть своихъ выборныхъ начальниковъ и свои совѣщательныя собранія. Построивши укрѣпленія и создавши себѣ свое собственное войско, каждый городъ непремѣнно долженъ былъ выработать себѣ свою особенную политическую организацію, свое самостоятельное правительство, которое распоряжалось бы созданнымъ войскомъ сообразно съ дѣйствительными интересами и желаніями самихъ горожанъ.

Еслибы граждане итальянскихъ городовъ сразу обнаружили такія претензіи, клонящіяся къ раздробленію государства, то императоръ или король соединился бы противъ нихъ съ герцогами, баронами и прелатами и по всей вѣроятности одержалъ надъ ними побѣду, вслѣдствіе которой ихъ стѣны были бы срыты, а милиціи обезоружены, не смотря ни на какія нашествія венгровъ и сарациновъ. Но горожане не заявляли никакихъ систематическихъ требованій; они сами не знали, куда они идутъ; при каждомъ удобномъ случаѣ они совершенно добросовѣстно заявляли свою полную преданность тому государственному тѣлу, отъ котораго они медленно отдѣлялись; въ нихъ дѣйствовала неотразимая логика обстоятельствъ и событій. Каждый слѣдующій шагъ такъ неизбѣжно вытекалъ изъ предыдущаго, что ни одинъ изъ этихъ шаговъ не могъ никого испугать или прогнѣвать. Противъ венгровъ и сарациновъ понадобились стѣны; къ стѣнамъ понадобились вооруженные люди; этимъ людамъ нуженъ былъ хорошій начальникъ; начальника надо было сначала выбирать, а потомъ контролировать. Все это было очень просто, логично, естественно и законно.

Кромѣ того центральной власти некогда было заниматься городами. Междуусобныя войны обращали на себя все ея вниманіе. Сначала раздоры происходили между потомками Карла Великаго. Потомъ, послѣ низложенія Карла Толстаго, сильнѣйшіе изъ итальянскихъ магнатовъ, маркизъ Фріульскій и герцогъ Сполетскій, стали оспаривать другъ у друга престолъ Италіи, отдѣлившійся въ 887 году отъ остальныхъ частей Карловой имперіи. Въ эти распри вмѣшались король Бургундскій и герцогъ Прованскій, и у Италіи впродолженіи семидесяти лѣтъ было почти постоянно по два короля, которыхъ претензіи взаимно противорѣчили другъ другу и которыхъ дѣйствительная власть была почти ничтожна. Въ это смутное время итальянскіе города могли съ большимъ удобствомъ расширять и упрочивать свои привилегіи.

Въ 961 году Италія снова соединилась съ Германіей. Отонъ Великій, король германскій, низложилъ итальянскаго короля, Беренгара II, подчинилъ себѣ его королевство, принялъ въ Павіи ломбардскую желѣзную корону, потомъ отправился въ Римъ и получилъ изъ рукъ папы Іоанна XII императорскую корону. Съ этого времени начинается непрерывное существованіе такъ называемой священной римской имперіи, самой блестящей и самой странной изъ всѣхъ когда-либо существовавшихъ политическихъ фикцій. Императоръ считался главой всего христіанскаго, или по крайней мѣрѣ всего католическаго міра, ему былъ врученъ свѣтскій мечъ, такъ точно, какъ папѣ принадлежалъ мечъ духовный; вся лѣстница феодальныхъ властей заканчивалась императоромъ; отъ него шла санкція всякаго владѣнія; всѣ короли считались его вассалами; только одинъ папа могъ считать себя независимымъ отъ него, или даже выше его, на столько, на сколько духъ выше тѣла. Такова была теорія, и эту теорію всѣ признавали; даже французскіе короли охотно соглашались съ тѣмъ, что императоръ—глава христіанскаго міра. Но громкія слова оставались словами. На дѣлѣ вассальныя отношенія королей къ императорамъ никогда не существовали и рѣшительно ни въ чемъ не выражались. На дѣлѣ священная *римская* имперія находилась въ *Германіи;* на дѣлѣ императоръ выбирался нѣмецкими князьями, располагалъ вполнѣ только силами своихъ собственныхъ, наслѣдственныхъ владѣній, и очень часто оказывался слабѣе своихъ вассаловъ т. е. тѣхъ нѣмецкихъ князей, которые его выбирали и которые всегда очень плохо ему повиновались. На дѣлѣ царствованіе каждаго императора было почти постоянной борьбой за императорскую власть то съ папой, то съ нѣмецкими князьями, то съ итальянскими городами. На дѣлѣ каждый императоръ принужденъ былъ пробиваться въ Римъ съ оружіемъ въ рукахъ и по дорогѣ завоевывать вновь сѣверную и среднюю Италію, которая, по общепризнанной теоріи, постоянно составляла неотдѣлимую часть священной римской имперіи.

Этотъ хроническій разладъ теоріи съ дѣйствительной жизнью набрасываетъ чрезвычайно оригинальный колоритъ на всѣ событія средневѣковой итальянской исторіи.

Этотъ разладъ и вытекающая изъ него фантастичность священно-римско-императорскихъ учрежденій начинаются со временъ Отона Великаго.

Италія отдалась Отону добровольно. Но Отонъ не могъ жить постоянно въ своемъ новомъ королевствѣ.

Важныя государственныя дѣла призывали его въ Германію, а между тѣмъ во время отсутствія итальянскіе магнаты могли пріобрѣсти себѣ полную независимость и возобновить прежніе раздоры за итальянскую корону. Надо было какимъ-нибудь образомъ удерживать ихъ въ повиновеніи. Еслибы Отонъ жилъ не въ X, а въ XVII или въ XIX вѣкѣ, то онъ просто оставилъ бы въ Италіи нѣсколько десятковъ тысячъ нѣмецкихъ солдатъ подъ начальствомъ такого генерала, на вѣрность и распорядительность котораго онъ могъ положиться. Это средство очень просто и удобно, но въ X вѣкѣ оно было неприложимо. Армія Отона состояла изъ его нѣмецкихъ вассаловъ, у которыхъ были въ Германіи свои владѣнія, и которые, именно за эти владѣнія, обязаны были служить подъ знаменами своего сюзерена Отона. Срокъ ихъ службы былъ строго опредѣленъ. Отслуживъ свое время—всего нѣсколько недѣль,—баронъ раскланивался съ своимъ сюзереномъ и отправлялся домой. У каждаго вассала были дома свои собственныя государственныя дѣла, которыя для него были такъ-же важны, какъ для Отона дѣла Германіи, заставившія его выѣхать изъ итальянскаго королевства. Никто изъ нѣмецкихъ бароновъ не былъ расположенъ бросать свои дѣла на неопредѣленное время и оставаться съ войскомъ въ чужой землѣ, въ угоду честолюбивымъ фантазіямъ сюзерена. У каждаго простого воина было также въ Германіи свое хозяйство, къ которому онъ желалъ и имѣлъ право воротиться послѣ истеченія опредѣленнаго служебнаго срока. Нѣкоторые бароны и многіе воины пожалуй согласились бы остаться навсегда въ Италіи, но только съ тѣмъ, чтобы имъ была дана новая осѣдлость, по меньшей мѣрѣ равноцѣнная той, которою они владѣли въ Германіи и которую они рѣшились покинуть. Какому-нибудь герцогу надо было отмежевать цѣлую провинцію, графу—отдать городъ, барону—отвести замокъ и хорошее помѣстье, простому воину—предоставить участокъ земли съ жилыми строеніями. Словомъ, для того, чтобы пристроить такимъ образомъ въ Италіи нѣсколько тысячъ нѣмцевъ, надо было обобрать и пустить по-міру жителей цѣлой области, и притомъ самыхъ воинственныхъ жителей,—тѣхъ, которые владѣли землей и отбывали за нее феодальную повинность военной службой. Эта насильственная мѣра была немыслима въ такой странѣ, которая съ полнымъ довѣріемъ, добровольно изъявила свою покорность. Такой мѣрой Отонъ немедленно превратилъ бы новорожденную преданность итальянцевъ въ непримиримую ненависть. Надо было пріискать другое средство.

Отонъ видѣлъ очень ясно, что для удержанія Италіи ему необходимо опираться на чисто-итальянскіе интересы и заключить прочный союзъ съ которымъ-нибудь изъ двухъ общественныхъ элементовъ, спорившихъ между собой за преобладаніе,—именно съ магнатами или съ городами. Соединяться съ магнатами для Отона было неудобно; магнаты были его естественными соперниками; сильнѣйшіе изъ нихъ сами могли мечтать о желѣзной коронѣ, которая доставалась не разъ герцогамъ Сполетскимъ или маркизамъ Фріульскимъ. Болѣе слабые могли желать, и дѣйствительно желали, распаденія итальянскаго королевства на нѣсколько независимыхъ герцогствъ и графствъ, въ которыхъ они, магнаты, оказались бы полновластными хозяевами. Желанія горожанъ, напротивъ того, были гораздо скромнѣе; у нихъ еще не было никакихъ далекихъ политическихъ замысловъ, они хотѣли только защищаться собственными средствами отъ грабителей и обидчиковъ, устроить у себя свой собственный правильный судъ и оградить свою промышленность и торговлю отъ произвольнаго вмѣшательства чиновниковъ и вельможъ. При соблюденіи этихъ немногихъ условій они съ радостью готовы были признавать надъ собою господство императора. Отонъ принялъ горожанъ подъ свое покровительство и, не раздражая магнатовъ слишкомъ крутыми и стѣснительными мѣрами, повелъ дѣла такъ, что всѣ города, находившіеся въ его итальянскихъ владѣніяхъ, одинъ за другимъ завели у себя муниципальное самоуправленіе. До воцаренія Отона города находились подъ управленіемъ графовъ, которые часто ссорились съ горожанами и старались удержать за собой свою деспотическую власть; у этихъ графовъ не было никакой военной силы, кромѣ городской милиціи, которая готова была защищать графа противъ внѣшнихъ враговъ, но нисколько не была расположена поддерживать его требованія въ ущербъ своимъ собственнымъ интересамъ. При каждомъ столкновеніи графа съ горожанами графъ долженъ былъ или уступать, или просить себѣ помощи у императора. Въ первомъ случаѣ права горожанъ расширялись безъ дальнѣйшихъ хлопотъ, добытыя льготы передавались слѣдующему поколѣнію какъ сокровище, которое уже ни подъ какимъ видомъ не должно быть выпущено изъ рукъ и не можетъ быть отнято безъ вопіющаго нарушенія справедливости. Во второмъ случаѣ императоръ Отонъ разсматривалъ дѣло и, рѣшая по совѣсти, всегда рѣшалъ его въ пользу горожанъ, потому что горожане дѣйствительно всегда были правы въ своихъ требованіяхъ, хотя эти требованія часто шли наперекоръ заведеннымъ порядкамъ, нарушали собою установившіеся обычаи. Горожане никогда не хлопотали о томъ, чтобы какъ-нибудь закабалить графа или наложить на него какую-нибудь повинность; имъ хотѣлось только располагать свободно собственными особами и пользоваться безпрепятственно продуктами собственнаго труда. Отону было очень нетрудно держать ихъ сторону, и его рѣ-

шенія никому не могли показаться деспотическими выходками; даже сами графы, которыхъ власть медленно подрывалась дѣйствіями Отона, не могли видѣть въ нихъ проявленія систематической вражды; Отонъ не выгонялъ ихъ изъ городовъ, не оспаривалъ ихъ власти, ничѣмъ не стѣснялъ ихъ и даже не подавалъ никакой помощи ихъ непокорнымъ вассаламъ; онъ только предоставлялъ графамъ вѣдаться съ этими вассалами и улаживаться съ ними миролюбивымъ образомъ, по обоюдному соглашенію; онъ оставался только безпристрастнымъ, и этого безпристрастія было достаточно для того, чтобы упрочить за горожанами полную побѣду, чрезвычайно важную по своимъ послѣдствіямъ.

V.

РАСПАДЕНІЕ ИТАЛЬЯНСКАГО КОРОЛЕВСТВА.

Отонъ Великій умеръ въ 973, въ Германіи. Послѣ его смерти сынъ его, Отонъ II, впродолженіи семи лѣтъ не заглядывалъ въ свои итальянскія владѣнія. Наконецъ въ 980 году онъ явился въ Италію, повоевалъ довольно неудачно съ греками и умеръ въ 983 году. Затѣмъ Италія втеченіи тринадцати лѣтъ снова не видала у себя ни своего государя, ни его намѣстника, и вообще ничего такого, что сколько-нибудь напоминало бы ей о существованіи центральной власти. Справившись съ своими врагами въ Германіи, Отонъ III въ 996 году вступилъ въ Италію и пробылъ тамъ нѣсколько мѣсяцевъ; потомъ онъ, въ слѣдующемъ году, снова явился въ Италію и прожилъ въ ней около трехъ лѣтъ. Отлучившись на нѣсколько мѣсяцевъ въ Германію, онъ въ 1000 году возвратился въ Италію и наконецъ умеръ въ Римѣ въ 1002 г. Съ его смертью пресѣклась династія Отона Великаго. Эта династія царствовала въ Италіи сорокъ лѣтъ, но изъ этихъ сорока лѣтъ она провела въ Италіи около восемнадцати лѣтъ. Остальные двадцать два года были проведены въ Германіи.

Во время отсутствія государя общія дѣла итальянскаго королевства оставались безъ движенія; никто не издавалъ никакихъ общихъ законовъ; никто не собиралъ государственныхъ чиновъ; никто не начиналъ войны съ иностранцами, хотя бы интересы итальянскаго королевства требовали того самымъ настоятельнымъ образомъ; живя въ Германіи, императоры не получали даже изъ Италіи никакихъ доходовъ. Словомъ, вліяніе нѣмецкихъ императоровъ на Италію выражалось во время ихъ отсутствія только въ томъ, что мѣсто итальянскаго короля было все-таки занято и что слѣдовательно сильнѣйшіе магнаты не имѣли возможности драться между собою изъ-за этого мѣста.

Такимъ образомъ королевская власть превращалась въ фикцію. Магнаты, прелаты и города, продолжая признавать надъ собой господство Отоновъ, въ то-же время пріучались пользоваться всѣми тѣми правами, которыя принадлежатъ верховной власти. Они судили и казнили преступниковъ; они издавали свои мѣстные законы, они воевали и мирились другъ съ другомъ, ни у кого не спрашивая на то позволенія; они придумывали и собирали налоги и потомъ расходовали собранныя суммы по собственному благоусмотрѣнію.

Въ то время бо́льшая часть городовъ сѣверной и средней Италіи выработали себѣ слѣдующее внутреннее устройство. Во главѣ управленія они поставили двухъ консуловъ, которые каждый годъ выбирались народомъ. Во время войны эти консулы командовали милиціей, а въ мирное время рѣшали тяжебныя дѣла, унимали нарушителей общественнаго спокойствія и наказывали преступниковъ. Въ важныхъ случаяхъ консулы обязаны были созывать *совѣтъ довѣренности* (credenza), которому поручено было завѣдывать городскими финансами, контролировать дѣйствія консуловъ и вести различные переговоры города съ другими правительствами. Другой совѣтъ, болѣе многочисленный и заключавшій въ себѣ обыкновенно не менѣе ста членовъ, назывался сенатомъ, или большимъ совѣтомъ, или спеціальнымъ совѣтомъ, или народнымъ совѣтомъ. Онъ обязанъ былъ приготовлять и обсуживать тѣ указы или законопроекты, которые потомъ представлялись на утвержденіе народному собранію, сходившемуся на площади, при звонѣ большого колокола. Этому собранію, которое называлось *парламентомъ*, принадлежала верховная власть во всѣхъ возможныхъ дѣлахъ. Но почти во всѣхъ итальянскихъ городахъ было запрещено закономъ представлять народному собранію такія предложенія, которыя не были предварительно разсмотрѣны и одобрены въ совѣтѣ credenza и въ сенатѣ. Члены этихъ двухъ совѣтовъ также выбирались народомъ.

Послѣ смерти Отона III нѣмецкіе князья признали своимъ королемъ герцога баварскаго Генриха, который вступилъ на престолъ подъ именемъ Генриха II. Тутъ между итальянцами и нѣмцами произошло недоразумѣніе. Итальянцы полагали, что они были связаны только съ династіей Отона Великаго. Нѣмцы, напротивъ того, утверждали, что Италія на вѣчныя времена соединилась съ Германіей и обязана всегда признавать своимъ королемъ того человѣка, на котораго ей будутъ указывать нѣмецкіе князья. Генрихъ II держался нѣмецкой теоріи; но это нисколько не помѣшало итальянскимъ магнатамъ собраться въ Павіи и выбрать себѣ въ короли Ардуина, маркиза или маркграфа иврейскаго. Ломбардскіе города были тогда настолько самостоятельны и сильны, что уже соперничали и враждовали между собою; Миланъ находился въ постоянной ссорѣ съ Павіей. Такъ какъ избра-

ніе Ардуина было сдѣлано въ Павіи, то Миланъ принялъ сторону Генриха II и пригласилъ его явиться въ Италію. Архіепископъ миланскій, одинъ изъ богатѣйшихъ и сильнѣйшихъ итальянскихъ прелатовъ, созвалъ своихъ союзниковъ и приверженцевъ на Ронкальскомъ полѣ, на которомъ во времена ломбардскихъ королей собирались народныя собранія, и провозгласилъ Генриха королемъ Италіи.

Въ 1004 году Генрихъ вступилъ въ свое новое королевство и принялъ итальянскую корону изъ рукъ архіепископа миланскаго въ томъ самомъ городѣ, въ которомъ магнаты выбрали Ардуина. Въ самый день коронаціи пьяные нѣмецкіе солдаты стали оскорблять павійскихъ гражданъ; ударили въ набатъ, взялись за оружіе и начали драться; улицы тотчасъ покрылись баррикадами, дворецъ, въ которомъ находился Генрихъ, былъ осажденъ, толпа вооруженныхъ гражданъ шла на приступъ, и тѣлохранители короля съ трудомъ выдерживали ихъ натискъ, хотя придворные Генриха продолжали храбриться и говорили, что весь этотъ уличный шумъ надѣлала чернорабочая сволочь, которую немедленно разгонятъ, усмирятъ и проучатъ нѣмецкіе воины. Главныя силы Генриха стояли въ это время за городомъ; услышавъ шумъ, нѣмцы пошли выручать своего короля, но добраться до дворца было очень трудно, потому что по дорогѣ надо было брать и разрушать десятки баррикадъ. Чтобы отвлечь гражданъ отъ дворца, нѣмцы подожгли нѣсколько домовъ; огонь быстро разлился по всему городу; граждане бросились тушить пожаръ и спасать свое имущество, своихъ женъ и дѣтей. Пользуясь суматохой, Генрихъ благополучно выбрался изъ дворца и присоединился къ своему войску. Затѣмъ началось усмиреніе сволочи, доставившей королю и его придворнымъ слишкомъ сильныя и неожиданныя ощущенія. Павія сгорѣла до тла, и многія сотни ея жителей погибли подъ ударами нѣмецкихъ солдатъ. Генрихъ поспѣшно удалился отъ ея развалинъ, составивъ себѣ сразу осязательное понятіе о вѣрноподданническихъ чувствахъ итальянскихъ горожанъ.

Павійцы скоро выстроили себѣ городъ за-ново и еще крѣпче прежняго стали держаться за Ардуина.

Генрихъ втеченіи десяти лѣтъ не показывался въ Италіи. У Ардуина не было ни войска, ни денегъ. Нѣкоторые города стояли на его сторонѣ, но не давали ему надъ собой никакой дѣйствительной власти и даже не пускали его, своего признаннаго короля, въ свои стѣны. Миланцы признавали своимъ королемъ Генриха и подъ этимъ предлогомъ опустошали земли павійцевъ, которые, признавая Ардуина, съ своей стороны не упускали случая напакостить миланцамъ. На самомъ-же дѣлѣ и миланцы, и павійцы уже пользовались полной независимостью; имъ не было никакого дѣла ни до Генриха, ни до Ардуина, и настоящею причиной ихъ продолжительныхъ войнъ было вовсе не желаніе видѣть на итальянскомъ престолѣ того или другого претендента, а просто то мелкое недоброжелательство, которое очень часто возникаетъ между близкими сосѣдями и поддерживается каждый день множествомъ мелкихъ взаимныхъ оскорбленій, захватовъ, насмѣшекъ и попрековъ.

Въ 1014 году Генрихъ снова посѣтилъ Италію и принялъ въ Римѣ императорскую корону. Затѣмъ онъ уже не вмѣшивался больше въ итальянскія дѣла до самаго конца своей жизни. Ардуинъ, вскорѣ послѣ вторичной поѣздки Генриха въ Италію, добровольно отрекся отъ престола и постригся въ монахи. Генрихъ II умеръ въ 1024 году, и тогда итальянцы снова попробовали отдѣлиться отъ Германіи, къ которой они никогда не чувствовали ни малѣйшей нѣжности. Они предложили корону сначала Роберту, королю французскому, потомъ Вильгельму, герцогу аквитанскому. Оба отказались. Оба сообразили по всей вѣроятности, что не стоитъ ввязываться въ опасную и убыточную войну съ нѣмцами изъ-за такой короны, которая не доставляетъ своему обладателю никакихъ существенныхъ выгодъ и удовольствій, ни денегъ, ни власти. Послѣ неудачныхъ переговоровъ съ Робертомъ и съ Вильгельмомъ, итальянцы признали королемъ Конрада II, короля германскаго.

Можетъ возникнуть вопросъ: на что имъ нуженъ былъ король, который ни во что не вмѣшивался и почти никогда не находился въ своемъ королевствѣ? Отвѣчать на этотъ вопросъ нетрудно. Имъ нуженъ былъ отсутствующій и недѣйствующій король именно для того, чтобы сдѣлать невозможнымъ существованіе присутствующаго и дѣйствующаго короля. Они хотѣли забросить свою корону за тридевять земель, на голову къ иностранцу, именно для того, чтобы эта корона не досталась какому-нибудь сильному туземцу, который, чего добраго, превратилъ бы политическую фикцію въ живую дѣйствительность. Правда, они сами отдавали корону своему земляку Ардуину, но, во первыхъ, это было сдѣлано только въ пику нѣмцамъ; во-вторыхъ, они терпѣли Ардуина только потому, что у него былъ сильный соперникъ, отнимавшій у него всякую возможность сдѣлаться опаснымъ; и въ третьихъ, сами приверженцы Ардуина постоянно заботились о томъ, чтобы этотъ присутствующій туземецъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ такъ-же невиненъ и безвреденъ, какъ отсутствующій иностранецъ.

Въ это время итальянцы очень мало заботились о судьбѣ итальянскаго правительства. Можно сказать, что въ это время итальянцы понемногу переставали быть итальянцами и становились миланцами, павійцами, брешіанцами, кремонянами, и такъ далѣе. Всѣ эти возникающіе

народцы хлопотали только о томъ, чтобы какъ можно лучше устроить свое отдѣльное, городское правительство. До общихъ итальянскихъ дѣлъ они не дотрогивались, тѣмъ болѣе, что всѣ эти общія дѣла ограничивались возложеніемъ желѣзной ломбардской короны на ту или другую голову, которой почти никогда не приходилось размышлять объ интересахъ Италіи. Если королевская власть не дѣлала Милану никакихъ притѣсненій и не вмѣшивалась въ его внутреннія дѣла, то миланскіе патріоты были совершенно удовлетворены и охотно мирились съ ея существованіемъ. Чтобы пойдти дальше, чтобы спросить: зачѣмъ существуетъ королевская власть? миланскимъ патріотамъ надо было бы стать на общеитальянскую точку зрѣнія, а это было уже невозможно, именно потому, что городской партикуляризмъ сдѣлалъ уже слишкомъ большіе успѣхи.

При этомъ надо замѣтить, что уничтоженіе королевскаго сана въ Италіи было довольно затруднительно. Итальянцамъ пришлось бы столкнуться съ любимой игрушкой средневѣкового общества, съ блестящей фикціей священной римской имперіи. Императору непремѣнно надо было короноваться въ Римѣ. Эта коронація изображала собою высшую таинственную связь между императоромъ и папой, между матеріальной силой и религіозной святыней. Безъ этой коронаціи король германскій не имѣлъ бы уже ни малѣйшаго основанія называться *римскимъ императоромъ* и считаться главой христіанскаго міра. Но еслибы Италія разорвала свою связь съ Германіей и уничтожила у себя королевское достоинство, то германскому королю была бы заперта дорога въ Римъ. Ему пришлось бы или торговаться насчетъ пропуска съ десятками мелкихъ республикъ, или идти на-проломъ и брать приступомъ каждую ничтожную деревушку. При такихъ условіяхъ путешествіе въ Римъ сдѣлалось бы на столько затруднительнымъ и убыточнымъ, что германскіе короли очень скоро отказались бы отъ императорскихъ почестей. Всѣ эти послѣдствія можно было предвидѣть заранѣе; поэтому можно сказать навѣрное, что посягательство итальянцевъ на королевское достоинство переполошило бы всѣхъ любителей величественной фикціи и превратилось бы въ такой-же европейскій вопросъ, какимъ является въ XI вѣкѣ борьба императоровъ съ папами. Итальянцамъ пришлось бы для уничтоженія королевскаго сана не только произнести свое торжественное рѣшеніе въ народномъ собраніи, но еще кромѣ того поддержать это рѣшеніе силою оружія, въ упорной и ожесточенной борьбѣ съ нѣмцами, которые очень дорожили своей фантастической имперіей. Фикція продолжала существовать, потому что никому не хотѣлось тратить деньги и силы на ея разрушеніе.

Во времена Конрада II итальянское общество состояло изъ слѣдующихъ главныхъ элементовъ:

Выше всѣхъ стояли непосредственные вассалы короля: герцоги, графы и маркизы, господствовавшіе de jure надъ городами и надъ ихъ округами.

Рядомъ съ этими свѣтскими магнатами стояли высшіе сановники церкви: архіепископы, епископы и нѣкоторые аббаты, бывшіе также феодальными владѣтелями многихъ городовъ.

Далѣе слѣдовали простые дворяне, помѣщики или *вавассоры*, подчиненные магнатамъ или прелатамъ и находившіеся такимъ образомъ въ двойной вассальной зависимости, во-первыхъ, отъ какого-нибудь вельможи, а во-вторыхъ, отъ короля.

Помѣщикамъ или вавассорамъ были подчинены сельскіе жители, находившіеся въ тройной вассальной зависимости и называвшіеся *вавассинами*.

Еще ниже вавассиновъ, но въ зависимости отъ тѣхъ-же помѣщиковъ, находились крѣпостные крестьяне, приписанные къ землѣ (gleÞae adscripti) и составлявшіе неотдѣлимую составную часть помѣстья.

Наконецъ въ самомъ низу общественнаго зданія помѣщались рабы, которыхъ можно было продавать и покупать поштучно.

Всѣ эти классы общества перессорились и передрались между собою въ первой половинѣ XI вѣка.

Сначала зашевелились вавассоры. Когда города высвободились изъ-подъ власти магнатовъ, тогда вавассоры очутились дѣйствительно въ странномъ положеніи, очень оскорбительномъ для ихъ дворянской гордости. Горожане были люди низкаго происхожденія. Они вели свой родъ отъ завоеваннаго племени. Они были потомками римскихъ рабовъ, вольноотпущенныхъ и пролетаріевъ, всякой уличной сволочи, на которую вавассоръ, потомокъ германскаго завоевателя, смотрѣлъ съ самымъ искреннимъ презрѣніемъ. По основнымъ феодальнымъ законамъ, горожане были не вассалами, а подданными магната. Они были taillaÞles et corvéaÞles à merci, то-есть, магнатъ могъ гонять ихъ на барщину и облагать ихъ какими угодно оброками и натуральными повинностями. Горожане были поставлены на одну доску не съ вавассорами, и даже не съ вавассинами, а съ крѣпостными крестьянами. Вся разница между тѣми и другими состояла по закону въ томъ, что крестьяне, прикрѣпленные къ деревнямъ, обязаны были заниматься земледѣліемъ, а горожане, прикрѣпленные къ городамъ, обязаны были заниматься промышленностью и торговлей. Но именно это послѣднее обстоятельство и разрушило понемногу мудрыя предначертанія феодальнаго закона. Какъ ни старались магнаты стричь свое стадо въ-плотную, однако купцамъ и ремесленникамъ

все-таки удалось разжиться, потому что торговые обороты умѣютъ ускользать отъ самаго бдительнаго контроля, и деньги всегда находятъ возможность спрятаться отъ самаго корыстолюбиваго и безсовѣстнаго деспота. Коммерческія предпріятія развиваютъ въ людяхъ смѣтливость и отвагу; нажитыя деньги внушаютъ человѣку довѣріе къ собственнымъ силамъ и уваженіе къ собственному уму. Обогатившись своимъ трудомъ, человѣкъ желаетъ защищать свое богатство какъ отъ мѣстнаго тирана, такъ и отъ всякихъ пришлыхъ грабителей. Когда это естественное желаніе возникаетъ разомъ въ нѣсколькихъ тысячахъ людей, одинаково смѣтливыхъ, дѣятельныхъ и предпріимчивыхъ, и живущихъ вмѣстѣ, въ одномъ городѣ, на пространствѣ какихъ-нибудь двухъ или трехъ квадратныхъ верстъ,—тогда очень скоро пріискиваются и необходимыя средства самозащищенія. Эти средства дѣйствительно нашлись, и вооруженныя милиціи городовъ заставили понемногу всѣхъ магнатовъ и прелатовъ отказаться отъ тѣхъ неограниченныхъ правъ, которыя были имъ предоставлены основными законами. Горожане сдѣлались хозяевами своихъ городовъ, а прелаты и магнаты превратились въ почетныхъ гостей, которымъ всѣ въ городѣ низко кланялись, но которымъ никто не повиновался. Видя, что сила не на ихъ сторонѣ, магнаты и прелаты избрали благую часть. Они уступили гражданамъ на всѣхъ пунктахъ, признали безъ дальнѣйшей борьбы совершившійся фактъ ихъ освобожденія и, расположивъ ихъ такимъ образомъ въ свою пользу, стали налегать на своихъ вассаловъ, то есть на помѣщиковъ или вавассоровъ. Такимъ образомъ, благорожденные вавассоры очутились въ гораздо болѣе зависимомъ и стѣсненномъ положеніи, чѣмъ городскіе простолюдины. Магнаты и прелаты стали отнимать у нихъ, по своему произволу, ихъ помѣстья, въ которыхъ вавассоры видѣли свое родовое имущество. Горожане охотно помогали въ этихъ случаяхъ своимъ бывшимъ патронамъ и съ радостью унижали помѣщиковъ, которые, во время своего пребыванія въ городахъ, отличались обыкновенно невыносимымъ высокомѣріемъ и непобѣдимой наклонностью ко всевозможнымъ буйнымъ выходкамъ.

Архіепископъ милапскій Эрибертъ довелъ наконецъ, при помощи горожанъ, своихъ вассаловъ до такого отчаянія, что они всѣ разомъ взялись за оружіе. Вслѣдъ за ними поднялись помѣщики во всей Ломбардіи. Первое сраженіе между горожанами и вавассорами произошло на улицахъ Милана. Горожане побѣдили и выгнали дворянъ изъ города. Но какъ только дворяне вышли за-городъ, къ нимъ подоспѣли на помощь союзники со всѣхъ концовъ Ломбардіи. Въ открытомъ полѣ перевѣсъ оказался на сторонѣ помѣщиковъ. Архіепископъ вмѣстѣ съ горожанами былъ разбитъ при Кампо-Мало.

Тогда въ это дѣло вмѣшался Конрадъ II. Онъ пришелъ съ войскомъ въ Павію, собралъ тамъ сеймъ, принялъ сторону вавассоровъ и даже посадилъ подъ арестъ архіепископа Эриберта и трехъ епископовъ, шедшихъ по слѣдамъ этого воинственнаго и властолюбиваго прелата. Но тутъ обнаружилось немедленно безсиліе королевской власти. Арестованные прелаты убѣжали и воротились въ свои города. Конрадъ погнался за Эрибертомъ и подошелъ къ Милану. Миланцы заперли ворота, отразили всѣ аттаки Конрада и отстояли такимъ образомъ своего задорнаго архипастыря.

Пользуясь общей суматохой, вавассины также взялись за оружіе, чтобы улучшить свое положеніе и обуздать непомѣрную заносчивость своихъ ближайшихъ начальниковъ, вавассоровъ. За вавассинами потянулись крѣпостные и рабы, требуя всеобщаго освобожденія. Общество взволновалось такимъ образомъ до самаго дна. Результаты этого волненія были недурны. Рабовъ отпустили на волю; положеніе крестьянъ значительно улучшилось; крѣпостные превратились въ свободныхъ арендаторовъ; даже сами вавассоры остались въ барышахъ, потому что магнаты признали ихъ наслѣдственныя права на помѣстья. Увидѣвъ на дѣлѣ могущество и храбрость горожанъ, многіе помѣщики отложили въ сторону свою аристократическую гордость и пожелали получить право гражданства для себя и для своихъ потомковъ въ тѣхъ городахъ, возлѣ которыхъ находились ихъ помѣстья. Когда большая часть итальянскихъ дворянъ приписалась такимъ образомъ къ городамъ, тогда распаденіе Италіи на множество самостоятельныхъ республикъ оказалось довершеннымъ.

Конрадъ II умеръ въ 1039 году. Вскорѣ послѣ его смерти состоялось замиреніе Ломбардіи, но возстановленное спокойствіе продолжалось всего два года. Помѣщики, приписавшіеся къ Милану, ухитрились запять всѣ важныя городскія должности. Консулы, начальники милиціонныхъ отрядовъ, хранители городскихъ воротъ, всѣ были изъ дворянъ, и всѣ оказывали особенное благоволеніе людямъ своего сословія. Горожане признавали военную опытность дворянъ, поэтому сразу слишкомъ довѣрчиво уступили имъ первенство во всемъ. Дворяне не замедлили зазнаться и набуянить. Въ 1041 году одинъ дворянинъ, среди бѣлаго дня, отколотилъ палкой на улицѣ какого-то простого гражданина. Тутъ мѣра терпѣнія переполнилась. Весь народъ принялъ сторону обиженнаго, поднялъ оружіе и отставилъ отъ должности всѣхъ своихъ начальниковъ, заподозрѣнныхъ въ аристократическихъ тенденціяхъ. Во главѣ возмутившагося народа очутился однако-же дворянинъ Ланцоне; его сдѣлали предсѣдателемъ совѣта довѣренности (credenza); вслѣдъ затѣмъ народъ выбралъ себѣ новыхъ консуловъ изъ плебеевъ и подъ ихъ

начальствомъ пошелъ штурмовать укрѣпленные дома дворянъ, не хотѣвшихъ признать совершившійся переворотъ. Многіе изъ этихъ домовъ выдержали правильную осаду и потомъ были срыты до основанія; на улицахъ произошло нѣсколько кровопролитныхъ сраженій, послѣ которыхъ дворяне бѣжали изъ города вмѣстѣ съ своими семействами. За-городомъ они собрали вокругъ себя своихъ деревенскихъ вассаловъ, и тогда перевѣсъ оказался на ихъ сторонѣ. Война затянулась на нѣсколько лѣтъ. Дворяне не въ силахъ были овладѣть Миланомъ, а миланцы, въ свою очередь, не могли выбить дворянъ изъ ихъ укрѣпленныхъ замковъ. И тѣ и другіе старались держать другъ друга на пищѣ св. Антонія и съ величайшимъ усердіемъ опустошали по нѣскольку разъ въ годъ роскошные поля, сады и луга Ломбардіи. Наконецъ Ланцоне, который во все это время пользовался полной довѣренностью гражданъ,—отправился въ Германію и обратился къ королю Генриху III съ просьбой о помощи. Королю было очень пріятно вмѣшаться въ дѣла города, который уже считалъ себя совершенно самостоятельнымъ. Король предложилъ Ланцоне 4.000 всадниковъ и даже настоятельно потребовалъ, чтобы ихъ немедленно впустили въ городъ, когда они придутъ изъ Германіи. Ланцоне воротился въ Миланъ и объявилъ объ этой предстоящей помощи своимъ согражданамъ, которые уже сильно страдали отъ голода. Но вслѣдъ затѣмъ онъ повидался съ вождями дворянской партіи и объяснилъ имъ, что съ приходомъ четырехъ тысячъ нѣмцевъ свобода Милана подвергнется жестокой опасности. Убѣжденія Ланцоне подѣйствовали. Свобода города была уже дорога даже для дворянъ, не смотря на то, что они еще очень недавно сдѣлались его гражданами. Впустить въ городъ войско собственнаго короля значило, по ихъ единодушному мнѣнію, погубить свободу. Чтобы избавить Миланъ отъ этой опасности, дворяне поспѣшно заключили миръ съ горожанами, раздѣлили съ ними полюбовно городскія должности и отправили къ начальнику нѣмецкаго отряда извѣстіе о томъ, что Миланъ уже не нуждается въ его услугахъ.

VI.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ГИЛЬДЕБРАНДА.

Царствованіе Генриха III составляетъ введеніе къ великой борьбѣ папъ съ императорами. Въ моихъ историческихъ статьяхъ я уже не разъ говорилъ объ этой борьбѣ и старался объяснить читателямъ ея значеніе. Но мнѣ кажется, что мой взглядъ грѣшилъ до нѣкоторой степени односторонностью. Я видѣлъ въ папахъ только представителей средневѣкового суевѣрія и относился къ нимъ слишкомъ враждебно. Я упускалъ изъ виду, что умственная апатія гораздо хуже самаго мрачнаго суевѣрія и гораздо вреднѣе самаго кровожаднаго фанатизма. Эта умственная апатія, погубившая византійскую имперію, угрожала средневѣковой Европѣ въ то время, когда варвары, основавшіе прочныя гражданскія общества и занявшіеся земледѣліемъ и промышленностью, начали понемногу утрачивать свою дикую и безпокойную воинственность. Въ это время безкорыстная любознательность еще не существовала, практическая польза научныхъ изслѣдованій была еще неизвѣстна; процессъ мышленія былъ для большинства людей тяжелымъ и мучительнымъ трудомъ; чтобы расшевелить тогдашніе умы, здоровые и свѣжіе, но лѣнивые и неповоротливые, надо было насильно поставить передъ каждымъ человѣкомъ такіе вопросы, разрѣшеніе которыхъ было совершенно необходимо для его благополучія и для спокойствія его совѣсти. Надо было поставить эти вопросы такъ, чтобы человѣкъ не могъ отъ нихъ увернуться, чтобы онъ непремѣнно былъ принужденъ рѣшить ихъ такъ или иначе, отвѣтить на нихъ да или нѣтъ.

У средневѣкового человѣка былъ свой нравственный кодексъ, въ которомъ ясно и отчетливо были записаны всѣ его обязанности; средневѣковой человѣкъ зналъ, что онъ долженъ дѣлать, какъ семьянинъ, какъ членъ феодальнаго общества, какъ благочестивый сынъ католической церкви. Всѣ вопросы жизни были рѣшены заранѣе, и человѣкъ былъ спокоенъ; готовыя рѣшенія удовлетворяли всѣмъ нехитрымъ и немногосложнымъ требованіямъ его ума, его чувства, его совѣсти и его воображенія. Средневѣковой человѣкъ очень дорожилъ своимъ умственнымъ спокойствіемъ, охранялъ его всѣми зависящими отъ него средствами, и въ каждомъ случайномъ нарушителѣ этого спокойствія, въ каждой невольно сомнѣвающейся личности видѣлъ непримиримаго врага и отъявленнаго злодѣя. Между тѣмъ вся политическая и умственная будущность Европы и даже всего человѣчества зависѣла отъ нарушенія того самодовольнаго спокойствія, которое составляло гордость и радость средневѣковыхъ людей. Весь нравственный кодексъ правъ и обязанностей долженъ былъ, втеченіи многихъ столѣтій, подвергаться, съ первой строки до послѣдней, самой упорной, самой тщательной, самой строгой, самой разносторонней и радикальной критикѣ. Безъ этого невозможно было никакое усовершенствованіе. И эту критику должны были производить сами-же средневѣковые люди, по мнѣнію которыхъ данный кодексъ стоялъ неизмѣримо выше всякой критики.

Какъ-же могло это сдѣлаться? Повидимому это было невозможно, повидимому умственное спокойствіе было неразрушимо; повидимому критикѣ не-откуда было родиться и нечѣмъ было питаться. Въ самомъ дѣлѣ, готовыя рѣшенія должны были оставаться обязательными и не-

прикосновенными до тѣхъ поръ, пока въ нихъ не обнаружилось бы безъисходное и неистребимое внутреннее противорѣчіе. Для рожденія и развитія критики было необходимо, чтобы весь міръ средневѣкового человѣка раскололся пополамъ, и чтобы на каждой изъ двухъ половинокъ очутилось по одной изъ самыхъ священныхъ обязанностей, предписанныхъ человѣку его кодексомъ. Тогда средневѣковому человѣку поневолѣ пришлось бы выбирать; а чтобы сдѣлать выборъ, надо разсматривать, сравнивать, взвѣшивать, оцѣнивать, анализировать; надо много, долго и добросовѣстно размышлять, и размышлять именно о тѣхъ высшихъ вопросахъ жизни, которые разъ навсегда были почислены рѣшенными.

Въ XI вѣкѣ міръ средневѣкового человѣка дѣйствительно раскололся.

Папа поссорился съ императоромъ, и ссора ихъ затянулась на три столѣтія. Жизнь сама приступила къ средневѣковому человѣку съ мучительно неотразимыми вопросами. Куда идти, направо или налѣво? Кому измѣнить, папѣ или императору? Чѣмъ остаться, благочестивымъ католикомъ или вѣрнымъ подданнымъ?—Хочешь или не хочешь, а надъ этими вопросами надо задуматься, нельзя, невозможно не задуматься. Нейтралитетъ здѣсь немыслимъ. Устраниться отъ борьбы—значитъ измѣнить обоимъ: и папѣ, и императору, значитъ нарушить всѣ обязанности, значитъ погубить себя не только въ глазахъ обѣихъ враждебныхъ партій, но даже въ глазахъ собственной совѣсти. Надо обсудить вопросъ и затѣмъ рѣшиться. Но что такое въ данномъ случаѣ значитъ *обсудить вопросъ?* Это значитъ разобрать и рѣшить силами собственнаго индивидуальнаго ума, кто правъ и кто виноватъ, папа или императоръ. А для этого надо выяснить себѣ, что такое государство? что такое религія и чѣмъ она должна быть? въ чемъ состоитъ назначеніе человѣка?—Словомъ, надо окунуться въ самыя глубокія пучины философіи, догматики, исторіи, политики и юриспруденціи.

Конечно только самое незначительное меньшинство способно отважиться на такой подвигъ изслѣдованія и выполнить его во всемъ его объемѣ. Но и того довольно, что это меньшинство, состоящее изъ самыхъ сильныхъ головъ даннаго общества, находитъ себѣ, въ самыхъ животрепещущихъ фактахъ современной дѣйствительности, достаточныя побужденія для такого напряженнаго и серьезнаго умственнаго труда, въ которомъ могутъ развернуться и закалиться великолѣпнѣйшія и полезнѣйшія силы человѣческаго ума. И того довольно, что это геніальное меньшинство, работая въ самыхъ глубокихъ тайникахъ философской и догматической учености, не разобщается съ интересами массы, и трудится постоянно надъ такими вопросами, которые, въ это-же время, волнуютъ и озабочиваютъ простыхъ людей, старающихся во что бы то ни стало отыскать себѣ какое-нибудь практическое рѣшеніе. Когда первоклассные умы работаютъ изъ всѣхъ силъ, и когда масса интересуется если не процессомъ, то по крайней мѣрѣ окончательными результатами ихъ трудовъ, тогда можно смѣло утверждать, что въ данномъ обществѣ кипитъ живая и свѣжая умственная дѣятельность, которая постоянно будетъ усиливаться и очищаться и наконецъ, рано или поздно, подчинитъ навсегда своему вѣчно-обновляющему вліянію всѣ отправленія общественной жизни.

Во время великой борьбы средневѣковыхъ властей, настоящіе интересы человѣчества —интересы, непонятные тогдашнимъ мыслителямъ и дѣятелямъ, но понятные всякому просвѣщенному европейскому историку, требовали не того, чтобы папа или императоръ одержалъ побѣду, а того, чтобы они взаимно уравновѣшивали другъ друга, чтобы борьба между ними тянулась какъ можно дольше, и чтобы они оба такимъ образомъ были поставлены въ необходимость постоянно возбуждать и усиливать умственное движеніе. Въ великой средневѣковой борьбѣ не было ни прогрессистовъ, ни ретроградовъ. Здѣсь историкъ не можетъ найти и не долженъ искать такой партіи, которая постоянно заслуживала бы его сочувствіе. Послѣ побѣды, на чью бы сторону она ни склонилась, побѣдитель оказался бы во всякомъ случаѣ злѣйшимъ врагомъ умственнаго движенія и политической свободы. А во время борьбы обѣ партіи были одинаково полезны, потому что каждая изъ нихъ самымъ фактомъ своего существованія мѣшала торжеству своего противника, устраняла возможность примиренія и разрушала умственное спокойствіе средневѣкового человѣка. Въ этомъ отношеніи мрачный фанатикъ Григорій IX, учредитель инквизиціи, оказывалъ Европѣ такую-же важную услугу, какъ и его противникъ, умный и высокообразованный Фридрихъ II.

Мысль о верховномъ господствѣ папы надъ всѣми правителями христіанскаго міра родилась, развернулась и ворвалась въ жизнь съ изумительной быстротой. Эту баснословно грандіозную мысль воспиталъ въ своей горячей головѣ нѣмецкій монахъ Гильдебрандъ. Сдѣлавшись папою подъ именемъ Григорія VII, тотъ-же Гильдебрандъ выпустилъ свою любимую идею на свѣтъ и навсегда перессорилъ между собою высшихъ представителей обѣихъ властей, свѣтской и духовной. При всемъ моемъ уваженіи къ *общимъ причинамъ*, я долженъ сказать рѣшительно, что великая борьба императоровъ съ папами,—борьба, повлекшая за собою неисчислимыя послѣдствія, была порождена личностью монаха Гильдебранда. И мнѣ кажется, что эта личность была не только ближайшимъ поводомъ къ борьбѣ, но даже настоящей причиной борьбы.

Еслибы въ XI вѣкѣ не было на свѣтѣ одного геніальнаго фанатика, въ которомъ необузданная сила воображенія соединялась съ непоколебимымъ упорствомъ и съ проницательнымъ умомъ великаго государственнаго человѣка, еслибы, говорю я, не случилось такой рѣдкой комбинаціи блестящихъ и почти противоположныхъ качествъ, то дѣло могло бы обойтись безъ борьбы, и вся исторія европейской цивилизаціи могла вылиться въ другую, неизвѣстную намъ форму.

Читатели мои, воспитавшіе свои историческія убѣжденія на Боклѣ, принимаютъ конечно мои слова за жалкій и притомъ очень избитый софизмъ. Они подумаютъ вѣроятно, что послѣ этого для довершенія нелѣпости и позора мнѣ остается только утверждать, что реформацію сдѣлалъ Лютеръ, а французскую революцію—графъ Мирабо.

Позвольте. Будемъ разсуждать спокойно, не оскорбляя другъ друга заранѣе рѣзкими приговорами.

Какъ далеко простирается вліяніе личнаго ума и личнаго характера на общее теченіе историческихъ событій? Это вопросъ очень важный, очень трудный, до сихъ поръ нерѣшенный и совершенно недопускающій никакихъ гуртовыхъ отвѣтовъ. Чтобы сколько-нибудь приблизиться къ удовлетворительному разрѣшенію этого вопроса, надо тщательно воздерживаться отъ преждевременныхъ обобщеній, надо разсматривать и обсуживать каждое важное событіе отдѣльно, не увлекаясь тѣми готовыми формулами, которыя уже выведены изъ разсмотрѣнія другихъ событій. Мы конечно знаемъ очень хорошо, что въ развитіи реформаціи и революціи отдѣльныя личности были только болѣе или менѣе даровитыми выразителями общихъ потребностей и исполнителями общихъ желаній. Но что-же изъ этого слѣдуетъ? Имѣемъ-ли мы право утверждать, что это всегда такъ бываетъ, и что иначе и быть не можетъ? Имѣемъ-ли мы право тотчасъ-же переносить на всѣ историческія событія тѣ идеи, къ которымъ насъ привело внимательное изученіе двухъ фактовъ?—Мнѣ кажется, что такой образъ дѣйствій былъ бы съ нашей стороны черезчуръ опрометчивымъ.

И такъ, будемъ разсматривать положеніе и поступки Григорія VII совершенно независимо отъ того, что мы знаемъ о дѣятельности другихъ крупныхъ личностей, напримѣръ Лютера и Мирабо.

До Карла Великаго положеніе римскихъ папъ было очень неблистательно. Они формально признавали себя подданными греческаго императора, согласіе котораго считалось необходимымъ при посвященіи каждаго новаго папы. Городъ Римъ находился подъ управленіемъ префекта, который былъ подчиненъ экзарху равеннскому, намѣстнику греческаго императора въ Италіи. Папа могъ конечно своимъ личнымъ характеромъ заслужить себѣ любовь и уваженіе жителей; ему, какъ епископу, было очень удобно пріобрѣсти себѣ значительное вліяніе въ городѣ; но никакой оффиціально-признанной власти онъ не имѣлъ, все свое могущество онъ долженъ былъ самъ завоевывать себѣ святостью своей жизни, превосходствомъ своего ума и силою характера. Лонгобарды постоянно тѣснили Римъ и нѣсколько разъ пробовали присоединить его къ своимъ владѣніямъ. Греки почти совсѣмъ не защищали его. Въ началѣ VIII вѣка иконоборческая ересь, водворившаяся въ Константинополѣ, прервала сношенія Рима съ восточной имперіей. Въ это-же время Риму пришлось такъ плохо отъ лонгобардовъ, что папы стали постоянно обращаться къ франкамъ съ просьбой о помощи. Папа Стефанъ II вздумалъ даже написать къ отцу Карла Великаго, Пипину, и ко всему франкскому народу письмо отъ имени апостола Петра. Этотъ маневръ даетъ намъ очень невыгодное понятіе о тогдашнемъ могуществѣ папы. Папа находится въ опасности и для полученія помощи дѣйствуетъ на воображеніе своей паствы именемъ апостола; стало быть, папа думаетъ, что его собственный авторитетъ недостаточенъ, что одинъ простой разсказъ объ его опасномъ положеніи не тронетъ читателей его письма, что его просьба или его приказанія останутся недѣйствительными. Конечно Стефанъ II оскорблялъ добрыхъ франковъ такимъ предположеніемъ. Франки и ихъ потомки французы всегда были расположены защищать папу и не потеряли этой благочестивой наклонности даже до нашихъ временъ, не смотря на легкомысленныя разсужденія Вольтера и его послѣдователей. Когда превратности судьбы привели Пія IX въ Гаэту, тогда французы тотчасъ отправились очищать Римъ отъ новыхъ лонгобардовъ. Но уже одно то обстоятельство, что Стефанъ счелъ нужнымъ пустить въ ходъ такое экстраординарное средство, показываетъ, до какой степени слаба была увѣренность папы въ собственномъ авторитетѣ.

Значитъ, авторитетъ былъ юнъ, слабъ, подверженъ сомнѣніямъ и колебаніямъ.

Тотъ-же Стефанъ II возложилъ на Пипина корону Меровинговъ и далъ ему и его сыновьямъ титулъ римскихъ патриціевъ. Предшественникъ Стефана, Захарія, одобрилъ низложеніе послѣдняго Меровинга и вступленіе новой династіи на французскій престолъ. Впослѣдствіи конечно эти факты можно было перетолковать въ томъ смыслѣ, что папы уже въ VIII вѣкѣ распоряжались королевскими коронами и господствовали надъ Римомъ. Но въ свое время эти факты вовсе не имѣли такого обширнаго значенія. Пипинъ, подобно всякому узурпатору, чувствовалъ потребность къ чему-нибудь прислониться и чѣмъ-нибудь придать своей власти пріятный колоритъ законности, безъ котораго онъ пожалуй могъ бы обойтись, но который все-таки успо-

контельнымъ образомъ дѣйствовалъ на его нервы. Къ кому-же ему было обратиться за желаемымъ одобреніемъ и поощреніемъ? Не къ сосѣднимъ-же государямъ? Вѣдь это значило бы признать за ними право вмѣшиваться въ дѣла Франціи. Это было бы ни съ чѣмъ несообразно и очень унизительно для національной чести и для самого Пипина. Оставалось только обратиться къ папѣ, потому что его вмѣшательство было неопасно, и ему, какъ представителю религіи, можно было оказывать какіе угодно знаки уваженія, безъ ущерба для собственнаго достоинства. Папа самъ нуждался въ помощи Пипина; стало быть, можно было разсчитывать навѣрное, что онъ произнесетъ именно тѣ слова, которыя Пипину желательно было отъ него услышать.

Что-же касается до производства Пипина и его дѣтей въ римскіе патриціи, то есть въ правители города Рима, то тутъ мы опять имѣемъ дѣло съ отчаяннымъ маневромъ, похожимъ на письмо съ того свѣта. Папа, какъ утопающій, хватается за всевозможныя соломинки. Онъ со страху готовъ произвести Пипина не только въ патриціи, но пожалуй даже и выше, лишь бы только Пипинъ согласился унять лонгобардовъ; это производство показываетъ только слабость и робость папы, шаткость его авторитета, на который онъ самъ не смѣетъ еще полагаться, но оно нисколько не доказываетъ того, что назначеніе римскихъ правителей когда-нибудь прежде дѣйствительно зависѣло отъ папы. Исторія говоритъ положительно, что оно зависѣло отъ восточнаго императора; когда-же прерывались сношенія Рима съ Византіей, тогда оно переходило къ римскому народу, который видѣлъ въ папѣ своего епископа, но никакъ не государя.

При Карлѣ Великомъ папы держали себя тише воды, ниже травы. Скромность ихъ доходила до такихъ размѣровъ, что они позволили Карлу хозяйничать и командовать даже въ области догмата. Скромность ихъ не измѣнила имъ даже тогда, когда Карлъ приказалъ одному изъ своихъ придворныхъ богослововъ написать книгу противъ почитанія иконъ.

За эту неизмѣнную покорность Карлъ наградилъ папу цѣлою областью, которая однако ни при самомъ Карлѣ, ни при его потомкахъ не поступала дѣйствительно подъ власть папы. При Каролингахъ папѣ не удалось сдѣлаться владѣтельной особой; всѣ его права остались на бумагѣ, но зато папа сдѣлался самымъ богатымъ помѣщикомъ во всемъ Римѣ; ему было уступлено, на правахъ собственника, но не государя, значительное пространство земли въ бывшемъ равеннскомъ экзархатѣ, присоединенномъ къ новой западной имперіи.

Богатство стало привлекать на папскій престолъ такихъ людей, которые вовсе не отличались чистотой нравственности и нисколько не желали отрекаться отъ грѣховныхъ прелестей бреннаго міра. Въ IX вѣкѣ духовное званіе сдѣлалось самой вѣрной дорогой къ деньгамъ, къ почестямъ и ко всевозможнымъ житейскимъ удовольствіямъ. Всѣ епископы, всѣ монастыри, всѣ приходскія церкви сдѣлались богатыми и сильными землевладѣльцами. Мухи, разумѣется, со всѣхъ сторонъ полетѣли туда, гдѣ былъ собранъ медъ. Со свойственною имъ азартностью и предпріимчивостью, эти мухи—любители доходныхъ и почетныхъ мѣстъ — стали бороться между собою всѣми возможными средствами. Въ Римѣ, гдѣ хранился медъ самаго высокаго достоинства, пылкость любителей дошла наконецъ до того, что въ X вѣкѣ почти ни одному папѣ не удалось ни добраться до престола честнымъ путемъ, ни умереть на престолѣ естественной смертью. Въ началѣ X вѣка всѣ папы были креатурами трехъ знатныхъ и богатыхъ женщинъ, имѣвшихъ безчисленное множество любовниковъ. Затѣмъ папскимъ престоломъ распоряжался впродолженіи двадцати-двухъ лѣтъ Альберикъ, сынъ одной изъ этихъ женщинъ, Марозіи. Далѣе начинается господство трехъ Оттоновъ, продолжавшееся до начала слѣдующаго столѣтія. Въ это время папы зависѣли то отъ нѣмцевъ, то отъ знатныхъ римлянъ, смотря по тому, гдѣ находился императоръ—въ Италіи или въ Германіи. Когда императоръ являлся въ Римъ, тогда онъ обыкновенно сгонялъ прочь папу, опозореннаго множествомъ гнусныхъ поступковъ, и сажалъ на его мѣсто какого-нибудь приличнаго итальянскаго или нѣмецкаго прелата. Какъ только императоръ уходилъ изъ Рима, такъ римляне тотчасъ возмущались, римскіе магнаты начинали разбойничать, и новый папа, для спасенія своей жизни, бѣжалъ безъ оглядки, послѣ чего въ Римѣ начиналась новая борьба за очистившуюся вакансію. Тогда снова являлся императоръ; Римъ украшался висѣлицами и эшафотами, и на папскомъ престолѣ водворялось нѣкоторое благообразіе, вплоть до новаго удаленія императора въ Германію. Во все это время политическое значеніе папства было совершенно ничтожно; римляне ненавидѣли и презирали папу; они постоянно пробовали устроить у себя республиканское правительство, и ихъ попытки оказывались неудачными только потому, что Оттоны, при каждомъ своемъ появленіи въ Римѣ, уничтожали безъ остатка всѣ зародыши республиканской организаціи. Что-же касается до папъ, то они, при всей своей ненависти къ идеѣ римской республики, сами по себѣ не могли ничего сдѣлать противъ нея и умѣли только приносить императорамъ слезныя жалобы на своеволіе римскаго народа. Подвергаясь презрѣнію простыхъ людей, защищая съ трудомъ свою жизнь противъ властолюбивыхъ магнатовъ, искавшихъ папскаго престола для себя или для своихъ родственниковъ, папы X вѣка не могли и думать о какомъ бы то ни было соперничествѣ съ императорами. Папы

заботились только о томъ, чтобы какъ-нибудь усидѣть на своемъ мѣстѣ; эта задача была на столько замысловата, что поглощала всѣ ихъ умственныя силы и все-таки оставалась неразрѣшенною; многимъ папамъ приходилось летѣть съ престола въ тюрьму, гдѣ ихъ оставляли безъ пищи или гдѣ имъ просто затягивали горло веревкой. Сила папъ заключалась въ это время или въ покровительствѣ императора, или въ родственныхъ связяхъ съ богатыми и знатными римскими фамиліями. Когда папѣ измѣняли эти двѣ опоры, тогда паденіе его становилось неизбѣжнымъ. Папское достоинство само по себѣ не только не доставляло папѣ никакого могущества, но даже не ограждало его собственной личности отъ самаго грубаго насилія.

VII.

ГИЛЬДЕБРАНДЪ.

Въ XI вѣкѣ папскимъ престоломъ владѣли впродолженіи тридцати-двухъ лѣтъ (1012—1044) графы Тускуланскіе, потомки знаменитой Марозіи. Послѣдній папа изъ этой фамиліи, Бенедиктъ IX, попалъ на престолъ десятилѣтнимъ мальчикомъ. Жизнь этого юнаго папы была до такой степени неприлична и переполнена преступленіями, что римляне наконецъ, въ 1044 году, выгнали его изъ города и выбрали на его мѣсто Іоанна, епископа сабинскаго, который принялъ имя Сильвестра III. Бенедиктъ привелъ въ Римъ вооруженную шайку своихъ вассаловъ, и Сильвестръ принужденъ былъ бѣжать. Бенедиктъ снова захватилъ папскую тіару и вслѣдъ затѣмъ продалъ ее одному священнику Іоанну, который считался въ Римѣ особенно благочестивымъ и добродѣтельнымъ человѣкомъ; этотъ покупатель принялъ имя Григорія VI.

Бенедиктъ въ скоромъ времени нарушилъ условіе, заключенное съ Григоріемъ, и, получивши отъ него деньги, не отступился отъ своихъ притязаній на папское достоинство. Сильвестръ, съ своей стороны, считалъ себя законнымъ папою. Всѣ трое претендентовъ нашли возможность войти въ Римъ и укрѣпиться въ различныхъ городскихъ кварталахъ. Бенедиктъ засѣдалъ въ церкви св. Іоанна, Григорій — въ церкви св. Маріи, а Сильвестръ — въ церкви св. Петра. Такія чудеса были уже на столько обыкновенны, что римляне даже перестали имъ удивляться. Папы ссорились и воевали между собой больше года. Въ 1046 году ихъ помирилъ германскій король, Генрихъ III. Онъ вошелъ въ Италію съ войскомъ и собралъ въ городкѣ Сутри соборъ, который отрѣшилъ отъ должности всѣхъ троихъ папъ и возвелъ на престолъ епископа бамбергскаго, рекомендованнаго самимъ королемъ. Передъ этимъ епископомъ, принявшимъ имя Климента II, опиравшимся на нѣмецкія войска, стушевались остальные претенденты. Климентъ II короновалъ Генриха императорской короной, и съ этого времени до самой смерти Генриха III право назначать папъ принадлежало одному императору. Римскій народъ и римское духовенство были устранены отъ выборовъ; ближайшіе преемники Климента — Дамазъ II, Левъ IX и Викторъ II — были назначены Генрихомъ III.

Самые ревностные католики не видѣли въ этомъ энергическомъ вмѣшательствѣ императора ничего незаконнаго и предосудительнаго; папы, назначенные Генрихомъ, были люди почтенные и благочестивые; они управляли дѣлами церкви спокойно и благоразумно, пользовались общимъ уваженіемъ и не встрѣчали себѣ нигдѣ ни сопротивленія, ни соперниковъ. Съ восшествія на престолъ Климента II до смерти Генриха III не было въ католическомъ мірѣ ни одного антипапы; ревностные католики радовались этому прекращенію скандаловъ, благословляли имя Генриха III и желали отъ души, чтобы водворенное имъ благообразіе упрочилось при его преемникахъ. Такъ какъ папство до того времени никогда не было великой силой, способной бороться съ свѣтскими правителями, то католики не имѣли никакой возможности и никакого основанія сокрушаться о томъ, что папа находится въ зависимости отъ императора. Гораздо лучше, почетнѣе и безопаснѣе было зависѣть отъ императора, чѣмъ отъ распутной женщины или отъ какого-нибудь атамана разбойниковъ. А что папа можетъ быть независимъ и силенъ, что онъ можетъ опираться на одно религіозное чувство католической Европы, объ этомъ никто не умѣлъ составить себѣ даже приблизительное понятіе. Эти обильные источники папскаго могущества надо было еще открыть; они были неизвѣстны, и до нихъ невозможно было добраться въ такое время, когда папы, въ своей собственной столицѣ, жили какъ разбойники и умирали въ тюрьмѣ мучительной смертью. Дѣятельность Гильдебранда начинается въ послѣдніе годы царствованія Генриха III.

Послѣ смерти Льва IX римляне уполномочили Гильдебранда ходатайствовать передъ императоромъ о назначеніи въ папы того прелата, котораго онъ, Гильдебрандъ, найдетъ наиболѣе достойнымъ. Являясь такимъ образомъ представителемъ народа и духовенства, Гильдебрандъ указалъ Генриху на епископа айхштетскаго, и Генрихъ, уважая личный характеръ ходатая и находя его выборъ совершенно основательнымъ, охотно исполнилъ его желаніе. Епископъ айхштетскій сдѣлался папой подъ именемъ Виктора II. При Викторѣ II и при трехъ слѣдующихъ папахъ — при Стефанѣ IX, при Николаѣ II и при Александрѣ II — Гильдебрандъ пользовался постоянно неограниченнымъ вліяніемъ на всѣ дѣла церковнаго управленія. Онъ былъ единственнымъ совѣтникомъ и полновластнымъ министромъ папъ впродолженіи двадцати лѣтъ. Въ это время онъ

выработалъ и провелъ въ жизнь цѣлый рядъ законодательныхъ мѣръ первостепенной важности, которыя всѣ клонились къ тому, чтобы возвысить духъ надъ матеріей, сдѣлать клириковъ настоящими представителями духовнаго начала и затѣмъ подчинить ихъ господству весь католическій міръ. Генрихъ III умеръ въ 1056 году.

Въ 1058 году Стефанъ IX объявилъ, по совѣту Гильдебранда, что бракъ несовмѣстенъ съ священствомъ, что всѣ жены священниковъ—наложницы, и что всѣ священники, которые не разведутся съ своими женами, немедленно отлучаются отъ церкви.

Въ 1059 г. преемникъ Стефана, Николай II, собралъ соборъ въ Латеранѣ и, также по совѣту Гильдебранда, торжественно запретилъ клирикамъ принимать отъ свѣтскихъ людей какія бы то ни было церковныя бенефиціи...

На этомъ-же соборѣ право выбирать папу было предоставлено кардиналамъ. Остальная часть римскаго духовенства и народъ должны были, по словамъ декрета, соображаться съ ихъ указаніями, и весь процессъ выбора долженъ былъ совершаться «съ соблюденіемъ должнаго уваженія къ королю Генриху, будущему императору, и при содѣйствіи его нунція, канцлера Ломбардіи, — которымъ апостольскій престолъ предоставилъ личную привилегію участвовать въ выборѣ своимъ согласіемъ».

Въ 1061 году, послѣ смерти Николая II, Гильдебрандъ сдѣлалъ еще шагъ впередъ. Подъ его руководствомъ совершились выборы новаго папы, Александра II, и при этомъ, не смотря на опредѣленіе латеранскаго собора, избиратели не испрашивали согласія ни у Генриха, ни у его матери, управлявшей государствомъ во время его продолжительнаго малолѣтства, ни у его нунція, канцлера Ломбардіи.

Германскій дворъ, въ отвѣтъ на это оскорбленіе, выбралъ другого папу, Кадалоо, епископа пармскаго, которому удалось, при помощи враговъ Гильдебранда, проникнуть въ Римъ и одержать побѣду надъ войсками Александра. Кадалоо утвердился въ Ватиканѣ и принялъ имя Гонорія II. Но потомъ его выгналъ изъ Рима герцогъ тосканскій, и Александръ II воротился въ свой дворецъ.

Послѣ смерти Александра, въ 1073 году, папою сдѣлался самъ Гильдебрандъ, подъ именемъ Григорія VII.

Новому папѣ незачѣмъ было выдвигать впередъ какія-нибудь новыя требованія. Ему надо было только поддерживать и развивать тѣ идеи, которыя, по его-же совѣту, были торжественно заявлены его предшественниками. Безбрачіе духовенства и его полное освобожденіе отъ феодальной зависимости — этихъ двухъ принциповъ было совершенно достаточно для того, чтобы соорудить теократическое зданіе невиданныхъ размѣровъ. Заручившись этими двумя принципами, надо было только идти на проломъ, не поддаваясь ни на какія соглашенія, не принимая никакихъ половинныхъ уступокъ, не смущаясь никакими препятствіями, презирая всѣ опасности и разбивая хладнокровно тысячи человѣческихъ существованій. Для всего этого требовалась конечно необыкновенная сила характера. Но эта сила, еще въ большей степени, необходима была прежде, тогда, когда Гильдебрандъ черезъ своихъ предшественниковъ въ первый разъ формулировалъ свои основные принципы. Эти принципы съ самаго начала не могли разсчитывать ни на чью дѣятельную поддержку, потому что они, какъ выраженіе самаго чистаго и самаго строгаго спиритуализма, шли въ разрѣзъ со всѣми земными интересами.

Декретъ о безбрачіи духовенства возбудилъ противъ себя цѣлую бурю; многіе священники и даже нѣкоторые епископы были обвѣнчаны законнѣйшимъ образомъ; всѣ ихъ семейныя связи обрывались теперь вдругъ, по необъяснимому для нихъ капризу папы; ихъ жены теряли всякую респектабельность; ихъ дѣти оказывались побочными дѣтьми; съ такимъ неожиданнымъ ударомъ невозможно было помириться добровольно; миланское духовенство отказалось повиноваться, сославшись на указанія св. Амвросія, положительно разрѣшившаго браки священниковъ, и наконецъ противупоставило папскому декрету рѣшеніе мѣстнаго собора, созваннаго нарочно для обсужденія этого вопроса. Кого поражалъ и оскорблялъ папскій декретъ—это было ясно; но кого онъ могъ расположить въ свою пользу—это было покрыто мракомъ неизвѣстности. Нанося жестокій ударъ женатымъ священникамъ, декретъ о безбрачіи никакъ не могъ разсчитывать на особенное сочувствіе монашествующаго духовенства. При прежнемъ порядкѣ монахъ пользовался особеннымъ уваженіемъ, какъ человѣкъ, наложившій на себя добровольно такіе тяжкіе обѣты, которые не всякому священнику оказываются по силамъ. При прежнемъ порядкѣ женатый клирикъ стоялъ выше мірянина, а монахъ—выше женатаго клирика. Послѣ папскаго декрета всѣ клирики должны были сдѣлаться монахами, и слѣдовательно прежнимъ монахамъ приходилось спуститься съ третьей ступеньки на вторую. Сдѣлавшись обязательнымъ, монашескій подвигъ долженъ былъ потерять въ глазахъ массы часть своей грандіозности. Вѣсъ духовенства въ цѣломъ его составѣ долженъ былъ увеличиться, но спеціальный вѣсъ монашества долженъ былъ уменьшиться, именно потому, что монахъ дѣлался обыденнымъ явленіемъ для жителей каждой деревни. Стало быть, монахамъ не было никакого особеннаго интереса ратовать въ пользу декрета о безбрачіи. Народъ конечно уважалъ клириковъ, отказывавшихся отъ брака, больше чѣмъ женатыхъ священниковъ, обремененныхъ семейными заботами и по-

груженныхъ въ хозяйственныя дрязги; но при рѣшеніи спорныхъ догматическихъ вопросовъ народъ обыкновенно соглашался съ своимъ духовенствомъ и считалъ еретиками тѣхъ людей, которыхъ духовенство клеймило этимъ названіемъ. Ни папа, ни его ближайшіе совѣтники не могли имѣть прямыхъ сношеній съ народными массами. Естественными и необходимыми посредниками между массами и бывшимъ духовнымъ начальствомъ были все-таки простые священники и монахи. Поэтому провести при помощи массъ реформу, непріятную для низшаго духовенства, было очень мудрено. Проходя черезъ руки низшаго духовенства, извѣстіе о реформѣ легко могло превратиться въ ужасную вѣсть о томъ, что папа сдѣлался еретикомъ и колдуномъ, продалъ душу дьяволу и поклялся ему погубить чистоту католическаго ученія. Массы повѣрили бы этому извѣстію, во-первыхъ потому, что въ тогдашней Европѣ,кромѣ клириковъ, почти совсѣмъ не было грамотныхъ людей, во-вторыхъ потому, что обвиненіе въ ереси и въ колдовствѣ было въ то время очень обыкновенно, и наконецъ въ третьихъ потому, что Римъ уже давно изумлялъ всю Европу самыми разнообразными скандалами. Словомъ, Стефанъ II и Гильдебрандъ очутились бы въ самомъ двусмысленномъ и опасномъ положеніи, еслибы противники ихъ реформы осмѣлились дѣйствовать единодушно и съумѣли найдти себѣ искусныхъ и твердыхъ вождей.

На что-же собственно разсчитывалъ Гильдебрандъ, пускаясь въ такое рискованное предпріятіе?

Гильдебрандъ понималъ инстинктомъ своего генія, что никто изъ его мелкихъ противниковъ не устоитъ противъ его желѣзной воли; онъ вѣрилъ въ силу своей идеи: онъ вѣрилъ также въ безграничную твердость собственной личности; онъ зналъ, что онъ съумѣетъ и не побоится пустить въ ходъ всѣ возможныя, пожалуй даже самыя революціонныя средства; вокругъ него группировалась горсть слѣпо преданныхъ ему фанатиковъ, ярыхъ и неустрашимыхъ спиритуалистовъ, находившихся подъ обаяніемъ его генія и готовыхъ, по первому его слову, отправиться на край свѣта за мученическимъ вѣнцомъ. Самъ онъ, въ случаѣ неудачи, вовсе не прочь былъ отъ того, чтобы погибнуть за свое дѣло. Послѣ этого чего-же ему было бояться, и отчего-же ему было не начать такой борьбы, въ которой повидимому всѣ шансы были противъ него?

Но сама собою эта борьба папства съ естественными стремленіями низшаго духовенства не могла ни возникнуть, ни рѣшиться въ ту сторону, въ которую ее рѣшилъ суровый геній Гильдебранда. Десятки посредственностей могутъ сдѣлать работу одного титана въ томъ случаѣ, когда приходится плыть по теченію человѣческихъ интересовъ и страстей. Но сдѣлать дѣло, совершенно противное человѣческой природѣ, приневолить тысячи людей къ тому, что̀ нисколько не соотвѣтствуетъ ихъ выгодамъ и потребностямъ,— это доступно только титану, поглощенному односторонним міросозерцаніемъ.

Тутъ титанъ оказывается незамѣнимымъ. Только ошибка титана можетъ сдѣлаться заразительной для всѣхъ его современниковъ и видоизмѣнить своимъ вліяніемъ бытовыя формы многихъ послѣдующихъ столѣтій.

Возставивъ противъ себя низшее духовенство, Гильдебрандъ на слѣдующій годъ завязалъ еще болѣе опасную борьбу со всѣми феодальными властями. Каждый епископскій престолъ, каждая церковь, каждый монастырь имѣли по одному или по нѣскольку помѣстій, находившихся въ феодальной зависимости отъ императора, отъ королей, отъ герцоговъ или отъ какихъ-нибудь другихъ свѣтскихъ лицъ. Епископъ, аббатъ или священникъ, вступая въ должность, приносилъ этому свѣтскому сюзерену установленную и общеобязательную присягу въ вѣрности. Если сюзеренъ былъ дурно расположенъ къ новому духовному лицу, то онъ могъ не принять его присяги и отказать ему такимъ образомъ въ правахъ на помѣстье. Безъ помѣстья сама должность не имѣла никакой привлекательности. Поэтому во избѣжаніе такихъ непріятныхъ столкновеній между поступающимъ на мѣсто клирикомъ и сюзереномъ помѣстья установился тотъ обычай, что поступающій выпрашивалъ предварительно согласіе сюзерена и становился епископомъ или аббатомъ только тогда, когда былъ увѣренъ, что отъ него не уйдутъ земли, принисанныя къ епископскому престолу или къ монастырю. Такимъ образомъ матерія одерживала рѣшительную и самую скандальную побѣду надъ духомъ. Короли, герцоги, графы, бароны, умѣвшіе только драться и безчинствовать, сдѣлались раздавателями церковныхъ должностей, насажали на епископскія и аббатскія мѣста своихъ родственниковъ и любимчиковъ, и наконецъ повели обширную торговлю этими мѣстами, до которыхъ всегда было много охотниковъ.

Въ этомъ дѣлѣ даже мысль о реформѣ не могла возникнуть безъ вмѣшательства какого-нибудь геніальнаго, неподкупно-честнаго и неустрашимаго спиритуалиста. Одни продавали мѣста, другіе ихъ покупали; одни оказывали милости, другіе ими пользовались. Грѣхъ и выгода дѣлились пополамъ, къ обоюдному удовольствію заинтересованныхъ сторонъ, которыя сосредоточивали въ своихъ рукахъ всю матеріальную силу и весь нравственный авторитетъ средневѣкового общества. Кто-же могъ протестовать и требовать реформы? Кто могъ поднять этотъ вопросъ и поддержать его?

Вы скажете пожалуй, что это могъ сдѣлать народъ, который не продавалъ и не покупалъ

мѣстъ, не награждалъ своихъ фаворитовъ и самъ не пользовался наградами отъ богатыхъ милостивцевъ. Народъ дѣйствительно протестовалъ кое-гдѣ ересями и возстаніями, но его протесты были всегда до такой степени разрозненны и необдуманны, что они не могли имѣть никакого существеннаго вліянія на измѣненіе заведеннаго порядка. Довѣрчивая масса находилась совершенно въ рукахъ людей, продающихъ и покупающихъ доходныя мѣста; эта масса съ ужасомъ сторонилась отъ тѣхъ немногихъ обличителей, которые выдвигались изъ ея среды. Массу можно было усовѣстить копьями и запугать огнемъ чистилища. Съ этой стороны продавцамъ и покупателямъ, милостивцамъ и фаворитамъ нечего было бояться.

Добродѣтельныя посредственности, честные, но черезчуръ наивные аскеты могли протестовать и дѣйствительно протестовали чувствительными проповѣдями, въ которыхъ доказывалась феодальному міру необходимость покаяться, исправиться, проникнуться уваженіемъ къ святынѣ, прекратить предосудительную торговлю мѣстами, на будущее время раздавать должности достойнымъ людямъ, а не искуснымъ льстецамъ и не щедрымъ разсыпателямъ звонкой монеты.

Феодальный міръ восхищался краснорѣчіемъ проповѣдниковъ, одобрялъ возвышенность ихъ чувствъ, проливалъ слезы умиленія и давалъ себѣ торжественное обѣщаніе выстроить нѣсколько новыхъ церквей, если удастся сорвать хорошую сумму денегъ съ будущихъ покупщиковъ церковныхъ должностей. Дальше обѣта построить церковь или сходить на богомолье никакое раскаяніе феодальнаго міра не могло простираться, потому что дѣйствительное исправленіе равнялось для него самоуничтоженію. Самые честные люди не смѣли желать этого дѣйствительнаго исправленія; имъ хотѣлось, чтобы ихъ современники прониклись добродѣтельными стремленіями, но ихъ пугала такая перестройка общественныхъ отношеній, которая отняла бы у этихъ современниковъ возможность обогащаться разными неправдами. Эта перестройка казалась невозможною, потому что она должна была простираться слишкомъ далеко, затронуть интересы и права самыхъ сильныхъ особъ, и такимъ образомъ приготовить обществу длинный рядъ мучительныхъ потрясеній, которыхъ исходъ не могъ быть угаданъ заранѣе.

Чтобы прекратить скандальную торговлю церковными должностями, надо было перевернуть всѣ установившіяся отношенія между церковью и государствомъ, надо было отнять у мірянъ всякое вліяніе на выборъ и назначеніе клириковъ, и при этомъ надо было прежде всего уничтожить общепризнанное и освященное вѣками право императора утверждать выбраннаго папу.

Но общее теченіе событій шло совсѣмъ не къ тому, чтобы ослабить это право императора. Напротивъ того, императоръ Генрихъ III, безъ всякаго насилія, получилъ право не только утверждать выбраннаго папу, но даже прямо выбирать и назначать его. Онъ пользовался этимъ правомъ такъ честно, умѣренно и благоразумно, что никому не давалъ повода къ жалобамъ и къ сопротивленію.

Никто не могъ сказать, чтобы какой-нибудь императоръ когда-нибудь посадилъ на папскій престолъ недостойнаго любимца или богатаго покупателя. Зато каждый могъ припомнить, какимъ образомъ папа Бенедиктъ IX сначала купилъ свою тіару у представителей народа и духовенства, а потомъ перепродалъ ее за хорошую цѣну Григорію VI. Еслибы дѣла были предоставлены своему естественному теченію, еслибы добродѣтельныя посредственности, занимавшія въ это время папскій престолъ, не нашли себѣ геніальнаго руководителя, умѣвшаго создавать событія, вмѣсто того чтобы подчиняться имъ,—то папы къ концу XI вѣка сдѣлались бы въ отношеніи къ нѣмецкимъ императорамъ тѣмъ, чѣмъ были въ отношеніи къ своимъ государямъ византійскіе патріархи. Это совершенное подчиненіе папства было тѣмъ болѣе неизбѣжно, что на германскомъ престолѣ появлялись одинъ за другимъ, впродолженіи двухъ столѣтій, отъ Генриха III до Фридриха II, то есть до половины XIII вѣка, люди необыкновенно даровитые, твердые, мужественные и дѣятельные.

Освобожденіе церкви отъ феодальной зависимости представляло еще и другія трудности. Церковь владѣла землями. На эти земли феодалы-сюзерены имѣли самыя безспорныя права. Если клирики не хотѣли дѣлаться вассалами землевладѣльца, то ихъ никто къ этому и не принуждалъ. На ихъ личную свободу не посягалъ никто. Но какъ-же распорядиться съ землею? Если клирикъ не желаетъ присягать сюзерену, то онъ долженъ или отказаться отъ земли, или отнять ее насильно у законнаго владѣтеля. Гильдебрандъ конечно очень радъ былъ обречь себя и всѣхъ своихъ сослуживцевъ на добровольную бѣдность, но сослуживцы смотрѣли на дѣло совсѣмъ другими глазами и нисколько не желали покупать себѣ такой цѣной нравственную самостоятельность.—При своемъ безграничномъ презрѣніи къ матеріи Гильдебрандъ не могъ уважать право собственности, поэтому онъ былъ готовъ, безъ дальнѣйшихъ церемоній, обобрать свѣтскихъ сюзереновъ въ пользу церкви, если только эта споліація была необходима для независимости духовенства. Но свѣтскіе владѣльцы не чувствовали ни малѣйшаго презрѣнія къ матеріи и готовы были драться на смерть за свои священныя права. Куда ни кинь, вездѣ получался въ результатѣ клинъ; весь теократическій планъ Гильдебранда былъ составленъ изъ неразрѣшимыхъ задачъ.

Превратить всѣхъ членовъ цѣлой многочис-

ленной корпораціи въ ангеловъ, или по меньшей мѣрѣ въ строгихъ аскетовъ—первая невозможность.

Развязать или разрубить узелъ феодальной зависимости, то есть пустить по міру клириковъ, или обобрать воинственныхъ магнатовъ—вторая невозможность.

Подчинить папѣ и императора, и королей—третья невозможность.

Эти три невозможности выходятъ изъ одной общей причины, именно изъ того обстоятельства, что никакое человѣческое общество не можетъ подчинить всѣ отправленія своей жизни одной идеѣ, какъ бы ни была эта идея возвышенна и прекрасна. У человѣческаго организма есть свои потребности, влеченія и страсти, которыхъ не можетъ задавить никакая доктрина. Въ теоріи всѣ средневѣковые люди утверждали единогласно, что человѣкъ прежде всего долженъ заботиться о спасеніи своей души. Но въ дѣйствительной жизни почти никто не подчинялъ своихъ поступковъ этой высшей цѣли. Для спасенія души отъ человѣка вообще, а отъ клирика въ особенности, требовалось цѣломудріе. Но живой организмъ побуждалъ человѣка вообще, а слѣдовательно и клирика, искать себѣ любви и наслажденія. Для спасенія души отъ человѣка требовалось презрѣніе къ земнымъ благамъ. Но земныя блага соотвѣтствовали потребностямъ человѣческаго организма, и человѣкъ вмѣсто суроваго презрѣнія чувствовалъ къ нимъ самую страстную нѣжность. Для спасенія души отъ человѣка требовалось самоуничтоженіе, умерщвленіе собственной воли и пассивное повиновеніе высшимъ духовнымъ авторитетамъ. Но здоровый организмъ чувствовалъ свою силу, вырабатывалъ себѣ принципы кулачнаго права и крѣпко держался за эти любезные принципы даже во время своихъ объясненій съ высшими авторитетами. Всѣ эти самородные протесты буйнаго организма противъ возвышенной доктрины подвергались въ теоріи рѣшительному осужденію и назывались человѣческими слабостями. Но теорія оставалась теоріей, и ни у кого не доставало духу начать противъ этихъ *слабостей* серьезную истребительную войну. Многіе искренніе спиритуалисты уходили отъ этихъ ненавистныхъ слабостей въ уединеніе монастырской кельи, но никому не приходила въ голову титанически-смѣлая мысль перестроить весь міръ по такому плану, въ которомъ для этихъ слабостей не было бы мѣста. За подобную перестройку всего менѣе могли приняться тѣ папы, которыхъ характеры были цѣликомъ составлены изъ человѣческихъ слабостей. Невозможность этой перестройки была очевидна для всѣхъ людей, начиная отъ самыхъ близорукихъ и кончая самыми проницательными. Чтобы усомниться въ этой невозможности, чтобы довести въ себѣ это сомнѣніе до полнаго и страстнаго отрицанія и чтобы наконецъ на этомъ отрицаніи построить всю свою дѣятельность—надо было обладать совершенно исключительной умственной организаціей, такою организаціей, которая можетъ сформироваться одинъ разъ въ тысячу лѣтъ. Не явись такая организація въ половинѣ XI вѣка, не выскажи она съ высоты папскаго престола самыхъ неосуществимыхъ требованій, — тогда обѣимъ властямъ не изъ-за чего было бы бороться между собою; ихъ поссорили не выгоды, а принципы, проведенные до самаго конца съ такой неумолимой послѣдовательностью, которая клонилась къ совершенному уничтоженію человѣческихъ слабостей. Воздержаться отъ этого послѣдовательнаго проведенія принциповъ было очень нетрудно; этимъ умѣньемъ воздерживаться обладаютъ и посредственности—вслѣдствіе своего малодушія, и геніальные люди—вслѣдствіе своей способности отличать возможное отъ невозможнаго. Нарушить это воздержаніе могла только странная личность, въ которой послѣдовательность, смѣлость, энергія и разсудительность первоклассnаго генія соединялись съ близорукостью или даже съ ослѣпленіемъ неизлечимаго монomана. Когда эта личность произнесла свои роковыя требованія, когда этотъ великій средневѣковой enfant terrible высказалъ послѣдніе выводы изъ общепризнанныхъ основныхъ идей, тогда борьба сдѣлалась неизбѣжной, потому что преемники странной личности уже не могли отступить назадъ, не могли изгладить произведенное впечатлѣніе, не могли и не смѣли уличить величайшаго изъ своихъ предшественниковъ въ грубыхъ и дерзкихъ заблужденіяхъ. Съ точки зрѣнія доктрины никакихъ заблужденій тутъ и не было; требованіями Гильдебранда нарушались только законы человѣческой природы, о которыхъ нисколько не заботились тогдашнія теоріи. Стало быть, преемники Гильдебранда были поставлены въ необходимость защищать его требованія, которыхъ они однако сами не рѣшились бы выдвинуть.

VIII.

ЗАМОКЪ КАНОССА И КРѢПОСТЬ ТРИБУККО.

Послѣ многихъ безуспѣшныхъ переговоровъ и энергическихъ письменныхъ столкновеній съ молодымъ королемъ Генрихомъ IV, нисколько не желавшимъ сдѣлаться слугою папы, Григорій VII, въ 1076 году, собралъ въ Римѣ соборъ, отлучилъ непокорнаго короля отъ церкви, объявилъ его недостойнымъ и неспособнымъ царствовать и разрѣшилъ его подданныхъ отъ присяги. Этотъ поступокъ Григорія не имѣетъ себѣ въ прошедшемъ ничего подобнаго. До него никто изъ папъ не считалъ себя вправѣ распоряжаться коронами. Никто изъ предшественниковъ Григорія не чувствовалъ въ себѣ на то ни достаточно смѣлости, ни достаточно силы. Неслыханная мѣра,

пущенная въ ходъ Григоріемъ VII, увѣнчалась самымъ блистательнымъ успѣхомъ. Противъ Генриха поднялась бо́льшая часть Германіи. Къ искреннимъ фанатикамъ присоединились всѣ политическіе враги молодого короля. Генриху скоро сдѣлалось такъ плохо, что онъ въ началѣ 1077 года принужденъ былъ пробраться тайкомъ въ Италію и принести Григорію повинную голову. Григорій находился въ это время въ замкѣ Каноссѣ, принадлежавшемъ графинѣ Матильдѣ Тосканской, самой яростной и самой могущественной защитницѣ папскаго престола. Григорій собирался отправиться въ Германію и докапать Генриха своимъ присутствіемъ. Генрихъ послалъ въ Каноссу къ папѣ самыхъ важныхъ итальянскихъ магнатовъ и прелатовъ, чтобы ихъ заступничествомъ выпросить себѣ прощеніе. Это ходатайство итальянскихъ прелатовъ показываетъ намъ очень ясно, что, преслѣдуя Генриха IV, Григорій нисколько не опирался на единодушное сочувствіе всей клерикальной корпораціи. Григорій возвеличивалъ эту корпорацію противъ ея собственной воли. Очень многіе клирики, и притомъ изъ самыхъ знатныхъ, рѣшительно не одобряли его ссоры съ королемъ и отъ души желали, чтобы дѣла вошли въ свою старую колею. Когда магнаты и прелаты стали просить у папы пощады для Генриха, Григорій сначала не хотѣлъ ничего слышать. Потомъ онъ смягчился. «Если, сказалъ онъ, раскаяніе его чистосердечно, то пусть онъ, въ знакъ своего сокрушенія, сложитъ съ себя въ мои руки свою корону и всѣ знаки своего королевскаго достоинства, и пусть онъ объявитъ тогда, что, послѣ своей неявки на судъ собора, онъ признаетъ себя недостойнымъ сана и титула короля».—Съ точки зрѣнія Генриха и его союзниковъ, свѣтскихъ и духовныхъ, въ этой резолюціи не было рѣшительно никакого смягченія; но съ точки зрѣнія Григорія, Матильды и другихъ искреннихъ спиритуалистовъ смягченіе было очень большое: папа соглашался взять назадъ приговоръ отлученія. Чего-же больше?—Логика Григорія была непобѣдима. Если, разсуждалъ онъ, Генрихъ—ревностный католикъ, то, имѣя въ виду высшее благополучіе—примиреніе съ церковью,—онъ долженъ съ радостью отказаться отъ престола и отъ всѣхъ суетныхъ благъ земного величія; если-же для него корона дороже примиренія съ церковью, то, значитъ, нѣтъ въ немъ истиннаго благочестія, и его надо погубить до конца. Кто хотѣлъ казаться благочестивымъ католикомъ, тотъ не могъ ничего возражать противъ этого разсужденія. Но парламентеры Генриха продолжали умолять папу, чтобы онъ не разбивалъ своимъ гнѣвомъ падломленнаго человѣка. Тогда папа смягчился еще больше и позволилъ Генриху явиться лично въ Каноссу и обнаружить тамъ передъ самимъ папою искренность и силу своего раскаянія.

Получивши отъ своихъ ходатаевъ такой отвѣтъ, Генрихъ подумалъ по всей вѣроятности, что все можетъ уладиться полюбовно и что для этого стоитъ только потѣшить сердитаго старика умилительною выставкой королевской покорности. Генрихъ отправился въ Каноссу и твердо рѣшился подвергнуть себя возможнымъ унизительнымъ формальностямъ, удовлетворить всѣмъ требованіямъ папскаго тщеславія, выпить горькую чашу покаянія до самаго дна, лишь бы только уломать старика, и потомъ, при его содѣйствіи, поправить свои разстроенныя дѣла. Чаша дѣйствительно оказалась неумѣренно горькою.

Замокъ Каносса былъ обнесенъ тремя стѣнами. Свита короля принуждена была остановиться, не доходя до первой стѣны, но самого Генриха впустили за вторую стѣну; здѣсь, на дворѣ, ему предложили заняться подвигами покаянія. Время для такихъ подвиговъ было выбрано неудачно; дѣло происходило въ двадцатыхъ числахъ января: современники-очевидцы говорятъ положительно, что морозы стояли очень порядочные—разумѣется, по итальянскому масштабу,—и что земля была покрыта снѣгомъ. На Генрихѣ не было не только царскихъ украшеній, но даже и мало-мальски порядочнаго платья; онъ былъ одѣтъ въ какое-то гнусное вретище, которое почти совсѣмъ не защищало его отъ холода; онъ явился на дворъ замка босикомъ и безъ шапки, по церемоніалу, установленному для кающихся грѣшниковъ. На дворѣ онъ началъ класть поклоны, плакать, рыдать, бить себя въ грудь и произносить жалкія слова. Онъ думалъ вѣроятно, что папа продержитъ его въ такомъ положеніи два часа, потомъ прикажетъ привести его къ себѣ. Въ такомъ ожиданіи прошелъ цѣлый день. Во все это время никто не вынесъ королю изъ замка ни куска хлѣба, ни стакана вина. Спутники короля, оставшіеся далеко, за двумя оградами, также не могли ничѣмъ облегчить его положеніе. Такимъ образомъ Генрихъ соблюдалъ до поздняго вечера самый строгій постъ. Когда наступила ночь, Генриха выпроводили за ограду, и онъ отправился къ своимъ спутникамъ обогрѣваться, ужинать и бранить суроваго старика всѣми отборнѣйшими крѣпкими выраженіями, какія только были въ ходу между тогдашними лагерными героями.—На другой день Генрихъ опять въ томъ-же костюмѣ и съ соблюденіемъ того-же строгаго поста продежурилъ на дворѣ до поздней ночи. На третій день повторилась та-же исторія. Можно было подумать, что Григорій рѣшился уморить своего бывшаго врага медленной смертью. На четвертый день Генрихъ по всей вѣроятности едва волочилъ ноги. Трудно себѣ вообразить такое желѣзное тѣлосложеніе, которое могло бы выдержать безнаказанно трехъ-дневное стояніе босыми ногами на снѣгу или на мерзлой землѣ. Наконецъ на четвертый день Григорій потребовалъ къ себѣ измученнаго и больного короля, прочиталъ

ему длиннѣйшее и грознѣйшее наставленіе, заставилъ его пролить много слезъ и совершить много колѣнопреклоненій и снялъ съ него приговоръ отлученія.

Но—съ условіемъ!—Это условіе было прелестно. На Генриха налагалась обязанность подчиниться суду имперскихъ князей, которые должны были собраться по приказанію папы; если Генрихъ оправдается передъ судомъ князей и папы, то онъ останется королемъ; если-же судъ признаетъ его виновнымъ,—онъ потеряетъ корону и будетъ наказанъ по всей строгости церковныхъ законовъ; впредь до приговора суда Генриху не позволялось ни носить королевскія украшенія, ни принимать участіе въ государственныхъ дѣлахъ.

Такимъ образомъ неумолимый папа не только унизилъ и измучилъ короля, но еще и показалъ ему наглядно, что его униженія и страданія не имѣютъ никакой цѣны, нисколько не вмѣняются ему въ заслугу и рѣшительно не заглаживаютъ тѣхъ поступковъ, которые на языкѣ строгихъ католиковъ назывались его преступленіями. — Всѣ просьбы прелатовъ, расположенныхъ къ Генриху, и всѣ мученическіе подвиги кающагося короля привели только къ тому, что папа согласился простить неявку Генриха на судъ римскаго собора. Все земное величіе лежало у ногъ Григорія VII, и Григорій не поколебался ни на минуту. Онъ не принялъ никакихъ уступокъ, не согласился ни на какіе компромиссы, не подалъ ни малѣйшей надежды на примиреніе. Онъ остался непреклонно твердымъ представителемъ отвлеченной идеи, во имя которой онъ требовалъ себѣ полнаго, безпредѣльнаго, безграничнаго, безусловнаго господства. Эти требованія были неосуществимы, но великая историческая заслуга Григорія VII именно въ томъ и состоитъ, что онъ своими явно неосуществимыми требованіями поднялъ такую борьбу, которая совершенно разбила узкое міросозерцаніе средневѣкового человѣка.

Знаменитое покаяніе Генриха IV въ Каноссѣ обозначаетъ собою кульминаціонный пунктъ папскаго могущества. Ни прежде, ни послѣ этого событія папство никогда не одерживало надъ свѣтской властью такой яркой и выразительной побѣды. А это событіе произошло двадцать лѣтъ спустя послѣ смерти того императора, который назначалъ папъ по своему благоусмотрѣнію. Изъ крайняго подчиненія папство сразу поднялось на высшую точку своего могущества. Можно-ли сомнѣваться въ томъ, что это внезапное возвышеніе было дѣломъ одного человѣка?

Конечно Гильдебрандъ не могъ создать ни невѣжества, ни легковѣрія, ни страстности и впечатлительности своихъ современниковъ. Всѣ эти свойства, составляющія необходимую подкладку для его дѣятельности, существовали сами по себѣ, совершенно независимо отъ ума и характера какихъ бы то ни было крупныхъ или даже колоссальныхъ историческихъ дѣятелей. Міросозерцаніе средневѣковыхъ людей было также выработано за-долго до рожденія Гильдебранда. Но это міросозерцаніе было на столько эластично и опредѣленно, что оно открывало самый широкій просторъ для инициативы крупныхъ и сильныхъ личностей.

Матеріалы для дѣятельности Григорія VII конечно находились въ современномъ ему обществѣ. Но воспользоваться этими матеріалами такъ или иначе—это зависѣло уже отъ личнаго ума и характера самого дѣятеля. Дѣятельность Григорія VII не вытекала *неизбѣжно* изъ данныхъ обстоятельствъ мѣста и времени. Эти обстоятельства дѣлали ее только *возможной*, но возможной не для перваго встрѣчнаго, не для всякаго здравомыслящаго человѣка, а, напротивъ того, только для колоссальной и совершенно необыкновенной личности. Массы готовы были выслушивать съ уваженіемъ самыя громадныя притязанія духовной власти, но чтобы убѣдиться на дѣлѣ въ томъ, какъ далеко простирается эта почтительная довѣрчивость современниковъ, и чтобы закинуть свои требованія такъ высоко, какъ это сдѣлалъ Григорій VII,—надо было обладать безграничной смѣлостью и невозмутимой самоувѣренностью. Можно сказать, что Григорій въ своихъ требованіяхъ не только дошелъ до крайнихъ предѣловъ, допускавшихся легковѣріемъ его современниковъ, но даже переступилъ эти предѣлы. Многіе современники Григорія, при всей своей умственной покорности, не могли слѣдовать за нимъ и нашли, что его притязанія превосходятъ всякую мѣру. Вся Ломбардія и бо́льшая часть итальянскихъ епископовъ, а наконецъ и сами римляне рѣшительно объявили себя противъ папы и вступили съ нимъ въ открытую войну.

Жестокое униженіе свѣтской власти въ Каноссѣ произошло не отъ безвыходнаго положенія Генриха, а преимущественно отъ ошибочнаго разсчета. Генрихъ еще имѣлъ возможность бороться съ своими врагами, но онъ считалъ болѣе благоразумнымъ дѣйствовать переговорами и уступками, чѣмъ подвергать свою корону случайностямъ такой борьбы, въ которой перевѣсъ матеріальной силы находился на сторонѣ его противниковъ. Каносса доказала ему, что переговоры невозможны, и что всѣ сколько-нибудь возможныя уступки будутъ отвергнуты съ гнѣвомъ или съ презрѣніемъ. Своимъ пребываніемъ въ Каноссѣ Генрихъ еще больше запуталъ свои дѣла: его друзья получили поводъ усомниться въ его мужествѣ, а враги его къ длинному списку его преступленій противъ церкви прибавили нарушеніе того обѣщанія, цѣной котораго Генрихъ купилъ себѣ прощеніе папы. Зато Генрихъ получилъ достаточно ясное понятіе о своемъ собственномъ положеніи и о настоящихъ замыс-

лахъ папы. Этого было довольно. Выбравшись изъ Каноссы, Генрихъ быстро привелъ въ порядокъ свои дѣла, разбилъ возмутившихся князей въ нѣсколькихъ сраженіяхъ и въ 1080 г. окончательно укротилъ сторонниковъ папы въ Германіи. Въ это-же самое время войска ломбардскихъ городовъ, поддерживавшихъ Генриха, одержали рѣшительную побѣду надъ войсками графини Матильды. Въ 1081 году Генрихъ снова вошелъ въ Италію, но уже совсѣмъ не для того, чтобы пріобрѣтать себѣ простуду подвигами покаянія. Генрихъ шелъ въ Римъ грознымъ властелиномъ, достойнымъ сыномъ Генриха III, — чтобы выгнать изъ Рима Григорія VII и посадить на его мѣсто Гиберта, архіепископа равеннскаго, принявшаго имя Климента III. Въ 1084 году Генрихъ дѣйствительно вошелъ въ Римъ, принялъ изъ рукъ Климента императорскую корону и осадилъ замокъ св. Ангела, въ которомъ сидѣлъ Григорій, по-прежнему не хотѣвшій слышать объ уступкахъ и переговорахъ. Еслибы Григорій попался въ руки своего давнишняго врага—ему, Григорію, пришлось бы вѣроятно очень плохо. Но его выручилъ Робертъ Гискаръ, предводитель норманновъ, завоевавшихъ южную Италію и Сицилію въ сороковыхъ годахъ XI вѣка. Робертъ прогналъ войска императора, сжегъ и разграбилъ Римъ и увелъ съ собою папу въ Салерно, гдѣ Григорій и умеръ въ маѣ 1085 года, проклиная до послѣдней минуты Генриха и антипапу Гиберга.

Пока Григорій VII былъ живъ, многіе члены клерикальной корпораціи боялись и ненавидѣли его, какъ суроваго деспота, не щадившаго никакихъ человѣческихъ слабостей. Эта боязнь и эта ненависть заставляли многихъ прелатовъ держаться отъ него подальше, относиться враждебно къ его планамъ и даже дѣйствовать заодно съ Генрихомъ IV. Когда-же Григорій умеръ, тогда разумѣется ненависть и боязнь, возбужденныя его личнымъ характеромъ, немедленно утихли, и его властолюбивая идея обрисовалась передъ глазами духовенства во всей своей обаятельности. Имя Григорія VII сдѣлалось знаменемъ, вокругъ котораго сомкнулась вся клерикальная корпорація.

Впродолженіи двухсотъ лѣтъ всѣ преемники Григорія VII идутъ по его слѣдамъ и гонятся за его любимою мечтой съ такою напряженною страстностью, которая находится въ рѣзкой дисгармоніи съ ихъ почтенными лѣтами и съ ихъ монашескими обѣтами. Принимая наслѣдіе великаго папы, дряхлые старики оживаютъ, воодушевляются и становятся энергическими бойцами до послѣдней минуты своей жизни. Всѣмъ имъ грезится замокъ Каносса, всѣмъ имъ хочется, чтобы какой-нибудь король или императоръ, одѣтый въ грязныя лохмотья, ползалъ передъ ними на колѣняхъ и обливалъ ихъ туфли слезами раскаянія или безсильной злости. Побѣда надъ свѣтской властью и господство надъ католическимъ міромъ, господство во что бы то ни стало, господство нераздѣльное и безграничное— вотъ признанная цѣль папской политики отъ Григорія VII до Бонифація VIII. Для достиженія этой цѣли всѣ средства оказываются одинаково дозволенными и похвальными: личныя выгоды, личная безопасность и личная добросовѣстность папъ постоянно и ежеминутно приносятся въ жертву отвлеченному принципу. Преемники Григорія VII очень часто поступаютъ безсовѣстно, но почти всегда безкорыстно. Обманъ и насиліе употребляются ими не затѣмъ, чтобы обогатить себя и своихъ родственниковъ, а только затѣмъ, чтобъ возвеличить папскій престолъ, на которомъ каждому изъ этихъ задорныхъ стариковъ придется просидѣть очень недолго. Это безсовѣстное безкорыстіе продолжается до Бонифація VIII, то есть до тѣхъ поръ, пока сами папы не убѣдились окончательно въ неосуществимости своей идеи. Послѣ Бонифація папы отказываются понемногу отъ мечты Гильдебранда, наслаждаются жизнью, поощряютъ поэтовъ, живописцевъ и музыкантовъ и набиваютъ карманы своимъ племянникамъ или побочнымъ дѣтямъ.

Ближайшіе преемники Григорія VII взбунтовали противъ Генриха IV двоихъ его сыновей, сначала старшаго, Конрада, потомъ второго, Генриха, которому удалось свергнуть отца и вступить на его престолъ, подъ именемъ Генриха V. Главнымъ яблокомъ раздора между Генрихомъ IV и папами былъ вопросъ объ *инвеституратахъ*, то есть о правѣ назначать епископовъ и аббатовъ.

Когда Генрихъ V утвердился на престолѣ при содѣйствіи клерикальной партіи, тогда папа Пасхалисъ II потребовалъ отъ него, чтобы онъ отказался отъ инвеституръ.

Генрихъ рѣшительно отклонилъ это требованіе. Церквамъ—говорилъ онъ—отдано громадное количество земель и регальныхъ правъ. Отказываясь отъ инвеституръ, король сразу теряетъ на вѣчныя времена большую часть своего королевства. Эта часть можетъ перейти Богъ знаетъ куда, въ руки его злѣйшихъ враговъ, и онъ, король, принужденъ смотрѣть на это и молчать. Можетъ-ли король собственными руками приготовить себѣ и своимъ наслѣдникамъ такое невыносимое положеніе?

Пасхалисъ отвѣчалъ, что духовенство будетъ довольствоваться десятиною и добровольными пожертвованіями, и что всѣ уступленныя земли, вмѣстѣ съ регальными правами, отойдутъ обратно къ королю и къ его преемникамъ.

Генрихъ возразилъ на это, что онъ ни подъ какимъ видомъ не рѣшится ограбить такимъ образомъ церковь.

Пасхалисъ далъ королю клятвенное обѣщаніе, что онъ, папа, собственной своей властью отберетъ у церквей всѣ ихъ помѣстья и оброчныя статьи и потомъ возвратитъ ихъ королю.

На такихъ условіяхъ Генрихъ согласился отказаться отъ инвеституръ.

Тѣмъ и кончились предварительные переговоры.

Въ 1111 году Генрихъ явился въ Римъ для коронаціи. Чтобы отклонить отъ себя всякое подозрѣніе въ посягательствѣ на церковную собственность, Генрихъ въ ватиканскомъ соборѣ, въ присутствіи папы, духовенства и народа, приказалъ прочитать слѣдующій декретъ: «Мы Божіею милостію, Генрихъ, августѣйшій императоръ римлянъ, отдаемъ Св. Петру, всѣмъ епископамъ и аббатамъ и всѣмъ церквамъ все, что наши предшественники, короли или императоры, имъ уступили или отдали, въ надеждѣ вѣчнаго возмездія. Будучи грѣшными и боясь строгаго суда, мы отнюдь не желаемъ отнимать у церкви эти дары».—Послѣ чтенія этого декрета Генрихъ обратился къ папѣ и пригласилъ его исполнить данное обѣщаніе. Тогда всѣ епископы и аббаты, какъ итальянскіе, такъ и нѣмецкіе, закричали въ одинъ голосъ, что папа замышляетъ богопротивную ересь, и что они рѣшительно не хотятъ ему повиноваться, если онъ осмѣлится произвести обѣщанный переворотъ. Пасхалисъ объявилъ тогда Генриху, что онъ не въ силахъ идти навстрѣчу такому страстному негодованію.

Генрихъ разсердился и посадилъ подъ арестъ папу вмѣстѣ со многими изъ высшихъ церковныхъ сановниковъ. Но одинъ кардиналъ и одинъ епископъ ускользнули изъ собора, гдѣ происходила эта бурная сцена, пробрались въ городъ и возмутили римлянъ, которые на другой день утромъ, съ оружіемъ въ рукахъ, пошли освобождать Пасхалиса и его товарищей по заключенію. Произошла жаркая схватка, въ которой жизнь Генриха подвергалась опасности; наконецъ королевскія войска одолѣли, но Генрихъ отошелъ прочь отъ Рима и увелъ съ собою своихъ плѣнниковъ. Пасхалисъ вмѣстѣ съ шестью кардиналами просидѣлъ подъ арестомъ два мѣсяца въ крѣпости Трибукко; съ нимъ обращались очень дурно и ему намекали очень часто, что Генрихъ скоро прикажетъ его казнить вмѣстѣ съ кардиналами, если онъ не уступитъ ему въ спорѣ объ инвеституратъ. Въ этихъ угрозахъ не было ничего особенно неправдоподобнаго; Пасхалисъ зналъ хорошо, какъ непочтительно поступалъ Генрихъ V съ своимъ отцомъ; Пасхалисъ видѣлъ и чувствовалъ, что съ нимъ самимъ обращаются, какъ съ преступникомъ; поэтому онъ могъ ожидать, что его дѣйствительно если не убьютъ, то по крайней мѣрѣ уморятъ въ тюрьмѣ. Онъ согласился на всѣ условія Генриха. Онъ уступилъ Генриху право назначать епископовъ и аббатовъ, объявилъ полное прощеніе всѣмъ сторонникамъ Генриха и обѣщалъ никогда не отлучать его самого отъ церкви. Папа и кардиналы получили свободу только тогда, когда трактатъ, заключающій въ себѣ эти условія, былъ подписанъ и скрѣпленъ печатями, когда всѣ плѣнники подтвердили его клятвою, данною на святыхъ дарахъ, и когда Пасхалисъ собственноручно возложилъ на Генриха императорскую корону. — Отмстивши такимъ образомъ папству за Каноссу, Генрихъ V возвратился въ Германію. Но тутъ обнаружилось то сильное, неизгладимое впечатлѣніе, которое было произведено на умы клерикаловъ дѣятельностью Григорія VII. Кардиналы и епископы, уже возстановленные противъ Пасхалиса его разорительнымъ проектомъ о церковныхъ помѣстьяхъ, закричали теперь, что папа позоритъ церковь, уступая такъ малодушно лучшія завоеванія Григорія VII, за которыя пролиты рѣки крови и отправлены въ адъ тысячи христіанскихъ душъ, отлученныхъ отъ церкви. Тѣ прелаты, которые вмѣстѣ съ папою сидѣли въ крѣпости и были спасены его уступками, не оказывали Пасхалису никакой нравственной поддержки противъ недовольныхъ. Всѣ ревностные католики требовали, чтобы папа нарушилъ обѣщаніе, которое было вырвано у него насильно.—Пасхалисъ принужденъ былъ созвать въ латеранскомъ дворцѣ вселенскій соборъ, который уничтожилъ привилегію, данную Генриху V, и произнесъ противъ него приговоръ отлученія. Пасхалисъ не мѣшалъ собору дѣйствовать такимъ образомъ, но, съ своей стороны, онъ остался вѣренъ данной клятвѣ и не подтвердилъ приговора, направленнаго противъ императора. Пасхалисъ очевидно еще не стоялъ на той точкѣ зрѣнія, которая вмѣняла папамъ въ священную обязанность нарушеніе клятвъ, невыгодныхъ для клерикальной корпораціи. Совѣтники Пасхалиса именно за то и негодовали на него, что онъ неспособенъ былъ подняться на эту высоту политическаго пониманія.

Преемникъ Пасхалиса, Гелазій II, отлучилъ Генриха отъ церкви въ 1118 году и вслѣдъ затѣмъ бѣжалъ во Францію, чтобы не подвергнуться мщенію отлученнаго императора, который во все время своего царствованія былъ очень силенъ въ Германіи и въ Италіи, не смотря на свои жестокія распри съ духовенствомъ. Наконецъ въ 1122 году обѣ партіи, утомленныя многолѣтней борьбой, заключили миръ въ Вормсѣ.

По этому договору клирики должны были получать церковныя должности отъ духовной власти, а помѣстья, приписанныя къ ихъ церкви, — отъ свѣтской власти. Вопросъ объ инвеституратъ остался нерѣшеннымъ ни въ ту, ни въ другую сторону, и миръ, заключенный вслѣдствіе обоюднаго утомленія, былъ годенъ только на то, чтобы въ ближайшемъ будущемъ возбудить новыя войны.—Въ самомъ дѣлѣ, назначеніе должностныхъ лицъ можетъ принадлежать только какой-нибудь одной власти; если же оно принадлежитъ двумъ различнымъ властямъ, то участіе одной изъ двухъ должно превратиться въ пустую формальность. Но такъ

какъ каждая изъ двухъ властей желаетъ, чтобы такое превращеніе совершилось не съ нею самой, а съ ея противницей, то борьба становится неизбѣжной. Духовная власть будетъ требовать, чтобы приписанныя помѣстья предоставлялись непремѣнно каждому клирику, получившему церковную должность. А свѣтская власть будетъ утверждать, что она имѣетъ право отказывать въ помѣстьяхъ тѣмъ должностнымъ лицамъ, которыхъ выборъ она не одобряетъ. Такіе споры рѣшаются обыкновенно не аргументами, а оружіемъ.

IX.

АРНОЛЬДЪ БРЕШІАНСКІЙ.

Генрихъ V умеръ въ 1125 году. Его ближайшіе преемники: Лотарь и Конрадъ III, были заняты междоусобными войнами въ Германіи, и поэтому имѣли мало вліянія на итальянскія дѣла.

Въ это время продолжительные раздоры папъ съ императорами начали приносить свои естественные плоды. Въ Италіи стали появляться умные люди, которые, не примыкая ни къ папѣ, ни къ императору, постарались и съумѣли подвергнуть внимательной и добросовѣстной критикѣ противоположныя притязанія обѣихъ враждующихъ сторонъ.

Съ одной стороны, этимъ людямъ очень не нравилось то господство грубой матеріальной силы, которое называлось феодальнымъ порядкомъ и находило себѣ верховнаго представителя и защитника въ особѣ римско-германскаго императора. Съ другой стороны, эти люди рѣшительно осуждали теократическую утопію Гильдебранда.

Критика этихъ людей имѣла конечно чисто-теологическій характеръ. Въ то время теологія была вѣнцомъ всѣхъ человѣческихъ знаній и давала отвѣты на всевозможные вопросы жизни. Быть мыслителемъ — значило быть теологомъ. Критиковать какую-нибудь теорію или какое-нибудь учрежденіе — значило разсматривать вопросъ, насколько эта теорія или это учрежденіе согласуются съ идеями и предписаніями, изложенными въ каноническихъ книгахъ. Дальше этого критика самыхъ смѣлыхъ мыслителей не могла и не хотѣла идти. Не смотря на свою сдержанность и ограниченность, эта критика имѣла очень важное значеніе, потому что, во имя текста каноническихъ книгъ, она рѣшительно опрокидывала умствованія тѣхъ живыхъ авторитетовъ, которые присвоивали себѣ исключительное право понимать и комментировать эти книги. Исходная точка этой критики въ XII столѣтіи была та-же самая, съ какой въ XVI вѣкѣ отправились многочисленные основатели различныхъ протестантскихъ сектъ.

Итальянскіе мыслители XII вѣка, принадлежавшіе сами къ духовенству, направили свои первые удары именно на замыслы и дѣйствія клерикальной корпораціи, а не на уродливыя и безнравственныя особенности феодальнаго порядка,—это обстоятельство объясняется двумя главными причинами. Во-первыхъ, эти мыслители, при чисто-теологическомъ характерѣ своего образованія и своихъ изслѣдованій, придавали особенно важное значеніе всему тому, что дѣлало, говорило и думало духовенство; заблужденія духовенства были гораздо болѣе вредны и опасны, чѣмъ безнравственность и нелѣпости, наполнявшія собою досуги знатныхъ феодальныхъ буяновъ, грабителей и святотатцевъ. Послѣднія были слѣдствіемъ, между тѣмъ какъ первыя были причиною. Послѣднія были только симптомомъ болѣзни, между тѣмъ какъ первыя отравляли собою лекарство и слѣдовательно уничтожали возможность выздоровленія. Такъ думали свободные мыслители, и такія думы вели ихъ къ тому практическому заключенію, что надо прежде всего побѣдить болѣзнь въ тѣхъ людяхъ, на которыхъ лежитъ обязанность лечить нравственные недуги остального общества.

Во-вторыхъ, Италія, благодаря роскошному развитію городской жизни, уже въ XII столѣтіи успѣла избавиться отъ самыхъ мрачныхъ явленій феодальнаго порядка. Крѣпостная зависимость уже не существовала. Бо́льшая часть магнатовъ добровольно приписалась къ городамъ. Тѣ феодалы, которые еще сохраняли свою самостоятельность, не могли безнаказанно грабить на большихъ дорогахъ купцовъ и путешественниковъ, потому что эти люди были гражданами сильныхъ и воинственныхъ республикъ, всегда готовыхъ заступиться за своихъ обиженныхъ членовъ. Конечно насилія и самоуправства было все-таки еще черезчуръ достаточно и внутри городовъ, и въ сношеніяхъ между различными городами, но эти крупныя несовершенства зависѣли уже не столько отъ дурного качества учрежденій, сколько отъ необузданной страстности и умственной неразвитости самихъ гражданъ. Надо было морализировать и гуманизировать людей, а такъ какъ единственнымъ двигателемъ нравственнаго совершенствованія могло быть — по мнѣнію тогдашнихъ мыслителей—только духовенство, то опять-таки надо было прежде всего искоренять заблужденія, водворившіяся въ умахъ самихъ клириковъ.

По своему географическому положенію, Италія была совершенно обезпечена противъ императорскаго деспотизма. Императоръ не могъ жить въ Италіи, и во время его отсутствія итальянцы всегда могли передѣлывать по своему всѣ политическія и общественныя задачи, рѣшенныя императоромъ во время его мимолетнаго пребыванія на Аппенинскомъ полуостровѣ. Императоры обыкновенно понимали свое безсиліе и воздерживались отъ излишествъ. Клерикальный деспотизмъ, напротивъ того, былъ для Италіи очень опасенъ. Папа жилъ постоянно въ самомъ центрѣ

Италіи и держалъ во всѣхъ ея городахъ, мѣстечкахъ и деревняхъ такихъ ревностныхъ, искусныхъ и вліятельныхъ агентовъ, какихъ никогда не могъ имѣть въ своемъ распоряженіи ни одинъ императоръ. Эти агенты, пользовавшіеся повсемѣстнымъ уваженіемъ, могли значительно исказить характеръ свободнымъ учрежденій, развившихся во всѣхъ городахъ сѣверной и средней Италіи.

По всѣмъ этимъ причинамъ свободные мыслители XII вѣка сосредоточили свое вниманіе на борьбѣ съ тенденціями папства. Эту борьбу открылъ своими смѣлыми проповѣдями монахъ Арнольдъ, уроженецъ города Брешіи, изучавшій философію и богословіе во Франціи, подъ руководствомъ знаменитаго Абеляра. Арнольдъ обладалъ всѣми качествами, необходимыми для громаднаго успѣха; сила его краснорѣчія была увлекательна; все, что онъ говорилъ, составляло его глубокое убѣжденіе, за которое онъ готовъ былъ спорить, сражаться, страдать и умереть; его частная жизнь была такъ чиста и безукоризненна, что самые строгіе аскеты ни къ чему не могли въ ней придраться; его знанія были настолько обширны, что онъ легко опровергалъ самыми почтенными цитатами всѣ аргументы своихъ противниковъ; кромѣ священнаго писанія, онъ изучилъ литературу древняго Рима и могъ такимъ образомъ вызывать передъ своими слушателями историческія воспоминанія, къ которымъ тогдашніе итальянцы были особенно неравнодушны; всѣ стороны его богато-одаренной личности возбуждали къ себѣ самое восторженное сочувствіе во всѣхъ людяхъ, способныхъ смотрѣть на вещи собственными глазами и разумышлять собственнымъ умомъ. Являясь передъ своими слушателями то глубокимъ ученымъ, то смѣлымъ трибуномъ, то смиреннымъ христіаниномъ, то вдохновеннымъ учителемъ чистой нравственности, оставаясь вездѣ и всегда вѣрнымъ самому себѣ и своимъ убѣжденіямъ, облекая въ свои пламенныя рѣчи то, что шевелилось и созрѣвало понемногу во всѣхъ свѣжихъ умахъ,— Арнольдъ вскорѣ послѣ своего перваго появленія у себя на родинѣ, въ Брешіи, обратилъ на себя вниманіе всей Италіи и собралъ вокругъ себя толпу искренно убѣжденныхъ послѣдователей, которые отъ разсужденій готовы были перейти къ поступкамъ.

Это умственное движеніе могло принять опасные размѣры; клерикалы всполошились и задушили его во-время. Въ 1139 году латеранскій соборъ, созванный Иннокентіемъ II, проклялъ Арнольда Брешіанскаго, какъ основателя новой ереси такъ называемыхъ *политиковъ*. Арнольдъ бѣжалъ изъ Италіи въ Швейцарію, въ окрестности Констанца. Клерикалы не оставили его въ покоѣ. Св. Бернардъ Клервальскій, великій искоренитель ересей и вольнодумства, написалъ къ епископу констанцскому письмо о томъ, что въ его епархіи укрывается ядовитый человѣкъ, способный взбунтовать своимъ присутствіемъ самое кроткое стадо овецъ.

«Вы увидите въ немъ—писалъ Бернардъ—человѣка, который открыто возмущается противъ духовенства, довѣряясь тираннической власти военныхъ людей,—человѣка, который возстаетъ даже противъ епископовъ и изливаетъ свою ярость на все духовное сословіе. Зная это, я полагаю, что въ такой великой опасности всего лучше и всего спасительнѣе будетъ для васъ поступить по предписанію апостола, который говоритъ: *изгните злаго отъ васъ самихъ*. Другъ церкви впрочемъ желалъ бы лучше заключить его въ оковы, чѣмъ обратить въ бѣгство, потому что, продолжая блуждать, онъ можетъ надѣлать еще больше вреда. Нашъ господинъ папа, услышавъ о злыхъ дѣлахъ этого человѣка, далъ письменное приказаніе схватить его, когда онъ находился еще среди насъ; но никто не захотѣлъ сдѣлать такое доброе дѣло».

Въ Констанцѣ *доброе дѣло* также осталось несдѣланнымъ, не смотря на трогательные вопли Бернарда. Продолжительная борьба папъ съ императорами породила во всей католической Европѣ глухое, но глубокое умственное броженіе, благодаря которому идеи Арнольда вездѣ находили себѣ горячихъ поклонниковъ. Эти поклонники не въ силахъ были бороться съ фанатическимъ большинствомъ, подстрекаемымъ разными пастырскими посланіями и воззваніями, вродѣ письма св. Бернарда; но они всегда могли укрыть любимаго учителя отъ его преслѣдователей и, въ случаѣ надобности, препроводить его потихоньку въ какую-нибудь другую область, въ которой клерикальныя страсти еще не были возбуждены. Когда фанатики зашумѣли въ Констанцѣ, Арнольдъ благополучно перебрался въ Цюрихъ и продолжалъ проповѣдывать тамъ евангельскую нравственность и политическую свободу.

Между тѣмъ дѣло Арнольда не заглохло и въ Италіи, не смотря на его отсутствіе. Его единомышленники продолжали работать въ самомъ Римѣ, въ центрѣ клерикальнаго могущества, на глазахъ у самого папы. Въ 1143 году имъ удалось нанести папѣ жестокій ударъ. Римляне всегда любили вспоминать о славномъ прошедшемъ своего роднаго города; эти воспоминанія имѣли всегда живое политическое значеніе, потому что потомки, воодушевляясь историческими картинами, проникались страстнымъ желаніемъ хоть сколько-нибудь поравняться съ предками. Наслушавшись разсказовъ о республиканскихъ доблестяхъ и о военной славѣ, римляне начали злиться и волноваться; имъ захотѣлось испробовать надъ кѣмъ-нибудь свое могущество и свою храбрость; они затѣяли войну съ жителями сосѣдняго городка Тиволи; тиволяне разбили войско, пожелавшее воскресить славу древняго Рима;

римляне разсердились еще больше, собрали новые легіоны и порѣшили стереть Тиволи съ лица земли; на этотъ разъ тиволянамъ пришлось плохо, и римляне уже думали, что сдѣлали первый шагъ къ завоеванію вселенной, какъ вдругъ папа Иннокентій II принялъ тиволянъ подъ свое покровительство и приказалъ завоевателямъ идти домой. Завоеватели разъярились тогда не на шутку. *Политики* во-время подлили масла въ огонь разными искусными соболѣзнованіями, упреками, насмѣшками и восторженными рѣчами. Дворяне дѣйствовали за-одно съ народомъ; они разсыпались по площадямъ и стали кричать во всеуслышаніе, что папа нарочно отнимаетъ у римлянъ ихъ славу и уничтожаетъ потихоньку ихъ привилегіи; толпа кинулась со всѣхъ сторонъ въ Капитолій, выбрала себѣ тамъ сенаторовъ и воскресила римскую республику, къ которой римляне порывались еще во времена Отоновъ. Это народное движеніе такъ огорчило Иннокентія II, что онъ заболѣлъ и вскорѣ умеръ.

У республиканскаго правительства было много враговъ. Многіе дворяне и простые граждане держали сторону папы, отчасти изъ религіознаго усердія, отчасти по тому, что сенатъ занимался серьезнымъ преслѣдованіемъ буяновъ и грабителей. Съ этими защитниками папы, очень похожими на защитниковъ бывшаго неаполитанскаго короля Франциска II, — республиканцы принуждены были вести уличную войну. Очень часто приходилось осаждать, брать приступомъ и разрушать укрѣпленныя башни, въ которыхъ отсиживались, вмѣстѣ съ своими вооруженными кліентами, благородные враги порядка и общественнаго спокойствія.

Кромѣ того папы находились въ союзѣ съ королемъ Обѣихъ - Сицилій и настоятельно требовали у него помощи противъ непокорныхъ римлянъ.

Чтобы сколько-нибудь уравновѣсить шансы, республиканскій сенатъ послалъ депутацію къ германскому королю Конраду III съ просьбой одобрить сдѣланныя преобразованія и пріѣхать лично въ Римъ для принятія императорской короны. Конрадъ не отвѣчалъ сенату на его письмо.

«Если сыновья и вѣрноподданные — вторично писалъ сенатъ къ Конраду — могутъ позволить себѣ судить дѣйствія своего государя и отца, то мы изумляемся, что ваше королевское величество не отвѣчали на тѣ письма, которыми мы извѣщали васъ о нашихъ распоряженіяхъ. Между тѣмъ всѣ наши поступки направлены нашею вѣрностью къ вашей чести. Сенатъ по милости Божіей возстановленъ. Константинъ и Юстиніанъ со славою управляли имперіей при содѣйствіи этого сената и римскаго народа. Мы желаемъ и мы стараемся устроить такъ, чтобы вы могли управлять подобно имъ, и чтобы вы могли получить обратно всѣ тѣ почести, которыя вамъ принадлежатъ и которыя были у васъ отняты.... Мы положили основаніе этому новому порядку, потому что мы поддерживаемъ миръ и правосудіе въ пользу всѣхъ тѣхъ, кто дорожитъ этими благами; мы захватили башни, крѣпости и дома тѣхъ господъ, которые, вмѣстѣ съ Сицилійцемъ и папою, хотѣли сопротивляться вашей державѣ; одни изъ этихъ укрѣпленій мы вѣрно хранимъ отъ вашего имени; другія срыты нами до основанія. Пусть ваша премудрость вспомнитъ, какъ много зла причинили императорамъ, вашимъ предшественникамъ, папскій дворъ и тѣ дворяне, о которыхъ мы говоримъ. Эти-же самые люди, за-одно съ Сицилійцемъ, готовятъ вамъ впереди еще бо́льшія бѣдствія».

Планъ римскихъ *политиковъ*, сформированныхъ въ школѣ ереси́арха Арнольда, состоялъ очевидно въ томъ, чтобы тѣшить нѣмецкихъ королей краснорѣчивыми выраженіями покорности, и вымаливать у нихъ такимъ образомъ если не дѣятельную помощь, то по крайней мѣрѣ доброжелательный нейтралитетъ. Этотъ планъ былъ неосуществимъ; эпистолярное краснорѣчіе сената никого не могло обмануть, величественныя сближенія Конрада съ Константиномъ и съ Юстиніаномъ никакъ не могли доказать нѣмецкому королю, что его интересы совпадаютъ съ желаніями римскихъ республиканцевъ, и что новый сенатъ заботится очень сильно о процвѣтаніи его могущества и изъ любви къ нему ссорится съ папою и съ сицилійскимъ королемъ. Искреннихъ союзниковъ сенатъ могъ найти себѣ только въ республиканцахъ сѣверной и средней Италіи; ему надо было не разсыпаться въ безполезныхъ нѣжностяхъ передъ Конрадомъ, который никакъ не могъ ему сочувствовать, а завести сношенія съ Венеціей, съ Генуей, съ Пизой, съ Флоренціей и съ Миланомъ. Только хорошо организованная федерація свободныхъ итальянскихъ городовъ могла сопротивляться съ успѣхомъ и нѣмцамъ, и папѣ, и Сицилійцу. Но чтобы возвыситься до такой разумной политической комбинаціи, надо было прежде всего посмотрѣть на современную дѣйствительность трезвыми глазами, назвать каждую вещь ея настоящимъ именемъ, отказаться отъ всякихъ фикцій и отложить попеченіе объ умершемъ и истлѣвшемъ величіи древняго Рима. Кромѣ того надо было, чтобы римляне выяснили себѣ и ограничили свои собственныя желанія. Имъ хотѣлось еще, кромѣ политической свободы, чтобы Римъ былъ столицей всемірной имперіи и резиденціей первосвященника, господствующаго надъ католической Европой. Этого было уже черезчуръ много заразъ. Одни желанія мѣшали другимъ. Тщеславіе сталкивалось съ любовью къ свободѣ. Императоръ и папа никакъ не могли согласиться на то, чтобы изображать своими высокими особами живыя, но невинныя украшенія вѣчнаго города, находящагося подъ управленіемъ республиканскаго сената. Гоняясь та-

кимъ образомъ за многими зайцами, римляне постоянно оставались ни при чемъ. Этихъ средневѣковыхъ римлянъ можно назвать ложными классиками въ политикѣ.

Конраду некогда было идти въ Италію. Онъ продолжалъ отмалчиваться отъ наивно-хитрыхъ риторическихъ упражненій римскаго сената. Папа Люцій II началъ надѣяться, что римляне, оставшись безъ союзниковъ, не осмѣлятся защищать противъ него свои республиканскія учрежденія. Однажды, въ 1145 году, Люцій собралъ своихъ приверженцевъ, надѣлъ на себя полное святительское облаченіе, окружилъ себя священниками и монахами, и во главѣ всей этой военной и духовной толпы двинулся торжественно-медленнымъ шагомъ къ Капитолію, гдѣ засѣдаетъ сенатъ. Народъ сначала оторопѣлъ передъ этимъ величественнымъ зрѣлищемъ и не зналъ, на что рѣшиться. Но потомъ, когда процессія уже подошла къ капитолійскому холму, римляне вдругъ сообразили, что папа идетъ въ Капитолій совсѣмъ не для того, чтобы обрадовать сенаторовъ пастырскимъ благословеніемъ. Римлянамъ сдѣлалось совѣстно отдавать свое правительство на жертву папскимъ солдатамъ. Римляне схватились за камни и начали дѣйствовать ими такъ искусно, что зашибли очень серьезно самого Люція. Папа упалъ; спутники его отступили; сенатъ остался нетронутымъ, а Люцій черезъ нѣсколько дней умеръ отъ полученной раны.—Преемникъ Люція, Евгеній III, попробовалъ примириться съ республиканцами; онъ призналъ ихъ сенатъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы римляне признали городского префекта, назначеннаго отъ папы. Разумѣется, это совмѣстное существованіе двухъ правительствъ въ одномъ городѣ было невозможно и безсмысленно. Власть папы оказалась на столько ничтожною, что онъ заблагоразсудилъ удалиться изъ Рима и заняться путешествіями по Италіи и по Франціи. Послѣ отъѣзда папы республиканцы почувствовали себя полными хозяевами своего города и вызвали изъ Швейцаріи великаго учителя, Арнольда Брешіанскаго. Ересіархъ, отлученный отъ церкви, явился въ столицу католическаго міра; за нимъ шли двѣ тысячи швейцарцевъ, проникнутыхъ его идеями и рѣшившихся помогать ему во всѣхъ его предпріятіяхъ; римляне встрѣтили Арнольда съ восторгомъ, къ великому соблазну благочестивыхъ папистовъ; проклятый еретикъ сдѣлался подвластнымъ законодателемъ римской республики.

Умѣя возбуждать народный энтузіазмъ, Арнольдъ, къ сожалѣнію, не обладалъ способностью строить прочныя политическія зданія. У него было слишкомъ много воображенія и слишкомъ мало практической смѣтливости. Подъ его руководствомъ римляне продолжали разъигрывать археологическія комедіи и гоняться за призракомъ древняго римскаго величія. Арнольдъ учредилъ въ Римѣ сословіе всадниковъ, занимавшее средину между сенаторами и плебеями, — воскресилъ должность консуловъ, которые должны были предсѣдательствовать въ сенатѣ,— и доказалъ народу, что для полноты благополучія и для бо́льшаго сходства съ древнимъ Римомъ необходимо завести трибуновъ, обязанныхъ защищать интересы плебеевъ. Политическое значеніе папы, по совѣту Арнольда, было совершенно уничтожено, а власть императора подвергнута значительнымъ ограниченіямъ. Все это, не смотря на рабское копированіе умершихъ учрежденій, могло-бы пожалуй жить, развиваться и приносить хорошіе плоды, еслибы только не было на свѣтѣ людей, желавшихъ разрушить до основанія это новое государственное устройство. Но такіе люди существовали; ихъ было очень много, они были очень сильны, и Арнольдъ, вмѣстѣ съ своими послѣдователями, не могъ не знать о ихъ существованіи. Арнольду было достаточно извѣстно, что папа былъ злѣйшимъ врагомъ римской республики, и что нѣмецкіе императоры также смотрѣли на нее очень косо. Значитъ, прежде чѣмъ заботиться о внутреннемъ украшеніи новаго зданія, надо было припасти средства для жестокой борьбы за право самобытнаго политическаго существованія. Прежде чѣмъ утѣшаться классическими названіями правителей и чиновниковъ, надо было задать себѣ вопросъ: какъ мы встрѣтимъ и чѣмъ мы прогонимъ сѣверныхъ варваровъ, которые рано или поздно непремѣнно придутъ къ намъ ломать наши величественныя декораціи и рвать наши прелестныя тоги?—Къ этому вопросу, въ которомъ заключалась вся будущность ихъ скороспѣлой республики, римляне, и вмѣстѣ съ ними Арнольдъ, относились съ невѣроятнымъ легкомысліемъ. Они почему-то были увѣрены, или по крайней мѣрѣ старались себя увѣрить, что сѣверный варваръ съ великимъ удовольствіемъ надѣнетъ на себя приготовленный для него костюмъ и приметъ самое благодушное участіе въ веселомъ археологическомъ представленіи. Нѣмецкій императоръ, по ихъ мнѣнію, въ одну минуту долженъ былъ повѣрить имъ на-слово, во-первыхъ, что онъ — прямой наслѣдникъ Константина и Юстиніана, а во-вторыхъ, что Константинъ и Юстиніанъ благоговѣли передъ республиканскими учрежденіями. Римляне очевидно полагали, что борьба съ нѣмецкимъ императоромъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ имѣть для нихъ счастливаго исхода; считая себя такимъ образомъ не въ силахъ отразить опасность, они зажмуривали глаза и старались обманывать и убаюкивать себя пріятной надеждой, что опасность совсѣмъ не существуетъ или разсѣется сама собою.

А между тѣмъ у римлянъ была подъ руками возможность одолѣть императора. Впереди было еще достаточно времени, чтобы сгруппировать

всѣ матеріалы для самой напряженной борьбы за новорожденную римскую свободу. Арнольдъ явился въ Римъ въ 1145 году, а нѣмцы вошли въ Италію въ 1154. Въ девять лѣтъ Арнольдъ, при своемъ увлекательномъ краснорѣчіи, при своей безпредѣльной неустрашимости, при своей изумительной способности воспламенять массы, овладѣвать ихъ умами и пробуждать въ народѣ высшія и безкорыстнѣйшія стремленія,—Арнольдъ могъ-бы навсегда закрыть нѣмцамъ дорогу въ Италію. Еслибы Арнольдъ объѣхалъ въ это время всѣ свободные города Ломбардіи и Тосканы, еслибы онъ принялъ на себя обязанность объяснить всѣмъ итальянскимъ республиканцамъ, что имъ всѣмъ грозитъ одна и та-же опасность, противъ которой необходимо дѣйствовать съ полнымъ единодушіемъ,—то федерація свободныхъ городовъ состоялась-бы непремѣнно, и Римъ былъ-бы спасенъ вмѣстѣ съ остальной республиканской Италіей. Ломбардская лига состоялась, подъ неотразимымъ вліяніемъ событій, безъ иниціативы какого-нибудь передового генія—въ 1167 году. Но назначеніе геніальныхъ людей именно въ томъ и состоитъ, чтобы ускорять естественное движеніе событій и постигать раньше другихъ тѣ общественныя потребности, которыя впослѣдствіи сдѣлаются осязательно-понятными для самыхъ обыкновенныхъ умовъ. Такъ какъ въ 1167 году необходимость лиги была ясна для всѣхъ свободныхъ гражданъ сѣверной Италіи, то, разумѣется, эту лигу можно было-бы заключить пятнадцатью годами раньше, еслибы въ это время какой-нибудь сильный умъ ускорилъ, съ этой стороны, развитіе общественнаго самосознанія. За отсутствіе такого практическаго ума поплатились очень дорого и Ломбардія, и Римъ, и въ особенности самъ Арнольдъ.

X.

ФРИДРИХЪ БАРБАРОССА.

Въ началѣ 1152 года Конрадъ III умеръ, и германская корона досталась его племяннику, Фридриху Барбароссѣ, человѣку молодому, храброму, дѣятельному, властолюбивому и очень даровитому. Германія уже давно страдала отъ соперничества двухъ сильныхъ владѣтельныхъ домовъ, изъ которыхъ одинъ господствовалъ надъ Швабіей и Франконіей, а другой—надъ Баваріей и Саксоніей. Къ швабо-франконскому дому принадлежали тѣ императоры, которые во все время своего царствованія боролись съ папами. Саксоно-баварскій домъ, напротивъ того, отличался своей постоянной преданностью интересамъ церкви. Съ половины XII вѣка сторонники первой династіи стали называть себя *гибелинами*, а приверженцы второй—*гвельфами*. Слово *гибелины* происходитъ отъ имени замка WaiBlinga или GueiBelinga, составлявшаго родовую собственность франконской династіи. Слово *гвельфы* происходитъ отъ имени Гвельфъ или Вельфъ, которое встрѣчалось особенно часто въ семействѣ герцоговъ баварскихъ. Вступленіе Фридриха Барбароссы на германскій престолъ помирило на время обѣ враждебныя партіи, потому что Фридрихъ находился въ очень близкихъ родственныхъ отношеніяхъ съ обоими домами. Послѣ смерти Конрада онъ сдѣлался главою гибелинской династіи; въ то-же время онъ былъ двоюроднымъ братомъ Генриха-Льва, герцога саксонскаго, и племянникомъ Гвельфа VI, герцога баварскаго. Силы Германіи, не развлекаемыя междоусобными войнами, соединились подъ предводительствомъ молодого короля и двинулись на Италію—съ тѣмъ, чтобы совершенно уничтожить республиканскую свободу ея богатыхъ и многолюдныхъ городовъ.

Папа Евгеній III не замедлилъ пожаловаться Фридриху на своеволіе римлянъ и обязался немедленно возложить на него императорскую корону, какъ только онъ явится въ Римъ. Въ отвѣтъ на эту любезность Фридрихъ обѣщалъ проучить римскихъ вольнодумцевъ, уничтожить ихъ глупую республику и распорядиться насчетъ Арнольда Брешіанскаго со всей подобающей энергіей.

Къ воплямъ папы присоединились жалобы нѣкоторыхъ итальянскихъ магнатовъ, которые увѣряли короля, что имъ житья нѣтъ отъ сосѣднихъ республикъ. Фридрихъ окончательно убѣдился въ томъ, что Италія зазналась, и что ее слѣдуетъ наставить на путь истины. Онъ объявилъ всѣмъ своимъ нѣмецкимъ вассаламъ, что раньше истеченія 1154 года имъ предстоитъ отправиться вмѣстѣ съ нимъ за Альпы.

Звѣри бѣжали на ловца со всѣхъ сторонъ. Вслѣдъ за магнатами Фридриху принесли свою жалобу нѣкоторые республиканцы. Весною 1153 года Фридрихъ предсѣдательствовалъ на имперскомъ сеймѣ въ Констанцѣ. Вдругъ къ его ногамъ бросились двое гражданъ ломбардскаго города Лоди. По обычаю, установленному для просителей, они держали въ рукахъ кресты; голосъ ихъ прерывался отъ рыданій, когда они стали умолять Фридриха, чтобы онъ возвратилъ свободу ихъ родному городу, который слишкомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ былъ взятъ и разрушенъ миланцами. Просители описали королю тѣ притѣсненія, которымъ подвергались жители разореннаго города; эти жители были поселены въ четырехъ разныхъ слободахъ, обложены тяжелыми податями, лишены всякихъ политическихъ правъ и доведены такимъ образомъ почти до положенія крѣпостныхъ крестьянъ. Фридрихъ былъ деспотъ по своему характеру. Но у него не было недостатка въ хорошихъ качествахъ; онъ умѣлъ быть великодушнымъ и старался, по своему крайнему усмотрѣнію, дѣйствовать разумно и справедливо. Онъ принялъ къ сердцу жалобу угнетенныхъ лодійцевъ, обнадежилъ плачу-

щихъ просителей и тотчасъ-же приказалъ своему канцлеру написать и отправить къ миланцамъ королевскій указъ о немедленномъ освобожденіи всѣхъ жителей бывшаго города Лоди отъ всѣхъ налоговъ и стѣсненій, которымъ они подвергались со стороны завоевателей. Одинъ изъ придворныхъ чиновниковъ короля, Сихерій, тотчасъ повезъ изготовленный указъ въ Италію.

Сихерій заѣхалъ сначала въ тѣ слободы, въ которыхъ жили порабощенные лодійцы. Здѣсь онъ объявилъ мѣстному начальству и обывателямъ, что король возвратилъ лодійцамъ всѣ ихъ прежнія права, и что указъ, заключающій въ себѣ эту королевскую милость, будетъ немедленно переданъ миланскому правительству. Лодійцы ахнули, и ахнули не отъ радости, а отъ изумленія и ужаса. Просители, плакавшіе въ Констанцѣ у ногъ Фридриха Барбароссы, дѣйствовали по свободному вдохновенію, безо всякаго полномочія отъ своихъ согражданъ. Намѣренія этихъ просителей были очень чисты и возвышенны, но поступокъ ихъ былъ такъ неосторожень, что ихъ сограждане не знали теперь, какъ раздѣлаться съ его вѣроятными послѣдствіями. Лодійцамъ дѣйствительно жилось очень плохо подъ властью Милана. Они всѣ мечтали объ освобожденіи, какъ о высшемъ и драгоцѣннѣйшемъ благѣ. Но они понимали очень хорошо, что для этого требуется не кусокъ пергамента, а сильная армія. Указъ Фридриха могъ только возбудить въ Миланѣ взрывъ сильнѣйшаго негодованія, которое прежде всего должно было обрушиться на голову непокорныхъ подданныхъ, осмѣлившихся подавать жалобы на своихъ господъ.

Слободы, въ которыхъ жили лодійцы, находились почти у самыхъ воротъ Милана и не были защищены стѣнами. Уступая первому порыву гнѣва, миланцы могли прямо съ городской площади, на которой имъ будетъ прочитано письмо Фридриха, отправиться къ слободамъ и сжечь до тла жилища, сады и жатвы непокорныхъ подданныхъ. Подобный подвигъ былъ въ высшей степени возможенъ, потому что въ Миланѣ господствовалъ державный народъ, который, какъ извѣстно, обыкновенно увлекается порывами страсти и очень рѣдко подчиняется въ своихъ дѣйствіяхъ голосу благоразумнаго разсчета. Можно было предвидѣть, что миланцы не испугаются Фридриха, а напротивъ того, изъ чувства національной гордости захотятъ показать ему наглядно, что они ни въ грошъ не ставятъ его угрозы и указы. Это наглядное показываніе всего удобнѣе могло быть произведено надъ бѣдными лодійцами. Впослѣдствіи миланцамъ придется пострадать отъ Фридриха и пожалѣть о необузданномъ порывѣ гнѣва; но истребленнымъ или разореннымъ лодійцамъ отъ этого поздняго раскаянія будетъ не легче. Лодійцы стали упрашивать Сихерія, чтобы онъ уничтожилъ королевскій указъ, или по крайней мѣрѣ удержалъ его при себѣ до тѣхъ поръ, пока самъ Фридрихъ не явится съ войскомъ въ Италію. Сихерій, разумѣется, отвѣтилъ имъ, что они просятъ невозможнаго, и немедленно отправился съ указомъ въ Миланъ.

Миланскіе консулы собрали народъ на городскую площадь для слушанія королевской грамоты. Произошла бурная сцена. Взрывъ негодованія былъ громаденъ. Граждане вырвали письмо изъ рукъ герольда, разорвали, оплевали его и ногами втоптали его въ грязь. Всѣ клялись защищать свободу и честь родины до послѣдняго издыханія. Многіе порывались задушить и растерзать Сихерія, такъ что коснуламъ и благоразумнымъ гражданамъ едва удалось увести его съ площади и выпроводить за-городъ.

Души лодійцевъ пребывали въ это время въ ихъ пяткахъ. Они заблаговременно отправили женъ и дѣтей со всѣми цѣнными пожитками въ Кремону и въ Павію, которыя обѣ находились въ постоянной контрѣ съ Миланомъ. Сами взрослые мужчины проводили только ночи въ своихъ жилищахъ. Днемъ они бродили по лѣсамъ, чтобы не попасться въ руки миланцамъ, которые, по ихъ мнѣнію, непремѣнно должны были явиться рано или поздно.

Весь этотъ страхъ оказался однако совершенно излишнимъ. Натѣшившись надъ королевскимъ указомъ, миланцы успокоились и не захотѣли обижать перетрусившихся лодійцевъ. Кромѣ того, не смотря на свою стычку съ королевскимъ посломъ, миланцы отправили даже къ Фридриху тотъ денежный подарокъ, который обыкновенно посылался королямъ при ихъ восшествіи на престолъ. Свидѣтельствуя такимъ образомъ Фридриху свое почтеніе, миланцы и не думали извиняться передъ нимъ въ топтаніи его указа. Подарки и топтаніе очень дружелюбно уживались между собой въ головѣ средневѣковыхъ политиковъ. Первые изображали собою уваженіе независимыхъ горожанъ къ центральной власти, превратившейся въ политическую фикцію; второе обозначало собою пламенную любовь этихъ горожанъ къ автономіи, развившейся незамѣтнымъ образомъ до размѣровъ живого, реальнаго и неопровержимаго факта.

Въ 1154 году, окончивъ уборку хлѣба, миланцы пошли опустошать земли своихъ всегдашнихъ недруговъ, павійцевъ и кремонянъ, которые не задолго передъ тѣмъ старались повредить имъ при дворѣ новаго короля. Вскорѣ послѣ начала этихъ военныхъ дѣйствій Фридрихъ Барбаросса перешелъ черезъ Альпы съ очень сильной арміей. Подойдя къ Піаченцѣ, Фридрихъ, по заведенному обычаю, остановился на Ронкальскомъ полѣ, обнесъ свой лагерь стѣною и въ этомъ укрѣпленномъ лагерѣ созвалъ сеймъ итальянскаго королевства. Началось разбирательство различныхъ жалобъ и притязаній.

Два ломбардскіе города, Лоди и Комо, были завоеваны миланцами. Представители обоихъ этихъ городовъ явились на сеймъ и стали жаловаться королю на своихъ угнетателей. Миланскіе консулы представили свои оправданія и возраженія. Депутаты другихъ городовъ стали говорить за нихъ или противъ нихъ, и такимъ образомъ Фридрихъ увидѣлъ, что Ломбардія распадается на двѣ враждебныя партіи. На одной сторонѣ стояли города Миланъ, Крема, Брешія, Піаченца, Асти и Тортона; на другой—Павія, Кремона и Новара. Фридрихъ рѣшился поддерживать вторую партію, потому что она была слабѣе первой и слѣдовательно менѣе опасна для королевской власти, которую Фридрихъ желалъ возстановить во всемъ ея первобытномъ величіи. Однако-же Фридрихъ не произнесъ на ронкальскомъ сеймѣ никакого рѣшительнаго приговора по дѣлу о городахъ, завоеванныхъ миланцами. Онъ только приказалъ прекратить тѣ военныя дѣйствія, которыя были начаты не задолго до его прихода. Миланцы сочли нужнымъ повиноваться и даже выпустили плѣнниковъ, захваченныхъ на павійской территоріи.

Затѣмъ Фридрихъ пошелъ къ Новарѣ, и такъ какъ надо было идти черезъ миланскую область, то онъ приказалъ миланскимъ консуламъ составить для его арміи удобный маршрутъ и заготовить для нея по дорогѣ, на станціяхъ, достаточное количество квартиръ и съѣстныхъ припасовъ. Исполнить это порученіе было трудно. Дорога, по которой должна была идти армія Фридриха, была совершенно опустошена недавними столкновеніями миланцевъ съ павійцами; кромѣ того крестьяне бѣжали опрометью отъ нѣмцевъ, которые имѣли обыкновеніе отнимать у хозяевъ насильно и безплатно хлѣбъ, скотъ и даже домашнюю утварь. Спасаясь изъ деревень въ лѣса или въ укрѣпленные города, крестьяне конечно уносили или увозили съ собою все, что можно было захватить. Поэтому нѣмцамъ приходилось странствовать въ разоренной пустынѣ и терпѣть во всемъ недостатокъ, не смотря на добросовѣстныя усилія миланскихъ консуловъ, облеченныхъ по волѣ Фридриха въ званіе провіантмейстеровъ. Къ довершенію несчастія, начались проливные дожди; люди и лошади вязли въ грязи, подвигались впередъ втрое медленнѣе и утомлялись втрое больше, чѣмъ обыкновенно; хорошія квартиры и обильная пища, при такихъ условіяхъ, были особенно необходимы, а между тѣмъ взять ихъ было неоткуда. Нѣмцы злились, ругались и во всѣхъ неудобствахъ похода усматривали злые умыслы коварныхъ итальянцевъ. Дойдя до мѣстечка Розаты, Фридрихъ такъ разсердился на погоду и на дорогу, что приказалъ миланскимъ консуламъ убираться къ чорту и увести съ собой всѣхъ жителей мѣстечка, которое должно было сдѣлаться добычей солдатъ. Консулы принуждены были повиноваться. Взрослые люди, старики и дѣти, женщины съ грудными ребятами на рукахъ, здоровые и больные—всѣ вышли изъ Розаты, не захватывая съ собой никакого имущества, и поплелись пѣшкомъ, ночью, подъ холоднымъ осеннимъ дождемъ, по непроходимо грязной дорогѣ, въ Миланъ, до котораго было слишкомъ пятнадцать верстъ. Къ разсвѣту розатскіе выходцы добрались до Милана истомленные, промоченные до костей, не зная, гдѣ пріютиться и какимъ образомъ добыть себѣ пропитаніе. Чувствуя неодолимую потребность сорвать на комъ-нибудь свое зло, они стали громко жаловаться на миланскихъ консуловъ, обвиняя ихъ въ томъ, что они своей безтолковостью разсердили короля Фридриха и погубили Розату. Миланскій народъ принялъ горячо къ сердцу страданія разоренныхъ соотечественниковъ; ихъ размѣстили по домамъ, обогрѣли, успокоили, накормили и обезпечили на столько, что они могли, не боясь голода и холода, приняться за пріисканіе какихъ-нибудь постоянныхъ занятій въ Миланѣ или въ его окрестностяхъ. При своей впечатлительности и горячности, народъ повѣрилъ жалобамъ выходцевъ, бросился къ дому Герардо Нигро, одного изъ консуловъ, и разрушилъ его до основанія. Въ это-же самое время нѣмецкіе солдаты, разграбивъ Розату, стирали ее съ лица земли.

Новые депутаты отправились изъ Милана въ нѣмецкій лагерь, объявили Фридриху, что народъ наказалъ консуловъ за ихъ нерасторопность, и предложили ему значительную сумму денегъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ призналъ права миланской республики на города Лоди и Комо. Это посольство не понравилось Фридриху. Все, что говорили ему послы, казалось ему беззаконіемъ и дерзостью. Во-первыхъ, что это за народъ, наказывающій своихъ начальниковъ и объявляющій объ этомъ смѣло и торжественно ему, будущему римскому императору, настоящему и единственному источнику всякой земной власти? Во-вторыхъ, какъ они, эти мѣщане, смѣютъ подкупать императора деньгами? Въ третьихъ, что это за права миланской республики на обладаніе другими городами? Надо еще посмотрѣть, имѣетъ-ли эта произвольно зародившаяся республика какія-нибудь права на самостоятельное существованіе. Выслушавъ миланскихъ депутатовъ. Фридрихъ окончательно убѣдился въ томъ, что Италія погибнетъ въ пучинѣ заблужденій и анархіи, если твердый и мудрый правитель не примется за ея политическое перевоспитаніе. Фридрихъ былъ такъ великодушенъ, что обрекъ самого себя на этотъ тяжелый и опасный трудъ.

Желая показать миланцамъ, что они должны трепетать и благоговѣть, а не разсуждать вкривь и вкось о какихъ-то правахъ какой-то республ-

лики, Фридрихъ, въ отвѣтъ на любезности ихъ депутатовъ, провелъ свою армію черезъ самыя плодородныя земли миланской области и разрушилъ на своемъ пути все, что могло быть разрушено. Опустошительное шествіе Фридриха закончилось тѣмъ, что онъ сжегъ два моста, построенные миланцами черезъ рѣку Тичино, и срылъ до основанія два укрѣпленные замка, Трекалу и Галіату, защищавшіе миланскую границу со стороны наварской области.

Подвиги нѣмецкой арміи навели миланцевъ на поучительныя размышленія, но не возбудили въ нихъ желанія покориться грозному королю. Миланцы тщательно укрѣпили свой городъ и всѣ замки своей территоріи; закупили на случай осады огромное количество съѣстныхъ припасовъ и отправили пословъ въ сосѣдніе города, для возобновленія старыхъ союзныхъ договоровъ.

Уже въ концѣ 1154 года обозначились такимъ образомъ первыя основанія будущей ломбардской лиги. Уже въ это время въ Миланѣ, въ первенствующемъ городѣ Ломбардіи, зашевелилась мысль о неизбѣжности серьезной борьбы съ нѣмцами. Это обстоятельство подтверждаетъ мою мысль о томъ, что спасеніе римской республики было очень возможно и что оно находилось въ рукахъ Арнольда Брешіанскаго, который не съумѣлъ воспользоваться выгодами своего положенія.

Въ февралѣ 1155 года Фридрихъ подошелъ къ Тортонѣ и приказалъ этому городу отступиться отъ союза съ Миланомъ и заключить союзный договоръ съ Павіей. Правительство тортонской республики отвѣчало Фридриху, что у нихъ не принято покидать старыхъ друзей въ несчастіи.

Фридрихъ объявилъ Тортону въ опалѣ и немедленно началъ осаду этого города. Напротивъ городскихъ стѣнъ король приказалъ поставить нѣсколько висѣлицъ, предназначенныхъ для плѣнныхъ тортонянъ, которые считались мятежниками и слѣдовательно подлежали смертной казни. Эти висѣлицы дѣлали свое дѣло послѣ каждой стычки, но Тортона продолжала защищаться съ образцовымъ мужествомъ. Когда миланцы узнали объ опасномъ положеніи своихъ вѣрныхъ союзниковъ, они тотчасъ послали въ Тортону двѣсти человѣкъ отборныхъ воиновъ. Фридрихъ простоялъ передъ Тортоною два мѣсяца, выстроилъ множество хитрѣйшихъ осадныхъ машинъ и потерялъ достаточное количество храбрыхъ воиновъ. Наконецъ Тортона сдалась отъ недостатка воды.

Единственный колодезь, которымъ пользовались жители, находился между городомъ и непріятельскимъ лагеремъ; осаждающіе набросали въ этотъ колодезь кучи разной мерзости, трупы людей, лошадей и собакъ; потомъ они напустили въ воду значительное количество растопленной смолы и сѣры; вода сдѣлалась такъ горька, что даже люди, умирающіе отъ жажды, не въ состояніи были ее пить. На Святой недѣлѣ, пользуясь четырехдневнымъ перемиріемъ, заключеннымъ для празднованія Пасхи, мѣстное духовенство вышло изъ Тортоны, отправилось въ нѣмецкій лагерь и стало умолять Фридриха, чтобы онъ, наказывая мятежный и преступный городъ, заслуживший свою горькую участь, сдѣлалъ исключеніе для клириковъ и позволилъ-бы имъ немедленно удалиться куда-нибудь въ такое мѣсто, гдѣ благонравіе жителей и обиліе хорошей воды радуютъ сердце каждаго добропорядочнаго человѣка. Просьбы духовенства не убѣдили и не разжалобили Фридриха. Онъ отправилъ просителей обратно въ городъ и продолжалъ свои осадныя операціи.

Однако Фридрихъ не рѣшился поступить съ населеніемъ цѣлаго города по всей строгости тѣхъ имперскихъ законовъ, которые онъ прилагалъ во время осады къ отдѣльнымъ личностямъ тортонскихъ плѣнниковъ. Онъ позволялъ тортонянамъ выдти изъ города и унести съ собой тѣ вещи, которыя они могли захватить за одинъ разъ. Затѣмъ солдаты Фридриха разграбили и сожгли городъ. Истомленные двухмѣсячными трудами и лишеніями, тортоняне, худые какъ скелеты, едва передвигая ноги, потащились въ Миланъ. Тамъ ихъ приняли съ распростертыми объятіями, какъ героевъ, выдержавшихъ первую серьезную борьбу за общее дѣло. Граждане оказали тортонянамъ самое широкое гостепріимство, а консулы Милана обязались, отъ имени своей республики, выстроить Тортону заново, какъ только удалится отъ ея развалинъ нѣмецкая армія.

Послѣ разрушенія Тортоны Фридрихъ принялъ въ Павіи ломбардскую корону и потомъ отправился въ Римъ.

Въ это время римляне, по своему обыкновенію, старались угодить и Богу, и мамону, фантазировали на разныя республиканскія темы и собирались свидѣтельствовать свое почтеніе императору,—слушали съ восторгомъ проповѣди еретика Арнольда, отлученнаго отъ церкви, и продолжали признавать папу высшимъ авторитетомъ въ дѣлѣ религіи. Въ началѣ 1155 года папа Адріанъ IV, возмущенный этимъ хаосомъ внутреннихъ противорѣчій, поразилъ Римъ интердиктомъ, то есть запретилъ всѣмъ членамъ римскаго духовенства совершать въ Римѣ обряды богослуженія. Когда, въ концѣ того же XII столѣтія, папа Иннокентій III наложилъ интердиктъ на Англію и на Францію, тогда Іоаннъ Безземельный и Филиппъ-Августъ приняли тотчасъ такія энергическія мѣры, что англійскіе и французскіе клирики не осмѣлились повиноваться папѣ и продолжали совершать богослуженіе почти во всѣхъ провинціяхъ, пораженныхъ интердиктомъ. Но въ Римѣ ни у кого недоставало сообразительности и энергіи на то,

чтобы распорядиться такимъ образомъ. Ни Арнольдъ, ни республиканскій сенатъ не приняли никакихъ мѣръ противъ выполненія папскаго декрета. Церкви закрылись. Народъ оробѣлъ, растерялся. Вмѣсто того чтобы воспользоваться популярностью и краснорѣчіемъ Арнольда для ободренія унывающихъ римлянъ, сенатъ сталъ искать спасенія въ уступкахъ и попросилъ Арнольда удалиться изъ города для того, чтобы Римъ могъ помириться съ папою. Арнольдъ, съ своей стороны, вмѣсто того, чтобы собрать всѣ силы для рѣшительной борьбы, по первому приглашенію остроумнаго сената удалился изъ Рима на лоно сельской природы, въ замокъ какого-то кампанскаго дворянина.

Подойдя къ Риму, Фридрихъ велѣлъ тотчасъ отыскать и схватить Арнольда, для того чтобы передать его въ полное распоряженіе папѣ. Фридриху было, разумѣется, очень пріятно, что онъ такой бездѣлицей можетъ доставить папѣ великое удовольствіе. Получивши Арнольда, Адріанъ, разумѣется, приказалъ сжечь его какъ можно скорѣе. Приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе въ концѣ мая, рано утромъ, у воротъ del Popolo, недалеко отъ трехъ самыхъ длинныхъ и населенныхъ улицъ Рима. Римляне вооружились и сбѣжались къ костру, когда уже все было кончено. Они поглазѣли, пожалѣли, покричали и розошлись по домамъ.

Депутаты отъ республиканскаго правительства явились въ лагерь Фридриха и разсыпали передъ нимъ жемчугъ своего краснорѣчія. Распространившись достаточно о древнемъ величіи Рима, депутаты объяснили Фридриху, что вѣчный городъ недавно сбросилъ съ себя несправедливую власть монаховъ и теперь снова можетъ и долженъ подчинить весь міръ своему господству. Во имя всѣхъ великихъ подвиговъ, совершонныхъ древними и новыми римлянами, во имя всѣхъ ихъ блестящихъ надеждъ и роскошныхъ претензій, депутаты потребовали отъ Фридриха, чтобы онъ, до своего вступленія въ Римъ, далъ клятвенное обѣщаніе соблюдать всѣ обычаи и древніе законы Рима, охранять гражданъ отъ своеволія варваровъ и заплатить пять тысячъ ливровъ серебра тѣмъ чиновникамъ, которые, отъ имени римскаго народа, увѣнчаютъ его въ Капитоліи. Все это говорилось серьезно и торжественно тому самому человѣку, по приказанію котораго Арнольдъ Брешіанскій сдѣлался мученикомъ итальянской свободы.

Фридрихъ, разумѣется, далъ почувствовать краснорѣчивымъ депутатамъ всю тяжесть своего презрѣнія къ ихъ заносчивому и тупоумному безсилію. Онъ отвѣчалъ на ихъ требованія, что онъ, какъ государь, идетъ въ Римъ предписывать законы, и никому не давалъ и не дастъ права стѣснять его дѣйствія какими-бы то ни было условіями. Осыпавъ новыхъ республиканцевъ насмѣшками и упреками за жалкое паро-дированіе древняго Рима, Фридрихъ прогналъ отъ себя депутатовъ, предоставляя имъ размышлять на досугѣ о гнусномъ равнодушіи сѣверныхъ варваровъ къ самымъ величественнымъ историческимъ воспоминаніямъ. Однако-же Фридрихъ не тронулъ республиканскихъ учрежденій Рима. Онъ только занялъ своими войсками Ватиканскій холмъ, на которомъ находился соборъ св. Петра, необходимый для коронаціи.

Когда совершилась эта церемонія, Фридрихъ тотчасъ удалился въ свой лагерь, расположенный за стѣнами города, а римляне, обидѣвшись тѣмъ, что императоръ обошелся безъ ихъ согласія и осмѣялъ ихъ депутатовъ, бросились толпою къ Ватикану и перебили тѣхъ нѣмцевъ, которые не успѣли выбраться изъ города. Фридрихъ, услышавъ объ этомъ движеніи, вышелъ изъ лагеря, напалъ на римлянъ, дрался съ ними впродолженіи нѣсколькихъ часовъ, положилъ на мѣстѣ до тысячи республиканцевъ и разсѣялъ остальную часть городской милиціи. Даже и послѣ этой рѣшительной побѣды Фридрихъ не сталъ вмѣшиваться въ римскія дѣла и не произвелъ никакой перемѣны въ республиканскомъ управленіи. Напротивъ того, онъ на другой-же день послѣ сраженія удалился вмѣстѣ съ папою отъ Рима къ Тиволи. Лѣтніе жары привели за собою лихорадки, которыя заставили Фридриха уйдти какъ можно скорѣе изъ римской Кампаньи. Дойдя до Анконы, Фридрихъ былъ принужденъ распустить бо́льшую часть арміи, потому что срокъ службы окончился, и нѣмецкіе бароны торопились воротиться домой. Оставивъ при себѣ сильный отрядъ, достаточный для того, чтобы совершить приличнымъ образомъ отступленіе, Фридрихъ самъ двинулся къ Альпамъ и чуть-чуть не погибъ при переходѣ черезъ рѣку Адижъ. На этой рѣкѣ вероняне устраивали обыкновенно для императорскихъ армій плавучій мостъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Вероны, которая такимъ образомъ избавлялась отъ печальной необходимости отворять свои ворота нѣмецкимъ буянамъ и грабителямъ. Веронянамъ пришло въ голову, что они посредствомъ этого моста могутъ сразу отмстить Фридриху за всю Италію. Они построили мостъ такъ, что лодки, изъ которыхъ онъ былъ составленъ, были едва связаны между собой и должны были разъѣхаться отъ перваго сильнаго толчка. Повыше моста они заготовили нѣсколько здоровенныхъ плотовъ, связанныхъ изъ огромныхъ строевыхъ деревьевъ. Эти плоты рѣшено было пустить внизъ по теченію быстрой рѣки, такъ, чтобы они разнесли мостъ въ дребезги и разрѣзали отрядъ Фридриха пополамъ. Съ каждою изъ двухъ половинъ отряда вероняне легко могли управиться собственными средствами. Замыселъ этотъ разстроился единственно оттого, что плоты опоздали на нѣсколько минутъ. Они разбили мостъ тогда, когда весь отрядъ Фридриха былъ

уже за рѣкою. Фридрихъ видѣлъ ясно, какая западня была устроена для него трудами добрыхъ веронскихъ гражданъ, но у него было такъ мало воиновъ, что ему невозможно было заняться наказаніемъ виновныхъ. Онъ поспѣшно отправился дальше и благополучно вернулся въ свою Германію.

XI.

РОНКАЛЬСКІЙ СЕЙМЪ.

Тортона не долго оставалась разрушенною. Какъ только Фридрихъ двинулся изъ Павіи въ Римъ для принятія императорской короны,— миланскіе консулы созвали въ Миланѣ *парламентъ* (народное собраніе), напомнили ему, что тортоняне, изъ любви къ общему дѣлу, пожертвовали всѣмъ своимъ достояніемъ, и предложили ему обсудить, не пора-ли будетъ исполнить въ отношеніи къ нимъ естественную обязанность вѣрныхъ союзниковъ. Парламентъ рѣшилъ, что надо немедленно выстроить Тортону заново на счетъ миланской общины. Государственная казна миланской республики не была на столько богата, чтобы сооружать на свой счетъ цѣлый городъ. Но парламентъ, составленный изъ всѣхъ взрослыхъ гражданъ Милана, вовсе и не хотѣлъ сваливать на казну эти экстраординарные расходы. Рѣшаясь оказать тортонянамъ такую безпримѣрно широкую помощь, миланцы просто и совершенно сознательно налагали на себя обязанность развязать свои кошельки и высыпать изъ нихъ столько денегъ, сколько потребуется на данное предпріятіе. У кого не было кошелька, тотъ обязывался принести въ общую складчину свое время, свой трудъ, силы своего ума и своихъ рукъ.

Миланцы сразу откомандировали къ развалинамъ Тортоны цѣлую треть своего городского населенія. Изъ шести миланскихъ частей двѣ, Тичинская и Верчельская, цѣликомъ отправились на работы. Дворяне и горожане, конные и пѣшіе, всѣ пошли вмѣстѣ. Пока одни работали, другіе принуждены были драться, потому что павійцы, упорные враги Милана и вѣрные союзники Барбароссы, всячески старались помѣшать возстановленію мятежной Тортоны. Отдежуривъ такимъ образомъ три недѣли, обѣ части воротились домой, а къ нимъ на смѣну пришли другія двѣ части—Ренцская и Римская. Когда всѣ части перебывали на работахъ, тогда на мѣстѣ грязныхъ и закопченныхъ развалинъ оказался новый, красивый и крѣпкій городъ, въ который миланцы съ торжествомъ ввели своихъ возлюбленныхъ друзей и союзниковъ, пострадавшихъ за общее дѣло республиканской свободы.

Наградивъ добродѣтель, миланцы стали наказывать порокъ, то есть павійцевъ, кремонянъ и другихъ итальянскихъ союзниковъ императора. Втеченіи 1156 и 1157 годовъ миланцы одержали надъ всѣми этими супостатами рядъ блестящихъ побѣдъ, вслѣдствіе которыхъ вліяніе Фридриха оказалось почти уничтоженнымъ на всемъ пространствѣ Ломбардіи. Черезъ два года послѣ возвращенія Фридриха въ Германію всѣ слѣды его грознаго нашествія были заглажены, и миланцы сдѣлались снова хозяевами сѣверной Италіи.

Весною 1157 года Фридрихъ началъ приготовляться къ новому походу, направленному спеціально противъ миланцевъ. Онъ пригласилъ всѣхъ имперскихъ князей явиться съ войскомъ въ городъ Ульмъ, къ троицыну дню 1158 года, съ тѣмъ, чтобы прямо изъ Ульма идти въ Италію.

Походъ состоялся въ назначенное время, и армія, собравшаяся въ Ульмѣ, оказалась до такой степени многочисленной, что начальники признали удобнымъ раздѣлить ее на четыре большіе отряда, которые пошли черезъ Альпы по четыремъ различнымъ дорогамъ.

Первый ударъ обрушился на Брешію, находившуюся въ союзѣ съ Миланомъ. Но у брешіанцевъ не хватило мужества подражать тортонянамъ. Черезъ двѣ недѣли послѣ вступленія Фридриха на ихъ территорію они стали просить мира, заплатили значительную контрибуцію и покинули миланцевъ на произволъ судьбы. Остановившись лагеремъ въ Брешіанской области, Фридрихъ потребовалъ къ себѣ на судъ мятежныхъ миланцевъ; депутаты отъ Милана явились по этому приглашенію, попробовали оправдать дѣйствія своей республики и, по своему обыкновенію, предложили императору денежный подарокъ. Фридрихъ не принялъ отъ нихъ ни оправданій, ни денегъ, объявилъ миланцевъ врагами священной римской имперіи и приказалъ арміи готовиться къ осадѣ нечестиваго города.

Въ то время, когда нѣмецкая армія приближалась къ Милану, лодійцы толпами окружили императора и, держа въ рукахъ кресты, стали умолять его со слезами, чтобы онъ позволилъ имъ наконецъ возстановить свой городъ, который, какъ извѣстно, былъ разрушенъ миланцами. Фридрихъ назначилъ имъ для новаго города холмъ Монтегецоне, находившійся въ четырехъ миляхъ отъ стараго Лоди. На этомъ холмѣ онъ приказалъ положить въ своемъ присутствіи первые камни городскихъ стѣнъ, и къ концу года лодійцы, за этими стѣнами, могли уже собственными средствами отстаивать отъ миланцевъ свою независимость.

Въ началѣ августа войско Фридриха, состоявшее изъ 100,000 пѣхоты, окружило Миланъ со всѣхъ сторонъ. Пользуясь удобнымъ случаемъ, кремоняне и павійцы натѣшились досыта надъ роскошными нивами и садами миланской области; они вырывали или сожигали виноградныя лозы, смоковницы и масличныя деревья,

разрушали дома и хозяйственныя строенія и убивали плѣнниковъ, которыхъ имъ удавалось захватить. Имъ хотѣлось не грабить, а истреблять; ими управляло не корыстолюбіе, а ненависть и жажда мщенія за недавнія побѣды миланцевъ.

Блокада Милана не привела за собой тѣхъ рѣшительныхъ послѣдствій, которыхъ можно было ожидать отъ энергіи обѣихъ воюющихъ сторонъ и отъ естественной непримиримости боровшихся принциповъ. Осажденные очень скоро начали чувствовать недостатокъ съѣстныхъ припасовъ; вслѣдъ за голодомъ въ городѣ появились заразительныя болѣзни. Въ началѣ сентября миланцы послали къ Фридриху депутатовъ съ просьбою о мирѣ.

Надо полагать, что осаждающая армія находилась также не въ блистательномъ положеніи. По крайней мѣрѣ Фридрихъ обнаружилъ въ своихъ требованіяхъ такую умѣренность, которая совершенно не соотвѣтствовала ни его личному характеру, ни его постояннымъ политическимъ стремленіямъ. Миланцы съ радостью приняли его условія, и миръ былъ заключенъ 7-го сентября.—По этому трактату миланцы признали независимость городовъ Лоди и Комо, поклялись быть вѣрными императору, обязались выстроить ему на свой счетъ дворецъ и выплатить ему, въ три срока, втеченіи года, девять тысячъ марокъ. Кромѣ того они отказались отъ регальныхъ правъ, которыми они владѣли въ своемъ городѣ и въ миланской области. Императоръ обязался не вводить арміи въ Миланъ и удалиться отъ стѣнъ города послѣ полученія заложниковъ, которыхъ миланцы должны были ему выдать впредь до уплаты обѣщанной контрибуціи. Далѣе онъ утвердилъ право миланцевъ выбирать себѣ консуловъ въ народномъ собраніи, съ тѣмъ условіемъ, чтобы эти консулы, при вступленіи въ должность, присягали въ вѣрности императору. Наконецъ онъ призналъ право миланцевъ заключать союзы съ другими городами и согласился распространить условія мирнаго договора на тѣ города, которые въ данную минуту находились въ союзѣ съ Миланомъ.

Подписывая этотъ договоръ, миланскіе политики горевали преимущественно о томъ, что ихъ республика теряетъ свои завоеванія—Лоди и Комо. Остальныя условія—о присягѣ всего города, о присягѣ консуловъ, о регальныхъ правахъ — казались имъ простымъ и невиннымъ освѣженіемъ старыхъ обычаевъ, которые, правда, начали порастать мохомъ забвенія, но при всемъ томъ никогда не теряли своего историческаго права на существованіе. Писанный законъ былъ весь цѣликомъ на сторонѣ императора; исторія всѣми своими хартіями оправдывала его требованія. Миланцы не могли предъявить ни одного такого документа, который освобождалъ-бы ихъ отъ присяги, или отдавалъ-бы въ ихъ распоряженіе регальныя права. Вся автономія Милана и другихъ итальянскихъ республикъ была явленіемъ незаконнорожденнымъ и непомнящимъ родства. Вслѣдствіе этого обстоятельства всѣ итальянскіе республиканцы—кромѣ венеціянцевъ — поневолѣ были очень уступчивы въ области теоріи, гдѣ они дѣйствительно не могли найдти для своихъ притязаній никакой опоры. Такъ какъ бо́льшая часть условій въ договорѣ съ Фридрихомъ имѣла чистотеоретическій характеръ, то есть заявляла отвлеченныя верховныя права императора, то миланцы принуждены были признать справедливость этихъ условій.

Но для Фридриха заключенный договоръ былъ сносенъ только въ ожиданіи лучшаго. Фридрихъ вовсе не былъ расположенъ удовлетворяться отвлеченнымъ заявленіемъ своихъ верховныхъ правъ. Цѣль и задача всей его жизни именно въ томъ и состояла, чтобы осуществить на самомъ дѣлѣ всѣ тѣ притязанія императорской власти, которыя со временъ Карла Великаго обратились въ пустые звуки. Для Фридриха всѣ теоретическія условія договора были зародышами, заключавшими въ себѣ способность къ безконечному развитію.—Фридрихъ желалъ имѣть въ Миланѣ дворецъ. На что онъ ему былъ нуженъ? Не на то-же, въ самомъ дѣлѣ, чтобъ отдавать его въ наймы и получать съ него доходъ?—Имѣя свой дворецъ, императоръ могъ пріѣзжать иногда въ Миланъ и проводить въ городѣ по нѣсколько недѣль. Живя въ Миланѣ, императоръ могъ и долженъ былъ пріобрѣтать вѣкоторое вліяніе на городскія дѣла. Уѣзжая изъ Милана императоръ могъ оставить въ своемъ дворцѣ чиновника для окончанія какихъ-нибудь дѣлъ, поступившихъ на разсмотрѣніе самого государя. Словомъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ и при нѣкоторомъ искусствѣ, можно было понемногу придѣлать къ невинному дворцу—императорскаго намѣстника съ цѣлымъ придворнымъ штатомъ.

Конечно дворецъ самъ по себѣ ничего не значитъ и ничего не можетъ сдѣлать. Но тутъ все идетъ одно къ одному: и дворецъ, и консульская присяга, и регальныя права.—Консулы выбирались каждый годъ, и слѣдовательно каждый годъ должны были приносить присягу. Но гдѣ должна была совершаться эта церемонія—въ Германіи или въ Миланѣ? Путешествіе въ Германію, при тогдашнихъ путяхъ сообщенія, было на столько затруднительно и даже опасно, что его не стоило предпринимать единственно для того, чтобы совершить простой обрядъ. Если-же церемонія присяги должна была совершаться въ Миланѣ, то, разумѣется, тутъ необходимо было присутствіе довѣреннаго лица, которое отъ имени императора наблюдало-бы за надлежащимъ исполненіемъ всѣхъ предписанныхъ формальностей. Однимъ изъ важнѣйшихъ ре-

гальныхъ правъ было право чеканить монету. Другія регальныя права заключались въ собираніи нѣкоторыхъ опредѣленныхъ доходовъ. Отказываясь отъ этихъ регальныхъ правъ въ пользу императора, миланцы очевидно давали императору поводъ ввести въ ихъ городъ цѣлый штатъ чиновниковъ для завѣдыванія монетнымъ дѣломъ и всѣми оброчными статьями, которыя становились собственностью императорской казны. Представители высшей центральной власти очевидно не могли подчиняться консуламъ и народному собранію; такимъ образомъ въ городѣ оказалось-бы два правительства, которыхъ неизбѣжныя столкновенія подавали-бы поводъ къ постояннымъ вмѣшательствамъ со стороны императора. Эти вмѣшательства, разумѣется, могли понемногу вытравить всѣ признаки республиканской свободы.

Трактатъ, заключенный Фридрихомъ съ миланцами, долженъ былъ или оказаться мертвой буквой почти во всѣхъ своихъ частяхъ, или обогатиться понемногу такими дополнительными и объяснительными условіями, при которыхъ миланская автономія сдѣлалась-бы невозможною. Тотчасъ послѣ заключенія мира Фридрихъ созвалъ на Ронкальскомъ полѣ сеймъ и при его содѣйствіи началъ воздѣлывать зародыши, вложенные въ мирный договоръ.—Сеймъ составился многочисленный и блестящій. Съѣхались архіепископы и епископы, князья, герцоги, маркизы, графы и наконецъ консулы и судьи всѣхъ итальянскихъ городовъ, признававшихъ верховную власть императора.

Разсужденіями сейма стали конечно управлять тѣ люди, на сторонѣ которыхъ находился перевѣсъ образованія, то есть клирики и юрисконсульты. Благодаря вліянію этихъ двухъ корпорацій, сеймъ отличился безпримѣрной покорностью—такою покорностью, что самъ Фридрихъ не рѣшился воспользоваться всѣми уступками сейма въ ихъ полномъ объемѣ. Архіепископъ миланскій, въ своемъ отвѣтѣ на тронную рѣчь императора, выразился:

«Вамъ однимъ – сказалъ онъ, обращаясь къ Фридриху—слѣдуетъ заботиться о законахъ, о справедливости и о чести имперіи; вамъ предоставлено полное право предписывать народу новые законы; ваша воля сама по себѣ составляетъ основаніе справедливости; ваше письмо, приговоръ, указъ—немедленно становятся для народа закономъ. Не должна-ли, въ самомъ дѣлѣ, награда слѣдовать за трудомъ, и не долженъ-ли пользоваться наслажденіями власти тотъ, на комъ лежитъ тяжелая обязанность защищать насъ отъ враговъ?»

Юрисконсульты, сформированные Болонскимъ университетомъ, окончательно подкосили тѣхъ членовъ сейма, которые были расположены защищать права народа. Рѣчи пламенныхъ обожателей юстиніановскаго кодекса лились на магнатовъ и на консуловъ, какъ безконечные потоки холоднаго осенняго дождя. Не умѣя слѣдить за тонкой нитью извилистой юридической аргументаціи, не понимая мудреныхъ научныхъ терминовъ, не зная ни римскаго права, ни его исторіи, изнемогая отъ скуки и отъ безплодныхъ усилій сосредоточить свое вниманіе,—военные и торговые люди, засѣдавшіе на сеймѣ, доходили наконецъ до безсознательнаго и безчувственнаго состоянія, въ которомъ они готовы были согласиться на все, лишь-бы выбраться поскорѣе изъ-подъ дождя болонскихъ изслѣдованій и доказательствъ. Практическіе люди—магнаты и консулы—помнили только смутно, что господинъ болонскій докторъ разсказываетъ имъ о римскихъ законахъ и учрежденіяхъ, и что слѣдовательно всѣ описываемые порядки должны быть превосходны, потому что у римлянъ, завоевавшихъ всю вселенную или около того, разумѣется, не могло быть въ государственной жизни ничего дурного, несправедливаго или нелѣпаго. И практическіе люди соглашались на все. Да и какъ могли они не согласиться? Чуть только они затѣяли-бы споръ, болонскіе доктора тотчасъ завели-бы снова свои машины часа на три или на четыре, и наконецъ, рано или поздно, практикамъ, доведеннымъ до одуренія, все-таки пришлось-бы сдаться на капитуляцію и просить пощады. А тутъ-же, кстати и нѣмецкіе солдаты были подъ бокомъ на тотъ случай, если бы практикамъ вздумалось твердо стоять на своемъ, не прельщаясь никакими юстиніановскими сентенціями.

По требованію Фридриха, юристы подняли на сеймѣ вопросъ о регальныхъ правахъ, уже затронутый договоромъ съ миланцами. Сеймъ рѣшилъ, что регальныя права должны принадлежать императору, и что подъ этимъ именемъ должны подразумѣваться: право собирать таможенныя пошлины; fodero или право брать даромъ для войска съѣстные припасы; право содержать пристани, мельницы и рыбныя ловли; право собирать какіе-бы то ни было доходы съ большихъ рѣкъ.—Кромѣ того сеймъ рѣшилъ, что подданные должны платить императору подушную подать.

Всѣ эти рѣшенія сейма находились въ совершенной гармоніи съ духомъ и съ буквою римскаго права, но ихъ невозможно было помирить съ живыми явленіями тогдашней дѣйствительности. Достоинства и владѣнія герцоговъ, графовъ и маркизовъ уже давно сдѣлались наслѣдственными; многіе города уже давно чеканили свою монету; таможни, пристани, мельницы, рыбныя ловли и всякіе рѣчные доходы давно находились въ рукахъ городовъ или помѣщиковъ, которые привыкли смотрѣть на нихъ, какъ на свою неотъемлемую собственность. Перевертывать сразу весь этотъ установившійся порядокъ было такъ трудно и опасно, что Фридрихъ не

рѣшился присвоить себѣ на самомъ дѣлѣ всѣ тѣ права, которыя сеймъ предоставлялъ ему въ теоріи. Онъ оставилъ регальныя права въ рукахъ прежнихъ владѣльцевъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы они, пользуясь доходами, платили ежегодный оброкъ императору, какъ верховному сюзерену.

Сеймъ призналъ, что право выбирать консуловъ и судей принадлежитъ императору, съ тѣмъ, чтобы выборъ соотвѣтствовалъ желаніямъ народа. Зародышъ, заключавшійся въ консульской присягѣ, началъ такимъ образомъ развертываться очень удачно. Пользуясь своимъ правомъ, Фридрихъ назначилъ въ каждый епархіальный городъ по одному новому судьѣ, который получилъ названіе *подесты*.

Создавая эту новую должность, Фридрихъ опредѣлилъ, что подеста непремѣнно долженъ быть уроженцемъ другого города для того, чтобы онъ, при отправленіи своихъ судебныхъ обязанностей, не поддавался родственному пристрастію и не увлекался духомъ мѣстныхъ партій.

Наконецъ сеймъ отнялъ право войны и мира у всѣхъ городовъ и магнатовъ. Еслибы смѣлые приговоры и рѣшительныя запрещенія могли пересоздать въ одну минуту всю физіономію дѣйствительной жизни,—то ронкальскій сеймъ положилъ-бы конецъ всѣмъ частнымъ войнамъ на всемъ пространствѣ сѣверной и средней Италіи.

XII.

РАЗРУШЕНІЕ КРЕМЫ И МИЛАНА.

На ронкальскомъ сеймѣ законные представители итальянскаго королевства признали за императоромъ такую обширную власть, которая повидимому исключала всякую мысль о возможности сопротивляться ему или связывать его державную волю условіями какихъ-нибудь трактатовъ. Послѣ опредѣленій ронкальскаго сейма, на которомъ въ числѣ прочихъ присутствовали и миланскіе депутаты, — Фридрихъ имѣлъ полное право смотрѣть на свой мирный договоръ съ миланцами, какъ на любопытный памятникъ недавнихъ, но уже осужденныхъ и окончательно отвергнутыхъ анархическихъ заблужденій. Фридрихъ воспользовался этимъ правомъ не обращать вниманія на условія трактата. Онъ ввелъ нѣмецкій гернизонъ въ замокъ Треццо, находившійся на миланской территоріи, неприкосновенность которой была положительно гарантирована трактатомъ. Онъ отдѣлилъ отъ миланской республики городъ Монцу, находившійся съ давнихъ поръ подъ ея господствомъ. Онъ отдалъ одному изъ своихъ приверженцевъ графства Мартезану и Сенріо, которыя также составляли часть неприкосновенной миланской территоріи. Онъ приказалъ разрушить укрѣпленія города Кремы, который, въ качествѣ постояннаго союзника миланской республики, былъ огражденъ трактатомъ отъ произвольныхъ распоряженій императорскаго правительства. Наконецъ Фридрихъ переполнилъ мѣру миланскаго долготерпѣнія: онъ послалъ въ Миланъ своего канцлера для того, чтобы посадить подесту на мѣсто выборныхъ консуловъ. Послѣднія два приказанія—о разрушеніи кремской крѣпости и о водвореніи въ Миланѣ подесты—были отданы въ одно время и произвели одинаково-сильный взрывъ въ обоихъ городахъ—въ Кремѣ и въ Миланѣ. Кремаски и миланцы взялись за оружіе и прогнали императорскихъ чиновниковъ. Побѣда, одержанная учеными юрисконсультами на ронкальскомъ сеймѣ, была очень замѣчательна, не только по своей легкости, но также и по своей совершенной безплодности. На сеймѣ оппозиція покорилась и умолкла; законы, предложенные приверженцами Фридриха, были приняты единогласно, болонскіе аргументы убѣдили или оглушили всѣхъ членовъ собранія; повидимому все было кончено; повидимому нѣмцамъ оставалось только загребать обѣими руками обильные плоды итальянской покорности. Но все это было только повидимому. На самомъ-же дѣлѣ настоящія трудности именно тогда только и начинались, когда надо было вводить въ мелкія подробности дѣйствительной жизни общіе законы, единогласно принятые и утвержденные всѣми представителями націи. Жизнь, молчавшая на сеймѣ, проснулась во всемъ своемъ непобѣдимомъ могуществѣ, когда чужая рука дотронулась до ея собственныхъ созданій и отправленій. Жизнь не умѣла аргументировать, но умѣла крѣпко стоять за то, что ей было дорого и необходимо. Жизнь спокойно уступила болонскимъ докторамъ поле отвлеченныхъ политическихъ соображеній, согласилась со всѣми ихъ доводами, подписала всѣ ихъ протоколы—и потомъ вдругъ начала бушевать, когда ее, на основаніи всѣхъ этихъ соображеній, доводовъ и протоколовъ, стали связывать по рукамъ и по ногамъ. Труды болонскихъ теоретиковъ оказались потерянными; жизнь ни въ чемъ не убѣдилась, ничему не повѣрила, ни отъ чего не отказалась; всѣ ея привычки, страсти и потребности остались на прежнихъ мѣстахъ и сохранили прежнюю силу, всѣ юридическія разсужденія прошли мимо ея ушей.

Прогнавши императорскаго канцлера, миланцы пошли на замокъ Треццо, занятый нѣмецкимъ гарнизономъ, и взяли его приступомъ. Фридрихъ объявилъ миланцевъ и всѣхъ ихъ союзниковъ мятежниками и врагами имперіи. На этотъ разъ у миланцевъ оказалось немного союзниковъ. Къ нимъ примкнули только кремаски и брешіанцы. Даже тортоняне, облагодѣтельствованные миланской республикой, не могли или не осмѣлились дѣйствовать съ ней за-одно.

Фридриху незачѣмъ было подходить къ Милану и осаждать его. Фридрихъ могъ дѣйствовать издали, на-вѣрняка, не подвергая своего

дѣла случайностямъ сраженія. Миланская область была окружена со всѣхъ сторонъ территоріями враждебныхъ городовъ, которые нисколько не были расположены снабжать миланцевъ съѣстными припасами. Чтобы заморить миланцевъ голодомъ, Фридриху стоило только постоянно выжигать въ миланской области обѣ жатвы, лѣтнюю и осеннюю, и кромѣ того содержать сильные караулы на всѣхъ дорогахъ, ведущихъ къ Милану, такъ чтобы ни одинъ возъ съ хлѣбомъ и ни одна голова скота не могли проскользнуть въ опальный городъ. Противъ этой тактики миланцы ровно ничего не могли предпринять; гибель ихъ была неизбѣжна; чтобы спастись отъ голода, имъ надо было бы завоевать всю сѣверную Италію и прогнать Фридриха за Альпы, что, очевидно, было для нихъ совершенно невозможно. Что-же касается до отдѣльныхъ побѣдъ, то онѣ были для миланцевъ совершенно безполезны, потому что не отнимали у Фридриха возможности дѣлать опустошительные набѣги на миланскую территорію и предавать смертной казни предпріимчивыхъ мужиковъ, которые, соблазняясь высокими цѣнами, пробовали пробираться съ хлѣбомъ или скотомъ въ Миланъ изъ сосѣднихъ областей.

Съ маленькимъ городкомъ Кремою можно было распорядиться быстрѣе и рѣшительнѣе.

Въ іюлѣ 1159 года Фридрихъ подошелъ къ его стѣнамъ и началъ осадныя работы. Миланцы тотчасъ прислали въ Крему 400 человѣкъ вспомогательнаго войска подъ начальствомъ одного изъ консуловъ, обязавшись при этомъ содержать этотъ отрядъ на свой счетъ, во все время осады. Кремаски дѣлали постоянныя вылазки, мѣшали осаднымъ работамъ, портили машины и одинъ разъ нанесли нѣмцамъ такое чувствительное пораженіе, что Фридрихъ разсердился и приказалъ повѣсить напротивъ стѣнъ нѣсколько человѣкъ плѣнниковъ изъ осажденнаго города. Кремаски увидѣли это выраженіе неудовольствія и въ отвѣтъ на него немедленно повѣсили на своихъ стѣнахъ равносильное число плѣнныхъ нѣмцевъ. Тогда Фридрихъ объявилъ имъ черезъ герольда, что ужъ теперь онъ ни за что не смилуется надъ ними и послѣ взятія города не дастъ никому никакой пощады. Вслѣдъ затѣмъ сорокъ человѣкъ кремскихъ заложниковъ, остававшихся во власти императора послѣ сентябрьскаго мира съ миланцами, отправились на висѣлицу. Тутъ-же подвернулись подъ расходившуюся руку и пошли по той-же дорогѣ шестеро депутатовъ, отправленныхъ изъ Милана для переговоровъ съ Піаченцою. Въ числѣ этихъ депутатовъ умеръ на висѣлицѣ племянникъ миланскаго архіепископа,—того самаго, который на ронкальскомъ сеймѣ краснорѣчиво прославлялъ нѣмецкое трудолюбіе, и достойный прелатъ узналъ теперь, что это трудолюбіе можетъ совершаться въ ущербъ его ближайшимъ родственникамъ.

Еще не всѣ кремскіе заложники были перевѣшаны. Оставалось еще десятка два несовершеннолѣтнихъ. Придерживаясь того эпикурейскаго правила, что разнообразіе возвышаетъ цѣну наслажденій, Фридрихъ придумалъ для тѣхъ новую комбинацію, гораздо болѣе занимательную, чѣмъ простая висѣлица. Онъ приказалъ привязать ихъ къ подвижной деревянной башнѣ и потомъ покатить эту башню, наполненную вооруженными воинами, къ стѣнамъ осажденнаго города. Кремаскамъ представилась мучительная дилемма: стрѣлять по башнѣ—значило своими руками убивать собственныхъ дѣтей, а не стрѣлять—значило отдать городъ тѣмъ воинамъ, которые сидѣли внутри башни. Какъ-бы ни распорядились кремаски, Фридрихъ получалъ во всякомъ случаѣ выгоду или удовольствіе, то есть, захватывалъ осажденный городъ, или подвергалъ его мятежныхъ жителей самой жестокой нравственной пыткѣ. Кремаски дѣйствительно выдержали эту пытку; живя въ желѣзномъ вѣкѣ, они поступили какъ желѣзные люди; святая обязанность защищать отечество перевѣсила въ нихъ всѣ остальныя соображенія.

Чѣмъ громче кричали привязанныя дѣти, тѣмъ дружнѣе и сильнѣе работали кремскія катапульты, бросавшія въ подвижную башню огромныя каменныя глыбы. Наконецъ башня зашаталась; еще нѣсколько ударовъ,—и она навѣрное похоронила-бы подъ своими развалинами пріютившихся въ ней нѣмецкихъ воиновъ. Фридрихъ приказалъ отвести ее прочь отъ городской стѣны. Заложниковъ отвязали отъ расшатавшейся башни. Изъ нихъ девять человѣкъ было убито и двое тяжело ранено.

Осада ничтожнаго городка затянулась на полгода. Наконецъ начальникъ кремскихъ инженеровъ, Маркезе, польстился на выгодныя предложенія Фридриха и передался на его сторону. Зная всѣ условія мѣстности, какъ свои пять пальцевъ, эта перелетная пташка повела осадныя работы такъ успѣшно, что сопротивленіе скоро сдѣлалось невозможнымъ. Въ январѣ 1160 года кремаски положили къ ногамъ императора свою покорность, умоляя его только о томъ, чтобы онъ не отдавалъ ихъ въ руки кремонянъ, ихъ злѣйшихъ враговъ. Фридрихъ, въ минуты гнѣва, умѣлъ выдумывать и приводить въ исполненіе самыя утонченно-жестокія мѣры. Но когда борьба была окончена, тогда у него не поднималась рука на то, чтобы хладнокровно давить побѣжденныхъ и обезоруженныхъ враговъ. Такъ случилось и теперь. Фридрихъ нарушилъ грозное обѣщаніе, данное кремаскамъ черезъ герольда, въ горячую минуту, при началѣ осады. Онъ не только выпустилъ кремасковъ изъ города на всѣ четыре стороны, но даже позволилъ имъ захватить тѣ вещи, которыя они могли унести за одинъ разъ на собственныхъ плечахъ. Словомъ, кремаски приняли точно такія условія, какія,

лѣтъ пять тому назадъ, были предоставлены тортонянамъ. Послѣ удаленія жителей нѣмцы, разумѣется, сожгли и разрушили оставленный городъ. Въ этомъ послѣднемъ удовольствіи Фридрихъ уже никакъ не могъ себѣ отказать. Мятежный городъ непремѣнно долженъ былъ исчезнуть съ лица земли.

Покончивъ съ Кремою, Фридрихъ спеціально занялся Миланомъ. Однако въ 1160 году Фридрихъ былъ принужденъ распустить почти все нѣмецкое войско, утомленное продолжительной кампаніей, и поддерживать войну силами однихъ итальянскихъ городовъ и магнатовъ. Миланцамъ удалось на время вздохнуть свободнѣе. Они разбили императора при замкѣ Кассано и успѣли благополучно собрать съ своихъ полей обильныя жатвы. Но торжество ихъ продолжалось недолго. Въ половинѣ 1160 года къ императору снова собралась изъ Германіи сто-тысячная армія,и Фридрихъ, въ іюлѣ и въ сентябрѣ, выжегъ на корню всѣ миланскіе хлѣба, сначала пшеницу, а потомъ просо и сорго. Увлеченный процессомъ борьбы, Фридрихъ, по своему обыкновенію, свирѣпствовалъ надъ плѣнниками: однимъ онъ рубилъ руки, другихъ отправлялъ на висѣлицу. Такъ-же точно поступалъ онъ и съ крестьянами, старавшимися провозить въ Миланъ съѣстные припасы изъ сосѣднихъ областей. Къ довершенію несчастія, около этого времени пожаръ истребилъ въ Миланѣ двѣ части, то есть цѣлую треть города, и какъ разъ ту треть, въ которой находились огромные запасные магазины, переполненные хлѣбомъ 1160 года. Вслѣдствіе уничтоженія обѣихъ жатвъ и вслѣдствіе этого пожара миланцы уже въ началѣ зимы 1161 года остались безъ хлѣба. До новой уборки можно было двадцать разъ умереть съ голоду, и кромѣ того надо было предвидѣть заранѣе, что и на будущій годъ обѣ жатвы не уйдутъ отъ рукъ нѣмецкой арміи. Миланцы кое-какъ перебились до весны, то отнимая насильно съѣстные припасы у жителей сосѣднихъ областей, то наполняя себѣ желудки разной неудобоваримой дрянью; наконецъ не стало силъ терпѣть, тѣмъ болѣе, что и впереди надѣяться было не на что. Миланцы послали къ императору своихъ депутатовъ и объявили ему, что они, для доказательства своего смиренія, готовы въ шести мѣстахъ разрушить городскую стѣну и подчиниться подестѣ, назначенному отъ короны. Фридрихъ потребовалъ безусловной покорности. Консулы и вмѣстѣ съ ними нѣкоторые непоколебимые патріоты рѣшили, что надо умирать за свободу отечества. Но масса была измучена. Массѣ хотѣлось ѣсть, а не удивлять міръ геройскими добродѣтелями. Масса настояла на томъ, что надо сдаться. 1 марта 1162 года миланскіе консулы отправились къ императору, котораго главная квартира находилась въ Лоди. Они положили передъ императоромъ свои обнаженные мечи и объявили ему, что городъ сдается безусловно, и что всѣ миланцы будутъ исполнять буквально всѣ императорскія приказанія. Три дня спустя, триста миланскихъ рыцарей, по приказанію Фридриха, сложили къ его ногамъ свои мечи и отдали ему тридцать шесть городскихъ знаменъ. Въ это же-время Джунтеллино, начальникъ инженеровъ, вручилъ ему городскіе ключи. Императоръ не сказалъ ни слова о своемъ окончательномъ рѣшеніи и потребовалъ только, чтобы къ нему явились граждане, занимавшіе консульскія мѣста въ послѣдніе три года, и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ ему представили всѣ знамена, еще остававшіяся въ Миланѣ.

Всѣ миланцы, носившіе оружіе, пошли въ Лоди хоронить свою свободу. Лодійцы могли насладиться вдоволь униженіемъ своихъ бывшихъ повелителей и угнетателей. Граждане трехъ городскихъ частей шли впереди и держали въ рукахъ кресты, по обычаю умоляющихъ. За ними ѣхала, на восьми волахъ, покрытыхъ широкими красными коврами, священная колесница—*карочіо*, на которой находилось главное знамя республики, прикрѣпленное къ высокой красной мачтѣ. Граждане трехъ остальныхъ частей замыкали шествіе и также держали въ рукахъ кресты. Когда кароччіо приблизилось къ императору, миланскія трубы пропѣли свою лебединую пѣсню, и мачта, стоявшая на колесницѣ, склонилась вмѣстѣ съ священнымъ знаменемъ къ подножію престола. По приказанію Фридриха, мачту подняли снова; кароччіо и вмѣстѣ съ нимъ восемьдесятъ четыре знамени были отданы нѣмцамъ. Одинъ изъ миланскихъ консуловъ сталъ тогда умолять Фридриха о пощадѣ. Весь миланскій народъ бросился на колѣни и залился слезами. Одинъ изъ миланскихъ магнатовъ, графъ Бландрата, служившій въ арміи императора во все время послѣдней войны, выхватилъ крестъ изъ рукъ какого-то миланца и также бросился на колѣни передъ престоломъ вымаливать пощаду побѣжденному Милану. Даже нѣмцы, страстные охотники грабить и жечь итальянскіе города, не выдержали и расчувствовались. Весь дворъ, вся армія утирали слезы, глядя на тысячи изнеможенныхъ людей, рыдавшихъ у ногъ побѣдителя. Еслибы Фридрихъ вздумалъ въ эту минуту пустить дѣло Милана на голоса, то право могло случиться, что нѣмцы рѣшили-бы простить негоднымъ миланцамъ всѣ ихъ продерзости и неистовства. Но Фридрихъ молчалъ и всѣми мускулами своей мужественной физіономіи выражалъ суровость, равнодушіе и какую-то затаенную, непоколебимую рѣшимость. Жена Фридриха въ это время находилась вмѣстѣ съ нимъ въ Лоди, но ей было запрещено присутствовать при сдачѣ кароччіо, потому что императоръ боялся, что она своей чувствительностью испортитъ ему всю церемонію и собьетъ его самого съ толку. Миланцы не смѣли подходить къ ея окнамъ, но

издали бросали въ ту сторону свои кресты; само собою разумѣется, что изъ этого смиреннаго крестобросанія ровно ничего не вышло. Императрица сидѣла смирно въ своихъ покояхъ и не смѣла тревожить суроваго супруга своими просьбами и слезами.

Достаточно намозоливъ себѣ колѣни и наплакавшись досыта, миланцы встали и принесли императору установленную присягу. Затѣмъ Фридрихъ отобралъ себѣ четыреста заложниковъ и въ томъ числѣ бывшихъ консуловъ, а всѣмъ остальныхъ гражданамъ приказалъ идти домой, сломать всю городскую стѣну и засыпать рвы, такъ чтобы онъ, императоръ, могъ свободно войти съ арміей въ покорный Миланъ. Въ то же-время Фридрихъ послалъ въ Миланъ двѣнадцать коммиссаровъ для принятія присяги отъ тѣхъ гражданъ, которые во время сдачи знаменъ оставались дома.

Прошло десять дней. Миланцы все еще не знали, что̀ съ ними будутъ дѣлать. Императоръ въ это время перешелъ съ арміей изъ Лоди въ Павію и очень мало заботился о томъ тревожномъ ожиданіи, въ которомъ находилось все миланское населеніе. Вдругъ, 16-го марта, консулы получили приказаніе вывести изъ Милана всѣхъ жителей. Консулы повиновались. Многіе граждане со страху разбѣжались въ Павію, въ Лоди, въ Бергамо, въ Комо и во всѣ другіе ломбардскіе города. Прошло еще девять дней. Городъ стоялъ совершенно пустой.

Наконецъ 25 марта императоръ подошелъ къ Милану съ своей арміей и объявилъ народу свое милостивое рѣшеніе. Оказалось, что Миланъ долженъ быть срытъ до основанія, и что имя миланцевъ должно совершенно исчезнуть съ лица земли. Дѣло разрушенія было немедленно поручено злѣйшимъ врагамъ Милана. Фридрихъ раздѣлилъ весь городъ между своими итальянскими воинами. Восточная часть досталась лодійцамъ; Римская — кремонянамъ; Тичинская — павійцамъ; Верчельская — наварцамъ; Комская — комаскамъ; Новая — вассаламъ графствъ Сепріо и Мартезаны. Разрушители принялись за работу съ такимъ радостнымъ усердіемъ, что къ началу апрѣля, когда Фридрихъ поѣхалъ обратно въ Павію, только пятидесятая часть города оставалась на своемъ мѣстѣ. Въ одну недѣлю богатѣйшій городъ Италіи превратился въ кучу пепла и мусора.

Фридрихъ дорожилъ своей побѣдой. Въ 1159 году, начиная свою послѣднюю войну противъ миланцевъ, онъ далъ обѣтъ не надѣвать императорской короны до тѣхъ поръ, пока Миланъ будетъ сопротивляться. Теперь Миланъ былъ уничтоженъ. Со всѣхъ концовъ Италіи съѣхались въ Павію депутаты отъ провинцій, епископы, графы, маркизы, подесты и консулы съ усерднѣйшими поздравленіями. Фридрихъ вышелъ ко всѣмъ этимъ сладкорѣчивымъ господамъ съ императорской короной на головѣ.

Брешіанцы и піачентинцы, послѣдніе друзья миланцевъ, оставшихся безъ родины и безъ пріюта,—почислили дѣло свободы окончательно проиграннымъ и рѣшились во всемъ повиноваться императору. Они сломали свои башни, разрушили стѣны, засыпали рвы, заплатили огромныя контрибуціи и подчинились подестамъ, назначеннымъ отъ короны.

Генуя, одна изъ первыхъ морскихъ державъ тогдашней Европы, прислала Фридриху поздравительную депутацію, увѣрила его въ своемъ безпредѣльномъ и неизмѣнномъ повиновеніи и даже воспылала такимъ неудержимымъ усердіемъ, что даромъ предложила ему свои услуги для завоеванія Сициліи, которая до тѣхъ поръ еще никогда не принадлежала нѣмецкимъ императорамъ. Италія была воспитана. Воплощенное трудолюбіе было увѣнчано. Теперь можно было приняться за наслажденія. Всѣ шипы были обломаны, и розу можно было мять безъ малѣйшей осторожности.

XIII.

ВЕРОНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦІЯ.

Грозный рыжебородый императоръ дѣйствительно сдѣлалъ очень много для политическаго воспитанія Италіи. Но съ Фридрихомъ случилось то, что̀ случается очень часто со всякими педагогами. Его уроки подѣйствовали совсѣмъ не такъ, какъ онъ желалъ. Итальянцы, погубившіе Миланъ своей упорной враждой и разрушившіе его своими собственными руками, вовсе не были расположены сдѣлаться рабами нѣмцевъ и отказаться отъ своей республиканской автономіи. Они были увѣрены, что нѣмцы будутъ постоянно ихъ добрыми союзниками, а императоръ — сильнымъ и безкорыстнымъ покровителемъ ихъ свободы. Фридрихъ живо вылечилъ ихъ отъ этого ребяческаго заблужденія.

Въ концѣ лѣта 1162 года императоръ уѣхалъ въ Германію и оставилъ въ Италіи своего намѣстника, Райнальда, канцлера имперіи и архіепископа кельнскаго. Канцлеръ и архіепископъ Райнальдъ обнаружилъ замѣчательное безпристрастіе. Онъ сталъ обирать и угнетать безразлично всѣхъ ломбардовъ, какъ тѣхъ, которые сопротивлялись императору, такъ и тѣхъ, которые постоянно сражались подъ ихъ знаменами. Примѣръ такого безпристрастія былъ уже отчасти поданъ самимъ императоромъ, который до своего отъѣзда изъ Италіи уничтожилъ выборныхъ консуловъ въ Болоньѣ, въ Феррарѣ, въ Фаэнцѣ, въ Имолѣ, въ Пармѣ, въ Комо и въ Новарѣ, не смотря на то, что эти города не были въ союзѣ съ миланцами. Подесты, назначенные императоромъ, на мѣсто выборныхъ консуловъ, чувствовали свою независимость отъ тѣхъ населеній, надъ которыми они должны были чинить судъ и расправу. Поставленные выше контроля мѣстныхъ обществъ, они старались угождать только

императору и его намѣстнику. Центральная власть требовала отъ мѣстныхъ правителей, чтобы все было спокойно, и чтобы граждане платили исправно какъ можно больше налоговъ. До всего остального центральной власти не было никакого дѣла. Подеста могъ набивать себѣ карманы, могъ строить себѣ дворцы, могъ гонять свободныхъ гражданъ къ себѣ на барщину, могъ сажать ихъ въ тюрьмы, могъ вѣшать и колесовать ихъ, не отдавая никому отчета въ своихъ распоряженіяхъ. При подестахъ жители Ломбардіи платили въ шесть разъ больше того, что̀ требовалось съ нихъ при выборныхъ консулахъ. Эти деньги шли конечно не на общеполезныя предпріятія и учрежденія, а на домашніе расходы подесты, намѣстника и императора. Всѣмъ ломбардцамъ было плохо, но миланцамъ и кремаскамъ приходилось особенно тяжело. Мѣстные правители считали себя обязанными дѣйствовать въ отношеніи къ нимъ безсовѣстно и безчеловѣчно.

Кремаски и миланцы были обложены такими поборами, что имъ самимъ для удовлетворенія всѣхъ личныхъ и хозяйственныхъ потребностей оставалось всего одна треть собираемой жатвы. Между тѣмъ кремская и миланская территоріи были совершенно опустошены во время войны; скотъ, виноградники, фруктовые сады, хозяйственныя строенія—все это было уничтожено, и все это надо было заводить вновь; все это требовало расходовъ, а деньги уходили постоянно въ бездонные карманы мѣстныхъ правителей и канцлера Райнальда. Кромѣ того гражданъ Милана гоняли насильно на казенныя работы; ихъ заставляли строить для императора замки и дворцы изъ камней миланскихъ развалинъ. Сопротивленіе было невозможно; о возстаніи нечего было и думать: у миланцевъ было отобрано оружіе, и они были поселены въ четырехъ различныхъ мѣстечкахъ, открытыхъ со всѣхъ сторонъ первому встрѣчному усмирителю. Многіе миланцы не въ силахъ были терпѣть свое униженіе и уходили изъ своей разоренной родины въ другіе итальянскіе города; тамъ они передавали своимъ новымъ знакомымъ всѣ подробности своего великаго народнаго горя, и разсказы ихъ медленно подготовляли матеріалы для новой бури. Всѣ города сѣверной и средней Италіи чувствовали на себѣ руку нѣмецкаго правительства. Всѣ они жалѣли о своей поблекшей свободѣ и прислушивались, съ глубокимъ сочувствіемъ, къ разсказамъ тѣхъ людей, которыхъ страданія были живымъ укоромъ для каждаго итальянца, измѣнившаго общему дѣлу во время послѣдней войны.

Миланскихъ выходцевъ принимали радушно и почтительно даже въ тѣхъ городахъ, которые безпредѣльно ненавидѣли Миланъ во время его могущества. Бергамо, Комо, даже Лоди, Павія и Кремона начали сочувствовать миланцамъ, когда увидѣли, что доведено до нищеты цѣлое населеніе богатой и плодородной области.

Въ концѣ 1163 года Фридрихъ снова пріѣхалъ въ Италію съ блестящей придворной свитой, но безъ арміи. Онъ былъ увѣренъ, что на этотъ разъ нигдѣ не встрѣтитъ сопротивленія. Онъ не ошибся. Ему дѣйствительно пришлось услышать только робкіе стоны и смиренныя жалобы.

Въ началѣ 1164 года онъ проѣзжалъ изъ Лоди въ Монцу, гдѣ строился для него великолѣпный дворецъ. Узнавши о томъ, что его ждутъ, миланцы вышли толпою на дорогу и простояли въ ожиданіи императорскаго поѣзда цѣлую ночь, подъ холоднымъ дождемъ, чуть не по колѣно въ грязи. Наконецъ показался императоръ. Миланцы бросились на колѣни передъ его лошадьми и, заливаясь слезами, стали умолять его о томъ, чтобы онъ облегчилъ ихъ участь и усовѣстилъ сколько-нибудь мѣстныхъ администраторовъ. Фридриха повидимому тронули слезы просителей; онъ даже приказалъ отпустить тѣхъ заложниковъ, которые были взяты послѣ сдачи Милана; но, не желая утомлять и тревожить себя мелкими дрязгами, онъ великодушно предоставилъ разсмотрѣніе всѣхъ жалобъ своимъ агентамъ, то есть—тѣмъ самымъ мѣстнымъ начальникамъ, противъ которыхъ эти жалобы были направлены.

Города Веронской Маркіи также попробовали жаловаться и получили отъ императора доброжелательный совѣтъ постоянно обращаться съ своими просьбами и претензіями къ мѣстному начальству, которое собственно для того и существуетъ, чтобы воздавать каждому по его заслугамъ. Фридрихъ не имѣлъ причины раскаяваться въ томъ, что не взялъ съ собою нѣмецкой арміи.—Но вдругъ оказалось, что города Веронской Маркіи недовольны императорской резолюціей. Когда императоръ уѣхалъ въ Эмилію—города Верона, Виченца, Падуя и Тревиза обсудили сообща свое положеніе и заключили между собою союзъ для того, чтобы ограничить неумѣренныя притязанія нѣмецкаго правительства, отмѣнившаго или нарушившаго множество вѣковыхъ правъ, привилегій, обычаевъ и законовъ. Венеція, никогда не подчинявшаяся нѣмецкимъ императорамъ, также приступила къ этому союзу, потому что возрастающее могущество Фридриха становилось для нея опаснымъ.

Условившись съ венеціянцами, веронскіе конфедераты взялись за оружіе, прогнали отъ себя императорскихъ намѣстниковъ и начали воевать съ сосѣдними магнатами, не желавшими присоединиться къ ихъ лигѣ. Какъ только Фридриху донесли объ этомъ, онъ тотчасъ воротился въ Павію и собралъ милиціи тѣхъ ломбардскихъ городовъ, на вѣрность которыхъ онъ всего болѣе могъ разсчитывать. Павійцы, поварцы, кремоняне, кодійцы и комаски пошли подъ начальствомъ императора опустошать веронскую территорію. Армія веронской лиги вышла къ нимъ навстрѣчу. Тутъ Фридрихъ замѣтилъ, что его войска идутъ за нимъ неохотно и обнаруживаютъ сочув-

ствіе къ дѣлу мятежниковъ, которыхъ они должны были усмирять или истреблять. Фридрихъ понялъ, что онъ находится въ рукахъ своей итальянской арміи, которая въ рѣшительную минуту можетъ передаться на сторону мятежниковъ, задержать его самого въ плѣну и выдавить изъ него какія-угодно уступки въ пользу ломбардскихъ городовъ. Эта мысль до такой степени поразила Фридриха, что онъ тайкомъ убѣжалъ изъ своего собственнаго лагеря и поспѣшно уѣхалъ въ Германію за нѣмецкой арміей.

Отсутствіе Фридриха продолжалось два года. Въ это время веронскіе конфедераты укрѣпили свои города и замки, втянули въ свою лигу многихъ магнатовъ веронской епархіи и пріобрѣли себѣ особенно полезнаго союзника въ лицѣ папы Александра III, который, вступивъ на престолъ въ 1159 году, съ этого времени находился постоянно въ открытой борьбѣ съ императоромъ, державшимъ сторону его противника, антипапы Виктора III. Уже предшественникъ Александра III, Адріанъ IV, по многимъ вопросамъ велъ съ императоромъ непріятную переписку, не смотря на то, что императоръ великодушно подарилъ ему опаснаго еретика и демагога, Арнольда Брешіанскаго. Вопросъ объ инвеституратахъ, кое какъ замятый Генрихомъ V, опять всплылъ на верхъ, принявши новую форму. Опять обозначилась невозможность провести между обѣими властями такія границы, которыми обѣ стороны были-бы навсегда довольны. Адріанъ умеръ именно въ то время, когда споръ начиналъ дѣлаться горячимъ и рисковалъ превратиться въ обмѣнъ ругательствъ и проклятій.

Послѣ смерти Адріана голоса кардиналовъ раздѣлились. Одна партія, болѣе многочисленная, выбрала кардинала Роллапда, который припялъ имя Александра III. Другая, составлявшая сильное меньшинство, провозгласила папою кардинала Октавія, который назвалъ себя Викторомъ III. Это двойное избраніе произошло въ 1159 году, въ то время, когда Фридрихъ осаждалъ Крему. Республиканскія учрежденія продолжали существовать въ Римѣ, но неизвѣстно—для кого и зачѣмъ они существовали. Послѣ смерти Арнольда они потеряли всякій смыслъ. Республикапскій сенатъ подчинился римскимъ дворянамъ, сталъ потакать ихъ продѣлкамъ и совершенно утратилъ уваженіе и довѣріе народа. Когда Александръ и Викторъ стали спорить между собой о папскомъ престолѣ, тогда обнаружился полный разладъ между римскимъ народомъ и его республиканскимъ правительствомъ. Народъ стоялъ за Александра, а сенатъ вмѣстѣ съ дворянами поддерживалъ Виктора. Викторъ захватилъ своего противника въ плѣнъ, но народъ отбилъ его вооруженной силой, послѣ чего Александръ ушелъ изъ Рима, гдѣ самовластно хозяйничали сенатская и дворянская партія, имѣвшая въ своемъ распоряженіи множество укрѣпленныхъ башенъ. Викторъ, тщеславный и изворотливый интриганъ, заботился только о томъ, чтобы сначала какъ-нибудь добыть, а потомъ какъ-нибудь удержать папскую тіару. Чувствуя незаконность своего избранія, онъ началъ подольщаться къ императору, которому, разумѣется, было пріятно и выгодно имѣть дѣло съ любезнымъ, уступчивымъ и безгласнымъ папою. Въ 1160 году Фридрихъ созвалъ въ Павіи соборъ и пригласилъ на этотъ соборъ обоихъ папъ, собираясь рѣшить, кому изъ нихъ должна принадлежать тіара. Викторъ явился въ Павію, и Фридрихъ вмѣстѣ съ своими епископами призналъ его папою. Александръ, изгнанный изъ Рима и бродившій по итальянскимъ городамъ, отвѣчалъ, напротивъ того, на приглашеніе императора, что законный преемникъ св. Петра не подлежитъ суду соборовъ и земныхъ правителей. Тогда начались, разумѣется, взаимныя проклятія. Соборъ, созванный Фридрихомъ, проклялъ Александра, а Александръ, съ своей стороны, отлучилъ отъ церкви императора и разрѣшилъ его подданныхъ отъ присяги. Все это произошло раньше паденія Милана.

Партія Александра III была очень сильна. Его признавали Франція и Англія. Всѣ искренніе католики во владѣніяхъ самого Фридриха находили, что императоръ поддерживаетъ незаконнаго папу единственно для того, чтобы черезъ это подставное лицо господствовать надъ церковью. Всѣ клерикалы, дорожившіе самостоятельностью и могуществомъ своей корпораціи, смотрѣли съ величайшимъ негодованіемъ на угодливость антипапы, готоваго ради своихъ личныхъ выгодъ отказаться отъ грандіозныхъ принциповъ Григорія VII. Сторону Фридриха въ его борьбѣ съ законнымъ папою держали только тѣ духовныя особы, для которыхъ осязательное и питательное блюдо чечевицы было дороже самыхъ величественныхъ отвлеченныхъ правъ. Такія особы вездѣ и всегда имѣются въ слишкомъ достаточномъ количествѣ, но онѣ никогда не могутъ составить собой силу своей партіи, потому что онѣ всегда согласны съ побѣдителемъ и начинаютъ дѣйствовать только тогда, когда можно лягать мертваго врага и заниматься дѣлежемъ добычи. Фридрихъ имѣлъ такимъ образомъ очень смѣлыхъ, дѣятельныхъ и упорныхъ враговъ и очень трусливыхъ друзей, которые всегда готовы были поздравлять его съ одержанными побѣдами, но съ своей стороны ничего не дѣлали для того, чтобы переработать убѣжденія народа и дать отпоръ неутомимой пропагандѣ искреннихъ папистовъ. Клерикальные враги Фридриха не дремали тогда, когда сѣверная Италія начала волноваться. Представители гильдебрандовскихъ тенденцій заключили тѣсный союзъ съ защитниками и возстановителями республиканской свободы. Этотъ союзъ не могъ быть особенно прочень. Послѣ побѣды онъ непремѣнно долженъ былъ разрушиться. Но онъ былъ удобенъ именно тѣмъ,

что давалъ обѣимъ сторонамъ возможность одержать побѣду надъ сильнымъ и воинственнымъ императоромъ. Клерикадамъ нужна была здоровая дубина, которая переломила-бы мечъ Фридриха Барбароссы. Этой дубиной оказались для нихъ итальянскіе республиканцы. Республиканцамъ для побѣды необходимо было только единодушіе и одновременное воодушевленіе. Эти ингредіенты были имъ доставлены трудами клерикаловъ.

Когда партія Александра III соединилась съ ломбардскими республиканцами, тогда во всѣхъ городахъ сѣверной Италіи началась стройная, постоянная и неуловимая дѣятельность многихъ сотенъ самыхъ искусныхъ и самыхъ вліятельныхъ агитаторовъ и дипломатовъ. Гдѣ нужно было разогрѣть республиканскія страсти, тамъ говорилось съ жестами и со слезами о пенстовствахъ нѣмецкаго тирана, угнетающаго прекрасную Ломбардію и даже поднявшаго свою святотатственную руку на вѣковыя права католической церкви. Гдѣ граждане сомнѣвались въ законности сопротивленія, тамъ церковь благословляла и ободряла бойцовъ, готовыхъ идти на смерть за ея святое дѣло. Гдѣ существовала между различными городами застарѣлая ненависть, не позволявшая имъ соединиться и сражаться вмѣстѣ подъ однимъ знаменемъ, — тамъ говорилось всѣмъ и каждому о христіанской любви и о священной обязанности прощать обиды. Словомъ, воспріимчивыя нивы ломбардскихъ умовъ обрабатывались ревностными проповѣдниками такъ искусно, что общее возстаніе противъ нѣмецкаго господства становилось неизбѣжнымъ.

Въ это-же самое время партія Александра III оказывала Ломбардіи еще и ту услугу, что оттягивала силы Фридриха то въ Германію, то въ Римъ, до тѣхъ поръ, пока всѣ элементы вооруженнаго возстанія окончательно созрѣли въ угнетенныхъ городахъ сѣверной Италіи.

XIV.

ЛОМБАРДСКАЯ ЛИГА.

Фридрихъ перешелъ черезъ Альпы съ сильной нѣмецкой арміей въ концѣ осени 1166 года. Войска веронской лиги были готовы сражаться, но императоръ хотѣлъ сначала усыпить и разъединить конфедератовъ переговорами. Поэтому онъ далъ городамъ нѣсколько неопредѣленно благосклонныхъ обѣщаній и пошелъ на югъ къ Феррарѣ и Болоньѣ. Прошло полгода, наступила весна, и во все это время не случилось ни одного столкновенія между нѣмцами и ломбардскими мятежниками. Въ началѣ апрѣля вероняне пригласили депутатовъ отъ угнетенныхъ городовъ съѣхаться для совѣщаній въ монастырь Пундито, находившійся между Бергамо и развалинами Милана. Кромѣ членовъ веронской лиги на этотъ съѣздъ прислали своихъ уполномоченныхъ города Кремона, Бергама, Брешія, Мантуя и Феррара. Явилось также нѣсколько миланскихъ гражданъ, пользовавшихся полной довѣренностью своихъ несчастныхъ соотечественниковъ. Миланцы напомнили съѣзду, какъ бился, какъ страдалъ, какъ изнемогъ и погибъ ихъ родной городъ въ неравной борьбѣ за то самое общее дѣло, о защитѣ котораго пріѣхали совѣщаться ломбардскіе депутаты. Миланцы увѣрили депутатовъ, что въ ихъ согражданахъ не угасли подъ нѣмецкимъ гнетомъ ни прежнее мужество, ни прежняя любовь къ отечеству и свободѣ. Миланцы потребовали, чтобы ихъ городъ былъ возстановленъ, и чтобы имъ такимъ образомъ снова дана была возможность проливать свою кровь за свободу и благосостояніе всей Ломбардіи. Многіе изъ депутатовъ, выслушавшихъ это требованіе, получили свое полномочіе отъ такихъ городовъ, которые всегда были заклятыми врагами Милана. Но теперь были уже не тѣ времена, когда ломбардскіе города бѣсились отъ жиру и лѣзли въ драку, чтобы обнаружить другъ надъ другомъ свое молодечество. Общее горе притупило мелкія враждебныя страсти и уничтожило воспоминаніе о прежнихъ взаимныхъ оскорбленіяхъ. Чиновники Фридриха съ одной стороны и клирики съ другой — объяснили горожанамъ, что пора наконецъ взяться за умъ. Чувствуя на себѣ руку первыхъ и слушая поученія вторыхъ, горожане убѣдились понемногу въ необходимости единодушія. Депутаты всѣхъ городовъ обѣщали миланцамъ склонить своихъ согражданъ къ тому, чтобы они возстановили стѣны Милана и съ оружіемъ въ рукахъ охраняли его жителей до тѣхъ поръ, пока эти жители не будутъ въ состояніи защищаться снова собственными средствами. Затѣмъ депутаты составили форму той присяги, которая требовалась отъ членовъ конфедераціи. Эту формулу рѣшено было представить народному собранію каждаго города; если народное собраніе одобритъ и утвердитъ ее, то всѣ граждане должны будутъ повторить эту присягу, и городъ окажется присоединеннымъ къ союзу. Этой присягой города обязывались, втеченіи двадцати лѣтъ, постоянно помогать другъ другу противъ всякаго, кто осмѣлится нападать на привилегіи, пріобрѣтенныя городами отъ начала царствованія Генриха IV до вступленія на престолъ Фридриха Барбароссы. Убытки и потери, понесенные въ войнѣ каждымъ членомъ союза, должны были распредѣляться на весь союзъ, который такимъ образомъ подчинялъ себя системѣ взаимнаго страхованія.

Послѣ съѣзда депутатовъ миланцы недѣли три находились постоянно въ самой мучительной тревогѣ. Они переживали тѣ ощущенія, которыя, четырнадцать лѣтъ тому назадъ, достались на долю лодійцамъ послѣ проѣзда Сихерія. Они были увѣрены, что молва о ихъ преступныхъ надеждахъ и еще болѣе преступныхъ сношеніяхъ съ

мятежниками разнеслась по всей странѣ и ужъ конечно дошла до ихъ близкихъ сосѣдей, павійцевъ, которыхъ преданность императору оставалась совершенно непоколебимой, не смотря на все то, что дѣлалось вокругъ нихъ во всей Ломбардіи. Миланцы боялись не безъ основанія, что павійцы примутъ на себя обязанность смирить и наказать ихъ самымъ жестокимъ образомъ. Въ Павіи дѣйствительно много толковали о томъ, что слѣдуетъ отпразиться къ беззащитнымъ миланскимъ мѣстечкамъ, выжечь ихъ до тла и перерѣзать жителей, чтобъ впередъ не смѣли сговариваться съ бунтовщиками. Но доблестное намѣреніе павійцевъ осталось невыполненнымъ. Надо полагать, что клерикальная дипломатія сдѣлала тутъ свое дѣло и какимъ-нибудь образомъ помѣшала этому замыслу развиться и созрѣть.

27-го апрѣля безоружные миланцы все еще съ великимъ страхомъ посматривали на павійскую дорогу. Вдругъ въ мѣстечко Св. Діонисія въѣхали десять рыцарей съ знаменами бергамской общины; за ними показались знаменщики Брешіи, Кремоны, Мантуи, Вероны и Тревизы. Далѣе шли милиціи этихъ городовъ и везли съ собой цѣлый обозъ оружія для миланцевъ, которые вдругъ сообразили, что теперь они спасены, и что отечество ихъ воскресаетъ изъ пепла. Радостная вѣсть быстро облетѣла всѣ четыре мѣстечка; жители сбѣжались со всѣхъ сторонъ, вооружились, снова почувствовали себя свободными гражданами великой республики и съ криками преступнаго восторга кинулись во весь опоръ къ развалинамъ Милана. Пришедшія милиціи были уже теперь войсками *ломбардской лиги*. Онѣ расположились лагеремъ у миланскихъ развалинъ и стали работать вмѣстѣ съ миланцами надъ очищеніемъ засыпанныхъ рвовъ и надъ возстановленіемъ разрушенныхъ стѣнъ. Тѣ-же самые крестьяне, которые въ 1162 году разрушили одну изъ частей Милана, строили теперь этотъ городъ заново, вмѣстѣ съ его обитателями. Войска ломбардской лиги ушли только тогда, когда возстановленныя укрѣпленія уже давали миланцамъ возможность отражать враговъ безъ посторонней помощи.

Павію невозможно было втянуть въ беззаконную ломбардскую лигу. Союзники знали это и не хотѣли тратить время на безполезныя попытки, тѣмъ болѣе, что они легко могли обойдтись безъ содѣйствія павійцевъ. Но городъ Лоди былъ положительно необходимъ для ломбардской лиги. Этотъ городъ лежитъ между Кремоною и Миланомъ. Въ этомъ городѣ находилась главная квартира императора во время его послѣдней войны съ миланцами. Еслибы этотъ городъ остался въ рукахъ Фридриха, то Фридрихъ могъ бы отрѣзать Миланъ отъ лиги, и по-прежнему морить его голодомъ, опустошая миланскую территорію неожиданными набѣгами. Отдѣлить лодійцевъ отъ императора было не легко. Лодійцы видѣли въ Барбароссѣ своего благодѣтеля и освободителя, а къ ломбардской лигѣ относились совершенно недоброжелательно. Кремонянамъ, которые постоянно были друзьями и покровителями лодійцевъ, было поручено вести съ ними переговоры насчетъ ихъ присоединенія къ лигѣ.

Первое посольство отъ Кремоны кончилось полной неудачей. Лодійцы закричали всѣ въ одинъ голосъ — и консулы, и совѣтники, и граждане, что они за своего возлюбленнаго императора, отца и благодѣтеля, всегда готовы будутъ жертвовать всѣмъ на свѣтѣ — имуществомъ, жизнью, женами и дѣтьми. Кремонскіе послы раскланялись и уѣхали ни съ чѣмъ.

Второе посольство также потратило даромъ всѣ сокровища самаго убѣдительнаго краснорѣчія. Лодійцы пылали усердіемъ и твердили свою старую пѣсню. Тогда кремоняне созвали депутатовъ отъ Милана, отъ Бергама, отъ Брешіи и отъ Мантуи и объяснили имъ, что просьбы и аргументы на лодійцевъ не дѣйствуютъ. Депутаты рѣшили, что надо добыть Лоди силой.

Собрались милиціи этихъ городовъ, окружавшихъ Лоди со всѣхъ сторонъ. Но прежде начала военныхъ дѣйствій кремоняне отправили въ Лоди послѣднее посольство, которому поручено было сказать, что дальнѣйшее упорство подвергнетъ Лоди всѣмъ ужасамъ войны, осады и быть можетъ разрушенія. Лодійцы отвѣчали, что они готовы погибнуть, если у кремонянъ, ихъ бывшихъ друзей и постоянныхъ сподвижниковъ, хватитъ жестокости преслѣдовать ихъ за то, что они хотятъ свято исполнять долгъ вѣрности и благодарности.

Получивъ отрицательный отвѣтъ, союзники тотчасъ осадили городъ и въ скоромъ времени довели лодійцевъ до того, что имъ приходилось или умереть съ голода, или присягнуть ломбардской лигѣ. Лодійцы сдались, произнесли требуемую присягу и остались полными хозяевами своего города, сдѣлавшись съ этого времени вѣрными членами лиги. Тогдашніе итальянцы были еще до такой степени прямодушны и честны, что данная клятва послужила для союзниковъ совершенно достаточнымъ обезпеченіемъ. Имъ послѣ этой клятвы уже незачѣмъ было ни выгонять лодійцевъ изъ ихъ города, ни ставить въ этотъ городъ свой гарнизонъ.

Союзъ быстро разростался. Осенью 1167 г., вскорѣ послѣ вразумленія лодійцевъ, къ союзу принадлежали уже пятнадцать значительныхъ городовъ, а именно: Венеція, Верона, Виченца, Падуя, Тревиза, Феррара, Брешія, Бергамо, Кремона, Миланъ, Лоди, Піаченца, Парма, Модена и Болонья. При такомъ составѣ союзу уже не страшно было помѣряться силами съ императоромъ, тѣмъ болѣе, что первому приходилось вести у себя дома оборонительную войну, между тѣмъ какъ послѣдній принужденъ былъ вести постоянно наступательную войну въ чужой землѣ, гдѣ все было ему враждебно — и люди, и климатъ.

Именно въ 1167 году климатъ чужой земли жестоко далъ себя знать великолѣпной арміи Фридриха Барбароссы. Фридрихъ въ концѣ іюля вздумалъ осаждать Римъ, въ которомъ господствовалъ въ это время его неутомимый противникъ Александръ III. Осада окончилась полнымъ успѣхомъ: Александръ бѣжалъ на югъ къ сицилійскому королю; римляне покорились императору, но въ нѣмецкомъ лагерѣ открылась *маремманская лихорадка*, которая, въ короткое время, уничтожила почти всю армію и всѣхъ самыхъ надежныхъ совѣтниковъ и чиновниковъ Фридриха. Императоръ остался почти ни съ чѣмъ и сталъ поспѣшно пробираться на сѣверъ съ ничтожными остатками своего войска. При этомъ онъ тщательно сбходилъ области городовъ, присоединившихся къ ломбардской лигѣ, и направлялся къ Павіи. Дорога его лежала черезъ территорію маленькаго городка Понтремоли, который нисколько не участвовалъ въ волненіяхъ Ломбардіи. Этотъ городокъ вздумалъ покуражиться надъ императоромъ и рѣшительно запретилъ ему идти черезъ свои земли. Фридрихъ очутился въ безвыходномъ положеніи. Его отрядъ былъ такъ слабъ, что не было никакой возможности идти напроломъ. Фридрихъ не зналъ, что дѣлать и куда дѣваться. Наконецъ его выручилъ одинъ изъ мѣстныхъ магнатовъ, маркизъ Маласпина; онъ вышелъ къ нему на встрѣчу и повелъ его въ Павію черезъ горныя ущелья, находившіяся въ его владѣніяхъ.

Въ Павіи императоръ собралъ сеймъ, но результатъ этого собранія оказался такъ-же похожимъ на настоящій сеймъ, какъ мизерный отрядъ Фридриха, спасовавшій передъ Понтремоли, былъ похожъ на настоящую армію. По приглашенію императора явилось всего пятеро магнатовъ, да депутаты отъ четырехъ городовъ — Павіи, Новары, Комо и Верчелли. На этомъ маленькомъ кусочкѣ сейма Фридрихъ произнесъ молніеносную рѣчь противъ гнусныхъ ломбардскихъ мятежниковъ, поклялся наказать ихъ такъ, какъ никто никого никогда не наказывалъ, и даже для большей картинности бросилъ посреди собранія свою перчатку, какъ залогъ будущей безпощадной борьбы. Всѣ города, присоединившіеся къ конфедераціи, кромѣ Кремоны и Лоди,— были объявлены врагами имперіи. Собраніе во всѣхъ этихъ случаяхъ старалось сочувственно шумѣть и вообще изображать собою настоящій сеймъ, многочисленный и оживленный.

Послѣ закрытія сейма Фридрихъ пошелъ съ своими итальянскими вассалами опустошать миланскую область. Въ это время ломбардская лига собрала свой сеймъ и рѣшила выгнать изъ Италіи ея иноземнаго угнетателя. Войска лиги пошли на встрѣчу къ императору, но Фридрихъ уклонился отъ сраженія, ушелъ изъ миланской области и бросился грабить и жечь территорію Піаченцы. Союзники за нимъ; онъ отъ нихъ; въ такихъ движеніяхъ прошла вся зима. Фридрихъ вездѣ старался испортить, уничтожить или стянуть плохо лежавшую собственность мятежныхъ подданныхъ; а когда собственники являлись на мѣсто его подвиговъ съ достаточнымъ количествомъ дреколья, тогда онъ увертывался и переносилъ свою дѣятельность въ другія, хуже охраненныя земли, откуда его, вслѣдъ затѣмъ, также выгоняли за непочтительное обращеніе съ собственностью. Наконецъ Фридрихъ и самъ замѣтилъ, что преемнику Августа и Константина Великаго не совсѣмъ прилично заниматься похищеніемъ мужицкой скотины, поджиганіемъ ничтожныхъ деревушекъ и разными другими подвигами мелкаго мародерства.

Весною 1168 года онъ уѣхалъ въ Германію такъ быстро и съ такой таинственностью, что его собственные итальянскіе воины узнали о его отъѣздѣ только тогда, когда его не было уже въ Италіи. Его опять обидѣли во время этого путешествія жители одного маленькаго итальянскаго городка, Сузы. Эти дерзкіе люди остановили его, отобрали у него всѣхъ заложниковъ, которыхъ онъ везъ съ собою, и отпустили его только тогда, когда убѣдились, что въ его свитѣ нѣтъ ни одного итальянца.

Всѣ воспитательные труды Фридриха Барбароссы пошли прахомъ. Несчастная Италія каменѣла въ развратѣ анархическихъ заблужденій.

Послѣ таинственнаго отъѣзда императора въ Германію, его партія, и безъ того малочисленная, окончательно разстроилась. Новара, Верчелли и Комо примкнули къ ломбардскому союзу. Ихъ примѣру послѣдовали одинъ за другимъ магнаты, засѣдавшіе на послѣднемъ императорскомъ сеймѣ. Даже маркизъ Маласпина, выручившій Фридриха въ окрестностяхъ Понтремоли, не устоялъ противъ общаго теченія и подружился съ мятежниками. Нензмѣнно вѣрными вассалами императора остались только одинъ городъ и одинъ магнатъ: Павія и маркизъ Монферратскій.

Чтобы парализировать дѣятельность этихъ послѣднихъ приверженцевъ императора, ломбарды рѣшились построить между Монферратомъ и павійскою областью укрѣпленный городъ, который долженъ былъ перервать сообщеніе между обѣими территоріями. Имя, данное этому городу, показываетъ ясно, какъ сильно было въ республиканской партіи вліяніе клерикальной корпораціи. Городъ былъ названъ Александріею, въ честь Александра III, котораго ломбарды считали вождемъ и верховнымъ покровителемъ своей лиги. Въ половинѣ 1168 г. всѣ войска Кремоны, Милана и Піаченцы расположились лагеремъ у сліянія рѣчекъ Танаро и Бормиды и принялись за построеніе новаго города. Они вырыли широкій ровъ, впустили въ него воды двухъ сосѣднихъ рѣкъ, соорудили достаточное количество домовъ и потомъ согнали въ новорожденную Александрію жителей восьми

окрестныхъ деревень. Этимъ жителямъ лига предоставила право устроить у себя свободное республиканское правительство. Кромѣ того лига попросила папу учредить въ новомъ городѣ отдѣльную епархію. Александрія расцвѣла такъ быстро, что уже въ первый годъ своего существованія могла выставлять въ поле до 15,000 конныхъ и пѣшихъ воиновъ. Еще до основанія Александріи къ союзу присоединились города Тортона и Асти, лежащіе недалеко отъ того мѣста, гдѣ лига считала нужнымъ построить себѣ новый оплотъ.

Итальянскія войны начинали надоѣдать нѣмецкимъ феодаламъ. Фридрихъ былъ принужденъ оставлять между своими походами довольно значительные антракты. Послѣ 1168 года онъ, впродолженіи цѣлыхъ шести лѣтъ, совсѣмъ не показывался въ Италіи, и ломбарды остались ненаказанными.

Дѣла ломбардскаго союза шли превосходно. Еслибы ломбарды обладали достаточной дозой политической предусмотрительности, еслибы они съумѣли воспользоваться вполнѣ выгодами своего положенія, то могли-бы навсегда избавить Италію отъ чужеземнаго господства и навсегда упрочить за ней всѣ удобства національной независимости. Для этого стоило только превратить временный союзъ ломбардскихъ городовъ въ вѣчную и хорошо организованную федерацію равноправныхъ республикъ, не зависящихъ ни отъ какого призрака, подобнаго священной римской имперіи. Но основаніе этой федераціи требовало двухъ главныхъ условій, которыя оба при тогдашнемъ уровнѣ политическаго развитія были одинаково неисполнимы.

Во-первыхъ, требовалось уничтоженіе той политической фикціи, которая связывала между собой Италію и Германію, двѣ страны, не сходныя ни по климату, ни по характеру жителей, ни по ихъ языку, ни по складу и направленію всей общественной жизни и зарождающейся умственной культуры. Во-вторыхъ, отдѣльные итальянскіе города должны были признать надъ собою общее федеральное правительство и отказаться, въ пользу этого правительства, отъ извѣстной доли своей муниципальной автономіи.

Но тогдашніе люди были чрезвычайно робки въ области мысли и неукротимо смѣлы въ дѣйствительной жизни. Ихъ умъ несъ на себѣ кротко и терпѣливо всю тяжесть старыхъ понятій, выработанныхъ далекимъ прошедшимъ и давно потерявшихъ свой живой смыслъ и свое первобытное значеніе. Ихъ воля въ то-же время возмущалась противъ всякаго стѣсненія и вступала въ упорную борьбу съ каждымъ препятствіемъ, нарушавшимъ свободную игру ихъ могучихъ страстей. Они готовы были каждый годъ давать императору по нѣсколько генеральныхъ сраженій, но посягнуть на существованіе цѣлой политической системы, убить критикой такую идею, съ которою жили и умерли ихъ родители и предки,—это было для нихъ совершенно немыслимо. Всѣ ихъ политическія понятія находились подъ верховнымъ господствомъ теологіи. Имъ былъ неизвѣстенъ тотъ чисто-утилитарный взглядъ на общественную жизнь, который характеризуетъ собой настоящее время. Встрѣчаясь съ какимъ-нибудь учрежденіемъ, теперешніе европейцы прежде всего задаютъ себѣ вопросъ: на что оно нужно? Кому, чѣмъ и какъ оно приноситъ пользу? Если этотъ вопросъ не находитъ себѣ удовлетворительнаго отвѣта, то ненужное учрежденіе осуждается общественнымъ мнѣніемъ и рано или поздно падаетъ, не смотря на то, что у этого учрежденія имѣется замѣчательное, или даже блестящее прошедшее. Люди XII вѣка, напротивъ того, уважали въ теоріи каждое учрежденіе, которому удалось очень долго прожить на свѣтѣ. Они, не зная навѣрное, какъ сложилось и выработалось то или другое старое учрежденіе, утверждали, что его основатели обладали разными сверхъестественными достоинствами и дарованіями, которыя и упрочили за ихъ созданіемъ его изумительную долговѣчность. Какъ-же могли простые люди накладывать руку на то, что было создано нечеловѣческимъ разумомъ? Если старое учрежденіе вламывалось въ новую жизнь, если оно давило и стѣсняло проявленія свѣжихъ силъ, развернувшихся недавно, подъ вліяніемъ новыхъ условій, то люди защищали самостоятельность и оригинальность настоящаго отъ притязаній прошедшаго, люди устраивали противъ стараго учрежденія разные заборы и частоколы, которые должны были удерживать его въ извѣстныхъ границахъ, люди вступали даже въ борьбу съ старымъ учрежденіемъ и заставляли его попятиться назадъ. Но при этомъ все-таки никогда не поднимался и не могъ подняться вопросъ: быть или не быть тому старому учрежденію, которое однако-же не доставляло живымъ людямъ ничего, кромѣ хлопотъ, убытковъ и огорченій. Поэтому ломбардскіе союзники, имѣвшіе полную возможность навсегда запереть нѣмецкому королю входъ въ Италію, никакъ не могли подумать объ уничтоженіи священной римской имперіи.

Города боролись съ императоромъ изъ-за того, чтобы упрочить за собой полную самостоятельность, оставаясь въ то-же время въ номинальной зависимости отъ имперіи. Стремясь къ этой цѣли, которая была понятна и дорога каждому гражданину, ломбардскіе города никакъ не могли добровольно отказаться отъ какой-бы то ни было доли своей автономіи. Господство центральнаго союзнаго правительства, составленнаго по выбору изъ лучшихъ ломбардскихъ гражданъ, было все-таки невыносимо для отдѣльныхъ городовъ и не могло быть принято ими добровольно. Миланецъ хотѣлъ, чтобы важнѣйшіе государствен-

ные вопросы—о войнѣ и мирѣ, о налогахъ, о сношеніяхъ съ другими державами—рѣшались непремѣнно миланскими гражданами, въ миланскихъ совѣтахъ, на миланской городской площади. Онъ никакъ не хотѣлъ отдавать рѣшеніе этихъ вопросовъ собранію, составленному изъ миланцевъ, лодійцевъ, кремонянъ, веронянъ, тревизанцевъ, падуанцевъ, вичентинцевъ и другихъ союзниковъ,—такому собранію, въ которомъ миланцы одни, сами по себѣ, окажутся совершенно ничтожнымъ меньшинствомъ. Ему казалось невыносимо позорнымъ то обстоятельство, что его Миланъ долженъ будетъ платить деньги, вооружаться, воевать и мириться не тогда, когда онъ, Миланъ, самъ того желаетъ, а тогда, когда позволятъ или прикажутъ всѣ эти лодійцы, падуанцы, кремоняне, которыхъ онъ и знать совсѣмъ не хочетъ. Такъ-же точно думалъ, въ свою очередь, каждый гражданинъ Лоди, Вероны, Піаченцы, Тревизы и всѣхъ другихъ союзныхъ городовъ.

При такой безграничной щекотливости муниципальнаго самолюбія прочная и сложная организація союза была невозможна. Ломбардская лига была сильна и могла дѣйствовать рѣшительно только тогда, когда надъ ней висѣла общая и очевидная опасность, одинаково понятная всѣмъ союзнымъ городамъ. Тутъ являлось общее воодушевленіе; всѣ силы напрягались, всѣ жертвы были ничѣмъ, потому что каждый гражданинъ стоялъ за свой собственный городъ и защищалъ свое собственное достоинство, свое личное политическое могущество и значеніе. Но когда опасность исчезала или удалялась, тогда лига засыпала; каждый городъ составлялъ себѣ свои отдѣльные политическіе планы, преслѣдовалъ свои частныя цѣли, вступалъ въ соглашенія съ естественными врагами союза и готовъ былъ поссориться изъ-за каждой бездѣлицы съ тѣми сосѣдями, которые недавно защищали вмѣстѣ съ нимъ общее дѣло ломбардской независимости. Исторія Александріи представляетъ разительный примѣръ этого политическаго неряшества. Когда Фридрихъ ушелъ въ Германію, тогда союзники, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только-что выдержанной войны, принялись за дѣло очень горячо; работа закипѣла у нихъ подъ руками: и городъ они выстроили, и ровъ вырыли, и воду въ него провели, и жителей согнали, и съ папой вошли въ сношенія насчетъ учрежденія новой епархіи; одного только не успѣли сразу сдѣлать—обнести городъ хорошей каменной стѣной. Нельзя-же, въ самомъ дѣлѣ, все вдругъ! Отложили эту часть работы до будущаго сезона, а покуда, чтобы городъ не оставался совсѣмъ безъ укрѣпленій, насыпали вокругъ него земляной валъ. Послѣ этого прошло шесть лѣтъ. Кажется, въ это время можно было построить превосходнѣйшую стѣну. Между тѣмъ стѣна не строилась, и когда Фридрихъ, въ 1174 году, пришелъ осаждать Александрію, онъ увидѣлъ передъ собою тотъ самый мизерный валъ, который былъ насыпанъ на время въ ожиданіи лучшаго. Союзники въ шесть лѣтъ *не успѣли* построить стѣну, успѣвши однакоже въ одно лѣто построить цѣлый городъ, въ которомъ помѣщалось по меньшей мѣрѣ сорокъ тысячъ жителей. Ясное дѣло, что во время шестилѣтняго антракта ломбардская лига была погружена въ летаргическій сонъ. Лига не имѣла ни общественной казны, ни правильнаго сейма; она не собирала съ своихъ членовъ никакихъ налоговъ; когда необходимо было обсудить какое-нибудь общее дѣло, тогда съѣзжались консулы и подесты союзныхъ городовъ; но рѣшенія этого съѣзда еще не имѣли обязательной силы для членовъ союза; эти рѣшенія представлялись въ каждомъ отдѣльномъ городѣ на разсмотрѣніе народному собранію, которое всегда могло отказать имъ въ своемъ согласіи. Члены союзнаго съѣзда назывались *ректорами общества городовъ* и выбирали изъ своей среды президента. Власть ихъ была очень ограничена. Обязательства каждаго города, приступающаго къ союзу, были въ высшей степени эластичны и неопредѣленны. Городъ обязывался не заключать съ императоромъ и съ его приверженцами отдѣльнаго мира или перемирія и вести съ нимъ войну безъ фальши, съ добросовѣстнымъ напряженіемъ всѣхъ силъ, до тѣхъ поръ, пока общая цѣль союза будетъ достигнута. При этомъ ничего не говорилось о томъ числѣ войскъ, которое городъ долженъ выставить противъ общаго врага, для того чтобы напряженіе силъ дѣйствительно могло считаться добросовѣстнымъ. Предполагалось, что каждый городъ, изъ чувства самосохраненія, будетъ пускать въ ходъ всѣ свои силы; но это предположеніе часто оказывалось ошибочнымъ. Случалось даже не разъ, что города прямо нарушали свои обѣщанія и, соблазнившись лестными предложеніями императора, заключали съ нимъ отдѣльный миръ въ то самое время, когда лига всего болѣе нуждалась въ ихъ единодушномъ и добросовѣстномъ содѣйствіи.

XV.

ОСАДА АЛЕКСАНДРІИ И СРАЖЕНІЕ ПРИ ЛИНЬЯНО.

Фридрихъ никакъ не хотѣлъ признать себя побѣжденнымъ. Осенью 1174 года онъ снова перешелъ черезъ Альпы съ сильнымъ нѣмецкимъ войскомъ. Маленькому, но дерзкому городку Сузѣ пришлось немедленно раскаяться въ томъ, что шесть лѣтъ тому назадъ его жители обошлись непочтительно съ императоромъ, растерявшимъ въ Италіи своихъ храбрыхъ сподвижниковъ. Фридрихъ запомнилъ обиду и выжегъ Сузу до-тла.

Затѣмъ онъ направился къ городу Асти, принадлежавшему къ ломбардской лигѣ и постоянно обижавшему вѣрнаго союзника императора, маркиза Монферратскаго. Узнавши о вступленіи

Фридриха въ Италію, ломбардская лига встрепенулась; ректоры собрались на съѣздъ и послали въ Асти депутатовъ съ просьбой держаться противъ императора упорно и мужественно и съ обѣщаніемъ прислать на выручку сильное войско, какъ только осажденному городу придется плохо. Ломбарды вообще не любили сталкиваться съ нѣмцами въ открытомъ полѣ и старались по возможности утомлять и ослаблять ихъ арміи продолжительными осадами. Но астійцы обманули ожиданія союзниковъ. Они были перепуганы до крайности слухами о необыкновенной свирѣпости нѣмецкой арміи и о какихъ-то особенно ужасныхъ фламандцахъ, которые всѣхъ побѣждаютъ и никому не даютъ пощады. Какъ только Фридрихъ подошелъ къ ихъ городу, они даже не попробовали сопротивляться и тотчасъ поднесли ему городскіе ключи. Изъ Асти императоръ двинулся въ Александрію, которая оскорбляла его самымъ фактомъ своего существованія и, слѣдовательно, непремѣнно должна была подвергнуться совершенному разрушенію.

Александрійцы не оробѣли, не смотря на дурной примѣръ, поданный имъ сосѣднимъ городомъ Асти, и не смотря на мизерность того земляного вала, которымъ наградили ихъ ломбардскіе союзники. Познакомившись съ этимъ валомъ, Фридрихъ подумалъ, что городъ не выдержитъ перваго приступа: свирѣпые нѣмцы и ужасные фламандцы со всѣхъ сторонъ полѣзли на жалкія александрійскія укрѣпленія; но граждане отбивали ихъ на всѣхъ пунктахъ, прогнали ихъ обратно въ лагерь и даже сожгли ихъ осадныя машины. Тогда Фридрихъ началъ блокаду, не обращая никакого вниманія на проливные дожди, отъ которыхъ всѣ окрестности Александріи превратились въ одну сплошную трясину. Рѣки разливались, затопляли нѣмецкій лагерь, портили машины, съѣстные припасы, платье и оружіе; солдаты валялись въ грязи и умирали цѣлыми сотнями отъ всевозможныхъ лихорадокъ и горячекъ; за каждымъ кускомъ хлѣба и за каждою вязанкою сѣна приходилось посылать сильные отряды, которые очень часто возвращались съ пустыми руками, потому что жители, зная безцеремонность нѣмецкихъ солдатъ, прятались со всѣмъ своимъ имуществомъ въ укрѣпленные города; видя въ лагерѣ вѣрную смерть отъ голода или отъ болѣзней, солдаты стали разбѣгаться, и армія Фридриха грозила быстро превратиться въ фикцію, подобную священной римской имперіи, за призрачное величіе которой она должна была стоять по-поясъ въ грязи и сражаться съ гибельными итальянскими лихорадками.

Упорство Фридриха продолжалось четыре мѣсяца. Александрійцы, видя истощеніе своихъ запасовъ, обратились къ союзу съ просьбой о помощи. Ломбардскій съѣздъ, засѣдавшій въ Моденѣ, рѣшилъ, что надо отбить нѣмцевъ и ввезти въ Александрію большой обозъ съѣстныхъ припасовъ. На этотъ разъ съѣздъ опредѣлилъ въ точности, сколько воиновъ—конныхъ и пѣшихъ — долженъ выставить каждый союзный городъ; съѣздъ сдѣлалъ также раскладку той суммы денегъ, которая должна быть употреблена на закупку припасовъ. Консулы всѣхъ городовъ обязались клятвой исполнить всѣ эти требованія съѣзда.

Въ 1175 году, въ половинѣ великаго поста, союзная армія собралась подъ Піаченцою и оттуда двинула къ Александріи два транспорта припасовъ—одинъ сухимъ путемъ на возахъ, а другой на баркахъ вверхъ по рѣкѣ По и ея притокамъ. Въ началѣ страстной недѣли союзники расположились у Тортоны въ тринадцати верстахъ отъ императорскаго лагеря.

Фридриху невозможно было продолжать блокаду. Онъ рѣшился сдѣлать послѣднее отчаянное усиліе и при этомъ дошелъ до такого самоотверженія, что не пожалѣлъ даже своей императорской чести. Онъ предложилъ осажденнымъ перемиріе на послѣдніе дни страстной недѣли. Потомъ, когда перемиріе было заключено, и когда александрійцы спокойно предавались молитвѣ и благочестивымъ размышленіямъ, Фридрихъ ночью ввелъ своихъ воиновъ въ городъ черезъ подземный ходъ, который уже давно былъ прорытъ нѣмецкими инженерами отъ лагеря до самой городской площади. Какъ ни хитро была устроена эта послѣдняя ловушка, однакоже и здѣсь получилась неудача. Александрійцы переполошились во-время, высыпали изъ домовъ съ оружіемъ въ рукахъ, перебили всѣхъ нѣмцевъ, уже вылѣзшихъ изъ подкопа, замѣтили, что площадь подрыта, продавили тотъ слой земли, который лежалъ надъ тоннелемъ, и похоронили такимъ образомъ всѣхъ воиновъ, которые находились еще въ подземельѣ. Ободренные своей побѣдой, они отворили ворота, сдѣлали сильнѣйшую вылазку, опрокинули императорскія войска, шедшія на приступъ, и сожгли большую деревянную башню, изъ которой осаждающіе осыпали ихъ укрѣпленія камнями и стрѣлами.

Все это произошло въ ночь съ пятницы на субботу. На слѣдующую ночь Фридрихъ собрался въ путь, зажегъ свой оставленный лагерь и въ самое Свѣтлое воскресенье направился къ Павіи съ своей измученной и малочисленной арміей. Ему надо было идти мимо ломбардскаго лагеря, и союзники были такъ сильны, что могли не только отрѣзать ему отступленіе, но даже совершенно уничтожить всѣхъ его нѣмцевъ и фламандцевъ. Въ этомъ отчаянномъ положеніи Фридрихъ обнаружилъ замѣчательную находчивость и глубокое пониманіе тѣхъ внутреннихъ противорѣчій, изъ которыхъ слагался образъ мыслей его современниковъ. Фридрихъ подошелъ къ ломбардской арміи и потомъ въ виду непріятеля, уже выстроившагося въ боевой порядокъ, приказалъ своимъ солдатамъ остановиться и заняться

устройствомъ лагеря. Союзники увидѣли, что императоръ не хочетъ сражаться, и стали втупикъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ тутъ распорядиться? Можно-ли нападать на императора, который спокойно и довѣрчиво расположился отдыхать въ виду своихъ поддапныхъ? Не будетъ-ли такое нападеніе гнусной измѣной и преступнымъ посягательствомъ на самыя святыя чувства человѣческой природы?—Озадаченные этими вопросами, союзники оказались самыми почтительными и любезными мятежниками. Они не тронули нѣмцевъ и добровольно выпустили изъ рукъ всѣ выгоды своего положенія. Обѣ арміи провели цѣлыя сутки въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ. На другой день утромъ нѣкоторые итальянскіе дворяне, жившіе въ ладу съ обѣими партіями, попробовали устроить примиреніе. Императоръ отвѣчалъ, что, сражаясь за права имперіи, онъ готовъ однакоже отдать спорные вопросы на рѣшеніе посредникамъ, назначеннымъ съ обѣихъ сторонъ. Союзники объявили въ свою очередь, что они также согласны подчиниться рѣшенію третейскаго суда, лишь-бы только при этомъ не были нарушены права римской церкви и муниципальной свободы.

Обѣ стороны согласились въ выборѣ шестерыхъ посредниковъ и, начавши переговоры, условились между собой распустить немедленно обѣ арміи. Это послѣднее условіе было особенно выгодно для императора: армія его ни въ какомъ случаѣ не могла устоять противъ союзныхъ силъ, а распуская ее, онъ обнаруживалъ свою великодушную довѣрчивость и, спасая себя отъ вѣрнаго пораженія, разогрѣвалъ въ то-же время почтительныя чувства ломбардскихъ мятежниковъ. Переговоры были вообще гораздо опаснѣе для ломбардскаго союза, чѣмъ сраженія. Во время переговоровъ, императору удалось перетянуть на свою сторону городъ Комо и поколебать довѣріе союзниковъ въ Кремонѣ. Императоръ назначилъ кремонскихъ консуловъ суперарбитрами въ разбираемомъ спорѣ и обѣщалъ положиться на ихъ рѣшеніе въ томъ случаѣ, если выбранные посредники не успѣютъ согласиться между собой. Союзники послѣ этого стали смотрѣть косо на кремонянъ, приняли въ соображеніе ихъ старинную привязанность къ императору и припомнили тутъ-же, что кремонская милиція пришла выручать Александрію уже послѣ начала переговоровъ и послѣ распущенія обѣихъ армій.

Еслибы Фридриху удалось затянуть переговоры, то въ ломбардскомъ союзѣ обнаружились бы по всей вѣроятности очень серьезныя несогласія. Но клерикальная партія вмѣшалась въ дѣло и положила конецъ всѣмъ преждевременнымъ миролюбивымъ фантазіямъ, подъ прикрытіемъ которыхъ императоръ разстраивалъ лигу и набиралъ себѣ въ Германіи новую армію. Переговоры, начавшіеся въ лагерѣ, были перенесены въ Павію, куда вслѣдъ за императоромъ пріѣхали, по его приглашенію, уполномоченные легаты отъ папы Александра III.

Фридрихъ далъ этимъ легатамъ публичную аудіенцію на павійской площади, въ присутствіи павійскаго парламента или народнаго собранія. Одинъ изъ легатовъ, епископъ города Остіи, произнесъ строгую нравоучительную рѣчь, въ которой были подробно перечислены тяжелыя преступленія Фридриха противъ его святой матери, римской церкви. Епископъ убѣдительно совѣтовалъ императору раскаяться, исправиться и пожалѣть о собственной душѣ, подвергающейся самой смертельной опасности, и о христіанскомъ мірѣ, изнемогающемъ подъ гнетомъ невыносимыхъ страданій. Павійцы, принимавшіе постоянное участіе во всѣхъ тяжелыхъ преступленіяхъ императора, старались показать своими громкими восклицаніями, что они все-таки умѣютъ сочувствовать невыносимымъ страданіямъ, о которыхъ повѣствовалъ строгій и краснорѣчивый епископъ. Фридрихъ тоже обнаружилъ признаки глубокаго сокрушенія и отвѣчалъ легатамъ, что для прекращенія невыносимыхъ страданій онъ готовъ рѣшиться на самыя значительныя пожертвованія.

Затѣмъ начались совѣщанія уже не на площади, а въ дворцовыхъ покояхъ, при затворенныхъ дверяхъ, потому что профанамъ не слѣдовало знать, какимъ образомъ папскіе легаты расхваливаютъ невыносимость страданій, стараясь сбыть ее съ рукъ за самую выгодную цѣну, и какимъ образомъ императорскіе министры отпускаютъ имъ по золотникамъ монету растроганнаго императора, т. е. его самыя значительныя пожертвованія. Вообще когда два принципа, желающіе казаться одинаково величественными и непоколебимыми, принуждены торговаться между собой, тогда слѣдуетъ затворять двери какъ можно плотнѣе, чтобы процессъ діалектической борьбы и искуснаго лавированія оставался навсегда неизвѣстнымъ наивной публикѣ. *Самыя значительныя пожертвованія* Фридриха оказались недостаточными для излеченія *невыносимыхъ страданій*, и легаты уѣхали изъ Павіи, объявляя во всеуслышаніе, что примиреніе императора съ церковью невозможно. Вмѣстѣ съ легатами уѣхали и представители ломбардской лиги, которая ни подъ какимъ видомъ не хотѣла примириться съ мучителемъ церкви. Прекращеніе переговоровъ было очень счастливымъ событіемъ для республиканцевъ, потому что императоръ старался только выиграть время, перессорить союзниковъ и потомъ напустить на отдѣльные города новую армію, формировавшуюся въ Германіи.

Въ ожиданіи этой арміи, Фридрихъ прожилъ въ Павіи цѣлый годъ. Во все это время военныя дѣйствія ограничивались опустошеніемъ полей, и даже эти опустошенія производились въ очень скромныхъ размѣрахъ; Фридриху не съ чѣмъ

было пускаться въ обширныя предпріятія, а ломбарды никогда не умѣли или, по своей почтительности, не осмѣливались вести наступательную войну.

Наконецъ, въ маѣ 1176 года нѣмецкая армія перешла черезъ Альпы и вступила въ городъ Комо, державшій сторону императора. Узнавши о ея приближеніи, Фридрихъ поспѣшно выѣхалъ изъ Павіи, проѣхалъ тайкомъ черезъ миланскую территорію и потомъ, принявши начальство надъ арміей, повелъ ее къ замку Линьяно, находившемуся въ графствѣ Сепріо.

Миланцы видѣли, что первый ударъ направляется противъ нихъ. Они уже давно понимали, что императоръ недаромъ поселился въ Павіи, и что онъ заготовляетъ матеріалы для такихъ серьезныхъ столкновеній, въ которыхъ должна окончательно рѣшиться судьба республиканской Ломбардіи. Миланцы заблаговременно приняли всѣ мѣры для самой упорной обороны. Въ январѣ 1176 г. они потребовали отъ союзныхъ городовъ повторенія тѣхъ клятвенныхъ обязательствъ, по которымъ, въ случаѣ опасности, всѣ силы союза должны были идти на помощь къ осажденному городу. Потомъ они сформировали два отборные кавалерійскіе отряда. Одинъ состоялъ изъ девяти сотъ воиновъ и назывался *когортою смерти*. Другой, составленный изъ трехъ сотъ молодыхъ людей, принадлежавшихъ къ лучшимъ миланскимъ фамиліямъ, долженъ былъ защищать главное знамя республики, и назывался поэтому *когортою каррочіо*. Оба отряда дали торжественную клятву умирать за отечество на полѣ сраженія и не отступать ни подъ какимъ видомъ. До изобрѣтенія огнестрѣльнаго оружія, когда военное искусство находилось въ младенчествѣ, и когда всѣ сраженія рѣшались исключительно рукопашными схватками,— серьезное выполненіе патріотическаго обѣта, даннаго обѣими когортами, дѣйствительно могло принести миланской республикѣ самую существенную пользу.

Въ послѣднихъ числахъ мая миланцы узнали, что императоръ съ своей новой арміей находится въ двадцати верстахъ отъ ихъ города. Въ это время къ миланцамъ успѣли присоединиться только войска Піаченцы и по нѣскольку воиновъ изъ Вероны, изъ Брешіи, изъ Новары и изъ Верчелли. Миланцы однакоже не стали дожидаться остальныхъ союзниковъ и пошли вмѣстѣ со своимъ каррочіо на встрѣчу къ непріятелю. Столкновеніе произошло 29 мая возлѣ замка Линьяно. Сначала когорта каррочіо поколебалась, и нѣмцы,подъ начальствомъ самого Фридриха, рубившаго въ первомъ ряду, подошли очень близко къ священной миланской колесницѣ. Тутъ когорта смерти повторила громко свою великую клятву и бросилась на императорское войско съ такой яростью, что общій видъ сраженія немедленно перемѣнился.Самъ императоръ,опрокинутый съ лошади, куда-то исчезъ; главное знамя его очутилось въ рукахъ миланцевъ; по рядамъ нѣмецкой арміи пробѣжалъ тревожный слухъ о томъ, что императоръ убитъ; все миланское войско воодушевилось и кинулось на нѣмцевъ вслѣдъ за когортою смерти; нѣмцы не выдержали и побѣжали; миланцы преслѣдовали ихъ на разстояніи десяти верстъ и наконецъ загнали ихъ въ рѣку Тичино, въ которой многіе изъ бѣглецовъ утонули. Особенно плохо пришлось комоскамъ, измѣнившимъ общему дѣлу ломбардскаго союза; почти вся милиція города Комо легла на полѣ сраженія, или была истреблена во время преслѣдованія; богатый лагерь императорской арміи весь цѣликомъ достался побѣдителямъ. Словомъ, пораженіе было такое рѣшительное, какого Фридрихъ Барбаросса еще никогда не испытывалъ.

Впродолженіи нѣсколькихъ дней друзья и враги императора рѣшительно не знали, куда онъ дѣвался. Его не было ни на линьянскомъ полѣ, среди убитыхъ, ни въ Миланѣ,въ числѣ плѣнниковъ. Жена его, находившаяся въ Павіи, уже носила по немъ трауръ и молилась объ упокоеніи его гордой и неукротимой души Наконецъ онъ самъ явился въ Павію, и его исчезновеніе объяснилось очень просто. Ошеломленный ударомъ, сваливши его съ лошади, онъ очнулся только тогда, когда сраженіе было уже окончено, и когда ломбарды, добивавшіе разбитыхъ нѣмцевъ, находились въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Линьяно, по дорогѣ къ рѣкѣ Тичино. Тутъ Фридрихъ сообразилъ конечно, глядя на груды своихъ убитыхъ сподвижниковъ, что ему остается только уходить какъ можно скорѣе и осторожнѣе, чтобы не попасться въ плѣнъ. Разными глухими тропинками, перелѣсками и оврагами онъ сталъ пробираться къ Павіи и благополучно дошелъ до этого города тогда, когда уже никто не смѣлъ сомнѣваться въ его смерти.

Ломбардская война продолжалась уже двадцать два года. Семь нѣмецкихъ армій, одна за другой, приходили въ Италію защищать права священной римской имперіи. Эти арміи, въ общей сложности, заключали въ себѣ по меньшей мѣрѣ полмилліона людей, оторванныхъ отъ родной земли и отъ производительныхъ занятій. Изъ этого полумилліона воротились на родину очень немногіе; большинство погибло не столько отъ оружія республиканцевъ, сколько отъ болѣзней и лишеній,составлявшихъ неизбѣжное слѣдствіе такого климата, къ которому не могли привыкнуть нѣмецкіе солдаты, и такой системы войны, при которой цѣлыя обширныя и богатыя области опустошались и выжигались безъ малѣйшей надобности. Двѣ арміи, пятая и шестая—та, которая ходила въ Римъ, и та, которая осаждала Александрію—были почти совершенно истреблены—одна маремскою лихорадкой, другая—голодомъ и различными болѣзнями. Трудовъ и пожертвованій было вообще принесено такъ мно-

го, что дальнѣйшія требованія становились уже неудобоисполнимыми. Самъ Фридрихъ дѣлалъ съ своей стороны все, что было возможно; никто изъ его злѣйшихъ враговъ не могъ и не хотѣлъ сомнѣваться ни въ его храбрости, ни въ его распорядительности, ни въ его настойчивости, ни въ его умѣньѣ переносить спокойно и хладнокровно самыя тяжелыя неудачи. Чего только онъ ни придумывалъ для укрощенія Италіи? Выигрывалъ сраженія, выжигалъ поля, бралъ и разрушалъ до основанія богатые города, назначалъ въ Ломбардію своихъ чиновниковъ, давая имъ полное право грабить и вѣшать гражданъ, вѣшалъ самъ плѣнниковъ и заложниковъ, созывалъ сеймы, говорилъ рѣчи, напускалъ на своихъ противниковъ всю непобѣдимую ученость болонскихъ юристовъ,—и все-таки въ двадцать два года отодвинулся отъ своей цѣли, вмѣсто того, чтобы подойти къ ней ближе. Всѣ усилія Фридриха привели за собой только тотъ результатъ, что Ломбардія начала понимать цѣну своей независимости и, повинуясь голосу этого возникающаго самосознанія, выработала себѣ такую организацію, которая при своей рыхлости и неповоротливости, все-таки однимъ фактомъ своего существованія совершенно обезпечивала свободу отдѣльныхъ ломбардскихъ республикъ. Миланъ, съ которымъ Фридрихъ поссорился при первомъ своемъ вступленіи въ Италію, Миланъ, стертый Фридрихомъ съ лица земли,—этотъ самый Миланъ стоялъ на своемъ прежнемъ мѣстѣ, во всемъ своемъ прежнемъ величіи, по-прежнему боготворилъ свою свободу и обнаруживалъ способность наносить своимъ обидчикамъ такіе удары, отъ которыхъ могла разсыпаться въ дребезги самая сильная и благоустроенная армія. Пора было наконецъ понять настоящій смыслъ всѣхъ этихъ событій; пора было уступить необходимости, прекратить безплодную трату человѣческихъ силъ и откровенно помириться съ существованіемъ свободныхъ ломбардскихъ городовъ, какъ съ такимъ фактомъ, который созданъ потребностями цѣлаго народа и не можетъ быть уничтоженъ произволомъ отдѣльной личности.

Послѣ линьянскаго сраженія Фридрихъ серьезно сталъ думать о мирѣ.

XVI.

ПЕРЕГОВОРЫ И МИРЪ.

Ломбардская война чрезвычайно замѣчательна по совершенно анонимному характеру. Въ этой войнѣ мы не видимъ на сторонѣ побѣдителей ни одного блестящаго имени, ни одной крупной личности, управляющей ходомъ событій. Дѣйствуютъ цѣлые народы—миланцы, веронцы, кремонцы, лодійцы и др. Ихъ страсти, ихъ любовь къ свободѣ, ихъ мужество, ихъ терпѣніе, взрывы ихъ патріотическаго восторга или негодованія, ихъ подвиги и ихъ ошибки обусловливаютъ собою всѣ различныя фазы упорной двадцатидвухлѣтней борьбы. Можно разсказать очень подробно всю эту борьбу съ начала до конца, не назвавши ни одного ломбардскаго полководца или государственнаго человѣка. Почему ломбардскіе города—Тортона, Крема, Миланъ, Александрія—выдерживали такія осады, которыя своею продолжительностью губили силы императорскихъ армій? Не потому, что въ этихъ городахъ сидѣли геніальные инженеры и замѣчательные коменданты, а потому, что всѣ граждане, отъ консула до поденщика, готовы были для спасенія отечества питаться по нѣскольку недѣль крысами, лягушками, травою и вареными подошвами.

Почему Ломбардія, порабощенная и задавленная Фридрихомъ, послѣ разрушенія Милана, поднялась противъ своихъ притѣснителей и завоевала себѣ снова всю свою прежнюю свободу? Не потому, что въ городскихъ совѣтахъ сидѣли глубокомысленные и дальновидные администраторы, а потому, что весь народъ кипѣлъ неукротимымъ негодованіемъ, чувствовалъ глубоко каждое изъ наносимыхъ ему оскорбленій и бросался въ опасность, не справляясь о томъ, какъ велики силы его обидчиковъ.

Почему Миланъ поднялся изъ своихъ развалинъ? Не потому, что государственные люди взвѣсили тѣ выгоды, которыя его существованіе доставляло Ломбардіи, а потому, что миланцы страстно любили свой родной городъ, и потому что ихъ патріотическое чувство нашло себѣ отголосокъ въ груди всѣхъ ломбардовъ, поднявшихъ оружіе за свою потерянную свободу.

Почему ломбардскіе союзники упустили Фридриха въ окрестностяхъ Тортоны, когда его армія, ослабленная неудачной осадой Александріи, могла быть совершенно уничтожена? Не потому, что ломбардскіе полководцы руководствовались какими-нибудь ошибочными разсчетами, а потому, что ломбардская армія, изображавшая собой цвѣтъ ломбардскаго народа, чувствовала къ особѣ императора невольное и непобѣдимое уваженіе.

Почему миланцы разбили подъ Линьяно сильную императорскую армію, только-что пришедшую изъ Германіи и слѣдовательно еще не успѣвшую раскиснуть подъ вліяніемъ итальянскаго климата и лагерныхъ неудобствъ? Не потому, что планъ сраженія былъ составленъ какимъ-нибудь даровитымъ и опытнымъ спеціалистомъ, а потому, что лучшая часть миланской арміи, т. е. народа, поклялась умереть за отечество и вспомнила свою клятву въ рѣшительную минуту.

Именно потому я и представилъ читателямъ довольно подробный отчетъ объ осадахъ и сраженіяхъ, что во всѣхъ этихъ операціяхъ проявлялись во время ломбардской войны не сухія выкладки полководцевъ, а живые порывы великихъ и вѣчно юныхъ, вѣчно современныхъ народныхъ чувствъ.

Руководствуясь непосредственными внушеніями своего патріотическаго чувства, ломбарды умѣли побѣждать своихъ притѣснителей, и—что̀ еще труднѣе—умѣли также переносить сильныя пораженія, не отчаяваясь въ успѣхѣ своего дѣла. Но когда побѣда была одержана, тогда одно голое чувство при всей своей пламенности рѣшительно не могло вразумить ломбардовъ, какимъ образомъ слѣдуетъ пользоваться побѣдой, т. е. на какихъ условіяхъ можно помириться съ побѣжденнымъ врагомъ. Послѣ сраженія при Линьяно обозначилась вполнѣ существенная разница между воюющими сторонами. Когда побѣждалъ императоръ, тогда онъ преслѣдовалъ своихъ враговъ неутомимо и безпощадно, принуждалъ ихъ къ безусловной сдачѣ, срывалъ до основанія цѣлые города, разбрасывалъ бывшихъ мятежниковъ въ беззащитныя слободы и деревни, смирялъ ихъ непомѣрными налогами и каторжными работами, словомъ, выжималъ изъ своей побѣды весь ея сокъ, до послѣдней капли, такъ что побѣжденные враги долго не могли собраться съ силами для новой борьбы. Ломбарды поступали совсѣмъ наоборотъ; уничтоживъ нѣмецкую армію, они тотчасъ успокоились и прекратили военныя дѣйствія, они не пошли осаждать Павію, не постарались отрѣзать Фридриху сообщеніе съ Германіей и не предприняли ровно ничего ни противъ маркиза Монферратскаго, ни противъ другихъ итальянскихъ приверженцевъ императора. Теряя свою армію, Фридрихъ терялъ только возможность опустошать ломбардскія поля и разрушать ломбардскіе города; вмѣстѣ съ своей арміей онъ нисколько не терялъ возможности защищать свою личность и свою корону. Послѣ десяти пораженій, подобныхъ линьянскому дѣлу, его личность и его корона оставались бы по-прежнему въ совершенной безопасности по той простой причинѣ, что ихъ охраняла простодушная почтительность самихъ побѣдителей. Ломбарды могли въ пылу сраженія сбить Фридриха съ лошади, но они были совершенно неспособны идти къ Павіи съ ясно сознаннымъ намѣреніемъ взять нѣмецкаго императора въ плѣнъ и повелительнымъ тономъ продиктовать ему условія мирнаго договора. Послѣ сраженія при Линьяно ничто не принуждало Фридриха просить мира и дѣлать побѣдителямъ уступки. У Фридриха не было арміи, а ломбарды, по своей скромности, осмѣливались вести только оборонительную войну; при такихъ условіяхъ военныя дѣйствія прекращались сами собой, именно тогда, когда это прекращеніе было особенно необходимо для Фридриха; и это естественное перемиріе, состоявшееся безъ всякихъ взаимныхъ обязательствъ и безъ всякихъ пожертвованій со стороны императора, должно будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока самому императору будетъ угодно и выгодно возобновить свои посягательства на ломбардскую свободу. Во время наступившаго затишья Фридрихъ могъ преспокойно жить въ Павіи, важничать, куражиться, разстраивать ломбардскій союзъ дипломатическими интригами и собирать въ Германіи новую армію—словомъ, открыто, въ присутствіи самихъ ломбардовъ, заготовлять снова тѣ цѣпи, которыя одинъ разъ уже были разорваны республиканцами сѣверной Италіи.

Каштаны, добытые изъ горячей золы руками храбрыхъ ломбардовъ, попали на столъ къ его святѣйшеству Александру III. Фридрихъ, разбитый при Линьяно, послалъ своихъ уполномоченныхъ не къ *ректорамъ общества городовъ*, а къ папѣ. Папа объявилъ сначала на публичной аудіенціи, что онъ ни подъ какимъ видомъ не оставитъ своихъ союзниковъ и не заключитъ съ императоромъ отдѣльнаго мира. Однакоже папа не отказался вести переговоры и очень скоро сошелся съ уполномоченными Фридриха въ опредѣленіи тѣхъ условій, на которыхъ императоръ можетъ получить его пастырское прощеніе и благословеніе. Окончательное заключеніе мира между папою и императоромъ было, правда, отложено до рѣшенія ломбардскаго вопроса, но роль папы совершенно измѣнилась съ той минуты, какъ онъ условился съ уполномоченными Фридриха. Цѣль папы была уже достигнута; ему уже нечего было желать и ожидать отъ продолженія военныхъ дѣйствій, ему и его клерикамъ уже не за что было гнѣваться на императора и не-зачѣмъ было разогрѣвать воинственныя страсти республиканцевъ; теперь надо было перемѣнить тонъ, заговорить о сладости мира и напомнить ломбардамъ о повиновеніи предержащимъ властямъ; вчерашніе агитаторы должны были сегодня превратиться въ миротворцевъ, въ усыпителей и въ тайныхъ враговъ республиканскаго воодушевленія, которое теперь одно мѣшало папѣ насладиться вполнѣ плодами выгоднаго и почетнаго мира.

Папа обѣщалъ императорскимъ посламъ поѣхать немедленно въ Ломбардію и, въ качествѣ предсѣдателя ломбардскаго конгресса, заняться соглашеніемъ противоположныхъ интересовъ, волновавшихъ до сихъ поръ священную имперію. Такимъ образомъ папа принималъ на себя обязанности посредника. Это обстоятельство показываетъ довольно ясно, что онъ уже не считалъ себя воюющей стороной, не смотря на то, что онъ торжественно отказывался отъ заключенія отдѣльнаго мира. Въ ожиданіи окончательнаго примиренія положено было прекратить военныя дѣйствія на всемъ пространствѣ Италіи. Хотя и незамѣтно было, чтобы до заключенія этого форменнаго перемирія почтительные ломбарды позволили себѣ какую-нибудь наступательную дерзость, однако не трудно понять, кто нуждался въ этомъ условіи, и чьи интересы имъ ограждались. Ломбарды получили такимъ образомъ на свою долю горячую золу и обожженныя руки. Каштаны-же отодвинулись отъ нихъ въ

туманную даль неопредѣленнаго будущаго и остались по-прежнему въ распоряженіи важныхъ особъ—папы и императора.

Ломбарды ухитрились дѣйствовать такъ искусно, что побѣда не усилила, а ослабила ихъ партію. Вскорѣ послѣ дѣла при Линьяно два города, Кремона и Тортона, соблазнились великодушными предложеніями императора и, отдѣлившись отъ мятежнаго союза, бросились въ распростертыя объятія Фридриха Барбароссы. Тортоняне такъ расчувствовались, что забыли даже, какъ они, по милости этого самаго Фридриха, открывающаго имъ свои объятія, пили нѣсколько недѣль отравленную воду и потомъ тащились въ Миланъ, не имѣя на свѣтѣ ни кола, ни двора, ни родины, ни гражданскихъ правъ.

Примѣру Кремоны и Тортоны послѣдовала Равенна, которая впрочемъ никогда не помогала ломбардамъ, хотя и принадлежала къ ихъ союзу.

Фридрихъ такъ мало нуждался въ мирѣ, что очень долго торговался съ ломбардами насчетъ того, въ какомъ городѣ назначить мѣстопребываніе конгресса. Ломбарды предлагали Болонью, Піаченцу, Феррару или Падую. Императоръ возражалъ, что всѣ эти города, принадлежащіе къ ломбардской лигѣ, не могутъ считаться нейтральными,—и предлагалъ съ своей стороны Павію или Равенну, которыхъ нейтралитетъ былъ также болѣе чѣмъ сомнителенъ. Наконецъ обѣ стороны согласились вести переговоры въ Венеціи, которая сначала принадлежала къ союзу, а потомъ осаждала Анкону за-одно съ императорскими войсками. Венеція держала себя особнякомъ отъ Ломбардіи и не признавала надъ собою власти нѣмецкихъ императоровъ. У Венеціи были свои спеціальные интересы и своя самостоятельная политика. Поэтому Венеція могла служить нейтральнымъ полемъ для обѣихъ договаривающихся сторонъ.

Папа пріѣхалъ въ Венецію въ концѣ марта 1177 года. До начала конференцій ломбарды потребовали отъ венеціанскаго дожа и отъ народа клятвеннаго обѣщанія не впускать въ городъ императора во все время переговоровъ. Ломбардскіе депутаты боялись, что въ присутствіи императора исчезнетъ вся ихъ смѣлость и настойчивость, и получится снова тотъ печальный результатъ, къ которому девятнадцать лѣтъ тому назадъ пришли члены знаменитаго ронкальскаго сейма. Дожъ и народъ исполнили желаніе ломбардовъ, и конференціи открылись въ половинѣ мая, почти черезъ годъ послѣ сраженія при Линьяно. Этотъ годъ былъ потерянъ ломбардами и выигранъ императоромъ.

Ломбардскіе депутаты высказали свои желанія *въ предварительной петиціи*, поданной императору, который во время конференцій жилъ въ окрестностяхъ Равенны. Ломбарды соглашались платить деньгами или натурой тѣ подати, которыя требовались съ итальянскихъ городовъ на содержаніе императорской арміи въ то время, когда императоръ шелъ въ Римъ для коронаціи. Они соглашались также присягать императору и выставлять, по его требованію, извѣстное число вооруженныхъ людей. За все это они желали, чтобы императоръ признадъ ихъ право выбирать себѣ консуловъ, поддерживать и увеличивать городскія укрѣпленія и возобновлять, когда имъ заблагоразсудится, договоръ ломбардскаго союза, обязаннаго защищать своихъ членовъ противъ всякаго обидчика и даже противъ самого императора, если императоръ будетъ нападать на церковь или на союзные города. Наконецъ они желали получить отъ императора полную амнистію за все прошедшее и оставить всѣ регальныя и феодальныя права въ рукахъ прежнихъ владѣльцевъ.

Въ отвѣтъ на эту петицію императоръ черезъ своихъ уполномоченныхъ предложилъ ломбардамъ выбрать одно изъ двухъ—или подчиниться рѣшеніямъ ронкальскаго сейма, или возвратиться къ тому положенію, въ которомъ находились города во время царствованія Генриха IV, то есть тогда, когда воспоминаніе о зависимости городовъ было еще очень свѣжо, и когда внутренняя организація ломбардскихъ республикъ только-что начинала вырабатываться. Мудрая политика ломбардовъ, которые выпрашивали себѣ амнистію и, слѣдовательно, сами признавали себябунтовщиками,—придавала Фридриху такую силу и бодрость, что онъ совершенно забывалъ линьянское сраженіе и заявлялъ съ своей стороны притязанія, едва-ли осуществимыя даже послѣ самой блестящей побѣды.

Говорить съ ломбардами о ронкальскомъ сеймѣ—значило бросать имъ въ глаза горькую и оскорбительную насмѣшку, потому что вся война, со всѣми своими безчисленными бѣдствіями, была только однимъ постояннымъ протестомъ республиканской Ломбардіи противъ ронкальскихъ постановленій, придуманныхъ заучившимися и раболѣпствующими юристами. Поворачивать богатые и могущественные города назадъ къ фазѣ ихъ безсильнаго дѣтства—значило просто отказываться отъ примиренія. На такія предложенія слѣдовало отвѣчать повтореніемъ линьянскаго урока въ улучшенномъ и дополненномъ видѣ. Но ломбарды, по своей всегдашней скромности, пустились въ почтительную аргументацію и стали доказывать императорскимъ уполномоченнымъ, что на ронкальскомъ сеймѣ императоръ просто отдавалъ приказанія, во всѣхъ отношеніяхъ невыгодныя для городовъ,—и что Генрихъ IV, постоянно воевавшій съ величайшими изъ папъ, былъ лютымъ тираномъ, котораго распоряженія не должны имѣть никакой обязательной силы для добрыхъ католиковъ. Само собою разумѣется, что ни Фридрихъ, ни его уполномоченные не убѣдились этими доводами. Споръ затянулся, и всѣ члены конференціи увидѣли ясно

невозможность придти къ какому-бы то ни было уловлетворительному соглашенію. Но папѣ хотѣлось предаться въ полномъ спокойствіи пожиранію добытыхъ каштановъ. Поэтому онъ постарался своимъ личнымъ вліяніемъ и происками своихъ безчисленныхъ агентовъ склонить императора и ломбардовъ къ заключенію перемирія, во время котораго все должно было оставаться по старому. Въ концѣ іюня уполномоченные Фридриха подписали вѣчный миръ съ церковью и шестилѣтнее перемиріе съ ломбардскимъ союзомъ. Это перемиріе можно было назвать шестилѣтней отсрочкой, данной императору, для того чтобы онъ могъ собраться съ силами и потомъ наводнить Ломбардію новыми толпами нѣмцевъ и фламандцевъ.

Послѣ окончанія переговоровъ, послѣ размѣна взаимныхъ ратификацій и торжественныхъ клятвъ, императоръ въѣхалъ въ Венецію, публично расцѣловалъ священныя туфли Александра III, отслушалъ молебенъ, во время котораго папа снялъ съ него приговоръ отлученія,— потомъ проводилъ папу къ его лошади, подержалъ ему стремя, хотѣлъ, по установленному церемоніалу, вести папскую лошадь подъ уздцы вплоть до монастыря Св. Николая, въ которомъ находилась квартира папы. Но Александръ обнаружилъ съ своей стороны большую любезность и уволилъ императора отъ исполненія этой послѣдней обязанности. Пока папа кушалъ такимъ образомъ каштаны, ломбарды съ наслажденіемъ потирали свои обожженныя руки и добродушно гордились торжествомъ Александра III, какъ прекраснѣйшимъ и важнѣйшимъ результатомъ лиьянской побѣды.

Вскорѣ послѣ этого примиренія папа поѣхалъ въ Римъ, гдѣ безсильный республиканскій сенатъ добровольно призналъ надъ собой его господство, а императоръ отправился въ Германію.

Во время шестилѣтняго перемирія Фридрихъ не показывался въ Италіи, но издали продолжалъ интриговать противъ ломбардскаго союза, не совсѣмъ безуспѣшно. Въ началѣ 1183 года онъ возобновилъ свой договоръ съ Тортоною и придалъ ему всевозможную гласность, чтобы показать ломбардскимъ городамъ, какую хорошую цѣну онъ готовъ платить отступникамъ, покинувшимъ общее дѣло союза. Приманка подѣйствовала, и въ ряды отступниковъ вошла Александрія, обязанная ломбардской лигѣ своимъ существованіемъ. Чтобы умилостивить императора, Александрія рѣшилась загладить грѣхъ своего незаконнаго рожденія. Въ назначенный день всѣ александрійцы вышли изъ города и отдали себя въ распоряженіе императорскаго чиновника, ожидавшаго ихъ за воротами. Этотъ чиновникъ ввелъ ихъ обратно въ городъ и объявилъ имъ, съ надлежащей торжественностью, что императоръ по своему безпредѣльному великодушію даруетъ имъ новое отечество, которое съ этой минуты будетъ называться не Александріей, а Цезареей. — Цезарейцы получили позволеніе управляться по-прежнему выборными консулами. Кромѣ того императоръ обязался защищать Цезарею, въ случаѣ нападенія со стороны сосѣдей, то есть членовъ ломбардскаго союза.

Перемиріе должно было окончиться 1-го августа 1183 г. Но при дворѣ Фридриха образовалась сильная партія, желавшая мира. Во главѣ этой партіи стоялъ старшій сынъ императора, Генрихъ. Отецъ обѣщалъ молодому человѣку сдѣлать его своимъ соправителемъ, и молодой человѣкъ боялся, чтобы возобновленіе войны не помѣшало императору исполнить данное обѣщаніе. Генрихъ убѣдилъ своего отца отправить уполномоченныхъ въ Піаченцу, гдѣ засѣдалъ весною 1183 года съѣздъ ломбардскихъ ректоровъ. Уговорившись съ ними объ условіяхъ мира, императорскіе послы пригласили консуловъ и ректоровъ въ Констансъ на имперскій сеймъ. Тамъ окончились переговоры въ присутствіи самого императора, и обѣ стороны подписали трактатъ вѣчнаго мира 25-го іюня 1183 года.—Въ Констансѣ императоръ принялъ всѣ тѣ условія, на которыя онъ никакъ не хотѣлъ согласиться шесть лѣтъ тому назадъ, въ Венеціи. Всѣ желанія ломбардовъ осуществились. — Ни о постановленіяхъ ронкальскаго сейма, ни о временахъ Генриха IV не было и помину.

Императоръ уступилъ городамъ всѣ регальныя права, которыми они владѣли въ минуту заключенія трактата. Онъ призналъ за городами право собирать войска, укрѣпляться какъ угодно и чинить собственною властью судъ и расправу по всѣмъ дѣламъ, какъ гражданскимъ, такъ и уголовнымъ. Онъ позволилъ городамъ поддерживать существованіе ломбардской лиги и возобновлять союзный договоръ, когда имъ заблагоразсудится. Наконецъ онъ обѣщалъ не жить ни въ какомъ ломбардскомъ городѣ такъ долго, чтобы его пребываніе сдѣлалось для даннаго города убыточнымъ или обременительнымъ.

Всѣ эти уступки были очень важны. Но Фридрихъ, разумѣется, не могъ отказаться рѣшительно и безвозвратно отъ тѣхъ властолюбивыхъ плановъ, для осуществленія которыхъ онъ погубилъ сотни тысячъ нѣмцевъ и итальянцевъ. Онъ постарался украсить констанскій трактатъ нѣсколькими статейками, въ которыхъ затаено его желаніе втереться снова въ итальянскія дѣла и понемногу отобрать назадъ сдѣланныя уступки.—За городами было признано право выбирать себѣ консуловъ, но при этомъ постановлено, чтобы выбранныя лица были утверждаемы въ своей должности императорскимъ легатомъ, или мѣстнымъ епископомъ, если онъ былъ въ то-же время графомъ даннаго города. Далѣе, признавая за городами право самостоятельнаго суда, императоръ выговорилъ себѣ право назначать въ каждомъ городѣ по одному судьѣ, которому можно

было подавать апелляцію по гражданскимъ процессамъ, если цѣнность процесса превышала сумму 25 ливровъ.— Наконецъ города обязались поддерживать силою оружія права имперіи надъ тѣми итальянскими магнатами и республиками, которые не принадлежали къ ломбардскому союзу. Такимъ образомъ императоръ удерживалъ за собой право вмѣшиваться и во внутреннюю жизнь, и во внѣшнюю политику тѣхъ городовъ, съ которыми онъ заключалъ миръ. При благопріятныхъ обстоятельствахъ это право могло окрѣпнуть, развернуться и приготовить для республиканской Ломбардіи много новыхъ хлопотъ, хроническихъ страданій и кровопролитныхъ сраженій.

Въ 1184 году Фридрихъ пріѣхалъ въ Италію, и тутъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ заключеннаго мира начался живой обмѣнъ любезностей между грознымъ императоромъ и самыми закоренѣлыми мятежниками. Миланцы больше всѣхъ другихъ ломбардовъ старались показать Фридриху, какъ они рады его видѣть и какъ они дорожатъ его добрымъ расположеніемъ. Фридрихъ съ своей стороны желалъ выразить имъ свою благосклонность и для этого позволилъ имъ выстроить заново городокъ Крему, который съ 1160 г. оставался разрушеннымъ. Кремоняне, заклятые враги кремасковъ, помѣшали возстановленію этого города въ то время, когда ломбардскій союзъ хозяйничалъ въ сѣверной Италіи; теперь, когда самъ императоръ простилъ жителей разрушеннаго города, кремоняне разсердились и выразили свое негодованіе такъ дерзко, что Фридрихъ рѣшился ихъ наказать. Онъ въ первый и въ послѣдній разъ въ жизни принялъ подъ свое начальство миланскую милицію, взялъ съ собой миланское каррочіо, вошелъ въ кремонскую область, сжегъ нѣсколько замковъ и заставилъ кремонянъ просить пощады.

Вслѣдъ затѣмъ Фридрихъ предоставилъ миланцамъ право *выбирать* себѣ подесту и облекать его въ званіе городского графа, не дожидаясь ни откуда разрѣшенія или утвержденія. Въ это же время Фридрихъ женилъ своего сына Генриха на Констанціи, наслѣдницѣ Сицилійскаго королевства. Въ 1188 году Фридрихъ отправился въ Палестину воевать съ невѣрными,а въ 1189 году 10-го іюня Фридрихъ утонулъ въ маленькой, но очень быстрой и холодной рѣченкѣ Салефѣ.

XVII.

КОНСУЛЫ И ПОДЕСТЫ.

Мы видѣли выше, что въ началѣ XI вѣка многіе помѣщики приписались къ итальянскимъ городамъ и получили въ нихъ право гражданства. Во время войны съ Фридрихомъ Барбароссою каждая ломбардская республика имѣла свое дворянство, воинственное, храброе, буйное и властолюбивое. Пока продолжалась упорная война съ опаснѣйшимъ врагомъ ломбардской свободы, нравственныя свойства и стремленія дворянъ были очень полезны общему дѣлу, потому что дворяне гораздо менѣе остальныхъ гражданъ были расположены молчать и благоговѣть передъ такъ называемымъ преемникомъ Юстиніана и Константина Великаго.

Каждый помѣщикъ, обладавшій укрѣпленнымъ замкомъ, искалъ себѣ и часто находилъ такую полную независимость, о которой никогда не могъ мечтать ремесленникъ или купецъ, выросшій въ городѣ. Каждый помѣщикъ хотѣлъ быть въ своемъ имѣніи владѣтельной особой, и эта цѣль въ XII вѣкѣ вовсе не могла считаться недостижимой. Богатый и сильный помѣщикъ не хотѣлъ признавать надъ собой никакой посторонней власти и не подчинялъ своей личной воли никакимъ законамъ, кромѣ того договора съ королемъ или съ императоромъ, на основаніи котораго онъ,помѣщикъ,владѣлъ своимъ имѣніемъ. Императоръ или король, по мнѣнію помѣщика, былъ только первымъ между равными (primus inter pares), и эти равные имѣли полное право сопротивляться ему, если онъ своими распоряженіями нарушалъ ихъ выгоды или затрогивалъ ихъ дворянскую честь.

Въ случаѣ надобности каждый помѣщикъ былъ способенъ окружить себя вооруженными людьми, запереться въ укрѣпленномъ замкѣ и отбиваться до послѣдней крайности отъ нападеній. О такой единичной борьбѣ ни одинъ простой гражданинъ не могъ и подумать. Простые граждане могли сопротивляться только въ массѣ, только тогда, когда негодованіе охватывало цѣлый городъ и возбуждало противъ иностранныхъ угнетателей поголовное возстаніе.Каждый гражданинъ отдѣльно чувствовалъ себя безсильнымъ и былъ поставленъ въ необходимость переносить многія несправедливости, молча и скрѣпя сердце, потому что не могъ надѣяться, чтобы всѣ его сограждане поднялись разомъ за нанесенное ему оскорбленіе. Именно въ этихъ случаяхъ дворяне, приписавшіеся къ городамъ, являлись драгоцѣнными представителями индивидуальной дерзости и запальчивости,воспитанной въ уединеніи мрачныхъ и неприступныхъ замковъ. Дворяне первые поднимали гвалтъ, отражали силу силой и увлекали за собой сотни и тысячи оскорбленныхъ гражданъ, не рѣшавшихся выдвинуться впередъ и обнаружить свое собственное неудовольствіе.

Читатель помнитъ конечно, что послѣ разрушенія Милана первая мысль о возможности и о необходимости новой борьбы съ императоромъ родилась въ веронской мархіи. Въ этой провинціи составилась веронская конфедерація, изъ которой развилась впослѣдствіи ломбардская лига. Эта провинція отличается гористымъ мѣстоположеніемъ Горы, крутые холмы и дикія скалы подходятъ очень близко къ самымъ богатымъ и цвѣ

тущимъ городамъ. На этихъ горахъ, холмахъ и скалахъ мѣстные дворяне устроили себѣ неприступные замки, которые дали имъ возможность сохранить всю свою независимость и пріобрѣсти сильнѣйшее вліяніе надъ окружающими городами. Сначала это вліяніе создало веронскую конфедерацію и освободило Ломбардію отъ нѣмцевъ; а потомъ это же самое вліяніе подчинило ломбардскія республики господству многихъ мелкихъ тузсмныхъ тирановъ.

Война была единственнымъ серьезнымъ занятіемъ и любимою забавой тогдашнихъ итальянскихъ дворянъ. Только войной они могли прославить свое имя, составить себѣ карьеру или добыть себѣ богатство. Война соотвѣтствовала вполнѣ всѣмъ особенностямъ ихъ темперамента, всѣмъ ихъ потребностямъ и наклонностямъ; она одна давала достаточную пищу всѣмъ способностямъ ихъ ума, не требуя отъ нихъ въ то-же время никакихъ предварительныхъ свѣдѣній и усидчивыхъ трудовъ; одна война вела въ то время ко всему, чего только могло пожелать пылкое дворянское сердце, даже и къ верховной власти. Престолы возникали и падали съ такой замѣчательной быстротой, и короны такъ часто доставались счастливымъ бойцамъ, что каждому предпріимчивому помѣщику XII вѣка было въ высшей степени позволительно мечтать объ основаніи или завоеваніи какого-нибудь королевства и даже располагать всѣ свои поступки сообразно съ этими безпредѣльно властолюбивыми мечтами. Это было особенно позволительно тѣмъ помѣщикамъ, владѣнія которыхъ были окружены со всѣхъ сторонъ крошечными и вѣчно волнующимися республиками. Мудрено, почти невозможно было устоять противъ властолюбивыхъ фантазій, когда для ихъ осуществленія требовалось только, чтобы человѣкъ давалъ волю всѣмъ своимъ хищнымъ инстинктамъ, съ которыми онъ и безъ того не въ силахъ былъ управиться. Воевать надо было и для того, чтобы добыть какую-нибудь корону, и потому, что буйство и озорство веселило сердце тогдашняго человѣка, и наконецъ просто потому, что больше нечего было дѣлать въ безграмотное время такой особѣ, которая по своему благородному происхожденію не могла заниматься ни торговлей, ни ремесломъ.

Простые граждане могли также желать войны, когда они считали ее необходимой для благосостоянія или для чести обожаемой родины; простые граждане могли даже увлекаться сильными ощущеніями такой игры, въ которой тысячи людей ставятъ на карту свою жизнь. Но при этомъ простые граждане никогда не могли упускать изъ виду убыточную и бѣдственную сторону войны, отрывавшей ихъ отъ работы, путавшей ихъ торговыя предпріятія и никогда не вознаграждавшей ихъ за понесенныя утраты и пожертвованія. Для простыхъ гражданъ война была во всякомъ случаѣ зломъ, и они сами понимали это очень хорошо; они всегда желали мира, хотя и нарушали его очень часто разнообразными вспышками своихъ еще неугомонившихся страстей.

Дворяне, напротивъ того, какъ солдаты отъ рожденія, по страсти и по ремеслу, любили войну со всѣхъ сторонъ и находили ее выгодной и привлекательной во всѣхъ отношеніяхъ. Они понимали, что продолжительный миръ погрузитъ ихъ въ ничтожество, подчинитъ ихъ дѣйствію общихъ законовъ и посадитъ имъ на голову разныхъ плебеевъ, разбогатѣвшихъ за прилавкомъ или за банкирской конторкой. Эта неукротимая воинственность дворянъ была очень полезна, когда надо было поднять всю Ломбардію противъ Фридриха Барбароссы и его намѣстниковъ. Но эта воинственность не могла-же исчезнуть безъ слѣда на другой день послѣ заключенія констанскаго мира. Она продолжала существовать, продолжала искать себѣ пищу и, не брезгая ничѣмъ, вовлекла Ломбардію въ безконечный рядъ нелѣпѣйшихъ междоусобій, которыя очень многимъ ясновельможнымъ рыбакамъ доставили желанную возможность воспользоваться мутностью взволнованной воды. Поселяясь въ городахъ, дворяне вовсе не желали безусловно подчиняться мѣстнымъ законамъ и правительству. Они запасались заранѣе всѣми средствами сопротивленія. Каждый дворянинъ строилъ свой городской домъ такъ, что онъ оказывался похожимъ на маленькую крѣпость. Массивныя стѣны, сложенныя изъ огромныхъ кусковъ дикаго камня, тяжелыя двери, обложенныя толстыми желѣзными досками, узкія окна, похожія на бойницы и едва пропускавшія свѣтъ и воздухъ въ темныя комнаты дворянскаго жилища,— все было приноровлено къ тому, чтобы городской домикъ въ случаѣ надобности могъ укрыть своего хозяина отъ представителей правосудія и выдержать настоящую осаду. При каждомъ дворянскомъ домѣ, построенномъ въ солидномъ стилѣ, находилась обыкновенно башня, которая относилась къ дому такъ, какъ цитадель относится къ укрѣпленному городу. Когда вражеская сила, дѣйствовавшая во имя закона, взламывала желѣзныя двери и проникала въ домъ, тогда благородный хозяинъ удалялся съ своими сподвижниками въ башню и тамъ выдерживалъ новую осаду, которая обыкновенно стоила очень дорого осаждающему отряду. Въ башнѣ имѣлось всегда, на случай подобныхъ столкновеній, достаточное количество съѣстныхъ припасовъ, стрѣлъ, камней и всякаго другого оружія.

У дворянина, сдѣлавшаго какое-бы то ни было преступленіе, никогда не могло быть недостатка въ смѣлыхъ защитникахъ, готовыхъ драться за него до послѣдней капли крови. Каждый дворянскій родъ составлялъ плотную ассоціацію, которая вся цѣликомъ вступалась за каждаго изъ

своихъ членовъ, въ томъ числѣ и за самыхъ отъявленныхъ негодяевъ. Провинившаяся особа бѣжала немедленно къ признанному главѣ своего рода и объявляла ему, что приключилась бѣда, за которую ей предстоитъ близкое знакомство съ висѣлицей. Патріархъ оставлялъ преступника въ своемъ крѣпкомъ домѣ и посылалъ гонцовъ ко всѣмъ своимъ родственникамъ объявить, что произошелъ крупный случай, и что надо собираться для защиты близкаго человѣка. Родственники вооружались, захватывали съ собой всю дворню, всѣхъ своихъ друзей, знакомыхъ и прихлебателей и бѣжали со всѣхъ сторонъ въ твердыню патріарха. Случалось иногда, что цѣлая улица была застроена домами одного рода; тогда родичи запирали свою улицу цѣпями, устраивали баррикады и задавали воинамъ правительства генеральное сраженіе, которое далеко не всегда оканчивалось пораженіемъ и усмиреніемъ благородныхъ инсургентовъ. Простые граждане, купцы и ремесленники, не пристроившіеся къ родовымъ ассоціаціямъ въ качествѣ слугъ или прихлебателей, составляли въ каждомъ городѣ большинство, но такъ какъ члены этого большинства не были связаны между собой тѣсными взаимными обязательствами, то они при столкновеніяхъ съ дворянами обыкновенно оставались въ накладѣ и терпѣли горькую муку отъ предпріимчивыхъ родичей, всегда готовыхъ поднять знамя бунта и залить улицы города кровью своихъ незнатныхъ соотечественниковъ. Эти члены большинства желали, чтобы правительство было какъ можно сильнѣе и расправлялось съ дерзкими нарушителями общественнаго спокойствія самымъ рѣшительнымъ и безпощаднымъ образомъ, нисколько не стѣсняясь знатностью, многочисленностью и отважностью того рода, который бралъ преступника подъ свое покровительство. Члены большинства всегда хватались за оружіе и бѣжали помогать должностнымъ лицамъ, встрѣтившимъ сопротивленіе со стороны дворянскаго рода. Но члены большинства находили, что правительство дѣйствуетъ слишкомъ робко, часто смотритъ сквозь пальцы на непозволительные безпорядки, часто дѣлаетъ виновнымъ незаконныя послабленія и даже иногда грѣшитъ явнымъ пристрастіемъ.

Выборные консулы были очень хороши во время общенародной борьбы съ императоромъ, потому что въ этихъ представителяхъ народа кипѣли тѣ самыя страсти, которыя одушевляли всѣхъ ломбардскихъ гражданъ. Но послѣ констанскаго мира, когда главной задачей каждаго ломбардскаго правительства сдѣлалось строгое подавленіе внутреннихъ безпорядковъ,—выборные консулы стали казаться недостаточными. Если консулъ былъ дворяниномъ, то всѣ дворянскіе роды, жившіе въ городѣ, были его родственниками, или его друзьями, или его личными и родовыми врагами. Родственникамъ и друзьямъ консулъ спускалъ съ рукъ всевозможныя непозволительныя продѣлки. Враговъ, напротивъ того, онъ давилъ всею тяжестью той силы, которая была вручена ему совсѣмъ не для личнаго мщенія. Если даже консулъ изъ дворянъ былъ справедливъ, какъ Аристидъ, то всегда находились люди, которые подозрѣвали его то въ излишней мягкости къ роднымъ и друзьямъ, то въ неумѣренной суровости къ врагамъ. Эти подозрѣнія были такъ правдоподобны и оправдывались такъ часто, что народъ привыкъ смотрѣть на выборныхъ консуловъ, какъ на людей партіи, отъ которыхъ невозможно ожидать безпристрастнаго суда и общеполезной административной дѣятельности. Если-же консулъ былъ плебеемъ, не пристроеннымъ ни къ какой родовой ассоціаціи, тогда обнаруживалось другое неудобство. Отслуживъ свой годовой срокъ, такой консулъ долженъ былъ воротиться въ ряды народа, и слѣдовательно сдѣлаться вмѣстѣ съ своимъ семействомъ беззащитной жертвой всей той ненависти, которую онъ могъ возбудить противъ себя во время своего консульства справедливымъ и строгимъ преслѣдованіемъ знатныхъ буяновъ, грабителей и убійцъ. Трудно было предположить, чтобы, имѣя въ виду такую печальную будущность, консулъ постоянно думалъ только о пользѣ общества и всегда дѣйствовалъ съ той безпощадной и неустрашимой энергіей, которая была необходима для огражденія личной и имущественной безопасности жителей. Въ каждомъ городѣ было всегда по нѣсколько консуловъ. Въ Миланѣ напримѣръ ихъ было двѣнадцать человѣкъ. Они могли принадлежать или всѣ къ одной партіи, или къ разнымъ партіямъ. Въ первомъ случаѣ ихъ консульство должно было ознаменоваться такимъ систематическимъ преслѣдованіемъ враждебныхъ партій, вслѣдствіе котораго эти партіи были-бы принуждены бѣжать изъ города. Во второмъ случаѣ одни консулы стали-бы дѣйствовать въ пику другимъ; вмѣсто правосудія получилось-бы перекрестное преслѣдованіе партій, и наконецъ эта глухая вражда скоро перешла-бы въ открытую войну между законными членами одного и того-же правительства.

По всѣмъ этимъ причинамъ всѣ ломбардскіе города, одинъ за другимъ, сначала значительно ограничили власть консуловъ, а потомъ и совсѣмъ уничтожили у себя эту должность.

Консулы уступили свое мѣсто *подестамъ*.

Подеста выбирался *одинъ* на цѣлый городъ. Его призывали непремѣнно изъ чужого города. Онъ отбывалъ свой годовой срокъ и потомъ уѣзжалъ домой. Два главныя свойства подесты — единственность и чужеземность — соблюдались всѣми итальянскими городами, устроившими у себя этотъ новый образъ правленія. Безъ этихъ свойствъ, особенно безъ чужеземности, подеста не былъ подестою. Основная мысль этого учреж-

денія состояла именно въ томъ, чтобы поставить надъ городомъ верховнаго судью, нисколько не связаннаго съ мѣстными партіями и не имѣющаго никакого основанія бояться ихъ мщенія въ будущемъ. Затѣмъ каждый отдѣльный городъ развивалъ эта основную мысль по своему, то есть придумывалъ различныя второстепенныя условія, которымъ долженъ былъ удовлетворять иногородецъ, выбираемый въ подесты. Болонцы требовали напримѣръ, чтобы подеста былъ дворяниномъ; чтобы ему было отъ роду больше тридцати шести лѣтъ; чтобы онъ пользовался хорошей репутаціей; чтобы онъ не состоялъ въ родствѣ съ избирателями, и чтобы у него не было недвижимой собственности въ предѣлахъ болонской республики. Выборы болонскаго подесты производились въ сентябрѣ. Для этихъ выборовъ назначалось по жребію сорокъ избирателей изъ членовъ двухъ совѣтовъ—генеральнаго и спеціальнаго. Этихъ избирателей запирали вмѣстѣ, назвавши имъ предварительно тотъ городъ, изъ котораго по опредѣленію обоихъ совѣтовъ слѣдовало взять подесту. Въ двадцать четыре часа выборы должны были большинствомъ двадцати семи голосовъ подарить городу новаго подесту. Если въ указанный срокъ требуемое большинство еще не было получено, то избирателей выпускали, а на мѣсто ихъ запирали новый комплектъ, назначенный также по жребію. Когда же выборы были окончены, тогда писалось къ выборному лицу письмо отъ имени болонской республики; въ этомъ письмѣ его извѣщали о результатѣ выборовъ и просили пріѣхать для занятія той важной должности, которой почтила его республика.

Самая важная обязанность каждаго подесты состояла въ томъ, чтобы умѣрять уголовными наказаніями рѣзвость и пламенность мѣстнаго дворянства. Собственно для этого и призывали подесту. Собственно для этого и произведено было повсемѣстное уничтоженіе консульства. Однакоже, не смотря на то, что подестатство было прямо и очевидно направлено противъ дворянства,—всѣ итальянскіе подесты безъ исключенія выбирались постоянно изъ дворянъ. Нетрудно объяснить себѣ причины этого страннаго явленія. Выбирая себѣ правителей изъ чужого города, граждане, разумѣется, останавливались на тѣхъ именахъ, которыя стояли на виду и пользовались общеитальянской извѣстностью. А такая извѣстность пріобрѣталась конечно не скромными семейными добродѣтелями — не честностью, не кротостью, не аккуратностью,—а преимущественно громкими военными подвигами или яркими политическими талантами. Упрочить за своимъ именемъ такую извѣстность могли только тѣ семейства, которыя у себя на родинѣ стояли долго во главѣ правленія. Эти семейства принадлежали къ дворянству, или по крайней мѣрѣ вмѣстѣ съ своею извѣстностью пріобрѣтали себѣ помѣстья и дворянское достоинство. Кромѣ того граждане, желая имѣть въ лицѣ подесты суроваго усмирителя дворянъ, требовали отъ него, чтобы онъ былъ храбрымъ и опытнымъ воиномъ, способнымъ осаждать и штурмовать твердыни благородныхъ хищниковъ. Подеста былъ судьею въ томъ смыслѣ, въ какомъ назывались судьями правители еврейскаго народа. Онъ былъ главнокомандующимъ республиканскихъ войскъ и водилъ эти войска то противъ внѣшнихъ, то противъ домашнихъ враговъ города. Если-же подеста долженъ былъ обладать опытностью и дарованіями полководца, то, разумѣется, всего естественнѣе было выбирать подесту изъ того сословія, которое занималось исключительно войною, какъ любимымъ и единственнымъ своимъ ремесломъ.

Иногородный дворянинъ, избранный въ подесты, пріѣзжалъ обыкновенно въ свою новую резиденцію съ отрядомъ своихъ собственныхъ воиновъ, которые оставались при немъ въ качествѣ тѣлохранителей и дѣйствовали оружіемъ вмѣстѣ съ гражданами противъ нарушителей общественнаго спокойствія. Узнавъ о томъ, что въ городѣ совершилось какое-нибудь важное преступленіе, подеста вывѣшивалъ изъ оконъ своего дворца *гонфалонъ* (штандартъ) *правосудія*, приказывалъ трубачамъ скликать гражданъ къ оружію и потомъ выѣзжалъ самъ верхомъ съ своими тѣлохранителями и собравшимся народомъ къ тому мѣсту, гдѣ укрывался преступникъ. Начиналась осада мятежнаго дома; подеста велъ своихъ сподвижниковъ на приступъ и, взявъ домъ, немедленно разрушалъ его до основанія; но, еще до расправы съ строеніемъ, подеста часто безъ дальнѣйшихъ толковъ и разспросовъ вѣшалъ самого хозяина на мѣстѣ преступленія, привязывая роковую веревку къ желѣзной рѣшеткѣ его собственнаго окна, изъ котораго онъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ пускалъ стрѣлы и каменья въ охранителей законнаго порядка. Народъ смотрѣлъ съ удовольствіемъ на такія казни и хвалилъ подесту за его энергію. Ненависть народа къ благороднымъ обитателямъ укрѣпленныхъ домовъ была уже такъ сильна, что передъ нею умолкла даже національная гордость. Ломбардскіе республиканцы пріучались переносить равнодушно и даже благосклонно присутствіе иногородныхъ воиновъ, которые по приказанію своего начальника, подесты, хватали, убивали и вѣшали коренныхъ туземцевъ.—Сами того не замѣчая, республиканцы въ своей борьбѣ съ аристократіей шли быстрыми шагами къ системѣ военнаго деспотизма. Чтобы сдѣлаться деспотомъ, подестѣ надо было только превратить свою годовую власть въ пожизненную. Ему позволялось имѣть тѣлохранителей,—стало быть, превращеніе было очень возможно. Оно могло совершиться даже безъ особенно сильныхъ потрясеній; народъ, выбиравшій себѣ каждый

годъ новаго властителя и смотрѣвшій съ удовольствіемъ на его самовластные, хотя и справедливые поступки, могъ легко помириться съ тою мыслью, что одинъ властитель, также очень справедливый и добродѣтельный, будетъ распоряжаться въ городѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ. Все дѣло въ томъ, чтобы поворачивать народныя привычки не вдругъ.

Въ веронской маркіи дворянство было такъ сильно, что цѣлыя республики распадались на два враждебные лагеря, называвшіеся именами своихъ воинственныхъ и высокородныхъ предводителей. Въ Виченцѣ боролись между собою партіи графовъ Виченцы и синьоровъ дель-Виваріо; въ Веронѣ враждовали Монтеккіо и Санъ-Бонифаціо; въ Феррарѣ — Салингверро и Аделарди. Въ этихъ городахъ обѣ партіи были достаточно сильны, чтобы уравновѣшивать другъ друга и поддерживать въ республикѣ кровопролитную анархію; но ни та, ни другая партія не была въ состояніи образовать изъ своихъ приверженцевъ сильное и прочное правительство. Поэтому пришлось и этимъ республикамъ призывать къ себѣ иногороднаго подесту, совсѣмъ не для того, чтобы усмирять и унижать мѣстное дворянство, а просто для того, чтобы составить хоть какое-нибудь правительство. Призваніе подесты было единственной возможной формой компромисса и перемирія между враждующими партіями. Обѣ стороны назначали отъ себя по одному коммиссару, и эти два коммиссара вмѣстѣ выбирали такого подесту, котораго ни та, ни другая партія не могла заподозрить въ пристрастіи.

XVIII.

СИНЬОРЫ ДИ-РОМАНО И МАРКИЗЫ Д'ЭСТЕ.

Въ первой половинѣ XII в. въ арміи императора служилъ бѣдный нѣмецкій рыцарь, Этцелинъ, не имѣвшій за душой ничего, кромѣ той лошади, на которой онъ сидѣлъ верхомъ. Этотъ Этцелинъ отличился во время одного изъ итальянскихъ походовъ, обратилъ на себя вниманіе высшаго начальства и въ награду за свою храбрость получилъ отъ императора два помѣстья въ веронской маркіи—Романо и Онару. Сынъ Этцелина, Альберикъ разными искусными продѣлками пріобрѣлъ себѣ новыя земли. Наслѣдникъ Альберика, Эччелино, такъ успѣшно пошелъ по слѣдамъ отца, что его стали считать главою гибеллинской партіи въ веронской маркіи и къ имени его присоединили прилагательное *первый*, признавая за нимъ такимъ образомъ силу и значеніе владѣтельной особы. Земли этого Эччелино лежали между территоріями Вероны, Виченцы и Падуи и по своему пространству и по числу жителей не уступали ни одной изъ этихъ трехъ республикъ.

Эччелино I или Заика былъ современникомъ Фридриха Барбароссы и во все время ломбардской войны держалъ себя такъ ловко, что не потерялъ ни одного клочка изъ своихъ владѣній. Вскорѣ послѣ смерти Фридриха Эччелино-Заика нашелъ себѣ новый случай обогатить свою фамилію и, разумѣется, не выпустилъ этого случая изъ рукъ.—Эччелино былъ очень друженъ съ однимъ падуанскимъ магнатомъ, Тизолино ди-Кампо-Санъ-Піетро. Многолѣтняя дружба была скрѣплена брачнымъ союзомъ Тизолино былъ женатъ на дочери Эччелино-Заики, и у него были отъ этой жены взрослыя дѣти. Опекуны одной богатой наслѣдницы, Чечиліи Рикко, предложили руку своей воспитанницы старшему сыну Тизолино, то есть внуку стараго синьора Эччелино ди-Романо. Тизолино счелъ долгомъ посовѣтоваться насчетъ этого предложенія съ своимъ вѣрнымъ другомъ и многоуважаемымъ тестемъ. Вѣрный другъ одобрилъ предлагаемый союзъ и пожелалъ своему молодому внуку всякаго благополучія Но въ то-же время онъ подумалъ про себя, что будетъ гораздо выгоднѣе пріобрѣсти руку Чечиліи Рикко не для внука, носящаго фамилію Кампо-Санъ-Піетро, а для сына, который подъ именемъ Эччелино II будетъ поддерживать и увеличивать блескъ династіи Романо. Старый Заика подкупилъ опекуновъ Чечиліи, увезъ богатую невѣсту въ свой замокъ къ Бассано и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, обвѣнчалъ ее съ своимъ сыномъ, къ немалому изумленію довѣрчиваго Тизолино, который конечно никакъ не могъ себѣ представить, чтобы сѣдой дѣдъ, стоящій уже у дверей могилы, рѣшился оскорбить своего родного внука и обмануть самаго преданнаго изъ своихъ друзей. Все семейство Кампо-Санъ-Піетро было глубоко возмущено этой измѣной и дало себѣ клятву мстить всѣми возможными способами. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы молодая жена Эччелино поѣхала безъ мужа осматривать свои владѣнія, лежавшія въ падуанской области. Свита ея была немногочисленна. Герардо, старшій сынъ Тизолино, тотъ самый, который долженъ былъ жениться на Чечиліи, подкарауливъ свою молодую тетку, разогналъ ея людей, увезъ ее въ свой замокъ и изнасиловалъ ее. Послѣ этого онъ отправилъ ее обратно къ мужу, которому Чечилія откровенно разсказала о случившемся съ нею несчастіи. Эччелино развелся съ своей опозоренной женой, но при этомъ удержалъ за собой ея обширныя помѣстья и вскорѣ женился на другой богатой невѣстѣ, которая своимъ приданымъ также значительно увеличила его могущество. Въ это время Эччелино-Заика умеръ, поссоривъ на-смерть семейства Романо и Кампо-Санъ-Піетро.

Эччелино II пользовался правами гражданства въ городѣ Виченцѣ и былъ однимъ изъ главныхъ дѣятелей партіи Виваріо. Въ 1194 году противникамъ этой партіи удалось назначить

такого подесту, который открыто держалъ ихъ сторону. Этотъ подеста выгналъ изъ города всю партію Виваріо. Дѣло конечно не обошлось безъ серьезнаго сопротивленія. Эччелино далъ подестѣ сраженіе на улицахъ города и при этомъ зажегъ нѣсколько домовъ. Огонь разлился очень быстро и уничтожилъ значительную часть города; однако подеста одолѣлъ, и Эччелино ушелъ съ своими приверженцами въ замокъ Бассона. Изгнанная партія сгруппировалась тѣснѣе прежняго вокругъ синьора де-Романо, который, открывая въ своихъ владѣніяхъ пріютъ для всѣхъ своихъ пострадавшихъ соотечественниковъ, своимъ разсчитаннымъ великодушіемъ пріобрѣлъ себѣ новыя права на ихъ уваженіе, благодарность и преданность. Вероняне находились въ союзѣ съ Эччелино; они стали хлопотать о примиреніи обѣихъ вичентинскихъ партій. Благодаря этому ходатайству, изгнанники воротились въ Виченцу, и обѣ партіи рѣшили, что на будущее время каждая изъ нихъ будетъ назначать своего подесту. Такимъ образомъ въ Виченцѣ оказалось два враждебные лагеря и двое полновластныхъ правителей, которымъ надо было или дѣйствовать безпристрастно, или вступать между собою въ открытую войну. Заключенное условіе не долго удерживало свою силу. Въ 1197 году въ Виченцѣ опять оказался одинъ подеста, и Эччелино снова принужденъ былъ бѣжать изъ города. На этотъ разъ республика объявила ему войну и послала свою милицію осаждать одинъ изъ его замковъ, Маростику. Эччелино заключилъ наступательный и оборонительный союзъ съ Падуей и, нуждаясь въ деньгахъ для войны, заложилъ падуанцамъ свое помѣстье, Онару, за значительную сумму. Падуанцы напали на вичентинцевъ, разбили ихъ при Карминьяно и захватили у нихъ 2000 человѣкъ въ плѣнъ. Въ слѣдующемъ 1198 году вероняне, недавно поддерживавшіе синьора Эччелино, соединились съ вичентинцами, опустошили падуанскую область и выжгли окрестности Падуи вплоть до самыхъ ея стѣнъ, такъ что искры пожара, по словамъ очевидца, летѣли въ самый городъ. Падуанцы перепугались и, не посовѣтовавшись съ своимъ союзникомъ, стали просить мира; всѣ плѣнники, заключенные при Карминьяно, были выпущены на волю, и миръ дѣйствительно состоялся. Тогда и Эччелино попросилъ веронянъ, бывшихъ своихъ союзниковъ, снова помирить его съ Виченцою; чтобы показать веронянамъ свое полное довѣріе, онъ отдалъ имъ въ заложники своего малолѣтняго сына и позволилъ имъ ввести гарнизонъ въ замки Бассона и Ангарани. Вероняне возвратили довѣрчивому синьору всю свою благосклонность; веронскій подеста помирилъ изгнанниковъ съ гвельфскою партіей, господствовавшей въ Виченцѣ, и потомъ отдалъ назадъ синьору Эччелино и сына, и оба замка. Но падуанцы очень разсердились на Эччелино за это примиреніе и конфисковали Онару, находившуюся у нихъ въ залогѣ.

Такимъ-же безсмысленнымъ характеромъ отличаются войны, опустошавшія въ это-же самое время южную часть веронской мархіи, гдѣ усиливался, въ окрестностяхъ Феррары, гвельфскій домъ маркизовъ д'Эсте. Во времена Фридриха Барбароссы главою гвельфской партіи въ Феррарѣ былъ Гуліельмо Аделарди. У этого Аделарди не было наслѣдниковъ мужескаго пола, и онъ завѣщалъ всѣ свои обширныя владѣнія своей семилѣтней племянницѣ, Маркезеллѣ. Находясь предъ смертью въ кроткомъ идиллическомъ настроеніи, послѣдній Аделарди вообразилъ себѣ, что въ Феррарѣ водворится вѣчный миръ, если его племянница и наслѣдница выйдетъ замужъ за Салингверру, предводителя мѣстныхъ гибелиновъ. Желая сдѣлаться миротворцемъ и благодѣтелемъ отечества, умирающій призвалъ къ себѣ въ домъ своего родового врага, помирился съ нимъ и сдалъ ему съ рукъ на руки маленькую Маркезеллу, какъ будущую его невѣсту. Салингверра сталъ воспитывать ее со всевозможною заботливостью, какъ курицу, которая должна была въ ближайшемъ будущемъ снести ему множество золотыхъ яицъ. Но феррарскіе гвельфы вовсе не раздѣляли тѣхъ миролюбивыхъ стремленій, которымъ поддался ихъ умирающій предводитель. Примиреніе съ гибелинами казалось имъ по-прежнему тяжелымъ преступленіемъ, которымъ оскорбляется память родителей, завѣщавшихъ имъ свою старую родовую ненависть, какъ драгоцѣнное наслѣдство. Примиреніе было невозможно въ особенности и потому, что очень многіе гвельфы и гибелины послѣ окончанія вражды рѣшительно не знали-бы, что изъ себя дѣлать, куда дѣвать свои силы и свое время, къ чему себя пріурочить и съ какой точки зрѣнія смотрѣть на собственныя личности, оказавшіяся вдругъ заштатными и ни на что негодными. Чувствуя невозможность примиренія, феррарскіе гвельфы конечно не желали, чтобъ Салингверра получилъ богатое наслѣдство и такимъ образомъ упрочилъ-бы за собой перевѣсъ надъ своими всегдашними противниками. Гвельфы ухитрились выкрасть Маркезеллу изъ дома ея воспитателя и нареченнаго жениха; затѣмъ они передали похищенную дѣвочку въ руки маркизу Обиццо д'Эсте, объявили маркиза ея женихомъ и, не дожидаясь совершенія брака, ввели нареченнаго жениха во владѣніе всѣми помѣстьями покойнаго Аделарди. Маркезелла умерла, не достигнувъ совершеннолѣтія. По завѣщанію Гуліельмо, имѣніе должно было перейти къ дѣтямъ его сестры. Но маркизъ д'Эсте, предки котораго уже со временъ Отона Великаго считались владѣтельными особами,—маркизъ д'Эсте, одинъ изъ сильнѣйшихъ итальянскихъ магнатовъ, держалъ очень крѣпко то, что разъ попадало въ его руки. Племянники Гуліельмо по женской линіи не ста-

ли даже и хлопотать о возвращеніи наслѣдства. Маркизъ приписался къ Феррарѣ и сдѣлался безспорнымъ главою тамошнихъ гвельфовъ, такъ что вся эта партія во всей веронской маркіи стала называться *партіей маркизовъ*. Салингверра, глубоко огорченный тѣмъ, что богатая невѣста ушла у него изъ рукъ, напалъ на гвельфовъ съ удвоенной яростью, и междоусобная война затянулась въ Феррарѣ на сорокъ лѣтъ (1180—1220). Въ это время партіи десять разъ выгоняли другъ друга изъ города; десять разъ все имущество побѣжденныхъ разграблялось, и всѣ ихъ дома разрушались до основанія, такъ что феррарскіе каменщики и плотники всегда были завалены работой.

Читателю извѣстно, что гвельфами назывались сторонники папы, а гибелинами — приверженцы императора. Изъ десятой главы этого очерка читатель знаетъ также происхожденіе и значеніе этихъ названій. Но читателя по всей вѣроятности не удовлетворяютъ эти свѣдѣнія. Ему угодно знать подробно, чего же именно добивались эти двѣ партіи? Что они хотѣли сдѣлать съ папой и съ императоромъ? Какія общія перемѣны произошли-бы въ Италіи и въ Европѣ, еслибы гвельфы или гибелины одержали полную побѣду надъ своими противниками? Какую политическую программу заявляла каждая изъ двухъ партій? И въ какомъ отношеніи эти двѣ программы были непримиримы между собой?

Обѣ враждебныя партіи были склеены изъ множества мелкихъ и самыхъ разнохарактерныхъ кусочковъ. Обѣ партіи конечно имѣли свои политическія знамена, вокругъ которыхъ онѣ собирались; но ни та, ни другая партія не имѣла своего особеннаго образа мыслей, которымъ она рѣшительно отличалась-бы отъ своей соперницы. Бо́льшая часть гвельфовъ были во всѣхъ отношеніяхъ похожи, какъ двѣ капли воды, на бо́льшую часть гибелиновъ. Съ одной стороны, гибелины вовсе не были врагами католической церкви, за которую стояли гвельфы; съ другой стороны, гвельфы нисколько не хотѣли разрушать священную римскую имперію, которую защищали гибелины. Далѣе, гвельфы вовсе не старались осуществлять теократическіе планы Григорія VII, а гибелины нисколько не были расположены придавать императорской власти ту силу, которую она имѣла при Карлѣ и при Отонѣ. Гвельфы кричали: мы за папу! и при этомъ ничего не говорили о тѣхъ отношеніяхъ, которыя должны установиться между папой и императоромъ. Гибелины кричали: мы за императора! и также оставляли нетронутымъ вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ между обѣими властями. Чего-же хотѣли гвельфы? Они хотѣли побѣдить и уничтожить гибелиновъ. А чего хотѣли гибелины? — Побѣдить и уничтожить гвельфовъ. А потомъ? — Потомъ ничего. Полная побѣда надъ противниками составляла крайній пунктъ ихъ политическихъ выкладокъ, размышленій, плановъ, стремленій и мечтаній. Политическія партіи, какъ мы понимаемъ ихъ теперь, стараются побѣдить своихъ противниковъ, для того чтобы своротить съ своей дороги препятствіе, мѣшающее осуществленію ихъ высшихъ и болѣе обширныхъ плановъ. Для гвельфовъ и для гибелиновъ, напротивъ того, побѣда была не средствомъ, а высшей и единственной цѣлью. Гвельфизмъ и гибелинизмъ вообще были только условными формами, въ которыя отливались враждебныя страсти, возбужденныя чисто-личными столкновеніями, обидами и взаимно-противоположными властолюбивыми замыслами. Въ каждомъ городѣ имѣлось всегда достаточное количество сильныхъ и знатныхъ особъ, которымъ было тѣсно жить вмѣстѣ въ одной маленькой республикѣ. Эти важныя особы составляли вокругъ себя партію и старались выжить своихъ соперниковъ. Завязывалась борьба, и воюющія стороны искали себѣ союзниковъ въ сосѣднихъ городахъ, гдѣ также существовали свои партіи, также нуждавшіяся въ союзникахъ. Если, напримѣръ, виченцкіе Виваріо соединились съ веронскими Монтеккіо, то, разумѣется, веронскіе Санъ-Бонифаціо должны были соединиться съ врагами своихъ враговъ, то есть съ виченцкою партіей графовъ Виченцы. Если первая коалиція рѣшилась подать помощь феррарскимъ Салингверрамъ, то феррарскіе Аделарди очень естественно должны были обратиться съ просьбой о помощи къ противникамъ первой коалиціи, то есть къ Санъ-Бонифаціо и къ графамъ Виченцы. Постепенно расширяясь такимъ образомъ, каждая изъ двухъ коалицій могла охватить сначала всю веронскую или тревизантскую маркію, потомъ всю Ломбардію и наконецъ всю свободную Италію. Каждая изъ двухъ коалицій непремѣнно должна была получить какое-нибудь общее названіе, не имѣющее однакоже никакого опредѣленнаго политическаго значенія и нисколько не мѣшающее каждому отдѣльному члену той и другой коалиціи преслѣдовать свои частныя, мелкія и узкія цѣли. Одна могла назваться *бѣлой розой*, другая — *алой розой*, какъ это случилось въ Англіи. Или одна могла назваться *бѣлыми*, другая — *черными*, какъ это случилось въ Тосканѣ. Тутъ отсутствіе общей идеи въ каждой изъ коалицій было-бы очевидно. Имена гвельфовъ и гибелиновъ до нѣкоторой степени замаскировали это отсутствіе и навели даже самихъ членовъ коалиціи на ту мысль, что у нихъ дѣйствительно, кромѣ частной городской вражды, есть еще какая-то общая міровая задача. На эту мысль обѣ итальянскія коалиціи были наведены не одними именами гвельфовъ и гибелиновъ, но и тѣми историческими условіями, при которыхъ онѣ образовались и получили свои имена.

Во время великой борьбы Гильдебранда и его преемниковъ съ Генрихами IV и V въ Италіи,

въ Германіи и во всей католической Европѣ были дѣйствительно настоящіе, серьезные и глубоко убѣжденные гвельфы и гибелины, хотя имена эти еще не существовали. Невозможно представить себѣ болѣе пламеннаго гвельфа, чѣмъ графиня Матильда тосканская. Въ это-же время Ломбардія была полна страстными гибелинами, которыхъ глубоко возмутило извѣстіе о каносскомъ покаяніи.

Когда Фридрихъ Барбаросса старался поработить Ломбардію, тогда у него были въ Италіи и вѣрные союзники, и упорные враги; каждая изъ этихъ двухъ партій имѣла впереди общую, великую и серьезную цѣль. Боевые клики: «*за папу и свободу!*» и «*за императора!*» имѣли свой живой и глубокій смыслъ.

Послѣ констанскаго мира враждебныя страсти не могли сразу вступить въ дружескія сношенія съ Миланомъ, сражавшимся постоянно за папу и за свободу. Павійцы и миланцы еще злились другъ на друга за тѣ страданія, которыми наградила ихъ недавно оконченная война. Обѣ партіи, папско-республиканская и императорская, сплотившіяся во время упорной и продолжительной войны, еще не успѣли разложиться и стояли другъ противъ друга съ незаржавленнымъ оружіемъ въ рукахъ и съ неостывшею ненавистью въ душѣ. Къ этимъ-то двумъ, еще не разложившимся, партіямъ быстро примкнули, во всѣхъ ломбардскихъ городахъ, всѣ задорныя, жадныя и властолюбивыя личности, искавшія готоваго оружія для выполненія своихъ частныхъ плановъ и для пораженія своихъ личныхъ или семейныхъ враговъ, которымъ не было никакого дѣла ни до папы, ни до императора. Личные замыслы и личныя страсти раздули вражду, которую уже не поддерживало больше въ данную минуту общее расположеніе великихъ европейскихъ сплъ—папства и имперіи. Ловкія личности воспользовались для своихъ мелкихъ цѣлей тѣмъ злобнымъ воодушевленіемъ, которое осталось въ бойцахъ послѣ окончанія серьезной войны. Къ гибелинамъ пристали тѣ, которые хотѣли напакостить какому-нибудь гвельфу; гвельфами назвались тѣ, которымъ было досадно на какого-нибудь гибелина. Возьмемъ извѣстный намъ примѣръ Романо и Кампо-Санъ-Піетро. Они были друзьями, родственниками и членами одной политической партіи. Оба были ревностными гибелинами. Вдругъ произошла скверная исторія съ Чечиліей Рокко. Романо былъ главнымъ коноводомъ гибелинской партіи; при своемъ громадномъ богатствѣ и вліяніи онъ могъ натравить всѣхъ своихъ друзей, то есть почти всѣхъ мѣстныхъ гибелиновъ, на семейство Кампо-Санъ-Піетро. Послѣднему, очевидно, надо было для собственнаго спасенія перебѣжать въ лагерь гвельфовъ. Но, разумѣется, онъ сдѣлался гвельфомъ не потому, что глубокія размышленія убѣдили его въ законности папскихъ притязаній и въ необходимости обуздывать властолюбіе нѣмецкихъ императоровъ. Сдѣлавшись гвельфомъ съ досады или со страху, онъ тѣмъ не менѣе долженъ былъ поддѣлываться подъ общій тонъ своихъ новыхъ союзниковъ, то есть, въ случаѣ столкновенія между императоромъ и папой, онъ долженъ былъ становиться на сторону послѣдняго. Главная-же его обязанность состояла всегда въ томъ, чтобы въ качествѣ гвельфа донимать въ своемъ родномъ городѣ тѣхъ людей, которые называли себя гибелинами. Пылкостью своей ненависти къ этимъ людямъ онъ пріобрѣталъ себѣ право считаться гвельфомъ и пользоваться, въ случаѣ надобности, содѣйствіемъ всѣхъ остальныхъ гвельфовъ.

Императоръ Генрихъ VI умеръ въ 1197 году. Послѣ его смерти въ Германіи началась междоусобная война за императорскій престолъ. Въ 1208 году одинъ изъ претендентовъ, Отонъ, герцогъ аквитанскій, представитель гвельфской, саксоно-баварской династіи, былъ признанъ императоромъ и отправился въ Италію короноваться. Когда онъ вошелъ въ веронскую мархію, Эччелино II ди-Романо велъ тамъ упорную войну съ маркизомъ Аццо VI д'Эсте. Въ 1207 году маркизъ д'Эсте былъ провозглашенъ синьоромъ города Феррары. Ловкіе приверженцы маркиза доказали феррарскимъ гражданамъ, что этотъ переворотъ необходимъ для торжества гвельфской партіи, и отчасти краснорѣчіемъ, отчасти запугиваніемъ и насиліемъ принудили ихъ отказаться отъ республиканскаго самоуправленія. Но маркизу пришлось выѣхать изъ Феррары, чтобы подать помощь Виченцѣ, осажденной синьоромъ ди-Романо. Пользуясь отсутствіемъ маркиза, Салингверра воротился въ Феррару съ своими гибелинами и выгналъ всѣхъ приверженцевъ фамиліи д'Эсте. Обѣ партіи готовились къ рѣшительному сраженію въ то время, когда Отонъ вступилъ въ мархію и пригласилъ къ себѣ въ лагерь главныхъ предводителей.

И гвельфы, и гибелины очутились въ очень странномъ положеніи. Въ качествѣ императора Отонъ IV былъ главою гибелинской партіи; по своему рожденію онъ былъ естественнымъ предводителемъ гвельфовъ; кромѣ того онъ находился въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ папою Иннокентіемъ III. Значитъ, гвельфы и гибелины должны были открыть другъ другу объятія и расковать мечи свои на рала. Отонъ принялъ одинаково хорошо и маркиза, и Эччелино—перваго за то, что онъ всегда былъ вѣрнымъ другомъ саксоно-баварской династіи, съ которой онъ, маркизъ, находился даже въ родствѣ, а второго за то, что онъ въ качествѣ гибелина отстаивалъ права имперіи. Когда Эччелино и Салингверра стали жаловаться на маркиза и потребовали себѣ судебнаго поединка, чтобы доказать торжественно преступность коварнаго Аццо, императоръ пригласилъ ихъ замолчать и забыть

навсегда старыя дрязги, потерявшія свой смыслъ, съ тѣхъ поръ какъ искренній другъ церкви вступилъ на престолъ Карла Великаго. Чтобы окончательно успокоить главныхъ бойцовъ, Отонъ осыпалъ ихъ монаршими милостями, которыя, по правдѣ сказать, стоили ему не очень дорого. Маркиза д'Эсте онъ сдѣлалъ правителемъ анконской мархіи, а синьору Эччелино подарилъ городъ Виченцу. Отонъ обвинилъ Виченцу въ возмущеніи, взыскалъ съ нея контрибуцію въ шестьдесятъ тысячъ ливровъ и назначилъ Эччелино подестою, ректоромъ и депутатомъ имперіи въ этомъ городѣ. Эччелино потребовалъ себѣ отъ виченцевъ присяги въ вѣрности; многіе граждане, во избѣжаніе этой присяги, ушли въ Верону, и Эччелино конфисковалъ въ свою пользу все имущество этихъ эмигрантовъ. Такимъ образомъ уже два города, Феррара и Виченца, начали знакомиться.

Тотчасъ послѣ своей коронаціи Отонъ IV поссорился съ Иннокентіемъ III, и папа выдвинулъ противъ императора новаго претендента, молодого сицилійскаго короля Фридриха, сына Генриха VI и внука Фридриха Барбароссы.

Гвельфы и гибелины попали снова въ фальшивое положеніе. Всѣ гвельфскіе города Ломбардіи: Миланъ, Парма, Піаченца, Болонья, Александрія, Тортона, Верчелли и другіе стали поддерживать природнаго гвельфа Отона и сдѣлались такимъ образомъ врагами папы, принявшаго подъ свое покровительство послѣдняго представителя гибелинской династіи. Гибелинскіе города Ломбардіи, Павія и Кремона, оказались усердными союзниками папы и противниками царствующаго императора. Маркизъ Монферратскій, предшественникъ котораго всегда сражался за Фридриха Барбароссу, сталъ также на сторону его внука. Маркизъ Аццо д'Эсте остался вѣренъ принципу гвельфизма и объявилъ войну своему родственнику, Отону IV, какъ только тотъ поссорился съ папою.

Въ 1215 году Латеранскій соборъ подъ предсѣдательствомъ Иннокентія III приказалъ миланцамъ отложиться отъ императора Отона, преданнаго церковному проклятію. Миланцы не послушались. Въ слѣдующемъ году два кардинала пріѣхали въ Миланъ и отъ имени папы приказали правительству республики дѣйствовать заодно съ Фридрихомъ противъ отлученнаго Отона. Миланцы остались по-прежнему союзниками царствующаго императора, продолжая при этомъ считать и называть себя гвельфами. Истощивъ все свое пастырское краснорѣчіе, кардиналы уѣхали изъ Милана и наложили на него интердиктъ. Итакъ, гвельфы за свой гвельфизмъ навлекли на себя церковное наказаніе. Одинъ этотъ случай доказываетъ достаточно ясно, что ни у гвельфовъ, ни у гибелиновъ не было никакой опредѣленной политической программы. И тѣ, и другіе руководствовались почти всегда своей любовью или своей ненавистью къ личностямъ и къ династіямъ, спорившимъ между собой за императорскую корону. Это замѣчаніе относится къ искреннимъ гвельфамъ и гибелинамъ, то есть къ республиканцамъ, у которыхъ не могло быть намѣренія прибрать къ рукамъ свой родной городъ и уничтожить его свободныя учрежденія. Но кромѣ этихъ искреннихъ гвельфовъ и гибелиновъ, ненавидѣвшихъ или любившихъ Фридриха Барбароссу и его потомство, было конечно въ обѣихъ партіяхъ много промышленниковъ и пріобрѣтателей, которые, подобно маркизу д'Эсте и синьору ди-Романо, любили только свои личныя выгоды и ненавидѣли только учрежденія, мѣшавшія имъ обогощаться грабежомъ и утѣшать себя безчинствами.

XIX.

ДОМИНИКАНЦЫ ВЪ ЛОМБАРДІИ.

Отонъ IV умеръ въ 1218 году. Фридрихъ въ концѣ 1220 года принялъ въ Римѣ императорскую корону изъ рукъ папы Гонорія III и поклялся отправиться въ Палестину, чтобы отнять у невѣрныхъ Іерусалимъ, который слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ былъ взятъ султаномъ Саладиномъ. Затѣмъ дѣла имперіи и церкви пришли въ надлежащій порядокъ, такъ что гвельфы получили возможность быть настоящими гвельфами, а гибелины — настоящими гибелинами. Папа сталъ пилить Фридриха безпрестанными напоминаніями о крестовомъ походѣ, а Фридрихъ, у котораго была бездна хлопотъ и въ Сициліи, и въ Германіи, и въ Ломбардіи, слишкомъ семь лѣтъ отдѣлывался разнообразными отговорками и торжественными обѣщаніями немедленно сѣсть на корабль и летѣть на помощь къ угнетеннымъ палестинскимъ христіанамъ. Кончилось тѣмъ, что папа Григорій IX осенью 1227 года разразился противъ Фридриха неожиданнымъ приговоромъ отлученія. Послѣ этого рѣшительнаго поступка папа тотчасъ сблизился съ ломбардскими гвельфами, которые не признавали Фридриха итальянскимъ королемъ и не позволяли ему короноваться желѣзной короной, хранившейся въ миланской области, въ городѣ Монцѣ. Предвидя впереди сильныя столкновенія съ энергическимъ внукомъ Барбароссы и узнавши, что Фридрихъ намѣренъ созвать въ Кремонѣ сеймъ итальянскаго королевства, миланцы стали хлопотать о возобновленіи ломбардской лиги, совершенно разстроившейся послѣ констанскаго мира. —Второго марта 1226 года депутаты Милана, Болоньи, Піаченцы, Вероны, Брешіи, Фаэнцы, Мантуи, Верчелли, Лоди, Бергамо, Турина, Александріи, Виченцы, Падуи и Тревизы собрались въ одной церкви мантуанской области и возобновили на двадцать пять лѣтъ ломбардскую лигу. Всѣ города, выславшіе депутатовъ на съѣздъ, поклялись помогать другъ другу всѣми

силами въ случаѣ какого-бы то ни было посторонняго нападенія. Присоединеніе Виченцы къ возобновленному ломбардскому союзу доказываетъ, что Эччелино II, не смотря на многочисленныя проскрипціи и конфискаціи, не успѣлъ утвердить въ этомъ городѣ свое господство.

Для противодѣйствія ломбардской лиги Парма, попавшая въ руки гибелиновъ, Кремона и Модена составили свой отдѣльный союзъ и обязались защищать права императора.

Тогда депутаты или ректоры ломбардской лиги рѣшили на сеймѣ, чтобы ни одинъ изъ городовъ, присоединившихся къ лигѣ, не выбиралъ себѣ подесты изъ гибелиновъ или изъ подданныхъ императора. Это рѣшеніе показываетъ, что вторая ломбардская лига пошла дальше первой и не побоялась открытаго и полнаго разрыва съ имперіей. Тотъ-же сеймъ запретилъ ломбардскимъ гражданамъ принимать отъ императора и отъ его приверженцевъ пенсіи, подарки и ленныя владѣнія.

Григорій IX поддерживалъ это настроеніе ломбардскихъ союзниковъ всѣми средствами своего духовнаго вліянія. Нищенствующіе монахи, недавно начавшіе свою дѣятельность и обратившіе на себя благоговѣйное вниманіе массъ неслыханной строгостью своихъ уставовъ и дикой восторженностью своихъ проповѣдей, — разсыпались по городамъ и селамъ Ломбардіи, собрали и увлекли за собой тысячи довѣрчивыхъ слушателей, изобличили Фридриха въ поразительномъ сходствѣ съ апокалипсическимъ звѣремъ и доказали добрымъ католикамъ, какъ дважды два четыре, что міръ гибнетъ въ пучинѣ беззаконія и что для спасенія погибающаго міра ломбарды непремѣнно должны покаяться, исправиться, низринуть проклятыхъ гибелиновъ въ преисподнюю, и главное предать суду священной инквизиціи еще болѣе проклятыхъ еретиковъ, расплодившихся въ сѣверной Италіи, подъ именемъ *катаровъ* или *патариновъ*.—Папство дѣйствительно находилось въ очень опасномъ положеніи и имѣло достаточныя основанія прибѣгать для своей защиты къ самымъ экстраординарнымъ средствамъ—къ нищенствующимъ орденамъ и къ инквизиціи.—Фридрихъ IIвъ самомъ дѣлѣ долженъ былъказатьсяГригоріюIXотвратительнѣе и ужаснѣе самаго гнуснаго и кровожаднаго чудовища. Во-первыхъ, у Фридриха былъ канцлеръ, Петръ де-Винеисъ, величайшій писатель своего времени, разсылавшій по всей Европѣ такіе циркуляры, которые уничтожали весь эффектъ папскихъ проклятій и ругательныхъ посланій. Во-вторыхъ, Фридрихъ въ трехъ дняхъ пути отъ Рима завелъ обширную колонію сицилійскихъ мусульманъ, которые по первому востребованію могли выставить къ его услугамъ двадцатитысячную армію, совершенно нечувствительную къ самымъ грознымъ проявленіямъ папскаго неудовольствія. Де-Винеисъ объявлялъ на всю Европу, что папа искажаетъ факты и проклинаетъ въ припадкахъ жалкой старческой злости самаго усерднаго и добросовѣстнаго защитника высшихъ католическихъ интересовъ. А мусульманская когорта Фридриха могла, со дня на день, подойти къ Риму и увести папу на югъ въ какой-нибудь крѣпкій замокъ сицилійскаго королевства. При такихъ условіяхъ какъ-же можно было папскимъ проповѣдникамъ не приравнивать Фридриха къ ползающей гадинѣ и къ рыкающему льву и даже къ болѣе мудренымъ животнымъ, не встрѣчающимся въ учебникахъ зоологіи?

Еще опаснѣе Фридриха и его краснорѣчиваго канцлера, его безчувственныхъ мусульманъ—была глухая работа освобождающейся мысли. Вся южная Франція и сѣверная Италія были глубоко затронуты еретическими доктринами; ни осужденіе Абеляра, ни казнь его любимаго ученика, Арнольда Брешіанскаго, не остановили умственнаго движенія. Ересь росла и въ глубину, и въ ширину; еретики становились съ каждымъ десятилѣтіемъ смѣлѣе въ своемъ анализѣ, и число ихъ постоянно увеличивалось. Они думали и говорили, что папа и прелаты не могутъ, по своему благоусмотрѣнію, отворять и затворять простымъ смертнымъ двери въ царство небесное; они обвиняли папу и прелатовъ въ самовольномъ и беззаконномъ захватѣ свѣтской власти; они съ презрѣніемъ смотрѣли на индульгенціи; они отрицали чистилище; они критиковали католическія легенды.—Догматическая сторона ихъ системы была еще болѣе ужасна. «Они признавали—говоритъ Сисмонди—во вселенной двѣ творческія силы,—силу невидимаго міра, которую они называли добрымъ Богомъ, и силу видимаго міра, которую они называли злымъ Богомъ. Это—система Манеса (такъ называемый манихеизмъ) о вѣчности духа и матеріи. Первому они приписывали новый завѣтъ, второму — ветхій, и чтобы доказать, что послѣдній дѣйствительно созданъ Богомъ зла, они выставляли на видъ всѣ изложенныя тамъ преступленія и тѣ качества Бога ревниваго, мстительнаго и грознаго, которыя евреи усматривали въ Верховномъ Существѣ. Они не допускали тѣлеснаго сошествія Спасителя на землю; онъ, говорили они, сошелъ на землю только духовнымъ образомъ и никогда не облекался въ тѣло. Въ людяхъ они видѣли ангеловъ, утратившихъ свое первобытное величіе; но ихъ души, послѣ нѣсколькихъ переселеній, должны возвратиться къ своей прежней славѣ. Таковы были по крайней мѣрѣ мнѣнія нѣкоторыхъ изъ этихъ сектаторовъ; потому что повидимому ихъ вѣрованія не были однообразны, изъ чего слѣдуетъ заключить, чтоо ни предоставляли каждому вѣрующему свободу обсуживать свою собственную вѣру.

Какъ велика была притягательная сила еретическихъ доктринъ—можно видѣть изъ того обстоятельства, что хитрый пройдоха Эччелино II

на старости лѣтъ сдѣлался патеринômъ. Въ двадцатыхъ годахъ XIII вѣка онъ отказался отъ міра, раздѣлилъ свои владѣнія между своими сыновьями, Альберикомъ и Эччелино III, и такъ ревностно сталъ заботиться о спасеніи своей грѣшной души, что его прозвали Эччелино-Монахомъ. Но этотъ монахъ былъ еретикомъ, и въ 1231 году папа Григорій IX послалъ къ сыновьямъ стараго отшельника буллу, въ которой онъ приказывалъ имъ представить отца въ судилище инквизиціи, если онъ не отречется отъ ереси. Булла эта кажется осталась безъ послѣдствій. Что старый грѣховодникъ передъ концомъ своей жизни занялся отмаливаніемъ своихъ грѣховъ—въ этомъ конечно нѣтъ ничего особенно замѣчательнаго. Личности, подобныя синьору Эччелино, всегда стараются услужить и Богу, и мамону и обыкновенно начинаютъ устраивать себѣ уютный уголокъ на томъ свѣтѣ, когда земная жизнь перестаетъ доставлять утомленному организму обильныя и живыя наслажденія. Но что старикъ, истратившій всю свою жизнь на политическія интриги, выучившійся смотрѣть хладнокровно на игру человѣческихъ страстей, желаній и заблужденій, застраховавшій себя достаточно противъ всякихъ порывовъ юношескаго энтузіазма и давно потерявшій способность увлекаться блескомъ и оригинальностью новизны, что такой старикъ, предавшись душеспасительнымъ размышленіямъ, бросился на ту крутую и узкую тропинку, по которой шло гонимое меньшинство,—это фактъ чрезвычайно выразительный и краснорѣчивый. Это значитъ, что чистый католицизмъ уже въ XIII столѣтіи началъ превращаться въ политическую машину, годную на то, чтобы запугивать и держать въ повиновеніи неразмышляющія народныя массы,—но уже не соотвѣтствующую умственнымъ и нравственнымъ потребностямъ тѣхъ отдѣльныхъ личностей, которыя, задумываясь надъ загробной вѣчностью, старались сами оцѣнить достоинства общеизвѣстныхъ положеній и предписаній, защищаемыхъ оффиціальными руководителями.

При такихъ обстоятельствахъ возможно-ли было нищенствующимъ проповѣдникамъ, ученикамъ Франциска и Доминика, не говорить объ испорченности міра и о необходимости очистить его кострами инквизиціи?

Ревностныя проповѣди, повторяясь каждый день, принесли свои плоды. Въ началѣ 1228 года миланское народное собраніе рѣшило наказывать еретиковъ изгнаніемъ и конфискаціей всего имущества. Это рѣшеніе повидимому довольно милостиво, но при этомъ надо сообразить, что изгнанный еретикъ имѣлъ очень мало шансовъ найти себѣ безопасное убѣжище въ какомъ-нибудь другомъ итальянскомъ городѣ, или даже въ какомъ-бы то ни было отдаленномъ уголкѣ католической Европы. Правда, что еретиковъ было много, но преслѣдователей было вездѣ несравненно больше, и вниманіе ихъ было доведено до высшей степени напряженія. Уступая требованіямъ задорныхъ проповѣдниковъ, миланцы въ 1231 году обнародовали у себя эдиктъ папы и императора, осуждавшій еретиковъ на смертную казнь. Наконецъ въ 1233 году Миланъ въ первый разъ украсился кострами, очищающими міръ отъ умственной и нравственной заразы. Въ этомъ-же году миланскій подеста, Ольдрадо изъ Трессено, построилъ на городской площади общественный дворецъ и на фасадѣ этого зданія, надъ барельефомъ, изображающимъ его, подесту, на конѣ, приказалъ помѣстить латинское двустишіе, въ которомъ строитель дворца съ самодовольною игривостью объявляетъ потомству, что онъ первый, исполняя свою обязанность, жарилъ катаровъ.

Qui solium struxit,
Catharos, ut debuit, uxit.

Проповѣдями своими противъ еретиковъ прославились въ особенности трое доминиканцевъ: Петръ изъ Вероны, Роландъ изъ Кремоны и Левъ изъ Переи. Всѣ трое считались святыми людьми. Костры загорались вездѣ, гдѣ они появлялись и начинали говорить. Одинъ изъ этихъ ревнителей устроилъ въ Миланѣ частное общество, котораго члены обязывались подслушивать, подсматривать, выслѣживать и разоблачать всякое еретическое коварство. Льву удалось сдѣлаться миланскимъ архіепископомъ. Мѣстный капитулъ, глубоко убѣжденный въ томъ, что святой человѣкъ стоитъ безконечно выше земного честолюбія, вручилъ ему право назначить новаго прелата. Левъ воспользовался этимъ правомъ и объявилъ изумленнымъ членамъ капитула, что онъ не знаетъ никого достойнѣе самого себя. Увѣнчавъ свои добродѣтели архіепископскою митрой, святой человѣкъ сдѣлался скоро самымъ буйнымъ и горячимъ коноводомъ дворянской партіи.

Нищенствующіе монахи считали себя способными и обязанными пересоздать весь міръ по тому аскетическому идеалу, къ которому они стремились сами вслѣдъ за Францискомъ и Домиником. Ихъ пламенный энтузіазмъ кидался съ яростными обличеніями на все, что не соотвѣтствовало ихъ строгимъ требованіямъ. Многіе доминиканцы декламировали въ Ломбардіи противъ роскоши, хотя вся роскошь тогдашнихъ людей состояла развѣ только въ томъ, что они ходили не босикомъ и подкладывали себѣ подъ голову во время сна не камень, а подушку.

Величайшей слабостью XIII вѣка была его неукротимая воинственность. Въ своей жизни тогдашніе люди были очень умѣренны, но за-то война губила у нихъ изъ году въ годъ безобразно-много рабочихъ силъ и готовыхъ продуктовъ, тѣмъ болѣе, что побѣдители всегда разрушали до основанія дома, башни и замки побѣжденныхъ. Съ самоувѣренностью искреннихъ фанатиковъ нищенствующіе монахи вообразили себѣ, что они

могутъ искоренить войну такъ-же успѣшно, какъ они искореняютъ ересь. Проповѣдники стали доказывать своимъ слушателямъ, что у католика не должно быть никакихъ враговъ, кромѣ тѣхъ чудовищъ, которыя искажаютъ чистоту его религіи. Особенно отличился своими проповѣдями противъ войны доминиканецъ Іоаннъ изъ Виченцы. Онъ началъ свою дѣятельность въ Болоньѣ, въ 1233 году. Вокругъ него собрались толпами граждане, крестьяне окрестныхъ деревень и въ особенности воины, сознававшіе повидимому съ глубокимъ сокрушеніемъ грѣховность своихъ обыкновенныхъ занятій. Держа въ рукахъ кресты и знамена, толпа всюду слѣдовала за своимъ учителемъ, ловила и затверживала его слова, и готова была исполнять каждое его приказаніе. Закоренѣлые враги, ежедневно нарушавшіе спокойствіе Болоньи своими раздорами, бросались къ ногамъ проповѣдника, обнимались между собой и давали клятву забыть старую вражду и простить другъ другу взаимныя оскорбленія. Іоаннъ сразу сдѣлался важнымъ политическимъ дѣятелемъ. Правители Болоньи уполномочили его пересмотрѣть городское уложеніе и вычеркнуть изъ него тѣ статьи, которыя, по его мнѣнію, могли подать поводъ къ новымъ раздорамъ. Болонскіе граждане думали, что хорошіе законы немедленно пересоздадутъ всѣ ихъ страсти, понятія и привычки и въ одну минуту превратятъ задорныхъ буяновъ въ кроткихъ и благоразумныхъ любителей тишины и порядка. Іоаннъ раздѣлялъ вполнѣ ихъ пріятное заблужденіе и съ величайшимъ самодовольствомъ исполнялъ обязанности полновластнаго законодателя.

Изъ Болоньи онъ отправился въ Падую, гдѣ уже разнесся слухъ о премудромъ и святомъ доминиканцѣ, укрощающемъ человѣческія страсти и водворяющемъ на грѣшной ломбардской землѣ золотой вѣкъ кротости и благочестія. Падуанское начальство вышло на встрѣчу къ Іоанну съ городскимъ каррочіо, усадило его на священную колесницу и ввезло его въ городъ, какъ тріумфатора. Народъ, собравшійся на площади, выслушалъ съ восторгомъ проповѣдь мира и тотчасъ же рѣшилъ предать вѣчному забвенію всѣ частныя распри. Іоанна упросили принять въ Падуѣ законодательную власть, и монахъ, сдѣлавшійся государственнымъ человѣкомъ, быстро осчастливилъ городъ такими законами, вслѣдствіе которыхъ всѣ граждане непремѣнно должны были любить и уважать другъ друга. Падуанцы остались очень довольны, а Іоаннъ пошелъ дальше и осыпалъ такими-же благодѣяніями Тревизу, Фельтро, Беллуно и синьоровъ Камино, Конельяно, Романо и Санъ-Бонифаціо. Всѣ города, черезъ которые проходилъ усердный миротворецъ, предоставляли ему полное право перестраивать всѣ существующіе законы. Виченца, Верона, Мантуя и Брешія съ простодушнымъ восторгомъ подчинялись его законодательскимъ экспериментамъ. Читатель легко можетъ себѣ вообразить, насколько долженъ быть проченъ миръ и законный порядокъ въ такихъ республикахъ, въ которыхъ и народъ, и правительство, услышавъ хорошо произнесенную рѣчь, разѣваютъ ротъ, развѣшиваютъ уши и отдаютъ себя въ полное распоряженіе краснорѣчиваго оратора. Читатель видитъ конечно, что дѣятельность доминиканца Іоанна заключаетъ въ себѣ неизлечимое внутреннее противорѣчіе, осуждающее ее на совершенную безплодность; его проповѣдь могла произвести сильное впечатлѣніе только на очень страстныхъ слушателей, мало размышлявшихъ и увлекавшихся всѣмъ, что въ данную минуту поражаетъ ихъ чувства и воображеніе; но эта ребяческая впечатлительность и подвижность, необходимая для успѣха краснорѣчивой проповѣди, въ которой всѣ мысли стары, какъ міръ, эта-же самая впечатлительность и подвижность, свойственная въ большей или меньшей степени всѣмъ народамъ, едва затронутымъ цивилизаціей,—составляетъ настоящую причину той безтолковой воинственности, которой тяготятся сами воюющіе народы, и противъ которой вооружался простодушный доминиканецъ Іоаннъ. Значитъ, чѣмъ блистательнѣе были успѣхи миротворца, тѣмъ безполезнѣе была вся его дѣятельность. Но миротворецъ, разумѣется, сіялъ самодовольствомъ, находился въ прямыхъ письменныхъ сношеніяхъ съ папой Григоріемъ IX и получалъ отъ него постоянно самыя обширныя полномочія. Чтобы окончательно искоренить въ Ломбардіи плевелы междоусобной войны, Іоаннъ, предписавшій свои законы цѣлому десятку республикъ, созвалъ къ 28-му августа 1233 г. торжественное собраніе ломбардовъ на пакварскую равнину, у рѣки Адижа, въ четырехъ верстахъ отъ Вероны.

Въ назначенный день вся пакварская равнина покрылась искателями человѣколюбія и мира. Можно сказать навѣрное, что ни одинъ изъ нѣмецкихъ преемниковъ Константина и Юстиніана ни при какомъ торжественномъ случаѣ своей жизни не видалъ передъ собою и вокругъ себя такого моря человѣческихъ головъ, какое окинулъ взоромъ доминиканецъ Іоаннъ съ своей высокой каѳедры, поставленной среди равнины. Одинъ современный писатель говоритъ, что на равнину собралось слишкомъ четыреста тысячъ человѣкъ, и Сисмонди не находитъ въ этой цифрѣ ничего неправдоподобнаго. На пакварской равнинѣ присутствовало все населеніе Мантуи, Вероны, Брешіи, Падуи и Виченцы; Тревиза, Венеція, Феррара, Модена, Реджіо, Парма и Болонья выслали также значительную часть своихъ гражданъ; епископы всѣхъ названныхъ городовъ, кромѣ Венеціи, Феррары и Пармы,—патріархъ аквилейскій, маркизъ д'Эсте, синьоры Романо и всѣ магнаты веронской мархіи находились также въ собраніи со всѣми своими вассалами и дружинниками.

Іоаннъ взобрался на свою непомѣрно-высокую каѳедру и заговорилъ. Говорилъ онъ долго, громко и горячо. Доказывалъ онъ трогательно и убѣдительно, что война противна духу католичества, нарушаетъ всѣ законы, божескіе и человѣческіе, и огорчаетъ до глубины души кроткаго и миролюбиваго пастыря, засѣдающаго въ Римѣ.

Окончивъ свою громовую проповѣдь, которую конечно могла услышать развѣ только десятая доля присутствующихъ, Іоаннъ приказалъ всѣмъ собравшимся ломбардамъ обмѣняться между собой взаимнымъ прощеніемъ обидъ, обручилъ для большей прочности заключеннаго мира маркиза д'Эсте съ дочерью Альберика ди Романо и произнесъ самыя страшныя проклятія противъ тѣхъ негодяевъ, которые снова возьмутся за оружіе.

Блестящій успѣхъ пакварскаго представленія окончательно убѣдилъ Іоанна въ томъ, что онъ—великій государственный человѣкъ, способный держать въ своихъ могучихъ рукахъ судьбу всей Италіи. Прямо съ пакварской равнины онъ отправился въ Виченцу, вошелъ въ городской совѣтъ и потребовалъ, чтобы виченцинцы предоставили ему неограниченную власть надъ республикой, съ титулами графа и герцога. Объ Іоаннѣ ходили уже въ это время самые удивительные слухи; о немъ говорили, что онъ своими молитвами воскресилъ великое множество мертвецовъ; виченцинцы не осмѣлились ни въ чемъ отказать великому чудотворцу и немедленно вручили ему диктаторскую власть въ полной увѣренности, что онъ дѣйствуетъ по внушеніямъ свыше. Изъ Виченцы Іоаннъ отправился въ Верону, вытребовалъ себѣ верховную власть и въ этомъ городѣ и воспользовался этой властью, чтобы арестовать, осудить и сжечь на площади шестьдесятъ еретиковъ, принадлежавшихъ къ самымъ знатнымъ и вліятельнымъ семействамъ республики. Въ это время виченцинцы начали замѣчать, что въ распоряженіяхъ чудотворца нѣтъ ничего особенно премудраго, спасительнаго и божественнаго. Предоставляя Іоанну верховную власть, они надѣялись, что онъ удовлетворитъ всѣмъ требованіямъ различныхъ сословій, распредѣлитъ между всѣми гражданами общественныя должности, захваченныя дворянствомъ, расширитъ права народа и вообще выработаетъ для республики такую конституцію, которая навсегда положитъ конецъ всѣмъ междоусобнымъ раздорамъ. Когда же они увидѣли, что ихъ новый графъ и герцогъ по своему властолюбію и тщеславію можетъ выдержать сравненіе съ любымъ виченцкимъ магнатомъ, когда они замѣтили, что Іоаннъ серьезно хочетъ прибрать ихъ къ рукамъ и думаетъ удержать за собой диктатуру до конца своей жизни, тогда обожаніе быстро превратилось въ ненависть и презрѣніе, и разсказы о воскресшихъ мертвецахъ стали встрѣчать себѣ упорное недовѣріе и открытыя насмѣшки. Падуанцы были также настроены враждебно къ проповѣднику, передъ которымъ они недавно благоговѣли. Падуанцы смѣялись надъ своими сосѣдями, виченцинцами, отдавшими себя въ кабалу монаху, подстрекали ихъ къ возстанію, обѣщали послать къ нимъ на помощь сильный отрядъ. Этими переговорами управлялъ падуанскій монахъ, Джордано, пользовавшійся въ Падуѣ всеобщимъ уваженіемъ и смотрѣвшій съ завистью на внезапное возвышеніе Іоанна. Пока Іоаннъ судилъ и рядилъ въ Веронѣ, виченцинцы взбунтовались противъ него подъ предводительствомъ своего подесты, Угуціо Пиліо. Миротворецъ вздумалъ поддержать свое разрушающееся господство силою оружія. Онъ прибѣжалъ въ Виченцу съ веронскими солдатами, взялъ приступомъ дворецъ подесты и отдалъ его своимъ сподвижникамъ на разграбленіе. Но въ это время подоспѣла падуанская милиція; солдаты Іоанна разбѣжались, а самъ миротворецъ попался въ плѣнъ. Его скоро выпустили по требованію папы, но съ этого времени исчезло все его могущество. Ломбарды осмѣяли его честолюбивые замыслы и скоро забыли о его существованіи. Народные кумиры вообще возвышаются и падаютъ очень быстро, но по всей вѣроятности ни одному изъ любимцевъ народа не удалось превзойти въ этомъ отношеніи доминиканца Іоанна изъ Виченцы. Его первое появленіе въ Болоньѣ, его законодательскіе подвиги въ республикахъ восточной Ломбардіи, его безпримѣрное торжество на пакварской равнинѣ, его превращеніе въ графа и въ герцога и его комически-жалкое паденіе—все это уложилось въ одинъ годъ. Въ 1232 году онъ былъ еще ничтожнымъ и неизвѣстнымъ монахомъ. Въ 1234 году онъ уже снова былъ ничтожнымъ монахомъ, на котораго никто не хотѣлъ обращать вниманія.

Исторія доминиканца Іоанна предвѣщала ломбардскимъ республикамъ незавидную будущность. Народъ, среди котораго могутъ разыгрываться подобныя исторіи, неспособенъ долго сохранять свою свободу. Увлекаясь любовью или ненавистью, поддаваясь ребяческому страху или несбыточнымъ надеждамъ, такой страстный и впечатлительный народъ будетъ непремѣнно бросать свою свободу къ ногамъ каждой выдающейся личности до тѣхъ поръ, пока не наткнется на искуснаго и хладнокровнаго деспота, который медленно усиливающимся гнетомъ тихо и незамѣтно заморозитъ всѣ проявленія народной пылкости и самодѣятельности.

XX.

Эччелино III свирѣпый.

Когда Эччелино II занялся спасеніемъ своей души и погрузился въ бездну еретическихъ заблужденій, его сыновья, Эччелино III и Альберикъ, стали усердно заботиться о дальнѣйшемъ

расширенiи своего могущества и о порабощенiи тѣхъ городовъ, возлѣ которыхъ находились ихъ крѣпкiе замки и обширныя помѣстья. Альберикъ сосредоточилъ свое вниманiе на Тревизѣ, а Эччелино посвятилъ свои труды Веронѣ.

Альберику удалось на нѣсколько времени подчинить Тревизу своему вліянiю, но потомъ мѣстные гвельфы при содѣйствiи падуанцевъ одержали перевѣсъ надъ его партiей, и Тревиза присоединилась къ ломбардской лигѣ. Альберикъ до конца своей жизни остался богатымъ и сильнымъ помѣщикомъ, принималъ участiе во всѣхъ войнахъ, опустошавшихъ восточную Ломбардiю, но не сдѣлалъ ничего такого, что могло бы выдвинуть его изъ толпы тогдашнихъ благородныхъ интригановъ и пiобрѣтателей.

Эччелино повелъ свои дѣла гораздо успѣшнѣе. Въ первой четверти XIII вѣка Верона управлялась сенатомъ, состоявшимъ изъ восьмидесяти выборныхъ членовъ. На выборахъ 1225 года партiя Монтекки, къ которой принадлежалъ Эччелино, одержала рѣшительную побѣду и наполнила сенатъ своими приверженцами. Вслѣдъ затѣмъ та-же партiя, заранѣе увѣренная въ полной безнаказанности, возбудила въ городѣ возстанiе и выгнала изъ Вероны графа Санъ-Бонифацiо, предводителя веронскихъ гвельфовъ. Сенатъ, составленный изъ гибелиновъ, одобрилъ эти насильственные поступки и, чтобы упрочить торжество гибелинской партiи, провозгласилъ Эччелино *вождемъ народа* (capitano del popolo) и предоставилъ ему верховную власть надъ республикой. До этого времени титулъ capitano del popolo никогда не употреблялся: онъ былъ выдуманъ нарочно для Эччелино. Отъ Эччелино, какъ отъ главы торжествующей партiи, зависѣло опредѣлить отношенiя новой должности ко всѣмъ остальнымъ государственнымъ учрежденiямъ веронской республики. Эччелино поступилъ такъ, какъ поступаютъ обыкновенно ловкiе и осторожные люди, захватывая власть; онъ оставилъ на мѣстѣ старыя формы и влилъ въ нихъ новое содержанiе, невинность котораго была ему достаточно извѣстна. Каждый годъ выбирались сенаторы; каждый годъ приглашался подеста; сенаторы по-прежнему собирались и о чемъ-то разсуждали; подеста по-прежнему судилъ и наказывалъ какихъ-то безпокойныхъ людей. Вліянiе capitano del popolo ограничивалось тѣмъ, что онъ направлялъ выборы къ благой цѣли и обращалъ вниманiе приглашеннаго подесты на тѣхъ гражданъ, которые обнаруживали неблагоразумное упрямство. Этого было достаточно. Сенаторы и подеста оказывались всегда покорными и услужливыми людьми; они смотрѣли въ глаза синьору капитано, угадывали и предупреждали его желанiя, произносили тѣ слова, которыя онъ имъ подсказывалъ, и всегда осуждали тѣхъ гражданъ, которыхъ онъ находилъ неудобными. Такъ шли дѣла впродолженiи восьми лѣтъ. Въ концѣ 1233 года неожиданный взрывъ народнаго восторга отдалъ Верону на нѣсколько недѣль въ полное распоряженiе доминиканцу Іоанну. Эччелино благоразумно уступилъ желанiю народа, отодвинулся на самый задвiй планъ и нисколько не противодѣйствовалъ Іоанну даже тогда, когда онъ вздумалъ воротить въ Верону изгнаннаго графа Санъ-Бонифацiо. Но послѣ паденiя Іоанна вліянiе Эччелино значительно усилилось. Гибелины были перепуганы возвращенiемъ Санъ-Бонифацiо и его гвельфовъ; гибелины видѣли, что народъ нисколько не проникнутъ страстями ихъ партiи; пользуясь тревожнымъ настроенiемъ своихъ сподвижниковъ, Эччелино могъ доказывать имъ съ величайшимъ успѣхомъ, что для прочнаго торжества гибелинизма необходимо принимать на будущее время такiя строгiя мѣры, которыя отучили бы глупый народъ отъ неприличныхъ взрывовъ восторга. Когда партiя боится за свое существованiе, тогда она обыкновенно старается запугать массу насильственными мѣрами. Такъ случилось и въ Веронѣ. Встревоженные гибелины, сдвинувшись тѣснѣе прежняго вокругъ синьора капитано, снова выгнали графа Санъ-Бонифацiо и переполнили городскiя тюрьмы тѣми гражданами, которые обратили на себя ихъ неблагосклонное вниманiе во время диктатуры Іоанна.

Въ это-же самое время Эччелино сталъ убѣдительно приглашать императора въ сѣверную Италiю, постоянно напоминая ему о дерзкихъ замыслахъ ломбардской лиги, которая повидимому рѣшительно намѣрена была оторваться отъ имперiи. — Ломбардскiе союзники своими поступками дѣйствительно придавали значительный вѣсъ обвиненiямъ Эччелино. Въ 1234 г. старшiй сынъ императора, Генрихъ, взбунтовался въ Германiи противъ своего отца, находившагося въ то время въ сицилiйскомъ королевствѣ. Миланцы немедленно вошли въ сношенiя съ нѣмецкими мятежниками и предложили Генриху ломбардскую корону. Императоръ конечно не былъ расположенъ смотрѣть сквозь пальцы на такiя серьезныя оскорбленiя и, возстановивши спокойствiе въ Германiи, въ августѣ 1236 г. вступилъ съ войскомъ въ веронскую мархiю. При свиданiи съ Фридрихомъ Эччелино обратилъ его вниманiе на выгодное положенiе Вероны и очень легко убѣдилъ его въ необходимости занять этотъ городъ нѣмецкимъ гарнизономъ. Въ то-же время Эччелино доказалъ веронскимъ гибелинамъ, что присутствiе императорскаго войска будетъ чрезвычайно полезно для господства ихъ партiи. Фридрихъ довѣрилъ самому Эччелино начальство надъ тѣмъ отрядомъ, который расположился въ Веронѣ. Опираясь такимъ образомъ на военную силу, которая повиновалась ему одному, Эччелино сдѣлался совершенно независимымъ отъ своей соб-

ственной партіи и получилъ возможность угнетать безразлично и гвельфовъ, и гибелиновъ, и вообще всѣхъ гражданъ, сколько-нибудь дорожившихъ своей умственной и нравственной самостоятельностью.

Фридрихъ опустошилъ территоріи Мантуи и Брешіи и потомъ захватилъ врасплохъ и разграбилъ городъ Виченцу. Въ это время новые безпорядки принудили его воротиться въ Германію. Уходя изъ Италіи, императоръ назначилъ Эччелино своимъ намѣстникомъ и присоединилъ къ его владѣніямъ завоеванный городъ, Виченцу. Взятіе Виченцы навело ужасъ на падуанцевъ, принадлежавшихъ къ ломбардскому союзу. Подестою Падуи былъ въ это время Рамбертъ Гизиліери изъ Болоньи. Не отставляя его отъ должности, падуанцы составили для спасенія республики комитетъ изъ шестнадцати знатнѣйшихъ мѣстныхъ дворянъ. Кромѣ того они въ народномъ собраніи вручили маркизу Аццо VII д'Эсте главное знамя республики и предоставили ему неограниченную власть на все время военныхъ дѣйствій. Средневѣковые люди обладали вообще удивительной способностью устраивать въ одномъ государствѣ или даже въ одномъ городѣ по нѣскольку полновластныхъ правительствъ. При этомъ оправдывалась обыкновенно глубокомысленная пословица о ребенкѣ, теряющемъ глаза при семи нянькахъ. Обиліе нянекъ обошлось очень дорого падуанской республикѣ. Маркизъ д'Эсте уѣхалъ въ свои владѣнія и не сдѣлалъ ровно ничего для защиты Падуи, а члены комитета оказались даже тайными союзниками Эччелино; одинъ подеста добросовѣстно старался о спасеніи города; но подеста, какъ иногородецъ, не имѣлъ въ Падуѣ никакихъ связей и конечно не могъ справиться съ комитетомъ, который нарочно путалъ всѣ его распоряженія. Убѣдившись въ томъ, что его соправители, члены комитета, находятся въ перепискѣ съ непріятелями, Гизиліери рѣшился сдѣлать отчаянное усиліе. Онъ собралъ комитетъ и потребовалъ, чтобы его члены въ виду угрожающей опасности дали клятву исполнять безотлагательно всѣ приказанія подесты. Измѣнники исполнили требованіе подесты. Тогда Гизиліери приказалъ имъ всѣмъ отправиться завтра утромъ въ Венецію, представиться дожу и ожидать тамъ дальнѣйшихъ приказаній отъ падуанскаго правительства. Одинъ изъ членовъ повиновался буквально. Остальные пятнадцать разбѣжались по своимъ укрѣпленнымъ замкамъ и объявили открытую войну гвельфскому правительству Падуи.

Измѣнники, засѣдавшіе въ комитетѣ, были конечно гораздо опаснѣе враговъ. Сорвавши съ измѣнниковъ маски, Гизиліери очевидно оказалъ услугу республикѣ и улучшилъ ея положеніе. Но падуанцы взглянули на дѣло иначе. Имъ показалось, что Гизиліери оскорбилъ дворянъ своей недовѣрчивостью, и что по милости подесты республика потеряла самыхъ доблестныхъ своихъ защитниковъ. Народное собраніе отрѣшило Гизиліери отъ должности и пригласило на его мѣсто Марино Бадоэро изъ Венеціи. Въ это время полновластный защитникъ гвельфской партіи, маркизъ д'Эсте, заключилъ отдѣльный миръ съ Эччелино и даже выдалъ ему двѣсти человѣкъ падуанцевъ, составлявшихъ гарнизонъ нѣсколькихъ замковъ, которые по условію были отданы гибелинамъ. Такимъ образомъ главная нянька падуанской республики собственноручно выколола глазъ своему питомцу. Эччелино подошелъ съ императорскимъ войскомъ къ стѣнамъ Падуи; Бадоэро вышелъ къ нему на встрѣчу и отразилъ его. Но приверженцы бывшаго дворянскаго комитета усердно интриговали въ городѣ, выдумывали противъ подесты разныя небылицы и наконецъ довели дѣло до того, что Бодоэро принужденъ былъ удалиться. Дворяне, воевавшіе противъ падуанской республики, воротились въ Падую, захватили правленіе въ свои руки и вслѣдъ затѣмъ прислали въ городъ синьора Эччелино, взявъ съ него клятву, что свобода республики останется неприкосновенною, а что всѣ плѣнники будутъ выпущены на волю безъ выкупа. Эччелино поспѣшно принялъ всѣ условія, вошелъ въ Падую и въ порывѣ радости поцѣловалъ ворота города, который долженъ былъ сдѣлаться столицей его владѣній.

Когда падуанскіе гибелины пригласили въ свой городъ Эччелино, многіе мѣстные гвельфы вышли изъ Падуи, заняли укрѣпленный замокъ Монтаньяну и рѣшились защищаться до послѣдней возможности. Въ это время Эччелино составилъ въ Падуѣ правительственный совѣтъ изъ тѣхъ дворянъ и гражданъ, на которыхъ онъ могъ вполнѣ положиться. Члены этого импровизированнаго совѣта тотчасъ вошли въ свою роль, вообразили себя законными представителями падуанской республики и отъ ея имени попросили Эччелино назначить, по своему благоусмотрѣнію, падуанскаго подесту. Эччелино сталъ жеманничать и скромничать; онъ говорилъ, что не смѣетъ присвоивать себѣ право, принадлежащее цѣлому народу. Члены совѣта упрашивали и настаивали. Эччелино уступилъ ихъ пламенному желанію и назначилъ подестою одного изъ своихъ приверженцевъ, неаполитанскаго графа Театино. Любопытно замѣтить, что члены совѣта не осмѣлились поднести должность подесты самому Эччелино. Для него эта должность была уже слишкомъ ничтожна.

Вслѣдъ за назначеніемъ падуанскаго подесты, правительства трехъ республикъ, подчинившихся синьору Эччелино, — Вероны, Виченцы и Падуи, — рѣшили, по внушенію со стороны своего патрона, содержать постоянно на своемъ жалованьѣ для безопасности гибелинской партіи

по сту человѣкъ нѣмцевъ и по триста сарациновъ изъ императорской арміи. Это значило очевидно покупать себѣ униженіе и страданіе на свои собственныя деньги. Оружіе тѣхъ воиновъ, которыхъ обязались содержать республики, конечно должно было направляться исключительно противъ самихъ же гражданъ, выплачивающихъ жалованье.

Гвельфы, удалившіеся въ Монтаньяну, отразили армію Эччелино, составленную изъ нѣмцевъ и сарациновъ. Падуанскій подеста, Театино, показалъ видъ, что онъ боится возстанія со стороны тѣхъ гвельфскихъ семействъ, которыя остались въ Падуѣ. Поэтому онъ потребовалъ отъ нихъ заложниковъ; черезъ нѣсколько дней онъ пригласилъ къ себѣ всѣхъ самыхъ вліятельныхъ дворянъ и гражданъ города, принадлежащихъ къ обѣимъ партіямъ, и объявилъ имъ самымъ дружескимъ образомъ, что на ихъ счетъ ходятъ въ народѣ странные и тревожные слухи, что народъ ожидаетъ отъ нихъ, по своей глупости, сигнала къ возстанію, что онъ, подеста, съ своей стороны, вполнѣ увѣренъ въ ихъ совершенной благонамѣренности и непоколебимой вѣрности императору, но что для прекращенія всякихъ безсмысленныхъ слуховъ, волнующихъ глупую толпу, было-бы особенно полезно, еслибы они, вліятельные люди, удалились на нѣсколько дней изъ города въ ближайшіе замки падуанской территоріи. Подеста убѣдительно просилъ господъ дворянъ и гражданъ дать ему это доказательство своей неизмѣнной привязанности къ императору и къ законному порядку, водворенному въ Падуѣ трудами императорскаго намѣстника, синьора Эччелино III. Отказать подестѣ значило обнаружить свое недовѣріе или признать себя коноводомъ приготовляющагося возстанія. Отказывая подестѣ, надо было тотчасъ же поднять народъ и начать уличную войну. Но если желаніе произвести переворотъ и таилось въ душѣ нѣкоторыхъ гражданъ, то во всякомъ случаѣ этотъ переворотъ еще не былъ достаточно подготовленъ. Поэтому дворянамъ и гражданамъ, собравшимся у подесты, оставалось только исполнить его просьбу и осудить себя на добровольное изгнаніе. Человѣкъ двадцать знатнѣйшихъ падуанцевъ удалились изъ города въ окрестные замки. Чрезъ нѣсколько дней Эччелино приказалъ арестовать всѣхъ этихъ господъ — и гвельфовъ, и гибелиновъ — и безъ всякаго судебнаго изслѣдованія размѣстилъ ихъ по различнымъ тюрьмамъ. Однихъ онъ похоронилъ заживо въ подземельяхъ своихъ наслѣдственныхъ замковъ, а другихъ отправилъ въ сицилійское королевство, гдѣ также нашлось для нихъ приличное помѣщеніе. Извѣстіе объ этихъ арестахъ пришло въ Падую и произвело тамъ паническій страхъ, подъ вліяніемъ котораго было конечно очень неудобно думать о вооруженномъ возстаніи. Гибелины увидѣли съ ужасомъ, что даже ихъ партія нисколько не можетъ разсчитывать на безопасность при томъ правительствѣ, которое они сами такъ старательно навязали своей родинѣ. Кто могъ бѣжать изъ Падуи, тотъ убѣжалъ; многіе падуанскіе дворцы опустѣли. Эччелино срылъ ихъ до основанія, конфисковалъ имущество бѣжавшихъ гражданъ и посадилъ въ тюрьму тѣхъ бѣглецовъ, которыхъ ему удалось настигнуть и захватить. Эччелино боялся монаха Джордано, проповѣди котораго имѣли сильное вліяніе на падуанскій народъ и который могъ произвести въ городѣ сильное волненіе. Однажды Эччелино послалъ къ Джордано нѣсколько человѣкъ своихъ рыцарей, которые очень вѣжливо попросили монаха пожаловать къ синьору намѣстнику для какихъ-то важныхъ совѣщаній. Джордано, къ которому Эччелино относился всегда съ глубокимъ уваженіемъ, спокойно сѣлъ на приготовленную для него лошадь. Его повезли не къ намѣстнику, а за-городъ, въ укрѣпленный замокъ, гдѣ и оставили его въ качествѣ арестанта. Падуанскій народъ перенесъ этотъ ударъ съ примѣрной кротостью, и тогда Эччелино окончательно понялъ, что ему больше нечего бояться и незачѣмъ церемониться. Онъ набралъ себѣ сильный отрядъ изъ падуанскихъ юношей и сталъ поддерживать свою тираннію оружіемъ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ онъ угнеталъ. Въ этомъ явленіи нѣтъ также ничего необыкновеннаго.

Осенью 1237 года Фридрихъ II снова вошелъ въ Ломбардію, разбилъ миланцевъ при Корте-Нуова, взялъ въ плѣнъ ихъ подесту, Петра Тіепола, сына венеціанскаго дожа, и казнилъ его, какъ преступника, вѣроятно для того, чтобы въ лицѣ беззащитнаго плѣнника оскорбить венеціанскую республику, которая дѣйствительно съ этой минуты объявила войну императору и приступила къ ломбардскому союзу.

Остатки разбитой миланской арміи нашли себѣ убѣжище во владѣніяхъ богатаго помѣщика, Пагано делла-Торре, за гостепріимство котораго миланская республика заплатила впослѣдствіи такъ дорого, что для нея было бы гораздо выгоднѣе, еслибы делла-Торре совсѣмъ не оказалъ ей никакой услуги, и еслибы вся армія, сражавшаяся при Корте-Нуова, погибла безъ остатка во время своего отступленія.

Въ 1238 году Фридрихъ осадилъ Брешію, простоялъ подъ ея стѣнами около трехъ мѣсяцевъ, но не могъ взять ее и въ октябрѣ былъ принужденъ снять осаду. Большую часть зимы на 1239 годъ онъ провелъ въ Падуѣ у Эччелино, котораго онъ постоянно любилъ и жаловалъ. Эччелино въ это время снова велъ войну съ маркизомъ д'Эсте. Но императоръ по очень естественному сочувствію ко всѣмъ врагамъ республиканской свободы хотѣлъ привлечь маркиза д'Эсте къ своей партіи и помирить его съ Эч-

челино. Для этого онъ пригласилъ маркиза въ Падую и женилъ своего сына, Ринальдо, на Аделаидѣ, дочери Альберика ди-Романо. Эччелино не противился миролюбивымъ желаніямъ императора, но самъ постоянно держалъ за пазухою камень. Его шпіоны каждый день сообщали ему имена тѣхъ падуанцевъ, которые входили въ домъ маркиза д'Эсте. Послѣ отъѣзда императора изъ Падуи всѣ эти посѣтители отправились на плаху или на висѣлицу.

Въ началѣ 1239 года папа Григорій IX, желая поддержать ломбардскую лигу, снова отлучилъ императора отъ церкви. Фридрихъ, находившійся въ это время въ Падуѣ, собралъ въ общественный дворецъ падуанскихъ гражданъ, объявилъ имъ о состоявшемся отлученіи и потомъ приказалъ своему канцлеру, Петру де-Виненсъ, произнести передъ гражданами рѣчь, въ которой опровергались обвиненія, высказанныя въ папской буллѣ. Не смотря на всю убѣдительность защитительной рѣчи, произнесенной знаменитымъ канцлеромъ, Фридрихъ былъ увѣренъ, что папская булла поколеблетъ вѣрность тѣхъ гвельфскихъ дворянъ, которые, подобно маркизу д'Эсте и графу Санъ-Бонифаціо, недавно помирились съ императорской партіей. Поэтому Фридрихъ потребовалъ отъ нихъ заложниковъ. Этими признаками недовѣрія онъ только ускорилъ развязку. Не только Эсте и Санъ-Бонифаціо снова сдѣлались его врагами, но даже и Альберикъ, родной братъ Эччелино, перешелъ въ гвельфскій лагерь. — Эччелино въ это время продолжалъ душить въ Падуѣ всѣхъ честныхъ гражданъ, сколько-нибудь способныхъ поддерживать въ народѣ воспоминанія и сожалѣнія о потерянной республиканской свободѣ.

Положеніе веронянъ, вичентинцевъ и падуанцевъ было-бы еще до нѣкоторой степени сносно, еслибы жестокости Эччелино обусловливались исключительно политическимъ разсчетомъ. Въ такомъ случаѣ можно было-бы надѣяться, что Эччелино угомонится и станетъ обращаться съ своими подданными по-человѣчески, когда окончательно убѣдится въ томъ, что они покорились обстоятельствамъ и перестали думать о вооруженномъ возстаніи. Но эти скромныя надежды скоро оказались совершенно несбыточными. Дѣло пошло какъ разъ наоборотъ. Чѣмъ крѣпче чувствовалъ себя Эччелино на своемъ благопріобрѣтенномъ престолѣ, чѣмъ покорнѣе и безгласнѣе становились граждане трехъ порабощенныхъ республикъ,—тѣмъ откровеннѣе и смѣлѣе развертывался настоящій характеръ полновластнаго правителя, тѣмъ быстрѣе наполнялись обширныя и многочисленныя тюрьмы, и тѣмъ сильнѣе лились ручьи неповинной крови въ пыточныхъ застѣнкахъ и на эшафотахъ, украшенныхъ самыми замысловатыми орудіями казни. Эччелино обладалъ одною изъ тѣхъ рѣдкихъ и странныхъ организацій, для которыхъ человѣческія страданія составляютъ неисчерпаемый источникъ самыхъ любимыхъ наслажденій. По своему тѣлосложенію Эччелино III былъ совершенно не способенъ любить женщинъ. Онъ былъ кастратомъ отъ природы. Этотъ органическій порокъ составляетъ, по всей вѣроятности, основную причину его необыкновенной жестокости. Окруженный буйными и веселыми сверстниками, молодой Эччелино не могъ дѣлить съ ними радости любовныхъ похожденій; ему досадно было смотрѣть на ихъ проказы; ему больно и завидно было слушать ихъ хвастливую болтовню, въ которой онъ не могъ принимать никакого участія. Онъ чувствовалъ, онъ зналъ навѣрное, что его товарищи смѣются надъ его вынужденнымъ монашествомъ; онъ быть можетъ слышалъ отъ нихъ иногда добродушно-легкомысленныя соболѣзнованія, которыя больнѣе самыхъ злыхъ насмѣшекъ ложились на его гордую душу. Онъ держался по всей вѣроятности въ сторонѣ отъ своихъ сверстниковъ; онъ старался отталкивать отъ себя ледяною холодностью ихъ непрошенное участіе. Обрекая себя такимъ образомъ на добровольное уединеніе, молодой Эччелино пріучился наблюдать издали окружающихъ людей, глубоко обдумывать свои наблюденія и затаивать въ своемъ умѣ всѣ результаты своихъ серьезныхъ и печальныхъ размышленій. При такихъ условіяхъ властолюбіе юношескихъ лѣтъ должно было сдѣлаться его единственною страстью; его умственныя способности должны были развернуться, изощриться и закалиться до послѣднихъ предѣловъ своего естественнаго могущества; скрытность и притворство должны были сдѣлаться для него второю природой; ненависть къ людямъ должна была медленно всосаться во всѣ изгибы его озлобленной души. Когда тридцати-лѣтній Эччелино въ 1225 году сдѣлался правителемъ Вероны, въ немъ уже былъ готовъ тотъ безцѣльно-кровожадный тиранъ, который, пятнадцать лѣтъ спустя, началъ изумлять Италію своимъ звѣрствомъ. Онъ ненавидѣлъ мужчинъ такъ, какъ несчастный уродъ способенъ ненавидѣть всякое здоровое существо; онъ ненавидѣлъ женщинъ, потому что онѣ напоминали ему о наслажденіяхъ, которыя, не смотря на его могущество и блестящія умственныя способности, вѣчно должны были оставаться для него недоступными; онъ ненавидѣлъ дѣтей, потому что самъ никогда не могъ сдѣлаться отцомъ. Картины тихаго и святого семейнаго счастья, выраженіе страстной любви, слезы женъ, сестеръ, матерей, крики грудныхъ дѣтей — все, что можетъ растрогать и обезоружить нормальнаго человѣка, напоминая ему о его собственныхъ, самыхъ драгоцѣнныхъ привязанностяхъ,—все это могло только бѣсить и ожесточать несчастнаго урода, потому что все это указывало ему на ту неизлечимую пустоту, которую онъ носилъ въ самомъ себѣ и которую нельзя было наполнить никакими по-

бѣдами надъ гвельфами и надъ республиканскими учрежденіями. Эччелино хотѣлъ мстить всему человѣчеству за свое уродство, такъ точно, какъ Францъ-Мооръ въ «Разбойникахъ» Шиллера мститъ своему красивому брату Карлу за свое физическое безобразіе. Но Эччелино, подобно Францу-Моору, былъ очень уменъ и превосходно владѣлъ собою. Поэтому онъ отложилъ свое мщеніе до тѣхъ поръ, пока ему уже нечего было бояться. Когда онъ убѣдился въ томъ, что добыча уже не можетъ вырваться изъ его рукъ, тогда онъ далъ полную волю всѣмъ своимъ затаеннымъ, болѣзненно-звѣрскимъ инстинктамъ. Онъ началъ мучить людей для того, чтобы натѣшиться ихъ страданіями. Онъ сталъ наказывать ихъ за то, что они могутъ и смѣютъ наслаждаться жизнью и возбуждать безсильную зависть своего властелина. Современные историки не замѣтили, чтобы Эччелино любилъ самъ смотрѣть на пытки и казни; онъ хотѣлъ только, чтобы во всѣхъ подвластныхъ ему городахъ лилась кровь и царствовалъ постоянный ужасъ, чтобы всѣ его подданные чувствовали себя глубоко несчастными и, оплакивая своихъ друзей, постоянно боялись-бы за свою собственную жизнь. Тѣ города, въ которыхъ Эччелино не жилъ самъ, нисколько не были счастливѣе его резиденціи. Правители, назначенные тираномъ, старались угождать ему своею жестокостью и свирѣпствовали не хуже его самого. Особенно замѣчателенъ въ этомъ отношеніи его племянникъ, Анседизій Гвидотти, котораго Эччелино, переѣхавшій въ 1248 году въ Верону, назначилъ правителемъ Падуи.

Утвердившись въ Падуѣ, Эччелино истребилъ почти все семейство Кампо-Санъ-Піетро, находившееся въ непримиримой враждѣ съ фамиліей Романо, съ тѣхъ поръ какъ Эччелино II женился на Чечиліи Риксо. Изъ всего семейства Кампо-Санъ-Піетро уцѣлѣлъ только одинъ ребенокъ, котораго Эччелино III взялъ въ плѣнъ въ 1228 г. и котораго онъ съ тѣхъ поръ воспитывалъ при своемъ дворѣ. Этотъ ребенокъ, Гуліельмо, приходился племянникомъ синьору Эччелино; не смотря на это родство, Эччелино въ 1240 году сталъ подозрѣвать молодого Гуліельмо въ какихъ-то непозволительныхъ замыслахъ и приказалъ посадить его въ тюрьму. Четверо дядей Гуліельмо, синьоры Вадо, явились къ Эччелино и поручились ему за безукоризненное поведеніе своего молодого родственника. Эччелино принялъ ихъ поручительство и освободилъ Гуліельмо, а этотъ, по своей молодости и глупости, очутившись на свободѣ, тотчасъ бѣжалъ изъ Падуи въ свой замокъ Тривиліо и укрѣпился тамъ противъ Эччелино, который, разумѣется, тотчасъ арестовалъ добродушныхъ поручителей. Синьоры Вадо просидѣли нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ, гдѣ они конечно не могли сдѣлать никакого новаго преступленія. Однажды Эччелино вспомнилъ о нихъ и приказалъ наглухо замуровать дверь ихъ темницы. Нѣсколько дней слышно было, какъ они кричали и просили хлѣба. Потомъ все затихло. Когда разобрали стѣну, которою заложена была дверь, тогда въ тюрьмѣ оказались четыре скелета, обтянутые черною и сухою кожей.

Гуліельмо былъ до такой степени глупъ, что въ 1246 году попробовалъ помириться съ Эччелино, надѣясь смягчить его своею покорностью, и отдался въ его руки. Въ 1249 году Эччелино приказалъ ему развестись съ своей женой, семейство которой навлекло на себя его гнѣвъ какимъ-то мнимымъ преступленіемъ. Гуліельмо не послушался. Его посадили въ тюрьму и черезъ годъ казнили. Имущество его было конфисковано. Всѣ его родственники и друзья, безъ различія пола и возраста, отправились въ темницы, изъ которыхъ никто не возвращался на свѣтъ.

Эччелино держался постоянно того неизмѣннаго правила, что всѣ родственники и друзья осужденнаго преступника становятся подозрительными людьми, и слѣдовательно должны подвергаться безсрочному тюремному заключенію. Средневѣковыя тюрьмы вообще строились противъ всѣхъ правилъ гигіены, но тюрьмы Эччелино были нарочно устроены такъ, чтобы тюремное заключеніе, по своимъ результатамъ, оказывалось равносильнымъ смертной казни, и притомъ самой медленной и самой мучительной. Такъ какъ падуанская республика не имѣла никакого понятія о подозрительныхъ людяхъ и о необходимости морить медленною смертью отца, мать, жену, сестеръ, тетокъ, дядей, малолѣтнихъ дѣтей и племянниковъ казненнаго преступника,—то, разумѣется, существующія падуанскія тюрьмы не могли удовлетворить синьора Эччелино ни своей помѣстительностью, ни своимъ внутреннимъ устройствомъ. Эччелино началъ строить новыя тюрьмы. Одинъ изъ его придворныхъ чиновниковъ, желая угодить властелину, выпросилъ у него, какъ особенную милость, позволеніе завѣдывать постройкой и обязался сдѣлать изъ новой тюрьмы настоящую могилу, въ которую не проникнетъ ни одинъ лучъ дневного свѣта и ни одинъ глотокъ свѣжаго воздуха. Усердный лакей сдержалъ свое обѣщаніе, а баринъ, съ своей стороны, скоро отблагодарилъ его за оказанную услугу. Искусному строителю скоро пришлось испытать на собственной особѣ гигіеническія достоинства новой тюрьмы, въ которой онъ и умеръ отъ голода, отъ жажды, отъ духоты и отъ легіоновъ вшей и клоповъ.

Подобно всѣмъ умнымъ тиранамъ, Эччелино глубоко презиралъ и съ особеннымъ удовольствіемъ губилъ тѣхъ бездушныхъ негодяевъ, которые лизали ему ноги и становились пассивными орудіями его жестокости. У него не было ни любимцевъ, ни друзей; для него не существовало различія между гвельфами и гибелинами. Онъ

совершенно безпристрастно истреблялъ тѣхъ и другихъ. Семейство Далесманини, отличавшееся богатствомъ и знатностью, принадлежало очень давно къ гибелинской партіи и находилось постоянно въ самомъ тѣсномъ союзѣ съ синьорами Романо. Вдругъ одна женщина изъ рода Далесманини, жившая въ Кремонѣ, послѣ смерти своего перваго мужа, вышла за одного дворянина, принадлежавшаго къ партіи графа Санъ-Бонифаціо. Узнавши объ этой свадьбѣ, Эччелино послалъ своему падуанскому намѣстнику, Анседизію Гвидотти, приказаніе арестовать и казнить всѣхъ Далесманини. Родной братъ Анседизія былъ женатъ на дѣвушкѣ изъ этой опальной фамиліи. Но Анседизій былъ слишкомъ исполнительнымъ агентомъ, чтобы смущаться такими мелочными соображеніями. Онъ боялся только, что поголовная казнь одного изъ знаменитѣйшихъ гибелинскихъ родовъ произведетъ въ городѣ опасное возмущеніе. Поэтому онъ, арестовавши всѣхъ осужденныхъ, для пробы отправилъ сначала на эшафотъ младшаго и самаго ничтожнаго изъ Далесманини. Все обошлось благополучно. Народъ не шевельнулся. Друзья и вассалы арестованныхъ молчали. Тогда Анседизій ободрился, и всѣ члены рода Далесманини—мужчины, женщины и дѣти — одинъ за другимъ погибли на эшафотѣ.

Каждое неосторожное слово наказывалось въ Падуѣ такъ-же строго, какъ заговоръ или вооруженное возстаніе. При такихъ условіяхъ падуанцамъ былъ прямой разсчетъ взбунтоваться, потому что бунтъ могъ привести за собою освобожденіе, а покорность никому не доставляла полной безопасности. Но падуанцы были такъ запуганы ежедневными казнями, что не смѣли думать объ освобожденіи и въ то-же время не могли постоянно удерживаться отъ всякаго выраженія своего негодованія. Какой-то острякъ сочинилъ басню, въ которой говорилось о голубяхъ, выбравшихъ себѣ ястреба въ цари; оказывалось, что этотъ царь былъ для нихъ хуже злѣйшаго врага. Самъ авторъ или его пріятель вполголоса продекламировали эту басню своимъ знакомымъ въ общественномъ дворцѣ. Слушатели переглянулись и обмѣнялись между собой горькой улыбкой. Этого было достаточно. Шпіоны Эччелино подслушали и подмѣтили всю эту исторію. Анседизій отправилъ на эшафотъ декламатора и всѣхъ его слушателей — всего двѣнадцать человѣкъ. Родственники и друзья казненныхъ по обыкновенію кончили свою жизнь въ неподражаемыхъ падуанскихъ тюрьмахъ.

Эччелино не затруднялся отыскивать какой-нибудь предлогъ, когда ему хотѣлось сжить человѣка со свѣта. Онъ просто приказывалъ арестовать его и отвести въ застѣнокъ. Тамъ его начинали пытать, требуя отъ него, чтобы онъ покаялся въ своихъ преступныхъ замыслахъ противъ правительства. Если паціентъ, побѣжденный невыносимой болью, признавался въ чемъ-нибудь, т. е. взводилъ на себя какую-нибудь напраслину, то желанный предлогъ былъ отысканъ. Уличеннаго преступника вели на площадь и казнили. Если-же субъектъ упрямился до конца, то онъ все-таки ровно ничего не выигрывалъ,—палачи продолжали встряхивать, сѣчь, пилить, ломать и коверкать его до тѣхъ поръ, пока онъ не превращался въ безжизненный кусокъ сырого мяса. Арестованному предоставлялось такимъ образомъ право выбирать непремѣнно одно изъ двухъ: смерть на площади, или смерть въ застѣнкѣ.

XXI.

ФРИДРИХЪ II.

Злодѣянія синьора Эччелино кладутъ несмываемое пятно на великое имя императора Фридриха II. Фридрихъ былъ всегдашнимъ покровителемъ Эччелино; Фридрихъ далъ ему титулъ императорскаго намѣстника, окружилъ его своими войсками, завоевалъ для него Виченцу и самъ, въ свою очередь, во всѣхъ своихъ войнахъ постоянно пользовался его усерднымъ содѣйствіемъ; стало быть, на Фридриха падаетъ отвѣтственность за преступленія Эччелино. При этомъ однако не слѣдуетъ думать, чтобы Фридрихъ сочувствовалъ безумнымъ и отвратительнымъ жестокостямъ своего вѣрнаго вассала и намѣстника. Въ характерѣ Фридриха, полнокровнаго, здороваго, живого и страстнаго эпикурейца, умѣвшаго наслаждаться и женщинами, и виномъ, и поэзіей, и наукой, не было ни одной черты, способной сколько-нибудь сблизить его съ тщедушнымъ Эччелино, который весь, какъ старая дѣва, былъ пропитанъ уксусомъ и желчью. Никто изъ современниковъ Фридриха не упрекаетъ его въ жестокости. Данте помѣщаетъ его въ адъ не за жестокость, а за невѣріе.

«Фридрихъ—говоритъ о немъ гибелинъ Николай Джамсилла—былъ человѣкомъ великой души; но его мудрость, которая была въ немъ не менѣе велика, умѣряла его великодушіе, такъ что сильная страсть никогда не обусловливала собою его поступковъ: онъ дѣйствовалъ всегда по зрѣлому размышленію. Онъ усердно занимался философіей; онъ любилъ ее для самого себя и распространялъ ее въ своихъ владѣніяхъ. Прежде счастливыхъ дней его царствованія въ Сициліи трудно было найдти писателя, но императоръ открылъ въ своемъ королевствѣ училища для свободныхъ искусствъ и для всѣхъ наукъ, онъ призвалъ преподавателей изъ различныхъ странъ свѣта и предложилъ имъ щедрыя награды. Онъ не удовольствовался тѣмъ, что назначилъ имъ жалованье; онъ кромѣ того изъ своей собственной казны выплачивалъ стипендіи для содержанія самыхъ бѣдныхъ учениковъ, такъ чтобы во всѣхъ классахъ общества люди не были устра-

нены нищетою отъ изученія философіи. Онъ самъ далъ образчикъ своихъ литературныхъ талантовъ, которые были направлены преимущественно къ естественной исторіи; онъ написалъ книгу о природѣ и воспитаніи птицъ; изъ этой книги можно увидѣть, какіе успѣхи сдѣлалъ императоръ въ философіи. Онъ любилъ справедливость и уважалъ ее такъ сильно, что каждому человѣку позволено было вести тяжбы противъ императора, и при этомъ санъ монарха не давалъ ему никакого преимущества въ судѣ, и ни одинъ адвокатъ не колебался поддерживать противъ него права послѣдняго изъ его подданныхъ. Но, не смотря на эту любовь къ справедливости, онъ иногда смягчалъ ея суровость своимъ милосердіемъ».

Этотъ портретъ конечно написанъ рукой страстнаго обожателя и заключаетъ въ себѣ значительную дозу идеализаціи. Но если такой портретъ не передаетъ намъ вполнѣ вѣрно дѣйствительныхъ чертъ историческаго характера, то онъ безъ всякаго сомнѣнія рисуетъ намъ по крайней мѣрѣ черты того идеала, къ которому стремился Фридрихъ II. Ужъ и это много значитъ. Думать о равенствѣ гражданъ передъ закономъ въ половинѣ XIII вѣка это почти неправдоподобно, и, разумѣется, такая мысль могла родиться только въ головѣ геніальнаго человѣка. Другой Фридрихъ II, великій король прусскій, жилъ пятью столѣтіями позднѣе, почти наканунѣ французской революціи, а между тѣмъ его панегиристы разславили по всему міру исторію о санъ-сусійскомъ мельникѣ, который отвѣчалъ королю, что въ Пруссіи есть судьи. Что-же мы должны думать объ императорѣ, который во времена феодализма и кулачнаго права желалъ стоять передъ судомъ на одной доскѣ съ послѣднимъ изъ своихъ подданныхъ? Эта черта не можетъ быть выдумана Джамсиллою. Если-бы эта черта не входила въ идеалъ геніальнаго императора, то историкъ побоялся-бы этой вымышленной чертой унизить своего героя въ глазахъ тѣхъ аристократическихъ читателей, которые твердо вѣровали въ законность своихъ родовыхъ привилегій и навсегда хотѣли оставаться выше простого человѣчества. Наконецъ дѣйствительность той черты, которую расхваливаетъ Джамсилла, доказывается всего лучше тѣми законами, которые Фридрихъ II издалъ для своего сицилійскаго королевства. Насчетъ покровительства наукамъ и стипендій для бѣдныхъ студентовъ надо сдѣлать только ту оговорку, что Фридрихъ воевалъ съ Болоньей и старался подорвать ея знаменитый университетъ. Этимъ желаніемъ объясняется бо́льшая часть тѣхъ щедротъ, которыми просвѣщенный императоръ осыпалъ университетъ, основанный имъ въ Неаполѣ. Но что Фридрихъ самъ дѣйствительно любилъ науку и понималъ ея пользу для общества—въ этомъ невозможно сомнѣваться.

Возьмемъ теперь другой портретъ, списанный съ того же лица страстнымъ гвельфомъ, флорентинскимъ историкомъ, Джіованни Виллани.

«Фридрихъ—говоритъ Виллани—былъ одаренъ великимъ мужествомъ и рѣдкими дарованіями; своей мудростью онъ былъ обязанъ столько-же научнымъ занятіямъ, сколько и своему естественному благоразумію; свѣдущій во всякомъ дѣлѣ, онъ говорилъ на латинскомъ языкѣ, на нашемъ вульгарномъ (итальянскомъ), на нѣмецкомъ, на французскомъ, на греческомъ и на арабскомъ. Богатый добродѣтелями, онъ былъ великодушенъ, и къ этимъ дарованіямъ онъ присоединялъ еще изысканную вѣжливость. Какъ храбрый и мудрый воинъ, онъ былъ также очень страшенъ врагамъ. Но онъ слишкомъ жадно гонялся за чувственными наслажденіями; по обычаю сарациновъ, онъ держалъ множество наложницъ; подобно сарацинамъ, онъ окружалъ себя мамелюками; онъ предавался всѣмъ влеченіямъ чувствъ и велъ эпикурейскую жизнь, не признавая того, что какая-бы то ни было другая жизнь должна слѣдовать за этою. Именно это обстоятельство составляло главную причину, почему онъ сдѣлался врагомъ святой церкви».

Темныя черты обозначены въ этой характеристикѣ очень тщательно, а между тѣмъ о жестокости не сказано ни слова. Напротивъ того, Виллани именно хвалитъ его великодушіе и его рыцарскую вѣжливость (courtoisie). Весь тонъ этой характеристики, написанной страстнымъ гвельфомъ, показываетъ, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ личностью, выходящей изъ ряда вонъ и составлявшей гордость и украшеніе своего вѣка, съ такой грандіозной личностью, передъ которой преклонялись съ невольнымъ уваженіемъ даже ея политическіе противники. Папы не только отлучали Фридриха отъ церкви, но даже устраивали противъ него крестовые походы. Еслибы можно было упрекнуть Фридриха въ жестокости, то конечно это обвиненіе красовалось-бы на первомъ планѣ въ папскихъ буллахъ и воззваніяхъ. Папы всегда съ особеннымъ удовольствіемъ принимали на себя роль защитниковъ народной свободы, когда эта роль сколько-нибудь согласовалась съ ихъ собственными выгодами. Но папскія буллы не упоминаютъ о жестокости Фридриха. Первое отлученіе, произнесенное въ 1227 году Григоріемъ IX, мотивировано тѣмъ, что императоръ нарочно, желая отдѣлаться отъ крестоваго похода, задержалъ крестоносцевъ въ самыхъ нездоровыхъ мѣстахъ южной Италіи, погубилъ ихъ заразительными болѣзнями и самъ притворился больнымъ, чтобы не ѣхать въ Палестину и свободно предаваться порочнымъ наслажденіямъ.

Второе отлученіе, произнесенное тѣмъ же Григоріемъ IX въ 1239 году, основано на томъ, что императоръ возбуждалъ въ Римѣ мятежи противъ папы, угнеталъ духовенство и преслѣдовалъ въ

своихъ владѣніяхъ нищенствующихъ монаховъ, обобралъ епископскія каѳедры, присвоилъ себѣ ихъ доходы и наконецъ подчинилъ себѣ земли, принадлежащія церкви.

Третье отлученіе произнесъ Иннокентій IV въ 1245 году на ліонскомъ соборѣ. Тутъ Фридриха обвиняли въ томъ, что онъ, будучи васаломъ папы, въ качествѣ сицилійскаго короля, нарушилъ долгъ вѣрности въ отношеніи къ своему сюзерену, что онъ остановилъ нечестивымъ образомъ кардиналовъ и прелатовъ, отправлявшихся въ Римъ, на соборъ, что онъ не обращалъ вниманія на прежніе приговоры и отлученія и, слѣдовательно, провинился въ ереси, что наконецъ онъ ведетъ дружбу съ сарацинами и перенимаетъ ихъ обычаи.

Въ слѣдующемъ 1246 году папа послалъ въ сицилійское королевство двоихъ кардиналовъ съ порученіемъ возбудить возстаніе противъ Фридриха. Этимъ кардиналамъ были даны письма папы къ духовенству, къ дворянству, къ горожанамъ и къ поселянамъ королевства. «Многіе люди, писалъ папа въ своихъ воззваніяхъ, удивляются тому, что вы, подавленные позоромъ рабства, угнетенные въ вашихъ личныхъ и имущественныхъ правахъ, не стараетесь, подобно другимъ народамъ, добыть себѣ великое благо свободы. Но папскій престолъ извиняетъ васъ, принимая во вниманіе тотъ страхъ, который повидимому овладѣлъ вашими сердцами подъ господствомъ новаго Нерона; папа чувствуетъ въ отношеніи къ вамъ только состраданіе и отеческую нѣжность; онъ старается своимъ содѣйствіемъ облегчить ваши горести, или даже доставить вамъ радость полнаго освобожденія. Ищите съ вашей стороны, въ вашемъ сердцѣ, какимъ образомъ возможно было бы сбросить съ вашихъ рукъ цѣпь рабства, старайтесь, чтобы ваша община процвѣла въ свободѣ міра. Пусть распространится между народами молва, что ваше государство, отличающееся своимъ благородствомъ и своимъ восхитительнымъ плодородіемъ, при помощи божественнаго провидѣнія, соединяетъ также со всѣми остальными своими преимуществами славу обезпеченной свободы».

Тутъ папа называетъ Фридриха *новымъ Нерономъ* и проливаетъ слезы надъ страданіями его сицилійскихъ подданныхъ, но риторическое негодованіе и риторическій плачъ папы ровно ничего не доказываютъ, или доказываютъ только то, что папа хотѣлъ донимать императора и мытьемъ, и катаньемъ. Желая произвести возстаніе, папа, разумѣется, долженъ былъ съ ужасомъ говорить сицилійцамъ о цѣпяхъ рабства и о новомъ Неронѣ, но на самомъ дѣлѣ страданія сицилійцевъ были такъ мало замѣтны, что папа даже не упомянулъ о нихъ на ліонскомъ соборѣ, который однако-же совѣщался о преступленіяхъ Фридриха всего за годъ до отправленія папскихъ революціонеровъ въ южную Италію. Въ жизни Фридриха встрѣчаются конечно такіе поступки, которые мы, съ нашей теперешней точки зрѣнія, должны признать жестокими, но въ которыхъ современники великаго императора видѣли мало предосудительнаго. Эти жестокіе поступки вытекали дѣйствительно не изъ звѣрскихъ свойствъ личнаго характера, а изъ ошибочности общепринятыхъ понятій. Человѣческая жизнь цѣнилась въ то время очень дешево. Уваженіе къ отдѣльной личности было очень слабо. Поэтому немудрено, что совершенно невинныя личности погибали очень часто за грѣхи своей партіи, или своего города. Такимъ образомъ Фридрихъ казнилъ, какъ мы видѣли, Петра Тіеполо, миланскаго подесту, который самъ лично ни въ чемъ не былъ передъ нимъ виноватъ. Казнилъ онъ его не для того, чтобы потѣшиться его предсмертными мученіями или слезами его родственниковъ, а для того, чтобы наказать въ его лицѣ миланцевъ, на которыхъ онъ, Фридрихъ, былъ сердитъ за дѣло, и для того, чтобы оскорбить венеціанцевъ, которыми онъ также былъ недоволенъ. Когда Григорій IX въ 1240 году сталъ проповѣдывать противъ Фридриха крестовый походъ, то Фридрихъ за эту проповѣдь очень разсердился и на папу, и на всѣхъ его приверженцовъ. Въ пылу своего гнѣва императоръ приказалъ казнить смертью всякаго, кто попадется въ руки его солдатамъ съ крестомъ на одеждѣ. Приказаніе это конечно отзывается варварствомъ. Но мы, люди XIX вѣка, не имѣемъ никакого права указывать на него пальцами и вдаваться по этому случаю въ проявленія человѣколюбиваго негодованія. Такія-же точно приказанія отдаются очень часто и выполняются съ буквальною вѣрностью даже въ наше просвѣщенное и любвеобильное время.

Каждое европейское правительство вмѣняетъ себѣ въ священную обязанность разстрѣливать или вѣшать на мѣстѣ преступленія каждаго мятежника, захваченнаго съ оружіемъ въ рукахъ. Если ямайскія событія возбудили во всей Европѣ и особенно въ Англіи самое искреннее неудовольствіе, то это произошло только отъ того, что на Ямайкѣ вѣшали, разстрѣливали и засѣкали до смерти безоружныхъ людей, которые никогда не были мятежниками. Еслибы всѣ эти засѣченные, повѣшенные и разстрѣленные негры были дѣйствительно мятежниками, то никто изъ европейскихъ политиковъ и никто изъ писателей, кромѣ какихъ-нибудь заклятыхъ утопистовъ, не сказалъ-бы ни одного худого слова—ни губернатору Эйру, ни его усернымъ помощникамъ. Но вѣдь итальянскіе крестоносцы, поднявшіе оружіе противъ своего законнаго императора, были также мятежниками, и мятежъ ихъ былъ особенно опасенъ и заразителенъ именно потому, что онъ предпринимался

подъ покровительствомъ высшаго религіознаго авторитета. Знакъ креста, нашитый на платье, могъ считаться такою-же ясной уликой, какою считается въ наше время оружіе, захваченное въ рукахъ мятежника. Стало быть, вѣшая крестоносцевъ, Фридрихъ еще нисколько не обнаруживалъ въ себѣ такихъ наклонностей, за которыя его можно было-бы назвать новымъ Нерономъ, или поставить рядомъ съ Эччелино III. Въ 1248 году Фридриху пришлось осаждать Парму, присоединившуюся въ это время къ гвельфской партіи. Какъ только разнеслось по сосѣднимъ городамъ извѣстіе о возмущеніи въ Пармѣ, такъ гибелины тотчасъ арестовали всѣхъ пармезановъ, служившихъ въ императорскомъ войскѣ и учившихся въ университетахъ гибелинскихъ городовъ. Всѣхъ этихъ людей, которые можетъ быть нисколько не сочувствовали пармскому перевороту, обобрали до послѣдней нитки, заковали въ кандалы и отправили въ лагерь къ императору. Гибелины распорядились такимъ образомъ сами собою, безъ предварительнаго приказанія со стороны императора; мысль арестовать всѣхъ наличныхъ пармезановъ явилась разомъ у всѣхъ гражданъ нѣсколькихъ городовъ; эта мѣра всѣмъ казалась въ высшей степени простой, естественной и законной. Въ тогдашней политикѣ господствовалъ безъ малѣйшихъ ограниченій тотъ принципъ, что каждый гражданинъ, гдѣ-бы онъ ни былъ и какъ-бы онъ себя ни велъ, отвѣчаетъ своимъ имуществомъ и своей личностью за поведеніе своего отечества. Парма провинилась — значитъ всѣ пармезаны виноваты, и всѣхъ ихъ можно трактовать, какъ преступниковъ. Фридрихъ совершенно логично провелъ эту мысль дальше и началъ поступать съ колодниками, представленными въ его лагерь, такъ, какъ дѣдъ его, Барбаросса, поступалъ подъ стѣнами Тортоны съ тортонскими плѣнниками, подъ стѣнами Кремы — съ кремскими заложниками. Онъ, въ виду осажденной Пармы, приказалъ казнить двоихъ пармскихъ дворянъ и двоихъ простыхъ гражданъ, объявивъ при этомъ, что каждый день будутъ производиться такія-же казни до тѣхъ поръ, пока осажденный городъ не согласится на безусловную сдачу. Но тутъ желѣзная логика императора столкнулась съ живымъ и горячимъ чувствомъ народной массы. Павійцы, служившіе въ арміи Фридриха, послали къ нему депутацію, которая выпросила у него помилованіе захваченныхъ пармезановъ. «Мы, говорили павійскіе воины, пришли драться съ пармезанами оружіемъ на полѣ сраженія, но мы не хотимъ сдѣлаться ихъ палачами». Фридрихъ не принялъ этой просьбы за бунтъ, и казни прекратились. Вотъ и всѣ жестокости, отмѣченныя исторіей въ царствованіе Фридриха II. Такія-же точно жестокости можно найти и у Карла Великаго, и у Оттона Великаго, и у всѣхъ величайшихъ правителей, оставившихъ послѣ себя въ исторіи самую добрую память. Эти жестокости еще не объясняютъ намъ, почему Фридрихъ II оказывалъ постоянное покровительство такому образцовому негодяю, какъ Эччелино III.

Фридрихъ не любилъ мучить людей безъ надобности, но онъ въ значительной степени былъ одаренъ тѣмъ равнодушіемъ къ человѣческимъ страданіямъ, которое часто сопровождаетъ обширную политическую дѣятельность. Фридрихъ, подобно многимъ замѣчательнымъ полководцамъ и администраторамъ, привыкъ производить свои вычисленія и операціи надъ большими массами, въ которыхъ каждая отдѣльная личность со всѣми своими горестями и радостями тонула и исчезала, какъ незамѣтная пылинка. Для успѣха своего предпріятія, для того, чтобы одержать побѣду или взять осажденный городъ, Фридрихъ, какъ опытный и хладнокровный полководецъ, всегда готовъ былъ съ покойною небрежностью бросить на поле сраженія какую-нибудь лишнюю тысячу раздробленныхъ человѣческихъ головъ, отрубленныхъ рукъ и переломленныхъ ногъ. Для успѣха своихъ политическихъ спекуляцій, для того, чтобы разстроить интриги своихъ враговъ и сгруппировать вокругъ себя сильную партію, Фридрихъ, какъ многіе подобно ему умные и разсчетливые администраторы, точно такъ-же не прочь былъ, въ случаѣ надобности, поставить два, три десятка лишнихъ висѣлицъ, допустить несправедливое сооруженіе нѣсколькихъ костровъ, или уступить своимъ вѣрнымъ союзникамъ какую-нибудь ничтожную сотню темныхъ человѣческихъ существованій. Это опять-таки была не жестокость; это только сухая и холодная разсчетливость политическаго практика, — разсчетливость, безъ которой самый геніальный администраторъ рискуетъ иногда остаться въ чистомъ проигрышѣ. Фридрихъ, котораго не мѣшало бы самого отдать подъ судъ и повести на костеръ за непочтительныя размышленія о неприкосновенныхъ истинахъ, Фридрихъ конечно зналъ очень хорошо, что еретиковъ не слѣдуетъ преслѣдовать и жарить; но могъ-ли онъ въ самомъ дѣлѣ серьезно смущаться такой бездѣлицей, когда для него шло дѣло о высшихъ интересахъ, объ императорской коронѣ и о будущности его династіи? Что значили, въ сравненіи съ вопросомъ объ участи Гогенштауфеновъ, предсмертныя страданія двухъ, трехъ десятковъ, или сотенъ, или тысячъ невинныхъ и глубоко убѣжденныхъ чудаковъ? Если императоръ, осуждая ихъ на смерть, могъ на минуту поправить свое затруднительное положеніе и смыть съ себя упрекъ въ ереси, то позволительно-ли было съ его стороны малѣйшее колебаніе?

Фридрихъ смотрѣлъ сквозь пальцы на па-

костныя продѣлки Эччелино по тому-же самому побужденію, вслѣдствіе котораго многіе очень гуманные полководцы позволяли иногда своимъ солдатамъ грабить и разрушать до основанія взятые города. Полководецъ чувствовалъ, что солдаты ему необходимы, и поэтому старался иногда ублажать ихъ уступками, которыя, собственно говоря, находились въ сильнѣйшемъ разладѣ съ его личными убѣжденіями. То-же самое можно сказать объ императорѣ Фридрихѣ и о его свирѣпомъ намѣстникѣ.

Чтобы отдать Фридриху полную справедливость, то-есть, чтобы не взвести на него незаслуженно-тяжелаго обвиненія, надо принять въ разсчетъ то обстоятельство, что онъ, втеченіи всей своей жизни, находился почти постоянно въ самомъ затруднительномъ положеніи, боролся безъ отдыха за свою корону и удерживалъ ее на своей умной головѣ только безпрерывнымъ напряженіемъ своего непреклоннаго мужества и своихъ необыкновенныхъ дарованій. Гвельфскія республики Ломбардіи, подъ предводительствомъ Милана, подняли противъ него оружіе тогда, когда онъ, двадцатилѣтній юноша, находившійся подъ покровительствомъ папы Иннокентія III, своего бывшаго опекуна,— только-что началъ добиваться императорскаго престола, ни въ чемъ не успѣлъ еще проявить свой характеръ и свой образъ мыслей и рѣшительно ничѣмъ не могъ оскорбить ломбардскихъ республиканцевъ. Гвельфскія республики ненавидѣли молодого Фридриха за грѣхи его дѣда, Барбароссы, котораго опустошительные походы были памятны всей Ломбардіи. Но Фридрихъ II конечно самъ не былъ виноватъ въ томъ, что его имя и его происхожденіе вызывали въ умѣ ломбардовъ мучительно-тяжелыя воспоминанія. Сдѣлавшись императоромъ, Фридрихъ также не подавалъ ни папѣ, ни ломбардамъ никакого серьезнаго повода къ неудовольствію. Въ сношеніяхъ съ папою онъ стоялъ на томъ, на чемъ стояли всѣ его предшественники, и папа былъ недоволенъ именно тѣмъ, что бывшій питомецъ Иннокентія III не позволяетъ духовной власти дѣлать новыя завоеванія и осуществлять теократическую мечту Гильдебранда. Въ своихъ сношеніяхъ съ ломбардами Фридрихъ никогда не нарушалъ констанскаго трактата, составлявшаго документальное основаніе тѣхъ правъ, которыми всего болѣе дорожили гвельфскія республики. Фридрихъ былъ даже такъ остороженъ, что, когда ему надо было короноваться, онъ пробрался изъ Германіи въ Римъ, не вступая на территорію тѣхъ республикъ, которыя были расположены къ нему враждебно. Въ этомъ случаѣ Фридрихъ дѣлалъ важную уступку, потому что констанскій договоръ положительно предоставлялъ выбранному императору право не только проходить черезъ земли итальянскихъ республикъ, но даже требовать съ нихъ, во время шествія въ Римъ, исправленія дорогъ, мостовъ и переправъ и кормовыя деньги для арміи. Миланцы не обратили никакого вниманія на эту сдержанность новаго императора и, въ отвѣтъ на нее, сами рѣшительно нарушили констанскій договоръ, отказавшись выдать Фридриху желѣзную корону, на которую онъ, по всѣмъ основнымъ законамъ и установившимся обычаямъ, имѣлъ самое полное и безспорное право. Когда папа поссорился съ Фридрихомъ, тогда ломбарды окончательно закусили удила и по своей старой привычкѣ таскать изъ горячей золы каштаны для папскаго стола вступили въ непримиримую войну съ такимъ императоромъ, который не сдѣлалъ имъ ни малѣйшаго зла. Въ 1234 году они, завязавши сношенія съ мятежной партіей принца Генриха, нанесли императору такое оскорбленіе, котораго не простилъ-бы имъ ни одинъ человѣкъ, находящійся на мѣстѣ Фридриха II. Въ 1236 году императоръ, какъ мы уже видѣли, вошелъ въ Ломбардію. Съ этого времени собственно и начинается постоянная война Фридриха съ республиканцами, тѣсный союзъ его съ Эччелино и быстрое возвышеніе послѣдняго, получившаго скоро возможность сбросить маску и запустить когти въ живое человѣческое тѣло. При всѣхъ своихъ дарованіяхъ Фридрихъ велъ войну съ республиканцами далеко не такъ счастливо, какъ это удавалось его дѣду. Фридрихъ II одержалъ, правда, двѣ важныя побѣды надъ своими врагами: одну въ 1237 году, при Кортенуова, гдѣ онъ лично самъ разбилъ миланцевъ,—другую въ 1241 году, на Тосканскомъ морѣ, при Меларіи, гдѣ его приверженцы-пизанцы одолѣли генуэзцевъ, которые везли на своихъ корабляхъ французскихъ прелатовъ въ Римъ, на соборъ, созванный папою Григоріемъ IX для торжественнаго суда надъ императоромъ, уже давно отлученнымъ отъ церкви. Но обѣ эти побѣды, очень важныя по своимъ послѣдствіямъ, не доставили Фридриху рѣшительнаго перевѣса надъ врагами, а только спасли его самого отъ паденія и позволили ему продолжать борьбу. Далѣе Фридриху удалось взять Виченцу, и его партія отворила ему ворота Падуи; но тутъ Эччелино, какъ хитрый шакалъ, выкралъ добычу изъ-подъ лапы могучаго льва. Взятіе Виченцы и Падуи повредило императору, потому что, значительно усиливъ его намѣстника, оно поставило Фридриха въ нѣкоторую зависимость отъ синьора Эччелино и принудило его одобрять или по крайней мѣрѣ пропускать безъ взысканія такія гнусности, на которыя онъ, при другихъ условіяхъ, не согласился-бы смотрѣть благосклонно.

Кровавые подвиги Эччелино начинаются съ 1240 года, и съ этого же времени начинаются почти постоянныя неудачи Фридриха. Эти два

ряда явленій находятся въ причинной связи между собой. То есть, чѣмъ хуже шли дѣла императора, тѣмъ выше поднималъ свою скверную голову его намѣстникъ, тѣмъ свободнѣе онъ себя чувствовалъ и тѣмъ смѣлѣе давалъ онъ просторъ своей затаенной кровожадности. Въ послѣднее десятилѣтіе своего царствованія Фридрихъ дѣйствительно каждый годъ получалъ какой-нибудь ошеломляющій ударъ. Тутъ дѣйствительно было не до жиру, и еслибы онъ въ это время вздумалъ укрощать своего намѣстника, то Эччелино, перекочевавши въ лагерь его враговъ, могъ-бы погубить его окончательно. А что Эччелино былъ въ высокой степени способенъ на самую черную неблагодарность и на самое безсовѣстное предательство, въ этомъ конечно не могъ сомнѣваться опытный и благоразумный человѣкъ, подобный Фридриху. У Эччелино была даже приготовлена постоянная лазейка въ гвельфскій лагерь, потому что его родной братъ, Альберикъ, былъ самъ новообращеннымъ гвельфомъ и поддерживалъ съ синьоромъ намѣстникомъ какія-то тайныя и чрезвычайно двусмысленныя сношенія, которыя, смотря по обстоятельствамъ, могли сдѣлаться очень опасными или для императора, или для гвельфовъ.

Положеніе Фридриха сдѣлалось особенно затруднительнымъ, начиная съ 1243 года, когда на папскій престолъ вступилъ Синибальдъ Фіеско, подъ именемъ Иннокентія IV. Домъ Фіеско, одинъ изъ знатнѣйшихъ въ Генуѣ, принадлежалъ постоянно къ гибелинской партіи, и Синибальдъ, будучи кардиналомъ, былъ вѣрнымъ и преданнымъ другомъ императора. Когда Фридрихъ узналъ о томъ, что Синибальдъ сдѣлался папой, онъ съ грустью сказалъ своимъ приближеннымъ: «я потерялъ усерднаго друга въ коллегіи кардиналовъ; вмѣсто него я вижу папу, который окажется моимъ злѣйшимъ врагомъ». Произнося эти слова, Фридрихъ обнаруживалъ поразительно вѣрное, тонкое и глубокое пониманіе людей вообще и данной эпохи въ особенности. Заранѣе отчаиваясь въ успѣхѣ переговоровъ, Фридрихъ употребилъ однакоже всѣ усилія, чтобы склонить новаго папу къ примиренію. Онъ даже попросилъ для своего старшаго сына руку одной изъ племянницъ Иннокентія. Но папа дѣйствительно былъ уже злѣйшимъ врагомъ императора; онъ не вѣрилъ его обѣщаніямъ, и въ то время, когда Фридрихъ велъ переговоры и соглашался на многія уступки, папа старался, черезъ своихъ нищенствующихъ монаховъ, составить заговоръ противъ его жизни. Заговоръ открылся. Фридрихъ поймалъ ту нить, которая однимъ концомъ своимъ находилась въ рукахъ папы. Иннокентій испугался за самого себя и рѣшился бѣжать изъ Италіи, боясь, чтобы его не потянули изъ Рима на очную ставку съ подосланными убійцами. 27-го іюня 1244 г. папа, одѣвшись въ солдатское платье, сѣлъ на лошадь, выбрался тайкомъ изъ города Сутри поздно вечеромъ и къ утру прискакалъ въ Чивитта-Веккію, сдѣлавши въ одну короткую лѣтнюю ночь слишкомъ сорокъ верстъ. Въ Чивитта-Веккіи онъ сѣлъ на приготовленныя генуэзскія галеры и поплылъ въ Геную. Изъ Генуи онъ поѣхалъ въЛіонъ, подъ покровительство Людовика Святого, и тамъ созвалъ соборъ къ лѣту будущаго года. Этотъ необыкновенно-смѣлый и ловкій маневръ папы, убѣжавшаго верхомъ, съ чисто-юношеской быстротой и рѣшимостью, нанесъ Фридриху такой ударъ, отъ котораго онъ уже не могъ больше оправиться. Папа вдругъ сдѣлался непобѣдимымъ и неуязвимымъ. Изъ своего прекраснаго далека, недоступнаго для императорскихъ сарациновъ и нѣмцевъ, папа могъ, не подвергаясь ни малѣйшей опасности, волновать своими интригами и прокламаціями Италію и Германію, вооружать противъ Фридриха всѣхъ добрыхъ католиковъ, отвергать всѣ его мирныя предложенія и преслѣдовать его до тѣхъ поръ, пока онъ не откажется отъ престола за самого себя и за всю свою слишкомъ мужественную и даровитую династію. Пока папа жилъ во Франціи, у Фридриха не было никакихъ средствъ принудить его къ миру. Папскіе шпіоны и агенты, заговорщики и агитаторы, прикрытые монашескими рясами, свободно шныряли по всѣмъ владѣніямъ Фридриха, пробирались во всѣ закоулки его лагеря, вывѣдывали и разстроивали всѣ его планы, запугивали однихъ изъ его приверженцевъ, соблазняли и подкупали другихъ, портили все, что можно было испортить, и при этомъ оставались сами неуловимыми и неприкосновенными. Въ борьбѣ съ этими мелкими и тайными врагами у Фридриха опускались руки. Что онъ могъ съ ними сдѣлать? Махнуть на нихъ рукой и оставить ихъ безъ вниманія—тогда они, какъ термиты, источатъ и раскрошатъ всю его партію и отнимутъ у него всякую возможность защищаться. Преслѣдовать ихъ и выгонять изъ своихъ владѣній всѣхъ монаховъ — это будетъ хуже всего: тогда папа и гвельфы закричатъ на всю Европу, что императоръ отказался отъ католичества и перешелъ въ магометанство,— и вся Европа повѣритъ имъ; повѣрятъ имъ даже сами гибелины, увидя, что католическое духовенство подвергается въ императорскихъ владѣніяхъ гуртовому преслѣдованію.

На ліонскомъ соборѣ главный повѣренный Фридриха, его любимецъ, его канцлеръ Петръ де-Винеисъ, не произнесъ ни слова въ защиту своего государя, котораго отцы собора поразили самыми торжественными проклятіями. Это загадочное молчаніе глубоко встревожило и огорчило Фридриха. Эму показалось, что измѣна прокрадывается къ нему во дворецъ и отни-

мастъ у него самыхъ полезныхъ и самыхъ надежныхъ его помощниковъ. Въ слѣдующемъ 1246 году Фридрихъ заподозрилъ Петра де-Винеисъ въ покушеніи на его жизнь, и старый канцлеръ, осужденный на казнь, разбилъ себѣ голову объ стѣну. Въ томъ-же году открылся обширный заговоръ противъ жизни императора; въ него были замѣшаны знатнѣйшіе дворяне сицилійскаго королевства; почти всѣ эти заговорщики, идя на эшафотъ, сознались, что они дѣйствовали съ вѣдома и по желанію папы. Въ томъ-же году нѣмецкіе князья, возбужденные папой, на мѣсто Фридриха, низложеннаго приговоромъ ліонскаго собора, выбрали себѣ въ короли Генриха, ландграфа тюрингенскаго, и новый король одержалъ побѣду надъ старшимъ сыномъ императора, Конрадомъ. Въ 1247 году Парма передалась гвельфамъ. Въ февралѣ 1248 года осажденные пармезаны сдѣлали такую отчаянную вылазку, что совершенно разбили императорскую армію, положили на мѣстѣ до 2000 сарациновъ и нѣмцевъ, захватили до 3000 плѣнниковъ, овладѣли всей казной Фридриха и сожгли городъ Витторію, который былъ основанъ Фридрихомъ во время осады. Въ этоже самое время пришли изъ Германіи отъ Конрада самыя неутѣшительныя извѣстія. Генрихъ тюрингенскій былъ правда убитъ, но на его мѣсто нѣмецкіе гвельфы выбрали себѣ въ короли Вильгельма, графа голландскаго, который также дѣйствовалъ противъ Конрада очень искусно и удачно. Въ маѣ 1249 года болонцы разбили одну изъ императорскихъ армій при Фоссальтѣ и взяли въ плѣнъ начальника этой арміи, Энціо, побочнаго сына Фридриха, одного изъ самыхъ даровитыхъ его помощниковъ. Въ 1250 году Модена присоединилась къ гвельфской партіи. Наконецъ 13-го декабря 1250 года Фридрихъ II умеръ, и папа перенесъ войну въ сицилійское королевство.

До какой степени плохо приходилось Фридриху въ послѣдніе годы его царствованія—это можно видѣть изъ тѣхъ предложеній, съ которыми онъ нѣсколько разъ безуспѣшно обращался къ Иннокентію IV.

Въ 1246 году Фридрихъ, въ присутствіи многихъ прелатовъ, подписалъ такое исповѣданіе вѣры, которое должно было снять съ него обвиненіе въ ереси. Это исповѣданіе было отправлено къ папѣ, но Иннокентій объявилъ, что онъ одинъ имѣетъ право преслѣдовать религіозныя убѣжденія императора, и что онъ готовъ его выслушать, если Фридрихъ, какъ кающійся грѣшникъ, явится самъ въ Ліонъ, къ папскому двору. Тутъ конечно имѣлось въ виду повтореніе каносской сцены. Фридрихъ понималъ это, и однакоже согласился. Онъ отправился въ Ліонъ и уже доѣхалъ до Турина, какъ вдругъ до него дошло извѣстіе о возмущеніи Пармы. Тогда онъ поспѣшилъ назадъ, и свиданіе съ папой не состоялось. Еще прежде своей поѣздки въ Туринъ Фридрихъ предлагалъ папѣ миръ съ тѣмъ условіемъ, что онъ, императоръ, отправится со всѣми силами на востокъ для войны съ невѣрными. Когда папа не удовольствовался этимъ предложеніемъ, тогда Фридрихъ прибавилъ, что онъ обяжется никогда не возвращаться въ Европу и воевать съ невѣрными за моремъ до конца своей жизни. Фридрихъ желалъ только, чтобы его наслѣдство было упрочено за его дѣтьми; но при этомъ онъ соглашался, чтобы сицилійское королевство было отдѣлено отъ имперіи, такъ чтобы младшій его сынъ, Генрихъ, сдѣлался королемъ сицилійскимъ, а старшій, Конрадъ,—королемъ германскимъ и императоромъ. Людовикъ Святой самымъ усерднымъ образомъ ходатайствовалъ передъ папой за императора и торжественно ручался папѣ за добросовѣстность Фридриха, но Иннокентій ничего не хотѣлъ слышать. Онъ смотрѣлъ на Фридриха такъ точно, какъ союзники въ 1815 году смотрѣли на Наполеона. Династія Гогенштауфеновъ должна была исчезнуть, такъ точно, какъ должна была исчезнуть династія Бонапарта.

Въ то самое время, когда Фридриха били на всѣхъ пунктахъ,—его партія одерживала постоянныя побѣды только въ одномъ мѣстѣ, именно тамъ, гдѣ командовалъ Эччелино III. Этотъ человѣкъ, съ 1240 по 1250 годъ, совершенно обобралъ маркиза д'Эсте, взялъ у него неприступныя крѣпости Монтаньяну и Эсте, овладѣлъ родовымъ замкомъ Санъ-Бонифаціо, покорилъ города Фельтро и Беллуно, отнялъ нѣсколько укрѣпленныхъ мѣстечекъ у города Тревизы и вообще стеръ съ лица земли гвельфскую партію почти на всемъ пространствѣ веронской маркіи. Могъ-ли-же Фридрихъ подумать о томъ, чтобы огорчать слишкомъ тщательнымъ контролемъ такого драгоцѣннаго намѣстника? Да еслибы онъ даже и захотѣлъ его контролировать, то хватило-ли бы у него матеріальныхъ силъ на такое рискованное предпріятіе?—Вина Фридриха въ отношеніи къ несчастнымъ подданнымъ веронскаго тирана состоитъ въ томъ, что онъ, Фридрихъ, руководствуясь политическими разсчетами, взялъ къ себѣ въ помощники даровитаго негодяя, котораго онъ никогда не могъ уважать. Но когда начали развертываться ужасныя послѣдствія этой ошибки, тогда Фридрихъ уже врядъ-ли былъ въ силахъ поправить дѣло.

Главная причина зла заключалась не въ личныхъ свойствахъ Фридриха, а въ томъ обстоятельствѣ, что у него, какъ у многихъ другихъ правителей, были свои личные интересы, которые могли идти и очень часто дѣйствительно шли въ разрѣзъ съ существенными потребностями его народовъ и съ общими интересами всего человѣчества. Его цѣль состояла въ томъ,

чтобы удержать корону и потомъ передать ее старшему сыну. Этою цѣлью оправдывались средства. А въ числѣ средствъ попадались и такія распоряженія, изъ которыхъ при благопріятныхъ условіяхъ могла развернуться грязная и безсмысленная тираннія Эччелино.

XXII.

Иннокентій IV.

Узнавши о смерти Фридриха II, Иннокентій громко выразилъ свою радость и тотчасъ протянулъ руку къ оставшемуся наслѣдству. «Да возрадуются небеса, и земля да возвеселится!—писалъ папа къ сицилійскому духовенству.—Громъ и буря, которыми всесильный Богъ грозилъ такъ долго вашимъ головамъ, смертью этого человѣка превратились въ прохладительные зефиры и въ оплодотворяющія росы». «Съ согласія нашихъ братьевъ кардиналовъ—писалъ папа вслѣдъ затѣмъ къ городу Неаполю—мы приняли ваши особы, ваше имущество и самый городъ вашъ подъ покровительство Святѣйшаго Престола, постановивъ, что онъ (городъ) останется на вѣчныя времена въ непосредственной зависимости отъ него (престола), и что церковь никогда не предоставитъ верховной власти или какихъ-либо правъ надъ нимъ никакому императору, королю, герцогу, князю, или графу, или какому-бы то ни было другому лицу».

Чтобы сколько-нибудь понять эти размашистыя притязанія папы на Неаполь, надо припомнить, что норманны, завоевавшіе южную Италію въ половинѣ XI вѣка, взяли въ плѣнъ папу Льва IX, а потомъ, бросившись передъ нимъ на колѣни, добровольно признали себя вассалами папскаго престола.

Съ того времени прошло двѣсти лѣтъ и совершилось много перемѣнъ и въ Италіи, и въ Европѣ, но такъ какъ папы держатся того правила, что ихъ права на огнѣ не горятъ и въ водѣ не тонутъ, то они и считали себя постоянно законными собственниками сицилійскаго королевства и пожелали вступить во владѣніе, какъ только представился удобный случай.

Въ началѣ весны 1251 года Иннокентій IV отправился изъ Ліона въ Италію, чтобы осуществить свои завоевательныя фантазіи. Въ Генуѣ къ нему явились депутаты отъ всѣхъ гвельфскихъ городовъ Ломбардіи. Всѣ эти города убѣдительно просили папу заѣхать къ нимъ, чтобы они могли выразить ему всю свою признательность за то постоянство и мужество, съ которымъ онъ велъ борьбу противъ общаго врага церкви и свободы. Ломбардскіе гвельфы съ добродушнымъ восторгомъ благодарили и превозносили папу за то, что онъ хорошо защищалъ свои интересы и очень искусно пользовался ими, гвельфами, какъ орудіями для достиженія своихъ собственныхъ цѣлей. Папа очень милостиво принималъ выраженія ихъ восторженной признательности и благосклонно согласился показать свою особу жителямъ ломбардскихъ городовъ. Начался длинный рядъ торжественныхъ встрѣчъ, парадныхъ въѣздовъ, оглушительныхъ криковъ и великолѣпныхъ процессій. Миланцы, чтобы почтить папу чѣмъ-нибудь совершенно необыкновеннымъ, приказали знатнѣйшимъ изъ своихъ дворянъ нести надъ Иннокентіемъ, во время его въѣзда, особаго рода навѣсъ, покрытый роскошными шелковыми матеріями. Эта выдумка понравилась папѣ, и съ этихъ поръ такой навѣсъ или *балдахинъ* сталъ употребляться при религіозныхъ церемоніяхъ. Миланцы два мѣсяца удерживали папу въ своемъ городѣ; старались выразить ему всевозможными демонстраціями силу и пламенность своего гвельфизма, и даже въ знакъ особеннаго уваженія предоставили Иннокентію право назначить имъ подесту на текущій годъ.

Папа принималъ всѣ эти любезности, какъ должное, съ невозмутимо-величественнымъ хладнокровіемъ, и самъ требовалъ, во имя церкви, болѣе существенныхъ доказательствъ покорности и благочестія. Уѣхавъ изъ Милана въ Брешію, онъ написалъ къ миланскому архіепископу, что подеста и городскіе совѣты нарушаютъ иногда права духовнаго сословія, и что архіепископъ долженъ поддерживать эти права съ неутомимой и неумолимой энергіей, поражая республику, въ случаѣ надобности, самыми тяжелыми духовными наказаніями. Одно изъ тѣхъ ужасныхъ злоупотребленій, противъ которыхъ Иннокентій приказывалъ архіепископу дѣйствовать проклятіями и интердиктами, состояло въ томъ, что городское начальство, разсчитывая на безкорыстіе монаховъ, поручало нѣкоторымъ изъ нихъ собирать установленныя пошлины у воротъ съ нѣкоторыхъ товаровъ. Призывая такимъ образомъ монаховъ къ общественной службѣ, миланцы показывали ясно, что они смотрятъ на нихъ, какъ на гражданъ; этого папа никакъ не могъ допустить; миланцы должны были преклоняться передъ монахами, какъ передъ избранными существами, воспарившими духомъ надъ всѣми мелкими заботами и трудами человѣческаго общества.

Ломбардскіе гибелины присмирѣли и пріуныли послѣ смерти императора. Городъ Лоди, стѣсненный оружіемъ миланцевъ, присоединился даже къ гвельфскому союзу. Павія заключила съ Миланомъ миръ, который впрочемъ продержался недолго. Никто изъ гибелиновъ не думалъ нападать на папу во время его разъѣздовъ по Ломбардіи. Если-бы папѣ вздумалось заѣхать въ который-нибудь изъ гибелинскихъ городовъ, то его приняли-бы съ радостью и съ величайшимъ уваженіемъ. Но Иннокентій не хотѣлъ

оказывать такую честь такъ называемымъ врагамъ церкви. Чтобы не прикоснуться своими священными подошвами къ нечестивой землѣ Кремоны и Піаченцы, папа сдѣлалъ большой крюкъ и поѣхалъ изъ Милана въ церковную область на Брешію, на Мантую, на Феррару и на Болонью. Земля Піаченцы очень недавно сдѣлалась нечестивою, именно съ той минуты, какъ Парма обратилась на путь истины. Эти два города ненавидѣли другъ-друга очень давно, и никакъ не могли стоять вмѣстѣ подъ однимъ знаменемъ. Какъ только Парма передалась гвельфамъ, такъ Піаченца немедленно перескочила въ гибелинскій лагерь, изъ ненависти къ Пармѣ, и для того, чтобы по-прежнему вести съ ней постоянную войну. Этотъ случай можетъ служить подтвержденіемъ тѣхъ мыслей, которыя были высказаны мною о гвельфахъ и гибелинахъ въ XVIII главѣ.

Когда ломбарды посмотрѣли вблизи на своего возлюбленнаго папу, тогда температура ихъ гвельфской восторженности понизилась на значительное число градусовъ. Они начали думать, что, хотя они и гвельфы, однако все-таки не слѣдуетъ-же имъ одобрять безусловно теократическія фантазіи папы и содѣйствовать своимъ слѣпымъ усердіемъ осуществленію этихъ фантазій, къ которымъ они всегда чувствовали самое искреннее и непобѣдимое отвращеніе. Они видѣли, что папа принимаетъ въ отношеніи къ ихъ правительствамъ черезчуръ повелительный тонъ и слишкомъ ревностно заботится о такой свободѣ церкви, при которой клерикальная корпорація очутилась-бы выше всякихъ законовъ и могла-бы хозяйничать въ республикахъ по своему произволу. Эти наблюденія понемногу наводили гражданъ, дорожившихъ самостоятельностью родного города, на ту мысль, что гибелины, сопротивлявшіеся приказаніямъ римскаго первосвященника, могли быть въ то-же время добрыми католиками и честными патріотами. Во время самой ожесточенной борьбы партій большинство народа состоитъ обыкновенно изъ такихъ людей, которымъ побѣда той или другой стороны не принесетъ ни личной выгоды, ни личнаго убытка. Это большинство не остается равнодушнымъ зрителемъ борьбы, но въ то-же время не дѣлается также разъ навсегда заклятымъ приверженцемъ той или другой стороны. Это большинство заботится преимущественно о томъ, чтобы прожить на свѣтѣ безъ особенныхъ напастей и при этомъ не загубить души своей какимъ-нибудь смертнымъ грѣхомъ. Во время политической борьбы это безцвѣтное большинство колеблется изъ стороны въ сторону, смотря по тому, которая изъ партій кажется ему въ данную минуту болѣе честной въ своихъ стремленіяхъ, болѣе способной упрочить общее благосостояніе и менѣе замаранной насильственными и несправедливыми поступками. Въ итальянскихъ городахъ масса никогда не принадлежала ни къ яростнымъ гвельфамъ, ни къ заклятымъ гибелинамъ, и также никогда не оставалась нейтральной. Масса очень добросовѣстно желала своей родинѣ всевозможнаго благополучія и всегда старалась дѣлать то, что̀ казалось ей справедливымъ и честнымъ. Когда императоръ грозилъ республикѣ порабощеніемъ, или когда монахи кричали на всѣхъ перекресткахъ о невыносимыхъ страданіяхъ церкви, тогда масса, желая спасать свою родину и свою душу, со всего размаха кидалась въ необузданный гвельфизмъ. Потомъ, когда побѣда надъ императорской партіей оказывалась слишкомъ хорошо одержанной, когда опасность начинала угрожать со стороны папы, когда клерикалы и другіе коноводы гвельфской партіи старались раздавить своихъ побѣжденныхъ враговъ и подчинить республики своему полновластному господству,—тогда въ рядахъ побѣдившей стороны обнаруживалось колебаніе: масса пятилась назадъ отъ тѣхъ знаменъ, подъ которыми она недавно сражалась съ полнымъ усердіемъ; въ общественномъ мнѣніи совершался переворотъ: наступала реакція въ пользу униженныхъ гибелиновъ. Этими колебаніями воспитывались понемногу политическія убѣжденія массы, которая мало-по-малу выучивалась понимать, что ни римскій папа, ни германскій императоръ не могутъ считаться компетентными судьями при рѣшеніи вопроса о томъ, что̀ для нея полезно и что̀ вредно, что̀ справедливо и что̀ безчестно. Это отрезвленіе массъ покупалось очень дорогой цѣной, но за него стоило платить дорого, потому что безъ него невозможно никакое серьезное движеніе впередъ.

Въ Миланѣ, послѣ проѣзда папы, и въ особенности послѣ его внушительнаго письма къ архіепископу, гибелинская реакція приняла такіе значительные размѣры, что въ 1253 году миланцы признали на три года своимъ генералъ-капитаномъ усерднаго гибелина, маркиза Лапчіа Монферратскаго, съ тѣмъ чтобы онъ, для усмиренія мѣстныхъ дворянъ, держалъ въ городѣ отрядъ изъ 1000 иногородныхъ всадниковъ. Маркизъ Лапчіа самъ не пріѣхалъ въ Миланъ, но прислалъ требуемый отрядъ и втеченіи трехъ лѣтъ назначалъ каждый годъ подесту, который распоряжался въ Миланѣ отъ его имени.

Этотъ маркизъ Ланчіа былъ роднымъ дядей Манфреда, побочнаго сына императора Фридриха II. Послѣ императора осталось пятеро сыновей—двое законныхъ, Конрадъ и Генрихъ, и трое побочныхъ: Манфредъ, Фридрихъ и Энціо. По завѣщанію императора, Конрадъ долженъ былъ получить обѣ короны—германскую и сицилійскую. Еслибы Конрадъ умеръ бездѣтнымъ, то обѣ короны должны были перейти

къ Генриху *), и еслибы Генрихъ также не оставилъ дѣтей, то ему долженъ былъ наслѣдовать Манфредъ.

Въ минуту смерти Фридриха II Конрадъ находился въ Германіи, а Манфредъ—въ южной Италіи, гдѣ онъ очень искусно и успѣшно усмирялъ возстанія, возбужденныя въ разныхъ мѣстахъ сицилійскаго королевства папскими эмиссарами. Осенью 1251 года Конрадъ вошелъ въ Италію съ нѣмецкой арміей, объѣхалъ гибелинскіе города веронской маркіи, получилъ отъ синьора Эччелино сильное подкрѣпленіе и, не желая пробиваться черезъ территоріи гвельфскихъ республикъ, поѣхалъ въ свое сицилійское королевство по Адріатическому морю. Довершивъ усмиреніе южной Италіи, Конрадъ послалъ къ папѣ торжественное посольство, прося его назначить по собственному благоусмотрѣнію тѣ условія, на которыхъ онъ соглашается предоставить ему обѣ короны, сицилійскую и императорскую. Со стороны папы не воспослѣдовало никакого благоусмотрѣнія и никакихъ условій. Папа просто хотѣлъ взять себѣ сицилійское королевство и отнять германскій престолъ у швабской династіи. Послы Конрада ушли отъ папы ни съ чѣмъ. Тутъ и многіе гвельфы призадумались. Они никакъ не могли сообразить, въ чемъ виноватъ передъ папой молодой король, только-что вступившій на престолъ и заранѣе готовый принять всѣ условія его святѣйшества. Имъ также очень трудно было объяснить себѣ, какимъ это образомъ интересы католической религіи налагаютъ на папу священную обязанность завоевывать въ свою пользу сицилійское королевство.

Одними воззваніями и проповѣдями папа и его монахи никакъ не могли составить партію, способную побѣдить нѣмцевъ и сарациновъ, Конрада и Манфреда. Чтобы выгнать изъ южной Италіи дѣтей Фридриха II, надо было бросить сицилійскую корону какому-нибудь иностранному искателю приключеній. Папа обратился къ брату англійскаго короля Генриха III, графу Ричарду Корнуэльскому. Ричардъ отказался на томъ основаніи, что младшій сынъ Фридриха II, Генрихъ, былъ по своей матери его роднымъ племянникомъ. Въ то время, когда шли эти переговоры между папой и Ричардомъ, племянникъ послѣдняго, молодой Генрихъ, скоропостижно умеръ. Папскіе агенты тотчасъ распустили слухъ, что его отравилъ Конрадъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Конрадъ также умеръ. Папа въ этой смерти усмотрѣлъ также дѣйствіе яда и обвинилъ Манфреда. Чтобы раздавить швабскую династію въ общественномъ мнѣніи, пылкая фантазія клерикаловъ создала цѣлую сѣть самыхъ неправдоподобныхъ преступленій. Фридрихъ II, по ихъ словамъ, уморилъ двоихъ дѣтей своего старшаго сына Генриха, того, который потомъ бунтовалъ; Манфредъ задушилъ подушками своего отца Фридриха II, когда тотъ лежалъ больной въ постели. потомъ Конрадъ отравилъ своего брата Генриха младшаго, и наконецъ Манфредъ отравилъ Конрада. Тутъ опять папа, съ свойственной ему отважностью, пересолилъ и испортилъ все дѣло. Ужасовъ оказалось до такой степени много, что только однѣ старыя бабы приняли ихъ за чистую монету. Разсудительные-же люди пожали плечами, улыбнулись и приняли къ свѣдѣнію, что клерикалы умѣютъ преслѣдовать своихъ враговъ самыми неблаговидными средствами.

Послѣ Конрада остался трехлѣтній сынъ Конрадинъ. Опекунъ этого ребенка, маркграфъ фонъ-Гохбергъ, попробовалъ обратиться къ великодушію папы и постарался увѣрить его въ томъ, что трехлѣтній мальчикъ не могъ еще сдѣлать никакого преступленія, что у него не за что отнимать отцовское наслѣдство, что его можно будетъ воспитать, какъ прикажетъ самъ папа, и что, стало быть, онъ навѣрное будетъ самымъ благочестивымъ и покорнымъ изъ всѣхъ возможныхъ императоровъ и сицилійскихъ королей. Всѣ старанія Гохберга пропали даромъ: Иннокентія IV ничѣмъ нельзя было пронять. Онъ очень откровенно отвѣчалъ нѣмецкимъ посламъ, что беретъ себѣ сицилійское королевство, и что впослѣдствіи, когда Конрадинъ вырастетъ, онъ, папа, самъ увидитъ и рѣшитъ, можно-ли будетъ оказать этому молодому человѣку какую-нибудь милость.

Въ это время у папы были завязаны переговоры насчетъ сицилійскаго королевства съ четырьмя претендентами—съ Ричардомъ Корнуэльскимъ, съ Эдмундомъ, сыномъ англійскаго короля Генриха III, съ опекуномъ Конрадина и съ братомъ Людовика Святого, Карломъ Анжуйскимъ, который впослѣдствіи дѣйствительно завоевалъ южную Италію и Сицилію. Всѣхъ этихъ просителей папа оставилъ ни при чемъ. Разсчитывая на ту путаницу, которую должна была произвести смерть Конрада въ только-что усмиренномъ королевствѣ, Иннокентій обратился къ неугасшему усердію гвельфскихъ республикъ Ломбардіи, Тосканы и анконской маркіи, набралъ отрядъ въ Генуѣ и, составивъ наскоро довольно сильную армію изъ всевозможныхъ охотниковъ до грабежа и до дешевыхъ индульгенцій, самъ повелъ своихъ солдатъ въ непріятельскія области. Гохбергъ, не зная что дѣлать, передалъ верховную власть Манфреду. Манфредъ подумалъ, что всего благоразумнѣе будетъ покориться папѣ и потомъ, выждавъ удобный случай, взять назадъ сдѣланныя ему уступки. Манфредъ пошелъ на встрѣчу къ папѣ, выра-

*) Это не тотъ Генрихъ, который бунтовалъ противъ своего отца. Тотъ умеръ въ тюрьмѣ еще при жизни Фридриха II. А этотъ Генрихъ остался послѣ отца несовершеннолѣтнимъ.

зивъ ему свою полную покорность, порадовался тому, что законный сюзеренъ пріѣхалъ самъ осматривать свое королевство,—и собственноручно перевелъ лошадь папы черезъ рѣку Гарильяно, составлявшую сѣверную границу сицилійской территоріи Папѣ и этого было мало. За нимъ ѣхали сицилійскіе магнаты, изгнанные изъ королевства при Фридрихѣ и при Конрадѣ. Эти господа смотрѣли на Манфреда черезъ плечо, не кланялись ему при встрѣчѣ и не скрывали своего намѣренія обращаться съ потомками и съ приверженцами Фридриха, какъ съ побѣжденными врагами католической церкви и законнаго правительства. Папа своими собственными поступками поддерживалъ всѣ надежды бывшихъ изгнанниковъ. Онъ отобралъ у Манфреда значительную часть его помѣстій и передалъ ихъ одному изъ возвратившихся эмигрантовъ, личному врагу Манфреда, Борелло д'Англопе.

Вскорѣ послѣ этого Манфредъ и Борелло встрѣтились на дорогѣ; оба были злы другъ на друга; у обоихъ оружіе было подъ рукою; у обоихъ была подъ начальствомъ толпа задорныхъ и храбрыхъ воиновъ; при встрѣчѣ началась перебранка, потомъ завязалась драка; потомъ Борелло, смертельно раненый, свалился съ лошади; дѣло вышло, по-тогдашнему, очень простое, совершенно извинительное и гораздо болѣе похожее на импровизованную дуэль, чѣмъ на убійство. Еслибы англійскимъ присяжнымъ предложили по этому случаю вопросъ: виновенъ-ли Манфредъ въ преднамѣренномъ убійствѣ? то они навѣрное отвѣтили-бы: невиновенъ. Но папа объявилъ, что онъ будетъ судить Манфреда, какъ убійцу. Папа съ особеннымъ удовольствіемъ собирался вздернуть на висѣлицу сына Фридриха, отчасти для того, чтобы наглядно изобразить свое полное презрѣніе къ правамъ швабской династіи, отчасти-же для того, чтобы этимъ ударомъ избавиться отъ самаго даровитаго и единственнаго опаснаго изъ своихъ противниковъ. Здѣсь опять Иннокентій зарвался слишкомъ далеко и своею непомѣрною горячностью испортилъ дѣло. Манфредъ не былъ расположенъ повиноваться папѣ до висѣлицы включительно. Манфредъ бѣжалъ отъ своихъ преслѣдователей и пробрался глухими проселками въ городъ Лучерію, къ сарацинамъ, которые боготворили память индифферентиста Фридриха и конечно не могли ожидать себѣ ничего хорошаго отъ папскаго правительства. Въ Лучеріи Манфредъ нашелъ и деньги, и армію. Черезъ нѣсколько дней послѣ своего прибытія къ сарацинамъ Манфредъ разсѣялъ двѣ папскія арміи, приблизившіяся къ Лучеріи. Но Иннокентій уже не получилъ извѣстія объ этихъ неудачахъ. Когда разбитые папскіе полководцы отступили къ Неаполю, они узнали, что папа, находившійся въ этомъ городѣ, недавно скончался. Манфредъ сдѣлался сицилійскимъ королемъ и процарствовалъ больше десяти лѣтъ, съ 1255 до 1266 года.

Иннокентія IV можно назвать однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ разрушителей средневѣкового уклада. Съ тѣхъ поръ какъ онъ сѣлъ на папскій престолъ, вся его жизнь была постоянной, напряженной и неумолимой борьбой. Онъ не давалъ пощады ни раскаянію, ни покорности, ни даже младенческой невинности. Онъ преслѣдовалъ своихъ враговъ за предѣлами гроба. Онъ мстилъ дѣтямъ и внукамъ за грѣхи отцовъ и дѣдовъ. Онъ хватался безъ разбора за всѣ средства, какія только попадались ему подъ-руку. Кровопролитная война, революціонныя воззванія, подкупъ, клевета, кинжалъ и ядъ заговорщиковъ или наемныхъ убійцъ—все шло въ дѣло, все было одинаково хорошо для папы, лишь-бы только наносило сильный вредъ отверженной династіи Гогенштауфеновъ. Нравственная неразборчивость и неистощимая энергія Иннокентія IV расшатали до основанія старое зданіе священной римской имперіи и въ то-же время значительно ускорили неизбѣжное паденіе папскаго могущества. Тѣ героическія средства, за которыя ухватился Иннокентій, вредили почти одинаково сильно и тому, противъ кого они были направлены, и тому, кто ими пользовался. Сдѣлавшись самымъ горячимъ и дѣятельнымъ коноводомъ партіи, главою сицилійскихъ мятежниковъ, подстрекателемъ заговорщиковъ, распространителемъ ложныхъ слуховъ, папа могъ одержать и дѣйствительно одержалъ надъ своими врагами нѣсколько важныхъ побѣдъ, которыя погубили династію Гогенштауфеновъ, но всѣ эти побѣды покупались цѣною того благоговѣнія, которое чувствовала католическая Европа къ своему первосвященнику и которое, разумѣется, составляло единственное возможное основаніе папскаго могущества.

Это благоговѣніе было значительнымъ капиталомъ, съ котораго папы, при нѣкоторой умѣренности, могли-бы получать, изъ году въ годъ, втеченіи многихъ столѣтій, очень хорошіе проценты. Конечно, распространеніе знаній и возрастающая быстрота умственнаго движенія современемъ уничтожили-бы этотъ капиталъ. Но еслибы сами папы умѣли быть бережливыми, то они могли-бы въ значительной степени замедлить умственное освобожденіе Европы и удержать за собой, на очень долгое время, огромное вліяніе на весь ходъ европейской политики и на все развитіе европейской мысли. Къ счастью, такая систематическая бережливость была невозможна. Папы выходили изъ того общества, которое давало всѣмъ своимъ страстямъ самый широкій просторъ. Какой-нибудь графъ Синибальдъ Фіеско смотрѣлъ на жизнь, на человѣческія общества и на текущую политику съ той-же точки зрѣнія, на ко-

торой стоялъ какой-нибудь маркизъ д'Эсте или синьоръ ди-Романо. Становясь папой, онъ конечно не могъ вдругъ переродиться. Онъ оставался человѣкомъ своего времени, человѣкомъ страстнымъ, близорукимъ и глубоко убѣжденнымъ въ неистощимости того капитала, который отдавался въ его распоряженіе. Онъ наслаждался своей властью до самозабвенія. Онъ не умѣлъ и не хотѣлъ отличать капиталъ отъ процентовъ. Онъ тратилъ капиталъ такъ беззаботно и смѣло, какъ будто-бы списокъ папъ долженъ былъ закончиться его именемъ. Онъ дѣлалъ это не изъ равнодушія къ судьбѣ папства, не по тому побужденію, вслѣдствіе котораго Людовикъ XV, чувствуя близость переворота, говорилъ съ пріятной улыбкой: «Après moi le déluge!»—Нѣтъ. Забіяка, сдѣлавшійся папой, нисколько не думалъ о далекомъ будущемъ, пребывая въ той утѣшительной и несокрушимой увѣренности, что это будущее, вплоть до самаго свѣтопреставленія, во всѣхъ своихъ существенныхъ чертахъ будетъ неизмѣнно-вѣрнымъ повтореніемъ настоящаго. Волнуя всю католическую Европу проклятіями, интердиктами и крестовыми походами изъ-за такихъ вопросовъ, которые не имѣли ничего общаго съ дѣйствительными потребностями религіи и церкви, желая превратить каждую свою прихоть въ общеобязательный законъ, буйные папы, подобные Иннокентію IV, были твердо увѣрены въ томъ, что ихъ преемники, вплоть до свѣтопреставленія, сохранятъ способность принимать такія-же крутыя мѣры, наводить такой-же ужасъ на цѣлыя государства проклятіями и интердиктами, собирать такія-же многочисленныя толпы хищныхъ крестоносцевъ и такъ-же безнаказанно предаваться удовлетворенію личныхъ прихотей. Имъ никогда не приходило въ голову, что самое острое и превосходно-закаленное оружіе можетъ притупиться и попортиться отъ слишкомъ частаго и безалабернаго употребленія. Въ жизни тогдашняго общества показывались уже такіе признаки, надъ которыми папамъ стоило призадуматься, но эти признаки, эти грозные *знаки времени* понимаются всегда совершенно превратно тѣми людьми, которымъ выгодно вѣрить въ вѣчную неподвижность человѣческой мысли.

Папамъ случалось замѣчать не разъ, что ихъ энергическія мѣры производятъ не совсѣмъ то впечатлѣніе, на которое они разсчитывали. Случалось напримѣръ, что отлученные отъ церкви, отъ которыхъ, по-настоящему, каждый добрый католикъ долженъ былъ бѣжать, какъ отъ зачумленныхъ, возбуждали состраданіе и сочувствіе въ такихъ людяхъ, которыхъ невозможно было заподозрить ни въ еретическомъ образѣ мыслей, ни въ религіозномъ индифферентизмѣ. Если-бы папа, въ пылу боевого задора, былъ способенъ восходить отъ частныхъ явленій къ общимъ причинамъ, то подобные факты, встрѣчавшіеся очень часто, должны были-бы навести его на ту мысль, что папскія проклятія понемногу утрачиваютъ свою силу, и что, разсыпая ихъ слишкомъ щедрой рукой, можно окончательно уронить ихъ значеніе. Но папа останавливался всегда на частномъ явленіи и нисколько не принималъ его за симптомъ, указывающій на общее положеніе умовъ. Отлученіе не подѣйствовало — ну, значитъ надо пустить въ ходъ какое-нибудь другое средство, поэффектнѣе и посильнѣе; одна палка сломалась— такъ стоитъ-ли разсуждать о томъ, отчего она сломалась, и что значитъ это происшествіе; надо поскорѣе взять другую палку потолще и покрѣпче. Главное дѣло — обработать непріятелю бока, а какой палкой это будетъ сдѣлано, и сколько палокъ будетъ на это истрачено— объ этомъ незачѣмъ задумываться. Понятно, что при такомъ исключительно воинственномъ взглядѣ на дѣло папы дѣйствовали какъ разъ наперекоръ тѣмъ указаніямъ, которыя они, при глубокомъ размышленіи, могли-бы извлечь для себя изъ знаковъ времени. Эти знаки говорили имъ о необходимости сократить расходы и о возможности убить весь капиталъ католическаго благоговѣнія; а папы видѣли только, что въ данномъ случаѣ надо прикрикнуть и пріударить, то есть усилить расходы для полученія желаемаго эффекта. При такой системѣ хозяйства папы на всѣхъ парусахъ летѣли къ неизбѣжному банкротству, и мыслящій историкъ долженъ за это изъявлять свою искреннюю благодарность тѣмъ энергическимъ людямъ, которые, подобно Иннокентію IV, своими трудами и подвигами приближали минуту этого банкротства, необходимаго для умственнаго освобожденія Европы.

Однимъ изъ самыхъ выразительныхъ знаковъ времени, по обыкновенію непонятыхъ папою, было поведеніе благочестиваго французскаго короля Людовика IX, котораго католическая церковь причислила къ лику святыхъ. По чистотѣ и пылкости своего католическаго усердія, Людовикъ IX въ XIII столѣтіи былъ тѣмъ, чѣмъ была въ XI вѣкѣ графиня Матильда, вѣрная союзница Григорія VII. Вся политика Людовика IX была подчинена чисто-нравственнымъ и религіознымъ соображеніямъ. Цѣль его жизни состояла въ томъ, чтобы всегда и вездѣ быть послушнымъ сыномъ церкви. Но, не смотря на всѣ старанія папы натравить его на императора Фридриха, Людовикъ IX во все время борьбы соблюдалъ самый строгій нейтралитетъ. Когда папа пріѣхалъ во Францію, Людовикъ принялъ его самымъ почтительнымъ образомъ и не помѣшалъ ему собирать въ Ліонѣ тотъ соборъ, на которомъ Фридриха отлучили отъ церкви. Но когда папа произнесъ этотъ приговоръ, Людовикъ не отшатнулся отъ импера-

тора, не прервалъ съ нимъ дружескихъ сношеній и, не осуждая поведенія папы, ходатайствовалъ передъ нимъ постоянно за отлученнаго Фридриха, не смотря на то, что приговоръ ліонскаго собора подвергалъ отлученію всѣхъ тѣхъ людей, которые будутъ оказывать императору какое-бы то ни было содѣйствіе или доброжелательство. Заступничество Людовика было, правда, въ высшей степени скромно и почтительно: онъ ограничивался тѣмъ, что передавалъ папѣ миролюбивыя предложенія императора; но уже и того было довольно, что Людовикъ IX, этотъ послѣдній изъ крестоносцевъ, не считалъ возможнымъ для себя стать рѣшительно на сторону папы и сражаться за его дѣло всѣми силами своего оружія. Уже одно это обстоятельство могло показать папѣ, что его насильственными поступками возмущается совѣсть самыхъ честныхъ людей и самыхъ покорныхъ католиковъ его времени. Иннокентій не осмѣлился дѣйствовать противъ Людовика IX церковными проклятіями, но за-то и не обратилъ никакого вниманія на тотъ урокъ, который заключался въ его нейтралитетѣ. Возмутивъ совѣсть святого короля неумолимымъ преслѣдованіемъ, направленнымъ противъ Фридриха, Иннокентій IV продолжалъ возмущать ее еще больше своими постоянными и разнообразными усиліями обобрать Конрада, Манфреда и трехлѣтняго Конрадина.

Другой знакъ времени, также очень выразительный, состоялъ въ томъ, что нѣкоторые французскіе магнаты, тронутые несчастіями императора Фридриха, обязались ограничить судебную власть духовенства и принимать подъ свое покровительство тѣхъ отлученныхъ, которые, по ихъ мнѣнію, окажутся невинными жертвами клерикальнаго властолюбія. Главными представителями этого возникающаго французскаго гибеллинизма были герцоги Бретанскій и Бургундскій и графы Ангулемскій и Сенъ-Поль. Этотъ урокъ принесъ папѣ еще меньше пользы, чѣмъ предыдущій. Вмѣсто того, чтобы воздерживаться отъ такихъ приговоровъ, которые могли показаться несправедливыми, папа разразился проклятіями противъ членовъ антиклерикальной лиги, поднялъ противъ нихъ все французское духовенство, запугалъ однихъ своими угрозами, подкупилъ другихъ деньгами и бенефиціями, и дѣйствительно задавилъ на время возникшее движеніе, нисколько не устраняя постоянныхъ причинъ, порождавшихъ и поддерживавшихъ въ обществѣ негодованіе противъ злоупотребленій духовной власти.

Римляне также нашли возможность выразить папѣ Иннокентію IV, что они недовольны его поведеніемъ. У римлянъ, со временъ Арнольда Брешіанскаго, удержались республиканскія учрежденія; но въ началѣ XIII вѣка граждане, желая придать правительству больше силы, уничтожили сенатъ и вручили верховную власть одному выборному правителю, который получилъ титулъ сенатора. Эта перемѣна принесла народу мало существенной пользы. Сенаторъ выбирался обыкновенно изъ мѣстныхъ дворянъ и относился такъ добродушно къ безчинствамъ своихъ благородныхъ соотечественниковъ, что простые люди ни на одну минуту не могли быть спокойны за свою личность и за свою собственность. Римъ былъ усѣянъ сотнями дворянскихъ башенъ; большая часть древнихъ строеній была превращена въ крѣпости; по ночамъ предпріимчивые дворяне выходили изъ своихъ убѣжищъ, разбивали купеческія лавки и выгребали изъ нихъ до-чиста всѣ товары; не довольствуясь этой добычей, они врывались въ дома, захватывали въ плѣнъ мирныхъ гражданъ и потомъ заставляли ихъ выкупаться на волю. Въ то время, когда Иннокентій IV жилъ въ Ліонѣ, римскіе дворяне разгулялись такъ широко, что терпѣніе народа истощилось. Граждане рѣшились призвать къ себѣ сенатора изъ чужого города и предложили эту должность, съ неограниченной властью, одному болонскому дворянину, Бранкалеоне д'Андало, графу Казалеккіо, извѣстному по своей неподкупной честности и неумолимой строгости. Бранкалеоне потребовалъ отъ римлянъ, чтобы они вручили ему диктаторскую власть на три года и на все это время отправили въ Болонью, въ видѣ заложниковъ, тридцать молодыхъ людей изъ самыхъ знатныхъ и, слѣдовательно, самыхъ буйныхъ римскихъ фамилій. Римляне исполнили эти требованія, и Бранкалеоне, въ началѣ 1253 года, пріѣхалъ въ Римъ судить и рядить. Онъ взялся за свое дѣло очень горячо и добросовѣстно. Ни одинъ насильственный поступокъ не оставался безнаказаннымъ; дворянскія крѣпости падали одна за другою передъ оружіемъ неумолимаго сенатора; хозяева этихъ крѣпостей, за вооруженное сопротивленіе правительству, подвергались смертной казни на мѣстѣ преступленія. Возстановивъ спокойствіе внутри города, Бранкалеоне задумалъ распространить господство Рима на мелкіе города, разбросанные по его окрестностямъ. Съ этой цѣлью сенаторъ послалъ письмо къ жителямъ Террачины, приглашая ихъ подчиниться римскому правительству. Иннокентій IV, жившій въ это время въ Ассизѣ, вступился за Террачину и отправилъ въ Римъ буллу, въ которой доказывалъ сенатору, что Террачина, находясь въ непосредственной вассальной зависимости отъ папскаго престола, не обязана подчиняться Риму, и что онъ, папа, будетъ всѣми своими силами поддерживать террачинскихъ гражданъ, если сенаторъ не оставитъ ихъ въ покоѣ. Тутъ Бранкалеоне, нисколько не испугавшись, принялся усмирять самого папу.

«Въ это самое время—говоритъ Матвѣй Парисъ—такъ какъ папа жилъ уже нѣсколько

мѣсяцевъ въ Ассизѣ, торжественное посольство предъявило ему, отъ имени римлянъ и сенатора Бранкалеоне, приказаніе возвратиться безъ замедленія въ тотъ городъ, въ которомъ онъ былъ пастыремъ и верховнымъ святителемъ. Римляне прибавили, что они удивляются, видя, какъ онъ шатается по разнымъ мѣстамъ, подобно бродягѣ или изгнаннику, и какъ онъ бѣгаетъ за деньгами, оставляя Римъ, свою святительскую резиденцію, и то стадо, за которое онъ обязанъ отдать строгій отчетъ Верховному Судьѣ. Сенаторъ и римскіе граждане объявили также ассизскому народу, что они запрещаютъ ему держать у себя дольше первосвященника, который получаетъ свое названіе отъ Рима, а не отъ Ліона, не отъ Перуджіи и не отъ Ананьи (тѣ мѣста, въ которыхъ долго жилъ папа). Они требовали, чтобы городъ Ассиза выслалъ его вонъ, если не желаетъ, чтобы его территорія была разорена на вѣчныя времена. Иннокентій понялъ тогда, что если онъ не воротится въ Римъ, то городъ Ассиза будетъ уничтоженъ раздраженными римлянами, такъ точно, какъ были подвергнуты разоренію Остія, Порто, Тускулумъ, Альба, Сабина и въ недавнее время Тиволи. Онъ явился въ Римъ поневолѣ и съ великимъ трепетомъ. Однакожъ, по приказаніямъ сенатора, его приняли съ почетомъ» (Sismondi, т. II, p. 313).

Посольство римлянъ къ Иннокентію было конечно чрезвычайно выразительнымъ знакомъ времени. Народу очевидно очень не нравился свѣтскій характеръ тѣхъ предпріятій, которымъ глава католической церкви посвящалъ всѣ свои силы. Римляне очень наглядно противопоставляли *бѣганіе за деньгами* пастырскимъ заботамъ о спасеніи христіанскихъ душъ. Папѣ очень не трудно было замѣтить, что его дѣйствія начинаютъ подвергаться самой строгой критикѣ, что этой критикой занимаются уже не отдѣльныя личности, а цѣлыя народныя массы, и что возрастающее неудовольствіе налагаетъ на него, въ интересахъ самого-же папства, прямую обязанность соблюдать въ своихъ поступкахъ ту крайнюю осторожность, которую я выше называлъ бережливостью. Но папство изъ всего этого эпизода вынесло только то нравоученіе, что Бранкалеоне—опасный человѣкъ, котораго слѣдуетъ какъ-нибудь устранить и задавить. Самому Иннокентію впрочемъ некогда было заняться этимъ дѣломъ. Онъ опять улизнулъ изъ Рима при первой возможности, отправился мутить воду въ сицилійскомъ королевствѣ и вслѣдъ затѣмъ умеръ въ Неаполѣ. Но его преемникъ, Александръ IV, понимилъ очень хорошо, что сенатора Бранкалеоне слѣдуетъ проучить

Въ Римѣ было конечно много недовольныхъ. На сенатора были сердиты всѣ тѣ люди, которымъ неудобно было грабить и озорничать. При своихъ буйныхъ наклонностяхъ и привычкахъ эти недовольные были особенно способны произвести вооруженное возстаніе. Во главѣ недовольныхъ стала знатная дворянская фамилія Аннибальдески. Возстаніе вспыхнуло и разыгралось очень успѣшно. Сенатора выхватили изъ Капитолія и засадили въ тюрьму. Нашлось тотчасъ множество жалобъ на его притѣсненія. Новый сенаторъ, Эммануэль Маджи изъ Брешіи, началъ противъ него судебное преслѣдованіе, и всѣ были увѣрены, что графу Казалеккіо не сдобровать.

Бранкалеоне, при первыхъ признакахъ приближающагося возмущенія, успѣлъ отправить жену свою въ Болонью и поручилъ ей убѣдительно просить болонскій сенатъ, чтобы онъ ни подъ какимъ видомъ не выпускалъ изъ своихъ рукъ римскихъ заложниковъ, которые должны были ручаться собственными особами за личную безопасность и неприкосновенность римскаго правителя. Болонцы исполнили просьбу своего соотечественника и отправили въ Римъ депутацію, которая потребовала его освобожденія.

Въ это время папа Александръ IV обнаружилъ свое пламенное желаніе погубить арестованнаго сенатора. Онъ сталъ объяснять болонцамъ, что они заступаются за отъявленнаго гибелина, имѣющаго дерзость сочувствовать нечестивому Манфреду, отлученному отъ церкви. Онъ настоятельно потребовалъ отъ болонцевъ, чтобы они отпустили римскихъ заложниковъ; въ случаѣ неповиновенія онъ посулилъ имъ всѣ ужасы интердикта. Но болонцы, не смотря на свой ревностный гвельфизмъ, не поколебались ни аргументами папы, ни его просьбами, ни угрозами. Римскіе заложники остались подъ секвестромъ до тѣхъ поръ, пока римскіе аристократы не заблагоразсудили выпустить изъ тюрьмы бывшаго сенатора. Бранкалеоне благополучно выѣхалъ изъ Рима и, добравшись до Франціи, написалъ тамъ форменное отреченіе отъ тѣхъ правъ, которыя были предоставлены ему на три года волею римскаго народа. Безпорядки возобновились въ Римѣ, и два года спустя народъ снова обратился къ знаменитому усмирителю слишкомъ рѣзвыхъ дворянъ. Бранкалеоне воротился въ Римъ и исполнилъ свое дѣло по-прежнему. Фамилія Аннибальдески сразу почувствовала на себѣ тяжелую руку сенатора. Одни члены этого рода умерли на эшафотѣ; другіе отправились въ изгнаніе. Во время своего второго сенаторства графъ Казалеккіо срылъ до основанія сто сорокъ дворянскихъ башенъ. Александръ IV, огорченный до глубины души вторичнымъ возвышеніемъ нечестивца и всѣми его дерзостными распоряженіями, попробовалъ отлучить его отъ церкви. Но папское проклятіе не озадачило ни римлянъ, ни самого Бранкалеоне. Отлученный сенаторъ выгналъ изъ

Рима папу со всѣмъ его дворомъ. Потомъ Бранкалеоне напалъ на городъ Ананьи, родину Александра IV, и заставилъ тамошнихъ жителей подчиниться римскому правительству. Папа былъ принужденъ просить мира у сенатора и снять съ него опрометчиво брошенное проклятіе.

Въ 1258 году Бранкалеоне умеръ, и римскія дѣла скоро сбились въ свою старую колею.

XXIII.

Крестовый походъ противъ Эччелино III.

Къ чести Фридриха II надо замѣтить, что послѣ его смерти Эччелино почувствовалъ себя еще свободнѣе и сдѣлался еще свирѣпѣе. Послѣ 1250 года онъ буквально сталъ бросаться на людей, какъ бѣшеная собака. Пытки слѣдовали за пытками, казни за казнями, безъ причины, безъ цѣли и безъ смысла. Людей пытали не для того, чтобы вывѣдать отъ нихъ какую-нибудь тайну, а для того, чтобы переломать имъ кости; людей казнили не для того, чтобы отмстить имъ за какой-нибудь непонравившійся поступокъ, а для того, чтобы проливать на городскихъ площадяхъ человѣческую кровь. Эччелино преслѣдовалъ и истреблялъ въ своихъ подданныхъ все то, что обыкновенно обращаетъ на себя вниманіе, что выдвигаетъ человѣка изъ толпы, что возбуждаетъ въ людяхъ любовь и уваженіе. Онъ душилъ дворянъ за то, что они носили слишкомъ громкія имена; богатыхъ купцовъ—за то, что они слишкомъ успѣшно вели свои денежныя дѣла; ученыхъ юрисконсультовъ—за то, что они слишкомъ прилежно занимались наукой; благочестивыхъ прелатовъ, канониковъ и монаховъ—за то, что они слишкомъ усердно молились и постились; наконецъ даже красивыхъ молодыхъ людей—за то, что они были молоды и красивы.

Что побуждало тирана дѣйствовать такимъ образомъ—неутолимая-ли зависть ко всякимъ человѣческимъ достоинствамъ и дарованіямъ, безпокойная-ли подозрительность, заставлявшая его видѣть коновода будущаго возстанія во всякой сколько-нибудь замѣтной личности, слѣпая-ли кровожадность, превратившаяся въ монополію,—это я не берусь рѣшить. Надо быть Шекспиромъ, чтобы угадывать чувства и мысли такихъ исключительно-уродливыхъ субъектовъ, такихъ глубоко-больныхъ людей, какъ Эччелино III.

Послѣ смерти Фридриха II Эччелино не боялся ничего на свѣтѣ и старался производить свои жестокости какъ можно публичнѣе и торжественнѣе. Когда узники умирали въ зараженномъ воздухѣ его темницъ, онъ отсылалъ ихъ трупы въ ихъ родные города, и палачи рубили имъ головы на городской площади. Иногда арестованныхъ людей выводили на площадь цѣлыми сотнями; на нихъ бросался въ аттаку кавалерійскій отрядъ, и черезъ нѣсколько минутъ все приведенное стадо было изрублено и раздавлено. Затѣмъ трупы разрѣзывались на куски и сжигались на приготовленныхъ кострахъ. Показывая своимъ подданнымъ такія яркія картины, Эччелино конечно не заботился о томъ, чтобы щадить ихъ слухъ; застѣнки, въ которыхъ производились пытки, были устроены такъ, что стоны и крики мучениковъ были слышны и на улицахъ, и въ домахъ. Эти крики ни днемъ, ни ночью не давали покоя жителямъ. Работа палачей шла безостановочно, и каждый гражданинъ Падуи, Вероны или Виченцы, прислушиваясь къ застѣночнымъ мелодіямъ, имѣлъ основаніе надѣяться, что и ему самому придется въ ближайшемъ будущемъ брать такія-же точно высокія и пронзительныя ноты. Такая жизнь доставляла гражданамъ мало удовольствія, такъ мало, что они готовы были бросить имущество, родину, даже семейство, и бѣжать, куда глаза глядятъ, на край свѣта, за полярный кругъ, къ какимъ-нибудь нехристямъ и басурманамъ, лишь-бы только вырваться изъ того ада, который былъ устроенъ для нихъ остроумнымъ и изобрѣтательнымъ ихъ повелителемъ. Но повелитель самъ зналъ очень хорошо, что отъ него всѣ подданные разбѣгутся и что онъ останется въ своихъ городахъ одинъ, съ своими главными чиновниками, если не приметъ заблаговременно самыхъ строгихъ мѣръ для прекращенія выѣздовъ и побѣговъ. Поэтому всѣ владѣнія Эччелино были оцѣплены сильнѣйшимъ кордономъ пограничной стражи, которой было приказано никого не впускать и никого не выпускать. Когда этимъ караульщикамъ случалось изловить бѣглеца, тогда они, безъ дальнѣйшаго изслѣдованія, выкалывали ему глаза или рубили ногу, чтобы укрѣпить въ его прихотливомъ сердцѣ любовь къ отечеству и къ существующему порядку.

Въ 1253 году Эччелино, не смотря на свою шестидесятилѣтнюю опытность и осторожность, чуть-чуть не погибъ самымъ глупѣйшимъ образомъ. Къ нему привели въ Верону, для допросовъ и пытокъ, двухъ арестованныхъ дворянъ: братьевъ Монте и Аральдо ди-Монселиче. Эччелино сидѣлъ за обѣдомъ; поравнявшись съ его дворцомъ, плѣнники начали ругаться и кричать такъ громко, что Эччелино не выдержалъ и выскочилъ къ нимъ на улицу, чтобы тотчасъ подвергнуть ихъ какому-нибудь фантастически-ужасному истязанію. Въ недобрый часъ пришли эти измѣнники!—прошипѣлъ Эччелино и съ этими словами подбѣжалъ къ нимъ такъ близко, что одинъ изъ нихъ, Монте, бросился на него и въ одну секунду смялъ его подъ себя, прежде

чѣмъ конвойные солдаты успѣли ухватить и остановить арестованнаго. Повалившись вмѣстѣ съ Эччелино на-земь, Монте не терялъ даромъ времени; руками онъ обыскивалъ платье тирана, стараясь найти кинжалъ, а зубами грызъ физіономію своего врага, который начиналъ убѣждаться въ томъ, что часъ былъ дѣйствительно недобрый. Не найдя кинжала, Монте перенесъ руки туда-же, гдѣ дѣйствовали зубы, и превратилъ лицо своего повелителя въ одну сплошную рану. Солдаты въ это время конечно не стояли сложа руки. Одинъ изъ нихъ отрубилъ у Монте правую ногу; другіе изрубили Аральдо, увлеченнаго примѣромъ брата и бросившагося къ нему на помощь. Но Монте дошелъ уже до той степени изступленія, гдѣ человѣкъ перестаетъ чувствовать боль, забываетъ о самосохраненіи и сосредоточиваетъ всѣ физическія и нравственныя силы въ одномъ желаніи нанести врагу какъ можно больше вреда. Солдаты изрубили его въ куски, но онъ, какъ разъяренный бульдогъ, замеръ на своей добычѣ, и Эччелино, полумертвый отъ страха и отъ боли, высвободился изъ-подъ него только тогда, когда въ его тѣлѣ угасъ послѣдній остатокъ жизни. Синьору Эччелино долго пришлось оправляться отъ послѣдствій выдержанной борьбы.

Въ концѣ 1255 года надъ Эччелино собралась такая гроза, отъ которой было гораздо труднѣе уберечься, чѣмъ отъ зубовъ и ногтей арестованнаго дворянина.

Папа Александръ IV разослалъ ко всѣмъ епископамъ, магнатамъ и свободнымъ городамъ Ломбардіи циркулярныя посланія, направленныя спеціально противъ Эччелино. «Сынъ погибели— писалъ папа—человѣкъ крови, отвергнутый церковью, Эччелино ди-Романо, самый безчеловѣчный изъ сыновъ человѣческихъ, пользуясь безпорядками вѣка, захватилъ тираническую власть надъ несчастными жителями вашей страны. Онъ разрушилъ всѣ связи человѣческаго общества, всѣ законы евангельской свободы ужасной казнью дворянъ, избіеніемъ плебеевъ. Но мы, заботясь о вашемъ спасеніи, особенно въ томъ, что относится къ Богу, мы облекли въ званіе нашего легата при васъ нашего возлюбленнаго сына архіепископа Равеннскаго, для того, чтобы онъ, исполняя наши обязанности въ вашихъ провинціяхъ, разогрѣвалъ усердіе вѣрующихъ и преслѣдовалъ духовнымъ и свѣтскимъ оружіемъ Эччелино и его коварныхъ сообщниковъ; чтобы онъ возлагалъ символъ креста на тѣхъ вѣрующихъ, которые вооружатся противъ Эччелино; чтобы онъ одобрялъ ихъ, предлагая имъ въ награду тѣ-же индульгенціи, которыя даются воинамъ, идущимъ освобождать Святую землю». Мѣсяца черезъ три послѣ разсылки папскихъ циркуляровъ архіепископъ Равеннскій, въ мартѣ 1256 года, явился въ Венецію и началъ проповѣдывать крестовый походъ противъ угнетателя веронской маркіи. Мѣсто для проповѣди было выбрано удачно. Въ Венеціи было много выходцевъ изъ Падуи и изъ другихъ городовъ, порабощенныхъ тираномъ. Эти выходцы, успѣвшіе убраться за границу, прежде чѣмъ Эччелино оцѣпилъ свои владѣнія кордономъ, постоянно хлопотали или по крайней мѣрѣ мечтали объ освобожденіи своей родины. Появленіе легата и его проповѣдь показали имъ, что ихъ мечта можетъ осуществиться. Само собой разумѣется, что выходцы, способные носить оружіе, собрались вокругъ архіепископа и приняли отъ него крестъ. Сами венеціанцы также давно искали случая погубить или по крайней мѣрѣ ослабить и унизить тирана, котораго жестокости были имъ хорошо извѣстны и котораго близкое сосѣдство казалось имъ очень неудобнымъ и даже опаснымъ. Чтобы окончательно расположить венеціанцевъ въ пользу крестоваго похода, падуанскіе выходцы выбрали себѣ въ подесты венеціанскаго дворянина, Марко Кверени, а легатъ провозгласилъ другого ясновельможнаго венеціанца, Марко Бадоэро,—маршаломъ крестоносной арміи. Очень многіе венеціанцы приняли крестъ и доставили легату корабли для того, чтобы плыть къ Падуѣ вверхъ по рѣкѣ Брентѣ.

Маркизъ д'Эсте, у котораго Эччелино отнялъ значительную часть его владѣній, присоединился къ крестоносцамъ, увлекая за собой городъ Феррару, находившійся подъ его господствомъ. Графъ Санъ-Бонифаціо, управлявшій Мантуей, примкнулъ къ той-же священной лигѣ. Болонья также отправила къ папскому легату вспомогательный отрядъ.

Эччелино соединился съ маркизомъ Пелавичино и съ синьоромъ Буозо-да-Доара, которые оба господствовали въ Кремонѣ. Родной братъ Эччелино, Альберикъ, подчинившій себѣ Тревизу, былъ тайнымъ союзникомъ тирана, хотя и считался ревностнымъ гвельфомъ.

Неизвѣстно было, чью сторону приметъ Брешія. Въ этомъ городѣ гвельфы боролись съ гибелинами, но Эччелино надѣялся, что послѣдніе одолѣютъ и отдадутъ городъ въ его руки. Чтобы не пропустить рѣшительной минуты, Эччелино, весною 1256 года, повелъ свои войска въ мантуанскую область, сопредѣльную съ брешіанской территоріей. Занявшись опустошеніемъ мантуанскихъ окрестностей, Эччелино приказалъ въ то-же время своему помощнику, Анседизію Гвидотти, слѣдить за движеніями крестоносцевъ и не пропускать ихъ къ Падуѣ, черезъ рѣку Бренту.

Но Анседизій былъ годенъ только на то, чтобы мучить и вѣшать беззащитныхъ падуанскихъ жителей. Онъ оказался до такой степени неспособнымъ и трусливымъ полководцемъ, что

крестоносцы, находившіеся подъ начальствомъ папскаго легата, человѣка очень ограниченнаго и совершенно незнакомаго съ военнымъ дѣломъ, перешли преспокойно черезъ Бренту, взяли нѣсколько укрѣпленныхъ замковъ, подступили къ Падуѣ, сожгли деревянныя ворота города и наконецъ овладѣли самымъ городомъ, не встрѣтивъ нигдѣ никакого серьезнаго сопротивленія. Въ то время, когда крестоносцы входили въ Падую черезъ одни ворота, Аппедизій поспѣшно уходилъ черезъ другія. Надо полагать, что падуанскіе выходцы составляли въ крестоносной арміи незначительное меньшинство. Только этимъ предположеніемъ можно объяснить себѣ то обстоятельство, что крестоносцы, взявши Падую, ограбили ее до-чиста, не смотря на то, что жители не думали сопротивляться и встрѣтили ихъ, какъ своихъ освободителей. Грабежъ продолжался цѣлую недѣлю.

Послѣ взятія города папскій легатъ и новый падуанскій подеста, Марко Кверини, приказали отворить тюрьмы, въ которыхъ Эччелино держалъ подозрительныхъ людей. Всѣхъ тюремъ было восемь. Двѣ изъ нихъ, самыя большія, заключали въ себѣ по триста плѣнниковъ. Другія, поменьше, были также биткомъ набиты. Всѣхъ узниковъ оказалось отъ 1,500 до 2,000 человѣкъ. Въ томъ числѣ было много женщинъ и дѣтей. Многіе узники находились при послѣднемъ издыханіи; почти всѣ были заморены до такой степени, что едва держались на ногахъ. Десятки дѣтей были изувѣчены: у однихъ были вырваны глаза, у другихъ—вырѣзаны половыя части.

Разсматривая внутреннее устройство и содержаніе отворенныхъ темницъ, падуанскіе граждане принуждены были сознаться, что крестоносцы, ограбившіе ихъ городъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ, все-таки оказали имъ великое благодѣяніе. Но счеты Падуи съ Эччелино III еще не были окончены. Въ арміи, стоявшей лагеремъ возлѣ Мантуи, подъ личнымъ начальствомъ тирана, было одиннадцать тысячъ падуанскихъ солдатъ. Этотъ отрядъ составлялъ слишкомъ третью часть всей арміи. Эччелино боялся со стороны этихъ падуанцевъ открытаго возстанія или, еще того хуже, измѣны во время сраженія. Онъ рѣшился уничтожить цѣлую треть своей арміи и обнаружилъ при этомъ всю свою находчивость, изворотливость и энергію. Какъ только онъ получилъ извѣстіе о взятіи Падуи, такъ тотчасъ-же, не давая солдатамъ времени узнать о случившемся и сговориться, онъ повелъ свою армію форсированнымъ маршемъ въ Верону. Придя туда, онъ подъ какимъ-то предлогомъ приказалъ падуанцамъ сложить оружіе и собраться на площади, которую вслѣдъ затѣмъ окружили со всѣхъ сторонъ остальныя войска тирана. Но арестовать 11,000 людей, даже и безоружныхъ, было все-таки довольно трудно. Эти люди, доведенные до отчаянія, могли поднять такую возню, въ которой погибли-бы сотни или даже тысячи солдатъ, высланныхъ для ихъ арестованія или истребленія. А Эччелино, рѣшаясь отнять у себя треть арміи, долженъ былъ тѣмъ болѣе беречь остальныя двѣ трети, отъ которыхъ зависѣло его спасеніе въ дальнѣйшей борьбѣ съ крестоносцами. Эччелино постарался устроить такъ, чтобы падуанцы сами себя арестовали. Эччелино разсчитывалъ на человѣческую глупость и подлость, и этотъ разсчетъ оправдалъ блистательнымъ образомъ всѣ его ожиданія. Эччелино объявилъ собравшимся падуанцамъ, что онъ гнѣвается на Падую, и что справедливый гнѣвъ его требуетъ себѣ жертвы; чтобы заслужить себѣ прощеніе, падуанскіе солдаты сами должны выдать ему служащихъ въ арміи уроженцевъ мѣстечка Піеви-ди-Сакко, жители котораго передались врагамъ. Падуанцы очень обрадовались этому требованію, которое показывало имъ, что опасность, носившаяся надъ всѣми головами, обрушилась на одну отдѣльную группу ихъ товарищей. Тѣ, которые не были сами родомъ изъ Піеви-ди-Сакко, благодарили Бога за свое спасеніе и находили, что Эччелино поступаетъ справедливо и великодушно. Уроженцы опальнаго мѣстечка смотрѣли на дѣло иначе, но они составляли ничтожное меньшинство. Ихъ схватили, связали и выдали тирану, который тотчасъ препроводилъ ихъ въ тюрьму. Быть можетъ многіе изъ нихъ сопротивлялись, но чѣмъ упорнѣе и кровопролитнѣе было ихъ сопротивленіе, тѣмъ больше удовольствія получалъ Эччелино, потому что весь трудъ схватыванія и связыванія былъ возложенъ на самихъ падуанцевъ, которые были обречены на поголовное истребленіе. Когда уроженцы Піеви-ди-Сакко оказались въ сохранномъ мѣстѣ, Эччелино потребовалъ себѣ гражданъ Читтаделлы на томъ основаніи, что это мѣстечко безъ боя отворило ворота крестоносцамъ. На площади повторилась прежняя сцена, и связанные читтадельцы отправились умирать въ тюрьмѣ. Тогда Эччелино пожелалъ получить всѣхъ поселянъ, родившихся въ окрестностяхъ Падуи, то есть всѣхъ, кромѣ уроженцевъ самаго города. Тутъ, разумѣется, уже не могло быть того единодушія, съ которымъ произошло хватаніе и связываніе прежнихъ опальныхъ. Во-первыхъ, число жертвъ, потребованныхъ тираномъ, было уже слишкомъ велико; а во-вторыхъ, онъ требовалъ уже въ третій разъ; стало быть, не очень трудно было напасть на ту мысль, что это третье требованіе не будетъ послѣднимъ. На площади долженъ былъ произойти серьезный раздоръ между тѣми, которые желали повиноваться до конца, и тѣми, которые требовали отчаяннаго сопротивленія. Этотъ раздоръ могъ только радовать Эччелино, потому что ссоры и драки вредили лишь однимъ падуанцамъ. Какъ-бы то ни было,

партія людей, желавшихъ выдать своихъ товарищей и надѣявшихся купить себѣ этой цѣной помилованіе, за которое было заплачено уже два раза,—одержала побѣду. Затѣмъ падуанскіе горожане бросились на поселянъ, одолѣли ихъ и передали ихъ съ рукъ на руки вооруженнымъ солдатамъ тирана. Эччелино объявилъ, что теперь надо выдать всѣхъ дворянъ. Опять ссоры, драки, отчаянная возня—и потомъ церемоніальное шествіе связанныхъ людей въ веронскія тюрьмы. На окруженной площади остались только простые граждане, уроженцы самаго города Падуи. Они по всей вѣроятности составляли половину того отряда, который былъ сначала приведенъ на площадь. Но при этомъ всѣ они были утомлены той борьбой, которую они должны были выдержать во время четырехъ арестованій и связываній, быстро слѣдовавшихъ одно за другимъ. Многіе изъ нихъ были по всей вѣроятности больно зашибены во время борьбы. Эччелино нашелъ, что не стоитъ съ ними дольше церемониться. На площадь вошли его вооруженные солдаты изъ помѣстья Педемонте, и началось связываніе тѣхъ самыхъ людей, которые въ одно утро четыре раза покупали себѣ прощеніе самыми неустрашимыми подвигами глупости и подлости.

Одиннадцать тысячъ человѣкъ столпились въ веронскихъ тюрьмахъ. Понятно, что они были набиты тамъ буквально какъ сельди въ боченкахъ. Недостатокъ воздуха, голодъ и жажда быстро сдѣлали свое дѣло. Изъ всей этой арміи, составлявшей лучшій цвѣтъ падуанскаго населенія, уцѣлѣло какимъ-то чудомъ двѣсти человѣкъ. Надо признаться, что послѣ такой мастерской штуки Эччелино III имѣлъ достаточное основаніе глубоко презирать человѣчество.

Изъ Падуи крестоносное воинство двинулось къ Виченцѣ и, не доходя до этого города, остановилось лагеремъ у мѣстечка Лонгары. Главнокомандующій, Филиппъ, архіепископъ Равеннскій, занялся въ лонгарскомъ лагерѣ обжорствомъ и пьянствомъ, и солдаты его охотно и усердно, по мѣрѣ силъ и возможности, стали подражать своему начальнику. Всѣ они ожидали чудесъ, и дѣйствительно нуждались въ чудесахъ для того, чтобы, при своемъ всестороннемъ убожествѣ, побѣдить опытнаго, искуснаго и неутомимо-дѣятельнаго Эччелино. Взятіе Падуи казалось имъ великолѣпнымъ началомъ тѣхъ сверхъестественныхъ успѣховъ, которые были имъ обѣщаны проповѣдниками, затянувшими ихъ въ крестовый походъ. Пропивая награбленныя деньги, крестоносцы ласкали себя той надеждой, что и на будущее время ихъ дѣла будутъ устраиваться такъ-же легко и пріятно, и что стѣны Вероны и Виченцы распадутся передъ ихъ святыми легіонами почти такъ-же, какъ распались въ древности стѣны Іерихона передъ еврейскими трубами и литаврами.

Пока крестоносцы баловали себя въ Лонгарѣ крѣпкимъ виномъ и пріятными мечтами о будущихъ побѣдахъ, къ нимъ въ лагерь пріѣхалъ Альберикъ ди-Романо, въ видѣ ревностнаго гвельфа, желающаго сражаться подъ священными знаменами церкви. Дворяне, находившіеся въ крестоносной арміи, какъ спеціалисты по части политическихъ интригъ, смотрѣли на пріѣздъ этого гвельфа съ величайшимъ недовѣріемъ и готовы были считать его за лазутчика, подосланнаго синьоромъ Эччелино. Но легатъ Филиппъ былъ слишкомъ тупъ, чтобы тревожить свою жирную особу такими хитрыми опасеніями, и слишкомъ увѣренъ въ собственной проницательности, чтобы обращать вниманіе на чужіе совѣты. Онъ принялъ грубую лесть Альберика за чистую монету и сталъ обращаться съ нимъ, какъ съ искреннимъ союзникомъ. Черезъ нѣсколько дней присутствіе Альберика принесло свои плоды: въ лагерѣ вспыхнуло возмущеніе; болонцы объявили, что не хотятъ служить безъ жалованья; вслѣдъ затѣмъ распространился слухъ, что Эччелино подходитъ къ лагерю, и вдругъ вся крестоносная армія шарахнулась, какъ табунъ перепуганныхъ лошадей, по дорогѣ къ Падуѣ. Впереди всѣхъ летѣлъ со своимъ отрядомъ Альберикъ, охваченный повидимому паническимъ страхомъ. Но падуанскій подеста, Марко Кверини, находившійся также при арміи, послалъ въ Падую гонца съ приказаніемъ запереть всѣ ворота и не впускать въ городъ ни одного человѣка изъ лонгарскаго лагеря. Этотъ гонецъ былъ отправленъ подестою при первыхъ признакахъ смятенія, которое было произведено въ лагерѣ стараніями Альберика и его низшихъ агентовъ, имѣвшихъ полную возможность ходить по палаткамъ и волновать своими розсказнями довѣрчивыхъ и своевольныхъ солдатъ. Только-что гонецъ исполнилъ въ Падуѣ данное ему порученіе, къ городскимъ воротамъ прискакалъ Альберикъ съ своими сподвижниками. Ворота уже были заперты. Ревностный гвельфъ сталъ умолять, чтобы ему отперли. Онъ умолялъ именемъ подесты, именемъ легата, именемъ самого папы. Но всѣ его просьбы оказались безсильными. Онъ пошелъ стучаться въ другія ворота, потомъ въ третьи, въ четвертыя. Вездѣ было заперто. Тогда Альберикъ уѣхалъ тотчасъ къ себѣ въ Тревизу и больше не показывался въ лагерѣ крестоносцевъ. Планъ его, разстроенный предусмотрительностью подесты, состоялъ очевидно въ томъ, чтобы захватить измѣническимъ образомъ Падую, въ которой, послѣ ухода крестоносцевъ, оставалось очень мало людей, способныхъ носить оружіе.

Черезъ нѣсколько дней самъ Эччелино явился осаждать Падую. Но у крестоносцевъ

былъ уже устроенъ впереди города укрѣпленный лагерь, въ которомъ имъ удалось отбиться отъ нападеній Эччелино. Послѣ нѣсколькихъ безплодныхъ схватокъ, Эччелино отступилъ и въ началѣ сентября распустилъ свою армію до будущаго года.

Весь слѣдующій 1257 годъ прошелъ безъ столкновеній. Обѣ стороны, легатъ и Эччелино, хлопотали о томъ, чтобы навербовать себѣ новыхъ союзниковъ. Легатъ ѣздилъ то въ Миланъ, то въ Брешію и старался помирить въ первомъ городѣ дворянъ съ народомъ, а во второмъ—гибелиновъ съ гвельфами. Эччелино, напротивъ того, подзадоривалъ миланскихъ дворянъ и брешіанскихъ гибелиновъ и убѣдительно просилъ тѣхъ и другихъ принять его безкорыстное содѣйствіе. Безкорыстіе синьора Эччелино никому не внушало особенно сильнаго довѣрія, и тѣ партіи, съ которыми онъ поддерживалъ сношенія, не торопились принимать его содѣйствіе.

Въ 1258 году брешіанскіе гвельфы одержали перевѣсъ надъ гибелинами и увлекли свою родину въ священную лигу, составленную противъ Эччелино. Въ то время, когда легатъ проповѣдывалъ и распоряжался въ Брешіи, онъ получилъ извѣстіе о томъ, что кремоняне, союзники Эччелино, двинулись къ рѣкѣ Оліо и осадили тамъ замки Волонго и Турричеллу. Легатъ пошелъ къ нимъ на встрѣчу, захвативъ съ собой всѣхъ своихъ крестоносцевъ и брешіанскихъ гвельфовъ. Вдругъ Эччелино появился сзади гвельфской арміи. Крестоносцы вообразили себѣ, что они отрѣзаны и окружены со всѣхъ сторонъ врагами. Все священное воинство бросилось въ разсыпную. О сопротивленіи никто и не думалъ. Солдатамъ Эччелино оставалось только ловить бѣглецовъ. Четыре тысячи брешіанцевъ, мантуанскій подеста, великое множество всякаго крестоноснаго сброда и даже самъ легатъ Филиппъ попались въ плѣнъ. Крестоносная армія совершенно исчезла послѣ этого пораженія.

Гвельфы, оставшіеся въ Брешіи, сдѣлались до крайности любезными съ мѣстными гибелинами, когда узнали объ уничтоженіи церковной арміи. Гибелины, попавшіе въ тюрьму послѣ побѣды гвельфской партіи, получили теперь свободу и даже доступъ ко всѣмъ общественнымъ должностямъ. Эти любезности нисколько не обезоружили гибелиновъ. Они хотѣли воспользоваться вполнѣ тѣмъ праздникомъ, который появился на ихъ улицѣ. Они хотѣли потѣшиться надъ своими врагами такъ точно, какъ эти враги въ свое время тѣшились надъ ними. Жажда мести и радость неожиданнаго торжества заставили ихъ забыть о томъ ужасѣ, который чувствовали передъ синьоромъ Эччелино даже его союзники и друзья. Чтобы насолить гвельфамъ, предводители брешіанскихъ гибелиновъ отворили городскія ворота побѣдоносной арміи веронскаго тирана.

Вмѣстѣ съ солдатами Эччелино въ Брешію вошли кремонскія войска подъ начальствомъ маркиза Пелавичино и Буозо-да-Доара. По условіямъ, заключеннымъ между этими тремя предводителями ломбардскихъ гибелиновъ, всѣ сдѣланныя завоеванія должны были составлять ихъ общую собственность. Но такія условія исполняются очень рѣдко; большею частью случается такъ, что союзники при дѣлежѣ добычи сначала завязываютъ между собою щекотливые перевоворы, потомъ переходятъ къ взаимнымъ попрекамъ и наконецъ рѣшаютъ возникшія недоразумѣнія силою оружія. Читатель, на глазахъ котораго разыгралась недавно исторія объ эльбскихъ герцогствахъ, не найдетъ вѣроятно ничего удивительнаго въ томъ, что Эччелино, Пелавичино и Доара никакъ не могли подѣлить между собой городъ Брешію. Эччелино, какъ сильнѣйшій, хотѣлъ все получить на свою долю, а чтобы эта операція присвоенія обошлась безъ хлопотъ, онъ попробовалъ перессорить между собою обоихъ кремонскихъ правителей. Маркизу Пелавичино онъ совѣтовалъ изъ-подъ руки отправить какъ-нибудь Буозо на тотъ свѣтъ, чтобы сдѣлаться послѣ его смерти неограниченнымъ властелиномъ Кремоны. Въ это же самое время Эччелино разсыпалъ передъ Буозо самыя изысканныя выраженія своей любезности и даже нѣжности; онъ предлагалъ ему господство надъ Вероною, если онъ, Буозо, захочетъ отправиться туда въ качествѣ подесты. Но ни маркизъ, ни Буозо не были новичками, способными повѣрить сладкимъ рѣчамъ и заманчивымъ обѣщаніямъ синьора Эччелино. Оба держали себя съ нимъ очень осторожно, и когда кремоняне, въ началѣ 1259 года, захотѣли воротиться на родину, то ни Буозо, ни маркизъ не рѣшились остаться въ Брешіи послѣ ухода кремонской милиціи. Оба выѣхали изъ Брешіи вмѣстѣ съ кремонскими солдатами. Послѣ ихъ отъѣзда Эччелино объявилъ себя синьоромъ Брешіи и по своему всегдашнему обыкновенію началъ пытать, казнить и обирать жителей.

Когда маркизъ и Буозо узнали, что ихъ союзникъ присвоилъ себѣ Брешію, тогда имъ обоимъ сдѣлалось очень досадно. Они сблизились между собою подъ вліяніемъ этой общей досады и сообщили другъ другу тѣ конфиденціальныя бесѣды и деликатныя предложенія, которыми осчастливилъ ихъ Эччелино во время ихъ пребыванія въ Брешіи. Тутъ Буозо узналъ, что Эччелино натравливалъ на него маркиза въ то самое время, когда происходили дружескіе переговоры объ уступкѣ Вероны. Маркизъ узналъ въ свою очередь, что, разговаривая съ Буозо, Эччелино дѣлалъ довольно ясные намеки на возможность устранить его, маркиза, и подѣлить дружелюбно его наслѣдство. Кремонскіе синь-

оры рѣшили единогласно, что Эччелино такой безсовѣстный негодяй, съ которымъ даже и разбойничать вмѣстѣ не приходится, потому что онъ во всякую данную минуту способенъ всадить ножикъ въ спину каждаго изъ своихъ товарищей по грабежу, хотя-бы эти товарищи по десяти разъ въ день выручали его изъ смертельной опасности. Подъ вліяніемъ той же досады, кремонскихъ синьоровъ обуяло умиленіе по поводу тѣхъ страданій, которыя терпѣла въ то время порабощенная Брешія. Маркизъ и Буозо, которые сами были немного ослабленными копіями съ синьора Эччелино, переполнились любовью къ страждущему человѣчеству и, проливая слезы крокодила, рѣшились избавить Италію отъ свирѣпаго чудовища, такъ безсовѣстно отжилившаго у нихъ Брешію. Оставаясь гибелинами, т. е. приверженцами швабской династіи, кремонскіе синьоры заключили союзъ съ маркизомъ д'Эсте, съ графомъ Санъ-Бонифаціо и тремя гвельфскими республиками: Мантуей, Феррарой и Падуей. Съ одной стороны союзники признали права Манфреда на сицилійское королевство, съ другой стороны, они обязались преслѣдовать до послѣдняго издыханія обоихъ братьевъ—Эччелино и Альберика ди-Романо. Магнаты обѣщали идти на войну лично, со всѣми своими вассалами; города условились выставить всѣ свои милиціи и кромѣ того нанять кавалерійскій отрядъ въ 1200 человѣкъ. Здѣсь появляется въ первый разъ наемная кавалерія, которая, какъ мы увидимъ ниже, имѣла впослѣдствіи самое рѣшительное вліяніе на судьбу ломбардскихъ республикъ. Всѣ союзники объявили наконецъ торжественно, что ни приказанія какого бы-то ни было будущаго императора, ни буллы папы не освободятъ ихъ отъ обязанности исполнить ту клятву, которою былъ скрѣпленъ ихъ союзъ.

Договоръ этой лиги, объявлявшей тирану непримиримую войну, былъ подписанъ въ Кремонѣ 11-го іюня 1259 года. Въ это самое время падуанцы взяли замокъ Фріолу, лежавшій въ виченпинской области; Эччелино бросился туда изъ Брешіи со всѣми своими войсками, и замокъ, вмѣстѣ съ падуанскимъ гарнизономъ, очень скоро очутился въ его рукахъ. Само собою разумѣется, что никому не было дано никакой пощады. Гарнизонъ и жители, міряне и духовенство, мужчины, женщины и дѣти — всѣ оказались виновными передъ судомъ Эччелино и всѣ получили на свою долю одно и то-же наказаніе. Имъ всѣмъ выкололи глаза, отрѣзали носы и обрубили ноги. Потомъ ихъ пустили на всѣ четыре стороны, и тѣ, которые пережили эту операцію, расползлись по всѣмъ ломбардскимъ городамъ и своими изуродованными фигурами долго напоминали гражданамъ о той постоянной заботливости, съ которой они должны беречь и развивать свои учрежденія. Но ломбарды не угадывали того нравоученія, которое заключалось для нихъ въ ужасномъ видѣ фріольскихъ калѣкъ. Ломбарды подавали имъ милостыню, проклинали вмѣстѣ съ ними память Эччелино и сами продолжали бѣжать по тому пути, который привелъ Падую, Верону и Виченцу къ позорному и мучительному рабству.

Въ Миланѣ продолжалась вражда между народомъ и дворянами. Разлакомившись покореніемъ Брешіи, Эччелино въ 1259 году серьезно сталъ надѣяться, что и Миланъ не уйдетъ отъ его рукъ. Изъ-за такой богатой добычи стоило похлопотать, стоило даже и рискнуть. Въ концѣ августа 1259 года Эччелино дѣйствительно рискнулъ. Онъ собралъ всѣ свои силы и пошелъ по направленію къ Милану, надѣясь, что дворяне отворятъ ему ворота, если онъ неожиданно подойдетъ къ стѣнамъ ихъ города. Но въ это самое время въ Миланѣ произошелъ рѣшительный переворотъ; демократическая партія одолѣла; дворяне бѣжали изъ города въ лагерь къ своему покровителю. Предпріятіе Эччелино лопнуло, а между тѣмъ онъ забрался уже такъ далеко впередъ, что отступленіе сдѣлалось очень затруднительнымъ. За нимъ лежали уже двѣ большія рѣки: Оліо и Адда; впереди стояла миланская милиція подъ начальствомъ Мартино делла Торре; сзади подходилъ маркизъ д'Эсте; сбоку подвигались кремоняне; въ виду всѣхъ этихъ враговъ надо было переправляться черезъ двѣ рѣки для того, чтобы добраться до Брешіи. Рѣшительное сраженіе произошло 16-го сентября 1259 года, при переправѣ Эччелино черезъ Адду. Въ самомъ началѣ битвы Эччелино, которому было слишкомъ шестьдесятъ пять лѣтъ, получилъ рану стрѣлою въ лѣвую ногу. Вслѣдъ затѣмъ случилась новая бѣда: брешіанская кавалерія, вмѣсто того чтобы идти въ аттаку, какъ приказывалъ Эччелино, повернулась назадъ и поскакала домой. Союзники конечно не стали ее преслѣдовать, видя, что она не хочетъ сражаться за ихъ врага. За брешіанцами пошли на утекъ многіе другіе солдаты; остальные, вмѣстѣ съ Эччелино, медленно стали отступать по дорогѣ въ Бергамо; союзники напирали на нихъ со всѣхъ сторонъ; защитники тирана падали одинъ за другимъ. Наконецъ самому Эччелино проломилъ голову какой-то солдатъ, котораго родной братъ былъ изувѣченъ въ Фріолѣ. Эччелино свалился съ лошади, и его взяли въ плѣнъ. Вся непріятельская армія сбѣжалась смотрѣть на него. Его отвели въ палатку Буозо-да-Доара. Лекарямъ приказано было заботиться о его выздоровленіи, но онъ не хотѣлъ принимать никакой помощи, самъ разорвалъ ногтями свои раны и умеръ на одиннадцатый день послѣ того, какъ попался въ плѣнъ. Необыкновенная сила его характера не измѣнила ему до послѣд-

ней минуты. Онъ ни отъ кого не требовалъ и не принималъ пощады, такъ точно, какъ и самъ никому ея не оказывалъ.

Монархія Эччелино немедленно разсыпалась на свои составныя части, какъ только солдаты его разбитой арміи принесли къ себѣ на родину извѣстіе о томъ, что тиранъ окончательно побѣжденъ, опасно раненъ и взятъ въ плѣнъ. Намѣстники и чиновники Эччелино, которые всѣ были похожи на Аиседизія, не пробовали даже сопротивляться взрыву народной ненависти ко всему, что напоминало собой господство побѣжденнаго тирана. Изъ этихъ намѣстниковъ и чиновниковъ ни одинъ не осмѣлился удерживать въ свою пользу ту власть, которая была вручена имъ синьоромъ Эччелино. Всѣ они старались только какъ-нибудь скрыться, чтобы спасти отъ возмутившагося народа свою жалкую и опозоренную жизнь. Но и это удалось немногимъ. Бѣжать было некуда, потому что вездѣ были непримиримые враги. Часъ народной мести наступилъ, и всѣмъ ревностнымъ тюремщикамъ, шпіонамъ и палачамъ пришлось расплачиваться за старые грѣхи.

Всѣ города, порабощенные синьоромъ Эччелино, возвратились къ своей прежней республиканской жизни. Виченца призвала къ себѣ подесту изъ Падуи. Такъ-же точно поступилъ городокъ Бассана, составлявшій родовую собственность фамиліи Романо. Верона предоставила должность подесты одному изъ своихъ дворянъ—Мартино делла-Сколла. Республиканскія формы были возстановлены, но республиканскія понятія и привычки не могли воротиться по первому востребованію. Господство Эччелино надъ Вероною продолжалось тридцать четыре года, надъ Виченцою—двадцать три года и надъ Падуей—девятнадцать лѣтъ; въ это время преемственность республиканскихъ преданій была насильственнымъ образомъ прервана; самые горячіе, самые смѣлые и самые честные республиканцы были казнены или заморены въ тюрьмахъ; вліяніе постояннаго страха изуродовало характеръ того поколѣнія, которое выросло и возмужало во время тиранніи. Это поколѣніе, запуганное казнями и совершенно неопытное въ политическомъ отношеніи, рѣшительно должно было оказаться неспособнымъ къ тому постоянному, внимательному и разумному контролю, безъ котораго всякое республиканское правительство очень скоро становится хуже деспотическаго.

Паденіе Эччелино скоро повлекло за собой гибель его брата, Альберика. Принужденный бѣжать изъ Тревизы, Альберикъ укрылся со всѣмъ своимъ многочисленнымъ семействомъ въ горной крѣпости Санъ-Зено. Въ 1260 году войска гвельфской лиги, подъ начальствомъ маркиза д'Эсте, осадили эту крѣпость и скоро довели Альберика до безусловной сдачи. Пощады не было. Альберикъ, его жена, шестеро сыновей и двѣ дочери были казнены. Ихъ трупы были разрѣзаны на части, и эти части разосланы въ тѣ города, надъ которыми господствовалъ домъ ди-Романо.

Эччелино погибъ, но его гибель дѣлаетъ очень мало чести республиканцамъ веронской мархіи. Онъ погибъ не отъ возмущенія тѣхъ людей, которыхъ онъ тиранилъ, а отъ ссоры со своими товарищами по грабежу. Еслибы онъ не забылъ того золотого правила, что воронъ не долженъ выклевывать глазъ ворону, еслибы онъ съумѣлъ во-время подѣлиться съ добрыми товарищами, то благоденствіе его осталось-бы нарушеннымъ до конца его жизни. Во времена Фридриха Барбароссы веронская мархія вела себя иначе. Съ того времени до возвышенія Эччелино прошло шестьдесятъ лѣтъ, и въ эти шестьдесятъ лѣтъ мелкая и утомительная борьба партій и сословій успѣла убить, или по крайней мѣрѣ значительно ослабить въ гражданахъ прежнюю страстную и безкорыстно-чистую любовь къ отечеству и къ свободѣ.

XXIV.

Порабощеніе ломбардскихъ республикъ.

Ломбардія была многолюдна и богата, не смотря на то, что крупныя и мелкія войны тревожили ее почти постоянно. Населеніе Ломбардіи увеличивалось быстро; земледѣліе и мануфактурная промышленность развивались самымъ роскошнымъ образомъ; всѣ продукты, сырые и обработанные, всегда находили себѣ выгодный сбытъ въ Венецію и въ Геную, которыя въ то время держали въ своихъ рукахъ всемірную торговлю. Гражданамъ ломбардскихъ городовъ становилось тѣсно въ тѣхъ стѣнахъ, въ которыхъ жили ихъ отцы; они часто принуждены были ломать и перестроивать стѣны, чтобы вносить въ городскую черту новые участки земли; городскія хроники XIII вѣка наполнены извѣстіями о такихъ расширеніяхъ, которыя ясно указываютъ на процвѣтаніе городовъ и на быстрое возрастаніе народонаселенія. Тѣ же хроники говорятъ очень часто о сооруженіи роскошныхъ публичныхъ зданій и объ укрѣпленіи замковъ, принадлежавшихъ республикамъ.

Уже въ первой половинѣ XIII вѣка въ Ломбардіи набралось такъ много капиталовъ, что они полились за границу. Въ 1226 году жители города Асти начали заниматься банкирскими дѣлами во Франціи и въ другихъ европейскихъ земляхъ, далеко отставшихъ отъ Ломбардіи на пути промышленнаго и торговаго развитія. Тридцать лѣтъ спустя, съ этими банкирами или ростовщиками случилось несчастіе,

которое дастъ намъ очень высокое понятіе о ихъ богатствѣ. 1-го сентября 1256 года французскій король приказалъ арестовать всѣхъ астійскихъ банкировъ, находившихся въ его владѣніяхъ, и конфисковалъ все ихъ имущество. Потери ихъ дошли въ этомъ случаѣ до восьми сотъ тысячъ тогдашнихъ ливровъ. Эта сумма, по мнѣнію Сисмонди, равняется двадцати семи съ половиной милліонамъ франковъ, что составляетъ, на наши деньги, около семи милліоновъ рублей. При этомъ надо взять въ разсчетъ во-первыхъ то, что не всѣ-же астійскіе капиталисты собрались во Францію, а во-вторыхъ то, что Асти никогда не былъ первостепеннымъ городомъ и не могъ равняться, ни по своему богатству, ни по своему политическому могуществу, ни съ Миланомъ, ни съ Павіей, ни съ Кремоной, ни съ Брешіей, ни съ Падуей, ни съ Вероной, ни съ Болоньей. Если-же этотъ незначительный городъ могъ потерять почти семь милліоновъ рублей, то можно себѣ вообразить, какими громадными суммами ворочали первоклассные города Ломбардіи.—Начиная съ XIII вѣка, слово *ломбардъ* сдѣлалось во Франціи нарицательнымъ именемъ и стало обозначать собою всякаго банкира и ростовщика. Читатели конечно знаютъ, что это слово зашло и въ нашъ языкъ, съ тою только разницей, что у насъ оно прилагается не къ банкиру, а къ банку.

При всемъ своемъ богатствѣ, ломбарды въ XIII вѣкѣ вели самую простую жизнь, не позволяя себѣ никакой роскоши ни въ столѣ, ни въ одеждѣ, ни въ убранствѣ комнатъ. «Женщины, говоритъ Сисмонди, носили простыя полотняныя платья; кусокъ бѣлой холстины покрывалъ ихъ голову и обвязывался вокругъ шеи; золото и серебро не блистали на ихъ одеждѣ; столъ ихъ не украшался роскошными кушаньями; обѣдъ цѣлаго семейства состоялъ изъ одного блюда; одинъ факелъ изъ смолистаго дерева освѣщалъ внутренность домовъ, и вся пышность вѣка заключалась въ оружіи и въ лошадяхъ, въ башняхъ и въ крѣпостяхъ».—Земледѣльцы, фабриканты, торговцы тратили постоянно свои доходы на увеличеніе своихъ промышленныхъ операцій и оборотовъ. Они нанимали себѣ новыхъ работниковъ и такимъ образомъ увеличивали каждый годъ число тѣхъ людей, которые находились отъ нихъ въ зависимости. Путемъ своихъ успѣшныхъ оборотовъ богатый хозяинъ, окружая себя сотнями своихъ подчиненныхъ, возвышался до политическаго могущества, становился въ своей республикѣ важнымъ и вліятельнымъ лицомъ и дорожилъ своимъ вліяніемъ гораздо больше, чѣмъ грубыми чувственными наслажденіями, которыя онъ могъ-бы купить себѣ на свои деньги.

Но, становясь политической силой, золото вездѣ встрѣчало себѣ до сихъ поръ упрямаго и дерзкаго соперника въ булатѣ, который, какъ извѣстно, на слова золота: *все куплю!* отвѣчаетъ съ своей стороны: *все возьму!* Люди булата, то есть феодальные дворяне, никакъ не могли ужиться и полюбовно размежеваться съ людьми золота, то-есть съ разбогатѣвшими ремесленниками, промышленниками и купцами. Въ глазахъ дворянина милліонеръ былъ все-таки холопомъ, вырвавшимся на волю какимъ-то незаконнымъ образомъ и пробравшимся въ люди посредствомъ грязныхъ мошенническихъ продѣлокъ. Дворянинъ смотрѣлъ на милліонера съ тѣмъ комическимъ презрѣніемъ, съ которымъ храбрый разбойникъ относится къ благоразумному мазурику. Что-же касается до народной массы, отъ которой зависѣло рѣшеніе распри между булатомъ и золотомъ, то она въ XIII вѣкѣ глубоко вѣрила, что милліоны пріобрѣтаются трудомъ и составляютъ награду за воздержаніе. Поэтому масса поддерживала милліонеровъ, какъ плоть отъ плоти своей и кость отъ костей своихъ. На сторонѣ дворянъ стояли только ихъ вассалы, но эта сторона, слабая числомъ, была очень сильна своей военной выправкой и тѣсной солидарностью, существовавшей между всѣми членами каждаго отдѣльнаго дворянскаго рода.

При своей сравнительной малочисленности, дворяне такъ крѣпко держались другъ за друга и умѣли дѣйствовать съ такимъ искуснымъ единодушіемъ, что имъ во всѣхъ ломбардскихъ городахъ удавалось по нѣскольку разъ сосредоточивать въ своихъ рукахъ всѣ общественныя должности, совершенно оттирая отъ нихъ богатыхъ и вліятельныхъ плебеевъ. Въ этихъ случаяхъ пахальство дворянъ скоро становилось невыносимымъ; отстраненные милліонеры разжигали всѣми силами народное неудовольствіе; вспыхивало возстаніе; начиналась уличная война; дворяне бѣжали изъ города; въ открытомъ полѣ перевѣсъ обыкновенно склонялся на ихъ сторону; послѣ нѣсколькихъ сраженій завязывались переговоры. Миръ заключался съ тѣмъ условіемъ, чтобы всѣ должности были раздѣлены поровну между дворянами и плебеями. Проходило нѣсколько лѣтъ, и должности снова сосредоточивались въ дворянскихъ рукахъ, послѣ чего вся исторія начиналась сызнова. Такъ шли дѣла и въ Брешіи, и въ Кремонѣ, и въ Миланѣ, и въ Піаченцѣ, и въ другихъ ломбардскихъ республикахъ.

Наученные горькими опытами, плебеи начали наконецъ понимать, что въ борьбѣ съ дворянами ничего нельзя сдѣлать разрозненными усиліями и безсвязными вспышками демократическихъ страстей. Они увидѣли, что для такой борьбы необходимы постоянная бдительность, хладнокровная послѣдовательность и спокойная настойчивость. Они сообразили, что

плоды одержанныхъ побѣдъ останутся въ ихъ рукахъ только въ томъ случаѣ, если они, послѣ заключенія выгоднаго мира, будутъ постоянно держаться на-готовѣ для новой борьбы, постоянно наблюдать за всѣми движеніями своихъ недавнихъ враговъ, подмѣчать и отражать своевременно каждую ихъ попытку, клонящуюся къ нарушенію заключеннаго договора. Чтобы контролировать такимъ образомъ дѣйствія дворянъ и чтобы постоянно помогать другъ другу въ случаѣ какихъ-нибудь притѣсненій, плебеи, богатые и бѣдные, стали заводить въ своемъ кругу ассоціаціи или братства, которыя должны были поддерживать и защищать всѣми силами каждаго изъ своихъ членовъ. Эти ассоціаціи сдѣлались для плебеевъ тѣмъ, чѣмъ были родовые союзы для дворянъ. Плебейскія ассоціаціи собирались въ опредѣленные сроки, обсуждали свои потребности, разсматривали жалобы своихъ членовъ и принимали мѣры для удовлетворенія обиженныхъ. Такая ассоціація составилась въ Брешіи въ самомъ началѣ XIII вѣка и приняла имя Bruzella. «Это имя, говоритъ Сисмонди, Bruzella или Brighella сохранилось до нашего времени: это одна изъ масокъ итальянскаго театра, брешіанскій плебей, дерзкій, храбрый и проворливый». Около этого же времени плебейскія братства размножились въ Миланѣ. Замѣтивъ свою многочисленность, они вступили въ сношенія между собой, стали дѣйствовать общими силами и наконецъ слились въ два огромныя общества, Mota и Credenza, которыя втянули въ себя почти всю массу миланскаго населенія. Общество Mota было составлено изъ купцовъ и зажиточныхъ гражданъ; въ обществѣ Credenza господствовали ремесленники, поденщики и бѣдняки. Оба плебейскія общества старались дѣйствовать въ согласіи между собой, но это не всегда имъ удавалось. Какъ и слѣдовало ожидать, Mota отличалась осторожностью и дальновидностью, а Credenza—страстностью и рѣшительностью.

Въ 1240 году, во время войны ломбардской лиги съ Фридрихомъ II, произошло въ Миланѣ сильное столкновеніе между дворянами и народомъ. Во-первыхъ, дворяне, по обыкновенію, захватили всѣ важнѣйшія должности въ государствѣ и въ церкви. Во-вторыхъ, они уклонялись отъ платежа налоговъ, которые, по случаю войны, были очень значительны. Чтобы не платить ничего, дворяне уѣзжали въ свои замки, куда конечно сборщикамъ податей неудобно было заглядывать. Въ-третьихъ, дворяне настоятельно требовали, чтобы ихъ судили за убійство по старымъ ломбардскимъ законамъ, въ силу которыхъ убійца могъ откупиться отъ всякаго наказанія небольшимъ денежнымъ штрафомъ, составлявшимъ на наши деньги меньше тридцати рублей серебромъ. Еслибы дворянамъ удалось возстановить эти старые законы, то они могли-бы покупать по дешевой цѣнѣ жизнь каждаго плебея, который имѣлъ-бы несчастіе обратить на себя ихъ недоброжелательное вниманіе. Эти старые законы были выгодны только для однихъ дворянъ—даже въ томъ случаѣ, еслибы они были распространены на всѣхъ гражданъ миланской республики. Человѣкъ, убившій дворянина, ни въ какомъ случаѣ не могъ откупиться денежнымъ штрафомъ, хотябы законъ предоставлялъ ему на это полное право. Каждый членъ того рода, къ которому принадлежалъ убитый, считалъ кровавую месть самой священной изъ своихъ нравственныхъ обязанностей и не находилъ возможнымъ отказаться отъ этой обязанности за какія-бы то ни было деньги. Противъ этого предразсудка законъ былъ такъ-же безсиленъ, какъ онъ въ наше время безсиленъ противъ дуэли. Но этотъ предразсудокъ господствовалъ только въ дворянскомъ сословіи, для котораго частныя войны составляли любимое и привычное дѣло. Плебеи, занятые производительнымъ трудомъ или мирными коммерческими оборотами, почти всегда предоставляли закону и суду право и обязанность мстить за своихъ родственниковъ. Поэтому, еслибы мщеніе по закону ограничилось взысканіемъ тридцати рублей съ убійцы, то жизнь плебея очутилась-бы въ рукахъ каждаго богатаго буяна, имѣющаго возможность напустить на него шайку своихъ лакеевъ и потомъ выбросить изъ кармана штрафную сумму.

Mota и Credenza соединились противъ дворянъ, заставили ихъ отказаться отъ старыхъ ломбардскихъ законовъ, произвели новый дѣлежъ должностей, вытребовали отъ нихъ тѣ налоги, которыхъ они не хотѣли платить, и наконецъ провозгласили защитникомъ миланскаго народа синьора Пагано делла-Торре, того самаго, который спасъ остатки миланской арміи, разбитой при Корте-Нуова. Новое званіе защитника, созданное двумя частными обществами, которыя не имѣли въ республикѣ никакого оффиціально признаннаго положенія, тотчасъ стало рядомъ съ самыми важными общественными должностями. Весь миланскій народъ призналъ дѣйствительно синьора Пагано своимъ вождемъ, защитникомъ, покровителемъ и благодѣтелемъ; въ достоинствахъ этого джентльмена никому не позволялось сомнѣваться; повѣріе къ синьору Пагано считалось тяжелымъ оскорбленіемъ народной чести; искренность и глубина демократическаго воодушевленія измѣрялись силою той привязанности, которую демократъ обнаруживалъ къ особѣ возлюбленнаго трибуна. Бросившись такимъ образомъ на колѣни передъ своимъ выборнымъ начальникомъ, плебеи не могли подумать о томъ, чтобы ограничивать его власть и принимать противъ него какія-нибудь предосторожности. Къ чему онѣ,

эти бездушныя и оскорбительныя предосторожности? Развѣ Пагано делла-Торре можетъ обмануть народное довѣріе? Развѣ онъ можетъ употребить во зло свое могущество? Чѣмъ неограниченнѣе будетъ его власть, тѣмъ успѣшнѣе онъ будетъ защищать интересы народа. Усиливая своего вождя, народъ увеличиваетъ свое собственное благосостояніе. Такъ разсуждали миланцы, или по крайней мѣрѣ по такой программѣ складывались ихъ поступки. Эти разсужденія и эта программа не должны приводить въ изумленіе читателя, сколько-нибудь знакомаго съ политическими доктринами славянофиловъ. Что возможно въ XIX вѣкѣ, того нельзя вмѣнять въ преступленіе людямъ XIII столѣтія; этимъ людямъ приходилось выдерживать отчаянную борьбу, и слѣдовательно имъ было очень неудобно слѣдить постоянно, съ одинаково напряженнымъ вниманіемъ, и за движеніями непріятеля, и за поступками собственнаго главнокомандующаго. Къ этому надо еще прибавить, что этотъ главнокомандующій былъ дѣйствительно человѣкъ честный и одаренный многими хорошими качествами. Можно-ли при такихъ условіяхъ удивляться тому, что миланцы предоставили ему такую неопредѣленно-обширную власть, которой мудрено было ужиться съ республиканскими учрежденіями.

Пагано не позволилъ себѣ ни одного произвольнаго, несправедливаго или насильственнаго поступка, и вообще не сдѣлалъ съ своей стороны ничего для уничтоженія республиканскаго порядка. Но эта добросовѣстная умѣренность была опаснѣе самаго дикаго самовластія. Еслибы защитникъ народа вздумалъ дѣйствовать, какъ суровый деспотъ, то въ настроеніи миланскаго плебейства произошелъ-бы очень скоро такой переворотъ, который положилъ-бы конецъ неограниченному господству выборнаго начальника. Но, видя со стороны своего вождя постоянную благоразумную сдержанность, народъ привыкалъ къ повиновенію и убѣждался понемногу въ томъ, что, вручивъ свою судьбу выборному начальнику и сваливъ на его плечи всѣ политическія заботы, онъ, народъ, поступилъ очень умно и похвально. Утвердившись въ такомъ образѣ мыслей, народъ конечно становится уже неспособнымъ къ республиканскому существованію. Онъ теряетъ любовь къ свободѣ, а когда эта любовь потеряна, тогда народъ мирится очень легко и съ такими злоупотребленіями власти, которыя въ былое время подняли-бы противъ себя разрушительную бурю народнаго гнѣва. Добрые деспоты прокладываютъ такимъ образомъ дорогу злымъ деспотамъ, которые своими административными трудами истребляютъ окончательно всѣ проявленія народнаго самосознанія и самоуваженія.

Во времена синьора Пагано миланцы были еще неспособны переносить кротко и терпѣливо всякія оскорбленія и притѣсненія. Администраторамъ надо было пользоваться очень осторожно тою властью, которую предоставлялъ имъ народъ. Если даже народъ вручалъ какому-нибудь лицу неограниченное могущество, то и тогда было очень опасно вѣрить этому народу на-слово. Когда народу становилось тяжело, онъ поднимался во всемъ величіи своего гнѣва и не обращалъ никакого вниманія на полномочіе, данное имъ-же самимъ въ минуту радостнаго восторга или неосторожной довѣрчивости. Силу своего гнѣва миланскій народъ обнаружилъ въ 1250 году надъ однимъ изъ своихъ правителей, Бено Гоццадини. Миланскіе финансы были совершенно истощены продолжительной войной ломбардской лиги съ Фридрихомъ II. Государственный долгъ миланской республики былъ такъ великъ, что правительство рѣшило отсрочить на восемь лѣтъ всѣ платежи по своимъ долговымъ обязательствамъ. Такъ какъ кредиторами республики были миланскіе капиталисты, то правительство, прекращая свои платежи, предоставило и всѣмъ частнымъ должникамъ ту самую отсрочку, которую оно взяло для себя. То-есть правительство объявило своимъ кредиторамъ, что, покуда оно имъ не заплатитъ, до тѣхъ поръ и они, кредиторы, могутъ не платить своимъ заимодавцамъ, которые въ свою очередь освобождаются отъ обязанности платить по своимъ векселямъ. Понятно, что такая мѣра произвела коммерческій кризисъ, изъ котораго миланскимъ гражданамъ желательно было выпутаться какъ можно скорѣе. Чтобы выпутаться, надо было наполнить деньгами государственную казну. Миланцы пригласили изъ Болоньи финансиста Бено Гоццадини и уполномочили его придумывать и установлять въ Миланѣ всевозможные налоги, и прямые и косвенные, и съ капиталовъ, и съ доходовъ, и съ промысловъ, и съ предметовъ потребленія, и съ чего угодно. Бено Гоццадини, подобно всѣмъ первобытнымъ финансистамъ, болѣе смѣлымъ, чѣмъ опытнымъ, сразу навалилъ по всей вѣроятности огромные налоги на предметы первой необходимости—на хлѣбъ, на мясо, на соль, на овощи.

Разумѣется, эти налоги привлекли въ казну значительныя суммы денегъ, потому что отъ платежа такихъ налоговъ не могъ уклониться ни одинъ нищій. Но, разумѣется также, эти налоги возбудили величайшее неудовольствіе въ самомъ бѣдномъ и самомъ многочисленномъ классѣ миланскаго населенія. Однако цѣлые четыре года народъ платилъ и терпѣлъ. На пятый годъ партія богачей, для которой налоги были гораздо менѣе тягостны, чѣмъ пріостановка платежей по государственнымъ заемнымъ обязательствамъ, настояла на томъ, чтобы великій финансистъ Гоццадини получилъ должность миланскаго подесты. Богачи надѣялись, что въ качествѣ подесты Гоццадини будетъ внушать

народу больше уваженія и еще успѣшнѣе прежняго держать его на пищѣ св. Антонія во имя высшихъ интересовъ государственнаго казначейства и миланской торговли. Капиталисты ошиблись въ своихъ разсчетахъ. Бѣднымъ людямъ надоѣлъ такой порядокъ вещей, при которомъ каждый изъ нихъ работалъ за четверыхъ, а ѣлъ за половину человѣка.

Вспыхнуло всеобщее возстаніе, и Гоццадини погибъ подъ ударами мятежниковъ, не смотря на свое высокое званіе. Впрочемъ народъ поступилъ здѣсь со своей обыкновенной запальчивостью и недальновидностью. Выливши всю свою ярость на одну, почти невинную, личность, работавшую по чужому заказу, народъ успокоился и почислилъ свое дѣло благополучно оконченнымъ, а между тѣмъ капиталисты, оправившись отъ своего испуга, потихоньку возстановили, подъ разными уважительными предлогами, почти всю финансовую систему убитаго Гоццадини.

Съ синьоромъ Пагано не случилось ничего похожаго на ту катастрофу, которая постигла слишкомъ усерднаго изобрѣтателя налоговъ. Пагано делла-Торре удержалъ свою должность до конца жизни, умеръ естественной смертью и оставилъ послѣ себя такую добрую память, которая пошла впрокъ его младшимъ родственникамъ. Имя синьора делла-Торре было такъ дорого миланцамъ, что ихъ лѣтописцы, наперерывъ другъ передъ другомъ, стали придумывать для народнаго любимца такую генеалогію, которая своей древностью соотвѣтствовала-бы блеску его прекрасныхъ качествъ. Многіе доводятъ списокъ предковъ синьора Пагано до временъ Амвросія Медіоланскаго; хроникеръ Каріо выводитъ фамилію делла-Торре отъ Франко, побочнаго сына Гектора, того самаго Гектора, который защищалъ Трою и былъ женатъ на Андромахѣ. Наконецъ одинъ монахъ перещеголялъ всѣхъ остальныхъ генеалогистовъ и прослѣдилъ линію знаменитыхъ предковъ Пагано вплоть до самаго Адама, дальше котораго уже невозможно было идти писателю, желающему оставаться добрымъ католикомъ.

Послѣ смерти Пагано народнымъ любимцемъ и признаннымъ предводителемъ демократической партіи сдѣлался его племянникъ, Мартино делла-Торре. Во время господства этого Мартино во главѣ миланской республики появляется, впродолженіи трехъ лѣтъ (1253—1256), маркизъ Ланчіа Монферратскій, съ титуломъ генералъ-капитана и съ правомъ назначать каждый годъ мѣстнаго подесту. Чтобы понять, съ какой стати миланцы, всегда дорожившіе своей независимостью и принадлежавшіе къ гвельфской партіи, добровольно подчинились на три года чужеземному магнату и ревностному гибеллину, надо бросить взглядъ на тогдашнее положеніе военнаго дѣла.

Во время Фридриха Барбароссы главную силу армій составляла пѣхота. Дворяне сражались обыкновенно верхомъ, но во-первыхъ ихъ всегда было не очень много, сравнительно съ общей массой войска, а во-вторыхъ они были вооружены такъ, что пѣхота могла сопротивляться ихъ натиску и даже побѣждать ихъ. Тогдашніе кавалеристы еще не были закованы въ желѣзо съ ногъ до головы и не были вооружены тѣмъ длиннымъ и толстымъ копьемъ, которое впослѣдствіи наводило ужасъ на пѣхотинцевъ. Граждане итальянскихъ республикъ своими широкими и обоюдоострыми мечами рубили съ величайшимъ успѣхомъ и пѣхоту, и конницу Фридриха Барбароссы. Чтобы владѣть мечомъ, не надо было посвящать всю свою жизнь изученію военнаго дѣла. Каждый купецъ или ремесленникъ, если онъ былъ силенъ и неустрашимъ, оказывался отличнымъ воиномъ, способнымъ сражаться съ какими угодно закаленными ветеранами. Такіе купцы и ремесленники защищали Ломбардію впродолженіи двадцати двухъ лѣтъ, одержали знаменитую побѣду при Линьяно и вынудили у императора константскій миръ.

Но уже въ арміяхъ Фридриха Барбароссы находился зародышъ будущаго желѣзнаго рыцарства, передъ которымъ пѣхота должна была оказаться безсильной. Такъ называемые «жандармы» были покрыты желѣзомъ; стрѣлы арбалетчиковъ не могли ихъ поранить; наступательнымъ оружіемъ жандарма было длинное копье, которымъ онъ могъ колоть пѣхотинцевъ, не подвергая себя ударамъ ихъ мечей; даже и лошадь жандарма была защищена отъ непріятельскихъ стрѣлъ желѣзной кольчугой, покрывавшей ея грудь и бока. Жандармы дѣйствовали обыкновенно очень успѣшно вездѣ, гдѣ они появлялись; но ихъ было немного; нуженъ былъ особенный навыкъ для того, чтобы драться въ тяжеломъ желѣзномъ вооруженіи, нужна была также особенно сильная порода лошадей для того, чтобы выдерживать на спинѣ тяжесть желѣзнаго всадника и во весь духъ скакать съ этой тяжестью на полѣ сраженія. Кромѣ того жандармы были годны только для аттаки на совершенно ровной мѣстности; малѣйшій бугорокъ, или ложбина, или ручей разстроивали ихъ боевой порядокъ и дѣлали ихъ нападеніе невозможнымъ. При всемъ томъ достоинства этой тяжелой кавалеріи были такъ поразительны, что всѣ военные люди того времени занялись ея усовершенствованіемъ. Каждому дворянину хотѣлось быть непобѣдимымъ и неуязвимымъ; каждый запасался для войны крѣпкой броней; каждый старался купить, вымѣнять или воспитать себѣ сильную боевую лошадь, которая могла-бы грудью пробивать ряды непріятельской арміи; кто имѣлъ малѣйшую возможность вооружиться

по-жандармски, тотъ, разумѣется, не поступалъ добровольно ни въ легкую кавалерію, ни въ пѣхоту. Какая надобность была ему идти туда, гдѣ и лавровъ было меньше, и опасности больше?

Сосредоточивая на себѣ такимъ образомъ все вниманіе богатыхъ и знатныхъ спеціалистовъ военнаго дѣла, вооруженіе тяжелой кавалеріи постоянно улучшалось во всѣхъ своихъ частяхъ. Кираса дѣлалась толще, шлемъ — массивнѣе, щитъ — объемистѣе и надежнѣе, копье — длиннѣе и крѣпче. Наконецъ, благодаря этимъ неутомимымъ стараніямъ, вытекавшимъ изъ естественнаго чувства самосохраненія, голова, грудь, руки и ноги рыцарей покрылись во всѣхъ своихъ частяхъ толстыми слоями желѣза, отъ котораго отскакивали стрѣлы и по которому можно было сколько угодно стучать мечомъ, не подвергая ни малѣйшей опасности огромную улитку, забравшуюся въ эту металлическую раковину. Но надо было умѣть носить эту раковину, которая своей тяжестью подавляла непривычнаго къ ней человѣка; надо было въ этой раковинѣ выдерживать и лѣтній жаръ, и осеннюю сырость, и зимній холодъ; надо было, чтобы руки, закованныя въ желѣзные рукава и перчатки, махали полупудовымъ копьемъ, какъ наши руки машутъ гутаперчевыми хлыстиками или жиденькими стальными рапирами. Словомъ, подъ-стать къ желѣзному вооруженію необходимы были почти такіе-же желѣзные люди и лошади. Спеціалисты военнаго дѣла, феодальные дворяне, только объ этомъ и заботились впродолженіи цѣлыхъ столѣтій. Въ мирное время они постоянно развивали въ себѣ тѣлесную силу и ловкость то охотою, то турнирами, то разными играми, то гимнастическими упражненіями. Они пріучали все свое тѣло къ тяжелому вооруженію такъ точно, какъ китайская женщина пріучаетъ свои ноги къ крошечнымъ башмачкамъ. Они съ колыбели воспитывали своихъ сыновей такъ, чтобы эти сыновья въ свое время сдѣлались молодцами, способными вскакивать на лошадь въ полномъ вооруженіи, прямо съ полу, не касаясь ногой до стремени. Тѣмъ ребятамъ, которые были слабы и болѣзненны отъ природы, не было мѣста въ рядахъ желѣзнаго рыцарства; такимъ людямъ незачѣмъ было и вступать въ бракъ, ихъ направляли съ дѣтства въ монастырь, гдѣ они могли составить себѣ блестящую карьеру, не смотря на свою тщедушность.

Еще внимательнѣе и заботливѣе, чѣмъ своихъ сыновей, рыцари воспитывали своихъ породистыхъ жеребятъ, изъ которыхъ можно было сформировать великолѣпнаго боевого коня. Рыцарь берегъ и развивалъ силы своего боевого коня самымъ тщательнымъ образомъ. Для похода у него была другая лошадь (по-французски palefroi), менѣе строгаго закала; боевой конь (destrier) сохранялъ всѣ свои силы и всю свою горячность до той минуты, когда надо броситься на врага.

Въ XIII вѣкѣ тяжелая рыцарская кавалерія была уже настолько готова, что пѣхота не могла выдержать ея натиска. Когда несостоятельность пѣхоты сдѣлалась несомнѣнной, тогда въ сухопутномъ строю произошелъ переворотъ, подобный тому, который совершился на нашихъ глазахъ въ морской тактикѣ. Ничтожные отряды тяжелой кавалеріи стали разгонять и истреблять цѣлыя тысячи пѣшихъ воиновъ такъ точно, какъ въ наше время одинъ мониторъ можетъ пустить ко дну цѣлыя эскадры деревянныхъ кораблей.

Пока дворяне съ систематическимъ упорствомъ превращали себя въ желѣзныхъ людей, пока они путемъ долговременныхъ и утомительныхъ упражненій срослись наглухо съ своими непроницаемыми бронями, — народныя массы не только не совершенствовались въ военномъ отношеніи, но даже теряли понемногу и тѣ военныя достоинства, которыми онѣ обладали, находясь въ полудикомъ состояніи.

Плебеи также развивались, но только не въ томъ направленіи, въ которомъ происходило развитіе дворянъ. Плебеи превращались въ опытныхъ банкировъ, въ смышленныхъ негоціантовъ, въ искусныхъ ремесленниковъ, въ любознательныхъ грамотѣевъ, въ трудолюбивыхъ художниковъ. Этими превращеніями значительно увеличивалась масса народнаго капитала, умственнаго и вещественнаго. Но когда дѣло доходило до драки, когда надо было пускать въ ходъ грубую физическую силу, — тогда всѣ коммерческія, ремесленныя, научныя и художественныя усовершенствованія оказывались не только безполезными, но даже и вредными. Всѣ разнообразныя занятія, которыми плебеи зарабатывали себѣ насущный хлѣбъ или увеличивали свое матеріальное благосостояніе, всѣ эти занятія или обрекали плебеевъ на сидячую жизнь, награждая ихъ за прилежаніе геморроемъ, сутуловатостью, слабостью легкихъ и атрофіей важнѣйшихъ мускуловъ, или по крайней мѣрѣ развивали ихъ физическую силу самымъ одностороннимъ образомъ, такъ что напримѣръ крѣпкія руки соединялись съ тощими и слабыми ногами, или наоборотъ. Многоли силы можетъ развить въ себѣ купецъ за своимъ прилавкомъ, банкиръ въ своей конторѣ, сапожникъ, портной или ткачъ въ своей мастерской? Вообразите-же себѣ теперь, что на цѣлую армію, составленную изъ кроткихъ и жидкихъ лавочниковъ, портныхъ, сапожниковъ, столяровъ, слесарей, булочниковъ, летятъ во весь опоръ двѣ, три сотни ражихъ дѣтинъ, закованныхъ въ желѣзо отъ кончика носка до кончика носа, съ саженными копьями въ ру-

хахъ и на громаднѣйшихъ лошадищахъ, которыя, какъ шальныя, лѣзутъ прямо на человѣка. Разумѣется должна произойти сцена, похожая на избіеніе младенцевъ. Еслибы лавочники и ремесленники вздумали сами облачиться въ рыцарскіе доспѣхи, взять въ руки саженныя копья и взгромоздиться на колоссальныхъ боевыхъ коней, — то произошла бы другая сцена, гораздо болѣе комическая, но одинаково непріятная для плебеевъ. Они изнемогли-бы подъ тяжестью собственной аммуниціи и погибли-бы отъ лютости собственныхъ коней, съ которыми они не съумѣли бы справиться.

Чѣмъ дальше подвигается впередъ дѣло цивилизаціи, чѣмъ живѣе и разнообразнѣе становится промышленное и умственное движеніе, тѣмъ необходимѣе и неизбѣжнѣе оказывается раздѣленіе труда, которое почти совсѣмъ не существуетъ въ первобытныхъ человѣческихъ обществахъ и которое доводится до самыхъ уродливыхъ и вредныхъ крайностей въ громадныхъ мануфактурахъ современной Европы. Съ раздѣленіемъ труда постоянно шла до сихъ поръ рука-объ-руку односторонность физическаго развитія; чѣмъ строже проводился принципъ раздѣленія труда, тѣмъ уродливѣе становились работники, и слѣдовательно чѣмъ богаче дѣлались промышленные и торговые города, тѣмъ менѣе городскіе жители оказывались способными защищать собственными силами свое богатство отъ предпріимчивыхъ рыцарей, превратившихъ себя въ непобѣдимыхъ атлетовъ.

Но по мѣрѣ того, какъ развивается цивилизація, постоянно увеличивается число тѣхъ промышленныхъ занятій, которыя требуютъ очень мало физической силы. Слесарю нужно меньше силы, чѣмъ кузнецу; ювелиру и часовщику еще меньше, чѣмъ слесарю; столяру меньше, чѣмъ плотнику; рѣзчику и токарю еще меньше, чѣмъ столяру. Но понятно, что въ полудикомъ обществѣ только кузнецъ да плотникъ и могутъ найти себѣ работу; слесарь, ювелиръ, часовщикъ, столяръ, рѣзчикъ и токарь порождаются уже дальнѣйшимъ развитіемъ промышленнаго движенія и общественной жизни. Въ полудикомъ обществѣ, гдѣ каждое отдѣльное хозяйство готовитъ себѣ собственными средствами и одежду, и обувь, и посуду, и мебель,— почти вся обработка сырого матеріала составляетъ обязанность женщинъ. Ткачей, портныхъ и сапожниковъ нѣтъ. Мужчины занимаются почти исключительно добываніемъ сырого матеріала.

Мужи пашутъ, жены рубы строятъ,

какъ говоритъ старая чешская пѣсня *о судѣ Любуши*. *Рубы* значитъ рубахи, одежды. Понятно, что такіе мужи, которые только пашутъ, да косятъ, да рубятъ лѣсъ, да тешутъ бревна, да куютъ желѣзо, гораздо болѣе годны для исключительно-рукопашнаго боя, чѣмъ слесаря, ювелиры, сапожники, часовщики, портные, переплетчики и другіе трудолюбивые домосѣды, воспитанные усилившимся промышленнымъ движеніемъ. Значитъ можно сказать положительно, что развитіе промышленности обезоружило народныя массы.

Конечно цивилизація несетъ въ себѣ самой лекарство для тѣхъ временныхъ болѣзней, которыя она порождаетъ своимъ развитіемъ. То самое движеніе, подъ вліяніемъ котораго дюжіе и воинственные варвары переродились въ тощихъ и кроткихъ ремесленниковъ, выработало для Европы и порохъ, и книгопечатаніе, и всѣ чудеса новѣйшей промышленной техники, и всѣ тонкости новѣйшаго военнаго искусства, и вообще все то, что осуждаетъ всякую аристократію на неминуемое паденіе. Но покуда всѣ эти прекрасные плоды цивилизаціи наливались и созрѣвали, масса все-таки оставалась безъ оружія, и желѣзная рыцарская аристократія громко и настойчиво выражала свое презрѣніе ко всѣмъ своимъ торгующимъ и работающимъ современникамъ.

И надо признаться, что претензіи рыцарей имѣли свое достаточное основаніе. Они были непобѣдимы. Они держали въ своихъ рукахъ судьбу всей Европы. Возможно-ли имъ было не презирать тѣхъ людей, которые не въ состояніи были имъ сопротивляться? Еслибы плебеи вздумали сказать дворянамъ: мы такіе-же люди, какъ и вы, то дворяне могли отвѣчать имъ съ саркастической улыбкой: докажите это на дѣлѣ! — Можно было чѣмъ угодно поручиться за то, что въ XIII вѣкѣ этотъ основной тезисъ демократической теоріи остался-бы недоказаннымъ.

Въ половинѣ XIII вѣка всѣ — и дворяне, и плебеи — были одинаково твердо убѣждены во-первыхъ въ томъ, что никакая пѣхота не можетъ устоять противъ тяжелой кавалеріи, и во-вторыхъ въ томъ, что только одни дворяне способны пріучить себя къ непомѣрной тяжести полныхъ рыцарскихъ доспѣховъ.

Первое изъ этихъ убѣжденій поколебалось въ XIV вѣкѣ подъ вліяніемъ блестящихъ побѣдъ, одержанныхъ швейцарской пѣхотой надъ австрійскимъ и бургундскимъ рыцарствомъ.

Второе рухнуло также въ XIV вѣкѣ, когда многіе плебеи, привлеченные громадными выгодами военнаго ремесла, стали съ малыхъ лѣтъ приготовлять себя къ кавалерійской службѣ и выучились съ полнымъ успѣхомъ носить тяжелое вооруженіе.

Но эти два опроверженія были еще впереди. Прежде чѣмъ они состоялись, публика думала, что только дворяне могутъ побѣждать дворянъ въ открытомъ полѣ. Въ то время, когда гос-

подствовало это убѣжденіе, выведенное изъ длиннаго ряда дѣйствительныхъ фактовъ, многіе ломбардскіе города находились, подобно Милану, въ хронической враждѣ съ своими дворянами. Внутри города дворяне всегда терпѣли пораженія; какъ только начиналась тревога, улицы перегораживались рогатками, перерѣзывались баррикадами и становились непроходимыми для кавалеріи; въ то-же время изъ оконъ и съ крышъ сыпались на рыцарей камни, и рыцарямъ приходилось убѣгать изъ города со всевозможной поспѣшностью. Загородная война, разумѣется, оказывалась губительной для плебейства. Рыцари опустошали окрестности, морили горожанъ голодомъ и наносили имъ жестокія пораженія всякій разъ, какъ только горожане высовывали носъ за черту городской стѣны. Кромѣ того республика, лишенная своей тяжелой кавалеріи, была безоружна въ отношеніи ко всѣмъ своимъ сосѣдямъ. Чтобы защитить республику отъ постороннихъ враговъ и отъ ея собственныхъ дворянъ, оставалось только одно средство. Надо было нанять чужихъ дворянъ. Этотъ наемъ былъ очень возможенъ, потому что, при неугомонной борьбѣ партій и сословій, вся Италія была переполнена благородными изгнанниками и эмигрантами, которымъ нечего было ѣсть и которые превосходно знали всѣ тайны рыцарскаго искусства. Эти дворяне очень рады были получать за свою службу хорошія деньги отъ кого-бы то ни было, но такъ какъ дворянинъ, даже голодный, никакъ не можетъ забыть и уронить свое дворянское достоинство, то эти дворяне, отдавая себя въ наемъ, соглашались служить только подъ начальствомъ какого-нибудь магната, которому имъ не стыдно было-бы повиноваться. Тутъ являлось что-то похожее на наше мѣстничество, и республиканцы были принуждены нанимать какого-нибудь маркиза или графа, который, въ качествѣ подрядчика, обязывался поставить имъ за извѣстную цѣну опредѣленное количество вооруженныхъ рыцарей. Но если простые дворяне важничали и ломались надъ тѣми людьми, которые платили имъ жалованье, то, разумѣется, маркизъ или графъ ломался и важничалъ въ-десятеро больше. Ему мало было однѣхъ денегъ: ему нужны были громкіе титулы, ему нуженъ былъ почетъ, ему нужна была политическая власть. Теперь читатели понимаютъ вѣроятно, почему маркизъ Ланчіа Монферратскій сдѣлался генералъ-капитаномъ Милана, и почему миланцы на три года предоставили ему право назначать городского подесту. Ланчіа подрядился содержать въ Миланѣ тысячу человѣкъ тяжелой кавалеріи, и контрактъ былъ заключенъ на три года.

Въ то время, когда миланцы пригласили къ себѣ маркиза Ланчіа, въ Миланѣ не было открытой войны между дворянами и плебеями. Но такъ какъ обѣ партіи постоянно дулись и злились другъ на друга, то, не довѣряя своимъ доморощеннымъ кавалеристамъ, плебеи, по совѣту своего вождя, Мартино-делла-Торре, припасли себѣ на всякій случай тысячу чужихъ рыцарей, въ видѣ увѣсистаго камешка, положеннаго за пазуху. Генералъ-капитанство маркиза Ланчіа нисколько не помѣшало синьору Мартино оставаться по-прежнему коноводомъ плебейства и главной двигательной пружиной миланской политики, тѣмъ болѣе, что Ланчіа даже совсѣмъ не пріѣзжалъ въ Миланъ, а только числился начальникомъ наемнаго отряда и каждый годъ присылалъ въ городъ подесту.

Около этого времени титулъ подесты пересталъ составлять исключительную принадлежность верховнаго судьи и правителя республики. Съ одной стороны дворяне, съ другой Mota и Credenza присвоили это названіе своимъ предводителямъ. Въ этомъ случаѣ слово служило вѣрнымъ выраженіемъ существующаго факта. Въ городѣ было дѣйствительно два лагеря и два полководца, и между ними балансировало кое-какъ оффиціальное правительство. Одинъ изъ этихъ полководцевъ назывался подестою дворянъ, другой—подестою народа, а третій, настоящій подеста — подестою республики, но что-же оставалось въ республикѣ за вычетомъ дворянства и народа? —Ничего или почти ничего. «Настоящій подеста — говоритъ Сисмонди — былъ иностранцемъ; онъ оставался на мѣстѣ не болѣе года, и законы, предоставляя ему обширныя прерогативы, обозначали однакоже ихъ границы. Напротивъ того, подеста дворянъ, Паоло-Сорезина, и подеста народа, Мартино делла-Торре, были облечены неограниченной и постоянной властью, потому что предѣлы этой власти не были обозначены, и потому что ей не было положено опредѣленнаго срока.» При такой отлично-выработанной организаціи партій, подеста республики, чтобы держаться на мѣстѣ, долженъ былъ непремѣнно опираться на ту или другую сторону, или, вѣрнѣе, превращать себя въ покорнѣйшаго слугу тѣхъ или другихъ сословныхъ страстей.

За подестою дворянъ, Паоло де Сорезина, стоялъ настоящій коноводъ дворянской партіи, миланскій архіепископъ,— тотъ самый доминиканецъ, Левъ изъ Перего, который самъ призналъ себя достойнымъ занимать миланскую святительскую каѳедру. Все дѣлалось въ дворянскомъ лагерѣ по совѣту и по внушенію умнаго и смѣлаго архіепископа, а Сорезина былъ только подставнымъ лицомъ, выдвинутымъ впередъ потому, что прелату неудобно и совѣстно было стоять открыто во главѣ вооруженной партіи, которая ежеминутно грозила вовлечь республику въ кровавыя междоусобія.

Война разразилась въ 1257 году, вскорѣ послѣ того, какъ окончился срокъ контракта,

заключеннаго съ маркизомъ Ланчіа. Одинъ дворянинъ убилъ своего кредитора, пришедшаго къ нему за деньгами; народу не понравился такой способъ уплачивать долги; обѣ партіи взялись за оружіе, и дворянамъ вмѣстѣ съ архіепископомъ пришлось удалиться за-городъ. Народъ, подъ предводительствомъ делла-Торре, вышелъ изъ города съ своимъ каррочіо, чтобы докончать дворянъ, которые однакоже по обыкновенію за-городомъ стали дѣйствовать очень успѣшно. Дворянамъ помогали комаски. При ихъ содѣйствіи дворяне отняли у республики нѣсколько укрѣпленныхъ замковъ и разбили плебеевъ въ нѣсколькихъ мелкихъ стычкахъ. Готовилось генеральное сраженіе, но тутъ явились въ оба лагеря посланники гвельфской лиги, которая въ это самое время старалась извести Эччелино III и разсчитывала на содѣйствіе Милана. Посланникамъ удалось помирить враговъ, и дворяне воротились въ городъ, обязываясь по обыкновенію вести себя добропорядочно. Въ началѣ слѣдующаго года обнаружились въ мирномъ договорѣ какія-то неясности и упущенія. Каждая изъ двухъ партій назначила отъ себя по тридцать два уполномоченныхъ, и эти шестьдесятъ четыре довѣренныя особы составили новый трактатъ, въ которомъ всѣ права и всѣ взаимныя отношенія сословій были опредѣлены самымъ тщательнымъ образомъ, во всѣхъ своихъ мельчайшихъ частностяхъ и подробностяхъ. По этому трактату право убивать кредиторовъ рѣшительно не было предоставлено благородному миланскому рыцарству. Трактатъ былъ подписанъ обѣими сторонами въ соборѣ св. Амвросія, 4 апрѣля 1258 года. Что дѣлало правительство республики въ то время, когда дворяне и плебеи ссорились, договаривались и мирились, — этого рѣшительно невозможно опредѣлить. Правительство исчезало, стушевывалось, завертывалось въ свое безсиліе и предавалось всеобщему забвенію. Народъ, какъ мы видѣли, шелъ въ бой подъ предводительствомъ синьора Мартино и бралъ съ собою государственное знамя. А гдѣ былъ и что дѣлалъ настоящій подеста — этого никто не знаетъ, и объ этомъ нисколько не заботятся составители миланскихъ лѣтописей. Потомъ партіи вручаютъ законодательную власть шестидесяти четыремъ довѣреннымъ лицамъ; эти уполномоченные регулируютъ по своему благоусмотрѣнію всѣ общественныя и междусословныя отношенія, и правительство опять хранитъ самое глубокое и самое скромное молчаніе.

Такъ называемый миръ св. Амвросія продержался всего три мѣсяца. Въ концѣ іюня дворянъ опять погнали вонъ изъ города. Они отправились въ Комо и нашли тамъ такую-же яростную борьбу между народомъ и дворянствомъ. Разумѣется миланскіе дворяне стали помогать дворянамъ, а плебейское войско, пришедшее изъ Милана, соединилось съ плебеями. На улицахъ города Комо произошло сраженіе, въ которомъ дворяне были разбиты; вслѣдъ затѣмъ театръ военныхъ дѣйствій перешелъ въ окрестности Комо, и тутъ дворяне обоихъ городовъ одержали такую рѣшительную побѣду, что плебеи запросили мира и согласились на всѣ неумѣренныя требованія своихъ противниковъ.

Но побѣда дворянъ и заключенный миръ, на которомъ дворяне собирались построить гордое зданіе олигархическаго правленія, не могли имѣть никакого прочнаго значенія. Дворяне могли удерживать за собой перевѣсъ только въ открытомъ полѣ. Какъ только они, благодаря одержанной побѣдѣ, съ торжествомъ возвращались въ городъ, гдѣ ихъ тяжелая кавалерія не могла маневрировать, такъ плебеи немедленно подавляли ихъ своимъ численнымъ превосходствомъ. Такъ точно случилось и послѣ лѣтней кампаніи 1258 года, тѣмъ болѣе, что дворяне, незадолго до мира св. Амвросія, потеряли своего даровитѣйшаго руководителя, архіепископа Льва, скончавшагося въ 1257 году. Плебеямъ хотѣлось отомстить за испытанное пораженіе. Увлекаясь своимъ сословнымъ ожесточеніемъ, они готовы были опрокинуть всѣ республиканскіе порядки и ввести у себя тираннію, лишьбы только эта тираннія желѣзнымъ гнетомъ придавила къ землѣ гордыя головы безпокойнаго дворянства. Плебейская партія всѣми силами стремилась къ тому, чтобы превратить своего предводителя въ полновластнаго правителя республики. Въ 1259 году она рѣшила, что защитникъ или подеста плебеевъ будетъ называться *начальникомъ*, *старшиною* (Anziano) *и синьоромъ народа*. Оставалось рѣшить, кому будетъ ввѣрена эта новая должность. Здѣсь оба главныя плебейскія общества, Mota и Credenza, перессорились между собою. Креденца пылала неудержимымъ энтузіазмомъ къ семейству делла-Торре вообще и къ синьору Мартино въ особенности. Мота обсуживала дѣло гораздо хладнокровнѣе и находила, что быстро возрастающее могущество синьора Мартино становится опаснымъ для республиканскихъ учрежденій. Между обоими обществами произошла кровопролитная стычка, послѣ которой Мота, состоявшая изъ богатыхъ буржуа, рѣшительно отложилась отъ демократической партіи и перешла почти цѣликомъ въ дворянскій лагерь, подъ начальство Гуліельмо де-Сорезина.

Креденца, которая, подобно всѣмъ чисто демократическимъ кружкамъ, не умѣла любить и ненавидѣть разсчетливо, настояла на своемъ, вознесла своего любимца выше облака ходячаго, и своими опрометчиво-восторженными дѣйствіями подтвердила ту старую истину, что демократія почти всегда сама посягаетъ на свое блестящее, но безалаберное существованіе.

Въ это время война крестоносцевъ противъ Эччелино еще продолжалась, и папскій легатъ, Филиппъ равеннскій, старался укрощать въ Ломбардіи всѣ междоусобныя распри, чтобы соединить всѣ силы городовъ и магнатовъ противъ тирана веронской мархіи. По совѣту легата, оффиціальный подеста Милана попробовалъ напомнить враждующимъ партіямъ о своемъ существованіи и приказалъ обоимъ вождямъ удалиться изъ города. Можно подивиться тому, что оба вождя, делла-Торре и Сорезина, исполнили приказаніе подесты. Надо полагать, что они не хотѣли ссориться съ легатомъ, который могъ навлечь на нихъ гнѣвъ своего владыки. Впрочемъ Мартино удалился не на-долго. Черезъ нѣсколько дней онъ вернулся въ Миланъ; народъ прижалъ его съ восторгомъ къ своему пылающему сердцу и еще разъ торжественно провозгласилъ его своимъ Anziano и синьоромъ.

Мартино сталъ хозяйничать въ городѣ и въ области, какъ полновластный государь. Онъ подтвердилъ приговоръ изгнанія, направленный подестою противъ Сорезина, и выгналъ изъ Милана всѣхъ его приверженцевъ, то-есть всю дворянскую партію. Легатъ не сталъ гнѣваться на Мартино за его самовольное возвращеніе, вѣроятно на томъ основаніи, что побѣдителей не судятъ. Кромѣ того изгнанные дворяне не замедлили учинить такую капитальную глупость, послѣ которой легату невозможно было брать ихъ подъ свое покровительство. При жизни архіепископа Льва эта глупость конечно не была-бы сдѣлана.

Дворяне пригласили къ себѣ на помощь синьора Эччелино, отъ котораго въ это время уже отвертывались съ ужасомъ и съ негодованіемъ даже подобные ему узурпаторы и тираны. Дѣла Эччелино находились далеко не въ блестящемъ положеніи. У него уже была отнята Падуя, и противъ него была составлена такая сильная лига, съ которой ему невозможно было управиться, тѣмъ болѣе, что его господство въ Брешіи было еще совершенно не упрочено. Ухватившись за окровавленную и уже ослабѣвающую руку веронскаго тирана, миланскіе дворяне немедленно втянули его въ пропасть, и вслѣдъ за нимъ полетѣли сами туда-же. Обманутый ихъ несбыточными надеждами, Эччелино, какъ мы видѣли выше, сунулся къ Милану и попалъ въ западню. Послѣ пораженія и смерти веронскаго тирана для его союзниковъ не могло быть спасенія. Ихъ ненавидѣла, ихъ презирала и отвергала вся Италія, которая въ это время на всѣхъ своихъ большихъ дорогахъ видѣла изнемогающія вереницы слѣпыхъ, безногихъ и безносыхъ фріольскихъ калѣкъ. Когда въ Миланѣ узнали о томъ, что дворяне хотѣли отдать республику въ руки веронскаго кровопійцы, тогда отъ дворянъ отшатнулась рѣшительно вся многочисленная группа осторожныхъ и предусмотрительныхъ республиканцевъ, которые соединились-было съ ними для того, чтобы общими силами сопротивляться опасному возвышенію дома делла-Торре. Понятно, что вся выгода отъ этой реакціи досталась синьору Мартино, котораго значеніе еще гораздо болѣе увеличилось тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ, во главѣ миланскихъ дружинъ, сильно содѣйствовалъ окончательному пораженію Эччелино. Обожатели Мартино, корыстные и безкорыстные, лукавые и простодушные, прославили его спасителемъ Ломбардіи, и городъ Лоди, въ припадкѣ восторженной благодарности, положилъ къ его ногамъ званіе синьора лодійской республики. Такимъ образомъ Мартино получилъ возможность, въ случаѣ возмущенія, поддерживать свою власть въ Миланѣ силами лодійцевъ, а въ Лоди—силами миланцевъ. Впрочемъ возмущенія никакого не предвидѣлось, потому что Мартино, подобно своему дядѣ Пагано, пользовался своей властью умѣренно и разсудительно. Народъ не считалъ нужнымъ замѣтить, что онъ нажилъ себѣ государя и потерялъ ту свободу, за которую его предки дрались при Леньяно и при Корте-Нуова. Были недовольные какіе-нибудь завзятые республиканцы, но съ ними нетрудно было сладить, не поднимая шума и не возбуждая въ городѣ скандала.

Единственнымъ опаснымъ врагомъ Мартино была все-таки изгнанная дворянская партія, которая, не смотря на свои ошибки, могла поддерживать сношенія съ недовольными республиканцами и заготовлять понемногу матеріалы для новыхъ переворотовъ. Чтобы раздавить этихъ враговъ, нужна была тяжелая кавалерія. Мартино рѣшился нанять маркиза Пелавичино и заключилъ съ нимъ контрактъ на пять лѣтъ. Маркизу было предоставлено званіе миланскаго генералъ-капитана и ежегодное жалованье въ тысячу фунтовъ серебра. Пелавичино былъ такъ силенъ, что при его содѣйствіи было очень нетрудно уничтожить разстроенную партію миланскихъ дворянъ. Пелавичино уже давно господствовалъ въ Кремонѣ; послѣ смерти Эччелино Брешія и Новара признали его своимъ генералъ-капитаномъ; затѣмъ миланская республика отдала себя на пять лѣтъ въ его распоряженіе; далѣе, Піаченца, Тортона и Александрія вручили ему верховную власть; наконецъ, посредствомъ своихъ многочисленныхъ приверженцевъ, онъ управлялъ городами Павіей, Пармой, Реджіо и Моденой. Такой сильный союзникъ могъ сдѣлаться для Мартино гораздо опаснѣе тѣхъ враговъ, противъ которыхъ была приглашена его тяжелая кавалерія. Роли очень легко могли перемѣниться: наемникъ могъ превратиться въ хозяина, а хозяинъ—въ слугу или изгнанника. Но Мартино надѣялся конечно на любовь народа и разсчитывалъ на свою собственную по-

литическую ловкость. Эти разсчеты и надежды дѣйствительно не обманули его.

Въ 1261 году миланскія дружины и кавалерія маркиза Пелавичино загнали миланскихъ эмигрантовъ въ замокъ Табіаго и довели ихъ голодомъ и жаждою до безусловной сдачи. Плѣнниковъ оказалось около девяти сотъ человѣкъ. Ихъ заковали въ кандалы, нагрузили на телѣги и привезли въ Миланъ. Народъ требовалъ ихъ смерти, но великодушный Мартино помиловалъ ихъ—такъ, какъ обыкновенно милуютъ сильныя особы и счастливые побѣдители. Однихъ онъ поселилъ въ городскихъ тюрьмахъ; другихъ пристроилъ въ крошечныя кельи, находившіяся на вершинѣ башенъ и колоколенъ; третьихъ посадилъ, какъ дикихъ звѣрей, въ большія деревянныя клѣтки, на потѣху миланскимъ зѣвакамъ. Въ такомъ положеніи эти помилованные люди провели время до паденія дома делла-Торре, то есть до 1277 года.

Послѣ смерти Льва изъ Перего миланская архіепископская каѳедра слишкомъ пять лѣтъ оставалась незанятой. Въ миланскомъ капитулѣ, отъ котораго зависѣли выборы, боролись между собою тѣ-же самыя партіи, которыя волновали республику. Плебеи предлагали въ архіепископы Раймунда-делла-Торре, племянника Мартино. Дворянская партія выдвигала впередъ другого кандидата. Папа былъ очень недоволенъ тѣмъ, что Мартино связался съ маркизомъ Пелавичино, который не только былъ ревностнымъ гибелиномъ, но даже оказывалъ явное покровительство ереси патеріновъ и открыто сопротивлялся дѣйствіямъ священной инквизиціи. Чтобы наказать Мартино за союзъ съ нечестивыми и чтобы въ то-же время напомнить миланскому капитулу о правахъ высшей духовной власти, папа забраковалъ обоихъ кандидатовъ и назначилъ самъ на миланскую каѳедру каноника Отона Висконти, принадлежавшаго къ одной изъ самыхъ благородныхъ фамилій миланской республики. Мартино принялъ это назначеніе за личную обиду и, не желая болѣе церемониться съ папою, конфисковалъ почти всѣ имѣнія архіепископской каѳедры. Тогда Отонъ Висконти, сильный покровительствомъ папы, собралъ вокругъ себя остатки разбитой дворянской партіи, и въ разныхъ углахъ Ломбардіи началась снова агитація противъ делла-Торре.

Въ 1263 году окончился срокъ контракту, заключенному городомъ Поварою съ маркизомъ Пелавичино. Повара отдалась синьору Мартино, и это обстоятельство повидимому нисколько не нарушило добраго согласія между обоими союзниками. Надѣясь упрочить свое положеніе въ Миланѣ на неопредѣленно-долгое время, маркизъ очевидно не хотѣлъ ссориться изъ-за бездѣлицы съ старшиною и синьоромъ миланскаго народа.

Въ томъ-же 1263 году Мартино умеръ. Во время его предсмертной болѣзни миланскій народъ, по его просьбѣ, обѣщалъ ему передать его брату Филиппу титулъ и власть Anziano и синьора. Сдѣлавшись повелителемъ Милана, Филиппъ прожилъ только два года, но въ это время онъ успѣлъ подчинить своему господству города Комо, Верчелли и Бергамо. Всѣ эти завоеванія дѣлались безъ кровопролитія. «Во всѣхъ этихъ городахъ—говоритъ Сисмонди,—а также и въ тѣхъ, которые покорились его брату, народъ не думалъ отказываться отъ своей свободы; онъ хотѣлъ выбрать себѣ не повелителя, а только покровителя противъ дворянъ, начальника военныхъ людей и верховнаго судью. Опытъ доказалъ ему слишкомъ поздно, что эти прерогативы, соединенныя въ однѣхъ рукахъ, производятъ монарха».

Въ 1264 году окончилось то пятилѣтіе, впродолженіи котораго Пелавичино долженъ былъ оставаться генералъ-капитаномъ Милана. Филиппу удалось около этого времени собрать въ своихъ городахъ достаточное количество рыцарей. Поэтому онъ расплатился съ маркизомъ и уволилъ его въ чистую отставку. Маркизъ, котораго честолюбивыя надежды и фантазіи заходили очень далеко, несказанно обидѣлся такимъ неожиданно-скромнымъ исходомъ своего блистательнаго генералъ-капитанства. Съ досады онъ посадилъ подъ арестъ и обобралъ тѣхъ миланскихъ купцовъ, которые попались ему подъ-руку въ его владѣніяхъ. Его разочарованіе и его гнѣвъ не повели за собой никакихъ дальнѣйшихъ послѣдствій.

Въ это время Карлъ Анжуйскій, братъ Людовика Святого, по приглашенію папы Урбана IV, приступилъ къ завоеванію Сицилійскаго королевства, въ которомъ съ 1254 года благополучно царствовалъ Манфредъ, побочный сынъ императора Фридриха II. Путь Карла лежалъ изъ Прованса вдоль по всей Италіи, съ сѣвера на югъ. Появленіе сильной французской арміи, совершенно преданной папскому престолу, оживило страсти партій и нарушило равновѣсіе, установившееся въ Ломбардіи между гвельфами и гибелинами. Филиппъ делла-Торре вступилъ въ союзъ съ Карломъ Анжуйскимъ и, въ знакъ своего особеннаго уваженія, позволилъ ему назначить въ Миланъ подесту изъ провансальцевъ. Города, въ которыхъ господствовали предводители гибелиновъ, маркизъ Пелавичино и Буозо-да-Доара, взбунтовались противъ нихъ одинъ за другимъ, такъ что маркизъ уже въ 1269 году остался только при своихъ наслѣдственныхъ замкахъ, а Буозо, изгнанный изъ Кремоны со всѣми своими приверженцами и кромѣ того поссорившійся съ маркизомъ, умеръ въ совершенной нищетѣ.

Гибелины удержали за собой преобладаніе

только въ одной веронской маркіи, гдѣ Мартино делла-Скала довольно успѣшно старался сдѣлаться владѣтельной особой и возстановить въ свою пользу разрушившуюся монархію Эччелино III.

Въ началѣ 1266 года побѣда при Гранделлѣ и смерть Манфреда, убитаго въ этомъ рѣшительномъ сраженіи, открыли Карлу Анжуйскому дорогу къ сицилійскому престолу. Утвердившись въ своемъ благопріобрѣтенномъ королевствѣ, Карлъ задумалъ покорить сначала всю Италію, а потомъ Византійскую имперію. Въ 1268 году ему пришлось выдержать борьбу съ послѣднимъ представителемъ династіи Гогенштауфеновъ; 23-го августа Карлъ разбилъ молодого Конрадина при Тальякоццо; спустя два мѣсяца послѣ этого сраженія, Конрадинъ, внукъ Фридриха II, взятый въ плѣнъ, сложилъ голову на плаху въ Неаполѣ, на городской площади. Партія гибелиновъ осталась безъ общаго предводителя.

Въ 1269 году Карлъ, стараясь усилить вліяніе на дѣла сѣверной Италіи, послалъ своихъ уполномоченныхъ въ Кремону и созвалъ туда на сеймъ представителей ломбардскихъ городовъ, принадлежавшихъ къ партіи гвельфовъ. На этомъ гвельфскомъ сеймѣ посланники Карла старались доказать, что для полнаго и прочнаго торжества надъ безбожными гибелинами слѣдуетъ придать управленію гвельфской лиги больше силы и единства, что для этого необходимо выбрать начальника всего союза и что никто, кромѣ сицилійскаго короля Карла, наполнившаго всю Европу шумомъ и блескомъ своихъ подвиговъ, неспособенъ вести гвельфскую лигу впередъ по славному пути побѣдъ и безукоризненнаго благочестія. Изъ этихъ пышныхъ рѣчей вытекало то практическое заключеніе, что всѣ ломбардскіе города должны назначить короля Карла своимъ синьоромъ. Ломбардія въ это время уже до такой степени привыкла безъ малѣйшей надобности бросать свою свободу подъ ноги первому встрѣчному, что многіе изъ депутатовъ, присутствовавшихъ на кремонскомъ сеймѣ, убѣжденные краснорѣчіемъ посланниковъ, тотчасъ-же закабалили своихъ согражданъ королю Карлу. Піаченца, Кремона, Парма, Модена, Феррара и Реджіо признали надъ собой такимъ образомъ чужеземный протекторатъ, который, при благопріятныхъ условіяхъ, могъ превратиться въ очень тяжелое иго. Представители Милана, Комо, Верчелли, Новары, Александріи, Тортоны, Турина, Павіи, Бергамо, Болоньи и уполномоченные маркиза Монферратскаго отвѣчали, что они хотятъ быть союзниками и друзьями, но не подданными короля Карла. Этимъ отвѣтомъ не кончилось дѣло. Послапники Карла продолжали свои интриги, и въ концѣ того-же года миланцы и вслѣдъ за ними граждане нѣкоторыхъ другихъ городовъ присягнули на вѣрность Карлу, какъ безсмѣнному начальнику гвельфскаго союза.

Въ Миланѣ господствовалъ съ 1265 года Наполеонъ делла-Торре, племянникъ Филиппа и Мартино. Семейство делла-Торре свыклось уже съ своимъ высокимъ положеніемъ, перестало считать себя въ зависимости отъ народной любви и мало заботилось о томъ, чтобы пріобрѣтать себѣ популярность. Отношенія между народомъ и господствующимъ семействомъ охладѣли. Филиппъ и Наполеонъ были уже не любимыми вождями плебейской партіи, не кумирами толпы, не защитниками ея противъ дворянъ, а просто правителями государства, которымъ народъ повинуется равнодушно, на которыхъ онъ часто ропщетъ за тяжелые налоги и которыхъ онъ можетъ прогнать при первомъ удобномъ случаѣ. Любовь къ семейству бывшихъ демагоговъ охладѣвала вмѣстѣ съ той ненавистью, которую въ былое время внушала народу дворянская партія. Эта партія уже давно никому не вредила, никого не оскорбляла, никому не могла сдѣлаться опасной. Одни изъ ея коноводовъ и членовъ были въ могилахъ; другіе умирали медленной смертью въ тюрьмахъ и клѣткахъ, устроенныхъ для нихъ синьоромъ Мартино; третьи бродили по ломбардскимъ городамъ вмѣстѣ съ архіепископомъ Оттономъ, подвергаясь тѣмъ лишеніямъ и опасностямъ, которыми усѣяна жизнь политическаго изгнанника. Народныя массы забывчивы и великодушны. Имъ невозможно долго ненавидѣть такихъ людей, которые терпятъ преслѣдованія. Въ своихъ побѣжденныхъ врагахъ миланцы видѣли только несчастныхъ страдальцевъ. То упорное ожесточеніе, съ которымъ синьоры делла-Торре старались уничтожить послѣдніе остатки разбитой дворянской партіи, не встрѣчало себѣ со стороны народа ни малѣйшаго сочувствія. А между тѣмъ тяжкая партизанская война противъ Оттона Висконти и его приверженцевъ требовала денегъ, и эти деньги взыскивались съ народа, который вовсе не хотѣлъ войны. Народъ началъ понимать, что его интересы отдѣлились отъ частныхъ интересовъ фамиліи делла-Торре, и что главными его врагами, поглощающими его деньги и его силы, сдѣлались теперь тѣ самые люди, которые, по старой памяти, выдаютъ себя за его защитниковъ и выборныхъ начальниковъ. Но, чувствуя и размышляя такимъ образомъ, народъ былъ уже неспособенъ освободиться собственными силами отъ такой власти, которая больше не соотвѣтствовала его наклонностямъ и потребностямъ. Республиканская энергія замерла подъ вліяніемъ тридцатилѣтняго господства неограниченныхъ правителей. Власть господствующей фамиліи стала украшаться ореоломъ какой-то законности, и хотя эта власть не нравилась почти никому, однако въ Миланѣ не оказывалось такого смѣльчака, который рѣшился-бы

выдвинуться впередъ и пригласить народную массу къ откровенному и настойчивому заявленію своихъ желаній, симпатій и антипатій. Миланъ ожидалъ себѣ толчка со стороны. Ему хотѣлось, чтобы какой-нибудь благодѣтель пришелъ освободить его. Разумѣется, можно было предвидѣть заранѣе, что этотъ великодушный освободитель усядется самъ на то мѣсто, съ котораго онъ прогонитъ синьоровъ делла-Торре.

Въ 1276 году Оттонъ Висконти собрался съ силами, заключилъ союзъ съ маркизомъ Монферратскимъ, взялъ нѣсколько укрѣпленныхъ замковъ, принадлежавшихъ синьорамъ делла-Торре, и въ началѣ 1277 года двинулся къ Милану. Наполеонъ делла-Торре выступилъ къ нему на встрѣчу и остановился на ночь съ своимъ войскомъ въ мѣстечкѣ Дезіо. Висконти напалъ на него ночью врасплохъ, и такъ удачно, что захватилъ въ плѣнъ самого Наполеона вмѣстѣ съ пятью его родственниками. Эти шестеро плѣнниковъ попались въ руки комасковъ, которые были злы на Наполеона за то, что онъ держалъ въ клѣткѣ одного изъ ихъ соотечественниковъ. Знатныхъ плѣнниковъ препроводили въ Комо и тамъ имъ отвели для жительства три желѣзныя клѣтки.

Двое синьоровъ делла-Торре оставались еще на свободѣ и командовали кавалерійскимъ отрядомъ, стоявшимъ въ Кантуріо и не принимавшимъ никакого участія въ неудачномъ дѣлѣ при Дезіо. Эти синьоры бросились въ Миланъ и стали умолять народъ, чтобъ онъ вооружился и отправился выручать ихъ плѣнныхъ родственниковъ. Но народъ былъ весь на сторонѣ счастливаго побѣдителя, грабилъ дворцы семейства делла-Торре, перерѣзывалъ улицы баррикадами и осыпалъ каменьями двоихъ синьоровъ, разсчитывавшихъ на его вооруженное содѣйствіе. Остатки торріанской партіи бѣжали изъ Милана сначала въ Лоди, потомъ въ Кремону. Оба эти города заперли передъ ними ворота, и повелители Ломбардіи, превратившіеся за ночь въ нищихъ изгнанниковъ, только въ Пармѣ нашли себѣ безопасное убѣжище.

Миланскій народъ уже не умѣлъ пользоваться свободой и защищать ее противъ всякаго посторонняго посягательства. Вліятельные граждане, въ минуту паденія старой династіи, думали только о томъ, какъ-бы раньше и искуснѣе другихъ преклониться передъ восходящей звѣздой новаго властелина. У всѣхъ миланскихъ политиковъ была на умѣ одна и та-же задушевная мысль; немудрено, что эта мысль выразилась въ словѣ и была тотчасъ-же поддержана сотнями усердныхъ восклицаній, которыя уже предназначались для чуткаго слуха новаго владыки, хотя этотъ владыка еще не показывался передъ стѣнами Милана. Граждане рѣшили, разумѣется, отправить къ архіепископу Оттону Висконти торжественную депутацію, которая вмѣстѣ съ радостными поздравленіями народа должна была поднести достопочтенному прелату титулъ пожизненнаго синьора и правителя миланской республики.

Такимъ образомъ возвысилась въ Миланѣ новая династія, которая съ перваго дня своего господства не имѣла уже ни малѣйшей надобности кокетничать съ народомъ и прикидываться усердной защитницей его интересовъ и его свободы. Республика, сама того не замѣчая, превратилась въ монархію.

ОБРАЗОВАННАЯ ТОЛПА.

(Сочиненія Ѳ. М. Толстого. Два тома.)

I.

Книга, заглавіе которой мы здѣсь выписали, составляетъ въ нашей текущей литературѣ явленіе утѣшительное и даже до нѣкоторой степени замѣчательное. Автора этой книги не слѣдуетъ смѣшивать ни съ графомъ Л. Н. Толстымъ, написавшимъ «Дѣтство, Отрочество и Юность» и основавшимъ яснополянскую школу, ни съ графомъ А. К. Толстымъ, написавшимъ нѣсколько удачныхъ стихотвореній (напримѣръ поучительный разговоръ Россіи съ царемъ Петромъ Алексѣевичемъ), «Князя Серебрянаго» и «Смерть Іоанна Грознаго». Если не ошибаемся, авторъ разбираемой нами книги—музыкантъ, композиторъ и музыкальный критикъ, писавшій свои музыкальныя рецензіи подъ псевдонимомъ *Ростиславъ*. Мы говоримъ: *если не ошибаемся*, потому что музыка для насъ закрытая область, и потому что мы, не умѣя отличать do отъ fa и бемоля отъ діеза, никогда не заглядывали въ сочиненія нашихъ музыкальныхъ критиковъ, и слѣдовательно никакъ не можемъ ручаться за тождественность котораго-нибудь изъ этихъ недосягаемыхъ дѣятелей съ авторомъ разсматриваемыхъ нами двухъ томовъ.

Какъ-бы то ни-было, писалъ или не писалъ нашъ авторъ подъ псевдонимомъ Ростиславъ,

во всякомъ случаѣ остается достовѣрнымъ и несомнѣннымъ тотъ фактъ, что музыкальный элементъ далъ себя знать самымъ выразительнымъ образомъ въ повѣсти «Моргунъ – Капельмейстеръ-Самоучка», наполняющей бо́льшую часть второго тома. Подавленные непостижимыми разсужденіями о la-majeur и do-mineur, о smorzando и о прекрасныхъ качествахъ Бетховена, мы скромно проникаемся сознаніемъ нашего невѣжества и еще скромнѣе проходимъ всю повѣсть почтительнымъ молчаніемъ, тѣмъ болѣе, что основная мысль этой повѣсти—мысль о томъ, что крѣпостное право не всегда обходилось любовно и бережно съ богатыми дарованіями, прирожденными русскому простолюдину—неможетъ похвалиться особенно поразительной глубиной, новизной и смѣлостью.

Пройдемъ мы тѣмъ-же смиреннымъ молчаніемъ драму «Пасынокъ», которая занимаетъ остальную часть второго тома. Эффекты этой драмы—распри между глупымъ старикомъ и глупымъ юношей, удушеніе перваго дурака вторымъ, угнетенная невинность, корыстолюбивый судья, тюремный замокъ, исхищеніе невинности изъ зіяющей бездны—могутъ приводить въ трепетъ или въ умиленіе добродушную публику, довершающую свое эстетическое образованіе въ залахъ столичныхъ и провинціальныхъ театровъ, но всѣ эти эффекты не могутъ навести читателя ни на одну плодотворную мысль, относящуюся къ жизни общества или отдѣльной человѣческой личности.

Раскланявшись такимъ образомъ со вторымъ томомъ, мы сосредоточиваемъ все наше вниманіе на первомъ, въ которомъ помѣщены двѣ замѣчательныя повѣсти: «Болѣзни воли» и «Ольга». Обѣ повѣсти замѣчательны, хотя и не въ одинаковой степени. Начнемъ съ «Ольги», какъ съ произведенія менѣе оригинальнаго, менѣе обширнаго и менѣе глубоко-задуманнаго.

Повѣсть «Ольга» вводитъ насъ въ благоухающій міръ блестящей петербургской молодежи, той веселой и беззаботной молодежи, которая въ умнѣйшихъ своихъ представителяхъ возвышается до онѣгинской пресыщенности и разочарованности, а въ глупѣйшихъ опускается довольно часто ниже точки замерзанія человѣческаго смысла и человѣческой совѣсти. Это—міръ рысаковъ, камелій, устрицъ и шампанскаго, загородныхъ гуляній, заимствованныхъ каламбуровъ, сладостныхъ комплиментовъ и неистощимыхъ разговоровъ на такія темы, о которыхъ неносвященный смертный не съумѣетъ произнести ни одного слова. Одинъ изъ молодыхъ людей, порхающихъ въ этомъ блестящемъ кругу, разсказываетъ своимъ сподвижникамъ эпизодъ изъ своей собственной жизни, и этотъ разсказъ составляетъ сѳбою повѣсть «Ольга».

Этотъ разсказъ объясняетъ читателю, какія вліянія и обстоятельства могутъ превратить честную и образованную дѣвушку, гордость и украшеніе великосвѣтской гостиной,—въ продажную женщину или, другими словами, въ роскошную и блистательную камелію.—Этому разсказу можно сдѣлать до нѣкоторой степени тотъ упрекъ, что онъ слишкомъ уменъ. Разсказчикъ самъ принадлежитъ къ тому веселому обществу, которое съ постоянно возрастающимъ успѣхомъ занимается изготовленіемъ очаровательныхъ женщинъ, способныхъ только пить шампанское и продавать съ аукціона свои поцѣлуи. Разсказчикъ самъ играетъ видную и дѣятельную роль въ слишкомъ обыкновенной исторіи Ольги. И однакожъ этотъ самый разсказчикъ ясно понимаетъ связь между причинами и слѣдствіями и бросаетъ на всѣ сообщаемые факты очень яркое, вѣрное и безпристрастное освѣщеніе. Онъ, дѣйствующее лицо, является неподкупнымъ судьей и не утанваетъ ни отъ самого себя, ни отъ своихъ слушателей ни одной изъ тѣхъ подробностей, которыя кладутъ на его собственную личность достаточное количество темныхъ пятенъ. Читателю остается только недоумѣвать, какимъ это образомъ молодой человѣкъ, такъ вѣрно понимающій жизнь, можетъ играть въ этой жизни такую позорную и жалкую роль, или же—какимъ образомъ пустой и ничтожный человѣкъ можетъ возвышаться въ своемъ разсказѣ до такихъ спокойныхъ и обыкновенныхъ отношеній къ собственной личности. Авторъ, Толстой, очевидно надѣлилъ разсказчика своими собственными умственными качествами или, выражаясь точнѣе, авторъ ссудилъ разсказчика такой проницательностью и сообразительностью, которая нисколько не находится въ гармоніи со всѣми остальными атрибутами блистательнаго юноши, изучающаго жизнь въ Излеровскомъ университетѣ. Толстой постоянно увлекается процессомъ психическаго анализа и, увлекаясь такимъ образомъ, влагаетъ нерѣдко въ уста своихъ дѣйствующихъ лицъ такія умныя рѣчи, которыя онъ долженъ былъ и могъ-бы произносить только отъ своего имени. Въ эту ошибку впадаютъ обыкновенно тѣ писатели, въ которыхъ мыслитель преобладаетъ надъ художникомъ. Этой погрѣшностью страдаютъ обыкновенно тѣ произведенія, въ которыхъ содержаніе преобладаетъ надъ формой. Но такъ какъ, съ одной стороны, всѣ литературы наводнены такими произведеніями, въ которыхъ ничтожность и мизерность мысли идетъ рука-объ-руку съ блистательной красотой выраженія, и такъ какъ, съ другой стороны, всѣ литературы до крайности бѣдны такими созданіями, въ которыхъ выражается замѣчательная и общеполезная идея, то мы чувствуемъ неотразимую потребность отнестись очень снисходительно къ тому недостатку, который можетъ быть подмѣченъ записнымъ эстетикомъ въ повѣстяхъ Толстого.

Мы позволимъ себѣ выразить предположеніе, что Толстой самъ чувствуетъ въ себѣ упомянутый недостатокъ. Онъ повидимому постоянно боится, что образы и сцены недостаточно ясно и осязательно выразятъ его идею; онъ постоянно старается дополнить впечатлѣніе отвлеченными разсужденіями и поясненіями; написавши рядъ картинъ, онъ вслѣдъ затѣмъ самъ-же разсказываетъ читателю, съ какой цѣлью написаны эти картины, и какую именно идею желательно было въ нихъ провести. Съ точки зрѣнія неумолимаго эстетика, такой образъ дѣйствій заключаетъ въ себѣ двойное преступленіе; во-первыхъ, онъ обнаруживаетъ въ авторѣ недостаточное развитіе художественной виртуозности; во-вторыхъ, онъ указываетъ безспорно на предвзятую цѣль, на тенденціозность, на дидактичность даннаго произведенія, которое вслѣдствіе этого пятна теряетъ, по мнѣнію эстетика, всякое право называться художественнымъ. Напротивъ того, съ точки зрѣнія человѣка, относящагося съ горячей и дѣятельной любовью къ дѣйствительнымъ и осязательнымъ интересамъ общества и человѣческой личности, совершенство художественной техники имѣетъ второстепенное и служебное значеніе, а тенденціозность или дидактичность беллетристическаго произведенія оказывается не предосудительнымъ пятномъ, а необходимымъ оправданіемъ автора передъ читающей публикой. Мы должны сознаться съ достодолжной скромностью, что, по всему складу нашихъ убѣжденій, мы подходимъ гораздо ближе къ людямъ второй категоріи, чѣмъ къ заклятымъ эстетикамъ. Поэтому, встрѣчаясь съ тенденціознымъ произведеніемъ, мы не приходимъ въ безусловный ужасъ, не отлучаемъ провинившагося автора отъ сонма истинныхъ художниковъ, а только стараемся отвѣтить себѣ на вопросъ о томъ, каковы симпатіи и антипатіи даннаго писателя, что именно защищается и что опровергается его произведеніемъ. Дальнѣйшія наши отношенія слагаются сообразно съ тѣмъ отвѣтомъ, который получитъ себѣ нашъ вопросъ. Если мы подмѣтимъ въ авторѣ честную и сознательную любовь къ людямъ, если мы увидимъ въ его произведеніяхъ здоровый и вѣрный взглядъ на междучеловѣческія отношенія, то насъ нисколько не покоробитъ и не возмутитъ его стараніе договорить отвлеченными поясненіями ту мысль, которую онъ не съумѣлъ съ достаточной наглядностью воплотить въ свои образы и сцены. Это стараніе докажетъ намъ только, что писатель всей душой преданъ своему дѣлу, и что для успѣха этого дѣла онъ съ радостью пускаетъ въ ходъ даже такія средства, которыя могутъ внушить читателямъ сомнѣніе въ силѣ его художественной виртуозности.

II.

Своему разсказу «Ольга» Толстой предпосылаетъ нѣсколько размышленій, въ которыхъ онъ доказываетъ пользу и своевременность небольшихъ повѣствовательныхъ очерковъ, записанныхъ со словъ молодыхъ людей, совершенно неспособныхъ «приняться когда-либо за перо». Толстой говоритъ, что наша жизнь спѣшитъ и стремится куда-то впередъ, и что въ наше время «для наблюдательнаго глаза главное дѣло смотрѣть въ оба и не прозѣвать быстро мелькающихъ явленій жизни».

«Не видя большой пользы — продолжаетъ онъ—въ дидактическихъ пріемахъ для поученія нашей молодежи, я нахожу однакоже, что литература наша обязана изучать ея нравы, обычаи и стремленія. Называть однихъ нигилистами, другихъ кутилами, третьихъ просто фатами—сущее пустословіе; вѣдь есть же и другія категоріи. Дѣло литературы поглубже вникать—отчего у молодыхъ людей нашихъ составилось то или другое воззрѣніе, хоть напримѣръ на женщину. Это дѣло важное!»

Если мы вѣрно понимаемъ эти слова Толстого, то въ нихъ заключается энергическій протестъ противъ поверхностнаго и легкомысленнаго вписыванія живыхъ явленій, изумляющихъ мыслящаго наблюдателя своимъ безконечнымъ разнообразіемъ, въ очень ограниченное число рубрикъ и категорій, надъ которыми пришпилены разъ навсегда вывѣски и ярлыки, вовсе не соотвѣтствующіе внутреннему содержанію вписываемыхъ предметовъ. Произвольная классификація, любимый конекъ бездарныхъ тружениковъ, надѣлала много путаницы даже въ естественныхъ наукахъ, гдѣ изслѣдователи имѣютъ полную возможность относиться къ своему предмету спокойно, безстрастно и объективно. Въ тѣхъ отрасляхъ знанія и литературы, которыя разсматриваютъ явленія общественной жизни, всякая подобная классификація оказывается еще несравненно болѣе вредной, потому что здѣсь ярлыки и вывѣски пришпиливаются нарочно для того, чтобы возбудить въ массѣ читающихъ людей тѣ или другія, враждебныя или любовныя, чувства къ разсматриваемому предмету. Каждая вывѣска становится непремѣнно или знакомъ отличія, или позорнымъ клеймомъ, смотря по тому, какая голова, дружеская или вражеская, потрудилась надъ ея измышленіемъ. Поэтому почти ни одна вывѣска не говоритъ намъ ровно ничего о дѣйствительныхъ свойствахъ того предмета, къ которому она прицѣплена. Однѣ изъ этихъ вывѣсокъ говорятъ прохожему: остановись, нахмурь свое чело, сдвинь брови и брось сюда молніеносный взглядъ, полный убійственнаго презрѣнія. Другія говорятъ тому-же прохожему: остановись, разгладь грозныя морщины твоего нахмуреннаго

чела и препроводи сюда самую очаровательную изъ твоихъ улыбокъ. А такъ какъ прохожіе по большей части отличаются сговорчивостью и податливостью, то приказанія вывѣсокъ исполняются буквально, свирѣпые взгляды и прелестныя улыбки летятъ куда слѣдуетъ въ роскошномъ изобиліи, и самосознаніе такъ называемаго образованнаго общества не дѣлаетъ ни шагу впередъ, потому что основательное знаніе всѣхъ измышленныхъ ярлыковъ и вывѣсокъ, ругательныхъ и хвалительныхъ, кажется этому образованному обществу весьма достаточнымъ удовлетвореніемъ его политической любознательности. Въ каждомъ образованномъ обществѣ есть, правда, мыслящіе люди, способные и желающіе усомниться въ безусловной вѣрности и характеристической выразительности общепринятыхъ вывѣсокъ и ярлыковъ. Эти люди возвышаютъ голосъ и стараются вразумить массу слишкомъ податливыхъ и сговорчивыхъ прохожихъ. Но многочисленные почитатели готовыхъ ярлыковъ и вывѣсокъ находятъ себѣ въ своихъ излюбленныхъ ярлыкахъ и вывѣскахъ самое сильное оружіе противъ непрошенныхъ вразумителей, нарушающихъ сладостную дремоту лѣнивыхъ и неразвитыхъ умовъ. Чтобы въ значительной степени подорвать вліяніе оригинальнаго мыслителя на общество, достаточно измыслить для него и для его единомышленниковъ какую-нибудь хулительную кличку или, еще того лучше, включить его, вмѣстѣ съ его послѣдователями, въ какую-нибудь изъ существующихъ и уже достаточно опозоренныхъ категорій. Если-бы, напримѣръ, какой-нибудь смѣлый чудакъ вздумалъ утверждать публично, что назвать человѣка какою-нибудь кличкой еще не значитъ доказать неопровержимо его абсолютную негодность и зловредность, что подъ одной вывѣской могутъ находиться, по волѣ близорукихъ или недобросовѣстныхъ классификаторовъ, очень многіе предметы, другъ на друга очень не похожіе, и что наконецъ въ отношеніи къ самымъ безнадежнымъ негодяямъ надо все-таки соблюдать извѣстное юридическое правило: audiatur et altera pars—то подобнаго чудака усмирили-бы немедленно тѣ самые классификаторы, которыхъ онъ, чудакъ, старался уличить въ пристрастіи или близорукости. Надъ этимъ чудакомъ усердные классификаторы немедленно соорудили-бы такую компрометтирующую вывѣску, которая въ самомъ скоромъ времени привлекла-бы на его несчастную голову всѣ свирѣпые и презрительные взгляды всѣхъ податливыхъ и сговорчивыхъ прохожихъ.

Толстой вооружается совершенно справедливо противъ готовыхъ ярлыковъ и вывѣсокъ, посредствомъ которыхъ наши глубокомысленные классификаторы стараются рѣшить съ плеча самые сложные и запутанные вопросы общественной жизни. Толстой требуетъ изученія и анализа тамъ, гдѣ любители готовыхъ рубрикъ даютъ только ни на чемъ не основанныя сентенціи и резолюціи. Толстой старается спокойно и хладнокровно разсуждать съ той читающей публикой, которую наши классификаторы съ полнымъ успѣхомъ запугивали до сихъ поръ блистательнымъ арсеналомъ мудреныхъ иностранныхъ словъ, кончающихся на измъ и долженствующихъ изобразить собой всякую умственную нечистоту. Нельзя не жалѣть и въ то же время трудно надѣяться, чтобы этотъ хорошій примѣръ, поданный Толстымъ, нашелъ себѣ многочисленныхъ подражателей.

Толстой совѣтуетъ литературѣ обратить вниманіе на тѣхъ молодыхъ людей, которымъ и въ голову не придетъ приняться когда-либо за перо. Это—совѣтъ очень благоразумный. До сихъ поръ наша литература занималась преимущественно или даже почти исключительно тѣми, сравнительно не многочисленными, молодыми людьми, которые размышляютъ или по крайней мѣрѣ стараются размышлять за все свое поколѣніе. Почти въ каждомъ романѣ и въ каждой повѣсти весь интересъ дѣйствія сосредоточивался вокругъ какой-нибудь личности, которая по своему уму и развитію стояла выше всего окружающаго. Романъ или повѣсть очень часто стремились къ тому, чтобы доказать несостоятельность, фальшивость и искусственность всѣхъ убѣжденій, воодушевлявшихъ передового и развитого человѣка. Романистъ развѣнчивалъ и сводилъ съ пьедестала своего героя, но, даже вступая съ нимъ въ ожесточенную борьбу, онъ все-таки занимался почти исключительно имъ однимъ, какъ воплощеніемъ тѣхъ идей, которыя въ данную минуту занимали собой лучшіе и сильнѣйшіе умы, поставленные въ наиболѣе выгодное положеніе. Защищая или стараясь разбить тѣ или другіе идеалы, наша литература, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, въ значительной степени упускала изъ виду жизнь, понятія и стремленія тѣхъ очень многочисленныхъ людей, которые прозябаютъ со дня на день безъ всякихъ идеаловъ, безъ всякихъ умственныхъ тревогъ, подъ всеподавляющимъ вліяніемъ своихъ желудочныхъ побужденій и иныхъ инстинктовъ. Наши Чацкіе, Печорины, даже пожалуй Онѣгины, наши Рудины, Бельтовы, Базаровы, всѣ почти герои лучшихъ нашихъ беллетристическихъ произведеній, размышляютъ, сомнѣваются, волнуются, ищутъ себѣ въ жизни какой-нибудь цѣли и смысла, или же, усвоивъ себѣ опредѣленный взглядъ на вещи, стараются доставить ему полную побѣду надъ тѣмъ, что они считаютъ человѣческими предразсудками и заблужденіями. Всѣ эти герои—или борцы за идею, или люди, тоскующіе о томъ, что они не умѣютъ сдѣлаться такими борцами. Фонъ тѣхъ картинъ, на которыхъ красуются эти герои, мыслящіе или старающіеся

мыслить, составленъ всегда изъ такихъ людей, которые спятъ непробуднымъ умственнымъ сномъ и живутъ по силѣ инерціи. Являясь въ качествѣ хористовъ и аксессуарныхъ принадлежностей, эти нетронутые мыслью люди оказываются до нѣкоторой степени сносными и приличными, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда романистъ старается разоблачить ложность идеаловъ, увлекающихъ за собой передового человѣка. Чтобы убѣдиться въ дѣйствительныхъ достоинствахъ этихъ нетронутыхъ людей, надо выпустить ихъ на первый планъ и подвергнуть тщательному анализу всѣ ихъ отношенія между собой. Этотъ полезный трудъ до сихъ поръ не былъ предпринятъ во всемъ своемъ объемѣ. Людей толпы, дюжинныхъ фланеровъ и виверовъ изображали и осмѣивали до сихъ поръ только фельетонисты и второстепенные художники, подобные Ивану Панаеву, художники, оставшіеся поверхностными фельетонистами даже въ обширнѣйшихъ своихъ романахъ. Пустые и ничтожные люди никогда не подвергались въ нашей литературѣ тому тщательному и разностороннему изученію, которому подвергались и подвергаются до сихъ поръ выдающіяся личности, способныя увлекаться идеалами и жить въ свѣтломъ и обширномъ мірѣ умственнаго труда. Отъ этого важнаго пробѣла въ нашей литературѣ произошло для насъ то неудобство, что мы слишкомъ строго и слѣдовательно несправедливо относимся къ нашимъ мыслящимъ людямъ.

Намъ не съ чѣмъ сравнивать этихъ людей; у насъ нѣтъ такой мѣрки, которая дала-бы намъ точное понятіе объ ихъ дѣйствительной цѣнности. Типы различныхъ героевъ, смѣнявшихъ другъ друга втеченіи послѣднихъ трехъ или четырехъ десятилѣтій, извѣстны намъ вдоль и поперекъ. Зная во всѣхъ подробностяхъ, какъ они мыслятъ, какъ страдаютъ, какъ любятъ, какъ спотыкаются и падаютъ, мы можемъ пересчитать всѣ мельчайшія пятна ихъ жизни по тѣмъ документамъ, которые доставлены намъ лучшими нашими писателями. Людей толпы мы, напротивъ того, знаемъ только изъ нашихъ ежедневныхъ сношеній и столкновеній съ ними; но каждый изъ насъ охотно сознается, что ему никогда не удастся подмѣтить въ явленіяхъ жизни столько новыхъ и характерныхъ сторонъ, сколько способенъ уловить и фиксировать на бумагу великій поэтъ, подобный Диккенсу, Теккерею, Бальзаку или нашему Тургеневу. Отлично зная героевъ и плохо зная дюжинныхъ людей, мы не можемъ отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, насколько первые, во всѣхъ своихъ поступкахъ, оказываются выше, чище и разумнѣе послѣднихъ.

Типическія особенности мыслящихъ героевъ измѣняются сообразно съ обстоятельствами времени и мѣста; вмѣстѣ съ этими типическими особенностями измѣняются также и отношенія общества къ мыслящимъ героямъ. Бываютъ такія времена, когда общество относится къ этимъ людямъ особенно несправедливо; оно придирается съ близорукимъ злорадствомъ ко всѣмъ внѣшнимъ, мелкимъ и безвреднымъ шероховатостямъ ихъ характера; оно осмѣиваетъ и порицаетъ ихъ костюмъ, ихъ прическу, ихъ манеры, ихъ рѣзкій тонъ; въ каждой безразличной мелочи оно видитъ или подозрѣваетъ преступныя и разрушительныя тенденціи. Въ такія времена бываетъ особенно полезно обращать вниманіе общества на образъ жизни людей немыслящихъ; въ этомъ образѣ жизни, въ этихъ нравахъ и обычаяхъ, въ этихъ взглядахъ и понятіяхъ, сформировавшихся во мракѣ полуживотной безсознательности, находятъ себѣ объясненіе всѣ тѣ рѣзкости мыслящихъ героевъ, которыя возмущаютъ и скандализируютъ такъ называемое образованное общество. Разсматривая внимательно и безпристрастно понятія, стремленія и поступки безсознательнаго большинства, тѣ читатели, которые еще не утратили способности учиться и совершенствоваться, должны неизбѣжно придти къ тому убѣжденію, что мыслящіе люди, со всѣми своими странностями, рѣзкостями, угловатостями и крайними увлеченіями, стоятъ въ психологическомъ отношеніи все таки неизмѣримо выше праздныхъ и неподвижныхъ контителей неба. Повидимому это такая простая и очевидная истина, которую совѣстно не только доказывать, но даже и высказывать.

III.

Приступаемъ наконецъ къ разсказу «Ольга». Дѣло начинается съ того, что одинъ веселый молодой человѣкъ въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ цѣлуетъ *прямо въ суставчикъ подъ локтемъ* одну совершенно незнакомую ему молодую дѣвушку, которую онъ увидалъ у рѣшетки ся сада на Аптекарскомъ островѣ и которую онъ принялъ по ошибкѣ за камелію. Въ тотъ же вечеръ молодой любитель *суставчиковъ* узнаетъ отъ своего собутыльника, князя Вольскаго, что мнимую камелію зовутъ Ольгой и что она — воспитанница старой княгини Вецкой, при которой Вольскій, къ качествѣ внучатнаго племянника, состоитъ единственнымъ законнымъ наслѣдникомъ. Сообщивши эти свѣдѣнія своему предпріимчивому пріятелю, Вольскій немедленно предлагаетъ ему представить его старой княгинѣ, именно для того, чтобы пріятель могъ поволочиться за хорошенькой дѣвушкой и, въ случаѣ успѣха, соблазнить ее. Этотъ планъ кажется до нѣкоторой степени смѣлымъ и предосудительнымъ какъ самому пріятелю, объ интересахъ котораго заботится добрѣйшій Вольскій, такъ и другимъ товарищамъ Вольскаго, разсматривающимъ его пред-

ложеніе у Излера, за многими бутылками шампанскаго.

«— Все-таки изъ этого ничего не выйдетъ, утверждаетъ отпѣкивающійся пріятель. (Такъ какъ у Толстого эта особа, разсказывающая всю исторію, оставлена безъ фамиліи, то мы такъ и будемъ называть его *пріятелемъ* во всей нашей рецензіи.) Вѣдь не свататься-же мнѣ.

«— Какой вздоръ! отвѣчалъ князь Вольскій, зачѣмъ свататься, и безъ того можетъ быть обойдется. Вотъ какъ мы вдвоемъ пріударимъ, такъ авось голубкѣ и не отвертѣться». Воззрѣнія веселыхъ юношей на женщину обрисовываются весьма достаточно этимъ краткимъ, но выразительнымъ обмѣномъ идей. Одинъ говоритъ: вѣдь не свататься же мнѣ, а другой находитъ чистѣйшимъ вздоромъ даже самый легкій намекъ на сватовство. Въ томъ кругу, въ которомъ вращается *пріятель*, женитьба считается величайшей изъ всѣхъ возможныхъ человѣческихъ глупостей и оправдывается только настоятельной необходимостью поправить разстроенные финансы или пріобрѣсти могущественныя связи. Когда *пріятель*, познакомившись съ княгиней Бецкой, влюбился въ Ольгу по уши, тогда ему представилась слѣдующая дилемма: «или бѣжать изъ Петербурга, или рѣшиться переступить Рубиконъ, то есть просто жениться». «Какъ ни дико, продолжаетъ пріятель,— какъ ни противно было мнѣ послѣднее средство, но послѣ нѣсколькихъ дней затворничества и глубокихъ думъ и разсужденій я уже мало-по-малу начиналъ свыкаться съ этой мыслью». «Всѣ эти думы, говоритъ далѣе тотъ-же пріятель, я хранилъ, разумѣется, про себя и ни съ кѣмъ не совѣтовался, потому что въ кругу моихъ знакомыхъ меня подняли-бы на смѣхъ, а изъ родныхъ моихъ никого подъ рукою не было».

Итакъ, жениться по любви на молодой, красивой, умной и образованной дѣвушкѣ, то-есть завоевать себѣ самое живое, прочное и плодотворное изъ личныхъ наслажденій, доставить счастье милому существу и его счастьемъ наполнить и осмыслить собственную жизнь — все это, по мнѣнію веселыхъ юношей, дико, противно и достойно самаго безпощаднаго осмѣянія. Во имя какой-же идеи производится это ожесточенное отрицаніе семейной жизни, которая, по справедливому замѣчанію Толстого, «есть надежнѣйшій оплотъ государственной жизни»? Идеи нѣтъ никакой, а есть только непреодолимое отвращеніе ко всякому правильному и послѣдовательному труду; во имя этого отвращенія, всосаннаго веселыми юношами съ молокомъ матери, взлелѣяннаго въ нихъ домашними воспитателями, укрѣпленнаго примѣрами старшихъ товарищей, обратившагося наконецъ въ ихъ вторую природу,—процвѣтаютъ и плодятся во всѣхъ европейскихъ обществахъ старые брюзгливые холостяки, старыя сварливыя дѣвы, блистательно несчастныя и грязно несчастныя камеліи, побочныя дѣти, принужденныя христарадничать или воровать, воспитательные дома, поглощающіе милліоны рублей, франковъ или гиней, заразительныя болѣзни, отравляющія съ самой колыбели цѣлыя поколѣнія, и увеселительныя заведенія, отнимающія у безбородыхъ юношей деньги, силы, совѣсть и умъ. Отвращеніе къ труду, порождаемое умственной пустотой и въ свою очередь поддерживающее эту пустоту, заставляетъ веселыхъ юношей отплевываться и открещиваться отъ такихъ отношеній, которыя могутъ наложить на нихъ какія-бы то ни было обязанности и подвергнуть ихъ какой-бы то ни было нравственной отвѣтственности. Кто женится, тотъ почти навѣрняка подвергаетъ себя опасности сдѣлаться отцомъ. А дѣтей надо кормить, одѣвать, обувать, обмывать, учить, воспитывать, вывозить въ свѣтъ, выдавать замужъ, выводить въ люди, опредѣлять на службу. На все это необходимы деньги, а деньги—такая превосходная штука, на которую счастливый отецъ, если-бы онъ не былъ счастливымъ отцомъ, могъ-бы добывать собственно для своей особы весьма достаточное количество самыхъ свѣжихъ фленсбургскихъ устрицъ, самыхъ модныхъ французскихъ камелій, самыхъ изящныхъ продуктовъ современной промышленности. Да и однѣ-ли деньги требуются для того, чтобы поставить на ноги плаксивыхъ ребятишекъ и сдѣлать изъ нихъ приличныхъ джентльменовъ, способныхъ носить громкое имя, не позоря его ни какимъ-нибудь вопіющимъ физическимъ уродствомъ, ни вульгарными манерами, ни безобразнымъ невѣжествомъ, ни черезчуръ грязной порочностью наклонностей и привычекъ? Надо не только напимать, но еще и выбирать, и даже до нѣкоторой степени контролировать наставниковъ. Надо усовѣщивать, урезонивать, уговаривать рѣзваго отрока, желающаго раньше времени превратиться въ веселаго юношу и запустить предпріимчивую руку въ папашины карманы, уже достаточно опустошенные сначала подвигами холостой жизни, а потомъ держаніемъ дома на приличной ногѣ. Надо сдерживать порывы пылкаго юноши авторитетомъ и поучительнымъ примѣромъ отца, а вѣдь это штука какая мудреная! Гдѣ ихъ возьмешь—примѣръ и авторитетъ? Въ какихъ магазинахъ счастливый отецъ пойдетъ покупать или заказывать себѣ эти вещи, когда онѣ ему понадобятся?

Невыгодная сторона брака, съ точки зрѣнія веселаго юноши, черезчуръ очевидна. Расходы, заботы, дѣтскій плачъ, мараніе шелковой мебели, женскія причуды, однообразіе супружескаго счастія—этого слишкомъ достаточно, чтобы превратить семейное счастье въ отвратительное страшилище, на которое человѣкъ можетъ броситься только очертя голову, подъ вліяніемъ

всепоглощающей страсти, или тѣснимый безвыходностью своего финансоваго положенія.

Привлекательная сторона супружеской жизни, съ той-же точки зрѣнія веселаго юноши, гораздо менѣе замѣтна. Можно даже сказать, что она совершенно исчезаетъ за сѣрымъ туманомъ заботъ и расходовъ. Любить жену и дѣтей—это повидимому такъ просто и естественно, что каждый самый дюжинный человѣкъ долженъ былъ-бы въ этомъ отношеніи оказываться совершенно состоятельнымъ. По дѣйствительная жизнь говоритъ намъ совсѣмъ другое: счастливыя супружества и нормальныя отношенія родителей къ дѣтямъ разсѣяны какъ крошечные оазисы въ цѣлой неизмѣримой Сахарѣ разнообразнѣйшихъ семейныхъ раздоровъ, которые начинаются обыкновенно съ затаенной взаимной антипатіи и кончаются нерѣдко грязными скандалами или даже уголовными преступленіями. Чтобы дѣйствительно любить жену и дѣтей, и чтобы этой любовью доставлять первой прочное счастіе, а вторымъ—истинную пользу, надо быть высоко развитымъ человѣкомъ, или по крайней мѣрѣ надо жить постоянно въ здоровой и укрѣпляющей атмосферѣ честнаго труда. Мыслящій человѣкъ достоинъ быть другомъ своей жены и своихъ дѣтей; работникъ, добывающій свой насущный хлѣбъ цѣною тяжелыхъ и постоянныхъ усилій, способенъ также уважать въ своей женѣ добрую и расторопную помощницу и воспитывать въ своихъ дѣтяхъ честныхъ и полезныхъ тружениковъ. Но тѣ люди, у которыхъ нѣтъ въ жизни ни опредѣленной цѣли, ни любимаго умственнаго труда, ни тяжелой необходимости заниматься ручной работой, тѣ люди, которые живутъ для того, чтобы платить оброкъ виноторговцамъ и содержателямъ увеселительныхъ заведеній,—тѣ могутъ понимать женщину только со стороны ея пластической привлекательности и относиться къ своимъ дѣтямъ такъ, какъ многіе старики и старухи относятся къ забавнымъ комнатнымъ звѣркамъ. Чего можетъ искать въ своей женѣ какой-нибудь г. Вольскій или его пріятель, цѣлующій незнакомыхъ женщинъ въ разные суставчики? Какими мыслями или чувствами, желаніями или ощущеніями могутъ такіе господа дѣлиться со своими супругами? — Вольскій можетъ сообщать своей женѣ, хорошо или дурно улегся въ его желудкѣ воль-о-ванъ или маіонезъ, съѣденный имъ за домашнимъ обѣдомъ. Онъ можетъ высказать ей, что чувствуетъ головную боль послѣ слишкомъ усерднаго знакомства съ бутылкой коньяка или мараскина. Онъ можетъ открыть ей, что желаетъ пріобрѣсти новую пару сѣрыхъ или рыжихъ жеребцовъ. Онъ можетъ дѣлиться съ ней опасеніями насчетъ того, что мошенникъ-староста не вышлетъ во-время изъ черноземной губерніи необходимое количество кредитныхъ билетовъ. Онъ могъ-бы пожалуй, еслибы дѣло пошло на откровенность, разсказать ей конфиденціально, что ему чрезвычайно понравилась нога такой-то балетной солистки или роскошныя плечи такой-то камеліи. Но такъ какъ подобные разговоры вести съ женой не принято и даже не безопасно, то по всей вѣроятности дѣло на откровенность не пойдетъ, и ноги вмѣстѣ съ плечами будутъ исключены изъ репертуара супружескихъ разговоровъ. Надо сказать правду, репертуаръ этотъ не роскошенъ, истощить его нетрудно,—и когда онъ окажется истощеннымъ, тогда томительная скука и взаимное презрѣніе усядутся за семейнымъ очагомъ, рядомъ съ фешенебельными супругами.

У Вольскаго и его веселыхъ товарищей, когда они имѣютъ неосторожность жениться по такъ называемой страстной любви, томительная скука начинается тотчасъ послѣ восторговъ медоваго мѣсяца. А такъ какъ люди этой категоріи могутъ доставлять себѣ подобные восторги по нѣскольку разъ въ годъ, нисколько не обременяя себя неразрушимыми обѣтами, то не трудно понять, почему господа Вольскіе чувствуютъ глубокое отвращеніе къ браку и предпочитаютъ покупать себѣ временныхъ подругъ жизни за наличныя деньги. Когда-же слишкомъ частыя покупки подругъ доводятъ господъ Вольскихъ до позорнаго разоренія, тогда они въ свою очередь продаютъ себя богатой женщинѣ или дѣвушкѣ, также за наличныя деньги.

Такъ слагаются въ веселомъ обществѣ Вольскаго отношенія между мужчинами и женщинами; понятно, что это не тѣ отношенія, которыя, по замѣчанію Толстого, составляютъ «надежнѣйшій оплотъ государственной жизни».

Въ нашей литературѣ уже не разъ слышались вопли о томъ, что семейныя добродѣтели начинаютъ увядать въ нашемъ отечествѣ, и виновниками этого увяданія выставлялись, съ свойственною нашимъ литераторамъ догадливостью, какіе-то теоретики, открыто проповѣдующіе людямъ голый развратъ, во имя какихъ-то новыхъ идей.—Это предположеніе, дѣлающее очень много чести остроумію и добросовѣстности нашихъ литераторовъ, блистательно опровергается тѣмъ нравоученіемъ, которое безъ малѣйшей натяжки можетъ быть выведено изъ повѣсти «Ольга». Въ самомъ дѣлѣ, процвѣтаетъ ли семейная жизнь въ веселомъ обществѣ Вольскаго, которое никогда не увлекалось никакими идеями—ни старыми, ни новыми?—Если не процвѣтаетъ, то стало быть ея процвѣтанію мѣшаютъ не зловредныя проповѣди какихъ-нибудь двухъ, трехъ увлекающихся фантазеровъ, а тѣ или другія общія условія, засѣвшія очень глубоко въ нашу вседневную жизнь и подчиняющія себѣ все то, что пассивно увлекается

теченіемъ этой жизни. Семейныя добродѣтели вянутъ и гибнутъ не отъ умственныхъ заблужденій, которыя, доразвившись до абсурда, сами себя уничтожаютъ и, во всякомъ случаѣ, обогащаютъ общество новымъ запасомъ опытности.

IV.

Пріятель князя Вольскаго знакомится съ княгиней Вецкой, видится часто съ ея воспитанницей Ольгой, влюбляется въ нее и наконецъ, при всемъ своемъ отвращеніи къ женитьбѣ, уже рѣшается сдѣлать ей предложеніе, какъ вдругъ узнаетъ, что Ольга — крѣпостная дѣвушка, дочь лакея Петра, находящагося въ услуженіи у старой княгини. Сдѣлавъ это замѣчательное открытіе, пріятель пріѣзжаетъ къ Ольгѣ и съ особенно язвительнымъ намѣреніемъ называетъ ее по имени и по отчеству. Что веселый юноша старается такимъ лакейскимъ маневромъ оскорбить ту дѣвушку, въ которую онъ влюбленъ,—это нисколько не удивительно. На то онъ и веселый юноша, на то онъ слушаетъ эстетическія лекціи въ Излеровскомъ университетѣ, на то онъ — пріятель Вольскаго, хладнокровно разсуждающаго о средствахъ погубить молодое и чистое существо!— Но удивительно и даже неправдоподобно то, что онъ, разсказывая всю исторію своимъ собутыльникамъ, самъ, безъ всякой надобности и съ особенной настойчивостью, упоминаетъ о своемъ мальчишескомъ стараніи уязвить бѣдную дѣвушку намекомъ на ея слишкомъ скромное происхожденіе. Это тѣмъ болѣе неправдоподобно, что вслѣдъ за глупой выходкой нашего пріятеля приводится длинное объясненіе его съ Ольгой,—объясненіе, въ которомъ нелѣпость и низость его язвительныхъ стараній выставляется на видъ самымъ убѣдительнымъ образомъ. Вслѣдствіе этого его разсказъ о глупой выходкѣ превращается въ сознательное самообличеніе, до котораго, по нашему мнѣнію, веселые юноши рѣшительно неспособны возвыситься. Веселымъ юношамъ даже до Гамлета щигровскаго уѣзда, какъ до звѣзды небесной, далеко.

Въ своемъ объясненіи съ пріятелемъ, къ которому она очень неравнодушна, Ольга высказываетъ очень вѣрный и спокойно объективный взглядъ на свое невыносимое положеніе. «Еслибы княгиня, говоритъ она между прочимъ, подумала о моей будущности, то она позаботилась-бы пристроить какъ-нибудь моего отца и уволила-бы его отъ лакейской должности. Скажите, сообразно-ли это съ чѣмъ-нибудь? Меня воспитываютъ, даютъ мнѣ образованіе, развиваютъ мои понятія—и тутъ-же подъ бокомъ держатъ отца моего въ униженіи! Да это безнравственно въ высшей степени, подумайте, ради Бога! Чего-же хотѣли отъ меня? Чтобъ я отвернулась отъ отца, стала-бы гнушаться, презирать его? Да они чуть и не добились этого! Когда я была маленькая, я избѣгала отца; но, благодаря Бога, съ развитіемъ разума, поняла, что онъ ни въ чемъ тутъ не виноватъ».

Почему именно умъ Ольги развился правильно въ такой атмосферѣ, гдѣ искажаются всѣ лучшіе человѣческіе инстинкты и гдѣ атрофируются всѣ благороднѣйшія человѣческія способности — это важная психологическая задача, которая у Толстого оставлена совершенно непропутой. Въ этомъ замѣчательномъ фактѣ нѣтъ ничего абсолютно невозможнаго. Бываютъ въ жизни такія стеченія обстоятельствъ, вслѣдствіе которыхъ живая мысль прокрадывается въ самыя темныя убѣжища рутины. Но авторъ, по нашему мнѣнію, не въ правѣ оставлять читателя въ недоумѣніи, и читатель вовсе не обязанъ присочинять отъ себя то, что̀ не договорено или не додумано авторомъ. Если читатель видитъ слѣдствія, то онъ долженъ видѣть и причины. Если онъ слышитъ умныя рѣчи отъ воспитанницы глупой и надутой барыни, княгини Вецкой, то онъ имѣетъ право требовать, чтобы ему показали главные моменты того процесса развитія, посредствомъ котораго молодая дѣвушка доработалась до вѣрнаго пониманія окружающихъ людей и своего собственнаго положенія.

Пріятель князя Вольскаго, слушая возлюбленную Ольгу, волнуется духомъ, проливаетъ слезы глупѣйшаго умиленія, припадаетъ къ рукамъ несчастной дѣвушки и, разумѣется, кончаетъ всѣ эти раздирательныя сцены тѣмъ, что прощается съ ней, потому что, въ самомъ дѣлѣ, не резонъ-же ему, ведущему хлѣбъ-соль съ великосвѣтскими фатами и напивающемуся каждый день въ самомъ отборнѣйшемъ обществѣ, вѣнчаться съ холопкой. Ольга разстается съ нимъ, какъ съ другомъ. По нашему мнѣнію, это обстоятельство составляетъ со стороны автора довольно важную психологическую ошибку, которая, правда, была необходима для того, чтобы Ольга впослѣдствіи могла разсказать веселому юношѣ окончаніе своей печальной исторіи, но которая все-таки нисколько не оправдывается этимъ соображеніемъ.

Если Ольга силами собственнаго ума доработалась до вѣрнаго и честнаго взгляда на междучеловѣческія отношенія, если она, блестящая барышня, не стыдится цѣловать въ обѣ щеки своего отца, перемывающаго княжескую посуду, то она должна смотрѣть съ глубокимъ презрѣніемъ на мужчину, который, имѣя полную возможность развиваться, совершенствоваться и бороться съ смѣшными заблужденіями общества, малодушно отступаетъ передъ фантастическимъ препятствіемъ, поставленнымъ людскою глупостью между нимъ и любимой дѣвушкой. «Чѣмъ болѣе я думаю», говоритъ Ольга своему обожателю, «тѣмъ бо-

лѣе убѣждаюсь, что для меня нѣтъ будущности». Невозможно понять, какимъ образомъ умная дѣвушка не видитъ, что будущность ея уничтожается не фальшивостью ея положенія, а просто нравственной дряблостью и умственной убогостью ея возлюбленнаго. Какъ-бы то ни было, психологическая ошибка очевидна, и прямымъ слѣдствіемъ этой ошибки оказывается конфиденціальный разговоръ, веденный между Ольгою и пріятелемъ въ великолѣпной каретѣ, въ которой Ольга, сдѣлавшаяся блистательной лореткой или камеліей, везетъ своего бывшаго поклонника на Елагинъ островъ и обратно. Въ этомъ разговорѣ Ольга объясняетъ веселому юношѣ, какимъ путемъ она дошла до необходимости продавать свои попѣлуи.

Смерть глупой графини Бецкой дала новый поворотъ всему существованію ея несчастной воспитанницы. Княгиня до послѣдней минуты осталась вѣрна своему характеру, то-есть завершила блистательной глупостью тотъ длинный рядъ нелѣпостей, которыми она отравила жизнь бѣдной Ольги съ самой колыбели. Желая обезпечить положеніе своей воспитанницы, она написала по-французски инструкцію своему единственному наслѣднику, князю Вольскому, и этого же самаго Вольскаго назначила своимъ душеприказчикомъ. Вольскій, разумѣется, поступилъ такъ, какъ долженъ поступить роскошный цвѣтокъ, распустившійся на грядкахъ Излеровскаго палисадника. Онъ употребилъ инструкцію своей бабушки на раскуриваніе сигары и предложилъ Ольгѣ сдѣлаться его любовницей за очень хорошую цѣну. Дѣлая ей это предложеніе, онъ говорилъ съ ней такъ, какъ приличному молодому человѣку подобаетъ говорить съ лакейскимъ отродьемъ. Онъ называлъ ее просто Ольгой и не баловалъ ее мѣстоименіемъ *вы*. Ольга, съ свойственною ея сословію безчувственностью и черной неблагодарностью, отвѣчала на почетное предложеніе великодушнаго князя горделивымъ и дерзкимъ отказомъ. Если за эту непристойную выходку ей не пришлось дорого поплатиться, то этимъ счастливымъ для нея обстоятельствомъ она обязана никакъ не предусмотрительности своей незабвенной благодѣтельницы и воспитательницы, а только тому случаю, что старая княгиня умерла уже послѣ реформы 19-го февраля 1861 года. Князь Вольскій съ своей стороны сдѣлалъ все, что было въ его власти. Онъ немедленно выгналъ строптивую холопку изъ своего княжескаго дома.

Для Ольги началось мучительное исканіе честнаго труда. Она хотѣла ѣсть хлѣбъ свой въ потѣ своего лица, но это лицо было такъ красиво, что добрые люди никакъ не могли допустить, чтобы ея бѣлая и тонкая кожа покрывалась каплями грубаго и непріятнаго трудового пота.

Чтобы найти себѣ работу и отвадить отъ себя любителей продажныхъ наслажденій, Ольгѣ надо было залить себѣ лицо купоросным масломъ. Она не догадалась или не рѣшилась употребить это героическое средство. Послѣ долгой борьбы съ гнетущей нищетой, она продала себя и была вознаграждена за благоразумную уступчивость удобной квартирой, мягкой мебелью, быстрыми рысаками и всѣмъ тѣмъ, что веселитъ сердце человѣка, неиспорченнаго завирательными идеями.

Этотъ очеркъ можетъ быть дополненъ еще двумя выразительными подробностями. Окончивъ свой разсказъ, отставной поклонникъ Ольги задаетъ своимъ веселымъ собесѣдникамъ вопросъ, какъ имъ держать себя съ Вольскимъ, который, какъ имъ извѣстно изъ разсказа, оказывается непристойнымъ пакостникомъ. Толпа погружается въ недоумѣніе, отъ котораго ее спасаетъ слѣдующій возгласъ одного изъ присутствующихъ: «можетъ и вретъ твоя прелестница?». Вся толпа съ единодушнымъ восторгомъ ухватывается за этотъ неожиданный выходъ изъ затруднительнаго положенія. Князь Вольскій по-прежнему остается въ глазахъ своихъ товарищей веселымъ малымъ, отличнымъ собесѣдникомъ и душой общества.

Вторая выразительная подробность состоитъ вотъ въ чемъ. Молодой человѣкъ серьезной наружности, нѣчто въ родѣ Здравосуда старыхъ комедій, произноситъ послѣ окончанія разсказа сердитый монологъ. Въ этомъ монологѣ онъ отдѣлываетъ очень справедливо всѣхъ дѣятелей выслушаннаго разсказа: самого разсказчика за малодушіе, Вольскаго за воровство, Бецкую за младенческое незнаніе жизни, Ольгу за безхарактерность, побудившую ее продаться, чтобы спастись отъ нищеты. Въ монологѣ юнаго цензора правовъ выразилось полнѣйшее презрѣніе ко всѣмъ понятіямъ того кружка, среди котораго онъ присутствовалъ; однакоже юный цензоръ самъ бражничаетъ съ разгромленными имъ негодяями, а оплеванные негодяи продолжаютъ обращаться съ нимъ, какъ съ милымъ товарищемъ. Они хорошо понимаютъ, что громъ не всегда бываетъ изъ тучи.

V.

Романъ «Болѣзни воли», напечатанный въ первомъ томѣ сочиненій Толстого, составляетъ начало цѣлаго ряда очерковъ, въ которыхъ авторъ хотѣлъ описать развитіе нѣкоторыхъ наиболѣе замѣчательныхъ первныхъ или душевныхъ болѣзней. «По первоначальному плану, говоритъ Толстой, авторъ намѣренъ былъ написать подъ этимъ заглавіемъ четыре очерка. Первый, *правдомания* (предметъ нынѣ перепечатываемой повѣсти изъ «Русскаго Вѣстника»

1859 года), второй *лжемания*, или вѣрнѣе *мания лжи*, третій *пироманія* и четвертый *убійствомания*».

Къ сожалѣнію, этотъ планъ остался невыполненнымъ, и въ печати появился до сихъ поръ только одинъ первый очеркъ. «Равнодушіе литературной нашей критики, продолжаетъ Толстой, къ первому очерку, о которомъ ни въ одномъ изъ журналовъ не было даже и упомянуто, заставило автора предположить, что несвоевременно еще вводить психіатрическія изслѣдованія въ область нашей беллетристики».

Равнодушное молчаніе литературной критики можетъ конечно огорчить и обезкуражить талантливаго писателя, выбирающаго себѣ совершенно самостоятельную дорогу и старающагося поднять въ своихъ произведеніяхъ еще нетронутые психологическіе и общественные вопросы,—но тѣмъ не менѣе мы рѣшительно не считаемъ возможнымъ согласиться съ тѣмъ предположеніемъ, на которое навела Толстого невнимательность журнальныхъ рецензентовъ. Журнальная толпа молчала потому, что незнала, какимъ образомъ отнестись къ совершенно оригинальному явленію, а лучшіе люди литературы не замѣтили психіатрическаго очерка, потому что ихъ вниманіе было постоянно устремлено на самыя насущныя потребности народной жизни, на самые животрепещущіе общественные вопросы, рѣшеніе которыхъ въ то время встрѣчало себѣ множество явныхъ и тайныхъ препятствій.

Въ 1859 году еще надо было доказывать, что русскимъ крестьянамъ необходима земля; надо было отстаивать крестьянскую общину противъ инсинуацій московскихъ англомановъ; надо было воспитывать въ русскихъ читателяхъ уваженіе къ человѣческой личности, надо было обучать русское общество азбукѣ политической и даже семейной нравственности; надо было анализировать самодурство во всѣхъ его разнообразныхъ проявленіяхъ, надо было наконецъ объяснить самой литературѣ, что, забавляя и усыпляя общество сладкими звуками, пестрыми картинами и самодовольными взглядами на собственныя прелести, она, литература, самымъ позорнымъ образомъ измѣняетъ своему высокому назначенію. Работы было много; работа не терпѣла отлагательства; а лучшіе люди были на-перечетъ, такъ что имъ невозможно было обнять и оцѣнить всѣ тѣ литературныя явленія, которыя стоили серьезной оцѣнки и которыя останавливали на себѣ вниманіе читателей. Въ лучшихъ нашихъ журналахъ критика никогда не гналась за полнотой образа; писатели выбирали обыкновенно только то, что давало имъ поводъ развить въ печати самыя задушевныя свои убѣжденія и подѣлиться съ читателями самыми своевременными совѣтами. Отъ этихъ писателей, заваленныхъ общеполезной работой и боровшихся съ самыми серьезными трудностями, нельзя было требовать даже и того, чтобы они сами прочитывали всю массу беллетристическихъ произведеній, появлявшихся въ нашихъ журналахъ. Чтобы не осудить себя на вѣчное чтеніе и отыскиваніе работы, этимъ писателямъ необходимо было въ большей части случаевъ руководствоваться заглавіемъ повѣсти или романа, подписью автора, фирмой журнала, въ которомъ напечатано данное произведеніе, или отзывами своихъ знакомыхъ. Еслибы, напримѣръ, самъ Добролюбовъ прочиталъ «Болѣзни воли» то легко можетъ быть, что онъ по поводу этого романа написалъ-бы одну изъ лучшихъ своихъ критическихъ статей. Но по всей вѣроятности отношенія Добролюбова къ «Болѣзнямъ воли» ограничились тѣмъ, что онъ бросилъ бѣглый взглядъ на обертку «Русскаго Вѣстника» и потомъ быстро пробѣжалъ въ романѣ Толстого нѣсколько страницъ, которыя показали ему только, что дѣйствіе происходитъ въ сумасшедшемъ домѣ. Сдѣлавъ это открытіе, Добролюбовъ вѣроятно отложилъ книгу въ сторону и перешелъ къ другимъ занятіямъ.

Такимъ образомъ критика промолчала о «Болѣзняхъ воли», но публика замѣтила этотъ романъ и прочитала его со вниманіемъ. О немъ въ свое время много говорили, и люди, познакомившіеся съ нимъ семь лѣтъ тому назадъ, помнятъ его до настоящей минуты. Поэтому мы никакъ не можемъ найти особенно похвальнымъ то обстоятельство, что авторъ сложилъ руки и до сихъ поръ оставляетъ ненаписанными тѣ три очерка, которые входили въ составъ его первоначальнаго плана. Литература наша совсѣмъ не такъ богата умными и добросовѣстно обдуманными произведеніями, чтобы мы могли относиться со снисходительнымъ равнодушіемъ къ бездѣйствію даровитыхъ мыслящихъ писателей, подобныхъ Толстому. Это бездѣйствіе тѣмъ болѣе предосудительно, что его въ данномъ случаѣ нельзя объяснить отсутствіемъ сюжетовъ. Сюжеты готовы, планъ обдуманъ, остается только приняться за выполненіе, а между тѣмъ писатель сидитъ сложа руки и сѣтуетъ на равнодушіе критики, вмѣсто того чтобы бороться съ этимъ мнимымъ равнодушіемъ новыми подвигами живого творчества. Если предосудительное бездѣйствіе автора вызвано дѣйствительно невниманіемъ литературной критики къ прежнимъ его произведеніямъ, то мы, по мѣрѣ нашихъ силъ, постараемся отнять у этого бездѣйствія его единственное и далеко не удачное оправданіе.

Мы желали-бы именно, чтобы Толстой привелъ въ исполненіе тотъ планъ, который онъ называетъ *первоначальнымъ*. Мы требуемъ отъ него не повѣстей и романовъ вообще, а именно психіатрическихъ очерковъ. Мы совершенно несогласны съ его рискованнымъ предположе-

піемъ, будто «несвоевременно еще вводить психіатрическія изслѣдованія въ область нашей беллетристики». Авторъ самъ-же говоритъ въ концѣ того-же предисловія, что во многихъ случаяхъ психіатрія и криминалистика должны идти рука-объ-руку, и что психіатрическіе вопросы пріобрѣтаютъ особенно важное значеніе при новомъ уголовномъ судопроизводствѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.

Это послѣднее мнѣніе мы признаемъ совершенно справедливымъ. Присяжные засѣдатели, не имѣющіе никакого понятія о душевныхъ болѣзняхъ, никогда не размышлявшіе надъ сложными психологическими и психіатрическими задачами и твердо убѣжденные въ томъ, что сумасшедшій долженъ непремѣнно бѣсноваться, драться, кусаться и плеваться, орать, хохотать, безчинствовать и городить невыносимѣйшую чепуху,—такіе присяжные, разумѣется, рискуютъ произнести осужденіе надъ сотнями такихъ людей, которые нуждаются не въ наказаніи, а въ систематическомъ леченіи. Если эти присяжные захотятъ руководствоваться исключительно судебно-медицинскимъ изслѣдованіемъ подсудимыхъ, то остроги навѣрное присвоятъ себѣ то, что по всѣмъ правамъ принадлежитъ психіатрической лечебницѣ. Во-первыхъ, медицинское изслѣдованіе считается необходимымъ только тогда, когда въ преступленіи оказывается что-нибудь до крайности странное и нелѣпое, или когда подсудимый во время своего содержанія подъ стражей начинаетъ вести себя черезчуръ оригинально. Во-вторыхъ, это изслѣдованіе производится часто съ поверхностной формальностью въ тѣхъ случаяхъ, когда оно ускользаетъ отъ внимательнаго и просвѣщеннаго контроля общественнаго мнѣнія. Въ третьихъ, каждый знающій и добросовѣстный медикъ сознается въ настоящее время, что въ очень многихъ случаяхъ помѣшательства мы, при самомъ внимательномъ изслѣдованіи, видимъ только слѣдствія, но не видимъ причинъ, то-есть, другими словами, наблюдатель замѣчаетъ у паціента ненормальность въ процессѣ мышленія и въ образѣ дѣйствій, но при всѣхъ своихъ стараніяхъ не можетъ открыть въ его тѣлѣ никакого разстройства. Когда совершено преступленіе, тогда самый фактъ преступленія служитъ яснымъ доказательствомъ ненормальности въ процессѣ мышленія и въ образѣ дѣйствій; затѣмъ остается только найти причину этой ненормальности; причину отыскиваютъ посредствомъ медицинскаго изслѣдованія, а когда это изслѣдованіе не ведетъ къ открытію органическаго разстройства, тогда рѣшаютъ, что преступленіе совершено подсудимымъ сознательно, при полномъ обладаніи всѣми умственными способностями. Неосновательность такого разсужденія совершенно очевидна, и присяжные, чтобы не разсуждать такимъ образомъ и чтобы не наказывать больныхъ людей, должны подвергать тончайшему психологическому анализу всю длинную цѣпь поступковъ, раскрытыхъ судебнымъ слѣдствіемъ и завершившихся той катастрофой, которая привела человѣка на скамью подсудимыхъ. Но чтобы анализировать человѣческіе поступки съ психологической стороны, надо же по крайней мѣрѣ знать приблизительно, что дѣлается здоровымъ человѣкомъ и что больнымъ, надо имѣть хоть какое-нибудь понятіе о томъ, гдѣ кончаются проявленія нормальной умственной дѣятельности, и гдѣ начинаются мысли, слова и поступки, подлежащіе вѣдѣнію психіатра. Эти общія понятія о границахъ нормальной душевной дѣятельности должны имѣть не судьи, не адвокаты, не прокуроры, а именно присяжные, то-есть люди, которые берутся для рѣшенія уголовныхъ дѣлъ изъ всѣхъ возможныхъ профессій и классовъ общества. Эти люди почерпаютъ свои знанія не изъ какой-нибудь одной учебной книги, не изъ лекцій какого-нибудь одного профессора, а изъ того общаго фонда свѣдѣній, взглядовъ и идей, который въ данный періодъ времени находится въ распоряженіи всей читающей массы. Не подлежитъ сомнѣнію, что беллетристическія произведенія находятъ себѣ наибольшее число читателей, и чѣмъ ниже стоитъ въ обществѣ уровень знаній и умственнаго развитія, тѣмъ значительнѣе разница, существующая всегда между числомъ читателей, преданныхъ одной беллетристикѣ, и числомъ читателей, посягающихъ также и на чисто научныя произведенія. У насъ эта разница чрезвычайно значительна; вслѣдствіе этого на нашей беллетристикѣ лежатъ такія важныя обязанности, которыя не могутъ быть выполнены за нее никакой другой отраслью литературы.

Одна беллетристика и съ нею вмѣстѣ ея неразлучная спутница, литературная критика, могутъ пускать въ обращеніе такія идеи, которыя для пользы и успѣшнаго развитія націи должны становиться общимъ достояніемъ всей читающей массы. Только беллетристика и литературная критика могутъ указывать обществу на тѣ многочисленные пробѣлы, которые бросаются въ глаза каждому мыслящему наблюдателю въ такъ называемомъ общемъ образованіи. Пополнять эти пробѣлы—дѣло строгой науки. Но направлять вниманіе общества на тѣ пункты, гдѣ необходимы знанія и гдѣ ихъ не имѣется въ наличности,—это можетъ дѣлать только самая распространенная и общедоступная отрасль литературы.

Въ томъ дѣлѣ, о которомъ мы говоримъ въ настоящую минуту, въ дѣлѣ расширенія и выясненія нашихъ взглядовъ на умственныя отправленія и душевныя болѣзни, беллетристика незамѣнима.

Превратить нашихъ присяжныхъ въ тонкихъ

психологовъ и опытныхъ психіатровъ беллетристика конечно не можетъ; это совсѣмъ не ея дѣло, да этого даже и не требуется. Но она дѣйствительно можетъ убѣдить каждаго добросовѣстнаго и неглупаго человѣка въ томъ, что всѣ психологическіе вопросы отличаются чрезвычайной сложностью и запутанностью, что вопросъ о преступности или непреступности провинившейся личности есть вопросъ чисто психологическій, и слѣдовательно чрезвычайно сложный и запутанный, и что при рѣшеніи подобныхъ вопросовъ необходима самая строгая осмотрительность и самая тщательная точность умозаключеній.

Пробуждая въ читающихъ людяхъ мучительное сознаніе ихъ теперешней некомпетентности въ рѣшеніи сложныхъ психологическихъ вопросовъ, изъ которыхъ слагается еще болѣе сложный вопросъ о виновности или невиновности подсудимаго, беллетристика можетъ и должна привести общество къ тому убѣжденію, что въ программу общаго образованія необходимо ввести науку о человѣкѣ, о его умственныхъ отправленіяхъ и душевныхъ болѣзняхъ. Въ виду такой задачи, которую только беллетристика можетъ рѣшить удовлетворительно, мы считаемъ совершенно неосновательнымъ то предположеніе Толстого, «что несвоевременно еще вводить психіатрическія изслѣдованія въ область нашей беллетристики».

VI.

Душевныя болѣзни отличаются отъ многихъ другихъ человѣческихъ недуговъ тѣмъ, что въ нихъ есть одна сторона, интересная не только для медика-спеціалиста, но и для всякаго образованнаго человѣка, способнаго задумываться надъ явленіями общественной жизни. Душевныя болѣзни развиваются всегда подъ постояннымъ вліяніемъ тѣхъ отношеній, которыя существуютъ между даннымъ субъектомъ и окружающими его людьми и обстоятельствами. На развитіе какого-нибудь воспаленія въ легкихъ или въ мочевомъ пузырѣ общественныя условія не могутъ имѣть никакого прямого вліянія, но на развитіе тѣхъ или другихъ галлюцинацій, той или другой мономаніи дѣйствуетъ такъ или иначе каждое столкновеніе заболѣвающей личности съ родственниками, съ начальствомъ, съ друзьями и съ врагами, съ бѣдностью и заботами, съ чужими взглядами, интересами, странностями или заблужденіями. Поэтому, прослѣживая шагъ за шагомъ постепенное усиленіе помѣшательства, романистъ и вслѣдъ за нимъ критикъ могутъ навести внимательнаго читателя на длинный рядъ плодотворнѣйшихъ размышленій о характеристическихъ особенностяхъ общественной жизни въ данный періодъ времени. Первый и единственный изданный психіатрическій очеркъ Толстого посвященъ подробному описанію одного изъ самыхъ интересныхъ видовъ душевнаго разстройства. Герой романа, князь Пронскій, одержимъ непреодолимой страстью всегда и вездѣ говорить людямъ всю правду, и только правду. Его коробитъ, возмущаетъ и наконецъ доводитъ до изступленія всякая ложь, всякая неискренность, всякая несправедливость и недобросовѣстность, въ чемъ-бы она ни выразилась—въ словахъ, въ поступкахъ или въ цѣломъ строѣ междучеловѣческихъ отношеній. Такой больной, какъ Пронскій, въ высшей степени способенъ быть героемъ романа.

Съ перваго своего появленія на сцену этотъ неустрашимый и пылкій обожатель истины приковываетъ къ своей свѣтлой личности, надъ которой горитъ съ дѣтства вѣнецъ подвижника и мученика, всю любовь, всю нѣжность, все глубокое и до болѣзненности страстное сочувствіе неиспорченнаго и незасосаннаго тиной жизни читателя. Невольно складывается въ умѣ изумленнаго читателя нескромный вопросъ: на чьей-же сторонѣ находится заблужденіе? На сторонѣ-ли того безукоризненно-чистаго и хрустально-прозрачнаго Донъ-Кихота, который съ четырнадцати лѣтъ садится на коня, ломаетъ копья за свою возлюбленную красавицу Правду и наконецъ влетаетъ на своемъ Россинантѣ прямо въ сумасшедшій домъ, или-же на сторонѣ того общества, которое съ ужасомъ и съ негодованіемъ отворачиваетъ лицо и закрываетъ глаза передъ ослѣпительнымъ сіяніемъ Правды?

Вопросъ этотъ у большинства читателей остается безъ отвѣта. Съ одной стороны они не осмѣливаются сказать человѣку: ты виноватъ тѣмъ, что не хочешь и не умѣешь лгать. Съ другой стороны они не рѣшаются осудить общество за то, что оно, требуя отъ человѣка постоянной лжи, этимъ мучительнымъ и позорнымъ требованіемъ доводитъ его до помѣшательства и загоняетъ его въ сумасшедшій домъ. Мы не будемъ останавливаться на этомъ вопросѣ и не попробуемъ рѣшать его ни въ ту, ни въ другую сторону. Пронскаго свидѣтельствуютъ въ губернскомъ правленіи и признаютъ помѣшаннымъ; Пронскаго везутъ въ Петербургъ и сдаютъ съ рукъ на руки опытному и добросовѣстному психіатру, какъ человѣка, неспособнаго жить въ обществѣ и пользоваться гражданскими правами. Опытный и добросовѣстный психіатръ принимаетъ его въ свою лечебницу, какъ человѣка, дѣйствительно нуждающагося въ медицинской помощи. Этихъ фактовъ черезчуръ достаточно для того, чтобы признать Пронскаго дѣйствительно помѣшаннымъ. Признаемъ этотъ пунктъ; согласимся съ приговорами медицинскихъ и чиновныхъ авторитетовъ; примемъ на вѣру ихъ рѣшеніе и разсмотримъ внимательно, во всѣхъ подробностяхъ, какой рядъ

столкновеній съ обществомъ довелъ князя Пронскаго до невозможности жить на свободѣ.

Попавши въ лечебницу, Пронскій, по совѣту главнаго доктора Пусловскаго, пишетъ свои воспоминанія съ той минуты, какъ онъ началъ отдавать себѣ отчетъ въ своихъ собственныхъ ощущеніяхъ и во всемъ томъ, что вокругъ него происходило. Въ своихъ запискахъ Пронскій разсказываетъ очень толково всѣ важнѣйшія событія своей жизни и анализируетъ очень отчетливо и тонко всѣ главныя фазы своего внутренняго развитія. Читателя не должно изумлять и озадачивать то обстоятельство, что сумасшедшій пишетъ такъ складно, умно и послѣдовательно. Тѣ явленія, которыя мы еще до сихъ поръ сваливаемъ въ кучу, подъ одну общую надпись: *безуміе*, *сумасшествіе* или *помѣшательство*, отличаются безконечнымъ разнообразіемъ. Безумными, сумасшедшими или помѣшанными называются на нашемъ, до крайности неточномъ разговорномъ языкѣ и такіе субъекты, которые бросаются на людей, чтобы избить или искусать ихъ, и такіе, которые потеряли способность составлять въ головѣ своей самыя простыя понятія, и такіе, которые съ утра до вечера, безъ цѣли и безъ смысла, твердятъ какія-нибудь два-три слова, и такіе, которые создаютъ себѣ силой своего разыгравшагося воображенія цѣлый міръ, доступный имъ однимъ и переполненный сказочнымъ блескомъ и великолѣпіемъ, и наконецъ даже такіе, съ которыми вы можете не безъ пользы и не безъ удовольствія разсуждать и спорить впродолженіи цѣлыхъ часовъ о самыхъ головоломныхъ, запутанныхъ и отвлеченныхъ вопросахъ науки, политики и литературы. Къ этой послѣдней, самой интересной и трогательной категоріи помѣшанныхъ принадлежалъ и князь Пронскій. Вотъ какими красками самъ Пронскій рисуетъ свое душевное разстройство.

«Признаками помѣшательства,—говоритъ онъ на первой страницѣ своего дневника,—или болѣзненнаго состоянія разума почитаются менѣе или болѣе сильныя уклоненія отъ общепринятыхъ формъ, какъ въ дѣйствіяхъ, такъ и въ мышленіи. Абсолютное приложеніе этого афоризма повело-бы къ весьма страннымъ результатамъ, а потому придумана слѣдующая оговорка: уклоненіе отъ общепринятыхъ формъ въ дѣйствіяхъ или мышленіи тогда только признается помѣшательствомъ, когда оно клонится ко вреду большинства членовъ гражданскаго общества. Такъ напримѣръ, ложь оффиціальная можетъ иногда быть признана полезной, а правда—вредной. Положимъ, что общественный порядокъ дѣйствительно иногда этого требуетъ, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы человѣкъ, увлекающійся правдою, былъ помѣшанный. Каждый безъ сомнѣнія испытываетъ по временамъ желаніе сказать пьяницѣ, что онъ—пьяница; вору, что онъ—мошенникъ; тупоумному, что онъ—дуракъ, но воздерживается, то-есть укрощаетъ это желаніе помощью таинственной пружины, называемой *волей*. Такъ вотъ въ чемъ дѣло! у меня попорчена пружина воли! Что-жъ толкуютъ о болѣзненномъ состояніи моего разума, тогда какъ у меня вполнѣ сохранилась способность мышленія? О люди, люди! Когда-же будете вы называть предметы настоящимъ ихъ именемъ? Когда перестанете вы отвѣчать, какъ говоритъ Пигасовъ Тургенева, на вопросъ, сколько составляетъ дважды два,—стеариновая свѣчка?»

Говоря о *таинственной пружинѣ*, Пронскій повторяетъ подлинныя слова автора. Въ предисловіи къ «Болѣзнямъ воли» было сказано, что авторъ намѣревался цѣлымъ рядомъ очерковъ изобразить «тотъ малоизвѣданный еще душевный недугъ, при которомъ ослабѣваетъ таинственная пружина, называемая *волей*. Намъ кажется, что въ дѣлѣ князя Пронскаго незачѣмъ было останавливаться на таинственной пружинѣ. Здѣсь анализъ могъ-бы пойти нѣсколько глубже, и таинственность, окружающая пружину, могла-бы такимъ образомъ до нѣкоторой степени разсѣяться. Этотъ болѣе глубокій анализъ могъ-быть произведенъ съ особеннымъ удобствомъ самимъ княземъ Пронскимъ, потому что онъ самъ, лучше всякаго посторонняго наблюдателя, можетъ отдать себѣ отчетъ въ тѣхъ побужденіяхъ, которыя заставляютъ его называть каждый предметъ его настоящимъ именемъ, то есть, пьяницу—пьяницей, вора—воромъ и дурака—дуракомъ.

Когда впечатлительный человѣкъ, подобный князю Пронскому, встрѣчается съ какимъ-нибудь нравственнымъ безобразіемъ, тогда въ немъ пробуждается отвращеніе и является потребность какъ можно скорѣе избавить себя отъ мучительнаго зрѣлища. Еслибы нравственное безобразіе могло развертываться и обнаруживаться, не нанося никому ни боли, ни ущерба, то всякій князь Пронскій поступилъ-бы при встрѣчѣ съ безобразіемъ такъ, какъ поступаемъ мы всѣ, наткнувшись гдѣ-нибудь въ полѣ на разлагающуюся падаль. Онъ постарался-бы пройти мимо ускореннымъ шагомъ, зажимая носъ, глаза или уши, смотря по тому, на который изъ этихъ органовъ данное безобразіе производитъ наиболѣе тягостное впечатлѣніе.

Но каждое нравственное безобразіе непремѣнно обрушивается такъ или иначе на какую нибудь жертву. Пьяница пропиваетъ деньги, въ которыхъ нуждается его семейство; воръ посредствомъ различныхъ хитростей отнимаетъ у другихъ людей продукты ихъ честнаго труда; дуракъ своей глупостью портитъ такія дѣла, отъ которыхъ зависитъ благосостояніе посторонихъ лицъ. Видя такимъ образомъ нравственное безобразіе, какъ причину, и физиче-

ское или нравственное страданіе, какъ неизбѣжное слѣдствіе, впечатлительный человѣкъ, подобный князю Пронскому, проникается неудержимымъ желаніемъ уничтожить или обезоружить безобразіе и прекратить ту пытку, которую терпитъ несчастная жертва. Въ этомъ желаніи нѣтъ еще ничего болѣзненнаго, ничего такого, что должно было-бы открыть впечатлительному человѣку гостепріимныя двери сумасшедшаго дома. Но далѣе пути расходятся, и люди, глубоко и тонко чувствующіе, отдѣляются отъ массы людей, прозябающихъ и ставящихъ выше всего интересы своего желудка и своего кармана. Рыцарское и пожалуй донъ-кихотское (Донъ-Кихотъ былъ очень честный человѣкъ) желаніе вступить въ смертельный бой съ нравственнымъ безобразіемъ и вырвать изъ его грязныхъ лапъ измученное имъ живое существо встрѣчаетъ себѣ нѣкоторое противодѣйствіе со стороны спокойнаго и хладнокровнаго размышленія на ту тему, что-молъ одолѣю-ли я это гнусное чудовище, и не найдетъ-ли оно себѣ многочисленныхъ и усердныхъ защитниковъ, и что скажутъ окружающіе зрители, и не намнутъ-ли мнѣ самому мои рыцарственные бока.

Голосъ практической мудрости или, другими словами, животный инстинктъ самосохраненія въ огромномъ большинствѣ случаевъ одерживаетъ перевѣсъ надъ всѣми остальными влеченіями и соображеніями. Добрые люди опускаютъ глазки и стыдливо проходятъ мимо нравственнаго безобразія, причемъ въ ихъ скромныхъ душоночкахъ шевелится какое-то подобіе радости и благодарности, которое можетъ быть сформулировано такъ: слава тебѣ, Господи, за то, что въ настоящую минуту бьютъ и оскорбляютъ не меня, а одного изъ моихъ ближнихъ! Именно это малодушное желаніе соблюсти во что-бы то ни стало неприкосновенность собственныхъ боковъ и собственныхъ интересовъ дѣйствуетъ на *таинственную пружину* и даетъ ей такое положеніе, что языкъ человѣка, смотрящаго на безобразіе, прилипаетъ къ гортани, а губы, изъ которыхъ должно было вылетѣть слово *пьяница*, *воръ* или *дуракъ*, слагаются въ неопредѣленно-благодушную улыбку.

Человѣкъ *воздерживается*, но изъ этого еще не слѣдуетъ то заключеніе, что у него *таинственная пружина* крѣпче, чѣмъ у другого человѣка, который, вмѣсто того чтобы воздержаться, разражается бурей негодованія. Фактъ воздержанія значитъ только то, что у даннаго субъекта чувство самосохраненія одерживаетъ верхъ надъ любовью къ ближнему, терпящему обиду отъ нравственнаго безобразія. Чтобы побѣдить въ себѣ это очень естественное чувство страха за собственную особу, надо сдѣлать надъ собой усиліе воли или, точнѣе, надо, чтобы таинственная пружина въ данномъ случаѣ попала подъ вліяніе сильнаго чувства, возбужденнаго видомъ чужого страданія. Таинственная пружина можетъ быть одинаково крѣпка и у того, кто воздерживается, и у того, кто бросаетъ въ глаза негодяямъ тѣ имена, которыя принадлежатъ имъ по праву. Вся разница между обоими людьми состоитъ въ томъ, что у перваго пружина подчиняется чувству робости, а у второго — чувству дѣятельной любви, которая побѣждаетъ и заглушаетъ въ рѣшительную минуту животный инстинктъ самосохраненія. Словомъ, воздерживается въ большей части случаевъ тотъ, кто любитъ ближняго вялой и хилой любовью, а разражается тотъ, кто способенъ любить глубоко и страстно.

Для людей послѣдней категоріи—для людей, недоступныхъ страху и способныхъ возвышаться до самаго чистаго героизма, существуетъ также возможность сдерживать взрывы великодушнаго негодованія.

Чтобы воздерживаться отъ мелкихъ, разрозненныхъ и совершенно безполезныхъ вспышекъ, имъ надо только знать общія и коренныя причины того нравственнаго безобразія, отдѣльныя проявленія котораго бросаются имъ въ глаза и возбуждаютъ противъ себя ихъ негодованіе. Когда общія причины зла изслѣдованы и приведены въ извѣстность, тогда не трудно сообразить, что надо дѣйствовать всѣми силами ума и всей энергіей таинственной пружины противъ этихъ причинъ, потому что, послѣ упраздненія причинъ, слѣдствія должны уничтожиться сами собой. Придя къ тому убѣжденію, что мелкая и безпорядочная война противъ мелкихъ и второстепенныхъ проявленій зла ведетъ только къ безполезному изнуренію самого бойца, человѣкъ, любящій своихъ ближнихъ, разсмотритъ какъ можно внимательнѣе положеніе общихъ и коренныхъ причинъ; увидитъ, какія главныя задачи представляются искреннимъ и неустрашимымъ противникамъ зла; поймете, что вся работа въ ея совокупности оказывается не по силамъ самому сказочному изъ всѣхъ сказочныхъ богатырей; попробуетъ свои способности на нѣсколькихъ различныхъ отрасляхъ предстоящей работы и наконецъ возьметъ себѣ на всю свою жизнь ту часть великаго труда, которая всего болѣе соотвѣтствуетъ складу его ума. Когда совершится этотъ выборъ, когда будетъ сдѣланъ этотъ важнѣйшій шагъ въ жизни мыслящаго мужчины, тогда уже безпорядочное разбрасываніе умственныхъ силъ и нравственной энергіи на шлифованіе мелкихъ житейскихъ шероховатостей становится невозможнымъ. Послѣ сдѣланнаго выбора, въ жизни человѣка есть смыслъ, есть цѣль, есть общественная задача, разрѣшеніе которой для него дороже самой жизни. Человѣкъ, сдѣлавшій разумный выборъ и идущій твердыми шагами по выбранной дорогѣ, можетъ при встрѣчѣ

съ пьяницей, съ воромъ, съ дуракомъ воздержаться отъ такихъ возгласовъ, которые былибы способны вовлечь его въ непріятную исторію, перессорить его съ обществомъ и поставить его въ затруднительное положеніе. Онъ воздержится не вслѣдствіе трусости, а вслѣдствіе горячей любви къ своей задачѣ. Онъ знаетъ, что передъ нимъ дѣйствительно находится пьяница, или воръ, или дуракъ, знаетъ онъ также и то, что эти уроды занимаютъ не то положеніе, которое приличествуетъ людямъ ихъ категорій; онъ испытываетъ также свойственное честному человѣку желаніе опозорить и заклеймить негодяевъ. Но прежде чѣмъ былъ сдѣланъ его выборъ, онъ въ этомъ опозориваніи и наложеніи клеймъ на вредныхъ негодяевъ видѣлъ свою прямую обязанность и единственную доступную ему форму служенія человѣчеству. Отъ этого привлекательнаго занятія его могло удерживать только чувство самосохраненія, и онъ совершенно основательно не довѣрялъ этому чувству, которое дѣйствительно всего чаще вовлекаетъ человѣка въ подлость и въ самое грязное поруганіе собственнаго достоинства. Теперь, послѣ выбора, дѣло совсѣмъ другое. Теперь ему сдѣлалась доступной такая форма служенія, для которой онъ развилъ въ себѣ извѣстныя способности, пріобрѣлъ спеціальныя знанія, усвоилъ себѣ, путемъ болѣе или менѣе продолжительной работы, необходимую сноровку. Теперь онъ имѣетъ право проходить молча мимо подлости и глупости; его молчаніе не можетъ быть поставлено ему въ укоръ и принято за потворство или нравственное сообщничество; вся его жизнь — постоянная борьба противъ преобладанія глупости и подлости; онъ борется съ ними рѣшеніемъ своей спеціальной задачи, и этимъ образомъ дѣйствій онъ приноситъ людямъ гораздо больше пользы, чѣмъ сколько могло-бы имъ принести самое настойчивое и неустрашимое называніе всѣхъ воровъ—ворами, а всѣхъ дураковъ—дураками.

Намъ кажется поэтому, что все несчастіе князя Пронскаго состояло въ его неумѣньи найти себѣ въ жизни опредѣленную, общеполезную задачу. Его умственныя и нравственныя силы, не сосредоточенныя ни на чемъ, потратились на безсвязные подвиги мелкой борьбы, въ которой, при отсутствіи всякаго опредѣленнаго плана, успѣхъ былъ совершенно невозможенъ. Безуспѣшность борьбы довела пылкаго и впечатлительнаго молодого человѣка сначала до отчаянія, а потомъ до сумасшедшаго дома.

Всѣ отдѣльныя подробности романа подтверждаютъ эту общую мысль.

VII.

Князь Пронскій воспитывался въ богатомъ деревенскомъ домѣ своей доброй и глуповатой матери, подъ руководствомъ французскаго эмигранта, m-r de Livry, который внушалъ своему воспитаннику, *«что Богъ создалъ свѣтъ для дворянскаго сословія»*, и что *«дворянинъ не долженъ лгать, даже если ему угрожаютъ смертью»*. Рѣзвому и воспріимчивому мальчику вбивался въ голову кодексъ такихъ нравственныхъ понятій, необходимость и разумность которыхъ никогда не доказывается и никакимъ способомъ не можетъ быть доказана. Изъ всѣхъ поученій M-r de Livry всего глубже подѣйствовала на ребенка мысль о священной обязанности говорить всегда правду, но эту мысль ребенокъ принялъ на вѣру, нисколько не отдавши себѣ отчета въ томъ, почему именно правда необходима, а ложь вредна во всякомъ человѣческомъ обществѣ. Ребенокъ полюбилъ правду и возненавидѣлъ ложь инстинктивно; ему втолковали, что первое—хорошо, а второе—дурно, и онъ свыкся съ этими взглядами, онъ привязался къ нимъ, онъ поставилъ ихъ въ своей душѣ выше всякаго сомнѣнія.

Какъ-бы ни были хороши сами по себѣ какія-нибудь правила нравственности, но если они преподаются догматическимъ тономъ ребенку, неспособному провѣрять ихъ силами собственнаго ума, то они могутъ сдѣлаться впослѣдствіи серьезнымъ препятствіемъ для его дальнѣйшаго умственнаго развитія. Вы говорите ребенку: не лги; вы сами никогда не лжете или никогда не попадаетесь во лжи такъ, чтобы вашъ воспитанникъ могъ уличить васъ въ нарушеніи вашего собственнаго правила; когда вы узнаете о томъ, что кто-нибудь солгалъ, вы обнаруживаете такое негодованіе и отвращеніе, которое приводитъ въ ужасъ вашего воспитанника, наводя его на ту мысль, что и самъ онъ можетъ подвергнуться съ вашей стороны точно такому-же презрѣнію, если ему случится какъ-нибудь исказить истину. Но ребяческой слабости характера, желая скрыть отъ васъ какую-нибудь свою шалость, вашъ воспитанникъ говоритъ неправду, запутывается и выводится на свѣжую воду; вы отворачиваетесь отъ него и впродолженіи нѣсколькихъ дней обходитесь съ нимъ сухо, холодно и презрительно; ребенокъ переживаетъ всевозможныя истязанія, смотритъ на себя, какъ на обезчещеннаго и погибшаго человѣка, чувствуетъ мучительную потребность наплевать себѣ самому въ лицо и путемъ своихъ страданій приходитъ къ тому убѣжденію, что нѣтъ на свѣтѣ ничего позорнѣе и ужаснѣе лжи. Черезъ нѣсколько времени послѣ этого искуса кто-нибудь изъ товарищей вашего воспитанника впадаетъ въ ту-же погрѣшность; вашъ воспитанникъ, со всей ревностью новообращеннаго фанатика, оретъ, что онъ не хочетъ и не можетъ имѣть ничего общаго съ низкимъ, отвратительнымъ и безсовѣстнымъ лгуномъ. Такимъ образомъ, путемъ

ежедневныхъ мелкихъ житейскихъ столкновеній, совершающихся въ тѣсныхъ предѣлахъ дѣтской и классной, въ душѣ вашего воспитанника постепенно укореняется, растетъ, развертывается и зрѣетъ слѣпая, неразборчивая, неосмысленная и неумолимая ненависть ко всему, что̀ сколько-нибудь похоже на ложь. Когда человѣкъ высказываетъ не то, что̀ думаетъ и чувствуетъ, или когда онъ утаиваетъ отъ другого свои поступки, чувства и мысли, тогда въ душѣ вашего воспитанника начинаетъ бушевать ураганъ негодованія, во время котораго процессъ спокойнаго размышленія прекращается, и дрожащія губы выбрасываютъ въ лицо провинившейся особы ругательныя слова: лгунъ, лицемѣръ, негодяй, подлецъ!—Вашему воспитаннику нѣтъ дѣла ни до какихъ смягчающихъ обстоятельствъ; онъ не спрашиваетъ о томъ, повредила-ли кому-нибудь сказанная ложь; онъ не вникаетъ въ побужденія солгавшаго человѣка; фактъ лжи совершился, онъ дознанъ и поставленъ внѣ всякаго сомнѣнія. Этого совершенно достаточно, потому что вашъ воспитанникъ ненавидитъ не зло, причиняемое ложью, а самую ложь, совершенно независимо отъ тѣхъ хорошихъ или дурныхъ послѣдствій, которыя она можетъ за собою повести въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Вашъ воспитанникъ ненавидитъ ложь такъ точно, какъ иные люди ненавидятъ пауковъ, или крикъ пустушки, или жареную баранину, или запахъ дегтя. На вопросъ о причинахъ этой ненависти всѣ эти люди, въ томъ числѣ и вашъ воспитанникъ, отвѣтятъ вамъ съ нарочитымъ жаромъ: потому что это (то есть ложь, пауки, крикъ пустушки, жареная баранина и запахъ дегтя) гадко, гнусно, противно, отвратительно! Вашъ воспитанникъ ко всѣмъ этимъ словамъ прибавитъ еще слово *безнравственно*, но эта прибавка, при всей своей эффектности, нисколько не измѣнитъ положенія вопроса и не убѣдитъ ни одного здравомыслящаго человѣка въ томъ, что, напримѣръ, во избѣжаніе безнравственности, слѣдуетъ откровенно сообщать больному такое извѣстіе, которое можетъ убить его во время болѣзни, и которое онъ, послѣ своего выздоровленія, выслушаетъ совершенно спокойно.

Вашъ воспитанникъ скажетъ *безнравственно*, но не съумѣетъ и не захочетъ поставить вопросъ на положительную почву, то-есть вычислить, для каждаго отдѣльнаго случая, количество осязательной пользы и осязательнаго вреда. Инстинктивное отвращеніе къ неправдѣ, воздѣланное въ его душѣ во времена далекаго дѣтства, когда его умъ еще не былъ въ состояніи перерабатывать и контролировать воспринимаемыя впечатлѣнія, это отвращеніе, сросшееся съ его душой на всю его жизнь, сталкивается на каждомъ шагу съ его сознательными нравственными убѣжденіями и производитъ во всемъ его образѣ мыслей и во всѣхъ его поступкахъ неизлечимую путаницу. Вашъ воспитанникъ знаетъ обстоятельно, что̀ полезно и что̀ вредно для человѣческой личности и для общества; пользу или вредъ каждаго явленія онъ можетъ доказать съ математической строгостью; но эти знанія и эта сила анализа не могутъ дать ему такую руководящую нить, по которой онъ расположилъ-бы всѣ свои поступки и весь строй своей жизни. Можетъ случиться и случается на каждомъ шагу, что къ полезному ведетъ извилистый путь хитрости и лукавства, и что съ другой стороны прямая дорога правды и откровенности приводитъ къ вреднымъ результатамъ. Тогда оказывается вдругъ, что полезное сдѣлалось отвратительнымъ, а вредное прекраснымъ. Вашего воспитанника одолѣваетъ паническій страхъ. Онъ бѣжитъ опрометью отъ ненавистнаго призрака лжи и дѣлаетъ одну за другой сотни глупостей, которыя всѣ приносятъ чувствительный вредъ ему самому, его друзьямъ и всему обществу.

Что̀-же слѣдуетъ изъ всего этого разсужденія? То-ли, что дѣтямъ не слѣдуетъ внушать съ самыхъ раннихъ лѣтъ любовь къ правдѣ? То-ли, что дѣтей надо исподволь пріучать ко лжи? Нисколько. Изъ всего это разсужденія получается только тотъ практическій выводъ, что вообще ничѣмъ не слѣдуетъ поражать слишкомъ сильно дѣтское воображеніе и класть тѣмъ или другимъ способомъ на дѣтскую душу слишкомъ глубокія нарѣзки или зарубки. Надо, чтобы ребенокъ, дѣлаясь человѣкомъ, могъ самостоятельной умственной работой переформировать весь строй своихъ убѣжденій. А для этого надо, чтобы въ его душѣ было какъ можно меньше безотчетныхъ и неистребимыхъ симпатій и антипатій, приросшихъ къ ней наглухо со временъ ребяческой безсознательности. Любить правду и ненавидѣть ложь въ высшей степени похвально. Но кто любитъ и ненавидитъ *слово* что̀-бы то ни было, тотъ никогда не сдѣлается мыслящимъ и полезнымъ человѣкомъ въ высшемъ и лучшемъ смыслѣ этого слова.

Вмѣсто того, чтобы озадачивать ребенка эффектными афоризмами вродѣ того, что дворянинъ никогда не долженъ лгать, даже подъ угрозой смерти, благоразумный воспитатель долженъ на дѣлѣ, при каждомъ отдѣльномъ случаѣ лжи, безъ мелодраматическихъ взрывовъ негодованія, безъ тирадъ и монологовъ, показывать своему воспитаннику, какимъ образомъ искаженіе или утаиваніе истины подрываетъ то взаимное довѣріе, которое необходимо во всякихъ отношеніяхъ между людьми вообще, и которое придаетъ особенную силу и прелесть отношеніямъ между друзьями. Тогда въ ребенкѣ воспитается та необходимая доза отвращенія ко лжи, которая, не ослабляя силы анализа

непреодолимыми симпатіями и антипатіями, заставитъ его въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ предпочитать прямой путь окольному, если только представляется возможность сдѣлать выборъ.

Вліяніе M-r de Livry, человѣка, принимавшаго свои сантиментальные максимы и сентенціи за убѣжденія, выработанныя умственнымъ трудомъ и житейскимъ опытомъ, человѣка, привыкшаго рѣшать всякіе нравственные и общественные вопросы готовыми французскими поговорками и прибаутками или цитатами изъ великихъ поэтовъ временъ великаго короля Людовика XIV,—такое вліяніе могло быть только или ничтожно, или вредно для пылкаго и воспріимчиваго мальчика, довѣреннаго его просвѣщеннымъ заботамъ. Оно было-бы ничтожно, если-бы въ гувернерѣ были какія-нибудь поворотныя наклонности, замѣтныя для ребенка и способныя возбудить въ немъ недовѣріе и презрѣніе къ личности воспитателя и ко всѣмъ его премудрымъ размышленіямъ и изреченіямъ. Если-бы M-r de Livry былъ обжорой и пьяницей, или льстецомъ, или сплетникомъ, или старымъ селадономъ, то его воспитанникъ очень скоро выработалъ-бы себѣ скептическій взглядъ на своего наставника и оцѣнилъ-бы по достоинству его попугайскую манеру рѣшать нравственные вопросы. Но вышло совсѣмъ иначе. M-r de Livry былъ старичокъ опрятный, приличный и прямодушный, держалъ себя съ достоинствомъ, ни въ комъ не заискивалъ, не пьянствовалъ, не заводилъ амуровъ съ горничными княгини Пронской и непритворно любилъ своего воспитанника. Маленькій Пронскій съ своей стороны любилъ и уважалъ своего воспитателя, видѣлъ въ немъ умнѣйшаго изъ окружающихъ людей, искалъ его совѣта въ трудныхъ случаяхъ своей дѣтской жизни и навсегда сохранилъ о немъ благодарное воспоминаніе. Вслѣдствіе всего этого де-Ливри былъ вполнѣ способенъ имѣть на Пронскаго самое вредное вліяніе, то-есть заразить его надолго, если не навсегда, своимъ безтолковымъ методомъ мышленія.

Очень немногіе люди способны рѣшать важные вопросы жизни самостоятельной работой собственнаго ума. Огромное большинство страдаетъ умственной лѣностью и чувствуетъ свою умственную несостоятельность, хотя и старается всѣми силами скрывать ее даже отъ своихъ собственныхъ глазъ. Когда возникаетъ въ жизни человѣка, принадлежащаго къ этому убогому большинству, какой-нибудь вопросъ, требующій себѣ немедленнаго рѣшенія, тогда этотъ человѣкъ, удручаемый умственной лѣностью и тайнымъ сознаніемъ своей безпомощности, только обращаетъ свои тусклые взоры на толпу и старается подмѣтить, какимъ образомъ представившійся вопросъ рѣшается этой толпой. Если эти старанія увѣнчиваются успѣхомъ, то-есть, если вопросъ принадлежитъ къ разряду такихъ, которые представляются всѣмъ и каждому и рѣшаются по заведенному образцу, то удрученный человѣкъ успокоивается, перестаетъ утруждать свою слабую голову несвойственными ей подвигами мышленія и радостно устремляется вслѣдъ за толпой. Баранъ прыгаетъ тамъ, гдѣ прыгнуло все стадо. Если, напротивъ того, для даннаго случая не припасено готоваго и общеизвѣстнаго рѣшенія, то человѣкъ толпы, во избѣжаніе невыносимыхъ умственныхъ мученій, сопряженныхъ съ трудомъ самостоятельнаго обсуживанія и размышленія,—углубляется въ архивъ своихъ воспоминаній и старается получить оттуда справку, не было ли такого-же мудренаго случая въ жизни кого-нибудь изъ знакомыхъ, и если такой случай дѣйствительно былъ, то какое воспослѣдовало рѣшеніе. Если въ архивѣ не оказывается ничего подходящаго, то несчастный человѣкъ начинаетъ терять голову. Какъ-же быть, думаетъ онъ, нельзя-ли какъ-нибудь рѣшить по пословицамъ, въ которыхъ, какъ извѣстно, сложенъ запасъ тысячелѣтней народной мудрости? Нѣтъ-ли чего-нибудь въ этомъ родѣ въ тѣхъ романахъ, которые я читалъ съ такимъ наслажденіемъ. Не помогутъ-ли мнѣ въ моемъ затруднительномъ положеніи *Опыты* Монтеня, *Размышленія* Паскаля, *Максимы* Ларошфуко, *Басни* Лафонтеня, или *Характеры* Лабрюйера? Наконецъ, когда ничто не беретъ, и когда вопросъ продолжаетъ съ прежней назойливостью торчать передъ носомъ несчастнаго барана, отбившагося отъ стада, тогда русское авось вступаетъ во всѣ свои права, и человѣкъ толпы, отчаявшись въ своемъ спасеніи, начинаетъ дѣлать съ плеча одну глупость за другой.

Какъ-же формируются такіе люди толпы, для которыхъ самостоятельное размышленіе оказывается труднѣйшей изъ всѣхъ возможныхъ работъ и одной изъ самыхъ невыносимыхъ пытокъ? Неужели эти люди отъ природы лишены способности мыслить? Нисколько. Ихъ головы имѣютъ такую-же правильную форму, какъ головы самыхъ смѣлыхъ мыслителей и самыхъ трудолюбивыхъ ученыхъ изслѣдователей. Бываетъ даже и такъ, что кабинетный работникъ, обогащающій свою науку новыми наблюденіями и размышляющій очень самостоятельно надъ своими фоліантами или ископаемыми костями, оказывается въ жизни очень робкимъ и умственно-лѣнивымъ рутинеромъ, прыгающимъ только тамъ, гдѣ прыгнуло все стадо. Людей толпы формируетъ преимущественно то несокрушимое довѣріе, которое они имѣютъ съ колыбели сначала къ кормилицѣ и нянькѣ, потомъ къ родителямъ и воспитателямъ, къ женѣ, къ друзьямъ и знакомымъ и наконецъ ко всѣмъ особамъ, изъ которыхъ составляется прилично-одѣтая масса. Это несокрушимое до-

вѣріе другъ къ другу нисколько не мѣшаетъ людямъ толпы считаться другъ съ другомъ въ каждой копѣйкѣ и грызться между собой изъ-за каждой мельчайшей частицы житейскихъ выгодъ и грошовыхъ удовольствій. Это несокрушимое довѣріе состоитъ только въ томъ, что каждый изъ людей толпы старается перебросить на сосѣда трудъ размышленія о всякихъ нравственныхъ и житейскихъ вопросахъ, съ тѣмъ, чтобы потомъ воспользоваться для себя готовымъ рѣшеніемъ, нисколько не пускаясь въ обсуживаніе его пригодности и основательности. Что-же касается до этого несокрушимаго довѣрія, то оно поддерживается совокупными усиліями всѣхъ тѣхъ людей старшаго поколѣнія, которые такъ или иначе, въ качествѣ родителей или воспитателей, стараются формировать подрастающее юношество по своему образу и подобію. Огромное большинство родителей и воспитателей заботятся прежде всего о томъ, чтобы довѣренныя имъ личности думали, чувствовали, говорили и поступали такъ, какъ думаютъ, чувствуютъ, говорятъ и поступаютъ *всѣ*. Кто эти *всѣ*, и чѣмъ такимъ особеннымъ они отличились, и почему необходимо стремиться имъ во слѣдъ—этого вопроса господа формирователи себѣ не задаютъ, по той причинѣ, что такого вопроса не задаютъ себѣ *всѣ*, и что слѣдовательно спасительность усерднаго подражанія *всѣмъ* не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Когда ребенокъ становится человѣкомъ, тогда въ большей части случаевъ фраза: *такъ дѣлаютъ всѣ* получаетъ для него какую-то магически обязательную силу и въ видѣ послѣдняго, неотразимаго аргумента заканчиваетъ собою всякія пренія. Но въ дѣтскомъ возрастѣ эта фраза не имѣетъ еще никакого значенія. На слова: *такъ дѣлаютъ всѣ* мало-мальски шустрый ребенокъ отвѣтитъ непремѣнно -«ну такъ что-жъ такое? А мнѣ что за дѣло?»—Этотъ дерзкій вопросъ или возгласъ переноситъ разсматриваемое дѣло на почву полезности и разумности,—на такую почву, по которой большинство родителей и воспитателей не могутъ слѣдовать за своими предпріимчивыми птенцами. Убѣдить птенца становится очень трудно, отчасти потому, что требованіе старшаго не отличается ни полезностью, ни разумностью, а отчасти и потому, что, на случай недовѣрія со стороны птенца, у старшаго не припасено для него никакихъ убѣдительныхъ доказательствъ. Тутъ начинается со стороны старшаго дѣйствіе личнаго авторитета, которое очень часто оказывается совершенно удачнымъ. Если нельзя убѣдить птенца, то его почти всегда можно поймать на удочку ласковаго обращенія и чувствительныхъ изліяній. Птенецъ разнѣжится, поступитъ по вашему желанію, откажется въ угоду вамъ отъ своихъ возникающихъ сомнѣній, будетъ гордиться вашей дружбой и, благодаря вашимъ попеченіямъ, сдѣлается безукоризненно-плоскимъ человѣкомъ толпы. Все это произойдетъ только въ томъ случаѣ, если вы съумѣете овладѣть любовью и уваженіемъ птенца. А для этого вамъ необходимо быть добродушнымъ и честнымъ человѣкомъ въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ слово честность понимается образованной толпой. M-r de Livry обладалъ всѣми качествами, которыя необходимы воспитателю для того, чтобы опошлить и обезсмыслить молодое существо, довѣренное его заботамъ. Онъ самъ былъ вполнѣ человѣкомъ толпы. Онъ былъ настолько добродушенъ и честенъ, что могъ пріобрѣсти и дѣйствительно пріобрѣлъ себѣ довѣріе, любовь и уваженіе Пронскаго. Что-же получилось въ результатѣ? Полнаго опошленія не получилось, потому что въ натурѣ мальчика было слишкомъ много пылкости, страстности и нервной раздражительности. Но получилось, если можно такъ выразиться, значительное засореніе молодого мозга самыми безтолковыми умственными пріемами и привычками. Выслушивая отъ стараго попугая разныя сентенціи и аѳоризмы, Пронскій принималъ ихъ сначала за аксіомы нравственной философіи. Эти аксіомы были для него крайними предѣлами, дальше которыхъ не смѣлъ идти его анализирующій умъ. Онѣ были для него статьями закона, подъ которыя онъ только подводилъ свои и чужіе поступки. Пронскій любилъ и хранилъ эти статьи закона, потому что онѣ напоминали ему почтенную фигуру стараго воспитателя. Онъ былъ подкупленъ воспоминаніями дѣтства въ пользу сентенцій M-r de Livry. Когда пришлось поневолѣ отбросить то, въ чемъ слишкомъ явно обозначились предразсудки стараго эмигранта, Пронскій сохранилъ изъ своего запаса все, что могло кое-какъ выдержать самую снисходительную критику. Онъ сохранилъ въ особенности, самъ того не замѣчая, ту манеру разсуждать, которой страдалъ M-r de Livry. Онъ продолжалъ подводить свои и чужіе поступки подъ статьи своего кодекса, не спрашивая въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, сколько пользы или вреда приноситъ данный поступокъ какой-нибудь человѣческой личности или цѣлому обществу.

VIII.

Пронскому было около четырнадцати лѣтъ, когда ему пришлось испытать первое серьезное столкновеніе съ житейской неправдой. Домъ его матери былъ переполненъ приживалками, между которыми первенствовала мелкопомѣстная дворянка, Аграфена Ивановна Бѣлова, дальняя родственница княгини. Эта Аграфена Ивановна, разумѣется, старалась всѣми силами угодить своей покровительницѣ, для того, чтобы попользоваться отъ нея земными благами, и старая

княгиня, по своей добродушной глупости, была твердо увѣрена въ томъ, что всѣ ласки и заискиванія госпожи Бѣловой вытекаютъ изъ полноты чистой и безкорыстной любви. Она цѣловалась и миловалась съ своей Аграфеной Ивановной, не спускала съ нея глазъ и любила сидѣть съ ней по цѣлымъ часамъ рука въ руку.

Во время продолжительной и опасной болѣзни старой княгини, когда Аграфена Ивановна, сдѣлавшаяся еще болѣе необходимой, съ неустрашимымъ постоянствомъ исполняла всѣ самыя утомительныя обязанности сидѣлки, молодому Пронскому случилось совершенно нечаянно подслушать конфиденціальный разговоръ, происходившій между этой самой Аграфеной Ивановной и ея мужемъ. Разговоръ начинается вопросомъ мужа: *подписано ли наконецъ завѣщаніе*? и ведется въ такомъ откровенномъ тонѣ, что госпожа Бѣлова произноситъ даже слѣдующій энергическій монологъ: «А ты думаешь, что мнѣ очень весело возиться съ этой дурищей? Ночи не спи, на полу валяйся. Перевертывай ее, ухаживай, да еще цѣлуй ее въ вонючую морду. Натерпѣлась я, нанюхалась я порядкомъ,—и при этомъ словѣ Бѣлова плюнула съ отвращеніемъ».

«Что-бы ей ужъ поскорѣй отправиться на тотъ свѣтъ, прибавляетъ она далѣе,—до смерти надоѣла». Любящему сыну, безъ сомнѣнія, очень тяжело и больно слушать такіе непочтительные и недоброжелательные отзывы о своей больной матери; но, если разсмотрѣть дѣло безпристрастно и хладнокровно, то надо будетъ сознаться, что ни въ словахъ, ни во всемъ поведеніи Аграфены Ивановны нѣтъ ничего особенно ужаснаго, ничего такого, за что образованная толпа имѣла-бы право забросать ее каменьями. Рядомъ съ Аграфеной Ивановной вы смѣло можете поставить любимаго Пушкинскаго героя, Евгенія Онѣгина, къ которому люди образованной толпы конечно нисколько не расположены относиться съ негодованіемъ и презрѣніемъ. Не угодно-ли вамъ будетъ припомнить, что «думалъ молодой повѣса, летя въ пыли на почтовыхъ».

По словамъ нашего великаго поэта, онъ думалъ вотъ что:

> Но, Боже мой, какая скука
> Съ больнымъ сидѣть и день и ночь,
> Не отходя ни шагу прочь!
> Какое низкое коварство
> Полуживого забавлять,
> Ему подушки поправлять,
> Печально подносить лекарство,
> Вздыхать и думать про себя:
> Когда-же чортъ возьметъ тебя!

Размышляя такимъ образомъ, *молодой повѣса*, *добрый пріятель* или любимецъ великаго поэта *летитъ въ пыли на почтовыхъ* собственно для того, чтобы, въ виду приближающагося наслѣдства, предаваться *низкому коварству* у постели умирающаго дяди. Госпожа Бѣлова говоритъ: «что-бы ей ужъ поскорѣй отправиться на тотъ свѣтъ», а Онѣгинъ собирается думать про себя: «Когда-же чортъ возьметъ тебя!» Правда, одна уже говоритъ, и другой только еще собирается думать, но, во-первыхъ, выраженія послѣдняго сильнѣе, чѣмъ выраженія первой, во-вторыхъ, есть достаточныя основанія предполагать, что Онѣгинъ, очутившись въ закупоренной спальнѣ своего дяди, быстро приведетъ въ исполненіе свой планъ усерднаго посыланія больного къ чорту, и наконецъ, въ третьихъ, Онѣгинъ изображаетъ собою племянника, а Аграфена Ивановна всего только дальнюю родственницу. Принимая въ соображеніе всѣ эти обстоятельства, надо придти къ тому убѣжденію, что госпожа Бѣлова и господинъ Онѣгинъ взаимно уравновѣшиваютъ другъ друга, какъ со стороны гуманныхъ отношеній къ умирающимъ особамъ, такъ и въ дѣлѣ соблюденія своего собственнаго человѣческаго достоинства. Правда, *вонючая морда*, украшающая собой энергическую рѣчь госпожи Бѣловой, не находитъ себѣ ничего равносильнаго въ монологѣ *молодого повѣсы* и *добраго пріятеля*; но и тутъ приходится принимать въ разсчетъ кой-какія обстоятельства, имѣющія значительное вліяніе на постановку вопроса. Во-первыхъ, Онѣгинъ только еще летитъ въ пыли на почтовыхъ, и, стало быть, совершенно неспособенъ составить себѣ достаточно яркое понятіе о букетѣ испытаній, отдѣляющихъ его отъ желаннаго наслѣдства Мы еще не знаемъ, что-бы онъ заговорилъ и какія-бы онъ измыслилъ крѣпкія слова, еслибы ему пришлось повозиться съ больнымъ старикомъ хоть десятую долю того времени, которое было потрачено неустрашимой Аграфеной Ивановной на воздѣлываніе княгини Пронской. Во-вторыхъ, Онѣгинъ такъ воспитанъ, что онъ даже морду своего бульдога способенъ назвать физіономіей, между тѣмъ какъ Аграфена Ивановна, по условіямъ своего воспитанія, способна даже свою собственную физіономію называть, смотря по вдохновенію, то рыломъ, то мордой, то харей, то рожей. Послѣ всего этого изслѣдованія мы имѣемъ полное право торжественно повторить, что Аграфена Ивановна и Евгеній Онѣгинъ ни въ чемъ не должны завидовать другъ другу.

Уравнявъ между собою эти двѣ личности, имѣющія повидимому мало общаго, спросимъ себя теперь, какимъ образомъ относится къ Онѣгину, и даже именно къ его размышленіямъ о больномъ дядѣ, огромное большинство людей, имѣющихъ болѣе или менѣе основательныя претен-

зіи на образованность. Намъ нѣтъ надобности ссылаться на сужденія, которыя произносятся иногда объ Онѣгинѣ въ салонахъ или будуарахъ обожателями и обожательницами поэзіи вообще и Пушкина въ особенности. Verba volant—слова летаютъ, уловить ихъ очень трудно; доказать, что они дѣйствительно были произнесены, — еще труднѣе, и поэтому было-бы совершенно безполезно распространяться о такихъ мысляхъ и умственныхъ направленіяхъ, которыя хотя и живутъ еще до сихъ поръ въ неподвижныхъ сферахъ нашего общества, но уже давно не могутъ найти себѣ соотвѣтственнаго выраженія въ текущей литературѣ. Намъ также незачѣмъ разсматривать, какимъ образомъ смотрѣлъ на Онѣгина самъ его творецъ, великій, дважды и трижды великій Пушкинъ. Уже давно извѣстно, что почти всѣ поэты, великіе и малые, отличаются въ очень значительной степени пріятной и красивой неопредѣленностью нравственныхъ убѣжденій. Рѣдкій поэтъ способенъ составить себѣ ясное и отчетливое понятіе о томъ, что̀ такое убѣжденіе и что̀ такое логическая послѣдовательность. Отсутствіе убѣжденій и неумѣнье размышлять вмѣняются даже въ особенную заслугу великимъ и малымъ поэтамъ и называются на языкѣ просвѣщенныхъ критиковъ высокой объективностью и всеобъемлющей любовью къ явленіямъ жизни. Поэтому оставимъ въ сторонѣ великаго поэта такъ точно, какъ мы отодвинули въ сторону міръ салоновъ и будуаровъ, преклоняющихся до настоящей минуты передъ неотразимой красотой онѣгинскаго типа.

Былъ у насъ одинъ критикъ, котораго дѣйствительно можно назвать великимъ, безъ малѣйшаго оттѣнка ироніи. Имя этого критика дорого каждому русскому человѣку, способному читать и думать. Двѣнадцать томовъ его сочиненій разошлись по всѣмъ концамъ Россіи. Ясное дѣло, что мы говоримъ о Бѣлинскомъ, съ которымъ можно и даже должно спорить о многихъ вопросахъ, но котораго нельзя не любить нѣжной, почтительной и страстно-благодарной любовью. Посмотримъ-же теперь, что̀ говоритъ Бѣлинскій объ отношеніяхъ Онѣгина къ умирающему дядѣ.

«Его дядя, разсуждаетъ Бѣлинскій, былъ ему чуждъ во всѣхъ отношеніяхъ. И что̀ можетъ быть общаго между Онѣгинымъ, который уже

. . . . . равно зѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ,

и между почтеннымъ помѣщикомъ, который въ глуши своей деревни

Лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился,
Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ?

Скажутъ, онъ—его благодѣтель. Какой-же благодѣтель, если Онѣгинъ былъ законнымъ наслѣдникомъ его имѣнія? Тутъ благодѣтель не дядя, а законъ, право наслѣдства. Каково-же положеніе человѣка, который обязанъ играть роль огорченнаго, сострадущаго и нѣжнаго родственника при смертномъ одрѣ совершенно чуждаго и посторонняго ему человѣка? Скажутъ, кто обязывалъ его играть такую роль? Какъ кто? Чувства деликатности, человѣчности. Если, почему-бы то ни было, вамъ нельзя не принимать къ себѣ человѣка, котораго знакомство для васъ и тяжело, и скучно, — развѣ вы не обязаны быть съ нимъ вѣжливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его къ чорту? Что въ словахъ Онѣгина проглядываетъ какая-то насмѣшливая легкость, въ этомъ видѣнъ только умъ и естественность, потому что отсутствіе натянутой и тяжелой торжественности въ выраженіи обыкновенныхъ житейскихъ отношеній есть признакъ ума. У свѣтскихъ людей это даже не всегда умъ, чаще всего манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей среднихъ кружковъ, напротивъ, манера—отличаться избыткомъ разныхъ глубокихъ чувствъ при всякомъ сколько-нибудь по ихъ мнѣнію важномъ случаѣ». Если въ словахъ Онѣгина: «когда же чортъ возьметъ тебя» *проглядываетъ какая-то насмѣшливая легкость*, признакъ ума и естественности, то въ словахъ Аграфены Ивановны «да еще цѣлуй ее въ вонючую морду» безъ всякаго сомнѣнія

Торжествуетъ мстительное чувство,
Догорая теплится любовь...

къ той лакомой подачкѣ, которая предполагается въ завѣщаніи княгини Пронской.

Не трудно понять, что все разсужденіе Бѣлинскаго фальшиво съ перваго слова до послѣдняго. Во-первыхъ, между Онѣгинымъ и его дядей очень много общаго. Зѣваніе перваго и созерцательная жизнь послѣдняго одинаково безполезны, безсмысленны, безтолковы и унизительны для человѣческаго достоинства. И Онѣгинъ, и его дядя коптятъ небо, живутъ сложа ручки, и съ невинностью, свойственной десятилѣтнему ребенку, поглощаютъ постоянно продукты чужого труда. Значитъ, они могутъ отъ всей души обнять и возлюбить другъ-друга. Во-вторыхъ, предположеніе Бѣлинскаго о томъ, что Онѣгину благодѣтельствуетъ законъ, а не дядя, совершенно произвольно. Не только дядя племянника, но даже отецъ сына можетъ лишить наслѣдства въ пользу болѣе отдаленныхъ наслѣдниковъ. Если-бы дядя передъ смертью прогнѣвался на Онѣгина, то *добрый пріятель* нашего поэта навѣрное не получилъ-бы имѣнія. Онѣгинъ ѣхалъ къ дядѣ именно для того, чтобы въ рѣшительную минуту скрѣпить съ нимъ дружелюбныя отношенія. На это указываютъ слова Онѣгина, что дядя

Всѣхъ уважать себя заставилъ
И лучше выдумать не могъ.

Онѣгину стоило только отказаться отъ наслѣдства, и тогда никто не обязывалъ-бы его *играть такую низкую роль*, и совсѣмъ не было-бы того положенія, о которомъ Бѣлинскій съ трагическимъ ужасомъ спрашиваетъ: *каково?* О чувствѣ деликатности и человѣчности тутъ совѣстно и заикаться. Еслибы Онѣгинъ собирался *полуживого забавлять* изъ чувства христіанской любви къ больному и умирающему ближнему, то ему незачѣмъ было-бы упрекать себя въ *низкомъ коварствѣ*, и также не былобы особенной надобности обращаться къ содѣйствію чорта. Наконецъ, съ той мыслью Бѣлинскаго, что мораль свѣтскаго человѣка стоитъ все-таки выше морали лавочника, старающагося молотить рожь на обухѣ, мы готовы согласиться, но при этомъ мы должны замѣтить, что можетъ существовать и даже существуетъ еще мораль честнаго человѣка, стоящаго на собственныхъ погахъ, живущаго собственнымъ трудомъ и не ожидающаго себѣ ни-откуда великихъ и богатыхъ милостей, ни отъ своихъ, ни отъ чужихъ, ни отъ дяденьки, ни отъ тетеньки. Такой человѣкъ имѣетъ право бросать, съ высоты своего трудового величія, взгляды спокойнаго презрѣнія на грязныя продѣлки Евгенія Онѣгина и Аграфены Бѣловой.

IX.

Униженный и оскорбленный бесѣдой о *вонючей мордѣ*, юный Пронскій ищетъ себѣ совѣта и утѣшенія на лонѣ стараго попугая М-г de Livry. Попугай отверзаетъ уста свои и по обыкновенію выбрасываетъ изъ нихъ глупыя слова, которыя на первый взглядъ могутъ показаться умными. Изъ этихъ глупыхъ словъ мы передадимъ читателямъ только малую долю. «Теперь, говоритъ де-Ливри, приступимъ къ обсужденію вопроса: какъ поступить съ открытой вами тайной? Во-первыхъ, ваша матушка такъ еще слаба, что опасно потревожить ее подобнымъ сообщеніемъ. Во-вторыхъ, это лишитъ ее дорогого для нея самообольщенія, что во всякомъ случаѣ непріятно, а тѣмъ болѣе въ настоящемъ положеніи вашей матушки. Наконецъ, къ чему-жъ это послужитъ? Да и наврядъ-ли княгиня повѣритъ подобному извѣщенію: дружба ея къ предательской родственницѣ слишкомъ укоренилась. Съ другой стороны, дать почувствовать виновнымъ въ лукавствѣ, что вамъ извѣстны ихъ замыслы, опасно и также, я думаю, ни къ чему не послужитъ. Повѣрьте, что они отрекутся отъ своихъ словъ, васъ-же осудятъ въ клеветѣ или припишутъ показанія ваши разстроенному, больному дѣтскому воображенію. Все это, скажутъ они, приснилось вамъ въ бреду, это послѣдствія томительныхъ ночей, проведенныхъ у постели больной вашей матушки».

Позвольте, спрашиваетъ быть можетъ недоумѣвающій читатель. За что-же однако вы обзываете М-г de Livry старымъ попугаемъ? По моему мнѣнію, его устами говоритъ сама мудрость. Онъ подаетъ ребенку самый полезный, разумный и спасительный совѣтъ. Развѣ можно придумать что-нибудь болѣе практичное. Къ тому-же слова его, какъ видно изъ дальнѣйшаго хода событій, оказываются даже пророческими словами.

На это замѣчаніе читателя мы съ своей стороны скажемъ также: позвольте! Совѣтъ дѣйствительно недуренъ, но тутъ главное дѣло не въ совѣтѣ, а въ его мотивированіи. Случай самъ по себѣ такъ простъ и ясенъ, что дать противоположный совѣтъ могъ-бы только полоумный или ребенокъ. Сказать Пронскому: надо поступать такъ-то—еще ровно ничего не значитъ. Важно и необходимо было объяснить ему, почему именно слѣдовало поступить такъ, — и убѣдить его, что поступить иначе было-бы не только неудобно, но и безчестно. Ливри, напротивъ того, сдѣлалъ все, что отъ него зависѣло, для того чтобы ослабить или даже совершенно уничтожить дѣйствіе своего совѣта. Какъ вамъ нравится это торжественное предисловіе: «теперь приступимъ къ обсужденію вопроса: какъ поступить съ открытой вами тайной?». Это предисловіе какъ-будто нарочно разсчитано на то, чтобы въ глазахъ бѣднаго ребенка преувеличить до крайнихъ предѣловъ возможнаго размѣры и значеніе того крошечнаго факта, на который ему случилось наткнуться. Пронскій узнаетъ отъ своего мудраго наставника, что существуетъ въ ихъ домѣ какая-то тайна, и что онъ, Пронскій, открылъ ее, и что съ ней надо какъ-нибудь поступить, и что тутъ возникаетъ вопросъ, къ разрѣшенію котораго надо приступать съ особенными прелиминаріями и предосторожностями. Продолженіе рѣчи соотвѣтствуетъ ея началу. Аграфена Ивановна получаетъ титулъ *предательской родственницы*, она и ея мужъ оказываются *виновными въ лукавствѣ*, этимъ виновнымъ приписываются *замыслы*, и наконецъ обличеніе виновныхъ является сопряженнымъ съ какой-то *опасностью*.

Изъ всѣхъ этихъ медвѣжьихъ пріемовъ стараго француза становится яснымъ до очевидности то обстоятельство, что онъ не знаетъ ни дѣтей вообще, ни Пронскаго въ особенности. Самыми неукротимыми идеалистами и самыми смѣлыми фанатиками бываютъ обыкновенно дѣти и очень молодые люди, только-что переставшіе быть дѣтьми. Когда отрокъ составилъ себѣ понятіе о томъ, что такое обязанность, и когда онъ забралъ себѣ въ голову, что онъ обязанъ

поступить такъ-то, тогда его не заставитъ отступить никакое указаніе на тѣ опасности, трудности и практическія неудобства, съ которыми сопряжено выполненіе его намѣренія. Ну, что-жъ за важность, отвѣтитъ онъ вамъ,—это значитъ только, что я долженъ трудиться, бороться, подвергаться опасностямъ, переносить лишенія и выдерживать страданія. Я на все готовъ, лишь-бы только мнѣ удалось исполнить мой долгъ. Если вы хотите сбить отрока съ его позиціи и отвратить его отъ задуманнаго поступка, то вы должны аргументировать съ нимъ во имя его собственнаго идеала и доказывать ему, что онъ *обязанъ* дѣйствовать не такъ, какъ онъ хотѣлъ, а совсѣмъ иначе. Если-же самый идеалъ отрока ложенъ и односторонен, то вы должны поворотить всю вашу аргументацію противъ этого односторонняго идеала, который составляетъ первую причину нелѣпыхъ поступковъ. Разрушивъ этотъ идеалъ, вы производите цѣлый переворотъ въ умственной жизни молодого человѣка, и только этимъ спасительнымъ переворотомъ вы избавите его отъ тѣхъ опасностей и страданій, которымъ онъ хотѣлъ подвергаться. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, критикуя практическіе выводы во имя принципа или доказывая нелѣпость основной идеи, вы непремѣнно должны выводить всѣ ваши доказательства противъ извѣстнаго поступка не изъ выгодъ данной личности, а изъ высокихъ обязанностей, налагаемыхъ на человѣка его естественнымъ назначеніемъ. Чисто утилитарная аргументація останется непонятной для вашего юнаго и малоразвитаго собесѣдника.

Изъ словъ стараго француза Пронскій увидалъ только то, что сдѣланное открытіе чрезвычайно важно, и что французъ труситъ и пятится назадъ передъ требованіями идеала, который онъ, французъ, самъ признаетъ вѣрнымъ и обязательнымъ для честнаго человѣка. Пронскій сказалъ себѣ, разумѣется, что онъ будетъ смѣлѣе, честнѣе и послѣдовательнѣе робкаго старика. Онъ посмотрѣлъ на M-r de Livry сверху внизъ и рѣшился дѣйствовать по своему.

Но какъ-же, спроситъ читатель, сталъ-бы говорить съ Пронскимъ умный человѣкъ, находящійся на мѣстѣ стараго француза? Намъ кажется, что между ребенкомъ и воспитателемъ могъ-бы тогда завязаться слѣдующій разговоръ.

Воспитатель. Вы передали мнѣ, другъ мой, отъ слова до слова разговоръ госпожи Бѣловой съ ея мужемъ. Что же именно въ этомъ разговорѣ волнуетъ и возмущаетъ васъ?

Ребенокъ. Какъ что? Помилуйте! Мою мать называютъ дурищей, говорятъ, что у нея вонючая морда, хотятъ, чтобы она поскорѣе умерла. Развѣ-жъ этого мало?

— Нѣтъ, этого довольно. Когда мы любимъ кого-нибудь, то мы желаемъ, чтобы этого человѣка любилъ весь свѣтъ; когда говорятъ дурно о томъ человѣкѣ, котораго мы любимъ, то насъ коробитъ это злословіе. Я понимаю ваше неудовольствіе. Но будьте-же благоразумны, подумайте хладнокровно: не можете-же вы въ самомъ дѣлѣ требовать, чтобы всѣ смотрѣли на вашу матушку съ такой-же любовью, съ какой вы на нее смотрите. Вы можете только настаивать на томъ, чтобы въ вашемъ присутствіи никто не произносилъ о вашей матушкѣ ни одного худого слова. Но вѣдь Аграфена Ивановна и ея мужъ конечно не знали, что вы лежите за перегородкой.

— Ахъ, да совсѣмъ не въ томъ дѣло. Мнѣ обидно то, какъ смѣетъ это говорить Аграфена Ивановна. Вѣдь посмотрѣть на нее, такъ подумаешь, что она души не слышитъ въ матушкѣ. Вѣдь стало быть вся ея любовь къ матушкѣ—все это притворство. И кто ее проситъ лицемѣрить? И кто ее заставляетъ цѣловаться съ моей матерью и сидѣть у ея постели?

— Изъ того разговора, который вы слышали, видно, что ее заставляетъ дѣйствовать такимъ образомъ желаніе получить отъ вашей матушки какой-нибудь подарокъ или что-нибудь по завѣщанію.

— Ну да? А развѣ-жъ это хорошо?

— А кто-же вамъ говоритъ, что это хорошо?

— Поэтому-то я волнуюсь; поэтому-то я и хочу вывести эту подлую Аграфену Ивановну на свѣжую воду. Я ей покажу, какъ шельмуютъ лицемѣровъ и негодяевъ.

— Понимаю. Вы разсердились на Аграфену Ивановну и хотите ей напакостить. Дѣло очень естественное. Но только вы напрасно считаете себя въ эту минуту рыцаремъ правды, и также напрасно думаете, что я буду вамъ сочувствовать въ вашемъ предпріятіи.

— Вы стало быть Аграфенѣ Ивановнѣ будете сочувствовать?

— Нѣтъ, не буду.

— Зачѣмъ же вы ее защищаете?

— И не думаю.

— Отчего же вы не хотите, чтобы я ее обличилъ?

— Во-первыхъ оттого, что ее не въ чемъ обличать, а во-вторыхъ потому, что я, любя и уважая васъ, не желалъ-бы, чтобы вы мстили тѣмъ людямъ, на которыхъ вы сердитесь.

— Теперь я ужъ рѣшительно не понимаю, что вы такое хотите сказать. Объясните пожалуйста, какимъ это образомъ Аграфену Ивановну не въ чемъ обличать.

— Это длинная исторія. Прошу васъ слушать внимательно, если вы хотите понять меня. Вамъ придется подумать теперь о многихъ такихъ вещахъ, о которыхъ вы до сихъ поръ ни разу не задумывались.—Вы знаете по всей вѣроятности, что Аграфена Ивановна бѣдная женщина?

— Знаю.

— Хорошо, но вы врядъ-ли понимаете, что такое бѣдность. Вы сами ни въ чемъ не нуждались съ минуты вашего рожденія. Вы никогда не видали, чтобы ваша матушка въ чемъ-нибудь себѣ отказывала. Вы жили на всемъ на готовомъ, вы знали, что стоитъ только послать приказчика въ городъ для того, чтобы получить оттуда все, чего вы желаете; вы слыхали, что деньги лежатъ у мамаши въ шкатулкѣ и что ихъ тамъ всегда довольно, и вы никогда не спрашивали себя, откуда берутся эти деньги, и что случилось-бы съ вами и съ мамашей, еслибъ эта шкатулка опорожнилась, и если-бы нечѣмъ было ее наполнить. Со многими другими людьми эта штука случается очень часто: имъ надо жить, надо ѣсть, надо одѣваться, надо топить печку, надо лечить больныхъ дѣтей, а денегъ нѣтъ ни въ шкатулкѣ, ни въ ящикѣ, ни въ сундукѣ. Что-же тутъ дѣлать? Надо идти просить денегъ у богатаго сосѣда. Идетъ бѣднякъ съ замираніемъ сердца, боится, что ему откажутъ, старается выбрать счастливую минуту, льститъ самолюбію богача, высказываетъ свою покорнѣйшую просьбу въ самой вѣжливой и смиренной формѣ, улыбается, когда ему хочется плакать или кричать, и соглашается, когда ему хочется возражать и спорить. Когда вы находите, что какой-нибудь Ивановъ или Петровъ глупъ и достоинъ вашего презрѣнія, то вы обращаетесь съ нимъ сухо и холодно и думаете про себя: какой молъ у меня откровенный и рыцарскій характеръ. Что я думаю и чувствую, то я прямо и выражаю своими поступками. А вѣдь въ сущности вся ваша рыцарская смѣлость и откровенность происходитъ отъ того, что у васъ въ шкатулкѣ есть деньги и что вамъ незачѣмъ просить взаймы у Петрова и Иванова. Вы видите, что передъ этими господами ежится и улыбается какой нибудь человѣчекъ въ потертомъ сюртукѣ, и вы тотчасъ рѣшаете, что этотъ человѣчекъ—подлецъ и негодяй. А на повѣрку выйдетъ можетъ быть, что этотъ человѣчекъ, уже погибшій въ вашемъ мнѣніи, работаетъ съ ранняго утра до поздней ночи, кормитъ своимъ трудомъ старуху мать и дюжину больныхъ сестеръ, отдаетъ имъ послѣдніе куски своего трудового хлѣба и улыбается глупымъ остротамъ Иванова и Петрова единственно потому, что эти господа могутъ упрятать его въ долговое отдѣленіе и заморить голодомъ его семейство, пользуясь тѣми обязательствами, которыя онъ выдалъ имъ во время тяжелой и продолжительной болѣзни и по которымъ онъ, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, не можетъ уплатить въ назначенный срокъ. Подумайте, хорошо-ли и честно-ли будетъ съ вашей стороны, если вы станете уличать такого человѣка въ гнусномъ притворствѣ и непростительномъ двоедушіи. Пріятно-ли вамъ будетъ, если вамъ удастся доказать Иванову и Петрову, что человѣчекъ въ потертомъ сюртукѣ считаетъ ихъ за дураковъ и обходится съ ними вѣжливо и даже любезно только изъ корыстныхъ видовъ.

— Стало быть, Аграфена Ивановна то-же, что человѣчекъ въ потертомъ сюртукѣ, а мать моя то-же, что глупый Ивановъ или глупый Петровъ?

— Не торопитесь. Я васъ предупреждалъ, что исторія будетъ длинная. Изъ притчи о человѣкѣ въ потертомъ сюртукѣ вы можете вывести только то заключеніе, что не всякая личность, умалчивающая или даже искажающая истину, заслуживаетъ порицаніе, осмѣяніе и презрѣніе, и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ усердный обличитель неправды можетъ оказаться гораздо гаже того мнимаго негодяя, котораго онъ старается вывести на свѣжую воду. Это вамъ не мѣшаетъ принять къ свѣдѣнію. Теперь слушайте дальше. Нашъ человѣчекъ на каждомъ шагу встрѣчаетъ вокругъ себя такихъ людей, которые такъ или иначе могутъ повредить ему въ средствахъ существованія; со всѣми этими людьми ему надо обращаться осторожно; у всѣхъ этихъ людей есть слабыя и смѣшныя стороны, которыя бросаются ему въ глаза, и которыя онъ однако-же долженъ проходить молчаніемъ, если не желаетъ нажить себѣ ожесточенныхъ и очень опасныхъ преслѣдователей. Со всѣми этими людьми онъ старается ладить, и ото всѣхъ этихъ людей онъ скрываетъ постоянно свои мысли и чувства. Всѣмъ имъ онъ, съ утра до вечера, каждый день и круглый годъ, говоритъ совсѣмъ не то, что онъ объ нихъ думаетъ. Онъ лжетъ постоянно, и вмѣстѣ съ нимъ лгутъ безъ умолку всѣ люди, находящіеся въ его зависимомъ и придавленномъ положеніи. Въ домѣ вашей матери, напримѣръ, лгутъ постоянно словами, движеніями, жестами, выраженіемъ лица всѣ нахлѣбники, всѣ приживалки и домочадцы. Кто сегодня солгалъ по необходимости, и завтра опять поставленъ въ необходимость солгать, и послѣ-завтра также, тотъ наконецъ привыкаетъ ко лжи, теряетъ отвращеніе къ ней, сживается съ атмосферой притворства, и въ этой испорченной атмосферѣ чувствуетъ себя очень привольно и легко. Рождаются у него дѣти; онъ и ихъ пріучаетъ съ раннихъ лѣтъ лгать и притворяться: онъ приказываетъ имъ ласкаться къ богатому родственнику, чтобы получить отъ него десятирублевую бумажку на платьице или на курточку. Дѣти цѣлуютъ руки у такихъ людей, которыхъ они едва знаютъ въ глаза, и которые смотрятъ на нихъ, какъ на докучливыхъ нищихъ. Вы счастливѣе этихъ дѣтей: васъ никто не развращалъ въ дѣтствѣ: ваше человѣческое достоинство находилось въ полнѣйшей неприкосновенности; но вѣдь это великое счастье досталось вамъ даромъ, безо всякой заслуги съ вашей стороны. Это счастье лежитъ въ шкатулкѣ вашей мамаши. Пользуй-

тесь имъ, берегите ваше человѣческое достоинство, которое вы получаете незамараннымъ изъ рукъ вашихъ родителей и воспитателей. Но не давите-же вашимъ презрѣніемъ и не преслѣдуйте вашими дешевыми обличеніями тѣхъ несчастныхъ дѣтей, которыхъ нравственныя качества не были охранены съ самой колыбели содержаніемъ мамашиной шкатулки. Повѣрьте, что другія дѣти хуже васъ только потому, что они бѣднѣе васъ и, слѣдовательно, несравненно чаще васъ принуждены сталкиваться съ грязными сторонами жизни.

— Да я и не думаю презирать этихъ несчастныхъ дѣтей. Я объ нихъ жалѣю. Но я только не понимаю, какимъ образомъ все, что́ вы говорите, можетъ относиться къ Аграфенѣ Ивановнѣ? Неужели же вы серьезно рѣшитесь утверждать, что ея поступки съ моей матерью не отвратительны? Еслибъ вы знали, какъ ее любитъ моя мать и какъ она увѣрена въ ея преданности. И вдругъ за всю эту любовь—дурища, вонючая морда и дай Богъ, чтобъ она умерла поскорѣй! Вы не говорите мнѣ о бѣдности, о притворствѣ, о несчастныхъ дѣтяхъ; вы возьмите фактъ, какъ онъ есть, и разберите его со всѣхъ сторонъ.

— Не забудьте, что тутъ сильно заинтересована ваша мать, и что мнѣ быть можетъ придется упомянуть о такихъ сторонахъ ея ума и характера, о которыхъ вамъ непріятно будетъ выслушивать мои замѣчанія.

— Ничего, говорите, говорите все! Я знаю, что вы не хотите оскорблять меня и мою мать, и скажете только то, что́ необходимо для разъясненія вопроса. Говорите! Правду я готовъ выслушивать о комъ-бы то ни было.

— Все, что́ я говорилъ о бѣдности, о притворствѣ, о несчастныхъ дѣтяхъ, относится вполнѣ къ Аграфенѣ Ивановнѣ. Я не желалъ-бы имѣть съ этой женщиной никакого дѣла, я всегда буду тщательно уклоняться отъ всякихъ дружескихъ отношеній и даже отъ короткаго знакомства съ ней; я твердо увѣренъ, что эта женщина не можетъ пользоваться уваженіемъ честнаго человѣка, но въ то-же время я такъ ясно вижу тотъ путь, который привелъ ее къ глубокому нравственному паденію, я такъ отчетливо понимаю неотразимость тѣхъ вліяній, которыя толкали ее въ болото,—что я не считаю возможнымъ и справедливымъ наказывать ее публичнымъ ошельмованіемъ. Аграфена Ивановна родилась отъ бѣдныхъ и благородныхъ родителей; ей втолковали съ дѣтства, что женщинѣ ея сословія стыдно и неприлично пойти въ ученье къ портнихѣ и сдѣлаться бѣлошвейкой, но нисколько не стыдно и очень прилично выпрашивать себѣ у родныхъ и знакомыхъ надушенныя мантильи и шляпки. Такъ она и выросла съ этими понятіями, и теперь вы ихъ не выживете изъ ея дубовой головы никакими резонами. Съ этими-же самыми понятіями и съ двумя-тремя выпрошенными платьишками ее выдали замужъ за господина Бѣлова, о которомъ, разумѣется, говорили при ней, что онъ молодъ и не чиновенъ, но зато умная голова и далеко пойдетъ. Значеніе послѣднихъ словъ было ей хорошо понятно. Она знала, что Бѣловъ умѣетъ ладить съ просителями и всякій разъ приноситъ домой изъ должности полонъ карманъ пятаковъ и гривенниковъ. Бѣловъ самъ не прочь былъ похвалиться передъ своей невѣстой своей служебной даровитостью и зналъ, что онъ за разсказы о своемъ высокомъ искусствѣ всегда можетъ получить отъ возлюбленной Груши нѣжный взглядъ или даже крѣпкій поцѣлуй. Вышла она замужъ; началось собираніе и откладываніе пятаковъ и гривенниковъ; пошли дѣти; нужда поминутно заглядывала въ ихъ грязную и сырую квартиру, не смотря на всю даровитость Бѣлова и на все попрошайничество Аграфены Ивановны. О стыдѣ, о нравственномъ благообразіи пришлось забыть окончательно. До стыда-ли тутъ, когда приходится топить печку черезъ день и готовить горячее кушанье всего раза по два въ недѣлю, чтобы кое-какъ сводить концы съ концами и одѣваться такъ, какъ того требуетъ амбиція благородныхъ людей. Въ видахъ попрошайничества Аграфена Ивановна ѣздитъ къ своей богатой родственницѣ и вдругъ начинаетъ замѣчать, что эта родственница съ искреннимъ удовольствіемъ выслушиваетъ ея сладкія рѣчи. «Постой, думаетъ Аграфена Ивановна, тутъ есть крупная пожива. Барыня-то, кажется, простовата и любитъ уши развѣшивать». Пробуетъ она пріѣхать погостить. Ее встрѣчаютъ ласково; собирается она домой,—ее удерживаютъ. Что-жъ ей дѣлать? Не отвертываться-же ей отъ своего счастья. И не влюбиться-же ей въ вашу мамашу, на которую она во всякую данную минуту смотритъ только какъ на толстый денежный мѣшокъ. Живя въ домѣ у вашей матери, питаясь ея подаяніями, ожидая отъ нея великихъ милостей, она только и можетъ держать себя такъ, какъ она себя держитъ дѣйствительно. Сердиться на нее не за что, такъ-же точно, какъ несправедливо было бы осуждать вашу мать за ея младенческую довѣрчивость. Поступки обѣихъ личностей вытекаютъ самымъ неизбѣжнымъ образомъ изъ всего ихъ прошедшаго. Одна поступаетъ, какъ опытная пріобрѣтательница, привыкшая обивать чужіе пороги и цѣловать благодѣтельскія ручки; другая поступаетъ, какъ богатая барыня, никогда не видавшая дѣйствительной жизни и никогда ни о чемъ не размышлявшая. Одна притворяется и поддѣлывается; другая любитъ свою подругу и вѣритъ въ ея любовь. Повидимому послѣдняя должна быть въ чистомъ убыткѣ, потому что за свою настоящую

монету она получаетъ фальшивую. Но въ этомъ случаѣ фальшивая монета оказывается лучше настоящей. Въ дружбѣ вашей матери съ Аграфеной Ивановной на долю первой достаются всѣ выгоды и удовольствія. Кто пляшетъ по чьей дудкѣ? Кто кому заглядываетъ въ глаза? Чьи желанія угадываются и предупреждаются? Чьи привычки и прихоти возводятся въ обязательный законъ? Аграфена Ивановна пресмыкается, Аграфена Ивановна льститъ, Аграфена Ивановна играетъ утомительную комедію, а матушка ваша только вдыхаетъ въ себя фиміамъ и предается сладостнымъ изліяніямъ дружбы. Положимъ, что фиміамъ оказывается очень низкаго достоинства, но вѣдь ваша матушка имъ довольна, а госпожа Бѣлова конечно не виновата въ томъ, что вкусъ ея благодѣтельницы до такой степени мало развитъ. Чѣмъ хуже былъ фиміамъ, тѣмъ сильнѣе госпожа Бѣлова убѣждена въ томъ, что ей должны за него заплатить, потому что тѣмъ труднѣе и непріятнѣе было его приготовлять. Еслибы Бѣлова въ самомъ дѣлѣ любила вашу матушку, то ей, Бѣловой, не за что было-бы платить; тогда всѣ ея заботы о спокойствіи и здоровьѣ вашей матери доставляли-бы ей самой живѣйшее наслажденіе; но теперь, именно теперь, когда вы знаете, что ея любовь—чистое притворство, теперь-то вы и должны заплатить ей щедрой рукой за всѣ ея труды и безпокойства. Эта щедрая расплата съ ней должна быть вашимъ единственнымъ мщеніемъ, потому что мстить Бѣловой чѣмъ-нибудь другимъ—значило-бы наказывать бѣднаго за то, что онъ бѣденъ, или урода за то, что онъ не похожъ на Аполлона Бельведерскаго.

X.

M-r de Livry ни въ чемъ не убѣдилъ нашего героя. Пронскій при первомъ удобномъ случаѣ объясняется съ своей матерью; мать ему не вѣритъ, Аграфена Ивановна становится его злѣйшимъ врагомъ и старается выжить его изъ дома. Дѣло кончается тѣмъ, что юнаго обличителя отправляютъ въ Петербургъ и помѣщаютъ тамъ въ учебное заведеніе. Въ этомъ заведеніи господствуетъ постоянная вражда между воспитанниками и воспитателями. Воюющія стороны съ утра до вечера хлопочутъ о томъ, чтобы какъ-нибудь перехитрить, подкараулить, застигнуть врасплохъ и побольнѣе оскорбить другъ-друга. Воспитанники шалятъ и безчинствуютъ преимущественно для того, чтобы разбѣсить воспитателей; воспитатели дѣлаютъ облавы на шалуновъ единственно для того, чтобы нанести этимъ врагамъ дисциплины и школьнаго спокойствія какъ можно больше физической боли. Каждый изъ двухъ лагерей имѣетъ своихъ перебѣжчиковъ; каждый изъ двухъ подсылаетъ въ противоположный лагерь своихъ лазутчиковъ. Великая война воспитанниковъ и воспитателей усложняется еще мелкими междоусобіями и партизанскими схватками, разыгрывающимися ежеминутно въ обоихъ лагеряхъ. «Вскорѣ я замѣтилъ, пишетъ Пронскій въ своемъ дневникѣ,—что ложь и лукавство—основныя начала всѣхъ отношеній не только-что между товарищами, но даже между учителями и ихъ учениками, между начальниками и подчиненными. Ни одного дня не проходило безъ разительнаго какого-нибудь примѣра въ этомъ отношеніи. То какой-нибудь шалунъ свалитъ собственную вину на товарища; то учитель всѣми неправдами оградитъ щедраго любимца и выдастъ менѣе догадливаго или менѣе любимаго ученика головой на съѣденіе инспектору; то надзиратель засадитъ въ темную за малѣйшую папироску, а въ другой разъ не обратитъ вниманія на цѣлыя облака табачнаго дыма, судя по личностямъ и отношеніямъ».

На эту безсмысленную, но ожесточенную школьную войну Пронскій является вооруженный афоризмомъ Ливри: «дворянинъ никогда не долженъ лгать, даже когда ему грозятъ смертью». Юное воображеніе Пронскаго разгорячено его неудачнымъ столкновеніемъ съ Аграфеной Ивановной; онъ понимаетъ, что его любовь къ правдѣ произвела охлажденіе между нимъ и его матерью; онъ считаетъ себя мученикомъ за правду и рѣшается мужественно нести свой терновый вѣнецъ. Понятное дѣло, что изъ этого скороспѣлаго и преждевременнаго героизма не получается ничего, кромѣ безсмыслицы. Пронскій постепенно всѣми своими поступками протестуетъ противъ той лжи, которая господствуетъ во всѣхъ проявленіяхъ школьной жизни. Но его протестъ никого за собой не увлекаетъ, никого не обращаетъ на путь истины и вообще не приноситъ ни малѣйшей пользы ни протестующему герою, ни его товарищамъ, ни его начальникамъ. Всѣ лгутъ по-прежнему и смотрятъ на Пронскаго, какъ на дурака или какъ на выскочку, желающаго понравиться начальству своей напускной правдивостью.

Но начальство, къ которому Пронскій, по мнѣнію своихъ товарищей, поддѣлывается, нисколько не поощряетъ его откровенности и наказываетъ его за каждую шалость, не смотря на его чистосердечныя признанія. Лишнія наказанія со стороны начальства и перасположеніе и недовѣріе товарищей—вотъ все, что получаетъ Пронскій за свою любовь къ правдѣ.

Тѣмъ лучше, скажетъ какой-нибудь юный идеалистъ, читающій эти строки. Значитъ, онъ безкорыстно преданъ своей идеѣ и имѣетъ полное право считать себя мученикомъ своихъ убѣжденій. Значитъ, онъ съ ранней молодости уподобляется лермонтовскому пророку, въ котораго всѣ его ближніе

Бросали бѣшено каменья.

Если назначеніе честнаго и даровитаго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы какъ можно рѣзче отдѣляться отъ массы другихъ людей и какъ можно красивѣе драпироваться въ свои добродѣтели, то конечно юный идеалистъ правъ, и Пронскій, съ своимъ безсмысленнымъ,слѣпымъ, но очень яркимъ протестомъ, рѣшаетъ задачу жизни самымъ удовлетворительнымъ образомъ, такъ что съ него должны брать примѣръ всѣ люди, способные и желающіе совершенствовать себя и другихъ. Но если великая задача жизни состоитъ въ томъ, чтобы по мѣрѣ силъ измѣнить къ лучшему тѣ невыгодныя условія, которыя мѣшаютъ людямъ дышать свободно и развиваться сообразно съ естественными законами, то подвиги правдолюбія, совершаемыя Пронскимъ, должны возбуждать въ насъ только чувство глубокаго состраданія къ несчастному герою, навсегда сбитому съ толку глупѣйшимъ домашнимъ воспитаніемъ. Безсмысленный протестъ всегда вреденъ, потому что онъ своей безсмысленностью подрываетъ въ массѣ окружающихъ людей уваженіе къ той вѣрной и святой идеѣ, во имя которой онъ совершается.

Ложь, безъ сомнѣнія, глубоко унижаетъ человѣческое достоинство и отравляетъ собой всѣ отношенія между людьми; но чтобы уничтожить эту ложь, надо очевидно устранить тѣ условія, которыя ее порождаютъ. Вмѣсто учителей, засыпающихъ на каоедрахъ и отмѣчающихъ уроки ногтемъ въ учебной книгѣ, надо поставить людей, способныхъ приковывать къ своимъ словамъ вниманіе цѣлаго класса, составленнаго изъ самыхъ отъявленныхъ шалуновъ. Вмѣсто распредѣленія занятій, постоянно насилующаго всѣ естественныя наклонности дѣтскаго организма, надо составить новое распредѣленіе, строго соображенное со всѣми предписаніями гигіены. Когда дѣти убѣдятся въ томъ, что воспитатели дѣйствительно любятъ ихъ, что никто не распоряжается ихъ поступками изъ одного мелочного желанія помудрить и обнаружить свою важность, когда учебныя занятія овладѣютъ ихъ вниманіемъ, и когда умственный трудъ сдѣлается для нихъ сначала пріятнымъ, а потомъ просто необходимымъ,—тогда имъ незачѣмъ будетъ лукавить, и ложь уничтожится сама собой, потому что правдивость не будетъ вести за собой никакихъ мучительныхъ слѣдствій. Но требовать правды, оставляя нетронутыми всѣ тѣ условія, которыя порождаютъ ложь,—значитъ требовать, чтобы на немощеной улицѣ не было грязи, когда идетъ дождь.

Какъ для Пронскаго, такъ и для того общества, въ которомъ онъ впослѣдствіи могъ-бы быть полезнымъ дѣятелемъ, было-бы гораздо лучше, если-бы онъ во время своего пребыванія въ школѣ ничѣмъ не отличался отъ своихъ товарищей и за-одно съ ними неустрашимо лгалъ-бы разъ по пятнадцати въ сутки. Ребенокъ, какъ-бы онъ ни былъ чистъ душой, конечно не можетъ улучшить нравы своихъ соотечественниковъ; у него на это нѣтъ ни крѣпкихъ легкихъ, ни житейской опытности, ни обширныхъ знаній, ни зрѣлаго ума, словомъ—ни одного изъ тѣхъ качествъ, которыя необходимы проповѣднику. Ученикъ, какъ-бы онъ ни былъ правдивъ и неустрашимъ, никогда не произведетъ въ своемъ училищѣ благодѣтельнаго переворота. Но ребенокъ можетъ впослѣдствіи сдѣлаться великимъ учителемъ нравственности, точно такъ, какъ ученикъ можетъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ сдѣлаться замѣчательнымъ реформаторомъ. Надо только, чтобы ребенокъ выросъ и возмужалъ, и чтобы ученикъ усвоилъ себѣ какъ можно больше знаній. Въ этомъ все дѣло. Пусть ребенокъ растетъ и здоровѣетъ, пусть ученикъ учится и развивается—это единственная и лучшая услуга, которую каждый изъ нихъ можетъ оказать обществу. Если-же малолѣтки заберутъ себѣ въ голову, что имъ тоже надо носить терновые вѣнцы, геройствовать и протестовать противъ существующей неправды, то произойдетъ только печальная и смѣшная трата драгоцѣнныхъ силъ,—трата, вслѣдствіе которой юные бойцы окажутся измученными и одряхлѣвшими людьми именно къ тому времени, когда для нихъ долженъ былъ-бы только начинаться періодъ разумной, серьезной и общеполезной работы.

Подвиги правдолюбія доводятъ наконецъ Пронскаго до необходимости выйти изъ училища. Дальнѣйшее крупное столкновеніе съ житейской неправдой происходитъ на поприщѣ гражданской службы. Двоюродный дядя Пронскаго, «завѣдывающій отдѣльнымъ управленіемъ на правахъ министра», опредѣляетъ его въ свою канцелярію и назначаетъ ему сразу значительное жалованье. Директоръ канцеляріи дружески жметъ руку своему новому подчиненному; сослуживцы Пронскаго обходятся съ нимъ подобострастно. Все это глубоко возмущаетъ нашего героя, и всему этому онъ имѣетъ наивность удивляться, точно будто всѣ эти частныя явленія сваливаются на землю, какъ аэролиты, а не развиваются самымъ естественнымъ и неизбѣжнымъ образомъ изъ общихъ причинъ, которыя всякій желающій можетъ разсматривать, ощупывать и изучать. Совершенное неумѣнье восходить въ своемъ процессѣ мышленія къ общимъ причинамъ заставляетъ Пронскаго выбрать себѣ такую среднюю дорогу, на которой нѣтъ возможности приносить обществу какую-бы то ни было пользу и на которой даже чрезвычайно трудно удержаться. Пронскій не отказывается отъ бюрократической дѣятельности, и въ то же время ни подъ какимъ видомъ не хочетъ помириться съ ея нравами

и обычаями. Онъ стремится служить, и въ то же время желаетъ оставить за собой право контролировать дѣйствія своихъ непосредственныхъ начальниковъ и возмущаться каждымъ ихъ поступкомъ, несоотвѣтствующимъ его собственнымъ нравственнымъ требованіямъ. Онъ не хочетъ и не умѣетъ понять, что передъ нимъ поставлена очень ясная дилемма: если хочешь служить, то повинуйся; а если хочешь мудрствовать и критиковать, то по меньшей мѣрѣ ступай вонъ и потомъ смотри со стороны на тотъ механизмъ, который ты желаешь анализировать. Служба требуетъ повиновенія и не допускаетъ вольнодумства; кто дожилъ до двадцати лѣтъ и не постигъ этой истины, великой въ своей простотѣ, тотъ никогда не сдѣлается общественнымъ дѣятелемъ и никогда не выберется изъ рокового разлада, существующаго между титаническими стремленіями и ничтожно-смѣшными результатами.

Возмущенный той протекціей, которую оказываетъ ему дядя, Пронскій переходитъ на службу въ другое вѣдомство и самоотверженно садится съ 1200 рублей годового жалованья на 300. На первыхъ порахъ Пронскій находитъ въ своемъ новомъ мѣстѣ служенія царство чистой справедливости. Директоръ обходится одинаково сурово со всѣми служащими, а Пронскому только того и надобно, чтобы его распекали наравнѣ съ другими. Мы не знаемъ, какъ скоро и съ какой стороны должно было воспослѣдовать для Пронскаго разочарованіе; не знаемъ также и того, какихъ размѣровъ и какого свойства оказалась-бы та польза, которую онъ по всей вѣроятности принесъ-бы отечеству своей усердной службой подъ начальствомъ правосуднаго директора Къ сожалѣнію, авторъ прервалъ интересный опытъ въ самомъ началѣ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія на новое мѣсто, Пронскій получилъ извѣстіе объ опасной болѣзни матери и, взявши отпускъ, поѣхалъ въ деревню. Мать его умираетъ за нѣсколько минутъ до его пріѣзда. Въ комнатѣ своей матери Пронскій находитъ письмо, въ которомъ покойница проситъ его передать деревню Выселки Аграфенѣ Ивановнѣ въ вѣчное и потомственное владѣніе. Послѣ того, какъ онъ прочиталъ это письмо, ему докладываютъ о пріѣздѣ уѣзднаго судьи, и онъ встрѣчается лицомъ къ лицу съ Бѣловымъ, мужемъ Аграфены Ивановны. Пронскій объявляетъ ему о желаніи покойницы, замѣчаетъ при этомъ, что письмо ея не имѣетъ никакой законной силы, и наконецъ обѣщаетъ Бѣлову подарить ему Выселки, если только онъ, Бѣловъ, признается, что жена его дѣйствительно нѣсколько лѣтъ тому назадъ ругала старую княгиню дурищей и приписывала ей вонючую морду.

— Г. Бѣловъ, говоритъ Пронскій,— умоляю васъ, успокойте меня, успокойте тѣнь матушки, признайтесь, ради самого Бога признайтесь.

Бѣловъ ни въ чемъ не признается, и Пронскій, чтобы положить конецъ тягостному разговору, соглашается безо всякихъ условій написать дарственную запись. Въ этомъ поступкѣ Пронскаго выражается уже съ поразительной ясностью такая умственная односторонность, которая чрезвычайно близко подходитъ къ помѣшательству. При всякомъ столкновеніи съ людьми Пронскій заботится только о томъ, чтобы не было лжи; сосредоточивая все свое вниманіе на одной этой сторонѣ дѣла, онъ упускаетъ изъ виду всѣ остальныя; онъ дѣйствуетъ такъ, какъ будто-бы въ человѣческой жизни не было никакого другого зла, кромѣ лжи. Вопросъ, который ему слѣдуетъ рѣшить, состоитъ въ томъ, отдавать или не отдавать деревню Выселки Бѣловой. Дѣло идетъ стало быть о судьбѣ двухъ сотъ душъ крестьянъ. Самъ Пронскій, въ разговорѣ съ Бѣловымъ, употребляетъ именно эту формулу. «Она желаетъ, говоритъ онъ,—чтобы я отдалъ въ вѣчное и потомственное владѣніе супруги вашей 200 душъ, находящихся въ Выселкахъ». Пронскій знаетъ, что Аграфена Ивановна—женщина грубая и корыстолюбивая; если онъ составляетъ себѣ не совсѣмъ вѣрное понятіе о ея характерѣ, то ошибка можетъ состоять только въ томъ, что онъ преувеличиваетъ ея дурныя стороны. Значитъ Пронскій, принимающій Аграфену Ивановну за олицетвореніе всякаго зла и за намѣстницу сатаны на нашей грѣшной землѣ, никакъ не можетъ себѣ воображать, что Аграфена Ивановна будетъ сколько-нибудь сносной помѣщицей. Между тѣмъ нашему добродѣтельному и правдолюбивому герою даже не приходитъ въ голову вопросъ о томъ, хорошо-ли будетъ жить тѣмъ 200 душамъ, которыя онъ собирается отдать въ чужія и притомъ въ очень грязныя руки. Пронскому засѣла въ голову только та мысль, что этого желала его умирающая мать, и что оставить это желаніе неисполненнымъ—значитъ солгать передъ тѣнью покойницы, обмануть ея надежды и оскорбить ея память. Какой цѣной купится это исполненіе желаній и надеждъ, какимъ страданіямъ подвергнутся двѣ сотни живыхъ людей ради того, чтобы успокоить кости мертвеца,—объ этомъ нашъ герой не умѣетъ подумать заранѣе, что впрочемъ не помѣшаетъ ему впослѣдствіи соболѣзновать объ участи подаренныхъ крестьянъ и принимать ихъ подъ свое покровительство, которое разумѣется не можетъ принести имъ ничего, кромѣ новаго горя. Но, забывая о судьбѣ, предстоящей двумъ сотнямъ человѣческихъ существъ, князь Пронскій помнитъ очень хорошо о томъ, что господа Бѣловы провинились во лжи, и что теперь, по поводу вопроса о Выселкахъ, ему, Пронскому, предста-

вляется удобный случай довести виновныхъ до откровеннаго сознанія, которое, по его мнѣнію, должно загладить совершившееся беззаконіе и успокоить разгнѣванную тѣнь старой княгини. Впрочемъ эта попытка такъ и остается неудачной и безплодной попыткой, потому что Бѣловъ, какъ человѣкъ, проникнутый благородной амбиціей, ни въ чемъ не признается, а у Пронскаго, при всей его антипатіи къ Бѣловымъ, не хватаетъ духу обмануть послѣднія надежды умершей матери. Деликатность и правдивость Пронскаго обрекаютъ такимъ образомъ выселковскихъ мужиковъ на мучительное порабощеніе.

XI.

Совершивъ передачу Выселокъ, Пронскій выходитъ въ отставку, поселяется въ деревнѣ и начинаетъ заниматься хозяйствомъ, причемъ разумѣется обнаруживаетъ блистательно не только свое незнаніе жизни, но еще кромѣ того свою совершенную неспособность узнать жизнь когда-бы то ни было. Онъ заводитъ школу и въ этой школѣ учреждаетъ музыкальный классъ для смягченія грубыхъ мужицкихъ нравовъ. Дворовыхъ обоего пола онъ собираетъ по вечерамъ въ просторную залу и тамъ заставляетъ ихъ дремать подъ звуки назидательнаго чтенія. Къ своимъ полямъ онъ примѣняетъ теоріи заграничныхъ агрономовъ такъ удачно, что хлѣбъ совсѣмъ перестаетъ родиться и что скотину приходится гонять на водопой черезъ засѣянныя поля. Зато поучительнымъ разговорамъ съ крестьянами нѣтъ конца; Пронскій собираетъ сходки чуть не каждый день и по нѣсколько часовъ подъ-рядъ умоляетъ мужиковъ возлюбить правду и возненавидѣть ложь. «Ложь, говоритъ онъ однажды для пущей убѣдительности,—исчадіе ада, у нея змѣиный языкъ и зеленые, огненные глаза». Здѣсь портретъ лжи срисованъ съ Аграфены Ивановны, у которой также были зеленые, огненные глаза и змѣиный языкъ каждый разъ, когда она являлась Пронскому во снѣ; а мучительныя сновидѣнія эти посѣщали нашего героя послѣ каждаго сильнаго нервнаго потрясенія. Мы до сихъ поръ не говорили объ этихъ сновидѣніяхъ и галлюцинаціяхъ и вообще намѣрены говорить о нихъ очень мало, потому что мы не чувствуемъ себя способными разбирать повѣсть Толстого съ психіатрической точки зрѣнія. Похожденія Пронскаго и развитіе его болѣзни интересуютъ насъ настолько, насколько въ нихъ обрисовываются различныя стороны нашей общественной жизни и вліяніе этихъ сторонъ на очень впечатлительнаго и очень честнаго человѣка, у котораго чувство вездѣ и всегда преобладаетъ надъ мыслью. Нашъ анализъ до сихъ поръ постоянно приводилъ насъ къ тому убѣжденію, что такіе характеры не годятся для нашей жизни и что наша жизнь также для нихъ не годится. Мы не могли сочувствовать ни тѣмъ явленіямъ жизни, противъ которыхъ возставалъ Пронскій, ни самому протестующему герою. Мы сознавали очень хорошо, что этотъ протестъ честенъ и смѣлъ, но мы также видѣли очень ясно и старались показать читателю въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, что этихъ качествъ слишкомъ недостаточно для того, чтобы доставить протесту хотя малѣйшіе шансы успѣха. А безнадежный и, если можно такъ выразиться, мертворожденный протестъ противъ какого-бы то ни было нравственнаго или общественнаго зла приноситъ обществу всегда гораздо больше вреда, чѣмъ пользы. Чтобы быть успѣшнымъ, протестъ долженъ быть глубоко обдуманъ и приноровленъ самымъ искуснымъ образомъ къ существующимъ обстоятельствамъ мѣста и времени. Протестующая личность должна соединять въ себѣ голубиную кротость съ змѣиной мудростью. У бѣднаго князя Пронскаго не было ничего, кромѣ голубиной кротости, и поэтому каждое его доброжелательное предпріятіе заканчивалось какой-нибудь печально-комической неудачей.

Пронскій замѣтилъ, что крестьяне его живутъ бѣдно; голубиная кротость тотчасъ внушила ему ту мысль, что онъ можетъ улучшить ихъ положеніе; безо всякихъ дальнѣйшихъ размышленій Пронскій собираетъ сходку и объявляетъ мужикамъ, что «мы — всѣ дѣти одного отца, что всѣ мы созданы по образу и подобію Божьему и что должны все дѣлить, и горе, и нужды, пополамъ» Послѣ сходки мужики стали просить себѣ у барина того, что было необходимо каждому изъ нихъ для поправленія разстроеннаго хозяйства; баринъ никому не отказалъ, и съ тѣхъ поръ даровыя раздачи хлѣба, лѣса, коровъ и лошадей стали повторяться очень часто. Такъ какъ Пронскій требовалъ отъ мужиковъ полной откровенности и при этомъ пугалъ ихъ призракомъ лжи или фантастическимъ портретомъ Аграфены Ивановны, то мужики и бабы объявляли ему очень откровенно, что имъ тяжело работать цѣлые дни подъ палящими лучами іюльскаго или августовскаго солнца. Тронутый ихъ откровенностью, которая очевидно доказывала ему благодѣтельное вліяніе музыкальнаго класса и продолжительныхъ бесѣдъ на сходкахъ, Пронскій отпускалъ рабочихъ съ поля, предоставляя хлѣбу осыпаться или гнить на корню. Все это было добродушно и добродѣтельно, но такъ какъ Пронскій былъ удрученъ полнѣйшимъ отсутствіемъ змѣиной мудрости, то онъ и не умѣлъ предусмотрѣть и разсчитать заранѣе неизбѣжныя послѣдствія своихъ распоряженій. Онъ не сообразилъ того, что молва о его необычайномъ великодушіи разнесется по всему околотку, что сосѣдніе крестьяне будутъ невольно сравнивать свою тяжелую

участь съ тѣмъ веселымъ житьемъ, которое устроилъ Пронскій своимъ мужикамъ, и что окружающіе помѣщики, испуганные одной возможностью такого неудобнаго сравненія, поднимутъ такую тревогу, отъ которой ему, Пронскому, не удастся отсидѣться въ затишьѣ своего деревенскаго дома. Благодаря своему младенческому простодушію, Пронскій очень удивляется, когда исправникъ, заѣхавши къ нему въ имѣніе, заводитъ съ нимъ разговоръ о его домашнихъ дѣлахъ и подаетъ ему совѣтъ вести свое хозяйство менѣе эксцентричнымъ образомъ, такъ, чтобы не возбуждать неудовольствія и несбыточныхъ надеждъ въ крестьянахъ окружающихъ имѣній. Встрѣтившись съ упорной и злобной оппозиціей того общества, въ которомъ ему приходится жить и дѣйствовать, Пронскій, какъ человѣкъ, застигнутый врасплохъ, становится втупикъ. Онъ не ожидалъ сопротивленія, его изумляетъ вмѣшательство постороннихъ людей въ его домашнія распоряженія, и на серьезныя замѣчанія исправника, высказанныя мягкимъ и осторожнымъ, но очень внушительнымъ тономъ, онъ не умѣетъ отвѣчать ни однимъ дѣльнымъ возраженіемъ и ограничивается только очень рѣзкими и смѣшными выходками противъ Аграфены Ивановны. Когда исправникъ доводитъ до его свѣдѣнія, что г. Бѣловъ, исправляющій должность предводителя дворянства, обратилъ вниманіе на *вышеречeнныя обстоятельства*, т. е. на оригинальныя отношенія, сложившіяся между помѣщикомъ и крестьянами, тогда Пронскій отвѣчаетъ, какъ разсердившійся десятилѣтній мальчикъ: «такъ скажите ему отъ меня, чтобъ онъ не осмѣливался вмѣшиваться въ мои дѣла, а смотрѣлъ-бы получше за своей супругой, у которой змѣиный языкъ, чертовскіе глаза и кошачьи ногти, такъ и скажите. Слышите!» Ясное дѣло, что такого рода протестами противъ лжи, рутины и бездушнаго корыстолюбія нашъ добродѣтельный герой оказываетъ своимъ врагамъ драгоцѣнныя услуги и очень старательно прокладываетъ себѣ широкую дорогу въ сумасшедшій домъ.

Далѣе Пронскій совершенно запутывается въ неизбѣжныя послѣдствія своихъ добродѣтельныхъ поступковъ,—въ такія послѣдствія, которыя всякій здравомыслящій человѣкъ могъ-бы предвидѣть и которыя однако кажутся Пронскому очень удивительными и неожиданными. Онъ узнаетъ отъ своего приказчика, что Бѣловъ поступаетъ безчеловѣчно съ крестьянами подаренной деревни, «что онъ изнуряетъ ихъ работами, чинитъ всякія несправедливости и посягаетъ даже на народную нравственность». Было бы очень удивительно, еслибы Бѣловъ поступалъ иначе. Если онъ, вмѣстѣ съ своей женой, добивался имѣнія впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ и готовъ былъ купить его цѣною всевозможныхъ заискиваній и униженій, то разумѣется имѣніе было ему нужно не для того, чтобы осыпать крестьянъ благодѣяніями. Но Пронскій никогда ничего не предвидитъ; онъ приходитъ въ неистовое негодованіе, отправляется въ Выселки, собираетъ сходку по праву бывшаго помѣщика и произноситъ мужикамъ слѣдующую поучительную рѣчь.

«Братцы, я виноватъ передъ вами, я уступилъ васъ извергу, посягающему на правду и попирающему всѣ обязанности христіанина и человѣка. На то была воля покойной моей матушки! Возвратить васъ всѣхъ подъ мое управленіе съ землей и угодьями я не въ правѣ; но пусть несчастные, притѣсненные, которые рѣшатся оставить родное свое пепелище, переходятъ въ мою вотчину. Каждый въ деревняхъ моихъ найдетъ надежное убѣжище, и я съумѣю защитить его отъ преслѣдованій недостойнаго помѣщика».

Послѣдствія этого протеста обрушиваются цѣликомъ на спины тѣхъ крестьянъ, которыхъ Пронскій берется защищать отъ преслѣдованій такъ называемаго изверга. Увлекшись краснорѣчіемъ нашего несчастнаго героя, тридцать душъ обоего пола переходятъ съ пожитками изъ Выселокъ въ деревню Пронскаго Красные Пруды. Начинаются розыски и преслѣдованія бѣглецовъ, и тутъ Пронскій запутывается до такой степени, что самъ начинаетъ лгать и обманывать. «Я упорствовалъ,—пишетъ Пронскій въ своемъ дневникѣ,—переводилъ преслѣдуемыхъ изъ одной деревни въ другую и укрывалъ ихъ по возможности». Если Пронскій укрывалъ бѣглыхъ крестьянъ, то ясное дѣло, что ему приходилось постоянно отвѣчать разными выдумками на запросы земской полиціи, которая конечно не могла оставлять его въ покоѣ, зная очень хорошо, что бѣглецы скрываются у него и что эти бѣглецы принадлежатъ уѣздному судьѣ Бѣлову, исправляющему должность предводителя дворянства. Такимъ образомъ получилось самое полное и неизлечимое внутреннее противорѣчіе. Желаніе говорить всегда правду во что-бы то ни стало довело Пронскаго до необходимости лгать. И когда онъ рѣшился лгать, тогда было уже слишкомъ поздно. Его ложь могла только измучить его самого и подвести подъ усиленныя истязанія тѣхъ *братцевъ*, которыхъ онъ *уступилъ извергу*.

Въ то время, когда Пронскій живетъ въ деревнѣ, мудритъ надъ мужиками и дѣлаетъ одну глупость за другой, — разыгрывается эпизодъ его несчастной любви, несчастной потому, что призракъ лжи становится между Пронскимъ и его невѣстой. Нашъ герой знакомится съ семействомъ небогатаго помѣщика Голубова; онъ становится у него въ домѣ постояннымъ гостемъ и влюбляется въ его дочь; молодые люди сходятся между собой во вкусахъ и наклонностяхъ; оба любятъ природу, сельскую

тишину и спокойную семейную жизнь; Пронскій дѣлаетъ предложеніе, дочь и родители даютъ ему согласіе, убѣдившись въ томъ, что слухи о помѣшательствѣ нашего героя, пущенные въ ходъ господами Бѣловыми и ихъ пріятелями, совершенно неосновательны. Голубовы приглашаютъ къ себѣ гостей, чтобы торжественно объявить имъ о помолвкѣ; на этомъ званомъ вечерѣ Пронскій, требовавшій отъ своей невѣсты прежде всего правды и откровенности, усматриваетъ въ предметѣ своей любви непростительное коварство и убѣгаетъ изъ дома своего будущаго тестя, преслѣдуя по саду и по лѣсу призракъ лжи, одаренный чертами Аграфены Ивановны, — огненными глазами и змѣинымъ языкомъ.

Чѣмъ же провинилась бѣдная дѣвушка передъ нашимъ неумолимымъ обожателемъ истины? Узналъ-ли онъ, что она выходитъ за него замужъ по разсчету или по влеченію къ его княжескому титулу? Услышалъ-ли онъ откровенный разговоръ ея съ подругами, въ которомъ она развивала свои мечты о шумной столичной жизни и осмѣивала деревенскія занятія и удовольствія? Дошло-ли до него достовѣрное извѣстіе о какомъ-нибудь ея дѣвическомъ проступкѣ, который тщательно скрывала отъ него дочь за-одно съ заботливыми родителями? Однимъ словомъ, убѣдился-ли онъ въ томъ, что его ловили какъ выгоднаго жениха, что къ нему поддѣлывались, и что для него были заготовлены парадныя маски, которыя, случайно свалившись на нѣсколько минутъ, обнаружили передъ нимъ нравственное безобразіе или умственную пустоту? Нѣтъ, ничего подобнаго не случилось. Вечеромъ, когда гости уже съѣхались, но когда невѣста еще не выходила въ гостиную, Пронскій вышелъ въ садъ за букетомъ цвѣтовъ и, проходя мимо оконъ той комнаты, гдѣ одѣвалась его Надя, услышалъ голоса нѣсколькихъ дѣвушекъ, которыя уговаривали Надю покрѣпче затягивать корсетъ. Надя отвѣчала имъ на это: «уфъ! мнѣ ужъ не до таліи, я просто задыхаюсь!»—Черезъ нѣсколько минутъ Надя вышла въ гостиную, и Пронскій началъ просить ее вполголоса, чтобы она перемѣнила платье, потому что оно ее душитъ. Надя съ неудовольствіемъ отвѣчала ему, что это вздоръ. Тогда Пронскій уже съ нѣкоторой тревогой началъ добиваться отъ нея признанія въ томъ, что платье ей узко. Надя не хотѣла ни въ чемъ признаваться, и тогда произошелъ взрывъ. Образъ Аграфены Ивановны сталъ дразнить Пронскаго змѣинымъ языкомъ, загорѣлись огненные глаза; слабая голова нашего героя пошла кругомъ, онъ бросился бѣжать, куда глаза глядятъ, и бѣжалъ по саду, потомъ по лѣсу до тѣхъ поръ, пока не упалъ безъ чувствъ. На другой день послѣ этого скандальнаго происшествія Надя написала къ своему полоумному жениху очень милое письмо, въ которомъ призналась ему откровенно, что платье было узко. Но Пронскій уже не принадлежалъ самому себѣ; надъ его волей, надъ его умомъ, надъ всѣми его чувствами господствовалъ нелѣпый призракъ лжи; онъ не могъ побѣдить себя, его невѣста сдѣлалась ему противной онъ узнавалъ въ ея лицѣ черты Аграфены Ивановны,—и свадьба окончательно и безвозвратно разстроилась.

Къ этому времени подоспѣла исторія о бѣглыхъ мужикахъ изъ Выселокъ; затѣмъ Пронскаго вздумали навѣстить Бѣловы, чтобы объясниться съ нимъ лично насчетъ его необычайныхъ дѣйствій и распоряженій. Пронскій, увидя Аграфену Ивановну, пришелъ въ неистовство и закричалъ изступленнымъ голосомъ: «не пускать, не пускать это чудовище; у нея огненные глаза, языкъ змѣиный, она матушку задушила; спустите собакъ, травите ее, стрѣляйте изъ ружей».

Дальше—страшный пароксизмъ, потеря сознанія и длинный рядъ галлюцинацій, для которыхъ на языкѣ здоровыхъ людей не можетъ существовать соотвѣтственнаго описанія.

Дальше—освидѣтельствованіе въ губернскомъ правленіи, гдѣ Пронскій произноситъ между прочимъ слѣдующій монологъ: «Нѣтъ, милостивый государь, я хотѣлъ водворить въ своемъ имѣніи законъ *правды*. Понимаете-ли вы всю обширность значенія слова—правда! Смягчая нравы методической, а не безпорядочной музыкой, я укрощалъ дикія страсти и пріуготовлялъ сердца къ воспріятію божественнаго луча правды. Ложь губитъ Россію! ложь, гнусное исчадіе крѣпостного права, опутала, какъ паутиной, всѣ сословія...»

Мы не знаемъ, что̀ еще ухитрился-бы сказать несчастный безумецъ, но въ этомъ мѣстѣ его прервалъ губернаторъ, стараясь ему напомнить, что онъ говоритъ передъ зерцаломъ. Въ отвѣтъ на это основательное напоминаніе Пронскій объявилъ губернатору, что онъ, губернаторъ, «человѣкъ добрый и достойный, но слабый и ограниченный». Затѣмъ послѣдовалъ новый монологъ: «Изъ-подъ вашей руки дѣлаются всевозможныя гадости. Вы чувствуете, что есть множество людей, болѣе васъ способныхъ для управленія губерніей, вы не нуждаетесь въ вашемъ мѣстѣ... а не хотите оставить его въ надеждѣ получить синюю ленту къ свѣтлому празднику. Спрашивается, на что̀ она вамъ, синяя лента? и можно-ли назвать службу, двигателемъ которой какая-нибудь лента или крестъ, служеніемъ правдѣ?»

— «Что до васъ касается, Василій Петровичъ,—продолжалъ Пронскій, обратившись къ одному изъ предсѣдателей,—то вы поборникъ *правды*. Для васъ истина заключается въ золотомъ тельцѣ. Вы торгуете правосудіемъ, тор-

гуете честью вашихъ подчиненныхъ, честью жены вашей...»

Черезъ нѣсколько недѣль послѣ этой бурной сцены, Пронскій жилъ уже на берегу Финскаго залива, въ великолѣпной психіатрической лечебницѣ доктора Пусловскаго.

Не давая себѣ права проникать въ неизвѣстную намъ область психіатрическихъ изслѣдованій, мы не будемъ слѣдить за похожденіями Пронскаго въ лечебницѣ и за различными фазами его болѣзни. Мы только обратимъ вниманіе читателей на тотъ замѣчательный пріемъ, посредствомъ котораго докторъ Пусловскій старался вылечить Пронскаго отъ излишней раздражительности и отъ болѣзненной страсти къ отвлеченной идеѣ правды.

Познакомившись съ его душевнымъ состояніемъ, прочитавши его дневникъ и убѣдившись въ томъ, что онъ не потерялъ ни способности мыслить, ни силы любить людей, Пусловскій въ одинъ прекрасный день предлагаетъ Пронскому сдѣлаться его помощникомъ по уходу и присмотру за больными. Пронскій изумляется этому неожиданному предложенію, и тогда докторъ даетъ ему слѣдующее объясненіе: «вамъ нужна полезная, здоровая дѣятельность. Химеры бѣгутъ, какъ отъ чумы, при появленіи въ человѣкѣ подобной дѣятельности. Положитесь на меня. Я васъ снабжу книгами, о которыхъ я упомянулъ, а между тѣмъ вамъ не худо было-бы поближе ознакомиться съ нашимъ заведеніемъ. Вы почти еще никого здѣсь не знаете, а у насъ есть люди весьма замѣчательные. Лечебница наша—настоящій микрокосмъ: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражаются всѣ страсти, слабости, стремленія и разумѣется заблужденія свѣтской жизни».

Заставляя опытнаго психіатра произнести эти замѣчательныя слова, Толстой даетъ намъ поводъ думать, что онъ въ значительной степени раздѣляетъ нашъ взглядъ на причины душевной болѣзни, обрушившейся на Пронскаго. Мы говорили въ одной изъ предыдущихъ главъ, что очень впечатлительный и очень честный человѣкъ, неспособный поддаваться внушеніямъ мелкой своекорыстной робости, можетъ воздерживаться отъ безсвязныхъ, безплодныхъ и изнурительныхъ вспышекъ негодованія противъ различныхъ проявленій человѣческой глупости и подлости только тогда, когда ему, честному и впечатлительному человѣку, удалось найти себѣ ясно опредѣленную и несомнѣнно полезную дѣятельность, которая такъ или иначе уменьшаетъ общую сумму существующаго зла и горя. Этой спасительной дѣятельности не могъ или не умѣлъ найти себѣ нашъ герой, который въ то-же время былъ слишкомъ чистъ и нѣженъ, слишкомъ полонъ любви къ людямъ, чтобы удовлетвориться грязнымъ прозябаніемъ господъ Бѣловыхъ и людей, подобныхъ предсѣдателю Василію Петровичу. Въ этомъ неумѣньѣ отыскать правильный исходъ своимъ богатымъ и прекраснымъ силамъ заключается, по нашему мнѣнію, несчастіе Пронскаго; въ этомъ неумѣньѣ мы видимъ, какъ уже было сказано выше, настоящую причину его душевной болѣзни. Теперь оказывается, что докторъ Пусловскій смотритъ на дѣло съ той-же точки зрѣнія. Если химеры бѣгутъ отъ здоровой и полезной дѣятельности, какъ отъ чумы, то позволительно предположить, что эти химеры не могутъ возникнуть и укорениться въ душѣ человѣка, посвятившаго такой дѣятельности всѣ свои умственныя силы. Если дѣятельность составляетъ превосходное лекарство, то мы имѣемъ достаточное основаніе думать, что та-же самая дѣятельность была-бы не менѣе превосходнымъ предохранительнымъ средствомъ.

Чтобы познакомить Пронскаго съ обществомъ лечебницы, докторъ ведетъ его въ вечернее собраніе, гдѣ паціенты обоего пола, снабженные пригласительными билетами, проводятъ время самымъ приличнымъ образомъ, занимаясь, смотря по желанію, чтеніемъ, музыкой, разговорами или игрою въ шашки, въ домино и въ карты. Изъ разговоровъ, происходившихъ между паціентами, мы считаемъ не лишнимъ привести здѣсь монологъ, который покажетъ читателю, что лечебницу дѣйствительно можно назвать микрокосмомъ, и что въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражаются всѣ страсти, слабости, стремленія и заблужденія свѣтской жизни.

— «Вы желаете вѣроятно,—говоритъ сѣдовласый старецъ, воображающій себя очень важнымъ саповникомъ и украшенный розовой лентой и мишурными звѣздами,—молодой человѣкъ, служить подъ моимъ начальствомъ? Душевно былъ-бы радъ, но въ настоящую минуту нѣтъ никакой возможности. Всѣ мѣста заняты, и кандидатовъ тьма тьмущая. Вы понимаете, что мнѣ весьма пріятно было-бы видѣть у себя людей порядочныхъ, образованныхъ, со связями, но гг. аристократы вездѣ опаздываютъ, и я право не знаю, какъ это дѣлается, но большую часть видныхъ мѣстъ занимаютъ люди вовсе не аристократическаго происхожденія. Посмотрите напримѣръ: всѣ лучшія квартиры въ казенныхъ домахъ кѣмъ заняты? Людьми безъ всякаго происхожденія! а между тѣмъ сколько аристократиковъ, которые съ удовольствіемъ-бы пріютились въ казенныхъ помѣщеніяхъ! Это конечно происходитъ частію отъ ихъ безпечности, но частію и отъ своеволія и давленія журнализма. Вотъ видите-ли, молодой человѣкъ, всѣ эти попытки гласности къ добру не поведутъ. Я сорокъ пять лѣтъ служу въ качествѣ перваго, безконтрольнаго, можно сказать, министра, и, кажется, нельзя сомнѣваться въ административной моей опытности. Публика наша вообще очень рѣчиста, любитъ пошалить языкомъ, пускай себѣ; но пера въ руки не

давайте! Вотъ что! Меня напримѣръ называли и тигромъ, и львомъ, пригвожденнымъ къ канцеляріи. Что же вышло? Покричали, покричали, да и замолкли, слова вѣтеръ унесъ! Но что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Перо, милостивый государь, я вамъ скажу, это стрѣла пернатая, это въ отношеніи единства и величія власти, въ сопровожденіи съ тождественностью порядка... Пожалуйте табачку!»

Этимъ монологомъ мы и закончимъ нашу длинную статью. Если намъ удалось дать читателю довольно ясное понятіе о богатомъ содержаніи разбираемаго романа, если намъ удалось возбудить въ читателѣ сожалѣніе о томъ, что Толстой не написалъ до сихъ поръ тѣхъ психіатрическихъ очерковъ, о которыхъ онъ упоминаетъ въ своемъ предисловіи,—то мы считаемъ нашу цѣль совершенно достигнутой.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ *)

(«Преступленіе и наказаніе». Ѳ. М. Достоевскаго. Двѣ части. 1867 г.)

I.

Приступая къ разбору новаго романа Достоевскаго, я заранѣе объявляю читателямъ, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла ни до личныхъ убѣжденій автора, которыя быть можетъ идутъ въ разрѣзъ съ моими собственными убѣжденіями, ни до общаго направленія его дѣятельности, которому я быть можетъ нисколько не сочувствую, ни даже до тѣхъ мыслей, которыя авторъ старался быть можетъ провести въ своемъ произведеніи и которыя могутъ казаться мнѣ совершенно несостоятельными. Меня очень мало интересуетъ вопросъ о томъ, къ какой партіи и къ какому оттѣнку принадлежитъ Достоевскій, какимъ идеямъ или интересамъ онъ желаетъ служить своимъ перомъ, и какія средства онъ считаетъ позволительными въ борьбѣ съ своими литературными или какими-бы то ни было другими противниками. Я обращаю вниманіе только на тѣ явленія общественной жизни, которыя изображены въ его романѣ; если эти явленія подмѣчены вѣрно, если сырые факты, составляющіе основную ткань романа, совершенно правдоподобны, если въ романѣ нѣтъ ни клеветы на жизнь, ни фальшивой и приторной подкрашенности, ни внутреннихъ несообразностей; однимъ словомъ, если въ романѣ дѣйствуютъ и страдаютъ, борются и ошибаются, любятъ и ненавидятъ живые люди, носящіе на себѣ печать существующихъ общественныхъ условій, то я отношусь къ роману такъ, какъ я отнесся-бы къ достовѣрному изложенію дѣйствительно случившихся событій; я всматриваюсь и вдумываюсь въ эти событія, стараюсь понять, какимъ образомъ они вытекаютъ одно изъ другого, стараюсь объяснить себѣ, насколько они находятся въ зависимости отъ общихъ условій жизни, и при этомъ оставляю совершенно въ сторонѣ личный взглядъ разсказчика, который можетъ передавать факты очень вѣрно и обстоятельно, а объяснять ихъ въ высшей степени неудовлетворительно.

Сюжетъ романа «Преступленіе и Наказаніе» по всей вѣроятности извѣстенъ большинству читателей. Образованный молодой человѣкъ, бывшій студентъ, Раскольниковъ, убиваетъ старуху-процентщицу и ея сестру, похищаетъ у этой старухи деньги и вещи, потомъ впродолженіи нѣсколькихъ недѣль томится и терзается сильнѣйшей душевной тревогой и наконецъ, не находя себѣ покоя, самъ на себя доноситъ, послѣ чего разумѣется отправляется въ каторжную работу.

Раскольниковъ очень бѣденъ. Отца у него нѣтъ. Его мать получаетъ послѣ покойнаго мужа сто двадцать рублей пенсіона и изъ этихъ денегъ старается тратить какъ можно меньше на собственную особу. Сестра Раскольникова живетъ въ гувернанткахъ. Самъ Раскольниковъ кое-какъ перебивается уроками и разными грошовыми работами, получаетъ изрѣдка субсидіи отъ матери, борется съ нищетой, старается при этомъ учиться, напрягаетъ всѣ свои силы, наконецъ изнемогаетъ въ непосильной борьбѣ, выходитъ изъ университета по совершенному недостатку средствъ и погружается въ то мучительное оцѣпенѣніе, которое обыкновенно овладѣваетъ утомленными, измученными и окончательно побѣжденными людьми. Романъ начинается тогда, когда Раскольниковъ совершенно задавленъ обстоятельствами. Онъ живетъ въ крошечной каморкѣ, болѣе похожей на шкафъ,

*) Первая половина этой статьи была помѣщена въ журналѣ Дѣло 1867 г. подъ заглавіемъ «Будничныя стороны жизни»; вторая появилась послѣ смерти автора въ томъ-же журналѣ (1868 г. авг.) и озаглавлена «Борьбой за существованіе». Мы помѣщаемъ ее подъ гѣмъ заглавіемъ, подъ которымъ она находится въ рукописяхъ. *Изд.*

чѣмъ на комнату; онъ долженъ кругомъ хозяйкѣ квартиры и при каждой случайной встрѣчѣ съ нею принужденъ выслушивать кротко и почтительно напоминанія о платежѣ, жалобы и угрозы, на которыя ему приходится отвѣчать извиненіями, избитыми отговорками, стереотипными просьбами объ отсрочкѣ и торжественными, но неубѣдительными обѣщаніями уплатить сполна при первой возможности. Гардеробъ Раскольникова дошелъ до такого разстройства, что превратился въ лохмотья, въ которыхъ «иной, даже и привычный человѣкъ, по словамъ Достоевскаго, посовѣстился-бы днемъ выходить на улицу». Обѣдъ для Раскольникова не существуетъ; хозяйка двѣ недѣли не высылаетъ ему кушанья, чтобы принудить его голодомъ къ уплатѣ денегъ или къ очищенію квартиры; Раскольниковъ по цѣлымъ днямъ лежитъ у себя въ каморкѣ, на старомъ изорванномъ диванѣ, подъ старымъ изорваннымъ пальто и поддерживаетъ свое существованіе какими-то объѣдками, которые изъ состраданія приноситъ ему кое-когда кухарка Настасья, относящаяся къ нему съ добродушно-презрительной фамильярностью. Своими насущными дѣлами Раскольниковъ не занимается; у него нѣтъ и не можетъ быть никакихъ насущныхъ дѣлъ; чтобы давать уроки или поддерживать съ кѣмъ-бы то ни было дѣловыя сношенія, надо имѣть сколько-нибудь приличный костюмъ и быть увѣреннымъ въ томъ, что не упадешь въ обморокъ отъ пустоты въ желудкѣ и отъ истощенія силъ.

Существуютъ такія границы, за которыми бѣдность становится неприличной и невыносимой для глазъ благовоспитаннаго и состоятельнаго человѣка: кто имѣлъ несчастіе или неосторожность перешагнуть черезъ эти роковыя границы, тотъ теряетъ право искать себѣ работу и являться серьезнымъ претендентомъ на какое-бы то ни было вакантное мѣсто; оборванецъ, которому съ часу на часъ грозитъ голодная смерть подъ открытымъ небомъ, можетъ въ случаѣ удачи получить двугривенный отъ сострадательнаго прохожаго, такъ точно, какъ онъ получаетъ тарелку вчерашнихъ щей отъ добродушной Настасьи, но ему до крайности мудрено надѣяться на то, что какой нибудь отецъ семейства довѣритъ ему обученіе своихъ дѣтей. Онъ оборванъ и голоденъ—слѣдовательно онъ чѣмъ-нибудь и какъ-нибудь виноватъ; онъ оборванъ и голоденъ—слѣдовательно онъ опасенъ, и всякій порядочный человѣкъ, при встрѣчѣ съ нимъ, долженъ тщательно наблюдать за его руками, чтобъ эти грязныя и дрожащія руки не посягнули какимъ-нибудь образомъ на благосостояніе порядочнаго человѣка. Такъ разсуждаютъ обыкновенно обезпеченные люди, когда ихъ спокойный и добродушный взоръ падаетъ на особу, перешагнувшую черезъ извѣстныя границы и унизившуюся до неимѣнія крѣпкаго платья и постояннаго обѣда: обезпеченнымъ людямъ пріятно и необходимо разсуждать такимъ образомъ, потому что, при такомъ способѣ разсужденія, обезпеченность оказывается сама по себѣ достоинствомъ и положительной заслугой передъ обществомъ; взглянувъ сострадательно на оборванца и снабдивъ его двугривеннымъ, обезпеченный человѣкъ обращаетъ свои взоры на самого себя и самодовольно размышляетъ о томъ, что онъ ни отъ кого не возьметъ двугривеннаго, что онъ, слѣдовательно, великъ и прекрасенъ, сравнительно съ жалкимъ паріей, получившимъ отъ него благодѣяніе, и что, вслѣдствіе этого величія и этой красоты, онъ обязанъ по возможности уклоняться отъ всякихъ сношеній съ такими подонками общества и протягивать руку помощи, то есть давать работу, только тому, кто еще кое-какъ соблюдаетъ правила благопристойности.

Итакъ, Раскольниковъ растерялъ свои насущныя дѣла, и ему почти невозможно было обзавестись ими снова. Почему и какимъ образомъ онъ ихъ растерялъ, этого не сказано у Достоевскаго, но этотъ пробѣлъ очень легко можетъ быть пополненъ собственными соображеніями читателя. Какія-нибудь двѣ-три самыя пустыя случайности, отъѣздъ семейства въ другой городъ, болѣзнь ребенка, готовящагося въ какое-нибудь учебное заведеніе, капризъ папеньки или маменьки — могутъ въ одно прекрасное утро оставить бѣднаго студента, живущаго уроками, безо всякихъ средствъ къ существованію. Въ самомъ счастливомъ случаѣ исканіе новыхъ работъ или уроковъ протянется недѣлю, двѣ-три; этотъ кризисъ можно какъ-нибудь пережить, извертываясь прибереженными копѣйками, занимая у товарищей, пользуясь кредитомъ у хозяйки и у лавочниковъ, или обращаясь къ ростовщикамъ и закладывая у нихъ какія-нибудь фамильныя драгоцѣнности, вродѣ серебряныхъ часовъ или золотыхъ пуговокъ. Но всего правдоподобнѣе, что кризисъ затянется на нѣсколько мѣсяцевъ, и тогда несчастный юноша, полный силъ и желанія работать, воодушевленный любовью къ наукѣ и къ людямъ, проникнутый самыми честными стремленіями, имѣющій право многаго требовать и многаго ожидать отъ жизни, попадетъ въ положеніе человѣка, медленно утопающаго въ грязномъ болотѣ. Скромныя сбереженія, если даже они и имѣлись, окажутся истраченными до послѣдней копѣйки; товарищи отдадутъ все, что они были способны дать, и дальнѣйшія обращенія къ ихъ братской помощи сдѣлаются невозможными; хозяйка заговоритъ объ уплатѣ денегъ и начнетъ жаловаться на шаромыжниковъ, за которыми пропадаетъ ея добро; послѣдніе часишки пропадутъ въ закладкѣ за какіе-нибудь три цѣлковыхъ, а между тѣмъ сапоги начнутъ развали-

ваться отъ безполезной бѣготни по городу за трудовымъ кускомъ хлѣба; платье расползется по швамъ и по цѣлику и повиснетъ на плечахъ живописными лохмотьями; бѣлье загрязнится до послѣдней степени отвратительности; щеки поблекнутъ и ввалятся; въ глазахъ появится постоянное выраженіе тревожной и суетливой разсѣянности, и въ душу закрадется понемногу чувство холодной безнадежности и лихорадочной раздражительности; бѣготня будетъ еще продолжаться, но самъ бѣгающій субъектъ перестанетъ вѣрить въ ея практическую пригодность; все измѣнитъ человѣку разомъ: и послѣднія денежныя средства, и послѣдняя пара приличнаго платья, и физическія силы, и надежды на лучшую будущность, и вѣра въ жизнь, и желаніе работать, и способность отмахиваться отъ дурныхъ, опасныхъ и соблазнительныхъ мыслей. Человѣкъ забьется въ свою грязную конуру, изъ которой его выживаютъ голодомъ, холодомъ, бранью и полицейскими мѣрами, завалится на свою грязную постель, махнетъ рукой на свои любимые планы, на самого себя, на чистоту и святость своего внутренняго міра, и какъ безотвѣтная жертва отдастъ себя въ полное распоряженіе тѣхъ мрачныхъ и дикихъ мыслей, которыя порождаются отчаяніемъ, голодомъ, озлобленіемъ противъ людей, презрѣніемъ къ самому себѣ, какъ побѣжденному и раздавленному существу, горькимъ ощущеніемъ незаслуженной обиды и начинающейся болѣзнью, составляющей неизбѣжный результатъ всѣхъ испытанныхъ волненій и страданій.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что Раскольниковъ, утомленный мелкой и неудачной борьбой за существованіе, впалъ въ изнурительную апатію; нѣтъ также ничего удивительнаго въ томъ, что во время этой апатіи въ его умѣ родилась и созрѣла мысль совершить преступленіе. Можно даже сказать, что большая часть преступленій противъ собственности устраивается въ общихъ чертахъ по тому самому плану, по какому устроилось преступленіе Раскольникова. Самой обыкновенной причиной воровства, грабежа и разбоя является бѣдность; это извѣстно всякому, кто сколько-нибудь знакомъ съ уголовной статистикой. Далѣе, не трудно понять и не трудно даже доказать фактами, что воровать и грабить человѣкъ въ большей части случаевъ рѣшается только тогда, когда честный трудъ оказался для него недоступнымъ, или когда онъ убѣдился въ томъ, что честный трудъ составляетъ слишкомъ медленное и недостаточное лекарство противъ гнетущей бѣдности. Это значитъ, что человѣкъ, рѣшившійся воровать и грабить, искалъ труда,— и не нашелъ его, или нашелъ его въ такихъ нищенскихъ размѣрахъ, которые не покрываютъ его насущныхъ потребностей. За неудачными поисками должна послѣдовать апатія; во время апатіи должно сложиться убѣжденіе, что нѣтъ возможности оставаться честнымъ человѣкомъ, и что надо выбирать одно изъ двухъ: голодную смерть или преступленіе. Затѣмъ должна слѣдовать борьба между инстинктомъ самосохраненія и отвращеніемъ къ грязному поступку; если побѣдитъ первый—человѣкъ сдѣлается хищнымъ животнымъ, и его ближніе станутъ травить его, какъ голоднаго волка; если побѣдитъ второе — человѣкъ заболѣетъ отъ недостатка здоровой пищи и по всей вѣроятности кончитъ свое печальное существованіе на койкѣ чернорабочей или какой-нибудь другой больницы, въ отдѣленіи тифозныхъ или возвратно-горячечныхъ больныхъ.

Итакъ, огромное большинство людей, отправляющихся на воровство или на грабежъ, переживаютъ тѣ самыя фазы, черезъ которыя проходитъ Раскольниковъ. Преступленіе, описанное въ романѣ Достоевскаго, выдается изъ ряда обыкновенныхъ преступленій только потому, что героемъ его является не безграмотный горемыка, совершенно неразвитый въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, а студентъ, способный анализировать до мельчайшихъ подробностей всѣ движенія собственной души, умѣющій создавать для оправданія своихъ поступковъ цѣлыя замысловатыя теоріи и сохраняющій во время самыхъ дикихъ заблужденій тонкую и многостороннюю впечатлительность и нравственную деликатность высоко-развитаго человѣка. Вслѣдствіе этого обстоятельства колоритъ преступленія до нѣкоторой степени измѣняется, и процессъ его подготовленія становится болѣе удобнымъ для наблюденія, но его основная побудительная причина остается неизмѣнной. Раскольниковъ совершаетъ свое преступленіе не совсѣмъ *такъ*, какъ совершилъ-бы его безграмотный горемыка; но онъ совершаетъ его *потому же*, почему совершилъ-бы его любой безграмотный горемыка. Бѣдность въ обоихъ случаяхъ является главной побудительной причиной. При этомъ само собою разумѣется, что вліяніе бѣдности въ обоихъ случаяхъ выражается не въ одинаковыхъ формахъ. У человѣка, подобнаго Раскольникову, внутренняя борьба, возбужденная безнадежнымъ положеніемъ, проявляется очень рельефно, отчетливо и, если можно такъ выразиться, членораздѣльно. Раскольниковъ обсуживаетъ свое положеніе со всѣхъ сторонъ, взвѣшиваетъ свои силы, измѣряетъ величину тѣхъ препятствій, которыя онъ долженъ преодолѣть, чтобы остаться незамараннымъ человѣкомъ, ставитъ себѣ вопросы и отвѣчаетъ на нихъ, придумываетъ доказательства и опровергаетъ ихъ, словомъ, постоянно роется въ своихъ собственныхъ мысляхъ и ощущеніяхъ, ясно понимаетъ ихъ во всякую данную минуту и высказываетъ ихъ въ такихъ оживленныхъ и разнообразныхъ разговорахъ

съ самимъ собою, что развитіе опасной и соблазнительной мысли становится для насъ понятнымъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ. У неразвитаго бѣдняка всѣ мысли и ощущенія, пережитыя Раскольниковымъ, оказались-бы смятыми и скомканными въ одну темную и безобразную кучу, которую самъ переживающій субъектъ былъ-бы еще менѣе способенъ разложить на ея составныя части, чѣмъ другіе люди, смотрящіе на дѣло со стороны. Онъ чувствовалъ-бы только, что ему тяжело и больно, гадко и пошло, что ему совѣстно встрѣчаться съ прежними товарищами, что ему противно думать о работѣ, которая его не кормитъ, и что какая-то сила, похожая на демона-искусителя, подмываетъ и подталкиваетъ его на скверное дѣло, которое съ каждымъ днемъ кажется ему болѣе неизбѣжнымъ, и котораго возрастающая неизбѣжность наводитъ на него ужасъ и отвращеніе.

Никакихъ теорій тутъ конечно не могло-бы быть; никакихъ философскихъ обобщеній, никакихъ высшихъ взглядовъ на отношенія личности къ обществу; ничего, кромѣ тупого страданія и неясной тревоги. Одинокая борьба неразвитаго бѣдняка съ самимъ собою была-бы по всей вѣроятности сокращена въ значительной степени сближеніемъ даннаго субъекта съ такими товарищами, которые залили-бы его послѣднія сомнѣнія хлѣбнымъ виномъ, завербовали-бы его въ свою компанію и указали-бы ему всѣ приступы и подходы къ первому нарушенію существующихъ законовъ. У Раскольникова, напротивъ того, борьба оставалась одинокой до самаго конца, т. е. до той минуты, когда дикая мысль превратилась въ кровавое дѣло; чѣмъ ближе Раскольниковъ знакомился съ своей дикой мыслью, чѣмъ яснѣе онъ видѣлъ, что это уже не фантазія, а серьезный планъ, тѣмъ тщательнѣе онъ избѣгалъ всякихъ сношеній съ людьми; онъ ни съ кѣмъ не могъ и не хотѣлъ дѣлиться своими планами и совѣтоваться насчетъ своего предпріятія. Его прежніе товарищи и друзья конечно постарались-бы пристроить его въ домъ умалишенныхъ, еслибы онъ заикнулся имъ о томъ, какимъ образомъ онъ намѣревается отыскать себѣ выходъ изъ своего затруднительнаго положенія. А новыхъ товарищей,—такихъ, которые могли-бы отнестись къ его замыслу съ дѣятельнымъ сочувствіемъ, Раскольниковъ не желалъ имѣть ни подъ какимъ видомъ. Онъ ненавидѣлъ, презиралъ и боялся такихъ товарищей; у него не было и не могло быть ни въ образѣ мыслей, ни въ желаніяхъ, ни во вкусахъ, ни въ привычкахъ ни одной точки соприкосновенія съ ворами и грабителями по ремеслу. Онъ хотѣлъ убить и ограбить, но такъ, чтобы на него не брызнула ни одна капелька пролитой крови, чтобы ни одинъ живой человѣкъ не могъ проникнуть его тайну, чтобы всѣ прежніе друзья и товарищи жали ему руку съ прежнимъ сочувствіемъ и уваженіемъ, и чтобы его мать и сестра болѣе, чѣмъ когда-бы то ни было, считали его своимъ ангеломъ-хранителемъ, сокровищемъ и утѣшеніемъ. Особенность преступленія, совершеннаго Раскольниковымъ, состоитъ именно въ томъ, что онъ самъ слѣдилъ очень внимательно за всѣми фазами того психологическаго процесса, которымъ оно подготовлялось, и кромѣ того обдумывалъ, устраивалъ и выполнялъ все одинъ, безъ всякихъ сообщниковъ, помощниковъ и повѣренныхъ. По поводу этого преступленія возникаютъ естественнымъ образомъ два главные вопроса: во-первыхъ, есть-ли основаніе считать Раскольникова помѣшаннымъ, и во-вторыхъ, есть-ли основаніе думать, что теоретическія убѣжденія Раскольникова имѣли какое-нибудь замѣтное вліяніе на совершеніе убійства. Мнѣ кажется, что на оба эти вопроса приходится дать отрицательный отвѣтъ.

Хотя слово *помѣшанный* или *сумасшедшій* до сихъ поръ не имѣетъ и при теперешнемъ положеніи медицинскихъ знаній вѣроятно еще не можетъ имѣть строго опредѣленнаго значенія, хотя быть можетъ въ природѣ даже совсѣмъ не существуетъ рѣзкой границы между здоровымъ и больнымъ состояніемъ организма вообще и нервной системы въ особенности, однако я осмѣливаюсь выразить то предположеніе, что Раскольникова невозможно считать помѣшаннымъ, и что ни одинъ мыслящій медикъ не подмѣтилъ-бы въ немъ такого разстройства умственныхъ способностей, при которомъ человѣкъ перестаетъ отдавать себѣ ясный отчетъ въ смыслѣ и значеніи своихъ собственныхъ поступковъ. Еслибы Раскольниковъ былъ помѣшанъ, то мнѣ кажется, что мы, люди, находящіеся въ здравомъ умѣ, не были-бы въ состояніи слѣдить за каждой его мыслью до самыхъ послѣднихъ ея изгибовъ и до тончайшихъ ея развѣтвленій. Многія изъ его мыслей должны были-бы казаться намъ неожиданными; многіе изъ его поступковъ должны были-бы поражать насъ своей безпричинностью; ставя себя на его мѣсто, каждый изъ насъ долженъ былъ-бы чувствовать, что онъ рѣшительно не былъ-бы въ состояніи набрести на тѣ мысли, на которыя набрелъ Раскольниковъ; мы должны были-бы замѣчать, что у Раскольникова въ процессѣ мышленія обнаруживаются какіе-то пробѣлы и перерывы, что среди ровнаго и плавнаго теченія мысли у него попадаются такіе зигзаги и скачки, такіе пируэты и вольтфасы, которые наша трезвая и здоровая мысль отказывается продѣлывать вслѣдъ за нимъ и для которыхъ необходимо предположить существованіе и дѣятельность особой причины, особаго фактора, называемаго умственной болѣзнью. Этого-то и нѣтъ. Каждая мысль и каждый поступокъ Раскольникова, въ

особенности до совершенія убійства, мотивированы въ высшей степени удовлетворительно. Мы видимъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, почему и зачѣмъ онъ дѣлаетъ тотъ или другой шагъ. Мы видимъ, что̀ именно толкаетъ его сзади и что̀ именно манитъ его впереди. Онъ бросается стремглавъ въ лужу крови и грязи, что̀ конечно довольно странно со стороны образованнаго и высоко-развитаго молодого человѣка, но бросается онъ вовсе не потому, что чувствуетъ къ этой крови и грязи непреодолимое влеченіе, которое конечно было-бы непонятно здоровому человѣку, и которое, слѣдовательно, можно было-бы объяснить только разстройствомъ умственныхъ способностей; бросается онъ въ лужу собственно и единственно потому, что сухая тропинка, прилегающая къ этой лужѣ, становится наконецъ невыносимо узкой. Бросается онъ въ лужу съ болью и со страхомъ, съ ужасомъ и съ отвращеніемъ, зажимая себѣ носъ и ротъ и собираясь долго и тщательно отмываться отъ нечистоты, какъ только ему удастся вынырнуть и взобраться снова на сухую и чистую дорожку.

Если вы хотите окончательно убѣдиться въ томъ, что Раскольниковъ не помѣшанный, сдѣлайте слѣдующее предположеніе. Наканунѣ убійства Раскольниковъ узнаетъ совершенно случайно, изъ разговора, услышаннаго имъ на Сѣнной, куда ему даже и незачѣмъ было ходить, что завтра, ровно въ семь часовъ вечера, старуха, которую требовалось убить и ограбить, останется дома одна. Послѣ этого разговора «онъ вошелъ къ себѣ, какъ приговоренный къ смерти. Ни о чемъ онъ не разсуждалъ и совершенно не могъ разсуждать; но всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка, ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно. Конечно, если-бы даже цѣлые годы приходилось ему ждать удобнаго случая, то и тогда, имѣя замыселъ, нельзя было разсчитывать навѣрное на болѣе очевидный шагъ къ успѣху этого замысла, какъ тотъ, который представился вдругъ сейчасъ. Во всякомъ случаѣ трудно было-бы узнать наканунѣ и навѣрно, съ большей точностью и съ наименьшимъ рискомъ, безъ всякихъ опасныхъ разспросовъ и разыскиваній, что завтра, въ такомъ-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушеніе, будетъ дома одна-одинехонька». Мысль и рѣшимость созрѣли въ Раскольниковѣ на столько, что онѣ должны были немедленно, не дальше какъ на другой день, выразиться въ поступкѣ, послѣ котораго невозможенъ никакой поворотъ назадъ. Теперь вообразите-же себѣ, что въ это самое время, когда уже все рѣшено, когда нашъ герой чувствуетъ себя приговореннымъ къ совершенію убійства, въ его каморку входитъ почтальонъ и подаетъ ему письмо и повѣстку, требуя себѣ, по обыкновенію, шесть копѣекъ. Раскольниковъ морщится, платитъ деньги изъ послѣднихъ своихъ рессурсовъ, полученныхъ за отцовскіе часы, и распечатываетъ полученныя бумаги; оказывается, что повѣстка объявляетъ ему о полученіи письма на его имя со вложеніемъ пятисотъ рублей; что-же касается до простого письма, полученнаго вмѣстѣ съ повѣсткой, то оно написано рукою его матери и извѣщаетъ его о томъ, что ихъ семейству досталось совершенно неожиданнымъ образомъ наслѣдство тысячъ въ двадцать серебромъ, что мать вмѣстѣ съ сестрой ѣдутъ къ нему въ Петербургъ, и что ему уже выслано пятьсотъ рублей для немедленнаго поправленія его разстроенныхъ обстоятельствъ. Какъ вы думаете, что̀ предприметъ Раскольниковъ, получивши такія извѣстія? Будетъ-ли онъ по-прежнему считать вопросъ о старухѣ безповоротно рѣшеннымъ и смотрѣть на самого себя, какъ на человѣка, окончательно приговореннаго къ отвратительному купанью въ грязной и кровавой лужѣ? Я не думаю, чтобы кто-нибудь изъ читателей серьезно отвѣтилъ на этотъ вопросъ: *да*. Для такого отвѣта нѣтъ никакихъ матеріаловъ въ романѣ Достоевскаго.

Если-же вы допустите, что письмо и повѣстка могли перевернуть всѣ планы и намѣренія Раскольникова въ то самое время, когда онъ уже готовился приступить къ ихъ выполненію, то вы тѣмъ самымъ лишите себя всякой возможности считать его помѣшаннымъ. Я понимаю очень хорошо, что порядочная сумма денегъ очень часто можетъ быть гораздо полезнѣе, необходимѣе и спасительнѣе всевозможныхъ лекарствъ, теплыхъ ваннъ и гимнастическихъ упражненій; но я до сихъ поръ никогда не слыхалъ, чтобы дѣйствительно существующее помѣшательство лечилось письмами и повѣстками изъ почтамта. Если Раскольникова можно было-бы вылечить радостнымъ извѣстіемъ и присылкою денегъ, то не трудно, кажется, сообразить, что корень его болѣзни таился не въ мозгу, а въ карманѣ. Онъ былъ бѣденъ, голоденъ, обезкураженъ и озлобленъ, но нисколько не помѣшанъ. Конечно онъ размышлялъ не совсѣмъ такъ, какъ размышляютъ люди, находящіеся въ хорошемъ, ровномъ и спокойномъ расположеніи духа. Но что-же изъ этого слѣдуетъ? Когда человѣкъ чѣмъ-нибудь сильно обрадованъ, или огорченъ, или испуганъ, или взволнованъ, или озабоченъ, то мысль его непремѣнно работаетъ не совсѣмъ такъ, какъ это дѣлается въ спокойныя минуты его жизни. Если вы усилите какимъ-нибудь образомъ дѣйствіе той причины, которая произвела измѣненія въ процессѣ мышленія, то вмѣстѣ съ тѣмъ усилится и самое измѣненіе; если оно усилится въ очень значительныхъ размѣрахъ, то человѣкъ сдѣлается до нѣкоторой степени похожимъ на сумасшедшаго; онъ начнетъ заговариваться,

болтать чепуху, перебивать самого себя, смѣяться или плакать безъ видимой причины, задумываться, отвѣчать не впопадъ на самые простые вопросы и вообще вести себя такъ, что отъ него трудно будетъ добиться толку. Но признать его помѣшаннымъ было-бы все-таки въ высшей степени опрометчиво. Удалите причину, перепутавшую его мысли, и онъ немедленно сдѣлается снова совершенно разсудительнымъ человѣкомъ. Всякая страсть, всякое впечатлѣніе, всякое глубокое душевное движеніе нарушаютъ до нѣкоторой степени полное равновѣсіе и гармоническое дѣйствіе нашихъ умственныхъ способностей; но если-бы каждое подобное нарушеніе считалось за помѣшательство, то по всей вѣроятности каждому изъ насъ пришлось-бы провести въ сумасшедшемъ домѣ бо́льшую часть своей жизни. Помѣшательствомъ можно назвать только такое нарушеніе равновѣсія, послѣ котораго нормальныя умственныя отправленія уже не возстановляются сами собой.

Человѣкъ помѣшанный не можетъ отвѣчать за свои поступки. Съ него невозможно взыскивать за то зло, которое онъ дѣлаетъ себѣ и другимъ; его нельзя ни судить, ни наказывать. Этотъ принципъ въ настоящее время принятъ всѣми уголовными кодексами образованнаго міра. Доказать, что преступленіе совершено во время помѣшательства, значитъ доказать, что преступленія вовсе не существуетъ и что вмѣсто преступника, подлежащаго извѣстному наказанію, судьи имѣютъ передъ собой больного, нуждающагося въ попеченіяхъ добросовѣстнаго и человѣколюбиваго медика. Поэтому въ вопросѣ о томъ, помѣшанъ-ли Раскольниковъ, скрывается въ сущности другой вопросъ: на сколько Раскольниковъ былъ свободенъ и способенъ отвѣчать за свои поступки въ то время, когда онъ совершалъ свое преступленіе? Этотъ вопросъ имѣетъ очень важное и глубокое общественное значеніе. Такой вопросъ гораздо болѣе интересенъ для каждаго размышляющаго читателя, чѣмъ спеціально-психіатрическій вопросъ о томъ, можно-ли назвать помѣшательствомъ то ненормальное настроеніе, въ которое погрузила Раскольникова его безвыходная нищета. Собственно говоря, именно этотъ вопросъ и предлагается каждымъ читателемъ, желающимъ знать, былъ-ли Раскольниковъ помѣшанъ, или нѣтъ. Отъ рѣшенія этого вопроса зависятъ тѣ отношенія, въ которыя читатель станетъ къ герою, совершившему грязное и отвратительное преступленіе. Читатель можетъ или презирать и ненавидѣть Раскольникова, какъ вреднаго и низкаго негодяя, для котораго уже нѣтъ и не должно быть мѣста въ гражданскомъ обществѣ; или же читатель можетъ смотрѣть на него съ почтительнымъ состраданіемъ, какъ на несчастнаго человѣка, свалившагося въ грязь подъ невыносимымъ гнетомъ такихъ суровыхъ и непобѣдимо-враждебныхъ обстоятельствъ, которыя могли-бы сломить даже очень твердую волю и отуманить даже очень свѣтлую голову. Отношенія читателя къ Раскольникову опредѣлятся такъ или иначе, смотря по тому, какъ рѣшится вопросъ о свободѣ Раскольникова и о его способности отвѣчать за свои поступки Этотъ послѣдній вопросъ можно и должно совершенно отдѣлить отъ вопроса о его помѣшательствѣ. Можно признать тотъ фактъ, что Раскольниковъ не былъ помѣшанъ, и въ то же время можно доказать, что та доля свободы, которою пользовался Раскольниковъ, была совершенно ничтожна. Переберемъ одну за другой всѣ подробности той обстановки, при которой Раскольникову приходилось обдумывать свое положеніе и искать выхода изъ той ловушки, которую разставила ему жизнь; перечислимъ одно за другимъ впечатлѣнія, которыя ложились на его измученную нервную систему; взвѣсимъ и оцѣнимъ всѣ мелкія и мучительныя столкновенія съ грубостью и бездушностью окружающихъ людей, всѣ столкновенія, которыя направляли въ извѣстную сторону теченіе его мыслей,—и потомъ спросимъ себя, оставалась-ли за Раскольниковымъ свобода выбора, и въ его-ли власти было придти или не придти къ тому дикому абсурду, которымъ закончилась его глухая и одинокая борьба.

Въ ту минуту, когда мы знакомимся съ Раскольниковымъ, онъ старается «*проскользнуть какъ-нибудь кошкой по лѣстницѣ*» мимо квартиры хозяйки, которой онъ долженъ, и *улизнуть, чтобы никто не видалъ*. При этомъ онъ чувствуетъ *какое-то болѣзненное и трусливое ощущеніе*, котораго стыдится и отъ котораго морщится. И это ощущеніе онъ принужденъ испытывать всякій разъ, когда выходитъ на улицу, потому что всякій разъ ему надо проходить по лѣстницѣ, мимо хозяйкиной двери, которая обыкновенно бываетъ отворена. Выходитъ онъ на улицу въ такомъ видѣ, который въ однихъ прохожихъ возбуждаетъ насмѣшку, въ другихъ отвращеніе, въ третьихъ праздное состраданіе. Онъ остается равнодушенъ къ тому впечатлѣнію, которое его лохмотья могутъ произвести на уличную публику. Но почему онъ равнодушенъ? Потому, какъ объясняетъ Достоевскій, что въ душѣ его накопилось уже достаточное количество *злобнаго презрѣнія*. Это злобное презрѣніе, составляющее для Раскольникова оборонительное оружіе противъ мелкихъ булавочныхъ уколовъ, которые добрые люди расточаютъ своимъ ближнимъ для препровожденія времени,—пріобрѣтается не легко, покупается не дешевой цѣной и изображаетъ собою такую почву, на которой могутъ укорениться и созрѣть самыя дикія, мрачныя и отчаянныя намѣренія. Это злобное презрѣніе еще не достаточно защищаетъ его отъ стыда за свою без-

*

помощность, когда ему случается встрѣтиться съ знакомыми или съ прежними товарищами. Онъ тщательно избѣгаетъ такихъ встрѣчъ. Дурной знакъ! Его молодое самолюбіе такъ глубоко изранено разнообразнѣйшими оскорбленіями, что уже нѣтъ той формы дружескаго участія, которая могла бы доставить ему пріятное ощущеніе и которая не показалась бы ему выраженіемъ обиднаго и высокомѣрнаго состраданія.

Раскольниковъ идетъ къ той старухѣ, которую онъ собирается убить; онъ идетъ закладывать серебряные часы и въ то же время осматривать мѣстность. Старуха даетъ ему за часы полтора рубля и беретъ съ него проценты за мѣсяцъ впередъ, по десяти процентовъ въ мѣсяцъ. Раскольниковъ видитъ и чувствуетъ на самомъ себѣ, какъ люди пользуются страданіями своихъ ближнихъ, какъ искусно и старательно, какъ аккуратно и безопасно они высасываютъ послѣдніе соки изъ бѣдняка, изнемогающаго въ непосильной борьбѣ за жалкое и глупое существованіе. Ненависть и презрѣніе приливаютъ широкими и ядовитыми волнами въ молодую и воспріимчивую душу Раскольникова въ то время, когда грязная старуха, паукъ въ человѣческомъ образѣ, тянетъ изъ него все, что можно вытянуть изъ человѣка, находящагося наканунѣ голодной смерти. Ненависть и презрѣніе одолѣваютъ его съ такой силой, что ему становится безконечно отвратительнымъ даже бить эту старуху, даже марать руки ея кровью и ея деньгами, въ которыхъ ему чуются слезы многихъ десятковъ голодныхъ людей, быть можетъ даже многихъ покойниковъ, умершихъ въ больницѣ отъ истощенія силъ, или бросившихся въ воду, во избѣжаніе голодной смерти. На минуту все тонетъ для Раскольникова въ какомъ-то туманѣ непобѣдимаго отвращенія. Пропадай эта подлая старуха, пропадай ея грязныя деньги, пропадай я самъ съ моими глупыми страданіями и еще болѣе глупыми планами обогащенія. Наплевалъ-бы на всю эту тину человѣческой гнусности, ушелъ-бы куда-нибудь, забылся-бы, умеръ-бы, если бы для этого достаточно было закрыть глаза и пожелать смерти.

Это чувство нравственнаго отвращенія усиливается еще и доводится до своего апогея простымъ ощущеніемъ физической тошноты. Раскольниковъ голоденъ до такой степени, что мысли путаются въ его головѣ. Онъ входитъ въ распивочную, выпиваетъ стаканъ холоднаго пива, и ему вдругъ становится веселѣе и легче; онъ самъ замѣчаетъ, что у него «крѣпнетъ умъ, яснѣетъ мысль, твердѣютъ намѣренія». Сознательная ненависть къ старухѣ и взглядъ на ея безчестно нажитыя деньги, какъ на средство выбраться изъ затрудненія, одерживаютъ перевѣсъ надъ инстинктивно сильнымъ отвращеніемъ къ грязному убійству. Раскольниковъ замѣчаетъ тотчасъ-же, что этотъ поворотъ въ его мысляхъ произошелъ отъ стакана пива, и это простое наблюденіе заставляетъ его плюнуть и сказать: «какое все это ничтожество!».

Изъ этого наблюденія онъ видитъ, что онъ не властенъ надъ своими мыслями, что онъ не можетъ подавлять или вызывать ихъ по своему благоусмотрѣнію, и что ему надо будетъ, волей или неволей, идти туда, куда поведутъ его внѣшнія вліянія, дающія его мыслямъ то или другое направленіе. Въ распивочной Раскольниковъ встрѣчается съ горькимъ пьяницей, отставнымъ чиновникомъ Мармеладовымъ, который комически-витіеватымъ языкомъ разсказываетъ ему свою простую и глубоко-трагическую исторію. Бѣдность, голодныя дѣти, грязный уголъ, оскорбленія разныхъ нахаловъ, чахоточная жена, сохраняющая воспоминаніе о лучшихъ дняхъ и убивающая себя работой, старшая дочь, превратившаяся въ публичную женщину, чтобы поддерживать существованіе семейства,—вотъ выдающіяся черты той жизни, панорама которой развертывается передъ Раскольниковымъ въ разсказѣ пьянаго Мармеладова. Самъ разсказчикъ нисколько не желаетъ себя выгораживать; съ смиреніемъ, свойственнымъ разговорчивому пьяницѣ, онъ неоднократно называетъ себя свиньей и скотомъ и доказываетъ очень убѣдительно, что онъ въ самомъ дѣлѣ скотъ и свинья. Онъ объясняетъ Раскольникову, съ чувствомъ искренняго негодованія противъ себя, что пропилъ даже чулки своей жены, пропилъ косыночку изъ козьяго пуха, «*дареную, прежнюю, ея собственную*», пропилъ въ послѣдніе пять дней свое мѣсячное жалованье, укравши его изъ-подъ замка у жены, вмѣстѣ съ жалованьемъ пропилъ форменное платье и послѣднюю надежду выбраться на чистую дорожку посредствомъ службы, которая была ему доставлена только по особому великодушію какого-то благодѣтеля, его превосходительства Ивана Афанасьевича, тронувшагося его слезными мольбами и взявшаго его на свою личную отвѣтственность. «Пятый день изъ дома, кончаетъ Мармеладовъ, и тамъ меня ищутъ, и службѣ конецъ, и вицъ-мундиръ въ распивочной у Египетскаго моста лежитъ, взамѣнъ чего и получилъ сіе одѣяніе... и всему конецъ».

До столкновенія съ Мармеладовымъ Раскольниковъ зналъ коротко только тѣ физическія лишенія, которыя порождаются бѣдностью. Онъ могъ конечно дойти и по всей вѣроятности доходилъ путемъ теоретическихъ выкладокъ до того заключенія, что бѣдность, придавливая и пригибая человѣка къ землѣ, дѣлая его безотвѣтнымъ и беззащитнымъ, заставляя его ползать и пресмыкаться въ грязи у ногъ великодушныхъ благодѣтелей, медленно и безвозвратно убиваетъ въ немъ его человѣческое до-

стоинство; но доходить путемъ размышленія до того вывода, что какой-нибудь фактъ возможенъ и дѣйствительно существуетъ, совсѣмъ не то, что встрѣтиться съ этимъ фактомъ лицомъ къ лицу, осмотрѣть его со всѣхъ сторонъ и вдохнуть въ себя весь его своеобразный ароматъ.

Раскольниковъ *никогда до сихъ поръ не входилъ въ распивочныя*, слѣдовательно никогда не видалъ вблизи тѣхъ образчиковъ нравственнаго паденія, которые изготовляются бѣдностью. Мармеладовъ и его разсказъ дѣйствуютъ на него такъ, какъ дѣйствуютъ обыкновенно на юнаго медицинскаго студента тѣ куски разлагающагося человѣческаго мяса, съ которыми онъ встрѣчается и принужденъ знакомиться самымъ обстоятельнымъ образомъ при первомъ своемъ вступленіи въ анатомическій театръ. Прошу читателей извинить меня. Мое сравненіе грѣшитъ тѣмъ, что оно слишкомъ слабо. Оно могло-бы сдѣлаться вѣрнымъ только въ томъ случаѣ, если-бы мы предположили, что въ анатомическомъ театрѣ производятся вивисекціи надъ самими медицинскими студентами, и что каждый изъ этихъ студентовъ, превратившись подъ ножомъ прозектора въ куски кроваваго и разлагающагося мяса, продолжаетъ втеченіи многихъ мѣсяцевъ страдать, стонать, метаться, чувствуя и сознавая свое собственное гніеніе. Допустивши это дикое предположеніе и вообразивъ себѣ, какое чувство долженъ испытывать студентъ, вступающій въ анатомическій театръ, знающій заранѣе ту судьбу, которая его ожидаетъ, и встрѣчающійся въ первый разъ съ живыми примѣрами тѣхъ метаморфозъ, которыя скоро должны совершиться надъ нимъ самимъ, мы составимъ себѣ довольно ясное понятіе о томъ, что̀ долженъ былъ передумать и перечувствовать Раскольниковъ, созерцая Мармеладова и выслушивая его пьяную исповѣдь. Всего ужаснѣе въ этой личности и въ этой исповѣди именно то, что Мармеладова невозможно презирать цѣликомъ, презирать такъ, чтобы къ этому презрѣнію не примѣшивалось никакого другого чувства. Глядя на него, Раскольниковъ не можетъ остановиться и успокоиться на томъ приговорѣ, что это дѣйствительно скотъ и свинья, и что въ этомъ скотѣ или въ этой свиньѣ никогда не было или по крайней мѣрѣ уже не осталось ничего чисточеловѣческаго, ничего такого, въ чемъ просвѣчивало-бы его сродство съ самимъ Раскольниковымъ, и въ чемъ таились-бы задатки безпредѣльнаго совершенствованія. Мармеладовъ любитъ свою жену и своихъ дѣтей, запоминаетъ всѣ оттѣнки ихъ страданій, и самъ страдаетъ за нихъ и вмѣстѣ съ ними въ то-же самое время, когда онъ самъ, своими-же собственными руками сталкиваетъ ихъ въ грязную яму безвыходной нищеты, которая уже разрѣшилась для его старшей дочери всѣми муками и пытками вынужденнаго разврата. Мармеладовъ способенъ сознательно уважать свою жену, способенъ оцѣнивать, понимать и прощать естественной деликатностью и чуткостью глубоко-нѣжнаго характера (я-бы сказалъ *сердца*, если-бы не избѣгалъ этого неточнаго и до крайности опошленнаго выраженія) тѣ взрывы взбалмошной сварливости и несправедливой злости, которымъ подвержена эта измученная чахоточная женщина. «Лежалъ я тогда, говоритъ Мармеладовъ... ну да ужъ что! лежалъ пьяненькой-съ и слышу, говоритъ моя Соня (безотвѣтная она, и голосокъ у ней такой кроткій... бѣлокуренькая, и личико всегда блѣдненькое, худенькое), говоритъ: что-жъ, Катерина Ивановна, неужели-же мнѣ на такое дѣло пойти? А ужъ Дарья Францовна, женщина злонамѣренная и полиціи многократно извѣстная, раза три черезъ хозяйку навѣдывалась. «А что-жъ, отвѣчаетъ Катерина Ивановна въ пересмѣшку,—чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не въ здравомъ разсудкѣ сіе сказано было, а при взволнованныхъ чувствахъ, въ болѣзни и при плачѣ дѣтей нѣвшихъ, да и сказано болѣе ради оскорбленія, чѣмъ въ точномъ смыслѣ.. Ибо Катерина Ивановна такого ужъ характера, и какъ расплачутся дѣти, хоть-бы и съ голоду, тотчасъ-же ихъ бить начинаетъ. И вижу я эдакъ часу въ шестомъ, Сонечка встала, надѣла платочекъ, надѣла бурнусикъ и съ квартиры отправилась, а въ девятомъ часу и назадъ обратно пришла. Пришла и прямо къ Катеринѣ Ивановнѣ, и на столъ передъ ней тридцать цѣлковыхъ молча выложила. Ни словечка при этомъ не вымолвила, хоть-бы взглянула, а взяла только нашъ большой прадедамовый зеленый платокъ (общій такой у насъ платокъ есть, прадедамовый), накрыла имъ совсѣмъ голову и лицо и легла на кровать, лицомъ къ стѣнѣ, только плечики да тѣло все вздрагиваютъ... А я, какъ и давича, въ томъ-же видѣ лежалъ-съ... И видѣлъ я тогда, молодой человѣкъ, видѣлъ я, какъ затѣмъ Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла къ Сонечкиной постелькѣ и весь вечеръ въ ногахъ у ней на колѣняхъ простояла, ноги ей цѣловала, встать не хотѣла, а потомъ такъ обѣ и заснули вмѣстѣ, обнявшись... обѣ... обѣ... да-съ... а я... лежалъ пьяненькой-съ...» Все разсказано просто, ясно и до послѣдней степени отчетливо. Приведены всѣ подробности, которыя могъ подмѣтить очевидецъ, глубоко заинтересованный въ совершавшемся событіи. Подмѣчено все, что̀ могло бросить свѣтъ на характеры обѣихъ женщинъ,—все, что̀ могло объяснить и оправдать ихъ поступки, идущіе въ разрѣзъ съ правилами той нравственности, которую счастливые люди могутъ и должны считать для себя обязательной, и во имя которой они очень естественнымъ образомъ распо-

ложены судить и осуждать своихъ несчастныхъ ближнихъ. Видно изъ каждаго слова разсказа, что впечатлѣнія этого рокового вечера, какъ капли расплавленнаго свинца, падали въ мозгъ жалкаго пьяницы и оставляли въ немъ такіе слѣды, которыхъ не сотрутъ до конца его жизни никакіе винные пары. Все онъ понимаетъ, все объясняетъ, все прощаетъ и оправдываетъ, — только для самого себя нѣтъ у него ни одного слова объясненія, прощенія и оправданія. И три раза встрѣчается въ его разсказѣ упоминаніе о томъ голомъ фактѣ, что онъ лежалъ пьяненькій,— упоминаніе, похожее на похоронное пѣніе, пропѣтое человѣкомъ надъ самимъ собою. И съ этимъ-то яснымъ пониманіемъ своего глубокаго ничтожества, съ этимъ неизгладимымъ, яркимъ и жгучимъ воспоминаніемъ о событіяхъ рокового вечера онъ все-таки бѣжитъ въ кабакъ, укравши у жены свои трудовыя деньги, пьянствуетъ безъ просыпу пятеро сутокъ, губитъ всѣ послѣднія надежды своего семейства и въ довершеніе всѣхъ своихъ подвиговъ, спустивши въ кабакахъ все, что можно было спустить, идетъ выпрашивать у своей дочери, живущей по желтому билету, выпрашивать на послѣдній полуштофъ водки частицу тѣхъ денегъ, которыя она добываетъ отъ искателей легкой и дешевой любви, и которыя составляютъ единственное постоянное подспорье чахоточной женщины и тройхъ вѣчно голодныхъ ребятишекъ.

Ясное дѣло, что Мармеладовъ—трупъ, чувствующій и понимающій свое разложеніе,— трупъ, слѣдящій съ невыразимо-мучительнымъ вниманіемъ за всѣми фазами того ужаснаго процесса, которымъ уничтожается всякое сходство этого трупа съ живымъ человѣкомъ, способнымъ чувствовать, мыслить и дѣйствовать. Это мучительное вниманіе составляетъ послѣдній остатокъ человѣческаго образа; глядя на этотъ послѣдній остатокъ, Раскольниковъ можетъ понимать, что Мармеладовъ не всегда былъ такимъ трупомъ, какимъ онъ видитъ его въ распивочной, за полуштофомъ, купленнымъ на Сонины деньги. Этотъ остатокъ намекаетъ ему на то, что есть тропинка, ведущая къ Мармеладовскому паденію, и что есть возможность спуститься на эту скользкую тропинку даже съ той высоты умственнаго и нравственнаго развитія, на которую удалось взобраться ему, студенту Раскольникову. Не даромъ же Мармеладовъ обращается въ распивочной исключительно къ нему одному, и не даромъ же онъ самъ слушаетъ его разсказъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Между ними есть точки соприкосновенія, между ними существуетъ возможность взаимнаго пониманія, и стало быть нѣтъ основаній ручаться за то, чтобы тѣ испытанія, которыя погубили Мармеладова, не обнаружили своего мертвящаго и разлагающаго вліянія надъ Раскольниковымъ. Мармеладова раздавила бѣдность,—та самая бѣдность, которая давитъ Раскольникова и уже довела его до изнурительной апатіи и до дикихъ мыслей о грабежѣ и убійствѣ. Мармеладовъ не вынесъ своихъ страданій, осложненныхъ страданіями, продолжительными и разнообразными, то острыми, то хроническими страданіями тѣхъ людей, которые были ему дороги, и существованіе которыхъ онъ одинъ могъ и одинъ обязанъ былъ обезпечивать. Мармеладовъ не вынесъ и сталъ искать себѣ минутнаго забвенія; онъ *прикоснулся*, какъ онъ самъ выражался, и прикоснулся по тому самому побужденію, по которому человѣкъ, страдающій невыносимой зубной болью, кладетъ себѣ опіумъ или хлороформъ въ дупло больного зуба. Мармеладовъ сдѣлался врагомъ, разорителемъ и мучителемъ своего семейства такъ нечувствительно и незамѣтно для самого себя, какъ человѣкъ, пристрастившійся къ леченію посредствомъ опіума, становится сознательно губителемъ собственнаго здоровья. Мармеладовъ не принималъ никакихъ противозаконныхъ и насильственныхъ мѣръ противъ своей нищеты; онъ просто падалъ, вязнулъ и тонулъ, потому что у него не хватало силъ стоять на ногахъ, и потому что его ноги не находили себѣ твердой точки опоры въ той бездонной трясинѣ, которая изъ-году въ годъ поглощаетъ сотни и тысячи бѣдныхъ людей. Результатъ, къ которому онъ пришелъ путемъ этого краткаго и пассивнаго погруженія въ болото нищеты, разоблачился передъ Раскольниковымъ во всей наготѣ своего потрясающаго безобразія. При томъ направленіи, которое уже было дано мыслямъ Раскольникова, при томъ планѣ, по которому уже складывались и созрѣвали его намѣренія, видъ трупа, доведеннаго до разложенія собственной пассивностью и кротостью, долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова такъ, какъ можетъ подѣйствовать ударъ каленымъ желѣзомъ на бѣшеную лошадь, уже закусившую удила.

Личность Сони и ея образъ дѣйствій также наводятъ Раскольникова на такія размышленія, которыя могутъ только расчищать передъ нимъ дорогу къ преступленію. Во-первыхъ, у Раскольникова есть сестра, дѣвушка молодая, умная, образованная и красавица собою. Раскольниковъ любитъ свою сестру такъ-же сильно, какъ Мармеладовъ любитъ свою старшую дочь. Но къ чему годится эта сильная любовь бѣднаго, задавленнаго и безсильнаго человѣка? Отъ чего можетъ защитить и куда можетъ привести такая любовь? Пользуясь этой любовью, Авдотья Романовна Раскольникова такъ-же точно можетъ очутиться въ безотчетномъ распоряженіи уличныхъ ловеласовъ, какъ очутилась въ ихъ распоряженіи Софья Семеновна Мармеладова. Невозможно разсчитывать навѣрное

даже и на тотъ исходъ, что самоубійство спасетъ Авдотью Романовну отъ вынужденнаго разврата. Можетъ быть Софья Семеновна также съумѣла-бы броситься въ Неву; но, бросаясь въ Неву, она не могла-бы выложить на столъ предъ Катериной Ивановной тридцать цѣлковыхъ, въ которыхъ заключается весь смыслъ и все оправданіе ея безнравственнаго поступка.

Бываютъ въ жизни такія положенія, которыя убѣждаютъ безпристрастнаго наблюдателя въ томъ, что самоубійство есть роскошь, доступная и позволительная только обезпеченнымъ людямъ. Очутившись въ такомъ положеніи, человѣкъ научается понимать выразительную пословицу: куда ни кинь, все клинъ. Къ такому положенію оказываются непримѣнимыми правила и предписанія общепринятой житейской нравственности. Въ такомъ положеніи точное соблюденіе каждаго изъ этихъ превосходныхъ правилъ и предписаній приводитъ человѣка къ какому-нибудь вопіющему абсурду. То, что при обыкновенныхъ условіяхъ было-бы священной обязанностью, начинаетъ казаться человѣку, попавшему въ исключительное положеніе, презрѣннымъ малодушіемъ или даже явнымъ преступленіемъ; то, что при обыкновенныхъ условіяхъ возбудило-бы въ человѣкѣ ужасъ и отвращеніе, начинаетъ казаться ему необходимымъ шагомъ или геройскимъ подвигомъ, когда онъ находится подъ гнетомъ своего исключительнаго положенія. И не только самъ человѣкъ, подавленный исключительнымъ положеніемъ, теряетъ способность рѣшать нравственные вопросы такъ, какъ они рѣшаются огромнымъ большинствомъ его современниковъ и соотечественниковъ, но даже и безпристрастный наблюдатель, вдумываясь въ такое исключительное положеніе, останавливается въ недоумѣніи и начинаетъ испытывать такое ощущеніе, какъ будто-бы онъ попалъ въ новый, особенный, совершенно фантастическій міръ, гдѣ все дѣлается навыворотъ, и гдѣ наши обыкновенныя понятія о добрѣ и злѣ не могутъ имѣть никакой обязательной силы.

Что вы скажете въ самомъ дѣлѣ о поступкѣ Софьи Семеновны? Какое чувство возбудитъ въ васъ этотъ поступокъ: презрѣніе или благоговѣніе? Какъ вы назовете ее за этотъ поступокъ: грязной потаскушкой, бросившей въ уличную лужу святыню своей женской чести, или великодушной героиней, принявшей съ спокойнымъ достоинствомъ свой мученическій вѣнецъ? Какой голосъ эта дѣвушка должна была принять за голосъ совѣсти—тотъ ли, который ей говорилъ: «сиди дома и терпи до конца, умирай съ голоду вмѣстѣ съ отцомъ, съ матерью, съ братомъ и съ сестрами, но сохраняй до послѣдней минуты свою нравственную чистоту»,— или тотъ, который говорилъ: «не жалѣй себя, не береги себя, отдай все, что у тебя есть, продай себя, опозорь и загрязни себя, но спаси, угѣшь, поддержи этихъ людей, накорми и обогрѣй ихъ хоть на недѣлю, во что бы то ни стало?» Я очень завидую тѣмъ изъ моихъ читателей, которые могутъ и умѣютъ рѣшать съ плеча, безъ оглядки и безъ колебаній, вопросы, подобные предыдущему. Я самъ долженъ сознаться, что передъ такими вопросами я становлюсь втупикъ; противоположныя воззрѣнія и доказательства сталкиваются между собою; мысли путаются и мѣшаются въ моей головѣ; я теряю способность оріентироваться и анализировать; начинается тревожное и мучительное исканіе какой-нибудь твердой точки и какого-нибудь возможнаго выхода изъ заколдованнаго круга, созданнаго исключительнымъ положеніемъ. Кончается-ли это исканіе какимъ-нибудь положительнымъ результатомъ, нахожу-ли я точку опоры и удается-ли мнѣ замѣтить выходъ—объ этомъ я не скажу моимъ читателямъ ни одного слова.

Если здѣсь возможенъ какой-нибудь положительный результатъ, то онъ во всякомъ случаѣ долженъ показаться читателямъ такой выдумкой, которая въ высшей степени похожа на абсурдъ или на парадоксъ. Но такъ какъ съ одной стороны бросать бисеръ передъ свиньями неразсчетливо и неблагоразумно, то съ другой стороны также неблагоразумно и неразсчетливо, и кромѣ того даже очень невѣжливо, предлагать предметы, годные только для свиней, какъ-то жолуди и отруби, такимъ особамъ, передъ которыми слѣдуетъ разсыпать чистый бисеръ. Поэтому, еслибы даже я имѣлъ несчастье добраться путемъ моихъ размышленій до обильнаго запаса жолудей и отрубей, то я-бы тщательно скрылъ отъ моихъ благовоспитанныхъ читателей мое неприличное открытіе. Это было-бы тѣмъ болѣе удобно, что въ настоящемъ случаѣ насъ занимаетъ исключительно вопросъ о томъ: какимъ образомъ разсказъ Мармеладова о поступкѣ Сони долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова? Со стороны Раскольникова невозможно ожидать продолжительныхъ колебаній во взглядѣ на этотъ поступокъ. Раскольниковъ не могъ быть безпристрастнымъ наблюдателемъ. Раскольниковъ самъ былъ въ высшей степени ожесточенъ трудностями своего собственнаго положенія: на его душѣ накопилось, какъ мы уже видѣли выше, много злобнаго презрѣнія къ обществу, къ его законамъ и ко всѣмъ его установившимся нравственнымъ понятіямъ. Онъ самъ уже былъ коротко знакомъ съ той опасной мыслью, что бѣднякъ, которому общество отказываетъ въ работѣ и въ кускѣ хлѣба, долженъ поневолѣ вступить въ открытую войну съ этимъ обществомъ и вести эту войну всѣми правдами и неправдами, силою и хитростью, нарушая безбоязненно и безсовѣстно всѣ предписанія нравственнаго закона. То обстоятельство, что Соня шла наперекоръ общественному

мнѣнію, должно было подкупить Раскольникова въ пользу ея поступка. Въ этомъ поступкѣ онъ могъ видѣть только то высокое самоотверженіе, съ которымъ Соня рѣшилась надѣть мученическій вѣнецъ и выпать до дна чашу униженія и страданія. Онъ могъ только почувствовать къ Сонѣ восторженное уваженіе за то, что она подобно Курцію бросилась въ пропасть и согласилась сдѣлаться искупительной жертвой за цѣлое семейство. При этомъ разумѣется онъ долженъ былъ также сообразить, что пропасть, въ которую бросилась Соня, все-таки остается открытой, и что семейство, за которое принесена жертва, все-таки остается неискупленнымъ, такъ что младшія сестры Сони сохраняютъ за собой всѣ шансы отправиться въ свое время по ея слѣдамъ. Примѣръ Сони долженъ былъ съ одной стороны возбудить въ немъ соревнованіе, а съ другой—подѣйствовать на него, какъ предостереженіе. Съ одной стороны онъ долженъ былъ подумать: вѣдь вотъ въ самомъ дѣлѣ эта Соня! Семнадцатилѣтняя дѣвушка, слабая, робкая, безотвѣтная, забитая, неразвитая, опутанная всякими рутинными понятіями и предразсудками,—а какъ пришлось очень круто, такъ съумѣла же рѣшиться и нашла возможность дѣйствовать. Не осталась-же она дома, чтобы сидѣть сложа руки, хныкать надъ пьянымъ отцомъ, надъ больной мачихой, надъ голодными ребятами, или въ тысячный разъ затыкать трудовыми копѣечками такую прорѣху, на которую очевидно требовались рубли, добытые какими-бы то ни было средствами. Нѣтъ. Посидѣла, поплакала, надумалась, вышла на улицу, бросилась прямо въ грязь и выкопала изъ этой грязи тридцать рублей для семейнаго бюджета. А я то чего-же смотрю? Я-то, мужчина, сильный человѣкъ, свободный мыслитель, строгій судья существующихъ нелѣпостей! Развѣ я неспособенъ понять, что мое положеніе не поправляется грошовыми уроками? Развѣ я считать не умѣю? Или я можетъ быть боюсь столкновенія съ существующими понятіями, боюсь того, чего не по боялась Соня? Или я жду того, чтобы сестра Дуня приняла на себя обязанности искупительной жертвы за наше семейство и погибла-бы такъ-же безтолково и такъ-же безплодно, какъ погибла эта Соня? Или я просто на словахъ города беру, а на дѣлѣ поджимаю хвостъ передъ простымъ городовымъ?

Съ другой стороны онъ долженъ былъ подумать: не стоитъ мараться по мелочамъ и изъ-за пустяковъ. Ужъ если бросаться въ грязь, то бросаться не изъ-за тридцати цѣлковыхъ и ужъ конечно не такъ неразсчетливо, какъ бросилась эта Соня. Надо сильно рискнуть, чтобы много выиграть. Надо такъ—или панъ, или пропалъ!—А то ужъ лучше лежать дома на диванѣ, хлебать вчерашнія Настасьины щи, прятаться отъ хозяйки, бѣгать высуня языкъ за грошовыми уроками, какъ за кладомъ, который все не дается въ руки,—и при этомъ утѣшать себя пріятнымъ сознаніемъ своей незапятнанной честности.—Я убѣдительно прошу читателей не думать, что я сколько-нибудь одобряю эти размышленія Раскольникова; я нахожу напротивъ того, что его ироническія отношенія къ незапятнанной честности и къ упорному труду, получающему копѣечное вознагражденіе, въ высшей степени предосудительны; я вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что его мысли—дурныя, вредныя и опасныя мысли. Я только осмѣливаюсь утверждать и стараюсь доказывать, что эти мысли были неизбѣжными продуктами его невыносимаго положенія; въ этихъ мысляхъ проявилась та болѣзнь, которая развилась въ немъ подъ вліяніемъ его лишеній и разнообразныхъ страданій, та болѣзнь, которую нельзя назвать помѣшательствомъ, но которая все-таки ведетъ и должна вести человѣка къ нелѣпымъ и безобразнымъ поступкамъ. При тѣхъ условіяхъ, которыя давили Раскольникова, у него не могло быть никакихъ другихъ мыслей. Поставьте на мѣсто Раскольникова какого-нибудь другого человѣка обыкновенныхъ размѣровъ, развившагося иначе и смотрящаго на вещи другими глазами, и вы увидите, что получится тотъ-же самый результатъ. Невыносимое положеніе воспитаетъ въ немъ ту-же самую болѣзнь, и всѣ его мысли примутъ то-же самое вредное и опасное направленіе. Онъ убѣдитъ себя въ томъ, что общество обращается съ нимъ, какъ съ голоднымъ волкомъ, и что ему остается только принять на себя эту странную роль со всѣми ея возможными послѣдствіями, со всѣми ея своеобразными правами и обязанностями, со всѣми ея удобствами и неудобствами.

Будемъ теперь слѣдить дальше за тѣми впечатлѣніями, которыя доставались на долю Раскольникова и могли обнаруживать на общее теченіе его мыслей то или другое вліяніе. На другой день послѣ посѣщенія распивочной, Раскольниковъ получаетъ письмо отъ своей матери. Видъ этого письма дѣйствуетъ на него очень сильно: «Письмо, говоритъ Достоевскій, дрожало въ рукахъ его; онъ не хотѣлъ распечатывать при ней (при Настасьѣ); ему хотѣлось остаться *наединѣ* съ этимъ письмомъ. Когда Настасья вышла, онъ быстро поднесъ его къ губамъ и поцѣловалъ, потомъ долго еще вглядывался въ почеркъ адреса, въ знакомый и милый ему мелкій почеркъ его матери, учившей его когда-то читать и писать. Онъ медлилъ; онъ даже какъ-будто боялся чего-то». Если человѣкъ такимъ образомъ принимаетъ и держитъ нераспечатанное письмо, то вы можете себѣ представить, какъ онъ будетъ читать его и по строкамъ, и между строками, какъ онъ

будетъ взматриваться въ каждый оттѣнокъ и поворотъ мысли, какъ онъ въ словахъ и подъ словами будетъ отыскивать затаенную мысль, отыскивать то, что̀ лежало быть можетъ тяжелымъ камнемъ на душѣ писавшей особы и что̀ скрывалось самымъ тщательнымъ образомъ отъ пытливыхъ глазъ любимаго сына. Начинается чтеніе. Начинается одна изъ самыхъ утонченныхъ пытокъ, какія только могутъ выпасть на долю бѣднаго человѣка, еще не доведеннаго гнетущей нищетой до тупости, безчувственности и покорности разбитой и загнанной почтовой клячи. Изъ этихъ драгоцѣнныхъ строкъ, согрѣтыхъ кроткимъ и мягкимъ сіяніемъ безпредѣльной материнской нѣжности, сыплются на изнемогающаго Раскольникова такіе жгучіе удары, которые могутъ быть нанесены ему именно только рукой любящей матери. Письмо написано самымъ бодрымъ и веселымъ тономъ и наполнено самыми пріятными извѣстіями, и вслѣдствіе этого мучительность пытки становится еще болѣе утонченной.

Письмо начинается самыми горячими выраженіями любви: «ты знаешь, какъ я люблю тебя, ты одинъ у насъ, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упованіе наше». Затѣмъ слѣдуютъ извѣстія о сестрѣ: «Слава тебѣ Господи, кончились ея истязанія, но разскажу тебѣ все по порядку, чтобы ты узналъ, какъ все было, и что̀ мы отъ тебя до сихъ поръ скрывали». Такъ какъ Раскольникову пишутъ объ *окончившихся* истязаніяхъ, и при этомъ признаются, что отъ него *до сихъ поръ* скрывали многое, или даже все, то ему предоставляется полнѣйшее право думать, что теперь начинаются новыя истязанія, которыя также будутъ отъ него скрываться до тѣхъ поръ, пока они въ свою очередь не превратятся въ окончившіяся. Раскольниковъ конечно съ внимательностью, свойственной сильно любящему человѣку, наматываетъ себѣ на усъ это полезное указаніе и продолжаетъ чтеніе съ твердой рѣшимостью разглядѣть между радостными строками эти начинающіяся или уже начавшіяся истязанія. Касательно окончившихся истязаній въ письмѣ сообщаются слѣдующія подробности. Дуня поступила гувернанткой въ домъ господъ Свидригайловыхъ и забрала впередъ *цѣлыхъ сто рублей*, «болѣе для того, чтобы выслать тебѣ шестьдесятъ рублей, въ которыхъ ты тогда такъ нуждался и которые ты и получилъ отъ насъ въ прошломъ году». Закабаливъ себя такимъ образомъ на нѣсколько мѣсяцевъ, Дуня принуждена была переносить грубости Свидригайлова, стараго кутилы, трактирнаго героя и уличнаго донъ-Жуана, который, какъ сказано въ письмѣ, *по старой привычкѣ своей, находился часто подъ вліяніемъ Бахуса*. Отъ грубостей и насмѣшекъ Свидригайловъ перешелъ къ настойчивому ухаживанію и усиленно сталъ приглашать Дуню къ побѣгу за границу. Супруга Свидригайлова, Марфа Петровна, влюбленная въ мужа по уши, въ высшей степени взбалмошная и ревнивая до крайности, подслушала *своего мужа, умолявшаго Дунечку въ саду*, перепутала въ своей убогой головѣ всѣ обстоятельства дѣла, выскочила изъ своей засады какъ бѣшеная кошка, собственноручно отколотила Дуню, «не хотѣла ничего слушать, а сама цѣлый часъ кричала и наконецъ приказала тотчасъ-же отвезти Дуню въ городъ, на простой крестьянской телѣгѣ, въ которую сбросили всѣ ея вещи, бѣлье, платья, все какъ случилось, неувязанное и неуложенное. А тутъ поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проѣхать съ мужикомъ цѣлыхъ семнадцать верстъ въ некрытой телѣгѣ». Этимъ мщеніемъ не удовлетворилась разгнѣванная Юнона. Пріѣхавъ въ городъ, она стала такъ успѣшно звонить во всѣхъ домахъ о своихъ семейныхъ несчастіяхъ и о преступленіяхъ безстыжей дѣвки Авдотьи Раскольниковой, что мать и сестра нашего героя были принуждены запереться дома *отъ подозрительныхъ взглядовъ и шептаній*. Всѣ знакомые отъ нихъ отстранились, всѣ перестали имъ кланяться; шайка негодяевъ изъ купеческихъ приказчиковъ и канцелярскихъ писцовъ, всегда готовыхъ бить и оплевывать всякаго лежачаго, стремилась даже принять на себя роль мстителей за outrage à la morale publique и собиралась вымазать дегтемъ ворота того дома, въ которомъ жила коварная соблазнительница цѣломудреннаго Свидригайлова. Хозяева дома, пылая тѣмъ-же добродѣтельнымъ негодованіемъ и преклоняясь передъ непогрѣшимымъ приговоромъ общественнаго мнѣнія, коноводомъ котораго являлась постоянно бѣшеная дура Марфа Петровна, потребовали даже, чтобы госпожи Раскольниковы очистили квартиру отъ своего тлетворнаго и компрометирующаго присутствія.

Наконецъ дѣло разъяснилось. Свидригайловъ предъявилъ своей бѣсноватой супругѣ письмо Авдотьи Романовны, написанное задолго до трагической сцены въ саду и доказывавшее очевидно, что во всемъ былъ виноватъ только одинъ старый селадонъ. Изъ этого письма Марфа Петровна извлекла себѣ новыя и въ высшей степени драгоцѣнныя средства разнообразить втеченіи нѣсколькихъ недѣль безконечные досуги своей сытой и сонной жизни. Съ искреннимъ увлеченіемъ праздной и пустой женщины, которая со скуки готова съ одинаковымъ наслажденіемъ злословить и благотворить, клеветать и вышивать подвѣски къ паникадиламъ, устраивать концерты въ пользу бѣдныхъ и сѣчь на конюшнѣ беременныхъ горничныхъ,— Марфа Петровна напустила на себя раскаянье, прискакала въ городъ, влетѣла въ квартиру

Раскольниковыхъ, наводнила эту квартиру потоками своихъ дешевыхъ слезъ, попробовала задушить Дуню и ея мать въ своихъ непрошенныхъ объятіяхъ и потомъ принялась бѣгать по городу и перезванивать по новому всю исторію,съ приличнымъ аккомпаниментомъ вздоховъ, криковъ, рыданій, сморканій и пѣвучихъ проклятій, направленныхъ на коварнаго изверга и жестокаго тирана ея нѣжной и пылающей души. Почтенные обитатели города встрепенулись и обрадовались новому обороту дѣла, которое уже казалось покончennымъ,—обрадовались такъ-же безкорыстно и простодушно, какъ они обрадовались-бы извѣстію о томъ, что въ ихъ городѣ родился поросенокъ о-двухъ головахъ, или что черезъ ихъ захолустье проѣдетъ въ скоромъ времени какое-нибудь белуджистанское посольство. Нашлась для людей неожиданная возможность о чемъ-то говорить и прикидываться впродолженіи нѣсколькихъ дней, что они о чемъ-то думаютъ и чѣмъ-то озабочены.

Дунечка сдѣлалась героиней дня, то-есть всѣ пошляки и негодяи города, всѣ сплетники и сплетницы, всѣ безмозглые и бездушные руководители и руководительницы такъ называемаго общественнаго мнѣнія присвоили себѣ право и вмѣнили себѣ въ священную обязанность заглядывать своими глупыми глазами въ душу оскорбленной дѣвушки, ходить своими грязными руками и погами по всѣмъ закоулкамъ ея недавняго страданія и комментировать силами своихъ куриныхъ умовъ такіе оттѣнки чувства и проблески мысли, до которыхъ имъ самимъ удастся возвыситься только тогда, когда они съумѣютъ укусить собственный локоть. Дунечка сдѣлалась поводомъ для цѣлаго ряда литературныхъ чтеній. Марфѣ Петровнѣ «пришлось нѣсколько дней сряду объѣзжать всѣхъ въ городѣ, такъ какъ иные стали обижаться, что другимъ оказано было предпочтеніе, и такимъ образомъ завелись очереди, такъ что въ каждомъ домѣ уже ждали заранѣе и всѣ знали, что въ такой-то день Марфа Петровна будетъ тамъ-то читать это письмо, и на каждое чтеніе опять-таки собирались даже и тѣ, которые письмо уже нѣсколько разъ прослушали и у себя въ домахъ, и у другихъ знакомыхъ, по-очереди». Къ довершенію благополучія и къ окончательному увѣнчанію оправданной добродѣтели, почтенный и солидный человѣкъ, *уже надворный совѣтникъ*, составившій себѣ капиталъ и раздѣляющій во многомъ, какъ онъ самъ выражается, *убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ*, словомъ ходячая квинтэссенція всей приличной и самодовольной пошлости, украшающей своимъ существованіемъ тотъ городъ, въ которомъ живутъ госпожи Раскольниковы, подноситъ Авдотьѣ Романовнѣ руку и сердце, въ видѣ высокой и торжественной награды за незаслуженныя страданія. Имя этого благодѣтеля—Петръ Петровичъ Лужинъ. — Онъ дальній родственникъ Марфы Петровны, которая очень горячо мастеритъ это дѣло, потому что она женщина богатая, вліятельная, великодушная и подверженная припадкамъ внезапнаго вдохновенія, потому что она вольна казнить, вольна миловать ничтожество, подобное Дунѣ Раскольниковой, и еще потому, что это казненіе и милованіе, игриво чередуясь между собой, пріятно разнообразятъ идиллію ея сельской жизни. Все вниманіе Раскольникова сосредоточивается конечно на Петрѣ Васильевичѣ Лужинѣ; Раскольниковъ догадывается съ первыхъ словъ письма объ этомъ щекотливомъ сюжетѣ, что начинающіяся истязанія, о которыхъ ему разумѣется не пишутъ и не будутъ писать, какъ не писали о грубостяхъ и любезностяхъ Свидригайлова и о воинственныхъ подвигахъ его супруги,—идутъ теперь отъ солиднаго человѣка, уже составившаго себѣ капиталъ и раздѣляющаго во многомъ убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ.

Въ своемъ письмѣ мать Раскольникова, Пульхерія Александровна, говоря о Лужинѣ, носится между Сциллой и Харибдой. Съ одной стороны ей необходимо расположить сына въ пользу Петра Петровича, чтобы состоялась свадьба, на которой основываются многія ея надежды. Съ другой стороны ей надо соблюдать въ похвалахъ очень большую осторожность и умѣренность, потому что ея сыну предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ личная встрѣча съ Петромъ Петровичемъ,—встрѣча, которая, въ случаѣ сильнаго разочарованія со стороны молодого и пылкаго Раскольникова, можетъ кончиться неожиданнымъ и рѣшительнымъ разрывомъ. Дуня уже дала Петру Петровичу свое согласіе, и мать старается убѣдить себя, что ея дочь будетъ если и не совсѣмъ счастлива, то по крайней мѣрѣ и не слишкомъ несчастлива. Она видитъ ясно въ Лужинѣ черствость, мелочность, скаредность и тщеславіе; ее коробитъ отъ всѣхъ этихъ украшеній того человѣка, въ рукахъ котораго будетъ находиться жизнь ея дочери; она чувствуетъ, что Дуня добровольно и сознательно беретъ на себя очень тяжелый крестъ; но и мать, и дочь—обѣ дорожатъ предположеннымъ бракомъ и считаютъ его за счастье, потому что онъ даетъ имъ возможность, по крайней мѣрѣ неопредѣленную надежду вытащить безцѣннаго Родю, то-есть нашего героя, изъ болота нищеты на гладкую и твердую дорогу. Въ своемъ письмѣ Пульхерія Александровна старается говорить о Лужинѣ спокойно, весело и развязно; она старается показать, что онѣ съ дочерью не обманываютъ себя фантастическими надеждами, что онѣ видятъ ясно всѣ достоинства и недостатки жениха, всѣ удобства и неудобства предположеннаго брака, и что ихъ согласіе дано послѣ зрѣлаго и хладнокровнаго обсужденія вопроса

со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія. Но Раскольниковъ изъ письма своей матери выноситъ совсѣмъ не то впечатлѣніе, на которое разсчитывала Пульхерія Александровна. Раскольниковъ видитъ ясно, что тутъ не было никакого хладнокровія и никакого обсужденія; онъ видитъ, что все было рѣшено обѣими женщинами въ чаду самопожертвованія, и что онѣ обѣ, и мать и дочь, стараются поддерживать этотъ чадъ, запимаясь построеніемъ воздушныхъ замковъ, которые разумѣется всѣ безъ исключенія относятся къ участи Родіона Романовича Раскольникова. Въ письмѣ говорится, что Лужинъ *«и тебѣ можетъ быть весьма полезенъ, и что ты, даже съ теперешняго же дня, могъ-бы опредѣленно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно опредѣлившеюся...* Дуня только и мечтаетъ объ этомъ... Дуня ни о чемъ кромѣ этого и не думаетъ. Она теперь, уже нѣсколько дней, просто въ какомъ-то жару и составила уже цѣлый проектъ о томъ, что впослѣдствіи ты можешь быть товарищемъ и даже компаніономъ Петра Петровича по его тяжебнымъ занятіямъ, тѣмъ болѣе, что ты самъ на юридическомъ факультетѣ».

То дѣйствіе, которое должно произвести на Раскольникова радостное письмо его матери о радостномъ событіи, случившемся съ его сестрой, такъ ясно и понятно, что о немъ нечего много распространяться. Параллель между Соней и Дуней сама собой напрашивается въ его голову; онъ думаетъ, что если только онъ позволитъ совершиться этой жертвѣ, которая должна купить ему карьеру и обезпеченное существованіе, то онъ самъ упадетъ ниже отставного чиновника Мармеладова: у того есть по крайней мѣрѣ хоть несчастная страсть, которой объясняется его способность помириться съ чѣмъ-бы то ни было; у того есть по крайней мѣрѣ та отговорка, что онъ—человѣкъ мало развитой и уже достаточно принюхавшійся ко всевозможной грязи; а Раскольникову приходится идти на компромиссы съ своей совѣстью въ то время, когда онъ видитъ насквозь, до послѣднихъ подробностей, всю отвратительность этихъ компромиссовъ, когда его нравственная зоркость и чуткость не притуплены ни пьянствомъ, ни обществомъ грязныхъ кутилъ и погибшихъ горемыкъ, ни лѣтами. Раскольниковъ рѣшаетъ, что онъ ни за что не пойдетъ на такіе компромиссы. «Не бывать этому браку, пока я живъ, говоритъ онъ, и къ чорту господина Лужина». Письмо его матери кладетъ конецъ той апатіи, которая давила его впродолженіи нѣсколькихъ недѣль. Онъ видитъ ясно, что ему необходимо дѣйствовать; но теперь, болѣе, чѣмъ когда-бы то ни было, онъ убѣждаетъ себя въ томъ, что честный трудъ, какъ-бы онъ ни былъ упоренъ, не приведетъ его ни къ чему. «Не бывать? говоритъ онъ самъ себѣ. А что-же ты сдѣлаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? А право какое имѣешь? Что ты имъ можешь обѣщать въ свою очередь, чтобы право такое имѣть?Всю судьбу свою, всю будущность имъ посвятить, *когда кончишь курсъ и мѣсто достанешь*? Слышали мы это, да вѣдь это *буки*, а теперь? Вѣдь тутъ надо теперь же что-нибудь сдѣлать, понимаешь ты это? А ты что теперь дѣлаешь? Обираешь ихъ-же. Вѣдь деньги-то имъ подъ сторублевый пенсіонъ, да отъ господъ Свидригайловыхъ подъ закладъ достаются. Отъ Свидригайловыхъ-то, отъ Афанасія-то Ивановича Вахрушина чѣмъ ты ихъ убережешь, милліонеръ будущій, Зевесъ, ихъ судьбою располагающій? Черезъ десять-то лѣтъ? Да въ десять-то лѣтъ мать успѣетъ ослѣпнуть отъ косынокъ, а пожалуй что и отъ слезъ, отъ поста исчахнетъ; а сестра? Ну, придумай-ка, что можетъ случиться съ сестрой черезъ десять лѣтъ или въ эти десять лѣтъ? Догадался?»

Раскольниковъ находится въ такомъ положеніи, при которомъ всѣ лучшія силы человѣка поворачиваются противъ него самого и вовлекаютъ его въ безнадежную борьбу съ обществомъ.Самыя святыя чувства и самыя чистыя стремленія, тѣ чувства и стремленія, которыя обыкновенно поддерживаютъ, ободряютъ и облагораживаютъ человѣка, становятся вредными и разрушительными страстями, когда человѣкъ лишается возможности доставлять имъ правильное удовлетвореніе. Раскольникову хотѣлось во что-бы то ни стало покоить и лелѣять свою старую мать, доставлять ей тѣ скромныя удобства жизни, которыя были ей необходимы, избавлять ее отъ томительныхъ заботъ о кускѣ насущнаго хлѣба; ему хотѣлось далѣе, чтобы сестра его была ограждена въ настоящемъ отъ дерзостей разныхъ Свидригайловыхъ, а въ будущемъ отъ участи, постигшей Соню Мармеладову, или отъ необходимости выйти замужъ безъ любви за какого-нибудь деревяннаго человѣка, подобнаго господину Лужину. Самый строгій моралистъ не найдетъ въ этихъ желаніяхъ ничего предосудительнаго или нескромнаго; самый строгій моралистъ даже похвалитъ Раскольникова за эти желанія и пожелаетъ, въ интересахъ его собственнаго нравственнаго совершенствованія, чтобы Раскольниковъ втеченіи всей своей жизни постоянно любилъ мать и сестру и самымъ ревностнымъ образомъ, не жалѣя силъ и энергіи, заботился объ ихъ участи. Моралистъ нашелъ-бы даже по всей вѣроятности, что Раскольниковъ поступилъ-бы очень дурно, если-бы сбавилъ что-нибудь изъ своихъ требованій, потому что сбавлять нечего, и всякая сбавка сопряжена съ очевиднымъ и неизбѣжнымъ ущербомъ для человѣческаго достоинства его матери и его сестры. Но эти требованія остаются законными, разумными и похвальными только до тѣхъ поръ,

пока у Раскольникова имѣются матеріальныя средства, которыми онъ дѣйствительно можетъ покоить свою мать и спасать отъ безчестія свою сестру. Пока Раскольниковъ обезпеченъ имѣніемъ, капиталомъ или трудомъ, до тѣхъ поръ ему предоставляется полное право и на него даже налагается священная обязанность любить мать и сестру, защищать ихъ отъ лишеній и оскорбленій и даже въ случаѣ надобности принимать на самого себя тѣ удары судьбы, которые предназначаются имъ, слабымъ и безотвѣтнымъ женщинамъ. Но какъ только матеріальныя средства истощаются, такъ тотчасъ-же вмѣстѣ съ этими средствами у Раскольникова отбирается право носить въ груди человѣческія чувства, такъ точно какъ у обанкротившагося купца отбирается право числиться въ той или другой гильдіи. Любовь къ матери и къ сестрѣ, желаніе покоить и защищать ихъ становятся противозаконными и противуобщественнымичувствами и стремленіями съ той минуты, какъ Раскольниковъ превратился въ голоднаго и оборваннаго бѣдняка. Кто не можетъ по-человѣчески кормиться и одѣваться, тотъ не долженъ также думать и чувствовать по-человѣчески. Въ противномъ случаѣ человѣческія мысли и чувства разрѣшатся такими поступками, которые произведутъ неизбѣжную коллизію между личностью и обществомъ. Попавши въ свое исключительное положеніе, Раскольниковъ очутился на распутьѣ, очень похожемъ на то распутье, о которомъ говорится въ сказкахъ, и въ которомъ одна дорога обѣщаетъ гибель коню, другая—всаднику, а третья—обоимъ. Раскольникову казалось, что ему надо или отказаться отъ всего, чтб было ему дорого и свято въ себѣ самомъ и въ окружающемъ мірѣ, или вступить за свою святыню въ отчаянную борьбу съ обществомъ,—въ такую борьбу, въ которой уже невозможно будетъ разбирать средствъ. «Или отказаться отъ жизни совсѣмъ,вскричалъ онъ вдругъ въ иступленіи,— послушно принять судьбу,какъ она есть, разъ навсегда и задушить въ себѣ все, отказавшись отъ всякаго права дѣйствовать, жить и любить!» Раскольникову казалось, что ему надо непремѣнно или сдѣлаться трупомъ, подобнымъ Мармеладову, или рѣшиться на преступленіе, и что необходимо сдѣлать выборъ немедленно, прежде чѣмъ Дуня успѣетъ, въ видахъ его карьеры, обвѣнчаться съ Лужинымъ. Въ размышленіяхъ Раскольникова замѣтна значительная недодуманность. Онъ повидимому не понимаетъ, что выходъ посредствомъ преступленія не можетъ ни въ какомъ случаѣ дѣйствительно вывести его изъ затрудненія. Онъ соображаетъ очень основательно, что для спасенія матери и сестры отъ нищеты и отъ всякихъ ея послѣдствій, воплотившихся въ Свидригайловыхъ и Лужиныхъ, необходимы деньги, и что честнымъ трудомъ невозможно ихъ достать въ необходимомъ количествѣ. Значитъ, заключаетъ онъ, остается только достать ихъ безчестнымъ средствомъ.

Заключеніе вѣрное. Кромѣ безчестныхъ средствъ не остается никакихъ. Но весь вопросъ въ томъ, дѣйствительно-ли безчестныя средства достигаютъ въ данномъ случаѣ той цѣли, къ которой стремится Раскольниковъ. Этого вопроса самъ Раскольниковъ вовсе себѣ не задаетъ. Положимъ, что ему удалось убить и ограбить процентщицу ;положимъ, что онъ нашелъ у нея въ шкатулкѣ цѣлую Калифорнію; положимъ, что онъ благополучно схоронилъ всѣ концы; положимъ, слѣдовательно, что все дѣло сложилось по его желанію во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ. Что-же дальше? Какимъ образомъ онъ пуститъ ихъ именно въ то предпріятіе, которое ему всего дороже и которое заставило его рѣшиться на преступленіе? Какъ онъ ухитрится провести эти деньги въ домашнюю жизнь матери и сестры такъ, чтобы эти деньги улучшили и обезпечили ихъ существованіе, и чтобы въ то-же время мать и сестра не замѣтили этого неожиданнаго прилива денегъ и не озадачили его настоятельными вопросами насчетъ ихъ происхожденія? Соблюдая должную осторожность и постепенность, Раскольниковъ могъ-бы ускользнуть отъ подозрѣнія полиціи, но ему ни въ какомъ случаѣ не удалось-бы отвести глаза тѣмъ людямъ, которые сами должны наслаждаться плодами его преступленія и которые привыкли въ бѣдности считать каждый кусокъ и беречь каждую старую тряпку.

Это можно было и надо было предвидѣть заранѣе. Съ одной стороны Раскольниковъ не могъ и подумать о томъ, что его мать и сестра согласятся когда-нибудь помириться съ его преступленіемъ, какъ съ совершившимся фактомъ, и спокойно проживать проценты съ капитала, облитаго кровью. Съ другой стороны, если Раскольниковъ считалъ возможнымъ постоянно обманывать мать и сестру, то ему необходимо было заранѣе придумать въ отношеніи къ нимъ цѣлый сложный и обширный планъ дѣйствій, цѣлую систему тонкихъ и стройныхъ манифестацій. Между тѣмъ въ романѣ мы не находимъ ни одного намека на существованіе такого плана или такой системы. Раскольниковъ просто не додумалъ до конца и рѣшилъ свою задачу, упустивъ изъ виду одинъ изъ важнѣйшихъ ея элементовъ. Онъ успѣлъ только понять, что той дорогой, по которой идутъ честные работники, онъ идти не можетъ, потому что эта дорога совсѣмъ не приведетъ его, или приведетъ слишкомъ поздно, къ той цѣли, которую онъ имѣетъ въ виду; затѣмъ нить размышленій оборвалась, и онъ бросился стремглавъ, очертя голову, безъ оглядки и безъ дальнѣйшихъ разсчетовъ въ противоположную сторону, на ту грязную дорогу, которая одна

казалась ему открытой, но которая на самомъ дѣлѣ ведетъ только въ бездну.

Послѣ письма, полученнаго отъ матери, всѣ мысли до такой степени перепутываются въ головѣ Раскольникова, что убійство превращается въ его глазахъ не только въ единственный выходъ, но даже въ какой-то неумолимый долгъ. Чтобы уклониться отъ исполненія этого долга, онъ ищетъ себѣ убѣжища въ своей слабости. «Нѣтъ, я не вытерплю, не вытерплю, говоритъ онъ.—Пусть, пусть даже нѣтъ никакихъ сомнѣній во всѣхъ этихъ разсчетахъ, будь это все, что рѣшено въ этотъ мѣсяцъ, ясно, какъ день, справедливо, какъ ариѳметика. Господи! вѣдь я все-же равно не рѣшусь! Я вѣдь не вытерплю; не вытерплю!.. Чего-же, чего-же я до сихъ поръ!» Признавая слабостью то чувство, которое удерживаетъ его отъ проливанія человѣческой крови, Раскольниковъ въ то-же время радуется этой слабости и ухватывается за нее, какъ за спасительный якорь. Ему становится легко и весело, когда онъ чувствуетъ эту мнимую слабость, избавляющую его отъ исполненія такого-же мнимаго долга. Подъ вліяніемъ своей мнимой слабости онъ отказывается отъ мысли объ убійствѣ и при этомъ переживаетъ такое радостное, уже давно неиспытанное ощущеніе, какъ-будто «нарывъ на сердцѣ его, нарывавшій весь мѣсяцъ, вдругъ прорвался». Но на самомъ дѣлѣ нарывъ не прорвался: облегченіе было минутное. Въ немъ выразилось только послѣднее содроганіе человѣка передъ проступкомъ, совершенно противнымъ его природѣ.

Что̀ случилось дальше и почему случилось такъ, а не иначе,—объ этомъ я поговорю съ читателями въ слѣдующей главѣ.

II.

Всѣ колебанія Раскольникова прекратились въ ту минуту, когда онъ узналъ случайно, что старуха въ такомъ-то часу, въ такой-то день останется дома одна. За мгновеніе передъ тѣмъ, какъ онъ услышалъ разговоръ, заключавшій въ себѣ это извѣстіе, онъ чувствовалъ себя свободнымъ «*отъ этихъ чаръ, отъ колдовства, обаянія, отъ навожденія*, онъ отрекся отъ *проклятой мечты* своей» и осмотрѣлъ на Неву и на яркій закатъ солнца съ той тихой радостью, съ которой обыкновенно смотритъ на всю окружающую природу человѣкъ, только-что оправившійся отъ тяжелой болѣзни и понемногу возвращающійся къ жизни здоровыхъ людей. Мгновеніе спустя, когда онъ выслушалъ внимательно и понялъ ясно каждое слово разговора, происходившаго между какимъ-то мѣщаниномъ и сестрой старухи, «онъ всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка, ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно ; онъ пошелъ домой, «какъ приговоренный къ смерти». Этотъ переворотъ произошелъ въ немъ оттого, что обстоятельства вдругъ назначили ему для совершенія его замысла опредѣленный срокъ. Пропустить этотъ срокъ—значило или совсѣмъ отказаться отъ всего предпріятія, или по крайней мѣрѣ добровольно отнять у себя нѣсколько важнѣйшихъ шансовъ успѣха.

Но, чтобы навсегда отказаться отъ плана, воспитаннаго и взлелѣяннаго нѣсколькими недѣлями уединеннаго размышленія, надо было снова передумать все съ самаго начала и кромѣ того надо было пріискать какую-нибудь новую программу, на которой можно было-бы успокоиться. На такой умственный трудъ Раскольниковъ, измученный бѣдностью, праздностью, апатіей и безобразнымъ фантазерствомъ, уже не былъ способенъ. Въ его изнемогающемъ умѣ уже не было достаточно силъ на то, чтобы уничтожить *проклятую мечту* спокойнымъ и холоднымъ размышленіемъ. Онъ могъ только ужасаться, содрогаться и чувствовать припадки конвульсивнаго отвращенія къ тѣмъ гадостямъ, на которыя его наталкивала эта *проклятая мечта*. Ужасъ и отвращеніе могли иногда доходить въ немъ до такихъ размѣровъ, при которыхъ *проклятая мечта* начинала казаться ему совершенно неосуществимой и слѣдовательно неопасной. Въ такія минуты онъ могъ праздновать свое освобожденіе отъ чаръ и смотрѣть на природу и на самого себя глазами выздоравливающаго человѣка; но ужасъ и отвращеніе, какъ-бы они ни были сильны, не могли замѣнить ему спокойное размышленіе и передѣлать по новому плану то, что̀ уже давно было построено упорной работой мысли, пошедшей по ложному и опасному пути. Какъ только обстоятельства притиснули его къ стѣнѣ рѣшительнымъ вопросомъ, требующимъ безотлагательнаго отвѣта, такъ онъ немедленно сдѣлался безотвѣтнымъ рабомъ своей проклятой мечты.

Во время своихъ послѣднихъ приготовленій къ убійству Раскольниковъ уже не чувствовалъ ни ужаса, ни отвращенія. Онъ потерялъ способность смотрѣть на свое дѣло со стороны. Хороша или дурна его цѣль—объ этомъ онъ уже не думалъ. Все его вниманіе было обращено на подробности выполненія и сосредоточено на борьбѣ съ препятствіями. Когда онъ услышалъ бой часовъ и чей-то возгласъ о томъ, что уже седьмой часъ,—онъ испугался только той мысли, что можетъ опоздать. Когда онъ увидѣлъ невозможность утащить топоръ изъ хозяйской кухни,—онъ почувствовалъ только *тупую, звѣрскую злобу* противъ этого препятствія, которое въ первую минуту показалось ему неодолимымъ. Когда онъ вслѣдъ затѣмъ разглядѣлъ топоръ въ дворницкой и благополучно его спряталъ къ себѣ подъ пальто,

онъ почувствовалъ только радость удачи. Словомъ *проклятая мечта* господствовала надъ всѣмъ его существомъ и обусловливала собой всѣ его отношенія къ мелкимъ случайностямъ, встрѣтившимся на его пути. Тѣ случайности, которыя благопріятствовали осуществленію *проклятой мечты*, казались ему счастливыми и возбуждали въ немъ радость; тѣ случайности, которыя могли помѣшать успѣху предпріятія, казались ему несчастными и доводили его до бѣшенства. Тутъ очевидно Раскольниковъ уже не думалъ и не хотѣлъ думать о томъ выздоровленіи, которое радовало его наканунѣ и даже возбуждало въ немъ потребность молиться. Освобожденіе отъ чаръ было невозможно,—самъ очарованный возмущался противъ тѣхъ случайностей, которыя сколько-нибудь были способны произвести это освобожденіе. Идя на квартиру старухи, Раскольниковъ не могъ думать о томъ дѣлѣ, которое ему предстояло. Придя на квартиру и пристукнувъ старуху обухомъ топора, онъ потерялъ способность думать даже о мелкихъ подробностяхъ выполненія, на которыхъ до сихъ поръ сосредоточивалось его вниманіе. Онъ растерялся, засуетился, сталъ дѣлать одну глупость за другой и избавился отъ бѣды, то-есть не попался на мѣстѣ преступленія, только благодаря совершенно исключительному стеченію счастливыхъ случайностей.

Теперь я дошелъ до поворотнаго пункта въ романѣ. Главное дѣло, составляющее центръ и узелъ этого романа, уже сдѣлано. Я старался прослѣдить шагъ за шагомъ тѣ вліянія, которыя привели Раскольникова къ катастрофѣ. Говоря о причинахъ, подготовившихъ преступленіе, я до сихъ поръ не сказалъ ни одного слова объ убѣжденіяхъ Раскольникова, объ его образѣ мыслей, о его взглядахъ на важнѣйшіе вопросы частной и общественной нравственности. Это умолчаніе не было съ моей стороны ошибкой. Въ первой части моей рецензіи я уже замѣтилъ мимоходомъ, что теоретическія убѣжденія Раскольникова не имѣли никакого замѣтнаго вліянія на совершеніе убійства. Теперь, когда настоящія причины преступленія достаточно разъяснены, я считаю не лишнимъ развить эту мысль подробно и защитить ее противъ тѣхъ возраженій, которыя могутъ быть ею вызваны.

Раскольниковъ высказываетъ нѣкоторыя изъ своихъ убѣжденій въ разговорѣ съ слѣдственнымъ приставомъ, Порфиріемъ Петровичемъ. Дѣло идетъ объ одной статьѣ, написанной Раскольниковымъ и помѣщенной въ какой-то газетѣ. Раскольниковъ слѣдующимъ образомъ разъясняетъ своему собесѣднику основную мысль этой статьи:

«Я просто-за-просто — говоритъ онъ — намекнулъ, что необыкновенный человѣкъ имѣетъ право... то-есть не оффиціальное право, а самъ имѣетъ право разрѣшить своей совѣсти перешагнуть... черезъ иныя препятствія и единственно въ томъ только случаѣ, если исполненіе его идеи (иногда спасительной можетъ быть для всего человѣчества) того потребуетъ... По-моему, если-бы Кеплеровы и Ньютоновы открытія, вслѣдствіе какихъ-нибудь комбинацій, никоимъ образомъ не могли-бы стать извѣстными людямъ иначе, какъ съ пожертвованіемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далѣе человѣкъ, мѣшавшихъ-бы этому развитію или ставшихъ-бы на пути какъ препятствіе, то Ньютонъ имѣлъ-бы право и даже былъ-бы обязанъ... устранить этихъ десять или сто человѣкъ, чтобы сдѣлать свои открытія извѣстными всему человѣчеству. Изъ этого впрочемъ вовсе не слѣдуетъ, чтобы Ньютонъ имѣлъ право убивать кого вздумается, встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать каждый день на базарѣ. Далѣе, помнится мнѣ, я развиваю въ моей статьѣ, что всѣ... ну, напримѣръ, хоть законодатели и установители человѣчества, начиная съ древнѣйшихъ, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и такъ далѣе,—всѣ до единаго были преступники, уже тѣмъ однимъ, что, давая новый законъ, тѣмъ самымъ нарушали древній, свято чтимый обществомъ и отъ отцовъ перешедшій, и ужъ конечно не останавливались и передъ кровью, если только кровь (иногда совсѣмъ невинная и доблестно пролитая за древній законъ) могла имъ помочь. Замѣчательно даже, что бо́льшая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества были особенно страшные кровопроливцы. Однимъ словомъ я вывожу, что и всѣ, не то что великіе, но и чуть-чуть изъ колеи выходящіе люди, то-есть чуть-чуть даже способные сказать что-нибудь новенькое, должны по природѣ своей быть непремѣнно преступниками—болѣе или менѣе разумѣется. Иначе трудно имъ выйти изъ колеи, а оставаться въ колеѣ они конечно не могутъ согласиться, опять-таки по природѣ своей, а по-моему такъ даже и обязаны не соглашаться».

Всѣми этими запутанными и сбивчивыми разсужденіями Раскольниковъ старается доказать, что преступникъ дѣлается преступникомъ потому, что стоитъ выше окружающихъ его людей. Чтобы подстроить доказательства, Раскольниковъ всѣми правдами и неправдами раздвигаетъ рамки того понятія, которое въ общеупотребительномъ разговорномъ и литературномъ языкѣ связывается со словомъ преступникъ. Расширивъ это понятіе и сдѣлавъ его по возможности неопредѣленнымъ, Раскольниковъ подводитъ подъ него все, что̀ ему угодно, и облагораживаетъ дѣятельность воровъ и разбойниковъ, завербовывая въ ихъ компанію всѣхъ замѣчательныхъ людей, оставившихъ слѣды своего существованія и вліянія въ исторіи чело-

вѣчества. Натяжки, на которыхъ построена эта странная теорія, и бѣлыя нитки, которыми она сшита, бросаются въ глаза каждому сколько-нибудь внимательному читателю. Изъ законодателей и установителей человѣчества очень многіе дѣйствительно были преступниками, то-есть похитителями чужой собственности. Эти многіе дѣйствительно могутъ стоять рядомъ съ ворами и грабителями, но ихъ вступленіе въ это общество не приноситъ ни малѣйшей пользы ихъ болѣе мелкимъ товарищамъ и нисколько не облагораживаетъ ихъ общихъ занятій, которыя однимъ доставили безсмертіе, а другимъ – уголовныя наказанія. Эти многіе оказываются преступниками совсѣмъ не по тому, что замѣнили древній законъ новымъ, а отъ того, что, по своей дикой прихоти, по своему корыстолюбію или властолюбію, раздавили на своемъ пути много человѣческихъ существованій и отняли у многихъ работниковъ продукты ихъ честнаго труда.

Что *большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества были особенно страшными кровопролитцами*— это доказываетъ совсѣмъ не то, что проливаніе человѣческой крови очень похвально и полезно, а только то, что человѣчество, по простотѣ своей коллективной души и по своей извѣстной ребяческой слабости къ блеску и грохоту, къ яркимъ краскамъ и рѣзкимъ звукамъ, до сихъ поръ считаетъ своими благодѣтелями такихъ людей, которые очевидно причинили ему, этому добродушному и довѣрчивому человѣчеству, гораздо больше вреда, чѣмъ пользы. Что кровопролитіе бываетъ иногда неизбѣжно и ведетъ за собой самыя благодѣтельныя послѣдствія—это извѣстно каждому человѣку, умѣющему понимать причинную связь историческихъ событій. Но это обстоятельство ровно ничего не доказываетъ къ пользу того права, которое Раскольниковъ присвоиваетъ необыкновеннымъ людямъ. Произвольное устраненіе живыхъ людей и безцеремонное шаганіе черезъ препятствія во всякомъ случаѣ остается дѣломъ очень вреднымъ, и слѣдовательно въ высшей степени преступнымъ, т. е. совершенно предосудительнымъ. Кровопролитіе становится неизбѣжнымъ вовсе не тогда, когда его желаетъ устроить какой-нибудь необыкновенный человѣкъ; вовсе не тогда, когда какое-нибудь живое препятствіе мѣшаетъ этому необыкновенному человѣку осуществить свою личную идею или фантазію, а только тогда, когда двѣ большія группы людей, двѣ націи или двѣ сильныя партіи рѣзко и рѣшительно расходятся между собой въ своихъ намѣреніяхъ и желаніяхъ. Когда этимъ двумъ противнымъ сторонамъ невозможно договориться до удовлетворительнаго результата, когда не остается никакой возможности покончить дѣло соглашеніемъ или полюбовнымъ размежеваніемъ столкнувшихся и перепутавшихся интересовъ, когда нѣтъ возможности разъяснить заблуждающейся сторонѣ посредствомъ спокойнаго научнаго анализа, въ чемъ состоятъ ея настоящія выгоды и въ чемъ заключается ошибочность и неосуществимость ея требованій,—тогда разумѣется остается только начать драку и драться до тѣхъ поръ, пока правое дѣло не восторжествуетъ. Но и здѣсь, въ этихъ случаяхъ, роль необыкновенныхъ людей, правильно понимающихъ свое назначеніе, состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы порождать и поддерживать драку. Прежде, чѣмъ дѣло дойдетъ до кровопролитія, необыкновенные люди, то-есть самые умные и самые честные люди даннаго общества, всѣми силами стараются о томъ, чтобы предупредить это кровопролитіе и чтобы произвести какъ можно спокойнѣе ту перемѣну, которой требуютъ обстоятельства, и которой необходимость уже чувствуется и даже сознается значительной частью заинтересованной націи.

Необыкновенные люди стараются открыть глаза своимъ соотечественникамъ и современникамъ, разъяснить имъ настоящее положеніе дѣлъ, направить ихъ къ мирному и безобидному выходу изъ затруднительнаго положенія и доказать имъ необходимость обширныхъ и добровольныхъ уступокъ тому теченію идей, которое называется духомъ времени и которое порождается общими причинами и условіями, а никакъ не выдумками и усиліями какихъ-нибудь необыкновенныхъ людей. Честные и умные совѣты необыкновенныхъ людей очень часто остаются непонятыми или даже невыслушанными; страсти спорящихъ сторонъ разгораются; разрывъ становится неминуемымъ,—и тогда необыкновенные люди, убѣдившись раньше массы въ неизбѣжности открытой борьбы, изъ роли благоразумныхъ совѣтниковъ переходятъ въ роль воиновъ и полководцевъ. Они становятся рѣшительно на ту сторону, стремленія которой совпадаютъ съ истинными выгодами данной націи и всего человѣчества, они группируютъ вокругъ себя своихъ единомышленниковъ, они организуютъ, дисциплинируютъ и воодушевляютъ своихъ будущихъ сподвижниковъ, и затѣмъ, смотря по обстоятельствамъ, выжидаютъ нападенія противниковъ, или наносятъ сами первый ударъ. Когда борьба начата, все вниманіе необыкновенныхъ людей устремляется на то, чтобы какъ можно скорѣе покончить кровопролитіе, но разумѣется покончить такъ, чтобы вопросъ, породившій борьбу, оказался дѣйствительно рѣшеннымъ, и чтобы условія примиренія не заключали въ себѣ двусмысленныхъ комбинацій и уродливыхъ компромиссовъ, способныхъ, при первомъ удобномъ случаѣ, произвести новое кровопролитіе. Ни передъ борьбой, ни во время борьбы, ни послѣ ея окончанія необыкновенные люди, которыми можетъ и должно гордиться

человѣчество, не являются любителями и виновниками кровопролитія. Кровь льется не потому, что въ данномъ обществѣ, въ данную минуту дѣйствуютъ необыкновенные люди, а потому, что дѣятельность этихъ необыкновенныхъ людей не можетъ перевѣсить собою массу человѣческаго неблагоразумія, узкаго своекорыстія и близорукаго упрямства. Кровь льется совсѣмъ не для того, чтобы подвигать впередъ общее дѣло человѣчества; напротивъ того, это общее дѣло подвигается впередъ, *несмотря* на кровопролитія, а никакъ не *вслѣдствіе* кровопролитій; виновниками кровопролитій бываютъ вездѣ и всегда не представители разума и правды, а поборники невѣжества, застоя и безправія. Доказать, что какой-нибудь историческій дѣятель былъ страшнымъ кровопроливцемъ, то-есть, что дѣйствительно кровь лилась по его личному желанію и распоряженію, а не вслѣдствіе тѣхъ обстоятельствъ, среди которыхъ онъ былъ поставленъ и надъ которыми онъ былъ властенъ,—значитъ доказать тѣмъ самымъ, что этотъ дѣятель былъ врагомъ человѣчества, и что его примѣръ ни для кого и ни для чего не можетъ служить оправданіемъ.

Необыкновенные люди именно тѣмъ и необыкновенны, что они умѣютъ додумываться до такихъ истинъ, которыя еще остаются неизвѣстными ихъ современникамъ. Тѣ необыкновенные люди, которые всего больше желаютъ и умѣютъ оставаться вѣрными своему естественному назначенію, то-есть приносить людямъ какъ можно больше пользы,—должны только добывать новыя истины, доводить ихъ до всеобщаго свѣдѣнія, защищать ихъ противъ старыхъ заблужденій и убѣждать людей въ необходимости перестраивать жизнь сообразно съ новыми истинами. Идя по этому пути, необыкновенные люди никакъ не могутъ сдѣлаться страшными кровопроливцами; уклоняясь отъ этого пути и призывая насильственныя мѣры на помощь къ такимъ идеямъ, которыя могутъ и должны торжествовать силою своей собственной разумности и внутренней убѣдительности, необыкновенные люди въ значительной степени перестаютъ быть необыкновенными и начинаютъ обнаруживать ту нетерпѣливую близорукость, которой отличаются всѣ ихъ дюжинные современники. Рѣшаясь проливать кровь во имя идеи, необыкновенные люди измѣняютъ своему естественному назначенію, компрометируютъ свою идею, дискредитируютъ ее и замедляютъ ея успѣхи именно тѣми насильственными мѣрами, которыми они стараются доставить ей быстрое и вѣрное торжество.

Великіе дѣятели науки, по самому роду своихъ занятій, всего менѣе могутъ уклониться отъ естественнаго назначенія необыкновенныхъ людей и сбиться въ сторону на скользкую и опасную дорогу насильственныхъ мѣръ. Въ ихъ дѣятельности нѣтъ мѣста для кровопролитія; ихъ руки совершенно чисты и всегда останутся чистыми; они могутъ только убѣждать людей, а не приневоливать ихъ; съ той минуты, какъ великій мыслитель вздумалъ-бы употреблять насильственныя мѣры противъ невѣжественныхъ и тупоумныхъ противниковъ своей доктрины, онъ пересталъ-бы быть великимъ мыслителемъ, онъ сдѣлался-бы врагомъ безпристрастнаго изслѣдованія и свободнаго мышленія, онъ сдѣлался-бы преступникомъ противъ всего человѣчества, вреднѣйшимъ изъ вредныхъ негодяевъ и по всѣмъ правамъ занялъ-бы въ исторіи почетное мѣсто рядомъ съ испанскими инквизиторами. Представить себѣ Ньютона или Кеплера въ такомъ положеніи, въ которомъ они, изъ любви къ идеѣ, обязаны были-бы устранить хоть одного живого человѣка или пролить хоть одну каплю человѣческой крови, — еще гораздо труднѣе, чѣмъ представить себѣ, что Кеплеръ и Ньютонъ, состоя въ чинѣ необыкновенныхъ людей, пользуются своими исключительными правами для того, чтобы убивать встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать каждый день на базарѣ. Но Раскольникову до такой степени хочется превратить всѣхъ великихъ людей въ уголовныхъ преступниковъ и всѣхъ уголовныхъ преступниковъ въ великихъ людей, что онъ не останавливается даже и передъ самымъ невозможнымъ предположеніемъ.

Что Ньютонъ и Кеплеръ не сдѣлались уголовными преступниками, что они не стоили человѣчеству ни одной капли крови и ни одной слезы — это, по мнѣнію Раскольникова, счастливая случайность. Измѣните условія, при которыхъ они жили и дѣйствовали, поставьте ихъ въ другое положеніе,—и вотъ сейчасъ эти самые Кеплеръ и Ньютонъ, оставаясь по-прежнему великими мыслителями и благодѣтелями человѣчества, обзаведутся палачами или подкупными убійцами и сдѣлаются страшными кровопроливцами, старшими братьями рядовыхъ бандитовъ.— Этимъ предположеніемъ Раскольниковъ доказываетъ совсѣмъ не то, что онъ старается доказать. Этимъ предположеніемъ онъ доводитъ самого себя до очевиднѣйшаго абсурда и наноситъ смертельный ударъ своей странной теоріи. Стараясь придумать для благодѣтелей человѣчества такое положеніе, при которомъ они были-бы принуждены рѣшиться на преступленіе, онъ показываетъ самымъ наглядным образомъ, что для настоящихъ благодѣтелей такое положеніе совершенно невозможно. Спрашивается въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ жизнь одного человѣка, или десяти, или ста человѣкъ, и такъ далѣе, можетъ помѣшать распространенію истинъ, открытыхъ Кеплеромъ и Ньютономъ? Предположите напримѣръ, что одинъ человѣкъ, или десять, или сто, занимаютъ такое высокое положеніе и располагаютъ

такимъ количествомъ матеріальной силы, что они могутъ совершенно запретить чтеніе лекцій и печатаніе книгъ, въ которыхъ излагаются доктрины Кеплера и Ньютона. Значитъ-ли это, что именно этотъ одинъ человѣкъ, или десять, или сто мѣшаютъ распространенію спасительныхъ истинъ? Нисколько не значитъ. Распространенію истинъ мѣшаютъ все-таки не тѣ люди, которые сопротивляются чтенію лекцій и печатанію книгъ, а все-таки тѣ общія условія, благодаря которымъ такіе люди занимаютъ высокое положеніе и располагаютъ значительнымъ количествомъ матеріальной силы.

Если-бы Кеплеръ и Ньютонъ рѣшились дѣйствовать по рецепту Раскольникова, и если бы имъ удалось устранить какое-нибудь живое препятствіе, то на мѣстѣ этого благополучно устраненнаго препятствія тотчасъ появилось бы другое, на мѣстѣ другого—третье, потому что общія условія, порождающія такія препятствія, остались-бы нетронутыми. Общими условіями оказываются въ подобныхъ случаяхъ невѣжество, умственная неподвижность, робкая безгласность и дикіе предразсудки массы. Противъ этихъ общихъ условій невозможно дѣйствовать насильственными средствами. Стало быть, пока общія условія дѣлаютъ возможнымъ существованіе и дѣятельность сильныхъ противниковъ научной истины, до тѣхъ поръ Кеплеры и Ньютоны должны дѣйствовать не противъ этого существованія, а противъ общихъ условій, которыя могутъ быть измѣнены только путемъ настойчиваго и неутомимаго проповѣдыванія той же самой научной истины. Изъ любви къ этой истинѣ, необыкновенные люди, подобные Кеплеру и Ньютону, становились иногда мучениками, но никакая любовь къ идеѣ никогда не могла превратить ихъ въ мучителей, по той простой причинѣ, что мученія никого не убѣждаютъ, а слѣдовательно, никогда не приносятъ ни малѣйшей пользы той идеѣ, во имя которой они производятся.

Какимъ путемъ Раскольниковъ могъ дойти до основныхъ положеній своей дикой теоріи? Откуда могла залетѣть въ его голову мысль о томъ, что въ каждомъ преступникѣ скрывается неудавшійся, недодѣланный или возникающій великій человѣкъ? Откуда взялась у него потребность дѣлить людей на обыкновенныхъ и необыкновенныхъ? Какія вліянія, какіе разговоры съ людьми, или какое чтеніе заставили его, съ одной стороны, дать необыкновеннымъ людямъ такія обширныя полномочія, въ которыхъ они даже вовсе не нуждаются, и съ другой стороны, осудить обыкновенныхъ людей на унизительную и мучительную роль пушечнаго мяса? Почему наконецъ ему понадобилось сдѣлать то уродливое предположеніе, которое завершаетъ и тотчасъ же опрокидываетъ собою его теорію, — то предположеніе, что при извѣстныхъ условіяхъ Кеплеръ и Ньютонъ могли и даже обязаны были устранять живыхъ людей?

Мнѣ кажется, что Раскольниковъ не могъ заимствовать свои идеи ни изъ разговоровъ съ своими товарищами, ни изъ тѣхъ книгъ, которыя пользовались и пользуются до сихъ поръ успѣхомъ въ кругу читающихъ и размышляющихъ молодыхъ людей. Въ настоящее время нѣтъ ни одного замѣчательнаго мыслителя или свѣдущаго историка, который-бы думалъ и доказывалъ публично, что какія-бы то ни было личныя дарованія могутъ замедлить или ускорить, или поворотить назадъ, или свернуть въ сторону естественное теченіе историческихъ событій. Чѣмъ внимательнѣе вглядываются изслѣдователи въ смыслъ и послѣдовательное развитіе историческихъ фактовъ, тѣмъ сильнѣе и окончательнѣе убѣждаются они въ томъ, что отдѣльная личность, какими-бы громадными силами она ни была одарена, можетъ сдѣлать какое-нибудь прочное дѣло только тогда, когда она дѣйствуетъ за-одно съ великими общими причинами, то есть съ характеромъ, образомъ мыслей и насущными потребностями данной націи. Когда она дѣйствуетъ на перекоръ этимъ общимъ причинамъ, то ея дѣло погибаетъ вмѣстѣ съ нею или даже при ея жизни. Когда-же она, въ своей дѣятельности, сообразжается съ духомъ времени и народа, тогда она дѣлаетъ только то, что сдѣлалось бы непремѣнно и помимо ея воли, что настоятельно требуется обстоятельствами минуты, и что, при ея отсутствіи или бездѣйствіи, было-бы въ свое время выполнено такъ-же удовлетворительно какою-нибудь другой личностью, сформировавшейся при тѣхъ-же вліяніяхъ и воодушевленной тѣми-же стремленіями. Человѣчество, по мнѣнію всѣхъ новыхъ и новѣйшихъ мыслителей, развивается и совершенствуется вслѣдствіе коренныхъ и неистребимыхъ свойствъ своей собственной природы, а никакъ не по милости остроумныхъ мыслей, зарождающихся въ головахъ немногихъ избранныхъ геніевъ. Человѣчество, по мнѣнію тѣхъ-же мыслителей, состоитъ изъ множества отдѣльныхъ личностей, очень неодинаково одаренныхъ природой, но ни одна изъ этихъ личностей, какими-бы богатыми дарами ни осыпала ее природа, не имѣетъ разумнаго основанія думать, что ея голова заключаетъ въ себѣ будущность всей ея породы, или по крайней мѣрѣ всей ея націи. Ни одна изъ этихъ личностей, какъ-бы она ни была геніальна, не имѣетъ разумнаго основанія, во имя этой будущности или во имя своей геніальности, разрѣшать себѣ такіе поступки, которые вредятъ другимъ людямъ и вслѣдствіе этого считаются непозволительными для обыкновенныхъ смертныхъ. Что хорошо въ простомъ человѣкѣ, то хорошо и въ геніи; что дурно въ первомъ, то

дурно также и въ послѣднемъ. Многое можетъ быть объяснено и даже оправдано силою тѣхъ страстей, которыя возбуждаются въ геніальномъ человѣкѣ ожесточеніемъ великой борьбы; но если, поддаваясь вліянію этихъ страстей, геніальный человѣкъ раздавилъ то, что могло и должно было жить, то историкъ въ этомъ рѣзкомъ и насильственномъ поступкѣ увидитъ все-таки проявленіе слабости, которое должно служить людямъ поучительнымъ предостереженіемъ, а никакъ не выраженіе геніальности и силы, долженствующее вызвать въ другихъ людяхъ восторженное соревнованіе. Словомъ, съ точки зрѣнія тѣхъ мыслителей, которыхъ произведенія господствуютъ надъ умами читающаго юношества, дѣленіе людей на геніевъ, освобожденныхъ отъ дѣйствія общественныхъ законовъ, и на тупую чернь, обязанную раболѣпствовать, благоговѣть и добродушно покоряться всякимъ рискованнымъ экспериментамъ, оказывается совершенной нелѣпостью, которая безвозвратно опровергается всей совокупностью историческихъ фактовъ. Знакомясь съ произведеніями этихъ мыслителей и пріучаясь смотрѣть на вещи съ ихъ точки зрѣнія, Раскольниковъ отнялъ-бы у себя всякую возможность проводить натянутыя параллели между уголовными преступниками и великими людьми. Онъ убѣдился-бы въ томъ, что эти параллели не принесутъ ни малѣйшей пользы уголовнымъ преступникамъ, во-первыхъ потому, что величіе тѣхъ великихъ людей, которые еслибъ и имѣли съ преступниками нѣкоторыя точки соприкосновенія, само по себѣ очень сомнительно, а во-вторыхъ потому, что тѣ стороны, которыми эти сомнительно великіе люди соприкасаются съ уголовными преступниками, все-таки составляютъ въ ихъ біографіяхъ самыя темныя и грязныя пятна. Читая мыслящихъ историковъ или разсуждая объ историческихъ фактахъ съ умными и работящими студентами-товарищами, Раскольниковъ въ особенности убѣдился-бы въ томъ, что люди, подобные Ньютону и Кеплеру, никогда не пользовались кровопролитіемъ, какъ средствомъ популяризировать свои доктрины, никогда не были поставлены въ необходимость устранять какихъ-нибудь обскурантовъ, мѣшавшихъ распространенію ихъ идей, даже никогда не могли-бы попасть въ такое странное и унизительное положеніе, если-бы даже для нихъ нарочно была придумана и устроена какая-нибудь самая неправдоподобная комбинація.

Теорія Раскольникова не имѣетъ ничего общаго съ тѣми идеями, изъ которыхъ складывается міросозерцаніе современно развитыхъ людей. Эта теорія выработана имъ въ зловѣщей тишинѣ глубокаго и томительнаго уединенія; на этой теоріи лежитъ печать его личнаго характера и того исключительнаго положенія, которымъ была порождена его апатія. Раскольниковъ написалъ свою статью *о преступленіи* за полгода до того времени, когда онъ убилъ старуху, и вскорѣ послѣ того, какъ онъ вышелъ изъ университета по неимѣнію денежныхъ средствъ. Тѣ мысли, которыя выразились въ его статьѣ, были продуктами того самаго положенія, которое впослѣдствіи, истощивши по каплѣ всю его энергію и извративши его замѣчательныя умственныя способности, заставило его обдумать во всѣхъ подробностяхъ, тщательно приготовить и успѣшно выполнить грязное преступленіе. Когда Раскольниковъ рѣшился оставить университетъ, онъ уже по всей вѣроятности находился въ очень бѣдственномъ положеніи. Никакое трудолюбіе, никакая добросовѣстность въ исполненіи работъ, никакая затрата силы и энергіи не могли доставить ему ни такого обѣда, который покрывалъ-бы текущіе расходы его молодого организма, ни такого платья, которое достаточно защищало-бы его отъ холода, сырости и нечистоты, ни такого жилища, въ которомъ его легкія находили-бы себѣ достаточное количество свѣжаго воздуха.

Жизнь въ каждую данную минуту, на каждомъ шагу, въ каждомъ изъ его мельчайшихъ ощущеній, накладывала на него свою грубую и грязную руку, дразнила и щипала его, теребила и шпыняла его, словомъ, мучила и обижала его такъ, какъ толпа шаловливыхъ школьниковъ можетъ обижать и мучить новичка, только-что поступившаго въ училище и еще неуспѣвшаго зарекомендовать себя товарищамъ съ хорошей стороны. Раскольникову надо читать или писать,—вдругъ у него въ подсвѣчникѣ гаснетъ послѣдній огарокъ, а купить свѣчи не на что; Раскольникову надо идти на урокъ куда-нибудь верстъ за пять,—а на улицѣ проливной дождь, который пронизываетъ его до костей сквозь его тощую шинелишку, а подъ ногами такая непроходимая грязь, которая съ неудержимой силой врывается въ его ветхіе сапоги; приходитъ онъ съ этого урока домой голодный, утомленный десяти-верстовымъ путешествіемъ, измученный непонятливостью и капризами избалованнаго мальчишки, съ тяжелой головой, съ мокрыми, грязными и окоченѣвшими ногами,—а дома свѣжо и холодно, печка не топлена, изъ окна дуетъ, за дверью бранятся какія-то кухарки или пищатъ чьи-то ребятишки, въ комодѣ или въ чемоданѣ нѣтъ ни одной пары чистыхъ носковъ; самовара не допросишься, да впрочемъ не-зачѣмъ его и спрашивать, потому что уже дней пять тому назадъ истреблены послѣдняя щепотка чаю и послѣдній кусокъ сахару. Все это конечно мелочи; ко всему этому можно относиться издали съ великолѣпнѣйшимъ стоическимъ равнодушіемъ; въ отношеніи ко всему этому можно превосходнѣйшимъ образомъ рекомендовать другому человѣку великодушное терпѣніе и непоколебимое мужество. Но когда

вся жизнь состоитъ изъ такихъ мелочей, когда одна мучительная мелочь слѣдуетъ за другой мелочью, такой-же мучительной, когда человѣкъ постоянно попадаетъ съ булавки на булавку, когда этимъ булавкамъ не предвидится конца, и когда человѣкъ видитъ и понимаетъ, что, при ужаснѣйшемъ напряженіи всѣхъ своихъ силъ, онъ можетъ только поддерживать этотъ много-булавочный status quo,—тогда...тогда невозможно разсчитать заранѣе, въ какихъ безумныхъ планахъ и въ какихъ безобразныхъ галлюцинаціяхъ выразится уныніе, озлобленіе, отчаяніе и бѣшенство этого человѣка, котораго люди и обстоятельства со всѣхъ сторонъ продолжаютъ колоть булавками въ его незажившія и незаживающія раны.

Какого-же рода мысли должны зарождаться въ головѣ Раскольникова, когда онъ, воротившись съ грошоваго урока, располагается у себя дома, въ своей тѣсной, сырой и душной берлогѣ? Вотъ онъ стащилъ съ себя свою загрязненную обувь и завалился на свой узкій и жесткій диванъ, который уже давно старается натереть ему мозоль на ребрахъ и на крестцахъ. Задаетъ онъ себѣ самый простой и естественный вопросъ: много-ли онъ получитъ за свою десятиверстную бѣготню, за промоченныя ноги, за испорченные сапоги и за полтора часа возни съ безтолковымъ мальчикомъ, который думаетъ о бабкахъ и о бумажномъ змѣѣ, когда ему надо размышлять о числителѣ и знаменателѣ и ловить съ почтительной благодарностью каждое слово добросовѣстнаго преподавателя. Оказывается, что получитъ онъ полтинникъ. Полтинникъ считается красной цѣной въ мірѣ тѣхъ студентовъ, которые по бѣдности бываютъ иногда поставлены въ необходимость на время выходить изъ университета. «Уроки выходили — говоритъ Раскольниковъ Сонѣ, доказывая ей, что, собственно говоря, онъ имѣлъ нѣкоторую возможность содержать себя работой. *По полтиннику предлагали*». Здѣсь о полтинникѣ говорится даже съ уваженіемъ: ужъ если по полтиннику предлагали, такъ значитъ и толковать нечего; ясное дѣло, что жить было можно и что унылое было совершенно неумѣстно. Итакъ, получитъ онъ полтинникъ. Положимъ, что счастье улыбнется ему, и что судьба пошлетъ ему, круглымъ счетомъ, по такому-же уроку на каждый день; въ мѣсяцъ это составитъ тридцать уроковъ, а на деньги пятнадцать рублей. Дальше этого предѣла не могутъ простираться самыя смѣлыя и размашистыя его мечты. Уроки, даже такіе невыгодные, достаются съ трудомъ. На каждый урокъ имѣется по нѣскольку голодныхъ претендентовъ. Добыть урокъ—значитъ одержать немаловажную побѣду надъ двумя, тремя менѣе счастливыми соперниками. Раскольниковъ, какъ особеннымъ счастіемъ, котораго онъ въ свое время не умѣлъ оцѣнить по достоинству,— хвалится тѣмъ, что ему *уроки выходили* и *по полтиннику предлагали*. Итакъ, пятнадцать рублей въ мѣсяцъ — Геркулесовы столбы доступнаго ему благосостоянія, такіе Геркулесовы столбы, до которыхъ онъ быть можетъ не доплыветъ втеченіи цѣлаго года, и на которыхъ ему придется по всей вѣроятности остановиться надолго, быть можетъ лѣтъ на пять или на шесть. И это лучшій изъ возможныхъ и правдоподобныхъ исходовъ. И при этомъ лучшемъ исходѣ онъ все-таки видитъ передъ собой необозримо длинный рядъ такихъ сѣрыхъ и темныхъ дней, въ которыхъ каждая минута будетъ отмѣчена какимъ-нибудь чувствительнымъ лишеніемъ, какой-нибудь крошечной болью, какимъ-нибудь мелкимъ столкновеніемъ, мучительно напоминающимъ гордому, страстному, умному и впечатлительному человѣку, что всѣ радости жизни, все то, что онъ умѣетъ понять и оцѣнить своимъ тонкимъ и гибкимъ умомъ, все то, чего онъ умѣетъ желать всѣми силами своего кипучаго темперамента, что всѣ эти радости и наслажденія существуютъ и почти навѣрное всегда будутъ существовать не для него.

А что же будетъ при менѣе счастливомъ исходѣ? И какъ возможенъ, какъ ужасно правдоподобенъ, какъ почти неизбѣженъ такой менѣе счастливый исходъ! Вотъ онъ чувствуетъ, какъ у него трещитъ голова и холодѣютъ промоченныя ноги и происходитъ въ горлѣ и въ груди что-то такое, предвѣщающее сильный простудный кашель. Что же это будетъ? Долго-ли выдержитъ его здоровье? Удастся-ли пересилить себя и переломить начинающуюся болѣзнь? Что тогда? Что будетъ, если онъ свалится недѣли на три? Какъ онъ потомъ снова поднимется на ноги и обзаведется новыми работами? И это жизнь! Голодать, зябнуть, задыхаться въ конурѣ, отказывать себѣ во всякомъ мало-мальски пріятномъ ощущеніи, тратить силы и время на безсмысленную, ненавистную и неблагодарную работу, и при этомъ еще каждую минуту бояться, что вотъ-вотъ все это подъ тобой подломится, и полетишь ты внизъ, въ какую-то темную пропасть, на днѣ которой тебя ожидаетъ мучительная голодная смерть. Такого рода размышленіямъ Раскольниковъ долженъ былъ предаваться каждый разъ, когда онъ оставался наединѣ съ самимъ собою. А оставался онъ наединѣ съ самимъ собою очень часто, потому что онъ, по основнымъ свойствамъ своего характера, не любилъ сближаться съ людьми. Чѣмъ мрачнѣе становилось его душевное настроеніе, чѣмъ ближе приступали къ нему нищета и отчаяніе, чѣмъ сильнѣе онъ нуждался въ дружеской помощи, въ братскомъ сочувствіи или даже просто въ веселомъ и беззаботномъ разговорѣ съ бодрыми и умными товарищами,— въ такомъ разговорѣ, который заставилъ-бы

его забыть на минуту булавки настоящаго, мелочи душной конуры, хозяйской кухни и хозяйскаго ворчанья,—тѣмъ упорнѣе онъ отворачивался отъ людей, запирался въ своей берлогѣ и углублялся въ свои горькія размышленія, изъ которыхъ ничего не могло выйти, кромѣ безсмыслицы въ теоріи и грязнаго паденія на практикѣ. Исходной точкой для такихъ горькихъ размышленій могла служить каждая ничтожнѣйшая мелочь: то уличная грязь, напоминавшая Раскольникову, что калоши его давно разваливаются, то новая прорѣха, усмотрѣнная на сюртукѣ или на пальто, то кусокъ говядины, поданный ему на обѣдъ и похожій на связку мочалы, то заношенная рубашка, которую нечѣмъ было замѣнить. А въ результатѣ размышленій всегда получалось одно и то-же бѣшеное проклятіе противъ такой жизни, которая не даетъ человѣку ничего, кромѣ горя и мучительнаго сознанія собственнаго безсилія. На этомъ результатѣ такой раздражительный и самолюбивый человѣкъ, какъ Раскольниковъ, не могъ остановиться навсегда. Мысль его непремѣнно должна была пойти дальше. Онъ долженъ былъ, въ припадкѣ бѣшенства и отчаянія, задать себѣ вопросъ: дѣйствительно-ли онъ такъ безсиленъ, какъ это ему кажется? Не отъ того-ли происходитъ его безсиліе, что онъ самъ считаетъ себя безсильнымъ? Не преувеличиваетъ-ли онъ крѣпость тѣхъ заборовъ, которые отдѣляютъ его отъ теплаго и свѣтлаго міра матеріальнаго благосостоянія и разнообразно-полнаго наслажденія всѣми благами жизни? Не отъ того ли эти заборы кажутся ему такими высокими и крѣпкими, что ему никогда не приходило въ голову ни перепрыгнуть черезъ нихъ, ни проломить въ нихъ какую-нибудь лазейку? Не отъ того-ли его положеніе кажется ему безвыходнымъ, что онъ нарочно отвертывается отъ нѣкоторыхъ выходовъ, по недостатку рѣшимости и умственной смѣлости? Не подумать-ли объ этихъ выходахъ? Не попробовать-ли? Не рискнуть-ли? Подумать во всякомъ случаѣ не мѣшаетъ. Человѣкъ долженъ быть неустрашимымъ въ области мысли, и кромѣ того отъ размышленій никакой бѣды произойти не можетъ.

Такимъ образомъ мысль Раскольникова вступила на новый путь изслѣдованія,—на такой путь, который могъ открыться передъ ней только тогда, когда Раскольниковъ, озлобленный лишеніями и утомленный неблагодарной работой, отвернулся отъ своихъ товарищей, уединился въ свою конуру, гдѣ стѣны и потолки *тѣснятъ душу и умъ*, и распродалъ или забросилъ свои книги и тетради. Ни отъ товарищей, ни изъ книгъ Раскольниковъ не могъ добыть себѣ ту дикую мысль, что, кромѣ упорнаго труда, существуютъ еще какія-нибудь другія удобныя средства выбиться изъ затруднительнаго положенія. Эта мысль, къ которой отнеслись-бы съ презрѣніемъ или съ насмѣшкой всѣ товарищи, эта мысль, въ которой и товарищи, и авторы книгъ, прочитанныхъ Раскольниковымъ, увидали-бы продуктъ болѣзненнаго настроенія, эта мысль могла созрѣть и укорениться только тогда, когда некому было смотрѣть на нее со стороны. Эта мысль была не продуктомъ той теоріи, которую я разсматривалъ выше, а, напротивъ того, ея зародышемъ и основаніемъ. Вся теорія развилась изъ этой мысли, а эта мысль родилась въ Раскольниковѣ потому, что мучительность его положенія превышала размѣры его силъ и мужества.

Чѣмъ пристальнѣе Раскольниковъ вглядывался и вдумывался въ свое положеніе, тѣмъ ненавистнѣе становился ему правильный и упорный трудъ, цѣной котораго онъ могъ покупать себѣ только жалкое прозябаніе, переполненное всевозможными лишеніями, страданіями и униженіями. Вѣра въ спасительность труда была подорвана. Утомительный трудъ, съ его грошовымъ вознагражденіемъ, сталъ казаться Раскольникову печатью проклятья и отверженія, которую судьба кладетъ на тупоумныхъ и трусливыхъ людей, неумѣющихъ или нежелающихъ хватать насиліемъ или обманомъ то, что можетъ попасться имъ подъ-руку и улучшить ихъ положеніе. Раскольниковъ началъ чувствовать и сознавать, что мысль о быстрой и легкой наживѣ какими бы то ни было средствами силою врывается въ его умъ и овладѣваетъ всѣмъ его существомъ. На первыхъ порахъ эта мысль должна была удивить, озадачить и даже испугать нашего героя. Она должна была породить въ немъ мучительную внутреннюю борьбу. Раскольниковъ могъ почувствовать къ себѣ за эту мысль довольно сильное презрѣніе; онъ могъ сказать себѣ, что онъ просто не вынесъ тяжелой борьбы съ обстоятельствами, раскисъ, упалъ духомъ, опустился и позволилъ себѣ дойти до самаго края грязной пропасти. Этотъ взглядъ былъ-бы конечно единственнымъ правильнымъ взглядомъ. Но онъ былъ возможенъ только до тѣхъ поръ, пока у Раскольникова еще оставалось въ наличности достаточно умственной трезвости и силы характера, чтобы удержаться отъ окончательнаго паденія. За этимъ строгимъ и вѣрнымъ взглядомъ на самого себя должна была послѣдовать крутая реакція, вслѣдствіе которой лежаніе на диванѣ и размышленіе о быстрой наживѣ должны были смѣниться взрывомъ страстной любви ко всякой честной работѣ, какъ-бы ни была она утомительна, безсмысленна и неблагодарна. Но силы Раскольникова уже были истощены. Работа была ему противна. Мысль о легкой и быстрой наживѣ находила себѣ мало отпора въ его ослабѣвшемъ умѣ и легко одерживала одну побѣду за другой надъ тѣми возраженіями, ко-

торыя она встрѣчала себѣ въ остаткахъ его прежняго юношески-честнаго образа мысли. Но эта мысль все-таки была въ его головѣ чѣмъ-то совершенно новымъ и непривычнымъ, а Раскольниковъ былъ слишкомъ тонкимъ аналитикомъ, чтобы не замѣтить въ себѣ присутствія этого новаго и притомъ такого важнаго элемента. А замѣтивъ его, онъ непремѣнно долженъ былъ задать себѣ вопросъ о томъ, какъ-же ему относиться къ этому новому элементу, дружелюбно или враждебно, съ уваженіемъ или съ презрѣніемъ, со страхомъ или съ надеждой. Съ одной стороны, враждебныя отношенія Раскольникова къ этому новому элементу никакъ не могли установиться прочно и окончательно, потому что, ненавидя и презирая такую мысль, которая завоевала себѣ господство надъ всѣми его умственными способностями, Раскольниковъ былъ-бы поставленъ въ необходимость ненавидѣть и презирать самого себя. Съ другой стороны, эти враждебныя отношенія, на которыхъ умъ Раскольникова никакъ не могъ остановиться и успокоиться, были неизбѣжны въ началѣ его знакомства съ новой мыслью, именно потому, что эта мысль была уже черезчуръ нова и составляла слишкомъ рѣзкій и неожиданный диссонансъ со всѣмъ его прежнимъ юношескимъ и студенческимъ пониманіемъ жизни. Эти враждебныя отношенія были для Раскольникова на столько-же мучительны, на сколько и неизбѣжны; ему надо было во что-бы то ни стало покончить въ самомъ себѣ тотъ внутренній разладъ, который былъ порожденъ естественной враждебностью его отношеній къ самой сильной и упорной изъ его задушевныхъ мыслей; разладъ этотъ можно было уничтожить, или уничтоживъ эту новую мысль, или передѣлавши тѣ понятія, которыми обусловливались враждебныя отношенія къ ней.

Первая изъ этихъ операцій была для Раскольникова неисполнима; новая мысль отличалась крѣпостью и живучестью; ее поддерживали каждый день и каждую минуту всѣ тѣ мучительныя мелочи, изъ которыхъ складывается вся жизнь бѣднаго человѣка. Вторая операція была полегче. Тонкій и гибкій умъ Раскольникова, закаленный въ школѣ уединеннаго размышленія и самаго внимательнаго психологическаго анализа, былъ въ высшей степени способенъ открывать въ людяхъ, въ предметахъ и въ понятіяхъ самыя неожиданныя, а пожалуй даже и совсѣмъ несуществующія стороны. Этимъ умомъ нетрудно было выстроить такіе эшафодажи, съ вершины которыхъ наблюдателю представляются совершенно новые и даже въ значительной степени фантастическіе ландшафты. Этотъ казуистическій умъ, пущенный въ ходъ и направленный въ извѣстную сторону какой-нибудь настоятельной внутренней потребностью хозяина, могъ съ изумительнымъ успѣхомъ изготовить на заказъ такую замысловатую зрительную трубу, такую сложную систему призмъ, цвѣтныхъ стеколъ и металлическихъ зеркалъ, благодаря которой черное могло показаться — бѣлымъ, зеленое — краснымъ, глупое — умнымъ, вредное — полезнымъ, вялое и слабое — сильнымъ и великимъ.—Какъ процессъ такой работы, которая должна была извратить такимъ образомъ очертанія и краски всѣхъ предметовъ, такъ и результаты ея были одинаково лестны для раздражительнаго и ненасытнаго самолюбія нашего героя. Если-бы во время процесса этой работы самъ Раскольниковъ вдругъ остановился и задалъ себѣ вопросъ: «что-же я дѣлаю теперь?» — то у него немедленно явился-бы такой отвѣтъ, который могъ-бы не только успокоить его, но даже пробудить въ немъ удивительно пріятное чувство гордости и самодовольства. Я, могъ онъ отвѣтить себѣ на свой недоброжелательный и недовѣрчивый вопросъ, я пересматриваю, провѣряю и перерабатываю силами собственнаго ума тѣ рѣшенія, которыми удовлетворялись до сихъ поръ самые умные и замѣчательные представители человѣчества. Я недоволенъ этими рѣшеніями и стараюсь дать себѣ добросовѣстный отчетъ въ причинахъ этого недовольства. Я чувствую въ себѣ присутствіе титаническихъ силъ, и эти силы побуждаютъ меня предпринять такую громадную и многосложную работу, которая никогда не грезилась ни одному изъ моихъ честныхъ, но недалекихъ товарищей.

Доведя работу до конца, то-есть додумавшись до такихъ результатовъ, которые позволяли ему ненавидѣть упорный и неблагодарный трудъ и относиться съ любовью и съ уваженіемъ къ мысли о быстрой и легкой наживѣ, Раскольниковъ могъ скрестить руки на груди и насладиться тѣмъ чувствомъ восторженнаго самодовольства, съ которымъ художникъ осматриваетъ свое только-что оконченное и вполнѣ удавшееся произведеніе. Раскольникову это произведеніе было особенно дорого, потому что въ немъ заключалось оправданіе и превознесеніе его собственной личности. Если-бы Раскольникову пришлось остановиться на противоположныхъ результатахъ, если-бы онъ увидѣлъ себя въ необходимости осудить ту новую мысль, изъ которой родилась впослѣдствіи *проклятая мечта*, то ему надо было-бы во всякомъ случаѣ выпрашивать у себя прощенія и каяться передъ собой въ позорной слабости уже за одно то, что такая грязная мысль могла родиться въ его умѣ, обратить на себя его серьезное вниманіе и возбудить въ немъ смятеніе и внутреннюю борьбу. Кромѣ того ему надо было-бы сознаться, что онъ нуждается въ посторонней поддержкѣ, что ему необходимо обмѣниваться мыслями съ товарищами и подкрѣплять себя въ борьбѣ съ обстоятельствами ихъ дружескими совѣтами, ему надо было-бы убѣдиться

въ томъ, что одиночество можетъ сдѣлаться для него вреднымъ и даже опаснымъ. Напротивъ того, додумавшись до оправданія своей новой мысли, Раскольниковъ совершенно избавлялъ себя отъ всякихъ признаній и покаяній, невыносимыхъ для его щекотливаго самолюбія. Онъ могъ сказать себѣ, что онъ умнѣе и смѣлѣе всѣхъ своихъ товарищей, и что ему необходимо было уединиться отъ нихъ и сосредоточиться для того, чтобы отрѣшиться отъ ихъ предразсудковъ и возвыситься до болѣе вѣрнаго взгляда на самые важные вопросы частной и общественной нравственности.

Всю свою теорію Раскольниковъ построилъ исключительно для того, чтобы оправдать въ собственныхъ глазахъ мысль о быстрой и легкой наживѣ. Онъ почувствовалъ желаніе прибѣгнуть, при первомъ удобномъ случаѣ, къ безчестнымъ средствамъ обогащенія. Въ его умѣ родился вопросъ: чѣмъ объяснить себѣ это желаніе? Силой или слабостью? Объяснить его слабостью было-бы гораздо проще и вѣрнѣе, но за-то Раскольникову было гораздо пріятнѣе считать себя сильнымъ человѣкомъ и поставить себѣ въ заслугу свои позорныя размышленія о путешествіяхъ по чужимъ карманамъ. Объясняя все дѣло слабостью и дѣлаясь такимъ образомъ для самого себя предметомъ презрительнаго и оскорбительнаго состраданія, Раскольниковъ нисколько не разошелся-бы во взглядахъ съ своими товарищами и поставилъ-бы себя въ необходимость уничтожить опасную мысль, чтобы не лишиться правъ на собственное уваженіе. Усматривая, напротивъ того, въ позывѣ къ преступленію признаки смѣлаго ума и сильнаго характера, Раскольниковъ пошелъ по совершенно оригинальной дорогѣ. Преступникъ, думалъ онъ, дѣлается преступникомъ потому, что чувствуетъ неудовлетворительность тѣхъ учрежденій, подъ господствомъ которыхъ ему приходится жить, тѣхъ законовъ, на основаніи которыхъ его будутъ судить, и тѣхъ общепринятыхъ понятій, во имя которыхъ общество вооружается противъ его поступка. Смѣшавши такимъ образомъ тѣ преступленія, которыя совершаются на основаніи поговорки: *своя рубашка къ тѣлу ближе*, съ тѣми, на которыя человѣкъ рѣшается подъ вліяніемъ восторженной любви къ идеѣ,— Раскольниковъ продолжалъ философствовать въ томъ-же направленіи и доказалъ себѣ безъ особеннаго труда, что всякое движеніе впередъ, всякое усовершенствованіе въ области общественной жизни, само по себѣ, составляетъ преступленіе, потому что оно возможно только при нарушеніи существующаго закона. А такъ какъ родъ человѣческій давнымъ-давно исчезъ-бы съ лица земли, еслибы онъ не подвигался впередъ и не улучшалъ постоянно своихъ учрежденій, то и выходитъ, что преступленія въ высшей степени полезны для человѣчества, и что преступники оказываются величайшими благодѣтелями существующихъ обществъ, которыя только ихъ усиліями спасаются отъ ужасныхъ послѣдствій губительнаго застоя. Всѣ преступники оказались до нѣкоторой степени великими людьми, всѣ великіе люди оказались до нѣкоторой степени преступниками, и оригинальная теорія завершилась тѣмъ блистательнымъ маневромъ, посредствомъ котораго было доказано близкое и несомнѣнное родство Кеплера и Ньютона съ убійцами и грабителями.

Эту теорію никакъ нельзя считать причиной преступленія, такъ точно какъ галлюцинацію больного невозможно считать за причину болѣзни. Эта теорія составляетъ только ту форму, въ которой выразилось у Раскольникова ослабленіе и извращеніе умственныхъ способностей. Она была простымъ продуктомъ тѣхъ тяжелыхъ обстоятельствъ, съ которыми Раскольниковъ принужденъ былъ бороться, и которыя довели его до изнеможенія. Настоящей и единственной причиной являются все-таки тяжелыя обстоятельства, пришедшіяся не по силамъ нашему раздражительному и нетерпѣливому герою, которому легче было разомъ броситься въ пропасть, чѣмъ выдерживать, впродолженіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ или даже лѣтъ, глухую, темную и изнурительную борьбу съ крупными и мелкими лишеніями. Преступленіе сдѣлано не потому, что Раскольниковъ, путемъ различныхъ философствованій, убѣдилъ себя въ его законности, разумности и необходимости. Напротивъ того, Раскольниковъ сталъ философствовать въ этомъ направленіи и убѣдилъ себя только потому, что обстоятельства натолкнули его на преступленіе.

Теорія Раскольникова сдѣлана имъ на заказъ. Сооружая эту теорію, Раскольниковъ не былъ безпристрастнымъ мыслителемъ, отыскивающимъ чистую истину и готовымъ принять эту истину, въ какомъ-бы неожиданномъ и даже непріятномъ видѣ она ему ни представилась. Онъ былъ кляузникомъ, подбирающимъ факты, придумывающимъ натянутыя доказательства и подстроивающимъ исскуственныя сопоставленія единственно для того, чтобы выиграть запутанный процессъ самаго сомнительнаго достоинства. Дѣйствуя такимъ образомъ, чувствуя надъ всѣмъ процессомъ своего мышленія неотразимое и подавляющее вліяніе предвзятой идеи, Раскольниковъ былъ расположенъ относиться къ своей теоріи съ крайнимъ недовѣріемъ. Ближайшія послѣдствія совершившагося убійства показали, до какой степени сильно и непобѣдимо было это недовѣріе. Когда Раскольниковъ, убивши старуху и ея сестру, чувствовалъ сильнѣйшую потребность успокоиться и ободриться, онъ уже и не подумалъ искать себѣ успокоенія въ своей теоріи. Когда онъ всего

больше нуждался въ дружескомъ сочувствіи, когда откровенный разговоръ съ близкимъ и надежнымъ человѣкомъ могъ поставить его на ноги и обновить всѣ его силы,—ему даже и въ голову не приходило, что убійство, оправданное замысловатой теоріей, можетъ быть разсказано кому-бы то ни было изъ его товарищей, друзей или ближайшихъ родственниковъ. Онъ даже и не попробовалъ подѣлиться съ кѣмъ-бы то ни было своими мыслями объ убійствѣ и грабежѣ, какъ о грандіозномъ протестѣ противъ несовершенствъ общественной организаціи. Онъ никого не пробовалъ убѣждать въ томъ, что онъ, Раскольниковъ, въ качествѣ будущаго Наполеона или Ньютона, имѣетъ право, поговоривши наединѣ съ собственной совѣстью и получивши отъ нея или давши ей надлежащія разрѣшенія, шагать черезъ тѣ препятствія, которыя отдѣляютъ его отъ матеріальнаго благосостоянія и отъ блестящей карьеры. А между тѣмъ у него была сестра, которая въ значительной степени была похожа на него по складу ума и характера, и которая въ значительной степени способна понять и усвоить себѣ всякую новую истину. У него кромѣ того былъ товарищъ, готовый идти за него въ огонь и въ воду и также способный откликнуться съ полнымъ сочувствіемъ на всякую свѣжую и вѣрную мысль. Если-бы Раскольниковъ сколько-нибудь вѣровалъ самъ въ свою теорію, то онъ конечно сдѣлалъ-бы по крайней мѣрѣ попытку просвѣтить и обратить на путь истины такихъ людей, какъ Дуня и Разумихинъ, тѣмъ болѣе, что, открывшись имъ, убѣдивши ихъ, онъ могъ пріобрѣсти въ ихъ лицѣ драгоцѣнныхъ союзниковъ, нравственная поддержка которыхъ была для него въ высшей степени необходима. Но Раскольниковъ, послѣ совершенія убійства, держалъ себя совсѣмъ не какъ фанатикъ, увлекшійся ложной идеей и дошедшій въ своихъ поступкахъ до крайнихъ предѣловъ логической послѣдовательности, а просто какъ мелкій, трусливый и слабонервный мошенникъ, которому крупное злодѣяніе приходится не по силамъ, и который, желая во что бы то ни стало схоронить концы, ежеминутно теряется отъ страха и на каждомъ шагу выдаетъ себя встрѣчнымъ и поперечнымъ своей лихорадочной суетливостью.

Раскольниковъ убилъ старуху для того, чтобы ограбить ее. Однакоже эта послѣдняя цѣль осталась недостигнутой. Тотчасъ послѣ совершенія убійства, Раскольниковъ овладѣлъ ключами старухи и отправился въ ея спальню, но его волненіе было до такой степени сильно, что онъ ни за что не умѣлъ взяться, не ухитрился отпереть почти ни одного замка, набивъ себѣ карманы какими-то заложенными вещами, которыя потомъ ему пришлось бы сбывать за полцѣны съ громадной опасностью, и не нашелъ ни билетовъ, ни наличныхъ денегъ, которыхъ однако было очень много, и которыя преспокойно лежали въ верхнемъ ящикѣ комода. Какъ только убійство совершилось, Раскольниковъ рѣшительно забылъ о своемъ желаніи обогатиться, забылъ о томъ, что именно это желаніе заставило его взяться за топоръ, забылъ также о тѣхъ подвигахъ іезуитской изобрѣтательности и изворотливости, которые были имъ совершены для того, чтобы оправдать въ собственныхъ глазахъ это предосудительное желаніе. Всѣ его мысли, всѣ его усилія направились исключительно къ тому, чтобы избавить себя отъ преслѣдованій и скрыть всѣ слѣды преступленія. Въ общемъ результатѣ получилась такимъ образомъ возмутительная безсмыслица. Убійство оказалось совершенно безцѣльнымъ. На другой день послѣ убійства Раскольниковъ всѣми силами своего существа желалъ воротиться назадъ къ тому положенію, которое наканунѣ убійства казалось ему невыносимымъ. Онъ понималъ ясно, что это желаніе неисполнимо, и невыносимое положеніе, изъ котораго онъ отыскалъ себѣ такой оригинальный выходъ, стало представляться ему какимъ-то навсегда потеряннымъ раемъ.

Послѣ убійства Раскольниковъ унесъ къ себѣ домой туго набитый замшевый кошелекъ и нѣсколько коробочекъ съ золотыми и серебряными вещами. Эти предметы были единственными плодами преступленія. Ими ограничивалась вся добыча убійцы. Между тѣмъ Раскольниковъ, очнувшись на другой день утромъ отъ мучительнаго забытья, сталъ думать не о томъ, какъ воспользоваться скудными трофеями побѣды, а только о томъ, какъ-бы ихъ выбросить поскорѣе, и куда-нибудь подальше. Онъ пошелъ къ Екатерининскому каналу съ твердымъ намѣреніемъ бросить въ воду все: и вещи, и кошелекъ, котораго онъ не раскрывалъ и котораго содержаніе оставалось ему совершенно неизвѣстнымъ. Не исполнилъ онъ этого намѣренія только потому, что на набережной и возлѣ самой воды было слишкомъ много народа. Кончилось тѣмъ, что онъ всю свою добычу сложилъ подъ камень, въ пустомъ огороженномъ мѣстѣ, гдѣ лежали какіе-то матеріалы. Освободившись отъ этой добычи, онъ почувствовалъ приливъ *сильной, едва выносимой* радости, точно будто эта добыча свалилась къ нему въ карманъ противъ его воли, какъ сваливается на человѣка неожиданное несчастіе, точно будто не онъ самъ добивался ея, точно будто онъ изъ-за нея не морочилъ самого себя софизмами, не приневоливалъ себя къ отвратительному поступку и не подвергалъ себя самымъ серьезнымъ опасностямъ. Вышло что-то похожее на работу Пенелопы. Сначала человѣкъ старался и мучился, чтобы пріобрѣсти себѣ добычу; а потомъ, какъ только добыча оказалась у него въ рукахъ, онъ началъ стараться о томъ, чтобы какъ

нибудь избавиться отъ этой самой добычи. Это обстоятельство блистало такой яркой уродливостью, что оно бросилось въ глаза даже самому Раскольникову, не смотря на то, что всѣ его умственныя способности находились въ совершенномъ изнеможеніи. «Если дѣйствительно, подумалъ онъ, все это дѣло сдѣлано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя дѣйствительно была опредѣленная и твердая цѣль, то какимъ-же образомъ ты до сихъ поръ даже и не заглянулъ въ кошелекъ и не знаешь, что тебѣ досталось, изъ-за чего всѣ муки принялъ и на такое подлое, гадкое, низкое дѣло сознательно шелъ? Да вѣдь ты въ воду его хотѣлъ сейчасъ бросить, кошелекъ-то, вмѣстѣ со всѣми вещами, которыхъ тоже еще не видалъ. Это какъ же»?

Раскольниковъ принужденъ сознаться, что все это дѣло было сдѣлано по-дурацки. Онъ даже самъ не понималъ, зачѣмъ онъ его сдѣлалъ. Онъ видитъ только, что ему приходится, такъ или иначе, нести на себѣ всѣ послѣдствія этого дурацкаго дѣла. Эти послѣдствія оказываются очень мучительными. Подробная исторія этихъ мучительныхъ послѣдствій наполняетъ собой почти весь романъ Достоевскаго; онъ начинается со второй части и оканчивается только вмѣстѣ съ эпилогомъ. Я постараюсь теперь разобрать вопросъ: въ чемъ именно состоитъ мучительность этихъ послѣдствій?

Прежде всего Раскольниковъ просто боится уголовнаго наказанія, которое изломаетъ всю его жизнь, выброситъ его изъ общества честныхъ людей и навсегда закроетъ ему дорогу къ счастливому, респектабельному и комфортабельному существованію. Съ той самой минуты, какъ онъ увидѣлъ передъ собой на полу окровавленный и обезображенный трупъ старухи, ему кажется, что его подозрѣваютъ, что за нимъ слѣдятъ, что въ его квартирѣ немедленно станутъ производить обыскъ, что его самого схватятъ, посадятъ подъ арестъ и начнутъ судить. Зная за собой такое важное дѣло, которое должно возбудить толки во всемъ городѣ и поднять на ноги всю мѣстную полицію, Раскольниковъ понимаетъ, что ему необходимо соблюдать во всѣхъ своихъ поступкахъ и словахъ самую утонченную осторожность, необходимо взвѣшивать каждый шагъ, обдумывать каждое слово, контролировать движенія всѣхъ мускуловъ тѣла и лица, и устроивать все это такъ, чтобы никому не бросалась въглаза эта сдержанность и разсчитанность, чтобы въ его хладнокровіи и спокойствіи никто не видалъ и не предполагалъ ничего искусственнаго и натянутаго, и чтобы вообще, во всей его личности и во всемъ его поведеніи, не было ничего похожаго на таинственность и загадочность, способную обратить на себя вниманіе опытныхъ наблюдателей. Эта задача, уже достаточно трудная сама по себѣ, усложняется тѣмъ обстоятельствомъ, что человѣкъ, находящійся въ положеніи Раскольникова, естественнымъ образомъ чувствуетъ непреодолимое влеченіе присматриваться ко всѣмъ окружающимъ людямъ и прислушиваться къ ихъ толкамъ съ той спеціальной цѣлью, чтобы заблаговременно увидать или услыхать подготовляющееся нападеніе и приближающуюся опасность.

Эту тревожную внимательность, эту болѣзненную чуткость къ извѣстнымъ разговорамъ, эту подозрительную способность принимать случайно брошенныя слова за зловѣщіе или оскорбительные намеки надо скрывать самымъ тщательнымъ образомъ, и скрывать такъ, чтобы это скрываніе также оставалось совершенно незамѣтнымъ. На каждомъ шагу Раскольниковъ долженъ задавать себѣ вопросъ: что сдѣлалъ-бы на моемъ мѣстѣ человѣкъ совершенно невинный,—такой человѣкъ, которому нечего скрывать и нечего бояться? Какъ-бы онъ понялъ такое-то слово? Почувствовалъ-ли-бы онъ въ этомъ словѣ что-нибудь странное? Принялъ-ли-бы онъ его за неумѣстный намекъ на совершенно неизвѣстное ему событіе? Заинтересовался-ли-бы онъ этимъ намекомъ настолько, чтобы потребовать себѣ объясненія? Какимъ тономъ заявилъ-бы онъ это требованіе—спокойно-недоумѣвающимъ, или сурово-обиженнымъ? Всѣ эти и многіе другіе вопросы надо было ставить и рѣшать ежеминутно, по поводу каждой ничтожнѣйшей встрѣчи, при каждомъ пустѣйшемъ разговорѣ. На постановку и рѣшеніе этихъ и другихъ подобныхъ вопросовъ отпускалось каждый разъ по секундѣ времени; эти операціи надо было производить, глядя прямо въ глаза любознательному и словоохотливому собесѣднику, не допуская на собственную физіономію выраженія задумчивости и озабоченности, поддерживая начатый разговоръ спокойными и толковыми репликами и совершенно свободно и естественно переходя изъ тона въ тонъ. Надо было тщательно воздержаться отъ фальшивыхъ нотъ и при этомъ еще тщательнѣе скрывать тѣ страшныя усилія, цѣною которыхъ покупается это отсутствіе диссонансовъ. Раскольниковъ долженъ былъ, силами одного своего ума, вести постоянную борьбу съ цѣлымъ обществомъ, и вести ее такъ, чтобы самое ея существованіе оставалось совершенно незамѣтнымъ для его многочисленныхъ, опытныхъ и хладнокровныхъ противниковъ, которые сами не рисковали въ этой борьбѣ ничѣмъ, между тѣмъ какъ у него вся жизнь была поставлена на карту. Для Раскольникова такая борьба была труднѣе, чѣмъ для кого-либо другого. Ему мѣшала именно его тонкая наблюдательность, его способность внимательно вглядываться въ людей и отгадывать ихъ затаенныя намѣренія.

Смотря внимательно на другихъ и пронизывая ихъ насквозь своимъ инквизиторскимъ взглядомъ, Раскольниковъ естественнымъ образомъ

былъ расположенъ думать, что и другіе смотрятъ или по крайней мѣрѣ могутъ смотрѣть такъ-же внимательно на него самого и такъ-же успѣшно пронизываютъ или по крайней мѣрѣ могутъ пронизать его самого своими инквизиторскими взглядами. Сказавши какое-нибудь слово или сдѣлавши какое-нибудь движеніе, Раскольниковъ въ ту-же минуту становился на мѣсто своего собесѣдника, всматривался съ его точки зрѣнія въ сказанное слово или сдѣланное движеніе, подмѣчалъ въ нихъ все, что можно было признать искусственнымъ, ставилъ себѣ въ упрекъ то, что казалось ему ошибкой, считалъ себя до нѣкоторой степени скомпрометированнымъ, злился на себя за недостатокъ виртуозности въ выполненіи роли и, сосредоточивая такимъ образомъ свое вниманіе на подробной критикѣ того, что уже было сдѣлано, терялъ способность слѣдить съ необходимой внимательностью за тѣмъ, что дѣлалось въ текущую минуту и что надо было дѣлать въ ближайшее время. Такимъ образомъ онъ прорывался, дѣлалъ новую ошибку, гораздо болѣе крупную, чѣмъ предыдущую, опять ловилъ и казнилъ себя за опрометчивость, волновался и самъ первый замѣчалъ свое неумѣстное волненіе, доводилъ себя до изступленія этимъ вѣчнымъ подглядываніемъ за самимъ собою и наконецъ, съ досады, съ горя, со страха, не зная, чѣмъ поправить мелкія оплошности, замѣтныя только для его собственнаго, болѣзненно-зоркаго взгляда, дѣлалъ такую яркую эксцентричность, которая бросалась въ глаза самому близорукому и равнодушному свидѣтелю. Словомъ, Раскольниковъ былъ слишкомъ хорошимъ критикомъ, чтобы быть хорошимъ актеромъ. Превосходно понимая всѣ мельчайшіе недостатки своей игры, онъ требовалъ отъ себя съ этой стороны такого идеальнаго совершенства, которое по всей вѣроятности было недостижимо не только для него, но даже и для человѣка съ воловьими нервами. Видя, что это идеальное совершенство остается недоступнымъ, онъ начиналъ думать, что все пропало, и подъ вліяніемъ этой мысли обнаруживалъ такую тревогу, которая рано или поздно должна была обратить на себя общее вниманіе.

Способность къ микроскопическому анализу вредила Раскольникову не только потому, что онъ слишкомъ тщательно разбиралъ свои собственные поступки и слова, но также и потому, что онъ, пользуясь этой способностью на каждомъ шагу, подвергалъ такому-же тщательному разбору слова и поступки другихъ людей, со стороны которыхъ онъ могъ ожидать прямого или косвеннаго нападенія. Благодаря своему замѣчательному умѣнью объяснять, разбирать, комментировать, повертывать каждое слово; благодаря своей способности восходить отъ сказаннаго слова къ тому внутреннему побужденію, подъ вліяніемъ котораго оно было произнесено, Раскольниковъ очень часто извлекалъ изъ словъ своихъ собесѣдниковъ больше, чѣмъ сколько въ нихъ заключалось. Ему случалось видѣть намекъ самаго словѣщаго свойства тамъ, гдѣ слово было произнесено безъ всякой задней мысли; случалось принимать оборонительныя мѣры противъ нападенія въ то время, когда собесѣдникъ и не думалъ о возможности сдѣлаться его противникомъ. Понятное дѣло, что при усиленной и совершенно излишней бдительности тревога Раскольникова должна была расти не по днямъ, а по часамъ и въ скоромъ времени доразвиться до такихъ размѣровъ, при которыхъ всякое самообладаніе становится невозможнымъ.

Борьба съ цѣлымъ обществомъ была особенно трудна и безнадежна для Раскольникова еще и потому, что его вѣра въ собственныя силы была уже подорвана. Онъ зналъ, что послѣ убійства у него не достало хладнокровія на то, чтобы ограбить старуху съ надлежащей внимательностью и систематичностью; онъ зналъ, что голова его кружилась, мысли путались, руки дрожали, что ключи, снятые, съ убитой, не подходили къ замкамъ вслѣдствіе его растерянности, и что весь онъ вообще былъ гораздо больше похожъ на десятилѣтняго мальчишку, котораго ведутъ сѣчь за кражу яблоковъ или орѣховъ, чѣмъ на Наполеона, устраивающаго свое 18-е брюмера. Онъ зналъ далѣе, что онъ чуть-чуть не бросилъ въ воду единственные плоды своего кроваваго подвига; онъ зналъ, что эти плоды зарыты въ землю, и предвидѣлъ, что у него никогда не хватитъ рѣшимости на то, чтобы вырыть ихъ оттуда и воспользоваться для своихъ потребностей похищенными деньгами. Совокупность этихъ свѣдѣній конечно давала Раскольникову очень невыгодное понятіе о силѣ его собственнаго характера. А Раскольниковъ, какъ умный человѣкъ, конечно понималъ, что для успѣшной борьбы съ цѣлымъ обществомъ сила характера требуется громадная. Поэтому онъ долженъ былъ предвидѣть, что эта борьба очень скоро кончится для него полнымъ пораженіемъ, и что онъ по всей вѣроятности будетъ принужденъ сдаться безъ всякихъ условій, то-есть принести повинную голову въ ближайшее полицейское управленіе. Эта возрастающая безнадежность конечно должна была усиливать его тревогу, разбивать послѣдніе остатки его хладнокровія и доводить его такимъ образомъ до состоянія полнѣйшей беззащитности. Кто заранѣе считаетъ себя побѣжденнымъ, тотъ дѣйствительно побѣжденъ на половину до начала самой борьбы.

Мысль объ уголовномъ наказаніи, которое, какъ Дамокловъ мечъ, висѣло надъ головой Раскольникова и въ каждую данную минуту, при каждомъ его неосторожномъ движеніи, могло обрушиться на него всей своей тяжестью,

эта мысль сама по себѣ была достаточно мучительна, чтобы отравить всю его жизнь и сдѣлать ее невыносимымъ страданіемъ для несчастнаго преступника. Чувство страха составляетъ по всей вѣроятности самое мучительное изъ всѣхъ психическихъ ощущеній, доступныхъ человѣческой природѣ. Это чувство ужасно даже тогда, когда оно достается на нашу долю въ микроскопическихъ пріемахъ и продолжается всего нѣсколько секундъ. Извѣстны случаи, когда у здороваго и молодого человѣка бѣлѣли волосы втеченіи нѣсколькихъ минутъ, проведенныхъ въ смертельномъ страхѣ. Растяните такой или даже болѣе слабый страхъ на нѣсколько дней,—и можно будетъ поручиться за то, что противъ испытанія не устоитъ человѣческій разсудокъ, и что человѣкъ, стараясь во что-бы то ни стало избавиться отъ невыносимаго ощущенія страха, самъ, какъ шальной, какъ бѣшеный, полѣзетъ на ту опасность, отъ которой стынетъ кровь въ его жилахъ.

Тотъ видъ помѣшательства, который называется меланхоліей, состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что больной видитъ со всѣхъ сторонъ угрожающія ему опасности и испытываетъ постоянное ощущеніе смертельнаго страха. Меланхолики постоянно ищутъ смерти и стараются извести себя какими-бы-то ни было средствами именно потому, что они постоянно боятся за свою жизнь, и что это хроническое чувство страха дѣйствительно составляетъ для человѣка самую невыносимую изъ всѣхъ возможныхъ пытокъ. Раскольникову пришлось переживать тѣ самыя мученія, которыя переживаются меланхоликами. Конечно бѣдствіе, ожидавшее Раскольникова, не было настолько ужасно, чтобы не было возможности помириться съ мыслью о его неизбѣжности; человѣкъ можетъ болѣе или менѣе привыкнуть ко всему, даже къ мысли о близкой и неминуемой смерти. Но дѣло здѣсь именно въ томъ, что ожиданіе бѣдствія бываетъ всегда гораздо ужаснѣе и невыносимѣе, чѣмъ самое бѣдствіе. Пока человѣкъ еще колеблется между страхомъ и надеждой,—онъ томится и страдаетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ тогда, когда онъ уже видитъ совершенно ясно, что для него уже не остается ни малѣйшей надежды и что ему приходится рѣшительно отказаться отъ борьбы, скрестить руки, стиснуть зубы и покориться неотразимой необходимости. Мучительность ожиданія заставляетъ человѣка всѣми силами стараться о томъ, чтобы какъ-нибудь сократить тотъ періодъ, когда страхъ борется съ надеждой. Человѣку всего труднѣе, въ виду серьезной опасности, сохранять выжидательное положеніе и оставаться неподвижнымъ. Человѣкъ обыкновенно или старается убѣжать отъ опасности, или очертя голову бросается къ ней на встрѣчу; въ первомъ случаѣ онъ поддается естественному и чисто животному инстинкту самосохраненія; во второмъ случаѣ онъ дѣлаетъ попытку покончить съ самимъ собой; въ обоихъ случаяхъ онъ старается убѣжать отъ мучительнаго чувства страха, которое отравляетъ его существованіе. То обстоятельство, что человѣкъ оказывается иногда способнымъ купить цѣной собственной жизни избавленіе отъ чувства страха, показываетъ ясно, что это чувство въ самомъ дѣлѣ очень мучительно и что оно, продолжаясь нѣсколько дней, можетъ дѣйствительно, само по себѣ, безъ отношенія къ тѣмъ причинамъ, которыми оно порождено, сдѣлаться исходной точкой тѣхъ разнообразныхъ страданій и полусумасшедшихъ поступковъ, которые Достоевскій приписываетъ своему герою.

Кромѣ уголовнаго наказанія, Раскольниковъ боится еще того ужаса, негодованія или отвращенія, съ которымъ посмотрятъ на его поступокъ всѣ дорогіе и близкіе ему люди. Онъ думаетъ, что онъ останется одинъ въ цѣломъ мірѣ живыхъ людей, когда преступленіе его сдѣлается извѣстнымъ. Онъ думаетъ, что открытіе ужасной истины убьетъ его мать и заставитъ всѣхъ его друзей, начиная съ его родной сестры, отшатнуться навсегда отъ погибшаго и замараннаго человѣка. Поэтому онъ не смѣетъ никому открыться; признаться одному человѣку, по его мнѣнію, все равно, что признаться всѣмъ или просто донести на самого себя по начальству. Онъ увѣренъ въ томъ, что первый человѣкъ, которому онъ откроется, тотчасъ оттолкнетъ его отъ себя, какъ грязную гадину, и немедленно сдѣлается его врагомъ и преслѣдователемъ, хотя-бы за минуту до его признанія этотъ самый человѣкъ любилъ и уважалъ его больше всего на свѣтѣ. Поглощенный этой несокрушимой увѣренностью, Раскольниковъ чувствуетъ необходимость хитрить и лицемѣрить со всѣми людьми безъ исключенія, съ родной матерью такъ-же точно, какъ съ слѣдственнымъ приставомъ, Порфиріемъ Петровичемъ. Вслѣдствіи этого онъ можетъ чувствовать себя свободнымъ, онъ можетъ отдыхать отъ своей утомительной роли, онъ можетъ снимать съ себя костюмъ и маску невиннаго человѣка, онъ можетъ выпускать на волю всю свою тревогу и все свое страданіе лишь тогда, когда онъ остается только одинъ. Для него уже не существуетъ своего круга, для него нѣтъ и не можетъ быть общества такихъ близкихъ людей, съ которыми онъ могъ-бы вести себя безъ церемоній и обращаться запросто. Чѣмъ ближе къ нему люди, чѣмъ они для него дороже, чѣмъ больше правъ они имѣютъ на его довѣріе и откровенность, чѣмъ нѣжнѣе ихъ ласки и заботливѣе ихъ разспросы, чѣмъ искреннѣе и трогательнѣе ихъ участіе,—тѣмъ невыносимѣе для него ихъ общество, потому-что тѣмъ труднѣе отклонить эти ласки, увертываться отъ этихъ

разспросовъ и отвергать это единственное и неизбѣжное участіе. Съ какимъ-нибудь Порфиріемъ Петровичемъ можно говорить сухо и холодно, можно держать себя осторожно и оффиціально вѣжливо, не приводя никого въ изумленіе и не возбуждая никакихъ неумѣстныхъ догадокъ. Но съ матерью и съ сестрой нѣтъ никакой возможности соблюдать дипломатическую осторожность и непроницаемость; холодный и вѣжливый тонъ или разговоръ о погодѣ и о текущихъ извѣстіяхъ, пересыпанный оффиціальными нѣжностями, приведетъ ихъ сначала въ изумленіе, потомъ въ негодованіе и наконецъ въ отчаяніе, изъ котораго они будутъ искать выхода и которое немедленно породитъ и воспитаетъ въ нихъ то убѣжденіе, что тутъ существуетъ какая-то серьезная и печальная загадка, настоятельно требующая себѣ разрѣшенія. О поддѣлкѣ такого тона, такой нѣжности, такой радости при свиданіи, такой искренности и довѣрчивости, которыя могли-бы обмануть зоркіе глаза и чуткія уши матери и сестры,—нечего и думать. Обмануть такого человѣка, который васъ любитъ, который ловитъ глазами каждое ваше движеніе и жадно вслушивается въ каждое ваше слово,—до такой степени трудно, что подобный подвигъ врядъ-ли удался-бы даже самому закоренѣлому злодѣю, самому бездушному негодяю, не чувствующему ни капли любви къ тѣмъ людямъ, предъ которыми онъ разыгрываетъ свою трогательную комедію. Тѣмъ менѣе могъ этотъ подвигъ притворства оказаться по силамъ Раскольникову.

Мы уже знаемъ достаточно, какъ сильно онъ любитъ мать и сестру. Мы легко можемъ себѣ представить, какъ сильна была въ немъ потребность броситься къ нимъ на встрѣчу, открыть имъ свои объятія и вознаградить себя откровеннымъ разговоромъ съ ними за три года томительной разлуки. Мы можемъ себѣ вообразить, какимъ оглушительнымъ ударомъ было для него то открытіе, что ему противны и невыносимы ихъ ласки, противны и невыносимы потому, что онѣ относятся уже не къ нему, а къ той маскѣ, которая до поры до времени скрываетъ отъ всѣхъ людей обезображенныя черты его измученнаго и опозореннаго лица. Разбитый этимъ ударомъ, Раскольниковъ не смѣлъ даже принимать отъ нихъ эти ласки; ему казалось, что онъ ихъ крадетъ почти такъ же, какъ онъ нѣсколько дней тому назадъ укралъ старухины деньги. Онъ старался отвертываться отъ этихъ выраженій нѣжности, насколько это было возможно. Они его мучили, какъ самыя живыя напоминанія о томъ раѣ, который, по его мнѣнію, былъ для него навсегда потерянъ, и котораго онъ во-время не умѣлъ цѣнить по достоинству. Выманивать себѣ эти ласки обманомъ, платить за это чистое золото любви мишурой и фальшивой монетой своей поддѣльной нѣжности, словомъ, обращаться съ матерью и съ сестрой, какъ съ полицейскими сыщиками и шпіонами, которымъ надо отводить глаза различными искусно подобранными фокусами—это значило сползти въ такую отвратительную грязь, о которой Раскольниковъ не въ состояніи былъ даже и подумать. Тутъ игра положительно не стоила свѣчей. Хроническое притворство съ матерью и съ сестрой было для него неизмѣримо мучительнѣе всякой каторги! Всякій разъ, какъ онъ сходился съ ними, онъ чувствовалъ, что маска сползаетъ съ его лица, и всякій разъ онъ уходилъ отъ нихъ, пугаясь того ужаса, который должно было возбудить въ нихъ открытіе истины.

Такимъ образомъ страхъ уголовнаго наказанія, страхъ презрѣнія со стороны близкихъ людей, необходимость таиться и притворяться на каждомъ шагу въ сношеніяхъ со всѣми людьми безъ исключенія и ясное предчувствіе того обстоятельства, что всѣ эти подвиги притворства окажутся рано или поздно совершеннобезполезными,—вотъ составные элементы тѣхъ душевныхъ страданій, которыя испытываетъ Раскольниковъ. Подъ вліяніемъ этихъ страданій въ Раскольниковѣ совершается съ изумительной и ужасающей быстротой такой внутренній процессъ, который можно назвать увяданіемъ ума и характера. Первая фаза этого процесса разыгралась еще до совершенія убійства и ознаменовалась сооруженіемъ замысловатой теоріи, уравнявшей Ньютона и Кеплера съ опустошителями чужихъ кармановъ. Вторая фаза разыгрывается послѣ убійства и оканчивается тѣмъ, что Раскольниковъ, отказавшись отъ права размышлять собственнымъ умомъ и поступать по собственному благоусмотрѣнію, отдаетъ себя подъ опеку очень добродушной, очень ограниченной и совершенно необразованной дѣвушки, Сони Мармеладовой, которая, подобно нимфѣ Эгеріи, соглашается подавать ему мудрые и спасительные совѣты. Убивши старуху и ея сестру, Раскольниковъ совершенно теряетъ способность остановиться на какомъ-бы то ни было опредѣленномъ желаніи. Ему хочется все разомъ покончить, т. е. отдаться добровольно въ руки слѣдователя; ему хочется также избавиться отъ наказанія и остаться на свободѣ; самъ онъ рѣшительно не въ состояніи опредѣлить, которое изъ этихъ желаній сильнѣе и которое изъ нихъ въ ближайшую минуту будетъ управлять его поступками.

На другой день послѣ убійства его требуютъ въ кварталъ по одному денежному дѣлу съ хозяйкой. Собираясь идти туда и не зная еще, зачѣмъ его требуютъ, онъ думаетъ: «скверно то, что я почти въ бреду... я могу соврать какую-нибудь глупость». Значитъ, не хочетъ погибать. Минуту спустя имъ овладѣваетъ другое настроеніе, и онъ, махнувъ рукой, го-

воритъ про себя: «только-бы поскорѣй». Подходя къ конторѣ, онъ думаетъ: «если спросятъ, я можетъ быть и скажу». Поднимаясь по лѣстницѣ въ четвертый этажъ, онъ уже совсѣмъ рѣшается: «войду, стану на колѣни и все разскажу».—Черезъ минуту опять новый поворотъ: «какая-нибудь глупость», думаетъ онъ, стоя уже въ конторѣ, «какая-нибудь самая мелкая неосторожность,—и я могу всего себя выдать». Затѣмъ, когда онъ узнаетъ, что дѣло, по которому его требовали, не имѣетъ ничего общаго съ вчерашнимъ убійствомъ, имъ овладѣваетъ бѣшеная радость, и онъ, подъ вліяніемъ этого чувства, пускается вдругъ въ неожиданныя и совершенно неумѣстныя объясненія съ квартальными насчетъ своихъ отношеній къ хозяйкѣ и къ ея покойной дочери. Эта судорожная и припадочная радость тутъ-же въ конторѣ смѣняется черезъ минуту невыносимо тяжелымъ чувствомъ *мучительнаго, безконечнаго уединенія и отчужденія*. Ему вдругъ приходитъ въ голову подойти къ квартальному и разсказать ему все, до послѣдней подробности. Это желаніе исчезаетъ, когда онъ слышитъ, что квартальный въ это самое время разговариваетъ съ своимъ помощникомъ о вчерашнемъ убійствѣ. Является опять припадокъ страха. Раскольниковъ идетъ къ дверямъ и падаетъ въ обморокъ.

Изъ такихъ быстро-смѣняющихся колебаній состоитъ вся жизнь Раскольникова послѣ убійства. Въ немъ вспыхиваетъ энергія только тогда, когда все его вниманіе поглощается какимъ-нибудь посторонпимъ дѣломъ. Когда онъ переноситъ раздавленнаго чиновника Мармеладова къ нему на квартиру, когда онъ старается успокоить его жену и облегчить ея положеніе, отдавая ей всѣ свои деньги, когда онъ въ тотъ-же день говоритъ своей сестрѣ о томъ, что надо отказать Лужину, когда онъ на другой день окончательно выгоняетъ этого Лужина, когда онъ потомъ защищаетъ Соню Мармеладову, несправедливо обвиненную въ воровствѣ (все тѣмъ-же Лужинымъ),—тогда онъ является какъ-будто живымъ и свѣжимъ человѣкомъ, способнымъ интересоваться тѣмъ, что вокругъ него происходитъ, готовымъ откликнуться на чужое страданіе, заступиться за слабаго и обиженнаго человѣка, разстроить планы дерзкаго негодяя, подать умный совѣтъ, оказать дѣятельную помощь или рѣшиться во-время на смѣлый поступокъ. Но какъ только его перестаютъ развлекать сильныя постороннія впечатлѣнія, какъ только онъ остается наединѣ съ своими сбивчивыми мыслями о недавнемъ прошедшемъ и о ближайшемъ будущемъ, такъ тотчасъ-же въ его душѣ начинается какая-то вьюга быстро возникающихъ, быстро исчезающихъ, безпорядочно сталкивающихся и переплетающихся ощущеній: умъ его гаснетъ; воля изнемогаетъ; онъ ни о чемъ не думаетъ, ничего не желаетъ и ни на что не можетъ рѣшиться. Онъ идетъ туда, куда ему совсѣмъ не хотѣлось идти; попадаетъ туда, куда онъ совсѣмъ не разсчитывалъ попасть; говоритъ и дѣлаетъ то, чего собственный его умъ нисколько не одобряетъ. Находясь въ такомъ положеніи, онъ безъ всякой надобности дразнитъ письмоводителя Заметова разговоромъ объ убійствѣ, и вслѣдъ затѣмъ отправляется въ квартиру убитой дергать звонокъ и разспрашивать у работниковъ, зачѣмъ кровь отмыли. Слѣдить за тѣми процессами мысли, которые вызываютъ подобные поступки, и вообще объяснять эти поступки какими-бы то ни было процессами мысли, доступными и понятными здоровому человѣку,—я не вижу ни малѣйшей возможности. Тутъ можно сказать только, что человѣкъ ошалѣлъ отъ страха и дошелъ до какого-то сомнамбулизма, во время котораго онъ и ходитъ, и говоритъ, и какъ-будто даже думаетъ. Существуетъ-ли такое психическое состояніе, и вѣрно-ли оно изображено въ романѣ Достоевскаго,—объ этомъ пусть разсуждаютъ медики, если эти вопросы покажутся имъ достойными внимательнаго изученія.

1868.

РОМАНЫ АНДРЕ ЛЕО.

(1. Un mariage scandaleux. 2. Un divorce. 3. Jacques Galeron. 4. Une vieille fille. 5. L'idéal au village.)

Андре Лео—писательница, романы которой, появившіеся одинъ за другимъ втеченіи послѣдняго пятилѣтія, имѣли блестящій, прочный и вполнѣ заслуженный успѣхъ. Всѣ замѣчательнѣйшія французскія газеты, начиная отъ «Temps», и кончая какимъ-нибудь «Constitutionnel» отнеслись къ ея первому роману «Un mariage scandaleux», появившемуся отдѣльнымъ изданіемъ въ 1863 году, съ величайшимъ уваженіемъ. Одни понимали основную мысль романа, сочувствовали ей вполнѣ и видѣли въ авторѣ достойную соперницу или преемницу Жоржъ-Зандъ; другіе считали болѣе удобнымъ распространяться о художественности выполненія и ставили въ заслугу автору то, что онъ этой художественностью сумѣлъ искупить парадоксальность основной идеи. И тѣ, и другіе почувствовали одинаково живо, что на литературное поприще выступила новая сила, которую невозможно игнорировать и на которую трудно смотрѣть свысока.

Появленіе романовъ Лео и ихъ успѣхъ составляютъ значительный симптомъ въ жизни современнаго французскаго общества. Этотъ успѣхъ не купленъ цѣной безнравственныхъ уступокъ ошибочнымъ понятіямъ, господствующимъ предразсудкамъ и общераспространеннымъ порокамъ соотечественниковъ и современниковъ. Въ романахъ Лео нѣтъ ни малѣйшей поблажки слабостямъ французской буржуазіи, самаго многочисленнаго и вліятельнаго класса читателей. Напротивъ того, въ этихъ романахъ преобладаетъ здоровое, строго-отрицательное отношеніе къ чопорной мелочности, къ лакированному тупоумію, къ близорукому скопидомству и къ низкой продажности, характеризующимъ современное мѣщанство высшаго и низшаго полета. И между тѣмъ романы эти имѣютъ успѣхъ. Значитъ, во французскомъ обществѣ, несмотря на тѣ невыгодныя условія, которыя стѣсняютъ свободное развитіе его силъ, еще не замерла спасительная потребность самоосужденія. Послѣ болѣзненнаго оцѣпенѣнія, смѣнившаго собой напряженное литературное и общественное движеніе сороковыхъ годовъ, появляются снова признаки пробуждающейся мысли, готовой и способной подвергать строгому анализу существующія бытовыя формы и укоренившіяся понятія. На этихъ легкихъ признакахъ, на этихъ мимолетныхъ проблескахъ мудрено основывать какія-нибудь опредѣленныя надежды. Но отмѣчать эти проблески необходимо.

I.

Много было говорено и писано объ отношеніяхъ между отдѣльной личностью и обществомъ. Было высказано много серьезныхъ и вѣрныхъ, свѣтлыхъ и глубокихъ мыслей съ одной стороны о такъ-называемомъ заѣдающемъ дѣйствіи среды, и съ другой стороны о томъ, какъ и почему великіе люди рѣдко оцѣниваются своими современниками и обыкновенно подвергаются съ ихъ стороны ожесточеннымъ преслѣдованіямъ. На обѣ эти темы было также разумѣется разыграно достаточное количество варіацій, сбивающихся на переливаніе изъ пустого въ порожнее. Изъ всѣхъ самостоятельныхъ размышленій и безсодержательныхъ фразъ, вызванныхъ этими вопросами, можно, кажется, вывести тѣ общія заключенія, что каждая среда въ большей или меньшей степени обладаетъ заѣдающими свойствами, что каждая сильная и замѣчательная личность сильна и замѣчательна на столько, на сколько она хочетъ, можетъ и умѣетъ сопротивляться заѣдающему вліянію среды, что развитіе такихъ личностей совершается наперекоръ всему окружающему ихъ и составляющему общій, обыкновенно сѣроватый и грязноватый фонъ картины, и что вся жизнь этихъ личностей, отдѣляющихся отъ общаго фона, соотвѣтствуетъ ихъ развитію, то-есть бываетъ и должна быть постоянной, болѣе или менѣе тяжелой и мучительной борьбой за право думать, чувствовать и поступать сообразно съ естественными потребностями и здоровыми влеченіями собственнаго организма.

Эта вѣчная борьба между здоровыми личностями и темными, безличными, коллективными, медленно разлагающими силами среды въ каж-

дую данную эпоху и въ каждой данной мѣстности облекается въ новыя формы. Внимательное изученіе этихъ формъ составляетъ, безъ сомнѣнія, одну изъ важнѣйшихъ задачъ литературы,— такую задачу, надъ которой постоянно должны работать общими силами даровитые романисты и серьезно размышляющіе критики. Та польза, которую приноситъ общественному сознанію хорошая беллетристика, состоитъ именно въ томъ, что она, беллетристика, приводитъ въ извѣстность количество и качество міазмовъ, распространяемыхъ средой, и въ то же время поддерживаетъ въ читателѣ ту мужественную увѣренность, что обыкновенный человѣкъ, вооруженный нѣкоторымъ элементарнымъ знакомствомъ съ существующими міазмами, можетъ, при нѣкоторой настойчивости и при серьезномъ уваженіи къ своему человѣческому достоинству, предохранить себя отъ всякой заразы, остаться до конца своей жизни чистой, здоровой, сильной и дѣятельной личностью, и даже спасти отъ умственной и нравственной деморализаціи тѣхъ людей, съ которыми онъ находится въ постоянныхъ сношеніяхъ.

Если смотрѣть съ этой точки зрѣнія на романы Андре Лео, то ихъ необходимо будетъ признать очень замѣчательными и въ высокой степени полезными.

II.

Сюжетъ «Возмутительнаго брака» *) очень простъ. Двѣ здоровыя и сильныя личности, двадцати-двухлѣтній крестьянинъ Мишель и двадцатилѣтняя мѣщанка Люси Бертень, съ успѣхомъ отстаиваютъ отъ темныхъ и грязныхъ силъ окружающей среды свои права на честное и разумное счастье, на свѣтлую и здоровую жизнь, наполненную упорнымъ трудомъ и взаимной любовью. Все противъ нихъ: и любящіе родители, и заботливые родственники, и друзья, и сосѣди, и кумушки, и общественное мнѣніе, и весь кодексъ установившихся понятій и обычаевъ, но они сами твердо стоятъ за себя, они крѣпко и довѣрчиво держатся другъ за друга, они молоды и сильны, они хотятъ жить, въ нихъ нѣтъ ни мелочного тщеславія, ни малодушнаго лукавства, ни трусливой уклончивости, и они, безо всякой особенной геніальности, оставаясь простыми и обыкновенными людьми, одерживаютъ полную побѣду надъ всѣми грудами мелкихъ препятствій; романъ заканчивается возмутительнымъ бракомъ, и Люси Бертень, правнучка имепитыхъ мѣщанъ, Бурдоновъ и Таламбеновъ, родственница богачей, ведущихъ дружбу съ префектами и мѣтящихъ въ депутаты, становится простой мужичкой Мишелихой, сама ходитъ за коровой и стираетъ на рѣчкѣ бѣлье.

Интересъ романа сосредоточивается въ личности Люси. Сначала въ ней происходитъ внутренняя борьба, которая окончательно отрываетъ ее отъ среды и очищаетъ ее отъ всѣхъ узкихъ и мелочныхъ понятій и пристрастій, привитыхъ къ ней мѣщанскимъ воспитаніемъ. Затѣмъ начинается другая, внѣшняя, борьба—съ семействомъ и обществомъ. Первая борьба заканчивается тѣмъ, что Люси признается Мишелю въ своей любви; вторая—тѣмъ, что Люси становится женой Мишеля. И ту, и другую борьбу Люси принуждена была вести одна, безъ дѣятельнаго и прямого содѣйствія со стороны Мишеля. Понятно, что Мишель не могъ врываться къ процессъ ея мышленія, когда она рѣшала про себя вопросы: люблю-ли я его? Могу-ли я, должна-ли я, смѣю-ли я любить его? Что мнѣ дѣлать съ этой любовью? Отдаться-ли ей на всю жизнь, или давить ее въ себѣ всѣми доводами разсудка и всей энергіей воли? Понятно также, что мужикъ Мишель не могъ помогать своей невѣстѣ и въ той борьбѣ, которую она вела со своими родными и знакомыми. Эта борьба велась тогда, когда Мишель работалъ на поденщинѣ, и тамъ, куда Мишеля не пускали. Общественное мнѣніе формировалось и изрекало свои приговоры надъ позорной страстью легкомысленной дѣвушки въ такихъ кругахъ, на которые личность Мишеля, его достоинства, его умъ и характеръ не могли обнаруживать никакого вліянія.

Мишель, безъ сомнѣнія, принималъ важное участіе въ обѣихъ фазахъ борьбы и оказывалъ любимой дѣвушкѣ такое содѣйствіе, безъ котораго она конечно не могла-бы одержать побѣду ни надъ собою, ни надъ окружающими людьми. Но это содѣйствіе было пассивное; онъ помогалъ ей не своими поступками, а чистотой и твердостью своей личности; онъ не расчищалъ передъ ней дороги, не устранялъ препятствій, ничего не доказывалъ ни ей самой, ни ея родителямъ, не спорилъ о правахъ человѣка и гражданина съ мѣщанами и крестьянами своего мѣстечка; онъ только постоянно оставался самимъ собой, не измѣнялъ себѣ ни въ одномъ изъ мельчайшихъ случаевъ вседневной жизни, всегда и вездѣ уважалъ въ себѣ самъ и заставлялъ другихъ уважать его человѣческое достоинство, и этого было достаточно. Въ минуты тяжелаго раздумья, послѣ отчаянной схватки съ собственными мѣщанскими предразсудками или съ безнадежнымъ тупоуміемъ окружающихъ людей, Люси думала о немъ и не находила въ немъ ни одного пятна; она смотрѣла на него и видѣла во всемъ его существѣ спокойную силу, на которую можно положиться во всѣхъ случаяхъ жизни. Все въ этомъ человѣкѣ ручалось ей за то, что она будетъ очень счастлива, и это счастье манило ее къ себѣ, и она шла къ нему, не смущаясь неровностями дороги, и идя къ нему, она сама росла и крѣпла, становилась

*) Я буду приводить цитаты изъ этого романа по русскому переводу Марка Вовчка.

умнѣе и чище, выучивалась глубже и вѣрнѣе понимать жизнь и относиться съ кроткимъ и сострадательнымъ равнодушіемъ къ проявленіямъ человѣческой ограниченности.

Дѣйствіе романа происходитъ въ провинціальной глуши, въ деревнѣ, въ средней Франціи. Дѣйствуютъ мѣщане и крестьяне. Первые отличаются отъ послѣднихъ тѣмъ, что не носятъ мѣстныхъ костюмовъ, не придерживаются мѣстныхъ обычаевъ, считаютъ себя образованными людьми, презираютъ физическій трудъ и не безъ успѣха гоняются за казенными мѣстами. Послѣдніе стараются, по возможности, брать примѣръ съ первыхъ, но абсолютная необходимость работать и смотрѣть на работу, какъ на единственный источникъ пропитанія, въ значительной степени парализуетъ эти усилія. Бѣдные крестьяне, видя невозможность угоняться за мѣщанами или господами, покоряются своей участи и остаются работниками, проклиная свою горькую долю; богатые крестьяне пользуются своимъ достаткомъ преимущественно для того, чтобы вывести въ люди своихъ дѣтей, то-есть чтобы выдать дочерей замужъ за мѣщанъ, или чтобы превратить сыновей въ полированныхъ тунеядцевъ, проживающихъ родительскія деньги,—деньги, собранныя посредствомъ долговременнаго скряжничества, барышничества, ростовщичества и всевозможныхъ коммерческихъ оборотовъ, болѣе или менѣе прибыльныхъ и болѣе или менѣе неопрятныхъ.

Мѣщане и крестьяне, богатые и бѣдные, всѣ бѣгутъ куда-то, къ какой-то цѣли, о которой никто изъ бѣгущихъ не составляетъ себѣ отчетливаго понятія; всѣ смотрятъ на трудъ, какъ на зло: кто можетъ, тотъ сбрасываетъ его такъ или иначе на чужія плечи. Затѣмъ, когда эта первая задача рѣшена, представляется вопросъ: чѣмъ наполнить жизнь? На этотъ вопросъ ни у кого нѣтъ удовлетворительнаго отвѣта, но никто и не нуждается въ такомъ отвѣтѣ, потому что никого не тревожитъ самый вопросъ, и даже почти никому онъ не приходитъ въ голову. Некогда задумываться надъ жизнью, надъ ея смысломъ, надъ тѣмъ содержаніемъ, которымъ она можетъ и должна быть наполнена. Она наполняется сама собой, наполняется и даже переполняется такъ, что будь въ суткахъ сорокъ-восемь часовъ вмѣсто двадцати-четырехъ, и будь люди избавлены отъ печальной необходимости спать, то на долю каждаго изъ этихъ сорока-восьми часовъ пришлось-бы слишкомъ достаточное количество заботъ, тревогъ, волненій и огорченій, и все такихъ, которыя имѣютъ очень мало общаго съ удовлетвореніемъ естественныхъ потребностей животнаго организма или высшихъ стремленій человѣческаго ума. Надо бѣжать туда, куда бѣгутъ всѣ; надо завидовать тѣмъ, кто бѣжитъ впереди; надо презирать тѣхъ, кто отстаетъ; надо топтать ногами тѣхъ, кто падаетъ на пути, и надо при этомъ лицемѣрить со всѣми, зная заранѣе, что ваше лицемѣріе никого не обманываетъ; надо тщательно затаивать зависть; надо преувеличивать презрѣніе и выражать его такъ, чтобы всѣ окружающіе принимали или могли принять его за роковой результатъ возвышенныхъ чувствъ и утонченныхъ привычекъ; надо проливать слезы состраданія надъ такими оплошностями ближнихъ, которыя возбуждаютъ чувство злобной радости и открываютъ широкій просторъ для напряженной дѣятельности топчущихъ ногъ.

Каковы-бы ни были тѣ причины, которыми порождается это переполненіе жизни искусственными заботами, тревогами, волненіями и огорченіями, въ чемъ-бы ни коренились эти причины, въ неисправимой-ли слабости человѣческаго ума, или въ какихъ-нибудь политическихъ ошибкахъ, сдѣланныхъ предками и еще незамѣченныхъ потомками,—во всякомъ случаѣ это переполненіе существуетъ и даже составляетъ фактъ, дающій тонъ и колоритъ всѣмъ отправленіямъ общественной жизни во всѣхъ частяхъ цивилизованаго міра. Толчокъ данъ сотни лѣтъ тому назадъ, и люди бѣгутъ, и поколѣніе за поколѣніемъ тратитъ въ этомъ бѣгѣ всѣ свои силы, не находя себѣ за всѣ свои страданія никакой другой награды, кромѣ мучительнаго утомленія и горькаго разочарованія.

Какая-же сила поддерживаетъ это движеніе и мѣшаетъ отдѣльнымъ личностямъ, составляющимъ бѣгущую толпу, остановиться, оглядѣться и сообразить свои дѣйствительные интересы? У каждой отдѣльной личности есть свои желанія, идущія въ разрѣзъ съ направленіемъ общаго бѣга; но каждая отдѣльная личность знаетъ, что въ ту минуту, когда она вздумаетъ отдѣлиться отъ толпы, вся эта толпа соединится противъ нея и забросаетъ ее безчисленнымъ множествомъ презрительныхъ взоровъ, лицемѣрно-сострадательныхъ гримасъ, оскорбительныхъ пересудовъ и лживыхъ выдумокъ. Эта боязнь очутиться въ изолированномъ положеніи, столкнуться лицомъ къ лицу съ мнѣніемъ всѣхъ, навлечь на себя всеобщее неблагосклонное вниманіе словомъ, эта трусость отдѣльной личности передъ толпой составляетъ тотъ цементъ, которымъ разнохарактерныя частицы связываются въ одну сплошную массу, направляющуюся къ одной извѣстной цѣли.

Люди, составляющіе толпу, не любятъ и не уважаютъ другъ друга; каждый изъ нихъ чувствуетъ, что въ случаѣ неудачи ему нечего ожидать себѣ отъ сосѣдей ни пощады, ни даже самой простой справедливости; каждый изъ нихъ знаетъ также про себя, что и онъ самъ поступитъ непремѣнно по той-же программѣ съ каждымъ изъ своихъ оплошавшихъ сосѣдей; вмѣсто взаимной привязанности и соли-

дарности, существуетъ такимъ образомъ въ самой сильной степени взаимное недовѣріе и взаимная боязнь, и эти чувства, которыя повидимому могутъ только разрознивать людей, напротивъ того, соединяютъ ихъ между собой въ очень компактную массу. При этомъ не трудно себѣ представить, какую долю терпятъ въ этой массѣ отдѣльныя личности, связанныя между собой такимъ насильственнымъ образомъ.

Каждый видитъ въ своемъ сосѣдѣ, добромъ знакомомъ и пріятелѣ—будущаго доносчика, который при первомъ удобномъ случаѣ не задумается обвинить и даже оклеветать его передъ судомъ бѣгущей толпы, или такъ-называемаго общественнаго мнѣнія. Каждый видитъ въ своемъ ближнемъ цербера, котораго надо задобривать медовыми лепешками или запугивать увѣсистой дубиной. Отыскиваніе медовыхъ лепешекъ и увѣсистыхъ дубинъ составляетъ именно ту дѣятельность, которой предаются съ одинаковымъ усердіемъ, хотя и не съ одинаковымъ успѣхомъ, всѣ члены бѣгущей и суетящейся толпы, и эта дѣятельность обусловливается преимущественно взаимной боязнью, воодушевляющей этихъ членовъ. Медовыя лепешки называются деньгами; увѣсистая дубина называется властью. Исканіе денегъ и власти наполняетъ жизнь всѣхъ людей, успѣвшихъ сбросить бремя физическаго труда и мучительныхъ заботъ о насущномъ хлѣбѣ и не сумѣвшихъ привязаться къ какой-нибудь отрасли общеполезной умственной работы. Въ глазахъ бѣгущей толпы исканіе денегъ и власти составляетъ единственное позволительное, законное, разумное и похвальное человѣческое стремленіе. Толпа требуетъ отъ своихъ членовъ, чтобы они предавались этому исканію съ полнымъ самоотверженіемъ, и чтобы одна эта мысль господствовала безраздѣльно надъ всѣми ихъ поступками. Толпа оправдываетъ или обвиняетъ своихъ членовъ, признаетъ ихъ умными или глупыми, достойными или недостойными, великими или смѣшными, смотря по тому, насколько полно и ярко воплощается въ ихъ жизни единственная вполнѣ понятная ей идея, идея неуклоннаго стремленія къ деньгамъ и къ власти.

Въ жизни мѣщанъ и крестьянъ деревни Шаваньи, родины Мишеля и Люси Бертень, нѣтъ руководящихъ идей, кромѣ этой великой идеи, вполнѣ понятной всякой бѣгущей и суетящейся толпѣ. Этой идеѣ подчиняются и всѣ политическія понятія, и всѣ отношенія къ вопросамъ общаго міросозерцанія, и всѣ взгляды на различныя чувства, права и обязанности отдѣльной личности. Крестьяне не обнаруживаютъ въ романѣ Лео никакихъ политическихъ симпатій или антипатій; они повидимому не считаютъ правдоподобнымъ, чтобы та или другая форма правленія, или та или другая законодательная мѣра могла произвести въ ихъ матеріальномъ положеніи важную и чувствительную перемѣну къ лучшему. Имъ самимъ приходится разсмотрѣть и рѣшить одинъ крошечный мѣстный вопросъ, вопросъ о направленіи одной дороги, и пренія, вызванныя этимъ общимъ дѣломъ, показываютъ до нѣкоторой степени, подъ вліяніемъ какихъ страстей и соображеній обыватели Шаваньи стали-бы обсуживать и рѣшать болѣе важные вопросы. Одинъ изъ крестьянъ говоритъ, что онъ ни-за-что не отдастъ подъ дорогу ни одного лоскута своей земли, что всѣ дороги только землю гадятъ, и что «ученые камень валятъ туда, гдѣ хлѣбъ растетъ». Другой жалуется, что для него ни одной дороги не проложили, хотя онъ «такой же муниципальный совѣтникъ, какъ и Бурдонъ».

Всѣ видятъ и понимаютъ, что Бурдонъ хлопочетъ о дорогѣ собственно для своихъ личныхъ выгодъ, и всѣ, пообѣдавши на фермѣ у Бурдона и распивши нѣсколько бутылокъ хорошаго вина, подаютъ голоса такъ, какъ того хочетъ Бурдонъ. Настоящую сущность дѣла превосходно выражаетъ Вуазонъ,—тотъ самый крестьянинъ, который ратуетъ противъ дорогъ вообще: «за эту дорогу, говоритъ онъ, я только потому и подамъ голосъ, что, сдается мнѣ, ее все равно и безъ моего голоса построятъ. Префектъ съ генеральнымъ совѣтомъ не сидитъ въ рукавѣ у нашего брата-мужика. И еще потому я за эту дорогу подаю голосъ, что она не проходитъ черезъ мою землю». Равнодушіе къ рѣшаемому вопросу выходитъ такимъ образомъ изъ того убѣжденія, что мужику нѣтъ возможности отстоять и провести свое мнѣніе; если-бы этому самому мужику приходилось принимать участіе въ рѣшеніи болѣе важныхъ вопросовъ, и если-бы онъ видѣлъ, что его голосъ имѣетъ серьезное значеніе, то по всей вѣроятности и равнодушіе бы исчезло. Но при тѣхъ политическихъ условіяхъ, при которыхъ находилось въ 40-хъ годахъ и находится до сихъ поръ сельское населеніе, несмотря на знаменитое «suffrage universel», отстаиваніе собственнаго поля и угожденіе богатому сосѣду оказывается, при рѣшеніи общественныхъ вопросовъ, единственнымъ мотивомъ, доступнымъ разумѣнію и близкимъ сердцу большинства.

Мѣщане относятся менѣе равнодушно къ вопросамъ текущей политики: имъ доступна чиновническая карьера; они могутъ ожидать себѣ кое-какихъ щедротъ отъ правительства; ихъ могутъ наградить за преданность, и они стараются продавать эту преданность тѣмъ, кто желаетъ и способенъ дать за нее подходящую цѣну. Блестящій представитель мѣстнаго мѣщанства, богачъ и мудрецъ, царствующій въ деревнѣ Шаваньи, Антоненъ Бурдонъ, отличался преданностью къ правительству Бурбоновъ и шелъ быстрыми шагами къ высокимъ чинамъ и почестямъ, а потомъ, послѣ іюльской рево-

люціи, принужденный удалиться въ деревню, скромно и осмотрительно отложить въ сторону все то, чему служилъ и что любилъ благонамѣренной страстью въ прежнія времена. Онъ сдружился съ новыми властями и успѣлъ выпросить себѣ у нихъ стипендію для одного сына, протекцію для другого и полную благосклонность для себя и для всего своего семейства.

Въ религіозномъ отношеніи крестьяне повидимому добрые католики; но съ одной стороны вѣрныя хранительницы мѣстныхъ преданій, благочестивыя старушки думаютъ, что для исцѣленія отчаянно больныхъ лучше обращаться къ колдуну или знахарю, чѣмъ къ святой Радегондѣ; а съ другой стороны, когда молодые господа, то-есть мѣщане, пересмѣиваются въ церкви и дѣлаютъ другъ-другу знаки, то крестьяне не находятъ въ этомъ ничего предосудительнаго и даже относятся къ этимъ глупостямъ съ почтительнымъ сочувствіемъ, потому что видятъ въ нихъ проявленіе городской развязности и великосвѣтскаго изящества.

Мѣщане въ дѣлѣ религіи, какъ и во всѣхъ прочихъ дѣлахъ, руководствуются модой; они отрицаютъ извѣстный строй понятій такъ, какъ они стали-бы отрицать прошлогодній покрой фрака; они ни во что не вѣрятъ, ни въ чемъ не сомнѣваются и ни надъ чѣмъ не задумываются; всѣ эти процессы слишкомъ утомительны для нихъ, вовсе не приняты въ хорошемъ обществѣ и нисколько не требуются для того, чтобы составить приличную карьеру, то-есть захватить въ руки частицу власти, нажить маленькій капиталецъ и жениться на дѣвушкѣ хорошей фамиліи; твердыя убѣжденія въ дѣлѣ религіи, каковы-бы они ни были, положительныя или отрицательныя, могутъ быть только стѣснительны при жизни, когда приходится сталкиваться въ обществѣ съ людьми самаго различнаго образа мыслей, когда со всѣми этими людьми надо ладить и когда отъ каждаго изъ нихъ можно добиваться какой-нибудь выгоды, рекомендаціи или протекціи. А когда придется умирать, тогда можно будетъ струсить во-время, покаяться въ грѣховномъ пристрастіи къ модному легкомыслію и съ должнымъ смиреніемъ прибѣгнуть къ всегда готовой помощи услужливаго и снисходительнаго патера.

Въ основаніяхъ своей житейской мудрости крестьяне сходятся съ мѣщанами: и тѣ, и другіе находятъ, что необходимо преклоняться предъ богатствомъ и обѣими руками ухватываться за всякое дозволенное законами средство обогащенія. Мѣщане и крестьяне осуждаютъ въ одинъ голосъ Мишеля и называютъ его чудакомъ за то, что онъ не захотѣлъ жениться на богатой дѣвушкѣ, объяснившейся ему въ любви. Иные находятъ его поступокъ до крайности неестественнымъ и даже выражаютъ то предположеніе, что онъ быть можетъ еще спохватится. Однако на практикѣ мѣщане, какъ люди дрессированные и полированные, оказываются гораздо непоколебимѣе и послѣдовательнѣе крестьянъ въ дѣлѣ поклоненія золотому тельцу. Въ крестьянскомъ быту еще возможны и даже случаются довольно часто браки по любви; совершенно бѣдныя невѣсты находятъ себѣ совершенно бѣдныхъ жениховъ и, надѣясь только на свое трудолюбіе и на свои нерастраченныя силы, идутъ съ ними навстрѣчу всѣмъ невзгодамъ и опасностямъ суровой батрацкой жизни. Въ мѣщанскомъ сословіи такіе браки или совсѣмъ невозможны, или составляютъ чрезвычайно рѣдкія исключенія, на которыя общественное мнѣніе смотритъ, какъ на сумасбродные и даже безнравственные поступки. Во всемъ своемъ поведеніи мѣщане гораздо менѣе крестьянъ поддаются внушеніямъ неблагоразумныхъ страстей. Любовь, ненависть, презрѣніе, гнѣвъ, негодованіе, жажда мщенія — все это такія чувства, которыя у крестьянъ вырываются иногда съ неудержимой силой, наперекоръ всѣмъ требованіямъ финансоваго положенія и всѣмъ соображеніямъ практическаго разсудка. У мѣщанъ, напротивъ того, всѣ эти чувства держатся на привязи и выпускаются на волю только тогда, когда ихъ тупое и эффектное появленіе не можетъ помѣшать достиженію серьезныхъ цѣлей, то-есть повредить интересамъ карьеры и кармана.

Это различіе между мѣщанами и крестьянами обнаруживается очень наглядно и съ разныхъ сторонъ въ исторіи молодого чиновника Гавеля и крестьянки Лизы Мурильонъ. Гавель соблазняетъ эту Лизу, дочь крестьянина, арендующаго ферму Бурдона. Лиза дѣлается беременной, и эта беременность становится извѣстной черезъ нѣсколько дней послѣ торжественнаго объявленія о томъ, что Гавель женится на Орели Бурдонъ, дочери того богача и мудраго политика, имя котораго уже встрѣчалось на предыдущихъ страницахъ. Встрѣтивъ Гавеля на берегу рѣки, гдѣ онъ прогуливается съ семействомъ своей невѣсты, Лиза требуетъ у него разговора наединѣ, уводитъ его за кусты и тамъ объявляетъ ему о своемъ положеніи. Съ ней находится въ эту минуту Жанъ, молодой работникъ ея отца, влюбленный въ нее; Гавель, переговоривъ съ Лизой, подаетъ Жану золотую монету, приглашая его молчать обо всемъ, что онъ видѣлъ и слышалъ. Жанъ бросаетъ ему эту монету въ лицо. «Гавель чуть не схватилъ за горло мужика, но, вѣрный правиламъ осторожности, онъ удержался отъ этого, сдѣлавъ надъ собой страшное усиліе. Берегись! — сказалъ онъ съ угрожающимъ жестомъ и страшнымъ выраженіемъ лица; потомъ онъ быстро ушелъ. Обладая уже искусствомъ бороться съ человѣческими чувствами и волненіями какъ собственными, такъ и чужими, онъ успѣлъ справиться съ

своими нервами въ тѣ пять минутъ, которыя ему понадобились, чтобы дойти до госпожи Бурдонъ; закипѣвшая кровь остыла въ немъ и лицо его прояснилось».

Эта сцена достаточно выразительна. Мужикъ наноситъ жестокое личное оскорбленіе барину, нисколько не принимая въ соображеніе того вліянія, которое этотъ баринъ можетъ имѣть на его карьеру. А баринъ на оскорбленіе, равносильное пощечинѣ, отвѣчаетъ страшнымъ взглядомъ, угрожающимъ жестомъ, словомъ «берегись!» и быстрымъ отступленіемъ, сообразивши въ ту-же секунду, что шумъ драки и громкій скандалъ могутъ разстроить его планы, и что гораздо благоразумнѣе будетъ проглотить обиду молча, какъ-бы ни была она сильна и унизительна. Между тѣмъ, съ одной стороны, Гавель можетъ нажаловаться на Жана своему будущему тестю, Бурдону, Бурдонъ можетъ сказать о немъ слово Мурильону, и Жанъ останется безъ мѣста. А съ другой стороны, какой-бы ужасный скандалъ ни произошелъ, какое-бы дурное мнѣніе ни получили о Гавелѣ Бурдонъ, его семейство и всѣ жители деревни Шаваньи, Гавель не потеряетъ ни своего казеннаго мѣста, ни тѣхъ денегъ, которыя онъ, по всей вѣроятности, получаетъ на житье отъ своего отца, ни вообще какого-бы то ни было изъ тѣхъ матеріальныхъ обезпеченій, которыя даютъ ему возможность играть роль провинціальнаго льва. Значитъ, мужикъ, увлеченный страстью, рискуетъ всѣмъ, что́ у него есть; а баринъ, въ которомъ ударъ по лицу долженъ былъ конечно разбудить сильнѣйшую и самую неукротимую изъ человѣческихъ страстей, не желаетъ рискнуть даже той выгодной спекуляціей, которая находится у него въ ходу, и которая, если даже лопнетъ окончательно, нисколько не подорветъ источниковъ его благосостоянія. Откуда-же происходитъ такое различіе между этими двумя людьми? Пожалуй, можно было-бы просто сказать: одинъ смѣлый человѣкъ, другой—разсчетливый трусъ; но это объясненіе было-бы совершенно произвольно и кромѣ того само нуждалось-бы въ объясненіи. Относительно Гавеля оно даже и невѣрно; по всѣмъ пріемамъ Гавеля видно, что онъ, при случаѣ, готовъ рискнуть жизнью, если-бы такой рискъ былъ абсолютно необходимъ для успѣха его житейскихъ предпріятій, то-есть, если-бы ему надо было, во что́ бы то ни стало, показать людямъ бѣгущей толпы, что онъ способенъ посмотрѣть въ глаза смерти. Но, разумѣется, онъ и жизнью сталъ-бы рисковать не по страсти, а по разсчету, именно тогда, когда этого требуютъ его служебные или денежные интересы, и именно на столько, на сколько это для нихъ необходимо.

Объясненіе различія между поступками Жана и дѣйствіями Гавеля заключается, по моему мнѣнію, не въ ихъ личныхъ характерахъ, а въ ихъ положеніяхъ. Чѣмъ рискуетъ Жанъ? Мѣстомъ батрака. Велико сокровище! Поссорился онъ съ Мурильономъ, пошелъ къ другому хозяину, нанялся у него,—и опять все пошло по старому. Жанъ знаетъ себѣ цѣну, и понимаетъ очень хорошо, что Мурильонъ даетъ за его трудъ то, что́ далъ-бы и что́ дѣйствительно дастъ въ случаѣ надобности всякій другой покупщикъ, то-есть въ сущности гораздо меньше того, что́ этотъ трудъ стоитъ на самомъ дѣлѣ, то-есть гораздо меньше, чѣмъ то количество продуктовъ, которое можетъ быть добыто или передѣлано посредствомъ этого труда. Трудъ Жана имѣетъ свою рыночную цѣну, и чтобы получить за него эту цѣну отъ Мурильона или отъ кого-либо другого, Жанъ не нуждается ни въ какихъ вспомогательныхъ маневрахъ и подготовительныхъ комбинаціяхъ. Жанъ, оторванный отъ Мурильона, все тотъ-же Жанъ, дюжій, работящій парень, и всѣ его качества и сноровки остаются при немъ, и продажная цѣнность его труда не понижается ни на одинъ сантимъ. Жанъ можетъ дѣйствовать смѣло, потому что онъ стоитъ не на какихъ-нибудь хрупкихъ и хитрыхъ подмосткахъ, а на собственныхъ здоровыхъ ногахъ. Онъ беретъ за себя даже меньше того, что́ онъ на самомъ дѣлѣ стóитъ, и умѣетъ довольствоваться этимъ малымъ. Поэтому ему нечего бояться, что онъ не найдетъ себѣ покупщиковъ. Поэтому онъ и можетъ себѣ позволить ту невинную роскошь, въ которой благоразумно отказываетъ себѣ блестящій Гавель.

Люди, подобные блестящему Гавелю, напротивъ того, получаютъ за себя, тѣмъ или другимъ путемъ, несравненно больше своей рыночной цѣны. Въ этомъ собственно и состоятъ всѣ выгоды ихъ привилегированнаго положенія. Вся коллективная политика этихъ людей клонится къ тому, чтобы удержать въ полной силѣ и развить надлежащимъ образомъ тѣ условія, благодаря которымъ получается эта непомѣрно высокая цѣна. Вся ихъ индивидуальная политика направлена къ тому, чтобы, комбинируя различными способами эти общія условія, брать за себя такую цѣну, которая нисколько не соотвѣтствуетъ ни ихъ личнымъ достоинствамъ, ни количеству справляемой ими полезной работы. Такъ напримѣръ, Гавель занимаетъ мѣсто инженера и получаетъ извѣстное жалованье. Занимаетъ онъ это мѣсто совсѣмъ не потому, что онъ болѣе всѣхъ своихъ сверстниковъ способенъ его занимать, а потому, что ему удалось получить выигрышный билетъ въ двухъ лотереяхъ. Во-первыхъ, онъ поступилъ въ училище и кончилъ въ немъ курсъ, между тѣмъ какъ многія тысячи его соотечественниковъ и ровесниковъ, вполнѣ способныхъ учиться, не

поступили ни въ какое училище и не кончили никакого курса. Это случилось съ Гавелемъ потому, что онъ родился на свѣтъ сыномъ такого человѣка, которому привилегированное положеніе давало возможность доставить своимъ дѣтямъ хорошее образованіе. Это обстоятельство, неимѣющее ничего общаго съ личными достоинствами Гавеля, составляетъ первый выигрышный билетъ. Далѣе Гавель, по выходѣ изъ училища, при помощи различныхъ рекомендацій, протекцій, связей и ходатайствъ, получилъ мѣсто, котораго навѣрное добивались вмѣстѣ съ нимъ другіе претенденты, одинаково компетентные и имѣющіе съ нимъ совершенно одинаковыя права. Это—второй выигрышный билетъ. Первый билетъ составляетъ чистую случайность, но второй взятъ навѣрняка. Гавель получилъ его, благодаря цѣлой искусно-пригнанной системѣ отношеній, благодаря тому, что его знаютъ, какъ сына такого-то, какъ племянника такой-то, какъ пріятеля такихъ-то, какъ милаго и образованнаго юношу, отлично умѣющаго держать себя въ гостиной и танцовать польку и вальсъ.

Чтобы удерживать за собой тѣ выгоды, которыя доставляетъ полученный выигрышный билетъ, и чтобы эти выгоды росли и множились въ его рукахъ, Гавель долженъ тщательно наблюдать за неприкосновенной цѣлостью той тонкой и замысловатой ткани отношеній, которой онъ себя опуталъ и которая поддерживаетъ его на извѣстной высотѣ. Онъ долженъ воздерживаться отъ всякаго быстраго и рѣзкаго движенія, которое могло-бы прорвать эту ткань; чуть только въ этой ткани начнетъ обнаруживаться крошечная прорѣха, онъ долженъ зачинивать ее, не жалѣя ни времени, ни труда, ни лицемѣрныхъ улыбокъ, ни почтительныхъ поклоновъ, ни лживыхъ увѣреній. Гавель, оторванный отъ своихъ патроновъ и разобщенный съ той сферой, которая раздастъ своимъ любимцамъ выгодныя должности, денежныя и почетныя награды, богатыя наслѣдства и руки богатыхъ невѣстъ,—совсѣмъ не то, что Жанъ, оторванный отъ своего хозяина Мурильона. Если Гавель прогнѣваетъ своего папеньку, не съумѣетъ поддѣлаться къ богатой тетушкѣ, повздоритъ съ своимъ начальникомъ по службѣ, обратитъ на себя суровое вниманіе благовоспитаннаго общества какимъ-нибудь яркимъ скандаломъ, если онъ, вслѣдствіе этихъ и другихъ подобныхъ причинъ, сорвется съ той ступеньки, на которой онъ держится, и полетитъ внизъ, то онъ сразу сдѣлается самымъ жалкимъ пролетаріемъ, обидчивымъ и раздражительно-самолюбивымъ, безъ воловьей силы, безъ способности и привычки къ тяжелымъ лишеніямъ и къ черной работѣ. Онъ упадетъ такъ низко, какъ Жанъ можетъ упасть только, напримѣръ, вслѣдствіе долгой изнурительной болѣзни. Гавель и люди ему подобные понимаютъ и чувствуютъ это постоянно, въ каждую данную минуту. Боязнь испортить или порвать запутанную паутину общественныхъ связей и отношеній, боязнь подломить подъ собой высокія и хрупкія ходули, благодаря которымъ можно презирать простыхъ людей, мѣсящихъ грязь собственными ногами,—эта боязнь управляетъ всѣми поступками Гавелей и становится для нихъ второй природой. Эта боязнь называется умѣньемъ жить съ людьми и держать себя въ обществѣ; она лежитъ въ основаніи всѣхъ безчестныхъ уступокъ и унизительныхъ компромиссовъ; она заставляетъ человѣка молча глотать оскорбленія, подавлять въ себѣ взрывы самаго законнаго негодованія и сгибаться въ дугу передъ сильнымъ или смѣлымъ обидчикомъ; она прививается и прирастаетъ такъ крѣпко ко всему нравственному существу человѣка, она пускаетъ такіе глубокіе и цѣпкіе корни въ его характеръ, что человѣкъ продолжаетъ бояться и дипломатизировать, сгибаться и извиваться, лгать передъ другими и передъ самимъ собой, насиловать и извращать лучшія и самыя естественныя движенія своей природы даже тогда, когда онъ навсегда застрахованъ противъ паденія въ грязную пропасть нищеты и когда онъ могъ-бы прожить остатокъ дней своихъ въ полнѣйшей нравственной независимости.

То-же различіе, которое я замѣтилъ между Жаномъ и Гавелемъ, замѣчается далѣе между Мурильономъ, отцомъ соблазненной дѣвушки, и Бурдономъ, отцомъ той дѣвушки, которая должна сдѣлаться законной супругой соблазнителя. Беременность Лизы перестаетъ быть тайной; о ней говорятъ и шутятъ въ деревенскомъ трактирѣ; Мурильонъ, услышавъ эти толки, приходитъ въ неистовство и затѣваетъ драку; потомъ онъ бѣжитъ домой разспросить Лизу и застаетъ ее вмѣстѣ съ Гавелемъ, только-что вручившимъ ей, въ видѣ утѣшенія, полный кошелекъ. Гавель убѣгаетъ, а Мурильонъ бросается на дочь и хочетъ ее убить. Мишель спасаетъ Лизу; Мурильонъ собирается убить Гавеля, потомъ бросаетъ эту мысль и хочетъ преслѣдовать его судебнымъ порядкомъ, потомъ убѣждается, что это ни къ чему не поведетъ, и наконецъ, измученный безсонной ночью и безысходными думами, рѣшаетъ къ утру, что мужику ничего нельзя сдѣлать путнаго, и что нѣтъ на свѣтѣ ни суда, ни правды, ни Господа Бога, и что остается только приниматься потихоньку за обыкновенную будничную тяжелую работу. Если бы онъ могъ цѣной всего своего состоянія—я уже не говорю предотвратить или поправить случившуюся бѣду,—но даже только добиться того, чтобы Гавель былъ наказанъ, какъ низкій негодяй, то онъ не поколебался-бы ни на одну минуту. При своемъ безсиліи онъ дѣлаетъ все, что можетъ. Онъ отправляется къ Бурдону и

разсказываетъ ему о поступкѣ Гавеля, надѣясь по крайней мѣрѣ разстроить его бракъ. Въ то самое время, когда Мурильонъ объясняется съ Бурдономъ, на дорогѣ происходитъ столкновеніе между Гавелемъ съ одной стороны и Жаномъ — съ другой.

Жанъ бросается на него съ топоромъ и наноситъ одну рану его лошади, а другую — ему самому. Лизины братья Каде и Мишель, рубившіе дрова вмѣстѣ съ Жаномъ, обезоруживаютъ его и спасаютъ Гавеля. Но при этомъ Каде полосуетъ Гавелю лицо кнутомъ, и Гавель, выручennый появленіемъ постороннихъ лицъ, уѣзжаетъ въ городъ, задыхаясь отъ ярости и составляя самые несбыточные планы мщенія. Теперь наступаетъ для Бурдона время заявить не только то, съ какой точки зрѣнія онъ смотритъ на дѣйствія Гавеля, но еще и то, съумѣетъ-ли онъ и пожелаетъ ли постоять за будущность своей собственной дочери. Бурдонъ нисколько не обманывается насчетъ Гавеля; онъ понимаетъ вполнѣ, что этотъ человѣкъ непремѣнно отравитъ жизнь его дочери и ни въ какомъ случаѣ не сдѣлаетъ ее счастливой. Онъ приходитъ въ негодованіе и хочетъ разорвать предположенный бракъ. «Человѣкъ, настолько безнравственный, говоритъ онъ своей женѣ, что соблазняетъ шестнадцатилѣтнюю горничную въ домѣ своей невѣсты, такой человѣкъ всегда будетъ необузданнымъ развратникомъ. Отказываясь отъ этого брака, я спасаю дочь!» Но госпожа Бурдонъ, послѣ продолжительнаго разговора, направленнаго къ тому, чтобы оправдать Гавеля или по крайней мѣрѣ включить его въ многочисленный разрядъ обыкновенныхъ и общераспространенныхъ мужей, напоминаетъ своему Антонену о паутинѣ тѣхъ отношеній, которыя необходимы ему для успѣха его предпріятій, и перечисляетъ тѣ нити этой паутины, которыя оборвутся въ случаѣ рѣзкаго отказа выгодному жениху. «Вся ея жизнь будетъ надломлена, говоритъ госпожа Бурдонъ о дочери. Можетъ быть также общественное мнѣніе будетъ къ ней до такой степени несправедливо, что она уже никогда не найдетъ тѣхъ выгодъ и связей, которыя представлялъ ей бракъ съ Гавелемъ. Наконецъ въ этомъ разрывѣ все на насъ обрушивается, все насъ губитъ. Теперь опять вся будущность Эмиля сдѣлается сомнительной; разумѣется, дядя Гавеля, обѣщавшій намъ мѣсто аудитора въ государственномъ совѣтѣ, возьметъ назадъ свое слово. И ты также теряешь поддержку супрефекта при выборахъ въ депутаты».

Соображенія о паутинѣ дѣйствуютъ: Бурдонъ покорно склоняетъ голову; великодушное негодованіе его испаряется; раздраженный отецъ становится трусливымъ и благовоспитаннымъ членомъ бѣгущей и суетящейся толпы. Съ нимъ происходитъ та-же исторія, которая совершилась съ Гавелемъ, когда, подъ вліяніемъ благоразумныхъ соображеній, намѣреніе схватить Жана за горло превратилось въ угрожающій жестъ, въ слово «берегись!» и въ быстрое отступленіе. Такія-же благоразумныя соображенія побуждаютъ блестящаго, но побитаго Гавеля отказаться отъ плановъ мщенія и взять назадъ жалобу, поданную мировому судьѣ на Каде и на Жана, какъ на злодѣевъ, покушавшихся отнять жизнь у мирнаго и уважаемаго гражданина. Сойдясь между собой въ своемъ пристрастіи къ благоразумнымъ соображеніямъ, Гавель и Бурдонъ убѣждаются въ томъ, что они достойны другъ-друга и что имъ не изъ-за чего ссориться. Послѣ приличной отсрочки, вызванной печальными событіями и непріятными деревенскими толками, Орели Бурдонъ становится супругой Гавеля, который въ качествѣ мужа сдерживаетъ вполнѣ все то, что онъ обѣщалъ въ качествѣ жениха.

III.

Въ такой средѣ, гдѣ все повинуется благоразумнымъ соображеніямъ, положеніе бѣдной дѣвушки оказывается очень безотраднымъ. У нея нѣтъ будущаго, нѣтъ надежды любить и жить полной жизнью, нѣтъ шансовъ найти себѣ спутника жизни, сдѣлаться женой и матерью; въ томъ обществѣ, гдѣ она живетъ, люди ищутъ себѣ приличныхъ партій, а она, бѣдная дѣвушка, можетъ быть только помѣхой и обузой, которую можетъ взять себѣ на шею только отъявленный сумасбродъ; но такіе сумасброды рѣдки въ наше благоразумное время, да и тѣ, которые имѣются въ наличности, по большей части, въ качествѣ сумасбродовъ, не умѣютъ добыть себѣ собственнымъ трудомъ кусокъ насущнаго хлѣба и поэтому, находясь въ совершенной экономической зависимости отъ заботливыхъ родителей или отъ благодѣтельныхъ родственниковъ, обезпечиваются ихъ приказаніями и запрещеніями отъ слишкомъ крупныхъ и непоправимыхъ увлеченій. Богатые люди ищутъ себѣ богатыхъ невѣстъ, потому что богатство даетъ имъ право многаго требовать и высоко поднимать свои претензіи; бѣдные также ищутъ богатыхъ невѣстъ, потому что желаютъ сдѣлаться богатыми, хотя быть можетъ и не имѣютъ на то достаточнаго, то-есть наслѣдственнаго права. Бѣднымъ дѣвушкамъ остается только увядать и медленно разлагаться въ безнадежномъ одиночествѣ.

Мы знакомимся съ Люси Бертень именно въ то время, когда извѣстіе о предстоящемъ бракѣ ея кузины, Орели Бурдонъ, заставляетъ ее, Люси, оглянуться на самое себя и задуматься надъ тѣмъ, что ожидаетъ ее въ будущемъ. Орели моложе Люси на два года и однако уже успѣла отказать столькимъ женихамъ, что пер-

вая сплетница въ околоткѣ, ходячая лѣтопись всѣхъ деревенскихъ событій, мадемуазель Бокъ отказывается ихъ пересчитать. Сестра Люси, Кларисса, напротивъ того, дожила до двадцатишести лѣтъ, «не слыхавши отъ роду ни слова любви, не видя и тѣни жениха у смиреннаго порога родителей». Самой Люси уже двадцать лѣтъ; она миловидна, граціозна, очень умна, очень добра, отлично ведетъ хозяйство въ домѣ родителей, посвящена во всѣ тайны женскаго рукодѣлья; словомъ, отличается всѣми достоинствами, которыя могутъ привлечь съ одной стороны пылкихъ юношей, съ другой стороны — солидныхъ и разсудительныхъ старыхъ холостяковъ, желающихъ имѣть въ женѣ пріятную и расторопную экономку, и однако-же нѣтъ жениховъ и нѣтъ ни малѣйшаго основанія думать, что они когда-либо явятся. Люси вглядывается въ свое положеніе, оцѣниваетъ его съ этой стороны, видитъ пустоту въ настоящемъ, понимаетъ, что та-же холодная и мрачная пустота ожидаетъ ее въ будущемъ — и, оставшись наединѣ съ своими мыслями, подъ вліяніемъ горя и ужаса, заливается слезами. Эти мысли, это горе, этотъ ужасъ и въ особенности эти слезы, слезы о томъ, что нѣтъ и не предвидится женіховъ,—способны навсегда погубить Люси Бертень въ глазахъ многихъ читательницъ, считающихъ себя развитыми дѣвушками или женщинами. Какой позоръ!—скажутъ развитыя читательницы.—Какое низкое малодушіе! Думать о женихахъ! Сокрушаться о томъ, что какіе нибудь дрянные люди, какіе-нибудь пошляки не вздыхаютъ у ея ногъ и не дѣлаютъ ей предложенія! Изъ-за отсутствія женіховъ не видѣть въ жизни ничего, кромѣ мрачной и холодной пустоты! А работа, общеполезная дѣятельность, жизнь мысли!

Я согласенъ съ развитыми читательницами насчетъ того, что когда человѣку не удалось найти себѣ въ жизни личнаго счастья, то-есть взаимной любви со всѣми радостями и страданіями, тогда ему надо во всякомъ случаѣ устроиться какъ-нибудь такъ, чтобы его существованіе было какъ можно менѣе обременительно для него самого, для близкихъ ему людей и для всего общества. Вмѣсто того, чтобы заниматься перетряхиваніемъ старыхъ воспоминаній, вмѣсто того, чтобы вздыхать и плакать надъ несбывшимися надеждами, надо пріискать себѣ полезныя занятія, которыя, доставляя человѣку честную самостоятельность, въ то-же время наполняли-бы его дни и часы, предохраняли-бы его отъ унынія, давали-бы здоровое упражненіе его умственнымъ силамъ и такимъ образомъ не позволяли-бы ему опуститься, отупѣть, измельчать и окислиться въ душной атмосферѣ хронической праздности, безплодной болтовни и завистливыхъ пересудовъ. Но, во-первыхъ, найти такія занятія не всегда и не вездѣ легко, въ особенности дѣвушкѣ; большая часть тѣхъ занятій, которыя кое-какъ поддерживаютъ жизнь работающихъ женщинъ, не требуетъ ни малѣйшаго напряженія умственныхъ способностей; оставаясь неприложенными къ дѣлу, эти способности понемногу вянутъ и извращаются; пока надъ ними совершается этотъ медленный процессъ разложенія, до тѣхъ поръ женщина томится, тоскуетъ и скучаетъ, а когда онъ приходитъ къ благополучному окончанію, тогда женщина превращается въ старую болтунью и злую сплетницу, поглощенную ничтожнѣйшими мелочами окружающей жизни. Во-вторыхъ, если даже полезныя занятія найдены, то человѣкъ все-таки можетъ сказать себѣ только, что онъ занятъ, что онъ не даромъ живетъ на свѣтѣ, что онъ никому не въ тягость, но онъ никакъ не можетъ назвать и признать себя счастливымъ человѣкомъ. Одна изъ самыхъ существенныхъ потребностей человѣка, потребность любить и быть любимымъ, все-таки останется навсегда неудовлетворенной, и если только человѣкъ захочетъ и рѣшится быть откровеннымъ съ самимъ собой, то онъ все-таки принужденъ будетъ сознаться, что его жизнь до нѣкоторой степени пуста и холодна, несмотря на всѣ высокія наслажденія, которыя доставляются ему успѣшнымъ ходомъ полезной работы. Онъ принужденъ будетъ подумать и почувствовать, что эту пустоту можно пожалуй замаскировать, но что уничтожить ее нельзя, потому что нѣтъ и никогда не будетъ такого суррогата, который замѣнилъ-бы вполнѣ отсутствующую любовь.

Представьте-же теперь, что человѣкъ, свѣжій, здоровый и только-что начинающій жить, смотритъ въ даль будущаго, на ту длинную вереницу лѣтъ, которую онъ по всей вѣроятности еще проживетъ на свѣтѣ. Смотритъ и видитъ, что это будущее отгорожено неразрушимой стѣной отъ всего, что въ его глазахъ составляетъ смыслъ, цѣль и красоту жизни; смотритъ и видитъ, что какъ-бы долго ни тянулось это будущее и какими-бы мелкими случайностями оно ни было испещрено, а все-таки стѣна остается стѣной, и холодная пустота жизни окажется роковымъ фактомъ, къ которому надо будетъ такъ или иначе привыкнуть и приноровиться. Вообразите себѣ, какой глубокій и леденящій ужасъ долженъ охватить человѣка, когда для него въ первый разъ сдѣлается до очевидности яснымъ, что его жизнь ни въ какомъ случаѣ не будетъ болѣе или менѣе удачной погоней за радостями и наслажденіями, за сильными, глубокими и плодотворными ощущеніями, а будетъ только медленнымъ и томительнымъ привыканіемъ къ неизбѣжному злу, къ неизлечимому, глухому страданію, которое исчезнетъ только съ послѣднимъ вздо-

хомъ, или съ послѣднимъ проблескомъ человѣческой сознательности и чувствительности. Конечно люди проживаютъ съ такими страданіями десятки лѣтъ и, оглядываясь назадъ на пройденное поприще, говорятъ себѣ и другимъ: однако, вотъ уже двадцать, или тридцать, или сорокъ лѣтъ прошло! Но смотрѣть на допитую чашу совсѣмъ не то, что имѣть передъ собою полную чашу и видѣть, какъ она велика, и чувствовать всю ея горечь, и знать, что къ ней надо будетъ прильнуть губами и пить, не отрываясь, до послѣдней капли. Чувствовать въ своей жизни пустоту и холодъ конечно тяжело и больно; но видѣть заранѣе, что пустота и холодъ неизбѣжны, и видѣть именно тогда, когда стремленіе къ свѣту и къ теплотѣ всего сильнѣе,—это еще гораздо тяжелѣе и больнѣе. Тутъ даже самому мужественному человѣку не стыдно было-бы заплакать отъ ужаса, отчаянія и безсильной злости.

Въ ту минуту, когда Люси смотритъ въ безотрадную даль своего будущаго, во всемъ, что ее окружаетъ, нѣтъ ничего такого, на что она могла-бы опереться, на чемъ она могла-бы отдохнуть душой, что могло-бы сколько-нибудь помирить ее съ жизнью. Ея семья состоитъ изъ жалкихъ людей, которые не умѣютъ ни выбиться изъ своей бѣдности какими-нибудь энергическими усиліями и ловко разсчитанными изворотами, ни нести свою бѣдность съ терпѣніемъ и съ достоинствомъ. Ея отецъ—безпечный и ограниченный лежебокъ; ея мать — старая мечтательница, навсегда попорченная смолоду чтеніемъ сантиментальныхъ романовъ; ея сестра — двадцати-шестилѣтняя дѣвушка, домучившая себя до чахотки постояннымъ пересчитываніемъ того, что есть у другихъ и чего нѣтъ и никогда не будетъ у нея; ея братъ — мелкій чиновникъ, усматривающій смыслъ жизни въ томъ, чтобы одѣться по модѣ, воткнуть въ галстухъ золотую булавку и при случаѣ съ скромной улыбкой хвастнуть подаркомъ, полученнымъ отъ любовницы. Люси умнѣе и крѣпче всѣхъ этихъ людей: она не можетъ ни любить, ни уважать ихъ; она стоитъ настолько выше ихъ, что ей даже въ голову не приходитъ дѣлиться съ ними своими впечатлѣніями и просить у нихъ совѣта и помощи въ трудныя минуты раздумья и горя. Всѣ они умѣютъ только плакаться на нищету, припоминая славу своихъ богатыхъ предковъ и утверждая, что жизнь обманула ихъ коварнѣйшимъ образомъ; всѣ они, относясь съ кровавой иронiей къ своему обѣду, къ похлебкѣ изъ луку и къ соусу изъ бобовъ, бросаютъ завистливые взгляды на чужіе достатки; всѣ они унижаются передъ богатыми родственниками, принимаютъ и выпрашиваютъ отъ нихъ подачку и потомъ потихоньку бранятъ ихъ за то, что они дали слишкомъ мало и обнаружили недостатокъ сочувствія къ трагическому положенію людей, родившихся для лучшей доли и одаренныхъ отъ природы возвышенными стремленіями.

У Люси не только нѣтъ надежды наполнить жизнь взаимной любовью, но нѣтъ и друга, съ которымъ можно-было-бы общими силами обсуживать и разрѣшать представляющіеся житейскіе вопросы. У нея нѣтъ также и яснаго понятія о томъ, какимъ разумнымъ содержаніемъ можно наполнить неудавшуюся жизнь. У нея есть только самородное влеченіе ко всему разумному и честному, истинному и неподдѣльно-доброму, ко всему, въ чемъ выражается сила и красота неиспорченной человѣческой природы. У нея есть также свойственная умнымъ людямъ способность отличать истину отъ лжи и оцѣнивать чуткимъ ухомъ всѣ фальшивыя ноты и воющіе диссонансы, внесенные въ междучеловѣческія отношенія узкими и мелкими разсчетами практическаго благоразумія. Судя по самой себѣ, она увѣрена, что есть на свѣтѣ люди, которыхъ наравнѣ съ нею тяготятъ ложь и мелочность господствующихъ условій, и которые вмѣстѣ съ ней не хотятъ и не могутъ размѣнивать на франки и на сантимы свой умъ, свою совѣсть и свою энергію. Она понимаетъ, что первый изъ такихъ людей, съ которымъ она сойдется, овладѣетъ всѣми ея помыслами, что, найдя въ немъ вѣрный и полный откликъ на всѣ оттѣнки своихъ стремленій, она отдастъ ему всю свою душу, и что въ этомъ безраздѣльномъ отдаваніи своей души она перечувствуетъ всю полноту земного блаженства. Она понимаетъ, что быть счастливой—значитъ полюбить такого человѣка и привлечь къ себѣ его любовь; она понимаетъ, что никакого другого счастья не бываетъ и не можетъ быть на свѣтѣ,—и она желаетъ и требуетъ этого счастья и не боится и не стыдится признаваться себѣ въ этомъ желаніи; она говоритъ себѣ: я хочу любить, какъ сказала-бы себѣ: я хочу ѣсть или пить, если-бы была голодна или чувствовала жажду. Видя, что любить некого, что никто къ ней не подходитъ, что не изъ чего выбирать, что некого сравнивать съ неяснымъ идеаломъ и отвергать во имя этого идеала, что и будущее не обѣщаетъ ничего похожаго на счастливую или даже несчастную любовь,—она страдаетъ и плачетъ и нисколько не утаиваетъ отъ самой себя настоящей причины своего горя и своихъ слезъ. «Такъ я никогда не выйду замужъ!» думаетъ она совершенно откровенно. «Что-же я буду дѣлать съ собой?» Такой откровенностью, такой способностью и рѣшимостью называть свои ощущенія ихъ настоящими именами и спокойно пронизывать ихъ взглядомъ до самаго дна обладаютъ немногіе люди, особенно немногія женщины. И кто обладаетъ этими свойствами, того смѣло можно назвать умнымъ и сильнымъ человѣкомъ.

Именно то обстоятельство, что Люси плачетъ

объ отсутствіи женниховъ и вполнѣ понимаетъ сама причину своихъ слезъ, именно это обстоятельство и ставитъ ее неизмѣримо выше тѣхъ развитыхъ читательницъ, которыя осуждаютъ ее за ея неприличныя размышленія и малодушное уныніе.

Первая встрѣча Люси съ Мишелемъ, старымъ товарищемъ ея дѣтскихъ игръ, происходитъ именно тогда, когда, наплакавшись досыта, чувствуя себя очень одинокою и невольно жалѣя о невозвратимыхъ годахъ веселой беззаботности, она въ высшей степени способна оцѣнить и принять съ глубокой признательностью всякое выраженіе добраго дружескаго участія. Мишель и Люси обмѣниваются нѣсколькими незначительными фразами, изъ которыхъ мы однако узнаемъ, что Мишель всегда былъ другомъ и покровителемъ Люси, и что онъ всегда обнаруживалъ къ ней самое очевидное пристрастіе. Онъ часто думаетъ о прошедшемъ; онъ находитъ, что это было славное время; онъ радъ тому, что и Люси вспоминаетъ прошлое, и, увлекаясь воспоминаніями, онъ обнаруживаетъ такое воодушевленіе, вслѣдствіе котораго рѣчь его становится даже немного безсвязной. «А вы, мадемуазель Люси, говоритъ онъ, вы были такъ добры и милы, что... лишь бы только быть съ вами вмѣстѣ... около васъ... и всякій доволенъ... и ничего больше не надо». Затѣмъ онъ вдругъ замѣчаетъ съ испугомъ, что Люси безъ сабо и рискуетъ промочить себѣ ноги. Онъ бѣжитъ опрометью за ея сабо, надѣваетъ ей ихъ на ноги, и тѣмъ кончается первое свиданіе. Люси приходитъ домой и видитъ, что безъ нея царствуетъ общій хаосъ, и что никто не умѣетъ ни приготовить ужинъ, ни успокоить больную Клариссу.

Она приводитъ все въ порядокъ и чувствуетъ при этомъ, хотя и не останавливается на этомъ впечатлѣніи, что ея домашніе какіе-то жалкіе недоросли, о которыхъ постоянно надо заботиться и отъ которыхъ невозможно ожидать никакой сильной поддержки и дѣятельной помощи. Уже въ то время, когда Мишель бѣгалъ за сабо, Люси подумала: «онъ всегда добръ. Никогда Гюставъ (ея братъ), никогда никто не былъ ко мнѣ такъ внимателенъ, какъ этотъ бѣдный Мишель». Сцена домашней безтолковости и безпомощности не заставляетъ Люси проводить какія-нибудь параллели между тѣмъ человѣкомъ, который внимателенъ къ ней, и тѣми людьми, къ которымъ она должна быть внимательна, но эта сцена составляетъ густую тѣнь, положенную рядомъ со свѣтлой полоской. Какъ-бы ни былъ человѣкъ далекъ отъ мысли и желанія производить сравненія, невыгодныя для темнаго пятна, какъ-бы ни былъ онъ проникнутъ тѣмъ сознаніемъ, что онъ связанъ съ этимъ пятномъ священнѣйшими узами и обязанъ относиться кротко и даже любовно къ его мрачному колориту, а все-таки отъ своего сосѣдства съ темнымъ пятномъ свѣтлая полоска становится замѣтнѣе и производитъ болѣе сильное и прочное впечатлѣніе на нервную систему воспріимчиваго наблюдателя.

IV.

Люси уже знаетъ, что Мишель къ ней добръ и внимателенъ, что въ немъ сохранилось живое и пріятное воспоминаніе о дѣтскихъ играхъ, что онъ съ радостью готовъ оказать ей услугу, но она еще совсѣмъ не знаетъ, что̀ за человѣкъ этотъ Мишель, и она даже не можетъ себѣ представить, чтобы изученіе этой личности могло сдѣлаться для нея сколько-нибудь интереснымъ. Ея отношенія къ Мишелю измѣняются медленно, шагъ за шагомъ; ея чувство возникаетъ и растетъ на глазахъ у читателя. Авторъ соблюдаетъ здѣсь полнѣйшую постепенность и неподражаемую естественность переходовъ; тѣ мелкіе случаи вседневной жизни, въ которыхъ Мишель совершенно невольно и печаянно обнаруживаетъ различныя стороны своего ума и характера, подобраны и сгруппированы такъ искусно, что самый строгій и недовѣрчивый читатель не замѣтитъ ни малѣйшей натяжки ни въ поведеніи Мишеля, ни въ томъ впечатлѣніи, которое его слова и поступки производятъ на Люси.

Изъ разговора Бертеня съ Каде Мурильономъ Люси узнаетъ случайно, что въ Мишеля влюбилась дочь очень богатаго крестьянина Мартена, за которую сватались безуспѣшно многіе мѣщане и даже «господчики изъ Пуатье», что ея отецъ былъ согласенъ выдать ее за Мишеля, что она сама призналась Мишелю въ любви, что Мишель рѣшительно не захотѣлъ на ней жениться, ушелъ отъ ея отца, у котораго жилъ въ работникахъ, и теперь никому не позволяетъ при себѣ говорить и шутить по поводу всей этой исторіи. Разговоръ между Каде и Бертенемъ заканчивается тѣмъ, что Бертень называетъ Мишеля великимъ чудакомъ. Это восклицаніе не возбуждаетъ въ Люси ни удивленія, ни негодованія: она не ожидала ничего другого; она привыкла видѣть въ окружающихъ людяхъ грубое непониманіе того, чѣмъ она восхищалась въ книгахъ и чего до сихъ поръ напрасно искала въ жизни; она привыкла невольно и инстинктивно причислять свою семью къ этимъ окружающимъ людямъ, не вглядываясь и не вдумываясь въ горькій и обидный смыслъ этого причисленія; она пропускаетъ мимо ушей восклицаніе отца и сосредоточиваетъ все свое вниманіе на томъ совершенно новомъ и ярко-отрадномъ для нея фактѣ, что есть люди, непохожіе на окружающихъ, и что такіе люди могутъ встрѣчаться въ ея родной деревнѣ, въ низшихъ и грубѣйшихъ слояхъ общества, среди ея давнишнихъ знакомыхъ. Мишель сразу ста-

повится для нея интересной загадкой,—такой загадкой, разрѣшеніе которой можетъ измѣнить самымъ существеннымъ образомъ всѣ ея взгляды на жизнь, составившіеся въ значительной степени подъ вліяніемъ узкихъ сословныхъ предубѣжденій. Она заговариваетъ съ Мишелемъ уже не такъ, какъ говорила прежде; по выраженію автора, она точно робѣетъ передъ нимъ. Видя, что садъ Бертеней не вскопанъ и не засѣянъ, Мишель предлагаетъ Люси придти работать въ воскресенье утромъ, и Люси говоритъ: «хорошо». Ей приходитъ въ голову упомянуть о платѣ, но она боится оскорбить Мишеля и не смѣетъ ничего сказать о денежныхъ условіяхъ. Она разспрашиваетъ Мишеля о его занятіяхъ и наклонностяхъ; она узнаетъ, что онъ любитъ читать, что онъ тяготится своимъ невѣжествомъ, что его тревожатъ вопросы, на которые онъ не находитъ отвѣтовъ, что онъ со всей искренностью человѣка, нисколько неиспорченнаго дрессировкой, чувствуетъ и цѣнитъ красоту и свѣжесть сельской природы, что онъ плакалъ, какъ ребенокъ, надъ романомъ «Paul et Virginie» и даже довелъ свою мать до необходимости спрятать отъ него эту книгу, чтобы онъ не обезумѣлъ надъ ней.

Разговаривая съ Мишелемъ о разныхъ постороннихъ предметахъ, Люси замѣчаетъ, что онъ умѣетъ думать собственнымъ умомъ. Такъ напримѣръ, она спрашиваетъ у него, считаетъ-ли онъ за колдуна крестьянина Мартена изъ Шато-Вернье, которому во всемъ околоткѣ приписывались сверхъестественныя знанія и силы.— «Нѣтъ, мамзель Люси, отвѣчаетъ Мишель. Я въ томъ присягу готовъ принять: не колдунъ. Видите, я къ нему долго присматривался, какъ жилъ у него. Это насчетъ дождя или погоды, насчетъ града, либо мороза есть знатоки не хуже его, а все не колдуны. И что у него дѣлается, когда его дома нѣтъ, этого онъ тоже не знаетъ, все равно какъ и другіе. А онъ только смышленый человѣкъ и знаетъ людей, и отгадываетъ этакъ иной разъ, чего ему не говорили».

Люси немного озадачена тѣмъ, что Мишель такъ медленно и осмотрительно рѣшаетъ вопросъ о томъ, колдунъ или не колдунъ Мартенъ изъ Шато-Вернье. Ей странно то, что Мишель считаетъ нелишнимъ подыскивать доказательства въ пользу своего мнѣнія. Она привыкла разговаривать съ мѣщанами или съ «господчиками изъ Пуатье», вообще съ людьми, у которыхъ всякіе вопросы рѣшаются во мгновеніе ока, съ легкостью изумительной, такъ, какъ будто-бы они, въ качествѣ образованныхъ смертныхъ, уже давно были избавлены отъ скучной необходимости думать, и какъ будто-бы эта черная работа, вмѣстѣ съ работами шитья, тканья и съ разными другими техническими процессами, была давно сложена на какія-нибудь паровыя машины особенно замысловатаго устройства. Если-бы Люси разговаривала не съ Мишелемъ, а съ «господчикомъ изъ Пуатье», то, во-первыхъ, она врядъ-ли рѣшилась-бы сдѣлать ему вопросъ о колдунѣ; она побоялась-бы, что господчикъ приметъ этотъ вопросъ за оскорбленіе; во-вторыхъ, если-бы этотъ вопросъ вырвался у Люси, то господчикъ отвѣчалъ-бы взрывомъ смѣха и вопросомъ: да развѣ-жъ бываютъ на свѣтѣ колдуны? Затѣмъ было-бы произнесено двѣ-три фразы о варварствѣ и суевѣріи,—фразы, нисколько не относящіяся къ разбираемому дѣлу, но бросающія самый пріятный и выгодный свѣтъ на либеральный образъ мыслей господчика и въ особенности на его умѣнье поддержать разговоръ. Невольно сравнивая мыслительные пріемы Мишеля съ ухватками такого господчика, Люси сначала находитъ первые немного тяжеловѣсными; ей хочется, чтобы онъ отъ разсмотрѣнія и оцѣнки отдѣльнаго факта перешелъ поскорѣе къ обобщеніямъ, и она торопитъ его своимъ вопросомъ: «Коли вы такой проницательный, Мишель, такъ вы, разумѣется, не вѣрите, что бываютъ колдуны?»

Но Мишелю еще неизвѣстны паровыя машины, избавляющія человѣка отъ необходимости думать собственнымъ мозгомъ; его умъ идетъ своей дорогой, работаетъ съ свойственной ему степенью скорости надъ наличнымъ матеріаломъ, состоящимъ изъ собраннаго запаса фактовъ и наблюденій, и останавливается тамъ, гдѣ оканчивается этотъ запасъ; остановившись по недостатку фактическихъ знаній, его умъ уже не поддается никакимъ постороннимъ подталкиваніямъ и подзадориваніямъ; тотъ ложный стыдъ, который на каждомъ шагу заставляетъ слабыхъ и ограниченныхъ людей произносить фразы, неимѣющія осязательнаго смысла ни для самого говорящаго, ни для его слушателей, не существуетъ для Мишеля. На вопросъ Люси онъ отвѣчаетъ съ величественной простотой и сдержанностью: «насчетъ тѣхъ, кого я не видалъ, мамзель Люси, я и разсуждать не могу».

Люси не сразу понимаетъ высокое достоинство этого отвѣта; она уже готова пожалѣть о суевѣріи бѣднаго мужика и о его неспособности возвыситься до той свободы духа, которой наслаждаются мѣщане и господчики; этой готовностью проникнуть ея вопросъ: «какъ, вы можете предположить, что есть люди, одаренные сверхъестественными силами?» Люси Вертень — католичка, вполнѣ вѣрующая, хотя нисколько не экзальтированная; если-бы она дала себѣ трудъ заглянуть въ то міросозерцаніе, которое для нея обязательно и которое она еще не замѣнила никакимъ другимъ, то она-бы увидала, что въ предположеніи о людяхъ, одаренныхъ сверхъестественными силами, нѣтъ ничего особенно необыкновеннаго и неслыханнаго.

Но Люси жила постоянно среди такихъ людей, которые получили всѣ свои понятія въ го-

товомъ видѣ, кое-что отъ патера, кое-что отъ школьнаго учителя, иное изъ благочестивой книжки, иное изъ либеральной газеты; если между этими разнородными лоскутьями мысли существовали непримиримыя противорѣчія, то ихъ никто не замѣчалъ, на нихъ никто не останавливался, надъ ними никто не задумывался, ими никто не смущался, ихъ никто не усиливался объяснить или уничтожить. Всякій хотѣлъ только быть одного мнѣнія со всѣми; всякій видѣлъ зло только въ томъ, чтобы отдѣлиться отъ другихъ; всякому было несравненно пріятнѣе ошибаться вмѣстѣ съ другими, чѣмъ обладать истиной въ одиночествѣ; быть глупѣе всѣхъ или быть умнѣе всѣхъ—это были два равносильныя несчастія, которыя трудно было отличить одно отъ другого даже при самомъ внимательномъ разсмотрѣніи; вѣрность, логичность, основательность мнѣнія—все это были качества, неимѣющія никакого серьезнаго значенія; оригинальность мысли была качествомъ, достойнымъ строгаго порицанія; самостоятельность въ понятіяхъ и въ сужденіяхъ могла быть только доказательствомъ и плачевнымъ результатомъ недостаточнаго, небрежнаго или превратнаго воспитанія.

Люси втеченіи двадцати лѣтъ подвергалась гнету этой умственной атмосферы; она не хотѣла и не имѣла основаній быть позоромъ и мученіемъ своихъ родителей; поэтому она принимала съ полной покорностью то, что ей говорили; она слышала, что колдуновъ нѣтъ и быть не можетъ, что въ колдуновъ способны вѣрить только безтолковые и необразованные люди, что ей, какъ благовоспитанной барышнѣ, вѣрить въ колдуновъ несвойственно, стыдно и смѣшно,—и вопросъ о колдунахъ оказался для нея порѣшеннымъ, и она привыкла относиться съ пожиманіемъ плечей и съ сострадательной улыбкой къ несчастнымъ людямъ, допускающимъ въ колдунахъ присутствіе сверхъестественныхъ силъ; привычка замѣнила ей доказательства; привычка помѣшала ей требовать доказательствъ; привычка создала для нея ту мѣрку, которую она прикидывала къ людямъ и посредствомъ которой она судила объ умѣ и образованности своихъ собесѣдниковъ; но привычка не успѣла усыпить ея природнаго ума и, прислушавшись къ сужденіямъ другого умнаго человѣка, размышляющаго совершенно независимо отъ какихъ-бы то ни было общеобязательныхъ взглядовъ и установившихся привычекъ, Люси почувствовала наконецъ силу и прелесть самостоятельнаго мышленія и вдругъ поняла, какое громадное разстояніе отдѣляетъ человѣка, дѣйствительно работающаго умомъ, отъ господчиковъ, повторяющихъ вычитанныя и затверженныя сужденія. «Ахъ, мамзель Люси, отвѣчаетъ Мишель:—столько есть вещей, которыхъ я не знаю; и кабы я захотѣлъ рѣшать, что вотъ это есть, а вотъ этого нѣтъ, вѣдь я вышелъ-бы большой дуракъ. Меня ужъ и то бѣситъ, и того съ меня довольно, что я невѣжда». Въ этой сдержанности сказывается большая и скромно-самоувѣренная сила. Тутъ виденъ человѣкъ, который не хочетъ и не умѣетъ шутить своими словами; что онъ скажетъ, въ томъ онъ увѣренъ, и что онъ сказалъ, то онъ положитъ и въ основаніе своихъ поступковъ; для него истина имѣетъ высокую цѣну; для него истина—то, что соотвѣтствуетъ требованіямъ его разума; во имя истины онъ не побоится отдѣлиться отъ толпы и пойти наперекоръ ея сужденіямъ; изъ уваженія къ истинѣ онъ не рѣшается брать напрокатъ чужія мысли и отвѣчать да или нѣтъ, когда вопросъ для него еще недостаточно разъясненъ; изъ уваженія къ истинѣ онъ честно и прямо сознается въ своемъ невѣжествѣ; онъ не хочетъ казаться образованнымъ человѣкомъ, потому что въ самомъ дѣлѣ дорожитъ образованіемъ, какъ средствомъ водворить порядокъ и чистоту въ своемъ внутреннемъ мірѣ, какъ средствомъ выпутаться изъ хаоса сомнѣній и неразрѣшенныхъ вопросовъ; онъ хочетъ быть, а не казаться; онъ хочетъ мыслить, а не произносить готовыя сентенціи; онъ чувствуетъ, что по всей вѣроятности на всю жизнь останется невѣжественнымъ поденщикомъ, но твердо увѣренъ, что онъ ни въ какомъ случаѣ не будетъ профанировать знаніе, легкомысленно обращаясь съ его результатами и украшая свою рѣчь непонятными и непродуманными афоризмами. Вглядѣвшись въ его скромныя и простыя слова, можно сказать навѣрное, что если этотъ человѣкъ когда-нибудь рѣшитъ для себя отрицательно вопросъ о колдунахъ, то за этимъ отрицательнымъ рѣшеніемъ послѣдуетъ длинный рядъ другихъ, также отрицательныхъ рѣшеній, и что вся эта продолжительная и глубоко захватывающая работа приведетъ за собой радикальную перестройку всего міросозерцанія, всѣхъ взглядовъ на природу и на человѣческую жизнь.

Люси не отдаетъ себѣ яснаго отчета въ томъ, какая именно сила таится въ простыхъ словахъ откровеннаго невѣжды, но она чувствуетъ эту силу, чувствуетъ что-то такое, чего она до той минуты не знала, чего не бывало никогда въ легкомысленныхъ рѣчахъ тѣхъ людей, съ которыми ей случалось разговаривать о серьезныхъ матеріяхъ. Авторъ говоритъ просто, что ей «поправились откровенность и простодушіе этого молодого человѣка». Мнѣ кажется, что эти слова слишкомъ слабо и неполно выражаютъ произведенное впечатлѣніе. Это впечатлѣніе было такъ глубоко, что оно заставило Люси оглянуться на самое себя, замѣтить шаткость и недостаточность собственныхъ знаній, поспѣшность и опрометчивость собственныхъ сужденій, замѣтить то бездѣйствіе, на которое былъ осужденъ ея умъ, и отнестись недовѣр-

чиво и неодобрительно къ той средѣ, въ которой всѣ сплошь знали такъ-же мало, судили такъ-же опрометчиво, никогда ни о чемъ не размышляли и никогда не сомнѣвались въ непогрѣшимости своихъ умовъ.

Ея мысли, пробужденныя и направленныя словами Мишеля, быстро приводятъ ее къ заключеніямъ, очень нелестнымъ для мѣщанъ и для такъ называемыхъ образованныхъ людей: «Увѣряю васъ, Мишель, говоритъ она, спустя нѣсколько минутъ послѣ разговора о колдунахъ: — мѣщане отъ крестьянъ отличаются больше словами, чѣмъ мыслями. А насчетъ мыслей крестьяне пожалуй еще лучше. Они по крайней мѣрѣ знаютъ, что не учились, отъ этого они какъ-то проще и добросовѣстнѣе»... «Вы вотъ думаете, говоритъ она далѣе,—они очень умны, а съ ними рѣдко приходится вести занимательные разговоры. У моего дяди Бурдона, напримѣръ, почти никогда не говорятъ о серьезныхъ вещахъ, а когда и заговорятъ, такъ выходитъ, какъ-будто смѣяться хотятъ».

Люси не была удовлетворена тѣмъ обществомъ, въ которомъ она жила; ей было скучно, она чувствовала пустоту; но дѣло такъ и останавливалось для нея на этомъ смутномъ недовольствѣ, котораго настоящія причины были ей самой недостаточно понятны; чтобы приступить къ сознательной оцѣнкѣ и строгой критикѣ этого пустого общества, ей необходима была точка опоры, и такой точкой сдѣлался для нея разговоръ съ Мишелемъ; она сначала готова была осудить его за суевѣріе и за умственную робость; потомъ непосредственное чувство ея здороваго ума сказало ей, что Мишель правъ; она возмутилась противъ своего перваго движенія; она увидѣла и поняла, откуда шло это первое движеніе; мысль ея отнеслась съ сознательной враждебностью къ самодовольному тупоумію окружающаго общества, и она въ первый разъ высказала отчетливо и громко свое мнѣніе о тѣхъ людяхъ, которыхъ Мишель, въ простотѣ своей честной души и своего большого ума, считалъ счастливыми обладателями истины.

V.

Люси вглядывается въ Мишеля съ возрастающимъ вниманіемъ; она сильно заинтересована этой личностью; она, по выраженію автора, «наклоняется надъ этой душой, стараясь заглянуть въ нее до самой глубины». Но любознательность ея совершенно безкорыстна и очень спокойна; она еще не можетъ себѣ представить, чтобы это изученіе могло обнаружить какое-бы то ни было вліяніе на ея участь; ей не приходитъ въ голову смотрѣть на Мишеля, какъ на молодого человѣка, котораго она могла-бы полюбить и которымъ она могла-бы увлечься; она смѣло отдается мыслямъ о немъ, будучи вполнѣ увѣрена въ совершенной безвредности и безопасности этихъ мыслей; она проводитъ параллели между Мишелемъ и Каде, потомъ между Мишелемъ и Эмилемъ Бурдономъ такъ же беззаботно и беззастѣнчиво, какъ она могла-бы, напримѣръ, сравнивать между собой два портрета или два характера, взятые изъ прочитанныхъ романовъ. Она отдаетъ Мишелю предпочтеніе сначала передъ Каде, потомъ передъ Эмилемъ; она рада тому, что знаетъ въ Мишелѣ умнаго, сильнаго и честнаго человѣка, но рада все-таки совершенно безкорыстно, рада потому, что знакомство съ такимъ человѣкомъ даетъ ей вообще лучшее понятіе о жизни и о людяхъ. Она желаетъ Мишелю счастья, она чувствуетъ къ нему уваженіе и дружеское расположеніе, она строитъ для него мысленно планы семейной жизни съ одной молодой крестьянкой, съ своей пріятельницей Женъ; Мишель уже говорилъ ей, что онъ хочетъ жениться только на такой дѣвушкѣ, которую онъ могъ-бы любить «такъ сильно, о, такъ, такъ сильно», и она ему тутъ-же сказала, что ему-бы годилась Женъ; припоминая эти слова Мишеля и тонъ голоса, которымъ они были произнесены, Люси воображаетъ себѣ, какъ онъ будетъ смотрѣть на ту женщину, которую онъ будетъ любить *такъ, такъ сильно*. Тутъ ей приходится вздохнуть и пожалѣть о томъ, что на нее, бѣдную дѣвушку мѣщанскаго сословія, никто никогда не будетъ смотрѣть такими глазами.

Но ея мысли такъ далеки отъ возможности эгоистическихъ видовъ на Мишеля, что ни этотъ вздохъ, ни это сожалѣніе не останавливаютъ на себѣ ея вниманія и не предостерегаютъ ея противъ приближающейся опасности. Она принимаетъ этотъ вздохъ и это сожалѣніе за простой результатъ такихъ мыслей, которыя напоминаютъ ей ея горькое одиночество; не желая грустить, она даетъ своимъ мыслямъ другой оборотъ и продолжаетъ думать о Мишелѣ, разыгрывая на эту основную тему другія варіаціи.

Она замѣчаетъ неровности и странности въ поведеніи Мишеля: говоря съ ней, онъ часто бываетъ взволнованъ; когда онъ подаетъ ей руку, рука эта горяча и дрожитъ; когда онъ смотритъ на нее, его глаза блестятъ такъ сильно, что она не выдерживаетъ его взгляда и чувствуетъ себя неловко. Все это не ускользаетъ отъ вниманія Люси, разсматривающей Мишеля, какъ интересное произведеніе природы, но Люси твердо увѣрена, что между ней и Мишелемъ лежитъ непроходимая бездна, и эта увѣренность такъ сильна, и бездна кажется до того непроходимой, что настоящая причина замѣчаемыхъ ею странностей и неровностей рѣшительно не приходитъ ей въ голову. Въ первый разъ мысль о томъ, что Мишель ее любитъ, приходитъ ей на умъ тогда, когда Мишель пред-

лагаетъ ей для праздничной обѣдни вербу, изукрашенную самымъ изящнымъ образомъ всѣми весенними цвѣтами. Чувство мѣщанской гордости возмущается въ ней противъ этой мысли. «Неужели, думаетъ она, я подвергаюсь опасности одерживать такія побѣды? О, это ужъ черезчуръ обидно». Затѣмъ здравый смыслъ и природная доброта одерживаютъ побѣду надъ сословной чопорностью; Люси соображаетъ, что человѣкъ неволенъ въ томъ, чтобы любить или не любить; она припоминаетъ, что Мишель ничего не смѣлъ говорить ей о своемъ чувствѣ и что, слѣдовательно, на него не за что гнѣваться, если даже онъ осмѣливается любить ее, что впрочемъ еще далеко не доказано; наконецъ она успокаивается на тѣхъ соображеніяхъ, что, во-первыхъ, привязанность честнаго человѣка не можетъ быть оскорбительной и что, во-вторыхъ, Мишель быть можетъ просто чувствуетъ къ ней дружеское расположеніе и выражаетъ его, какъ умѣетъ, со всѣмъ простодушіемъ деревенскаго парня, неподозрѣвающаго возможности какихъ-бы то ни было лукавыхъ истолкованій.

Въ самый день Пасхи работа въ саду окончена, и Люси съ нѣкоторымъ замираніемъ сердца заводитъ рѣчь о платѣ. Поднимается буря. Мишель приходитъ въ волненіе, слезы дрожатъ въ его голосѣ и катятся по его щекамъ; онъ говоритъ, что на эту работу клалъ всю свою душу, что это не поденщина, что онъ отдыхалъ за этой работой, что онъ былъ глупъ, что онъ виноватъ, что онъ мечталъ о возможности чего-то похожаго на дружбу. Этотъ потокъ искренняго и кипучаго чувства застаетъ Люси врасплохъ и сбиваетъ ее съ несвойственной ей позиціи безукоризненно-приличной и благовоспитанной барышни. Люси теряется. Люси, умная и добрая дѣвушка, видитъ, что хорошій человѣкъ страдаетъ и что надо прекратить его страданія, что надо приласкать и успокоить его, что всѣ соображенія, способныя тянуть ея волю въ противоположную сторону, въ сущности такая мелочь и такая дрянь, на которой не стоитъ и даже невозможно серьезно останавливаться. Она протягиваетъ Мишелю руку и говоритъ ему, что ни въ чемъ онъ не виноватъ и что онъ вполнѣ достоинъ быть ея другомъ. Мишель не рѣшается прикоснуться къ ея рукѣ своей жесткой и запачканной рукой. Люси тогда съ законной гордостью работницы напоминаетъ Мишелю, что ея руки не избалованы бездѣйствіемъ. «Ужъ вы думаете, говоритъ она, я этими ручками ничего и не работаю? Эта рука, Мишель, совсѣмъ не барышня. Она сегодня съ утра тоже много дѣла сдѣлала». И тутъ она снова протянула руку. Мишель схватилъ эту руку съ восторгомъ, бросился на колѣни, и глаза его загорѣлись такимъ огнемъ, отъ котораго на одну минуту дрогнуло сердце молодой дѣвушки. «О, вы святая, вы... вы..» Онъ замолчалъ. Но всѣ черты его лица и вся его поза выражали такое обожаніе, что Люси, растерявшись, вырвала у него руку, стараясь улыбнуться, и пробормотала: «О, Мишель, вы съ ума сходите!».

Люси взволнована этой сценой; она не знаетъ, какъ понять ее, и она не хочетъ понимать ее въ ея настоящемъ смыслѣ. Ей удается увѣрить себя въ томъ, что со стороны Мишеля тутъ не было любви: ей удается успокоить себя тѣмъ объясненіемъ, что у Мишеля странный характеръ, расположенный къ восторженности. Это объясненіе, при всей своей неудовлетворительности, даетъ ей возможность оставаться съ Мишелемъ въ прежнихъ добрыхъ отношеніяхъ, и она очень рада тому, что эти отношенія могутъ оставаться ненарушенными. Гордость и чопорность благовоспитанной барышни легли очень тонкимъ слоемъ на самую поверхность ея существа. Этотъ тонкій слой не приросъ къ ней наглухо; ее можно сравнить съ человѣкомъ, нарядившимся въ новое платье, которое мѣшаетъ ему свободно двигаться, тѣснитъ ему грудь, рѣжетъ подъ мышками и въ то-же время не доставляетъ ни выгодъ, ни удовольствій. Люси знаетъ, что если она въ своемъ новомъ платьѣ начнетъ валяться по травѣ или пустится бѣжать по пыльной дорогѣ, то платье запылится или запачкается, и всѣ это замѣтятъ, и всѣ станутъ на нее показывать пальцами, и всѣ закричатъ вокругъ нея: «вотъ какая негодная дѣвушка! вотъ какая безстыдница! Смотрите, на что она похожа! Полюбуйтесь, какъ она отдѣлала свое новое платье!» Съ другой стороны, Люси знаетъ и то, что если она постоянно будетъ гулять по выметеннымъ садовымъ дорожкамъ, медленно и чинно переступая съ ноги на ногу, и если на платьице ея не сядетъ ни одной пылинки, то окружающіе ее люди все-таки не придутъ отъ нея въ восторгъ и не станутъ пѣть ей хвалебные гимны, а только будутъ объ ней молчать, стараясь при этомъ во что-бы то ни стало замѣтить на ея костюмѣ какое нибудь пятнышко и дополнить воображеніемъ то, чего нельзя сдѣлать терпѣливымъ изслѣдованіемъ и искуснымъ толкованіемъ дѣйствительныхъ фактовъ. Далѣе она чувствуетъ, что если-бы даже окружающіе люди отдали полную справедливость ея заслугамъ по части сохраненія платья, если-бы они стали превозносить ее, какъ невиданный образецъ благонравія и аккуратности, то и тогда она не была-бы счастлива, и жизнь ея не могла-бы наполниться признательнымъ и благосклоннымъ выслушиваніемъ похвалъ, которыя воспѣвались-бы ей хоромъ, составленнымъ изъ глупой сплетницы Бокъ, грязнаго барышника Горена, приличнаго негодяя Гавеля, переметной сумы Бурдона и нѣсколькихъ дюжинъ другихъ особъ, очень ограниченныхъ и въ достаточной степени безсовѣстныхъ.

Въ результатѣ получается такимъ образомъ тотъ фактъ, что платье дастъ нашей героинѣ много заботъ, грозитъ ей многими огорченіями и за это не предоставляетъ ей никакихъ преимуществъ. Санъ барышни налагаетъ на нее обязанность смотрѣть на мужика, какъ на существо низшей породы, отдѣленное отъ нея непроходимой бездной; она, какъ барышня, всегда должна чувствовать къ мужику нѣкоторое презрѣніе, всегда должна держать его на почтительномъ отдаленіи, всегда должна избѣгать съ нимъ всякой дружеской короткости; она можетъ и даже должна обращаться съ нимъ вѣжливо, кротко, милостиво и даже, пожалуй, ласково; но въ ея обращеніи всегда должно чувствоваться, и она сама должна ощущать въ душѣ своей, что хотя она, по великодушію своему, охотно прощаетъ ему вину его низкаго происхожденія и не желаетъ колоть ему глаза его убожествомъ, но забыть его замаранность не въ состояніи; кромѣ того вся ея снисходительность къ мужику и къ его худородію позволительна только до той минуты, пока мужикъ самъ знаетъ свое мѣсто и твердо помнитъ, что онъ, несмотря ни на какія декларацiи правъ человѣка и гражданина, не можетъ и не долженъ разсчитывать со стороны господъ ни на что, кромѣ благосклонной и незаслуженной терпимости.

Чуть только мужикъ возмнитъ себя полноправнымъ человѣкомъ, чуть только въ немъ шевельнется чувство, что ничто человѣческое ему не чуждо, что не чужда ему даже способность увлекаться физическимъ, умственнымъ и нравственнымъ изяществомъ барышни, относящейся къ нему кротко и милостиво,—тотчасъ эта барышня, оставаясь кроткимъ ангеломъ, должна взмахнуть крылами и утонуть въ волнахъ того эѳира, въ который за ней могутъ слѣдовать только барышникъ Горенъ, негодяй Гавель и другіе, равносильные имъ ангелы. Люси знаетъ, что все это она, въ качествѣ барышни, должна дѣлать, и что малѣйшее упущеніе съ ея стороны навлечетъ на нее множество непріятностей; она даже и сама, по привычкѣ быть барышней и нести на себѣ обязанности своего званія, готова и способна упрекать себя за такія упущенія, какъ за неуваженіе собственнаго достоинства; но той же привычкѣ она можетъ почувствовать себя оскорбленной, если какой-нибудь простолюдинъ отнесется къ ней теплѣе и искреннѣе, чѣмъ простолюдины относятся обыкновенно къ барышнямъ; но у нея нѣтъ личной живой наклонности къ отправленію обязанностей, связанныхъ съ ея саномъ; ей самой возможность смотрѣть на мужика сверху внизъ и считать себя существомъ высшаго разбора не доставляетъ удовольствія; жизнь, наполненная заботами о поддержаніи мѣщанскаго достоинства, кажется ей пустой, холодной и тяжелой жизнью; она еще не смѣетъ сбросить съ себя эти заботы, но онѣ тяготятъ ее, и она вовсе не прочь была-бы какъ-нибудь обойти ихъ; въ разговорѣ, вызванномъ хозяйственными затрудненіями, она высказываетъ матери свои мысли о томъ, что имъ слѣдовало-бы вести дѣла такъ, какъ ихъ ведутъ сосѣди ихъ, крестьяне; а когда мать напоминаетъ ей, что они не крестьяне и что имъ надо поддерживать свой санъ, то Люси говоритъ: «къ чему-же, мама, если вмѣсто выгодъ этотъ санъ ничего намъ не доставляетъ, кромѣ лишеній и горя?» И далѣе она находитъ очень страннымъ, что вещь, признанная честной и хорошей, не можетъ дѣлаться потому только, что *непринято*! изъ опасенія что скажутъ! Въ дѣлѣ Мишеля сословныя обязанности Люси приходятъ въ рѣзкое столкновеніе съ ея человѣческими чувствами и стремленіями; обязанности прямо приказываютъ ей прогнать Мишеля тотчасъ послѣ того, какъ онъ осмѣлился броситься передъ ней на колѣни; но она уважаетъ этого человѣка, она чувствуетъ къ нему дружескую симпатію и сознается себѣ въ ней; она находитъ себѣ отраду въ его обществѣ и въ разговорахъ съ нимъ; ей пріятно даже то сильное чувство, которое она ему внушаетъ,—и она устраиваетъ компромиссъ между обязанностями, которыхъ она не смѣетъ прямо нарушить, и личными наклонностями, съ которыми ей тяжело и больно было-бы разстаться. Вполнѣ признавая существованіе непроходимой бездны между барышней и мужикомъ, вполнѣ признавая невозможность, безсмысленность и возмутительное безобразіе любви между лицами, отдѣленными другъ отъ друга такой бездной, Люси именно эти догматы мѣщанской морали превращаетъ въ аргументы, выгодные для ея личныхъ наклонностей. Любовь, думаетъ она, была-бы безсмысленна и безобразна, стало быть она и невозможна, стало быть ея и нѣтъ, и Мишель бросился на колѣни потому, что у него странный характеръ, и его не за что обижать нелѣпыми подозрѣніями, и незачѣмъ отнимать у него дружбу, которой онъ дорожитъ. Мѣщанская теорія такимъ образомъ, до поры до времени, остается нетронутой, но поступки ей не подчиняются, и Люси старается только устроить такъ, чтобы они ей не слишкомъ явно противорѣчили, или, вѣрнѣе, она старается увѣрить себя въ томъ, что они ей не противорѣчатъ.

Чѣмъ умнѣе человѣкъ, тѣмъ труднѣе ему обмануть себя. Чѣмъ онъ прямодушнѣе и энергичнѣе, тѣмъ тягостнѣе для него разладъ между убѣжденіями и поступками. При свойствахъ своего ума и характера, Люси не могла остаться въ томъ положеніи, въ которое ее поставила сцена съ Мишелемъ; она должна была скоро замѣтить, что разладъ существуетъ; за-

тѣмъ въ ней должна была родиться потребность и рѣшимость устранить этотъ разладъ такъ или иначе, то-есть произвести пересмотръ поступковъ и убѣжденій и переработать въ тѣхъ или въ другихъ то, что окажется несостоятельнымъ передъ судомъ разума.

VI.

Въ романѣ Лео мелкія событія быстро слѣдуютъ одно за другимъ, и каждое изъ нихъ подвигаетъ романъ къ развязкѣ, производя замѣтную, хотя и очень небольшую перемѣну во взаимныхъ отношеніяхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Колѣнопреклоненіе Мишеля совершилось въ свѣтлое воскресенье утромъ; въ тотъ же день, послѣ обѣда, Люси видитъ, какъ онъ умѣетъ стоять за себя, отражать наносимыя ему обиды и защищать тѣхъ людей, которые ему довѣряются; на глазахъ у Люси происходитъ схватка между Мишелемъ и барышникомъ Гореномъ; послѣдній, полагаясь на то, что онъ— баринъ, дѣлаетъ грубое нападеніе; Мишель поступаетъ съ нимъ такъ круто, какъ поступилъ-бы съ первымъ встрѣчнымъ мужикомъ, не останавливаясь даже и передъ тѣмъ, что Горенъ, въ качествѣ знакомаго, находится въ обществѣ Люси. На другой день утромъ Люси хочетъ дѣлать Мишелю выговоры за его рѣзкій поступокъ съ Гореномъ, но она поставлена въ необходимость признаться, что поступить иначе было невозможно, и что Мишель былъ правъ; въ это же утро Мишель говоритъ съ Люси о Гавелѣ, о его отношеніяхъ къ Лизѣ Мурильонъ и о томъ, что надо, во что-бы то ни стало, разстроить предположенный бракъ Орели Бурдонъ, потому что Гавель обманываетъ за-разъ двухъ женщинъ (Лизу и Орели) и бросаетъ своего ребенка. Здѣсь Мишель обнаруживаетъ такую силу негодованія, что Люси не можетъ сдержать порыва страстнаго уваженія къ нему и, тронутая до глубины души, вскрикиваетъ: «о, вы честный и справедливый человѣкъ, Мишель!» Затѣмъ она спрашиваетъ у Мишеля, что ей дѣлать, и исполняетъ буквально его совѣтъ, потому что уже чувствуетъ «потребность заслужить уваженіе этого чистаго и смѣлаго человѣка».

Въ тотъ-же день, вечеромъ, деревенскій мэръ, богатый крестьянинъ Перроно, даетъ балъ, на которомъ присутствуютъ, въ качествѣ приглашенныхъ гостей, Мишель и Люси. Здѣсь они въ первый разъ встрѣчаются при такихъ условіяхъ, при которыхъ между ними дѣлается возможнымъ нѣкоторое равенство; Мишель танцуетъ съ Люси, беретъ ее за руку при всѣхъ, разговариваетъ съ ней, и Люси замѣчаетъ, что его самородное изящество ни въ чемъ не измѣняетъ ему; онъ держитъ себя такъ прилично и въ то-же время такъ просто, что Люси находитъ невозможнымъ даже сравненіе между Мишелемъ и сыномъ мэра, несмотря на то, что послѣдній воспитывается въ коллегіи и одѣтъ по послѣдней модѣ. Люси такъ увлекается проведеніемъ подобныхъ параллелей, что наконецъ, опомнившись и замѣтивъ свое возрастающее пристрастіе къ Мишелю, говоритъ себѣ: «да я съ ума сошла!» и старается думать о чемъ-нибудь другомъ. Мишель, стоя неподвижно въ углу залы, долго смотрѣлъ на нее, забывая о существованіи всего окружающаго, и въ его взглядѣ сказывались такая глубокая грусть и такое страстное обожаніе, что она наконецъ поняла все и почувствовала совершенную невозможность успокаивать себя долѣе неопредѣленными предположеніями о странности и восторженности. Она окончательно убѣдилась въ томъ, что Мишель ее любитъ, и что въ этой любви нѣтъ съ его стороны дерзости, потому что эта любовь свалилась на него нежданно-негаданно, какъ большое несчастіе, котораго человѣкъ не можетъ предвидѣть и отъ котораго ему невозможно уберечься. Она понимаетъ, что во взглядахъ Мишеля нѣтъ ни надежды, ни просьбы, ни желанія, что онъ просто созерцаетъ ее безъ цѣли, безъ мысли, безъ плановъ и мечтаній, созерцаетъ потому, что она здѣсь, передъ нимъ, и что для него нѣтъ въ жизни возможныхъ радостей, кромѣ этого обаятельно-мучительнаго созерцанія. Она понимаетъ, что жизнь Мишеля отравлена этой любовью, что онъ самъ это знаетъ, что онъ съ наслажденіемъ упивается этой отравой, что онъ боится, какъ-бы добрые люди не замѣтили его безумія и не отняли у него возможности отравляться долѣе, и что однако, несмотря на эту боязнь, онъ, находясь въ одной комнатѣ съ любимой дѣвушкой, забываетъ все—и добрыхъ людей, и самого себя, и всякую осторожность и погружается въ такое восторженное созерцаніе, которое должно броситься въ глаза всей присутствующей публикѣ.

Понимая все это, читая въ первый разъ въ глазахъ Мишеля ни съ чѣмъ несравнимую поэму любви, Люси зачитывается и перестаетъ чувствовать себя одинокой; она становится живѣе обыкновеннаго и, не ломая себѣ головы вопросомъ о проходимости или непроходимости бездны, забываетъ на нѣсколько минутъ о томъ, что у нея есть какой-то санъ, о поддержаніи котораго она обязана заботиться. Конечно она скоро опоминается и говоритъ себѣ: «да я съ ума сошла!», но отъ этихъ минутъ сумасшествія остается то опасное воспоминаніе, что онѣ были упоительны и что въ ея сухой и бѣдной мѣщанской жизни нѣтъ и не будетъ ничего такого, что могло-бы выдержать сравненіе съ этими предосудительными минутами. Остается преступное желаніе украсть у скупой судьбы еще двѣ-три такія минуты, и чѣмъ сильнѣе то убѣжденіе, что счастье жизни тутъ невозможно

и немыслимо, тѣмъ мучительнѣе и неотразимѣе оказывается это желаніе; видя передъ собой жизнь, какъ необозримую ледяную пустыню и непроглядную полярную ночь, человѣкъ старается запастись огнемъ воспоминаній на всю эту темную и холодную жизнь, и хватаетъ огонь безъ разбора, вездѣ, гдѣ-бы онъ его ни встрѣтилъ. Жажда сумасшествія растетъ по мѣрѣ того, какъ у судьбы крадутся такія минуты; желаніе, чтобы эти минуты разрослись въ часы и въ дни, чтобы изъ нихъ составились годы, чтобы ими наполнилась вся жизнь, перевѣшиваетъ всѣ остальныя соображенія; то, что сначала казалось и называлось сумасшествіемъ, превращается въ настоящую, полную, разумную и человѣческую жизнь, а сама дѣйствительность, все то, чего требуютъ понятія и привычки окружающихъ людей, все то, во имя чего осуждалось и преслѣдовалось такъ называемое сумасшествіе,—становится отвратительнымъ кошмаромъ, отъ котораго человѣкъ старается избавиться всѣми силами своего существа.

За минутами живого увлеченія и радостнаго безумія, возбужденнаго тѣмъ, что она чувствуетъ себя любимой, для Люси наступаетъ, тутъ-же на балѣ, полоса раздумья и грусти: она упрекаетъ себя въ томъ, что она была весела и жива, что вся ея фигура дышала ожиданіемъ какого-то счастья, что глаза ея, останавливаясь на Мишелѣ, блистали такимъ огнемъ, который могъ только увеличивать его мученія; эти мысли, это раскаяніе въ невольномъ движеніи кокетства нагоняетъ облако грусти на черты ея лица, и Мишель, танцующій съ ней кадриль въ эту минуту, тотчасъ замѣчаетъ это облако и съ нѣжной заботливостью спрашиваетъ у нея: «что съ вами?» Люси оцѣниваетъ всю нѣжность этого вопроса, всю чуткость и зоркость Мишеля ко всему, что до нея касается; она не находитъ словъ и, отвѣчая ему невольнымъ пожатіемъ руки, чувствуетъ, что сердце ея бьется тревожно, и сознаетъ, что ей будетъ тяжело и больно отталкивать и истреблять такую сильную, такую нѣжную, такую внимательную, вдительную и понятливую любовь.

Черезъ два дня, утромъ, Люси, укачивая у себя на рукахъ ребенка Мурильона, задумывается о Мишелѣ съ такой жгучей грустью, которая даже обезпокоиваетъ ее; она такъ дорожитъ своими грустными мыслями, что отгоняетъ прочь это безпокойство, отмахивается отъ внушеній практическаго благоразумія, усыпляетъ или, вѣрнѣе, душитъ свои опасенія словами: «о, нѣтъ! это не можетъ зайти слишкомъ далеко!» и даетъ полную волю своимъ мечтамъ.

Въ тотъ-же день разыгрывается исторія о нападеніи Жана на Гавеля; въ деревню пріѣзжаютъ жандармы, чтобы арестовать Каде, Жана и Мишеля; ихъ предупреждаютъ во-время, и они всѣ трое укрываются, потому что французскіе крестьяне считаютъ тюремное заключеніе несмываемымъ позорнымъ пятномъ даже въ томъ случаѣ, когда процессъ оканчивается совершеннымъ оправданіемъ подсудимаго. Мишеля укрываетъ сама Люси. Въ это время, заботясь о его безопасности, принося ему украдкой пищу и книги, Люси уже почти признается самой себѣ, что она любитъ Мишеля. «Развѣ это не есть счастье любить? — размышляетъ она.—Я чувствую, что это счастье (проговорившись такимъ образомъ, удививъ и испугавъ себя этимъ неожиданнымъ признаніемъ, она спохватывается и старается взять его назадъ) не потому, чтобы я сама любила,—о, нѣтъ! Эти *жгучія ощущенія* о которыхъ пишутъ въ романахъ, эта *непобѣдимая страсть* и эти *тайныя мученія*,—я ихъ, благодаря Бога, не испытываю. Я счастлива—счастлива тѣмъ, что думаю о Мишелѣ, счастлива тѣмъ, что онъ думаетъ обо мнѣ, счастлива тѣмъ, что есть на свѣтѣ преданное, совершенно преданное мнѣ сердце — благородное и нѣжное сердце... Любить—думаетъ она далѣе—быть любимой такъ деликатно, съ такой страстью! Наслаждаться изрѣдка этими недолгими, сладкими свиданіями! Иногда услужить другъ-другу! Подмѣтить другъ въ другѣ волненіе нѣжности».

Тутъ уже сдѣланъ большой шагъ впередъ; любовь Мишеля окончательно признана, какъ существующій фактъ; ему уже вполнѣ разрѣшается любить; вопросы о томъ, какъ онъ смѣетъ, и не дерзость-ли это съ его стороны, стали казаться странными и неумѣстными; то обстоятельство, что барышня обязана возмущаться любовью мужика, забыто; вмѣсто того, чтобы чувствовать себя оскорбленной, Люси чувствуетъ и даже признаетъ себя счастливой; она принимаетъ преданность, совершенную преданность благороднаго и нѣжнаго сердца; у ней даже вырывается слово *любить*; она допускаетъ ту мысль, что и она будетъ наслаждаться недолгими, сладкими свиданіями, что и она будетъ обнаруживать, что и въ ней можно будетъ подмѣтить волненіе нѣжности.

На другой день послѣ этихъ размышленій Люси получаются въ деревнѣ достовѣрныя извѣстія о томъ, что Гавель согласился потушить начатое дѣло, и что слѣдовательно Мишель можетъ выдти изъ своего убѣжища, въ которомъ онъ просидѣлъ почти сутки. Мишель выходитъ на свободу и, чтобы узнать подробности дѣла, проситъ Люси придти поздно вечеромъ въ садовую бесѣдку. Такимъ образомъ Мишель назначаетъ Люси тайное свиданіе, въ ночное время, и Люси не возмущается его просьбой и буквально исполняетъ его желаніе. Въ бесѣдкѣ разговоръ скоро отрывается отъ мелкихъ практическихъ подробностей и переходитъ на вопросъ о пользѣ и выгодахъ образованія

Любознательность Мишеля, его страстная охота работать надъ своимъ умственнымъ развитіемъ и его рѣшимость бороться со всякими трудностями, напрягая всѣ свои силы и посвящая скучному элементарному ученію каждую свободную минуту, наводятъ Люси на мысль давать ему уроки по воскресеньямъ. Мишель съ восторженной признательностью принимаетъ ея предложеніе.

Проходитъ три мѣсяца. Мишель каждое воскресенье проводитъ съ Люси часа по два за книгами и тетрадями. И учительница, и ученикъ относятся къ этимъ урокамъ съ полной добросовѣстностью. Для обоихъ ученіе является не предлогомъ, а настоящей цѣлью. Авторъ говоритъ намъ, что ничего не было предосудительнаго или скрытнаго въ этихъ интимныхъ бесѣдахъ. Ни умышленнаго прикосновенія къ рукѣ, ни преднамѣреннаго пожатія. Оба серьезные, они занимались только ученіемъ, и если-бы не ихъ пылающія щеки, не ихъ влажные и блестящіе глаза—ихъ всякій принялъ-бы за влюбленныхъ въ одну науку.

Кромѣ того они встрѣчаются каждый день по вечерамъ въ бесѣдкѣ. И тутъ опять они не говорятъ другъ-другу ни слова о любви. Люси знаетъ давно, что Мишель ее любитъ, и давно уже ея отношенія къ нему составляютъ весь интересъ ея жизни. Мишель, напротивъ того, не только не подозрѣваетъ, что его тоже любятъ, но даже не можетъ себѣ представить, чтобы это когда-нибудь могло случиться. Онъ ни на что не надѣется и даже не осмѣливается ничего желать. Онъ живетъ со дня на день, отъ одного свиданія въ бесѣдкѣ до другого и отъ одного воскреснаго урока до другого. Въ будущее онъ не заглядываетъ. Оно покрыто для него густымъ чернымъ занавѣсомъ, и онъ увѣренъ въ томъ, что за этимъ занавѣсомъ лежатъ разные ужасы, вродѣ разлуки съ Люси и томительной пустоты. Такъ какъ Мишель никогда не говорилъ Люси о своей любви къ ней, то онъ увѣренъ, что эта любовь составляетъ его тайну, и что о ея существованіи не догадывается ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ мірѣ, и сама Люси меньше, чѣмъ кто-либо другой. Люси во всѣхъ отношеніяхъ видитъ яснѣе Мишеля настоящее положеніе дѣлъ. Она уже нисколько не сомнѣвается въ томъ, что любитъ Мишеля; она видитъ и то, что Мишель этого не подозрѣваетъ; о возможности счастливаго исхода она все еще не осмѣливается думать; для нея также будущее закрыто; она осмѣливается мечтать только о томъ, что̀ могло-бы быть, если-бы она была крестьянкой; она находитъ, что тогда было-бы очень хорошо, и поэтому сапъ барышни становится для нея наконецъ ненавистнымъ бременемъ, уничтожающимъ самыя дорогія ея надежды и насильственно подавляющимъ самыя живыя ея стремленія. Она еще не считаетъ возможнымъ поправить зло, причиненное ей рожденіемъ; она думаетъ, что ей придется волей или неволей тащить до самой могилы проклятое ярмо мѣщанской неприступности, но она уже видитъ ясно, гдѣ радость жизни и гдѣ ея горе, она уже отличаетъ безошибочно то, въ чемъ состоятъ ея собственныя потребности, отъ того, что̀ она дѣлаетъ въ угоду другимъ людямъ; сама она уже чиста отъ искусственныхъ желаній; она видитъ свое счастье въ томъ, что дѣйствительно соотвѣтствуетъ только нормальнымъ требованіямъ богатой и роскошно развернувшейся, здоровой и сильной человѣческой природы. У нея недостаетъ теперь только рѣшимости протянуть руку за этимъ счастьемъ и ухватиться за него всѣми силами, несмотря на смѣхъ и слезы, на толки и пересуды, на вопли и гримасы всѣхъ окружающихъ. Эту необходимую рѣшимость порождаютъ въ ней своимъ вмѣшательствомъ тѣ самые люди, которые, по всѣмъ законамъ божескимъ и человѣческимъ, призваны наблюдать за безукоризненностью ея поведенія и которые вносятъ въ отправленіе своихъ обязанностей всѣ типическія черты общепринятаго мѣщанскаго образа мыслей. Если-бы уроки и свиданія продолжались своимъ чередомъ, то Люси, находя себѣ въ нихъ кое-какую отраду, считая полное счастье невозможнымъ и боясь требовать слишкомъ многаго, чтобы не потерять всего, оставалась-бы еще, втеченіи многихъ мѣсяцевъ, въ какихъ-то неопредѣленныхъ отношеніяхъ къ Мишелю, къ своему чувству и къ своей будущности. Но добрые люди, заботясь о репутаціи Люси и смущаясь деревенскими сплетнями, вторгаются въ ея владѣнія и дѣлаютъ грубую попытку отнять у нея то, что̀ миритъ ее съ ея бѣдной и тяжелой жизнью.

Тутъ только Люси замѣчаетъ, какъ далеко она ушъ разошлась въ понятіяхъ и стремленіяхъ со всѣми окружающими: они уже не понимаютъ другъ друга; ея доводы не дѣйствуютъ на нихъ; ихъ аргументы не имѣютъ почти никакой убѣдительной силы для нея; она говоритъ матери: «Мама, онъ такъ успѣваетъ въ ученіи», а мать отвѣчаетъ ей на это: «Я не вижу, на что̀ надобна Мишелю ученость. Ученость можетъ даже ему принести вредъ, можетъ внушить ему идеи... мысли, несоотвѣтствующія его званію». Еще недавно Люси понимала, что̀ такое *мысли, несоотвѣтствующія его званію*. Она считала естественнымъ, чтобы Мишель былъ и чувствовалъ себя покорнымъ слугой каждаго мѣщанина; она готова была дѣлать ему выговоръ за крутое обращеніе съ Гореномъ; но теперь она не понимаетъ, почему знанія, возвышая въ Мишелѣ чувство собственнаго достоинства и давая ему возможность яснѣе понимать и энергичнѣе отстаивать свои права, помѣшаютъ ему быть честнымъ человѣкомъ и отлич-

нымъ работникомъ; она понимаетъ конечно, что тѣ люди, которые хотятъ помыкать мужикомъ и давать ему чувствовать свое мнимое превосходство, легче могутъ справляться съ круглыми невѣждами, чѣмъ съ образованными гражданами, но она уже не способна принимать сердечное участіе въ горестяхъ и радостяхъ такихъ людей и рѣшать съ ихъ точки зрѣнія, какія идеи соотвѣтствуютъ и какія не соотвѣтствуютъ званію Мишеля. Далѣе она говоритъ матери: «неужели не дѣлать добра потому только, что есть на свѣтѣ злые люди?», а мать отвѣчаетъ: «твоя репутація прежде всего, дитя мое». Эта фраза называется отвѣтомъ, хотя она очевидно не имѣетъ никакого отношенія къ сдѣланному вопросу. Люси и госпожа Бертень только такъ и могутъ разговаривать между собой.

Для Люси слово *добро* имѣетъ живой смыслъ. Дѣлать добро — значитъ приносить пользу человѣку и наслаждаться этой пользой. Она не понимаетъ, какъ можно отказаться отъ такой обаятельной дѣятельности, доставляющей ей ея собственное уваженіе, отказаться въ угоду такимъ людямъ, которыхъ невозможно ни любить, ни уважать. Она хочетъ, чтобы ей показали необходимость и разумность такого отреченія; она требуетъ, чтобы ее убѣдили доводами, которые она сама могла-бы передумать и перечувствовать вслѣдъ за говорящимъ и доказывающимъ лицомъ. Ея мать, напротивъ того, прожила свой вѣкъ на афоризмахъ, въ которые она никогда не вглядывалась и которыхъ она не умѣетъ анализировать. Если эти афоризмы сталкиваются между собой и противорѣчатъ другъ другу, она этимъ не смущается; если ея собесѣдникъ обращаетъ ея вниманіе на вопіющее противорѣчіе, она устраняетъ его возраженіе новымъ афоризмомъ на ту тему, что всѣ такъ думаютъ, или что человѣческая жизнь вся сплетена изъ роковыхъ противорѣчій. Она знаетъ, что дѣлать добро похвально: это одинъ изъ тѣхъ многихъ афоризмовъ, которыми она пробавляется; но у нея нѣтъ живого и сильнаго влеченія къ тѣмъ представленіямъ, которыя возбуждаетъ въ ея умѣ слово добро; это слово даже и не возбуждаетъ въ ея умѣ никакихъ опредѣленныхъ представленій; она не рѣшается прямо сказать дочери, что добра дѣлать не слѣдуетъ; она не осмѣливается даже и произнести про-себя такую безнравственную сентенцію; въ ея богатомъ запасѣ афоризмовъ нѣтъ ни одного такого, который прямо оправдывалъ бы подобные взгляды; она не умѣетъ также, посредствомъ внимательнаго анализа частностей и подробностей, отдѣлить тѣ случаи, когда слѣдуетъ дѣлать добро, отъ тѣхъ, когда дѣлать его не слѣдуетъ; убѣдить дочь какими-бы то ни было доказательствами она не можетъ, потому что не имѣетъ даже самаго отдаленнаго понятія о томъ, что̀ такое доказательство, и еще потому, что ни она сама, ни кто-либо другой изъ благонравныхъ представителей мѣщанской среды не имѣютъ въ своемъ распоряженіи полнаго, въ самомъ себѣ разумнаго и послѣдовательно развитого кодекса, во имя котораго можно было-бы осудить поступки Люси; за неимѣніемъ доказательствъ, при невозможности подняться вмѣстѣ съ Люси къ основнымъ общимъ принципамъ человѣческой нравственности и спуститься оттуда, шагъ за шагомъ, къ оцѣнкѣ и осужденію разсматриваемыхъ поступковъ, мать просто старается зажать ротъ дочери афоризмомъ о репутаціи и ласкательнымъ словомъ *мое дитя*; дочь чувствуетъ, что ей зажимаютъ ротъ, и понимаетъ, что дальше тасованія и выбрасыванія афоризмовъ ея мать идти не можетъ.

Ставши лицомъ къ лицу съ грубымъ непониманіемъ своихъ ближайшихъ родственниковъ, съ ихъ неспособностью понимать что-бы то ни было и съ ихъ откровеннымъ нежеланіемъ развивать въ себѣ такую способность, Люси чувствуетъ сильнѣе прежняго, какъ дорогъ ей Мишель, и какъ невыносимо пустой сдѣлается ея жизнь, если изъ нея придется вычеркнуть этого единственнаго сильнаго и понимающаго человѣка. Она однако-же пробуетъ покориться; она не хочетъ огорчать родителей; она не можетъ вступить съ ними въ борьбу, потому что еще сама не знаетъ, за что̀, за осуществленіе какой программы она станетъ съ ними бороться. Она еще не рѣшила, что̀ она сдѣлаетъ съ своей любовью къ Мишелю; она еще не видитъ будущности для своего чувства, а считая счастливый исходъ невозможнымъ, думая, что отношенія къ Мишелю не могутъ дать ей ничего, кромѣ мимолетныхъ волненій нѣжности, ничего, кромѣ свиданій въ бесѣдкѣ, оживленныхъ разговоровъ и обмѣна взглядовъ, Люси конечно не находитъ позволительнымъ и разумнымъ возмущать тишину домашняго очага, вокругъ котораго и безъ того собралось много лишеній, заботъ и огорченій.

Конечно жизнь у этого домашняго очага не даетъ и не дастъ ей никакого вознагражденія за эти свѣтлыя минуты, но все-таки то жизнь, а это — минуты, и Люси еще не дошла до той степени отчаянія, когда человѣкъ ломаетъ существующую форму жизни, не зная, чѣмъ онъ ее замѣнитъ, и даже сомнѣваясь въ томъ, чтобы можно было замѣнить ее чѣмъ-нибудь новымъ. Принужденная отказаться отъ вечернихъ прогулокъ и отъ свиданій съ Мишелемъ, Люси до жгучей боли чувствуетъ потребность его видѣть, и тутъ признается себѣ самой, что она его любитъ такъ сильно, какъ только вообще способна любить. Но что-же тутъ дѣлать? Надо все покончить, все разорвать, потому что, какъ разсуждаетъ сама Люси, сердце не умѣетъ довольствоваться дружбой, а идти дальше — было-бы преступленіе. И тутъ-же у нея вдругъ яв-

ляется желаніе броситься къ Мишелю и сказать ему: будемъ любить другъ-друга. Желаніе это не приводится въ исполненіе, но, пробѣжавши молніей черезъ всю ея нервную систему, оно оставляетъ по себѣ неизгладимую борозду. Втеченіи цѣлаго мѣсяца Люси видается съ Мишелемъ только въ церкви, и тутъ они, разумѣется, не подходятъ другъ къ другу и не говорятъ другъ съ другомъ ни слова; ихъ взгляды иногда встрѣчаются, и Люси читаетъ въ глазахъ Мишеля столько любви, упрековъ и страданія, что въ ея собственной груди поднимается цѣлая буря мучительныхъ и обаятельныхъ ощущеній. Ея жизнь дробится между мечтой и дѣйствительностью. Какъ только она остается одна, какъ только ея умственныя силы не поглощены цѣликомъ работой или хозяйственными соображеніями, она начинаетъ строить воздушные замки, имѣющіе скромную форму чистой хижины, въ которой она живетъ и распоряжается вмѣстѣ съ Мишелемъ. Она не останавливается надъ вопросомъ объ осуществимости этихъ воздушныхъ замковъ; она просто отдается этимъ мечтамъ и упивается ими, потому что окружающая дѣйствительность наводитъ на нее невыносимую тоску и возбуждаетъ въ ней глухое, но непобѣдимое отвращеніе. Она иногда упрекаетъ себя въ безуміи, старается пристыдить себя, усиленно обращая свое вниманіе на то, что Мишель носитъ блузу и что у него жесткія, корявыя руки; но безуміе уже такъ сильно, что не поддается никакимъ внушеніямъ; ей совсѣмъ не стыдно; рядомъ съ блузой и съ жесткими руками Мишеля къ ней на умъ являются незваными и непрошенными воспоминанія о его добротѣ, великодушіи, справедливости, о его прямотѣ и откровенности, о его силѣ и смѣлости и о томъ выраженіи сдержанной страсти и безконечно глубокой нѣжности, которое она всегда читала въ его прекрасныхъ глазахъ. Изъ каждаго такого испытанія образъ Мишеля выступаетъ все болѣе чистымъ, свѣтлымъ и яркимъ.

Наконецъ терпѣніе Люси истощается. Случайный разговоръ съ одной знатной барышней, Изабеллой де-Пармальянъ, наноситъ послѣдній ударъ ея мѣщанскимъ предразсудкамъ. Эта барышня идетъ добровольно въ монастырь, потому что разстроенное состояніе не позволяетъ ей поддерживать въ свѣтѣ честь ея фамиліи. Ея рѣшимость отказаться отъ земныхъ радостей во имя ложнаго и искусственно созданнаго понятія сословной и фамильной чести приводитъ Люси въ ужасъ и въ негодованіе. Оцѣнивъ всю уродливость этой рѣшимости, Люси переноситъ результаты своихъ размышленій на свое собственное положеніе и убѣждается въ томъ, что она поступала и намѣрена была поступать въ будущемъ такъ-же глупо, какъ Изабелла, и можетъ быть даже еще глупѣе. Изабелла сама была проникнута до мозга костей мѣщанской гордостью и мѣщанскими понятіями: Изабелла не считала узколобыми и ограниченными тѣхъ людей, которые одобряли ея намѣреніе удалиться въ монастырь и сталибы осуждать ее въ случаѣ неровнаго брака; наконецъ Изабелла никого не любила; значитъ, она поступала по убѣжденію, повиновалась голосу общественнаго мнѣнія, которое она уважала, и наконецъ, удаляясь отъ міра, она не отказывалась отъ вѣрнаго счастья и не портила жизни любимаго человѣка. Этихъ трехъ оправданій Люси не могла привести въ свою пользу: она сама желала быть крестьянкой; она презирала пустоголовыхъ болтуновъ и сварливыхъ сплетницъ, голоса которыхъ составляли общественное мнѣніе ея деревни, и наконецъ она любила человѣка, вполнѣ достойнаго любви и уваженія. Слѣдовательно, отталкивая отъ себя это счастье, которое она сама признавала счастьемъ, она поступала такимъ образомъ только по слабости характера.

Тотчасъ послѣ разговора съ Изабеллой Люси встрѣчаетъ Мишеля и сама назначаетъ ему свиданіе вечеромъ въ бесѣдкѣ. Между этой встрѣчей и свиданіемъ проходитъ больше сутокъ. Это время проходитъ для Люси въ тревожныхъ размышленіяхъ, отъ которыхъ ее бросаетъ въ жаръ и въ холодъ. Два ряда сценъ и картинъ, взаимно противоположныхъ другъ-другу, проносятся съ поразительной яркостью передъ ея воображеніемъ. Съ одной стороны она видитъ во всѣхъ подробностяхъ то счастье, которое достанется ей на долю, если она рѣшится начать борьбу и съумѣетъ одержать побѣду; съ другой стороны она измѣряетъ глазами то широкое и вязкое болото непріятностей, слезъ, криковъ, толковъ, насмѣшекъ и разнородныхъ оскорбленій, черезъ которое ей надо будетъ перебираться въ бродъ, чтобы дойти до Мишеля, схватить его за руку и торжественно назвать его своимъ мужемъ. Представляя себѣ обширность этого болота, его мутную и неизслѣдованную глубину, его гнилыя испаренія и миріады кровожадныхъ комаровъ, носящіяся надъ нимъ сплошными тучами, воображая себѣ, что вся тупая и безжалостная дрянь, составляющая отборное общество околотка, начнетъ точить и грызть ея доброе имя грязными предположеніями, намеками, остротами, гипотезами, заимствованными изъ области физіологіи и патологіи, какъ эти науки понимаются деревенскими кумушками, воображая себѣ, что всѣ эти комары накинутся и на ея родителей, и на ея сестру, и на Мишеля, и что за каждымъ укушеніемъ каждой мизернѣйшей мошки будутъ слѣдовать со стороны родителей и сестры вопли, вздохи, воздѣваніе рукъ къ небу или къ потолку, или по меньшей мѣрѣ кроткіе, страдальческіе взгляды на жестокосердую дѣвушку,

потерявшую всякій стыдъ и разбивающую жизнь своихъ близкихъ,—составляя себѣ изъ всѣхъ этихъ черточекъ общую картину, Люси чувствуетъ, что голова ея идетъ кругомъ, что у нея холодѣютъ руки и ноги, что у нея исчезаетъ рѣшимость брать себѣ съ бою разумное счастье, и что даже свѣтлый и чистый образъ Мишеля, уходя въ неопредѣленную даль, превращается въ какое-то туманное пятно.

И точно-ли этотъ образъ такъ свѣтелъ и такъ чистъ? думаетъ она подъ вліяніемъ уныній, навѣяннаго предвкушеніемъ болота. Точно-ли подъ мужицкой блузой нѣтъ у этого Мишеля ничего похожаго на грубые инстинкты или низкія наклонности? Каковъ онъ бываетъ у себя дома, весь на распашку, когда ему весело, когда ему не для кого стѣснять себя, когда каждая его шутка, какъ-бы она ни была груба или плоска, подхватывается дружнымъ хохотомъ двухъ-трехъ его пріятелей? Каковъ онъ бываетъ въ хозяйственныхъ своихъ разсчетахъ и распоряженіяхъ? Не прорывается-ли въ немъ тутъ мелочность и скаредность? Не оказывается-ли онъ тутъ кремнемъ и кулакомъ, какъ это часто бываетъ съ умными мужиками? Каковъ онъ наконецъ будетъ, когда ему придется столкнуться лицомъ къ лицу съ приговоромъ общественнаго мнѣнія? Не оплошаетъ-ли онъ тутъ, не сробѣетъ-ли, не растеряется-ли? Съумѣетъ-ли онъ прикрыть собой ту дѣвушку, которая, бросаясь въ его объятія, навлечетъ на себя и на него всю бурю мѣщанскаго негодованія и крестьянскихъ насмѣшекъ? Положимъ, что въ смѣлости его сомнѣваться невозможно. Но вѣдь надо различать два рода мужества: одно физическое или военное, заключающееся въ крѣпости нервовъ; друго—умственное или гражданское, основанное на твердости и сознательной выработанности убѣжденій; бываютъ люди, которые ходятъ съ особеннымъ удовольствіемъ на медвѣдя безъ огнестрѣльнаго оружія, и въ то же время боятся сплетенъ, распускаемыхъ на ихъ счетъ беззубыми старухами, и лебезятъ передъ этими старухами, чтобы обезоружить ихъ, и позволяютъ глупымъ сплетнямъ имѣть серьезное и рѣшительное вліяніе на все направленіе ихъ поступковъ.

Двѣ схватки съ Гореномъ могли удостовѣрить Люси въ томъ, что боевой храбрости у Мишеля было довольно. Насчетъ гражданскаго мужества Люси еще не знала ничего. Былъ даже одинъ маленькій фактъ, изъ котораго она могла вывести то предположеніе, что съ этой стороны окажется въ Мишелѣ нѣкоторый изъянъ. Мишель укрылся отъ жандармовъ и, въ случаѣ надобности, готовъ былъ даже отбиваться отъ нихъ силой, потому, какъ онъ самъ объяснялъ Люси, что иначе всякая канальи станетъ называть его острожникомъ. Значитъ, глупыя слова, ожидаемыя въ неопредѣленномъ будущемъ отъ всякой канальи, заставляли Мишеля рѣшиться на такія крутыя мѣры, которыя могли повести его прямо на галеры, а можетъ быть и на эшафотъ, если-бы драка съ жандармами окончилась смертоубійствомъ. Значитъ, глупыя слова такой-же канальи, потѣшающейся надъ Мишелемъ по поводу его женитьбы на барышнѣ, стали-бы по всей вѣроятности тревожить, печалить и даже терзать Мишеля; его терзанья стали-бы огорчать его жену; семейное счастье было-бы отравлено, и рай, завоеванный смѣлостью Люси, переставъ бы быть раемъ.

Эти мысли представляются уму Люси въ неразвернутомъ видѣ, какъ неопредѣленныя сомнѣнія, какъ вопросы, которые человѣкъ хочетъ поставить и для которыхъ онъ еще не находитъ ясной и строго-соотвѣтственной формулы. Отъ этихъ невыяснившихся сомнѣній, обусловленныхъ просто недостаточнымъ знаніемъ любимаго человѣка, Люси переходитъ къ горькимъ упрекамъ самой себѣ; она обвиняетъ себя въ трусости и въ низкомъ малодушіи. «Я, думаетъ она, жертвую тому, что́ презираю, тѣмъ, кого люблю больше всего въ мірѣ». Эта внимательность къ мнѣнію людей, которыхъ она презираетъ, выражается еще въ слѣдующей формѣ: она желаетъ, чтобы ей сдѣлалъ предложеніе какой-нибудь блестящій юноша вродѣ Гавеля, молодой, красивый и богатый, тогда-бы она ему отказала и затѣмъ на другой-же день вышла-бы замужъ за Мишеля; тогда по крайней-мѣрѣ не будутъ имѣть права говорить, что она пошла за мужика по неимѣнію другихъ жениховъ и повинуясь настоятельнымъ требованіямъ своего темперамента. Тогда будутъ по крайней мѣрѣ знать, что она въ самомъ дѣлѣ полюбила Мишеля. Само собою разумѣется, что эти старанія Люси оградить святыню своего чувства отъ загрязняющихъ языковъ своихъ знакомыхъ и сосѣдей совершенно безплодны. Люди, одаренные способностью грязнить все то, о чемъ они говорятъ, всегда умѣютъ дать каждому факту то толкованіе, которое соотвѣтствуетъ ихъ намѣреніямъ; если-же толкованія не достигаютъ своей цѣли, или если факты рѣшительно не поддаются надлежащему извращенію, то къ нимъ присочиняется какой-нибудь новый, крошечный фактикъ, который на всю совокупность дѣйствительно совершившихся фактовъ бросаетъ самое неожиданное и своеобразное освѣщеніе. Все остальное идетъ уже очень легко, и общественное мнѣніе убѣждается именно въ томъ, въ чемъ ему желательно убѣдиться.

Дѣвушку, вышедшую замужъ за мужика, слѣдуетъ, по мнѣнію общества и его коноводовъ, заподозрить, обвинить и уличить въ самыхъ позорныхъ наклонностяхъ и въ самыхъ унизительныхъ проступкахъ. Не подлежитъ никакому

сомнѣнію, что она будетъ заподозрѣна, обвинена и уличена, и ей никто не поставитъ въ заслугу то обстоятельство, что у нея были хорошіе женихи, и что она имъ отказала. Развѣ-жъ трудно придумать, почему она имъ отказала? Отказала потому, что ей невозможно было выдти замужъ за порядочнаго человѣка; а невозможно потому, что была у нея любовная интрига со всѣми своими послѣдствіями; вотъ и пришлось броситься на шею мужику, благо нашелся такой простофиля.

Желая себѣ богатаго жениха и думая, что такой женихъ облегчитъ и улучшитъ ея положеніе въ борьбѣ съ обществомъ и съ его предразсудками, Люси держится еще того ошибочнаго мнѣнія, что съ обществомъ, составленнымъ изъ глупыхъ и негодныхъ людей, можно и должно аргументировать, и что этому обществу есть возможность что-нибудь доказать. Она еще придаетъ нѣкоторую цѣну сужденіямъ этого общества, и еще не можетъ открыто бросить ему въ глаза свое полное презрѣніе.

Во время свиданія наступаетъ одна минута, когда Люси, потрясенная до глубины души страстнымъ порывомъ Мишеля, уже готова произнести то слово, которое должно связать ихъ на-вѣки. *Да* и *нѣтъ*, по словамъ автора, какъ двѣ молніи, сталкиваются въ ея душѣ; замѣтивъ въ себѣ колебаніе, она рѣшаетъ тотчасъ, что не должна и не имѣетъ права говорить Мишелю о своей любви. Свиданіе кончается тѣмъ, что Люси дѣлаетъ Мишелю выговоръ за излишнюю восторженность, а Мишель проситъ прощенія и даетъ клятву вести себя благоразумно.

VII.

Вскорѣ послѣ свиданія одинъ простой случай кладетъ конецъ всѣмъ колебаніямъ Люси. Мишель работаетъ на дворѣ у Бурдона. Гости этого господина, въ томъ числѣ и Гавель, проходятъ черезъ дворъ. Увидѣвъ Мишеля, Гавель подходитъ къ нему и благодаритъ его за оказанную услугу. Мишель съ очевиднымъ презрѣніемъ отклоняетъ эту благодарность. Гавель, не замѣчая этого презрѣнія, или не желая его замѣтить, говоритъ Мишелю: «прошу васъ считать меня всегда и вездѣ вашимъ должникомъ», и протягиваетъ ему руку «съ развязностью и благородствомъ, которыми самъ въ себѣ любовался». Мишель блѣднѣетъ, нахмуриваетъ брови и своей руки не протягиваетъ. А на вопросъ Гавеля: «вы отказываетесь отъ пожатія моей руки», онъ отвѣчаетъ, не возвышая голоса, но совершенно отчетливо и явственно: «да, г. Гавель, я не могу вамъ подать руку, потому что это у меня знакъ пріязни и уваженія: я подаю руку только честнымъ людямъ». Этотъ отвѣтъ производитъ конечно общее смущеніе; цвѣтъ мѣстнаго мѣщанства ошеломленъ дерзостью мужика; священникъ говоритъ, что въ молодомъ поколѣніи утратилось всякое уваженіе къ власти; Орели полагаетъ, что «этотъ негодяй помѣшанъ»; раздавленный Гавель, отретировавшись къ своимъ спутникамъ, бормочетъ какую-то неправдоподобную дрянь о томъ, что вѣроятно и Мишель былъ за-одно съ прочими негодяями, покушавшимися на его жизнь и желавшими его ограбить «подъ гнуснымъ предлогомъ»; Бурдонъ задыхается отъ бѣшенства и совсѣмъ ничего не говоритъ, проклиная въ душѣ «развязность и благородство» своего будущаго зятя. Люси, присутствовавшая при всей этой сценѣ, отдѣляется отъ остального общества, приходитъ къ Мишелю и говоритъ ему, что онъ «вправду сильный человѣкъ», что онъ «лучше ея». Этотъ разговоръ между Мишелемъ и Люси происходитъ тогда, когда остальное общество уже находится за оградой двора. Я считаю эту оговорку необходимой, потому что иначе читатель имѣлъ-бы право спросить, какимъ образомъ такая яркая демонстрація со стороны Люси не вызвала немедленно самаго рѣзкаго столкновенія между нашей героиней и ея родственниками.

Поступокъ Мишеля получаетъ въ глазахъ Люси значеніе факта, рѣшающаго весь вопросъ о ея будущихъ отношеніяхъ къ любимому человѣку. Поступокъ этотъ въ самомъ дѣлѣ очень замѣчателенъ. Онъ показываетъ, что Мишеля невозможно застать врасплохъ, что онъ въ каждую данную минуту, при какихъ-бы то ни было неожиданныхъ комбинаціяхъ, безо всякихъ предварительныхъ приготовленій и соображеній, оказывается вѣрнымъ себѣ и поступаетъ какъ человѣкъ безукоризненной, неподкупной и неустрашимой честности. Онъ не задаетъ себѣ вопроса: какъ мнѣ поступить? онъ не взвѣшиваетъ вѣроятныхъ послѣдствій своего поступка, выгодныхъ и невыгодныхъ; онъ не выбираетъ изъ многихъ возможныхъ путей того, который по тѣмъ или по другимъ причинамъ удобнѣе или честнѣе другихъ, для него не существуетъ выбора; очутившись въ томъ или въ другомъ положеніи, онъ въ одно мгновеніе, съ перваго взгляда, видитъ, что вотъ тутъ чистая правда, вотъ тутъ добро безо всякой примѣси,—и этого для него довольно, и этимъ обусловливается его образъ дѣйствій. Онъ не лжетъ ни словами, ни поступками, потому что не можетъ, не хочетъ и не умѣетъ лгать. Для него не существуетъ никакихъ возможныхъ компромиссовъ съ ложью, ни подъ какимъ предлогомъ, ни подъ тѣмъ, что въ данномъ случаѣ полезно слукавить, ни подъ тѣмъ, что данный случай мелокъ и ничтоженъ, и что являться тутъ героемъ и защитникомъ правды значитъ впадать въ смѣшное донкихотство. Для Мишеля честность не мундиръ, который въ праздничные дни надѣвается, а въ будни виситъ въ шкафу; для него это—соб-

*

ственная кожа, которую онъ не снимаетъ никогда и съ которою онъ не могъ-бы разстаться безъ самыхъ ужасныхъ мученій. Вслѣдствіе этого для Мишеля невозможны фальшивыя положенія; онъ не можетъ растеряться и оплошать, не можетъ остановиться въ нерѣшимости или сдѣлать уступку, о которой ему впослѣдствіи пришлось бы пожалѣть. Та дорога, по которой слѣдуетъ идти, всегда сразу бросается ему въ глаза такъ точно, какъ она бросается въ глаза и всякому другому. Но бо́льшая часть людей, всѣ тѣ, на кого дѣйствуетъ боязнь такъ-называемаго общественнаго мнѣнія, всѣ покорные слуги большинства и толпы, увидавъ прямую дорогу и зная навѣрное, что она точно прямая, останавливаются передъ нею въ раздумьѣ и спрашиваютъ себя: а куда она ведетъ, эта прямая дорога? И кто по ней ходитъ? И точно-ли меня похвалятъ за то, что я по ней пойду? А ну какъ я по ней пойду, да увижу, что никто за мной идти не хочетъ, да узнаю, что по прямой дорогѣ совсѣмъ не принято ходить? А ну какъ всѣ кругомъ надо мной захохочутъ и скажутъ: «вотъ чудакъ, по прямой дорогѣ бѣжитъ, отличиться хочетъ, удивить насъ думаетъ, добродѣтель его одолѣла, за правду копья ломать захотѣлъ? Не лучше-ли, не проще-ли, не вѣрнѣе-ли будетъ оглянуться на другихъ и поступить такъ, какъ они поступаютъ? А то въ самомъ дѣлѣ, хорошо-ли колоть слабымъ людямъ глаза своими совершенствами и катоновской непреклонностью своего характера? Не фарисейство-ли это?

Такими размышленіями, въ которыхъ главной двигательной силой является болѣе или менѣе удачно замаскированная трусость, парализуется вліяніе перваго движенія, и вмѣсто прямой дороги, которую человѣкъ все-таки видитъ и даже цѣнитъ, выбирается запутанная система извилистыхъ тропинокъ, гдѣ фальшивыя положенія и унизительные компромиссы на каждомъ шагу, какъ грибы, выростаютъ подъ ногами боязливаго путника. Если-бы такой боязливый путникъ, скрѣпя сердце, бросился на прямую дорогу, то удручающая его боязнь, та мучительная тревога, съ которой онъ сталъ-бы прислушиваться къ голосамъ и къ смѣху большинства, дѣйствительно придали-бы ему самый комическій видъ и оправдали-бы собою со стороны толпы взрывы самаго гомерическаго хохота. Толпа всегда презираетъ и осмѣиваетъ тѣхъ, кто ея боится; и толпа всегда съ удивительной чуткостью умѣетъ угадывать боязнь въ тѣхъ людяхъ, которые, стараясь отъ нея отдѣлиться и обнаруживая нѣкоторое нерѣшительное стремленіе къ умственной и нравственной самостоятельности, не смѣютъ отнестись съ полнымъ равнодушіемъ къ ея умствованіямъ и приговорамъ.

У Мишеля нѣтъ этой боязни, хотя онъ и раздѣляетъ кое въ чемъ предразсудки толпы; тюремное заключеніе онъ, какъ мы видѣли, считаетъ во всякомъ случаѣ позорнымъ и поступаетъ сообразно съ этимъ ошибочнымъ мнѣніемъ, но не потому, что онъ боится криковъ и насмѣшекъ толпы, а только потому, что у него еще не было ни времени, ни средствъ подвергнуть тщательному разбору это ошибочное мнѣніе, укоренившееся въ его умѣ съ дѣтства. У Мишеля мало знаній, ему неизвѣстны тѣ методы изслѣдованія, которыми человѣкъ можетъ очистить свой умъ отъ предразсудковъ, поэтому онъ можетъ и долженъ во многомъ ошибаться и упорно держаться за многія ошибочныя понятія, занесенныя въ его голову вліяніемъ среды; но когда онъ упорствуетъ въ своихъ заблужденіяхъ, то онъ это дѣлаетъ не потому, что его сосѣди Туронъ и Люре поступаютъ точно такъ-же, а потому, что онъ самъ считаетъ эти заблужденія за истины, и потому, что у него нѣтъ подъ руками пробнаго камня, на которомъ онъ-бы могъ испытать ихъ достоинства.

Въ дѣлѣ съ Гавелемъ Мишель не побоялся ни того, что Гавель бросится на него съ кулаками, ни того, что Бурдонъ сдѣлается его смертельнымъ врагомъ и станетъ донимать его всѣми тѣми средствами, которыми богатый и вліятельный человѣкъ всегда и вездѣ можетъ притѣснить бѣдняка, ни того, что Люси осудитъ его за невѣжливость, подобно тому, какъ она старалась осудить его за схватку съ Гореномъ, ни того наконецъ, что мужики станутъ смѣяться надъ нимъ, какъ надъ жеманнымъ чудакомъ, боящимся замарать свою руку; ни чего этого онъ не побоялся и ни о чемъ этомъ онъ не подумалъ, потому что вся исторія разыгралась въ двѣ минуты, и за минуту передъ тѣмъ, какъ Гавель подошелъ къ нему съ своими любезностями, ничего подобнаго невозможно было предвидѣть. Эта полная неразсчитанность и неприготовленность его поведенія окончательно уничтожаетъ всѣ сомнѣнія Люси; она убѣждается безповоротно, что тотъ человѣкъ, котораго она любитъ, ничего не боится и ни передъ чѣмъ не съеживается, всегда готовъ отдать себѣ и всему свѣту отчетъ въ каждомъ мельчайшемъ изъ своихъ поступковъ и всегда гордо и величественно готовъ нести полную отвѣтственность за всю совокупность своего поведенія. Она удостовѣряется въ томъ, что гражданское мужество Мишеля безпредѣльно, и что, когда ему придется завязать борьбу съ толпой, то не толпа его, а онъ толпу перевернетъ по-своему. Она рѣшается сдѣлаться женой Мишеля. Внутренняя борьба для нея окончена, и, собравшись съ силами, она объявляетъ Мишелю о результатахъ этой борьбы, то-есть о томъ, что она его любитъ и хочетъ выдти за него замужъ, какъ только ей удастся побѣдить

сопротивленіе родителей. Какъ она ему объявила все это, какія сцены любви происходили послѣ рѣшительнаго объясненія, и какъ сложились ея отношенія къ Мишелю во время борьбы съ родителями—обо всемъ этомъ я распространяться не буду. Все это читатель можетъ самъ найти и оцѣнить по достоинству въ самомъ романѣ. Цѣль моей статьи заключается не въ томъ, чтобы любоваться вмѣстѣ съ читателемъ красотами разбираемаго романа, а въ томъ, чтобы подробно прослѣдить развитіе его основной идеи. Теперь эта идея выяснилась достаточно. Она состоитъ въ самомъ безпощадномъ осужденіи самодовольнаго, трусливаго, тщеславнаго, корыстолюбиваго и легкомысленнаго мѣщанства; это мѣщанство портитъ и развращаетъ все, что подчиняется его вліянію; оно портитъ воспитаніемъ своихъ собственныхъ дѣтей; оно портитъ также своимъ примѣромъ, своими идеями и въ особенности меркантильнымъ направленіемъ всей своей дѣятельности тѣ слои народа, надъ которыми перевѣсъ матеріальныхъ средствъ и образованія доставляетъ ему преобладаніе. Сколько-нибудь чистыми остаются только тѣ люди, которые по своей бѣдности или по какимъ-бы то ни было другимъ причинамъ не принимаютъ живого участія въ спекуляціяхъ, интригахъ и увеселеніяхъ мѣщанства, которые не втягиваются съ дѣтскихъ лѣтъ въ мутный водоворотъ его жизни, и поэтому сохраняютъ возможность смотрѣть на его нравы со стороны и судить ихъ строгимъ судомъ неподкупнаго и неизуродованнаго ума.

Люси Бертень — бѣдная дѣвушка, выросшая въ деревнѣ и неизбалованная жизнью; если-бы она была богатой мѣщанкой, если-бы она съ колыбели была окружена дорогими няньками и гувернантками, если-бы на кончила курсъ наукъ и искусствъ въ модномъ пансіонѣ, если-бы она затѣмъ закружилась въ вихрѣ баловъ, спектаклей и концертовъ, если-бы сладкорѣчивые старцы и разсчитанно-пылкіе юноши пажужжали ей въ уши несмѣтное количество тонкихъ и замысловатыхъ комплиментовъ, клонящихся къ полученію ея руки и приданаго — то, разумѣется, природный умъ Люси развернулся-бы какъ-разъ на столько, на сколько это нужно, чтобы поддерживать и оживлять блестящимъ образомъ салонный разговоръ; никакихъ глубокихъ и смѣлыхъ размышленій о жизни и о человѣкѣ, о господствующей нравственности и о междусословныхъ отношеніяхъ не было-бы произведено; никакія сближенія съ мужиками не могли-бы имѣть мѣста, и Мишель, со всѣми своими рѣдкими и драгоцѣнными достоинствами, оказался-бы для блистательной мадемуазель Бертень только дерзкимъ нахаломъ, забывающимъ свое настоящее мѣсто и проникнутымъ смѣшными претензіями.

Чтобы оставаться чистыми, чтобы развиваться и совершенствоваться, люди, неполучившіе почетнаго мѣста за столомъ пирующаго мѣщанства, должны стать въ сознательный и открытый антагонизмъ со всѣми понятіями и симпатіями мѣщанскаго общества. Если-бы Люси Бертень покорилась той участи, которая была ей приготовлена нравами, идеями и стремленіями ея общества, то ей пришлось-бы или озлобиться на людей и на природу и умереть въ чахоткѣ, какъ это сдѣлала на двадцать-седьмомъ году своей жизни ея сестра Кларисса, или разбавить ядъ обманутыхъ ожиданій водой благопріобрѣтенной мелочности и тупости, съежиться въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніяхъ, пристраститься къ сплетнямъ и къ чужимъ обѣдамъ, обезцвѣтиться, обезличиться и превратиться въ мадемуазель Бокъ.

Чтобы сохранить и развернуть полноту своихъ силъ, чтобы спасти себя отъ увяданія и разложенія, Люси должна была уйти въ другую среду, болѣе здоровую и просторную. Тутъ естественнымъ образомъ возникаетъ вопросъ: существуетъ ли такая среда? На этотъ вопросъ авторъ смѣло отвѣчаетъ: существуетъ; такая среда—простой народъ,—тотъ народъ, который зарабатываетъ себѣ насущный хлѣбъ тяжелой черной работой. Затѣмъ рождается другой вопросъ: можно-ли дѣйствительно уйти въ эту среду? То-есть, другими словами: уйдя въ эту среду, можно-ли дѣйствительно найти себѣ въ ней жизнь болѣе полную, человѣчную, отрадную, здоровую и разумную, чѣмъ та жизнь, отъ которой пришлось бѣжать? Не похоже-ли это удаленіе отъ образованнаго общества въ народъ на удаленіе съ моста, головой впередъ, въ самый омутъ глубокой и быстрой рѣки? На эти вопросы авторъ даетъ самый утѣшительный отвѣтъ: онъ находитъ, что среди народа возможна свѣтлая, разумная, вполнѣ человѣчная и даже изящная жизнь. При ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается однако, что этотъ отвѣтъ не такъ утѣшителенъ, какъ это можно было подумать съ перваго взгляда. Въ этомъ отвѣтѣ нѣтъ никакихъ комплиментовъ народу. Въ немъ заключается только осужденіе мѣщанства. Свѣтлая и разумная жизнь возможна среди народа, но при какихъ условіяхъ? Во-первыхъ, съ Мишелемъ; а во-вторыхъ, съ такимъ участкомъ земли, который, при тщательной обработкѣ, совершенно обезпечиваетъ земледѣльца и его семью; но большинство крестьянъ не имѣетъ даже отдаленнаго сходства съ Мишелемъ. Значитъ, при теперешнихъ условіяхъ свѣтлая и разумная жизнь среди народа составляетъ очень рѣдкое исключеніе и создается не понятіями, господствующими въ народѣ и принадлежащими всѣмъ и каждому, а только личными свойствами и усиліями людей, рѣзко отдѣляющихся отъ массы какъ мѣщанъ, такъ и чернорабочихъ. Такихъ людей очень мало, но такъ

называемое образованное общество никакъ не должно думать, что ему одному, вмѣстѣ со множествомъ его различныхъ привилегій, принадлежитъ также привилегія формировать такихъ рѣдкихъ людей. Они одинаково возможны и одинаково рѣдки какъ въ образованномъ обществѣ, такъ и въ народѣ. Бѣдность, грубость и невѣжество такъ-же мало благопріятствуютъ ихъ развитію, какъ и привычка жить праздно, корыстолюбіе, тщеславіе и поверхностное образованіе. Рѣдкіе люди, то-есть свѣтлые умы и твердые характеры, развиваются вопреки, а не благодаря тѣмъ общимъ условіямъ, которыя даютъ тонъ и колоритъ жизни мѣщанства и жизни народа. Этихъ рѣдкихъ людей можно назвать уцѣлѣвшими или устоявшими людьми. Они умѣютъ оцѣнивать и понимать другъ-друга; они испытываютъ живую потребность сближаться между собой и вознаграждать другъ-друга взаимнымъ уваженіемъ за то презрѣніе, которое они поневолѣ должны чувствовать ко всему окружающему. Они по природѣ своей равны между собой и достойны другъ-друга; это естественное равенство, необходимое для искренняго и тѣснаго сближенія, уничтожаетъ то разстояніе, которое можетъ существовать между ними вслѣдствіе различія ихъ общественнаго положенія и даже образованія. Сохранившаяся въ нихъ естественная сила и свѣжесть человѣческой природы такъ драгоцѣнна, такъ обаятельна и порождаетъ между ними такое взаимное притяженіе, что разъединяющія ихъ искусственныя вліянія, привитыя къ нимъ самимъ или дѣйствующія въ окружающемъ мірѣ, оказываются совершенно безсильными и ничтожными.

Когда человѣкъ узнаетъ человѣка, когда онъ бросается къ нему на встрѣчу съ тѣмъ, чтобы протянуть ему руку или сжать его въ своихъ объятіяхъ, тогда всѣ мелкія соображенія о происхожденіи, званіи, чинѣ, костюмѣ, манерахъ и даже знаніяхъ человѣка откидываются въ сторону. Когда два человѣка, полные свѣжихъ дарованій и кипучей энергіи, убѣдились въ томъ, что оба они думаютъ и чувствуютъ съ одинаковой силой и руководствуются въ своихъ дѣйствіяхъ одинаковыми побужденіями, тогда между ними, смотря по обстоятельствамъ, зарождается дружба или любовь; и все, что мѣшаетъ развитію и полному удовлетворенію зародившагося чувства какъ въ самихъ заинтересованныхъ сторонахъ, такъ и вокругъ нихъ, истребляется и устраняется естественной силой взаимнаго притяженія. Барышня, въ которой дрессировка и пустая жизнь не заморили ума, чувства и энергіи, можетъ полюбить простого мужика, въ которомъ умъ, чувство и энергія также не заморены нуждой, зависимостью и воловьимъ трудомъ. Подъ вліяніемъ своего чувства эта барышня можетъ обновиться, переродиться, сбросить въ себя все то, что было приклеено къ ея уму и характеру стараніями родителей и окружающаго общества, и развернуть въ себѣ все то, что составляетъ силу и красоту здоровой человѣческой природы. Вотъ, по моему крайнему разумѣнію, основная мысль романа. Барышня можетъ полюбить мужика и найти себѣ въ своей любви самое полное и разумное счастье. Разумѣется, не первая встрѣчная барышня и не перваго встрѣчнаго мужика. Достоинство всего романа зависитъ очевидно отъ того, насколько ясно проведена и убѣдительно доказана эта основная мысль, насколько вѣрны и живы тѣ образы, въ которые она облечена.

Если мужикъ — не мужикъ, и барышня — не барышня, если оба они — блѣдные и тощіе идеалы, неимѣющіе никакихъ корней въ дѣйствительности, или если любовь барышни къ мужику возникаетъ и развивается такъ, что читатель не можетъ повѣрить ея существованію и принужденъ видѣть во всѣхъ сценахъ и картинахъ, проходящихъ передъ его глазами, только разнообразныя проявленія авторскаго произвола, то, разумѣется, романъ оказывается безсильной декламаціей, и та идея, которая была положена въ его основаніе, остается недоказанной. А такъ какъ центръ тяжести всего романа заключается именно въ вопросѣ: могла или не могла барышня Люси полюбить мужика Мишеля, то я и сосредоточилъ все свое вниманіе на этомъ вопросѣ и разобралъ его съ такой обстоятельностью, которая быть можетъ до нѣкоторой степени утомила читателя. Я былъ принужденъ разсказывать сущность всѣхъ важнѣйшихъ сценъ, происходившихъ между Люси и Мишелемъ, потому что только такимъ путемъ я могъ убѣдить читателя въ совершенномъ отсутствіи авторскаго произвола и въ той полной естественности, съ которой ведено развитіе чувства.

О борьбѣ Люси съ родителями и съ обществомъ распространяться не стоитъ. Такая борьба всегда кончается и должна кончиться полной побѣдой того лица, которое борется серьезно и настойчиво за свои дѣйствительные интересы и за свои естественныя и неотъемлемыя права. Если случается иначе, если побѣждаетъ не личность, а среда, то это значитъ только, что чувства и желанія, изъ-за которыхъ была завязана борьба, недостаточно сильны, глубоки и прочны. Люси одерживаетъ самую полную побѣду самыми легальными средствами; она не уходитъ отъ своихъ родителей, не вступаетъ съ Мишелемъ въ тайный бракъ и ни на одну минуту не перестаетъ быть самой почтительной и нѣжной дочерью, опорой всего хозяйства, утѣшительницей и неутомимой сидѣлкой умирающей сестры. Она не донимаетъ своихъ родителей преніями о равенствѣ всѣхъ людей, не дѣлаетъ имъ бурныхъ сценъ, не

старается уязвить или разжалобить ихъ убитымъ видомъ или горькими слезами, и даже сама ни разу не заводитъ съ ними разговора о Мишелѣ и его достоинствахъ. Вообще она не употребляетъ въ отношеніи къ нимъ никакой тактики; во всемъ ея поведеніи нѣтъ ничего разсчитаннаго и искусственнаго. Она только изо-дня въ день, съ утра до вечера и въ каждую данную минуту, съ одинаковой силой и съ неизмѣннымъ постоянствомъ желаетъ одного и того-же. Эта постоянная дума о любимомъ человѣкѣ, это постоянное стремленіе къ одной цѣли придаетъ чертамъ ея лица выраженіе такой сосредоточенности и кладетъ на все ея поведеніе печать такой торжественной серьезности, которая внушаетъ ея родителямъ невольное уваженіе, въ то самое время, когда они напрягаютъ всѣ свои силы, чтобы преслѣдовать и наказывать ее своимъ презрѣніемъ. Люси терпитъ и ждетъ, и этимъ кроткимъ выжиданіемъ истощаетъ силы своихъ противниковъ; она не дѣлаетъ сама ни одного шагу впередъ и не высказываетъ никакихъ требованій, но всякій разъ, какъ ее вызываютъ на объясненія, она тихо, просто и откровенно заявляетъ совершенную неизмѣнность своихъ мыслей, чувствъ, намѣреній и желаній. Когда ея родители узнаютъ отъ постороннихъ людей о любви ея къ Мишелю и о свиданіяхъ въ садовой бесѣдкѣ, тогда,разумѣется,разражается буря удивленія и негодованія; начинается концертъ криковъ и стоновъ; чтобы не задушить преступную дочь собственными руками, Бертень, сжавъ кулаки, отскакиваетъ отъ нея въ противоположный уголъ комнаты и вслѣдъ затѣмъ бѣжитъ въ садъ разстрѣливать Мишеля; г-жа Бертень отталкиваетъ отъ себя Люси и говоритъ съ надлежащей дозой трагизма: оставь меня, ты мнѣ больше не дочь! Чахоточная Кларисса, злая и глупая, и вся насквозь тряпичная и деревянная, почти безъ чувствъ падаетъ въ кресло и произноситъ коснѣющимъ языкомъ: она съума сошла!

Люси страдаетъ отъ всѣхъ этихъ жестовъ и возгласовъ, страдаетъ въ особенности отъ той боли, которую испытываютъ эти люди во время своего ненужнаго жестикулированія и взыванія, но страданія не обнаруживаютъ никакого ослабляющаго вліянія на ея любовь и рѣшимость. Какъ подѣйствовала первая бурная сцена, такъ точно дѣйствуютъ на нее и всѣ остальныя сцены, бурныя и слезливыя, раздирательныя и умилительныя; она не остается нечувствительной къ тяжелымъ впечатлѣніямъ; каждая грубая выходка отца, каждая слеза матери, каждый леденящій и страдальческій взглядъ больной сестры ложатся кровавыми рубцами на любящее сердце Люси; одно оскорбительное слово, произнесенное ея отцомъ, доводитъ ее даже до обморока, но сущность дѣла отъ ея страданій нисколько не измѣняется; она худѣетъ и блѣднѣетъ, она проводитъ безсонныя ночи, но и худая, и блѣдная, и съ воспаленными глазами, и съ жестокой головной болью она любитъ Мишеля по-прежнему и даже привязывается къ нему еще сильнѣе, потому что свѣтлый образъ составляетъ въ тяжелыя минуты ея единственное утѣшеніе.

Родители убѣждаются наконецъ въ томъ, что измучить свою дочь они могутъ, что при нѣкоторой настойчивости и неумолимости они пожалуй могутъ даже замучить ее до смерти, но что, пока она будетъ жива, до тѣхъ поръ она будетъ любить Мишеля, гордиться его любовью и стремиться къ тому, чтобы сдѣлаться его женой. Тогда оппозиція слабѣетъ и разлагается; надъ Люси испытываютъ послѣднее средство: ее отправляютъ въ Пуатье, ее вывозятъ на балы, ее стараются пристроить за какого-нибудь приличнаго джентльмена, но ничто на нее не дѣйствуетъ, и она возвращается въ деревню, неизмѣнно вѣрная своему Мишелю.

Смерть Клариссы наноситъ послѣдній ударъ ослабѣвшему сопротивленію родителей; Кларисса умираетъ, не узнавши жизни, не испытавъ любви и не возбудивъ ея ни въ комъ; въ минуту агоніи она перестаетъ быть деревянной куклой: въ ней пробуждается женщина, и она съ дикой и полоумной энергіей, нарушая всѣ приличія, громко упрекаетъ людей и судьбу въ томъ, что они обманули ея ожиданія, загубили ея молодость, испепелили ея свѣжія силы, и заставляютъ ее, подобно дочери Іеффая, «умирать, не бывши матерью».—«Мама, говоритъ она госпожѣ Бертень, схватывая ее за руку, смотри, чтобы Люси не умерла, какъ я».

Въ виду едва остывшаго трупа старшей дочери, умершей отъ холода и пустоты дѣвической жизни среди пошлаго и мелочно-бездушнаго общества, госпожа Бертень старается стать выше предразсудковъ этого общества и обѣщаетъ своей младшей дочери, что она будетъ счастлива съ тѣмъ *прекраснымъ, благороднымъ человѣкомъ*, котораго она выбрала. Но у добродушной мѣщанки, пропитанной всѣми непослѣдовательностями и внутренними противорѣчіями, свойственными либераламъ ея сословія, не хватаетъ твердости ни на то, чтобы добровольно сложить оружіе и устоять въ своемъ обѣщаніи, ни на то, чтобы рѣшительнымъ отказомъ зарѣзать дочь на алтарѣ сословной и фамильной чести. Въ принципѣ уступка сдѣлана. Мишель, котораго хотѣли подстрѣлить въ саду, послѣ смерти Клариссы сталъ другомъ дома, видается съ Люси безпрепятственно и въ комнатѣ, и въ саду, и при родителяхъ, и наединѣ, Кажется, послѣ этого уже нечего больше скупиться, торговаться, тянуть канитель и откладывать дѣло въ долгій ящикъ. Разъ какъ сдѣлана такая уступка, изъ кото-

рой естественнымъ образомъ вытекаютъ всѣ остальныя, то надо уже волей или неволей идти до конца.

Родители Люси разсуждаютъ иначе. Когда Люси, почти черезъ полгода послѣ смерти Клариссы, заговариваетъ о томъ, что пора-же наконецъ дать ей и Мишелю то счастье, которое было имъ торжественно обѣщано, — тогда она, къ удивленію своему, узнаетъ, что она — дурная дочь, что она огорчаетъ своихъ родителей и хочетъ уморить ихъ со стыда. Даже убѣдившись въ томъ, что ихъ сопротивленіе ни къ чему не можетъ повести, и что рано или поздно надо будетъ уступить, родители Люси все еще до послѣдней минуты продолжаютъ кривляться, гримасничать и хныкать. Люси начинаетъ убѣждать ихъ разумными доводами, они во всемъ съ ней соглашаются, и затѣмъ продолжаютъ вздыхать и плакать. Люси въ первый разъ въ своей жизни говоритъ имъ рѣзкое слово и рѣшительно требуетъ себѣ или полнаго человѣческаго счастья, или могилы сестры. Передъ этимъ взрывомъ энергическаго негодованія родители ея смиряются, именно потому, что Люси не пріучила ихъ къ такимъ взрывамъ и не растрачивала своей энергіи на мелкія вспышки безпричиннаго неудовольствія.

Люси съ согласія родителей становится женой Мишеля, и мы узнаемъ, въ самомъ концѣ романа, что, шесть лѣтъ спустя, родители благоденствуютъ и процвѣтаютъ по милости того самаго брака, въ которомъ они видѣли величайшее изъ своихъ семейныхъ несчастій. «Право — разсуждаетъ пріятельница Люси, Женъ Мурильонъ,—надо быть глупымъ и слѣпымъ, чтобы еще теперь находить дурнымъ бракъ мадамъ Мишель. Все въ домѣ перемѣнилось. Прежде у нихъ только и было, что одно горе, а теперь все идетъ хорошо. Г-жа Бертень стала заниматься птичнымъ дворомъ и съ тѣхъ поръ перестала ныть и говорить мудреныя слова; напротивъ, она говоритъ съ вами о своихъ цыплятахъ, индѣйкахъ и уткахъ, какъ женщина разсудительная, и видно, что это ее забавляетъ. Даже самого Бертеня, и того надоумило припяться за дѣло; онъ такъ подружился съ коровой Пижодъ, что никого къ ней не подпускаетъ, каждый день ходитъ гулять съ нею. Ну, да ужъ я вамъ говорю, что это счастливые люди, а по мнѣ этого довольно, потому счастливыхъ людей очень мало».

Мишель и Люси — счастливые люди. Картиной ихъ счастія заканчивается романъ. Это счастье состоитъ въ томъ, что у нихъ свой домикъ и что въ этомъ домикѣ у нихъ есть все, что необходимо для удовлетворенія всѣхъ насущныхъ потребностей. Они любятъ другъ-друга, любятъ своихъ дѣтей, покоятъ родителей, читаютъ по вечерамъ хорошія книжки — и, стало быть, счастливы. Въ ихъ жизни нѣтъ мѣста праздности и скукѣ; они работаютъ усердно и добросовѣстно, чтобы удерживать и увеличивать то благосостояніе, которымъ они уже пользуются. Такихъ счастливыхъ людей дѣйствительно очень мало, а между тѣмъ ихъ счастье, если вглядѣться и вдуматься въ него, все-таки нагоняетъ тоску и наводитъ тяжелое раздумье.

Это какое-то прѣсное и приторное счастье: въ этомъ счастьѣ нѣтъ той соли, которая мѣшаетъ людямъ испортиться: если подвергнуть человѣка дѣйствію такого счастья впродолженіи десяти или двадцати лѣтъ, то я право не знаю, какая сила предохранитъ его отъ ожиренія и притупленія, отъ безвозвратнаго мертвящаго погруженія въ копѣечныя заботы, разсчеты, спекуляціи и мечты, цѣликомъ направленныя къ тому, чтобы набрать дѣтямъ побольше франковъ, червонцевъ и банковыхъ билетовъ, сначала на ихъ воспитаніе, потомъ на первое обзаведеніе, потомъ на безбѣдное существованіе. Мишель и Люси работаютъ исключительно для того, чтобы кормиться и затѣмъ разживаться. То и другое имъ удается, но мы рѣшительно не видимъ, связываютъ-ли какія-нибудь нити ихъ лодочку съ «кормой большого корабля», имѣютъ-ли они понятіе о существованіи какихъ-нибудь общихъ цѣлей, и стремятся-ли они какимъ-бы то ни было путемъ къ достиженію какой-бы то ни было подобной цѣли. Такъ какъ въ романѣ Лео нѣтъ ни малѣйшаго указанія на какую-бы то ни было связь между жизнью этихъ счастливыхъ людей и общими великими интересами ихъ времени и ихъ народа, то мы можемъ и должны думать, что никакой подобной связи и не было. Отрицая эту связь, авторъ не дѣлаетъ никакой ошибки. Отсутствіе этой связи не можетъ быть также поставлено въ укоръ уму и характеру Мишеля и Люси. Очень вѣроятно, что ни Мишель, ни Люси не могли сдѣлаться общественными дѣятелями; ихъ образованіе было слишкомъ недостаточно; то захолустье, въ которомъ они родились и выросли, было слишкомъ вяло и мертво, участіе простого народа въ политическихъ и общественныхъ дѣлахъ слишкомъ ничтожно, всѣ силы ихъ ума и ихъ мускуловъ слишкомъ исключительно поглощены добываніемъ насущнаго хлѣба, имъ пришлось потратить слишкомъ много энергіи на завоеваніе личнаго счастья, — всѣ эти причины, вмѣстѣ взятыя, объясняютъ совершенно удовлетворительно, почему и какимъ образомъ они, перевѣнчавшись, могли почислить борьбу жизни оконченной и сосредоточить свои свѣжія силы на нарожденіи здороваго потомства и на усердномъ наживаніи движимаго и недвижимаго добра.

Но, понимая причины какого-нибудь явленія, мы этимъ пониманіемъ не устраняемъ его послѣдствій. Мишель и Люси не виноваты въ

томъ, что не сдѣлались общественными дѣятелями, но такъ какъ они ими не сдѣлались, то они, рано или поздно, и скорѣе рано чѣмъ поздно, сдѣлаются нѣкоторымъ подобіемъ старосвѣтскихъ помѣщиковъ. Нѣкоторыя слабыя черты этого предстоящаго отяжелѣнія можно замѣтить уже въ послѣдней главѣ романа, хотя авторъ повидимому не имѣлъ намѣренія показывать читателю ахиллесову пятку своихъ героевъ, и хотя быть можетъ авторъ и самъ ея не видалъ. Вотъ какъ авторъ описываетъ Мишеля шесть лѣтъ спустя послѣ свадьбы:

«Силенъ и счастливъ—вотъ что можно сказать о Мишелѣ. Шесть лѣтъ спокойнаго счастья придали его стану здоровую полноту, а чертамъ его лица тяжую безмятежность, которая не погасила огня его глазъ и не ослабила умнаго выраженія физіономіи». Если устранить отъ этой мысли смягчающую и скрадывающую грацію выраженій, то получится слѣдующій результатъ: Мишель раздобрѣлъ, но не поглупѣлъ. Не надо-ли будетъ во вторую часть фразы вставить слово *еще*, заключающее въ себѣ грозный намекъ на печальное будущее? Если *шесть лѣтъ не погасили* и *не ослабили*, то не погасятъ и не ослабятъ-ли двѣнадцать лѣтъ? Мишелю было двадцать-три года, когда онъ женился. Въ ту минуту, когда его описываетъ авторъ, ему двадцать девять лѣтъ. И онъ уже толстѣетъ, и о немъ уже надо говорить, въ похвалу ему, что онъ не поглупѣлъ. Значитъ, то обстоятельство, что онъ остановился въ своемъ развитіи, уже не подлежитъ сомнѣнію. А за остановкой въ развитіи долженъ слѣдовать регрессъ. И мнѣ кажется, что этотъ регрессъ начался, и что о немъ проговорился самъ авторъ.

Андре Лео говоритъ, что на слова жены «онъ ей отвѣтилъ такимъ взглядомъ, въ которомъ показался весь прежній Мишель». Значитъ, прежній Мишель не то, что теперешній; онъ показывается только по временамъ изъ-за того тонкаго слоя жира, который образуетъ *здоровую полноту*. Дайте этой полнотѣ развернуться, дайте слою жира сдѣлаться потолще,—и прежній Мишель будетъ показываться все рѣже и рѣже, а потомъ и совсѣмъ пропадетъ, и останется только, ввидѣ надгробнаго камня, рыхлая масса жира, которая своими неопредѣленными контурами будетъ только до нѣкоторой степени напоминать рѣзкія и выразительныя черты прежняго пылкаго, смѣлаго и титанически любознательнаго юноши.

Что же такое Люси и что такое Мишель? Они не типы; ни Люси не можетъ быть представительницей барышень, ни Мишель—представителемъ мужиковъ. Они также не идеалы. Нельзя сказать, глядя на Люси: вотъ чѣмъ должна быть современная женщина! или, глядя на Мишеля: вотъ образецъ современнаго мужчины. Они оба—просто люди неиспорченные, непропитавшіеся грязью корысти, неторгующіе умомъ и совѣстью. Но ни у него, ни у нея нѣтъ того, что обезпечиваетъ за человѣкомъ неувядаемую молодость ума и чувства, нѣтъ горячей любви къ общему дѣлу, нѣтъ чистаго и святого увлеченія великой идеей. Если ихъ образы кажутся намъ не только свѣтлыми, но даже лучезарными, то это доказываетъ только позорную неопрятность того общества, которое ихъ окружаетъ.

VIII.

Разобранный выше романъ: «Возмутительный бракъ» говоритъ читателю: счастье достается тому, кто умѣетъ и осмѣливается жить своимъ умомъ, кто сбрасываетъ съ себя ярмо господствующихъ понятій, кто неустрашимо плыветъ противъ общаго теченія, кто борется съ средой и своей настойчивостью побѣждаетъ ея сопротивленіе. Въ романѣ «Разводъ» («Un divorce») та же мысль показана съ обратной стороны. Кто покоряется, кто живетъ чужимъ умомъ, кто терпѣливо и кротко плыветъ по теченію, кто даетъ надъ собой неограниченную власть всѣмъ понятіямъ и стремленіямъ среды,—тому портятъ, грязнятъ и ломаютъ жизнь, того теребятъ, унижаютъ, порабощаютъ и въ награду за безукоризненную покорность доводятъ или до отчаянія, или до отупѣнія.

Дѣйствіе происходитъ во французской Швейцаріи. Богатый собственникъ Гранво выдаетъ свою старшую дочь, красавицу Клару, замужъ за богатаго и красиваго молодого человѣка, Фердинанда Дефе. Клара—дѣвушка добрая и неглупая: она вполнѣ способна чувствовать и даже думать по-человѣчески; но она прожила до двадцати лѣтъ, не развернувши въ себѣ этой способности и не воспользовавшись ею. Въ то время, когда ея отецъ рѣшилъ отдать ея руку Фердинанду, ей начиналъ нравиться французъ, художникъ Камиль, человѣкъ безъ состоянія и слѣдовательно неспособный быть приличной партіей. Но это чувство только-что возникало, между молодыми людьми не было еще произнесено ничего похожаго на слово любви, и выразительные глаза Камиля не возбудили въ Кларѣ желанія и рѣшимости сопротивляться волѣ отца, или даже только протестовать жалобами и слезами. Она съ безропотной покорностью становится невѣстой Дефе; она даже не груститъ объ этомъ, она только какъ-будто озадачена. Она говоритъ своей кузинѣ, Матильдѣ Саржа, дѣвушкѣ съ самостоятельнымъ образомъ мыслей: «Я никогда не старалась отличаться своими поступками отъ другихъ. Я вѣрю моимъ родителямъ и дѣлаю себѣ по-просту то, что они мнѣ приказываютъ». А когда Матильда замѣчаетъ, что по крайней

мѣрѣ надо было-бы познакомиться покороче съ женихомъ, Клара говоритъ: «Конечно, мнѣ-бы этого тоже хотѣлось, но отецъ говоритъ, что это невозможно. Господину Дефе, такъ какъ онъ теперь сдѣлался банкиромъ, надо жениться, обзавестись домомъ, чтобы его кліенты чувствовали къ нему больше уваженія.—Милая моя, если ему некогда ждать, надо его отпустить.—Что-жъ дѣлать? отвѣчаетъ Клара со вздохомъ: мой отецъ очень дорожитъ этимъ бракомъ. Онъ говоритъ, что лучше этой партіи я никогда не найду». Бракъ совершается по разсчету, по желанію родителей; но при этомъ онъ обставленъ самымъ привлекательнымъ образомъ: женихъ и невѣста оба молоды, хороши собой, неглупы и даже чувствуютъ другъ къ другу нѣжное влеченіе; отцу невѣсты не приходится употреблять даже нравственнаго насилія; съ его стороны нѣтъ ни угрозъ, ни упрашиваній, ни продолжительныхъ и настоятельныхъ внушеній; Клара вполнѣ убѣждается его доводами и, разъ убѣдившись, скоро начинаетъ находить свое новое положеніе очень пріятнымъ и занимательнымъ. Красивый, здоровый и пылкій юноша смотритъ на нее влюбленными глазами, говоритъ ей сладкія рѣчи, беретъ ее за руку своими сильными и горячими руками, обнимаетъ ее за талію, цѣлуетъ ее въ щеку и въ губы—все это очень весело и ново, все это укрѣпляетъ въ ней довѣріе къ родительской мудрости, все это усиливаетъ ея расположеніе къ обязанностямъ послушной дочери и все это заставляетъ ее забыть, что пылкому юношѣ некогда ждать, потому что надо внушать уваженіе кліентамъ, надо обзавестись домомъ и къ этому дому пріискать подходящую жену. Къ тому времени, когда назначена свадьба, Клара оказывается уже совершенно влюбленной въ своего будущаго мужа, который, съ своей стороны, пожираетъ ее глазами и считаетъ дни, часы и минуты. Такимъ образомъ всѣ заинтересованныя стороны удовлетворены; публика апплодируетъ; всѣ говорятъ, что Гранво—умнѣйшій человѣкъ и примѣрный отецъ, что онъ такъ пристроилъ дочь, какъ лучше нельзя было ни желать, ни придумать. Дочь его совершенно соглашается съ публикой. Самъ Гранво совершенно соглашается съ дочерью; Фердинандъ Дефе соглашается со всѣми. Одна Матильда не соглашается ни съ кѣмъ; но Матильда—извѣстная чудачка: она философствуетъ, читаетъ *Критику чистаго разума*, и на ея странныя мнѣнія никто не можетъ и не долженъ обращать вниманія.

Молодые супруги счастливы; они проводятъ медовый мѣсяцъ въ горахъ Оберланда; Клара блаженствуетъ, Фердинандъ—тоже; потомъ они возвращаются въ Лозанну, въ тотъ домъ, который долженъ внушать уваженіе кліентамъ; начинается будничная жизнь. Клара любитъ мужа и старается любить его серьезно, жадно, поглощающимъ образомъ, такъ, чтобы ни у него, ни у нея не было, кромѣ взаимной любви, никакого дѣла и никакого развлеченія. Фердинандъ, напротивъ того, понимаетъ дѣло въ томъ смыслѣ, что онъ пріобрѣлъ себѣ для своего заново отдѣланнаго дома драгоцѣнное украшеніе, и что съ этимъ украшеніемъ надо было носиться втеченіи нѣсколькихъ недѣль, но что по прошествіи этихъ недѣль, посвящаемыхъ похвальнымъ и добродѣтельнымъ восторгамъ, все должно понемногу придти въ естественный порядокъ; по его мнѣнію, и конторскія дѣла, и продолжительныя бесѣды съ пріятелями за стаканомъ вина, и частыя посѣщенія кафе и клубовъ—все должно по-прежнему оставаться ему нечуждымъ, а молодая жена его должна украшать его новый домъ, держать въ должномъ порядкѣ хозяйство, распространять вокругъ себя сіяніе тихой веселости, о поддержаніи которой ему нѣтъ надобности заботиться, и встрѣчать его съ кроткой улыбкой и съ радостнымъ восклицаніемъ, когда-бы ему ни заблагоразсудилось воротиться и какъ-бы продолжительна ни была его отлучка.

Характеръ Клары оказывается гораздо глубже и серьезнѣе, чѣмъ характеръ ея мужа; это различіе конечно обозначилось-бы и произвело-бы взаимное охлажденіе и разрывъ, если-бы молодая дѣвушка, не давая слова пылкому юношѣ, познакомилась съ нимъ покороче, какъ того требовала Матильда; но, во-первыхъ, надо было вѣрить родителямъ, повиноваться имъ и поступать такъ, какъ всѣ поступаютъ; а во-вторыхъ, Фердинанду Дефе некогда было ждать. Характеръ Клары слишкомъ глубокъ для того, чтобы она могла чувствовать себя удовлетворенной тѣмъ прозябаніемъ, которое отводится женщинѣ обычаями ея родины. Она не въ состояніи убивать время мелкими заботами и мелкими развлеченіями, не дающими пищи ни уму, ни чувству; она неспособна переходить съ пріятной улыбкой отъ размышленій надъ составомъ пуддинга къ разговорамъ о достоинствахъ и недостаткахъ новыхъ куафюръ; ей необходимъ въ жизни общій смыслъ и серьезный интересъ; у нея достало-бы ума на то, чтобы читать со смысломъ и съ толкомъ, учиться, размышлять, пріобрѣтать спеціальныя знанія и даже пользоваться ими, какъ рабочимъ орудіемъ; но ея образованіе не дало ей никакихъ матеріаловъ для того, чтобы приняться за какое-бы то ни было серьезное чтеніе, или даже представить себѣ возможность такого чтенія. Клара знаетъ, что женщину, читающую серьезныя книги, называютъ въ обществѣ синимъ чулкомъ, что на такую женщину смотрятъ съ насмѣшливымъ недоумѣніемъ и что банкиръ Дефе былъ-бы очень недоволенъ, если-бы на его жену пало подозрѣніе въ странномъ и смѣшномъ пристра-

стіи къ чтенію ученыхъ трактатовъ. Всѣ дороги къ основательному знанію чего-бы то ни было завалены для Клары обычаями и понятіями среды. Эти дороги расчистились-бы для нея только въ томъ случаѣ, если-бы она отдала свою любовь и свою жизнь въ руки человѣка, страстно преданнаго высшимъ умственнымъ наслажденіямъ. Этого съ ней не случилось, и ей пришлось искать въ другомъ мѣстѣ серьезнаго содержанія для своей жизни.

У нея достало-бы силы и глубины чувства на то, чтобы наполнить свою жизнь самой нѣжной, неутомимой и внимательной любовью къ мужу и къ дѣтямъ; она была-бы вполнѣ способна сдѣлаться образцовой женой и матерью и найти въ исполненіи этихъ обязанностей свое полное счастье, но для этого ей необходимо было содѣйствіе мужа; ей необходимо было, чтобы этотъ человѣкъ по крайней мѣрѣ понималъ ея любовь, чтобы онъ былъ счастливъ этой любовью, чтобы онъ нуждался въ ея нѣжности и заботливости, чтобы любовь и для него самого была серьезнымъ и святымъ дѣломъ, чтобы, однимъ словомъ, бисеръ не разсыпался на полъ передъ существомъ, попирающимъ его ногами.

У Фердинанда Дефе характеръ, напротивъ того, стоитъ вполнѣ въ уровень съ требованіями его общества. Онъ не хуже и не лучше другихъ, не мельче и не глубже. Ему отсутствіе въ жизни серьезнаго и всепоглощающаго интереса и пестрое обиліе мелкихъ заботъ и мелкихъ развлеченій доставляетъ истинное удовольствіе. Ему очень пріятно обнять и поцѣловать красивую, молодую жену, по такъ-же пріятно уйти отъ нея на нѣсколько часовъ и провести цѣлый вечеръ въ трактирѣ, истребляя съ пріятелями иворское вино. Онъ не можетъ имѣть ни одного преданнаго друга, но зато у него множество добрыхъ пріятелей, и весь свѣтъ считаетъ его за отличнаго человѣка. Онъ никого не способенъ любить сильно, и его тяготитъ сильное чувство, когда онъ самъ внушаетъ его другому лицу. Онъ по-своему любитъ жену: онъ цѣлуетъ ее съ неподдѣльнымъ увлеченіемъ; ему было-бы тяжело разстаться съ ней надолго; онъ-бы съ радостью увидѣлъ ее послѣ разлуки; ему хочется, чтобы она была весела и здорова и чтобы ей хорошо было жить на свѣтѣ; ему было бы очень тяжело и, главное, до смерти досадно, если-бы она ему измѣнила; но онъ не дорожитъ каждой минутой, которую онъ можетъ провести съ ней наединѣ; онъ не думаетъ часто и упорно о томъ, чтобы доставить ей удовольствіе; онъ не старается угадывать и предупреждать ея желанія, и онъ желалъ-бы, чтобы жена, оказывая ему полное повиновеніе, соблюдая въ домѣ порядокъ и подавая ему на столъ отлично-приготовленныя блюда, любила его съ должной умѣренностью; проявленія сильнаго чувства съ ея стороны ему положительно непріятны; когда онъ, послѣ продолжительнаго засѣданія въ холостой компаніи, возвращается домой и застаетъ жену въ слезахъ, то эти слезы, вмѣсто того, чтобы тронуть его, какъ симптомъ ея нѣжной, тревожной любви, раздражаютъ его, какъ нѣкой укоръ. Онъ хочетъ, чтобы жена умѣла обходиться безъ него, чтобы она веселилась сама по себѣ, болтая съ знакомыми дамами, чтобы слѣдовательно она любила его поменьше и силой своей любви не отравляла ему его собственныя увеселенія. Клара, какъ женщина искренняя, отдающая любимому человѣку всю свою душу, неумѣющая любить въ половину, неспособная отпускать выраженія своего чувства мѣрой и вѣсомъ, сообразуясь съ обстоятельствами и съ настроеніемъ своего властелина, Клара не можетъ долго нравиться такому человѣку, какъ Дефе. Ему нужна кокетка, умная и хитрая женщина, которая знала-бы его вдоль и поперекъ, понимала-бы его насквозь, видѣла-бы всѣ его слабыя стороны и умѣла-бы въ должное время натягивать и отпускать, затрогивать и подергивать, раздражать и успокаивать всѣ фибры его нервной системы, постоянно сохраняя при этомъ то хладнокровіе и присутствіе духа, посредствомъ котораго укротитель звѣрей господствуетъ надъ своими свирѣпыми питомцами.

Такая кокетка овладѣваетъ Фердинандомъ Дефе въ первый-же годъ послѣ его женитьбы. Для Клары начинаются жестокія мученія ревности. Она чувствуетъ себя совершенно несчастной, и ея страданія оказываются особенно сильными потому, что она не знаетъ на что рѣшиться, и не умѣетъ держаться ясно обозначеннаго образа дѣйствій. Съ одной стороны ей противны ласки мужа, съ тѣхъ поръ какъ она узнала, что онъ ее обманываетъ; съ другой стороны она боится скандаловъ и не смѣетъ уѣхать въ домъ своего отца, чтобы разомъ покончить ложныя и мучительныя отношенія; полное и откровенное примиреніе для нея невозможно; на разрывъ у нея не хватаетъ смѣлости и силы. Фердинандъ проситъ у нея прощенія, обѣщаетъ ей не видаться съ своей возлюбленной—и нарушаетъ свое обѣщаніе; Клара плачетъ, когда онъ проситъ прощенія, плачетъ, когда онъ, раздраженный ея слезами, уходитъ отъ нея,—плачетъ и доводитъ себя до истерики, когда убѣждается въ непрочности или неискренности его раскаянія.

Клара съ двухъ сторонъ получаетъ взаимнопротивоположные совѣты: съ одной стороны ея мать, дожившая до сѣдыхъ волосъ въ безропотной покорности и совершенно освоившаяся съ той мыслью, что мужчина долженъ господствовать, и что ему нельзя ставить въ строку всякую легкую шалость, — совѣтуетъ ей быть ласковѣе съ мужемъ и утѣшаетъ ее тѣмъ, что

мужу надоѣстъ наконецъ дурная жизнь, и что онъ вернется къ ней, если будетъ видѣть съ ея стороны постоянную кротость, внимательность и заботливость; съ другой стороны Матильда самымъ энергическимъ образомъ старается возбудить въ ней чувство собственнаго достоинства.

Клара колеблется изъ стороны въ сторону и своей нерѣшимостью устраиваетъ себѣ домашній адъ, изъ котораго она не осмѣливается вырваться; всѣ ея волненія происходятъ во время первой ея беременности; ребенокъ родится слабый, болѣзненный и до крайности раздражительный; Клара обращаетъ на него всю свою заботливую нѣжность; ея неутомимыя попеченія едва достаточны для того, чтобы поддерживать его жизнь; она проводитъ надъ его колыбелью безсонныя ночи; она успокоиваетъ его своими тихими ласками; Фердинандъ, разумѣется, по-прежнему ничего не понимаетъ и не цѣнитъ; ему досадно, что у него родился такой хилый ребенокъ; ему надоѣдаютъ его слезы и крики; бросая изрѣдка разсѣянный и высокомѣрный взглядъ на хлопоты и тревоги, совершающіяся въ дѣтской, не давая себѣ труда вникнуть въ дѣло и не умѣя убѣдиться въ томъ, что всѣ принимаемыя мѣры рѣшительно необходимы и вызваны дѣйствительными немощами ребенка, Фердинандъ даетъ себѣ право критиковать распоряженія молодой матери, относиться насмѣшливо къ ея самоотверженной нѣжности и даже утверждать, что ребенка разслабляютъ и губятъ именно тѣми попеченіями, которыми поддерживается его слабо мерцающая жизнь.

Сталкиваясь на каждомъ шагу съ этимъ грубымъ и бездушнымъ непониманіемъ, Клара понемногу огораживаетъ отъ мужа свою внутреннюю жизнь, міръ своихъ материнскихъ радостей и огорченій, опасеній и надеждъ, такой стѣной, за которую не проникаетъ и не старается проникнуть никто, кромѣ ея матери и младшей сестры. Мужу нѣтъ дѣла до того, что́ думаетъ и чувствуетъ Клара; но, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ первыхъ родовъ Клары, мужъ замѣчаетъ, что она очень поправилась и похорошѣла, и что ее опять можно обнимать и цѣловать съ немалымъ удовольствіемъ; къ тому-же у него въ это время происходитъ размолвка съ любовницей; онъ роняетъ нѣсколько милостивыхъ и ласковыхъ словъ, онъ проситъ Клару забыть все прошлое и приходитъ въ сильнѣйшее негодованіе, видя, что Клара не считаетъ себя осчастливленной его возвращеніемъ къ ней и даже уклоняется отъ его распростертыхъ объятій. Начинаются ежедневныя семейныя непріятности. Мужъ мститъ женѣ за то, что она страдаетъ отъ нанесенныхъ ей оскорбленій и продолжаетъ страдать даже тогда, когда ему, властелину, угодно веселиться, милостиво любезничать и забыть тѣ оскорбленія, которыя онъ нанесъ. Энергія Клары истощается. Когда, послѣ нѣсколькихъ недѣль самыхъ непріязненныхъ отношеній, мужъ снова заговариваетъ съ ней ласково, она сдается на его примирительныя предложенія и пытается снова устроить себѣ семейное счастье. Изъ этихъ попытокъ ничего не выходитъ, и въ результатѣ ихъ получается только новая беременность. Затѣмъ Дефе снова сближается съ своей любовницей: неудовольствія между супругами растутъ; Клара, доведенная до отчаянія, дѣлаетъ мужу сильную сцену въ его конторѣ, гдѣ она застаетъ его вмѣстѣ съ его любовницей; послѣ этой сцены супруги начинаютъ ненавидѣть другъ-друга; въ ихъ домѣ водворяется мрачная и душная тишина; они перестаютъ говорить между собой; изрѣдка между ними происходятъ бурныя столкновенія, которыя пугаютъ впечатлительнаго ребенка и иногда доводятъ его до нервныхъ припадковъ; наконецъ Клара уѣзжаетъ къ отцу, съ тѣмъ, чтобы никогда не возвращаться въ домъ мужа. Общественное мнѣніе въ одно время и осуждаетъ, и оправдываетъ обоихъ супруговъ: Клара виновата въ томъ, что была слишкомъ требовательна и не умѣла сносить терпѣливо со стороны своего мужа такіе проступки, въ которые впадаетъ большинство мужчинъ и изъ-за которыхъ не стоило разрушать семейный союзъ и огорчать свѣтъ печальнымъ скандаломъ; но съ другой стороны Клара до нѣкоторой степени права: ей нельзя было дольше терпѣть, ей необходимо было принять противъ мужа какія-нибудь рѣшительныя мѣры, потому что мужъ разорялся на свою Фонжалла и могъ затратить тѣ деньги, которыя онъ получилъ въ приданое за женой. Фердинандъ виноватъ именно тѣмъ, что разорялся; но съ другой стороны и онъ тоже до нѣкоторой степени правъ: жена его — плакса, капризная, непокорная женщина; она не умѣла угождать ему, она пыла по поводу всякой мелочи, она дулась на мужа, вмѣсто того чтобы улыбаться ему, она не умѣла составить его счастье; поневолѣ онъ долженъ былъ искать на сторонѣ кое-какую замѣну того, чего онъ не находилъ у себя дома.

Такимъ образомъ общественное мнѣніе считаетъ серьезной и заслуживающей вниманія только ту сторону дѣла, гдѣ затрогиваются денежные интересы; все остальное — мелочи, неосязаемыя и невѣсомыя сантиментальности, о которыхъ можно съ удовольствіемъ поболтать для препровожденія времени, изъ-за которыхъ не стоитъ осуждать порядочнаго человѣка; измѣнилъ женѣ, обманулъ ея любовь, разбилъ ея счастье, измучилъ бѣдную женщину — все это чувствительныя фразы, къ которымъ разсуждающее мѣщанство относится съ самымъ солиднымъ и непобѣдимымъ недовѣ-

ріемъ. Чѣмъ-же онъ въ самомъ дѣлѣ измѣнилъ и обманулъ, когда онъ проводитъ ночи дома, когда онъ подходитъ къ женѣ съ ласками, и когда она же, напротивъ того, его отталкиваетъ? И чѣмъ несчастлива эта женщина? Развѣ ее бьютъ, развѣ она голодна, развѣ она ходитъ въ лохмотьяхъ, развѣ у нея отнимаютъ дѣтей? Развѣ наконецъ всякая другая на ея мѣстѣ не благословляла-бы Бога за ниспосланное ей счастье? И кромѣ того, если побивать камнями всякаго мужа, сдѣлавшаго женѣ маленькую невѣрность съ соблюденіемъ всѣхъ приличій, то скоро всѣ мужья будутъ побиты, и тогда кто-же будетъ защищать отечество?

Мужчины оправдываютъ Фердинанда Дефе потому, что видятъ въ немъ одного изъ своихъ, одного изъ господствующихъ, одного изъ тѣхъ, за кѣмъ должно быть упрочено право давать нѣкоторый просторъ человѣческимъ слабостямъ. Женщины тоже оправдываютъ его по тому чувству, по которому рабы, несмѣющіе взбунтоваться, помогаютъ своимъ господамъ усмирять другихъ рабовъ, менѣе терпѣливыхъ или болѣе предпріимчивыхъ. Мы-же новинуемся, думаютъ женщины. Мы-же смотримъ снисходительно на шалости нашихъ господъ. Мы-же не поднимаемъ воплей, не лѣземъ на стѣны и не считаемъ себя несчастными изъ-за всякой бездѣлицы. Изъ чего-же она-то шумитъ и убивается? Чѣмъ она лучше насъ? И какъ она смѣетъ быть недовольной тѣмъ, чѣмъ каждая изъ насъ была-бы довольна?

Мужчины и женщины, осуждающіе Клару, до нѣкоторой степени правы. Настоящая причина ея страданій заключается дѣйствительно не столько въ томъ, что ее окружаетъ, сколько въ ней самой, въ ея характерѣ, въ роковой несоразмѣрности между ея нравственными потребностями и ея силами. Ея не удовлетворяетъ обыкновенное, рядовое, казенное счастье, то, что называютъ счастьемъ ея знакомыя и подруги; такое счастье ее тѣснитъ; она видитъ и чувствуетъ въ немъ много горькой и грязной примѣси; ей нужно счастье гораздо болѣе чистое, полное, глубокое и разумное, а между тѣмъ у нея нѣтъ ни смѣлости, ни силъ на то, чтобы рѣшительно приняться за расширеніе и очищеніе своего существованія. Она чувствуетъ, что ей душно, и плачетъ отъ стѣсненія въ груди, но она не задаетъ себѣ вопроса: отчего мнѣ душно? что именно мѣшаетъ мнѣ дышать? Когда отвѣтъ на этотъ непоставленный вопросъ самъ кидается ей въ глаза, она сейчасъ отскакиваетъ отъ него назадъ подъ прикрытіе своего долга, подъ защиту нравственныхъ сентенцій, вколованныхъ маменькой и пасторомъ; развитіе свободной и освобождающей мысли подавляются въ зародышѣ, и Клара, продолжая страдать отъ духоты, продолжаетъ относиться съ неизмѣннымъ подобострастіемъ ко всѣмъ ея причинамъ.

Послѣ отъѣзда Клары отъ мужа, ея отецъ, взволнованный той опасностью, которая грозитъ ея приданому, начинаетъ хлопотать о разводѣ. Завязавшееся судебное дѣло осложняется тѣмъ обстоятельствамъ, что двое свидѣтелей, представленныхъ Фердинандомъ, разсказываютъ въ судѣ подслушанную и подсмотрѣнную ими нѣжную сцену, происходившую между Кларою и Камилемъ. Дѣло заканчивается разводомъ, съ тѣмъ, чтобы сынъ былъ отданъ отцу, а дочь осталась у матери. Клара отправляется къ своему бывшему мужу, упрашиваетъ его оставить ребенка у нея, и достигаетъ своей цѣли. Фердинандъ выговариваетъ себѣ только то условіе, чтобы она изрѣдка присылала дѣтей къ нему въ гости. Три года спустя Фердинандъ женится на госпожѣ Фонжалла и оставляетъ у себя своего сына, пришедшаго къ нему съ нянькой на нѣсколько часовъ. Клара напрасно напоминаетъ ему его обѣщаніе и умоляетъ возвратить ей ребенка, съ которымъ только она одна умѣетъ обращаться какъ слѣдуетъ. Фердинандъ остается неумолимымъ, и ребенокъ чахнетъ и слабѣетъ подъ руками отца и мачихи.

Чувствуя себя несчастной и одинокой, Клара выходитъ замужъ за Камиля, котораго она любитъ уже давно; но жизнь ея уже разбита; любовь Камиля не даетъ ей счастья; всѣ ея мысли направлены къ тому дому, гдѣ томится и изнываетъ ея сынъ; получивъ отъ своего бывшаго мужа извѣстіе объ опасной болѣзни маленькаго Фердинанда, она отправляется къ нему и проводитъ недѣлю у постели больного, въ домѣ, гдѣ хозяйничаетъ ея бывшая соперница. Ребенокъ умираетъ; мать уноситъ его трупъ къ себѣ; три дня держитъ его въ своихъ объятіяхъ и умираетъ тоже.

Клара умираетъ жертвой своей пассивности. Два событія имѣютъ рѣшительное и роковое вліяніе на ея жизнь: ея бракъ съ Фердинандомъ Дефе и ея разводъ, который запутываетъ дѣло, вмѣсто того чтобы поправить его Оба эти событія совершаются помимо ея воли; ея дѣйствіями управляетъ въ обоихъ случаяхъ мысль и воля ея отца; побудительной причиной являются въ обоихъ случаяхъ денежныя соображенія, т. е. такія, къ которымъ сама Клара почти равнодушна. Въ обоихъ случаяхъ у нея были личные интересы, шедшіе въ разрѣзъ съ тѣмъ рѣшеніемъ, которое она приняла, и въ обоихъ случаяхъ она безъ боя выдала эти интересы. Въ первомъ случаѣ у нея была зарождающаяся наклонность къ Камилю, но эта наклонность казалась ей до такой степени эксцентричной, беззаконной и лишенной всякой будущности, что она не дала себѣ труда оцѣнить тѣ шансы и задатки счастья, которые въ ней заключа-

лись. Во второмъ случаѣ, когда пришлось обсуживать вопросъ о разводѣ, у нея была любовь къ дѣтямъ и забота о ихъ участи. Но привычка жить чужимъ умомъ и подчиняться чужой волѣ была въ ней такъ сильна и неистребима, что она и тутъ положилась на своего отца, хотя не трудно было замѣтить, что въ его глазахъ вопросъ о томъ, будутъ-ли его внучата обладать капиталомъ въ тридцать тысячъ франковъ, былъ неизмѣримо важнѣе вопроса: гдѣ эти внучата будутъ жить и воспитываться: у Фердинанда или у Клары.

— Мы потребуемъ въ то же время, говоритъ старикъ Гранво своей дочери:—чтобы дѣти были оставлены у тебя до конца процесса.

— До конца процесса! повторила она съ испугомъ.—Конечно и послѣ тоже; это уже само собою. И на этихъ словахъ, произнесенныхъ мимоходомъ, на словахъ старика, въ глазахъ котораго денежный вопросъ покрываетъ всѣ остальные, Клара основываетъ всѣ свои надежды. Ей даже въ голову не приходитъ переговорить лично съ опытнымъ юристомъ и спросить у него обстоятельно, какъ можетъ разыграться и чѣмъ можетъ окончиться то дѣло, которое затѣваетъ ея отецъ, воодушевленный мыслью о спасеніи тридцати тысячъ франковъ. Полагаясь на эти слова: «и послѣ тоже», Клара отправляется въ судъ вмѣстѣ съ отцомъ, а потомъ, разумѣется, приходитъ въ отчаяніе, и послѣ рѣшенія дѣла предлагаетъ своему бывшему мужу несбыточный планъ, которымъ могъ-бы увлечься только какой-нибудь восторженный и страстно влюбленный въ нее юноша.

«Послушай—говоритъ она ему—любовники, чтобы жить вмѣстѣ, бѣгутъ изъ отечества. Чтобы сохранить нашихъ дѣтей и религію нашего очага, убѣжимъ мы тоже. Въ другой странѣ мы забудемъ все то, что мучило насъ здѣсь. Мы найдемъ тамъ счастье, клянусь тебѣ, если это только зависитъ отъ меня. Мы начнемъ тамъ новую жизнь».

Все это она говоритъ любовнику госпожи Фонжалла,—человѣку, который въ судѣ систематически, холодно и обдуманно клеветалъ на свою жену и подбиралъ противъ нея показанія подкупленныхъ домашнихъ шпіоновъ. Представьте себѣ, что охотникъ, отправившійся на медвѣдя, встрѣтившись съ нимъ лицомъ къ лицу, вдругъ бросаетъ ружье и рогатину, падаетъ на колѣни и произноситъ трогательную рѣчь о томъ, что онъ—отецъ семейства, и что его ждутъ дома жена и дѣти, которыя безъ него погибнутъ отъ горя и отъ лишеній. Если въ результатѣ этой трогательной рѣчи получится трагическая смерть оратора и плачевная гибель жены и дѣтей, то врядъ-ли кто-нибудь увидитъ въ этой развязкѣ что-нибудь неожиданное и удивительное. Далѣе, рѣчъ охотника никому не покажется выраженіемъ его благороднаго образа мыслей и его непоколебимой вѣры въ силу добра, истины и красоты, а только послужитъ несомнѣннымъ доказательствомъ его безпредѣльной трусости. То-же можно сказать и о Кларѣ. Ея предложеніе было смѣло и оригинально, но оно вовсе не свидѣтельствуетъ въ пользу ея энергіи и самостоятельности. Оно доказываетъ только, что она всегда и вездѣ умѣетъ лишь страдать, плакать и умолять. Захотятъ ее помиловать и осчастливить—она будетъ жить и радоваться, и смотрѣть добрыми и ласковыми глазами въ глаза великодушнаго человѣка, защитившаго и пригрѣвшаго ея убожество. Захотятъ ее раздавить—она поплачетъ и умретъ. Такихъ людей обыкновенно давятъ, потому что на свѣтѣ гораздо больше приличныхъ медвѣдей, подобныхъ Фердинанду Дефе, чѣмъ рыцарей безъ страха и упрека вродѣ Камиля.

Несмотря на всѣ усилія автора сдѣлать изъ этого Камиля живое и симпатичное лицо, онъ остается очень блѣдной и недорисованной фигурой безъ плоти и крови. Онъ просто *jeune premier*, и это все, что о немъ можно сказать. По профессіи—живописецъ, по идеямъ—либералъ, сочувствуетъ высокому и прекрасному, ведетъ себя, какъ настоящій джентльменъ, любитъ и страдаетъ, способенъ носить и хранить въ душѣ пламень безнадежной страсти, способенъ наслаждаться высокими радостями платонической любви, нѣженъ и пылокъ, не нарушая законовъ нравственности и не требуя отъ любимой женщины ничего противнаго ея цѣломудрію,—вотъ все, что мы знаемъ о Камилѣ; очень многія и при томъ самыя важныя стороны этого характера остаются неразъясненными. Онъ стоитъ выше окружающей среды; авторъ противополагаетъ его Фердинанду, какъ настоящему продукту изображаемаго общества; но мы не видимъ, какая сила подняла и поддерживаетъ Камиля на той высотѣ, на которую автору угодно было его поставить; мы не видимъ ни того пути, которымъ Камиль пришелъ къ своему, болѣе вѣрному и глубокому взгляду на жизнь, ни того вліянія, которое этотъ взглядъ обнаруживаетъ на всю совокупность его поступковъ, ни даже самаго этого взгляда во всей его полнотѣ и ясности. Мы видимъ, что Камиль любитъ женщину и относится къ ней деликатно; но кто такой этотъ Камиль, и что онъ полюбилъ въ Кларѣ, и какъ возникло и развилось въ немъ чувство — этого мы совсѣмъ не видимъ.

Рядомъ съ романомъ Клары, Фердинанда и Камиля идетъ романъ Клариной сестры, Анны, и ея двоюроднаго брата, Этьенна Саржа. Два послѣдніе характера очерчены замѣчательно хорошо. Анна—одна изъ тѣхъ женщинъ, которыми любовь овладѣваетъ безраздѣльно и разъ навсегда. Анна можетъ полюбить человѣка только за то свойство, которое составляетъ са-

мое основаніе его характера; убѣдившись въ томъ, что это основаніе хорошо, свѣжо и чисто, почувствовавъ къ нему глубокое и сильное влеченіе, привязавшись къ человѣку за то хорошее, свѣжее и чистое, что́ она въ немъ открыла и оцѣнила, Анна прощаетъ ему всѣ его слабости, оплошности, унизительныя неудачи и позорныя паденія. Она беретъ характеръ любимаго человѣка со всѣми его пятнами и пробѣлами, видитъ и понимаетъ, что́ въ немъ дурно и слабо, и все-таки продолжаетъ любить его, несмотря на его недостатки, съ которыми она не мирится ни на одну минуту. Она употребляетъ всѣ усилія и пускаетъ въ ходъ все свое вліяніе, чтобы поднять любимаго человѣка на ноги, направить его на вѣрную дорогу и поддерживать его въ трудныя минуты борьбы и испытаній, но она не отвертывается отъ него и тогда, когда онъ слабѣетъ и падаетъ, когда онъ становится жертвой собственной шаткости и непослѣдовательности, и когда онъ такимъ образомъ всего больше нуждается въ поддержкѣ, въ ободреніи и въ согрѣвающей ласкѣ. Анна часто чувствуетъ состраданіе къ любимому человѣку, но въ этомъ состраданіи нѣтъ ничего оскорбительнаго; оно нисколько не унижаетъ того, кто становится его предметомъ; въ немъ нѣтъ ни малѣйшей примѣси презрѣнія; сама того не сознавая, Анна относится къ умственнымъ и нравственнымъ погрѣшностямъ человѣка такъ, какъ всѣ здравомыслящіе люди относятся къ тѣлеснымъ болѣзнямъ. Она отъ всей души желаетъ больному человѣку выздоровленія, она всѣми силами старается содѣйствовать этому выздоровленію, но негодовать на человѣка или отвертываться отъ него за то, что онъ боленъ, отвертываться тогда, когда онъ еще не превратился въ трупъ и не началъ разлагаться, она рѣшительно не въ состояніи.

Человѣкъ, любимый Анной, Этьеннъ Саржа́, родной братъ рѣшительной и самостоятельной Матильды, дѣйствительно нуждается въ большомъ снисхожденіи. Его можно сравнить съ очень хорошимъ, но совсѣмъ не настроеннымъ инструментомъ; можно его также сравнить съ долговязымъ юношей, который, входя въ гостиную, не знаетъ, какъ распорядиться своими длинными руками и ногами, все задѣваетъ, за все цѣпляется, все опрокидываетъ, конфузится, краснѣетъ, извиняется, стараясь поправиться, еще неудачнѣе разбрасываетъ руки и ноги, творитъ новыя бѣды, смущается еще сильнѣе и наконецъ становится мученіемъ разсчетливой хозяйки и посмѣшищемъ собравшихся гостей.

Этьеннъ очень неглупъ, добръ и честенъ, но всякая его способность и всякая страсть можетъ вдругъ развернуться въ немъ съ неожиданной силой и вовлечь ето въ цѣлый рядъ поступковъ, одинъ другого страннѣе и несообразнѣе. Онъ не можетъ сосредоточиться на какой-бы то ни было одной опредѣленной цѣли; отъ главной дороги, по которой онъ хочетъ и долженъ идти, на каждомъ шагу отдѣляются вправо и влѣво заманчивыя тропинки, и почти каждая изъ этихъ тропинокъ соблазняетъ его и заводитъ въ непроходимую глушь. То ему покажется, что тропинка вправо представляетъ значительныя выгоды, что по ней можно скорѣе и вѣрнѣе дойти до главной цѣли; то его вдругъ потянетъ на тропинку влѣво, потому что она сама по себѣ кажется ему очень привлекательной. Такъ, напримѣръ, любя Анну и любимый ею, Этьеннъ, по добротѣ душевной, навязываетъ себѣ на шею восемнадцатилѣтнюю нищую безъ рода и племени; эта нищая въ него влюбляется; онъ опять-таки по добротѣ, по безалаберности, по неумѣнью устоять противъ обаянія молодости, красоты и искренняго чувства становится любовникомъ этой нищей, не любя ея нисколько, и доводитъ Анну, которую онъ любитъ больше всего на свѣтѣ, до первой горячки. Потомъ онъ вдругъ увлекается предложеніемъ одного бахвала, Монадье, которому онъ самъ знаетъ цѣну, бросаетъ свою должность, доставляющую ему опредѣленное жалованье, и начинаетъ заниматься изготовленіемъ новой ваксы, такъ удачно составленной, что сапоги и башмаки отъ ея краснѣютъ, вмѣсто того, чтобы чернѣть.

Путемъ всѣхъ этихъ разнообразныхъ предпріятій, путемъ дѣланія негодной ваксы и путемъ приживанія дѣтей съ нищей, неполучившей никакого образованія и неумѣющей трудиться, добродушный Этьеннъ приходитъ все къ одному и тому-же результату, именно къ неимовѣрно быстрому размноженію и приращенію своихъ долговъ. Достиженіемъ такого результата Этьеннъ конечно губитъ себя во мнѣніи общества, привыкшаго измѣрять достоинство человѣка успѣхомъ его денежныхъ спекуляцій; кромѣ того онъ ставитъ себя въ такія положенія, которыя дѣйствительно нельзя назвать ни удобными, ни почетными. Но Анна, несмотря на то, что она не можетъ противопоставить сужденіямъ окружающаго общества свою собственную, строго-выработанную и продуманную теорію, чувствуетъ однако, что можно запутаться, замотаться, разориться, задолжать, и все-таки остаться при этомъ человѣкомъ, вполнѣ способнымъ ко всему хорошему и вполнѣ достойнымъ любви и уваженія. Она прощаетъ все, даже и приживаніе дѣтей съ нищей бродягой, и Этьеннъ въ концѣ-концовъ оправдываетъ ея довѣріе. Онъ уходитъ изъ родного города, становится отличнымъ волонтеромъ въ арміи Гарибальди, отличается въ сраженіяхъ, потомъ возвращается домой, женится на Аннѣ, и при ея содѣйствіи дѣлается почти совершенно разсудительнымъ человѣкомъ.

Матильда Саржа́ составляетъ рѣшительную

противоположность Этьенна. Въ ней умъ рѣшительно преобладаетъ надъ чувствомъ. Она можетъ пристращаться только къ идеямъ. Человѣка она способна любить только тогда, когда онъ является чистымъ и сильнымъ представителемъ любимой ея идеи. Слабостей она не терпитъ ни въ самой себѣ, ни въ другихъ. Она — воплощенная логика. Къ каждому вопросу въ жизни она подходитъ, какъ къ математической задачѣ; все она анализируетъ, взвѣшиваетъ, измѣряетъ, и результатомъ изслѣдованія оказывается обыкновенно смѣлое и рѣзкое рѣшеніе, которое она проводитъ въ жизнь, не смущаясь никакими препятствіями. Ей иногда случается разрубать узлы, вмѣсто того чтобы ихъ развязывать, но ея угловатости и рѣзкости достаточно объясняются силой и упорствомъ тѣхъ предразсудковъ, съ которыми ей на каждомъ шагу приходится сталкиваться лицомъ къ лицу, чтобы отстаивать отъ ихъ напора самобытность своей умственной жизни. Вообще-же Матильда умнѣе, сильнѣе и образованнѣе всѣхъ женщинъ, появляющихся въ романѣ «Разводъ». Любопытно замѣтить, что для нея авторъ не находитъ достойнаго спутника жизни въ томъ обществѣ, которое ее окружаетъ. Авторъ, относясь впрочемъ не совсѣмъ доброжелательно къ ея рѣзкимъ выходкамъ, выписываетъ ей жениха издалека, изъ Россіи.

Въ Швейцарію пріѣзжаетъ воспитанникъ ея отца, графъ Дмитрій Черковъ, рѣшившійся посвятить всю свою жизнь прочному и радикальному освобожденію многихъ тысячъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ. Этотъ юный русскій графъ и радикалъ остается лицомъ еще гораздо болѣе туманнымъ, чѣмъ интересный *jeune premier* Камиль. О немъ мы только и узнаемъ, что онъ въ Швейцаріи, въ концѣ весны, носитъ какіе-то мягкіе сапоги (bottes molles), должно быть валенки, и мѣховую шапку (toque bordée de fourrures), что онъ все больше молчитъ и внимательно слушаетъ, и что онъ собирается дѣлать въ Россіи какія-то очень хорошія и очень опасныя дѣла, о которыхъ Андре Лео имѣетъ очевидно самыя смутныя и даже совершенно фантастическія понятія. Этотъ графъ Черковъ замѣчателенъ только какъ признаніе существующей потребности, которую покамѣсть нечѣмъ удовлетворить. Андре Лео чувствуетъ, что для разрушенія съузившихся и одряхлѣвшихъ формъ мѣщанской жизни требуется появленіе новаго типа общественнаго дѣятеля, а между тѣмъ вылѣпить этого дѣятеля изъ матеріала, имѣющагося подъ-руками, не представляется ни малѣйшей возможности. Вотъ и выписывается загадочный и фантастическій дѣятель въ мѣховой шапкѣ изъ далекой и малоизвѣстной страны. Пріемъ точь-въ-точь такой-же, какой употребляли древніе поэты, когда они, мечтая о золотомъ вѣкѣ, воображали себѣ, что этотъ вѣкъ существуетъ въ странѣ гипербореевъ, на крайнемъ сѣверѣ, или у блаженныхъ эѳіоповъ, въ неизвѣданныхъ частяхъ тропической Африки.

IX.

Объ остальныхъ романахъ Лео я скажу всего по нѣскольку словъ. Они гораздо менѣе замѣчательны, чѣмъ «Возмутительный бракъ» и «Разводъ». Въ нихъ нѣтъ новыхъ и ярко выдающихся характеровъ, но отрицательное отношеніе къ мѣщанской средѣ строго выдержано во всѣхъ произведеніяхъ этого писателя. Вездѣ героевъ опутываетъ грязная сѣть глупыхъ и ядовитыхъ сплетенъ; вездѣ ихъ тяготитъ душная атмосфера праздной, жадной, тщеславной, завистливой и бдительной мѣщанской ограниченности. Въ «Старой Дѣвѣ» эта душная атмосфера внушаетъ умной молодой дѣвушкѣ, неимѣющей состоянія и слѣдовательно немогущей разсчитывать на женіховъ, странную мысль надѣть раньше времени старушечье платье и старушечій чепецъ, чтобы добрые сосѣди и знакомые почислили ея жизнь законченною и навсегда избавили ее отъ толковъ и соболѣзнованій о ея одиноко увядающей молодости. Въ «Жакѣ Галеронѣ» сплетни и интриги глупыхъ мѣщанъ и мѣщанокъ отнимаютъ мѣсто школьнаго учителя и насущный кусокъ хлѣба у честнаго и трудолюбиваго молодого человѣка. Въ романѣ «Идеалъ въ деревнѣ», въ которомъ завязка и главные характеры нисколько не замѣчательны, мы видимъ въ нѣсколькихъ второстепенныхъ эпизодахъ, какъ люди изъ народа по мѣрѣ силъ копируютъ мѣщанство и стремятся, вслѣдъ за нимъ, къ тѣмъ-же мелкимъ и суетнымъ цѣлямъ. Деревенская красавица, Роза Дешанъ, мечтаетъ только о томъ, чтобы сдѣлаться барыней, и старается продать себя въ законныя супруги богатому человѣку, котораго она не любитъ и который внушаетъ ей почти отвращеніе; и она старается объ этомъ въ то самое время, когда ей нравится другой.

Горшечникъ Патрисъ, обнаруживающій способности къ живописи, начинаетъ брать даровые уроки у заѣзжаго парижскаго художника, воображаетъ себя геніальнымъ человѣкомъ и, по праву генія, отказывается жениться на крестьянкѣ Маріеттѣ, объясняя ей при этомъ, что «геній—это пламя! демонъ! такая штука, что... наконецъ становишься гордымъ, великимъ, презираешь другихъ», и что наконецъ какъ-же можно будетъ генію, великому человѣку, идти въ Парижѣ подъ-руку съ женой-мужичкой.

Кухарка мадамъ Арсенъ, племянница камердинера князя Лихтенштейнскаго, поступаетъ на мѣсто къ людямъ, которыхъ она считаетъ богатыми, поступаетъ преимущественно изъ тщеславія, чтобы блескъ ихъ величія падалъ на

нее, и чтобы всѣ въ деревнѣ знали, что она служитъ богатымъ и знатнымъ людямъ; чтобы поддерживать ихъ блескъ, она ихъ разоряетъ каждый день на лишнія кушанья, которыхъ никто ей не заказываетъ, и потомъ, когда хозяйка рѣшительно приказываетъ ей ограничить расходы, она отходитъ съ негодованіемъ, какъ будто ей нанесено личное оскорбленіе. Ее смѣняетъ простодушнѣйшая мужичка, Дусета, ходившая до того времени за овцами и неумѣющая ни за что взяться. И эта Дусета, при всей своей неумѣлости, поддается вліянію цивилизаціи и просиживаетъ нѣсколько ночей напролетъ, чтобы соорудить себѣ безобразнѣйшій кринолинъ. Эти эпизоды, прямо выхваченные изъ жизни и насквозь проникнутые жизненной правдой, показываютъ достаточно ясно, какъ успѣшно мѣщанство проводитъ въ народъ свои чувства, понятія и стремленія, и какъ оно своимъ заразительнымъ вліяніемъ оттягиваетъ наступленіе того лучшаго будущаго, которое начнется тогда, когда народъ возвысится до самосознанія и до самоуваженія.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Теперь я долженъ еще сказать нѣсколько словъ о романѣ Андре Лео, котораго я не могъ достать, когда писалъ свою статью. Этотъ романъ: «Двѣ дочери г. Плишона» очень замѣчателенъ по своей идеѣ и читается съ большимъ интересомъ, несмотря даже на то, что форма для него выбрана самая неудачная и неблагодарная—форма переписки между двумя пріятелями.

Въ этомъ романѣ проводится параллель между двумя женскими характерами, изъ которыхъ одинъ составляетъ радость и гордость, а другой—стыдъ и огорченіе почтенной мѣщанской семьи. Герой романа—молодой человѣкъ, способный мыслить и чувствовать, любить людей, понимать природу, учиться и развиваться,—молодой человѣкъ, свѣжій и сильный, неопошлившійся и неиспорченный, хотя и потратившій нѣсколько лѣтъ жизни на пустыя забавы, влюбляется сначала въ младшую дочь Плишона, Бланшъ,—въ ту, которой гордятся родители, но потомъ разочаровывается и затѣмъ медленно, какъ будто упираясь и дивясь на самого себя, привязывается всѣми силами своего существа къ старшей сестрѣ Эдитѣ, которую родители считаютъ своимъ наказаніемъ и позоромъ.

Герой сначала раздѣляетъ относительно Эдиты тѣ предубѣжденія, которыми пропикнуты ея отецъ, ея сестра, ея тетка и даже, хотя и въ меньшей степени, ея мать. Эти предубѣжденія всѣ вытекаютъ изъ того обстоятельства, что Эдита нигдѣ, никогда, ни при какихъ условіяхъ и ни за что́ въ мірѣ не хочетъ выть съ волками, если она сама убѣждена, что волчье вытье несвойственно человѣческой природѣ и унижаетъ человѣческое достоинство. Герой Вильямъ де-Монсальванъ самъ вовсе не чувствуетъ влеченія къ волчьему вытью и къ подчиненію своей личной воли и мысли стаднымъ инстинктамъ и привычкамъ большинства. Онъ смотритъ сначала на Эдиту съ суровымъ недовѣріемъ собственно потому, что видитъ ея странное изолированное положеніе въ семействѣ, въ которомъ всѣ любятъ другъ-друга и смыкаются въ одну граціозно-нѣжную группу.

Онъ думаетъ, что если она стоитъ одиноко, если она со всѣми своими ближайшими родственниками обращается сухо и холодно, и если эти родственники въ свою очередь съ трудомъ переносятъ ея присутствіе, то въ этомъ безъ сомнѣнія виновата она, а не родственники, простые и добрые люди, которые отъ души рады были-бы ее любить, лишь-бы она сама не разливала вокругъ себя леденящаго холода.

Эти предубѣжденія Монсальвана уничтожаются одно за другимъ. Поживши въ почтенной мѣщанской семьѣ, посмотрѣвъ поближе на простыхъ и добрыхъ людей, Монсальванъ начинаетъ цѣнить ихъ по достоинству. Онъ убѣждается въ томъ, что его возлюбленная невѣста, граціозная красавица Бланшъ Плишонъ,—пустая, тупая, тщеславная дѣвушка, способная только украшать собой роскошную гостиную, кружиться въ бальной залѣ и развращать того мужчину, которому она будетъ принадлежать и который цѣной уступокъ, компромиссовъ и происковъ долженъ будетъ доставлять этому живому алмазу его драгоцѣнную оправу. Онъ убѣждается въ томъ, что его почтенный будущій тесть—пустой, тупой, тщеславный человѣкъ, никогда неимѣвшій никакихъ убѣжденій, никогда неимѣвшій понятія о томъ, что́ такое убѣжденіе, никогда не мыслившій, никого нелюбившій и всегда видѣвшій весь смыслъ жизни въ округленіи состоянія и въ пріобрѣтеніи мѣщанской респектабельности. Онъ убѣждается въ томъ, что его будущая тетушка—дряблая, сантиментальная старая дѣва, постоянно пробавляющаяся наивно-поддѣльными и приторно-мелкими чувствами, въ которыхъ нѣтъ ничего ни свѣжаго, ни сильнаго, ни искренняго. Онъ убѣждается въ томъ, что его будущая теща—хорошая женщина, привыкшая убирать все, что́ въ ней есть хорошаго, въ самые дальніе закоулки свой души, какъ старый и негодный хламъ, который неприлично показывать въ обществѣ и за который могутъ и должны осмѣять и осудить ее даже самые близкіе люди. Онъ убѣждается въ томъ, что эта милая женщина, всегда расположенная любить и прощать, и сама незнающая того, что она имѣетъ право про-

щать окружающихъ людей, что она одна любитъ и смутно понимаетъ гордую, чистую и глубоко страдающую душу Эдиты.

Изучивъ и осудивъ всю дрянь и мелочь почтенной мѣщанской семьи, понявъ и оцѣнивъ умъ и характеръ, силу и нѣжность Эдиты, Монсальванъ отдается ей безраздѣльно и безвозвратно, наполняетъ ея и свою жизнь полезнымъ трудомъ и становится вмѣстѣ съ ней вполнѣ хорошимъ и вполнѣ счастливымъ человѣкомъ.

Анатомія мѣщанской семьи, раскрываніе ея бездушной и подавляющей пошлости, наглядное и неотразимое доказываніе той истины, что сильный умъ и характеръ наводятъ ужасъ и возбуждаютъ ненависть въ нѣдрахъ добродѣтельной и чувствительной мѣщанской семьи именно потому, что они сильны и хороши,— вотъ сюжетъ романа Лео.

Развитіе этого сюжета превосходно, но распространяться о подробностяхъ выполненія я не буду, во-первыхъ потому, что статья моя и безъ того очень велика, а во вторыхъ потому, что редакція предполагаетъ помѣстить переводъ «Двухъ дочерей» въ «Отечественныхъ Запискахъ».

СТАРОЕ БАРСТВО.

(«Война и миръ». Сочиненіе графа Л. Н. Толстого. Томы I, II и III. Москва. 1868 г.)

I.

Новый, еще неоконченный романъ графа Л. Толстого можно назвать образцовымъ произведеніемъ по части патологіи русскаго общества. Въ этомъ романѣ цѣлый рядъ яркихъ и разнообразныхъ картинъ, написанныхъ съ самымъ величественнымъ и невозмутимымъ эпическимъ спокойствіемъ, ставитъ и рѣшаетъ вопросъ о томъ, что дѣлается съ человѣческими умами и характерами при такихъ условіяхъ, которыя даютъ людямъ возможность обходиться безъ знаній, безъ мыслей, безъ энергіи и безъ труда.

Очень можетъ быть, и даже очень вѣроятно, что графъ Толстой не имѣетъ въ виду постановки и рѣшенія такого вопроса. Очень вѣроятно, что онъ просто хочетъ нарисовать рядъ картинъ изъ жизни русскаго барства во времена Александра I. Онъ видитъ самъ и старается показать другимъ, отчетливо, до мельчайшихъ подробностей и оттѣнковъ, всѣ особенности, характеризующія тогдашнее время и тогдашнихъ людей,—людей того круга, который всего болѣе ему интересенъ или доступенъ его изученію. Онъ старается только быть правдивымъ и точнымъ; его усилія не клонятся къ тому, чтобы поддержать или опровергнуть создаваемыми образами какую-бы то ни было теоретическую идею; онъ по всей вѣроятности относится къ предмету своихъ продолжительныхъ и тщательныхъ изслѣдованій съ тою невольной и естественной нѣжностью, которую обыкновенно чувствуетъ даровитый историкъ къ далекому или близкому прошедшему, воскресающему подъ его руками; онъ быть можетъ находитъ даже въ особенностяхъ этого прошедшаго, въ фигурахъ и характерахъ выведенныхъ личностей, въ понятіяхъ и привычкахъ изображеннаго общества, многія черты, достойныя любви и уваженія. Все это можетъ быть, все это даже очень вѣроятно. Но именно оттого, что авторъ потратилъ много времени, труда и любви на изученіе и изображеніе эпохи и ея представителей, именно поэтому созданные имъ образы живутъ своей собственной жизнью, независимой отъ намѣренія автора, вступаютъ сами въ непосредственныя отношенія съ читателями, говорятъ сами за себя и неудержимо ведутъ читателя къ такимъ мыслямъ и заключеніямъ, которыхъ авторъ не имѣлъ въ виду, и которыхъ онъ быть можетъ даже не одобрилъ бы.

Эта правда, бьющая живымъ ключомъ изъ самихъ фактовъ, эта правда, прорывающаяся помимо личныхъ симпатій и убѣжденій разсказчика, особенно драгоцѣнна по своей неотразимой убѣдительности. Эту то правду, это шило, котораго нельзя утаить въ мѣшкѣ, мы постараемся теперь извлечь изъ романа графа Толстого.

Романъ «Война и миръ» представляетъ намъ цѣлый букетъ разнообразныхъ и превосходно отдѣланныхъ характеровъ, мужскихъ и женскихъ, старыхъ и молодыхъ. Особенно богатъ выборъ молодыхъ мужскихъ характеровъ. Мы начнемъ именно съ нихъ, и начнемъ съ низу, то-есть съ тѣхъ фигуръ, насчетъ которыхъ разногласіе почти невозможно, и которыхъ неудовлетворительность будетъ по всей вѣроятности признана всѣми читателями.

Первымъ портретомъ въ нашей картинной

галлереѣ будетъ князь Борисъ Друбецкой, молодой человѣкъ знатнаго происхожденія, съ именемъ и съ связями, но безъ состоянія, прокладывающій себѣ дорогу къ богатству и къ почестямъ своимъ умѣніемъ ладить съ людьми и пользоваться обстоятельствами. Первое изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыми онъ пользуется съ замѣчательнымъ искусствомъ и успѣхомъ,— это его родная мать, княгиня Анна Михайловна. Всякому извѣстно, что мать, просящая за сына, оказывается всегда и вездѣ самымъ усерднымъ, расторопнымъ, настойчивымъ, неутомимымъ и неустрашимымъ изъ адвокатовъ. Въ ея глазахъ цѣль оправдываетъ и освящаетъ всѣ средства, безъ малѣйшаго исключенія. Она готова просить, плакать, заискивать, подслуживаться, пресмыкаться, надоѣдать, глотать всевозможныя оскорбленія, лишь-бы только ей хоть съ досады, изъ желанія отвязаться отъ нея и прекратить ея докучливые вопли бросили наконецъ для сына назойливо требуемую подачку. Борису всѣ эти достоинства матери хорошо извѣстны. Онъ знаетъ также и то, что всѣ униженія, которымъ добровольно подвергаетъ себя любящая мать, нисколько не роняютъ сына, если только этотъ сынъ, пользуясь ея услугами, держитъ себя при этомъ съ достаточной, приличной самостоятельностью.

Борисъ выбираетъ себѣ роль почтительнаго и послушнаго сына, какъ самую выгодную и удобную для себя роль. Выгодна и удобна она во-первыхъ потому, что налагаетъ на него обязанность не мѣшать тѣмъ подвигамъ низкопоклонства, которыми мать кладетъ основаніе его блистательной карьерѣ. Во-вторыхъ, она выгодна и удобна тѣмъ, что выставляетъ его въ самомъ лучшемъ свѣтѣ въ глазахъ тѣхъ сильныхъ людей, отъ которыхъ зависитъ его преуспѣваніе. Какой примѣрный молодой человѣкъ! должны думать и говорить о немъ всѣ окружающіе. Сколько въ немъ благородной гордости, и какія великодушныя усилія употребляетъ онъ для того, чтобы изъ любви къ матери подавить въ себѣ слишкомъ порывистыя движенія юной неразсчетливой строптивости,—такія движенія, которыя могли-бы огорчить бѣдную старушку, сосредоточившую на карьерѣ сына всѣ свои помыслы и желанія. И какъ тщательно, какъ успѣшно онъ скрываетъ свои великодушныя усилія подъ личиной наружнаго спокойствія! Какъ онъ понимаетъ, что эти усилія самымъ фактомъ своего существованія могли-бы служить тяжелымъ укоромъ его бѣдной матери, совершенно ослѣпленной своими честолюбивыми материнскими мечтами и планами. Какой умъ, какой тактъ, какая сила характера, какое золотое сердце и какая утонченная деликатность!

Когда Анна Михайловна обиваетъ пороги милостивцевъ и благодѣтелей, Борисъ держитъ себя пассивно и спокойно, какъ человѣкъ, рѣшившійся разъ навсегда почтительно и съ достоинствомъ покоряться своей тяжелой и горькой участи, и покоряться такъ, чтобы всякій это видѣлъ, но чтобы никто не осмѣливался сказать ему съ теплымъ сочувствіемъ: «молодой человѣкъ, по вашимъ глазамъ, по вашему лицу, по всей вашей удрученной наружности я вижу ясно, что вы терпѣливо и мужественно несете тяжелый крестъ». Онъ ѣдетъ съ матерью къ умирающему богачу Безухову, на котораго Анна Михайловна возлагаетъ какія-то надежды, преимущественно потому, что «онъ такъ богатъ, а мы такъ бѣдны!» Онъ ѣдетъ, но даже самой матери своей даетъ почувствовать, что дѣлаетъ это исключительно для нея, что самъ не предвидитъ отъ этой поѣздки ничего, кромѣ униженія, и что есть такой предѣлъ, за которымъ ему можетъ измѣнить его покорность и его искусственное спокойствіе. Мистификація ведена такъ искусно, что сама Анна Михайловна боится своего почтительнаго сына, какъ вулкана, отъ котораго ежеминутно можно ожидать разрушительнаго изверженія; само собою разумѣется, что этой боязнью усиливается ея уваженіе къ сыну; она на каждомъ шагу оглядывается на него, проситъ его быть ласковымъ и внимательнымъ, напоминаетъ ему его обѣщанія, прикасается къ его рукѣ, чтобы, смотря по обстоятельствамъ, то успокоивать, то возбуждать его. Тревожась и суетясь такимъ образомъ, Анна Михайловна пребываетъ въ той твердой увѣренности, что безъ этихъ искусныхъ усилій и стараній съ ея стороны все пойдетъ прахомъ, и непреклонный Борисъ, если не прогнѣваетъ навсегда сильныхъ людей выходкой благороднаго негодованія, то по крайней мѣрѣ навѣрное заморозитъ ледяной холодностью обращенія всѣ сердца покровителей и благодѣтелей.

Если Борисъ такъ удачно мистифируетъ родную мать, женщину опытную и неглупую, у которой онъ выросъ на глазахъ, то, разумѣется, онъ еще легче и такъ-же успѣшно морочитъ посторонпихъ людей, съ которыми ему приходится имѣть дѣло. Онъ кланяется благодѣтелямъ и покровителямъ учтиво, но такъ спокойно и съ такимъ скромнымъ достоинствомъ, что сильныя лица сразу чувствуютъ необходимость посмотрѣть на него повнимательнѣе и выдѣлить его изъ толпы нуждающихся кліентовъ, за которыхъ просятъ докучливыя маменьки и тетушки. Онъ отвѣчаетъ имъ на ихъ небрежные вопросы точно и ясно, спокойно и почтительно, не выказывая ни досады на ихъ рѣзкій тонъ, ни желанія вступить съ ними въ дальнѣйшій разговоръ. Глядя на Бориса и выслушивая его спокойные отвѣты, покровители и благодѣтели немедленно проникаются тѣмъ убѣжденіемъ, что Борисъ, оставаясь въ границахъ строгой вѣжливости и безукоризненной

почтительности, никому не позволитъ помыкать собой и всегда съумѣетъ постоять за свою дворянскую честь. Являясь просителемъ и искателемъ, Борисъ умѣетъ свалить всю черную работу этого дѣла на мать, которая, разумѣется, съ величайшей готовностью подставляетъ свои старыя плечи и даже упрашиваетъ сына, чтобы онъ позволилъ ей устраивать его повышеніе. Предоставляя матери пресмыкаться передъ сильными лицами, Борисъ самъ умѣетъ оставаться чистымъ и изящнымъ, скромнымъ, но независимымъ джентльменомъ. Чистота, изящество, скромность, независимость и джентльменство, разумѣется, даютъ ему такія выгоды, которыхъ не могли-бы ему доставить жалобное попрошайничество и низкое угодничество. Ту подачку, которую можно бросить робкому замарашкѣ, едва осмѣливающемуся сидѣть на кончикѣ стула и стремящемуся поцѣловать благодѣтеля въ плечико, до крайности неудобно, конфузно и даже опасно предложить изящному юношѣ, въ которомъ приличная скромность уживается самымъ гармоническимъ образомъ съ неистребимымъ и вѣчно-бдительнымъ чувствомъ собственнаго достоинства. Такой постъ, на который совершенно невозможно было-бы поставить просто и откровенно пресмыкающагося просителя, въ высшей степени приличенъ для скромно-самостоятельнаго молодого человѣка, умѣющаго во-время поклониться, во-время улыбнуться, во-время сдѣлать серьезное и даже строгое лицо, во-время уступить или переубѣдиться, во-время обнаружить благородную стойкость, ни на минуту не утрачивая спокойнаго самообладанія и прилично почтительной развязности обращенія.

Патроны обыкновенно любятъ льстецовъ; имъ пріятно видѣть въ благоговѣніи окружающихъ людей невольную дань восторга, приносимую геніальности ихъ ума и несравненному превосходству ихъ нравственныхъ качествъ. Но, чтобы лесть производила пріятное впечатлѣніе, она должна быть достаточно тонка, и чѣмъ умнѣе тотъ человѣкъ, которому льстятъ, тѣмъ тоньше должна быть лесть, и чѣмъ она тоньше, тѣмъ пріятнѣе она дѣйствуетъ. Когда-же лесть оказывается на столько грубой, что тотъ человѣкъ, къ которому она обращается, можетъ распознать ея неискренность, то она способна произвести на него совершенно обратное дѣйствіе и серьезно повредить неискусному льстецу. Возьмемъ двоихъ льстецовъ: одинъ млѣетъ передъ своимъ патрономъ, во всемъ съ нимъ соглашается и ясно показываетъ всѣми своими дѣйствіями и словами, что у него нѣтъ ни собственной воли, ни собственнаго убѣжденія, что онъ, похваливши сейчасъ одно сужденіе патрона, готовъ черезъ минуту превознести другое сужденіе, діаметрально противоположное, лишьбы только оно было высказано тѣмъ-же патрономъ; другой, напротивъ того, умѣетъ показать, что ему, для угожденія патрону, нѣтъ ни малѣйшей надобности отказываться отъ своей умственной и нравственной самостоятельности, что всѣ сужденія патрона покоряютъ себѣ его умъ силой своей собственной неотразимой внутренней убѣдительности, что онъ повинуется патрону во всякую данную минуту не съ чувствомъ рабскаго страха и рабской корыстолюбивой угодливости, а съ живымъ и глубокимъ наслажденіемъ свободнаго человѣка, имѣвшаго счастье найти себѣ мудраго и великодушнаго руководителя. Понятное дѣло, что изъ этихъ двоихъ льстецовъ второй пойдетъ гораздо дальше перваго. Перваго будутъ кормить и презирать; перваго будутъ рядить въ шуты; перваго не пустятъ дальше той лакейской роли, которую онъ на себя принялъ въ близорукомъ ожиданіи будущихъ благъ; со вторымъ, напротивъ того, будутъ совѣтоваться; его могутъ полюбить; къ нему могутъ даже почувствовать уваженіе; его могутъ произвести въ друзья и наперсники. Великосвѣтскій Молчалинъ, князь Борисъ Друбецкой идетъ по этому второму пути и, разумѣется, высоко неся свою красивую голову и не марая кончика ногтей какой-бы то ни было работой, легко и быстро доберется этимъ путемъ до такихъ извѣстныхъ степеней, до которыхъ никогда не доползетъ простой Молчалинъ, простодушно подличающій и трепещущій передъ начальникомъ и смиренно наживающій себѣ раннюю сутуловатость за канцелярскими бумагами. Борисъ дѣйствуетъ въ жизни такъ, какъ ловкій и расторопный гимнастъ лѣзетъ на дерево. Становясь ногой на одну вѣтку, онъ уже отыскиваетъ глазами другую, за которую онъ въ слѣдующее мгновеніе могъ-бы ухватиться руками; его глаза и всѣ его помыслы направлены къ верху; когда рука его нашла себѣ надежную точку опоры, онъ уже совершенно забываетъ о той вѣткѣ, на которой онъ только-что сейчасъ стоялъ всей тяжестью своего тѣла и отъ которой его нога уже начинаетъ отдѣляться. На всѣхъ своихъ знакомыхъ и на всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми онъ можетъ познакомиться, Борисъ смотритъ именно какъ на вѣтки, расположенныя одна надъ другою, въ болѣе или менѣе отдаленномъ разстояніи отъ вершины огромнаго дерева, отъ той вершины, гдѣ искуснаго гимнаста ожидаетъ желанное успокоеніе среди роскоши, почестей и атрибутовъ власти.

Борисъ сразу, проницательнымъ взглядомъ даровитаго полководца или хорошаго шахматнаго игрока, схватываетъ взаимныя отношенія своихъ знакомыхъ, и тѣ пути, которые могутъ повести его отъ одного уже сдѣланнаго знакомства къ другому, еще манящему его къ себѣ, и отъ этого другого къ третьему, еще закутанному въ золотистый туманъ величественной не-

доступности. Съумѣвши показаться добродушному Пьеру Безухову *милымъ, умнымъ и твердымъ молодымъ человѣкомъ*, съумѣвши даже смутить и растрогать его своимъ умомъ и твердостью въ тотъ самый разъ, когда онъ вмѣстѣ съ матерью пріѣзжалъ къ старому графу Безухову просить на бѣдность и на гвардейскую обмундировку, Борисъ добываетъ себѣ отъ этого Пьера рекомендательное письмо къ адъютанту Кутузова, князю Андрею Болконскому, а черезъ Болконскаго знакомится съ генералъ-адъютантомъ Долгоруковымъ и попадаетъ самъ въ адъютанты къ какому-то важному лицу.

Поставивъ себя въ пріятельскія отношенія съ княземъ Болконскимъ, Борисъ тотчасъ осторожно отдѣляетъ ногу отъ той вѣтки, на которой онъ держался. Онъ немедленно начинаетъ исподволь ослаблять свою дружескую связь съ товарищемъ своего дѣтства, молодымъ графомъ Ростовымъ, у котораго онъ живалъ въ домѣ по цѣлымъ годамъ, и мать котораго только-что подарила ему, Борису, на обмундировку пятьсотъ рублей, принятыхъ княгиней Анной Михайловной со слезами умиленія и радостной благодарности. Послѣ полугодовой разлуки, послѣ походовъ и сраженій, выдержанныхъ молодымъ Ростовымъ, Борисъ встрѣчается съ нимъ, съ другомъ дѣтства, и въ это-же первое свиданіе Ростовъ замѣчаетъ, что Борису, къ которому въ это-же время приходитъ Болконскій, какъ-будто совѣстно вести дружескій разговоръ съ армейскимъ гусаромъ. Изящнаго гвардейскаго офицера Бориса коробитъ армейскій мундиръ и армейскія замашки молодого Ростова, а главное его смущаетъ та мысль, что Болконскій составитъ себѣ о немъ невыгодное мнѣніе, видя его дружескую короткость съ человѣкомъ дурного тона. Въ отношеніяхъ Бориса къ Ростову тотчасъ обнаруживается легкая натянутость, которая особенно удобна для Бориса именно тѣмъ, что къ ней невозможно придраться, что ее невозможно устранить откровенными объясненіями и что ее также очень трудно не замѣтить и не почувствовать. Благодаря этой тонкой натянутости, благодаря этому едва уловимому диссонансу, чуть - чуть царапающему нервы, человѣкъ дурного тона будетъ потихоньку удаленъ, не имѣя никакого повода жаловаться, обижаться и вламываться въ амбицію, а человѣкъ хорошаго тона увидитъ и замѣтитъ, что къ изящному гвардейскому офицеру, князю Борису Друбецкому, лѣзутъ въ друзья неделикатные молодые люди, которыхъ онъ кротко и граціозно умѣетъ отодвигать назадъ, на ихъ настоящее мѣсто.

Въ походѣ, на войнѣ, въ свѣтскихъ салонахъ — вездѣ Борисъ преслѣдуетъ одну и ту же цѣль, вездѣ онъ думаетъ исключительно или по крайней мѣрѣ прежде всего объ интересахъ своей карьеры. Пользуясь съ замѣчательной понятливостью всѣми мельчайшими указаніями опыта, Борисъ скоро превращаетъ въ сознательную и систематическую тактику то, что̀ прежде было для него дѣломъ инстинкта и счастливаго вдохновенія. Онъ составляетъ безошибочно вѣрную теорію карьеры и дѣйствуетъ по этой теоріи съ самымъ неуклоннымъ постоянствомъ. Познакомившись съ княземъ Болконскимъ и приблизившись черезъ него къ высшимъ сферамъ военной администраціи, Борисъ «ясно понялъ то, что̀ онъ предвидѣлъ прежде, именно то, что въ арміи, кромѣ той субординаціи и дисциплины, которая была написана въ уставѣ и которую знали въ полку и онъ зналъ, была другая, болѣе существенная субординація,—та, которая заставляла этого затянутаго, съ багровымъ лицомъ генерала почтительно дожидаться въ то время, какъ капитанъ князь Андрей для своего удовольствія находилъ болѣе удобнымъ разговаривать съ прапорщикомъ Друбецкимъ. Больше чѣмъ когда-нибудь Борисъ рѣшился служить впредь не по той писанной въ уставѣ, а по этой неписанной субординаціи. Онъ теперь чувствовалъ, что только вслѣдствіе того, что онъ былъ рекомендованъ князю Андрею, онъ уже сталъ сразу выше генерала, который въ другихъ случаяхъ, во фронтѣ, могъ уничтожить его, гвардейскаго прапорщика».

Основываясь на самыхъ ясныхъ и недвусмысленныхъ указаніяхъ опыта, Борисъ рѣшаетъ разъ навсегда, что служить лицамъ несравненно выгоднѣе, чѣмъ служить дѣлу, и, какъ человѣкъ, нисколько несвязанный въ своихъ дѣйствіяхъ неразсчетливой любовью къ какой-бы то ни было идеѣ или къ какому-бы то ни было дѣлу, онъ кладетъ себѣ за правило всегда служить только лицамъ и возлагать всегда все свое упованіе никакъ не на свои какія-нибудь собственныя дѣйствительныя достоинства, а только на свои хорошія отношенія къ вліятельнымъ лицамъ, умѣющимъ награждать и выводить въ люди своихъ вѣрныхъ и покорныхъ слугъ.

Въ случайно завязавшемся разговорѣ о службѣ Ростовъ говоритъ Борису, что ни къ кому не пойдетъ въ адъютанты, потому что это «лакейская должность». Борисъ, разумѣется, оказывается на столько свободнымъ отъ предразсудковъ, что его не смущаетъ рѣзкое и непріятное слово «лакей». Во-первыхъ, онъ понимаетъ, что *comparaison n'est pas raison*, и что между адъютантомъ и лакеемъ огромная разница, потому что перваго съ удовольствіемъ принимаютъ въ самыхъ блестящихъ гостиныхъ, а второго заставляютъ стоять въ передней и держать господскія шубы. Во-вторыхъ, понимаетъ онъ и то, что многимъ лакеямъ живется гораздо пріятнѣе, чѣмъ инымъ господамъ, имѣющимъ полное право считать себя доблестными

слугами отечества. Въ-третьихъ, онъ всегда готовъ самъ надѣть какую-угодно ливрею, если только она быстро и вѣрно поведетъ его къ цѣли. Это онъ и высказываетъ Ростову, говоря ему, въ отвѣтъ на его выходку объ адъютантствѣ, что «желалъ - бы и очень попасть въ адъютанты, затѣмъ что, уже разъ пойдя по карьерѣ военной службы, надо стараться сдѣлать, коль возможно, блестящую карьеру». Эта откровенность Бориса очень замѣчательна. Она доказываетъ ясно, что большинство того общества, въ которомъ онъ живетъ и мнѣніемъ котораго онъ дорожитъ, совершенно одобряетъ его взгляды на прокладываніе дороги, на служеніе лицамъ, на неписанную субординацію и на несомнѣнныя удобства ливреи, какъ средства, ведущаго къ цѣли. Борисъ называетъ Ростова мечтателемъ за его выходку противъ служенія лицамъ, и общество, къ которому принадлежитъ Ростовъ, безъ всякаго сомнѣнія не только подтвердило-бы, но еще и усилило-бы этотъ приговоръ въ очень значительной степени, такъ что Ростовъ, за свою попытку отрицать систему протекціи и неписанную субординацію, оказался бы не мечтателемъ, а просто глупымъ и грубымъ армейскимъ буяномъ, неспособнымъ понимать и оцѣнивать самыя законныя и похвальныя стремленія благовоспитанныхъ и добропорядочныхъ юношей.

Борисъ разумѣется продолжаетъ преуспѣвать подъ сѣнью своей непогрѣшимой теоріи, вполнѣ соотвѣтствующей механизму и духу того общества, среди котораго онъ ищетъ себѣ богатства и почета. «Онъ вполнѣ усвоилъ себѣ ту понравившуюся ему въ Ольмюцѣ неписанную субординацію, по которой прапорщикъ могъ стоять безъ сравненія выше генерала и по которой, для успѣха на службѣ, были нужны не усилія на службѣ, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только умѣнье обращаться съ тѣми, которые вознаграждаютъ за службу,— и онъ часто удивлялся самъ своимъ быстрымъ успѣхамъ и тому, какъ другіе могли не понимать этого. Вслѣдствіе этого открытія его, весь образъ жизни его, всѣ отношенія съ прежними знакомыми, всѣ его планы на будущее — совершенно измѣнились. Онъ былъ небогатъ, но послѣднія свои деньги онъ употреблялъ на то, чтобы быть одѣтымъ лучше другихъ: онъ скорѣе лишилъ-бы себя многихъ удовольствій, чѣмъ позволилъ-бы себѣ ѣхать въ дурномъ экипажѣ или показаться въ старомъ мундирѣ на улицахъ Петербурга. Сближался онъ и искалъ знакомствъ только съ людьми, которые были выше его, и потому могли быть ему полезны».

Съ особеннымъ чувствомъ гордости и удовольствія Борисъ входитъ въ дома высшаго общества; приглашеніе отъ фрейлины Анны Павловны Шереръ онъ принимаетъ за «важное повышеніе по службѣ»; на вечерѣ у нея онъ конечно ищетъ себѣ не развлеченій; онъ, напротивъ того, трудится по-своему въ ея гостиной: онъ внимательно изучаетъ ту мѣстность, на которой ему предстоитъ маневрировать, чтобы завоевать себѣ новыя выгоды и заполонить новыхъ благодѣтелей; онъ внимательно наблюдаетъ каждое лицо и оцѣниваетъ выгоды и возможности сближенія съ каждымъ изъ нихъ. Онъ вступаетъ въ это высшее общество съ твердымъ намѣреніемъ поддѣлаться подъ него, то-есть укоротить и съузить свой умъ на столько, на сколько это понадобится, чтобы ничѣмъ не выдвигаться изъ общаго уровня и ни подъ какимъ видомъ не раздражить своимъ превосходствомъ того или другого ограниченнаго человѣка, способнаго быть полезнымъ со стороны неписанной субординаціи.

На вечерѣ у Анны Павловны одинъ очень глупый юноша, сынъ министра князя Курагина, послѣ неоднократныхъ приступовъ и долгихъ сборовъ, производитъ на свѣтъ глупую и избитую шутку. Борисъ конечно настолько умепъ, что такія шутки должны коробить его и возбуждать въ немъ то чувство отвращенія, которое обыкновенно родится въ здоровомъ человѣкѣ, когда ему приходится видѣть или слышать идіота. Борисъ не можетъ находить эту шутку остроумной или забавной, но, находясь въ великосвѣтскомъ салонѣ, онъ не осмѣливается выдержать эту шутку съ серьезной физіономіей, потому что его серьезность можетъ быть принята за молчаливое осужденіе каламбура, надъ которымъ, быть можетъ, сливкамъ петербургскаго общества угодно будетъ засмѣяться. Чтобы смѣхъ этихъ сливокъ не засталъ его врасплохъ, предусмотрительный Борисъ принимаетъ свои мѣры въ ту самую секунду, когда плоская и чужая острота слетаетъ съ губъ князя Ипполита Курагина. Онъ осторожно улыбается, такъ что его улыбка можетъ быть отнесена къ насмѣшкѣ или къ одобренію шутки, смотря по тому, какъ она будетъ принята. Сливки смѣются, признавая въ миломъ острякѣ плоть отъ плоти своей и кость отъ костей своихъ,— и мѣры, заблаговременно принятыя Борисомъ, оказываются для него въ высокой степени спасительными.

Глупая красавица, достойная сестра Ипполита Курагина, графиня Элена Безухова, пользующаяся репутаціей прелестной и очень умной женщины и привлекающая въ свой салонъ все, что блеститъ умомъ, богатствомъ, знатностью или высокимъ чиномъ,— находитъ для себя удобнымъ приблизить красиваго и ловкаго адъютанта Бориса къ своей особѣ. Борисъ приближается съ величайшей готовностью, становится ея любовникомъ и въ этомъ обстоятельствѣ усматриваетъ не безъ основанія новое немаловажное повышеніе по службѣ. Если путь

къ чинамъ и деньгамъ проходитъ черезъ будуаръ красивой женщины, то, разумѣется, для Бориса нѣтъ достаточныхъ основаній остановиться въ добродѣтельномъ недоумѣніи или поворотить въ сторону. Ухватившись за руку своей глупой красавицы, Друбецкой весело и быстро продолжаетъ подвигаться впередъ къ золотой цѣли.

Онъ выпрашиваетъ у своего ближайшаго начальника позволеніе состоять въ его свитѣ въ Тильзитѣ, во время свиданія обоихъ императоровъ, и даетъ ему почувствовать при этомъ случаѣ, какъ внимательно онъ, Борисъ, слѣдитъ за показаніями политическаго барометра и какъ тщательно онъ соображаетъ всѣ свои мельчайшія слова и дѣйствія съ намѣреніями и желаніями высокихъ особъ. То лицо, которое до сихъ поръ было для Бориса генераломъ Буонапарте, узурпаторомъ и врагомъ человѣчества, становится для него императоромъ Наполеономъ и великимъ человѣкомъ, съ той минуты, какъ, узнавъ о предположенномъ свиданіи, Борисъ начинаетъ проситься въ Тильзитъ. Попавъ въ Тильзитъ, Борисъ почувствовалъ, что его положеніе упрочено. «Его не только знали, но къ нему приглядѣлись и привыкли. Два раза онъ исполнялъ порученія къ самому государю, такъ что государь зналъ его въ лицо, и всѣ приближенные не только не дичились его, какъ прежде, считая за новое лицо, но удивились-бы, ежели-бы его не было».

На томъ пути, по которому идетъ Борисъ, нѣтъ ни остановокъ, ни свертковъ. Можетъ случиться неожиданная катастрофа, которая вдругъ изомнетъ и изломаетъ всю отлично-начавшуюся и благополучно продолжаемую карьеру; можетъ такая катастрофа застигнуть даже самаго осторожнаго и разсчетливаго человѣка; но отъ нея трудно ожидать, чтобы она направила силы человѣка къ полезному дѣлу и открыла широкій просторъ для ихъ развитія; послѣ такой катастрофы человѣкъ обыкновенно оказывается приплюснутымъ и раздавленнымъ; блестящій, веселый и преуспѣвающій офицеръ или чиновникъ превращается всего чаще въ жалкаго ипохондрика, въ откровенно-низкаго попрошайку, или просто въ горькаго пьяницу. Помимо-же такой неожиданной катастрофы, при ровномъ и благопріятномъ теченіи обыденной жизни, нѣтъ никакихъ шансовъ, чтобы человѣкъ, находящійся въ положеніи Бориса, вдругъ оторвался отъ своей постоянной дипломатической игры, всегда одинаково для него важной и интересной, чтобы онъ вдругъ остановился, оглянулся на самого себя, отдалъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, какъ мельчаютъ и вянутъ живыя силы его ума, и энергическимъ усиліемъ воли перепрыгнулъ вдругъ съ дороги искуснаго, приличнаго и блистательно-успѣшнаго выпрашиванія на совершенно неизвѣстную ему дорогу неблагодарнаго, утомительнаго и совсѣмъ не барскаго труда. Дипломатическая игра имѣетъ такія затягивающія свойства и даетъ такіе блестящіе результаты, что человѣкъ, погрузившійся въ эту игру, скоро начинаетъ считать мелкимъ и ничтожнымъ все, что находится за ея предѣлами; всѣ событія, всѣ явленія частной и общественной жизни оцѣниваются по своему отношенію къ выигрышу или проигрышу; всѣ люди дѣлятся на средства и на помѣхи; всѣ чувства собственной души распадаются на похвальныя, то есть ведущія къ выигрышу, и предосудительныя, то-есть отвлекающія вниманіе отъ процесса игры. Въ жизни человѣка, втянувшагося въ подобную игру, нѣтъ мѣста такимъ впечатлѣніямъ, изъ которыхъ могло-бы развернуться сильное чувство, не подчиненное интересамъ карьеры. Серьезная, чистая, искренняя любовь, безъ примѣси корыстныхъ или честолюбивыхъ разсчетовъ, любовь со всей свѣтлой глубиной своихъ наслажденій, любовь со всѣми своими торжественными и святыми обязанностями не можетъ укорениться въ высушенной душѣ человѣка, подобнаго Борису. Нравственное обновленіе путемъ счастливой любви для Бориса немыслимо. Это доказано въ романѣ графа Толстого его исторіей съ Наташей Ростовой, сестрой того армейскаго гусара, мундиръ и манеры котораго коробятъ Бориса въ присутствіи князя Болконскаго.

Когда Наташѣ было 12 лѣтъ, а Борису лѣтъ 17 или 18, они играли между собою въ любовь; одинъ разъ, незадолго передъ отъѣздомъ Бориса въ полкъ, Наташа поцѣловала его, и они рѣшили, что свадьба ихъ состоится черезъ четыре года, когда Наташѣ минетъ 16 лѣтъ. Прошли эти четыре года; женихъ и невѣста—оба, если не забыли своихъ взаимныхъ обязательствъ, то по крайней мѣрѣ стали смотрѣть на нихъ, какъ на ребяческую шалость; когда Наташа уже въ самомъ дѣлѣ могла быть невѣстой, и когда Борисъ былъ уже молодымъ человѣкомъ, стоящимъ, какъ это говорится, на самой лучшей дорогѣ,—они увидѣлись и снова заинтересовались другъ-другомъ. «Послѣ перваго свиданія, Борисъ сказалъ себѣ, что Наташа для него точно такъ-же привлекательна, какъ и прежде, но что онъ не долженъ отдаваться этому чувству, потому что женитьба на ней, дѣвушкѣ почти безъ состоянія, была-бы погибелью его карьеры, а возобновленіе прежнихъ отношеній безъ цѣли женитьбы — было бы неблагороднымъ поступкомъ».

Несмотря на это благоразумное и спасительное совѣщаніе съ самимъ собою, несмотря на рѣшеніе избѣгать встрѣчъ съ Наташей, Борисъ увлекается, начинаетъ часто ѣздить къ Ростовымъ, проводитъ у нихъ цѣлые дни, слушаетъ пѣсни Наташи, пишетъ ей стихи въ аль-

бомъ и даже перестаетъ бывать у графини Безуховой, отъ которой онъ получаетъ ежедневно пригласительныя и укорительныя записки. Онъ все собирается объяснить Наташѣ, что никакъ и никогда не можетъ сдѣлаться ея мужемъ, но у него все не хватаетъ силъ и мужества на то, чтобы начать и довести до конца такое щекотливое объясненіе. Онъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе запутывается. Но нѣкоторая временная и мимолетная невнимательность къ великимъ интересамъ карьеры составляетъ крайній предѣлъ увлеченій, возможныхъ для Бориса. Нанести этимъ великимъ интересамъ сколько-нибудь серьезный и непоправимый ударъ—это для него невообразимо, даже подъ вліяніемъ сильнѣйшей изъ доступныхъ ему страстей.

Стоитъ только старой графинѣ Ростовой перемолвить серьезное слово съ Борисомъ, стоитъ ей только дать ему почувствовать, что его частыя посѣщенія замѣчены и приняты къ свѣдѣнію,—и Борисъ тотчасъ, чтобы не компрометировать дѣвушку и не портить карьеру, обращается въ благоразумное и благородное бѣгство. Онъ перестаетъ бывать у Ростовыхъ и даже, встрѣтившись съ ними на балѣ, проходитъ мимо нихъ два раза и всякій разъ отвертывается.

Проплывъ благополучно между подводными камнями любви, Борисъ уже безостановочно, на всѣхъ парусахъ летитъ къ надежной пристани. Его положеніе на службѣ, его связи и знакомства доставляютъ ему входъ въ такіе дома, гдѣ водятся очень богатыя невѣсты. Онъ начинаетъ думать, что ему пора заручиться выгодной женитьбой. Его молодость, его красивая наружность, его презентабельный мундиръ, его умно и разсчетливо веденная карьера составляютъ такой товаръ, который можно продать за очень хорошую цѣну. Борисъ высматриваетъ покупательницу и находитъ ее въ Москвѣ.

Жюли Карагина, обладательница огромныхъ пензенскихъ имѣній и нижегородскихъ лѣсовъ, двадцати-семилѣтняя дѣвушка съ краснымъ лицомъ, съ влажными глазами и съ подбородкомъ, почти всегда обсыпаннымъ пудрой,—покупаетъ себѣ Бориса. Передъ совершеніемъ запродажной сдѣлки, Борисъ ведетъ себя, какъ чистоплотный котъ, которому голодъ велитъ перебираться черезъ очень грязную улицу и которому въ то-же время до смерти не хочется замочить и запачкать бархатныя лапки.

Бориса, какъ того-же чистоплотнаго кота, не смущаютъ никакія нравственныя соображенія. Обмануть дѣвушку, прикинувшись влюбленнымъ въ нее, взять на себя обязательство составить ея счастье и потомъ оказаться передъ нею позорно-несостоятельнымъ, разбить ея жизнь,—все это такія мысли, которыя не приходятъ въ голову Борису и нимало его не озабочиваютъ. Если-бы только это—онъ не задумался-бы ни на минуту, такъ точно, какъ не задумался бы чистоплотный котъ стащить и съѣсть плохо-прибранный кусокъ мяса. Голосъ нравственнаго чувства, уже достаточно слабый въ 17-лѣтнемъ мальчикѣ, благодаря урокамъ такой искусной матери, какова была княгиня Анна Михайловна,—замолчалъ давно въ молодомъ человѣкѣ, создавшемъ себя цѣлую стройную теорію неписанной субординаціи. Но въ Борисѣ еще не умерла послѣдняя человѣческая слабость; его старческая мудрость еще не задавила въ немъ способности чувствовать физическое отвращеніе; его тѣло еще молодо, свѣжо и сильно; у этого тѣла есть свои потребности, свои влеченія, свои симпатіи и антипатіи; это тѣло не можетъ всегда и вездѣ быть послушнымъ и безропотнымъ орудіемъ духа, стремящагося къ упроченному положенію въ высшемъ обществѣ; тѣло возмущается, тѣло бунтуетъ, и морозъ подираетъ Бориса по кожѣ при мысли о той цѣнѣ, которую онъ долженъ будетъ заплатить за пензенскія имѣнія и нижегородскіе лѣса. Пройти черезъ будуаръ графини Безуховой, пройти черезъ него по разсчету для Бориса было легко и пріятно, потому что и самъ Наполеонъ, увидавъ графиню Безухову въ ложѣ эрфуртскаго театра, сказалъ объ ней: «c'est un superbe animal!» Но чтобы пройти черезъ спальню Жюли Карагиной къ той конторкѣ, въ которую кладутся доходы съ пензенскихъ имѣній, Борису понадобилось выдержать упорную и продолжительную борьбу съ мятежнымъ тѣломъ.

«Жюли уже давно ожидала предложенія отъ своего меланхолическаго обожателя и готова была принять его; но какое-то тайное чувство отвращенія къ ней, къ ея страстному желанію выйти замужъ, къ ея ненатуральности, и чувство ужаса передъ отреченіемъ отъ возможности настоящей любви еще останавливало Бориса... Каждый день, разсуждая самъ съ собою, Борисъ говорилъ себѣ, что онъ завтра сдѣлаетъ предложеніе. Но въ присутствіи Жюли, глядя на ея красное лицо и подбородокъ, почти всегда осыпанный пудрой, на ея влажные глаза и на выраженіе лица, выражавшаго всегдашнюю готовность изъ меланхоліи тотчасъ-же перейти къ неестественному восторгу супружескагсо частья,—Борисъ не могъ произнести рѣшительнаго слова, несмотря на то, что онъ уже давно въ воображеніи своемъ считалъ себя обладателемъ пензенскихъ и нижегородскихъ имѣній и распредѣлялъ употребленіе въ нихъ доходовъ».

Само собою разумѣется, что Борисъ выходитъ побѣдителемъ изъ этой мучительной борьбы, такъ-же точно, какъ вышелъ побѣдителемъ изъ другой борьбы съ тѣмъ-же прихотливымъ тѣломъ, тянувшимъ его къ Наташѣ Ростовой. Обѣ побѣды порадовали материнское сердце

Анны Михайловны; обѣ были-бы безъ сомнѣнія рѣшительно одобрены приговоромъ общественнаго мнѣнія, всегда расположеннаго сочувствовать торжеству духа надъ матеріей.

Въ ту минуту, когда Борисъ, вспыхнувъ яркимъ румянцемъ и платя этимъ румянцемъ послѣднюю дань своей молодости и человѣческой слабости, дѣлаетъ предложеніе Жюли Курагиной и объясняется ей въ любви, онъ утѣшаетъ и подкрѣпляетъ себя тѣмъ размышленіемъ, что «всегда можетъ устроить такъ, чтобы рѣдко видѣть ее».

Борисъ держится того правила, что въ торговомъ дѣлѣ поступаютъ на чистоту только безнадежно-глупые люди, и что ловкій обманъ составляетъ душу коммерческой операціи. И въ самомъ дѣлѣ, если-бы, продавъ самого себя, онъ вздумалъ выдать покупателю весь проданный товаръ, то какое-же удовольствіе и какую пользу доставила-бы ему устроенная сдѣлка?

II.

Займемся теперь молодымъ армейскимъ гусаромъ Николаемъ Ростовымъ.

Это совершенная противоположность Бориса. Друбецкой — разсчетливъ, сдержанъ, остороженъ, все размѣряетъ и взвѣшиваетъ и во всемъ дѣйствуетъ по заранѣе составленному и тщательно обдуманному плану. Ростовъ, напротивъ того, смѣлъ и пылокъ, неспособенъ и не любитъ соображать, всегда поступаетъ очертя голову, всегда весь отдается первому влеченію и даже чувствуетъ нѣкоторое презрѣніе къ тѣмъ людямъ, которые умѣютъ сопротивляться воспринимаемымъ впечатлѣніямъ и перерабатывать ихъ въ себѣ.

Борисъ, безъ всякаго сомнѣнія, умнѣе и глубже Ростова. Ростовъ въ свою очередь гораздо даровитѣе, отзывчивѣе и многостороннѣе Бориса. Въ Борисѣ гораздо больше способности внимательно наблюдать и осторожно обобщать окружающіе факты. Въ Ростовѣ преобладаетъ способность откликаться всѣмъ своимъ существомъ на все, что̀ проситъ, и даже на то, что̀ не имѣетъ права просить у сердца отвѣта. Борисъ, при правильномъ развитіи своихъ способностей, могъ-бы сдѣлаться хорошимъ изслѣдователемъ. Ростовъ, при такомъ-же правильномъ развитіи, сдѣлался-бы по всей вѣроятности недюжиннымъ художникомъ, поэтомъ, музыкантомъ или живописцемъ.

Существенное различіе между обоими молодыми людьми обозначается съ перваго ихъ шага на житейскомъ поприщѣ. Борисъ, которому нечѣмъ жить, протискивается, по милости своей пресмыкающейся матери, въ гвардію и живетъ тамъ на чужой счетъ, чтобы только быть на виду и почаще приходить въ соприкосновеніе съ высоко-поставленными особами. Ростовъ, получающій отъ отца по 10,000 рублей въ годъ и имѣющій полную возможность жить въ гвардіи не хуже другихъ офицеровъ, идетъ, пылая воинственнымъ и патріотическимъ жаромъ, въ армейскую кавалерію, чтобы поскорѣе побывать въ дѣлѣ, погарцовать на ретивой лошади и удивить себя и другихъ подвигами лихого наѣздничества. Борисъ ищетъ прочной и осязательной выгоды. Ростовъ желаетъ прежде всего и во что̀-бы-то ни стало шума, блеска, сильныхъ ощущеній, эффектныхъ сценъ и яркихъ картинъ. Образъ гусара, какъ онъ летитъ въ атаку, машетъ саблей, сверкаетъ очами, топчетъ трепещущаго врага стальными копытами неукротимаго коня, образъ гусара, какъ онъ размашисто и шумно пируетъ въ кругу лихихъ товарищей, прокопченныхъ пороховымъ дымомъ, образъ гусара, какъ онъ, закручивая длинные усы, звеня шпорами, блистая золотыми снурками венгерки, своимъ орлинымъ взоромъ посѣваетъ тревогу и смятеніе въ сердцахъ молодыхъ красавицъ,—всѣ эти образы, сливаясь въ одно смутно-обаятельное впечатлѣніе, рѣшаютъ судьбу юнаго и пылкаго графа Ростова и побуждаютъ его, бросивъ университетъ, въ которомъ онъ, безъ сомнѣнія, находилъ мало для себя привлекательнаго, кинуться стремглавъ и окунуться съ головой въ жизнь армейскаго гусара.

Борисъ вступаетъ въ свой полкъ спокойно и хладнокровно, держитъ себя со всѣми прилично и кротко, но ни съ полкомъ вообще, ни съ кѣмъ-либо изъ офицеровъ въ особенности не завязываетъ никакихъ тѣсныхъ и задушевныхъ отношеній. Ростовъ буквально бросается въ объятія павлоградскаго гусарскаго полка, пристращается къ нему, какъ къ своей новой семьѣ, сразу начинаетъ дорожить его честью, какъ своей собственной, изъ восторженной любви къ этой чести дѣлаетъ опрометчивые поступки, ставитъ себя въ неловкія положенія, ссорится съ полковымъ командиромъ, кается въ своей неосторожности передъ синклитомъ старыхъ офицеровъ и при всей своей юношеской обидчивости и вспыльчивости покорно выслушиваетъ дружескія замѣчанія стариковъ, обучающихъ его уму-разуму и преподающихъ ему основныя начала павлоградской гусарской нравственности.

Борисъ норовитъ улизнуть какъ можно скорѣе изъ полка куда-нибудь въ адъютанты. Ростовъ считаетъ переходъ въ адъютанты какой-то измѣной милому и родному павлоградскому полку. Для него это почти все равно, что бросить любимую женщину, чтобы по разсчету жениться на богатой невѣстѣ. Всѣ адъютанты, всѣ «штабные молодчики», какъ онъ ихъ презрительно называетъ, въ его глазахъ какіе-то бездушные и недостойные отступники, продавшіе своихъ

братьевъ по оружію за блюдо чечевицы. Подъ вліяніемъ этого презрѣнія онъ безо всякой уважительной причины, къ ужасу и досадѣ Бориса, въ квартирѣ послѣдняго заводитъ ссору съ адъютантомъ Болконскимъ,—ссору, которая остается безъ кровопролитныхъ послѣдствій, только благодаря спокойной твердости и самообладанію Болконскаго.

Ростовъ, къ удивленію Бориса, бросаетъ подъ столъ рекомендательное письмо, выхлопотанное ему, Ростову, заботливыми родителями къ князю Багратіону; при этомъ онъ, какъ мы уже знаемъ, прямо называетъ адъютантскую службу лакейской. Онъ не задумывается надъ тѣмъ обстоятельствомъ, что адъютанты совершенно необходимы въ общемъ строѣ военнаго дѣла; онъ не останавливается на томъ соображеніи, что можно быть адъютантомъ, честно исполняя свои обязанности, принося постоянно истинную пользу общему ходу военныхъ дѣйствій и нисколько не унижая ни передъ кѣмъ своего личнаго человѣческаго достоинства. Онъ очевидно не въ состояніи уловить и опредѣлить различіе между писанною и неписанною субординаціей, между служеніемъ лицамъ и служеніемъ дѣлу. Онъ съ негодованіемъ отрицаетъ адъютантство для себя и презираетъ его въ другихъ просто потому, что павлоградскіе офицеры, принимая въ соображеніе его графскій титулъ и хорошее состояніе, на первыхъ порахъ заподозрили его въ намѣреніи выпрыгнуть изъ полка въ адъютанты, а онъ тотчасъ-же съ добродѣтельнымъ ужасомъ сталъ открещиваться и отплевываться отъ такого оскорбительнаго подозрѣнія въ безсердечности.

Борисъ не становится ни къ кому въ восторженно-подобострастныя ученическія отношенія; онъ всегда готовъ тонко и прилично льстить тому человѣку, изъ котораго онъ такъ или иначе надѣется сдѣлать себѣ дойную корову; онъ всегда готовъ подмѣтить въ другомъ, перенять и усвоить себѣ какую-нибудь сноровку, способную доставить ему успѣхъ въ обществѣ и повышеніе по службѣ; но безкорыстное и простодушное обожаніе кого-бы или чего-бы то ни было ему совершенно несвойственно; онъ можетъ стремиться только къ выгодамъ, а никакъ не къ идеалу; онъ можетъ только завидовать и подражать людямъ, обогнавшимъ или обгоняющимъ его по службѣ, но рѣшительно неспособенъ благоговѣть передъ ними, какъ передъ яркими и прекрасными воплощеніями идеала. У Ростова, напротивъ того, идеалы, кумиры и авторитеты, какъ грибы, на каждомъ шагу выростаютъ изъ земли. У него и Васька Денисовъ—идеалъ, и Долоховъ—кумиръ, и штабъ-ротмистръ Кирстенъ—авторитетъ. Вѣровать и любить слѣпо, страстно, безпредѣльно, преслѣдуя ненавистью фанатика тѣхъ, кто не преклоняетъ колѣнъ передъ воздвигнутыми идолами,—это неистребимая потребность его кипучей природы.

Эта потребность проявляется особенно ярко въ восторженномъ взглядѣ на государя. Вотъ какими чертами графъ Толстой изображаетъ его чувства во время высочайшаго смотра въ Ольмюцѣ Эти черты характеризуютъ и время, и тотъ слой общества, къ которому принадлежитъ Ростовъ, и личныя особенности самого Ростова.

«Когда государь приблизился на разстояніе 20-ти шаговъ, и Николай ясно, до всѣхъ подробностей, разсмотрѣлъ прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, онъ испыталъ чувство нѣжности и восторга, подобнаго которому онъ еще не испытывалъ».

Увидавъ улыбку государя, «Ростовъ самъ невольно началъ улыбаться и почувствовалъ еще сильнѣйшій приливъ любви къ своему государю. Ему хотѣлось выказать чѣмъ-нибудь свою любовь къ государю. Онъ зналъ, что это невозможно, и ему хотѣлось плакать».

Когда государь заговорилъ съ командиромъ павлоградскаго полка, Ростовъ подумалъ, что умеръ-бы отъ счастья, ежели-бы государь обратился къ нему.

Когда государь сталъ благодарить офицеровъ, то «каждое слово слышалось Ростову, какъ звукъ съ неба», и онъ созналъ въ себѣ и сформулировалъ совершенно ясно страстное желаніе «только умереть, умереть за него».

Когда солдаты, «надсаживая свои гусарскія груди», закричали ура, то «Ростовъ закричалъ тоже, пригнувшись къ сѣдлу, что было его силъ, желая повредить себѣ этимъ крикомъ, только чтобы выразить вполнѣ свой восторгъ государю».

Когда государь постоялъ нѣсколько секундъ противъ гусаръ, какъ-будто въ нерѣшимости, то «даже и эта нерѣшительность показалась Ростову величественной и обворожительной».

Въ числѣ господъ свиты Ростовъ замѣтилъ Болконскаго, припомнилъ свою ссору съ нимъ у Друбецкого, случившуюся наканунѣ, и задалъ себѣ вопросъ: слѣдуетъ или не слѣдуетъ вызывать его. «Разумѣется, не слѣдуетъ, подумалъ теперь Ростовъ... И стоитъ-ли думать и говорить про это въ такую минуту, какъ теперь? Въ минуту такого чувства любви, восторга и самоотверженія, что значатъ всѣ наши ссоры и обиды? Я всѣхъ люблю, всѣмъ прощаю теперь».

Когда полки проходятъ церемоніальнымъ маршемъ мимо государя, когда Ростовъ на своемъ Бедуинѣ самымъ эффектнымъ образомъ проѣзжаетъ вслѣдъ за своимъ эскадрономъ, и когда государь говоритъ: «молодцы, павлоградцы!» тогда Ростовъ думаетъ: «Боже мой, какъ-бы я счастливъ былъ, если-бы онъ велѣлъ мнѣ сейчасъ броситься въ огонь».

Всѣ эти черты собраны мной и перенесены сюда съ точностью со страницъ 70—73 перваго тома.

Три дня спустя, Ростовъ еще разъ видитъ государя и чувствуетъ себя счастливымъ, «какъ любовникъ, дождавшійся ожидаемаго свиданія». Онъ, *не оглядываясь, восторженнымъ чутьемъ* чувствуетъ приближеніе государя. Здѣсь краски, употребляемыя графомъ Толстымъ, вспыхиваютъ такой ослѣпительной яркостью, что я, боясь ослабить или какъ-нибудь испортить то впечатлѣніе, которое они должны произвести на читателя, считаю необходимымъ привести цитату во всей ея неприкосновенности.

«И онъ чувствовалъ это (приближеніе) не по одному звуку копытъ лошадей приближавшейся кавалькады, но онъ чувствовалъ это по тому, что, по мѣрѣ приближенія, все свѣтлѣе, радостнѣе и значительнѣе, и праздничнѣе дѣлалось вокругъ него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокругъ себя лучи кроткаго и величественнаго свѣта, и вотъ онъ уже чувствуетъ себя захваченнымъ этими лучами, онъ слышитъ его голосъ—этотъ ласковый, спокойный, величественный и вмѣстѣ съ тѣмъ столь простой голосъ».

Фанатики-жрецы обыкновенно бываютъ болѣе исключительны въ своихъ страстяхъ, чѣмъ то божество, которому они служатъ. Пылая всепоглощающей и ослѣпляющей любовью къ своему божеству, эти жрецы доходятъ часто, путемъ этой любви, до такихъ крайнихъ, уродливыхъ и противоестественныхъ чувствъ, которыя могли-бы только оскорбить, возмутить и прогнѣвить божество, еслибы оно узнало о ихъ существованіи.

Ростовъ видитъ государя на площади городка Вишау, гдѣ за нѣсколько минутъ до пріѣзда государя происходила довольно сильная перестрѣлка. На площади лежатъ еще неприбранныя тѣла убитыхъ и раненыхъ. Государь, «склонившись на бокъ, граціознымъ жестомъ держа золотой лорнетъ у глаза», смотритъ на раненаго солдата, лежащаго ничкомъ, безъ кивера, съ окровавленной головой. Государь очевидно соболѣзнуетъ о страданіяхъ раненаго; плечи его содрогаются, какъ-бы отъ пробѣжавшаго мороза, и лѣвая нога его судорожно бьетъ шпорой бокъ лошади; одинъ изъ адъютантовъ, угадывая мысли и желанія государя, поднимаетъ солдата подъ-руки, а государь, услышавъ стонъ умирающаго, говоритъ: «тише, тише, развѣ нельзя тише?» и при этомъ, по словамъ графа Толстого, видимо страдаетъ больше, чѣмъ самъ умирающій солдатъ. Слезы наполняютъ глаза государя и, обращаясь къ Чарторижскому, онъ говоритъ ему: «quelle terrible chose que la guerre!» Въ это же самое время Ростовъ, весь поглощенный своей восторженной любовью, преимущественно устремляетъ свое вниманіе на то обстоятельство, что солдатъ недостаточно опрятенъ, деликатенъ и великолѣпенъ, чтобы находиться вблизи государя и останавливать на себѣ его взоры. Въ солдатѣ Ростовъ видитъ въ эту минуту не умирающаго человѣка, не мученика, мужественно принявшаго страданіе также за дѣло государя, а только грязное, кровавое пятно, марающее ту картину, на которую обращены глаза государя,—пятно, доставляющее государю непріятныя ощущенія, диссонансъ, способный до нѣкоторой степени разстроить нервы государя, наконецъ такой предметъ, который виноватъ уже тѣмъ, что не можетъ почувствовать *восторженнымъ чутьемъ его приближенія* и сдѣлаться по мѣрѣ этого приближенія *все свѣтлѣе, и радостнѣе, и значительнѣе, и праздничнѣе*. Вотъ подлинныя слова графа Толстого: «Солдатъ раненый былъ такъ нечистъ, грубъ и гадокъ, что Ростова оскорбила близость его къ государю». Государь по всей вѣроятности не остался бы доволенъ, еслибы могъ себѣ представить, что любовь къ нему побуждаетъ молодыхъ офицеровъ его вѣрной и храброй арміи смотрѣть съ отвращеніемъ и почти съ ненавистью на страданія умирающихъ солдатъ.

Борисъ тоже чувствуетъ особенное волненіе, когда приближается къ особѣ государя, но его волненіе совершенно непохоже на то, которое испытываетъ простодушный Ростовъ. Онъ волнуется потому, что чувствуетъ себя возлѣ источника власти, наградъ, почестей, богатства и вообще всѣхъ тѣхъ земныхъ благъ, добыванію которыхъ онъ твердо рѣшился посвятить всю свою жизнь. Онъ думаетъ: ахъ, если-бы мнѣ да пристроиться тутъ по близости, да утвердиться такъ, чтобы меня изо-дня въ день постоянно пригрѣвали солнечные лучи! То корыстное волненіе, которое въ подобныхъ случаяхъ овладѣваетъ Борисомъ, только усиливаетъ его внимательность, расторопность и находчивость. Онъ исполняетъ совершенно удовлетворительно два порученія къ государю, данныя ему во время службы, и пріобрѣтаетъ себѣ даже въ глазахъ императора Александра репутацію смышленаго и рачительнаго офицера.

Волненіе, овладѣвающее Ростовымъ, когда онъ видитъ государя и приближается къ нему, отнимаетъ у него способность размышлять и обсуживать свое положеніе. Въ день аустерлицкаго сраженія, посланный съ порученіемъ, которое онъ, если не обязанъ, то по крайней мѣрѣ имѣетъ полное право и даже уполномоченъ передать государю, Ростовъ встрѣчаетъ государя въ то время, когда битва окончательно и безвозвратно проиграна. Увидавъ государя, Ростовъ по обыкновенію чувствуетъ себя безмѣрно счастливымъ, отчасти потому, что видитъ его, отчасти и главнымъ образомъ потому, что убѣждается собственными глазами въ невѣрности распространившагося слуха о ранѣ государя. Ростовъ знаетъ, что онъ можетъ

и даже долженъ прямо обратиться къ государю и передать то, что́ ему было приказано. Но нахлынувшее на него волненіе отнимаетъ у него возможность во́-время рѣшиться; «какъ влюбленный юноша дрожитъ и млѣетъ, не смѣя сказать того, о чемъ онъ мечтаетъ ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности бѣгства, когда наступила желанная минута и онъ стоитъ наединѣ съ ней: такъ и Ростовъ теперь, достигнувъ того, чего онъ желалъ больше всего на свѣтѣ, не зналъ, какъ подступить къ государю, и ему представлялись тысячи соображеній, почему это было неудобно, неприлично и невозможно».

Не рѣшившись на то, *чего онъ желалъ больше всего на свѣтѣ*, Ростовъ отъѣзжаетъ прочь, *съ грустью и съ отчаяніемъ въ сердцѣ*, и въ ту-же минуту видитъ, что другой офицеръ, увидавъ государя, прямо подъѣзжаетъ къ нему, предлагаетъ ему свои услуги и помогаетъ ему перейти пѣшкомъ черезъ канаву. Ростовъ издали съ завистью и раскаяніемъ видитъ, какъ этотъ офицеръ долго и съ жаромъ говоритъ что-то государю, и какъ государь жметъ руку этому офицеру. Теперь, когда минута пропущена, Ростову представляются новыя тысячи соображеній, почему ему было удобно, прилично и необходимо подъѣхать къ государю. Онъ думаетъ про себя, что онъ, Ростовъ, могъ-бы быть на мѣстѣ того офицера, которому государь пожалъ руку, что его подрѣзала его собственная позорная слабость, и что онъ потерялъ единственный случай выразить государю свою восторженную преданность. Онъ повертываетъ лошадь, скачетъ къ тому мѣсту, гдѣ былъ государь,—тамъ уже нѣтъ никого Онъ уѣзжаетъ въ совершенномъ отчаяніи, и въ этомъ отчаяніи—какому-бы тонкому и тщательному анализу мы его ни подвергали—нѣтъ ничего сколько-нибудь похожаго на мысль о томъ вліяніи, которое разговоръ съ государемъ могъ-бы обнаружить на дальнѣйшій ходъ его службы. Это—простодушное и безкорыстное отчаяніе влюбленнаго юноши, у котораго, по милости его же собственной робости, остались тяжелымъ камнемъ на душѣ невысказанныя и давно накипѣвшія слова почтительной страсти.

Самъ Ростовъ неспособенъ анализировать свое чувство; онъ не можетъ задать себѣ вопросъ: почему я испытываю это чувство? не можетъ, во-первыхъ потому, что вообще не привыкъ пускаться въ психологическія изслѣдованія и отдавать себѣ сколько-нибудь ясный отчетъ въ своихъ ощущеніяхъ; а во-вторыхъ потому, что въ этомъ вопросѣ ему совершенно справедливо чувствуется опасный зародышъ разлагающаго сомнѣнія. Спросить: почему я испытываю то или другое чувство? значитъ задуматься надъ тѣми причинами и основаніями, на которыхъ держится это чувство, приступить къ измѣренію, взвѣшиванію и оцѣнкѣ этихъ причинъ и основаній и заранѣе подчиниться тому приговору, который, послѣ зрѣлыхъ размышленій, будетъ произнесенъ надъ ними голосомъ нашего собственнаго разсудка. Кто ставитъ себѣ вопросъ: почему? тотъ очевидно чувствуетъ необходимость указать своей страсти извѣстныя границы, на которыхъ она должна остановиться, чтобы не вредить интересамъ цѣлаго. Кто ставитъ вопросъ: почему? тотъ уже признаетъ существованіе такихъ интересовъ, которые для него важнѣе и дороже его чувства, и во имя которыхъ и съ точки зрѣнія которыхъ желательно потребовать у этого чувства отчета въ его происхожденіи. Кто ставитъ вопросъ: почему? тотъ уже обнаруживаетъ способность до нѣкоторой степени отрѣшаться отъ своего чувства и смотрѣть на него со стороны, какъ на явленіе внѣшняго міра, а между чувствами, совершенно неиспытавшими надъ собой этой операціи, и чувствами, на которыя мы хоть разъ, хоть на минуту, взглянули со стороны, взоромъ наблюдателя, *объективнымъ окомъ*, существуетъ огромная разница. Какъ-бы побѣдоносно наше чувство ни выдержало испытаніе, все-таки надъ нимъ неизбѣжно совершится одна существенно важная перемѣна: прежде оно, неизмѣренное и неизслѣдованное, казалось намъ необъятнымъ и безпредѣльнымъ, потому что мы не знали ни его начала, ни его конца, ни его возможныхъ послѣдствій, ни его дѣйствительныхъ основаній; теперь-же оно, хотя и очень велико, однако введено въ свои границы, которыя намъ хорошо извѣстны. Прежде оно, само по себѣ, было цѣлымъ міромъ, ни съ чѣмъ несвязаннымъ, живущимъ своей самостоятельной жизнью, повинующимся только своимъ собственнымъ законамъ, которыхъ мы не знали, и неотразимо увлекающимъ насъ въ свою таинственную глубину, въ которую мы погружались съ трепетомъ мучительной радости и робкаго благоговѣнія; теперь оно сдѣлалось явленіемъ среди другихъ явленій нашего внутренняго міра, явленіемъ, на которое дѣйствуютъ многія другія, соприкасающіяся и сталкивающіяся съ нимъ чувства, мысли и впечатлѣнія,—явленіемъ, которое подчиняется законамъ, существующимъ внѣ его, и вліяніямъ, дѣйствующимъ на него со стороны.

Очень многія и очень сильныя чувства совсѣмъ не выдерживаютъ испытанія. Вопросъ *почему?* становится ихъ могилою. Удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ оказывается невозможнымъ.

Ростовъ не спрашиваетъ *почему?* не знаетъ почему, и не хочетъ этого знать. Онъ понимаетъ правильнымъ инстинктомъ, что вся сила его чувства заключается въ его совершенной непосредственности, и что самымъ твердымъ

оплотомъ служитъ этому чувству то постоянно-раскаленное настроеніе, вслѣдствіе котораго онъ, Ростовъ, всегда готовъ видѣть оскорбленіе святыни во всякой попыткѣ, своей или чужой, стать къ этому чувству или къ какимъ-бы то ни было его проявленіямъ въ сколько-нибудь спокойныя или разсудочныя отношенія.

«Я, говорилъ Людвикъ Святой,—никогда и ни за что̀ не буду разсуждать съ еретикомъ; я просто пойду на него и мечомъ распорю ему брюхо». Такъ точно думаетъ и чувствуетъ Ростовъ. Онъ до послѣдней крайности щекотливъ ко всему, что̀ сколько нибудь отклоняется отъ тона восторженнаго благоговѣнія. Вотъ какая сцена разыгрывается возлѣ Вишау между Ростовымъ и Денисовымъ:

«Поздно ночью, когда всѣ разошлись, Денисовъ потрепалъ своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.

— Вотъ, на походѣ не въ кого влюбиться, такъ онъ въ Ца'я влюбился, сказалъ онъ.

— Денисовъ, ты этимъ не шути, крикнулъ Ростовъ: — это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое...

— Вѣ'ю, вѣ'ю, д'ужокъ, и `аздѣляю и одоб'яю.

— Нѣтъ, не понимаешь!

И Ростовъ всталъ и пошелъ бродить между костровъ, мечтая о томъ, какое было-бы счастье умереть, не спасая жизнь (объ этомъ онъ не смѣлъ и мечтать), а просто умереть въ глазахъ государя».

На Денисова конечно не можетъ пасть подозрѣніе въ якобинствѣ. Въ этомъ отношеніи онъ стоитъ выше всякаго сомнѣнія, и Ростовъ это знаетъ, но, по своей щекотливости, не можетъ воздержаться отъ вскрикиванія, когда Денисовъ позволяетъ себѣ добродушную дружескую шутку. Въ этой шуткѣ Ростову чувствуется все-таки способность отнестись, хоть на минуту, спокойно и хладнокровно къ предмету его восторженнаго обожанія. Этого уже достаточно, чтобы вызвать съ его стороны вспышку негодованія. Поставьте на мѣсто лихого павлоградскаго гусара и отличнаго товарища Денисова какого-нибудь посторонняго человѣка, замѣните добродушную дружескую шутку словами, выражающими серьезное сомнѣніе,—и вы тогда конечно получите въ результатѣ со стороны Ростова не вскрикиваніе, а какой-нибудь рѣзкій насильственный поступокъ, напоминающій программу Людвика Святого.

Проходитъ два года. Вторая война съ Наполеономъ заканчивается пораженіемъ нашихъ войскъ при Фридландѣ и свиданіемъ императоровъ въ Тильзитѣ. Множество видѣнныхъ событій, политическихъ и неполитическихъ, множество воспринятыхъ впечатлѣній, крупныхъ и мелкихъ, задаютъ уму Ростова мучительную работу, превышающую его силы, и возбуждаютъ въ немъ рой тяжелыхъ сомнѣній, съ которыми онъ не умѣетъ управиться.

Пріѣхавъ въ свой полкъ весною 1807 года, Ростовъ застаетъ его въ такомъ положеніи, что лошади, безобразно худыя, ѣдятъ соломенныя крыши съ домовъ, а люди, не получая никакого провіанта, набиваютъ себѣ желудки какимъ-то сладкимъ Машкинымъ корнемъ,—растеніемъ, похожимъ на спаржу, отъ котораго у нихъ пухнутъ руки, ноги и лицо. Въ столкновеніяхъ съ непріятелемъ павлоградскій полкъ потерялъ только двухъ раненыхъ, а голодъ и болѣзни истребили почти половину людей. Кто попадалъ въ госпиталь—умиралъ навѣрное; и солдаты, больные лихорадкой и опухолью, несли службу, черезъ силу волоча ноги во фронтѣ, лишь-бы только не идти въ больницу на вѣрную и мучительную смерть.

Въ обществѣ офицеровъ господствуетъ то убѣжденіе, что всѣ эти бѣдствія происходятъ отъ колоссальныхъ злоупотребленій въ провіантскомъ вѣдомствѣ, и это убѣжденіе поддерживается тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ подвозимые припасы оказываются самаго дурного качества. Ужасное и отвратительное положеніе госпиталей и безпорядокъ въ подвозѣ провіанта также не могутъ быть объяснены никакими естественными бѣдствіями, независимыми отъ воли человѣка.

Васька Денисовъ, добродушный, честный и храбрый гусарскій майоръ, любитъ свой эскадронъ, какъ свою семью, и видитъ съ ожесточеніемъ, какъ на его глазахъ хирѣютъ и мрутъ его солдаты. Прослышавъ о томъ, что въ пѣхотный полкъ, стоящій по сосѣдству, идетъ транспортъ провіанта, Денисовъ ѣдетъ насильно отбивать эти припасы, и дѣйствительно выполняетъ свое намѣреніе, разсуждая такъ, что не умирать-же, въ самомъ дѣлѣ, павлоградскимъ гусарамъ отъ голода и отъ сладкаго Машкина корня. Полковой командиръ, узнавъ объ этомъ подвигѣ Денисова, говоритъ ему, что готовъ смотрѣть на это сквозь пальцы, но совѣтуетъ Денисову съѣздить въ штабъ и уладить дѣло въ провіантскомъ вѣдомствѣ.

Денисовъ ѣдетъ и начинаетъ объясняться съ провіантскимъ чиновникомъ, котораго онъ потомъ въ разговорѣ съ Ростовымъ, называетъ оберъ-воромъ. Съ первыхъ же словъ Денисовъ говоритъ оберъ-вору, что «разбой не тотъ дѣлаетъ, кто беретъ провіантъ, чтобы кормить своихъ солдатъ, а тотъ, кто беретъ его, чтобъ класть въ карманъ». Послѣ такого дебюта, полюбовное окончаніе дѣла становится невозможнымъ. По приглашенію оберъ-вора, Денисовъ идетъ росписываться у комиссіонера и тутъ, за столомъ, видитъ уже настоящаго вора, бывшаго павлоградскаго офицера Телянина, укравшаго у него, Денисова, кошелекъ съ деньгами, уличеннаго въ этомъ Ростовымъ, выключеннаго

изъ полка и пристроившагося потомъ къ провіантскому вѣдомству. Тутъ разыгрывается сцена, которую самъ Денисовъ слѣдующимъ образомъ описываетъ Ростову:

«Какъ, ты насъ съ голоду моришь?!» Разъ, разъ по мордѣ, ловко такъ пришлось .. «А... распротакой-сякой», и... началъ катать.—За то натѣшился, могу сказать, кричалъ Денисовъ, радостно и злобно изъ-подъ черныхъ усовъ оскаливая свои бѣлые зубы.—Я бы убилъ его, кабы не отняли».

Разумѣется завязывается дѣло. Майора Денисова обвиняютъ въ томъ, что онъ, отбивъ транспортъ, безъ всякаго вызова, въ пьяномъ видѣ явился къ оберъ-провіантмейстеру, назвалъ его воромъ, угрожалъ побоями, и когда былъ выведенъ вонъ, то бросился въ канцелярію, избилъ двухъ чиновниковъ и одному вывихнулъ руку.

Пока тянется предварительная переписка по этому дѣлу, Денисовъ въ одной рекогносцировкѣ получаетъ рану и уѣзжаетъ въ госпиталь.

Послѣ Фридландскаго сраженія, во время перемирія, Ростовъ ѣдетъ провѣдать Денисова, и собственными глазами видитъ, какой уходъ достается на долю раненымъ героямъ. При самомъ входѣ докторъ предупреждаетъ его, что *тутъ домъ прокаженныхъ, тифъ; кто ни взойдетъ—смерть*, и что здоровому человѣку не слѣдуетъ входить, если онъ не желаетъ тутъ и остаться. Въ темномъ корридорѣ Ростова охватываетъ такой сильный и отвратительный больничный запахъ, что онъ принужденъ остановиться и собраться съ силами, чтобы идти дальше. Ростовъ входитъ въ солдатскія палаты и видитъ, что тутъ больные и раненые лежатъ въ два ряда, головами къ стѣнамъ, на соломѣ или на собственныхъ шинеляхъ, безъ кроватей. Одинъ больной казакъ лежитъ навзничь, поперекъ прохода, раскинувъ руки и ноги, закативъ глаза и повторяя хриплымъ голосомъ: «испить—пить—испить!» Его никто не поднимаетъ, ему никто не даетъ глотка воды, и больничный служитель, которому Ростовъ приказываетъ помочь больному, только старательно выкатываетъ глаза и съ удовольствіемъ говоритъ: «слушаю, ваше высокоблагородіе», но не трогается съ мѣста. Въ другомъ углу Ростовъ видитъ рядомъ со старымъ безногимъ солдатомъ молодого мертвеца и узнаетъ отъ безногаго старика, что его сосѣдъ «еще утромъ кончился», и что его, несмотря на усиленныя и неоднократныя просьбы больныхъ, до сихъ поръ не убираютъ.

Денисовъ сначала горячо толкуетъ о томъ, что онъ выводитъ на чистую воду казнокрадовъ и разбойниковъ, и читаетъ впродолженіи часа слишкомъ Ростову свои ядовитыя бумаги, писанныя въ отвѣтъ на запросы военно-судной комиссіи, но потомъ убѣждается, что *плетью обуха не перешибешь*, и вручаетъ Ростову большой конвертъ съ просьбой о помилованіи на имя государя.

Ростовъ ѣдетъ въ Тильзитъ, находитъ случай передать государю просьбу Денисова черезъ одного кавалерійскаго генерала и слышитъ собственными ушами, какъ государь отвѣчаетъ громко:

— Не могу, генералъ, и потому не могу, что законъ сильнѣе меня.

Въ Тильзитѣ Ростовъ видитъ радостныя лица, блестящіе мундиры, сіяющія улыбки, свѣтлыя картины мира, изобилія и роскоши —самую рѣзкую противоположность всего того, что онъ видѣлъ въ землянкахъ Павлоградскаго полка и на поляхъ сраженія, и въ томъ домѣ прокаженныхъ, въ которомъ изнываетъ раненый подсудимый Денисовъ.

Эта противоположность смущаетъ его, нагоняетъ къ нему въ голову вихри непрошенныхъ мыслей и поднимаетъ въ душѣ его тучи небывалыхъ сомнѣній. Борисъ сразу, безъ малѣйшей борьбы, призналъ генерала Буонапарте императоромъ Наполеономъ и великимъ человѣкомъ и даже постарался устроить такъ, чтобы его готовность и старательность по этой части была замѣчена начальствомъ и вмѣнена ему въ достоинство. Борисъ такъ-же охотно и съ такой-же пріятной улыбкой призналъ-бы уличеннаго вора Телянина за честнѣйшаго человѣка и за доблестнѣйшаго патріота, ежели-бы такое признаніе могло понравиться начальству. Борисъ, безъ всякаго сомнѣнія, не позволилъ-бы себѣ разбойничьяго нападенія на свои-же русскіе транспорты, чтобы доставить обѣдъи ужинъ голоднымъ солдатамъ своей роты. Борисъ конечно не произвелъ-бы дикаго насилія надъ особой русскаго чиновника, какими-бы двусмысленными поступками ни было наполнено прошедшее этого чиновника. Борисъ разумѣется охотнѣе протянулъ-бы руку Телянину, котораго начальство признаетъ честнымъ гражданиномъ, чѣмъ Денисову, котораго военный судъ будетъ принужденъ наказать, какъ грабителя и буяна.

Если-бы Ростовъ былъ способенъ усвоить себѣ беззастѣнчивую и неустрашимую гибкость Бориса, если-бы онъ разъ навсегда отодвинулъ въ сторону желаніе любить то, чему онъ служитъ, и служить тому, что онъ любитъ,—то конечно тильзитскія сцены своимъ блескомъ произвели-бы на него самое пріятное впечатлѣніе, госпитальные міазмы заставили-бы его только покрѣпче зажимать себѣ носъ, а денисовское дѣло навело-бы его на поучительныя размышленія о томъ, какъ вредно бываетъ для человѣка неумѣнье обуздывать свои страсти. Онъ не сталъ-бы смущаться контрастами и противорѣчіями; довольствуясь той истиной, что существующее существуетъ, и что для успѣшнаго прохожденія служебнаго поприща надо изучать требованія дѣйствительности и приноровляться къ нимъ, онъ не сталъ-бы настоятельно желать, чтобы все существующее было въ самомъ себѣ стройно, разумно и прекрасно.

Но Ростовъ не видитъ и не понимаетъ, за какія заслуги генералъ Бонапарте произведенъ въ императоры Наполеоны; онъ не видитъ и не понимаетъ, почему онъ, Ростовъ, сегодня долженъ любезничать съ тѣми французами, которыхъ онъ вчера долженъ былъ рубить саблей; почему Денисовъ за свою любовь къ солдатамъ, которыхъ онъ обязанъ былъ беречь и лелѣять, и за свою ненависть къ ворамъ, которыхъ ему никто не приказывалъ любить, долженъ быть разстрѣлянъ, или по меньшей мѣрѣ разжалованъ въ солдаты; почему люди, храбро сражавшіеся и честно исполнявшіе свой долгъ, должны, подъ присмотромъ фельдшеровъ и военныхъ медиковъ, умирать медленной смертью въ домахъ прокаженныхъ, въ которые опасно входить здоровому человѣку; почему негодяи, подобные исключенному офицеру Телянину, должны имѣть обширное и дѣятельное вліяніе на судьбу русской арміи.

Опытный человѣкъ на мѣстѣ Ростова успокоился-бы на томъ соображеніи, что абсолютное совершенство недостижимо, что человѣческія силы ограничены, и что ошибки и внутреннія противорѣчія составляютъ неизбѣжный удѣлъ всѣхъ людскихъ начинаній. Но опытность пріобрѣтается цѣной разочарованій, а первое разочарованіе, первое жестокое столкновеніе блестящихъ ребяческихъ иллюзій съ грубыми и неопрятными фактами дѣйствительной жизни составляетъ обыкновенно рѣшительный поворотный пунктъ въ исторіи того человѣка, который его испытываетъ.

Послѣ этого перваго столкновенія, цѣльныя вѣрованія дѣтства въ легкое, неизбѣжное и всегдашнее торжество добра и правды, вѣрованія, вытекающія изъ незнанія зла и лжи,— оказываются разбитыми; человѣкъ видитъ себя среди колеблющихся развалинъ; онъ старается прицѣпиться къ осколкамъ того зданія, въ которомъ онъ надѣялся благополучно провести всю свою жизнь; онъ ищетъ въ грудѣ разрушенныхъ иллюзій хоть чего-нибудь крѣпкаго и прочнаго; онъ пытается построить себѣ изъ уцѣлѣвшихъ обломковъ новое зданіе, поскромнѣе, но зато и попадежнѣе перваго; эта попытка ведетъ за собой неудачу и порождаетъ новое разочарованіе. Развалины разлагаются на свои составныя части; обломки крошатся на мелкіе кусочки и превращаются въ тонкую пыль подъ руками человѣка, добросовѣстно старающагося удержать ихъ въ цѣлости. Идя отъ разочарованія къ разочарованіямъ, человѣкъ приходитъ наконецъ къ тому убѣжденію, что всѣ его мысли и чувства, напущенныя въ него неизвѣстно когда и выросшія вмѣстѣ съ нимъ, нуждаются въ самой тщательной и строгой провѣркѣ. Это убѣжденіе становится исходной точкой того процесса развитія, который можетъ привести человѣка къ болѣе или менѣе ясному и отчетливому пониманію всего окружающаго.

Мужественно выдержать первое разочарованіе способенъ не всякій. Къ числу этихъ неспособныхъ принадлежитъ и нашъ Ростовъ. Вмѣсто того, чтобы вглядѣться въ тѣ факты, которые опрокидываютъ его младенческія иллюзіи, онъ съ трусливымъ упорствомъ и съ малодушнымъ ожесточеніемъ зажмуриваетъ глаза и гонитъ прочь свои мысли, какъ только онѣ начинаютъ принимать черезчуръ непривычное для него направленіе. Ростовъ не только зажмуривается самъ. но также съ фанатическимъ усердіемъ старается зажимать глаза другимъ.

Потерпѣвъ неудачу по денисовскому дѣлу и насмотрѣвшись на тильзитскій блескъ, коловшій ему глаза, Ростовъ избираетъ благую часть, которая никогда не отнимется отъ нищихъ духомъ и богатыхъ наличными деньгами. Онъ заливаетъ свои сомнѣнія двумя бутылками вина и, доводя свою гусарскую лихость до надлежащихъ размѣровъ, начинаетъ кричать на двухъ офицеровъ, выражавшихъ свое неудовольствіе по поводу тильзитскаго мира.

— И какъ вы можете судить, что̀ было бы лучше! закричалъ онъ съ лицомъ, вдругъ налившимся кровью. — Какъ вы можете судить о поступкахъ государя, какое мы имѣемъ право разсуждать?! Мы не можемъ понять ни цѣли, ни поступковъ государя!

— Да я ни слова не говорилъ о государѣ, оправдывался офицеръ, иначе, какъ тѣмъ, что Ростовъ пьянъ, не могущій объяснить себѣ его вспыльчивости.

Но Ростовъ не слушалъ его.

— Мы не чиновники дипломатическіе, а мы солдаты, и больше ничего, продолжалъ онъ:— умирать велятъ намъ — такъ умирать (этими словами Ростовъ разрѣшаетъ сомнѣнія, возбужденныя въ немъ *домомъ прокаженныхъ*). А коли наказываютъ, такъ, значитъ, виноватъ; не намъ судить (это — по денисовскому дѣлу). Угодно государю императору признать Бонапарте императоромъ и заключить съ нимъ союзъ, значитъ, такъ надо (а это примиреніе съ тильзитскими сценами). А то, коли-бы мы стали обо всемъ судить да разсуждать, такъ этакъ ничего святого не останется. Этакъ мы скажемъ, что ни Бога нѣтъ, ничего нѣтъ, ударяя по столу, кричалъ Николай, весьма некстати, по понятіямъ своихъ собесѣдниковъ, но весьма послѣдовательно по ходу своихъ мыслей.

— Наше дѣло исполнять свой долгъ, рубиться и не думать, вотъ и все, заключилъ онъ.

— И пить, сказалъ одинъ изъ офицеровъ, не желавшій ссориться.

— Да, и пить, подхватилъ Николай. — Эй ты! Еще бутылку! крикнулъ онъ.

Во-время выпитыя двѣ бутылки наградили молодого графа Ростова вѣрнѣйшимъ лекарствомъ противъ разочарованій, сомнѣній и всевозможной мучительной внутренней ломки и переборки. Кому посчастливилось во время первой умственной бури открыть спасительную формулу: *наше дѣло не думать*, и успокоить себя этой формулой, хотя-бы на минуту, хотябы при содѣйствіи двухъ бутылокъ — тотъ по всей вѣроятности всегда будетъ убѣгать подъ защиту этой формулы, какъ только въ немъ начнутъ шевелиться неудобныя сомнѣнія и его станетъ одолѣвать тревожный позывъ къ свободному изслѣдованію. *Наше дѣло не думать*—это такая неприступная позиція, которую не могутъ разбить никакія свидѣтельства опыта и передъ которой останутся безсильными всякія доказательства. Свободной мысли негдѣ высадиться и ей невозможно укрѣпиться на томъ берегу, на которомъ возвышается эта твердыня. Спасительная формула подрѣзываетъ ее при первомъ ея появленіи. Чуть-только человѣкъ захватитъ самого себя на дѣлѣ взвѣшиванія и сопоставленія воспринятыхъ впечатлѣній, чуть-только онъ подмѣтитъ въ себѣ поползновеніе размышлять и обобщать невольно собранные факты,—онъ тотчасъ, опираясь на свою формулу и припоминая то чудесное успокоеніе, которое она ему доставила, скажетъ себѣ, что это грѣхъ, что это дьявольское навожденіе, что это болѣзнь, и пойдетъ лечиться виномъ, крикомъ, цыганами, псовой охотой и вообще той пестрой смѣной сильныхъ ощущеній, которую можетъ доставить себѣ плотно-сложенный и состоятельный русскій дворянинъ.

Если вы станете доказывать такому укрѣпившемуся человѣку, что его спасительная формула неразумна, то ваши доказательства пропадутъ даромъ. Формула и съ этой стороны обнаружитъ свою несокрушимость. Драгоцѣннѣйшее изъ ея достоинствъ состоитъ именно въ томъ, что она не нуждается ни въ какихъ разумныхъ основаніяхъ и даже исключаетъ возможность такихъ основаній. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы доказывать разумность или неразумность формулы, чтобы нападать или защищать ее, надо думать, а такъ какъ *наше дѣло не думать*, то и всякаго рода доказыванія, сами по себѣ, независимо отъ тѣхъ цѣлей, къ которымъ они клонятся, должны быть признаны излишними и предосудительными.

Ростовъ остается неизмѣнно вѣренъ правилу, открытому въ тильзитскомъ трактирѣ, при содѣйствіи двухъ бутылокъ вина. Мышленіе не обнаруживаетъ никакого вліянія на всю его дальнѣйшую жизнь. Сомнѣнія не нарушаютъ больше его душевнаго спокойствія. Онъ знаетъ и хочетъ знать только свою службу и благородныя развлеченія, свойственныя богатому помѣщику и лихому гусару. Его умъ отказывается отъ всякой работы, даже отъ той, которая необходима для спасенія родового имущества отъ козней плутующаго, но очевидно малограмотнаго приказчика Митеньки.

Онъ съ большой энергіей кричитъ на Митеньку и очень ловко толкаетъ его ногой и колѣнкой подъ задъ, но послѣ этой бурной сцены Митенька остается полновластнымъ распорядителемъ въ имѣніи, и дѣла продолжаютъ идти прежнимъ порядкомъ.

Не умѣя даже привести въ порядокъ свои денежныя дѣла и унять домашняго вора, Ростовъ тѣмъ болѣе не умѣетъ и не желаетъ осмысливать свою жизнь какимъ-нибудь занятіемъ, требующимъ сколько-нибудь сложныхъ и послѣдовательныхъ умственныхъ операцій. Книги для него повидимому не существуютъ. Чтеніе, кажется, не занимаетъ въ его жизни никакого мѣста, даже какъ средство убивать время. Даже московская свѣтская жизнь представляется ему слишкомъ запутанной и мудреной, слишкомъ переполненной сложными соображеніями и головоломными тонкостями. Его удовлетворяетъ вполнѣ только жизнь въ полку, гдѣ все опредѣлено и размѣрено, гдѣ все ясно и просто, гдѣ думать рѣшительно не о чемъ и гдѣ нѣтъ мѣста для колебаній и свободнаго выбора. Ему нравится полковая жизнь въ мирное время, нравится именно тѣмъ, чѣмъ она невыносима человѣку, сколько-нибудь способному мыслить: нравится своей спокойной праздностью, невозмутимой рутинностью, сонnымъ однообразіемъ и тѣми оковами, которыя она налагаетъ на всевозможныя проявленія личной изобрѣтательности и оригинальности.

Такъ какъ міръ мысли закрытъ для Ростова, то развитіе его на двадцатомъ году жизни оказывается законченнымъ. Къ двадцати годамъ все содержаніе жизни для него уже исчерпано; ему остается только сначала грубѣть и глупѣть, а потомъ дряхлѣть и разлагаться. Это отсутствіе будущности, это роковое безплодіе и неизбѣжное увяданіе скрыты отъ глазъ поверхностнаго наблюдателя внѣшнимъ видомъ свѣжести, силы и отзывчивости. Глядя на Ростова, поверхностный наблюдатель скажетъ съ удовольствіемъ: какъ въ этомъ молодомъ человѣкѣ много огня и энергіи! Какъ смѣло и весело онъ смотритъ на жизнь! Какое въ немъ обиліе неиспорченной и нерастраченной юности!

На такого поверхностнаго наблюдателя Ростовъ произведетъ по всей вѣроятности отрадное впечатлѣніе; Ростовъ ему понравится, какъ онъ, безъ сомнѣнія, понравился многимъ читателямъ и даже быть можетъ самому автору романа. Поверхностному наблюдателю не придетъ въ голову, что въ Ростовѣ нѣтъ именно того, что́ составляетъ самую существенную и глу-

боко-трогательную прелесть здоровой и свѣжей молодости.

Когда мы смотримъ на сильное и молодое существо, то насъ волнуетъ радостная надежда, что его силы выростутъ, развернутся, приложатся къ дѣлу, примутъ дѣятельное участіе въ великой житейской борьбѣ, увеличатъ хоть немного массу существующаго на землѣ живительнаго счастья и уничтожатъ хоть частицу накопившихся нелѣпостей, безобразій и страданій. Мы еще не знаемъ той границы, на которой остановится развитіе этихъ силъ, и именно эта неизвѣстность составляетъ въ нашихъ глазахъ величайшую обаятельность молодого существа. Кто знаетъ?—думаемъ мы:—можетъ быть тутъ вырабатывается передъ нами что-то очень большое, чистое, свѣтлое, сильное и неустрашимое. Молодое существо, полное жизни и энергіи, составляетъ для насъ самую занимательную загадку, и эта загадочность придаетъ ему особенную привлекательность.

Именно этой обаятельной загадочности нѣтъ въ Ростовѣ, и только поверхностный наблюдатель можетъ, глядя на него, сохранять неопредѣленную надежду, что его нерастраченныя силы на чемъ-нибудь хорошемъ сосредоточатся и къ чему-нибудь дѣльному приложатся. Только поверхностный наблюдатель можетъ, любуясь его живостью и пылкостью, оставлять въ сторонѣ вопросъ о томъ, пригодится-ли на что-нибудь эта живость и пылкость.

Поверхностный наблюдатель способенъ залюбоваться юношеской горячностью Ростова, напримѣръ во время псовой охоты, когда онъ обращается къ Богу съ мольбой о томъ, чтобы волкъ вышелъ на него, когда онъ говоритъ, изнемогая отъ волненія: «ну, что Тебѣ стоитъ сдѣлать это для меня? Знаю, что Ты великъ и что грѣхъ Тебя просить объ этомъ; но ради Бога сдѣлай, чтобы на меня вылѣзъ матерый и чтобы Карай, на глазахъ дядюшки, который вонъ оттуда смотритъ, влѣпился ему мертвой хваткой въ горло»,—когда онъ во время травли переходитъ отъ безпредѣльной радости къ самому мрачному отчаянію, съ плачемъ называетъ стараго кобеля Карая отцомъ и наконецъ чувствуетъ себя счастливымъ, видя волка, окруженнаго и разрываемаго собаками.

Кто не останавливается на веселой наружности явленій, того шумная и оживленная сцена охоты наведетъ на самыя печальныя размышленія. Если такая мелочь, такая дрянь, какъ борьба волка съ нѣсколькими собаками, можетъ доставить человѣку полный комплектъ сильныхъ ощущеній, отъ изступленнаго отчаянія до безумной радости, со всѣми промежуточными полутонами и переливами, то зачѣмъ-же этотъ человѣкъ будетъ заботиться о расширеніи и углубленіи своей жизни? Зачѣмъ ему искать себѣ работы, зачѣмъ ему создавать себѣ интересы въ обширномъ и бурномъ морѣ общественной жизни, когда конюшня, псарня и ближайшій лѣсъ съ избыткомъ удовлетворяютъ всѣмъ потребностямъ его нервной системы?

Разборъ отношеній Ростова къ любимой женщинѣ, анализъ другихъ характеровъ, болѣе сложныхъ, именно: Пьера Безухова, князя Андрея Болконскаго и Наташи Ростовой, а также общіе выводы касательно всего общества, изображеннаго въ романѣ, я считаю необходимымъ отложить до выхода въ свѣтъ четвертаго тома.

МИСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ.

(«Spiritual Wives». By William Hepworth Dixon. In two volumes. London. 1868.)

Уильямъ Генвортъ Диксонъ, авторъ замѣчательной книги «Новая Америка», издалъ въ началѣ нынѣшняго года новую книгу, подъ заглавіемъ: «Spiritual Wives» (Духовныя жены). Въ этой книгѣ онъ описываетъ три религіозныя движенія, въ которыхъ женщины принимали дѣятельное участіе, играли видныя роли и становились къ мужчинамъ, управлявшимъ движеніемъ, въ совершенно своеобразныя отношенія такъ называемаго духовнаго супружества. Всѣ эти движенія относятся къ первой половинѣ текущаго столѣтія. Первое изъ нихъ произошло въ Восточной Пруссіи, второе—въ Англіи, третье—въ Америкѣ.

«Предметъ, говоритъ Диксонъ въ предисловіи къ своей книгѣ,—о которомъ я поведу рѣчь на этихъ страницахъ, настолько новъ, что врядъ-ли хоть одинъ изъ разсказанныхъ здѣсь фактовъ можетъ быть найденъ въ книгахъ. Человѣкъ въ своей высшей фазѣ до сихъ поръ врядъ-ли еще сдѣлался достояніемъ науки, и тѣ исторіи, въ которыхъ обнаружились его духовныя страсти, еще должны быть собираемы. Одна глава изъ одной такой исторіи предла-

гается не безъ робости въ теперешнемъ моемъ трудѣ.

«Я собиралъ мои факты въ разныхъ мѣстахъ, далеко отстоящихъ одно отъ другого: въ прибалтійскихъ провинціяхъ, въ западной Англіи, на берегахъ озера Онтаріо, въ городахъ Новой Англіи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ я самъ видѣлся съ людьми и осматривалъ мѣста».

Факты, собранные Диксономъ, очень интересны и разсказаны съ той живостью и наглядностью, о которой читатели «Новой Америки» могли уже составить себѣ достаточно ясное понятіе. Къ сожалѣнію живые и очень интересные разсказы переплетены растянутыми и туманными разсужденіями о томъ, какъ росла и развивалась идея духовнаго супружества. Эти разсужденія не даютъ читателю никакихъ новыхъ знаній и не приводятъ его ни къ какому осязательному результату. Эти разсужденія никакъ не могутъ быть названы историческими изслѣдованіями. Это какіе-то историческіе арабески, которые чертитъ безъ малѣйшей надобности рука даровитаго писателя, хорошо владѣющаго языкомъ, получившаго блестящее литературное образованіе и беззаботно почерпающаго изъ готоваго запаса своихъ знаній разные слабо связанные между собой факты.

Духъ готической расы и вліяніе Испаніи на развитіе католическаго догмата, Гёте и Сведенборгъ, европейскіе коммунисты и американскіе поклонники свободной любви появляются и исчезаютъ въ этихъ разсужденіяхъ, привлекаютъ къ себѣ на минуту вниманіе читателя и затѣмъ оставляютъ его въ недоумѣніи и въ невозможности рѣшить вопросъ, зачѣмъ они вынырнули и зачѣмъ такъ скоро уступили свое мѣсто другимъ, столь-же мимолетнымъ явленіямъ.

Книга Диксона вообще растянута какъ въ литературномъ, такъ и въ типографскомъ отношеніи. Тотъ матеріалъ, который легко можно было втиснуть въ одинъ небольшой томикъ, разведенъ на двѣ толстыя книги. Русскій переводъ «Духовныхъ женъ», вызванный по всей вѣроятности успѣхомъ «Новой Америки», можетъ, какъ намъ кажется, быть признанъ излишнимъ. Все содержаніе новой книги Диксона, безспорно заключающей въ себѣ очень интересныя подробности по внутренней психологической исторіи новѣйшихъ сектъ, легко можетъ быть исчерпано въ журнальной статьѣ обыкновенныхъ размѣровъ.

Это я и постараюсь сдѣлать на слѣдующихъ страницахъ, но такъ какъ въ нашемъ журналѣ печатается отдѣльная, очень обстоятельная статья объ американскомъ сектаторствѣ, то я здѣсь перескажу читателю только то, что Диксонъ сообщаетъ о религіозныхъ движеніяхъ въ восточной Пруссіи и въ Англіи.

КЕНИГСБЕРГСКІЕ ПІЕТИСТЫ.

I.

У одного рослаго и красиваго гренадера, служившаго въ арміи Фридриха II, родился въ Мемелѣ въ 1771 году сынъ Іоаннъ-Генрихъ. Фамилія гренадера была Шёнгагенъ, но австрійцы, взявшіе его въ плѣнъ во время семилѣтней войны, прозвали его за красоту *Schönherr* (красивый господинъ), и это прозваніе замѣнило собой его фамилію.

Когда Іоанну-Генриху Шёнгерру минуло пятнадцать лѣтъ, родители отправили его въ Кенигсбергъ учиться ремеслу. Ученіе пошло неуспѣшно; вмѣсто того, чтобы заниматься работой, юноша сталъ ходить по церквамъ, слушать тогдашнихъ извѣстныхъ проповѣдниковъ, читать библію и задумываться надъ мудреными вопросами, которыхъ онъ не умѣлъ даже поставить, какъ слѣдуетъ. Въ Кенигсбергѣ, какъ и въ другихъ нѣмецкихъ университетскихъ городахъ, бѣдныхъ студентовъ всегда бываетъ довольно; ихъ было особенно много въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, когда лекціи Канта привлекали въ Кенигсбергъ любознательную молодежь изъ всѣхъ концовъ Германіи. Шёнгерру нетрудно было сойтись съ такими студентами и вызвать ихъ на философскіе разговоры, въ которыхъ восторженные слушатели Канта по всей вѣроятности приписывали своему обожаемому учителю много такого, въ чемъ онъ былъ неповиненъ и отъ чего онъ самъ не преминулъ-бы отказаться. Идеи Канта, проходя такимъ образомъ черезъ руки неприготовленныхъ популяризаторовъ, падали на дѣвственную почву молодого ума и, смѣшиваясь на этой почвѣ съ тирадами изъ проповѣдей и съ отрывками изъ библіи, производили совершенный хаосъ, изъ котораго врядъ-ли могло выработаться что-либо путное.

Шёнгерръ былъ очень любознателенъ; онъ быть можетъ былъ даже уменъ отъ природы, но впечатлѣнія, налетѣвшія на него съ разныхъ сторонъ въ Кенигсбергѣ, были такого рода, что его голова не могла переработать ихъ благополучно. Не имѣя никакихъ фактическихъ знаній, онъ сталъ задумываться о сущности вещей, о добрѣ и злѣ, о назначеніи человѣка и о безсмертіи души. Свою мучительную любознательность, тревожную жажду своего ума онъ сталъ принимать за доказательство, что въ немъ дѣйствуютъ высшія силы, что онъ призванъ учить и спасать другихъ, и что два-три года прилежныхъ школьныхъ занятій снимутъ съ духовныхъ очей его всѣ завѣсы и облекутъ его на всю жизнь въ то всеоружіе истины, которымъ онъ будетъ покорять умы и сердца людей.

Окончательно бросивъ свое ремесло, Шёнгерръ поступилъ въ школу для бѣдныхъ, гдѣ воспитанниковъ не только учили даромъ, но и кормили. Учебники его конечно не удовлетворяли. Что общаго могли имѣть правила нѣмецкой грамматики или теоремы элементарной геометріи съ вопросами о сущности вещей и о загробной жизни человѣка? Шёнгерръ пробовалъ читать теологическіе трактаты, но при его кругломъ невѣжествѣ справляться съ ними было невозможно; онъ ихъ бросилъ, рѣшивъ про себя, что вся теологія сводится на пустую игру словами.

Доживъ до двадцати одного года и окончательно попортивъ свой умъ изнурительными и безплодными попытками сразу угадать смыслъ всего существующаго, Шёнгерръ сталъ ходить въ университетъ на лекціи философіи. Тамъ онъ по своему обыкновенію ничего не понялъ и также по своему обыкновенію скоро рѣшилъ, что нечего и понимать. Забраковавъ всю кенигсбергскую мудрость и ученость, онъ пошелъ пѣшкомъ искать себѣ умственнаго просвѣтлѣнія въ другихъ университетскихъ городахъ сѣверной Германіи, и также ничего не нашелъ. Вездѣ онъ хотѣлъ начинать съ конца, вездѣ хотѣлъ, ничему не учившись, сразу узнать все, и преимущественно то, чего не знаетъ ни одинъ ученый въ мірѣ. Фокусъ этотъ нигдѣ ему не удавался, и Шёнгерръ, подъ вліяніемъ этихъ разочарованій, все глубже и глубже проникался тѣмъ убѣжденіемъ, что непремѣнно надо найти и возвѣстить людямъ неизвѣстную имъ истину.

Во время своихъ скитаній, сидя однажды на берегу пруда и глядя на водяныя растенія, Шёнгерръ вдругъ напалъ на то великое открытіе, за которымъ до сихъ поръ безуспѣшно бѣгалъ по Германіи. Онъ мгновенно сообразилъ, что вода и свѣтъ составляютъ основныя начала всего существующаго, что вода—женскій принципъ, а свѣтъ—мужской, и что эти два первичныя вещества, связанныя между собою узами вѣчнаго и необходимаго брака, достаточны для объясненія всего мірозданія. Это открытіе было такъ неожиданно и показалось Шёнгерру въ такой степени великимъ и замѣчательнымъ, что онъ приписалъ его внушенію свыше. Это внушеніе, какъ онъ думалъ, было сдѣлано для того, чтобы приготовить міръ ко второму пришествію Спасителя. А такъ какъ это внушеніе было сдѣлано именно ему, Шёнгерру, то онъ принялъ себя за избранное орудіе этого приготовленія и объявилъ себя Параклетомъ, явившимся во плоти.

Что круглый невѣжда, одаренный пылкимъ воображеніемъ, сочинилъ нелѣпую теорію міра, что онъ самъ увѣровалъ въ эту теорію со всей слѣпой страстностью непронутаго невѣжества, что онъ даже помѣшался на своей теоріи и въ припадкѣ помѣшательства объявилъ самого себя Богомъ,—въ этомъ нѣтъ ничего особенно удивительнаго и замѣчательнаго: невѣжды часто создаютъ нелѣпыя теоріи, люди часто сходятъ съума, и выдумки сумасшедшихъ обыкновенно бываютъ въ высшей степени нескладны. Но удивительно и замѣчательно то, что, вооружившись своимъ безуміемъ, Шёнгерръ пошелъ проповѣдывать по городамъ и селамъ, и что проповѣдь его, въ вѣкъ Вольтера и Руссо, на родинѣ Канта и Гёте, Лессинга, Шиллера и Фихте, не осталась безплодной.

Правда, что одинъ деревенскій пасторъ, которому Шёнгерръ грозилъ немедленной смертью, если онъ не повѣритъ тотчасъ въ теорію воды и свѣта, сбросилъ съ лѣстницы непрошеннаго гостя; правда, что въ Лейпцигѣ одинъ доброжелатель параклета изъ человѣколюбія пристроилъ его въ мѣстной психіатрической лечебницѣ, въ которой Шёнгерръ, рѣшившись поститься сорокъ дней, чуть не уморилъ себя голодомъ. Но правда и то, что у него были вѣрующіе ученики и преданные поклонники. Одинъ изъ этихъ учениковъ спасъ его въ лечебницѣ отъ голодной смерти, подавъ ему ту мысль, что всѣ святые пророки ѣли медъ, и что онъ, Шёнгерръ, не нарушая своего поста, можетъ поддерживать свои силы этой небесной манной.

Ученикамъ удалось освободить его изъ съумасшедшаго дома. Онъ отправился въ Кёнигсбергъ. Тамъ о немъ уже слышали, и носившіеся слухи были настолько привлекательны, что, какъ только онъ появился, къ нему примкнули и въ него увѣровали трое молодыхъ теологовъ: Вильгельмъ Эбель, Германъ Ольсгаузенъ и Гейнрихъ Дистель.

Изъ своей теоріи воды и свѣта Шёнгерръ вывелъ какимъ-то образомъ то ученіе, что теперь время плотской любви прошло, и что въ обществѣ, обновленномъ вѣрою въ параклета, возможна только любовь духовная. Именно это ученіе повидимому и привлекло къ нему молодыхъ теологовъ.

Вильгельмъ Эбель, блестящій молодой человѣкъ, отлично кончившій курсъ въ университетѣ, занималъ видное мѣсто при одной изъ главныхъ кёнигсбергскихъ церквей. Уже бывши студентомъ, онъ съ успѣхомъ давалъ уроки закона божія въ знатныхъ домахъ и въ модныхъ женскихъ пансіонахъ. Пріобрѣтенныя такимъ образомъ связи разрослись въ значительной степени, когда проповѣди Эбеля стали привлекать въ альтштадтскую церковь всѣхъ набожныхъ кёнигсбергскихъ аристократовъ обоего пола и всякаго возраста. Эбель сдѣлался любимцемъ мѣстной знати; онъ могъ разсчитывать на самую блестящую карьеру; онъ обнаруживалъ желаніе и умѣнье воспользоваться всѣми выгодами своего положенія, и однакоже, когда въ Кенигсбергъ явился полоумный нищій, параклетъ Шёнгерръ, начитанный, даровитый и остроумный Эбель призналъ его своимъ учите-

лемъ и познакомилъ съ нимъ двоихъ изъ своихъ знатныхъ друзей: графа Каница и фрейлейнъ Минну фонъ-Дершау.

Шёнгерръ роздалъ всѣмъ своимъ новымъ адептамъ имена, взятыя изъ апокалипсиса. Эбеля онъ назвалъ первымъ свидѣтелемъ; Каница—ангеломъ; Минну фонъ-Дершау—невѣстою агнца; Дистеля — сломителемъ седьмой печати.

Благодаря своимъ новымъ знакомствамъ, Шёнгерръ могъ безпрепятственно проповѣдывать въ Кёнигсбергѣ по два раза въ недѣлю. Нѣкоторыя изъ своихъ проповѣдей онъ произносилъ въ полночь; гдѣ именно онъ проповѣдывалъ—этого Диксонъ намъ не сообщаетъ; впрочемъ вопросъ о мѣстѣ имѣетъ мало вліянія на сущность дѣла; во всякомъ случаѣ проповѣди его собирали вокругъ него толпу слушателей и производили сильное впечатлѣніе. Онъ самъ любилъ обращаться преимущественно къ низшимъ и бѣднѣйшимъ классамъ кёнигсбергскаго населенія: лодочники съ Прегеля, разные городскіе работники и крестьяне изъ подгородныхъ фермъ слушали его разсказы о приближеніи страшнаго суда съ простодушнымъ благоговѣніемъ, которое не мѣшало имъ пить дешевое пиво и покуривать трубки.

Въ 1809 году Эбель объявилъ публично, что онъ вѣруетъ въ ученіе Шёнгерра о двойственномъ началѣ всего существующаго. Духовному начальству не понравилось это объявленіе; были сдѣланы попытки взвести на Эбеля и Шёнгерра обвиненія въ ереси; были поданы доносы мѣстному архіепископу Боровскому; были приложены старанія повести Эбеля подъ судъ и выгнать Шёнгерра изъ Кёнигсберга; но всѣ эти усилія остались безплодными. Боровскій нашелъ, что Шёнгерръ—безвредный энтузіастъ, котораго не стоитъ притѣснять; а нѣкоторыя духовныя лица, ознакомившись съ космогоническими идеями Шёнгерра, пришли даже къ тому убѣжденію, что онѣ гораздо ближе подходятъ къ библейской истинѣ, чѣмъ тѣ умствованія, которыя распространяетъ въ обществѣ испорченная и нечестивая свѣтская наука.

Связь Эбеля съ Шёнгерромъ не была порождена мимолетной вспышкой молодого увлеченія. Эта связь продолжалась нѣсколько лѣтъ, и съ годами повидимому крѣпла, вмѣсто того чтобы ослабѣвать. Въ 1816 году Эбель, которому тогда было тридцать два года и который по-прежнему стоялъ на хорошей дорогѣ къ почестямъ и къ богатству, проникся такой неудержимой миссіонерской ревностью, что рѣшился принять на себя роль странствующаго проповѣдника, рискуя потерять все то, что онъ уже пріобрѣлъ, и все то, на что онъ могъ надѣяться въ будущемъ. Вмѣстѣ съ своимъ учителемъ и съ однимъ новообращеннымъ ремесленникомъ онъ отправился изъ Кёнигсберга пѣшкомъ, съ котомкой за плечами, съ палкой въ рукѣ возвѣщать людямъ догматы новаго ученія. Питаясь милостыней, путники побывали въ Берлинѣ, въ Дрезденѣ, въ Бреславлѣ. Успѣхъ ихъ проповѣди былъ не великъ. Проходя черезъ Силезію, они нашли себѣ пріютъ въ замкѣ графини фонъ-деръ-Гребенъ, пробыли подъ ея гостепріимной кровлей нѣсколько недѣль и въ лицѣ владѣтельницы замка пріобрѣли себѣ ревностную послѣдовательницу, скоро обнаружившую самое рѣшительное вліяніе на дальнѣйшую судьбу ихъ возникающей секты.

Графиня Ида фонъ-деръ-Гребенъ была младшей дочерью фонъ-Ауэрсвальда, оберъ-президента провинціи восточной Пруссіи. Одаренная рѣдкой красотой, получивъ блестящее свѣтское воспитаніе, впечатлительная, отзывчивая, нервно-раздражительная, легко увлекающаяся и смѣло отдающаяся тому, что ее увлекало,—Ида фонъ-Ауэрсвальдъ свела съ ума всѣхъ молодыхъ аристократовъ и богачей восточной Пруссіи, потомъ вышла замужъ по страстной любви за молодого графа фонъ-деръ-Гребенъ и уѣхала съ нимъ изъ Кёнигсберга, гдѣ царилъ ея отецъ, въ силезское помѣстье мужа. Супруги были счастливы, но въ 1813 году началась война за освобожденіе Германіи. Ида отправила мужа въ дѣйствующую армію, и его убили въ сраженіи при Люценѣ. Молодая вдова вся отдалась своему горю; она не отказывалась отъ утѣшеній; по просьбѣ отца и родныхъ, она переѣхала въ Кёнигсбергъ и попробовала даже появляться въ обществѣ, въ которомъ она недавно гордо и весело занимала первое мѣсто. Но утѣшенія на нее не дѣйствовали; свѣтскія развлеченія были ей невыносимы; въ людскомъ обществѣ ей было еще тяжелѣе, чѣмъ наединѣ съ своимъ горемъ и своими воспоминаніями. Послѣ напрасныхъ усилій утѣшить, разсѣять и ободрить ее, родные и друзья оставили ее въ покоѣ; она уѣхала къ себѣ въ Силезію и прожила безвыѣздно три года въ томъ замкѣ, въ которомъ прошло счастливое время ея замужества.

Эту неутѣшную молодую вдову посѣтили въ ея уединеніи Шёнгерръ и Эбель. Вслушиваясь въ ихъ горячія рѣчи, вглядываясь въ ихъ оживленныя, красивыя лица, любуясь блескомъ ихъ огненныхъ глазъ, графиня Ида почувствовала, что она оживаетъ, что она молода и полна силъ, что въ ея жизни еще можетъ быть смыслъ и интересъ, и что впереди стоитъ великая цѣль, во имя которой надо подняться на ноги, собраться съ духомъ и воротиться въ общество живыхъ людей. У впечатлительныхъ женщинъ и вообще у художественныхъ натуръ, къ числу которыхъ принадлежала безъ сомнѣнія графиня Ида, личность проповѣдника служитъ обыкновенно самымъ вѣрнымъ ручательствомъ за достоинство проповѣди. Увлекаясь эффектной лич-

ностью, такія художественныя натуры обыкновенно воображаютъ себѣ и бываютъ непоколебимо увѣрены въ томъ, что ихъ фанатизируетъ идея.

Графиня Ида полюбила Эбеля, и любовь ея облеклась въ ту форму, въ которой она могла найти себѣ радушный пріемъ въ сердцѣ неутѣшной вдовы, упорно продолжавшей увѣрять себя въ томъ, что личное счастье для нея уже немыслимо. Графиня Ида увѣровала въ теорію воды и свѣта, прокляла вмѣстѣ съ Шёнгерромъ и Эбелемъ грѣховныя и низкія наслажденія плотской любви, рѣшилась посвятитьвсю свою жизнь, всѣ свои силы, все свое состояніе миссіонерскимъ подвигамъ и переѣхала вмѣстѣ съ Эбелемъ и Шёнгерромъ изъ тихаго силезскаго помѣстья въ Кёнигсбергъ, къ отцу.

Переворотъ, произведенный вліяніемъ Эбеля въ жизни графини Иды, доставилъ молодому проповѣднику почти репутацію чудотворца, и доставилъ ее именно въ тѣхъ высшихъ кружкахъ кёнигсбергскаго общества, которые всего сильнѣе могли содѣйствовать его повышенію. Ауэрсвальдъ говорилъ, что Эбель воскресилъ и возвратилъ ему его любимую дочь; родные и друзья молодой графини и ея покойнаго мужа разнесли славу воскресителя по всей провинціи; всѣ женщины съ разбитыми сердцами наперерывъ другъ передъ другомъ стали тѣсниться вокругъ благочестиваго и прекраснаго пастыря, исцѣляющаго всѣ душевныя раны своей живительной бесѣдой; всѣ набожные аристократы восточной Пруссіи, графы фонъ Каницъ, фонъ-Финкенштейнъ, фонъ-Мюнховъ искали случая сдѣлаться полезными новому свѣтилу, появившемуся въ Кёнигсбергѣ. Эбель сдѣлался дорогимъ гостемъ и своимъ человѣкомъ во всѣхъ знатнѣйшихъ домахъ города, и рекомендація Ауэрсвальда скоро доставила ему санъ сначала діакона, потомъ архидіакона въ альтштадтской церкви.

Сближеніе Эбеля съ графиней фонъ-деръ-Гребенъ и его быстрое возвышеніе понемногу ослабило его связь съ Шёнгерромъ, который, къ великому неудовольствію новыхъ знатныхъ своихъ поклонниковъ, продолжалъ вести нищенскую жизнь, одѣваться грязно, таскаться по базарамъ и харчевнямъ и вербовать себѣ послѣдователей среди чернорабочихъ и оборванцевъ. На старости лѣтъ онъ влюбился въ Минну фонъ-Дершау—пареченную невѣсту агнца—и предложилъ ей сдѣлаться его женой, съ тѣмъ однакоже, чтобы любовь ихъ была исключительно духовная. Минна приняла его предложеніе и согласилась на всѣ условія; ея вѣра не знала сомнѣній и не смущалась ни препятствіями, ни нелѣпостями. Какимъ образомъ Шёнгерръ предполагалъ воспользоваться ея согласіемъ, какой церемоніей должно было ознаменоваться заключеніе духовнаго брака, и по какому плану сложилась бы жизнь супруговъ—это все остается намъ неизвѣстнымъ, потому что друзья невѣсты успѣли помѣшать этому браку, отвлекли Минну отъ Шёнгерра и перетянули ее въ болѣе аристократическій и повидимому менѣе сумасбродный кружокъ, начавшій въ это время группироваться около Эбеля. Самъ Шёнгерръ также измѣнилъ свои намѣренія насчетъ Минны и объявилъ своимъ послѣдователямъ, что предположенный бракъ отмѣняется по приказанію свыше.

Вмѣстѣ съ Минною фонъ-Дершау, отъ Шёнгерра отдѣлился графъ фонъ-Каницъ; ихъ примѣру послѣдовалъ Дистель. Разрывъ между Эбелемъ и Шёнгерромъ былъ произведенъ преимущественно вліяніемъ графини Иды; причиною его были не какія-либо догматическія разногласія, а только различія во вкусахъ, привычкахъ и пріемахъ. Патриціи отдѣлились отъ плебеевъ; блестящіе салоны порвали духовную связь съ рынками и кабаками.

Въ своихъ послѣднихъ совѣщаніяхъ съ своимъ бывшимъ учителемъ Эбель старался обратить его вниманіе на политическія неудобства такой проповѣди, которая, обращаясь къ низшимъ классамъ общества, волнуетъ ихъ неразвитые умы извѣстіями о приближающемся днѣ свѣтопреставленія и страшнаго суда. Но Шёнгерръ всегда былъ и остался до послѣдней минуты своей жизни совершенно искреннимъ фанатикомъ. Политическія соображенія были ему неизвѣстны. До практическихъ послѣдствій его проповѣди ему не было никакого дѣла. Онъ считалъ свои идеи безусловно истинными, и хотѣлъ во что-бы то ни стало дѣлиться ими съ народомъ, съ которымъ онъ чувствовалъ себя неразрывно связаннымъ втеченіи всей своей тяжелой нищенской жизни. Онъ съ презрѣніемъ оттолкнулъ отъ себя свѣтскую мудрость Эбеля и прервалъ съ нимъ всякія сношенія. Впослѣдствіи, когда Шёнгерръ, по своему обыкновенію, очень нуждался, Эбель не разъ помогалъ ему деньгами, присылая ихъ отъ неизвѣстнаго, но Шёнгерръ до конца своей жизни не хотѣлъ принимать къ себѣ своего бывшаго ученика.

Въ послѣдніе свои годы Шёнгерръ, не имѣвшій никакого понятія о морской архитектурѣ, задумалъ построить на Прегелѣ корабль невиданной формы и неслыханныхъ достоинствъ; планъ и всѣ размѣры этого корабля были внушены ему свыше во время сна; онъ долженъ былъ называться «Лебедемъ», строиться силою вѣры, двигающей горы, плавать противъ вѣтра и теченія, двигаться безъ помощи парусовъ, веселъ и какой бы то ни было земной силы и превосходить своей быстротой самые проворные клипера Балтійскаго моря. Не имѣя гроша денегъ въ карманѣ, Шёнгерръ нашелъ возмож-

ность выстроить свой корабль. Вѣрующіе купцы дали ему строевой лѣсъ; вѣрующіе плотники для спасенія своей души стали работать по его указаніямъ. Ковчегъ оснастили и спустили на воду; онъ сейчасъ же пошелъ ко дну и затонулъ въ грязи.

До конца своей жизни Шёнгерръ утверждалъ, что онъ никогда не умретъ, потому что онъ разъ уже умеръ и родился вновь. Съ этими словами на губахъ онъ скончался въ Юдиттенѣ, возлѣ Кёнигсберга, пятидесяти-пяти лѣтъ отъ роду.

II.

Эбель былъ повидимому одинъ изъ тѣхъ людей, которые должны постоянно почерпать извнѣ бо́льшую часть своей энергіи и постоянно находиться подъ чьимъ-нибудь преобладающимъ вліяніемъ. Изъ-подъ вліянія Шёнгерра онъ перешелъ всецѣло подъ вліяніе красавицы графини фонъ-деръ-Гребенъ, которая, чувствуя и обнаруживая въ отношеніи къ нему самое подобострастное обожаніе, сидя нѣкоторымъ образомъ у его ногъ и собирая, какъ манну небесную, всѣ поучительныя слова, исходящія изъ его устъ, въ то же время повернула по своему всю его жизнь и дѣятельность, подчинила его своему господству и наложила печать своихъ личныхъ вкусовъ и стремленій на всѣ особенности, привычки и пріемы того благочестиваго кружка, который сгруппировался вокругъ молодого архидіакона модной альтштадтской церкви.

Три блестящія красавицы—Ида фонъ-деръ-Гребенъ, Минна фонъ-Дершау и Эмилія фонъ-Шрётеръ—составили изъ себя, подъ предводительствомъ и по иниціативѣ Иды, верховный комитетъ, который долженъ былъ наблюдать за нравственностью всѣхъ членовъ кружка и заботливо охранять обожаемаго архидіакона отъ всякой напасти, отъ всякаго огорченія, отъ всякаго жесткаго столкновенія съ людской испорченностью и вообще отъ всего, что̀ такъ или иначе могло возмутить спокойствіе его прекрасной души. Тотъ человѣкъ, который былъ способенъ препоясать чресла вервіемъ и отправиться въ путь вслѣдъ за нищимъ фанатикомъ для распространенія новыхъ истинъ по всей Германіи, незамѣтно для самого себя и безропотно отдался въ руки бдительному комитету, составленному изъ прекрасныхъ и аристократически-извѣженныхъ мечтательницъ. Дѣятельная пропаганда немедленно прекратилась. Судьба бѣднаго человѣчества, косвѣющаго въ безднѣ заблужденій и совершенно незнакомаго съ теоріей воды и свѣта и со всѣми ея практическими послѣдствіями, упущена изъ виду, оставлена безъ вниманія или по крайней мѣрѣ отодвинута на самый задній планъ. Заботы о спасеніи душъ и о процвѣтаніи новой доктрины совершенно уступили свое мѣсто стараніямъ покоить и лелѣять архидіакона.

Эбель сознавалъ въ себѣ, какъ вредную и постыдную слабость, излишнюю наклонность къ смиренію, излишнюю скромность въ мнѣніяхъ о самомъ себѣ, слишкомъ сильное стремленіе покорно и стыдливо склонять голову передъ каждымъ ничтожнѣйшимъ человѣкомъ. По всей вѣроятности графиня Ида подала ему мысль о томъ, что въ немъ существуетъ эта особенность, и что она составляетъ недостатокъ. Та-же Ида вмѣстѣ съ своими сотрудницами взяла на себя обязанность оберегать архидіакона отъ его слабости и успѣла въ своемъ предпріятіи, окруживъ Эбеля со всѣхъ сторонъ атмосферой самой страстной, нѣжной и покорной любви. Чувствуя себя любимымъ, Эбель могъ чувствовать себя достаточно сильнымъ и гордымъ.

Женское вліяніе преобладало въ церкви Эбеля и давало себя чувствовать въ тѣхъ требованіяхъ, которыя ставились адептамъ. Все, что̀ въ обществѣ аристократокъ считается дурнымъ тономъ, изгонялось изъ новой церкви и клеймилось именемъ грѣха. Мужчинамъ запрещалось, напримѣръ, курить и нюхать табакъ, пить вино и пѣть мірскія пѣсни. Все, что̀ отзывалось разгульнымъ буршескимъ элементомъ, подвергалось строгому преслѣдованію.

Женщины приняли на себя въ новой церкви обязанности духовниковъ и обнаружили удивительную виртуозность въ дѣлѣ выпытыванія и выслѣживанія предосудительныхъ поступковъ, легкомысленныхъ словъ и даже грѣховныхъ помышленій. Онѣ выворачивали на изнанку душу кающагося, зондировали всѣ закоулки его совѣсти и съ особенной чуткостью вывѣдывали и прослѣживали всѣ психическія движенія, находившіяся въ какой-бы то ни было связи съ непозволительной плотской любовью.

Искусство этихъ сыщиковъ и инквизиторовъ женскаго пола развивало въ ихъ паствѣ замѣчательное умѣніе хитрить, лукавить, лицемѣрить и прикрывать самые обыкновенные свои поступки цѣлыми замысловато построенными эшафодажами софизмовъ.

Заботы о нравственности Генриха Дистеля лежали на Миннѣ фонъ-Дершау. Дистель былъ грубый и неотесанный буршъ, человѣкъ самаго дурного тона, весь заросшій бурьяномъ и чертополохомъ самыхъ непривлекательныхъ пороковъ. Полотье этой грязной души доставляло нѣжной и утонченно-чувствительной барышнѣ много непріятныхъ хлопотъ. Дистель нюхалъ табакъ, и нюхалъ его неопрятнѣйшимъ образомъ. Дистель пилъ и кутилъ, Дистель не отказывался отъ грубыхъ наслажденій плотской любви, и когда фрейлейнъ фонъ-Дершау выговаривала ему за его предосудительное поведеніе,

онъ ссылался на священный авторитетъ Лютера, которому, какъ извѣстно, приписывается слѣдующее легкомысленное двустишіе:

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Lebelang.

(Кто не любитъ вина, женщинъ и пѣсенъ, тотъ на всю жизнь останется дуракомъ.)

Нюханье табаку Дистель ставилъ себѣ даже въ заслугу. Онъ говорилъ, что нюханьемъ смиряетъ свою гордость. Въ обыкновенное время онъ, имѣя въ виду свое высокое апокалиптическое призваніе, свой санъ сломителя седьмой печати, расположенъ ставить себя выше остальнаго человѣчества. Тогда онъ беретъ въ руки табакерку и, открывая ее, начинаетъ чувствовать себя слабымъ смертнымъ. Затѣмъ, когда онъ чихаетъ, душа его склоняется въ прахъ, подавленная сознаніемъ своей немощности. Духовная наставница Дистеля не удовлетворялась этими резонами, не обнаруживала никакого уваженія къ веселому двустишію Лютера и требовала исправленія. Дистель каялся, обѣщалъ исправиться, и потомъ, идя домой, покупалъ себѣ новый запасъ вещества, возбуждающаго чиханіе и смиряющаго человѣческую гордость.

Всѣ послѣдователи Эбеля должны были вести чистую и цѣломудренную жизнь; всѣ должны были считать себя братьями и сестрами, любить другъ-друга святой любовью и обмѣниваться между собою такъ-называемымъ серафимовскимъ поцѣлуемъ; вступать въ бракъ и производитъ дѣтей считалось позорной слабостью; женатымъ людямъ, поступившимъ въ новую церковь, вмѣнялось въ обязанность вести себя такъ, какъ-будто они не были связаны между собой узами брака; въ настоящей церкви святыхъ дѣйствіе естественныхъ законовъ было пріостановлено: никто не долженъ былъ въ ней ни рождаться, ни умирать.

Политическія стремленія новой церкви были строго-монархическія, и не только консервативныя, но даже въ значительной степени ретроградныя. Симпатіи графини фонъ-деръ-Гребенъ и ея сподвижницъ принадлежали тому времени, когда феодализмъ находился въ полномъ цвѣту. Аристократическія тенденціи эбеліанъ находились въ вопіющемъ разладѣ съ однимъ изъ основныхъ пунктовъ ихъ доктрины, именно съ тѣмъ ученіемъ, что конецъ міра близокъ, и что день страшнаго суда наступитъ скоро. Въ виду такого событія, которое должно было уничтожить всѣ общественныя неравенства, превратить всѣхъ людей въ подсудимыхъ и поставить послѣдняго пастуха на одну доску съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ III, сословная чопорность и привязанность къ искусственно-созданнымъ перегородкамъ оказывались жалкимъ и безсмысленнымъ анахронизмомъ. Но ни Эбель, ни графиня Ида, ни другіе его ученики не отличались способностью къ логичному мышленію, не смущались внутренними противорѣчіями и располагали свою жизнь по своимъ привычкамъ, по прирожденнымъ и привитымъ инстинктамъ, по внушеніямъ капризнаго и разнузданнаго воображенія, нисколько не стѣсняясь требованіями той вѣрной или невѣрной идеи, которая лежала въ основѣ ихъ міросозерцанія. Эбелю нравилось общество высокорожденныхъ особъ, и онъ говорилъ самъ совершенно чистосердечно, что прокладываетъ въ области религіознаго мышленія дорогу, приспособленную для ногъ графовъ и графинь.

Взявъ для построенія своей церкви чисто-аристократическіе элементы, Эбель, вѣроятно по внушенію графини Иды и слѣдуя при этомъ естественному влеченію знатныхъ господъ къ чинамъ, почестямъ и отличіямъ, соорудилъ такое іерархическое зданіе, въ которомъ было множество степеней, возвышающихся одна надъ другой. Самъ Эбель былъ центромъ и главой маленькаго теократическаго государства. Комитетъ трехъ красавицъ составлялъ его государственный совѣтъ; ниже стоялъ болѣе обширный кружокъ, членами котораго были графиня фонъ-Финкенштейнъ, Эрнестина фонъ-Барделебенъ, старшая сестра графини Иды, фрейлейнъ Марія Консенціусъ, фрейлейнъ фонъ-Ларишъ и другія. Изъ мужчинъ ближе всѣхъ къ Эбелю стоялъ Дистель, потому что въ чистой теократіи духовенству должно принадлежать первое мѣсто, а Дистель, при всѣхъ своихъ порокахъ, былъ все-таки пасторомъ габербергской церкви. Затѣмъ слѣдовалъ молодой графъ Каницъ, энтузіастъ, обожавшій Эбеля и стремившійся только къ тому, чтобы быть его наперсникомъ. Далѣе стоялъ кружокъ первостепенныхъ магнатовъ, которые, подобно графамъ Финкенштейну и Мюнхову, своимъ вѣсомъ и вліяніемъ превращали новую церковь въ замѣтную общественную силу. Ниже шли дворяне менѣе знатные и вліятельные; потомъ ученые, которыхъ однако было очень немного; потомъ судьи, офицеры, чиновники, внизъ до бѣдныхъ пономарей и церковныхъ сторожей, которые, подметая полъ и протапливая печи въ альтштадтскомъ святилищѣ, имѣли, при всей скромности своего общественнаго положенія, нѣкоторое право пользоваться крупицами истины, падавшими со стола важныхъ господъ.

Когда богатый и знатный человѣкъ даетъ балъ, тогда ему незачѣмъ бѣгать по городу и упрашивать танцоровъ, чтобы они почтили его праздникъ своимъ присутствіемъ; ему стоитъ только разослать пригласительные билеты; онъ можетъ быть увѣренъ, что число желающихъ появиться въ его домѣ, посмотрѣть людей и показать себя значительно превыситъ то число, которое онъ желаетъ у себя принять. Эбель,

какъ глава модной церкви, находился именно въ положеніи такого богатаго и знатнаго хозяина; ему незачѣмъ было улавливать людей сѣтями убѣдительной проповѣди и заманивать ихъ въ лоно церкви обольстительными обѣщаніями: люди сами бѣжали къ нему и упрашивали, чтобы ихъ уловили и пристроили къ такой компаніи, которая могла доставить своимъ знакомымъ и единомышленникамъ множество житейскихъ выгодъ и всевозможныя мелкія удовлетворенія личнаго самолюбія.

Такимъ образомъ, въ числѣ многихъ другихъ, прибѣжалъ къ архидіакону и заставилъ себя уловить молодой, гибкій и остроумный еврей, Лудвигъ-Вильгельмъ Саксъ. Отлично кончивъ курсъ по медицинскому факультету, обладая основательными и обширными научными свѣдѣніями, сознавая въ себѣ присутствіе свѣтлыхъ умственныхъ способностей, неутомимаго трудолюбія и увлекательнаго дара слова, Саксъ стремился къ профессорской каѳедрѣ, на которой онъ дѣйствительно могъ принести наукѣ и обществу самую существенную пользу. Но, по тогдашнимъ прусскимъ законамъ, еврей не могъ сдѣлаться профессоромъ. При встрѣчѣ съ препятствіями, люди, подобные Саксу, умѣютъ сгибаться и пролѣзать подъ ними, если нельзя ихъ сдвинуть съ мѣста.

«Человѣкъ безъ религіознаго чувства,—говоритъ Диксонъ,—почти безъ малѣйшаго проблеска нравственной мягкости, существо все изъ мозга и нервовъ, холодное по природѣ, быстро соображающее, ѣдкое, насмѣшливое и угрюмое,—онъ смотрѣлъ кругомъ себя и снималъ мѣрку съ тѣхъ людей, съ которыми ему приходилось имѣть дѣло. Въ медицинскомъ обществѣ Кёнигсберга, гдѣ боялись его языка и цѣнили его дарованія, онъ возвысился на столько, на сколько это было возможно для еврея,—онъ дошелъ до степени доктора. Если онъ желалъ подняться еще выше, онъ долженъ былъ отречься отъ своихъ отцовъ и измѣнить своему вѣроисповѣданію. Въ свои позднѣйшіе годы профессоръ Саксъ былъ извѣстенъ подъ именемъ Мефистофеля и вполнѣ заслуживалъ это прозваніе своимъ дерзкимъ умомъ, циническимъ языкомъ и презрѣніемъ къ религіи. Онъ смѣялся надъ святыней. Въ университетской аудиторіи онъ прерывалъ часто анатомическую демонстрацію, чтобы излить свой ядъ на какое-нибудь изреченіе священнаго писанія. Во имя науки онъ возмущался, съ ѣдкой ироніей, противъ непостижимыхъ таинствъ религіи. Въ глубинѣ души онъ считалъ священниковъ злѣйшими врагами человѣчества, которымъ умные люди не должны давать никакой пощады. Опираясь на свидѣтельства своей медицинской практики, онъ утверждалъ, что студенты теологіи—самые пропащіе изъ всѣхъ университетскихъ слушателей. Одинъ молодой человѣкъ съ совершенно разрушеннымъ здоровьемъ обратился къ нему за совѣтомъ. «Вы студентъ теологіи?» спросилъ Саксъ, съ своей обычной усмѣшкой. «Нѣтъ, господинъ профессоръ, отвѣтилъ юноша, я юристъ».—«Такъ я-бы вамъ посовѣтовалъ перемѣнить профессію. Изъ васъ выйдетъ отличный богословъ».

«Обсуживая жизнь этого человѣка, мы должны по всей вѣроятности принять въ разсчетъ тѣ жертвы, которыя дурной законъ принудилъ его принести, прежде чѣмъ онъ могъ развернуть свои дарованія въ качествѣ преподавателя анатоміи.

«Въ Пруссіи министерство народнаго просвѣщенія завѣдуетъ всѣми дѣлами въ церквахъ и всѣми дѣлами въ коллегіяхъ; и такимъ образомъ оказалось, что та власть въ Берлинѣ, которая сдѣлала Эбеля архидіакономъ, могла сдѣлать Сакса профессоромъ. Какъ было Саксу добраться до барона фонъ-Альтенштейна, который тогда былъ министромъ въ Берлинѣ? Черезъ фонъ-Ауэрсвальда, оберъ-президента въ Кёнигсбергѣ. Но Саксъ не былъ знакомъ въ замкѣ. Это было не трудно уладить. Развѣ-жъ онъ не слыхалъ, что графиня Ида управляетъ своимъ отцомъ? Развѣ же не шептали, даже въ Гроссъ-Глогау, что архидіаконъ былъ всѣмъ на свѣтѣ для графини Иды? Слѣдовательно, если-бы Саксу удалось овладѣть архидіакономъ, то не отыскалъ-ли-бы онъ, Саксъ, одинъ конецъ цѣпи, другой конецъ которой лежалъ въ Берлинѣ, въ кабинетѣ министра фонъ-Альтенштейна, гдѣ говорится и дѣлается то, чѣмъ составляются человѣческія карьеры? Разумѣется, онъ зналъ, что прежде всего онъ долженъ быть рекомендованъ факультетомъ, и онъ вполнѣ могъ разсчитывать, что эта справедливость будетъ ему оказана; но, какъ человѣкъ свѣтскій, онъ зналъ, что научныя заслуги не всегда достаточны для полученія награды. Доброе слово со стороны оберъ-президента придало-бы значительный вѣсъ его достоинствамъ въ глазахъ занятаго министра въ Берлинѣ. Юный еврей составилъ себѣ, такъ сказать, прейсъ-курантъ. Дорого-ли онъ стоилъ? Главное дѣло, велика-ли была его цѣна въ глазахъ Эбеля? Онъ, Саксъ, былъ извѣстенъ, какъ еврей. Это составляло главный пунктъ въ его разсчетѣ. Безвѣстный обращенный имѣетъ нѣкоторую цѣнность, а за обращеніе извѣстнаго человѣка стоитъ заплатить хорошій кушъ. Стоитъ-ли за него, Сакса, дать мѣсто? Можетъ-ли онъ продать Моисея и пророковъ за профессорскую каѳедру?

«Имѣя циническій умъ, а также жену и дѣтей, онъ пошелъ къ архидіакону Эбелю, выслушалъ съ глубокимъ вниманіемъ его исторію о свѣтѣ и водѣ и затѣмъ предложилъ себя, вмѣстѣ съ мадамъ Саксъ и съ своимъ малолѣтнимъ сыномъ, для немедленнаго крещенія.

Обрядъ скоро совершился: Мефистофель сдѣлался членомъ альтштадтской церкви и затѣмъ, въ видѣ награды за свое преуспѣваніе въ благочестіи, Саксъ получилъ, по ходатайству графини Иды, мѣсто профессора медицины въ университетѣ.

«Саксъ по виду былъ очень милымъ юношей; каковъ онъ былъ при ближайшемъ знакомствѣ— этого Эбель еще не зналъ. Глядя на это нѣжное, какъ-бы дѣвическое лицо, архидіаконъ, недавно шалившій тайной половъ въ природѣ, вообразилъ себѣ, что видитъ въ немъ скорѣе отраженіе воды, чѣмъ свѣта. Эта фантазія понравилась архидіакону; онъ въ это время предавался той мечтѣ, что полъ быть можетъ не установившійся и законченный фактъ, а только фаза въ развитіи. Саксъ, говорятъ, поразилъ архидіакона, какъ существо женско-мужское, какъ мужчина, въ которомъ соединились оба основныя начала его вѣры; Эбель сталъ очень дорожить Саксомъ, и Саксъ также очень дорожилъ Эбелемъ».

III.

Саксъ въ одномъ мемуарѣ, подъ заглавіемъ: «Изображеніе піетистическихъ происковъ въ Кёнигсбергѣ», рисуетъ слѣдующими яркими красками отношеніе графини Иды къ архидіакону:

«Эта женщина, эта по-истинѣ благородная натура все увидала въ Эбелѣ, все нашла и получила, къ чему она только могла стремиться; онъ—ея возлюбленный, ея мужъ, ея спаситель, даже—что ни при какихъ другихъ условіяхъ не было-бы возможно — онъ ея богъ; онъ—ея содержаніе на землѣ и на небѣ; служить ему во времени и въ вѣчности — это для нея свобода; чтобы принести ему жертву, она не подорожила-бы кровью своего сердца; ей милѣе всего отдаваться ему, всецѣло, безъ сопротивленія; теряться въ немъ совершенно — это высшее ея назначеніе; какъ могла-бы она сама себя чувствовать и находить лучше и облагороженнѣе, чѣмъ въ немъ! И если-бы Эбель ей сказалъ: «Ида, поди, вонзи этому человѣку кинжалъ въ сердце!»—она-бы только взглянула на него, чтобы увидать, что онъ говоритъ серьезно; и если-бы она въ этомъ убѣдилась, то она-бы пошла и сдѣлала такъ; развѣ-же онъ человѣкъ и способенъ ошибаться? Она даже сдѣлала-бы больше — больше по крайней мѣрѣ въ смыслѣ самопожертвованія; если-бы ей Эбель сказалъ: «Ида, поди, полюби этого человѣка и отдайся ему, какъ жена», — она и это исполнила-бы, быть можетъ со слезами, но безъ всякихъ сомнѣній и съ усерднѣйшей покорностью. Что это описаніе совершенно истинно и выражено самымъ умѣреннымъ образомъ, въ этомъ я твердо убѣжденъ, и къ этому убѣжденію я пришелъ путемъ самаго тщательнаго изученія этой личности.»

Но если графиня Ида по силѣ своей любви тонула въ личности любимаго человѣка, то по силѣ своего характера она была въ высшей степени способна поглотить этого человѣка и собой пополнить всю его жизнь. Считая и чувствуя себя его рабыней, гордая и счастливая этимъ рабствомъ, Ида не хотѣла и не могла допустить, чтобы кто-либо другой стоялъ ближе ея самой къ властелину и раздѣлялъ его съ ней. Ей была особенно опасна ея сотрудница по высшему женскому комитету, Минна фонъ-Дершау, едва уступавшая ей въ красотѣ и въ энергіи, связанная съ архидіакономъ узами болѣе давней дружбы и быть можетъ даже превосходившая Иду восторженностью своего характера. Эта восторженность заставила ее сдѣлать открытіе, отъ котораго, разумѣется, не отказалась-бы Ида, но которое однако пришло въ голову не ей, не Идѣ, а именно ея опаснѣйшей соперницѣ.

Однажды Минна пришла къ Идѣ сообщить ей великую и страшную тайну. Ее, Минну, какъ внушеніе свыше, озарила мысль, что Эбель— сынъ человѣческій, тотъ, чье второе пришествіе составляетъ предметъ ихъ благоговѣйнаго ожиданія. Ида почувствовала немедленно, что это— чистая правда. Обѣ женщины съ трепетомъ благоговѣнія открыли свою тайну Каницу, какъ первому свидѣтелю. Тотъ также почувствовалъ, что это правда. Рѣшено было хранить объ этомъ открытіи глубочайшее молчаніе до той великой минуты, когда все тайное сдѣлается явнымъ и когда истина будетъ провозглашаться съ крышъ домовъ и на всѣхъ стогнахъ града. Въ особенности было положено не говорить ни слова самому Эбелю, которому раскрытіе его инкогнито раньше времени могло быть неугоднымъ. Въ ихъ обращеніи съ архидіакономъ конечно выразилось то, что они считаютъ его божествомъ; но Эбель былъ уже до такой степени отуманенъ ониміамомъ благоговѣнія, среди котораго онъ жилъ уже впродолженіи многихъ лѣтъ, что ему мудрено было замѣтить какое-нибудь приращеніе въ количествѣ или измѣненіе въ качествѣ воскуряемаго ониміама.

Великое открытіе, сдѣланное Минною, произвело сильное и продолжительное волненіе въ кругу ближайшихъ поклонниковъ архидіакона. Возникли вопросы: кто будетъ ближе всѣхъ къ божеству? Кто станетъ выше всѣхъ? Кому изъ трехъ избранныхъ женщинъ достанется санъ мистической невѣсты? Чтобы оттѣснить отъ этого сана Минну, которая своей способностью дѣлать великія открытія показала ясно, до какой степени она опасна, Ида задумала выдать ее замужъ, такъ какъ замужняя женщина очевидно не можетъ быть невѣстой агнца. Въ женихи для своей соперницы она выбрала

Каница: по рожденію онъ былъ графъ, по характеру рыцарь безъ страха и упрека, по наружности красавецъ, кромѣ того, и это главное, — ему въ кругу эбеліанъ была отведена высокая мистическая должность *перваго свидѣтеля*,—должность, которую ему предстояло исправлять въ священную минуту второго пришествія. По всѣмъ этимъ причинамъ онъ могъ считаться очень приличной партіей для фрейлейнъ фонъ-Дершау. Подчиняясь вліянію Иды, которой повидимому нечего было бояться никакихъ соперницъ, и которая дѣлала изъ своего властелина и бога, что̀ хотѣла, Эбель возвѣстилъ обоимъ молодымъ людямъ волю неба и безъ труда убѣдилъ ихъ, что они созданы другъ для друга и что они оба вмѣстѣ—именно тѣ два свидѣтеля, которые должны общими силами пророчествовать втеченіи тысячи двухъ сотъ шестидесяти дней. Каницъ сдѣлалъ предложеніе, и Минна обнаружила ту же безропотную покорность велѣніямъ высшей силы, съ которой она нѣсколько лѣтъ тому назадъ соглашалась сдѣлаться супругой бездомнаго фанатика Шёнгерра.

«Мѣсто Минны среди эбеліанъ, говоритъ Диксонъ, было теперь опредѣлено навсегда; во времени она была графиня фонъ-Каницъ, въ вѣчности она была *вторымъ свидѣтелемъ*, имѣвшимъ власть запирать небо и превращать воду въ кровь. Она больше никогда не могла стремиться къ тому, чтобы сдѣлаться *невѣстой*.»

Пристроивъ свою соперницу, Ида нашла для себя удобнымъ женить самого архидіакона на доброй и простой женщинѣ, не посвященной въ тайны новой церкви и неспособной внушить ей, Идѣ, какія-бы то ни было опасенія. Причины, почему Ида находила этотъ бракъ желательнымъ, не совсѣмъ отчетливо выяснены у Диксона. У него сказано просто, что жена Эбеля должна была служить точкой соединенія и сдѣлать домъ архидіакона нѣсколько болѣе открытымъ для его высокородныхъ друзей женскаго пола. Почему была нужна такая точка соединенія, и какимъ образомъ такой точкой могла служить непосвященная женщина, стоявшая отъ Эбеля несравненно далѣе той, которую надо было съ нимъ соединить,—это совершенно непонятно. Далѣе трудно также сообразить, какъ могла такая смѣлая, страстно-влюбленная и ревнивая женщина, какъ графиня фонъ-деръ-Гребенъ, сама приблизить къ своему кумиру, въ качествѣ законной супруги, другую женщину, молодую и красивую, хотя и простую,—приблизить только для того, чтобы въ глазахъ грѣховнаго свѣта, который она презирала, и который долженъ былъ подвергнуться скорой погибели,—облагообразить свои частыя и продолжительные визиты въ домъ архидіакона. Какъ-бы ни были удовлетворительны или недостаточны объясненія, представленныя Диксономъ, во всякомъ случаѣ достовѣрно то, что Эбель женился, и что три женщины: вдова Ида фонъ-Гребенъ, законная супруга, госпожа Эбель, и дѣва Эмилія фонъ-Шрётеръ составили нѣкоторымъ образомъ одно духовное семейство, котораго центромъ былъ обожаемый архидіаконъ.

«Эбель, говоритъ Диксонъ, описывалъ слѣдующимъ образомъ свои отношенія къ этимъ тремъ молодымъ женщинамъ: графиня Ида была его первой женой, изображая собой принципъ свѣта (Lichtnatur); Эмилія фонъ-Шрётеръ была его второй женой, изображая принципъ темноты (Finsternissnatur); госпожа Эбель была его третьей женой, представляя принципъ соединенія (Umfassung). Въ этомъ тройномъ бракѣ архидіакона простая жена должна была дѣйствовать, какъ легальная точка соприкосновенія. Графиня Ида и фрейлейнъ Эмилія полагали, что въ ней и чрезъ нее онѣ вошли въ свою мистическую связь съ своимъ супругомъ. Ида, какъ жена, изображавшая свѣтъ, имѣла полное основаніе думать, что она занимаетъ высокое положеніе *апокалиптической невѣсты*».

Госпожа Эбель оправдала тѣ надежды, которыя на нее возлагались. Она ничѣмъ не возбудила ревности въ старшихъ духовныхъ женахъ архидіакона. Она покорно замкнулась въ той скромной сферѣ матеріальныхъ заботъ, которая была ей предоставлена. Ея голосъ никогда не раздавался въ почтенномъ кругу святыхъ женщинъ, управлявшихъ церковью.

Когда новая церковь получила прочную организацію, тогда образовались тайныя доктрины, которыя оставались неизвѣстными массѣ адептовъ. Простые люди, неофиты, только-что примкнувшіе къ Эбелю, знали только, что Эбель—вѣрующій проповѣдникъ, искренній и ревностный лютеранинъ, старающійся примѣромъ своей святой жизни и вліяніемъ своего увлекательнаго краснорѣчія возбудить въ сердцахъ своихъ современниковъ чувства живого благочестія, подавленныя сухими, холодными и мелкими разсчетами и заботами суетливаго, корыстнаго и бездушнаго вѣка. Когда неофитъ оказывался достойнымъ бо́льшаго довѣрія, ему говорили, что онъ принадлежитъ къ церкви избранныхъ, составляющей рай наслажденій для тѣла и для духа и спасающей всѣхъ своихъ вѣрующихъ членовъ отъ той гибели, которая скоро должна постигнуть весь грѣховный міръ. Далѣе, послѣ новаго, болѣе или менѣе продолжительнаго испытанія, ему открывали тѣ способы, которыми должно бороться съ дьяволомъ и побѣждать его. При новыхъ духовныхъ успѣхахъ со стороны вѣрующаго, его посвящали въ тайну свѣта и воды. Затѣмъ, если онъ обнаруживалъ требуемыя достоинства, его учили обрядамъ освященія. Если онъ былъ способенъ къ

дальнѣйшему повышенію, ему внушали, что Эбель—высшій типъ человѣческаго совершенства. Дальше этого уже никакой адептъ, какъ-бы онъ ни былъ знатенъ и чистъ душой, не могъ идти. Великая и страшная тайна, открытая графиней фонъ-Каницъ, постоянно оставалась достояніемъ четырехъ лицъ — Иды, Эмиліи, Минны и ея мужа. Кажется, даже Дистель не зналъ этой тайны; во все время существованія секты, ни одно новое лицо не было принято въ этотъ высшій кружокъ. При этомъ конечно возникаетъ вопросъ, на который мы у Диксона не находимъ отвѣта. Если великую тайну эбеліанъ знали только четыре человѣка, и если никто изъ нихъ не измѣнилъ сектѣ, не сдѣлался ея сознательнымъ врагомъ и не проболтался нечаянно, то какимъ образомъ эта тайна появляется въ печати? Какимъ образомъ узналъ ее Саксъ, не принадлежавшій къ высшему кружку? Что сообщилъ онъ насчетъ существованія этой тайны въ своемъ мемуарѣ—свои-ли собственныя предположенія, или дѣйствительные, достовѣрно извѣстные ему факты? Всѣхъ этихъ вопросовъ Диксонъ не только не рѣшаетъ, но даже и не ставитъ. Во всей его книгѣ нѣтъ ни малѣйшаго указанія на то, чтобы кого-либо изъ членовъ высшаго кружка возможно было заподозрить въ случайной нескромности или въ умышленной измѣнѣ.

Обряды освященія были извѣстны довольно обширному кругу вѣрующихъ. Они клонились къ тому, чтобы уничтожить въ вѣрующихъ силу грѣховныхъ страстей и приготовить ихъ къ наступающему царству благодати и духовной свободы. «Кто хотѣлъ спасти свою душу,— говоритъ Диксонъ,—долженъ былъ подняться выше искушеній, попирать плоть ногами и побѣдоносно противиться дьявольской силѣ красоты. Въ присутствіи живой женщины онъ долженъ былъ чувствовать себя такъ, какъ-будто онъ стоитъ передъ каменной стѣной. Его взглядъ долженъ оставаться холоднымъ, біеніе его пульса не должно ускоряться. Никакое лицо, какъ-бы оно ни было прекрасно, не должно зажигать огня въ его крови. Безъ содроганія сердца, онъ долженъ пожимать руку самой очаровательной сестры, или напечатлѣвать поцѣлуй въ ея губы. Кто неспособенъ легко и свободно дѣлать все это, тотъ, по словамъ Эбеля, конечно не находится еще въ состояніи благодати».

Пріобрѣтеніе такихъ навыковъ требовало продолжительныхъ и разнообразныхъ упражненій которымъ посвящались многія изъ частныхъ собраній секты, происходившихъ въ покояхъ графини Иды или въ домѣ графини Каницъ. Во время такого собранія одна изъ вѣрующихъ красавицъ, по приглашенію высшаго духовнаго начальства, обнажала руку, ногу или плечо, такъ чтобы всѣ присутствующіе и въ особенности молодые, еще недостаточно испытанные и закаленные члены церкви, глядя на тѣ искушенія, которыми сатана губитъ слабое человѣчество, учились презирать эти вражескія козни и успѣшно сопротивляться имъ.

При той строгой постепенности, которая господствовала въ открываніи догматическихъ тайнъ, есть достаточныя основанія предположить, что въ обрядахъ освященія была своего рода высшая школа, которой существованіе было извѣстно немногимъ избраннымъ и въ которую вступали люди, уже достаточно укрѣпившіе себя менѣе трудными, сложными и опасными испытаніями.

Въ чемъ состояли труднѣйшія и опаснѣйшія испытанія, какими упражненіями поддерживали и развивали въ себѣ святость члены высшаго кружка—это остается неизвѣстнымъ, но профессоръ Саксъ даетъ понять, что стремленія къ совершенству завели графиню фонъ-деръ-Гребенъ и Эмилію фонъ Шрётеръ очень далеко.

IV.

Секта, которой главная причина существованія заключается въ близости второго пришествія, не можетъ жить неопредѣленно долгое время неяснымъ ожиданіями и благочестивыми приготовленіями. Умы вѣрующихъ неотступно заняты вопросомъ, когда-же наступитъ великій день; ихъ нетерпѣніе растетъ; ихъ вѣра можетъ ослабѣть, и, осажденный ихъ вопросами и сомнѣніями, глава и основатель секты долженъ поневолѣ, рано или поздно, дать имъ какое-нибудь опредѣленное обѣщаніе.

Изучая пророчества Даніила, Эбель додумался до того убѣжденія, что второе пришествіе должно совершиться въ 1823 году, на святой недѣлѣ. День и часъ былъ точно опредѣленъ, и такъ какъ назначенное время было уже близко, то вліятельныя лица секты стали совѣщаться о томъ, гдѣ и какъ имъ ожидать и встрѣтить Спасителя. Одни полагали, что надо собраться въ церкви, другіе предпочитали сойтись къ какомъ-нибудь домѣ. Большинство думало, что во всякомъ случаѣ слѣдуетъ быть въ сборѣ, чтобы Спаситель увидѣлъ свою церковь на землѣ. Далѣе вѣрующіе находили, что собраніе ни подъ какимъ видомъ не должно имѣть мрачнаго или печальнаго характера. «Ихъ богъ— говорили они—былъ Богомъ любви и свѣта. Радость шла вмѣстѣ съ нимъ, и веселье готовило ему путь». Нѣкоторые находчивые люди придумали, что всего лучше будетъ устроить въ этотъ день и часъ свадебное торжество. Этотъ планъ всѣмъ очень понравился, и рѣшено было привести его въ исполненіе. Нашли молодого человѣка, готоваго жениться на комъ угодно и когда угодно для пользы и славы церкви; этому молодому человѣку подыскали

достойную невѣсту. Всѣ мѣры были такимъ образомъ приняты заблаговременно, и женщины высшихъ круговъ стали ожидать назначеннаго дня съ благоговѣйнымъ нетерпѣніемъ и съ несокрушимой вѣрой въ осуществленіе сдѣланнаго предсказанія.

Нѣкоторые изъ мужчинъ, принадлежавшихъ также къ высшимъ кругамъ, почувствовали, что вѣра ихъ колеблется. Слишкомъ гласныя приготовленія къ великому дню приводили ихъ въ смущеніе. Они находили до нѣкоторой степени возможнымъ то предположеніе, что Эбель ошибся въ своихъ вычисленіяхъ, что великое событіе не совершится, что гости разъѣдутся со свадебнаго пира ни съ чѣмъ, и что ихъ всѣхъ жесточайшимъ образомъ поднимутъ на смѣхъ вольнодумцы всей провинціи, всего королевства, всей Германіи. Графъ фонъ-Финкенштейнъ, какъ лицо съ вѣсомъ, съ именемъ, съ положеніемъ въ обществѣ и со связями, чувствовалъ особенно сильно неудобства этого ожидаемаго осмѣянія, и поэтому старался по возможности обуздать пылкую и шумную вѣру своихъ духовныхъ братьевъ и особенно сестеръ. Но возможности не оказалось никакой. Женщины разразились жестокими упреками; Эбель сталъ презрительно улыбаться; Дистель сдѣлалъ выговоръ; благоразумный графъ почувствовалъ себя изобиженнымъ со всѣхъ сторонъ; даже родная сестра его, которую онъ очень любилъ, осудила его за малодушіе и позорное потворство мнѣніямъ грѣховнаго свѣта. Финкенштейнъ удалился изъ собранія съ большимъ неудовольствіемъ.

Наступилъ назначенный день. Собрались свадебные гости. Совершился обрядъ, въ которомъ профессоръ анатоміи Саксъ, заслужившій впослѣдствіи прозваніе Мефистофеля, принужденъ былъ принимать дѣятельное участіе и играть роль вѣрующаго и ожидающаго. Пиръ начался и окончился безо всякихъ сверхъестественныхъ событій. Гости принуждены были разойтись, не дождавшись второго пришествія. Начался тотъ продолжительный и обидный смѣхъ, котораго боялся предусмотрительный графъ. Пророчество Финкенштейна сбылось несравненно лучше пророчества Эбеля, и Финкенштейнъ немедленно испыталъ на самомъ себѣ вѣрность того изреченія, что никто не можетъ быть пророкомъ въ своей землѣ. Его стали преслѣдовать именно за то, что онъ слишкомъ удачно напророчилъ. Такъ какъ непогрѣшимость Эбеля не могла подвергаться сомнѣнію, то вѣрующіе эбеліане рѣшили, что именно маловѣріе и малодушіе благоразумнаго графа испортили все дѣло. Дамы верховнаго комитета выражали свое негодованіе самымъ откровеннымъ и энергическимъ образомъ, и когда Финкенштейнъ попробовалъ оправдаться, его заставили молчать и ему погрозили публичнымъ изгнаніемъ изъ церкви. Финкенштейнъ испугался, смирился, сталъ просить прощенія и остался членомъ секты, но съ этого времени его отношенія къ ревностнымъ и вліятельнымъ эбеліанамъ сдѣлались въ высшей степени натянутыми.

Въ то самое время, когда вѣрующіе кружки были взволнованы напраснымъ ожиданіемъ второго пришествія, одинъ кёнигсбергскій пасторъ, Лудвигъ-Августъ Келеръ, выпустилъ въ свѣтъ теологическій романъ «Филагатосъ», въ которомъ архидіаконъ и его послѣдователи были выведены на сцену и представлены въ самомъ непривлекательномъ видѣ. Въ этомъ романѣ разсказывалось между прочимъ, какъ одна молодая дѣвушка, довѣрившись своей подругѣ, отправляется въ собраніе мнимыхъ святыхъ; эти святые принимаютъ ее въ свой кружокъ и начинаютъ осыпать ее поцѣлуями; она сначала покоряется, но потомъ, видя, что къ ней подходитъ, съ цѣлью поцѣловать ее, одинъ юноша, пользующійся репутаціей величайшаго развратника въ городѣ, она въ ужасѣ поднимается, убѣгаетъ изъ собранія къ себѣ домой, бросается на колѣни передъ своими родителями и со слезами негодованія кается имъ въ томъ, что она видѣла, слышала и испытала.

Камень попалъ въ тотъ огородъ, куда онъ былъ пущенъ. Друзья и враги узнали Эбеля и его поклонниковъ. Сами эбеліане поняли какъ нельзя лучше, что обличительный романъ направленъ именно противъ нихъ. Но защищаться печатно имъ не было возможности. Въ романѣ не было ни подлинныхъ именъ, ни такихъ опредѣленныхъ указаній, къ которымъ можно было-бы придраться. Протестовать противъ клеветы по поводу этого романа значило бы признаться въ томъ, что намеки могутъ быть поняты, что протестующіе имѣютъ нѣкоторое основаніе принять ихъ на свой счетъ, и что подъ преувеличеніями каррикатуры, нарисованной враждебной рукой, все-таки есть возможность распознать дѣйствительныя черты живыхъ людей. Эбеліане молча перенесли ударъ, и впечатлѣніе, произведенное на читающую публику романомъ Келера, не получило себѣ никакого отпора. Это обстоятельство было тѣмъ болѣе непріятно для эбеліанъ, что обличительное произведеніе Келера, какъ теологическій романъ, обращалось преимущественно къ благочестивой части общества и слѣдовательно дискредитировало секту именно тамъ, гдѣ она могла разсчитывать на дѣятельное сочувствіе и гдѣ она желала его возбуждать и поддерживать.

Въ 1824 году эбеліанъ постигло новое несчастіе, болѣе серьезное и чувствительное, чѣмъ предыдущія. Оберъ-президентъ восточной Пруссіи, фонъ-Ауэрсвальдъ, отецъ графини Иды и ревностный покровитель секты, къ которой онъ самъ принадлежалъ,—умеръ, и на его мѣсто поступилъ его зять, фонъ-Шёнъ, правая рука ми-

нистра-реформатора, барона фонъ-Штейна, либералъ и философъ, то-есть вольнодумецъ, отъ котораго никакіе мистики, фантазеры и энтузіасты не могли ожидать себѣ ни малѣйшей поддержки, несмотря даже на то, что онъ былъ женатъ на старшей сестрѣ графини фонъ-деръ-Гребенъ.

Профессоръ Саксъ немедленно замѣтилъ и понялъ перемѣну, происшедшую въ высшихъ административныхъ сферахъ, отшатнулся отъ альтштадтской церкви и сталъ понемногу развертывать тѣ стороны своей личности, которыми онъ, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, пріобрѣлъ себѣ прозваніе Мефистофеля.

Въ это же время профессоръ теологіи Германъ Ольсгаузенъ, бывшій нѣсколько лѣтъ тому назадъ послѣдователемъ Шёнгерра, сталъ писать и проповѣдывать противъ эбеліанъ. Дистель взялся отвѣчать ему, пересыпалъ свой отвѣтъ ругательствами и личными выходками и обнаружилъ такую комическую ярость и такое полное презрѣніе ко всѣмъ литературнымъ приличіямъ, что скомпрометировалъ свою партію въ глазахъ того многочисленнаго класса людей, которые, не желая и не умѣя оцѣнивать дѣло по существу, настоятельно требуютъ отъ спорящихъ сторонъ соблюденія извѣстныхъ правилъ и общепринятыхъ формъ.

Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ огорченій и непріятностей, которыя очевидно служили только предвѣстниками болѣе серьезныхъ испытаній, въ сектѣ произошло то, что́ происходитъ обыкновенно при подобныхъ обстоятельствахъ. Энтузіазмъ искреннихъ фанатиковъ усилился—сдѣлался глубже, подозрительнѣе и исключительнѣе, а сомнительная ревность слабыхъ, колеблющихся и своекорыстныхъ натуръ ослабѣла; эти два явленія, идя параллельно, должны были взаимно усиливать другъ друга; фанатики чувствовали потребность сомкнуться тѣснѣе, пересчитать свои силы и окончательно убѣдиться въ томъ, что ихъ вѣра тверда и мужество несокрушимо; осторожные и разсчетливые, видя мрачное воодушевленіе своихъ глубоко-убѣжденныхъ и совершенно неблагоразумныхъ товарищей, чувствовали съ своей стороны настоятельную и постоянно возрастающую потребность выбраться по-добру-по-здорову изъ такого общества, которое съ минуты на минуту могло потянуть ихъ за собой въ дикія эксцентричности и поставить ихъ, людей положительныхъ и серьезныхъ, дорожащихъ своимъ спокойствіемъ и чувствительныхъ къ приговорамъ общественнаго мнѣнія,—либо въ комическое, либо даже—мало ли что́ можетъ случиться?—въ опасное положеніе.

Графъ фонъ-Финкенштейнъ, не могшій подавить въ себѣ голосъ свѣтскаго благоразумія даже въ виду такого событія, какъ второе пришествіе, конечно не могъ сдѣлаться фанатикомъ, когда піетизмъ пересталъ быть знаменемъ мѣстнаго правительства. Этого было достаточно, чтобы погубить его въ глазахъ фанатизированныхъ женщинъ верховнаго комитета. Его торжественно исключили изъ церкви, и его сестра прервала съ нимъ всякія сношенія.

Около этого времени умерла графиня Минна фонъ-Каницъ, умерла, несмотря на то, что она должна была, въ качествѣ *второго свидѣтеля*, присутствовать при тѣхъ великихъ событіяхъ, которыя Эбель обѣщалъ своимъ послѣдователямъ въ самомъ близкомъ будущемъ. Счелъ-ли Эбель необходимымъ представить членамъ высшихъ круговъ какія-нибудь объясненія по поводу этого неожиданнаго смертнаго случая, и въ чемъ состояли эти объясненія—этого мы не узнаемъ изъ книги Диксона. Не подлежитъ сомнѣнію только то, что если какія-нибудь объясненія были представлены, то они совершенно удовлетворили вѣрующихъ, такъ что преждевременная кончина графини Минны не породила ничего похожаго на смуту или ересь. По всей вѣроятности эта смерть была объяснена нравственными несовершенствами покойницы,—такими несовершенствами, вслѣдствіе которыхъ Минна была неспособна и недостойна исправлять высокую должность *второго свидѣтеля*. По крайней-мѣрѣ графиня Минна послѣ смерти своей подверглась разжалованію, и ея должность осталась вакантной, несмотря на то, что эта должность сначала была присвоена ей на всю вѣчность. На открывшуюся вакансію Эбель назначилъ сестру Финкенштейна; тогда *первый свидѣтель*, графъ фонъ-Каницъ, сдѣлалъ ей предложеніе, бракъ состоялся, и такимъ образомъ оба свидѣтеля еще разъ оказались мужемъ и женой.

Новая графиня пожелала привлечь къ сектѣ одну изъ своихъ родственницъ, молодую, красивую и богатую дѣвушку, Зелину фонъ-Мирбахъ. Финкенштейнъ, въ качествѣ вліятельнаго родственника, написалъ къ Зелинѣ письмо, въ которомъ совѣтовалъ ей остерегаться графини фонъ-Каницъ, и описывалъ самыми мрачными красками Эбеля, Дистеля и нравы ихъ послѣдователей. Зелина показала это письмо графинѣ фонъ-Каницъ которая прочитала его съ величайшимъ негодованіемъ и объявила, что оно переполнено самой отвратительной ложью. Взявъ себѣ это письмо, графиня фонъ-Каницъ созвала верховный совѣтъ секты и сообщила ему все дѣло. Совѣтъ рѣшилъ, что прежде всего божественное спокойствіе возлюбленнаго архидіакона не должно быть возмущаемо такими недостойными дрязгами, что Финкенштейнъ за свое отвратительное письмо долженъ подвергнуться примѣрному и по возможности жестокому наказанію, что каждый изъ ревностныхъ членовъ секты долженъ наказывать преступника всѣми зависящими отъ него средствами, и что письмо

Финкенштейна слѣдуетъ передать Дистелю, какъ самому энергическому бойцу церкви, способному дать достаточно сильный отпоръ.

Зелина фонъ-Мирбахъ тотчасъ присоединилась къ піетистическому кружку. Графиня фонъ-Каницъ навсегда поссорилась съ своимъ братомъ и даже завела съ нимъ процессъ изъ-за какого-то мнѣнія. Каницъ, въ одной клерикальной газетѣ, обвинилъ Финкенштейна въ безнравственномъ образѣ жизни, называя его при этомъ по имени и указывая на то, что его жена, графиня фонъ-Финкенштейнъ, достойна почти такого-же безпощаднаго осужденія. Наконецъ Дистель прислалъ Финкенштейну письмо на тринадцати листахъ большого формата, состоявшее сплошь изъ самыхъ оскорбительныхъ обвиненій и самыхъ отборныхъ ругательствъ.

Финкенштейнъ послалъ опроверженіе въ газету, помѣстившую нападеніе Каница, но, не чувствуя себя способнымъ вести полемику съ Дистелемъ, представилъ его бранное письмо въ судъ. Судъ приговорилъ Дистеля къ денежному штрафу въ 200 талеровъ и затѣмъ освѣдомился о причинахъ рѣзкой переписки, завязавшейся между Дистелемъ а Финкенштейномъ. Обвиненія, заключавшіяся въ письмѣ Финкенштейна къ Зелинѣ фонъ-Мирбахъ, всплыли наверхъ, и судъ потребовалъ отъ Финкенштейна доказательствъ. Финкенштейнъ представилъ массу бумагъ, написанныхъ имъ и его женой и направленныхъ противъ Эбеля, Дистеля, Каница, графини Иды и покойной Минны фонъ-Каницъ. Тутъ было множество очень тяжелыхъ, но очень плохо доказанныхъ обвиненій въ самой отвратительной безнравственности. Такъ напримѣръ, было сказано, что Эбель, подъ видомъ совершенія благочестиваго обряда, дѣлалъ графинѣ фонъ-Финкенштейнъ предложенія, оскорбительныя для ея чести. Всѣ эти бездоказательныя обвиненія судъ оставилъ безъ вниманія; но такъ-какъ Финкенштейнъ указывалъ на то, что у эбеліанъ есть тайная доктрина, несогласная съ ученіемъ лютеранской церкви, то дѣло поступило на разсмотрѣніе кенигсбергской консисторіи.

Консисторія назначила слѣдователями по этому дѣлу Келера, автора «Филагатоса», и Зандера. Слѣдователи представили такой докладъ, что консисторія, впредь до окончанія дѣла, признала нужнымъ запретить Эбелю и Дистелю отправленіе пастырскихъ обязанностей и послала министру духовныхъ дѣлъ, барону фонъ-Альтенштейну, отчетъ обо всѣхъ раскрывающихся беззаконіяхъ. Послѣ довольно продолжительныхъ совѣщаній между министромъ и консисторіей, было рѣшено предать Эбеля и Дистеля уголовному суду, во-первыхъ, по обвиненію въ необыкновенной нравственной испорченности, и во-вторыхъ, по обвиненію въ попыткахъ основать новую религіозную секту.

Но мѣрѣ того какъ разыгрывалось это дѣло, положеніе его перваго виновника, Финкенштейна, становилось все болѣе и болѣе затруднительнымъ. Эбеліане и въ особенности эбеліанки вредили ему и его женѣ всѣми утонченными и разнообразными средствами, какія только могутъ пріискать благочестивая ярость и женская изобрѣтательность. Чувствуя или, быть можетъ воображая себѣ, что его честность подвергается сомнѣнію, что на его жену бросаютъ въ высшемъ обществѣ презрительные или насмѣшливые взгляды, Финкенштейнъ совсѣмъ потерялъ голову и придумалъ, для огражденія своего добраго имени, самую странную и нелѣпую комбинацію. Онъ сталъ ѣздить по домамъ своихъ старыхъ друзей, вліятельныхъ богатыхъ и знатныхъ особъ, упрашивая ихъ подписать бумагу, въ которой было сказано, что графъ и графиня фонъ-Финкенштейнъ всегда отличались и продолжаютъ отличаться до настоящей минуты всѣми достоинствами, способными составить украшеніе прусскаго магната и его законной супруги. Понятное дѣло, что это собираніе похвальныхъ аттестатовъ окончательно сдѣлало бѣднаго графа посмѣшищемъ всей провинціи.

Уголовное преслѣдованіе направленное противъ Эбеля и Дистеля, началось въ 1835 году. Дистель, призванный къ слѣдователю, наговорилъ ему сразу множество дерзостей и за это, въ самомъ началѣ процесса, попалъ на пять мѣсяцевъ въ крѣпость.

Въ числѣ другихъ свидѣтелей слѣдователь вызвалъ графиню Иду. Отвѣтомъ на этотъ вызовъ былъ гордый и рѣшительный отказъ, мотивированный тѣмъ, что графиня ни за кѣмъ въ мірѣ не признаетъ права задавать ей вопросы, затрогивающіе дѣла ея совѣсти. Слѣдователь повторилъ свое приглашеніе, прибавивъ, что за неявку по закону полагаются штрафъ или тюремное заключеніе. Ида осталась непоколебимой. Съ нея взыскали двѣсти талеровъ штрафа, но и это не подѣйствовало. Графиня приказала передать слѣдователю, что она, пожалуй, готова отправиться и въ тюрьму, но что показаній, противорѣчащихъ ея совѣсти, отъ нея все-таки никто не добьется. Слѣдователь, приведенный въ недоумѣніе, отправилъ ея письмо къ ея родственнику, оберъ-президенту фонъ-Шёну, и попросилъ у него совѣта, какъ поступать. Шёнъ отвѣтилъ, что онъ хорошо знаетъ свою родственницу, и что, по его твердому убѣжденію, ни угрозы, ни истязанія, если-бы они были возможны, не заставятъ графиню Иду дѣйствовать наперекоръ внушеніямъ ея совѣсти. Поэтому онъ совѣтовалъ слѣдователю оставить ее въ покоѣ, чтобы безполезными рѣзкостями не ронять достоинство суда и не возбуждать общественное мнѣніе въ пользу подсудимыхъ. Министръ юстиціи, которому слѣдователь доложилъ о непобѣдимомъ упорствѣ графини, нашелъ так-

же, что сажать ее въ тюрьму неприлично и безполезно, и приказалъ дать дѣлу такой оборотъ, чтобы ея показаніе было признано излишнимъ. Повинуясь этому приказанію, судъ призналъ взысканіе штрафа незаконнымъ и возвратилъ графинѣ Идѣ ея двѣсти талеровъ.

Главнымъ свидѣтелемъ противъ Эбеля и Дистеля выступилъ профессоръ Саксъ. Подсудимые рѣшительно отклонили его свидѣтельство и стали доказывать, что онъ—человѣкъ, не заслуживающій ни малѣйшаго довѣрія. Эбель сказалъ, что, въ качествѣ духовнаго лица, онъ, архидіаконъ, не можетъ обвинять своего ближняго; что подробности, извѣстныя ему о Саксѣ, дошли до него путемъ исповѣди, сдѣланной не ему лично, а другимъ особамъ; что открывать эти подробности онъ не можетъ и не будетъ; но что, зная Сакса такъ, какъ онъ его знаетъ, онъ, Эбель, торжественно протестуетъ противъ допущенія его въ свидѣтели.

Этотъ бездоказательный протестъ не могъ имѣть никакого серьезнаго значенія, но другой подсудимый, Дистель, не ограничился такимъ протестомъ и представилъ въ судъ двѣ подлинныя рукописи Сакса, скрѣпленныя его подписью. То были два большія письма, адресованныя къ покойной графинѣ фонъ-Каницъ и заключавшія въ себѣ полную и подробнѣйшую исповѣдь Сакса. Въ этой исповѣди профессоръ взводилъ на себя самыя грязныя и унизительныя обвиненія,—такія обвиненія, которыя дѣйствительно должны были отнять у судей всякую возможность полагаться на его слова и вѣрить его свидѣтельскимъ показаніямъ.

Судъ предъявилъ эти письма Саксу. Саксъ принужденъ былъ сознаться, что оба письма, съ первой строки до послѣдней, дѣйствительно писаны его собственной рукой.

— Стало быть, все, что̀ тутъ написано, чистая правда? спросилъ судъ.

— Нѣтъ, не правда, отвѣтилъ Саксъ.

— Но вѣдь вы-же говорите тутъ въ первомъ лицѣ, о самомъ себѣ, и сами подписываете эти показанія.

Саксъ согласился, что все это дѣйствительно такъ, и однакоже продолжалъ утверждать, что обвиненія, взведенныя на него этими письмами, совершенно невѣрны. Онъ самъ себя не помнилъ отъ горя, когда писалъ свою исповѣдь; онъ самъ не понималъ, что̀ говоритъ и что̀ пишетъ; онъ совершенно подчинился вліянію Минны фонъ-Каницъ, которой было поручено заботиться о спасеніи и освященіи его души; Минна настоятельно, сурово, неотступно требовала отъ него признаній; она сама внушила ему, что̀ ему слѣдуетъ говорить, въ чемъ обвинять себя и каяться; онъ страстно желалъ пріобрѣсти и упрочить за собой ея благосклонность, и онъ исполнилъ всѣ ея требованія и добровольно очернилъ себя цѣлымъ длиннымъ спискомъ вымышленныхъ гнусностей; и эту сложную и замысловатую клевету противъ самого себя онъ не только высказалъ словесно, въ пылу увлеченія, подъ вліяніемъ присутствія, взглядовъ и увѣщаній своей руководительницы, но еще подтвердилъ и письменно, оставаясь наединѣ съ самимъ собою въ тиши своего рабочаго кабинета.

Письма, представленныя Дистелемъ, были во всякомъ случаѣ тяжелымъ ударомъ для Сакса, и объясненіе ученаго профессора, какъ-бы ни посмотрѣли на него судьи, не могло въ достаточной степени оградить его репутацію. Судьи могли повѣрить этому объясненію, могли и не повѣрить. Если-бы они ему не повѣрили, то они, стало быть, остановились-бы на томъ убѣжденіи, что Саксъ дѣйствительно виновенъ во всемъ, въ чемъ онъ письменно покаялся графинѣ фонъ-Каницъ, и что онъ теперь закончилъ длинный рядъ своихъ грязныхъ поступковъ торжественной, публичной, очень неправдоподобной и слѣдовательно тѣмъ болѣе безстыдной ложью. Въ этомъ случаѣ Саксъ является человѣкомъ обезчещеннымъ, и его свидѣтельство теряло всякую цѣну. Если-бы судьи повѣрили Саксу, то его положеніе едва-ли улучшилось бы. Повѣривъ ему на-слово, по его собственному желанію, судьи должны были придти къ тому заключенію, что онъ, при тѣхъ или другихъ условіяхъ, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ побужденій, уступая тому или другому давленію, оказался способнымъ гнуснѣйшимъ образомъ оклеветать самого себя. Тутъ неизбѣжно и немедленно должно было явиться то соображеніе, что человѣкъ, способный оклеветать самого себя, способенъ тѣмъ болѣе оклеветать другихъ, если представляются достаточно сильныя побудительныя причины. Слѣдовательно, и въ этомъ случаѣ полагаться на свидѣтельство Сакса было неудобно.

Но прусскіе судьи того времени были послушнымъ орудіемъ въ рукахъ администраціи. Фонъ-Шёнъ, какъ раціоналистъ, былъ врагомъ той сантиментальной безсмыслицы, въ пользу которой ратовалъ кружокъ Эбеля. Вліяніе его хорошо извѣстныхъ симпатій и антипатій заставило судей упустить изъ виду ту дилемму, которая каждому безпристрастному человѣку кажется неизбѣжной при разсмотрѣніи вопроса о свидѣтельствѣ Сакса. Это свидѣтельство было принято и послужило главнымъ основаніемъ для приговора.

Видя, что дѣло принимаетъ очень дурной оборотъ для подсудимыхъ, всѣ знатные послѣдователи и доброжелатели Эбеля—чуть не половина аристократовъ восточной Пруссіи—стали хлопотать о перенесеніи процесса въ Берлинъ, подальше отъ вліянія кенигсбергскаго обер-президента. Этими стараніями управляла отчасти дѣйствительная преданность архидіакону, отчасти желаніе многихъ [illegible] сподъ огра-

дить свое собственное доброе имя, которое могло-бы пострадать, если-бы ихъ наставникъ и руководитель оказался достойнымъ строгаго уголовнаго наказанія.

Дѣло перенесли въ Берлинъ, оно разрослось до громадныхъ размѣровъ, разрослось и въ ширину, и въ глубину; подсудимые, ихъ защитники, свидѣтели за и противъ представили въ судъ горы рукописей и печатныхъ сочиненій; судьямъ пришлось разбирать цѣлую библіотеку, не менѣе девяноста томовъ; пришлось читать трактаты по теологіи, логикѣ, церковной исторіи и метафизикѣ; пришлось ломать голову надъ вѣчно-спорными вопросами о благодати и добрыхъ дѣлахъ, о свободѣ человѣческой воли, объ искупляющей силѣ вѣры; пришлось становиться на точку зрѣнія мистиковъ, фантазеровъ и энтузіастовъ; все это продолжалось два года.

Въ 1839 году состоялся суровый приговоръ. Рѣшено было Эбеля и Дистеля лишить священническаго сана и гражданскихъ правъ, объявить неспособными къ какой-бы то ни было государственной службѣ и затѣмъ продержать Эбеля въ заключеніи до тѣхъ поръ, пока онъ не исправится и не отречется отъ своихъ опасныхъ заблужденій.

Получивъ этотъ приговоръ, оберъ-президентъ фонъ-Шёнъ не зналъ, что съ нимъ дѣлать. Въ приговорѣ не было сказано, куда посадить Эбеля, и кому наблюдать за нимъ, и какими мѣрами лѣчить его отъ заблужденій. Начальникъ городскихъ тюремъ, призванный для совѣщаній по этому дѣлу, сказалъ фонъ-Шёну: «Вашему превосходительству надо будетъ принять на себя лично эту обязанность, потому что кромѣ васъ не найдется въ Кенигсбергѣ человѣка, кто бы отважился давать уроки архидіакону».

Пока фонъ-Шёнъ раздумывалъ, въ Берлинѣ произошла великая перемѣна. Король Фридрихъ-Вильгельмъ III умеръ, и его преемникъ Фридрихъ-Вильгельмъ IV самъ оказался піетистомъ, человѣкомъ, способнымъ вѣрить въ тайну свѣта и воды, заниматься астрологіей и отыскивать жизненный эликсиръ. На мѣсто министра Альтенштейна, умершаго въ это же самое время, былъ назначенъ піетистъ Эйхгорнъ.

Благодаря этимъ измѣнившимся обстоятельствамъ, друзьямъ Эбеля удалось добиться пересмотра его дѣла. Состоявшееся рѣшеніе въ началѣ 1842 года было кассировано. Подсудимые были признаны невиновными въ умышленномъ нарушеніи своихъ обязанностей и въ основаніи новой секты. Отнятыя гражданскія права были имъ возвращены и тюремное заключеніе, на которое былъ осужденъ Эбель, отмѣнено. Но то рѣшеніе кёнигсбергскаго церковнаго суда, въ силу котораго Эбелю и Дистелю запрещено отправлять пасторскія обязанности, осталось нетронутымъ.

«Со времени своей апелляціи, говоритъ Диксонъ, архидіаконъ жилъ вдали отъ свѣта съ графиней Идой, своей ближайшей духовною женой. Они переѣзжали съ мѣста на мѣсто изъ восточной Пруссіи въ Силезію, изъ Саксоніи въ Виртембергъ. Ида, въ защиту своего учителя, написала книгу, подъ заглавіемъ *Die Liebe zur Wahrheit* (любовь къ правдѣ) и издала ее въ Штутгардтѣ, въ 1850 году. Они поселились въ прелестномъ городкѣ Лудвигсбургѣ, близъ Штутгардта, и тутъ, въ 1861 году, архидіаконъ умеръ; но передъ смертью онъ увидѣлъ плоды своихъ трудовъ и огорченій: піетистическія общества возникли во многихъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ и промышленныхъ городовъ Германіи—въ Галле и Гейдельбергѣ, въ Берлинѣ и Гановерѣ, въ Дрезденѣ и Штутгардтѣ, въ Барменѣ и Эльберфельдѣ. Говорятъ, что старость его была спокойная, и что онъ скончался такъ, какъ-будто просто заснулъ».

Въ ноябрѣ 1867 года Диксону, бывшему въ это время въ Кёнигсбергѣ, удалось видѣть одну изъ новѣйшихъ манифестацій піетизма, насажденнаго много лѣтъ тому назадъ Шёнгерромъ и Эбелемъ. Молодой проповѣдникъ, сынъ того самаго Дистеля, который смирялъ свою гордость нюхательнымъ табакомъ, собралъ толпу благочестивыхъ слушателей въ городской вокзалъ и сталъ бесѣдовать съ ними о близости второго пришествія. Піетисты, собравшіеся въ вокзалѣ, такъ воодушевились, что начали плакать и кричать отъ умиленія. Студенты, столпившіеся на улицѣ, отвѣчали на восторженные вопли піетистовъ насмѣшливыми восклицаніями. Потомъ, когда благочестивые крики въ вокзалѣ дошли до апогея, студенты потеряли терпѣніе, вломились туда толпами и съ восклицаніями: «серафимовскіе поцѣлуи!» стали обнимать и цѣловать женщинъ и дѣвушекъ, кричавшихъ и плакавшихъ вмѣстѣ съ остальной публикой. Начался безпорядокъ. Завязались драки между студентами и покровителями оскорбляемыхъ женщинъ. Наконецъ явилась полиція, пришли солдаты генерала Фогеля фонъ-Фалькенштейна и положили конецъ какъ воодушевленію піетистовъ, такъ и безчинству вольнодумцевъ.

ПРИНСЕНТЫ.

I.

Генри-Джемсъ Принсъ родился въ Батѣ, въ 1811 году. О профессіи и общественномъ положеніи его отца Диксонъ не сообщаетъ никакихъ подробностей. На развитіе мальчика отецъ не могъ имѣть никакого вліянія, потому что умеръ вскорѣ послѣ его рожденія. Вдова мистера Принса осталась въ Батѣ, въ собственномъ домѣ, съ нѣсколькими малолѣтними

дѣтьми и съ очень ограниченными денежными средствами.

Ея младшій сынъ, Генри Джемсъ, былъ очень слабый и болѣзненный ребенокъ. Онъ не любилъ и не могъ играть, бѣгать и рѣзвиться съ своими болѣе крѣпкими и веселыми сверстниками. Бо́льшую часть своего времени онъ проводилъ подъ покровительствомъ добродушной и благочестивой, уже немолодой дѣзушки, Марты Фриманъ, занимавшей квартиру въ домѣ его матери.

Марта была католичка, но повидимому не находилась въ полной умственной зависимости отъ своего духовника и позволяла себѣ читать очень прилежно и внимательно библію, которую патеры, какъ извѣстно, считаютъ книгой недоступной и даже въ значительной степени опасной для мірянъ, и въ особенности для женщинъ. Пожилая дѣвушка, отказавшаяся отъ надежды на земное счастье, и болѣзненный ребенокъ, естественнымъ образомъ расположенный къ тихой и грустной мечтательности, часто читали вмѣстѣ евангеліе, часто молились вмѣстѣ, оплакивали свои грѣхи, размышляя о будущей жизни, вполнѣ понимали другъ-друга и воспитывали общими силами чувство взаимной привязанности, спокойной и прочной, какъ дружба, глубокой и нѣжной, какъ любовь.

Мистрисъ Принсъ хотѣла, чтобы ея младшій сынъ сдѣлался медикомъ. Шестнадцати лѣтъ отъ роду, Генри поступилъ въ ученики къ аптекарю и пробылъ въ ученіи около семи лѣтъ. Занимаясь аптекарскимъ дѣломъ, читая медицинскія книги, посѣщая лекціи, работая въ анатомическихъ театрахъ и въ госпиталяхъ, молодой Принсъ велъ постоянно самую чистую и строгую жизнь. Когда ему пришлось переселиться въ Лондонъ для совершенія своего медицинскаго образованія и для сдачи экзаменовъ, атмосфера столицы и встрѣча съ буйными и разгульными юношами не подѣйствовали на него развращающимъ образомъ. Онъ продолжалъ восторженно любить старую дѣву, усердно молиться и прилежно читать библію.

Выдержавъ экзамены и получивъ лекарскій дипломъ, онъ добылъ себѣ мѣсто ординатора при госпиталѣ въ Батѣ и втеченіи трехъ лѣтъ ревностно занимался отправленіемъ своихъ обязанностей, къ которымъ у него однако не лежало сердце, потому что чтеніе библіи и молитва продолжали составлять по-прежнему настоящій центръ его душевной жизни. Въ 1835 г. онъ заболѣлъ, поѣхалъ въ Лондонъ совѣтоваться съ медицинскими знаменитостями, выдержалъ мучительную операцію, недѣль пять пролежалъ въ постели, и во время томительно безсонныхъ ночей, при содѣйствіи своей вѣрной пріятельницы Марты, додумался до того убѣжденія, что ему слѣдуетъ бросить медицину и обратиться къ тѣмъ занятіямъ, которыя могутъ сдѣлать его врачемъ и спасителемъ погибающихъ душъ.

Оправившись отъ операціи, Принсъ, по совѣту докторовъ, поѣхалъ въ Шотландію лечиться свѣжимъ горнымъ воздухомъ.

«Грубые жители сѣвера, говоритъ Диксонъ, озадачили добраго молодого человѣка изъ Бата. Они пили много, богохульствовали громко, дрались крѣпко. Взрослые мужчины любили своихъ ребятишекъ и колотили своихъ женъ. Немногіе изъ этихъ неотесанныхъ молодцовъ переступали за порогъ церкви; ихъ воскресныя утра уходили преимущественно на драки, которыми разрѣшались ссоры прошлой недѣли. Хозяева были не лучше простыхъ рабочихъ, хотя и предполагалось, что ихъ увеселенія менѣе грубы. Когда Принсъ отправлялся въ церковь, онъ слышалъ среди полей крики охотниковъ. Церковь — старая рига — была почти пуста. Вотъ стадо, думалъ Принсъ, которому безотлагательно нуженъ пастырь; и такъ было на сѣверѣ во многихъ мѣстахъ. Принсу сказали, что тутъ народъ ненавидитъ священниковъ; онъ видѣлъ, что эта ненависть дѣйствительно существуетъ, хотя у него передъ глазами возвышались соборныя башни и теологическія школы Дёргама; и ему особенно больно было то, что онъ въ душѣ своей не могъ объяснить эту ненависть непризнанными достоинствами пасторовъ. Это объясненіе было невозможно».

Убѣдившись въ жалкомъ нравственномъ положеніи стада и пастырей, Принсъ окончательно рѣшился посвятить свою жизнь подвигамъ евангельской проповѣди и для этого приготовиться къ священническому званію въ Дёргамской теологической школѣ. Марта, съ которой онъ постоянно совѣтовался, и которая, подъ вліяніемъ его наставленій, перешла изъ католическаго вѣроисповѣданія въ англиканское, совершенно одобрила его намѣреніе и пожелала только, чтобы онъ изучалъ теологію не въ Дёргамѣ, а гдѣ нибудь поближе отъ Бата. Училище, соотвѣтствовавшее всѣмъ желаніямъ Марты и ея друга, нашлось въ Лемпитерѣ, въ Кардиганшейрѣ, одномъ изъ южныхъ графствъ княжества Уэльскаго.

Лемпитеръ былъ недалеко отъ Бата, воздухъ тамъ былъ здоровый, мѣстоположеніе—живописное; но люди, разумѣется, не удовлетворяли строгимъ требованіямъ Принса. Всѣ ихъ заботы и развлеченія казались благочестивому юношѣ мелочными и суетными. Профессора высматривали, нельзя ли гдѣ-нибудь добыть себѣ приращенія доходовъ или перескочить куда-нибудь на болѣе выгодное и блестящее мѣсто; студенты занимались со страстью рыбной ловлей, попойками, гимнастическими упражненіями и пикниками; кто изъ профессоровъ и студентовъ былъ поосновательнѣе и посерьезнѣе, тотъ

усердно читалъ книги по своей спеціальности; но и эти труды не находили себѣ помилованія въ глазахъ Принса. Юный энтузіастъ видѣлъ въ нихъ преимущественно продукты умственной кичливости, несовмѣстной съ истиннымъ благочестіемъ.

Что думалъ и чувствовалъ Принсъ, то онъ и высказывалъ безъ утайки. Его слова не пропадали даромъ. Нѣкоторые изъ его товарищей нашли въ его словахъ краснорѣчивое выраженіе своихъ собственныхъ духовныхъ потребностей, и вокругъ Принса скоро сгруппировалась небольшая кучка вѣрующихъ и благочестивыхъ студентовъ. Они назвали себя лемпитерскими братьями, стали собираться для чтенія священнаго писанія и для общей молитвы, пришли къ тому убѣжденію, что міръ вообще и ихъ училище въ особенности гибнутъ отъ нравственнаго очерствѣнія, и для спасенія погибающаго человѣчества рѣшились воспитать въ себѣ постомъ и молитвою и вынести съ собою изъ стѣнъ училища въ дѣятельную жизнь духъ глубокой, пламенной и неустрашимой религіозности.

Любимой книгой лемпитерскихъ братьевъ была «Пѣснь пѣсней» Соломона. Роскошные и ярко чувственные образы поддерживали въ нихъ то неопредѣленно-восторженное настроеніе, къ которому они стремились и въ которомъ они видѣли высшую цѣль человѣческаго существованія. Самому Принсу «Пѣснь пѣсней» была особенно дорога, потому что его двѣ преобладающія страсти находили себѣ въ ней превосходное выраженіе. Принсъ чувствовалъ себя страстно влюбленнымъ въ Марту Фриманъ, и его любовь была тѣмъ сильнѣе, что Марта по своимъ лѣтамъ годилась ему въ матери, и что слѣдовательно Принсу невозможно было заподозрить и отыскать въ своемъ чувствѣ грѣховный элементъ плотскаго влеченія. Съ другой стороны, Принсъ такъ же страстно стремился къ полному духовному совершенству, къ побѣдѣ надъ всѣми человѣческими слабостями и пристрастіями, къ таинственному сліянію съ верховнымъ существомъ. Читая «Пѣснь пѣсней», вдумываясь въ каждое слово и стараясь прочувствовать каждый оттѣнокъ, Принсъ могъ понимать образы превосходной лирической поэмы или въ буквальномъ, или въ аллегорическомъ смыслѣ. Если онъ понималъ ихъ буквально, какъ восторженное обращеніе влюбленнаго мужчины къ любимой женщинѣ, то передъ его глазами появлялась скромная, увядшая фигура Марты Фриманъ, и онъ съ гордой улыбкой страстнаго поклонника думалъ о томъ, насколько духовныя совершенства этой пожилой дѣвушки, положившія свою печать на всѣ черты ея лица, выше, прекраснѣе и прочнѣе тѣхъ скоропреходящихъ прелестей юной восточной красавицы, которыя прославляетъ древній поэтъ. Если онъ прибѣгалъ къ аллегорическому истолкованію, то его суровый идеалъ возставалъ передъ нимъ во всей своей величественной красотѣ, и онъ бросался къ нему съ тѣмъ самозабвеніемъ знойной страсти, которымъ порождены и проникнуты громадно-преувеличенные образы азіатской поэмы. Находя передъ собой, при чтеніи любимыхъ строкъ, то Марту Фриманъ, то идеалъ духовнаго совершенства, видя, что въ Мартѣ онъ любитъ именно тѣ черты святости, къ которымъ онъ самъ стремится, и замѣчая такимъ образомъ, что обѣ его страсти, вмѣсто того, чтобы сталкиваться между собой, могутъ только взаимно поддерживать и усиливать другъ-друга, Принсъ скоро довелъ себя до такого состоянія восторженной самонадѣянности, которое близко подходитъ къ помѣшательству и дѣйствуетъ заразительно-покоряющимъ образомъ на впечатлительные умы.

Въ первое время послѣ того, какъ Принсъ убѣдился въ силѣ своей любви къ Мартѣ, на него нападали мучительныя сомнѣнія. Онъ задавалъ себѣ вопросы, нѣтъ ли въ этой любви зерна грѣховной слабости, и будетъ ли онъ, Принсъ, въ состояніи побѣдить свое чувство и попрать его ногами, если это чувство когда-нибудь и какимъ-бы то ни было образомъ придетъ въ столкновеніе съ его обязанностями относительно Верховнаго Существа и съ высшими требованіями духовнаго совершенства.

Чѣмъ мучительнѣе были эти тревоги, тѣмъ торжественнѣе и радостнѣе оказалось наступившее за ними успокоеніе. Когда Принсу удалось убѣдить себя, что его единственная земная страсть находится и всегда будетъ находиться въ строгомъ согласіи съ велѣніями Верховнаго Существа, тогда Принсъ пришелъ къ тому убѣжденію, что у него нѣтъ страстей, способныхъ привести его къ нравственному паденію, что онъ вообще не можетъ и никогда не будетъ грѣшить, что человѣческое существо въ немъ умерло, что сліяніе его съ божествомъ совершилось, и что въ немъ мыслитъ, чувствуетъ и дѣйствуетъ святой духъ. Ему удалось убѣдить себя въ томъ, что всѣ мельчайшіе поступки въ его вседневной жизни обусловливаются внушеніями свыше.

«Если — говоритъ Диксонъ — онъ шелъ на прогулку, то онъ спрашивалъ у Бога, пойдетъ-ли дождь. Если ему нуженъ былъ стулъ въ его комнату, онъ спрашивалъ у Духа позволенія купить его. Онъ безъ предварительной молитвы не рѣшался надѣть новый сюртукъ или взять дождевой зонтикъ. Онъ оставилъ привычку судить собственнымъ умомъ даже о самыхъ простыхъ вещахъ и сталъ слѣдовать тому, что онъ называлъ внушеніями Духа, даже когда они побуждали его дѣйствовать наперекоръ его видимому благу».

Кончивъ курсъ въ лемпитерскомъ училищѣ, Принсъ женился на Мартѣ Фриманъ и полу-

чилъ мѣсто викарія въ Чарлинчѣ, въ Сомерсетшейрѣ. И то и другое было, разумѣется, сдѣлано по внушенію свыше

Деревня Чарлинчъ лежала въ тихой и плодородной долинѣ, вдали отъ большихъ торговыхъ центровъ и отъ бойкихъ почтовыхъ трактовъ; землевладѣльцы не жили сами въ этой деревнѣ; фермеры и ихъ работники были простые и грубые люди; церковь была мала, бѣдна и запущена; невѣжественные обыватели рѣдко въ нее заглядывали; они, впрочемъ, при всемъ своемъ невѣжествѣ и религіозномъ индиферентизмѣ, не были испорчены и развращены. Въ Чарлинчѣ никогда не бывало и нѣтъ до сихъ поръ ни одного кабака. Во время назначенія Принса, приходскій священникъ (rector) Чарлинча, Семюэль Стерки, былъ очень боленъ и по совѣту врачей жилъ на островѣ Уайтѣ, такъ что всѣ заботы о духовныхъ нуждахъ прихода упали цѣликомъ на новаго викарія и на его жену.

Принсу, когда онъ пріѣхалъ въ Чарлинчъ, было подъ тридцать. Его женѣ, Мартѣ, было за пятьдесятъ. Она была уже сѣдая, слабая, болѣзненная старуха. Взаимная любовь обоихъ супруговъ оставалась послѣ брака такой-же платонической, какой она была во все время ихъ многолѣтняго знакомства. Настоящая цѣль ихъ брака состояла въ томъ, чтобы общими силами, словомъ и примѣромъ, наставлять ближнихъ на путь къ вѣчной жизни.

Втеченіи цѣлаго года религіозная пропаганда, веденная Принсомъ и его женой, оставалась безъ замѣтныхъ послѣдствій. Обитатели Чарлинча продолжали игнорировать церковную службу и заботиться только о земныхъ интересахъ самаго копѣечнаго достоинства. Только три человѣка, и то изъ другого прихода, навѣстили Принса и побесѣдовали съ нимъ о спасеніи души. Между тѣмъ Марта заболѣла отъ хлопотъ и огорченій, и ея мужъ повезъ ее въ Батъ, по внушенію святого Духа.

Въ это время Стерки лежалъ при смерти на островѣ Уайтѣ.

Доктора отъ него отказались. Сидѣлка сказала ему въ одно утро, что онъ не проживетъ до ночи.

«Въ полдень — разсказывалъ онъ Диксону — мнѣ принесли письмо съ почты изъ Бата отъ одного моего пріятеля-пастора. Въ письмѣ лежалъ печатный листокъ, который онъ просилъ, если не будетъ слишкомъ поздно, прочитать мнѣ вслухъ передъ смертью. То была проповѣдь. Я нашелъ, что ея слова были не только полны благодати, но полны Бога. Они упали на мою душу, какъ дождь на сухую почву. Когда чтеніе окончилось, я спросилъ имя проповѣдника. И тутъ только я услышалъ, что это проповѣдь моего собственнаго викарія, Принса. Я поблагодарилъ Бога за то, что Онъ послалъ моему стаду такого пастыря. Я чувствовалъ себя очень счастливымъ въ душѣ моей, сказалъ нѣсколько послѣднихъ словъ моей женѣ и дочери, и затѣмъ легъ опять, чтобы отойти въ мирѣ. Но я не могъ умереть. Пульсъ мой сталъ биться сильнѣе; языкъ мой разрѣшился; сила стала возвращаться къ моимъ членамъ и, черезъ нѣсколько недѣль послѣ этого призыва съ смертнаго одра, я былъ въ Чарлинчѣ, въ объятіяхъ моего викарія».

Стерки воротился въ Чарлинчъ вполнѣ убѣжденный, что его спасли отъ смерти и призвали на святое дѣло божественныя слова Принса, проникнутыя силою таинственной и чудотворной благодати. Считая свое выздоровленіе великимъ чудомъ, похожимъ на воскрешеніе мертвеца, Стерки сдѣлался вѣрующимъ послѣдователемъ своего викарія. Стерки былъ человѣкъ достаточный, хорошо образованный, уважаемый въ церкви и въ обществѣ. Его фамилія пользовалась давно-упроченнымъ вліяніемъ въ Сомерсетшейрѣ. Черезъ свою матъ онъ находился въ дальнемъ родствѣ со многими перами Соединеннаго королевства.

При содѣйствіи Стерки, проповѣдь Принса пошла успѣшнѣе, когда онъ, вмѣстѣ съ Мартой, воротился въ Чарлинчъ. Сомнѣнія объ участи души стали пробуждаться въ такихъ умахъ, которымъ до того времени были доступны только размышленія о полевыхъ работахъ и о выгодныхъ торговыхъ сдѣлкахъ. Въ короткое время человѣкъ тридцать почувствовали потребность бесѣдовать съ Принсомъ и молиться подъ его руководствомъ. Принсъ назначилъ вечернее молитвенное собраніе по вторникамъ, душеспасительное чтеніе — по пятницамъ, спеціальное молитвенное собраніе — по воскресеньямъ, утромъ, до начала церковной службы. Черезъ мѣсяцъ онъ пошелъ дальше и отвелъ на молитвенные подвиги по одной ночи въ недѣлю; самые ревностные изъ его послѣдователей стали собираться съ вечера и проводить вмѣстѣ всю ночь, занимаясь чтеніемъ молитвъ, пѣніемъ гимновъ, проливаніемъ обильныхъ слезъ и возсыланіемъ къ небу глубокихъ вздоховъ.

Всѣ эти проявленія горячаго религіознаго чувства потрясли такъ сильно еще неокрѣпшіе нервы Стерки, едва оправившагося отъ продолжительной и опасной болѣзни, что онъ на нѣсколько времени потерялъ способность отправлять обязанности своего званія. Въ одно воскресное утро онъ взошелъ на церковную каѳедру съ намѣреніемъ произнести проповѣдь. Вдругъ всѣ его мысли перемѣшались у него въ головѣ, и онъ замѣтилъ съ благоговѣйнымъ ужасомъ, что онъ не въ состояніи вымолвить ни одного путнаго слова. Слезы полились у него изъ глазъ; онъ съ рыданіями попросилъ недоумѣвающихъ прихожанъ простить его немощи и молить вмѣстѣ съ нимъ Всевышняго

*

о ниспосланіи духовнаго свѣта недостойному служителю алтаря. Человѣкъ пятьдесятъ вѣрующихъ пошли вслѣдъ за онѣмѣвшимъ священникомъ изъ церкви къ нему въ домъ, стали тамъ на колѣни и постарались облегчить свои переполненныя души усердными молитвами.

Даръ слова долго не возвращался къ разстроенному пастору. Нѣсколько воскресеній подърядъ Стерки всходилъ по обыкновенію на каѳедру, раскрывалъ книгу, чувствовалъ въ своей головѣ ту-же мучительную неурядицу и, постоявъ нѣсколько минутъ, чтобы окончательно убѣдиться въ своей безсловесности, смиренно и печально отправлялся домой молиться и плакать. Изъ окрестныхъ селъ и городовъ въ Чарлинчъ собирались по воскресеньямъ толпы зѣвакъ поглазѣть на нѣмого проповѣдника и потолковать, съ шутками и насмѣшками, о его неслыханномъ и необъяснимомъ несчастіи.

Наконецъ нервы Стерки исподволь приноровились къ тѣмъ сильнымъ ощущеніямъ, которыя ему доставляло вліяніе Принса. Мысли его установились и пришли въ порядокъ. Въ одно воскресенье, стоя на каѳедрѣ, онъ почувствовалъ, что на него сошелъ свыше духъ молитвы. Онъ бросился на колѣни, и изъ его губъ, къ удивленію прихожанъ и постороннихъ зѣвакъ, полились рѣкой стройныя и трогательныя слова слезной молитвенной импровизаціи. Когда первый пылъ его воодушевленія схлынулъ, онъ поднялся на ноги, громко и внятно прочиталъ текстъ священнаго писанія и затѣмъ произнесъ такую проповѣдь, которая врѣзалась неизгладимыми чертами въ умы всѣхъ слушателей. Она, по словамъ Диксона, не отличалась, блескомъ и громомъ высокаго человѣческаго краснорѣчія, но была мягка, печальна и торжественна, какъ жизнь и смерть; «пронзительна, какъ огонь, тяжела какъ молотъ, и острѣе обоюдоостраго меча».

Трепетъ благоговѣйнаго страха прошелъ по толпѣ прихожанъ и зѣвакъ. Многіе изъ мужчинъ закрыли лица руками или задумчиво опустили головы. Почти всѣ женщины стали рыдать и взвизгивать.

Желая ковать желѣзо, пока оно было разгорячено неожиданно убѣдительной проповѣдью Стерки, Принсъ сталъ въ своихъ поученіяхъ громить и клеймить равнодушныхъ, маловѣрныхъ и слабыхъ. Онъ называлъ ихъ негодными плевелами и говорилъ, что ихъ надо отдѣлить отъ пшеницы. Эти поученія внесли тревогу и раздоръ во многія семейства. Бо́льшая часть мужей и отцовъ оказались плевелами, и пшеница, составленная изъ фанатизированныхъ женъ и дочерей, стала сомнѣваться въ законности семейной дисциплины и обнаруживать постоянно возрастающія наклонности къ самоуправленію. Мужья и отцы стали гнѣваться и относиться очень неодобрительно къ тѣмъ вліяніямъ, которыя возмущали подвѣдомственныя имъ державы. Многіе домохозяева запретили своимъ женамъ, дѣтямъ и слугамъ ходить на утреннія и вечернія молитвенныя собранія. Жены закричали, что убѣгутъ изъ дома отъ такого тиранства. Мужья стали божиться, что заколотятъ женъ до смерти за такое дерзкое и явное неповиновеніе. Словомъ, поднялся въ тихой деревнѣ дымъ коромысломъ. Мужья перессорились на смерть съ женами, отцы съ дѣтьми, хозяева съ батраками. Принса конечно эти раздоры не могли ни огорчить, ни привести въ смущеніе. У него былъ подъ руками тотъ успокоивающій аргументъ, что онъ, подобно великому учителю, принесъ на землю не миръ, а мечъ. Онъ продолжалъ проповѣдывать и радовался возрастающему волненію, какъ вѣрному доказательству успѣха.

Слухи о возникающемъ религіозномъ движеніи скоро дошли до свѣдѣнія мѣстнаго епископа, и старому прелату, Джорджу-Генри Ло, вовсе не понравилось то обстоятельство, что подвѣдомственные ему клирики вздумали вносить мечъ въ его епархію. Принсу было послано изъ епископскаго дворца приказаніе замолчать. Вмѣстѣ съ тѣмъ ближайшіе совѣтники епископа дали Принсу добрый совѣтъ пріискать себѣ мѣсто въ какомъ-нибудь другомъ графствѣ и своимъ удаленіемъ успокоить взволнованные умы. Принсъ, какъ и слѣдовало ожидать, отвѣтилъ на этотъ совѣтъ, что онъ пришелъ въ Чарлинчъ не по собственной волѣ, а по велѣнію свыше, и что безъ такого велѣнія онъ не тронется съ мѣста. Тогда его отрѣшили отъ должности.

II.

Потерявъ свое оффиціальное положеніе въ Чарлинчѣ, Принсъ попробовалъ сначала сдѣлаться независимымъ проповѣдникомъ. Онъ нанялъ себѣ комнату и объявилъ, что будетъ проповѣдывать тѣмъ, кто пожелаетъ его слушать. Аудиторія его составилась на первый разъ изъ нѣсколькихъ фермеровъ. Но Принсъ скоро призналъ удобнымъ измѣнить свой образъ дѣйствій, который неминуемо долженъ былъ привести его къ открытому разрыву съ господствующей церковью. Повинуясь одному изъ тѣхъ велѣній свыше, которыми обусловливались всѣ его поступки, Принсъ принялъ предложенное ему мѣсто священника въ Стокѣ, близъ Гельстида, въ Восточной Англіи.

Обстоятельства складывались такъ, что это внушеніе свыше совпало повидимому съ голосомъ практическаго благоразумія. Принсу представлялась возможность дѣйствовать на умы, не прибѣгая еще по крайнимъ мѣрамъ, то-есть не разрывая связи съ англиканской церковью. Друзья и единомышленники Принса, лемпитерскіе братья,

продолжавшіе признавать его своимъ вождемъ одинъ за другимъ получили приходы въ различныхъ мѣстностяхъ въ Англіи. Находясь съ ними въ перепискѣ, Принсъ могъ дѣйствовать съ ними заодно, пока онъ оставался членомъ установленной церкви. Если-же онъ захотѣлъ бы сдѣлаться основателемъ отдѣльной секты, то ему предстояла необходимость или разорвать связи съ этими друзьями и единомышленниками, которыхъ содѣйствіе въ различныхъ пунктахъ Англіи могло въ значительной степени усилить успѣхъ религіозной пропаганды, или потянуть за собой въ возникающій расколъ всѣхъ этихъ ревностныхъ сотрудниковъ, которые въ такомъ случаѣ должны были отказаться отъ своихъ приходовъ и уступить свои каѳедры людямъ совсѣмъ другого образа мыслей.

Принявъ мѣсто въ Стокѣ, по внушенію свыше или по другимъ, болѣе осязательнымъ соображеніямъ, Принсъ на нѣсколько времени удалилъ необходимость разрыва со всѣми его послѣдствіями. Такъ какъ назначеніе преемника отставленному Принсу зависѣло отъ Стерки, совершенно подчинившагося вліянію своего бывшаго викарія, то мѣсто въ Чарлинчѣ было отдано одному изъ лемпитерскихъ братьевъ, Джорджу-Робинсону Томасу.

Въ то время, когда надъ Принсомъ сбиралась и разыгрывалась гроза со стороны епископской власти, въ его частной жизни произошла важная перемѣна. Старая и болѣзненная жена его, Марта, умерла, и Принсъ изумилъ всѣхъ своихъ друзей и знакомыхъ той необыкновенной быстротой, съ которой онъ, вслѣдъ за этимъ горестнымъ событіемъ, женился на второй женѣ. Этой второй женой сдѣлалась сестра чарлинчскаго пастора, Джулія Стерки.

Диксону случилось говорить съ Семюэлемъ Стерки объ этомъ второмъ бракѣ Принса. Диксонъ выразилъ своему собесѣднику, что всѣ порядочные люди были изумлены и непріятно поражены той поспѣшностью, которую обнаружилъ Принсъ.

— Вы не должны судить о поступкахъ Возлюбленнаго (Принса) по обыкновеннымъ правиламъ, отвѣтилъ на это Стерки.—Это было для него большое огорченіе, но онъ не могъ уклониться.

Замѣтивъ улыбку, промелькнувшую на губахъ Диксона, Стерки прибавилъ:

— Вы невѣрно его судите; онъ не могъ поступить иначе, потому что такова была воля Божія.

— Чтобы онъ во второй разъ женился?

— Это было сдѣлано для славы Бога, а не для выгодъ человѣка.

Но Диксонъ думаетъ, что и выгоды человѣка были соблюдены, потому что у самого Принса не было никакого состоянія, а у его второй жены было все-таки восемьдесятъ фунтовъ годового дохода.

— Я былъ возлѣ него, продолжалъ Стерки,— во все время этого испытанія. Я видѣлъ, какъ онъ страдалъ тѣломъ и духомъ. Я страдалъ вмѣстѣ съ нимъ. Я страдалъ также и вмѣстѣ съ его женой, которая была моей сестрой и моей сидѣлкой, моимъ лучшимъ товарищемъ и самымъ дорогимъ другомъ. Никто изъ насъ не могъ этого измѣнить. Ни онъ, ни она не подчинились-бы добровольно этому жестокому испытанію. Они сдѣлались мужемъ и женой не по собственному желанію, а просто потому, что такъ угодно было Богу.

Женившись на Джуліи Стерки, Принсъ уѣхалъ съ ней въ Стокъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его переселенія, въ его новомъ приходѣ стало обнаруживаться то самое религіозное волненіе, изъ-за котораго Принсъ принужденъ былъ покинуть свое мѣсто въ Чарлинчѣ. Мѣстный епископъ, докторъ Элленъ, обошелся съ ревностнымъ проповѣдникомъ очень ласково и попросилъ его вести дѣло религіозной пропаганды потише, такъ, чтобы интересы спасенія христіанскихъ душъ не становились въ слишкомъ явную противоположность съ требованіями общественнаго порядка и спокойствія. Принсъ конечно отнесся къ этимъ благодушнымъ совѣтамъ, продиктованнымъ трусливой и разсчетливой свѣтской мудростью, съ самымъ суровымъ презрѣніемъ. Кончилось тѣмъ, что епископъ Элленъ, при всей мягкости своего характера, послѣдовалъ примѣру епископа Ло. Неугомоннаго проповѣдника, не слушавшаго никакихъ ласковыхъ внушеній, удалили изъ Стока, но ему и здѣсь удалось поставить на свое мѣсто одного изъ лемпитерскихъ братьевъ, Льюиса Прайса.

Новый опытъ, произведенный Принсомъ въ Стокѣ и окончившійся новымъ столкновеніемъ съ высшими духовными властями, показалъ до послѣдней степени очевидно несовмѣстимость лемпитерскихъ тенденцій и вообще всякаго слишкомъ восторженнаго и бурнаго благочестія съ консервативнымъ характеромъ и традиціонной осмотрительностью англиканской церкви. Съ разныхъ сторонъ стали получаться извѣстія, способныя служить новыми доказательствами этой несовмѣстимости. Семюэлю Стерки, продолжавшему дѣло Принса въ Чарлинчѣ, было запрещено отправлять обязанности священника. За Джорджемъ Томасомъ зорко слѣдили, и надъ нимъ скоплялась та-же гроза. Льюисъ Прайсъ ссорился съ своими прихожанами за ихъ закоснѣлость въ грѣхѣ, и шумъ, возбуждаемый его проповѣдями, навлекалъ на него очень неблагосклонное вниманіе высшей духовной власти, дорожившей прежде всего тишиной и спокойствіемъ, хотя-бы эти неоцѣненныя блага покупались полнымъ невѣжествомъ населенія и его совершеннымъ равнодушіемъ къ интересамъ религіи.

Члены гонимаго братства съѣхались для совѣщаній и порѣшили, что Принсъ и Стерки открыто отложатся отъ англиканской церкви и попробуютъ основать самостоятельную секту. Принсъ съ этой цѣлью отправился въ Брайтонъ, а Стерки въ Мелькомбъ-Реджисъ.

Проповѣдуя въ Брайтонѣ, Принсъ въ первый разъ сообщилъ своимъ слушателямъ то извѣстіе, что утѣшитель, обѣщанный міру слишкомъ 18 вѣковъ назадъ, уже явился на землю. На каѳедрѣ, имѣя передъ собой толпу профановъ, въ расположеніи и вѣрѣ которыхъ онъ могъ сомнѣваться, Принсъ высказывалъ это извѣстіе въ таинственной формѣ, прикрывая его загадочными образами и символическими выраженіями. Но въ болѣе конфиденціальныхъ бесѣдахъ съ такими людьми, которыхъ онъ уже признавалъ своими вѣрными послѣдователями, онъ выражался гораздо яснѣе и прямо указывалъ на самого себя, какъ на воплощеніе обѣщаннаго Утѣшителя.

Чрезъ нѣсколько времени лемпитерскіе братья, подъ предсѣдательствомъ Принса, снова собрались для совѣщанія о религіозныхъ дѣлахъ. Собраніе постановило цѣлый рядъ резолюцій; Принсъ взялъ къ себѣ въ карманъ ту бумагу, на которой они были написаны, и унесъ ее съ собой. Нѣсколько дней спустя, каждый изъ членовъ собранія получилъ списокъ правилъ, составленныхъ Принсомъ и значительно отличавшихся отъ принятыхъ резолюцій. Одинъ изъ лемпитерскихъ братьевъ, Рисъ, сошедшійся съ Принсомъ прежде всѣхъ другихъ студентовъ лемпитерской школы и усердно помогавшій ему въ составленіи братства, возмутился самымъ энергическимъ образомъ противъ той духовной диктатуры, которую явно старался присвоить себѣ его товарищъ. Принсъ попробовалъ зажать Рису ротъ тѣмъ неотразимымъ аргументомъ, что новыя правила, присланныя братьямъ, отъ перваго слова до послѣдняго, продиктованы ему, Принсу, святымъ духомъ.

Этотъ аргументъ не подѣйствовалъ. Рисъ охотно признавалъ превосходство Принса, преклонялся передъ его заслугами, платилъ должную дань уваженія его благочестію, его мужеству, его учености и краснорѣчію, но онъ не могъ видѣть въ немъ божество, признавать каждое его слово за велѣніе свыше и отречься разъ навсегда отъ всѣхъ правъ собственнаго разума во имя безпрекословнаго повиновенія его верховному авторитету. Уважая и любя Принса, какъ своего стараго друга, Рисъ, бывшій морякъ, человѣкъ прямодушный, откровенный и смѣлый, употребилъ всѣ усилія, чтобы образумить его и показать ему, къ какому страшному паденію его ведетъ духовная гордость, разыгравшаяся до границъ помѣшательства. Увѣщанія Риса нисколько не поколебали вѣры Принса въ свою божественность. Тогда Рисъ объявилъ торжественно, что онъ прерываетъ сношенія съ своимъ ослѣпленнымъ другомъ и съ его вѣрующими приверженцами.

Изъ разсказа Диксона можно заключить, хотя это нигдѣ не выражено у него совершенно ясно, что только одинъ Рисъ рѣшительно отказался признать Принса воплощеніемъ божества. По крайней мѣрѣ Диксонъ, кромѣ Риса, не называетъ по имени ни одного изъ этихъ отложившихся членовъ братства. Принсъ, Стерки, Томасъ и Коббъ остались неизмѣнно вѣрными послѣдователями Принса, выслушали безропотно всѣ его размашистыя притязанія, признали его слѣдовательно своимъ божествомъ и отнеслись съ благочестивымъ ужасомъ къ возстанію Риса.

Принсъ, какъ мы уже видѣли, проповѣдывалъ въ Брайтонѣ. Стерки вербовалъ прозелитовъ въ Уэймаутѣ, гдѣ у него былъ нанятъ домъ для благочестивыхъ собраній. Томасъ и Коббъ трудились въ Чарлинчѣ и успѣли устроить тамъ, послѣ удаленія Принса и Стерки, диссидентскую часовню, которая составила опасную конкуренцію приходской церкви. Всѣ эти соединенныя усилія могли-бы положить основаніе могущественной сектѣ, но Принсу вдругъ заблагоразсудилось дать религіозному движенію такой поворотъ, при которомъ дальнѣйшая пропаганда сдѣлалась невозможной.

Изъ Брайтона Принсъ переѣхалъ въ Уэймаутъ, основалъ въ томъ домѣ, который нанималъ его тесть, Стерки, такъ-называемое *жилище любви* и произнесъ въ одной городской тавернѣ рядъ проповѣдей, въ которыхъ развернулъ безъ утайки всю свою доктрину. Онъ объявилъ своимъ слушателямъ, что второе пришествіе Спасителя близко, что погибель всего существующаго скоро наступитъ, что пришло время отдѣлить пшеницу отъ плевелъ, что спасутся только тѣ немногіе избранные, которые увѣровали въ него, Принса, какъ воплощеніе святого духа, что всѣ остальные люди, многіе милліоны людей, сдѣлаются добычей неугасимаго огня, что день милосердія и прощенія прошелъ, что день суда и мести насталъ, и что та дверь, которая была отворена для немногихъ избранныхъ, теперь закрылась навсегда, такъ-какъ всѣ избранные уже прошли черезъ нее въ царство вѣчной жизни и безконечнаго блаженства.

Принсъ самъ говорилъ Диксону, что у него въ тотъ день, когда онъ такимъ образомъ торжественно заперъ двери своего святилища, было всѣхъ послѣдователей обоего пола и всякаго возраста около пятисотъ человѣкъ.

Въ жилищѣ любви, основанномъ въ Уэймаутѣ, жили далеко не всѣ пятьсотъ послѣдователей, которыхъ насчитываетъ Принсъ. По всей вѣроятности, цифра пятьсотъ стоитъ гораздо выше дѣйствительной цифры. Кромѣ того, скромный домъ, нанятый Семюэлемъ Стерки, былъ слишкомъ малъ не только для пятисотъ, но даже

и для пятидесяти человѣкъ. Далѣе, среди толпы избранныхъ, которые всѣ считались святыми, выдѣлялись особенно избранные, люди близкіе къ Принсу, сановники его маленькаго теократическаго государства. Этихъ сановниковъ было немного, и жилище любви было основано именно для нихъ и для ихъ божественнаго повелителя. Въ этомъ жилищѣ братья и сестры жили подъ одной кровлей, ведя цѣломудренную жизнь, служа Господу и ожидая со дня на день его пришествія.

Уэймаутское жилище любви не удовлетворяло требованіямъ Принса и его придворныхъ. Оно было тѣсно, бѣдно, неудобно и во всѣхъ отношеніяхъ недостойно того сверхъестественнаго лица, которое въ немъ помѣщалось. Большой домъ вродѣ замка, тѣнистый садъ и роскошное помѣстье были необходимы для благодатнаго спокойствія Утѣшителя и его святыхъ послѣдователей. Томасъ и Коббъ стали расхваливать мѣстоположеніе деревни Спакстонъ, находящейся недалеко отъ Чарлинча. Тамъ было много холодныхъ ключей и прозрачныхъ ручьевъ. Холмы были покрыты густыми рощами каштановъ, дубовъ и сосенъ. Поля въ изобиліи рождали хлѣбъ. Лѣса были переполнены дичью. Жители были простодушны и миролюбивы. Ближайшій городъ Бриджватеръ лежитъ отъ этой деревни на разстояніи четырехъ миль, и дорога, пролегающая между городомъ и деревней, трудная, гористая, запущенная, такая, по которой никому нѣтъ охоты ѣздить безъ особенной надобности и по которой никуда дальше Спакстона нельзя проѣхать. Словомъ, всѣ требуемыя условія были даны, чтобы сдѣлать изъ окрестностей Спакстона самое удобное мѣсто для основанія тихаго и очаровательнаго убѣжища, въ которомъ самыя смѣлыя эксцентричности могли развертываться свободно, не опасаясь ни вмѣшательства нескромной гласности, ни грубыхъ выходокъ со стороны сосѣдей, ни докучливаго любопытства праздныхъ туристовъ.

Но ни у Принса, ни у его приверженцевъ не было земли въ окрестностяхъ Спакстона, а грѣшники, которымъ эта земля принадлежала, были привязаны къ своей собственности и вовсе не расположены предлагать ее въ даръ Утѣшителю и его святымъ. Землю можно было только купить, и притомъ за очень хорошія деньги. Поэтому прежде всего надо было собрать какъ можно больше денегъ.

Направляясь къ этой цѣли, Принсъ и другіе проповѣдники стали внушать своимъ послѣдователямъ, что, въ виду приближающейся катастрофы, вѣрующіе и святые должны отречься отъ частной собственности, пренебречь всѣми тлѣнными земными благами, продать все свое имущество и сложить вырученныя деньги въ общее казнохранилище, чтобы стяжать себѣ такимъ образомъ неистощимыя сокровища въ открывшемся царствѣ благодати и вѣчной жизни. Подъ вліяніемъ этихъ поученій, въ рядахъ вѣрующихъ обнаружилось движеніе, повидимому совершенно несвойственное нашему разсчетливому и корыстолюбивому вѣку. Ремесленники стали продавать свои рабочіе инструменты, лавочники свой закупленный товаръ, крестьяне свои участки земли. У кого не было никакого имущества, тотъ жертвовалъ корзину яицъ, горшокъ молока или возъ соломы. Деньги стали такимъ образомъ стекаться въ руки Принса каплями и тоненькими ручейками. Вѣрующимъ нечего было заботиться о будущемъ. Становясь вѣрующимъ и святымъ, человѣкъ отказывался навсегда отъ семейной жизни и отъ всѣхъ родственныхъ связей. Съ той минуты, какъ онъ вступилъ въ церковь Принса, для него не существовало ни отца, ни матери, ни жены, ни дѣтей. Всѣ его единовѣрцы, всѣ святые, спасенные вмѣстѣ съ нимъ, были его братьями и сестрами, и всѣхъ ихъ онъ обязанъ былъ любить одинаково во имя той всепоглощающей любви, которую онъ долженъ былъ чувствовать къ Утѣшителю, составляющему живую и видимую связь между всѣми вѣрующими. Чувственная любовь не допускалась въ церкви Принса. Мужъ и жена, вступая въ эту церковь, должны были сдѣлаться другъ для друга братомъ и сестрой. Рожденію дѣтей не были мѣста въ обществѣ святыхъ.

Послѣ искорененія семейныхъ инстинктовъ, вѣрующему оставалась только забота о собственномъ пропитаніи, но и эта забота съ него снималась, когда онъ, продавъ все имущество, со включеніемъ рабочихъ инструментовъ, совершенно безсильный и безпомощный, весь цѣликомъ отдавался Утѣшителю. Тогда онъ получалъ мѣсто за общимъ братскимъ столомъ и ѣлъ и пилъ со всѣми остальными святыми, уповая на Бога и не заботясь о завтрашнемъ днѣ.

Надо впрочемъ сознаться, что здѣсь въ разсказѣ Диксона чувствуется въ значительной степени недостатокъ подробностей. Въ умѣ читателя, сколько-нибудь внимательнаго, возникаютъ вопросы, на которые книга не даетъ отвѣтовъ. Спрашивается, всѣ-ли вѣрующіе, отдавшіе Принсу все свое состояніе, получали право до конца своей жизни ѣсть и пить за братскимъ столомъ? Повидимому тутъ возможенъ только одинъ отвѣтъ: да, всѣ. Потому что, въ самомъ дѣлѣ, кто-же согласится, даже въ виду приближающагося свѣтопреставленія, обрекать себя на голодную смерть ради благосостоянія такой общины, которая не пускаетъ его въ свою среду и даже просто отказываетъ въ кускѣ хлѣба ему, человѣку, добровольно обобравшему и разорившему самого себя? Но, съ другой стороны, Принсу было чрезвычайно невыгодно принимать на свои хлѣба, на неопредѣленно-долгое время, такихъ людей, которые, отдавая ему

все свое состояніе и обнаруживая самую пламенную и несокрушимую вѣру въ его божественность, могли, при всемъ величіи своего самоотверженія, принести ему въ даръ только цѣну своихъ подержанныхъ рабочихъ инструментовъ или съѣстныхъ припасовъ, закупленныхъ для мелочной лавочки. Это было до такой степени невыгодно, что Принсъ, вмѣсто того, чтобы набрать денегъ для пріобрѣтенія помѣстья, рисковалъ разорить и пустить по міру такимъ кормленіемъ всѣхъ своихъ сколько-нибудь состоятельныхъ приверженцевъ. Какимъ образомъ онъ выпутывался изъ этого затруднительнаго положенія, случались-ли столкновенія между его министерствомъ финансовъ и такими неимущими и смышленными вѣрующими, которые были не прочь за корзину яицъ или за бутылку молока купить себѣ готовый столъ и возможность сидѣть сложа руки до конца жизни, и чѣмъ разрѣшались подобныя столкновенія—этого мы отъ Диксона не узнаемъ, хотя разъясненіе этихъ сомнительныхъ пунктовъ въ высшей степени важно для характеристики Принса и его друзей и для опредѣленія той степени искренности, которую они вносили въ свою дѣятельность.

«Принсъ—говоритъ Диксонъ—сдѣлался обширнымъ банкиромъ и повѣреннымъ всѣхъ святыхъ, которыхъ онъ спасъ. Когда ему требовались деньги, онъ посылалъ за ними. «Сестра Дженъ—писалъ онъ—Господу нужно пятьдесятъ фунтовъ. Аминь», и сестра Дженъ посылала ему свой кошелекъ или чекъ. Нѣсколько большихъ и малыхъ суммъ было внесено въ эту сокровищницу Бога. Стерки положилъ тысячу фунтовъ. Джулія, вторая изъ пожилыхъ духовныхъ женъ Принса, предоставила Агнцу свой годовой доходъ въ восемьдесятъ фунтовъ. Готемъ Меберъ и четыре его сестры вложили вмѣстѣ не менѣе десяти тысячъ фунтовъ. Меберъ былъ, само собою разумѣется, однимъ изъ главныхъ свидѣтелей за Принса, и теперь онъ—ангелъ седьмой печати».

Читатель видитъ изъ этой цитаты, что показанія Диксона чрезвычайно сбивчивы. Если сестра Дженъ могла посылать Принсу по пятидесяти фунтовъ, когда Принсъ нуждался въ деньгахъ, то значитъ сестра Дженъ удержала за собой свою частную собственность, и только въ случаѣ надобности дѣлала добровольныя пожертвованія. Если Стерки, котораго Диксонъ называетъ очень состоятельнымъ человѣкомъ, внесъ въ общую кассу только тысячу фунтовъ, то значитъ даже Стерки, ближайшій другъ Принса, не пожертвовалъ всего своего имущества на общее дѣло. Слѣдовательно отреченіе отъ частной собственности не вмѣнялось вѣрующему въ непремѣнную обязанность, а только ставилось ему въ заслугу, когда онъ на него рѣшался въ порывѣ восторженнаго усердія.

Сдержанность и осмотрительность Стерки составляютъ не совсѣмъ понятный и совершенно неразъясненный контрастъ съ тѣмъ одушевленіемъ, подъ вліяніемъ котораго ремесленники продавали свои рабочіе инструменты и лавочники—свой запасъ товаровъ.

Добровольныя пожертвованія не могли доставить Принсу сумму денегъ, достаточную для покупки приличнаго помѣстья. Для наполненія кассы понадобились новыя и экстраординарныя внушенія свыше.

Когда Принсъ былъ викаріемъ въ Стокѣ, онъ познакомился съ однимъ богатымъ старымъ купцомъ, жившимъ по сосѣдству. У этого старика, котораго звали Джозіасъ Ноттиджъ, было пять незамужнихъ дочерей. Младшей изъ этихъ дѣвицъ было около сорока лѣтъ. Всѣ эти дѣвицы увлеклись проповѣдями Принса и увѣровали въ него, между тѣмъ какъ ихъ родители, напротивъ того, отнеслись къ нему съ крайнимъ недовѣріемъ и даже не захотѣли принимать его у себя въ домѣ. Старый Ноттиджъ умеръ въ то время, когда Принсъ, уже потерявъ свое мѣсто въ Стокѣ и отложившись отъ англиканской церкви, проповѣдывалъ въ Брайтонѣ. Каждая изъ пяти дочерей получила на свою долю послѣ смерти отца по шести тысячъ фунтовъ. Три изъ этихъ пяти сестеръ: Гарріетъ, Агнеса и Клара поѣхали въ Брайтонъ и поселились возлѣ той часовни, гдѣ проповѣдывалъ Принсъ. Когда Утѣшитель переѣхалъ въ Уэймаутъ, сестры Ноттиджъ отправились вслѣдъ за нимъ. Въ Уэймаутѣ Принсъ собралъ святыхъ и объявилъ имъ свое намѣреніе переѣхать въ Спакстонъ и основать тамъ жилище любви. Повинуясь Принсу, святые вмѣстѣ съ нимъ тронулись въ путь, и дѣвицы Ноттиджъ конечно не отстали отъ Утѣшителя. Денежныя средства для великаго дѣла еще не были собраны въ достаточномъ количествѣ, но именно во время путешествія Принсу пришла въ голову новая мысль, при содѣйствіи которой построеніе жилища оказалось возможнымъ.

Однажды утромъ въ городѣ Таннонѣ, гдѣ святые остановились отдыхать на нѣсколько дней, Принсъ потребовалъ къ себѣ старшую миссъ Ноттиджъ, Гарріетъ, и въ присутствіи своей жены, Семюэля Стерки и его супруги объявилъ ей, что для исполненія воли Божіей она, Гарріетъ, должна выдти замужъ за Льюиса Прайса. Гарріетъ, краснѣя, согласилась, и Принсъ благосклонно закончилъ аудіенцію, приказавъ до поры до времени держать все сказанное и рѣшенное въ строжайшей тайнѣ.

Вслѣдъ затѣмъ Принсъ послалъ за другой сестрой, Агнесой, и сказалъ ей:

— Агнеса, Богъ посылаетъ вамъ особое благословеніе; но прежде чѣмъ я вамъ скажу, въ чемъ оно состоитъ, вы должны дать мнѣ слово, что окажете повиновеніе Господу и при-

мете его даръ. Агнеса сначала замялась, но потомъ дала требуемое обѣщаніе.

— Въ такомъ случаѣ, сказалъ Принсъ,— вы черезъ нѣсколько дней будете соединены узами брака съ братомъ Томасомъ.

Агнеса застыдилась и стала просить объ отсрочкѣ, говоря, что надо будетъ посовѣтоваться съ родственниками и сдѣлать различныя предварительныя распоряженія.

— Ничего этого не нужно,—возразилъ Принсъ:—вамъ въ этомъ дѣлѣ надо думать не о мірѣ, а о Богѣ.

— А мать моя? отпрашивалась Агнеса.

— Богъ вашъ отецъ и ваша мать, вразумлялъ ее Принсъ.

— Нужно время на переговоры съ юристами, продолжала Агнеса.

— На что вамъ юристъ, милая? спросила мистрисъ Стерки.

— Надо же упрочить положеніе дѣтей, отвѣтила дѣвица, совсѣмъ раскраснѣвшись.

— Дѣтей у васъ не будетъ, порѣшилъ Принсъ.—Вашъ бракъ съ вашимъ братомъ будетъ духовнымъ союзомъ. Ваша любовь къ вашему супругу будетъ чиста и согласна съ волей Господа.

Весь запасъ возраженій оказался истощеннымъ, и Агнеса покорилась.

Въ тотъ-же день Принсъ пригласилъ обѣихъ просватанныхъ сестеръ къ себѣ обѣдать; у него за столомъ опѣ встрѣтились съ Прайсомъ и Томасомъ, и тутъ-же произошла помолвка. Два дня спустя, третья сестра Клара согласилась выдти замужъ за Кобба.

Принсъ не далъ невѣстамъ никакой отсрочки и не позволилъ имъ ни съѣздить домой, ни повидаться и посовѣтоваться съ кѣмъ-либо изъ старыхъ друзей семейства, ни даже написать къ матери о предстоящихъ событіяхъ. Онъ увезъ ихъ въ Уэльсъ, ссылаясь по обыкновенію на волю Верховнаго Существа, и отпраздновалъ всѣ три свадьбы въ одинъ день въ городѣ Суенси.

Нѣсколько дней спустя все имущество Гарріетъ и Клары, двѣнадцать тысячъ фунтовъ, было передано Прайсомъ и Коббомъ въ руки Принса, и Принсъ немедленно купилъ красивый домъ, большой садъ и хорошее помѣстье для новаго *жилища любви*.

Агнеса была умнѣе, смѣлѣе и настойчивѣе своихъ сестеръ. Ей удалось спасти свои деньги отъ той конфискаціи, ради которой были устроены три неожиданныя свадьбы.

III.

Мистрисъ Агнеса Томасъ не хотѣла быть вѣрноподданной Принса и, оградивъ отъ него свои деньги, начала даже стараться о томъ, чтобы отвлечь отъ него своего мужа. Она убѣдила Томаса уѣхать съ ней изъ Уэймаута, гдѣ жилъ Принсъ съ своими святыми, дожидаясь окончанія строительныхъ работъ, предпринятыхъ въ Спакстонскомъ помѣстьѣ. Принсъ сразу отнесся недовѣрчиво къ отсутствію Томаса. «Братъ Томасъ, написалъ онъ къ нему,—я приказываю вамъ встать и явиться въ Уэймаутъ. Аминь». Подчиняясь вліянію своей жены, которую онъ повидимому любилъ, несмотря на ея немолодыя лѣта, Томасъ повиновался Принсу не тотчасъ, а сначала проѣхалъ вмѣстѣ съ женой къ своей матери. Однако благоговѣйная привязанность его къ Утѣшителю скоро одержала верхъ надъ всѣми противоположными побужденіями, и Томасъ пріѣхалъ въ Уэймаутъ также съ женой, которая кажется слѣдовала за нимъ неохотно въ такое мѣсто, гдѣ она за свою умственную гордость и строптивость должна была предвидѣть себѣ строгіе выговоры и крупныя непріятности. Агнесу тотчасъ послѣ ея пріѣзда обвинили въ преступномъ намѣреніи разлучить мужа съ Принсомъ. Святые обоего пола: Стерки, Прайсъ, Коббъ и ихъ жены стали единогласно порицать ея поведеніе. Родныя сестры напали на нее еще сильнѣе всѣхъ остальныхъ присутствующихъ. Принсъ сказалъ ей: «если вы осмѣлитесь внушать вашему супругу, чтобы онъ дѣйствовать наперекоръ моимъ приказаніямъ, то Богъ сокрушитъ васъ и сброситъ прочь съ дороги».

— Агнеса, закончилъ Томасъ,—я приказываю вамъ на будущее время повиноваться духу Божію, котораго велѣнія возвѣщаются мнѣ служителемъ Господа.

Вся эта сцена огорчила Агнесу, но не смирила ея. Узнавъ, что святые стараются привлечь въ *жилище любви* ея младшую сестру Луизу, она сѣла писать къ ней письмо, въ которомъ совѣтовала ей не поддаваться. Это начатое письмо нашли въ ея комнатѣ и представили Принсу, который, разумѣется, не могъ въ своемъ теократическомъ государствѣ допускать уваженіе къ тайнамъ частной корреспонденціи. Агнесѣ еще разъ сдѣлали сильную сцену, и ея мужъ, котораго обыкновенно заставляли въ подобныхъ случаяхъ играть въ отношеніи къ ней роль палача, объявилъ ей съ приличной торжественностью, что она больше не войдетъ въ свой брачный покой, что ей отведена пустая комната и что ея новое возмущеніе противъ служителя Господа погубило ее окончательно и безвозвратно.

Вскорѣ послѣ того святые мужескаго пола уѣхали съ Принсомъ въ Спакстонъ, гдѣ строительныя работы быстро подвигались къ окончанію. Въ Спакстонѣ Принсъ получилъ странное и неожиданное извѣстіе, которое набросило густую тѣнь на добродѣтельную твердость брата Томаса. Принса увѣдомили, что Агнеса, почтенная сорокалѣтняя дама, беременна. Утѣшитель

пришелъ въ ярость. «Это, кричалъ онъ, отъ грѣха. Она нарушила вѣрность, она пала; ее надо исключить и прогнать».

Трудно себѣ представить, чтобы беременность сорокалѣтней Агнесы, любившей своего мужа ревнивой и неосмотрительной любовью, могла дѣйствительно быть результатомъ невѣрности. Гораздо правдоподобнѣе и проще то предположеніе, что ея слабый и безхарактерный мужъ, поддавшись на первыхъ порахъ ея вліянію, согрѣшилъ противъ тѣхъ заповѣдей Принса, по которымъ его бракъ долженъ былъ оставаться духовнымъ союзомъ, а потомъ, снова подчинившись Принсу, выдалъ свою жену головой и сдѣлалъ ее жертвой оскорбительныхъ подозрѣній, чтобы этимъ подвигомъ низости оправдать самого себя или по крайней мѣрѣ вымолить себѣ прощеніе.

Изъ Спакстона Томасъ послалъ своей женѣ приказаніе немедленно укладываться и ѣхать вонъ изъ Уэймаута. Агнеса уже больше не видалась съ своимъ мужемъ; она пріютилась въ домѣ своей матери и тамъ родила сына. Когда мальчику минуло четыре года, Стерки попробовалъ увезти его отъ матери. Значитъ ясно, что сами принсеиты признавали его сыномъ Томаса и не считали Агнесу виновной въ невѣрности. Агнеса не уступила имъ своего ребенка и завела изъ-за него процессъ. Судъ рѣшилъ дѣло въ ея пользу, такъ что мальчикъ остался въ ея рукахъ.

Младшая миссъ Ноттиджъ, Луиза, которой Агнеса хотѣла послать предостереженіе изъ Уэймаута, чувствовала постоянно возрастающее влеченіе къ кружку Принса и, желая ближе ознакомиться съ жизнью и нравами святыхъ, пріѣхала погостить въ ихъ Спакстонское помѣстье. Ея родственники, знавшіе хорошо, куда пошли деньги Гарріетъ и Клары, сдѣлали отчаянное усиліе въ пользу Луизы и ея шести тысячъ фунтовъ. Трое джентльменовъ, всѣ трое родственники миссъ Ноттиджъ, сѣли въ карету, пріѣхали въ Спакстонъ, ворвались въ домъ святыхъ черезъ черный ходъ, внезапно вошли въ комнату Луизы и пригласили ее ѣхать съ ними къ ея матери, которая, по ихъ словамъ, была опасно больна. Луиза отказалась ѣхать. Тогда они схватили ее и потащили за собой насильно. Она стала кричать и барахтаться, но никого изъ мужчинъ по близости не случилось, и родственники увезли ее, несмотря на ея вопли и отчаянное сопротивленіе. По дорогѣ похитители говорили, что везутъ помѣшанную, и всѣ встрѣчавшіеся имъ люди совершенно удовлетворялись этимъ объясненіемъ, и выслушавъ его, не обращали болѣе никакого вниманія на мольбы, жалобы, стоны и бѣшеные порывы увозимой жертвы. Доѣхавъ до Лондона, джентльмены пристроили свою родственницу въ домъ умалишенныхъ, и Луиза высидѣла тамъ взаперти полтора года. Въ Спакстонѣ никто не зналъ, куда ее дѣвали; легко можетъ быть, что она умерла-бы въ сумасшедшемъ домѣ, къ полному удовольствію троихъ джентльменовъ, считавшихъ себя ея ближайшими наслѣдниками, если-бы ей не удалось случайно обмануть сторожей и вырваться на свободу. Очутившись за дверями своей тюрьмы, она немедленно повидалась съ Коббомъ и собралась ѣхать вмѣстѣ съ нимъ въ *жилище любви*, но на платформѣ желѣзной дороги ее узналъ, захватилъ въ плѣнъ и увезъ назадъ въ сумасшедшій домъ одинъ изъ тамошнихъ смотрителей.

Коббъ подалъ прошеніе въ то вѣдомство, отъ котораго зависитъ свидѣтельствованіе сумасшедшихъ. Луизу освидѣтельствовали, признали здоровой и выпустили на волю. Она тотчасъ поѣхала въ Спакстонъ, передала Принсу въ полную собственность все свое имущество, съ соблюденіемъ всѣхъ юридическихъ формальностей, поселилась въ *жилищѣ любви* и прожила тамъ спокойно и счастливо до самой своей смерти.

Разсматривая поступки Принса въ отношеніи къ дѣвицамъ Ноттиджъ и сопоставляя ту конечную цѣль, къ которой онъ стремился, съ тѣми средствами, которыя онъ пускалъ въ ходъ, читатель, по всей вѣроятности, уже давно пришелъ къ тому заключенію, что Принсъ просто ловкій и дерзкій шарлатанъ, увлекающій легковѣрныхъ и впечатлительныхъ мужчинъ и женщинъ потоками туманнаго краснорѣчія, котораго безсодержательность превосходно извѣстна ему, Принсу, и которое все клонится исключительно къ тому, чтобы ораторъ могъ спокойно и безбѣдно прожить жизнь на счетъ своихъ обманутыхъ, ослѣпленныхъ и пагло-обобранныхъ жертвъ. Такое заключеніе очень соблазнительно по своей простотѣ. Оно представляется прежде всякихъ другихъ толкованій, когда человѣкъ, смѣло и безпристрастно добивающійся истины, какова-бы она ни была, приступаетъ къ изученію того разряда явленій, къ которому относится дѣятельность Принса. Къ этому простому заключенію приходили и на немъ останавливались всѣ французскіе философы прошлаго столѣтія, когда они старались отдать себѣ отчетъ въ томъ, какъ возникали и упрочивали свое господство надъ человѣческими умами религіозныя ученія далекаго прошедшаго. Недостаточность этого взгляда и невозможность объяснить удачнымъ поповскимъ обманомъ великія религіозныя движенія, потрясавшія цѣлыя части свѣта, теперь уже не подвергаются сомнѣнію.

Всякій человѣкъ, имѣющій сколько-нибудь здравыя понятія о всемірной исторіи и о ея двигательныхъ силахъ, знаетъ очень хорошо, что ни Будда, ни Магометъ, ни Лойола, ни Лютеръ, ни Кальвинъ, ни другіе основатели и преобразователи религій никогда не были мелкими обманщиками, эксплоатирующими легко-

вѣріе своихъ послѣдователей. Но чѣмъ ближе къ намъ стоитъ дѣятель, относящійся къ тойже категоріи, чѣмъ отчетливѣе мы можемъ разсмотрѣть границы его вліянія, чѣмъ менѣе его образъ теряется въ туманѣ прошедшаго, чѣмъ новѣе и буржуазнѣе покрой его платья, чѣмъ яснѣе мы различаемъ на этомъ платьѣ пятна и прорѣхи, за уничтоженіе которыхъ надо платить извѣстное количество хорошо извѣстныхъ намъ монетъ, чѣмъ короче мы можемъ познакомиться съ обѣдами и завтраками дѣятеля и съ цѣной каждаго блюда, появлявшагося на его столѣ, тѣмъ труднѣе намъ подавить въ себѣ то подозрѣніе, лестное для нашихъ собственныхъ человѣческихъ слабостей, что поступками дѣятеля управляли не идеи, въ вѣрности которыхъ онъ былъ чистосердечно и глубоко убѣжденъ, а именно пятна, которыя надо было выводить, прорѣхи, которыя слѣдовало зашивать, говядина, телятина и горошекъ, за которыми необходимо было посылать на рынокъ.

Въ отношеніи къ Принсу отъ такого подозрѣнія почти невозможно воздержаться. Многимъ читателямъ будетъ даже очень трудно предохранить себя отъ того, чтобы это подозрѣніе не разрослось въ совершенную увѣренность. Въ самомъ дѣлѣ, факты повидимому ясны, какъ день. Чего хотѣлъ Принсъ? Хотѣлъ купить себѣ домъ съ садомъ и помѣстьемъ. А что онъ для этого сдѣлалъ? Обморочилъ трехъ старыхъ дѣвъ и выманилъ у нихъ все ихъ состояніе. Кажется, просто и понятно. Гдѣ-же тутъ остается мѣсто для сомнѣній?

Можно-ли однако въ самомъ дѣлѣ себѣ представить, чтобы человѣкъ, желающій купить себѣ домъ и готовый для этого пустить въ ходъ всякія средства, честныя и безчестныя, лишь-бы только они были дѣйствительны, составилъ себѣ слѣдующій планъ: пойду я въ такой-то залъ, зазову туда толпу слушателей, скажу имъ высокимъ и туманнымъ слогомъ, что я Богъ, увѣрю ихъ, что мнѣ непремѣнно надо жить въ большомъ домѣ съ садомъ, и попрошу у нихъ денегъ. Они мнѣ сейчасъ повѣрятъ и дадутъ денегъ, и дадутъ не по шиллингу съ человѣка, а дадутъ по нѣскольку тысячъ фунтовъ, такъ-что я сдѣлаюсь богатымъ человѣкомъ и куплю себѣ домъ, садъ и помѣстье.

Такой планъ немыслимъ, и немыслимъ именно со стороны ловкаго шарлатана. Такой планъ такъ очевидно, такъ отчаянно нелѣпъ, такой прямой дорогой ведетъ своего автора въ домъ умалишенныхъ и представляетъ такъ ужасно мало шансовъ успѣха, что его не можетъ придумать и на немъ не можетъ серьезно остановиться ни на минуту тотъ умный и смѣлый фокусникъ, которому счастливыя дарованія и крѣпкіе нервы давали-бы возможность разыграть блистательнымъ образомъ, въ присутствіи многочисленной аудиторіи, трудную роль вдохновеннаго пророка Кто можетъ выполнить этотъ планъ, тотъ не можетъ его задумать. Значитъ то, что сдѣлалъ Принсъ, можетъ сдѣлаться только само собой, только тогда, когда во всемъ рядѣ поступковъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ и вытекающихъ одинъ изъ другого, нѣтъ ничего задуманнаго, разсчитаннаго и предусмотрѣннаго.

Здѣсь надо также обратить вниманіе и на то обстоятельство, что Принсъ дѣйствовалъ на своихъ слушателей исключительно силой проповѣди и тѣмъ общимъ впечатлѣніемъ, которое производила вся его личность. Онъ не дѣлалъ никакихъ чудесъ, не распускалъ никакихъ слуховъ о сдѣланныхъ чудесахъ и не подстроивалъ никакихъ сценическихъ эффектовъ Онъ говорилъ просто: вѣрьте мнѣ, потому что вы должны мнѣ вѣрить; вѣрьте мнѣ, потому что я сдѣлался Богомъ; если повѣрите—будете спасены; если не повѣрите — погибнете. Онъ вызывалъ на бой невѣріе и насмѣшку, не имѣя въ рукахъ, для борьбы съ ними, никакого спеціальнаго оружія, никакого изумительнаго фокуса, ничего, кромѣ своего собственнаго упорнаго, глубокаго и дикаго убѣжденія. Шарлатаны такъ не дѣлаютъ.

Если Принсъ не шарлатанъ, то къ какому-же разряду людей слѣдуетъ его отнести?

Прежде, чѣмъ я попробую отвѣтить на этотъ вопросъ, я попрошу читателя припомнить, какъ одинъ изъ величайшихъ мыслителей нашего времени, одинъ изъ самыхъ сильныхъ, обширныхъ, глубокихъ и обработанныхъ умовъ нынѣшняго столѣтія, медленно, шагъ за шагомъ, безъ рѣзкихъ скачковъ и внезапныхъ поворотовъ, пришелъ къ тому, что провозгласилъ себя первосвященникомъ человѣчества, придумалъ цѣлый рядъ религіозныхъ празднествъ, молитвъ и обрядовъ, сталъ разсылать къ своимъ друзьямъ и знакомымъ, вмѣсто писемъ и записокъ, повелительныя breve и даже написалъ къ императору Николаю I письмо, въ которомъ приглашалъ его обратиться къ новой религіи и содѣйствовать ея распространенію. Когда творецъ положительной философіи, Огюстъ Контъ, предавался этимъ занятіямъ, онъ принималъ денежные подарки и пенсіи отъ знакомыхъ и незнакомыхъ людей, преклонявшихся передъ его прежними великими трудами: онъ находилъ совершенно естественнымъ, чтобы въ его пользу составлялись подписки; онъ даже настоятельно требовалъ такихъ подписокъ и публично, торжественно, печатно благодарилъ жертвователей, какъ людей, хорошо исполнившихъ свою обязанность.

Въ виду этихъ странныхъ и печальныхъ фактовъ, которые очень легко могутъ быть разсказаны игриво-насмѣшливымъ или презрительнымъ тономъ, ни одному благоразумному человѣку не придетъ однако въ голову нелѣ-

пая и дрянная мысль предположить въ Огюстѣ Контѣ побужденія шарлатана, желающаго пожить сложа руки на счетъ обмороченныхъ простаковъ. Контъ оставался постоянно глубокоискреннимъ человѣкомъ; онъ постоянно хотѣлъ служить и служилъ только своей идеѣ; онъ не примѣшивалъ сознательно къ этому служенію никакихъ мелкихъ своекорыстныхъ видовъ и разсчетовъ. Любя свою идею, онъ измѣрялъ самого себя тѣми услугами, которыя онъ ей оказалъ; при этомъ способѣ измѣренія онъ находилъ совершенно справедливо, что сдѣлалъ много великаго и прекраснаго; созерцая величіе и красоту своихъ умственныхъ подвиговъ съ совершенно естественной и законной гордостью, упиваясь нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ этимъ обаятельнымъ созерцаніемъ, онъ дошелъ шагъ за шагомъ, постепенно и незамѣтно, до самаго простодушнаго и добросовѣстнаго обоготворенія собственной личности. Слово *обоготвореніе* надо тутъ понимать не въ переносномъ, не въ приблизительномъ, а въ самомъ точномъ и строгомъ буквальномъ смыслѣ. Контъ совершенно упустилъ изъ виду то соображеніе, что онъ можетъ ошибаться, что его мысли могутъ быть предположеніями, которыя ничто не соотвѣтствуетъ въ дѣйствительности, что его проекты могутъ оказаться неисполнимыми или что ихъ исполненіе можетъ принести человѣчеству больше вреда, чѣмъ пользы. Контъ, конечно не отдавая себѣ яснаго отчета, приписалъ себѣ мудрость, благость и всемогущество—три важнѣйшіе атрибута Верховнаго Существа. Все, что онъ думалъ, было по его мнѣнію, безусловно истинно. Все, что онъ рѣшалъ, было справедливо, хорошо и полезно. Все, что онъ говорилъ или писалъ, должно было, въ силу своей абсолютной разумности, сдѣлаться, для блага человѣчества, общепринятымъ и общеобязательнымъ закономъ. Если-бы все это было дѣйствительно такъ, какъ воображалъ себѣ Контъ, если-бы онъ дѣйствительно былъ не только основателемъ положительной философіи, но и существомъ абсолютно мудрымъ, благимъ и всемогущимъ, или, другими словами, если-бы люди его времени могли признать его такимъ существомъ, то ни его первосвященничество, ни его письмо къ императору Николаю, ни пенсіи и денежные подарки никому не стали-бы казаться ни странными, ни предосудительными. Допустивъ только законность обоготворенія, мы допускаемъ законность всѣхъ остальныхъ своеобразностей его поведенія. Точно такъ-же, признавъ искренность этого обоготворенія, мы признаемъ искренность всѣхъ затѣй, которыя изъ него вытекли, какъ-бы ни были эти затѣи похожи съ перваго взгляда на мелкія продѣлки шарлатана, эксплоатирующаго довѣрчивость ближнихъ.

Контъ и Принсъ конечно совершенно не похожи другъ на друга. Первый—великій мыслитель, одно изъ свѣтилъ человѣчества; второй—жалкій и вредный мечтатель, способный только увеличить своей дѣятельностью массу гибельныхъ человѣческихъ заблужденій. Однако-же, при всемъ крайнемъ несходствѣ двухъ личностей, къ нимъ можетъ и должна быть приложена одна и та-же мѣрка съ той стороны, съ которой я разсматриваю ихъ теперь. Если Контъ могъ дойти до искренняго обоготворенія собственной личности и до всѣхъ нелѣпостей, вытекающихъ изъ этого основного абсурда, то для Принса этотъ искренній переходъ въ міръ вопіющей безсмыслицы представлялъ еще гораздо меньше затрудненій. Контъ, воспитанный съ ранней молодости въ строгой школѣ положительной науки, былъ расположенъ къ трезвому взгляду на міръ и на самого себя; онъ зналъ границы человѣческаго ума; онъ чуть не на каждой страницѣ своей положительной философіи напоминаетъ читателю о крайней слабости нашихъ познавательныхъ способностей; у него, стало быть, въ рукахъ и подъ руками было все, что можетъ предохранить человѣка отъ уродливыхъ крайностей самообожанія; и однако-же это все не помѣшало ему упиться до самозабвенія умственнымъ величіемъ собственной личности и растерять во время опьяненія все, что составляло собой это умственное величіе.

Принсъ, напротивъ того, всѣмъ своимъ воспитаніемъ былъ какъ-будто нарочно подготовленъ ко всевозможнымъ заблужденіямъ. Онъ съ ранняго дѣтства мечталъ и сантиментальничалъ со старой замолившейся и зачитавшейся дѣвой. Онъ прикоснулся къ положительной наукѣ, или точнѣе къ ремеслу, основанному на положительной наукѣ, какъ разъ на столько, на сколько это было нужно, чтобы дать ему почувствовать непригодность его ума къ научнымъ занятіямъ и чтобы дать ему поводъ относиться съ высокомѣрнымъ и сострадательнымъ презрѣніемъ къ положительному знанію, какъ къ такому дѣлу, котораго тщету и неудовлетворительность онъ достаточно извѣдалъ. Онъ сошелся съ кучкой молодыхъ мечтателей и сталъ вмѣстѣ съ ними горячить свое воображеніе «Пѣснью пѣсней» и твореніями старыхъ нѣмецкихъ мистиковъ. Онъ пропиталъ себя до мозга костей такимъ міросозерцаніемъ, которое не знаетъ границъ человѣческимъ силамъ, не имѣетъ понятія о незыблемыхъ естественныхъ законахъ и признаетъ за человѣкомъ способность возвыситься чистотой жизни и помысловъ до безконечнаго совершенства. Онъ расшаталъ всю свою нервную систему порывами платонической страсти къ старухѣ, такой страсти, для которой не могло быть нормальнаго исхода и которая одна, сама по себѣ, способна была довести здороваго человѣка до изступленія и до

помѣшательства. Наконецъ онъ выступилъ на такое поприще, гдѣ ему, чтобы дѣйствовать на воображеніе окружающихъ людей, надо было постоянно сочинять яркія картины, то-есть постоянно работать воображеніемъ, постоянно поддерживать и развивать въ себѣ состояніе восторженнаго опьяненія.

Чтобы увѣровать въ самого себя, какъ въ Бога, Конту надо было дѣйствительно совершить въ области мысли много великаго, и у Конта, при его образованіи, была въ рукахъ неизмѣнная мѣрка для оцѣнки и измѣренія своихъ собственныхъ умственныхъ подвиговъ. Контъ могъ подвергать самого себя справедливой и даже строгой критикѣ. Принсъ, напротивъ того, не могъ требовать отъ своей дѣятельности никакихъ осязательныхъ плодовъ. Ея плоды должны были созрѣвать не на землѣ, а на небѣ. О достоинствѣ этихъ плодовъ не могли судить ослѣпленные грѣшники. Что̀ по ихъ мнѣнію было безуміемъ, то могло оказаться въ лучшемъ мірѣ чистѣйшей мудростью. Что̀ въ ихъ глазахъ было безнравственностью, въ томъ существа болѣе разумныя могли увидѣть задатки и проявленія высшей добродѣтели. Самая существенная, самая основная и важная часть дѣятельности Принса состояла въ томъ, чтобы расположить извѣстнымъ образомъ отношенія своего сознанія и своей воли къ своимъ собственнымъ инстинктамъ, влеченіямъ и страстямъ. Это была работа внутренней ломки и перестройки, работа, по самой сущности своей, недопускавшая никакой провѣрки, работа, за которой никто не могъ слѣдить со стороны. Хорошъ-ли, вѣренъ-ли, разуменъ-ли тотъ планъ, по которому Принсъ хотѣлъ расположить эти отношенія,—объ этомъ никто не могъ судить, и въ этомъ вопросѣ Принсъ не призналъ-бы компетентнымъ судьей никого, кромѣ своей собственной совѣсти.

Успѣшно-ли подвигается внутренняя работа, насколько близко она подвинулась къ цѣли, насколько подробности выполненія соотвѣтствуютъ рисунку составленнаго плана—это опять такіе вопросы, которые могъ и долженъ былъ рѣшать безапелляціонно самъ Принсъ, и одинъ Принсъ, безъ всякихъ ассистентовъ и присяжныхъ. Но это еще не все. По мѣрѣ того, какъ подвигалась впередъ эта внутренняя работа, самъ Принсъ все больше долженъ былъ утрачивать способность контролировать ее, то-есть сличать спокойно то, что̀ предположено было сдѣлать, съ тѣмъ, что̀ дѣйствительно сдѣлано. Внутренняя работа состояла въ насильственномъ искорененіи, порабощеніи и извращеніи естественныхъ наклонностей и стремленій. Но въ человѣческомъ организмѣ всѣ отправленія такъ тѣсно связаны и переплетены между собой, что такія энергическія операціи, произведенныя надъ естественными инстинктами и влеченіями, не могутъ остаться безъ сильнаго вліянія на ту способность, которая направляетъ и контролируетъ эти операціи.

Умственныя способности Принса, на которыя Принсъ вовсе не хотѣлъ дѣйствовать, должны были искажаться и вырождаться вмѣстѣ съ тѣми инстинктами, которые онъ старался переработать. Искаженный и ослабленный умъ не могъ постоянно имѣть въ виду одинъ незыблемый идеалъ и во имя этого идеала произносить ясно и отчетливо мотивированный приговоръ надъ производящейся внутренней работой. Отчетливость и сознательность во взглядѣ Принса на эту работу, отъ успѣха которой зависѣло его мнѣніе о собственной личности, скоро должны были сдѣлаться невозможными. Ясное сужденіе о томъ, хорошо или дурно, быстро или медленно подвигается впередъ эта работа, скоро должно было уступить мѣсто смутному, непосредственному ощущенію ея успѣшности или неуспѣшности, ощущенію, зависѣвшему отъ того, насколько Принсъ чувствовалъ себя утомленнымъ, измученнымъ и изломаннымъ. Это чувство усталости, измученности и изломанности Принсъ ставилъ себѣ въ заслугу. «Я — говорилъ онъ самодовольно, описывая свое превращеніе въ божество — умираю ежедневно. Моя внутренняя жизнь подвергается постепенному разрушенію». Когда это чувство дошло до своего *максимума*, когда организмъ ослабѣлъ на столько, что пересталъ обнаруживать какія-бы то ни было энергическія влеченія, и когда, вмѣстѣ съ тѣмъ, притупленный умъ потерялъ способность анализировать душевныя движенія и открывать въ нихъ неистребимое зерно эгоизма, свойственнаго всему живому,—тогда самодовольство Принса разрослось до такихъ размѣровъ, что онъ съ полнымъ убѣжденіемъ провозгласилъ себя божествомъ.

Тутъ произошелъ крутой поворотъ въ отношеніяхъ Принса къ своимъ инстинктамъ и влеченіямъ. То, что̀ раньше превращенія было достойно самаго строгаго осужденія и самаго неумолимаго преслѣдованія, — то послѣ совершившагося превращенія сдѣлалось предметомъ благоговѣйнаго культа. Пока Принсъ былъ человѣкомъ, онъ боролся съ самимъ собой; когда же онъ сдѣлался богомъ, тогда онъ, разъ навсегда помирившись съ собственной личностью, сталъ заботливо лелѣять и развивать въ себѣ неистребимые остатки тѣхъ самыхъ человѣческихъ слабостей и влеченій, которыхъ долговременное и систематическое подавленіе дало ему возможность возвыситься до сознанія своей божественности. Если-бы, оставаясь человѣкомъ, Принсъ почувствовалъ влеченіе къ хорошо меблированнымъ комнатамъ большого дома и къ тѣнистымъ аллеямъ обширнаго сада, то онъ завязалъ-бы съ этимъ влеченіемъ упорную, истре-

бительную войну. Но когда, сдѣлавшись богомъ, Принсъ почувствовалъ, что роскошная мебель, большія комнаты, живописное мѣстоположеніе, хорошій столъ могутъ доставить ему пріятныя ощущенія, тогда онъ съ полнымъ спокойствіемъ совѣсти потянулся ко всѣмъ этимъ земнымъ удобствамъ и безъ всякихъ нравственныхъ колебаній воспользовался тѣми средствами, которыя находились у него подъ руками и могли привести его къ цѣли.

Поселившись въ роскошномъ *жилищѣ любви*, избавившись навсегда отъ докучливыхъ матеріальныхъ заботъ, оградивъ себя отъ изнурительной борьбы съ самимъ собой установившимся сознаніемъ своей божественности, Принсъ, подъ вліяніемъ сытой, спокойной и правильной жизни, поздоровѣлъ, окрѣпъ и привелъ въ порядокъ свою нервную систему, такъ-что наконецъ почувствовалъ и для себя возможность той грубой чувственной любви, которую онъ отрицалъ, проклиналъ и преслѣдовалъ во время своего стремленія къ сверхъестественному совершенству и во время своего увлеченія старой дѣвой, Мартой Фриманъ. Продолжая несокрушимо вѣровать въ свою божественность, Принсъ, разумѣется, отнесся къ этому пробужденію чувственности спокойно, почтительно и нѣжно, какъ онъ, со времени своего апооѳоза, относился ко всѣмъ своимъ желаніямъ и влеченіямъ. Разъ, какъ въ немъ проявилась чувственность, значитъ она хороша, чиста и свята, значитъ ей должно быть отведено почетное мѣсто въ новомъ, слагающемся благодатномъ порядкѣ міра, значитъ надо оправданіемъ и освященіемъ чувственности дополнить и завершить откровеніе, данное святымъ обитателямъ спакстонскаго жилища.

Принсъ рѣшилъ, что восемнадцать столѣтій тому назадъ дѣло дьявола было уничтожено въ духѣ, и что теперь наступило время убить его господство надъ тѣломъ. Эта новая и послѣдняя фаза искупленія должна была совершиться путемъ особаго таинственнаго акта въ спакстонскомъ жилищѣ любви.

Этотъ таинственный актъ и его торжественное совершеніе говорятъ особенно громко и выразительно, какъ мы сейчасъ увидимъ ниже, въ пользу моего взгляда на личность и дѣятельность Принса. Придумать и совершить такое дикое, скандальное и ни на что ненужное дѣло могъ только фанатикъ, домечтавшійся до помѣшательства и заразившій своей мономаніей всѣхъ окружающихъ, а ужъ никакъ не искусный, дерзкій и корыстолюбивый шарлатанъ.

Въ числѣ святыхъ, переселившихся вмѣстѣ съ Принсомъ изъ Уэймаута въ Спакстонъ, была одна молодая вдова, мистрисъ Патерсонъ, съ дочерью, очень хорошенькой дѣвочкой, уже на возрастѣ. Вскорѣ послѣ переселенія мать умерла, а дѣвочка осталась въ жилищѣ любви, круглой сиротой и общей любимицей. Она выросла, сформировалась, и красота ея развернулась во всемъ своемъ блескѣ.

Въ это время, когда миссъ Патерсонъ была уже цвѣтущей красавицей, Принсъ особенно живо сталъ чувствовать недостаточность прежняго откровенія и безотлагательную необходимость произвести окончательное и торжественное примиреніе тѣла съ божествомъ. Принсъ объявилъ братьямъ и сестрамъ, что приблизилось время великихъ событій, что онъ, по волѣ Бога, долженъ скоро сдѣлать дѣву своей женой, какъ женихъ вступаетъ въ бракъ съ невѣстой, не въ страхѣ и стыдѣ, не въ тайномъ мѣстѣ и при затворенныхъ дверяхъ, а открыто, при полуденномъ свѣтѣ, въ присутствіи всѣхъ святыхъ мужескаго и женскаго пола, не совѣтуясь о своемъ выборѣ ни съ кѣмъ, кромѣ самого себя, не спрашиваясь ничьего согласія и всего менѣе согласія той, которая окажется избранницей.

Братья и сестры выслушали Принса въ благоговѣйномъ недоумѣніи и стали ожидать обѣщанныхъ великихъ событій, не составляя себѣ еще о нихъ никакого опредѣленнаго понятія. Наступило, какъ говорила Диксону сестра Эллепъ, очень нѣжное и торжественное время. Святые читали, молились и пѣли; никто не зналъ, кому достанется великій санъ мистической невѣсты. Всѣ дѣвы, находящіяся въ жилищѣ любви, молодыя и старыя, красивыя и некрасивыя, держали себя въ трепетной готовности, не зная ни дня, ни часа, когда придетъ желанный женихъ.

Наконецъ Принсъ назначилъ день для таинственной церемоніи. Братья и сестры собрались изъ своихъ отдѣльныхъ комнатъ въ роскошный залъ, считавшійся ихъ церковью. Принсъ произнесъ имъ вдохновенную рѣчь о предстоящемъ искупленіи тѣла, съ которымъ духъ долженъ примириться и сочетаться торжественнымъ бракомъ. Затѣмъ онъ подошелъ къ миссъ Патерсонъ, взялъ ее за руку, далъ ей брачный поцѣлуй и объявилъ, что его связь съ ней будетъ знаменіемъ любви Бога къ тѣлу.

Далѣе произошло то, чему трудно найти подобіе въ длинной лѣтописи человѣческихъ заблужденій, нелѣпостей, увлеченій и безумій. Принсъ сдѣлалъ миссъ Патерсонъ своей женой тутъ-же, на мѣстѣ, среди бѣлаго дня, въ присутствіи нѣсколькихъ десятковъ мужчинъ и женщинъ, продолжавшихъ умиляться и благоговѣть. Въ числѣ присутствовавшихъ и благоговѣвшихъ находились жена Принса и ея братъ Стерки. Ихъ вѣра нисколько не поколебалась. Героиня торжества, «новая Мадонна», какъ называетъ ее Диксонъ, кротко и безропотно покорилась своей неслыханной участи.

Нѣкоторые изъ свидѣтелей церемоніи смутились однако и почувствовали сомнѣніе. Въ жи-

лищѣ любви послышались возгласы ужаса и негодованія. Начались толки, грозившіе повести за собой отпаденіе смущенныхъ и усомнившихся адептовъ. Эти толки усилились въ особенности тогда, когда Мадонна Патерсонъ забеременѣла, какъ самая обыкновенная женщина, и родила въ должное время дочь. Рожденіе ребенка оказалось для Принса громовымъ ударомъ. Оно доказало ему, что законы природы не отмѣнены и не пріостановлены для святыхъ обитателей спакстонскаго жилища. Оно на минуту колыхнуло всѣ его теоріи о томъ, что его тѣлесная жизнь окончена, и что въ немъ живетъ и дѣйствуетъ Божество. Пораженный неумолимымъ дѣйствіемъ естественнаго закона, онъ нѣсколько времени не зналъ, что думать о самомъ себѣ и о своей дѣятельности, которая шагъ за шагомъ привела его изъ лемпитерской теологической школы въ спакстонское жилище любви. Ему, воплощенію божества, было невыносимо горько и тяжело, какъ простому смертному, принужденному въ раздумьѣ и въ тревогѣ, со стыдомъ и съ досадой, созерцать результаты надѣланныхъ ошибокъ.

«Вы-бы стали плакать за него кровавыми слезами», говорила сестра Элленъ Диксону, «если-бы вы видѣли, какъ сильно онъ страдалъ. Онъ страдаетъ такъ глубоко, и еще принужденъ нести бремя за насъ всѣхъ».

Но Принсъ зашелъ уже слишкомъ далеко, чтобы ему было возможно, подъ вліяніемъ какихъ-бы то ни было испытаній, поворотить назадъ, отречься отъ своего прошедшаго и предать проклятію свои обаятельныя заблужденія, изъ которыхъ была составлена вся его внутренняя жизнь. Въ томъ мірѣ туманныхъ и произвольныхъ гаданій, въ которомъ виталъ умъ Принса, человѣкъ при нѣкоторой гибкости и наметанности ума и воображенія можетъ доказать себѣ все, что только ему желательно, и подобрать для какихъ-бы то ни было осязательныхъ фактовъ самое удовлетворительное и пріятное объясненіе. Ребенокъ Мадонны Патерсонъ не могъ оказаться непреодолимымъ препятствіемъ, гибельнымъ для всего теологическаго эшафодажа, построеннаго Принсомъ. Достаточно потерзавшись сомнѣніями и тревогами, Принсъ, къ полному удовольствію своихъ святыхъ, рѣшилъ, что все это огорченіе, посѣтившее его обитель, было его послѣдней битвой съ дьяволомъ, и что несчастный ребенокъ, родившійся такъ некстати, былъ послѣднимъ прощальнымъ даромъ побѣжденнаго и низложеннаго врага.

Впрочемъ не всѣ святые остались довольны случившимся. Нѣкоторые братья отпали отъ Принса и удалились изъ жилища любви. Особенно чувствительно было удаленіе Льюиса Прайса, который увезъ съ собою свою жену Гарріетъ, урожденную Ноттиджъ, и ея шесть тысячъ фунтовъ.

Переживъ эти волненія и раздоры, Принсъ сдвинулъ тѣснѣе ряды своей духовной арміи и произвелъ своихъ непоколебимо вѣрующихъ сподвижниковъ въ тѣ высокіе чины, которые на всю вѣчность должны были оставаться ихъ неотъемлемымъ достояніемъ въ новомъ небѣ и на новой землѣ. Томасъ и Стерки были провозглашены первымъ и вторымъ помазанниками. Маберъ — Ангеломъ Послѣдней Трубы. Семь святыхъ, которыхъ имена перечислять безполезно, названы семью свидѣтелями, вѣщающими послѣ звука седьмой трубы.

Всѣ эти сановники спакстонскаго неба вступили немедленно въ отправленіе своихъ обязанностей. Помазанники прочитали дюжину поученій о тайнахъ семи звѣздъ и семи свѣтильниковъ. Маберъ затрубилъ въ свою трубу и произнесъ слѣдующую декларацію:

«Я объявляю, что Богъ призвалъ брата Принса къ славѣ Іисуса Христа на землѣ, и что тайну Господа составляетъ здѣсь оживленіе его смертнаго тѣла святымъ духомъ, какъ печать и вершина выполненія евангелія въ немъ: я объявляю также, что Іисусъ Христосъ призналъ дѣло своего собственнаго духа въ братѣ Принсѣ, когда онъ принялъ тѣло и пострадалъ чистый за нечистаго, поднявъ его, человѣка, котораго имя «Вѣтвь», одесную своей славы и давъ ему духъ славы».

Что понялъ изъ своей декларації самъ Ангелъ Послѣдней Трубы и что поняли изъ нея его благоговѣющіе слушатели—объ этомъ у Диксона свѣдѣній не имѣется.

Послѣ Мабера каждый изъ семи свидѣтелей проговорилъ въ свою очередь:

«Я свидѣтель, что въ познаніи Іисуса Христа, какъ Сына человѣческаго, заключается полное искупленіе духа, души и тѣла отъ проклятія паденія; и чтобы вы могли знать эту тайну божію, которая въ другіе вѣка, при другихъ завѣтахъ, не была извѣстна сынамъ человѣческимъ, какъ она теперь возвѣщена въ братѣ Принсѣ, я посылаю вамъ это откровеніе о человѣкѣ Христѣ Іисусѣ, какъ о воплощенномъ словѣ, какъ оно было дано мнѣ».

Когда эта фраза прозвучала въ жилищѣ любви въ седьмой и въ послѣдній разъ, тогда святые почислили всѣ дѣла свои благополучно оконченными и стали жить со дня на день безъ заботъ, безъ дѣятельности, безъ желаній и опасеній, безъ горя и радости, безъ цѣли и безъ плана.

— Что вы дѣлали съ тѣхъ поръ, какъ прозвучали эти трубы и были произнесены эти свидѣтельства? спросилъ Диксонъ у Семюэля Стерки.

— Не много, отвѣтилъ онъ, по крайней мѣ-

рѣ не много такого, что̀ вы признали бы работой. Въ 62 году мы сдѣлали наше послѣднее воззваніе; мы послали черезъ иностранныя посольства письма, каждое на ихъ собственномъ языкѣ, къ царямъ и народамъ земли, объявляя всѣмъ людямъ, что тѣло спасено отъ смерти. Если люди не хотятъ насъ слушать, что-жъ намъ дѣлать?

— Вы учите?

— Нѣтъ.

— Проповѣдуете?

— Нѣтъ.

— Пишете?

— Нѣтъ.

— Читаете?

— Мало.

— Хозяйничаете?

— Нѣтъ.

— Кормите бѣдныхъ?

— Нѣтъ.

— Высылаете миссіи?

— Нѣтъ.

— Какъ вы проводите время?

— У насъ нѣтъ времени.

— Вы встаете на разсвѣтѣ, вы ложитесь спать, когда стемнѣетъ. Какъ вы употребляете промежутки?

— Мы ѣдимъ и пьемъ, мы разъѣзжаемъ, мы сравниваемъ наши испытанія, мы переписываемся съ нашими братьями.

— Много у васъ братьевъ, которые принадлежатъ къ вашему обществу, но не живутъ въ жилищѣ?

— Да, много. Иные въ Уэймаутѣ, иные въ Брайтонѣ, кое-кто въ Сеффолькѣ и въ другихъ мѣстахъ; благочестивыя женщины и проповѣдники въ церкви—всего, быть можетъ, сотенъ шесть, многіе изъ духовнаго званія; но многіе связаны съ нами по духу, хотя и не носятъ нашего имени.

— Они живутъ по-вашему?

— Да. Такъ дѣлаютъ истинно призванные. Они живутъ, какъ дѣвы; любовь дьявола выброшена вонъ изъ нихъ силою Бога.

— Вы не ищете другой дѣятельности?

— Мы ожидаемъ Бога. Не намъ торопить Его шаги. Въ Его урочное время конецъ придетъ.

— И это все? спрашиваетъ Диксонъ, приведя этотъ разговоръ съ однимъ изъ помазанниковъ. Какой урокъ для гордости благочестія и учености! Дюжина пылкихъ клириковъ, одержимыхъ страстью спасать души, способныхъ поражать силой и убѣждать ласковой мягкостью краснорѣчія, выдержавъ нѣсколько столкновеній съ міромъ, убѣгаютъ съ своихъ постовъ, запираются въ саду, фантазируютъ и мечтаютъ, окружаютъ себя прелестными женщинами, кушаютъ роскошные обѣды, утверждая, что страсти умерли, и ожидая, среди нѣги и праздности, что весь міръ подвергнется вѣчному проклятію!

И это все?

Нѣтъ. Это не все. Въ ожиданіи этого приговора достопочтенные джентльмены поигрываютъ на билліардѣ въ томъ мѣстѣ, которое прежде было ихъ церковью».

IV.

Диксонъ побывалъ въ жилищѣ любви очень недавно, уже послѣ своего возвращенія изъ Америки, отъ мормоновъ и шэкеровъ, то-есть или въ 1866, или въ 1867 году. Онъ видѣлъ самъ, своими умными, пытливыми и внимательными глазами, всѣхъ главныхъ актеровъ и декораціи тѣхъ странныхъ сценъ, которыя были разсказаны на предыдущихъ страницахъ. Сообщаемыя имъ подробности, списанныя съ натуры, составляютъ быть можетъ самую яркую и занимательную часть его книги. Этими подробностями я и закончу теперь мою статью.

Въ живописной долинѣ лежитъ прихотливо разбросанная группа строеній: церковь съ недодѣланнымъ шпицемъ; садъ, густо усаженный развѣсистыми деревьями и цвѣтущими кустами; оранжерея, переполненная растеніями, обширный лугъ, перерѣзанный извилистыми тропинками; рядъ красивыхъ домиковъ на дорогѣ, другой рядъ въ саду; высокія ворота возлѣ церкви; путаница строеній впереди и позади; фермы, амбары, скотные дворы, всѣ багровые отъ вьющихся осеннихъ растеній. Въ такомъ видѣ представилась Диксону *Агапемоне* (греческое названіе жилища любви) съ ближайшаго холма, черезъ который пролегала ведущая туда дорога. Когда Диксонъ въѣхалъ въ открытыя ворота, къ нему вышелъ на встрѣчу изъ дома первый помазанникъ Томасъ, черезъ котораго Принсъ далъ Диксону письменное разрѣшеніе посѣтить его обитель. Томасъ—человѣкъ уже не молодой, высокаго роста, хорошо сложенъ; лицо у него умное; глаза голубые, задумчивые; одѣвается и держитъ себя какъ джентльменъ, всегда жившій въ хорошемъ обществѣ; каждая линія его выразительной физіономіи говорила Диксону, что Томасъ, котораго онъ зналъ до сихъ поръ только по скандальному процессу изъ-за денегъ Агнесы Ноттиджъ, пожилъ жизнью мысли, поработалъ надъ книгами и достаточно извѣдалъ на своемъ вѣку сильныя ощущенія оратора, старающагося съ церковной каѳедры потрясти и размягчить сердца слушающихъ грѣшниковъ.

Томасъ ввелъ Диксона въ главный залъ, въ которомъ Диксонъ тотчасъ узналъ церковь. Тутъ они застали трехъ дамъ; одна изъ нихъ играла на роялѣ; поклонившись гостю, эти дамы тотчасъ вышли изъ комнаты. Томасъ предложилъ Диксону, не хочетъ-ли онъ прямо пройти къ Принсу. Диксонъ попросилъ позволенія сдѣлать сначала нѣсколько вопросовъ. Томасъ изъявилъ согласіе, но ему было какъ-то неловко раз-

говаривать наединѣ съ постороннимъ человѣкомъ, его отвѣты были неясны и уклончивы, и разговоръ, плохо вязавшійся, прерывался ежеминутно приходомъ какой-нибудь изъ сестеръ; сестра входила, прислушивалась къ неторопливой бесѣдѣ мужчинъ и потомъ уходила; Диксонъ скоро замѣтилъ, что эти появленія сестеръ не были случайными результатами простого женскаго и затворническаго любопытства. Входя и прислушиваясь, сестры дѣйствовали по обязанности службы. Въ жилищѣ любви всѣ святые самымъ ревнивымъ и дѣятельнымъ образомъ наблюдаютъ другъ за другомъ. Диксону не случалось ни разу оставаться наединѣ съ мужчиной или съ женщиной впродолженіи четверти часа; его также не оставляли ни разу въ обществѣ, состоявшемъ изъ однихъ мужчинъ или изъ однѣхъ женщинъ. Въ окружавшихъ его группахъ всегда присутствовала по крайней мѣрѣ хоть одна женщина.

Поговоривъ съ гостемъ и, по возможности, ни въ чемъ не удовлетворивъ его любознательности, Томасъ вышелъ изъ зала, потомъ вернулся и предложилъ Диксону чего-нибудь поѣсть. Диксонъ сначала отказался, но вѣжливая и ласковая настойчивость Томаса показала ему, что это предложеніе имѣетъ, быть можетъ, какъ у арабовъ, символическое значеніе, и что отклонять его не годится. Онъ согласился выпить вина, и женщина тотчасъ внесла подносъ съ бисквитами и съ двумя графинами. Она поставила этотъ подносъ на столъ, и Диксона оставили въ церкви наединѣ съ хересомъ и портвейномъ.

«Да, въ церкви,—говоритъ Диксонъ.—Я сидѣлъ на красномъ диванѣ, у яркаго огня, въ окрашенномъ свѣтѣ высокихъ стрѣльчатыхъ оконъ съ богатыми цвѣтными стеклами; подъ ногами у меня лежали мягкія подушки, направо отъ меня стоялъ билліардъ; кругомъ меня церковная мебель и утварь, дубовая и бронзовая; надъ головой священный символъ агнца и голубя, окруженный по бокамъ и снизу рядами билліардныхъ кіевъ.

«Я зналъ, что въ этой комнатѣ произошла великая манифестація, совершился тотъ мистическій обрядъ, которымъ, говорятъ, живое тѣло примирено съ Богомъ. Прелестна для глазъ, успокоительна для сердца—такова была, такова остается и до сихъ поръ эта комната. Цвѣтныя стекла оконъ совершенно отгораживаютъ ее отъ міра, не пропуская въ эти стѣны ничего менѣе эѳирнаго, чѣмъ лучи дневного свѣта. Богатый красный персидскій коверъ покрывалъ полъ, составляя контрастъ съ темнымъ коричневымъ дубовымъ потолкомъ. Красныя занавѣски драпировали окна, гдѣ на стеклахъ были нарисованы мистическія изображенія: агнецъ, левъ и голубь,—левъ стоялъ на ложѣ изъ розъ, съ знаменемъ, на которомъ были написаны слова:

О, привѣтъ тебѣ, святая любовь!

«Наличникъ надъ каминомъ былъ изъ рѣзного дуба, очень тонкой работы, въ готическомъ вкусѣ, съ зеркалами. Арфа стояла въ одномъ углу залы; большой рояль—въ другомъ. На столахъ лежало нѣсколько книгъ, не очень часто бывшихъ въ употребленіи: «Ночныя мысли Юнга», «Галлерея Тернера», «Греція Уордсуорта» и еще тома два три. Вдоль стѣнъ шли низкія книжныя полки, нагруженныя книгами религіознаго содержанія. Костяные шары еще лежали на зеленомъ сукнѣ билліарда; должно быть сестры недавно играли. Весь залъ носилъ на себѣ печать тишины и величія, которая поражала воображеніе чѣмъ-то вродѣ страха. Какъ могъ я, сидя одинъ, не припомнить той мистической драмы, въ которой братъ Принсъ игралъ роль героя, а «мадонна» Патерсонъ роль героини?»

Черезъ полчаса къ Диксону пришелъ Томасъ, и они вмѣстѣ отправились къ Принсу. Комната, въ которую они вошли, была хорошо меблирована, какъ кабинетъ зажиточнаго землевладѣльца. Принсъ былъ въ черномъ платьѣ и въ широкомъ бѣломъ галстухѣ; у него было кроткое, серьезное лицо; онъ встрѣтилъ гостя у двери, привѣтливо поздоровался съ нимъ и усадилъ его въ покойное кресло возлѣ камина. Самъ онъ сѣлъ въ кругу своихъ избранниковъ. По лѣвую его сторону сидѣлъ Стерки, по правую — Томасъ. Возлѣ Стерки помѣщались сестра Элленъ и сестра Зоэ; возлѣ Томаса сестра Анни и сестра Сара.

Стерки по лѣтамъ былъ старше всѣхъ присутствующихъ. Ему—шестьдесятъ одинъ годъ. Онъ большой, полный мужчина, съ бѣлыми волосами и кроткими голубыми глазами, которыхъ неопредѣленное, мечтательное выраженіе съ перваго взгляда напомнило Диксону физіономіи его американскихъ друзей шэкеровъ.

Двѣ изъ четырехъ присутствовавшихъ женщинъ были замѣчательно хороши собою. Сестра Анни была образцомъ свѣжей, здоровой, вполнѣ развернувшейся и созрѣвшей женской красоты. «Дородная, розовая, спѣлая — говоритъ Диксонъ—съ парой смѣющихся глазъ, съ полными румяными щеками и съ волнами темнокаштановыхъ волосъ».

О сестрѣ Зоэ Диксонъ отзывается даже съ какимъ-то трепетнымъ стономъ нѣжнаго и почтительнаго восторга. «То было — говоритъ онъ—одно изъ тѣхъ рѣдкихъ женскихъ созданій, которыя принуждаютъ поэтовъ пѣть, вгоняютъ живописцевъ въ отчаяніе и заставляютъ обыкновенныхъ смертныхъ отдавать душу за любовь. Вы видѣли, по прошествіи нѣкотораго времени, что эта женщина молода и стройна,

и одѣта съ безукоризненнымъ вкусомъ; но вы не могли увидѣть все это сразу, потому что, когда вы, быстро отворивъ дверь, вдругъ оказывались передъ ней, вы ничего не могли разглядѣть, кромѣ бѣлизны ея лба, мраморнаго спокойствія ея лица и удивительнаго свѣта ея большихъ голубыхъ глазъ. Она сидѣла, пріютившись возлѣ Принса, въ платьѣ изъ бѣлой шелковой матеріи съ фіолетовыми снурками и крапинками; тонкія цвѣтныя полоски какъ-будто рѣзче выставляли на видъ молочную блѣдность ея щекъ. Изъ-за лучистаго свѣта ея глазъ Гверчино могъ-бы списать съ такой дѣвушки одного изъ своихъ задумчивыхъ и опечаленныхъ ангеловъ. Высокій лобъ, овальный обликъ, маленькій ротъ и подбородокъ, жемчужные зубы и эти лучезарные глаза! Я право не знаю, видѣлъ-ли я когда-либо лицо болѣе полное высокой, ясной и счастливой мысли, и однако, когда я смотрѣлъ на ея сложенныя руки и святое чело, какой-то инстинктъ въ моей крови побуждалъ меня, совершенно наперекоръ моей волѣ, думать о ней въ связи съ той сценой, которая произошла въ близъ-лежащей церкви, съ этимъ дерзновеннымъ обрядомъ, самой страшной тайной, быть можетъ самымъ чернымъ беззаконіемъ этихъ послѣднихъ дней, посредствомъ котораго Принсъ утверждаетъ и Томасъ свидѣтельствуетъ, что Богъ примирилъ съ собой живое тѣло и водворилъ на землѣ свой послѣдній завѣтъ».

Диксону было извѣстно, что фамильное имя Принсовой мадонны было Патерсонъ. Ему хотѣлось узнать, не была-ли именно сестра Зоэ этой миссъ Патерсонъ Когда сестра Зоэ заговорила съ нимъ въ кабинетѣ Принса, онъ спросилъ у нея, какимъ именемъ онъ долженъ называть ее въ разговорѣ съ нею.

— Зоэ, отвѣтила она.

— Но подумайте, настаивалъ Диксонъ, я свѣтскій человѣкъ, я вамъ чужой, какъ могу я употреблять эти ласковыя, дружескія имена?

— Пожалуйста, дѣлайте такъ, отвѣтила Зоэ. Это очень мило.

— Безъ сомнѣнія, если-бы я пробылъ здѣсь мѣсяцъ; а покуда мнѣ было-бы легче назвать васъ миссъ...

— Зовите меня Зоэ, отвѣтила она съ терпѣливой улыбкой. Зоэ, просто Зоэ.

Я обратился къ Принсу.

— Люди, спросилъ я, поступая сюда къ вамъ, принимаютъ новыя имена, какъ монахи и монахини итальянскаго монастыря?

— Не какъ монахи и монахини, отвѣтилъ Принсъ.— Мы не отдаемся подъ покровительство нашихъ святыхъ. У насъ нѣтъ святыхъ Мы просто отдаемъ себя Богу, котораго мѣстопребываніе въ этомъ домѣ. У наружныхъ воротъ мы оставляемъ міръ позади себя, его слова, его законы, его страсти; все это, по нашему, принадлежитъ къ царству дьявола. Живя въ Господѣ, мы слѣдуемъ Его руководящему свѣту даже въ простомъ дѣлѣ нашихъ именъ. Вы современемъ услышите ихъ всѣ. Меня зовутъ Возлюбленный. Я зову эту леди Зоэ, потому что мнѣ нравится этотъ звукъ. Вотъ Томаса я зову Моссу (Mossoo), потому что онъ такъ хорошо говоритъ по-французски

Я никогда не могъ пойти со святыми дальше этого пункта. Когда я прощался со святыми, я сказалъ Зоэ, держа ея руку въ моей:

— Нельзя-ли мнѣ услышать какое-нибудь слово, которымъ я буду поминать васъ, когда буду далеко?

— Да, Зоэ, сказала она и улыбнулась.

— Зоэ... а дальше?

Ея тонкія губы раскрылись, какъ-бы для того, чтобы заговорить. Что она собиралась сказать? было-ли то имя, которое поднималось къ ея губамъ— Патерсонъ... слово, не произносившееся уже нѣсколько лѣтъ въ жилищѣ любви? Кто знаетъ? Вмѣсто того, чтобы отвѣтить мнѣ, хотя ея пальцы были зажаты у меня въ рукѣ, она обратилась къ Принсу и прошептала своимъ пѣвучимъ голосомъ: «Возлюбленный!» Принсъ отвѣтилъ мнѣ за нее, съ оттѣнкомъ веселой нѣжности: «она Зоэ; вы должны думать о ней, какъ о Зоэ; ничего болѣе».

О самомъ Принсѣ Диксонъ сообщаетъ слѣдующія подробности:

«Тому джентльмену, котораго его послѣдователи называютъ Возлюбленнымъ, пятьдесятъ шесть лѣтъ; онъ худощавъ, средняго роста, и его блѣдныя, поблекшія щеки носятъ на себѣ слѣды многихъ огорченій и большой усталости. Его лицо очень кротко, его манеры очень мягки. Въ немъ есть какая-то женственная грація и прелесть. Его улыбка очень пріятна, и тонъ его голоса низкій. У него взглядъ человѣка, никогда не доходившаго до ярости и до борьбы. Въ его глазахъ, склонныхъ закрываться, вы какъ-будто видите свѣтъ изъ какого-то другого міра. Онъ сидѣлъ въ центрѣ этого круга мужчинъ и женщинъ, погруженный въ собственныя мечты, въ которыя онъ снова впалъ съ той минуты, какъ мы присѣли у его теплаго и веселаго камина. Когда звукъ голосовъ вызвалъ его изъ задумчивости, онъ сложилъ руки на своемъ черномъ сюртукѣ, поставилъ на коверъ свои блестящіе башмаки и принялъ живое участіе въ моемъ первомъ длинномъ и замѣчательномъ разговорѣ съ святыми».

Вотъ главныя черты изъ этого разговора. гдѣ Диксонъ, разумѣется, разспрашивалъ, а святые отвѣчали:

— Много ли васъ въ жилищѣ? спросилъ я у Томаса.

— Всего около шестидесяти душъ.

Въ эту минуту вошелъ въ комнату служитель, одѣтый въ скромное черное платье.

— Вы считаете въ томъ числѣ и прислугу?

— Да, отвѣтилъ Томасъ:—они всѣ члены нашей семьи и дѣлятъ ея благословенія.

— Что, вы по очереди исправляете службу, какая требуется въ домѣ, такъ, какъ это дѣлается у братьевъ и сестеръ на горѣ Ливанѣ?

Я увидѣлъ, что по лицу служителя скользнула слабая улыбка.

— О, нѣтъ, вмѣшалась сестра Эллепъ.—Мы ничего такого не дѣлаемъ; наши люди намъ служатъ, но они все это дѣлаютъ въ любви.

— Вы хотите сказать, замѣтилъ я, — что они вамъ служатъ безъ жалованья?

На мой вопросъ не послѣдовало отвѣта; только леди засмѣялась, а слуга усмѣхнулся.

— На этихъ шестьдесятъ обитателей сколько приходится мужчинъ и сколько женщинъ? Сколько малолѣтнихъ, сколько взрослыхъ?

— Мужчинъ и женщинъ почти поровну, отвѣтилъ Томасъ:—дѣтей нѣтъ.

— Ни одного ребенка? спросилъ я, думая о великой манифестаціи и о томъ, что, какъ я слышалъ, отъ нея произошло.

— Вы не понимаете той жизни, которой мы живемъ здѣсь въ Господѣ. Мы не женимся и не выдаемъ замужъ. Кто былъ женатъ въ мірѣ, въ былое время, тѣ живутъ, какъ-будто не было между ними брака. Мужчины помѣщаются отдѣльно отъ женщинъ и не знаютъ стремленія къ любви дьявола; они какъ ангелы на небѣ, живущіе вѣчной жизнью.

— Что́ вы называете любовью дьявола?

— Всякую любовь тѣлесную — всякую любовь, если она не святая, не духовная и не отъ Бога.

— Я, кажется, только-что сейчасъ видѣлъ: тутъ на лугу игралъ ребенокъ — маленькая дѣвочка.

— Она—оборванное звено въ нашемъ образѣ жизни; дитя позора, живой свидѣтель послѣдняго великаго торжества дьявола въ сердцѣ человѣка.

— Вы говорите о ребенкѣ миссъ Патерсонъ?

— Она исчадіе сатаны, дѣло сатаны въ тѣлѣ, сказалъ Томасъ съ глубокимъ волненіемъ.

Облако тоски омрачило всѣ ихъ лица, кромѣ лица сестры Зоэ, у которой кроткая ясность выраженія осталась ненарушенной.

— Дѣло этого времени, вставила сестра Эллен,—было самое тяжелое, какое мнѣ только случалось испытать. Цѣлый годъ мы лежали въ тѣни смерти и близко къ аду; но Богъ выполнилъ въ насъ свое предначертаніе. Это было горькое время для всѣхъ, а особенно горько было нашему Возлюбленному.

— Ваше правило жизни подобно, стало быть, монашескому уставу—правило воздержанія?

— Правило ангеловъ, отвѣтилъ Принцъ:—правило чистаго наслажденія въ Господѣ. Наши братья и сестры живутъ въ любви, но не въ грѣхѣ; потому что грѣхъ—смерть, а намъ принадлежитъ вѣчная жизнь въ Господѣ.

— То-есть въ духѣ, въ другомъ мірѣ, какъ всѣ добрые люди надѣются жить?

— Мы понимаемъ одинаково въ тѣлѣ и въ духѣ, потому что тѣло теперь спасено и примирено съ Богомъ.

— Такъ вы принимаете физическое воскресеніе, какъ эта доктрина установлена въ англійской церкви?

— Нѣтъ; мы отвергаемъ эту доктрину. Мы сами воскресеніе; и въ этомъ мы—жизнь.

— Но вѣдь всѣ умираютъ?

— Да, сказалъ Томасъ:—такъ случалось съ большинствомъ; смерть была удѣломъ людей, и они умирали; но смерть подчинена Господу, въ которомъ мы живемъ. Мы не умремъ, если только Онъ не захочетъ исключить насъ изъ числа спасенныхъ.

— Вы думаете умереть?

— Нѣтъ, никогда, сказалъ первый помазанникъ,—у насъ нѣтъ такихъ мыслей.

— Но вѣдь нѣкоторые изъ васъ скончались; Луиза Ноттиджъ напримѣръ?

— Да, Господь совершилъ надъ ними свою волю; они погрѣшили, и они умерли; но многіе примѣры не составляютъ необходимаго правила. Родственники Иліи умерли въ плоти, но пророкъ живымъ былъ взятъ на небо. Хотя-бы я увидѣлъ эту долину, переполненную десятками тысячъ труповъ, этотъ видъ не убѣдилъ бы меня въ томъ, что и я долженъ когда-нибудь умереть.

— Вы, кажется, презрительно смотрите на мертвыхъ?

— Мы видимъ въ нихъ людей, не вполнѣ спасенныхъ; они не исторгнуты изъ власти сатаны надъ тѣломъ. Кого Богъ спасъ, тѣ будутъ жить.

— Гдѣ вы хороните скончавшихся — на кладбищѣ, въ освященной землѣ, какъ другіе христіане, или въ какомъ-нибудь пустомъ полѣ, какъ шэкеры?

— Иные лежатъ у фермы, другіе тамъ, подъ зеленымъ лугомъ; у насъ нѣтъ освященной земли; мы думаемъ, что прахъ, не спасенный заживо, возвращается въ землю, откуда былъ взятъ.

— Видя, что всѣ вы старѣетесь и что нѣкоторые изъ васъ угасаютъ, вы должны допустить, что смерть можетъ придти?

— Нѣтъ, сказалъ Возлюбленный:—мы никогда не думаемъ о смерти; мы никогда ея не ожидаемъ. Мы знаемъ, что Богъ есть живой Богъ, и что мы живы въ немъ. Смерть—слово, принадлежащее времени.

— Но мы всѣ живемъ во времени.

— Вы живете во времени, сказалъ Возлюбленный:—мы—нѣтъ, и мы не имѣемъ о немъ понятія.

*

— У васъ нѣтъ чувства времени?

— Никакого, отвѣтилъ первый помазанникъ. — Это ваши слова, не божіи; вы ихъ придумали, чтобы изображать земные факты. Мы живемъ въ другомъ мѣстѣ.

— Вы видите, какъ солнце встаетъ и закатывается, доказывалъ я:—вы знаете, что вчера была пятница, что завтра будетъ воскресенье; что весна проходитъ, и что приближается время жатвы?

— Ну, да, сказалъ Возлюбленный сострадательнымъ тономъ:—мы чувствуемъ теченіе любви, которое вы приняли за вашу мѣрку времени; но это не признакъ перемѣны для насъ, потому что мы живемъ вѣчно въ живомъ Богѣ.

Читатель, вѣроятно, согласится, что исторія принсеитовъ замѣчательна и наводитъ на поучительныя размышленія о вліяніи теологическаго метода мышленія на человѣческіе умы.

Читатель видитъ, что, подчиняясь этому методу, образованные и начитанные люди, выросшіе въ правилахъ оффиціальной доктрины, поддержанія которой изъ года въ годъ уноситъ у государства милліоны фунтовъ, люди, принадлежащіе къ самому консервативному сословію самаго консервативнаго изъ европейскихъ обществъ,—доходятъ, при самыхъ добросовѣстныхъ и неустрашимыхъ усиліяхъ отыскать чистую истину, до такихъ ярко-разрушительныхъ и нагло-безнравственныхъ результатовъ, какъ Великая Манифестація, мистическая драма, разыгранная, въ присутствіи спакстонскихъ святыхъ, братомъ Принсомъ и мадонною Патерсонъ.

ФРАНЦУЗСКІЙ КРЕСТЬЯНИНЪ ВЪ 1789 ГОДУ.

(Histoire d'un paysan 1789, par Erckman-Chatrian).

I.

Лучшіе романы Эркмана и Шатріана уже извѣстны нашей публикѣ. «Тереза», «Воспоминанія рекрута 1813 г.», «Ватерло», «Юродивый Іегофъ» и «Записки пролетарія» были въ свое время—года три тому назадъ—переведены на русскій языкъ, помѣщены въ одномъ журналѣ, имѣвшемъ довольно обширный кругъ читателей, и потомъ выпущены въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ.

Во всѣхъ этихъ романахъ авторы преслѣдуютъ одну и ту-же задачу. Они стараются взглянуть на великія историческія событія снизу, глазами той обыкновенной безгласной и покорной массы, которая почти всегда и почти вездѣ молчитъ и терпитъ, платитъ налоги и отдаетъ въ распоряженіе міровыхъ геніевъ достаточное количество пушечнаго мяса. Такой взглядъ снизу рѣдко бываетъ возможенъ; обыкновенно масса не имѣетъ понятія о томъ, что дѣлается въ руководящихъ слояхъ общества; ей не извѣстны ни имена, ни лица, ни поступки, ни взаимныя отношенія, ни мысли, ни желанія главныхъ актеровъ, занимающихъ въ данную минуту сцену всемірной исторіи; она ихъ не видитъ, не слышитъ и не понимаетъ; ей не приходитъ въ голову, чтобы могла существовать какая-нибудь живая связь между дѣйствіями этихъ актеровъ и ея собственными, очень мелкими, но очень жгучими заботами, лишеніями и печалями; она не можетъ и не умѣетъ себѣ представить, чтобы среди этихъ блестящихъ и громко говорящихъ актеровъ у нея могли быть друзья и враги, которыхъ побѣда или пораженіе отзовется на ея собственной жизни увеличеніемъ или уменьшеніемъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, рекрутской повинности и разнородныхъ стѣсненій, тормозящихъ свободное развитіе ея труда.

Не зная самыхъ крупныхъ фактовъ новѣйшей и современной исторіи, не имѣя тѣхъ простѣйшихъ элементарныхъ свѣдѣній, которыя должны служить фундаментомъ политическаго развитія, не умѣя разбирать тѣ буквы, которыми наполненъ листокъ газеты, не понимая тѣхъ словъ родного языка, которыя составлены изъ этихъ буквъ, не привыкнувъ слѣдить внимательно за сколько-нибудь сложной и отвлеченной мыслью, развивающейся въ цѣломъ рядѣ предложеній и періодовъ, не имѣя возможности оторваться отъ тяжелаго скотскаго труда, который кормитъ ее въ-обрѣзъ, часто оставляетъ ее впроголодь и всегда мѣшаетъ ей возвыситься до какихъ-бы то ни было соображеній и обобщеній,—масса обыкновенно относится ко всѣмъ своимъ страданіямъ съ одинаково-угрюмой покорностью, не задавая себѣ вопроса о томъ, отъ чего они происходятъ: отъ тридцатиградуснаго-ли мороза, который, при данной географической широтѣ, совершенно неизбѣженъ, или отъ ненужной, разорительной и неискусно веденной войны, которую не трудно было бы предотвратить, или по крайней мѣрѣ повести искуснѣе

и окончить скорѣе. Масса обыкновенно видитъ наказаніе Божіе и въ продолжительномъ отсутствіи дождя, обусловленномъ чисто-физическими причинами, и напримѣръ въ дороговизнѣ соли, произведенной искусственнымъ путемъ, посредствомъ неудачныхъ финансовыхъ мѣропріятій. Встрѣчаясь на каждомъ шагу съ такими наказаніями Божіими, масса не восходитъ къ ихъ причинамъ, не задумывается надъ средствами устранить или ослабить ихъ, а дѣйствуетъ вразсыпную, то-есть такъ, что каждый отдѣльный человѣкъ старается сберечь свою жалкую жизнь и укрыться отъ наказанія въ первое попавшееся, надежное или ненадежное убѣжище. Случится голодъ вслѣдствіе заслухи — масса бредетъ вразсыпную побираться, и наблюдатель народной жизни замѣчаетъ болѣе или менѣе значительное приращеніе въ общемъ итогѣ случаевъ бродяжничества, нищенства, воровства и грабительства Происходитъ дороговизна соли вслѣдствіе налога—масса поступаетъ точно такъ-же: она выдвигаетъ изъ своей среды, смотря по удобствамъ мѣстности, сотни или тысячи контрабандистовъ, которые конечно стараются не о томъ, чтобы устранить зло, тяготѣющее надъ народной жизнью, а о томъ, чтобы прожить и по возможности обогатиться при существованіи и даже при содѣйствіи этого зла.

Обыкновенно масса протестуетъ противъ разнородныхъ общественныхъ золъ, отравляющихъ ея жизнь—или своими страданіями, болѣзнями и вымираніемъ, или индивидуальными преступленіями. При обѣихъ этихъ системахъ протеста, которыя обыкновенно пускаются въ ходъ одновременно, масса принимаетъ гнетущее ее зло, какъ существующій фактъ, и ,не пускаясь въ анализъ его причинъ, не составляетъ себѣ никакого взгляда на породившія его лица и событія и не воспитываетъ въ себѣ никакихъ политическихъ симпатій и антипатій.

Но не всегда и не вездѣ господствуетъ это полное отсутствіе взгляда снизу на великія историческія событія. Не всегда и не вездѣ масса остается слѣпа и глуха къ тѣмъ урокамъ, которые будничная трудовая жизнь, полная лишеній и горя, даетъ на каждомъ шагу всякому умѣющему видѣть и слышать. Если, съ одной стороны, только въ однихъ Сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ масса постоянно, изо-дня въ день и изъ-года въ годъ, слѣдитъ за ходомъ своихъ собственныхъ дѣлъ съ одинаково-неусыпнымъ, просвѣщеннымъ и разумнымъ вниманіемъ, то, съ другой стороны, въ цивилизованной Европѣ трудно найти хоть одинъ уголокъ, въ которомъ самосознаніе массъ не обнаруживало-бы, хоть мимолетными проблесками, самаго серьезнаго и неизгладимо-благодѣтельнаго вліянія на общее теченіе историческихъ событій.

Во Франціи такіе проблески народнаго самосознанія заявляли себя не разъ втеченіи восьми послѣднихъ десятилѣтій. Эркманъ и Шатріанъ стараются уловить въ своихъ романахъ именно эти проблески. Они берутъ людей народной массы въ тѣ торжественныя минуты, когда въ этой массѣ, подъ вліяніемъ многолѣтняго горя, начинаетъ созрѣвать неотложная потребность отдать себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, что мѣшаетъ ей жить здоровой человѣческой жизнью. Они стараются прослѣдить, какими путями и каналами въ народную массу медленно просачивается сознательное неудовольствіе, исподволь вытѣсняя и смѣняя собой ту неповоротливую и тупую угрюмость, которая является обыкновеннымъ результатомъ неосмысленнаго страданія и обыкновенно разрѣшается дикимъ запоемъ, безтолковыми драками и нелѣпыми преступленіями. Они пытаются угадать и показать, какая борьба мнѣній и взглядовъ разыгрывается въ великія минуты народнаго пробужденія у каждаго самаго скромнаго семейнаго очага и въ каждомъ самомъ убогомъ деревенскомъ трактирѣ. Они стараются ввести читателя въ ту таинственную лабораторію, почти недоступную для историка, гдѣ вырабатывается—изъ безчисленнаго множества разнороднѣйшихъ элементовъ и подъ вліяніемъ тысячи содѣйствующихъ и препятствующихъ условій—тотъ великій *гласъ народа*, который дѣйствительно, рано или поздно, всегда оказывается *гласомъ Божіимъ*, то-есть опредѣляетъ своимъ громко произнесеннымъ приговоромъ теченіе историческихъ событій.

Романы Эркмана и Шатріана можно совершенно справедливо назвать историческими, потому что они рисуютъ очень яркими и хорошо подобранными чертами духъ того времени, изъ котораго взяты ихъ сюжеты. Но эти романы нисколько не похожи на тѣ сшивки изъ реляцій, мемуаровъ, дипломатическихъ нотъ, мирныхъ договоровъ и разныхъ другихъ историческихъ документовъ, которые также называются обыкновенно историческими романами и составляютъ, въ большей части случаевъ, одинъ изъ самыхъ безплодныхъ и непривлекательныхъ родовъ литературы. Въ романахъ Эркмана и Шатріана великіе историческіе дѣятели вовсе не выступаютъ на сцену. Въ ихъ романахъ, взятыхъ изъ временъ первой революціи, читатель не встрѣчается ни съ Робеспьеромъ, ни съ Дантономъ, ни съ королемъ Людовикомъ XVI, и вообще ни съ однимъ изъ тѣхъ лицъ, которыхъ имя сколько-нибудь извѣстно образованному человѣку. Въ романахъ изъ временъ первой имперіи мы не видимъ ни Наполеона, ни его маршаловъ, ни его враговъ. Эркманъ и Шатріанъ не позволяютъ себѣ ни отбивать хлѣбъ у историковъ, рисуя великія историческія фигуры на основаніи матеріа-

ловъ, сложенныхъ въ архивы и достаточно провѣренныхъ строгой критикой, ни дополнять смѣлыми догадками и произвольными порывами фантазіи то, что остается и навсегда должно оставаться въ этихъ фигурахъ неяснымъ и недорисованнымъ. Эркманъ и Шатріанъ не пробуютъ вводить читателя въ такіе кабинеты, въ которые никто изъ простыхъ смертныхъ не входилъ, подслушивать такія рѣчи, которыхъ въ свое время никто не могъ слышать и записать, угадывать такія мысли, желанія и душевныя движенія, которыя остались для всего міра глубочайшей тайной.

Нашихъ авторовъ занимаетъ не внѣшній очеркъ событій, а внутренняя сторона исторіи, та сторона, которой мыслящій историкъ дорожитъ чрезвычайно, но которая почти всегда въ очень значительной степени отъ него ускользаетъ и всегда будетъ ускользать, потому что онъ рѣдко имѣетъ возможность черпать изъ устныхъ источниковъ, напримѣръ изъ разсказовъ стариковъ, не имѣетъ права довѣряться такимъ источникамъ, принужденъ, пользуясь ими, стирать съ нихъ все, что въ нихъ есть индивидуальнаго, то-есть именно самаго свѣжаго и характернаго, и наконецъ обязанъ сдерживать свое воображеніе въ такихъ тѣсныхъ границахъ, которыя не существуютъ для романиста. Нашихъ авторовъ интересуетъ не то, какъ и почему случилось то или другое крупное историческое событіе, а то, какое впечатлѣніе оно произвело на массу, какъ поняла его масса, и чѣмъ она на него отозвалась.

Внѣшняя и внутренняя стороны исторіи находятся между собой въ постоянномъ живомъ взаимнодѣйствіи. Войны, мирные трактаты, переходы областей изъ рукъ въ руки, смѣны династій, министерствъ и правительственныхъ системъ, законодательныя и административныя преобразованія—все это съ одной стороны, а съ другой стороны—размѣры и свойства лишеній, страданій, невѣжества и долготерпѣнія массы находятся очевидно въ самой тѣсной связи между собой, хотя далеко не всѣ видятъ, и далеко не всякій историкъ умѣетъ доказать и прослѣдить дѣйствительное существованіе этой неизбѣжной и неразрывной связи. Очевидно, что всякое крупное историческое событіе совершается или потому, что народъ его хочетъ, или потому, что народъ не можетъ и не умѣетъ ему помѣшать. Очевидно также, что всякое историческое событіе, которое дѣйствительно стоитъ называть и признавать крупнымъ, совершается или въ ущербъ народу, или на его пользу, а это значитъ, въ общемъ результатѣ, что оно или усыпляетъ, или, напротивъ того, живетъ и развиваетъ въ народѣ способность вѣрно понимать, сильно желать и твердо настаивать.

Эркманъ и Шатріанъ стараются въ своихъ романахъ уловить эту связь между внѣшней и внутренней стороной исторіи. Они стараются показать, какъ то или другое историческое событіе будило въ массѣ самосознаніе и самодѣятельность, и какъ это умственное и нравственное пробужденіе массы давало своеобразный оборотъ и сообщало живительный толчекъ дальнѣйшему теченію событій. Это стремленіе указать массѣ на ту роль, которая по всѣмъ правамъ принадлежитъ ей на сценѣ всемірной исторіи, и которая доставалась и всегда будетъ доставаться ей на долю всякій разъ, какъ только она съумѣетъ поразмыслить, вникнуть и во-время промолвить свое тяжеловѣсное слово,—это стремленіе, составляющее живую душу романовъ Эркмана и Шатріана, придаетъ этимъ романамъ важное и благотворное воспитательное значеніе.

Эти романы развиваютъ въ своихъ читателяхъ способность уважать народъ, надѣяться на него, вдумываться въ его интересы, смотрѣть на совершающіяся событія съ точки зрѣнія этихъ интересовъ, называть зломъ все то, что усыпляетъ, а добромъ все то, что будитъ народное самосознаніе. Когда эти романы читаются человѣкомъ, принадлежащимъ къ высшему или среднему классу общества, тогда они воздѣлываютъ въ немъ чувство спасительнаго смиренія, напоминая ему на каждомъ шагу, что настоящимъ фундаментомъ самыхъ великолѣпныхъ и замысловатыхъ политическихъ зданій всегда и вездѣ является народная масса, и что постоянная заботливость о благосостояніи этой массы составляетъ первую и самую священную обязанность всякаго, кому эта масса своимъ неутомимымъ трудомъ доставила возможность сдѣлаться мыслящимъ и образованнымъ человѣкомъ. Когда эти романы попадаются въ руки простому работнику, они внушаютъ ему чувство законнаго и разумнаго самоуваженія; онъ видитъ изъ нихъ, что ему нѣтъ ни малѣйшей необходимости быть пассивнымъ орудіемъ чужой прихоти и покорнымъ слугой чужихъ интересовъ; онъ видитъ, что люди той массы, къ которой онъ самъ принадлежитъ, и притомъ люди самыхъ обыкновенныхъ размѣровъ, способны не только думать по-своему и обсуживать очень благоразумно свои общественныя дѣла, но и вліять на направленіе народной жизни. Когда французъ читаетъ эти романы, они помогаютъ ему цѣнить и любить въ прошедшемъ своего народа то, что дѣйствительно достойно почтительной любви; они учатъ его гордиться тѣмъ, что, по всей справедливости, должно возбуждать гордость умнаго и честнаго патріота. Иностранцу эти романы показываютъ наглядно, въ живыхъ образахъ, то, чего онъ долженъ желать и добиваться для своего народа. Словомъ, кому-бы

ни попались въ руки эти романы, всякаго они наведутъ на такія размышленія, которыя не останутся безплодными для его политическаго развитія.

Можно сказать безъ преувеличенія, что романы Эркмана и Шатріана составляютъ очень удачную попытку популяризировать исторію Франціи за послѣднія восемьдесятъ лѣтъ, и популяризировать именно такъ, какъ должна быть популяризирована исторія. Изъ этихъ романовъ читатель не узнаетъ конечно, въ которомъ году родился, женился, вступилъ на престолъ и умеръ тотъ или другой король или императоръ французовъ, съ кѣмъ онъ воевалъ и мирился, изъ-за чего и на какихъ условіяхъ, по какому поводу и когда онъ мѣнялъ своихъ министровъ. Въ этомъ смыслѣ исторія достаточно популяризирована въ элементарныхъ и дешевыхъ учебникахъ, и дальше популяризировать ее нельзя и незачѣмъ. Но смыслъ главнѣйшихъ событій, то зло, или то добро, которое они внесли въ народную жизнь и которымъ народъ и его друзья должны ихъ поминать,— выясняются этими романами такъ, какъ не могли бы ихъ выяснить для массы читателей никакіе учебники.

Что попытка популяризировать исторію Франціи, сдѣланная Эркманомъ и Шатріаномъ, не остается безплодной—это доказывается просто тѣмъ числомъ изданій, которое выдержали многіе изъ ихъ романовъ. «Тереза» до 1868 года выдержала 13 изданій; «Ватерло»—17; «Воспоминанія рекрута»—21. Когда книга въ три-четыре года выдерживаетъ больше десятка изданій, тогда очевидно ее читаютъ всѣ классы общества, читаютъ даже и простые работники, и читаютъ съ постоянно возрастающимъ удовольствіемъ, усердно расхваливая ее друзьямъ и знакомымъ, старательно вдумываясь въ нее и завязывая и выдерживая по ея поводу горячія и продолжительныя пренія. Если книга читается такимъ образомъ, то, значитъ, умы читающихъ людей, въ томъ числѣ и простыхъ работниковъ, направляются на тѣ предметы, о которыхъ эта книга трактуетъ. А этого послѣдняго условія совершенно достаточно, чтобы романы Эркмана и Шатріана обнаружили все свое образовательное вліяніе и принесли народному самосознанію всю ту пользу, которую они могутъ принести.

II.

Къ новому роману Эркмана и Шатріана, къ «Исторіи Крестьянина», вполнѣ прилагаются тѣ замѣчанія, которыя я высказалъ до сихъ поръ объ ихъ романахъ вообще. Въ «Исторіи Крестьянина» наши авторы стараются показать читателю, какъ жилось, что думалось и чувствовалось во французской деревнѣ въ тотъ знаменательный годъ, когда правительство Людовика XVI, изнемогая подъ бременемъ постоянно возрастающаго дефицита, увидѣло себя принужденнымъ приступить наконецъ къ созванію государственныхъ чиновъ.

Въ этомъ романѣ разсказъ ведется отъ имени стараго крестьянина, который былъ молодымъ мальчикомъ въ 1789 году, помнитъ совершенно отчетливо, какъ жили его родители при господствѣ стараго порядка, и потомъ видѣлъ собственными глазами всѣ фазы политическаго движенія, уничтожившаго во Франціи всѣ остатки средневѣковаго общественнаго строя.

Дѣйствіе романа происходитъ въ Лотарингіи, недалеко отъ города Пфальцбурга. Нашимъ авторамъ, повидимому, особенно хорошо знакома эта мѣстность. Имя Пфальцбурга встрѣчается почти во всѣхъ ихъ романахъ. Гнѣздо ихъ героевъ почти всегда находится гдѣ-нибудь по близости этого города. Въ «Исторіи Крестьянина» есть даже прямое указаніе на одинъ изъ прежнихъ романовъ, на «Юродиваго Іегофа», въ которомъ разсказано нѣсколько эпизодовъ изъ народной войны противъ союзниковъ въ 1814 году. Деревенскій священникъ Кристофъ Матернъ, дѣйствующій въ «Исторіи Крестьянина», оказывается роднымъ братомъ Матерна, который въ «Юродивомъ Іегофѣ» является однимъ изъ храбрѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ волонтеровъ. То обстоятельство, что почти всѣ романы нашихъ авторовъ прикрѣплены къ одной мѣстности, даетъ намъ право предположить, что тутъ очень многія подробности, лица и положенія прямо списаны съ натуры, и что мы имѣемъ передъ собой взглядъ снизу на историческія событія, не сочиненный талантливыми и просвѣщенными писателями, а просто, въ значительной степени, если не вполнѣ, подслушанный на мѣстѣ и записанный со словъ разсказчиковъ изъ среды самого народа. Понятно, что это обстоятельство можетъ только увеличить достоинство и усилить занимательность этихъ романовъ.

Мишель Бастіанъ, крестьянинъ, ведущій разсказъ отъ своего имени,—сынъ бѣднаго корзинщика, который, вмѣстѣ съ женой, долженъ кормить шесть человѣкъ дѣтей, не имѣя на это никакихъ средствъ, ни гроша денегъ, ни клочка земли, ни козы, ни курицы, ничего кромѣ личнаго труда, обставленнаго множествомъ разнообразнѣйшихъ стѣсненій и подвергающагося множеству такихъ-же разнообразныхъ поборовъ и вымогательствъ.

Изобрѣтательность средневѣковыхъ властей въ дѣлѣ эксплоатированія простыхъ и беззащитныхъ людей была, какъ извѣстно, неистощима. Вездѣ, гдѣ можно было поставить заставу и при ней посадить караульщика, обязаннаго брать дань съ проходящихъ и съ проѣзжающихъ, тамъ эта застава ставилась и карауль-

щикъ сажался. Вездѣ, гдѣ можно было перехватить по дорогѣ товары, переходящіе изъ рукъ въ руки, и оторвать отъ нихъ кусочекъ въ видѣ налога или пошлины, тамъ товары, какъ-бы они ни были скромны, перехватывались и кусочекъ отрывался. Вездѣ, гдѣ можно было учредить монополію, разорительную для большинства и прибыльную только для самого вельможнаго учредителя, тамъ монополія была учреждена. Вездѣ, гдѣ можно было продать въ частныя руки какое-нибудь право, существенно необходимое каждому отдѣльному работнику, тамъ это право было продано, часто за поразительно дешевую цѣну, жадному и безсовѣстному откупщику. Накопляясь съ теченіемъ вѣковъ, эти чудеса финансовой геніальности превратились наконецъ въ такую чудовищную гору, которая совершенно придавила къ землѣ всю массу трудящагося населенія, такъ что этой массѣ представилась наконецъ альтернатива или задохнуться подъ этой горой, или задуматься надъ вопросомъ: куда идутъ деньги, добываемыя такими энергическими и разнообразными средствами, и точно-ли онѣ идутъ туда, куда имъ слѣдуетъ идти.

Задыхаться подъ горой финансовыхъ чудесъ—это было самое приличное дѣло для той массы, о которой разсказываетъ Мишель Бастіанъ. Рѣдкій крестьянинъ могъ осенью чувствовать себя увѣреннымъ, что ему достанетъ хлѣба до слѣдующей уборки. Рѣдкій работникъ имѣлъ достаточныя основанія надѣяться, что хлѣбъ среди зимы не сдѣлается для него предметомъ роскоши, совершенно недоступнымъ по своей дороговизнѣ. Зимой три четверти деревенскаго населенія отправлялись побираться. Капуцины и другіе нищенствующіе монахи жаловались начальству на это беззаконное обиліе конкурентовъ. Начальство, встревоженное неблагообразнымъ развитіемъ нищенства, старалось искоренить зло строгими законодательными и административными мѣрами. Нищихъ ловили, сажали въ тюрьмы и ссылали на галеры. На нищихъ дѣлались облавы. Противъ нищихъ выводили въ поле вооруженные отряды. Но голодъ былъ страшнѣе солдатскихъ штыковъ и того кнута, подъ которыми работали каторжники, и число нищихъ росло, не смотря на жалобы капуциновъ и циркуляры начальства. Къ веснѣ, когда съѣстные припасы истощались во всей странѣ и когда каждый предусмотрительный хозяинъ сокращалъ поневолѣ размѣры подаяній, тогда многіе изъ уцѣлѣвшихъ нищихъ превращались съ голоду въ грабителей и бросались на проѣзжающихъ.

Начальство высылало войска и потомъ отправляло на висѣлицу десятки захваченныхъ преступниковъ. Такимъ образомъ гора финансовыхъ чудесъ буквально душила людей, доводя ихъ, путемъ нищенства, бродяжничества и преступленія, до каторги и до висѣлицы.

Задумываться надъ вопросомъ о тѣхъ причинахъ, которымъ гора финансовыхъ чудесъ обязана своимъ существованіемъ и возрастаніемъ, было конечно несравненно труднѣе, чѣмъ такъ или иначе задыхаться подъ этой горой. Если эта гора своимъ гнетомъ дѣлала серьезныя размышленія абсолютно необходимыми для спасенія придавленнаго народа отъ одичанія и вымиранія, то эта-же самая гора, тѣмъ-же своимъ гнетомъ, повидимому дѣлала такія размышленія совершенно невозможными. Въ самомъ дѣлѣ, разоренному, обобранному, истощенному, голодному и прозябшему человѣку, изнемогающему подъ тяжестью механическаго и неблагодарнаго труда, необходимо, болѣе чѣмъ всякому другому, вдуматься въ свое бѣдственное положеніе, обсудить его со всѣхъ сторонъ, изучить пытливымъ взглядомъ всѣ особенности окружающихъ условій, найти выходъ и немедленно воспользоваться сдѣланнымъ открытіемъ. Но такой человѣкъ именно потому, что онъ разоренъ, обобранъ, истощенъ, голоденъ, дрожитъ отъ холода и забитъ воловьимъ трудомъ,—менѣе всякаго другого способенъ къ тѣмъ тонкимъ и сложнымъ умственнымъ операціямъ, для которыхъ требуется спокойствіе, досугъ, самоувѣренность, способность смотрѣть впередъ съ сознательной надеждой и относиться къ жизни съ разумной требовательностью.

Вглядываясь въ то положеніе, до котораго были доведены трудящіеся классы французскаго народа въ царствованія Людовиковъ XIV, XV и XVI, и принимая въ соображеніе ту общеизвѣстную истину, что невѣжество и умственная затхлость являются неразлучными и неизбѣжными спутниками крайней и безвыходной бѣдности — можно было-бы подумать, что французскому народу не оставалось въ концѣ прошлаго столѣтія никакихъ шансовъ спасенія и что онъ обнаружитъ совершенное политическое безсмысліе и самую жалкую неспособность позаботиться о самомъ себѣ, когда его правительство, разоривъ его въ конецъ и очутившись передъ пустыми денежными сундуками, будетъ поставлено въ необходимость сложить съ себя на его плечи всю отвѣтственность за дальнѣйшее веденіе общественныхъ дѣлъ. Какъ и почему разоренный и забитый народъ могъ въ рѣшительную минуту развернуть и несокрушимую энергію, и глубокое пониманіе своихъ потребностей и стремленій, и такую силу политическаго воодушевленія, передъ которой оказались ничтожными всѣ происки и попытки внѣшнихъ и внутреннихъ, явныхъ и тайныхъ враговъ, какъ и почему заморенный и невѣжественный народъ съумѣлъ и смогъ подняться на ноги и обновиться радикальнымъ

уничтоженіемъ всего средневѣкового беззаконія—это конечно одна изъ интереснѣйшихъ и важнѣйшихъ задачъ новой исторіи. Эркманъ и Шатріанъ подходятъ къ этой задачѣ съ той стороны, съ какой они могутъ къ ней подойти, оставаясь романистами. Они наводятъ читателя на поучительныя размышленія объ этой задачѣ и даютъ ему любопытные матеріалы для ея разрѣшенія.

Мишель Бастіанъ является до нѣкоторой степени представителемъ всего французскаго народа. Въ исторіи его личности отразилась судьба цѣлой націи. По всѣмъ даннымъ, надо было ожидать, что этотъ Мишель проведетъ всю свою жизнь въ бѣдности, въ грязи, въ невѣжествѣ, снимая шапку передъ каждымъ встрѣчнымъ баріномъ и даже солдатомъ, цѣлуя руку у каждаго грязнаго и пьянаго капуцина и не имѣя никакихъ сознательныхъ политическихъ убѣжденій, никакихъ общественныхъ симпатій и антипатій, пріобрѣтенныхъ самостоятельнымъ трудомъ собственной мысли.Между тѣмъ на дѣлѣ оказывается совсѣмъ другое. Въ 1789 году, восемнадцати лѣтъ отъ роду, Мишель читаетъ газеты, интересуется политикой, понимаетъ очень вѣрно, хотя конечно въ общихъ чертахъ, то, чего надо желать народу, принимаетъ близко къ сердцу его благо, знаетъ и ненавидитъ его враговъ, знаетъ и любитъ его друзей, словомъ, обнаруживаетъ въ себѣ величайшую способность сдѣлаться, при сколько-нибудь благопріятныхъ условіяхъ, политическимъ дѣятелемъ самаго радикальнаго образа мыслей. Въ совершенной гармоніи съ политическими убѣжденіями Мишеля находятся и его собственныя, личныя, чисто человѣческія наклонности и стремленія. Свободная мысль и свободное чувство проникаютъ насквозь и облагораживаютъ все его существо. Воспитанный въ самой голодной нуждѣ, привыкши слышать съ дѣтства, что бѣдность величайшее зло, а богатство драгоцѣннѣйшее благо, бывши съ малыхъ лѣтъ свидѣтелемъ того, какъ его отецъ, за неимѣніемъ нѣсколькихъ франковъ, принужденъ былъ пресмыкаться передъ безсовѣстнымъ ростовщикомъ Робеномъ величайшимъ негодяемъ во всемъ околоткѣ, Мишель однакоже влюбляется въ бѣдную дѣвушку, отдается всей душой своему чувству и остается совершенно равнодушенъ къ любезностямъ богатѣйшей невѣсты во всей деревнѣ. Получивъ о предѣлахъ родительской власти такія понятія, при которыхъ ему казалось совершенно естественнымъ, что его отецъ и мать, желая расплатиться съ ростовщикомъ Робеномъ, продаютъ въ рекруты его старшаго брата,—Мишель тѣмъ не менѣе рѣшается въ томъ дѣлѣ, которое ему особенно дорого, дѣйствовать по собственному благоусмотрѣнію, прямо, наперекоръ волѣ матери, не отступая и не робѣя даже передъ угрозой проклятія. Онъ останавливаетъ свой выборъ на бѣдной дѣвушкѣ, да вдобавокъ еще на кальвинисткѣ, то-есть именно на той, кого родители его всего менѣе желали-бы сдѣлать своей невѣсткой. Проникнувшись въ родительскомъ домѣ привычкой благоговѣть и трепетать передо всякимъ начальствомъ, начиная съ послѣдняго сторожа и разсыльнаго, и покоряться безпрекословно всѣмъ самымъ неразумнымъ и явно противозаконнымъ требованіямъ этого начальства, Мишель въ 1789 году оказывается настолько свободнымъ отъ этой привычки, что грознымъ выраженіемъ своего лица обращаетъ въ бѣгство одного начальника, подошедшаго слишкомъ близко къ Маргаритѣ Шовель, съ цѣлью сдѣлать ей строгое внушеніе за излишнюю находчивость и неустрашимость.

Какія-же обстоятельства, какія-же вліянія пересоздали внутренній міръ Мишеля и дали ему опредѣленныя мысли и смѣлыя желанія вмѣсто тѣхъ изношенныхъ формулъ трусливой покорности, мелкаго корыстолюбія и вялой безнадежности, которыя, въѣвшись въ убогія стѣны его родовой хижины, составляли втеченіи столѣтій всю умственную жизнь его несчастныхъ предковъ, всю ихъ хваленую житейскую мудрость?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ задуманъ у нашихъ авторовъ такъ умно, что, вглядѣвшись внимательно въ этотъ отвѣтъ, мы будемъ въ состояніи объяснить себѣ до нѣкоторой степени, какимъ образомъ разрѣшается та важная и интересная историческая задача, на которую было указано выше.

III.

Вокругъ Мишеля группируются три типическія личности, имѣющія рѣшительное вліяніе на его умственное и нравственное развитіе: богатый кузнецъ, онъ-же и деревенскій трактирщикъ, Жанъ-Леру, деревенскій священникъ Кристофъ Матернъ и кальвинистъ, разносчикъ книгъ и газетъ, Матюренъ Шовель. О каждой изъ этихъ личностей стоитъ поговорить подробно.

Жана Леру можно назвать хорошо выбраннымъ представителемъ той части французской буржуазіи, у которой связи съ народомъ не совсѣмъ разорваны, и которая въ свое время, безъ ущерба самой себѣ, оказала народу самыя существенныя услуги. Жанъ Леру принадлежитъ, съ одной стороны, къ привилегированнымъ классамъ, потому что онъ мастеръ кузнечнаго цеха, а званіе мастера и всѣ связанныя съ нимъ выгоды обыкновенно переходили отъ отца къ сыну такъ точно, какъ званіе и помѣстья герцога, графа или маркиза. Съ другой стороны, Жанъ Леру принадлежитъ къ народу, потому что онъ не на шутку и не для виду работаетъ у себя въ кузницѣ рядомъ съ

своими подмастерьями. У него руки черныя и жесткія, какъ у настоящаго ремесленника. По всѣмъ своимъ вкусамъ и привычкамъ онъ стоитъ гораздо ближе къ полуголоднымъ и безправнымъ рабочимъ, чѣмъ къ господамъ хорошаго тона, носящимъ бархатные кафтаны, шпагу на боку и пудру на головѣ. Онъ платилъ тяжелые налоги, отъ которыхъ эти господа свободны по праву рожденія или умѣютъ освободиться стараніями знатныхъ покровителей Онъ принужденъ сгибаться въ дугу передъ каждымъ изъ тѣхъ многихъ мелкихъ чиновниковъ, къ которымъ господа относятся свысока и которые при каждомъ удобномъ случаѣ рады быть покорнѣйшими слугами этихъ господъ. Онъ расположенъ смотрѣть недоброжелательно на господъ съ бѣлыми руками и съ изящными манерами, во-первыхъ, потому, что онъ подозрѣваетъ нѣкоторую связь между бѣлизной ихъ рукъ и изяществомъ ихъ манеръ съ одной стороны и количествомъ тѣхъ налоговъ, которыми помрачается его благополучіе, — съ другой стороны, а во-вторыхъ и потому, что онъ совершенно справедливо предполагаетъ въ этихъ господахъ всегдашнюю готовность обойтись съ нимъ презрительно, грубо или даже жестоко, какъ съ безотвѣтнымъ и безчувственнымъ *roturier*, *manant* или *vilain*.

До поры до времени симпатіи Жана Леру принадлежатъ народу, но будутъ онѣ ему принадлежать только до тѣхъ поръ, пока развитіе народнымъ правъ будетъ въ какомъ-бы то ни было отношеніи усиливать или упрочивать благосостояніе мастеровъ кузнечнаго цеха и деревенскихъ трактирщиковъ. Жанъ Леру кричитъ противъ несправедливостей и желаетъ глубокихъ и обширныхъ преобразованій, но онъ перестанетъ кричать и желать въ ту блаженную минуту, когда несправедливости перестанутъ производиться въ ущербъ ему и когда осуществятся всѣ тѣ преобразованія, изъ которыхъ онъ можетъ извлечь себѣ непосредственную личную выгоду. Въ ту минуту онъ отодвинетъ отъ себя блюдо съ дальнѣйшими преобразованіями, скажетъ: я сытъ, порѣшитъ, что народъ тоже сытъ и доволенъ, и сдѣлается злѣйшимъ врагомъ всякаго шума и всякихъ толковъ, способныхъ нарушить процессъ его здороваго пищеваренія.

Въ борьбѣ народа за свои права и за свое человѣческое существованіе Жанъ Леру неспособенъ быть ни полковникомъ, ни солдатомъ. Но онъ можетъ принести значительную пользу въ качествѣ трубача, когда это дѣло не представляетъ серьезныхъ опасностей и хорошо оплачивается деньгами или почетомъ. Онъ неспособенъ въ минуту общаго замѣшательства сказать во-всеуслышаніе: вотъ что̀ надо сдѣлать! Неспособенъ онъ также, услышавъ это вѣщее слово, броситься впередъ съ полнымъ самоотверженіемъ и сдѣлать, презирая всякую опасность, то, что соотвѣтствуетъ потребностямъ даннаго затруднительнаго положенія. Но онъ можетъ сообразить своимъ дюжимъ умомъ, что вѣщій голосъ сказалъ правду, и у него хватитъ смѣлости въ ту минуту, когда толпа еще колеблется, крикнуть своимъ здоровымъ басомъ: да, это точно надо сдѣлать! Поражая нервы недоумѣвающей толпы, здоровый басъ производитъ часто гораздо болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ умное слово. А когда этотъ здоровый басъ принадлежитъ человѣку съ независимымъ состояніемъ и съ нѣкоторымъ положеніемъ въ обществѣ, тогда онъ пріобрѣтаетъ почти неотразимую убѣдительность, потому что слушатели предполагаютъ совершенно основательно, что обладатель такого баса, состоянія и положенія не станетъ рисковать легкомысленно всѣми этими благами и увлекать за собой толпу на очень опасную дорогу. Когда люди вродѣ Жана Леру рѣшаются крикнуть: «да, это точно надо сдѣлать», тогда они почти навѣрное могутъ разсчитывать, что толпа двинется за ними и превознесетъ ихъ, какъ своихъ руководителей и благодѣтелей. Чтобы крикнуть, нужна все-таки нѣкоторая доза смѣлости, потому что въ такихъ дѣлахъ шансы неудачи никогда не могутъ быть вполнѣ предусмотрѣны и совершенно устранены. Но смѣлости тутъ требуется именно столько, сколько требуется ея для того, чтобы пуститься въ выгодную спекуляцію. Жанъ Леру—смѣлый и неглупый спекуляторъ. Что̀ бы онъ ни дѣлалъ, за какую-бы великую и общеполезную работу онъ ни принимался, онъ всегда остается спекуляторомъ, и именно въ качествѣ спекулятора онъ при извѣстныхъ условіяхъ можетъ оказать обществу нѣкоторыя услуги.

Слѣдующій эпизодъ превосходно освѣщаетъ личность Жана Леру. Разносчикъ Матюренъ Шовель, побывавши въ Германіи, приноситъ оттуда картофельныя шкурки и разсказываетъ, что если посѣять эти шкурки, то отъ нихъ родится неслыханное количество питательныхъ и вкусныхъ корней, которые навсегда могутъ застраховать страну отъ голода. Шовель самъ видѣлъ, какъ картофель, остававшійся до того времени неизвѣстнымъ во Франціи, сѣется и родится уже втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ въ Германіи. Жанъ Леру давно знаетъ Шовеля и совершенно увѣренъ въ томъ, что Шовель, во-первыхъ, вполнѣ способенъ подмѣтить и понять тѣ вещи, на которыя онъ обращаетъ вниманіе, и во-вторыхъ, совершенно неспособенъ прикрашивать въ своемъ разсказѣ дѣйствительность блестящими вымыслами. Зная, что на слова Шовеля можно полагаться, какъ на свидѣтельство собственныхъ чувствъ, Леру беретъ у него шкурки, показываетъ ихъ всѣмъ своимъ сосѣдямъ и знакомымъ и совѣтуетъ имъ по-

сѣять ихъ для пробы. Тутъ онъ конечно поступаетъ не такъ, какъ поступилъ-бы жадный барышникъ. Тотъ взялъ-бы сразу всѣ шкурки себѣ и постарался-бы устроить такъ, чтобы картофель можно было покупать только у него. Но Леру, во-первыхъ, вовсе не желаетъ пріобрѣсти себѣ репутацію барышника, ростовщика и кровопійцы, обращающаго себѣ на пользу общественныя бѣдствія. А во-вторыхъ, для монополизированія картофеля потребовалось бы согласіе Шовеля, на которое совершенно невозможно было разсчитывать. Шовель принесъ изъ-за границы шкурки собственно для того, чтобы произвести опытъ, полезный для страны; онъ не торговалъ этими шкурками, а отдавалъ ихъ даромъ, потому что у него самого не было ни клочка земли и, стало быть, не на чемъ было устроить пробный посѣвъ. Къ такому человѣку было совершенно неудобно обращаться съ предложеніями въ барышническомъ вкусѣ. Кромѣ того, самая глубокая типическая черта въ людяхъ, подобныхъ Жану Леру, состоитъ именно въ томъ, что они стараются и обыкновенно успѣваютъ совмѣстить вещественныя выгоды съ невещественными. Они не упускаютъ ни одного случая поживиться лишней копѣйкой, и въ то же время никто о нихъ не говоритъ и не думаетъ, что они съ неприличной жадностью гоняются за этими случаями. Всякій знаетъ, что они своихъ выгодъ не теряютъ изъ виду и не роняютъ изъ рукъ, но всякій приписываетъ это обстоятельство скорѣе силѣ ихъ ума и мужественной твердости ихъ характера, чѣмъ ихъ бездушности и мелкому пристрастію къ деньгамъ. Они богатѣютъ не по днямъ, а по часамъ, и въ тоже время толпа ихъ согражданъ относится къ ихъ богатству и къ ихъ личности съ любовью и съ уваженіемъ, потому что видитъ въ первомъ, то-есть въ богатствѣ, достойную награду добродѣтелей, украшающихъ вторую, то-есть личность.

Сосѣди и знакомые, подзадоренные капуциномъ Бенедикомъ, встрѣчаютъ предложеніе Леру о сѣяніи картофельныхъ шкурокъ недовѣріемъ и насмѣшками. Тогда Леру рѣшается взять себѣ всѣ шкурки и засѣять ими весь свой огородъ. Леру оказывается такимъ образомъ умнѣе, предпріимчивѣе и смѣлѣе всѣхъ своихъ односельчанъ, но въ сущности чѣмъ-же онъ рискуетъ? Въ случаѣ неудачи, онъ только потеряетъ тѣ овощи, которые родились-бы въ этомъ году у него въ огородѣ, на пространствѣ четверти десятины. Потеря для него ничтожная, и шансы неудачи до крайности малы, потому что Леру знаетъ хорошо того человѣка, который рекомендуетъ ему сѣяніе новаго растенія. Значитъ, Леру просто схватываетъ новое вѣрное средство обогащенія, отъ котораго сторонятся его земляки. Схватывая это средство, онъ обнаруживаетъ несомнѣнно свое умственное превосходство надъ земляками и оказываетъ имъ важную услугу; но, чтобы оказать обществу такую услугу, не требуется очевидно никакихъ гражданскихъ и человѣческихъ доблестей.

До начала іюня, на землѣ, засѣянной шкурками, не показываются ростки. Вѣра Леру въ показанія Шовеля начинаетъ колебаться. Ему уже жалко потратить на опытъ нѣсколько франковъ. Онъ уже подумываетъ, не засѣять-ли огородъ люцерной, чтобы земля не пропадала даромъ. Умъ и характеръ спекулятора сейчасъ даютъ себя знать, какъ только спекуляція начинаетъ принимать неблагопріятный оборотъ.

Однако успѣхъ опыта предупреждаетъ бѣгство спекулятора. Картофель начинаетъ расти, и Леру торжествуетъ. Во время уборки онъ говоритъ: «на будущій годъ надо будетъ засадить этими корнями мои двѣ десятины на берегу, а остальное мы продадимъ по хорошей цѣнѣ: что даютъ людямъ за безцѣнокъ, того люди и не цѣнятъ ни въ грошъ».

Этими словами Леру характеризуетъ себя какъ нельзя лучше. Картофель будетъ проданъ по хорошей цѣнѣ—значитъ, интересы кармана соблюдены. Эта продажа по хорошей цѣнѣ мотивирована удовлетворительно и объясняется человѣколюбивымъ желаніемъ Леру разрушить предразсудки, встрѣтившіе первое появленіе картофеля. Значитъ, рядомъ съ интересами кармана спасается и слава Леру, какъ просвѣтителя и благодѣтеля роднаго края.

Въ день уборки Жанъ Леру добродушно говоритъ Шавелю: «вы обѣдаете съ нами, Шовель, мы ихъ отвѣдаемъ, и коли они хороши на вкусъ, въ нихъ будетъ богатство Баракъ» (имя деревни). Такъ бываетъ всегда и вездѣ, въ большихъ и въ малыхъ дѣлахъ. Жаны Леру, люди, потрудившіеся выслушать чужую мысль и принять къ свѣдѣнію ея достоинства, забираютъ въ свою пользу выгоды и популярность, а Шовели, настоящіе изобрѣтатели, притащившіе на своихъ плечахъ тѣ негодныя шкурки, которыя превращаются въ новый источникъ народнаго богатства, Шовели получаютъ радушное приглашеніе на обѣдъ и радуются тому, что чужой картофель уродился превосходно.

Исторія о картофелѣ кончается тѣмъ, что «мастеръ Леру, котораго глупость людей очень разсердила, продалъ имъ свои сѣмена очень дорого».

Оказавъ своимъ землякамъ существенную услугу введеніемъ картофеля, Леру оказываетъ имъ другую, еще болѣе важную услугу, которая также ровно ничего ему не стоитъ. Когда приходитъ время выбирать депутатовъ отъ деревни, тогда Леру рекомендуетъ избирателямъ

Шовеля, который дѣйствительно оказывается превосходнѣйшимъ защитникомъ ихъ интересовъ. Если-бы деревня Жана Леру должна была выбирать только одного депутата, и если-бы Леру въ этомъ случаѣ уступилъ Шовелю, какъ достойнѣйшему, то мѣсто, которое предлагалось ему, Жану Леру, — тогда тутъ была-бы по крайней мѣрѣ съ его стороны доблестная побѣда, одержанная надъ собственнымъ честолюбіемъ. Но и этого не было. Бараки высылали двоихъ депутатовъ; избиратели пришли предлагать Леру первое мѣсто и совѣтоваться съ нимъ насчетъ того, кому дать второе. Леру отвѣтилъ имъ, что онъ принимаетъ званіе депутата только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы другимъ депутатомъ былъ Шовель, кальвинистъ, на котораго избиратели, добрые католики, смотрѣли какъ на человѣка совершенно невозможнаго. Поступая такимъ образомъ, Леру, во-первыхъ, предписывалъ законы избирателямъ—значитъ, тѣшилъ свое самолюбіе, какъ только это было возможно, и, во-вторыхъ, обезпечивалъ себѣ въ собраніи деревенскихъ депутатовъ такого товарища, съ которымъ ему невозможно было стать втупикъ и осрамиться.

Фигуру Жана Леру можно было-бы дополнить множествомъ мелкихъ черточекъ, разбросанныхъ въ различныхъ мѣстахъ романа, но я нахожу, что ея основной смыслъ уже теперь достаточно ясенъ. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые отлично служатъ общему дѣлу, когда требованія этого дѣла совпадаютъ съ интересами ихъ личнаго матеріальнаго благосостоянія.

IV.

Чтобы читатели сразу поняли личность священника Кристофа Матерна, я приведу довольно большую выписку. Матернъ приходитъ вечеромъ, въ проливной дождь, въ трактиръ къ своему пріятелю, Жану Леру.

«— Я изъ Саверна, — говоритъ онъ.—Видѣлъ этого знаменитаго кардинала де-Роганъ... Боже милостивый! Боже милостивый! И это кардиналъ, князь церкви!... Ахъ, какъ подумаешь!..

«Онъ негодовалъ. Вода текла по его щекамъ на воротникъ его рясы; онъ порывисто снялъ свои брыжи и положилъ ихъ въ карманъ, прохаживаясь изъ угла въ уголъ. Мы смотрѣли на него съ изумленіемъ; онъ какъ-будто не видалъ насъ и говорилъ съ однимъ мастеромъ Жаномъ.

— Да, видѣлъ я этого князя, — кричалъ онъ: — видѣлъ этого великаго сановника, который обязанъ намъ подавать примѣръ доброй нравственности и всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей, видѣлъ, какъ онъ самъ правилъ своими лошадьми и скакалъ во весь опоръ по большой Савернской улицѣ, посреди фаянсовой и глиняной посуды, разбросанной по землѣ, и хохоталъ, какъ настоящій безумецъ. Какой соблазнъ!..

«— Ты знаешь, что Неккера въ отставку? — спросилъ мастеръ Жанъ.

«— Какъ не знать!—сказалъ онъ съ презрительной улыбкой. — При мнѣ вѣдь настоятели всѣхъ эльзасскихъ монастырей — пикпусы, капуцины, кармелиты, барнабиты, всѣ нищіе, всѣ босоногіе проходили церемоніальнымъ маршемъ черезъ передніе его высокопреподобія! Ха, ха, ха!

«Онъ крупными шагами ходилъ по комнатѣ. Онъ былъ въ грязи по поясницу, промоченъ до костей, но онъ ничего не чувствовалъ; его большая курчавая голова съ просѣдью вздрагивала, онъ говорилъ какъ-будто съ самимъ собою:

«— Да, Кристофъ, да, вотъ они, князья церкви!.. Поди, попроси монсиньора заступиться за бѣднаго отца семейства; поди, пожалуйся тому, кто долженъ быть опорой духовенства; поди, скажи ему, что агенты фиска, якобы отыскивая контрабанду, забрались даже въ твой священническій домъ; что тебѣ пришлось отдать имъ ключи отъ твоего погреба и отъ твоихъ шкафовъ. Скажи ему, что это срамъ заставлять гражданина, кто-бы онъ ни былъ, днемъ и ночью отворять свою дверь вооруженнымъ людямъ безъ мундира, безъ всякаго знака, по чемъ-бы ихъ отличать отъ разбойниковъ; и этимъ людямъ вѣрятъ въ судѣ на слово, и не позволяется собирать никакихъ справокъ о ихъ жизни и нравственности, когда ихъ вводятъ въ должность и довѣряютъ ихъ опасному слову имущество, честь, иногда жизнь другихъ людей! Попробуй, скажи ему, что это дѣло его чести довести эти справедливыя жалобы до подножія престола и заставить выпустить на волю несчастнаго засаженнаго въ тюрьму за то, что пристава нашли у него четыре фунта соли.. Сунься... сунься... Славно тебя примутъ, Кристофъ!

«— Но, ради Бога, — сказалъ ему мастеръ Жанъ: —что́ съ тобой случилось?

«Тогда онъ остановился на двѣ минуты и сказалъ:

«— Я пошелъ туда пожаловаться на генеральный обыскъ, сдѣланный соляными приставами вчера, въ одиннадцать часовъ вечера, въ моей деревнѣ, и на арестованіе одного изъ моихъ прихожанъ, Якова Баумгартена. Это была моя обязанность. Я думалъ, что кардиналъ это пойметъ, что онъ сжалится надъ несчастнымъ отцомъ семейства, купившимъ нѣсколько фунтовъ контрабандной соли, и велитъ его выпустить. Ну, во-первыхъ, мнѣ пришлось простоять два часа у воротъ этого великолѣпнаго замка, куда капуцины входили, какъ къ себѣ домой.

Они шли поздравлять монсиньора съ благополучной смѣной Неккера. Потомъ мнѣ позволили войти въ этотъ Вавилонъ, гдѣ кичливость шелка, золота и камней обнаруживается повсемѣстно, въ живописи и въ остальномъ. Наконецъ, меня тамъ продержали съ одиннадцати часовъ утра до пяти вечера, съ двумя бѣдными священниками съ горы. Мы слышали, какъ хохотали лакеи. Одинъ изъ нихъ, большой, весь въ красномъ, показывался на порогѣ, смотрѣлъ на насъ и кричалъ другимъ: «поповщина все тутъ!» Я терпѣлъ... Я хотѣлъ пожаловаться монсиньору; вдругъ одинъ изъ этихъ нахаловъ приходитъ и говоритъ намъ, что аудіенціи монсиньора отложены на недѣлю. Мерзавецъ смѣялся.

«Съ этими словами священникъ Кристофъ, державшій въ рукахъ толстую палку, сломалъ ее, какъ спичку, и лицо его сдѣлалось ужасно.

«— Этой шельмѣ стоило-бы надавать пощечинъ,—сказалъ мастеръ Жанъ.

«— Кабы мы были одни,—отвѣтилъ священникъ,—я взялъ-бы его за уши и отдѣлалъ-бы. Но тамъ я принесъ мое униженіе въ жертву Господу.

«Онъ опять сталъ ходить по комнатѣ. Мы всѣ его жалѣли. Катерина принесла ему хлѣба и вина; онъ поѣлъ стоя, и вдругъ гнѣвъ его схлынулъ. Но онъ сказалъ такія вещи, которыхъ я никогда не забуду. Онъ сказалъ:

«— Поруганіе справедливости повсемѣстно. Народъ все дѣлаетъ, а другіе только нахальничаютъ: они попираютъ ногами всѣ добродѣтели; они презираютъ религію. Сынъ бѣдняка ихъ защищаетъ; сынъ бѣдняка ихъ кормитъ, и также сынъ бѣдняка, вотъ такой, какъ я, проповѣдуетъ уваженіе къ имъ богатствамъ, къ ихъ почестямъ и даже къ ихъ безчинствамъ! Долго-ли это протянется? Я не знаю; но всегда продолжаться это не можетъ! это противно природѣ, это противно волѣ Божіей. Это безсовѣстно проповѣдывать уваженіе къ тому, что достойно позора! Это должно кончиться, и въ писаніи вѣдь сказано: «кто творитъ мои заповѣди, войдетъ въ мою обитель. Но извержены будутъ безстыдные, лжецы, идолослужители: всѣ, кто любитъ неправду и творитъ ее».

Кристофъ Матернъ—одинъ изъ тѣхъ людей, которые могутъ посвятить всю свою жизнь служенію узкой, односторонней идеѣ, но которые во всякомъ случаѣ вносятъ глубокую нравственную серьезность во все то, чему они себя посвящаютъ. Матернъ можетъ сдѣлаться ретроградомъ, обскурантомъ, гонителемъ и палачемъ, но, какъ-бы онъ ни заблуждался, онъ всегда будетъ заблуждаться съ полной искренностью, постоянно прислушиваясь только къ голосу собственной совѣсти. Проповѣдывать по обязанности службы то, чему онъ по совѣсти не вѣритъ, или то, чему онъ вѣритъ въ половину, играть въ жизни какую-бы то ни было комедію, лицемѣрить и тартюфничать онъ рѣшительно не въ состояніи. Ему непонятно, какимъ образомъ можно по платью и по титулу быть кардиналомъ, а по жизни и по привычкамъ веселымъ кутилой. Онъ принимаетъ серьезно и совершенно буквально тѣ обязанности, которыя налагаетъ на человѣка его званіе. Отъ каждаго частнаго явленія онъ требуетъ, чтобы оно приближалось или по крайней мѣрѣ обнаруживало стремленіе приблизиться къ идеалу. Такія соображенія, что идеалъ слишкомъ высокъ, что совершенство недостижимо, что дорога къ идеалу усѣяна непобѣдимыми трудностями, что идеалъ, созданный для другого времени, сдѣлалъ свое дѣло и отошелъ въ область исторіи,—такія соображенія для Кристофа Матерна не существуютъ. У него въ основѣ его мышленія и дѣятельности лежитъ такое правило: или добросовѣстно съ напряженіемъ всѣхъ силъ идти къ идеалу, или не смѣй имъ прикрываться и во имя его брать съ народа десятину и всевозможныя пожертвованія.

Личный характеръ Кристофа вполнѣ соотвѣтствуетъ его общественному положенію. Тѣ есть задатки, заключавшіеся въ природномъ складѣ его ума, болѣе крѣпкаго, чѣмъ гибкаго, должны были развернуться и закалиться тѣми отношеніями къ людямъ, въ которыя его поставило званіе деревенскаго священника.

Католическая церковь, какъ извѣстно, очень рано стала превращаться въ политическое учрежденіе. Папы сначала гнались за недостижимымъ призракомъ гильдебрандовской теократіи, а потомъ стали округлять свои владѣнія въ Италіи. Французская или галликанская церковь, желавшая сосредоточить всѣ силы королевства въ рукахъ короля, также точно имѣла свои *политическія* тенденціи, обыкновенно шедшія наперекоръ столь-же *политическимъ* планамъ папъ. Это политическое направленіе, которое въ своей совокупности могло быть совершенно ясно только лицамъ, высоко поставленнымъ въ церкви, всегда возбуждало неудовольствіе въ людяхъ, искренно и глубоко вѣровавшихъ, въ тѣхъ многихъ людяхъ, которые требовали отъ пастырей церкви христіанскихъ добродѣтелей, а не административныхъ или дипломатическихъ талантовъ. Политическое направленіе, господствовавшее въ высшихъ слояхъ духовенства, никогда не могло проникать собой всю корпорацію сверху донизу. Монахи, образуя изъ себя строго-организованные и отлично дисциплинированные отряды, могли быть послушнымъ орудіемъ въ рукахъ своихъ генераловъ, посвященныхъ въ тайны высшей политики. Но деревенскіе священники, разбросанные среди свѣтскихъ людей

и живущіе одной жизнью со своими прихожанами, никакъ не могли слѣдить за изгибами и поворотами клерикальной политики; теряя способность понимать планы начальства и сознательно сочувствовать ему, относясь къ высшимъ политическимъ комбинаціямъ почти такъ, какъ относились наши становые къ запросамъ статистическихъ комитетовъ, деревенскіе священники должны были, смотря по своимъ личнымъ свойствамъ, пойти по одному изъ двухъ путей — или по пути набиванія кармановъ и желудковъ, или-же по пути дѣятельнаго человѣколюбія. Священники, пошедшіе по этому второму пути, должны были, путемъ своей дѣятельной и честной жизни, возвыситься до очень яснаго и вѣрнаго пониманія того идеала который они имѣли полное право считать для себя обязательнымъ. Во имя этого идеала они должны были, при каждой встрѣчѣ, строго осуждать высшихъ сановниковъ церкви, окунувшихся съ головой въ темный омутъ политическихъ интригъ. Оппозиція незамѣтно росла такимъ образомъ въ средѣ одного изъ самыхъ привилегированныхъ сословій.

Въ XVII и XVIII столѣтіяхъ католицизмъ началъ сперва понемногу, а потомъ все быстрѣй и быстрѣй терять свое господство надъ умами. Ряды католической іерархіи стали пополняться людьми, равнодушными ко всякой религіи, не имѣющими никакихъ, ни философскихъ, ни политическихъ убѣжденій, способными только чваниться гербами и предками и усвоившими себѣ только то правило эпикурейской мудрости, что надо жить, пока живется. Въ высшихъ сферахъ католическаго духовенства стали понемногу утрачиваться даже и та серьезность и дѣловая озабоченность, которой отличались прежніе политическіе интриганы. Все чаще и чаще стали появляться такіе прелаты, у которыхъ въ жизни не было никакой другой цѣли, кромѣ полученія и проживанія громадныхъ доходовъ. Тогда глухой разладъ между высшимъ и низшимъ духовенствомъ сдѣлался еще болѣе непримиримымъ; богатые и веселые прелаты, проводящіе свою праздную жизнь среди такихъ-же богатыхъ, праздныхъ и веселыхъ аристократовъ обоего пола, потеряли всякую нравственную связь съ бѣдными, трудящимися священниками, живущими среди бѣднаго, трудящагося народа. Первые стали чувствовать себя прежде всего магнатами, обязанными поддерживать всѣ привилегіи, всѣ монополіи, всѣ несправедливости стараго порядка, и противиться всему, что́ могло подать народу хоть отдаленную надежду на какое-бы то ни было облегченіе его участи. Вторые также почувствовали себя наконецъ прежде всего дѣтьми бѣдняковъ и стали не безъ удовольствія прислушиваться къ тому, что́ обѣщало этимъ бѣднякамъ освобожденіе изъ работы египетской. Замѣчая въ своемъ духовномъ начальствѣ, при отсутствіи всякихъ христіанскихъ добродѣтелей и всякой нравственной серьезности, холодную и систематическую вражду противъ еретиковъ и вольнодумцевъ, низшее духовенство, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, познакомилось потихоньку съ мыслями этихъ гонимыхъ людей и убѣдилось, что эти люди въ сущности гораздо болѣе своихъ гонителей проникнуты духомъ христіанскаго ученія.

Въ «Исторіи Крестьянина» есть одна очень характерная сцена. Кристофъ Матернъ очень дружелюбно обѣдаетъ за однимъ столомъ съ Шовелемъ, продавцомъ запрещенныхъ книгъ и кальвинистомъ. Входя въ комнату, онъ даже въ шутку говоритъ громовымъ голосомъ, что предастъ еретиковъ и злоумышленниковъ въ руки правосудія, и разумѣется этотъ громовой голосъ никого не пугаетъ. Жанъ Леру весело и радушно говоритъ священнику: садись, Кристофъ, будемъ обѣдать, а Шовель съ лукавой улыбкой спрашиваетъ: кто-жъ тогда будетъ поставлять Жанъ-Жаковъ господамъ горнымъ священникамъ? Мы узнаемъ такимъ образомъ, что католическій священникъ водитъ дружбу съ еретиками и читаетъ запрещенныя книги свободныхъ мыслителей. И дѣлаетъ онъ это не по легкомыслію, не по равнодушію къ религіи, а именно вслѣдствіе своего глубокаго уваженія къ основнымъ принципамъ той доктрины, которую онъ проповѣдуетъ. Какъ онъ понимаетъ свои обязанности, какъ онъ пользуется удобствами своего положенія среди крестьянъ—это обнаруживается во время того-же обѣда.

«— Слушай, Кристофъ,—говоритъ Жанъ Леру, окончивъ супъ, — скоро ты у себя въ школѣ ученіе начнешь?

«— Да, Жанъ, на будущей недѣлѣ,—отвѣтилъ священникъ.—Я даже затѣмъ и отправился; иду въ Пфальцбургъ за бумагой и за книгами. Я-было хотѣлъ начать 20-го сентября, да надо было кончить статую Св. Петра для Абершвиллерскаго прихода; тамъ церковь отстраивается. Я обѣщалъ, такъ хотѣлъ сдержать слово.

« — А, хорошо!.. Значитъ, на будущей недѣлѣ.

«— Да, съ понедѣльника и начнемъ.

«— Ты-бы взялъ этого мальчика—сказалъ мой крестный отецъ (Леру), указывая на меня. — Это мой крестникъ, сынъ Жанъ-Пьера Бастіана. Я увѣренъ, что онъ съ радостью будетъ учиться.

«Услышавъ это, я весь покраснѣлъ отъ удовольствія, потому что мнѣ уже давно хотѣлось ходить въ школу.

«Г. Кристофъ повернулся ко мнѣ:

« — Ну,— сказалъ онъ, кладя свою большую руку ко мнѣ на голову,—взгляни па меня.

«Я посмотрѣлъ на него помутившимися глазами.

«— Тебя какъ зовутъ?

«— Мишель, г. священникъ.

«— Ну, Мишель, милости просимъ. Дверь моей школы для всѣхъ открыта. Чѣмъ больше приходитъ учениковъ, тѣмъ мнѣ пріятнѣе.

«— Чудесно!—вскрикнулъ Шовель:—такія рѣчи и слушать пріятно».

Еретикъ и католическій священникъ такимъ образомъ протягиваютъ другъ-другу руки, когда дѣло идетъ о просвѣщеніи народа. Точно такъ-же они протягиваютъ другъ-другу руки и тогда, когда дѣло идетъ о возвышеніи матеріальнаго благосостоянія того-же народа. Кристофъ попалъ къ Жану Леру на обѣдъ въ день первой уборки картофеля. Отвѣдавъ этого новаго кушанья, Кристофъ говоритъ:

« – Слушайте, Шовель! Вы, тѣмъ, что принесли эти шкурки въ вашей корзинѣ, а ты, Жанъ, тѣмъ, что посадилъ ихъ въ своей землѣ, не смотря на насмѣшки капуциновъ и другихъ идіотовъ, вы больше сдѣлали для нашей страны, чѣмъ всѣ монахи трехъ епископствъ за цѣлыя столѣтія. Эти коренья будутъ хлѣбомъ бѣдняковъ».

Личность Кристофа Матерна никакъ не можетъ быть признана исключительнымъ явленіемъ. Не мало деревенскихъ священниковъ сидѣло на лѣвой сторонѣ въ учредительномъ собраніи и потомъ даже въ національномъ конвентѣ, рядомъ съ самыми искренними и неустрашимыми друзьями народа.

Чѣмъ ближе подходила рѣшительная минута, тѣмъ тѣснѣе становилась связь между лучшими изъ бѣдныхъ деревенскихъ священниковъ и лучшими изъ бѣдныхъ прихожанъ.

«Мастеръ Жанъ! — говорилъ Шовель—чѣмъ дальше, тѣмъ лучше идутъ дѣла: наши бѣдные приходскіе священники только и хотятъ читать, что «Савойскаго Викарія» Жанъ-Жака; капоники, всякіе бенефиціаріи читаютъ Вольтера; начинаютъ проповѣдывать любовь къ ближнему и сокрушаются о народныхъ бѣдствіяхъ; собираютъ деньги на бѣдныхъ. Во всемъ Эльзасѣ и въ Лотарингіи только и слуху, что о добрыхъ дѣлахъ. Въ одномъ монастырѣ господинъ настоятель приказываетъ осушать пруды, чтобы дать работу крестьянамъ; въ другомъ на нынѣшній годъ прощаютъ малую десятину; въ третьемъ раздаютъ порціи супа. Лучше поздно, чѣмъ никогда! Всѣ добрыя мысли приходятъ къ нимъ сразу. Это люди тонкіе, очень тонкіе; они видятъ, что лодка потихоньку идетъ ко дну. Вотъ они и припасаютъ себѣ друзей, чтобъ потомъ было за что уцѣпиться».

Въ концѣ этого монолога Шовель указываетъ на дѣло лукаваго и корыстнаго милосердія, вынужденнаго неопредѣленнымъ и тоскливымъ предчувствіемъ надвигающейся грозы. Но въ началѣ рѣчи, гдѣ идетъ дѣло о бѣдныхъ приходскихъ священникахъ, читающихъ Жанъ-Жака, мы видимъ ясное и мѣткое указаніе на тотъ фактъ, что политическій радикализмъ сталъ находить себѣ искреннихъ адептовъ даже въ рядахъ духовенства.

V.

Матюренъ Шовель—вполнѣ герой, фанатикъ общественнаго блага, человѣкъ, не боящійся ни труда, ни лишеній, ни опасностей, ни боли, ни смерти. Онъ ненавидитъ зло, въѣвшееся въ народную жизнь, такою ненавистью, какою напримѣръ медикъ можетъ ненавидѣть болѣзнь, подрывающую силы его паціента, или математикъ можетъ ненавидѣть ошибку, вкравшуюся въ его вычисленіе. Понятно, что ни медикъ съ болѣзнью, ни математикъ съ ошибкой не могутъ вступать ни въ какіе переговоры, не могутъ идти ни на какія сдѣлки, не могутъ мириться ни на какихъ взаимныхъ уступкахъ. Понятно съ другой стороны, что ни медикъ не можетъ чувствовать никакой личной вражды къ тѣмъ частямъ тѣла, къ тѣмъ органамъ, въ которые засѣла болѣзнь, ни математикъ не можетъ гнѣваться на тѣ цифры или буквы, въ которыя закралась ошибка. Понятно также, что медикъ, въ случаѣ надобности, безо всякаго зазрѣнія совѣсти и безъ малѣйшаго колебанія будетъ дѣйствовать на зараженную часть тѣла острыми кислотами, шпанскими мушками, растравляющими мазями, ляписомъ, огнемъ и желѣзомъ, — и что математикъ, съ невозмутимымъ спокойствіемъ и съ совершенной ясностью духа проведетъ мокрой губкой по своей аспидной доскѣ и сотретъ безъ слѣда тѣ цифры или буквы, которыя испортили его вычисленіе. Медикъ отказывается отъ званія медика, когда онъ перестаетъ вести истребительную борьбу съ болѣзнью; математикъ перестаетъ быть математикомъ, когда онъ отказывается преслѣдовать ошибку въ послѣднихъ ея убѣжищахъ. Такъ точно и Шовель переставъ-бы быть самимъ собой, если-бы могъ отказаться отъ своей ровной, спокойной, холодной, зоркой и чуткой ненависти къ общественному злу.

Вотъ какія условія сдѣлали его неподкупнымъ и непримиримымъ врагомъ средневѣкового беззаконія:

«Онъ никогда не горячился. Я помню, какъ онъ часто съ большимъ спокойствіемъ разсказывалъ о страданіяхъ своихъ предковъ: какъ ихъ выгнали изъ Ла-Рошеля; какъ у нихъ отняли землю, деньги, дома; какъ ихъ преслѣдовали по всей Франціи, отнимая у нихъ насильно дѣтей, чтобы воспитывать ихъ въ католической религіи; какъ впослѣдствіи, въ Ликсгеймѣ, на нихъ напускали драгуновъ, чтобы обращать ихъ въ католичество сабельными ударами; какъ отецъ убѣжалъ въ Грауфтальскіе лѣса, куда за нимъ

пошли на другой день мать и дѣти, отказываясь отъ всего, во имя своей религіи; какъ дѣда отправили на тринадцать лѣтъ на Дюнкирхенскія галеры, гдѣ нога у него днемъ и ночью оставалась прикованной къ гребецкой скамьѣ; начальникомъ у нихъ былъ тамъ настоящій злодѣй, который билъ ихъ такъ, что многіе изъ этихъ кальвинистовъ умирали; а когда происходило сраженіе, тогда эти несчастные галерники видѣли, какъ англичане направляли свои большія орудія, набитыя до самаго устья, въ разстояніи четырехъ шаговъ отъ нихъ, прямо на ихъ скамью. Они это видѣли, но не могли пошевельнуться, и фитиль опускался на затравку. Потомъ, когда проносились пули, гвозди и картечь, ихъ переломанныя ноги отрывались отъ цѣпи, ихъ самихъ бросали въ воду, и подметали, что̀ оставалось.

«Онъ разсказывалъ эти вещи, приводившія насъ въ трепетъ, растирая себѣ въ ладони понюшку табаку, и его маленькая Маргарита, вся блѣдная, молча смотрѣла на него своими большими черными глазами.

«Онъ всегда заканчивалъ такъ:

«— Да, вотъ чѣмъ Шовели обязаны Бурбонамъ, великому Людовику XIV и Людовику XV, Возлюбленному! Смѣшная штука — наша исторія, не правда-ли? И я самъ, до нынѣшняго дня, ни на что я не годенъ; нѣтъ у меня гражданскаго существованія. Нашъ добрый король, какъ и всѣ другіе, вступая на престолъ, среди своихъ епископовъ и архіепископовъ, поклялся насъ истреблять: «Я клянусь, что буду стараться искренно и всѣми силами объ истребленіи на всѣхъ подчиненныхъ мнѣ земляхъ всѣхъ еретиковъ, осужденныхъ церковью». Ваши священники, которые ведутъ списки и должны поступать одинаково со всѣми французами, отказываются записывать наши рожденія, браки и смерти. Законъ запрещаетъ намъ быть судьями, совѣтниками, школьными учителями. Мы можемъ только шататься по свѣту, какъ звѣри; у насъ подрѣзываютъ заранѣе всѣ корни, которыми люди прикрѣпляются къ жизни, и однако мы не дѣлаемъ зла, всѣ принуждены признавать нашу честность.

«Мастеръ Жанъ отвѣчалъ:

«— Это отвратительно, Шовель; но христіанское милосердіе?..

«— Христіанское милосердіе!.. Мы ему никогда не измѣняли,—говорилъ онъ,— къ счастью для нашихъ палачей! Еслибъ оно намъ измѣнило!.. Но все выплачивается съ процентами на проценты. Надо, чтобы все выплатилось!.. Коли не черезъ годъ, такъ черезъ десять лѣтъ; а не черезъ десять, такъ черезъ сто... черезъ тысячу... Все выплатится!

«Понятно послѣ этого, что Шовель не удовлетворился-бы, какъ мастеръ Жанъ, нѣкоторыми смягченіями, облегченіемъ въ налогахъ, въ милиціи. Стоило только взглянуть на его блѣдное лицо, на его маленькіе, живые черные глаза, на его тонкій горбатый носъ, на его тонкія, всегда сжатыя губы; на его сухую спину, согнувшуюся подъ тяжестью тюка, на его маленькія ноги и руки, крѣпкія, какъ желѣзные прутья,—стоило только взглянуть на него, чтобы подумать:

«Этотъ маленькій человѣкъ хочетъ всего или ничего! У него терпѣнія достаточно; онъ тысячу разъ рискнетъ попасть на галеры, чтобы продавать книги по своимъ идеямъ; онъ ничего не боится, онъ ничему не довѣряетъ: когда представится случай, не хорошо будетъ съ нимъ столкнуться! И дочка его уже на него похожа; такая, что переломится, а ужъ не согнется!

«Я объ этомъ еще не думалъ—молодъ былъ слишкомъ—но я это чувствовалъ; я очень уважалъ отца Шовеля; я всегда снималъ передъ нимъ шапку и говорилъ про себя: онъ хочетъ добра крестьянамъ, мы съ нимъ заодно».

Постоянныя, многолѣтнія гоненія, среди которыхъ прошла жизнь Шовеля, должны были или убить его, или закалить во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ занимался такимъ ремесломъ, которое каждый день могло повести его на галеры или даже на висѣлицу.

«Ба, это все ничего, — говоритъ онъ въ дружеской бесѣдѣ Жану Леру, — теперь это однѣ шутки. Лѣтъ десять, пятнадцать тому назадъ дѣло другое! Вотъ тогда меня преслѣдовали, тогда не надо было попадаться съ кельнскими или амстердамскими изданіями: я-бы однимъ прыжкомъ очутился изъ Баракъ на галерахъ, а нѣсколькими годами раньше меня-бы прямо вздернули. Да, тогда было опасно; а если меня теперь арестуютъ, такъ не надолго; теперь мнѣ не будутъ ломать руки и ноги, чтобы я выдалъ моихъ сообщниковъ».

Для Шовеля не существуетъ ни презрѣніе къ работѣ, ни страхъ передъ работой. Чтобы служить тому дѣлу, которое онъ любитъ, онъ готовъ, смотря по требованіямъ данной минуты, браться съ одинаковой охотой за самую черную и за самую чистую работу, за самую трудную и за самую легкую, за самую простую и за самую сложную, за самую грубую и за самую тонкую. Когда ему нельзя было пристроиться ни къ какому другому дѣлу, онъ цѣлые десятки лѣтъ шатался по городамъ и селамъ съ сумкой книгъ и употреблялъ всѣ силы своего большого и гибкаго ума на то, чтобы ускользать отъ преслѣдованій полиціи и распространять въ массѣ читающей провинціальной публики сочиненія тѣхъ мыслителей, которые наложили печать своего вліянія на все умственное движеніе прошлаго столѣтія. Когда его сосѣди, по рекомендаціи Жана Леру, выбрали его въ депутаты деревни, онъ принялъ это званіе и на съѣздѣ деревенскихъ депутатовъ повелъ себя такъ, что его

выбрали въ депутаты округа. Въ окружномъ собраніи онъ опять такъ отличился, что его выбрали въ депутаты третьяго сословія въ собраніе государственныхъ чиновъ. И онъ принялъ свое новое званіе спокойно и съ достоинствомъ, какъ приглашеніе на важную и трудную работу, на которую онъ не хотѣлъ напрашиваться, которую онъ не старался отбивать у другихъ, болѣе способныхъ и лучше приготовленныхъ кандидатовъ, но предъ которой онъ не отступаетъ и не робѣетъ, когда голосъ его согражданъ объявилъ ему, что онъ стоитъ на очереди и что впереди его нѣтъ никого. Шовель, понимавшій давно, какое значеніе имѣетъ созваніе государственныхъ чиновъ, становится однимъ изъ законодателей Франціи такъ-же спокойно, какъ въ древности Цинциннатъ сдѣлался римскимъ диктаторомъ. Разнозчику Шовелю не нужно ничего измѣнять, подчищать или подкрашивать въ своей личности, чтобы сдѣлаться депутатомъ Шовелемъ, и депутатъ Шовель не измѣнилъ ни одного оттѣнка въ своихъ отношеніяхъ съ тѣми людьми, съ которыми былъ знакомъ и близокъ разнозчикъ. Эта неизмѣнность самого человѣка при совершенной перемѣнѣ декорацій и положенія до такой степени характеризуетъ Шовеля, что дочь Шовеля, шестнадцатилѣтняя дѣвушка, Маргарита, даже не видавшись съ отцомъ послѣ выборовъ, говоритъ Мишелю съ полнымъ убѣжденіемъ:

«—Какъ, пріѣдемъ-ли мы? Да что-жъ мы станемъ дѣлать, дурачина? Ты развѣ думаешь, мы тамъ разживемся?

«Она смѣялась.

«—Ну да, мы пріѣдемъ, и еще бѣднѣе теперешняго, повѣрь! Мы пріѣдемъ, можетъ быть, въ нынѣшнемъ году, а самое позднее на будущій годъ.»

Шовель такъ воспитывалъ свою дочь, которая была его неразлучной спутницей во всѣхъ его скитаніяхъ, что ее уже не можетъ ослѣпить и ей не можетъ вскружить голову никакое земное величіе, какъ-бы оно ни было блистательно и неожиданно. Ея отецъ—избранникъ народа, выше этой чести она себѣ ничего не можетъ представить; она плачетъ отъ радости; и однако въ минуту величайшаго упоенія, уѣзжая изъ родной деревни въ Версаль, она безъ малѣйшей горечи предвидитъ совершенно ясно ту минуту, когда они вернутся бѣднѣе теперешняго и опять пойдутъ по проселочнымъ дорогамъ съ тяжелыми тюками книгъ за спиной.

По этой чертѣ въ характерѣ молодой дѣвушки можно судить о личности того человѣка, который ее сформировалъ.

VI.

Теперь надо разсмотрѣть, что́ же именно сдѣлала для Мишеля Бастіана каждая изъ трехъ личностей, очерченныхъ на предыдущихъ страницахъ.

Жанъ Леру, крестный отецъ Мишеля, оказалъ ему, по своему обыкновенію, нѣсколько важныхъ услугъ, которыя ему, Жану Леру, ровно ничего не стоили. Во-первыхъ, Жанъ взялъ къ себѣ въ пастухи своего крестника, чуть только послѣднему минуло восемь лѣтъ. Условія были такого рода: Жанъ кормилъ Мишеля и давалъ ему каждый годъ по парѣ башмаковъ. Ночевать Мишель ходилъ къ себѣ домой. Ясное дѣло, что Жану это было выгодно. Пастуха все равно надо было-бы нанимать, а между тѣмъ бѣдный крестникъ, считая и чувствуя себя облагодѣтельствованнымъ, такъ усердно старался угодить благодѣтелю, отъ котораго онъ получалъ только пищу и пару башмаковъ,—что въ этомъ отношеніи съ нимъ конечно не могъ потягаться наемникъ.

Во-вторыхъ, Жанъ доставилъ Мишелю случай страдать и бороться за дѣло прогресса и общественнаго блага. Мишель былъ еще совсѣмъ мальчишка, когда произошла разсказанная выше исторія съ картофельными шкурками. Покуда картофельные ростки не показывались, сверстники Мишеля дразнили его, какъ слугу полоумнаго человѣка, посѣявшаго какую-то дрянь у себя въ огородѣ. Мишель билъ насмѣшниковъ кнутомъ; насмѣшники въ свою очередь обрабатывали его общими силами, и Мишель, исполосованный кнутами молодыхъ рутинеровъ, могъ потомъ предаваться печальнымъ размышленіямъ о человѣческой глупости. Не трудно понять, что эта вторая услуга также ничего не стоила Жану и была оказана имъ невольно.

Въ-третьихъ, Жанъ, какъ мы уже видѣли выше, ввелъ Мишеля въ даровую школу Кристофа Матерна. Эта услуга имѣла для Мишеля неисчислимыя добрыя послѣдствія, но она также ровно ничего не стоила Жану Леру.

Кристофъ Матернъ выучилъ Мишеля читать и писать. Этимъ ограничивается его доля вліянія, но этого слишкомъ достаточно, чтобы ученикъ поминалъ его добромъ.

Шовель далъ Мишелю политическое образованіе. Мишель сначала слушалъ съ самымъ жаднымъ вниманіемъ, а потомъ читалъ самъ и вслухъ, и про себя газеты, которыя Шовель приносилъ своему пріятелю, Жану Леру. Шовель объяснялъ часто Мишелю то, чего послѣдній не понималъ, Шовель часто говорилъ о текущихъ дѣлахъ то съ самимъ Мишелемъ, то въ присутствіи Мишеля съ Жаномъ Леру, и великодушное негодованіе честнаго гражданина, горѣвшее спокойно-неугасимымъ пламенемъ въ груди Шовеля и звучавшее въ ироническомъ тонѣ его тихихъ рѣчей, переходило понемногу во все существо его молодого, даровитаго и впечатлительнаго слушателя.

Чтобы дать понятіе о томъ, какъ говорилъ Шовель, какъ просто и ясно онъ ставилъ вопросы, какъ онъ умѣлъ внушать самымъ неразвитымъ умамъ серьезное уваженіе къ основнымъ принципамъ разумной и честной политики, я приведу здѣсь его рѣчь, сказанную безъ приготовленія въ трактирѣ Жана Леру, на обѣдѣ деревенскихъ избирателей.

«Всѣ глаза обратились на Шовеля; всѣ хотѣли знать, что онъ отвѣтитъ. Онъ сидѣлъ спокойно, на почетномъ мѣстѣ, бумажный колпакъ его былъ прицѣпленъ къ спинкѣ стула; щеки его были блѣдны, губы сжаты, глаза какъ будто скошены; онъ, совсѣмъ задумавшись, держалъ свой стаканъ. Рибопьерское вино, должно быть, поразстражило его, потому что, не отвѣчая на заздравные клики другихъ, онъ сказалъ внятнымъ голосомъ:

«— Да, первый шагъ сдѣланъ! Но не будемъ еще пѣть побѣду; много намъ остается сдѣлать прежде, чѣмъ мы воротимъ себѣ наши права. Отмѣна привилегій, подушной, косвенныхъ налоговъ, соляной подати, внутреннихъ заставъ, барщины — это уже много значитъ. Тѣ не сразу выпустятъ изъ рукъ, что держатъ, нѣтъ! они будутъ бороться, попробуютъ защищаться противъ справедливости. Надо будетъ ихъ принуждать! Они призовутъ къ себѣ на помощь всѣхъ служащихъ, всѣхъ, кто живетъ своими мѣстами и думаетъ облагородиться. И это, друзья мои, только первый пунктъ; это еще самая малость; я думаю, что третье сословіе выиграетъ это первое сраженіе; народъ того хочетъ; народъ, на которомъ лежатъ эти неправедныя тягости, поддержитъ своихъ депутатовъ.

«— Да, да, до смерти!—закричали большой Летюмье, Кошаръ, Гюре, мастеръ Жанъ, сжимая кулаки. — Мы выиграемъ, мы хотимъ выиграть!..

«Шовель не шевелился. Когда они перестали кричать, онъ продолжалъ, какъ будто никто ничего не говорилъ.

«— Мы можемъ побѣдить въ дѣлѣ обо всѣхъ несправедливостяхъ, которыя чувствуетъ народъ; это—несправедливости слишкомъ вопіющія, слишкомъ ясныя; но къ чему же это насъ поведетъ, если впослѣдствіи, когда государственные чины будутъ распущены и деньги на уплату долга доставлены, графы да маркизы опять возстановятъ свои права и привилегіи? Это уже не въ первый разъ; у насъ вѣдь ужъ бывали и другія собранія государственныхъ чиновъ, и все, что они рѣшили въ пользу народа, уже давно не существуетъ. Послѣ уничтоженія привилегій, намъ нужна такая сила, которая помѣшала-бы ихъ возстановить. Эта сила въ народѣ; она въ нашихъ арміяхъ. Надо хотѣть не день, не мѣсяцъ, не годъ; надо хотѣть всегда. Надо такъ сдѣлать, чтобы негодяи и мошенники не возстановили медленно, потихоньку, окольными путями того, что опрокинетъ третье сословіе, опираясь на націю. Надо, чтобы армія была съ нами; а чтобы армія была съ нами, надо, чтобы послѣдній солдатъ, своимъ мужествомъ и умомъ, могъ повышаться въ чинахъ и пожалуй даже сдѣлаться маршаломъ и коннетаблемъ, такъ точно, какъ дворяне, понимаете?

«— За здоровье Шовеля!—закричалъ Готье Куртуа.»

Теперь мы можемъ сообразить до нѣкоторой степени, какія вліянія подготовили французскій народъ къ его политическому пробужденію.

Во-первыхъ, были низшіе слои буржуазіи, были люди, которые, подобно Жану Леру, знали жизнь простого работника, понимали его горе и нужду, и въ то же время могли читать газеты, заглядывать въ запрещенныя книжки и задумываться надъ плачевной безтолковщиной текущихъ событій. Этимъ людямъ выгодно и пріятно было дѣлиться съ своими рабочими плодами своихъ размышленій, и ихъ фрондерскія рѣчи, падая на воспріимчивую почву, порождали въ ней такой процессъ броженія, дальнѣйшее развитіе котораго трудно было остановить или предугадать.

Во-вторыхъ, было низшее духовенство, возмущенное безумной роскошью и развратной жизнью прелатовъ. Оно сближалось съ простымъ народомъ, учило его грамотѣ и вносило такимъ образомъ въ его темную жизнь лучъ свѣта, который давалъ ему нѣкоторую возможность со временемъ осмотрѣться и распознать добро и зло, друзей и враговъ, правду и ложь.

Наконецъ были Матюрены Шовели, люди разоренные, ожесточенные, измученные нелѣпостями стараго порядка, — люди, вредившіе этому порядку съ настойчивостью, свойственной непримиримымъ врагамъ, и съ полнымъ знаніемъ всѣхъ его слабыхъ сторонъ.

При такихъ наставникахъ, французскій народъ, даровитый и впечатлительный, какъ юный Мишель Бастіанъ, не могъ остаться неучемъ и недорослемъ въ политическомъ отношеніи.

Biblioteka WSP Kielce
0162630